

ретро -



роман

Собрание сочинений в десяти томах



2018

ДОРОГОЙ РАУЛЬ!

Даже ещё не будучи знаком с тобой, я с огромным удовольствием переводил твои романы, повести, рассказы, монографию академика Сергея Алиханова о твоём творчестве — так взволновали меня эти произведения.

Склоняю свою седую голову перед твоим талантом, знанием жизни страны, знанием тайн коридоров высшей власти. Отдаю дань твоим юридическим познаниям — ты единственный из писателей, на моей памяти, кто профессионально написал предисловие к книге одного из бывших Генеральных прокуроров России.

Ты один из немногих писателей нашей страны, кто удостоился издания «Избранного» в самом престижном издательстве «Художественная литература» — это высокое признание твоего таланта прозаика и романиста.

Тетралогия «Чёрная знать» — свидетельство твоего гражданского мужества, за неё ты заплатил здоровьем, инвалидностью, эмиграцией. В твоих книгах чувствуется истинный татарский характер, бойцовский дух.

Восхищаюсь твоим литературным мастерством построения многоплановых сюжетов, способностью кардинально менять тематику каждого большого и малого произведения. Твою прозу отличает незаемный стиль, свой неповторимый слог, своя ритмика, редкая музыкальность фразы.

Читая твои книги, заново открываешь время, в котором живёшь — столь широк, многогранен, неохватен твой талант, твой взгляд на мир. Я поражаюсь твоим оценкам этого времени, событий, людей — в них ярко отражена позиция писателя, не обходящего острые углы, для которого не существует неперикасаемых личностей и тем.

Здоровья, успехов, новых романов!

Сердечно обнимаю.

Марс Шабаев, лауреат премии Г. Тукая.



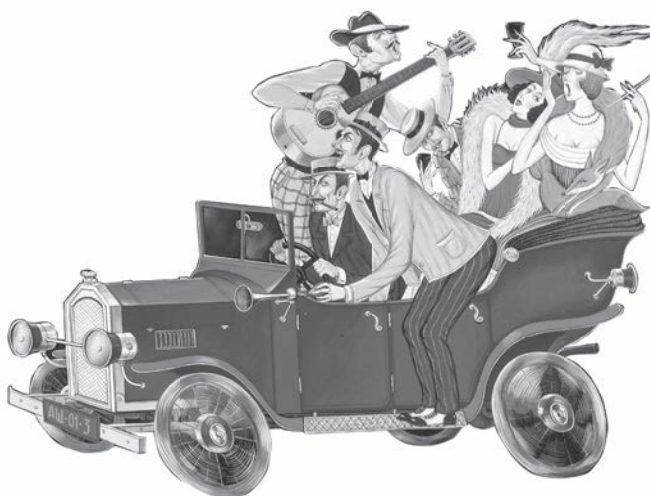


Рауль Мир-Найдаров

Том пятый

Ранняя печаль

ретро-роман



Мир-Хайдаров Р.М.

Литературно-художественное издание
Собрание сочинений в десяти томах
Том пятый
Ранняя печаль
Ретро-роман — 880с.
Казань «Идель-Пресс»

Роман написан через год после развала СССР, прямо «с колёс» печатался в журнале «Мы», имевшем тогда пятисоттысячный тираж, и параллельно в других изданиях и газетах разных стран.

Это единственный роман, написанный автором прежде времени — как считает автор. Читатель ещё надеялся на роскошную жизнь в обещанном капитализме. Увы... Только в новом веке россияне, хлебнув «райской жизни» при чиновничье-бандитском капитализме, затосковали по прошлой жизни и отдали должное романам, похожим по настроению на «Раннюю печаль».

А роман к началу XX века успел опубликоваться огромными тиражами восемь раз. Как отмечали известный критик Ю.А. Мориц и академик Сергей Алиханов, биограф писателя, это — единственный роман, где по форме и стилистике чувствуется влияние на автора его кумира В.П. Катаева. Сегодня, когда уже написаны и опубликованы во многих журналах и Интернете тысячестраничные мемуары писателя, становится ясным, что «Ранняя печаль» — произведение автобиографическое, впрочем, как и все творчество писателя.

Роман «Ранняя печаль» написан от имени вымышленного Рушана Дасаева, в котором явно видится автор, как и в герое «Юношеского романа» угадывается молодой Катаев, так и не признавшийся при жизни в автобиографичности своего блистательного романа. Но кроме катаевского рецепта построения сюжета там много и собственных открытий автора. В ткань повествования вплетены фрагменты из его повестей и рассказов, потому что они тоже несут печать личной жизни романиста. Самое интересное — автор с разрешения реальных героинь, его юношеских увлечений, оставил им девичьи фамилии.

«Ранняя печаль» — глубоко личный, лирический, пронзительно грустный ретро-роман о верности, первой любви. Роман — гимн своему поколению, своему времени, другой жизни, в которой жили совсем по-иному, в будущее смотрели с надеждой.



Творческая биография

МИР-ХАЙДАРОВ РАУЛЬ МИРСАИДОВИЧ — писатель, заслуженный деятель искусств (1999 г.), лауреат премии МВД СССР (1989 г.), родился 17 ноября 1941 года в поселке Мартук, Актюбинской области, в семье оренбургских татар. По образованию — инженер-строитель. 20 лет проработал в строительстве, и работа позволила ему изъездить страну вдоль и поперек. В молодые годы увлекался боксом, имел первый спортивный разряд. В партии никогда не состоял, большим начальником не был. В возрасте тридцати лет на спор с известным кинорежиссером написал рассказ «Полустанок Самсона», опубликованный в московском альманахе «Родники» и записанный на Всесоюзном радио. В 1975 году был участником VI Всесоюзного съезда молодых писателей, в одном семинаре с драматургом Ниной Садур.

В сорок лет оставляет строительство и становится профессиональным писателем. Он издал более сорока книг в главных издательствах СССР: «Молодая гвардия», «Советский писатель», «Художественная литература».

Широкую известность писателю принесла серия «Черная знать», в которую входят тетралогия романов: «Пешие прогулки», «Двойник китайского императора», «Масть пиковая», «Судить буду я» и тематически примыкающий к ним роман «За всё — наличными». Книги из серии «Черная знать» имели по десять, пятнадцать, двадцать изданий каждая. Это остросюжетные политические романы с детективной



интригой, написанные на огромном фактическом материале. В них впервые в нашей истории дан анализ теневой экономики, впервые показана коррупция в самых верхних эшелонах власти, включая кремлевскую. Показано сращивание криминала со всеми ветвями государственной власти. Первый роман тетралогии — «Пешие прогулки» — вышел в 1988 году в «Молодой гвардии» с предисловием известного критика и редактора журнала «Континент» Игоря Виноградова. Роман на сегодняшний день выпущен 24 изданиями (из них 4 раза по 250 тысяч экземпляров) и продолжает издаваться. После выхода романа на автора было совершено покушение, и он чудом остался жив, проведя 28 дней в реанимации и долгие месяцы в больницах. Ныне писатель — инвалид второй группы.

Американская газета «Филадельфия инкуайер» прислала специального корреспондента Стива Голдстайна в связи с покушением на писателя и посвятила этому событию целую полосу под заголовком: «Исследователь мафии». Позже известный романист выступал во многих европейских газетах по проблемам преступности, давал интервью. Это о Р. Мир-Хайдарове сказал в своей книге «На должности Керенского в кабинете Сталина» бывший и.о. Генерального Прокурора России О.И. Гайданов: «Ничего подобного я до сих пор не читал и не встречал писателя, более осведомленного о работе силовых структур, государственного аппарата, спецслужб, прокуратуры, суда и... криминального мира, чем автор тетралогии «Черная знать».

После покушения и выхода новых романов жизнь в Ташкенте стала для него невозможной: постоянные угрозы и шантаж, угнали машину, рассыпали набор романа «Судить буду я», запретили постановку пьесы режиссера В. Гвоздкова, написанной драматургом В. Баграмовым по роману «Пешие прогулки». И Мир-Хайдаров иммигрирует в Россию. Уже в Москве дописывается последняя книга тетралогии «Судить буду я», написан пронзительно грустный ретро-роман о жизни, о любви — «Ранняя печаль». В 1997 г. вышел роман о российской мафии, о жизни «новых русских», о крупных аферах в России — «За все — наличными», автобиографическая повесть «Мартук — пристань души моей» и мемуары «Вот и всё... я пишу вам с вокзала».



В молодые годы известный романист страстно увлекался футболом, дружил со знаменитыми футболистами своего времени: Михаилом Месхи, Славой Метревели, Гурамом Цховребовым, Геннадием Красницким, Станиславом Стадником, Берадором Абдураимовым. Театрал, меломан, любил и знал балет, дружил с народным артистом СССР Ибрагимом Юсуповым, учеником Юрия Григоровича. Поклонник джаза — был знаком со многими джазменами из оркестров Орбеляна, Цфасмана, Лунгстрема, Эдди Рознера, Кролла, Вайнштейна, Гаджиева, Гобискерри. Специально брал отпуск зимой, чтобы побывать в московских театрах, общался с Олегом Далем, Валентином Никулиным. Смотрел все знаменитые спектакли театра «Современник» конца 60-х — начала 70-х.

Ныне остались увлечение коллекционированием живописи и, конечно, писательский труд, любовь к которым оказалась сильнее и футбола, и джаза, и театра. Он — обладатель одной из самых больших частных коллекций современной живописи в России.

60-летний и 70-летний юбилеи были отмечены на государственном уровне на родине писателя, в Казахстане, в Казани, в Москве. В дни 60-летия в областном историко-краеведческом музее Актюбинска был открыт зал, посвященный знаменитому земляку, в нем выставлены 60 картин, подаренных им городу из его частной коллекции. Одна из улиц его родного Мартука названа именем Рауля Мир-Хайдарова (1996 г.). Там же, в Мартуке, открыт литературный музей писателя, и действуют два школьных музея. Р. Мир-Хайдаров — Почетный гражданин Казахстана, член редколлегии международного журнала «Аманат», представлен в энциклопедиях Казахстана, Узбекистана, Татарстана и Википедии. Щедро цитируется в «Толковом словаре ненормативной лексики» издательства «Астрель» 2003 г., автор Д.И. Квисилевич. В книге «Стиляги» имя Рауля Мир-Хайдарова часто упоминается наряду со многими известными людьми, бывшими в юности, как и он, стильягами.





Библиографическая справка

Романы:

- «Пешие прогулки» — роман (25 изданий)
- «Двойник китайского императора» — роман (18 изданий)
- «Масль пиковая» — роман (17 изданий)
- «Судить буду я» — роман (14 изданий)
- «Ранняя печаль» — роман (10 изданий)
- «За всё — наличными» — роман (12 изданий)
- «Вот и всё... я пишу вам с вокзала» — мемуары (3 издания)

Сборники романов, повестей и рассказов:

- «Полустанок Самсона» — рассказы
- «Оренбургский платок» — рассказы
- «Такая долгая зима» — рассказы
- «Путь в три версты» — рассказы
- «Знакомство по брачному объявлению» — повести
- «Жар-птица» — рассказы
- «Интервью для столичной газеты» — повести и рассказы
- «Не забывайте нас» — повести и рассказы
- «Дамба» — повести и рассказы
- «Чти отца своего» — повести и рассказы
- «Из Касабланки морем» — повести и рассказы
- «Седовласый с розой в петлице» — романы и повести
- «Налево пойдешь — коня потеряешь» — романы и повести
- «Масль пиковая» — роман и повести
- «Горький напиток счастья» — повести и рассказы
- «Судить буду я» — роман и повесть



Собрания сочинений:

Изд-во «Художественная литература» — однотомник

Изд-во «Голос» — собрание сочинений в 4-х томах

Изд-во «Грампус Эйт» — собрание сочинений в 3-х томах

Изд-во «Южная Пальмира» — собрание сочинений в 4-х томах

Изд-во «Идель-Пресс» — собрание сочинений в 5-ти томах

Изд-во «KAZAN-KAZANЬ» — собрание сочинений в 6-ти томах

Изд-во «Идель-Пресс» — собрание сочинений в 10-ти томах

Тетралогия «Черная знать», в которую вошли «Пешие прогулки», «Двойник китайского императора», «Мать пиковая», «Судить буду я», изданы тиражом более 5 миллионов. Два романа: «За все наличными» и «Ранняя печаль» изданы 18 раз тиражом более 2 миллионов экземпляров. Сборники романов, повестей и рассказов, переизданные многократно, вышли тиражом более 3 миллионов экземпляров.

Романы «Ранняя печаль», «За всё — наличными» и «Мать пиковая» записаны на аудиокассетах на 87 часов звучания. Книги переводились на многие иностранные языки и языки народов СССР. Почти вся проза имела журнальные публикации и записана на Всесоюзном радио, а также широко представлена в Интернете. В 2009 г. на российском телевидении в цикле «Имена» снят фильм о Рауле Мир-Хайдарове.

Общий тираж книг превышает 10 миллионов экземпляров.

e-mail: mrraul61@hotmail.com

сайт: www.mraul.ru









Ранняя печаль

Роман

Посвящается Ирине Варламовой

*Так мы и пытаемся плыть
вперед, борясь с течением,
а оно все сносит и сносит
наши суденышки обратно,
в прошлое...*

Ф.С. Фицджеральд

*Любить и звать тебя
последним шепотом
Евгений Рейн*

Кафе «Лотос» — большой приземистый стеклянный гриб, непонятно почему названный именем нежного цветка, — пользовался в городе дурной славой. Ни внутри, ни снаружи — ни столов, ни стульев, ни стоек. Более того, внутрь посетителям доступа не было, там властвовала хозяйка заведения, и все вокруг нее было заставлено ящиками, коробками, металлическими «сигарами» с колотым льдом. Общалась хозяйка с посетителями через узкое оконце с пожелтевшим стеклом. Так что, вряд ли «Лотос» мог притягивать посетителей своим комфортом или интерьером.

Дасаев приходил сюда прямо с работы и внешне мало чем отличался от здешних завсегдатаев: у многих в руках портфели, дипломаты, видно было, что большинство из них направлялось



в кафе прямиком со службы, так что он со своим кейсом не выделялся среди посетителей забегаловки. Обслуживали тут молниеносно... В первый раз не успел он, протягивая рубль, сказать, чтобы ему дали бутылку минеральной воды, как хозяйка в сбившемся набок парике отточенным движением опрокинула в стоявший наготове тяжелый граненый стакан содержимое початой бутылки вина и наполнила его до краев, не пролив на влажную стойку ни единой капли. Этот ловкий, натренированный жест так восхитил Рушана, что он безропотно взял стакан, забыв о минеральной воде. Скорее всего, из-за этого привычного для всех стакана вина никто и не обратил на него внимания. И хотя он знал, что это за заведение, любопытство не покидало его: здесь было на что посмотреть.

Вокруг «Лотоса» текла, кипела, бурлила совершенно не знакомая для него жизнь, но сказать, что тут толкнутся одни пьяницы или люди, мучающиеся с похмелья, — значило сделать поспешный вывод, хотя, скорее всего, были здесь и те, и другие.

А народ вокруг собирался прелюбопытный, и какие разговоры велись: о нефtedолларах, об «Уотергейте» и еврокоммунизме, об экстрасенсах и тамильской хирургии, об агропромышленных комплексах и компьютерах! Дасаев однажды услышал даже чье-то высказывание о балете Мориса Бежара, которому оппонент противопоставлял штутгартский балет Джона Кранко, но затем оба пришли к согласию и перескочили на разговор о симфоническом оркестре Герберта фон Караяна, от Караяна перешли к ежегодному эдинбургскому фестивалю современных искусств, причем вскользь упомянули композитора Бенджамина Бриттена и дирижера Зубина Мету, от фестиваля — к Фонду Гуггенхайма в Америке и к Рокфеллер-центру... Действительно, джентльменский клуб, и беседы куда интеллектуальнее, чем у них в прорабской или в тресте — там страсти разгорались все больше вокруг быта.

Дасаев с интересом разглядывал завсегдаев, которых видел раньше лишь издали. У всех этих людей имелась общая примета — ни на ком не было ни одной новой вещи, словно все они дали зарок, что с определенного дня не потратят на подобную чепуху ни копейки. А если присмотреться более внимательно, то по одежде можно было приблизительно установить и время, когда был дан такой «зарок».



Например, вон тот человек в однобортном костюме с высокой застежкой на четыре пуговицы и в коротеньком, смахивавшем на детский, галстуке, «зарекся» уже давно, — в те годы Дасаев еще учился в институте. Рядом с ним — мужчина в пиджаке с непомерно широкими бортами и в расклешенных брюках, — так одевались щеголи лет десять-двенадцать назад. Были тут и мужчины в дакроновых костюмах, столь модных в шестидесятые годы, но давным-давно потерявших свой блеск и былой шик.

Нейлоновые рубашки, твидовые тройки, пиджаки первой вельветовой волны, китайские пуховые пуловеры, остроносые мокасины, туфли на высокой и тяжелой «платформе», запонки и галстучные булавки, всевозможные шляпы, не знающие износа габардиновые и бостоновые костюмы говорили внимательному человеку о многом — о судьбе владельца. Ведь каждая ныне затрепанная, изношенная, лоснившаяся вещь некогда была не просто одеждой или обувью, а модной, изысканной для своего времени, и это свидетельствовало о том, что хозяин ее знал куда лучшие времена и когда-то чутко улавливал пульс моды.

Продолжая этот своеобразный экскурс в прошлое, Дасаев не без удивления отметил, что всех этих разномастно, разностильно одетых людей отличала странная и, на первый взгляд, непонятная особенность: одежду свою каждый старался поддерживать в чистоте и аккуратности, можно даже сказать, относился к ней с тщательностью, недостойной всех этих давно устаревших вещей. Галстук, как он заметил, был здесь необходимым аксессуаром и словно утверждал некий статус владельца, держал того на плаву. Неважно какой: мятый, засаленный, капроновый, шерстяной, атласный, шелковый, кожаный, самовяз или на резиновом шнуре, узкий, широкий, длинный, короткий — все равно, лишь бы быть при галстуке.

Обратил внимание Рушан и на то, что из верхнего кармашка пиджака у многих виднеется свежий платочек; бросалось в глаза, что и обувь у большинства надраена до блеска. Но самое удивительное, что отметил бы даже человек невнимательный, — среди посетителей не было ни одного небритого, и волосы у всех, особенно у тех, кто носил пробор, были тщательно расчесаны, волосок к волоску. Видимо, существовал в этой среде свой неписанный закон, тот эталон или порог, ниже которого опускаться считалось неприличным.



К «Лотосу» Дасаева влекло нечто большее, чем праздное любопытство, и он частенько приходил сюда с заранее заготовленным рублем, так как почувствовал, что более крупная купюра может вызвать недоверие к нему.

Когда он подходил к «стекляшке», с ним молча, но учтливо, а некоторые, можно даже сказать, нарочито изысканно раскланивались, а обладатели шляп — люди, как правило, постарше Дасаева, — джентльменским жестом приподнимали над изрядно польсевшими затылками головные уборы, давно потерявшие цвет и форму, — подобная галантность вызывала улыбку, которую он с трудом скрывал.

Но высшая почеть, оказанная ему, — а может, это было всего лишь традиционным вниманием к новичку, Рушан не успел разобраться до конца, — заключалась в другом. Он уже обратил внимание на то, что у окошка, где так быстро и ловко разливали вино, никогда не было суеты и толчеи, никто не пытался пролезть без очереди — наверное, здесь это считалось дурным тоном, хотя очередь выстраивалась почти всегда немаленькая. Так вот, завсегдатаи почему-то выделили Дасаева: стоило ему подойти к последнему, как тот оборачивался к нему и великодушным жестом приглашал вперед. Так же поступал и каждый следующий, пока Дасаев, благодарно кивая головой, не оказывался у вожделенного окошечка.

Удивительно, но общение, ради которого эти немолодые мужики стекались сюда, наверное, со всего города, не было, на взгляд Рушана, навязчивым, бесцеремонным, — большей частью они держались небольшими группами, но компании эти тасовались чуть ли не каждые полчаса: одни уходили, приходили другие, опять сбиваясь по непонятным для него интересам. Немало было и таких, как он, кто молча, в одиночку коротал время за стаканом вина, и право всякого на подобную свободу тоже уважалось здесь, — по крайней мере, в напарники к нему никто не набивался, хотя он чувствовал: подай он только знак, изъяви желание — собеседники или компаньоны вмиг найдутся. Здесь никто никого не торопил, как никто и не удерживал, каждый «созревал» сам, в одиночку, чтобы в итоге стать частью целого и уже до конца дней своих застыть навсегда, как в музее восковых фигур, в том одеянии, в котором появился у «Лотоса» в первый раз...



Не все вокруг «стекляшки» и не сразу стало понятным Дасаеву, но открытия, сделанные путем личных наблюдений, иногда поражали его. Так, он заметил, что у «Лотоса» никто не просил и не занимал денег — по крайней мере открыто. О том, чтобы кто-то сшибал копейки, как случалось у многих питейных заведений, здесь не могло быть и речи. С рубля за стакан портвейна полагалась на сдачу даже серебряная монетка, о которой наверняка знал каждый, но никто эту монетку не требовал, — это был, как им, наверное, казалось, щедрый жест «на чай», привычка еще из той, оставшейся позади, безбедной жизни.

Однажды Рушан заметил, как по соседней аллее тоскливо, с завистью посматривая в сторону «Лотоса», прошел вконец опустившийся пьяница, но подойти не решился — сработало, видимо, некое табу, тоже поначалу непонятное Дасаеву. Но как-то, когда он дома размышлял о завсегдаемых «стекляшки», его осенило: «Лотос» — последняя черта, рубеж для катящихся вниз, и пока они в состоянии приходить сюда, поддерживая выработанный ими же статус, они числят себя еще достойными уважения людьми. А может быть, еще проще, — они считают себя элитой среди пьющих? Ну, конечно, элитой, как ни смешно и грустно это звучит в приложении ко всем этим людям. Отсюда и галстуки, и учтивые разговоры, и комичная галантность, давно ушедшая из общения нормальных людей, и тщательные проборы в давно не мытых, посеченных, редких волосах, и кокетливый платочек в кармашке затертого пиджака. И для них единственное место на свете, где есть возможность, хоть и призрачная, поддержать давно утраченное достоинство — это «Лотос»: он как соломинка для утопающего. Здесь, приобретая на свой мятый рубль — может быть, заработанный в унижениях, — стакан вина, пьющий как бы говорил своим многочисленным недоброжелателям: «Видите, я не бегу в магазин за бутылкой за тот же рубль и не скидываюсь на троих в подворотне. Для меня главное не выпить, я пришел в кафе пообщаться с интересными людьми — посмотрите, кого здесь только нет!»

Что и говорить, контингент у «Лотоса» действительно собирался не только живописный, но и разношерстный. Многие забегали сюда после службы, о чем свидетельствовали



потрепанные, под стать хозяевам, портфели, хотя чаще в ходу у завсегдатаев были давно вышедшие из моды и обихода кожаные папки. Порою Дасаеву казалось, что здесь собрались последние владельцы подобного антиквариата. Вероятно, наличие портфеля и папки, так же, как и галстука, вселяло в их хозяев некую уверенность в своих силах, а может быть, по их шаткому убеждению, являлось атрибутом связи с тем ушедшим вперед миром, в котором они, считай, уже и не жили, а так, заглядывали иногда. То были специалисты разного уровня, опускающиеся все ниже и ниже по служебной лестнице. Служили они, скорее всего, в каких-то несчетно расплодившихся в последние годы конторах, обществах, товариществах, потому что трудно было представить их работающими в серьезных, солидных учреждениях, где требовалась полная отдача.

Первое впечатление о широте тем и интеллектуальности бесед, ведущихся возле «Лотоса», у Дасаева вскоре развеялось, и вовсе не потому, что приверженцы портвейна вдруг перестали вещать о еврокоммунизме или тибетской медицине. Тематика разговоров по-прежнему удивляла его, но он понял и другое: беседы носили случайный, поверхностный характер, они, так же как портфель или галстук, помогали этим людям ощущать себя все еще причастными к другой, настоящей духовной жизни.

Желание узнавать новое, сопереживание, осуждение или одобрение — эти простые человеческие чувства для них уже перестали быть жизненной необходимостью. Да и на работе, если она у них действительно была — ведь наличие портфеля не обязательная тому гарантия, — их уже вряд ли кто воспринимал всерьез, равно как и дома, в семье. А им всем ох как нужно было внимание, — ведь это настоящая потребность человека — чтобы его кто-то слушал и, самое главное, понимал. Гайд-парка у нас нет и не предвидится, а «Лотос» — вот он, рядом, здесь тебя выслушают с вниманием, возразят тебе или поддадут, здесь ты не один, здесь ты свой. Вот и приходили они в свой собственный «Гайд-парк», нашпигованные обрывочными эффектными сообщениями из газет и журналов — благо, информации в наш век хватает с избытком, а времени свободного у них было хоть отбавляй.

Большинство посетителей «Лотоса» держались тихо, мирно, несуетливо, некоторые даже с осторожностью, с какой-то



опаской, — видимо, не раз их была жизнь и приходилось обжигаться. Таких выдавали глаза: затравленные, жалкие, в них не читалось ни силы, ни желания вступить в какую бы то ни было борьбу, даже за себя.

Вольнее, свободнее чувствовали себя люди творческих профессий или выдававшие себя за таковых. Один — очень шумный потрепанный блондин в сандалиях на босу ногу и в легкой курточке из синтетической ткани, прожженной кое-где сигаретой, — представлялся всем журналистом. Он направо и налево сыпал именами известных корреспондентов, заговорщицки сообщал о каких-то грядущих переменах и перемещениях, известных пока лишь в узких и привилегированных кругах. Уверял, что его наперебой зазывают то в одну, то в другую солидную газету, но он не желает продавать в рабство свое золотое перо, поскольку в штате там сидят одни подхалимы и бездари, а он не намерен своим талантом способствовать их успеху. Одного трезвого взгляда было достаточно, чтобы понять, что не только в газету, но и в любое мало-мальски порядочное учреждение путь этому еще не старому человеку уже заказан — слишком долго пришлось бы думать, прежде чем решиться доверить ему хоть какое-то дело.

Особое оживление вызывало у посетителей кафе появление некоего поэта, чувствовалось — здесь его любили. Периодически, словно уверяя других — а прежде всего, наверное, себя, — что он действительно поэт, тот вынимал из своего постоянно разбухшего портфеля потрепанные газеты и какой-то журнал без обложки — судя по объему и формату, явно не литературный, — где была опубликована подборка его стихов. Видно было, как он дорожит этим журналом, на страничке которого со стихами соседствовала фотография автора. Ходили слухи, что журнал не однажды сослужил поэту неоценимую услугу в вырезателях, где он требовал к себе особого отношения как к творческой личности.

Внешне поэт ничем не отличался от завсегдатаев «Лотоса»: та же классическая прическа с безукоризненным пробором, лоснящийся костюм, в любое время года — неснашиваемые зимние ботинки на каучуке и непрменный атрибут, выделявший его даже из этой живописной толпы — ярко-красный платок на тонкой морщинистой шее. Он тоже никогда



не стоял в очереди за портвейном — толпа почтительно уступала кумиру место у стойки. Выпив, поэт быстро озлоблялся, что невыгодно выделяло его среди обычно мирных посетителей «Лотоса», и начинал крикливо читать свои стихи, комментируя их непечатным текстом, — подобная вольность разрешалась ему одному. Наверное, когда-то он был не без искры божьей, но злоба, душившая его изнутри, не позволила ему стать настоящим поэтом, — так, по крайней мере, казалось Дасаеву. Жестокими, недобрыми были его стихи. Частенько Серж, как звали поэта, уходил, забыв свой портфель, который бережно передавали внутрь «стекляшки», где он день-другой, а иногда и неделю дожидался хозяина, воевавшего, очевидно, в газетах и журналах с редакторами-чинушами.

Поэтов, кроме Сержа, приходило несколько, но всем им было далеко до популярности мэтра с эффектным шейным платком, и в очереди за портвейном они стояли на общих основаниях. Поэтому, наверное, испытывая нескрываемую зависть к удачливому «собрату по перу», его популярности в «Лотосе», молодые коллеги демонстративно игнорировали Сержа, зато между собой держались подчеркнуто дружелюбно и вели сугубо светские разговоры, — именно от них Рушан услышал о балете Мориса Бежара. Они распространяли слухи, что Серж безнадежно старомоден и на его затасканных рифмах далеко не уедешь, но все это ничуть не вредило славе первого поэта «Лотоса», скорее наоборот. И, как ни крути, никто из них не печатался в журнале с подборкой стихов и портретом. Да и смелости им, пожалуй, не хватало — никто ни разу не рискнул почитать свои стихи вслух, хотя общество иногда, в отсутствие Сержа, разумеется, просило об этом, вероятно, ощущая эстетический голод. Но стихи друг друга они читали, — Рушан не раз был тому свидетелем. Допускали они порою в свое общество и нескольких музыкантов, которых, к его удивлению, оказалось здесь больше всего. Находились тут даже свои непризнанные композиторы, не было, пожалуй, только дирижера, но за это Дасаев поручиться не мог, ведь заглядывал же в «стекляшку» человек с брюшком, к которому на полном серьезе обращались: «Товарищ прокурор...»

За то время, что Рушан заживал в «Лотос», он повидал многих посетителей странного заведения. Видел, как пропадали



одни примелькавшиеся лица или даже целые компании, как их место занимали другие, не знакомые ему, но явно свои люди в «стекляшке». И Дасаев мысленно вычислял, куда пропадали, где проводили время те, кто периодически исчезал из «Лотоса». Он не был равнодушным, по-человечески ему было жаль их, особенно некоторых, безвольных, но еще не потерявших до конца человеческий облик, из последних сил цеплявшихся за нормальную жизнь, которым «Лотос», как ни иронично это звучит, казался спасительным островком, где они еще чувствовали себя людьми.

Родилась подобная мысль не случайно. Как-то Рушан обратил внимание на человека средних лет по прозвищу Инженер, о котором говорили, что он мужик головастый и некогда вроде был большим начальником. Сейчас, глядя на Инженера, вряд ли можно было предположить, что у него есть постоянная работа, хотя порою казалось, что он чем-то занят, при деле. Поразительно менялся человек, когда он был занят, — это улавливал не только Дасаев, но и многие посетители «Лотоса». В такие дни вокруг Инженера становилось особенно многолюдно, оживленно, и не только потому, что он был при деньгах, скорее оттого, что Инженер увлеченно говорил о своей службе, планах, громко объяснял, какие реформы он проведет на предприятии, где так безобразно запущено хозяйство. Дасаев порадовался тогда, что человек встал на ноги, порадовался и за других, с загоревшимися глазами глядящих на Инженера, по-хорошему завидующих ему.

Потом Инженер вдруг перестал появляться, и Рушану казалось, что хоть один на его глазах сумел вырваться из винных пут. Но прошло немного времени, и Инженер тихо, незаметно, как-то бочком, словно чувствуя вину, что не оправдал своих и чужих надежд, снова объявился в «Лотосе». Весь его помятый вид красноречиво говорил о том, что он уже давно забыл о работе и планах, ночевал где попало, а в последние дни, вероятно, пропадал на рынках и вокзалах.

Возвращение к «стекляшке» завсегдатаи восприняли как крушение надежд не только Инженера, но и своих тоже. Однако оценили главное — что и на сей раз ему удалось найти силы не скатиться на самое дно, привести себя в относительный порядок и вернуться к «Лотосу». В том, что этот



страшный путь время от времени проделывал почти каждый из завсегдатаев кафе, Дасаев уже не сомневался.

Незаурядных людей, некогда подававших большие надежды, тут отиралось немало. Частенько Дасаев видел здесь жалкого человечка, бывшего пианиста, который уже в восемнадцать лет концертировал с симфоническим оркестром. Какое ему прочили блистательное будущее! А теперь, глядя на спившегося маэстро, Дасаев при всем желании не мог представить его громкого прошлого.

В часто меняющемся калейдоскопе выпивох Рушан однажды углядел человека, бывшего в свое время известным футболистом, кумиром сотен тысяч болельщиков, которого восторженные поклонники и местная пресса порою сравнивали с Пеле и Беккенбауэром. То, во что превратился энергичный молодой красавец, некогда покорявший сердца сотен людей талантом и филигранной техникой, заставило Дасаева задуматься. Во все времена врачи и знахари бились в поисках средств омоложения человека, продления его жизни. И, хоть достигло человечество на этом тернистом пути каких-то успехов, все же результаты эти так ничтожны, что обнадеживает лишь тот факт, что шанс, надежда все же существуют. Зато каких грандиозных результатов достиг, и без помощи науки, человек в разрушении своего организма! Рушан ведь помнил, какой подвижностью, быстротой мышления, реакцией, силой, даже внешней красотой обладал этот еще относительно молодой мужчина, медленно тонущий в вине сегодня...

II

Рушану почти пятьдесят. Немало... Помнится, у Фадеева в «Разгроме» он вычитал фразу: «В бане мылся старик сорока с лишним лет». Тогда, в молодости, это определение не задело его ничуть. А сейчас казалось просто дикостью. Если уж в сорок лет — старик...

Вроде рано ему подводить итоги, но слишком часто одолевает душу грусть, и все чаще долгие вечера дома, в Ташкенте, он простаивает у давно не мытого окна, и странные картины видятся ему в грязном дворе. Иногда кажется, что



он одновременно пишет, читает и экранизирует какую-то книгу, роман без начала и конца, где мелькают множество героев, но чаще почему-то вспоминается мальчик в кузове полуторки...

Год 1949-й, Рушану восемь лет... Он хорошо помнит тот празднично-кумачовый день с транспарантами повсюду, видит полуторку местной артели, где работает его отчим-фронтовик. Вот машина уже собралась отъезжать на парад, на соседнюю улицу захолустного райцентра, но в последний момент через борт кузова, забитого стоящими со знаменами людьми, подняли мальчика. Удивительного мальчика — на нем застегнутый по горло китель цвета хаки и аккуратные брючки, только без лампасов.

Мысль о лампасах возникает сразу, потому что кругом, куда ни глянь, цветные портреты вождя — отпечатанные на прекрасной мелованной бумаге, они тщательно наклеены на фанерные листы, а то и взяты в рамки под стеклом, их несут во главе каждой колонны, как прежде в церковные праздники носили иконы с изображением святых и Иисуса Христа. У мальчика такой же парадный костюм, как и у вождя, слева же, над кармашком, сияет чужеземный орден, должно быть, отцовский. Грудь мужчины, передавшего белобрысого мальчишку в машину, увешана орденами и медалями, которые при ходьбе чудесно позванивают, сверкают серебром, золотом и медью.

Мальчишки, собравшиеся у артели, где на утреннике вручали подарки, поглядывают на машину с завистью. Им-то придется идти пешком на «Красную площадь» — закуток у райкома партии, где в пыльном скверике стоят напротив друг друга два гипсовых коротконогих вождя, подновленных к празднику золотой краской.

Мальчик, одетый под генералиссимуса, Рушану не знаком, не было его и на утреннике в артели, и он спрашивает у своего товарища, кто этот счастливчик. Кто-то сзади подсказывает: «Женя Дудченко», — но фамилия Рушану ничего не говорит, у них в школе нет такого ученика.

Мартук — степной поселок, расположенный почти у самой границы между Европой и Азией — не велик, но и не мал, главное его достоинство в том, что раскинулся он при железной дороге, и здесь останавливаются все поезда, спешащие в далекие сказочные города: Ташкент, Алма-Ату, Сталинабад, и даже в какой-то Курган-Тюбе или Джалал-Абад.



После войны поселок стал бурно строиться, в райцентр потянулись люди из глухих степных аулов и дальних казацких станиц Зауралья, но больше всего было беженцев с Запада. Рушан живет в старинной части Мартука, мусульманской, так называемой Татарке, где селились преимущественно татары, казахи, башкиры, а в последние годы и чеченцы.

Наверное, белоголовый мальчик был из новых переселенцев и жил на другом краю села, но в память почему-то западает — «Женя Дудченко». Так случилось, что Рушан столкнулся с ним в жизни еще один раз, когда перед отъездом в Ташкент недолго работал в том же поселке прорабом на строительстве крупного элеватора. Женя тогда только вернулся из армии и искал работу, с чем всегда в райцентре были проблемы. Рушан, конечно, помог ему устроиться. Был Женя в то время рослым, статным, удивительно обаятельным парнем, таким и остался в памяти...

Вскоре Рушан уехал из родных мест и лишь изредка, наездами, бывал в гостях у родителей. Помнится, в один из таких дней поехали на речку Илек, тогда еще полноводную, не загаженную сбросами заводов. Братва в основном подобралась шоферская, и когда стали вспоминать давние годы, вдруг всплыла фамилия того мальчика, — оказывается, он работал в городском ГАИ.

Они никогда не были ни друзьями, ни врагами. Их жизни, интересы не пересекались, если не считать, что оба были земляками, выходцами из бедного пристанционного поселка, который и для Рушана, и для Жени — та самая малая родина, куда их иногда тянет с неодолимой силой и тоской.

Наверное, порой вспоминаются ему летние ночи в сонном поселке, когда высокий лунный свет скрадывает убожество запущенных улиц, и пыльные, сомлевшие от азиатской жары палисадники с завядшей сиренью и отцветшей акацией кажутся прекрасной декорацией к какой-то другой, нездешней жизни. А, быть может, видится зима с ее снегопадами, улицами в сугробах, и теплые огоньки за стеклами прихваченных морозом окон, и как тянутся к стилому небу синие струйки дыма. И, наверно, хоть раз в жизни да пришло на ум, что определение из пушкинской строки — «дым Отечества» — и есть эта хилая струйка дыма из обвалившейся печной трубы отчего дома.



А, впрочем, может, все совсем и не так, и ничего такого ему не видится и не слышится, и не тянет его в поселок у железной дороги, где за прошедшие годы мало что изменилось, и все, как и повсюду, медленно приходит в упадок...

Рушан ведь совсем не знает этого парня, никогда не разговаривал с ним по душам, не сидел рядом в шумном застолье, не знает, кто стал его женой, есть ли у него дети. А может быть, жена Дудченко — бывшая одноклассница Рушана или девушка с Украинской улицы, какая-нибудь очаровательная хохотушка, которую он легкомысленно целовал темной ночью, провожая с танцев? Наивный юношеский поцелуй, не обязывавший ни к чему ни его, ни ее... Оборвалась связь времен, истлели нити, соединявшие с отчим домом...

Молодые так спешат вырваться из родного гнезда — непонятно куда и зачем. Торопливо женятся, бывает, даже по любви, на девушках из далеких мест, или выходят замуж за пришлых «принцев», и поездка к ее или его родным превращается в пытку для одного из новоиспеченных супругов, ведь каждый тоскует о своем доме, каждому снится своя река, родная улица, верные друзья. С годами, чтобы не обижать друг друга, перестают навещать и тех, и других родителей, ездят в переполненный ад — Сочи или Ялту, и корни обрываются вовсе. Вот только когда незаметно подкрадутся сумерки жизни, истает ясный день молодости, который и не заметил в вечном круговороте бытия, вспомнишь вдруг, до спазма в горле, мальчика в полуторке, и пожалеешь о том времени, когда можно было перейти улицу, распахнуть соседскую калитку и сказать загадочному дружку: — Здравствуй! А помнишь?..

Может, оттого иногда часами невозможно отойти от давно не мытого окна на четвертом этаже, откуда взгляд упирается в унылый двор, но видит совсем иное, и душа порой так поздно прозревает... И до боли хочется узнать, что же стало с теми, с кем ты делил свои первые радости, ходил в одну школу, сидел за партой, жил на соседних улицах, в одном квартале, с кем с неподдельным волнением и радостью вступал в пионеры, грелся у костров бедных летних лагерей первых послевоенных пятилеток. Где они все, что случилось с ними?

Где затерялся след учившейся вместе с ним всего две зимы рыжеволосой Валечки Великдановой, похожей на белочку? —



ее отец служил милиционером на станции. Где ныне Диночка Могилева, дочь секретаря райкома? А мальчик Вилли, появившийся в поселке в конце войны и живший с отцом на соседней улице в землянке, которую даже в бедном поселке язык не поворачивался назвать домом, избой и вообще человеческим жильем? В слове «землянка» для тех, кто не изведал, что это такое, слышится нечто теплое, удобное, — наверное, этот самообман породила знаменитая песня. Что стало с Вилли, вспоминает ли он в своем сытом Гамбурге о степном поселке, где так отчаянно защищал футбольные ворота и уже бойко говорил и по-казахски, и по-татарски? О Вилли и его отце вспоминали в поселке долго, потому что они уехали в Западную Германию в начале пятидесятых. Ходили слухи, что у них отыскался весьма влиятельный родственник, не то генерал, не то банкир. Тянется ли человек в богатой Германии хоть мысленно к степному поселку, где прошли его невозвратные детские годы, или же он постарался поскорее забыть обо всем — голоде, холоде, вшах, унижениях и оскорблениях, земляной конуре, где ему пришлось жить? Никогда не получить ответа, — след Вилли затерялся навсегда... И оттого изредка так сожмет тоской сердце...

Почему-то вспоминается второгодник Коля Верноквас. Лет двадцать назад Вернокваса расстреляли, — оказывается, вечный двоечник, не одолевший школу дальше пятого класса, стал главарем банды в Ростове, занимавшейся разбоем, и за ним числилось не одно убийство...

Двоечник Верноквас напомнил ему и другой любопытный случай. Год 1964-й — Рушан уже живет в Ташкенте. Перед матчами любимого «Пахтакора» они с друзьями собираются по традиции в баре ресторана «Ташкент», от которого до стадиона десять минут хода, мимо прекрасного сквера Гагарина, раскинувшегося вдоль текущей с ледниковых гор реки Анхор.

Бар в отеле не имеет свободного доступа, проход через гостиницу, где дежурят валяжные швейцары в шитых золотом мундирах, и через ресторан, где на входе стоят бесцеремонные вышибалы. Но Ибрагим-балетмейстер и Нариман-аптекарь, о которых, в свой черед, еще много будет сказано, тут свои люди, завсегда таи. Для них любезно распахиваются в Ташкенте любые двери. За столом они вчетвером, перед ними изящная хрустальная ваза с фисташками и две охлажденные бутылки



белого сухого вина «Баян-Ширей», вино только пригубили, дожидаются запаздывающих друзей. Ибрагим, как всегда жестикулируя, азартно рассказывает о предстоящей премьере балета композитора Кара-Караева «Тропюю грома». В это время со стороны ресторана в зал вбегают высокий юноша лет восемнадцати, в кепи-аэродроме, ярких голубых брюках и пестрой, навывпуск, рубашке и плюхается в глубокое кожаное кресло у них за столом. Одним движением руки он срывает с головы свое модное кепи и бросает его под стол, и тут же, без суеты, берет бутылку и наполняет стоящий перед ним чужой пустой бокал, разворачивается к говорящему лицом — весь внимание, уважение. Все это незванный юный гость проделал за секунды, с блеском, артистично, никто со стороны, даже если бы и видел, не подумал, что за столом появился чужак. Ибрагим, не изменяя тональности, продолжает рассказывать о грядущей премьере. Не прошло и пяти минут, как юноша встал, поблагодарил за вино и, очень галантно раскланявшись, не спеша покинул ресторан, но уже через гостиницу.

Рушан спросил: кто это? Ибрагим, не желая отвлекаться от любимой темы, обронил: Ромка-Курятник, у него сестра такая красавица! Но тут подошли запоздавшие друзья, и продолжения разговора о Ромке-Курятнике и балете Кара-Караева не получилось — футбол торопил.

Чуть позже, до землетрясения, Рушан несколько раз встречал этого юношу из известной еврейской семьи с набриолиненным коком у кинотеатров «Искра» и «Молодая гвардия», украшавших ташкентский «Бродвей», там всегда тусовалась «золотая молодежь» столицы. Но даже среди элитной толпы он выделялся — рослый не по годам, одетый с вызывающей яркостью, с нескрываемой на лице надменностью к окружающим.

После печального землетрясения в Ташкенте не стало ни «Бродвея», ни «Искры», и Рушан никогда больше не встречал Ромку-Курятника и даже не слышал о нем... Что бы это означало? И почему он тогда бесцеремонно ввалился к ним, взрослым, авторитетным молодым людям, в баре за стол? От кого, почему убежал? Это осталось для них тайной. Но... забытая тайна откроется спустя сорок лет.

Наткнувшись случайно в газете на сообщение о Ромке-Курятнике, Рушан, конечно, вспомнил далекие шестидесятые



годы, Ташкент, футбольный день в баре знаменитого ресторана и юношу-стилягу с надменным выражением лица, вечно торчавшего на «Бродвее» у рекламных афиш сгинувшей навсегда «Искры». Он с грустью подумал, что есть сотни достойных людей, близких его сердцу, но о них никогда не появится печатная строка, даже некролог. А о смерти Ромки-Курятника написали все центральные газеты России, о бульварной прессе и говорить не приходится. Сообщение гласило: «Сегодня, на рассвете, в Москве, рядом со своим домом убит известный в криминальном мире 55-летний Роман Александрович Беренштейн, по кличке Ромка-Курятник. Убитый возвращался из казино, где всю ночь играл по-крупному в карты, и уехал под утро на своем «Мерседесе» с солидным выигрышем.». Дальше в статье с фотографией рассказывалось о жизненном пути выдающегося картежного игрока, начинавшего свой путь в жарком Ташкенте. Курятник, оказывается, рано перебрался в Москву и быстро стал в столице известным «каталой», авторитетным человеком в уголовном мире. В статье говорилось, что последние годы он часто выступал в роли третейского судьи, разводил конфликтующие стороны, где спор шел на миллионы долларов. А такое доверяется только очень авторитетным людям. Намекалось, что и смерть его связана с каким-то судебным решением, а не с картами. Картежный выигрыш и пистолет, который Ромка-Курятник успел все-таки достать, остались при нем, что подтверждало версию милицейских экспертов.

Вот так, запоздало, открылась Рушану еще одна не нужная ему тайна чужой жизни.

Дасаеву нет и пятидесяти, но до пенсии ему осталось немного — прорабская работа тяжелая, а он почти тридцать лет отдал стройке. Тягу к размышлениям он обнаружил в себе поздновато и ни с кем не делился своими взглядами на жизнь, открывал новые истины для себя, и откровения эти прежде всего касались его самого.

Все то, к чему он приходил неожиданно для себя, давно было отражено в мудрых трактатах, и об этом не одно поколение писателей и философов создало горы книг, но ведь то был опыт чужой жизни, чужие открытия, а тут он до всего доходил сам, спонтанно, устремив невидящий взгляд в окно.



Хотя сложно сказать, невидящим был этот взгляд или, наоборот, видящим чересчур много, особенно в прошлом..

Возможно, попытайся Рушан изложить свои мысли на бумаге, они превратились бы в банальность, а потому и не заслуживали бы внимания. Но в том-то и дело, что он не умел, да и не хотел философствовать абстрактно, а все переводил на себя или на тех, кого знал, кого любил, с кем общался. Потому и всплыли в памяти мальчик Вилли и хрупкая девочка Роза Хамидуллина, учившаяся в соседнем классе. Рушан помнит ее на новогодней елке, в костюме «Ночи». Обыкновенная марля, выкрашенная в черный цвет, вся была расшита звездочками из серебристой фольги — обертки дешевого плиточного чая, — бедность всегда неистощима на выдумки и фантазию. А на голове у девочки, как у настоящей царицы, сияла корона из все той же фольги; на короне уже другой, золотистой фольгой из-под шоколадных конфет, было написано — «1951-й год».

Теперь трудно докопаться, почему он так часто стал вспоминать прошлое и как назвать эти его почти каждодневные экскурсии в детство и юность. Что это было? Только ли воспоминания? Но воспоминания возникают случайно, по настроению, они наплывают сами собой, помимо твоей воли, сознания. Нет, определение «воспоминания» не отражало его душевного состояния: он «писал» и одновременно «перелистывал» книгу о самом себе, своих друзьях, любимых, о времени, годах, так быстро отшумевших.

Занятый долгие годы каждодневным изнурительным трудом, он не успел их толком прочувствовать, а теперь запоздало вглядывался в давно забытые лица, события, пытаясь осмыслить их заново, с высоты житейского, что ли, опыта. Казалось, он читал вечную книгу, без конца и начала, и в нее постоянно вписывались все новые и новые главы: некоторые события время от времени переосмысливались, представляли в ином ракурсе, и оттого менялся изначальный смысл происшедшего или сложившийся образ.

Он, конечно, знал, что сейчас выпускается изрядное количество книг, так хитроумно закрученных авторами, что зачастую там не найдешь ни начала, ни конца, а порой даже сюжета и героя, — понимай, как заблагорассудится. Такие книги доставляют немало радости ретивым критикам — вот где есть



возможность развернуться! Можно говорить о чем угодно и даже путаннее, чем сам писатель, можно гордо, претенциозно называть такой подход «моим прочтением» и давать тому или иному литературному течению свои хлесткие, заумные определения: «параболическая, интеллектуальная, спиральная, синусоидальная проза, поток сознания, мироощущения». Но все это от лукавого, от скрещивания чужих идей, чужих мыслей, опыта чужой жизни, — так сложилось, так и есть. Он и над своей-то судьбой не был толком властен, а что уж говорить о чужих, — не бог и не судья. Однако Рушану все чаще казалось, что он не только читает, но и пишет эту книгу, хотя, кроме огромных ежемесячных и материальных отчетов, никогда и ничего не писал, и лавры писателя его нисколько не прельщали, Дасаев знал свой удел и не слишком возносился в мечтах, да и вообще уважал людей, знающих свое место и свое дело.

Почувствовав, что пройдена значительная часть пути, подрастеряв друзей и близких, он ощутил, что уходят не просто время, поколение, близкие люди, — вместе с ними навсегда исчезают правила, привычки, стиль, манеры, традиции, лексика, юмор, песни, даже пейзаж, атмосфера и быт, и этот скорбный список прораб Дасаев мог бы продолжать бесконечно, слишком многое неразумно и торопливо вытеснялось из жизни. И никогда, — казалось ему в грустные минуты раздумий, — другие, идущие следом поколения, уже не узнают, как они жили, о чем мечтали — тысячи и тысячи людей...

Ему было жаль своего уходящего, не обласканного судьбой, поколения, но еще больше тяготило сознание, что уходят они, почти не оставив заметного следа в духовной жизни страны или в истории. Ведь об интеллигенции, даже самых непутевых ее представителях, написано столько книг — как они любили, страдали, как они несчастны и как жизнь зачастую несправедлива к умным и талантливым! В такие минуты ему хотелось во весь голос спросить: «А мы счастливы? К нам жизнь была милостива? Разве мы не любили, не мечтали?»

Когда накатывало такое настроение, его так и подмывало сесть за стол и написать большую книгу, где он обязательно проследил бы жизнь своей одноклассницы Верочки Пайзюк, которую никогда не встречал после окончания школы, и Толика Чипигина, любившего эту Верочку, хотя Чипигина давно



уже нет — умер от обычной ангины. Написал бы, наверное, и о зеленоглазой Томочке Солохо (это ее старший брат Толик утонул в озере, спасая незнакомую девушку), и о своей соседке красавице Вале Панченко, из-за которой однажды состоялось настоящее побоище между ребятами из ремеслухи, проходившими на станции практику, и местными парнями во главе с Аликом Штайгером.

Помнится, на следующее утро они бежали из школы в больницу, где делали перевязки местным парням, а Толик Крицкий, с перебинтованной головой и огромным фингалом под глазом, говорил кому-то в сердцах: «Да на черта мне сдалась эта Панчуха!..» Тут же, в приемной, уже маячили два следователя из города, и эта история для многих кончилась плачевно. Да разве кто напишет об этом книгу, и будут ли там очаровательная Панчуха и ладный парень из ремеслухи, фиксатый, с челкой, даже на суде улыбавшийся мартукским девушкам, потому что чувствовал себя героем? В это Рушан мало верил, особенно когда мысленно перебирал своих ребят-односельчан. И, наверное, поэтому, натолкнувшись в памяти на чей-то образ, он старался проследить его судьбу и непременно занести этот путь в «вечную книгу жизни», которую ему так хотелось написать.

Однажды Рушан вспомнил себя четырнадцатилетним мальчишкой на крыше пассажирского поезда «Москва — Ташкент», когда с небольшим узелком в руках ехал в город сдавать документы в техникум. Стоял прекрасный летний день, и как только миновали Каратугайский мост, на котором совсем недавно снесло голову старшему брату его одноклассника Алешки Верещака, он побежал по крышам в конец поезда. Каким ловким, сильным, счастливым ощущал он себя тогда — не передать словами! Предстояло целых четыре года жизни в городе, а город, в котором он до сих пор никогда не бывал, казался ему таким заманчивым, виделся тем самым сказочным местом, где сбываются все желания и мечты, надо только очень захотеть.

Это радостное ощущение, близость счастья распирала мальчика так, что он вдруг остановился посреди состава, бросил узелок у дымовой трубы и, задрав руки навстречу полуденному солнцу, от избытка нахлынувших чувств закричал: «Я еду в город!..» И встречный ветер срывал с его горячих губ счастливый крик, а скорый продолжал свой стремительный бег по



бескрайним казахским степям, уже золотившимся спелым колосом озимых, и легкий ветерок волной катился по пшеничным полям. Казалось, от счастья и волнения у него выскочит бешено колотившееся сердце. И вдруг его прожгла неожиданная мысль: «А кем я стану в жизни? Где будет мой дом? Какая у меня будет жена — красивая, добрая, умная, а может — хитрая, злая? Высокая, хрупкая, голубоглазая, а может, сероглазая? Будет ли у меня сын? И кем станет он?..»

Этот внезапно налетевший и затуманивший голову рой вопросов заставил его присесть на разогретую солнцем крышу вагона, и дальше он ехал, размышляя о своем будущем. Оно казалось ему таким далеким и туманным, а сама жизнь — бескрайней, как необозримая казахская степь, по которой грохотал на стыках поезд «Москва—Ташкент».

А необъятное для молодого ума безбрежное жизненное поле зачастую оказывалось оптическим обманом — оно могло сузиться до размера дачного участка, где обязательно уткнешься взглядом в забор. Такое произошло со многими его сверстниками. И хоть ответы на главные вопросы жизни, возникшие тогда на крыше скорого поезда, уже известны Рушану, жизнь ничуть не стала понятнее и проще.

Годы идут, но вопросов не становится меньше. А тогда казалось, что вот он, самый главный час озарения и провидения — лето 1956 года, когда счастливый Рушан ехал в город, в новую, неизведанную жизнь. А дома оставались любимые люди, и с ними связаны были светлое детство, первые радости и разочарования, первая любовь...

III

Было ему лет семь или восемь, когда выходила замуж их дальняя родственница Сафия. Воспитывали ее мать и слепая бабушка — они родственники Рушана по отцу, который погиб под Москвой.

В бедном поселке эта семья заметно выделялась: большой дом под железной крышей, горки с невиданной в здешних местах фарфоровой посудой кузнецовских заводов, диковинные вазы из венецианского стекла, столовое серебро и висевшая



под высоким потолком в зале настоящая хрустальная люстра с потемневшей позолотой обводов. Вообще, семья эта была известная. Слепая бабушка происходила из древнего и богатого татарского рода Мамлеевых, и оказались они тут, в захолустье, после революции, потеряв доходные дома и магазины в недалеком от этих мест Оренбурге.

По традиции, когда жених приходит за невестой, его не пускают в дом, требуя выкуп — такой обычай есть почти у всех народов, у татар он называется «ишык-бау», что дословно означает «дверная веревка». Как самым близким родственникам, Рушану и другому мальчику чуть постарше, Мелису, пришлось держать эту самую веревку перед женихом. Жених, крепкий коренастый парень по имени Гали, подарил им за право войти в дом невесты по перочинному ножичку дивной перламутровой расцветки — одному красного оттенка, другому зеленого.

То была первая в жизни Рушана свадьба, и она запомнилась ему на всю жизнь — в мелочах, деталях: и музыка, и угощение, и гости... Помнил он и пожелания молодым, они следовали с каждым тостом, а особенно много их звучало, когда вручали подарки. На свадьбе наступил момент, когда в зале появился человек с большим подносом, а рядом с ним женщина, у нее на меньшем подносе стояли бутылка вина и аккуратно нарезанные кубики медового чак-чака. Гость, опуская подарок на серебряный поднос, высказывал пожелания новобрачным, а в ответ, вместе с благодарностью, получал рюмку особого вина и сладкий чак-чак.

Какие только не звучали здесь пожелания, какие только слова не произносились! И о жизни обоих супругов до ста лет, и о золотой свадьбе, и о доме, что должен стать полной чашей, и о любви и согласии до гроба, и что такой пары не сыскать вовек, и о детях, которые непременно вырастут умными и счастливыми, не только на радость родителям, Мартуку, всем гостям, но даже всему свету.

Рушан, стоявший за спиной новобрачных, внимал, раскрыв рот, подвыпившим гостям и искренне верил, что Сафия-апа и Гали-абы проживут в любви и согласии до глубокой старости, и что у них будут необыкновенной красоты и способностей дети, и что они выстроят дом во много раз краше, чем тот, где проходило торжество. Он так радовался их будущему счастью,



что в какой-то момент даже почувствовал зависть, ведь до его свадьбы еще очень далеко, и вряд ли к тому времени найдется ему в невесты такая красивая девушка, как Сафия-апа, у которой, оказывается, столько достоинств... Он даже немного ревновал Сафию к ее жениху...

Возможно, Рушан никогда бы не вспомнил об этой семье, потому что рано покинул отчий дом и редко бывал в родном Мартуке, если бы на какой-то свадьбе не услышал подобные, почти слово в слово, пожелания молодым. Он, конечно, и до этого бывал на свадьбах, но никогда прежде не возникало такое недоброе ощущение. К тому времени он как раз пристрастился проводить одинокие вечера у окна и уже листал первые страницы вечной книги, которую, казалось, и читал, и писал одновременно. В какие-то минуты отчетливо высветилась в памяти давняя свадьба, когда властная слепая старуха выдавала замуж свою единственную внучку, и вся жизнь Сафии-апа и Гали-абы прошла у него перед глазами.

Не было там ни золотой, ни даже серебряной свадьбы, не вышло любви и согласия до гроба, нет в живых давно и самого жениха, крепкого и кряжистого, как дуб, ушел из жизни и их первенец Халил, до армии сотрясавший буйным нравом Мартук, захирел некогда богатый дом. В пьяных дебошах и ссорах вымелись из дома и венецианское стекло, и кузнецовский фарфор, растерялось, исчезло куда-то столовое серебро с монограммой Мамлеевых, осталась лишь хрустальная люстра, донельзя засиженная мухами. А ведь когда-то ему казалось: как неоглядна жизнь у зарождавшейся на его глазах семьи, сколько тайн, непредсказуемости в судьбе каждого живущего за стенами крепкого краснокирпичного особняка в купеческом стиле, с аляповатой лепниной, в солнечный день слепящего прохожих своей цинковой крышей. И как скоро, прямо-таки на глазах, раскрылись все их тайны, прогляделись все их пути, как быстро прочиталась от корки до корки книга чужой жизни, хотя и по сей день живет в осевшем доме с перекошенными окнами в заглохший сад седая неопрятная старуха по имени Сафия, и в пустых запущенных комнатах с истершимся паркетом ничто не напоминает о прежнем отлаженном быте и порядке, а хозяйку просто невозможно представить молодой, красивой, завидной невестой с богатым приданым. А ведь



Рушан знал великолепие и роскошь этого дома, видел Сафию в белоснежном подвенечном платье!

Все пошло прахом... А какой прекрасной виделась жизнь молодых мальчику, невольно причастному к их судьбе! Разве это не роман? Но кто напишет трагедию той счастливо зарождавшейся семьи, когда дождется бедный Мартук своего летописца?

Рушан не мог пройти равнодушно мимо судьбы своих родственников из рода Мамлеевых и, конечно, в своей книге, которую читал и писал одновременно, отвел и им страницы. Пусть останется от них хоть что-нибудь в памяти людей, пусть удивятся, узнав, что громадный полуразвалившийся краснокирпичный дом с прогнившей от кислотных дождей крышей на Украинской улице, в самом центре Татарки, некогда знал более счастливые дни, а жившая в нем слепая старуха строго блюла нравственность односельчан-единоверцев.

Отсюда, из покосившейся калитки, ранним утром выскочил бравый десантник Халил, еще не облачившийся в гражданскую одежду, и направился напрямиком на станцию. Рассказывали, он почти полчаса спокойно прогуливался по пустынному перрону, и никто не заметил, что парень задумал страшное. Когда алма-атинский экспресс «Казахстан», не сбавляя хода, без остановки проходил через Мартук, Халил вдруг рванулся с перрона и успел вбежать в колею перед мощным локомотивом. Наверное, точно так же, одним рывком, его сверстники в войну кидались на амбразуры дзотов.

О чем он думал в эти последние полчаса? С кем мысленно прощался? Почему так легко и страшно, казалось бы, беспричинно, расстался с жизнью? А ведь он был парень с характером, сильный, из тех, кто своего в жизни не упустит. Видимо, все известное о нем оказалось обманом, в нем теплилась нежная и легкоранимая душа, не принимавшая ни лжи, ни жестокости мира. Но об этом теперь остается лишь догадываться, все тайны Халил унес с собой, и вряд ли кто когда его вспомнит, кроме ссохшейся от горя старушки Сафии, что сдает внаем дальним аульным казахам свой двор, свои просторные, давно не беленые комнаты, медный самовар и последнюю на всю округу изгрызенную степными аргамаками коновязь, когда те наезжают в райцентр на базар — продать годовалую телушку



или пяток баранов, а то мешок шерсти или килограмм козьего пуха, или когда отправляются цыганским табором на грязи в соседний Соль-Илецк.

А может, толчком к чтению и написанию вечной книги послужил совсем другой случай, ведь в его воспоминаниях, как и в книге, нет хронологической последовательности, память избирательна, неизвестно, кого выудит из тьмы канувшего и куда занесет, и, что удивительно, этот пестрый калейдоскоп разрозненных событий, лиц и составлял реальную, без прикрас, жизнь, которая текла по своим законам.

IV

... Ему одиннадцать лет, он уже давно пионер, отличник. И еще жив Иосиф Виссарионович Сталин. Кажется, в ту весну началась его грандиозная программа насаждения лесополос и озеленения городов и поселков — великая и благородная идея, воплощенная в жизнь, о которой сейчас так редко вспоминают, не то чтобы повторить. До сих пор шумят в Мартуке, на Татарке, возле отчего дома, могучие карагачи и необхватные тополя и клены, высаженные Рушаном в ту весну, — саженцы давали им в школе, бесплатно. Сейчас вокруг степного Мартука поднялся настоящий лес, со зверьем, птицами, с грибами и смородиной, и уже мало кто помнит, что он рукотворный и появился по указу вождя.

Но Рушан вспоминал ту весну вовсе не из-за лесополос или вождя, хотя тот прошел через всю его жизнь, с ним вольно или невольно соприкасалась жизнь каждого, и если в воспоминаниях и дальше где-нибудь всплывет имя Сталина, которого иные теперь фамильярно величают Сосо, то это совсем не дань моде, просто тень генералиссимуса накрывала даже далекий от Москвы Мартук. В ту весну прибыл к ним на побывку со службы в далеком Ужгороде младший брат матери Рашид.

Рашида забрали в солдаты поздновато: он работал на железной дороге — сначала кочегаром, а потом, после курсов, машинистом паровоза, и на него распространялась какая-то бронь. До армии дядя казался Рушану человеком бывалым и значительным, особенно когда надевал полувоенный железнодорожный



китель с серебристыми нашивками и галунами. В краткосрочный отпуск он заявился в звании старшего сержанта, а посему ходил в щегольских хромовых сапогах со скрипом, сшитых на заказ в сапожной артели лучшим сапожником Петерсом. Из неуставной одежды на нем еще бросались в глаза шарф и белые перчатки из козьего пуха. Прибыл он в Мартук в середине марта, когда зима еще раздумывала, стоит ли ей сдавать свои полномочия, но в воздухе уже носились весенние запахи, и появились талые лужи на людных перекрестках, и оседали на глазах сугробы, и падала с низких крыш капель — все говорило о близости весны...

Март в те годы был месяцем особенным: на него почему-то обязательно приходились выборы. Были выборы и в тот год, намеченные на последнее воскресенье марта, а это означало, что за месяц до них в поселке начнут работать агитпункты.

Ах, агитпункты послевоенных лет, в местечках, подобных Мартуку, как, наверное, вы врезались в память своих избирателей! Каждый день в здании агитпункта допоздна горел свет, работал выездной буфет, а в большом зале — непременно танцы под аккордеон, так что бравый сержант с отпуском попал в самую точку, а может, даже специально так подгадал, ведь о выборах знали загодя.

Каждый вечер, надушившись «Шипром» и надраив до блеска скрипучие сапоги, Рашид, к огорчению родни, исчезал из дома и возвращался глубоко за полночь, поднимая всех собак в округе. В поселке, где мужчин изрядно выкосила война, приезд солдата на побывку не остался незамеченным, и прекрасная половина Мартука, конечно, не дремала...

Но Рашид хлопотал об отпуске не только из-за выборов, а еще и потому, что на март приходился его день рождения. Отмечал он его не дома у сестры, что, помнится, вызвало раздоры в семье, а у какой-то молодой вдовы на станции, где собиралась молодежь его возраста.

Хотя между матерью и дядей Рашидом возникли разногласия по поводу того, где отмечать день рождения, это не помешало ей напечь пирогов, приготовить большую кастрюлю винегрета и сварить холодец из огромной бычьей головы, добытой с немалым трудом. А Рушану доверили сбежать в магазин, купить вина и консервов. Из консервов в сельмаге оказались



только крабы, и продавщица отсоветовала ему покупать их — видимо, была уверена, что мальчика с покупкой отошлют обратно. По случаю дня рождения накрыли стол и в доме, но дядя недолго побыл с родственниками — выпив рюмку-другую вина с отчимом Рушана, он заторопился на станцию, и торжество продолжалось уже без него.

Видимо, тот отпуск и день рождения что-то значили для Рашида, и он, по словам матери, необдуманно сорил деньгами, которые сумел скопить до армии, работая на железной дороге. Тогда работа в МПС считалась престижной и хорошо оплачивалась, не говоря уже о множестве льгот, начиная с бесплатного проезда в любой конец страны и кончая бесплатно выдававшимся углем. И вообще, дядя Рашид казался Рушану щедрым, веселым, обаятельным, на него так хотелось походить, возможно, и он сыграл какую-то роль в жизни племянника.

А какие подарки он привез из армии! Матери — яркую цыганскую шаль, которая чуть позже войдет в моду не только у сельских, но и городских красавиц, отчиму — настоящую золингеновскую бритву, которую купил за бесценок на львовском базаре, а ему, Рушану, — дивной красоты электрический фонарик, работавший на кислоте. Подарок вызывал зависть не только у ребят, но и у взрослых, вот уж порадовался и погордился тогда Рушан! Позже, сразу после демобилизации, дядя Рашид подарил ему и взрослый велосипед горьковского завода, с хромированными ободами, ручным тормозом, изящной фарой, кожаным сидением, звонком, багажником, ярким стоп-сигналом на заднем крыле и даже щитком над цепью. Особенно выделялась красочная эмблема завода на раме — изящная голова гордого оленя, означавшая, видимо, элегантность и скорость...

Рушан так подробно, в деталях, вспоминал вещи, быт, незначительные предметы того времени потому, что все это тоже безвозвратно ушло или уходит вместе со своими владельцами, и хочется о многом рассказать, чтобы вновь не изобретать велосипед, и понять, как долго мы толчемся на одном месте. Если бы сегодня на показушной ВДНХ выставить велосипед и тот фонарик, что имел Рушан сорок лет назад, да в придачу еще и перочинный ножик некогда известного на всю Европу



завода, они оказались бы эталонными экземплярами, чудом дизайна, не говоря уже о качестве и цене.

И как тут не вспомнить слова одного известного сатирика: время было мерзопакостное, но рыба в Волге водилась. А ведь тогда отпускник привез еще и банку халвы, несколько коробок клюквы в сахаре и мармелада в лимонных дольках, и индийский чай — товары дешевые и доступные даже для солдатского кошелька. Сегодня, в плохом настроении, Рушан все чаще думает, как у нас все вокруг упрощается, деградирует, дичает...

Впервые такая мысль пришла ему лет десять назад, когда он побывал в турецком городе Эфесе, на развалинах древнего храма Артемиды, в свое время называвшегося одним из семи чудес света. Даже полуразвалившийся, он поражал воображение изяществом, легкостью конструкции. Обращенный фасадом к морю, он словно летел над волнами или парил в воздухе, такова была магия его пропорций, выверенная древними зодчими до миллиметра.

И хотя вблизи храм поражал гигантскими размерами, но внутри него ощущение легкости, изящности не покидало Рушана. Поистине, чудо света! Он мог подтвердить это и как строитель, и как дотошный многолетний читатель журнала «Архитектура СССР», мог сказать, что все престижные здания, возведенные в Союзе за пятьдесят лет, вместе взятые, не стоят даже развалин публичного дома в том же городе Эфесе, от которого осталась прекрасно сохранившаяся вывеска: в мраморе высечена нагая женщина удивительной красоты и грации, а внизу изображены крупная мужская ступня и стрелка, указывающая направление, с надписью: «Если вы свернете за угол, вас встретят нежные и страстные женщины». Наверное, как шутят турецкие гиды, это и было первое в мире рекламное объявление.

Из города к храму Артемиды вела удивительно хорошо сохранившаяся дорога, выложенная крупными белыми мраморными плитами, спроектированная до нашей эры архитекторами без диплома, без современных знаний, которыми ныне многие так кичатся. Дорога вконец добила советских туристов, ибо каждый из них знал не понаслышке: не успеют у нас построить магистраль, она уже через год задыхается от пробок, не говоря о том, что через месяц после ввода требует капитального ремонта. Вот тогда впервые у Рушана мелькнула скептическая



мысль относительно нашей цивилизации, хотя в современной цивилизации Стране Советов принадлежала особая роль...

Усилием воли из древнего Эфеса, от прекрасного храма Артемиды, куда внезапно перенесла его неуправляемая память, Рушан вернулся ко дню рождения дяди-сержанта, находившегося на побывке.

Впрочем, о самом дне рождения Рушан ничего сказать не мог — вечер у вдовы на станции остался для него тайной. Но наутро, когда он проснулся, увидел на столе незатейливые подарки имениннику: портсигар, янтарный мундштук, белый узкий атласный шарф, пуховые перчатки, но не белые, в каких любил пофорсить бывший кочегар, а коричневые. Здесь же лежала книга в темно-синем переплете...

К книге прежде всего и потянулся взгляд мальчика. «Л.Н.Толстой. Воскресение», — прочитал он и распахнул обложку. На титульном листе красивым женским почерком было выведено: «Дорогому Рашиду в день двадцатипятилетия. Будь счастлив. Раиля».

Оказывается, его дяде Рашиду исполнилось двадцать пять лет, и Рушану этот возраст показался таким несбыточно далеким, неодолимым, что еще много лет служил точкой отсчета в собственной судьбе. И эта книга в темно-синей обложке, которую он после отъезда солдата все-таки прочитал, долго будоражила его воображение, так как он был уверен, что в подарке красивой бухгалтерши из райпотребсоюза сокрыт какой-то глубинный смысл.

Тогда, мальчишкой, Рушан пытался разобраться, почему двадцатипятилетнему мужчине подарили именно «Воскресение», хотя в те годы полки в магазинах ломались от книг. А может, «Воскресение» было связано не с тем, кому адресовался подарок, а с той, кто дарил?..

В общем, Рушан запутался в своих фантазиях окончательно и, встречая Раилю-апа на улице, жадно вглядывался в ее нежное лицо, но ничто не могло пролить свет на эту загадку. В те мальчишеские годы ему очень хотелось, чтобы и ему на двадцатипятилетие подарили именно этот роман: возможно, тогда он разгадает тайну бухгалтерши из Мартука. Но страстная детская мечта не сбылась — Толстого не дарили ему ни в детстве, ни позже.



Тогда, в марте, возвращаясь из школы, он не обращал внимания ни на лужи, ни на весеннюю капель, ни на шумных грачей, облепивших старые клены у сельсовета, он думал об одном: женится ли дядя на бухгалтерше из райпотребсоюза? Он был убежден, что томик Толстого, не в пример пижонскому атласному шарфу, обязывал Рашида к ответственному шагу.

Были минуты, когда Рушан не сомневался, что они поженятся, и гадал, кто же из мальчишек Сиражетдиновых будет держать дверную веревку перед его дядей-машинистом. И вот теперь, спустя годы, он знал все и о своем дяде, и даже о судьбе бухгалтерши с нежно-персиковым лицом и миндалевидными глазами, отчего он однажды назвал ее «мадам Баттерфляй». Разумеется, он не следил специально за их жизнью, как и ни за чьей другой, но сведения как-то стекались к нему, словно кто-то свыше ведал, что некогда он надумает написать вечную книгу о людях, которых любил и знал.

V

Рашид женился на Розе Гумеровой. И в этом не было ничего удивительного — их матери были добрыми приятельницами.

Семья Гумеровых недолгое время жила в Мартуке, потом неожиданно переехала в город. И хотя Рушан нередко бывал у них в доме, он мало что знал об этой семье — над нею витала какая-то тайна, точнее, они жили какой-то скрытой, непонятной для окружающих жизнью.

Помнится, еще до женитьбы Рашида, даже до его побывки и дня рождения, который он отметил у вдовы на станции, недели две прятался у них в доме младший брат Розы — Исмаил. Тот хорошо играл на гитаре, лихо отбивал чечетку, и мать, пользуясь случаем, полмесяца мучила Рушана, чтобы он научился и тому, и другому, в полном убеждении, что без подобных навыков ее сын никогда не станет счастливым. Но, видимо, не дано было Рушану ни «сбацать», как говорил ленивый учитель, чечетку, ни играть на гитаре и петь душещипательные блатные песни о несправедливости жизни к «сильным и благородным». Позже, когда Рушан будет учиться в соседнем городе, в техникуме, перед ним чуть-чуть приоткроется тайна семьи Гумеровых.



Братья Розы — и Шамиль, и Исмаил — имели большой авторитет в уголовном мире. Когда Рушан начнет ходить на танцы в «Железку» — Дворец железнодорожников, или на летнюю танцплощадку в парке Пушкина, или в особенно модный зимой ОДК — областной Дом культуры, где играл знаменитый джаз-оркестр саксофониста Эдди Костаки, он даже в какой-то момент возгордится «именитой» родней. Исмаил-бек, как называли щеголя Исмаила в городе, увидев парня, которого некогда безуспешно учил плясать чечетку и играть на гитаре и в чьем доме нашел надежный приют от какой-то очередной опасности, веско сказал: «Этот студент — мой родственник», и его слова послужили не только охранной грамотой, но и сделали Рушана в некотором роде знаменитым, иначе как родственником Исмаил-бека его и не представляли. Но не часто удавалось отплясывать и Шамилю, и Исмаилу на танцах, их, словно магнитом, вновь и вновь затягивало в тюрьму. Жизнь на воле, наверное, была им в тягость.

В такую семью и попал его любимый дядя. Став взрослым, Рушан часто задумывался о жизни Рашида, которая теперь переплелась с семейством Гумеровых, и поражался он даже не блатным братьям, а их матери — Минсулу-апа. Вот кого природа наделила поистине невероятной стойкостью, изворотливостью, хваткой! На этой невзрачной, с маловыразительным лицом в крупных оспинах, худенькой, малограмотной женщине и держалось грозное семейство. Кажется, она знала в республике всех судей, прокуроров, адвокатов, нотариусов, судебных исполнителей, начальников тюрем и следственных изоляторов, начальников уголовных розысков и просто следователей, не говоря об участковых, знала даже врачей в лазаретах и психушках. Она знала все этапы, пересыльные лагеря, тюрьмы в Караганде, Акмолинске, Чимкенте, а также прокуроров, ведущих надзор за исправительно-трудовыми учреждениями. Она могла проконсультировать по любому уголовному делу не хуже, а порой даже лучше, чем в адвокатской конторе, ибо знала несовершенство законов. Если один ее сын уже сидел в тюрьме, то второй в это время привлекался к суду, и она металась между лесоповалом в Сибири или рудником в Кумертау и каким-то районным или городским судом в родном городе.



По случаю очередного возвращения сына из тюрьмы в семье всегда закатывался пир горой. И будь то Шамиль или Исмаил-бек, он тут же объявлялся в парке или на танцах в коверкотовом костюме, новых скрипучих хромочах, за голенищем которых часто оказывалась финка, и в шуршащих прохладных шелковых рубашках, о существовании которых ныне и не ведают. Тогда уже всю продавались китайские вещи, и братья летом щеголяли в кремовых габардиновых брюках и вишневых узконосых туфлях на кожаной подошве с эмблемой «Дружба», привлекая взгляды не слишком разборчивых девушек. Не раз и не два затевались шумные свадьбы то у одного, то у другого, на которых, на правах родственника, бывал и Рушан, но браки оказывались недолговечными, как и само пребывание братьев на свободе.

Рушан, хоть убей, не помнит, работали или нет хотя бы один день разбитные братья, ежедневно бывавшие в летнем ресторане парка, где гремел джаз-оркестр Костаки. Он не мог сказать, и чем занималась единственная добытчица в доме — Минсулу-апа. Наверное, как теперь говорят, крутилась — что-то доставала, перепродавала. А может, была посредницей между своими многочисленными друзьями и знакомыми в правоохранительных органах и теми, кто жил не в ладах с законом? Теперь-то ни для кого не секрет, что там, в «храмах правосудия», брали сверху донизу, и тут без шустрых посредников было не обойтись, но это, так сказать, его домыслы, запоздалое прозрение. Хотя уж слишком часто попадались и слишком быстро оказывались на свободе братья Гумеровы, с чего бы это?

Роза выросла среди «знаменитых» братьев. Вот она-то умела и на гитаре играть, и чечетку сбачать, и петь песни, от которых у чувствительных слушателей наворачивались слезы на глаза.

Братья не одобрили выбора своей сестры — по их словам, она вышла замуж за «лоха», «кочегара», — но никак не могли помешать этому браку, поскольку отбывали очередной срок.

Блатной мир связан между собой тысячами уз, в том числе и родственных, и, возможно, братья Гумеровы через сестру хотели породниться с кем-нибудь из своего круга. Роза была девушка не только видная, но и знавшая законы блатной жизни,



выросшая на ее романтике, в общем, оказалась бы человеком не со стороны, что редкость, когда дело касается женщины.

Когда братья гуляли на воле, у них частенько бывали залетные гости — кто после отсидки, кто перед ней, а кто прилетал или приезжал специально покутить после шальной удачи. Некоторые попросту скрывались у них, зная, что в этой семье своих не выдадут и не оставят в беде. И среди этих парней, наверное, было немало тех, кому приглянулась озорная деваха по прозвищу Кармен, — про нее говорили, что родилась она с гитарой в руках. Но что делать, зацепил сердце Кармен бывший кочегар, которого она потом в семейных скандалах, как и братья, стала презрительно называть лохом...

Одна история семейки Гумеровых, не говоря уже о судьбе дяди Рашида, жизнь которого теперь была накрепко связана с Кармен и ее родственниками, казалось, скрывала в себе столько тайн, неожиданностей, невероятных приключений, что могла послужить материалом не для одного романа. Покажи тогда, во второй половине пятидесятых, эту семью какому-нибудь писателю, обожавшему острые сюжеты, он бы растерялся от обилия материала: и Минсулу-апа, и языкастая Кармен с ее вздорным характером, не говоря уже о картежном шулере и воре Шамиле и просто бандите Исмаиле, — каждый мог стать героем отдельного произведения.

А разве не заслуживала внимания судьба Рашида, попавшего в столь необычное семейство?

Прошел-пролетел какой-то отрезок времени — четверть века, — и перед глазами Рушана однажды перелистнулась вся жизнь этих людей. Многие из этой семьи исчерпали свой лимит жизни до срока.

При побеге из тюрьмы погиб Исмаил. Непонятно почему он оказался замешан в этой истории, ведь до освобождения ему оставалось всего три месяца. Иногда Рушану мерещились плавни какой-то далекой сибирской реки, в которых скрывался раненный в глаз Исмаил-бек. Рассказывали, что нашли его мертвым у потухшего костра местные жители.

Где-то на бедном погосте далекого таежного села в Сибири стоит солидный гранитный памятник. С фотографии в бронзовой рамке под небьющимся стеклом смотрит молодой человек приятной внешности в темном бостоновом костюме и белой



рубашке апаш с воротником, выпущенным поверх лацканов пиджака. Что и говорить, Гумеров-младший не чурался моды, но строго придерживался ее блатного направления.

Однако Минсулу-апа не была бы Минсулу-апа, если бы даже посмертно не попыталась обелить сына в глазах людей. На памятнике, под скорбными датами рождения и смерти, спившийся скульптор выбил крупными буквами: «инженер». Когда приезжали устанавливать памятник, мать рассказывала местным жителям, что ее сын, инженер, якобы осужденный за какие-то просчеты в грандиозном проекте, бежал из тюрьмы, чтобы явиться на свадьбу своей возлюбленной в самый разгар торжества. Непонятно, что хотел сказать своим неожиданным появлением на свадьбе «инженер» — на большее фантазии Минсулу-апа, видимо, не хватило, — но слезливая, сентиментальная байка прижилась в селе, и, говорят, молодожены теперь приходят из загса возложить на эту могилу цветы, ибо она, на их взгляд, олицетворяет глубокую верность любви.

Да, посмертной славе Исмаила позавидовал бы не один отпетый уголовник. Помнится, кто-то на его поминках сказал цветисто, что очень ценится в среде блатных: «Он, как песня, пронесся через жизнь, и, как песня, в ней останется...» Что ж, неудивительно: когда кругом живут по лжи, тогда и появляются памятники бандитам, к которым обыкновенные граждане носят цветы. Старая Минсулу-апа это хорошо знала, чувствовала и прекрасно ориентировалась в своем сумасшедшем времени.

Через год, прямо на своей очередной свадьбе, был убит глуховатый Шамиль, но с памятником тут хитрить не стали, ибо «инженеров» Гумеровых в городе хорошо знали.

Смерть одного сына за другим заметно погасила энергию Минсулу-апа, да и возраст брал свое, и весь оставшийся пыл она перенесла на дочь и зятя, которого знала чуть ли не с пеленок.

Рашид на железную дорогу не вернулся — за три года службы в армии паровозы сменились электровозами, а чтобы переучиваться, нужно было иметь среднее образование и вновь тратить годы, к тому же работа в МПС на глазах теряла свою престижность. Теща определила его на мясокомбинат, в какой-то тяжелый и грязный цех, где он имел возможность собственноручно оттяпать самый лакомый шматок, за дальнейший путь которого мог не волноваться — на проходной



вахтерами служили дружки Шамиля и Исмаила, а также люди, которым Минсулу-апа, пользуясь своими связями в органах, не раз помогала. Вскоре Рашид оставил убойный цех и перешел мастером в колбасный.

К тому времени Кармен родила одного за другим двух мальчиков, но дети не принесли покоя и мира в семью. Нервно, скандально, с бранью, битьем посуды и гитар жили они, и Рушан не любил ходить к ним в гости, хотя его и зазывали. Рашид не раз уходил из дома. Однажды даже на полгода вернулся в Мартук к сестре. Эти полгода, наверное, запомнились в поселке не только Рушану. Дело в том, что Рашид открыл при местном ресторане колбасный цех. И чудесных колбас, сосисок, сарделек, что он делал, хватало всем!

Вот уже два десятка лет талдычат о продовольственной программе, а колбаса стала едва ли не деликатесом. Рушана просто трясет, когда он слышит болтовню о сложностях ее изготовления. Он-то хорошо знал, как его дядя один, всего за два месяца, построил цех и коптильню, и сам же, в одиночку, выпускал колбасу. И это не миф, Рушан ведь бывал в цехе, ел эту колбасу, видел ее в магазине. А запах от нее в дни копчения разносился за два квартала от ресторана. Но не долго побаловались собственной колбаской в Мартуке — Кармен вновь вернула мужа в дом, и запах копченых сосисок и сарделек навсегда выветрился из поселка.

Уходил из семьи Рашид и позже, и уезжал подальше, аж в Ташкент, — там он прожил больше года у другой своей сестры, старшей. Человек со светлой головой и умелыми руками, он там сразу стал на ноги, приоделся, вставил золотые зубы, купил новомодные тогда плоские часы «Полет», тоже золотые и даже с золотым браслетом. На ташкентской «бирже труда», которая существует давно, если не сказать всегда, его заметили сразу: он клал утермарки — круглые печи в железных коробах под газ. На «биржу» он ходил только первую неделю, позже за ним уже приезжали домой на частных машинах, а вечером, сытого и навеселе, доставляли обратно. Ташкент никогда не переставал строиться, и мастеровой человек там высоко ценится и поныне.

Рушан провел свой первый трудовой отпуск в Ташкенте, где в тот год так удачно «калымил» его дядя. По воскресеньям



они ходили в летний ресторан на Комсомольском озере. Дядя еще был молод, хорош собой, прекрасно одевался, и на него заглядывались женщины. Но Кармен сумела вырвать его и из Ташкента, — наверное, в ней все же что-то было, если дядя неизменно возвращался в свой дом.

В то лето на оплетенной густым виноградом и цветущей лоницей прохладной веранде когда-то знаменитого ресторана «Регина» Рушан не раз порывался спросить дядю, почему он не женился на «мадам Баттерфляй», но так и не посмел. Возможно, тогда бы он узнал и тайну давнего подарка к двадцатипятилетию, и почему Толстой, и почему «Воскресение»... Но тайна осталась тайной и по сей день.

Рушан вновь увидел Рашида через много лет, на похоронах своего отчима, да и то мельком. Дядя уже тогда выглядел как старик, со впалым беззубым ртом, отчего лицо заметно деформировалось, и уже ничто не напоминало о его былой привлекательности. Плохо одетый и скверно выбритый, в худой обуви, а ведь был щеголем в молодости, да и позже, когда стал заведующим колбасным цехом в ресторане. Голос, улыбка, потухшие глаза — ничто не напоминало прежнего Рашида, крепко укатали его годы...

После возвращения из Ташкента Рашид устроился на химзавод, в самый вредный цех. Туда и за высокую плату никто не шел, и, чтобы приманить людей, работникам выделяли участки и выдавали большие кредиты под строительство дома, вот на это он и клюнул. К тому времени уже умерла его властная теща, ушли из жизни непутевые братья Кармен, казалось, что судьба дала возможность и ему пожить по-людски. Но счастливая семейная жизнь у него так и не заладилась.

Выстроил Рашид самый большой и затейливый дом в поселке химиков, на окраине города, обставил его богато импортными гарнитурами, и даже хрустальными люстрами обзавелся, как некогда слепая старуха Мамлеева, но счастье в дом так и не пришло. Правда, больше хрусталь и фарфор не крушили дружно в четыре руки, но все равно... Быстро поднялись сыновья Рашида и друг за другом выпорхнули из дома. Один ловил где-то на Камчатке рыбу, другой гонял дальнобойщиком по Чуйскому тракту, доставляя в самые глухие аймаки Монголии грузы, и теперь уже поседевшая



Кармен моталась между Сибирью и Камчаткой. В одной из таких поездок она простудилась и умерла в Петропавловске, там ее и похоронили чужие люди на больничном кладбище. Сын вернулся с моря через тридцать шесть дней, а Рашид из-за непогоды и пограничных формальностей добирался туда три недели, хотя выехал из дома в тот же час, как получил телеграмму-похоронку на жену. Так и размотало всю семью по белу свету...

Рашид ненадолго пережил любимую Кармен. Неожиданно открывшийся туберкулез, из-за тяжелой и грязной работы во вредных цехах химии, быстро сжег его. Странно, он умер ровно через месяц после того, как погасил взятый под строительство дома кредит. Мудрое государство знало, чем соблазнить своих самых ответственных граждан. Выиграла казна еще в одном, дядя Рашид не дожил до выхода на пенсию, о которой страстно мечтал, полгода. В общем, «кочегар» рассчитался с государством сполна.

Рушан часто бывает в Актюбинске, иногда проезжает на шальных маршрутках мимо дома любимого дяди, где уже давно живут чужие люди. Навсегда закрылись страницы буйной жизни семьи Гумеровых, в которую из-за любви к Кармен попал его дядя Рашид. Время на всем ставит свой крест.

История жизни дяди, чье двадцатипятилетие когда-то показалось мальчишке возрастом недостижимым, а вместе с тем и вся жизнь семьи Гумеровых, в которой растворился дядя, промелькнула перед Рушаном печальной повестью.

Не хотелось отделять от дяди и судьбу Раили-апа, которую он когда-то с восхищением назвал «мадам Баттерфляй», ведь тогда он был уверен, что Рашид женится на красивой бухгалтерше из райпотребсоюза. И в ее жизни не осталось особых тайн, и та книга судьбы уже почти прочитана, но там как будто сложилось все гораздо спокойнее и удачливее.

Раила-апа вышла замуж за шофера автолавки — парня веселого, бесшабашного, после армии узнавшего в Караганде, что такое шахтерский труд. Он долго, почти до сорока лет, играл в футбол за «Кооператор». Наверное, «мадам Баттерфляй» прожила хорошую жизнь с мужем — Милижан был работящим, бесхитростным, добрым, — но кто знает, с кем счастливы красивые женщины? Одно жаль, умер он рано, в одночасье,



от инфаркта. Рушан знал, что у них есть дочь — работает врачом в Ташкенте.

Такие вот нити протянулись от томика Толстого в темно-синем переплете с трогательной надписью: «Рашиду в день двадцатипятилетия...»

VI

Ташкент шестидесятых годов пришелся Рушану по душе, и он быстро вписался в его жизнь.

В сентябре начинался театральный сезон, и он часто пропадал в концертных залах. Гастролеры любили Ташкент за мягкую, теплую осень, обилие фруктов, гостеприимство и любезность местных жителей, несуетливость горожан, за южную привлекательность и восточное лукавство, и Рушан почти каждую неделю видел воочию тех, о ком раньше только читал в газетах или слышал по радио. Баснословная дешевизна тех лет позволяла ему бывать с друзьями в ресторанах, и он открыл для себя интересные заведения с таинственными названиями — «Бахор», «Шарк» и особенно «Зеравшан», мало что утративший от своего дореволюционного великолепия. Завсегдатаи по старинке называли его «Региной», а кинорежиссеры любили за то, что здесь можно было показать, как прожигали жизнь «осколки старого мира».

Те далекие годы стали расцветом джаза, и в «Регину» Рушан зачастил не только потому, что ему нравилась роскошь просторных зеркальных залов и пышных пальм в огромных кадках, не из-за голубого хрусталя и тяжелого серебра на столах, — там играл лучший в Ташкенте джаз-секстет, а еще точнее — ходил слушать саксофониста Халила, смуглого до черноты высокого парня-узбека с нервным, подвижным лицом.

Что-то жуткое и одновременно прекрасное было в игре Халила, завораживавшей зал. Когда приходил черед его соло-импровизации, все стихало. Играл он стоя, с закрытыми глазами, раскачиваясь, словно в трансе, играл до изнеможения. Бронзовое аскетическое лицо его преображалось, ворот красной рубашки распахивался, и видно было, как вздувались вены на шее. Каждый раз Халил солировал будто в последний



раз. Наверное, предчувствовал, как мало ему отпущено жизни. Через год, в расцвете ресторанной славы, после шумного вечера, где играл до полуночи, Халил отравился, оставив после себя разбитый вдребезги саксофон и лаконичную записку: «Ухожу, никому не желаю зла».

В молодости легко сходятся, заводят знакомства, доверяют друг другу не просто секреты, а тайны души. В «Регине», опять же на почве любви к джазу, Рушан познакомился с Камилем, тоже строителем, парнем видным, самоуверенным, крепко стоявшим на ногах, — он был года на четыре старше Дасаева. Оказалось, они чуть ли не земляки: Рушан не раз бывал в Акбулаке, где родился Камил, и Оренбурге, где тот учился.

Впрочем, их биографии, жизненные пристрастия во многом совпадали. Однажды глубокой ночью они возвращались со свадьбы на Лабзаке, шли на Урду, где на берегу Анхора в живописном районе Камил снимал комнату (теперь построек вдоль реки давно уже нет, снесли после землетрясения), и Рушан задал ему вполне естественный для того вечера вопрос: «Когда же мы на твоей свадьбе гулять будем?»

В ответ он услышал историю, в чем-то схожую со своей. Все рассказы о любви примерно одинаковы, но Рушана поразила заключительная фраза: большая любовь не только счастье, но и страдание.

Казалось бы, какая тут новизна, открытие? Банальщина на уровне девичьих альбомов. Но признание, подытоженное выстраданной фразой, заставило осмыслить все по-иному, глубже. Возможно, это запало ему в память потому, что он симпатизировал Камилу и никогда не предполагал, что у его самоуверенного приятеля такая ранимая душа. Может, история безответной любви земляка всплыла в памяти потому, что конец Камилы оказался грустным, и в той книге, которую Рушан читал и писал одновременно, нашлись страницы и для него только оттого, что тот тоже раньше времени исчерпал свой жизненный путь.

Рассказ Камилы был печален, как почти всегда бывает печален рассказ о первой любви.

В Оренбурге, студентом, он, выходец из маленького пристанционного поселка Акбулак, на первом же курсе влюбился в городскую девушку. «Представляешь, у нее были живы оба



дедушки и обе бабушки. Такое в жизни редко бывает...» Этим он подчеркивал, какой опекаемой и домашней была его симпатия. За все пять лет студенчества он не сумел добиться ее расположения, хотя она прекрасно знала, что он есть, что он влюблен в нее и предан до глубины души.

Приехав по направлению в Ташкент после института, Камил неожиданно хорошо устроился и в течение года от рядового мастера поднялся до прораба, а потом до начальника участка строительного управления и чувствовал, что через год-два может стать даже и главным инженером. Ташкент широко размахнулся в те годы и в гражданском, и в промышленном строительстве, и высококвалифицированных кадров не хватало.

Жил он в ту пору на Урде, хозяева и квартира его вполне устраивали, зарплата после студенческих лет казалась огромной, перспективы — радужными, и, окрыленный успехами, он решил вдруг сделать письменное предложение своей возлюбленной в Оренбурге. В глубине души он смутно догадывался, что ухаживать — это одно, а сделать предложение — совсем другое.

Ответ пришел на удивление скоро. Сказать по правде, отправив письмо, Камил порядком перетрусил. Нет, не потому, что вдруг разлюбил ее и испугался трудностей семейной жизни, тут были другие причины.

Он не мог, например, вообразить, как привез бы ее к своим близким и многочисленным родственникам в Акбулак, людям невежественным, плохо воспитанным, крикливым, несдержанным на язык... А его друзья?! Мог ли он оставить ее наедине с ними хоть на минуту, не рискуя, чтобы она не услышала глупость, пошлость или мат? Нет, этого гарантировать он не мог.

Да что там родня или друзья, вся поездка в Акбулак, без которой никак не обойтись, оказалась бы для нее сплошным унижением: и грязный вокзал, и пыльные разъезженные улицы, на которые за долгую зиму сыплют тонны золы, и дом, в котором он вырос, — маленький, неказистый, безо всяких удобств и, наверное, по ее меркам не очень чистый. Все это приводило его в отчаяние. О чем бы она разговаривала с его родными и близкими? О выкопанной картошке или надоях молока от козы?

Зато он уже представлял, как, похихикивая, судачат родственники, что невеста слишком тонка, а руки у нее чересчур



изящны, чтобы вести хозяйство, тетя уж непременно бы отметила, что с такой фигурой на детей особенно рассчитывать не приходится, а может, сказала бы шепотом, слышным на весь квартал, еще какую-нибудь гадость...

А свадьба? Мысли о ней ввергали Камила в полное отчаяние. Он помнил ее родителей — старомодных, чопорных интеллигентов. А его отец, у которого вряд ли нашлись бы приличный пиджак и брюки? (Будь это единственная проблема, Камил решил бы ее просто.) Утирая отекшее лицо алкоголика, отец уже после первой рюмки мог разразиться матом на весь дом, а к середине свадьбы непременно сцепился бы с кем-нибудь, поскольку гулянье всегда заканчивал дракой и битьем посуды, отчего уже десять лет его не приглашали в гости. Эти и множество других проблем, которые Камил ясно себе представлял и о которых и упоминать-то стыдно, лишали его душевного покоя.

Однажды, когда он только отправил письмо, ему приснилась собственная свадьба. К тому времени из-за саксофониста Халила он уже стал завсегдатаем «Регины» и видел там немало подобных торжеств. Почему-то гостями на свадьбе оказались постоянные клиенты «Регины» — люди разные, но публика солидная, хорошо одетая, умеющая держаться с достоинством, даже с некоторой манерностью, что тогда особенно нравилось ему.

Но самое удивительное: за столом, там, где должны были сидеть его родители, он увидел Софи — певицу из оркестра, высокую изящную женщину с разбросанными по плечам длинными густыми каштановыми волосами, и Марика Розенберга — ее любовника, крупного импозантного мужчину, который каждый вечер появлялся за небольшим столиком у оркестра. Софи и Марик, одетые по такому случаю с особой изысканностью и являвшие собой голливудскую пару родителей, произносили прекрасные тосты и так трогательно-нежно опекали молодых, что никто бы не усомнился в счастье прелестной пары...

Камил не был настолько глуп и бездушен, чтобы не устыдиться сна, он понимал, что даже «свадебный генерал» — уже пошло и безнравственно, а тут — подменить собственных родителей на подставных — более изысканных и вальяжных! Ему сразу припомнилось — где-то он читал, — что человек, устыдившийся своих близких, порочен, имеет червоточинку



в душе. Но, как ни мучительно было это осознавать, он все же решил, что по такому случаю лучше уж опереточный Марик — картежный шулер, чем пьяный отец, при одном взгляде на которого все гости тотчас же начнут шушукаться о наследственности. Соглашаясь в душе на такую подмену, а проще сказать — подлог, он признавал за собой некую порочность, раздвоенность души...

Все эти годы он так усердно пестовал свою любовь к девушке своей мечты, создал такой утонченный и изнеженный образ, что не мог представить, как она, его любимая, сможет стирать его грязные рубашки, умываться по утрам у колонки, как все его соседи, укладываться рядом с ним на скрипучий хозяйский диван. Ему казалось, что она, конечно же, должна жить в каких-то невысказано-прекрасных условиях, о которых он мог только догадываться.

При всем воображении он не мог представить ее занятой будничными делами на кухне или едущей в переполненном трамвае. Ясно ощущал лишь одно: всю жизнь будет чувствовать себя виноватым, что не сумел воздать должное ее красоте. И молодым умом в те же дни отметил для себя, что большая любовь — не только счастье, но и страдание. И потому, когда получил от нее отказ, даже вздохнул облегченно, будто камень с души скинул. С этого дня девушка, ничуть не потускнев в его глазах, стала для него близкой как-то иначе, уже не мешая ему жить...

Потом пути друзей разошлись — Камила неожиданно перевели в Наманган главным инженером нового управления. Уезжая, он приглашал Дасаева к себе на работу, но Рушану не хотелось расставаться с Ташкентом — в ту пору он очень его любил.

В Намангане Камил женился, и Рушан был на свадьбе шафером. Жена Камил, миловидная девушка из крымских татар по имени Замира, врач, понравилась Рушану. По душе пришлось ему и семья, в которую попал его друг. Бывая в Ташкенте по делам или по дороге в отпуск, Камил всегда отыскивал Рушана, и поначалу они виделись регулярно, потом связи как-то оборвались. Дасаев слышал от знакомых, что у Камил появились дети, мальчик и девочка, и был рад за друга, устроившего свою личную жизнь...



Год назад кто-то из старых приятелей, с которыми он часто бывал в молодые годы, до землетрясения, в «Регине», сказал, что видел несколько раз Камила в Ташкенте у кафе «Лотос». Известие вызвало массу воспоминаний о молодости, о давней свадьбе на Лабзаке, когда Камил рассказал ему о своей безответной любви. Имело оно и грустную сторону — «Лотос» пользовался в городе дурной славой.

В тот день, когда Рушан увидел у «Лотоса» бывшего знаменитого форварда «Пахтакора», состоялась, наконец, и встреча с Камилом, который появился перед самым закрытием кафе, когда Дасаев уже собирался уходить.

Если бы Рушан не поджидал его специально, изо дня в день, у «стекляшки», мог бы и не узнать, на улице уж точно бы разминулись. Прежнего Камила, самоуверенного и элегантного, трудно было узнать. Бросился в глаза его костюм, тот самый, свадебный, что добыли они некогда с большим трудом. Английская двубортная тройка с высокими шлицами-разрезами на приталенном пиджаке, из плотной шерсти, с темно-сажевой полосой на сером фоне, казалось, не знала износа.

Рушан надеялся хотя бы полчаса издали понаблюдать за ним. Не удалось: Камил увидел или ощутил его взгляд мгновенно. Много позже, раздумывая об этой встрече возле «стекляшки», Рушан предположил: может быть, неожиданное свидание и послужило отправной точкой происшедшей затем трагедии? При расшатанной от пьянства психике такое вполне было возможно.

Видимо, Камил не рассчитывал встретить у «Лотоса» людей, когда-то знавших его молодым, преуспевающим, наверное, он мечтал раствориться в большом двухмиллионном Ташкенте, возможно, оттого и сразу увидел Рушана и понял, что тот явился за ним.

Нет, Камил не стал делать вид, что не узнал давнего друга, не попытался уйти незаметно. И, подойдя с виноватой улыбкой, не стал ни оправдываться, ни дерзить, ни хамить, как часто бывает в таких случаях, а лишь развел дрожащими руками, пробормотав:

— Вот так, брат, вышло, ты уж извини...

Рушан хотел в тот вечер сразу же увести бывшего приятеля с собой, но тот упрямылся, говорил: в любой другой день, только не сегодня.



Расставаясь, Камил вдруг сказал:

— Ты помнишь, мы когда-то возвращались с тобой, молодыми, со свадьбы на Лабзаке, шли ко мне на Анхор, где у меня была комната, выходившая окнами на речку. И я рассказывал тебе о девушке из Оренбурга, которую любил в юности, и очень обрадовался, когда она отказалась выйти за меня замуж?

— Помню, — ответил Рушан. — Почему-то твоя история запала мне в душу, и я не однажды повторял твою фразу: большая любовь не только счастье, но и страдание.

Камил вдруг протер грязным рукавом заслезившиеся глаза и произнес убежденно, как давно выстраданное:

— Какое счастье, что она не вышла за меня замуж! Этому я радуюсь каждый день. Понимаешь, радуюсь...

— Почему? — опешил Рушан. — Возможно, с нею ты был бы счастлив, и у тебя по-иному сложилась бы жизнь.

— Нет, — с удивительной твердостью ответил Камил. — Все, что случилось со мной, должно было случиться. От пьяницы рождается только пьяница, и наука должна говорить об этом громко и настойчиво, хотя многим это будет не по нутру.

— Ну, это спорное утверждение, — не согласился Рушан, не надеясь, однако, разубедить друга.

Они расстались уже затемно у метро и уговорились обязательно встретиться тут же, в сквере, через день. Идя домой, Рушан все время мысленно возвращался к Камилу и девушке из Оренбурга, которая наверняка уже давно забыла о бедном студенте из Акбулака. В прекрасную пору молодости и удач влюбленный Камил инстинктивно почувствовал, что принесет девушке беду, — поистине, в большой любви столько тайн...

В назначенный день Камил в парк не пришел, и, ощущая смутную тревогу в душе, Рушан поехал на Куйлюк, где тот приютился у какой-то бывшей буфетчицы. Здесь ожидала его еще более страшная картина, чем спившийся парень, бывший некогда таким щеголем: за два часа до его прихода Камил повесился.

Рушан понял, что неведомая всевышняя сила привела его в чужой неопрятный дом, чтобы по-человечески схоронить старого друга. Он чувствовал, что в гибели Камила есть и его косвенная вина: кто знает, не появился он в «Лотосе», не напомни о прежней жизни, возможно, тот продолжал бы жить, если, конечно, это можно назвать жизнью.



Смерть Камила долго не шла у него из головы. Он пытался навести справки о его жизни в Намангане: может, парню не повезло с женой? Может, корни этой трагедии кроются в семье? Люди, хорошо знавшие семью Камила, говорили, что дело вовсе не в Замире и не в семье, и что спился бывший прораб незаметно, не сразу, и пить начал на работе, как многие строители...

Вот так судьба милостиво отвела беду от девушки из Оренбурга, но задела страшным крылом ни в чем не повинную Замиру. Грустная история, так счастливо начинавшаяся на глазах у Рушана. И для Дасаева остается по сей день загадкой, почему Камил на краю жизни думал о девушке, не ответившей на его любовь, и ни слова не сказал о бедной Замире, матери его детей.

VII

Теперь трудно сказать, кто или что из прожитой жизни натолкнуло Рушана на мысль о «вечной книге», что заставляло простаивать вечера у окна. Несомненно одно: судьбы близких людей, друзей, так тесно переплетенные с его собственной, и явились причиной каждодневных экскурсов в прошлое. Он поражался возможностям памяти, ее способности хранить в своих кладовых события, которые впрямую не касались его, о которых знал понаслышке, и которые спустя столько лет вдруг освещались ярким и ясным светом.

Разменяв пятый десяток, он узнал, что любимый вождь не только насаждал лесополосы, но и пересажал целые народы, и деяния генералиссимуса коснулись даже такого захолустного уголка, как степной Мартук...

Чеченцев выселяли осенью сорок четвертого года, значит, в Мартуке они появились в октябре-ноябре, когда в степные края приходит зима. Рушану было чуть больше трех лет.

В памяти всплывали, как размытые кадры фильма или фотографии, фигуры женщин в черных платках, с высокими кувшинами из красной меди, и стариков в необычных для этих мест кудлатых папахах, очень напоминавших силуэт всадника, что изображен на коробке папирос «Казбек». Бабушка



говорила, что чеченцы вымерли бы в ту лютую зиму, если бы не оказались одной веры с казахами и татарами, старожилыми степного полустанка — те, сами голодные и замерзшие, по велению властной слепой старухи Мамлеевой разобрали слабых и немощных по домам, помогли выжить в трудную первую зиму. А весной пришлые взялись за обустройство, насадили в пустых полях вокруг степного Мартука неведомую доселе тут кукурузу, дружно ставили всем миром дома — работающими и крепкими на удивление оказались горцы.

Отправляя на зиму в степь голых и босых людей из теплых краев, вождь, видимо, не рассчитывал, что народ, всегда носивший на Кавказе самую высокую папаху, выживет. Не учел, что сохранились еще в сердцах людей сострадание и милосердие, как жива была и вера, безуспешно вытравлявшаяся маузерами и тюрьмами...

Такой вот осколочек жизненного калейдоскопа вдруг осветился в памяти Рушана. Позже к нему добавился другой, более существенный, также касавшийся «чехов», как иногда называли чеченцев.

У них в классе с самого начала учились несколько чеченцев, с одним из них, Гани Цуцаевым, они вместе сидели за партой. Как-то Рушан пришел к приятелю домой договориться насчет воскресной рыбалки. Входные двери оказались распахнутыми, и он вошел в низкую избу без стука. В передней комнате, служившей и кухней, и прихожей, сидел отец товарища Махмуд-ага, фронтовик, пулеметчик, отыскавший в Мартуке свою семью после войны.

Вот этот человек, с впалой грудью и печальными глазами, сидел за грубо сколоченным столом, и перед ним высилась груда денег — такого количества их Рушан представить себе не мог. В ту пору мальцы не были столь инфантильными, как нынче, и знали, что за 250—350 рублей отцы и матери гнулись от зари до зари, а о пятидневке тогда и не помышляли.

На миг оторвавшись от денег, хозяин дома увидел остолбеневшего Рушана и кликнул из соседней комнаты сына. Вдвоем они как ошпаренные выскочили на улицу. Во дворе Рушан, еще не совладав с волнением, спросил:

— Откуда у вас столько денег?

Гани как-то взросло глянул на него и сказал:



— Это не наши деньги, и тебе лучше забыть о них, иначе у нас будут крупные неприятности, — и ничего больше, как отрезал.

Рушан понял, что стал свидетелем какой-то тайны, и никогда никому не обмолвился об этом случае, хотя тему о Павлике Морозове они с Гани в школе уже проходили...

Ворох денег в бедном чеченском доме однажды всплыл в памяти, и Дасаев, кажется, сумел, хоть и запоздало, разгадать их тайну. Но в ту пору он не мог поделиться ни с кем своим открытием, да и вряд ли кто понял бы его или придал этому факту такое значение, какое придал Рушан. Сегодня, когда открываются и не такие секреты, можно говорить и об этой тайне, тем более что за эти деньги молодые чеченцы заплатили сполна, и вряд ли кому-нибудь можно теперь предъявить счет, разве что товарищу Сталину. А отгадка пришла случайно...

В семидесятые годы советская пресса и телевидение уделяли много внимания всяким национально-освободительным движениям и левым партиям и, как героические страницы борьбы, преподносили экспроприацию денег и ценностей в пользу той или иной партии. Тактика, в общем-то, не новая, она использовалась и анархистами, и большевиками, были в ней и свои герои, вошедшие в историю: Кропоткин, Камо, Савинков.

Когда в очередной раз по телевидению показывали молодых латиноамериканцев, рисковавших жизнью из-за денег для повстанческого движения, Дасаев припомнил частые суды у них в Мартуке, да и по всей области — то банк очистят, то сберкассу, то ограбят ювелирный магазин подчистую, до последней серебряной ложки. Почти каждый раз грабителей задерживали, и ими оказывались молодые чеченцы. Но вот что странно: ни деньги, ни ценности никогда не находились, и шли юнцы на долгие годы в тюрьму — меньше десяти лет никому не давали, несмотря на малолетство. Некоторых из этих ребят Рушан хорошо знал...

После телепередачи он понял, откуда такая гора денег и драгоценностей оказалась некогда в доме Цуцаевых. Тогда он уже знал, что в Москву от чеченцев постоянно направлялись ходоки, добывавшиеся возвращения на родину переселенцев, а любая политическая борьба требует денег. Ценой собственной свободы добывали их молодые чеченцы. Как



живется им теперь, уцелевшим в сибирских тюрьмах, куда они отправлялись безусыми юнцами и откуда возвращались седыми мужчинами?

В техникуме в одной группе с Рушаном учился чеченец из под Алги Лом—Али Хакимов — умный, способный, крайне рассудительный парень, увлекавшийся политикой. Его постоянно можно было видеть с кипой газет в руках, ему поручались разные политинформации. Все, кто его знал, не сомневались, что быть Хакимову когда-нибудь дипломатом или крупным политическим деятелем. Воспитывал Лом—Али дядя, частенько наезжавший в общежитие, — видимо, с этим парнем и родня связывала большие надежды.

Было время, когда Рушан, листая газеты, ожидал наткнуться на знакомую фамилию этого талантливого парня, он тоже верил, что Хакимов поднимется или по дипломатической лестнице, или по партийной — наблюдалась склонность у него к тому и другому. Но тот неожиданно пропал из виду, как и многие другие, подававшие надежды.

Помнится, гуляя однажды по двору общежития на Дёповской, Хакимов сказал ему:

— А знаешь, в чеченском языке нет слова «господин». Значит, и нет понятия «раб». Вот так-то...

Похоже, так оно и есть — среди чеченцев Рушан не встречал ни трусливых, ни малодушных. Когда они в последний раз стояли на перроне вокзала Актюбинска и станционный колокол по старинной традиции отбивал последние пять минут до отхода проходящего скорого, увозившего Хакимова в Грозный, тот сказал на прощание:

— Я желаю, чтобы среди твоих друзей хоть один был чеченец. Ты знаешь, на нас можно положиться...

Жизнь проходит, но больше у Рушана чеченцев в друзьях не было, а с Лом—Али он прожил в одной комнате почти четыре прекрасных года, о которых страстно мечтал, сидя на крыше скорого поезда «Москва — Ташкент».

А еще, когда он слышит слово «кукуруза», оно ассоциируется у него не с Хрущевым, как у большинства, а с чеченцами, как у всех в Мартуке, ведь это они завезли в степные края удивительный злак, широко привили его на казахской земле. Двухметровая росла у чеченцев кукуруза, и все шло в дело:



початки на зерно, а стебли на корм скоту, ими же отапливались дома, и даже использовали их, как строительный материал, когда крыли крыши.

Мартук не знал вавилонского смешения языков, но в те давние годы звучала в нем и калмыцкая, и ногайская, и ингушская, и еврейская, и немецкая речь...

Немцы появились в поселке раньше всех других приезжих, их ссылали сюда из разных мест: Поволжья, где у них некогда была своя республика, о которой с похвалой отзывался еще Ленин, а также Кубани, Краснодара и Ставрополя... Немцев вывезли много, гораздо больше, чем чеченцев, и они очень быстро прижились — в ту пору ни о какой эмиграции, возвращении на историческую Родину не могло быть и речи. Они обустроивались основательно, всерьез и надолго. Их, наверное, тоже снимали с мест за двадцать четыре часа, и потому людям приходилось начинать на новом месте буквально с нуля.

Семьи российских немцев многодетны, но они, несмотря на бедность, жадно тянулись к образованию, хотя им всячески преграждали путь в высшие учебные заведения, не говоря уже о науке. И сегодня, когда идет мощный отток советских немцев в Германию, к сожалению, приходится признать, что Россия, в которую некогда позвали их предков, за двести с лишним лет так и не стала им родиной, хотя их заслуги перед новым отечеством преогромны. Оставили они свой благодатный след и в далеком степном поселке, где жил Рушан.

Это нынешние пятилетки были одна безрадостней другой, особенно три самые последние, когда стали исчезать элементарные предметы быта и товары первой необходимости, не говоря уже о скудном ассортименте продуктов питания, а тогда, после войны, каждая пятилетка поднимала страну на определенную высоту.

Уже в начале пятидесятых годов Мартук начал расстраиваться. Какие интересные дома стали возводить немцы! С просторными застекленными верандами, большими окнами, с приусадебными пристройками, банями — их сразу окрестили «немецкими» домами, и ни один не повторял другой, каждый хозяин находил для своего жилища что-то особенное. Глядя на пришлых, и местные начали перенимать новый архитектурный стиль.



До немцев существовало твердое убеждение, что тут ни деревья, ни цветы толком не растут, а с ними, как только наладилась жизнь, появились и цветники в каждом дворе, и даже яблони зацвели, а позже и собственный виноград поднялся. А уж помидоры, огурцы, болгарский перец, ранняя капуста и лучок — считай, были в каждом дворе, где жили толковые хозяева.

Никто не стал бы отрицать, что немцы преобразили неказистый степной Мартук. Это с их приездом появились в округе коровы голландской породы и беконные свиньи. И до этого в каждом русском подворье держали поросят, но только с немцами появились копильни и люди узнали вкус и запах колбасы. РТС — самое крупное предприятие поселка, где ремонтировали сельхозтехнику всего района, — на долгие годы стала одним из передовых хозяйств республики. Там трудились в основном немцы — люди, склонные к технике и не привыкшие работать спустя рукава.

Очередной строительный бум охватил Мартук в самом начале шестидесятых, когда там начали строить крупнейший в области элеватор. Народ дружно потянулся на стройку — платили там хорошо, а главное, появилась возможность разжиться строительными материалами. Единственным прорабом из местных на стройке оказался Рушан, это у него на участке трудились две комплексные бригады из немцев — отцы и старшие братья тех ребят, с которыми он учился в школе. Так что понятие «немецкий труд», утвердившееся во всем мире, Рушан было известно не понаслышке.

В ту пору в ходу был монолитный бетон, который отливали на месте в деревянных опалубках. По техническим условиям отработанная опалубка должна идти на списание, сжигаться, а если распорядиться по-хозяйски, ее можно было использовать еще на что угодно, только приложи руки. Рушан на свой страх и риск разрешил забирать доски из-под опалубки на домашнее строительство. Помнится, он и себе во двор завез машину такого материала — нужно было перекрыть крышу сарая и заменить давно сгнивший забор. Эти два куба списанного пиломатериала запомнились Рушану на всю жизнь.

Как только бортовая трехтонка, свалив груз, уехала со двора, его тихая мать закатила неожиданный скандал —



требовала сейчас же, немедленно, отвезти все обратно на стройку. Поначалу Рушан не понял, отчего мать так всполошилась, но когда она упомянула фамилию немцев Грабовских с соседней улицы, почувствовал тревогу и обещал больше никогда ничего не привозить с объекта. Рушан ощутил засевавший в ней на всю жизнь страх, который нельзя было вытравить ничем, и даже время тут оказалось бессильным.

В одном классе с ним учился Коля Грабовский, тихий, прилежный немецкий мальчик. Были у него старший брат Юра, погибший чуть позже странным образом на Чудном озере, и младшая сестра Ольга. Сейчас Рушан знает, что тысячи советских немцев умерли или погибли под бомбежками, в трудовых лагерях, а в то время безотцовщина являлась как бы нормой, и он никогда не интересовался, где Колин отец. И вот теперь, запоздало, узнал историю отца одноклассника.

В войну, когда немцев привезли в Мартук, Грабовский-старший работал грузчиком на элеваторе, — годы были холодные, голодные, трое детей на руках, такую ораву и в мирное время прокормить не просто. И вот однажды вечером мать Рушана с еще одной соседкой вызывают в землянку к Грабовским «понятыми» — малограмотная женщина на всю жизнь запомнила это слово. Как только Грабовский-старший вернулся с работы, за ним следом в дом вошли двое из НКВД с понятыми и заставили хозяина вывернуть карманы прямо в руки свидетелей...

Мать со слезами на глазах рассказывала, что в обоих карманах ватной фуфайки не набралось даже полной горсти пшеницы. За эту неполную горсть, что она держала в собственных ладонях, соседу-немцу дали пятнадцать лет, и он отбыл их в тюрьме день в день, как говорят, от звонка до звонка.

Рушана потрясла та давняя история — пятнадцать лет за горсть пшеницы! — и он сразу понял и оценил страхи матери.

Случай этот долго не шел у него из головы. Ну ладно, война, стгоряча дали на всю катушку, но почему же сразу после войны, хотя бы в честь Победы, не пересмотрели подобные дела? Ведь дома осталось трое детей! Поистине, низвели человеческую жизнь до жизни раба, от которого требовалось одно — дармовая работа. Грабовского, наверное, и выпускать из тюрьмы не хотели, уж слишком честны и безотказны немцы в работе...



Грабовский-старший вернулся домой из Сибири в ноябре 1959 года и работал плотником в одной из бригад Рушана. Прораб всегда чувствовал перед этим безотказным мужиком, у которого от немца осталось лишь одно — трудолюбие (у него даже фамилию давно переделали на русский лад), какую-то вину за жестокость государства, и никогда не загонял его ни в ночные смены, ни на разгрузку цемента и вагонов с лесом: понимал, что тот свое отработал сполна...

От родных Рушан слышал, что семейство Грабовских с престарелым отцом уехало на жительство в ФРГ, и часто думал: «Пусть Родина, которую они так трудно и запоздало обрели, будет к ним добра и милостива, не в пример нашей, — слишком мало хорошего они видели в жизни по эту сторону границы. Пусть никто и нигде не заплатит больше за горсть сорной пшеницы такую цену, какую заплатил некогда Гюнтер Грабовский...»

VIII

С чеченцами часто случались какие-то шумные и скандальные истории — этих не могли запугать ни работники спецкомендатуры, ни люди из НКВД. Они не позволяли унижать собственное достоинство, и ни один чин при нагане не рисковал принимать чеченца в кабинете один на один, хотя тех на входе обыскивали самым тщательным образом. Говорят, в ту пору со стола начальства исчезли все тяжелые предметы: бюсты генералиссимуса из бронзы или мрамора, а также и бюсты железного Феликса, тяжелые письменные приборы каслинского литья из чугуна, особо модные в те годы, и даже графины с водой. Другое дело немцы — тихий, законопослушный народ, они не доставляли особых хлопот спецкомендатуре.

Но однажды произошло ЧП, перед которым померкли все лихие выходки горцев. Говорят, историей немецкого парня по имени Рубин занимались в Москве высшие чины НКВД и военной разведки. Рубин в ту пору учился не то в восьмом, не то в девятом классе и жил на другом краю села, поэтому Рушану не приходилось сталкиваться с ним, знал только, что тот жил с матерью, и мать его работала в школе истопницей и уборщицей..



Перебирая в памяти те далекие детские годы, Дасаев не мог не вспомнить добрым словом немок-уборщиц, что работали у них в школе. Каждый класс просторной и добротной школы отапливался тогда углем — а учились в две смены, была и третья, вечерняя, для взрослых, — это значит, больше двадцати печей топились с раннего утра и до поздней ночи. И бойкие уборщицы не только топили эти прожорливые печи, но еще в течение урока, к каждой перемене, успевали вымыть длинные коридоры школы. Сегодня, став взрослым, он понимал, что трудолюбие этих женщин спасло сотни ребят от туберкулеза.

О тех давних уборщицах в родной школе Рушан вспоминал не только из-за Рубина. Однажды в Нукусе он случайно по строительным делам оказался в школе. Войдя в современное здание с центральным отоплением, Рушан начал задыхаться и вскоре понял, что школа не знала влажной уборки даже раз в месяц, — ребята изо дня в день дышали мельчайшей пылью, взбитой в три смены тысячами детских ног.

Может, потому в Каракалпакии почти нет здоровых людей, они уже из школы выходят с ослабленными легкими. Жаль, местные врачи и местное начальство не понимали того, что знали малограмотные немецкие женщины...

Отдав должное в памяти школьным уборщицам, про которых вряд ли найдешь упоминание в каком-нибудь романе, он мысленно вернулся к Рубину...

Немцы в те годы не имели права без разрешения комендатуры покидать место жительства, не имели они и документов, что также лишало их возможности передвижения. Тем удивительнее оказался слух, что пропавший два месяца назад немецкий мальчик — школьник по имени Рубин, задержан на западной границе при попытке ее перейти. Его вернули домой, к матери, что с него взять — несовершеннолетний мальчуган.

На все вопросы учителей на педсовете он упрямо твердил, что хотел вернуться на свою Родину, хотя те дружно уверяли, что его Родина — СССР: здесь родился он, родились его родители и даже прадеды, только здесь ему гарантированы великой сталинской Конституцией право на труд, свободу, бесплатное образование, здравоохранение, жилье и прочие блага. Но, видимо, он уже тогда понимал, какие свободы ждут его в родном отечестве.



Рушан, как и другие одноклассники, бегал в соседний коридор, где учились старшекласники, взглянуть на парня, без документов, без денег одолевшего путь через всю страну и задержанного настоящими пограничниками. Оказывается, обыкновенный худенький мальчик-подросток с грустными глазами, отличник, прекрасно знавший математику и на контрольных решавший все четыре варианта задач. Были у него и приятели, с которыми он дружил и которых уже кое-куда вызывали, но никто из них даже предположить не мог, что Рубин затеет такое — отправится к дяде и родственникам во Франкфурт-на-Майне, откуда раз или два приходили письма и перепотрошенная посылка с вещами.

Окончив школу, Рубин снова бежал, но на этот раз его застрелили при переходе границы, и мать ездила на похороны, а чуть позже вовсе переехала в те края присматривать за могилой единственного сына, больше у нее никого не было — муж погиб в Челябинске в трудовых лагерях.

В школе провели собрание, где гневно осудили поступок бывшего ученика, — видимо, откуда-то поступило такое указание. Но между собой ребята говорили другое: жаль Рубина, он же школьник, а не шпион, и какие тайны он мог вывезти из Мартука — о нищем колхозе «Третий Интернационал», что ли? И пусть бы он жил там, где хотел, мы ведь граждане самой свободной страны...

Так просто и ясно — задолго до Хельсинкского совещания, — без знания о существовании Декларации прав человека, еще сорок лет назад мыслили мартукские мальчишки.

Сегодня ясно, что Рубин поспешил. Он был молод, не чувствовал время, а поговорить, посоветоваться ему было не с кем — наверняка даже мать не знала о его планах. А времена меняются, даже самые тяжелые в конце концов проходят, только никто не знает, сколько надо ждать, потому и торопятся, ошибаются и погибают...

В мартукской парикмахерской работали две очаровательные сестрички, Марта и Магда. Рушан не раз стригся у них под нулевку — другая стрижка в те годы младшекласникам не разрешалась.

Вот эту семью Тиссенов разыскала какая-то родня из ФРГ, и опять поползли слухи, что родственник не то банкир, не то генерал. Тиссены стали собираться в дорогу...



У Марты к тому времени уже был жених, Вольдемар, старший брат товарища Рушана — Сигизмунда Вуккерта (которого друзья на русский манер звали Саня), так что отъезд происходил у Рушана на глазах. Сыграли скорую свадьбу: иначе Вольдемар-Володя остался бы без невесты, а уж там, в ФРГ, такую красавицу, наверное, сразу перехватил бы какой-нибудь бюргер, — так рассуждали Рушан с Вуккертом-младшим.

Честно говоря, Володя на Запад не рвался, можно сказать, чашу весов перетянула боязнь потерять любимую. Уезжал он из Мартука со слезами на глазах, Рушан это мог подтвердить, и первые письма его были полны печали и тоски по России, — Рушан читал их сам. У людей в ту пору не было особых тайн, и письма брата из ФРГ Саня всегда приносил в школу.

Потрясло их одно письмо, которое земляк прислал, когда устроился на работу. У Володи не было какой-то конкретной специальности, вкалывал, где появлялась работа, а с ней всегда было трудно в селе. И вот он нашел себе место в маленькой столярной мастерской, где делали обыкновенные табуретки для кухни, пивных баров, дешевых столовых. Показав, что и как, дали инструмент и благословили на работу — долго говорить с каждым у хозяина времени не было. Удивило Володю план-задание — две табуретки в день. И он решил отличиться: показать хозяину, что и российские немцы не лыком шиты. В общем, сделал к вечеру восемь табуреток, даже на обед не ходил.

Каково же было его огорчение, когда вместо ожидаемой похвалы увидел недоумение и растерянность на лице владельца мастерской. Тот, конечно, оценил «старание» нового работника, которого принял по рекомендации одного из влиятельных заказчиков, однако предупредил, что впредь нужно делать только две табуретки — и ни одной больше, но делать так, чтобы они не скрипели, не рассохлись ни через год, ни через два, ни через десять лет. Может, потому, несмотря на семьдесят с лишним лет новой жизни, в наших домах кое-где до сих пор сохранились простые гнутые венские стулья со спинкой без обивки — их во множестве выпускали в России совместные предприятия. Действительно ведь, не скрипят, не рассыпаются.

О «старании» наших бывших граждан, желающих отличиться перед новыми хозяевами, ходит немало историй, но Рушана



поразила одна, услышанная не так давно — из новейшей, так сказать, эмиграции в Израиль.

Некий ташкентский мясник из бухарских евреев, осевший в Тель-Авиве, устроился по специальности и так же, как Володя, старался в поте лица, ежедневно сдавая хорошую выручку приказчику. Когда хозяин через какое-то время лично посетил лавку, наш мясник, выбрав момент, заманил его в подсобку и, воровато достав припрятанный сверток, протянул значительную сумму денег.

Владелец магазина, опешив, спросил: откуда это? Мясник гордо признался, что недоवेशивал, недодавал сдачу, делал пересортицу, словом, работал, как привык и как от него требовали прежде, вот, мол, за месяц и набежало. «Неблагодарный» хозяин тут же уволил удивленного работника. Тот долго не понимал — почему? Ведь из тех «левых» он не взял себе ни гроша, хотел выслужиться перед работодателем. А там, оказывается, выслуживаться не нужно — нужно работать честно, добросовестно, качественно. Другая работа там просто не нужна.

Какой еще долгий путь нам следует проделать, чтобы усвоить простые истины: не убий, не укради, — нам все надо начинать сначала...

Если бы Рубин не спешил, ему, наверное, тоже открылась бы дорога, и он мог бы найти достойное применение своим математическим способностям. И если бы дождался сегодняшних дней, то уехал без особых хлопот, как уезжают сотни тысяч немцев.

Жаль, хорошие люди уезжают, надежные, трудолюбивые, и как хорошо, что хоть из них за семьдесят с лишним лет не удалось выковать нового советского человека. Пусть люди впишутся в новую семью народов мира, и не надо на их пути ставить препятствия и давать лживые обещания, за которые никто не несет ответственности. Слишком долго они ждали, надеялись, что своим трудом, умом, талантом завоюют подобающее место в обществе, но, если честно, они так и не нашли своего места в новой России. Пусть хоть историческая родина оценит их терпение и труд, пусть они будут счастливы...

В старинном квартале, где жил Дасаев, традиционно мусульманском, обитала лишь одна русская семья — Козловы, а точнее, дед Козлов с бабкой Августиной. Как величали хозяина



подворья на углу Украинской улицы, где всегда росли подсолнухи со сковородку и сохли на плетнях глиняные горшки, Рушан никогда не знал, и стар и млад называли его просто — дед Козлов. Появился дед Козлов, говорят, в Мартуке почти в один и тот же год, что и известная слепая старуха Мамлеева, с которой он и был дружен до последних дней. В войну оказалось, что едва ли не единственным мужчиной на Татарке остался дед Козлов, всех мужиков отправили на фронт.

Отвоевался дед Козлов давно, еще в Первую мировую войну — попал в германский плен, оттуда трижды бежал, а последний раз, чтобы не пускаться в бега, зашибли ему ногу, и он заметно хромал.

Многое он повидал на своем веку и многое умел, даже по-немецки лопотать научился в плену и позже в охотку получал поволжских немцев их языку и обычаям, за что особо почитался среди новых переселенцев и многие звали его в крестные отцы.

Что бы ни случилось на Татарке, все бежали к деду Козлову: помощи, подсказки, как быть, что делать? И для всякого у него находилось и доброе слово, и умелые руки, а бывало, и делился последним. С каждым треугольником, полученным с фронта, шли к нему женщины: фронтовик, орденосец, два Георгия за войну с немцами имел, жил в Неметчине, батрачил в имении у какого-то бюргера, — уж он подскажет, как там на войне в самом деле, скоро ли конец проклятой. Но писем с фронта поубавилось в первую же зиму: большинство мартучан из Туркестанской дивизии — в их числе и отец Рушана, Мирсаид, — полегло зимой сорок первого года под Москвой (среди знаменитых панфиловцев есть и два их земляка, сейчас их имена носят пыльные, в колдобинах, улицы за базаром).

Всю войну в степных краях стояли лютые зимы, и Козлов, бесплатно подшивавший всей Татарке валенки, сокрушался, что не смогли они с мужиками перед самой войной выкопать колодец в квартале, хотя место ему успели определить. За водой ходили на станцию, не близко, да и там, среди обозленных станционных баб, чувствовали себя неуютно, вроде как на чужое зарились... И с очередной похоронкой, приходившей на Татарку, становилось все более ясно, что копать колодец теперь будет некому — придется нанимать людей.



Дольше всех с фронта шли письма от соседа — казаха Сулеймана. Тот помнил о колодце, который не успели вырыть летом сорок первого, и все сокрушался в каждом послании, как они маются там в грязь и холод. Обещал обязательно захватить из Германии метров двадцать цепи для колодца — знал, что по тем временам дома и ржавого гвоздя не найти. Но в сорок четвертом году погиб под Будапештом и Сулейман.

Дед Козлов понял, что кроме него бедным бабам рассчитывать больше не на кого — те несколько мужиков, которых ожидали из госпиталей, тоже в счет не шли: кто без руки, кто без ноги, а кто и вовсе ослеп. И вот летом в год победы дед Козлов продал на базаре свою единственную корову редкой голландской породы и на вырученные деньги выкопал колодец.

Колодец служил людям долгие годы, много воды попил из него и Рушан. Теперь уже лет пятнадцать, как его нет, — засыпали, отпала в нем нужда, у каждого во дворе персональная колонка на электричестве.

Нынешним людям, даже деревенским, трудно представить, что означал колодец вблизи дома, какую роль играл в судьбе каждого, и как он объединял, воспитывал, сплачивал жителей, ведь его надо ежегодно чистить, каждые два-три года менять деревянный сруб, ворот и даже цепь, отполированную до зеркального блеска.

Живущие теперь на Татарке вряд ли помнят и о колодце, и о том, какой ценой он был построен, да и самого Козлова тоже забыли. Страшно, если в удручающем беспамятстве, даже в запальчивости, внук Сулеймана крикнет внуку или правнуку деда Козлова: «Убирайся в свою Россию!» Единственная отрада, что ни Сулейман, ни дед Козлов этого уже не услышат.

IX

Предаваясь экскурсам в прошлое, Рушан обнаружил, что жизнь современного человека, даже обыкновенного, не особенно преуспевающего, вбирает в себя много событий. А какие расстояния ему приходится преодолевать! Еще совсем недавно о подобных стремительных перемещениях по стране человек



из маленького местечка и помыслить не мог. Поистине — космический век, космические расстояния...

Под настроение Рушан довольно часто перечитывал старые письма, подолгу рассматривал пожелтевшие фотографии, которых, к удивлению, за жизнь скопилось немало. Они были словно иллюстрации к прожитым годам, но чаще всего старые любительские снимки служили толчком к новым воспоминаниям, из глубины сознания возникали давно забытые случаи.

Сегодня, на исходе двадцатого столетия, возник невиданный интерес к оккультным наукам, ко всяким предсказателям, экстрасенсам, шаманам, гороскопам. Окажись у кого карты в руках — тут же станут выяснять ваше прошлое и предсказывать будущее. Как-то, перебирая пачку фотографий, он обнаружил два снимка рядом, они-то и навели его на мысль о расстояниях, да и о судьбе тоже. Он мысленно провел между ними линию, получилось — из континента на континент.

Один снимок был сделан в самой восточной точке Азии, в порту Находка, где он был в командировке, получал вьетнамский паркет красного дерева. А другой — на мысе Рока в Португалии, самой западной точке Европы. Оба известных географических места расположены высоко над обрывом, а внизу шумят два великих океана.

Хотя Рушан отнюдь не принадлежал к элите, он тоже успел кое-где побывать. Прорабская работа тяжелая, ответственная, и чтобы как-то скрасить строителям жизнь, высокое начальство, особенно курировавшее пусковые объекты, выделяло в межсезонье для своих трудяг путевки. В одной из таких поездок он и снялся на мысе Рока. Но тогда, в ветреный апрельский день, он и не вспомнил, что некогда уже фотографировался на другой крайней точке планеты. Вот только спустя годы, когда волею случая две фотографии, словно удачливые карты, легли рядом, осмыслил, как далеко ему приходилось забираться. Он глянул на карту мира, висевшую в кабинете, и, найдя эти точки, поразился расстоянию. Между ними лежали десятки стран, сотни городов с вековой историей, тысячи поселков и деревень. На этих просторах, неохватных даже воображением, жили миллионы людей разных рас и вероисповеданий, и каждый — со своей судьбой...



И, может, оттого, что впервые почувствовал себя песчинкой в пустыне, каплей в океане, он стал еще пристальнее вглядываться в себя, свою жизнь, свое прошлое.

Но странно: память уносила не в прославленные края, где ему удалось побывать, в Париж, например, а к истокам, к школе, где пробуждалась его душа, где он мечтал о жизни, о своем месте на земле, размышлял, кем станет, кого полюбит. И поиски самого себя в том давнем времени удавались лучше, когда он вспоминал разных людей, казалось, не имеющих к нему никакого отношения...

Все это было давным-давно, и даже директор школы со странной фамилией Фасоль ходил тогда в холостяках. И в одну зиму прошелестело по классам: Фасоль женился, жену привез. В ту пору директор жил при школе, и на какой-то перемене Рушан увидел невысокую стройную девушку в изящной беличьей шубке, в коротких зимних сапожках на высоком каблуке, называвшихся почему-то «венгерками». Она оказалась милой и пригожей, с румяными от мороза щеками, и, наверное, чем-то походила на городских старшеклассниц, хотя Рушан уже знал, что она детский врач. Он помнит, как вскоре у них родилась дочь, видел, как ежедневно выгуливали эту девочку возле школы. Девчонки-старшеклассницы каждую перемену сбегались к коляске и по очереди катали ее по школьным аллеям среди цветущих акаций, — это тоже врезалось в память. Акации, дорожки, посыпанные красноватым песком, школьницы в белых фартуках, словно бабочки, и маленькая девочка, вся в кружевах...

Много лет спустя в один из своих отпусков Рушан танцевал с этой очаровательной девушкой, в то время уже ленинградской студенткой, в летнем саду, и очень смешил ее теми давними воспоминаниями. После его отъезда в том далеком августе из-за нее застрелился какой-то парень, кажется, бывший одноклассник. Как тесно все переплелось в жизни — любовь и смерть...

Сегодня уже нет в живых директора школы, большого любителя шахмат, давно на пенсии его жена, некогда показавшаяся Рушану старшеклассницей из-за беличьей шубки с муфтой на груди, в которой она прятала озябшие руки в тонких перчатках, а очаровательная девушка, которую некогда



катали в коляске по школьному двору выпускницы, вряд ли часто вспоминала провинциального мальчику, нажавшего в ту роковую ночь на спусковой крючок охотничьего ружья. Как стремительно летит время, и как быстро ржавеют небогатые железные надгробья на могилах юных, как скоро забываются даже самые грустные истории...

В последние годы Рушан часто вспоминает школу, а вернее, две школы в своей жизни. Порою ему казалось, что он слишком идеализирует ее, слишком много приписывает ей хорошего, возвышенного, романтического. И как он был горд, когда правда обо всем стала пробиваться на свет, и оказалось, что выпускники советских школ пятидесятых годов были намного образованнее, эрудированнее нынешних юнцов конца восьмидесятых — начала девяностых. Откровенное признание некоего авторитета из Академии педагогических наук осветило воспоминания по-новому, потому что большей частью они касались школьных лет. Хотя он устыдился своей гордости, уловив в ней нечто противоестественное: что же тут хорошего, если наши дети за тридцать лет прибавили лишь в теле и невежестве — ведь на плечи плохо образованного и плохо воспитанного поколения ляжет твоя старость.

Но о старости, которая подступала уже вплотную, думать почему-то не хотелось, может, оттого, что до сих пор снятся молодые сны, а точнее, сны о юности. Странно, бывшие возлюбленные снятся прежними, юными, какими запомнились на всю жизнь. Да и ты сам не ощущаешь в снах груза собственных лет, чаще тоже бываешь молодым, но непременно с опытом прожитой жизни, как мудрая черепаха Тортилла, — и теперь-то тебе все ясно и понятно. Какие же это удивительные и прекрасные сны! И как горьки, мучительны возвращения в действительность из этих снов!

Ведь милых, очаровательных девушек, чей образ ты пронес через всю жизнь и с одной из которых ты только что, во сне, договаривался о новой встрече или о том, чтобы больше никогда не ссориться, давно уже нет. Есть женщины, побитые судьбой, уставшие от жизни, одни уже на пенсии, а другие на пороге ее, и мало что в этих женщинах напоминает о бывшей красоте, изяществе, легкости движений. Попробуй кого-нибудь из незнакомых людей убедить, какой красавицей была та или



иная прежде, могут и на смех поднять, — время безжалостно отбирает все: и блеск глаз, и пышность волос, и улыбку...

Наверное, есть что-то справедливое в том, что, выходя замуж, девушки теряют свои фамилии, тем самым как бы утверждая: нет больше ни Нововой, ни Давыдычевой, ни Резниковой, а есть некая Астафьева, Журавлева, Зотова. Эти новые фамилии твоих давних симпатий и привязанностей ничего тебе не говорят, да и сами они стали незнакомыми, чужими женщинами — чьими-то женами, матерями, а то и бабушками уже...

Наверное, в нажитых седирах и морщинах тоже есть свои преимущества — по крайней мере, обретая их, меньше витаешь в облаках и объективнее рассматриваешь и прошлое, и настоящее, и будущее, — розовые очки к этому времени то ли разбиты основательно, то ли вовсе затерялись. И дело не в том, что задним числом понимаешь, в какую дверь надо было входить, а в какую — не стоило; просто знаешь, почему вошел в другую, хотя многого не понять даже сейчас, особенно того, что касалось сердечных дел. Поступки женского и уж тем более — девичьего сердца неподвластны никакой логике, об этом написаны горы книг, на том стоит литература, да и сама жизнь, — это было тайной для него, останется и после него. Но все же даже через годы, десятилетия однажды всплывет какая-то фраза, жест любимой, который не понял тогда и не можешь разгадать сейчас, — оказывается, это сложнее, чем шумерские письмена. И осознавать это мучительно...

Стороннему человеку, тем более молодому, раздумья о том, что когда-то сказала или как посмотрела некая десятиклассница или студентка, показались бы просто нелепыми, но, как ни странно, для некоторых людей, проживших уже немало, это становится очень важным. Ведь, отняв у человека самостоятельность, решая за него буквально все, вытравив личностное, индивидуальное, навязав коллегальность во всех делах, государство не добралось лишь до дел сердечных, тут допускались инициатива и альтернатива, как нынче модно выражаться, и поэтому неудивительно, что мы так легкоранимы в личной жизни. Нам не давали реализоваться в иных сферах, и крах, неудачу в любви, в семье мы переживаем острее, чем несложившуюся карьеру.

Может, оттого, что Рушан был с детства влюбчив «как гимназист», по определению его любимого писателя Катаева,



его воспоминания подернуты романтическим флером, и все ему видится под густым налетом сентиментальности? Ведь он и впрямь был влюблен в Сафию-апа на ее свадьбе, и даже жалел, что, когда вырастет, ему не достанется девушка с подобными достоинствами, о которых так красочно распинались возбужденные вином гости. Позже он влюбился в «мадам Баттерфляй» с нежно-персиковым лицом, на которой так и не женился его дядя Рашид. И даже доктора Юлию, жену директора школы, обожал почти полгода, пока в его сердце ненадолго не поселилась пионервожатая — по-цыгански смуглая, по-цыгански веселая и шумная Наденька Кривцанова.

Созерцательность, романтический взгляд на мир, сентиментальность никак не вязались с основным его занятием в жизни — строительством, скорее эти черты характерны для представителей творческих профессий, гуманитариев, людей, выросших в интеллигентной среде, а он никоим образом не попадал в их число. Казалось бы, человек, наделенный такими несвойственными для строителя качествами, должен быть плохим прорабом, но в том и состоял парадокс, что Дасаев был профессионалом своего дела, и, будь он чуть предприимчивее, давно возглавил бы какую-нибудь крупную стройку за рубежом, да и места намечались интересные: Куба, Марокко, Алжир, Индия.

В бедном Мартуке разговоры о какой-то необычайной или редкой профессии вызывали непонятную злобу и раздражение. Он помнит, как девочка из другого класса, Валя Домарова, с которой у него впервые в жизни намечалось нечто вроде «романа», как-то призналась в сочинении на вольную тему, что хотела бы стать балериной, и какой резонанс это вызвало во всем Мартуке. Даже на Татарке старухи у колодца, путая русские и татарские слова, хихикая спрашивали друг друга: «Слыхали, дочка шофера Васьки Домарова балериной надумала стать?» — «Это значит, в исподнем перед людьми ноги задирать? Ха-ха-ха!» Дальше шли комментарии и вовсе непечатные. А ход многолетнему шашашу вокруг девочки, мечтавшей стать балериной, дала учительница литературы.

История не забылась ни через десять, ни через двадцать лет. Уже умерла мать Вали, и сама девочка, мечтавшая стать балериной, уже готовит, вероятно, документы на пенсию,



а про ее родителей разговоры все равно начинаются одинаково: а не те ли Домаровы, чья дочка балериной порхать хотела...

Так мог ли кто тогда помыслить в Мартуке, что он станет дипломатом или журналистом, композитором или писателем, режиссером или актером? Такое просто в голову не могло прийти, и не только потому, что боялись досужей молвы — были уверены: люди подобных профессий рождаются где-то в иных местах, и сами они совсем иные.

Отсюда дружно шли в горные техникумы и институты, потому что в те годы там была самая высокая стипендия и бесплатно давали обмундирование. По той же причине охотно шли в военные и морские училища и во всякие ремеслухи: здесь и кормили, и одевали бесплатно, что для ребят из провинции оказывалось важнее призвания. Рушан попал в железнодорожный техникум, на строительное отделение, по тем же причинам: там тоже многое сулили «бесплатно», а главное, открывалась возможность повидать страну. В объявлении о приеме значилось четко: ежегодно предоставляется право бесплатного проезда в любой конец Советского Союза. Это и определило жизненный выбор — его всегда манило в какие-то неизведанные дали. Еще бы — ведь рядом постоянно громыхали поезда...

В его натуре с детства проявлялось что-то артистическое, и возможно, ему удалось бы найти себя в творческой сфере, но чего не случилось, того не случилось. Может, именно сегодня, запоздало приступив к сочинению своего «романа о жизни», он решил реализовать в себе и всегда дремавшее творческое начало?

В детстве ему и его сверстникам повезло: сразу после войны они перевидали много трофейных фильмов — в том числе и те, которым предстояло войти в золотой фонд мирового кино. В ту пору о мастерстве, режиссуре и прочих тонкостях не говорили, тем более в их далеком от столицы поселке, но не пропускали ни одного фильма. Если сейчас расцветом Голливуда принято считать предвоенные и военные годы, то большинство фильмов этого периода они видели. Жившие другой жизнью и знакомые с другим кинематографом, они жадно вглядывались в иной мир, в иные взаимоотношения. Там, в тех давних фильмах, все было другим, нереальным на их взгляд.

Фильмы тогда гоняли в старой, наспех переоборудованной под киношку конюшне колхоза «Третий Интернационал».



Зал всегда заполнялся до отказа, и таким мальчикам, как он, чаще всего приходилось сидеть где-нибудь на полу в проходах. Зал не отапливался, и чем больше набивалось народу, тем было теплее.

Вспоминается, как он сидит в проходе у самого экрана, жует жмых — жесткие брикеты из остатков семян подсолнечника после того, как из них выжмут масло, — и во все глаза смотрит на разворачивающееся действие. А на экране фешенебельный курорт. В просторном фойе белоснежной гостиницы, уставленном диковинными пальмами и цветущими кактусами в кадках, прошаживает ослепительная красавица, нетерпеливо поглядывая на широкую мраморную лестницу, устланную кроваво-красным ковром. По лестнице спускается молодой темно-волосый мужчина с тщательным пробором в набриолиненных волосах, одетый в элегантный костюм с атласными бортами, белый пикейный жилет с белой же бабочкой.

Этот сказочно одетый герой так завораживает Рушана, что он невольно роняет свой кусок жмыха и даже не делает попытки отыскать его в темноте. Он жадно вглядывается в счастливицу, которого, волнуясь, ждет такая восхитительная девушка, и вдруг, неожиданно для себя, мысленно говорит: вырасту, стану зарабатывать, сошью себе такой костюм.

Можно побиться об заклад, что ни одному жителю Мартука не могла прийти в голову подобная чепуха: смокинг, пикейный жилет, белоснежная бабочка... Ведь кроме ватника и кирзовых сапог, в тех краях после войны не знали иной одежды.

Хотеть не вредно... Однако эта история имела неожиданное продолжение.

Лет через десять, когда он, окончив техникум, работал смотрителем в дистанции зданий и сооружений вблизи Кзыл-Орды, с какой-то полочки решил отправиться в город, чтобы заказать себе первый в жизни костюм. Приемщица ателье, узнав о желании клиента, сунула ему в руки пачку журналов мод и куда-то надолго удалилась. Журналы мод в те времена были далеки от реальной жизни, может быть, даже больше, чем сегодня, потому что с тех пор наш народ, слава богу, кое-что повидал, путешествуя по свету, а тогда были годы настоящего железного занавеса.

И вот в одном из журналов Рушан вдруг наткнулся на точно такой же костюм, что некогда поразил его воображение



в фильме, и называлось это чудо смокингом. Рушан не мог оторвать от него взгляда, за этим занятием и застал его еврей-закройщик. Он спросил с какой-то веселой издевкой:

— На смокинг замахнулись, молодой человек?

И Рушан, словно пойманный за недостойным занятием, ответил упрямо, с вызовом:

— Да, мне давно хочется иметь такой смокинг.

Теперь настал черед удивляться закройщику, он даже присел рядом с Рушаном и, как бы извиняясь, сказал:

— Я уже лет тридцать не шил смокинги, но постараюсь, раньше они у меня хорошо получались...

Так Рушан узнал, что человек с заметной одышкой был некогда костюмером в знаменитом ленинградском театре и в известные годы оказался сосланным в Кзыл-Орду. Трудно сказать, кто из них больше обрадовался — заказчик или портной. Старый ленинградец посоветовал ему сшить белый пикеиный жилет к смокингу, а когда отдавал заказ, то, волнуясь, протянул Рушану подарок — белую бабочку, сказав, что это от него лично, за то, что на старости лет порадовал его интересной работой.

В Кара-Узяке он снимал комнату в одной семье, а когда дома примерил обнову еще раз, показался на радостях хозяевам. Старуха, оглядев его, осуждающе сказала:

— У тебя сапоги худые, а ты как в театр вырядился...

Так, случайно, воплотилась в жизнь детская мечта. Сейчас вспоминать об этом было смешно, но тогда...

Х

Город, в котором он окончил техникум, по железнодорожной терминологии назывался «узловой станцией». Это означало, что здесь меняются поездные бригады, есть вагонное и локомотивное депо, сортировочная горка, проще говоря — порт или гавань для старых и новых локомотивов. В ту пору, когда он здесь учился, само вокзальное здание, возникшее словно из сказок Шахерезады, вызывало у него огромный интерес. Служебные станционные здания, возведенные одновременно с железной дорогой Москва — Ташкент в начале XX века, ныне,



если они, конечно, сохранились, представляют собой архитектурную ценность. С высокими затейливыми крышами, башнями и куполами в восточном стиле, частыми стрельчатыми окнами и цветными витражами, строения из добротного желтого камня украшали города и селения на долгом пути. При каждой станции непременно имелась и высокая водонапорная башня, ибо в ту пору ходили только паровозы. Рядом возводились грузовые дворы, пакгаузы, и привокзальный комплекс зданий до сих пор поражает своей целостностью, добротностью, архитектурным решением...

Много позже, став инженером и работая над каким-то проектом, он наткнулся в архивах на документы о строительстве этой железной дороги, которую знал, как никакую другую — мог на память восстановить всю ее от Москвы до Ташкента. Выяснилось, что дорогу, которая и по сей день является основной, связывающей Среднюю Азию и Центр, и не имеющую до сих пор второго пути, построили в кратчайший срок, без шума, без помпы, всего два строительных батальона. А все станционные здания разработали рядовые архитекторы. До сих пор без ремонта — а им, почитай, уже век, — на некоторых станциях служат водопроводы, построенные безымянными солдатами-строителями.

К тому времени Рушан имел уже солидный опыт строительной работы, знал, какой ценой, например, возводится знаменитый БАМ, и те сведения, которые он случайно раскопал в архивных материалах, буквально ошарашили его. Позже нечто подобное он испытает, посетив развалины древнего храма Артемиды. Но дорога, ее строительство, потрясали все же больше, и неудивительно, ведь это вплотную касалось каждого из нас: железная колея связывала с большим миром... Видимо, чтобы лучше знать, от чего мы ушли и к чему пришли, надо хоть изредка заглядывать в архивы...

О станции, мимо которой он ежедневно ходил почти четыре года и знал все ее потайные уголки — ибо уезжал оттуда и приезжал туда десятки раз, — он вспомнил не случайно: она тоже, как и многие герои его повествования, исчезла навсегда, можно сказать — сгинула.

В один из его редких наездов домой, уже в начале семидесятых, кто-то из близких знакомых, услышав, что он собирается



поехать в Актюбинск поездом, простодушно поведал, что великолепного старинного вокзала больше нет — снесли. Да он и сам вскоре увидел это своими глазами. На месте прежнего величественного здания, издали похожего на храм, высилась странная бетонная коробка — донельзя убогое архитектурное сооружение, напоминающее большой, неудобный, неуютный, неприглядный сарай. И на память пришла строка одного современного писателя: «Новое нужно строить так, чтобы оно не вызывало грусти и сожаления о прошлом».

Уже потом ему рассказали, как расправлялись со старым вокзалом. Оказывается, чтобы разрушить старинное строение, пришлось и взрывчатку применять, танками и тягачами крушить. Как он возмущался тогда, что снесли единственное достойное здание в городе, вместо того, чтобы отреставрировать его, как он порывался узнать имя современного Герострата, но не удалось...

В удивительном мире мы живем: знаем Герострата, который несколько тысячелетий назад спалил храм Артемиды в Эфесе, и не ведаем, кто десятки лет назад отдал команду снести храм Христа Спасителя в Москве или совсем недавно приказал взорвать вокзал в Актюбинске. Впрочем, с годами многому находится объяснение. Сегодня, в начале девяностых, когда Рушан видит в Москве, как турки, финны, шведы, немцы реставрируют, перестраивают национальные святыни России, он понимает, как был наивен, рассчитывая на реставрацию обыкновенного станционного вокзала, — откуда же на все объекты наберется столько иностранцев?

В тот день, опечаленный, что исчезла еще одна примета его молодости — ориентир, казалось бы, вечный, — он невольно пошел по путям вглубь станции, как поступал прежде, когда возвращался в город из дома в полночь на почтовом поезде «Оренбург — Гурьев». Он хотел поглядеть на общежитие, в котором жил лет десять назад, но не вышло. Шагая по замызганным путям, перескакивая через рельсы, годами не знавшие скребка, он незаметно забрел в старое депо, куда сгоняли отслужившие свой век паровозы. Хотя он уже много лет назад расстался с железной дорогой, где-то в душе сохранил странную привязанность к ней и тайно гордился, что некогда принадлежал к этой могучей отрасли. И аббревиатура



«МПС» не была для него пустым звуком, тем более что в юности он даже выступал за «Локомотив». «Железная дорога — это как первая любовь, никогда не забывается», — как-то с грустью признался его дядя — колбасный мастер Рашид, некогда работавший на паровозах.

В депо с разбитыми окнами и вырванными с мясом железными дверями раздольно гулял ветер, сквозь прогнившую ржавую крышу откуда-то капала вода. От холода и свистевшего со всех сторон ветра казалось, что легкие изящные пассажирские паровозы жались к могучим широкогрудым грузовым «СО» — «Серго Орджоникидзе», а маневровый, почти игрушечный, прозванный за изворотливость «щуккой», стоял у двери первым, словно рассчитывал вырваться из этого могильника. «Наверное, эти паровозы хорошо помнят старый вокзал и никогда его не забудут», — почему-то с грустью подумал Рушан.

Локомотивов тут приткнулось немало, разной сохранности, попалась на глаза даже почти новая маневровая «овечка», почему-то приписанная к Забайкальской железной дороге. Но больше всего приглянулся ему зеленой окраски, в потемневших медных бандажах, с красными колесами и белой трубой, хищно-изящный «ИС» — «Иосиф Сталин». «Борзый», как называли его мальчишки, и впрямь походил издали на красивую породистую гончую. На его груди каким-то чудом сохранился литой из красной меди профиль вождя.

Рушан так залюбовался паровозом, что невольно ощутил вокруг себя запах подпаленных горячим шлаком креозотовых шпал, особый запах горячего пара и машинного масла, исходившего от быстрого в беге «борзого». От топки, которую на остановке чистил кочегар, шел привычный домашний запах большого самовара — запах горящего угля и кипящей воды.

Рушан, можно сказать, вырос на станции, и потому без труда представлял такого красавца у себя в Мартуке, и непременно трех мужчин возле него. У одного в руках маленький молоточек на длинной ручке, у другого — объемистая масленка, литров на пять, а у третьего, кочегара, что всю стоянку мечется между тендером и топкой паровоза, бывает и лопата, и кувалда. Тот, что с молоточком, — машинист, и, если на груди у паровоза есть профиль вождя — а он присутствовал и на многих грузовых паровозах, — то первым делом, до осмотра ходовых



частей и тяги постукиванием, он надраивал до зеркального блеска профиль генералиссимуса, зная, что за это спрашивают строго. Не всякая красавица тратит на макияж столько времени, сколько машинисты уделяли чеканному профилю усатого...

Охваченный воспоминаниями, грустными и печальными, Рушан хотел было продолжить свой путь к общежитию, но вдруг его внимание привлек паровоз на соседнем пути. Большой, мощный, еще не отслуживший до конца свой век. Такие он уже встречал здесь, в депо, но этот, с груди которого крупными зубилами неаккуратно срубили профиль вождя, почему-то так притягивал к себе, что Рушану, как и в случае с пассажирским, он показался ожившим, под парами, готовым к стремительному бегу. Дасаев будто слышал его дыхание, видел, как он время от времени сбрасывает пары, дожидаясь последней команды дежурного по станции.

В тот момент, когда паровоз, давая протяжный гудок отправления, рывком тронул состав с места и медленно накатывался на него сквозь белесое облако пара, почему-то не прекращая душераздирающего гудка, Рушану вспомнилась история, которую он никогда никому не рассказывал и о которой в Мартуке помнят лишь старожилы...

ХІ

Хвала Аллаху, кажется, навсегда исчезли из нашего обихода слова «голод» и «холод» — вечные спутники степного Мартука. В ровной, как стол, степи, где ни леса, ни кустарника, как обогреть свое жильё? Выручала корова, если, конечно, была, — топили кизяками. Но зима приходила рано, уходила поздно, и в прожорливых печах сжигали все — до плетня, до ограды. А в крайнем случае выручала станция, где высились целые монбланы, эвересты шлака, выбрасываемого с проходящих поездов. Тихие, смиренные женщины, старушки с раннего утра ковырялись в этих горах, поджидая, когда вывалят на отвалы свежий шлак с очередного паровоза: бывали в таких случаях и удачи — попадались целые куски непрогоревшего угля.

Мальчишки постарше да пошустрее, не говоря уже о парнях, крутились возле паровозов, помогая кочегару заправлять



их водой, в надежде выпросить или выкрасть кусок угля. Этот промысел даже имел свое название, умершее вместе с паровозами, — «дрюкать» уголь. Замотанный кочегар почти всегда шел на сделку, потому что не мог разорваться между тендером и топкой, а зимой стоит чуть зазеваться, когда заправляешься водой, как она может хлынуть через край, и вмиг обледенеет весь хвост паровоза. А то еще хуже — залет бункер с углем, опять же кочегару беда: на ходу, на ветру кувалдой махать. А заправка ведь была не автоматическая, как сейчас.

Сегодня трудно себе представить, что между путями стояла громадная колонка-каланча с отводившейся, словно хобот у слона, трубой, — вот ее-то надо было установить прямо над люком тендера, а потом, спустившись вниз, открутить огромное колесо-ворот и успеть вовремя его закрыть, трубу же отвести на место, — будто обезьяне, приходилось мотаться вверх-вниз бедняге кочегару. А сколько надо было сил, чтобы топку очистить — все же вручную, на ходу, успевай только угольку в печь подбрасывать. Так что не от хорошей жизни подпускали ребят к паровозу, хоть и знали, что мальчишки не для забавы день и ночь отираются на станции. В общем, на то, что мальчишки крутились возле паровозов, многие закрывали глаза — и станционное начальство, и машинисты тоже.

Лет с десяти, в какие-то очень суровые зимы, когда безденежье буквально душило семью и не на что было купить возок кизяка у аульных казахов, стал ходить на станцию и Рушан.

При станции в казенных домах жили железнодорожники, и так сложилось, что ребята оттуда считали вокзальную территорию своей вотчиной и особенно не любили тех пришлых, кто ошивался возле паровозов. Конечно, у них не возникало таких проблем с топливом, как у поселковых, — железнодорожникам полагался бесплатный уголь, доставались им и старые списанные шпалы, которые регулярно менялись на перегонах, были и другие возможности разжиться растопкой, ведь уголь приходил для школ, больниц, райкома, милиции...

Но ребята со станции все-таки часто ходили дрюкать уголь и считались по этой части асами. Интересовались они, правда, определенным сортом — михайловским, только он годился для самоваров. В ту пору в каждом мусульманском дворе с утра до вечера дымились самовары, вот для них-то и дрюкали уголь



с паровозов, была и такса — два рубля за ведро, а ведра большие, двадцатилитровые, и насыпали их с верхом. На вырученные деньги станционные ребята ходили в кино, покупали семечки; поговаривали, что летом один отчаянный мальчишка, каждый день отиравшийся возле паровозов, даже скопил на велосипед, что по тем временам представляло неслыханную ценность.

...Рушану, наверное, никогда не забыть тот погожий зимний день, ибо, начавшись необыкновенно удачно, он закончился небывалой трагедией. Случилось это в каникулы. Он договорился со своим дружкой Диасом Искандеровым пойти с утра на станцию: повезет — добыть угля, нет — пособирать шлак сразу за паровозами.

Уложив в сани джутовый мешок, латаное-перелатанное цыганами старое перекошенное ведро и тяжелую кочергу, которую ему отковали летом в колхозной кузнице, он с товарищем отправился на вокзал. В компании Рушан считался человеком бывалым, так что Диас без разговоров шел за подручного — один он никогда не отважился бы пойти на станцию даже за шлаком, уж больно задирались в последнее время станционные мальчишки, хоть и учились все в одной школе.

Накануне всю ночь падал снег — крупный, пушистый, и день стоял теплый, безветренный, словно специально для школьных каникул — на радость ребятам.

Вскоре на первый путь пришел четный грузовой поезд. Рушан уже хорошо ориентировался в железнодорожной терминологии и понимал семафорные знаки, впрочем, они не отличались особой сложностью. Повезло и с кочегаром, тот разрешил заправить водой тендер. Но еще большая радость ожидала Рушана, когда он взобрался на паровоз: весь бункер до краев оказался заполнен кусковым углем, что случается нечасто, а сверху лежал огромный, ведер на десять, валун, и вся загрузка — михайловской породы, ни грамма карагандинского.

Пока заправлялись водой, помощник с машинистом ушли в станционный буфет — видимо, по радиосвязи сообщили о долгой стоянке, — и Рушан махнул Диасу, чтобы тот перешел на другую сторону паровоза, где кочегар уже кончил чистить топку. Не дожидаясь, пока неуклюжий Диас переползет под



вагоном, Рушан стал сбрасывать в сугробы между путями уголь кусок за куском, — такой удачи ему еще не выпадало.

Диас поначалу принялся относить уголь подальше, но Рушан, чтобы сэкономить время, велел складывать его тут же. Пока кочегар возился с топкой с противоположной стороны, Рушан сумел накидать немалую кучу, которую Диас умело присыпал снегом.

Как только Рушан сверху доложил кочегару, что с водой порядок, тот разрешил ему скинуть большой валун — видимо, чтобы потом не мучиться с ним в дороге самому. Но как Рушан ни силился, он не смог его одолеть, а Диас побоялся влезть на паровоз, — вместе они бы, наверное, сдвинули его с места. Тогда кочегар сам поднялся через кабину в бункер и сбросил огромный кусок в сторону поселка. В это время вдали уже показались машинист с помощником, потому что на противоположном конце станции открылся семафор, указывавший сквозной проход нечетному поезду по главному пути.

Рушан быстро спустился вниз и помог Диасу засыпать снегом добычу, чтобы помощник не увидел в свое окно, сколько угля они «увели», и чтобы не влетело за это добряку кочегару. Добыть столько угля Рушану раньше никогда не удавалось, а мальчишка не вчера стал ходить на станцию, и от радости он готов был петь и плясать. Они с Диасом, улыбаясь, что-то весело насвистывали, представляя, как обрадуют домашних, а может, даже еще два-три ведра продадут завмагу Кожемякиной, — тогда в кино можно будет ходить недели две подряд, не клянча денег у родителей.

И вот в это самое время со стороны РТС, где находился единственный на весь поселок каток, показалась компания станционных мальчишек — человек восемь-девять, разного возраста, были там ребята и чуть старше Рушана, и помоложе, и даже два дошкольника, как выяснилось позже. Не стой Рушан с Диасом так откровенно возле едва замаскированной кучи угля, компания, скорее всего, прошла бы мимо, но тут ребята заметили богатую добычу.

Столько «надрюкать» не удавалось даже станционным удальцам братьям Чурсиным, да к тому же не просто уголь, а весь михайловский, самоварный! Видимо, главному в компании, подростку по кличке Фаддей, уже отиравшемуся возле старших



блатных ребят, хозяева угля показали несерьезными, и он решил отнять чужую добычу — такое происходило частенько. Фаддей прикинул сразу, сколько денег можно заработать, если завезти все это на Татарку.

Когда Рушан с Диасом увидели компанию станционных мальчишек, у них сердце ушло в пятки от предчувствия беды. Встреча ничего хорошего не сулила — они прекрасно знали нравы ребят из краснокирпичной многоэтажки. Будь добыча всего в два-три ведра, возможно, не стоило и сожалеть, но добровольно расстаться с такой удачей, что выпадает раз в жизни, — никогда, тут уж никто свое без боя не отдаст.

Когда Фаддей, для смелости с громким матом, приблизился к ребятам, объявляя, что уголь с паровозов принадлежит только им, станционным, Рушан неожиданно для себя как-то спокойно оттолкнул его от кучи своей тяжелой кованой кочергой и для острастки соврал, что с ними был и чеченец Султан, он сейчас явится со старшим братом Хамитом и санками, вот ему, мол, и объяснишь, кому принадлежит уголь. Султана в поселке боялись даже старшие блатные ребята со станции, не говоря уже о такой мелюзге, как Фаддей, да и вообще тогда с чеченцами предпочитали не связываться.

Султан жил на Татарке, а Фаддей знал, что слепая старуха Мамлеева, бабка Рушана, имела огромное влияние на мусульман в поселке, да и видел он Рушана с чеченцами не однажды, это и заставило его на миг остановиться. Но Фаддей растерялся лишь на секунду — судя по школьным успехам, соображал он туго. Добыча, которая, казалось, уже была в руках, уплывала, да кроме того, и перед своими Фаддей чувствовал себя неудобно: будет потом мелюзга рассказывать станционной братии, как не сумел он отнять такой богатый куш у двух татарчат-малолеток.

А тут еще пацан-заморыш, учившийся с Диасом в одном классе, осмелел — потянулся за куском угля. Такой наглости не мог стерпеть даже Диас. Он дал однокласснику такого пинка валенком, что у того слетела шапка — прямо к ногам Фаддея. Это еще больше озадачило станционных — а может, татарчата и впрямь ждут помощи от чеченцев?

Уголь лежал на междупутье рядом с первым вагоном готовившегося к отходу поезда. Рушан с Диасом застыли около



кучи, а станционные мальчишки топтались в колее главного пути. Застоявшийся на полустанке паровоз, груженный михайловским углем, то и дело спускал пары, и ребята оказались как бы в тумане. А навстречу шел какой-то состав со срочным грузом — для него и подготовили зеленую улицу, придержав поезд на первом пути.

Одолов входные стрелки, встречный не прерывал гудок предупреждения. Машинист видел толпу ребят на путях, но он и не думал сбрасывать скорость, так как был уверен, что мальчишки увидят и услышат грохочущий состав. Но в том и беда, что не нашлось ни одного мальчика, даже дошкольника, который оторвал бы взгляд от кучи бархатисто мерцавшего михайловского угля, ибо в ту же секунду он увидел или услышал бы приближавшийся с грохотом скоростной состав. Все стояли напряженно, с остервенением переругиваясь, не желая уступать друг другу. Не услышали, не увидели состав даже вблизи, иначе бы успели рвануть из колееи..

Троих сразу зашибло насмерть, Фаддею отрезало обе ноги, двоих дошколят выбросило ударом за колею, и они отделались ушибами, а один мальчик, по фамилии Касперов, чудом остался жив: при ударе его подбросило вверх, он упал на решетку бампера паровоза и успел за что-то ухватиться.

Рушана тоже зацепило какой-то выступающей частью, до сих пор у него чуть выше правого виска круглая, с пятикопеечную монету, проплешина — вырвало кусок кожи с волосами, хотя он и был в шапке. И, видимо, когда его сшибло, крепко ударился левой ногой обо что-то, скорее всего, о злосчастную кучу угля. Хромал он долго, почти два месяца.

Когда очнулся, сразу понял, что произошло, — из краснокирпичной многоэтажки бежали к месту трагедии люди, — и он переполз под вагонами вновь задержанного на первом пути состава и потихоньку, волоча ушибленную ногу, без санок, плача, поплелся домой. Диаса, отделавшегося легким испугом, уже и след простыл.

Дома с ним случился нервный шок, от страха рвало, поднялась температура. Когда часа через три к ним в дом явился следователь НКВД, прибывший по такому случаю из города, в сопровождении местного милиционера Великданова, с чьей дочерью Валюшкой Рушан учился в одном классе, он лежал



пластом в постели возле холодной печи, так и не дождавшейся угля.

По холоду в доме, по заиндеветым, сырым стенам следовательно, наверное, сразу понял, почему мальчишка оказался на станции. Но все же, заполнив какие-то бумаги, он строго сказал матери: вот, мол, если бы ваш сын остался дома, читал книжки или гулял в такую чудную погоду, как подобает проводить время на школьных каникулах, — не случилось бы беды. Мать, и без того тихая, забитая, плохо говорившая по-русски, лишь заплакала, но старуха Мамлеева, которая пришла тут же, узнав, что произошло на станции, не смолчала в ответ. Она сказала тоном, не терпящим возражения, как привыкла смолоду:

— Вы не правы, молодой человек. Беда случилась не из-за того, что мой внук пошел на станцию, а оттого, что он был вынужден туда пойти. Конечно, замерзши он тут, у вас не было бы повода для беспокойства, уж извините за хлопоты...

И тут, робея перед городским начальством, в разговор все же вмешался Великданов, ведь ему тут жить, а он знал власть слепой старухи над мусульманами, составлявшими в ту пору большинство Мартука:

— Вы зря насчет книжек, товарищ капитан, парень он хороший, отличник, с моей дочерью в одном классе учится...

Капитан, понимая, что на этой беде особенно не отличиться, встал и, не попрощавшись, направился к низкой двери, завешанной старым одеялом.

Больше Рушана власти не беспокоили, хотя в школе одна учительница из старших классов настаивала, чтобы его исключили из пионеров как «расхитителя социалистической собственности». Но на педсовете на такую меру не пошли — почти все село жило не в ладах с законом, если придерживаться такой жесткой морали... Вспомнил Рушан и классное собрание, на котором присутствовали и другие преподаватели, кроме их любимой Зои Григорьевны Валянской. Тон обсуждению поступка Рушана задавала Шульженко, учительница из параллельного 4 «Б», как потом, через годы, выяснится, остро завидовавшая педагогическим успехам и популярности Зои Григорьевны. Она настаивала, что Рушану не место не только в пионерах, но и в школе. В ту суровую пору и на второй год оставляли, и из школы могли выгнать. Рушан, наверное, никогда не забудет это



судилище, когда вдруг с первой парты вскочила его одноклассница Нина Павкина и выкрикнула прямо Шульженко в лицо: «Неправду вы говорите, Рушан хороший мальчик, настоящий пионер...» — и, не выдержав напряжения от зависшей тишины, она неожиданно громко заплакала и выбежала из класса.

Нина жила в том самом краснокирпичном двухэтажном доме на станции, откуда были все мальчики, пытавшиеся отнять у двух мальцов с Татарки добытый возле паровозов уголь. Она лучше взрослых знала ребят со своего двора и понимала, что случилось на станции в то трагическое воскресение.

Да, страшная история припомнилась Рушану в старом локомотивном депо, и в таком настроении идти в общежитие, где когда-то был счастлив, ему расхотелось.

Возвращался в город он через поселок железнодорожников, непонятно почему с давних пор называемый «Москва». Там, на улице Деповской, и находилось его первое студенческое общежитие. Выбираясь на автобусную остановку, Рушан издали увидел приземистое здание бывшей железнодорожной столовой, куда и он забегал частенько, хотя у них в техникуме имелась своя столовка. Раньше всегда тщательно выкрашенная в желто-розовый цвет, под высокой ярко-зеленой крышей, столовая сейчас представляла собою печальное зрелище — заколоченные крест-накрест корявым горбылем входные двери и глазницы выбитых окон, осевшие печные трубы на прогнившей кое-где кровле. Вдруг на лицо Рушана набежала улыбка, и он на время отвлекся от тягостных дум...

XII

Поездные бригады, менявшиеся на узловой станции, — и возвращавшиеся из рейса, и уходившие в рейс, — непременно посещали деповскую столовую и обслуживались вне очереди. Те, что из рейса, обязательно брали к обеду по кружке пива. Рушан хорошо помнит: пузатая бочка с одышливым насосом всегда стояла рядом с пышнотелой буфетчицей в высоком кокошнике. Заказывали паровозники всякие салаты, сметану, и с пятерки, что протягивали они для расчета, им еще причиталась сдача серебром.



Рушан, сжимая в руке рублевку с мелочью, без зависти, а как нечто само собой разумеющееся, говорил себе мысленно: «Вот стану работать, тоже буду обедать на пятерку». Тогда каждый верил в свой час, жил, загадывая на будущее, и умел ждать. Он давно уже обедает на пятерку, а в кооперативных забегаловках иногда и на десятку. Недавно в Москве обедал в одной такой столовой: только суп-лапша, гордо именуемая домашней, стоила там тоже пятерку, правда, уже новыми, так что кое-что в жизни сбывается, хоть и запоздало. Обед за пятерку — уже из области преданий, легенд, и, к сожалению, кажется, навсегда.

Одолов какой-то возрастной рубеж — а он у каждого свой, — человек невольно (кстати или некстати — другой разговор) подводит итоги жизни, смиряется с потерями, признается в крахе больших надежд и теперь уже с грустной улыбкой вспоминает кое-какие свои прогнозы, которые отстаивал в долгих и жестоких спорах. Пусть улыбнутся идущие вслед за нами поколения наивности живущих рядом людей, а иногда, может быть, и подивятся их проницательности...

Как-то на танцах в «Железке», где Рушан считался своим парнем — не только из-за покровительства Исмаил-бека, но и потому, что очень рано вошел в сборную Казахской железной дороги по боксу, даже однажды представлял «Локомотив» на всесоюзной арене и этим уже выделялся среди своих сверстников, — случился инцидент, тоже запомнившийся на всю жизнь...

В ту пору силен был местный патриотизм, и какой любовью и популярностью пользовались свои, замороженные певцы, музыканты, поэты, художники, спортсмены, герои труда — не передать словами. Удивительно искреннее было время, благодатное для людей талантливых. Оттого даже в их захолустном городе появились в конце пятидесятых джазовые оркестры, свои эстрадные певцы, постоянно давались концерты, собиравшие полные залы, проводились выставки художников, а уж о вечерах поэзии и говорить не приходится.

В тот день на танцах он был с Лом—Али Хакимовым. Серьезный чеченец не поощрял увлечения своего товарища джазом, но дела сердечные заставили его составить компанию Рушану — приглянувшаяся ему девушка с соседнего факультета



могла пропустить что угодно, только не танцы в субботу во Дворце железнодорожников.

Кокетливую Эллочку Измествьеву в тот вечер часто приглашал на танец какой-то незнакомый молодой человек, и гордый чеченец приуныл. Чтобы нейтрализовать чужака, Рушан стал оказывать внимание ее подружке. В перерыве между танцами Рушан спросил у Элочки, что это за парень крутится возле нее, и она не без гордости ответила:

— Он будущий юрист, оканчивает в Алма-Ате университет, сейчас на практике в нашей прокуратуре.

Они с Лом—Али от души рассмеялись, и тот убежденно заявил:

— Юрист? Отмирающая профессия! В ближайшие две-три пятилетки он останется без работы.

Сказано было веско, авторитетно, тем более что Эллочка знала — Хакимов в техникуме считался человеком серьезным, начитанным, был всегда в курсе дел в стране и за рубежом и разыгрывать ее не мог.

Бедная девушка, она вполне искренне поверила друзьям и тут же потеряла интерес к будущему прокурору: что ни говори, а железнодорожник — все-таки профессия вечная!

Вот так, не кривя душой, они тогда верили, что юристы в скором времени действительно не понадобятся. Это заблуждение вспоминается особенно часто сейчас, когда наступил звездный час уголовников, очумевших от шальных денег и безнаказанности, и даже людям бывалым, знавшим блатных не понаслышке, нынешняя ситуация кажется страшной, безысходной...

Подводя итоги жизни, уже не пыжишься, не споришь с собою по мелочам, как прежде, и с сожалением признаешь крах многих давних иллюзий. Отрадно лишь одно — какой верой, надеждой на будущее жил, ныне не приснится даже в благостном сне.

Однако самое крупное разочарование Рушана — не в самой жизни, а в своем поколении. Так же искренне, как в случае с будущим юристом, он верил в молодости, что все эти безобразия — несправедливость, подлость, несуразность быта, хамство, невежество, пьянство, бедность, некомпетентность — уйдут в небытие, как только его поколение повзрослеет



и займет свое место в обществе. Ему казалось, что старшие все делают не так, потому что им не хватает знаний, культуры, над ними довлеет груз проклятого «темного прошлого», они скованны, в них нет внутренней свободы. Другое дело — новое поколение, молодежь, уже проштудировавшая материалы XX съезда: перед ними как на ладони все ошибки, просчеты общества, они будут жить по-другому, чище, лучше, справедливее, и с ними изменится окружающий мир...

В молодости он понимал душой пьяниц, лодырей, тех, кто бросал детей, семью, — так и должно было случиться, ведь их жизнь искалечена тоталитарным государством. Но когда позже люди такой категории пошли косяком уже из его поколения, а дальше, в геометрической прогрессии, и моложе него, Рушан растерялся. Неужели это просто общая закономерность — и больше ничего?

Его поколение познало безотцовщину, и на то была причина — война. Казалось бы, парень, выросший без отца, никогда не оставит своего ребенка сиротой... Но куда там: детских домов в мирное время, при живых родителях, стало в сотни раз больше, чем после войны, и количество их с годами не сокращается. Бывшие детдомовцы, сполна хлебнувшие лиха, продолжают плодить детдомовцев.

Эта горькая, неутрачиваемая боль — самое тягостное разочарование в жизни. Кто-нибудь, конечно, усмехнется: какими же наивными людьми были эти шестидесятники, не чувствовали время, не оценили правильно перспектив... Это как сказать, в их поколении все переплелось — и наивность, и вера, и трезвый взгляд на жизнь. Он же помнит это время... Середина шестидесятых, на посту еще бодрый, вальяжный Брежнев, и допускаются кое-какие либеральные взгляды...

Рушан ясно представил тот воскресный день: они сидят на футболе, на матче «Пахтакора», где в ту пору играли знаменитый бомбардир Геннадий Красницкий, не доживший и до пятидесяти лет, быстроногий блондин Юрий Беляков, не отметивший и тридцатилетия, и Хамид Рахматуллаев по прозвищу Пеле, погибший в автокатастрофе в сорок лет. Они с друзьями продолжают какой-то разговор, начатый на террасе летнего кафе при ресторане «Ташкент», и Рушан с жаром говорит:



— Я убежден, что еще при моей жизни обязательно соединятся два германских государства, воссоединится и Корея... Не говоря уже про Вьетнам...

В ответ раздается хохот — никто не принимает слов Рушана всерьез, все верят, что мир социализма един, и это навсегда. Но он уже тогда понимал всю противоестественность положения, когда один народ живет в двух разных государствах, душой чувствовал: не может быть такой системы, идеологии, ради которой стоило разделять нации, резать по живому...

Сегодня, словно проснувшись от многолетней спячки, народ захлебывается от неожиданной возможности сказать то, что думает, срывается в крик. Особенно достается старшим от младшего поколения. Рушан часто слышит от молодых укоризненное: это вы своим молчаливым одобрением довели страну до ручки!

Может быть, и так. Но миллионы шахтеров в застойные годы ежедневно добывали уголь — не меньше, чем при Сталине, и уж куда больше, чем при нынешней гласности. Нефтяники в семидесятые годы «накачали» для страны двести семьдесят миллиардов долларов — дай бог потомкам за все взятое вместе, включая золото и уголь, заработать хотя бы к началу следующего века такую сумму. Застой не застой, демократия не демократия, а миллионы таксистов по стране садились за руль и при любой погоде накручивали свои 350-400 километров за смену.

А строители? Сколько себя помнит Рушан, они никогда не сидели без дела и раньше восьми не возвращались домой, а уходили на работу чаще всего затемно. Может, стоит четко разграничить ответственность каждого за развал в стране? При чем здесь узбекский хлопкороб, давший не только стране, но и всему социалистическому содружеству хлопковую независимость? Ему-то за что краснеть? Разве что за бедность, за свою убогую жизнь...

Нет, среди нас немало людей, которые могут не краснеть за прошлое, они свою работу делали честно, и не все прозрели только сегодня, в перестройку, мерзости жизни они видели и осознавали раньше. И опять Рушану вспоминается прошлое, не такое уж и далекое...

Лет десять назад, еще при Брежневе, когда страна семимильными шагами приближалась к коммунизму, умер Алексей



Николаевич Косыгин — Председатель Совета Министров СССР, второй по значимости человек в стране. Умер он в то время, когда кончина высокопоставленного лица уже не казалась народу трагедией, но вот преставился, кстати сказать, не вовремя, в день рождения Леонида Ильича. Правда, смерть сроки не выбирает даже для больших людей, но Брежнев, который не любил омрачать праздники, тем более личные, даже ради соратника по партии, по Политбюро, не хотел поступиться ничем. Потому смерть Косыгина скрыли от страны на три дня. Этот факт говорил о многом, и прежде всего о времени и о нравах — когда уважения не было ни к живым, ни к мертвым.

Как бы то ни было, но к вечеру дошла и в их прорабскую эта печальная весть. Уже стояли предзимние холода, дули со стороны усыхающего Арала неистовые ветры с солонятым вкусом, и кто-то к концу планерки, когда за окном уже стояла кромешная тьма, принес две бутылки водки и небогатую закуску. Когда разлили по стаканам, какой-то бодрячок спросил: «За что выпьем?» Кто-то и предложил: за упокой, мол, души товарища Косыгина. Прозвучало солидно и к месту, для выпивки ведь повод важен.

Когда все потянулись к стаканам, Рушан из-за какого-то внутреннего протеста, внешне похожего на упрямство, хоть и чертовски устал в тот день и быстрее хотел домой, в постель, вдруг огорошил коллег, отрезав:

— Я за него пить не буду.

Для тех, кто уже поднес водку к губам, это прозвучало так неожиданно, что один едва не выронил стакан. Тогда еще дискуссии не переместились из кухонь на люди и выпить за здоровье руководителя страны столь демонстративно не отказывались. Все, разом оживившись, с удивлением стали допытываться, почему, мол, такой демарш.

— А почему я должен пить за него, за Алексея Николаевича? — запальчиво, с вызовом спросил Рушан. — Он у власти был почти сорок лет, и почти сорок лет курировал легкую промышленность, десятки лет был министром отрасли. И что сделал за это время для народа? Что можно купить, что надеть, чем похвалиться? Русскими дубленками или русскими сапогами, поступающими к нам из Франции?..



Сейчас, вспоминая тот давний эпизод, Рушан усмехнулся про себя: ведь тогда, десять лет назад, в сравнении с нынешним положением, магазины ломались от товаров..

Как тут прорвало уставшую прорабскую братию! Каждый вспоминал о своем, и не нашлось ни одного сторонника выпить за помин души главы правительства. А ведь, честно говоря, Алексей Николаевич был не самым плохим человеком и в правительстве, и в Политбюро, и Рушан, как и все остальные, знал это. Но для того, чтобы выпили за помин души, оказывается, этого мало. Поймут ли это нынешние правители, пришедшие на смену тем, кому народ шлет одни проклятия за разорение великой страны?

Припоминая ту давнюю поездку в Мартук, когда он уже больше не застал на месте старинного вокзала в Актюбинске, Дасаев пришел к мысли, опять же связанной со злополучным михайловским углем: как странно устроен человек, что и через десятки лет его волнуют давние события и все, что с ними связано; лишний раз подтверждается, что в мире все взаимосвязано, — как сказал один поэт: если кто-то на одном краю земли бросил камень в воду, на другом это отзовется наводнением.

Тогда, одиннадцатилетним мальчишкой, он возвращался домой без угля, без санок, со слезами на глазах волоча ушибленную ногу, и никак не мог предположить, что в тот день, еще за четыре года до его появления в городе, в доме, где росла девочка, обожавшая голубые банты, девочка, которую он полюбил потом с первого взгляда, впервые если не прозвучало его имя, то возник разговор о нем, о трагедии на станции Мартук. Но тогда ни девочка Тамара, ни ее родители никак не связывали эту историю с собой, хотя через четыре года и на всю дальнейшую жизнь какие-то нити протянутся от Рушана к этой семье.

Сейчас он уже сомневался, что именно так оно и было. Потому что отец Тамары Василий Петрович работал машинистом, и не исключено, что он мог быть на одном из тех двух паровозов в роковой день, а если нет, все равно не мог не рассказать об этом случае в семье: такие трагедии происходят не часто. И конечно, позже, доставая из почтового ящика письма, адресованные дочери, или снимая телефонную трубку, он никогда не думал, что это тот самый мальчик из Мартука, о котором он некогда рассказывал дома.



Вот как тесно все переплелось в жизни! Эта мысль пришла к нему только сейчас, когда Василия Петровича уже давно нет в живых, а та девочка в пышных голубых бантах, которую он некогда встретил у «Железки» с нотной папкой на длинных шелковых шнурах — уже пожилая женщина, и вряд ли она когда-нибудь догадывалась, что о человеке, любившем ее всю жизнь, услышала еще задолго до встречи с ним, хотя их знакомство случилось в счастливом возрасте: ей было четырнадцать, а ему пятнадцать лет. Далекое, безвозвратное время... Он тогда пошел вслед за ней мимо сказочного вокзала, свежесвыбеленного, свежесвыкрашенного, сиявшего свежесвымытыми ко Дню железнодорожника окнами, и очень удивился, что она тоже живет в районе «Москвы», на улице 1905 года, в доме номер 34, — память сохранила и эту подробность...

Оттолкнувшись от воспоминаний о железнодорожной столовой, где поездные бригады обедали на целых пять рублей, он припомнил и другую историю — и к ней тоже оказался невольно причастным.

Уже будучи парнем, его дальний родственник Мелис, с которым они держали «ишык-бау» на свадьбе у Сафии-апа и чей след потом затерялся в Ленинграде, носил цигейковый полушубок, или, как сказали бы сейчас, дубленку из натуральной овчины. На рослом стройном Мелисе, на спор гнувшем двумя пальцами медный пятак, она смотрелась замечательно. В ту пору ватники уже повсеместно вытеснились бобриковыми полупальто с удобным меховым воротником и высокими, на уровне груди, косыми карманами, что очень нравилось подросткам. На этом фоне единственная дубленка местного щеголя Валиева, конечно, бросалась в глаза, и о ней судачили все, кому не лень. Рушан даже однажды слышал, сколько она стоит — 450 рублей, за эти деньги можно было приобрести два бобриковых пальто.

Так случилось, что, став инженером, Рушан участвовал в реконструкции камвольно-суконного комбината «под химию» — под синтетические ткани, или, как говорили кратко, под лавсан. Те шестидесятые годы прошли под знаком «большой химии»: каких только благ не обещали народу, как только волшебница-химия войдет в наш быт. Главное, что все будет едва ли не даром, рупь — воз, химия все-таки, значит — из воздуха, из дыма, из газа, то есть из ничего.



Как дружно в те годы шельмовали в прессе натуральные ткани — габардин и коверкот, бостон и диагональ, шевиот и драп, бархат и даже ситец! Они, оказывается, и дороги, и непрактичны, и пыль вбирают чрезмерно, и при стирке садятся, и не модны — не соответствуют времени и современному образу советского человека, естественно, самого передового и прогрессивного в мире. В общем, надо вывести все это под корень, и чем раньше, тем лучше.

Вот такой комбинат Рушан с коллегами крушил в городе Фрунзе, бывшем Пешпеке, нынешнем Бишкеке, в Киргизии, где шерсти в ту пору было немерено, действительно, рупь — воз, ведь миллионы овец гуляли на горных пастбищах.

Помнится, в обеденный перерыв какой-то старик-текстильщик с обидой говорил Рушану: «Опомнитесь, что вы делаете? Лучше материи, созданной природой, никогда не было и не будет. Если уж государству некуда деньги девать, пусть вложит их в овцу — чудо природы».

А Рушан с коллегами отбивался от старика, потрясая газетными выкладками.

Первый советский лавсан стоил дешевле шерстяного габардина на десятку, но через два года сравнялся в цене, а сейчас, когда практически нет отечественных шерстяных тканей, пропал и лавсан, а ведь обещали сколько хочешь, да по смешной цене.

В последнюю зиму Рушан как-то случайно зашел в магазин и увидел огромную очередь. Толпа, едва ли не в драке, расхватывала искусственные меховые пальто. Вот тогда он и припомнил, что похожее пальто было у Мелиса тридцать лет назад, только там-то был настоящий мех, а от этого за версту шибало химией. Он машинально поинтересовался у одного счастливица, тут же напялившего бесформенное оранжевое приобретение, о цене покупки. Тот на радостях великодушно оторвал и вручил ему ценник, и вновь, как и тридцать лет назад, всплыла та же цифра — 450. Только новыми. Вот тебе и рупь — воз!

Остались без габардина, без шерсти, без бостона, без хлопка и кожи, загубили миллиарды, загадили химией природу... Да, прав оказался старый текстильщик из Фрунзе — в овцу надо было вкладывать деньги, в овцу, а не в химию.



Если бы сегодня кто-нибудь взялся проанализировать все крупные проекты страны за семьдесят лет — от коллективизации до продовольственной программы и компьютеризации школ, — мы бы ужаснулись своей бестолковости и дремучести, и не исключено, что с высоты нынешнего опыта, включая и мировой, многие из тех проектов показались бы настоящей диверсией.

Среди решений и постановлений, которые долго, вплоть до последнего времени, принимались населением всерьез, были и временного характера, они так всегда и начинались: «В связи с тем-то и тем-то временно повышается...» — и так далее. Но ничто не оказывается более долговечным, чем временное. Один такой правительственный указ Рушану запомнился надолго, он и сейчас вспоминает об этом случае со стыдом.

В 1961 году, ранней весной, он стоял на перроне станции Экибастуз, где еще совсем недавно находился в тюрьме Александр Исаевич Солженицын, а директором местной ТЭЦ был сам Маленков, которого он видел потом, в Первомайские праздники, во главе колонны энергетиков.

Рушан дождался поезда из Павлодара, и в это время по вокзальному репродуктору передали тот самый указ: «В связи с неблагоприятными обстоятельствами с первого апреля временно повышается цена на сливочное масло, до трех рублей пятидесяти копеек за килограмм».

Рядом с ним стояла группа людей, тоже, видимо, ожидавших опаздывающий поезд. Как они зло, с неодобрением восприняли правительственное сообщение! Особенно неистовствовала полная женщина в теплом пуховом платке, уверявшая остальных, что «временно» означает «на всю жизнь».

Рушан в пору молодости принадлежал к тому несметному большинству, которое безоговорочно верило официальной пропаганде, любому печатному слову, и потому счел своим гражданским долгом подойти к злобствующей, на его взгляд, группе обывателей и высказать свое мнение, разъяснить, как комсомолец, правительственное решение. Он бесцеремонно прервал возмущенных людей и жестко, с сарказмом заявил:

— Вы, товарищи, наверно, прослушали одно важное слово. «Временно»! Понимаете — временно-но... Кончатся временные трудности, и масло станет дешевле прежнего. Я лично в этом



не сомневаюсь, — и, гордый своим поступком, отошел от них подальше.

Эту сцену ему никак не удастся забыть — в последние годы замучили постоянные перебои не только с маслом, и он мысленно всегда просит прощения у тех людей, которых посчитал зажавшимися обывателями. Как молод и наивен он был! И разве он один?

Экибастуз. Маленков, Солженицын... Опальный вождь и опальный писатель... Как все переплелось на нашей грешной земле. Как ни крути — все они, включая и Рушана, уезжали с этого крошечного перрона, из города, известного в ту пору суровыми тюрьмами и первым в стране рудником, где разработки велись открытым способом. Сейчас, когда книги Солженицына широко издаются на родине, Дасаев с особым волнением берет каждую из них в руки: а как же — с одного перрона когда-то отъезжали...

С Солженицыным Рушан ощущает близость еще и потому, что, говорят, «Раковый корпус» тот написал в ташкентской больнице, или в Ташкенте пришел замысел романа, когда поставили ему страшный диагноз...

XIII

Судьба человека складывается из потерь и обретений. Иногда того или иного бывает чуть больше или чуть меньше, и по этому соотношению жизнь, наверное, принято считать счастливой или несчастливой, удачной или неудачной. В любом случае она — бездонный кладень, где в итоге хватает всего, если, конечно, не сойдешь с дистанции раньше времени и дотянешь до финиша, и появится желание на старости лет окинуть взглядом прошлое спокойно и беспристрастно, потому что эта жизнь как бы твоя и уже не твоя, и лучше тебя это никто не сделает, даже самый талантливый писатель. Наверное, поэтому Рушану хотелось бы оставить записи о себе, ведь без них не будет полной картины времени, как и без свидетельств каждого из нас, и, может быть, какие-то вехи его пути, симпатии и пристрастия помогут понять, почему он так, а не иначе воспринимал события, судьбы, потери, с которыми довелось



столкнуться на огромном пространстве от мыса Рока на высоком берегу Атлантики до порта Находка на Тихом океане.

Да и что такое потери? Чаще всего под потерями мы подразумеваем нечто физическое, материальное, а ведь они бывают разные, самые неожиданные, невероятные, иных потерь мы даже не ощущаем до определенного времени.

Одна такая случилась с ним довольно рано, в том возрасте, когда к потерям человек еще не готов и вряд ли обращает на них внимание. Теперь Рушан часто возвращается к тому времени, потому что тогда не придал этому значения и только сейчас осознал глубину давней утраты. И то хорошо, ведь не зря говорят: лучше поздно, чем никогда...

Он снова возвращается в Мартук, на несколько пятилеток назад. Такая форма отсчета жизни была принята только у нас в стране, она помогает ему острее почувствовать ушедшее, как в песок, время. Он снова вспоминает девочку, написавшую в школьном сочинении на вольную тему «Кем хочешь быть?», что мечтает стать балериной.

Сегодня эта мечта никому не показалась бы странной, тем более, если ныне в подобных сочинениях иные дерзкие школьницы пишут, что хотят стать валютными проститутками. Но тогда... О, тогда мартукские обыватели крепко вцепились грязными руками в хрустальную мечту простодушной девчонки и потом долго еще насмеялись над ее надеждой, улюлюкая при каждой неудаче: «Балерина!..». Тем более, что наша жизнь, куда ни кинь, редко состоит из одних успехов.

Может быть, Валя и сама знала, что у нее нет никаких шансов стать балериной, ведь этому искусству учатся сызмальства, в специальных школах и студиях. Конечно же, ничего подобного не было в пыльном Мартуке и, судя по всему, вряд ли появится в обозримом будущем. Наверное, это была даже не надежда, а так, легкая и хрупкая мечта, изящный минутный каприз девочки, у которой взрослые однажды решили выведать самое сокровенное.

Выведали... и разнесли по поселку на всеобщее посмешище...

Это у нее однажды с горечью вырвалось: «Боже, нам уже по двадцать восемь лет!» Неизвестно, от какого критического возраста она мысленно отталкивалась, — но эта цифра в ее устах прозвучала почти трагически. Рушан тоже давно имел



точку отсчета возмужания, взросления — правда, поменьше, в двадцать пять, — но оба они уже в полной мере ощущали свой возраст.

Наверное, если бы кто-нибудь стал расспрашивать о Рушане его одноклассников (хотя по какому поводу — не кинозвезда, не генерал, а рядовой прораб), они рядом с именем соученика непременно упомянули бы и Валю Домарову, «балерину», к которой он в свое время был неравнодушен.

Но если бы о первой любви спросили его самого, он, не задумываясь, назвал бы другую — девочку с нотной папкой в руках, что жила на улице 1905 года. Хотя, конечно, что-то, не поддающееся однозначному определению, связывало его и с Валею — уж она-то знала, чувствовала, что нравится черноглазому мальчику с Татарки, даже тогда, когда они еще не заговаривали между собой. А он искал ее глазами на воскресных дневных сеансах в летнем кинотеатре, и радовался, когда удостоивался ее взгляда или улыбки. А какое он ощущал волнение, когда находился возле нее, или случайно касался ее платья, пальто, руки! Теперь только с улыбкой, грустной и печальной, можно вспомнить все их невинные отношения: как болтали обо всем и ни о чем, как смеялись вместе, когда им было весело, как он несколько раз катал ее на велосипеде...

Казалось бы, что в этом особенного? Да в том-то и дело, что не со всяким катались девчонки в то время. Конечно, нынешним подросткам такие отношения кажутся пыльной архаикой, как и запись в девичьем альбоме: «Умри, но не дай поцелуя без любви!» Впрочем, о поцелуях они в те годы и не думали. Самым интересным, волнующим в ту отроческую пору было случайно встретиться в библиотеке, в магазине или вынырнуть откуда-нибудь из-за угла на велосипеде, помочь ей поднести ведро от колодца или попасться навстречу, опять же, как бы случайно, когда она шла в школу...

Он познакомился с Валею у кинотеатра, после возвращения летом из пионерского лагеря. Показывали очередную серию «Тарзана» с легендарным Джонни Вайсмюллером, и у билетных касс творилось невообразимое, а он пришел с компанией, и среди них был чеченец, тот самый сорвиголова Султан. Рушан сразу заметил недалеко от кассы девочку с туго заплетенной косой и кокетливым белым бантом, то и дело выскакивавшим



при движении у нее из-за спины. По глазам было видно, что она отчаялась попасть на этот сеанс. И тогда Рушан, неожиданно для себя, подошел к ней и, волнуясь, спросил: «Тебе сколько билетов?»

Она от радости вспыхнула и сказала: «Один, на любой ряд», — и разжала ладошку, где влажно поблескивала серебряная монетка. Такой она у него и осталась в памяти — радостная, протягивающая к нему ладошку, где лежал двугривенный.

Возможно, у него что-нибудь и сложилось бы с Валею, не встретив он в первую же свою техникумовскую осень девочку в голубых бантах. Если и вправду существует тот всесильный Амур со стрелами, то он сразу попал ему в сердце.

Поскольку они с Валею росли друг у друга на глазах, то детская симпатия, зародившаяся у летнего кинотеатра, все-таки существовала между ними. Хотя Валя, девочка красивая, своенравная, верившая в свою особую звезду, вряд ли кого из местных ребят считала достойными себя, — она была уверена, что за пределами Мартука ее непременно ждет прекрасный принц.

Впрочем, вспоминая и других поселковых красавиц, спешивших вырваться из отчего гнезда, он убеждался, что они думали о том же. Много позже при встрече Валя сама признается ему в этом. К той поре она успела окончить институт в Куйбышеве, побывать замужем, кажется, дважды, и вновь вернуться под родительское крыло, чтобы перевести дух.

Рушан к тому времени тоже окончил институт и даже однажды чуть не женился, но свадьба расстроилась не по его вине. Над ним словно витал какой-то рок — все девушки, в которых он влюблялся, непременно жаждали бурной страсти, высокой неземной любви и пребывали в ожидании не только необыкновенного принца и такой любви, но и особой жизни: романтической и возвышенной, героической и беззаботной одновременно. Понятно, что на сказочного принца он не тянул, и такую жизнь — «беззаботную и героическую» одновременно — не только не мог им дать, но даже и представления о ней не имел. Однако странно, что, обжигаясь, он каждый следующий раз влюблялся в точно такую же, да и они, его любимые, видно, что-то находили в нем, если, не спеша связывать с ним узы навсегда, все же не желали и отпускать его.



Сегодня, на склоне лет, оставшись один, он на чей-то взгляд, скорее всего, казался неудачником, но вряд ли сам Рушан считал себя таковым и никогда бы не променял того, что выпало ему, на спокойную, размеренную жизнь с хорошей хозяйкой под боком.

Он заехал тогда в Мартук по пути, всего на несколько дней, возвращаясь из командировки по своим строительным делам. Дома он принялся обрезать засохшие ветки на могучих карагачах и тополях, некогда посаженных им самим в пору великого сталинского плана озеленения, когда к нему на велосипеде подъехала бойкая девочка, из тех, кого зовут ныне тинейджерами, а иные, начитавшись Набокова, — нимфетками, и, поздоровавшись, передала ему записку.

Рушан недоуменно взял листок в клетку из школьной тетрадки и, сразу узнав почерк, прочитал:

«Рушан, милый! Вчера была обрадована известием, что ты объявился в наших краях. Хорошо бы нам встретиться, поговорить, вспомнить общих друзей, а кое-кого даже помянуть, как, например, Володю Колосова и Толика Чипигина. Вспомнить, как молоды, наивны и счастливы мы были в нашем отрочестве и не понимали этого, как прекрасно было прийти в школу на вечер или на танцы в парк, куда все мы тайком рано начали бегать, повернуть голову и обязательно встретить твой ласковый влюбленный взгляд.

«Мой верный Рушан», — как часто все я повторяла твое имя, и как мне завидовали подружки. Странно, нас ничто не связывает, ни один поцелуй, но я почему-то всегда считала тебя своим, думала, что имею на тебя какие-то права, была уверена, что ты пойдешь за мной в огонь и воду. Ошиблась. Как вообще много ошибалась и обжигалась в жизни.

Но, тем не менее, тебя из судьбы не выкинешь... Приходи сегодня попозже, к одиннадцати, когда на тебя вволю наглядится твоя обширная татарская родня. Валя».

Девочка не отъезжала, пока он не дочитал записку — наверняка она в нее сунула свой любопытный нос и сейчас, не скрывая интереса, пристально разглядывала того, кто некогда, оказывается, нравился тете Вале.

Видя, что Рушан задумался и забыл о ней, она настойчиво спросила:



— Придете?

Рушан, очнувшись от нахлынувших давних видений, рассеянно ответил:

— Приду...

Удивительные вечера у них в Мартуке: летними днями жара за сорок градусов, временами откуда-то налетают знойные ветры, а вот с заходом солнца происходит волшебство — наступает неожиданная прохлада, свежеет воздух, а чуть позже на высоком иссиня-черном ночном небе вспыхивают мириады ярчайших звезд. Такую резкую перемену погоды замечают даже самые черствые, равнодушные ко всему люди, у кого-то, бывает, вырвется порой: ну и вечера у нас, загляденье!

Весь день тогда дул из степи несносный сухой ветер, нещадно палило солнце, казалось, выжигавшее из людей все желания, а с заходом огромного огненно-красного светила за бахчи все изменилось, как по мановению руки кудесника, даже побрызгал с полчаса теплый дождик, избавив хозяев огородов от вечернего полива.

Рушан последний раз видел Валю давно, лет семь или восемь назад, еще студенткой, когда она приезжала домой на каникулы, а он уже в свой трудовой отпуск. Встретил, конечно, на танцах, но толком поговорить не удалось — ее приглашали наперебой. Город уже успел наложить на нее свой отпечаток: подстрижена и одета она была по последней моде, выделялась и броским макияжем, и что-то новое, явно вызывающее, появилось и в поведении, и в манерах. Та раскованность, с которой она держалась с молодыми людьми, свободно, не таясь, курила вместе с ними между танцами, несколько шокировала Рушана, хотя многим как раз это и нравилось, — он за спиной слышал одобрительное: «Во дает!» Временами казалось, что она слишком много и слишком громко смеется, привлекая и без того достаточно внимания. Но вслух Рушан не посмел сказать, что она ведет себя вульгарно, вызывающе пошло, хотя эти слова весь вечер так и вертелись на языке. Боялся, что друзья его не поймут, подумают: это он с досады, что упустил свою Балерину. Он понимал, что между раскованной манерой поведения и вульгарностью, граничащей с пошлостью, есть тонкая грань, которую, кажется, не замечала сама Валентина,



не говоря уже о сельских ухажерах и подружках, видевших в ней некий эталон современного поведения. Но это было тогда, с тех пор прошли годы...

«Какая она теперь, чему научила ее жизнь?» — размышлял он весь день. Девочка с туго заплетенной косой и пышным капроновым бантом, в смуглой ладошке которой влажно поблескивала орлом серебряная монетка, заслонялась запомнившейся в последний раз крашеной блондинкой в невероятно короткой мини-юбке, с сигаретой в небрежно отставленной руке.

Честно говоря, возвращаясь домой на несколько оставшихся от командировки дней, Рушан ни разу не вспомнил о Валентине, да и сейчас, получив записку, не строил никаких планов. По существу, решил пойти на встречу, чтобы выяснить, что он значил для нее в пору юности, почему у них ничего не сложилось, хотя там, в прошлом, судя по ее записке, они остались вместе, как сиамские близнецы.

Конечно, и в нем к тому времени произошли перемены, горожанином он стал рано, когда так жадно впитывают все новое. Осознавая свою провинциальность, он научился видеть себя со стороны, это помогло избавиться от многих дурных привычек. Но всем лучшим в себе он обязан тем девушкам, в которых был влюблен, — от них всегда исходил ясный и чистый свет. И хотя они пребывали в каком-то ирреальном, возвышенном мире, до конца не понятном Рушану, ни одну из них он никогда не мог представить ни с сигаретой в небрежно откинутой руке, ни громко смеющейся в компании, ни с вызывающе ярким макияжем и в мини-юбке до последнего предела...

Теперь же, когда прошлое так естественно наслаивается на сегодняшнее, особенно в его воспоминаниях, когда для него уже нет тайн в былом и жизнь, считай, прожита, он знает, что не ошибся в своих возлюбленных — все они прожили достойную жизнь.

В тот вечер на тихой улочке у элеватора, в доме, некогда обсаженном тоненькими серебристыми тополями, а ныне затерявшемся в частокле неохватных стволов, встретились два человека, по существу, мало что знавших друг о друге, хотя им казалось, конечно, иначе...



XIV

На Советскую Рушан пришел чуть раньше назначенного времени. Хотелось пройтись по ней до конца, до самого кирпичного завода, где жила Эмма Бобликова и где однажды отмечали 7 Ноября, не пригласив Рушана с близкими друзьями, и они в тот вечер долго крутились возле этого дома, желая чем-нибудь досадить счастливым за глухим забором. Благо, что-то удержало их от этой позорной затеи. Дальше ему хотелось дойти до усадьбы Генки Лымаря, в доме которого они спустя два месяца отмечали Новый год, и все до одной девушки, кроме Эммы, которую посчитали предательницей, вернулись к ним в компанию...

О, то был особый Новый год! Валентина оканчивала десятый класс, а Рушан приехал в Мартук со своими друзьями Робертом и Рафаилом из города, и они прямо с поезда направились в школу на новогодний бал, а уж оттуда шумной оравой пришли сюда, на окраину Мартука.

Присутствие двух городских парней в компании придало вечеру особую остроту, и как хороши, как неизвестны были девушки, заранее знавшие о гостях. Возможно, поэтому Сане Вуккерту, «распорядителю бала», тогда удалось усадить за один стол многих соперничавших между собой девчонок. А под утро Роберт пошел провожать домой зеленоглазую Томочку Солохо, и его обратно доставил... милиционер. Оказалось, парень заблудился и зашел в райотдел — уверенно и привычно, его отец в ту пору был областным прокурором.

Тогда в первый и последний раз в жизни Рушан пил красное «Цимлянское» шампанское. О, как оно дивно смотрелось на свету в высоком бокале! Только из-за этого красного шампанского стоило вспомнить тот далекий Новый год, но еще одна деталь навсегда ушедшего времени, как и редкостного цвета «Цимлянское», врезалась в память: было там и обыкновенное шампанское, но... в бутылках пол-литрового разлива. «Шампанское на двоих» — так окрестил его сразу острый на язык Вуккерт, потому что кто-то, прихватив бутылку, поспешил уединиться в соседней комнате...

Выйдя на слабо освещенную Советскую, Рушан немного растерялся. Густо заросшие сиренью палисадники скрывали



строения, уже утонувшие в темноте, и он не совсем был уверен, в каком из трех домов напротив живет Валентина, — прежнего ориентира, колодца напротив калитки Домаровых, не было давно. Он решил следовать по задуманному маршруту, а ближе к одиннадцати, полагал, разберется, в какие ворота постучать. Но вдруг в одном из палисадников раздался внятный перебор гитары, а затем какой-то тихий радостный возглас, шорох среди давно не стриженных кустов сирени, — и у калитки появилась стройная девушка в белом платье, издавала театральным шепотом спросила:

— Рушан, ты забыл, где я живу?

Он быстро пересек дорогу, перепрыгнул разлившуюся после дождя лужицу и, очутившись рядом, пожал протянутую руку, удивительно прохладную и нежную.

— Здравствуй, Валя. Ничего я не забыл, — слукавил он, волнуясь, — пришел чуть раньше и хотел пройтись до усадьбы Эммы Бобликовой, где вы однажды встречали октябрьские праздники без нас, ребят с Татарки.

— А ты, оказывается, злопамятный, — усмехнулась Валя. — Лучше бы вспомнил Новый год, что мы отмечали вместе, когда твоего приятеля, Роберта, кажется, под утро доставил милиционер... А какое мы тогда пили шампанское! Красное «Цимлянское»! Помнишь? Знаешь, мне никто не верит, что было такое... — она вдруг погрузилась.

Вот так, прямо у калитки, начался вечер воспоминаний, игра в вопросы «А помнишь?..»

— Что за гитарист прячется у тебя в палисаднике? — спросил он, вспомнив музыкальный аккорд.

— Я давно играю на гитаре, со студенческих лет, — ответила Валя. — Говорят, неплохо. — И вдруг, после паузы, добавила: — Ты ведь обо мне ничего не знаешь, мы же не виделись с тобой целую вечность. Дай я хоть разгляжу тебя, — и шаловливо потащила его к соседнему дому, где с высокого фонаря струился скудный свет.

Пока она крутила его так и этак у покосившегося забора соседей, Рушан сам не упускал возможности рассмотреть повзрослевшую Валу. Хвала Аллаху, от той запавшей в память крашеной блондинки на танцплощадке не осталось и следа. Теперь она выглядела натурально: волосы без всякой завивки



были гладко стянуты на затылке, отчего открывался высокий чистый лоб, а умело, неброско подведенные глаза казались от этого выразительнее, загадочнее. Этот эффект создавался еще одним старым приемом, наверняка почерпнутым из тех голливудских фильмов с Гретой Гарбо, Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, что видели они в детстве: Валентина вдруг, в самый неожиданный момент, опускала ресницы или отводила взгляд и потом как-то ловко поворачивала свою изящную головку, и глаза распахивались внезапно, как мерцающие звезды.

Этим эпитетом — «мерцающие звезды» — одарил ее на танцах какой-то практикант, которых каждый год в Мартуке хватало по любой части, хоть по инженерной, хоть лечебной, хоть сельскохозяйственной. А она тут же, не выдержав, похвалилась тогда Рушану: «Правда, у меня глаза, как мерцающие звезды?»

Теперь этот прием очарования, видимо, вошел у нее в привычку, он исполнялся мгновенно, профессионально, когда появлялся объект, заслуживающий внимания, — это как дриблинг классного форварда с мячом перед защитником. Вот и сейчас она несколько раз одарила его мерцающими лучами своих глаз.

Волосы, стянутые на затылке, прикрывал темный муаровый бант в блестках, очень похожий на крупную яркую тропическую бабочку. Вот он-то и придавал ей особое изящество и скрадывал возраст — вряд ли кто мог сказать, что эта ладная, по-спортивному стройная девушка была замужем, и, кажется, дважды.

— Жаль, что я недооценила тебя в юности, — вздохнула Валя. — Выглядишь ты прекрасно: мужчина в цвете лет, поправился, окреп. А мне ты чаще всего вспоминаешься заморышем на стареньком велосипеде. Ты всегда появлялся так неожиданно и часто... А потом пропал на всю жизнь... — такие резкие переходы всегда были в ее характере, взрывчатом, импульсивном. — И прикинут ты прилично, по-столичному...

Рушану резануло слух это блатное «прикинут» — девушка с улицы 1905 года никогда бы так не выразилась.

— Мало кому из поселковых удастся стать горожанином по духу, по сути, — продолжала она, бесцеремонно рассматривая его, словно пытаясь заглянуть в душу. — Тебе, кажется, удалось. Ты помнишь Славку Афанасьева? Ну, того,



которого вы пригласили на Новый год, чтобы он менял пластинки на проигрывателе во время танцев, а он, оказывается, обожал «Караван» и раз за разом ставил только Эллингтона...

— Да, помню, — улыбнулся Рушан, действительно припомнив и такой курьез на вечере.

— Так вот, Славик, например, не стал горожанином и вряд ли когда им станет, хотя и живет, как и ты, в столице, в Алма-Ате. Видела я его в прошлом месяце, приезжал к родителям, — пузо уже отрастил, плохо выбрит и, кажется, крепко пьет. Костюм на нем какой-то мосшвейпромовский, висит мешком... А ты по фирме одет, французской парфюмерией благоухаешь, джентльмен, одним словом...

Закончив осмотр, она взяла его под руку и вдруг, опять же неожиданно, выпалила: — Так и быть, свожу тебя к бобличихинскому дому, может, и сама хозяйка случайно попадет на улице, — они рано не ложатся. Пусть позавидуют, увидев меня с тобой.

— Чему же завидовать? — спросил недоуменно Рушан.

— А тому, что мы с тобой такие молодые и элегантные, а Эммочка, мой дорогой, уже перебралась в пятьдесят восьмой размер, и даже белье шьет себе на заказ в ателье. Разумеется, не в Париже... — и они оба от души расхохотались.

Да, огня его школьная подруга еще не утратила...

Они добрались до самого кирпичного завода, прошли мимо дома Эммы: во дворе у нее стояла кромешная тьма, только на веревках слабый ветер шелестел пересохшим бельем. И в это время от проходившего недалеко состава чуть задрожали стекла в близлежащих домах — накатывается порой такая звуковая волна со станции, — и Валя не преминула съехидничать еще раз в адрес своей бывшей одноклассницы:

— Это наша дорогая Эммочка вздохнула во сне и перевернулась на бок...

Дошли и до дома Лымарей, где теперь уже жили другие люди, а Гена со своими родителями переехал в Актюбинск, работал в каком-то автохозяйстве. И вновь вспоминали тот Новый год со свечами, с Дюком Эллингтоном, Элвисом Пресли и ныне совсем забытым Джонни Холлидеем, с гаданием в полночь, в чем, надо сказать, зеленоглазая Солохо была мастерица и нагадала всем дальние дороги, напрасные хлопоты и раннюю печаль...



Они шли пустынной улицей сонного поселка, высокое звездное небо струило свой призрачный свет на угомонившийся к ночи Мартук, не брехали даже собаки — ни безнадзорные, ни те, что бегали на цепи за каждой высокой оградой, — хозяйкой всего вокруг была тишина. И, может, от этой магии ночной немоты природы и всего живого вокруг Валя вдруг сказала, почему-то шепотом, но с привычным озорством в голосе:

— Я думаю, пришло время отметить нашу встречу... — и, взяв его крепче под руку, заставила прибавить шаг.

По лужам в районе Советской Рушан понял, что дождь прошел полосой и, видимо, лил тут чуть дольше и мощнее, чем на Татарке, оттого у некоторых палисадников, мимо которых они проходили, вдруг по-весеннему остро пахло отцветшей сиренью. Случается и такое в природе, когда иной куст вдруг только к лету запоздало вспыхнет гроздьями и заставляет проходящих мимо людей мучиться сомнениями: то ли это явь, то ли причудился запах сирени в конце июня.

Подойдя к калитке и несколько театрально распахнув ее, Валя сначала нырнула в палисадник и вернулась оттуда с гитарой, где красовался на деке кокетливый красный бант.

На улице Советской, так сложилось, жили крепкие хозяева, тут строились на «немецкой» манер — с претензией на архитектурные излишества. А отец Вали, шофер, двухильный мужик, работал в местном дорожно-строительном управлении, имел доступ к кирпичу и к цементу, оттого на его подворье и чувствовался размах. Кроме основного дома с железной крышей и высоким крыльцом, в просторном дворе имелась летняя кухня — под черепичной крышей, окрашенной в ярко-зеленый цвет, с открытой ветрам просторной верандой.

В этот летний домик Валя и привела Рушана. Открытая веранда, выдержанная в голубых тонах, была обращена к огороду, что имелся в каждом дворе. Но огороды на Советской отличались тем, что вплотную подступали к глубокому оврагу, давно превратившемуся в одичалый сад, и некоторые хозяева засадили склоны оврага деревьями. Имели там свой сад и Домаровы..

На веранде у стены стоял низкий журнальный столик с двумя глубокими креслами, видимо, специально вынесенными из дома. Столик, на манер обеденного, покрывала кипенно-белая



крахмальная скатерть, и ветки мелкой чайной розы из домашнего сада в хрустальной вазе казались особенно яркими. Стол был со вкусом сервирован, кроме минеральной воды стояла еще и бутылка хорошего коньяка.

Усадив гостя, Валя отставила гитару в сторону и, сказав, что у нее все готово, принесла тарелки с зеленью, закусками, фруктами. Управлялась она с какой-то легкостью, изяществом, и Рушан подумал, что она, наверное, неплохая хозяйка, а это в наше время большая редкость. Заставив стол, она еще раз внимательно его оглядела, словно генерал предстоящее поле сражения, и... выключила свет. Потом в конце веранды, у холодильника, вспыхнула спичка, и Валя вернулась к столу с низким трехрожковым шандалом со свечами. Подойдя к Рушану, спросила тем же громким театральным шепотом:

— Испугался? — и, склонившись, поцеловала его, обдав запахом незнакомых духов.

И потек по накатанному руслу вечер воспоминаний... Спасительное в такие минуты «а помнишь?» летало, словно пинг-понговый шарик, от кресла к креслу.

В иные моменты Рашид узнавал прежнюю Валу — восторженную, легковерную, ту, за которой закрепилось прозвище Балерина. Но чаще в тени коптящих и жарко оплывающих свечей ему виделась незнакомая властная женщина, искусно пытавшаяся выведать о Рушане побольше: и о прожитых годах, и о его планах. Но он, тоже не менее искусно, уходил от прямых вопросов, отвечал по-восточному витиевато, длинно, и получалось вроде о нем и не о нем. А ей хотелось знать именно о нем...

В конце концов, она, видимо, не привыкшая к словесным марафонам, не выдержала, сама разлила коньяк и сказала, как бы в шутку, в которой, однако, сквозил и плохо скрываемый упрек:

— Я тут исповедуюсь, как на духу, обнажаюсь почище, чем в стриптизе, а он отделяется общими фразами! Это Восток вытравил в тебе всю искренность? А я ведь знаю кое-что о тебе... Представь, я даже была в доме той девушки, которую ты боготворил. И мне хотелось бы по-женски понять, почему у тебя не сложились отношения с Томочкой Давыдычевой, ведь ты ее очень любил. Ну, со мной все ясно: я сама не знала, чего



хочу, кого хочу, а если честно, вас, мартукских, я и в грош не ставила, ведь за мной тут бегал не ты один. Какая я была самоуверенная, глупая, из вас-то вышел толк, кого ни возьми — почти все состоялись, я имею в виду ребят, конечно. Да и девчонки...

— Откуда ты знаешь Тамару? И как ты могла попасть к ним в дом? — глухо выдавил из себя Рушан, не скрывая волнения.

— Наконец-то ожил, заинтересовался! — насмешливо воскликнула Валя и подвинула к нему бокал.

Рушан машинально поднял бокал, все еще не веря ее словам. Когда выпили, она спросила:

— Скажи честно, ты подумал, что я блефую? Зря, ведь имя твоей пассии ни для кого не было тайной. Одновременно с тобой в городе училось немало мартукских девчат — и в кооперативном, и в культпросветучилище, в медучилище и мединституте, и — запоздало сделаю тебе комплимент — они гордились тобой, говорили, что ты в своем роде знаменитость, чемпион по боксу, знаешься с самыми видными ребятами в городе.

Однажды Валя Белозерова и Тома Ярошенко даже изображали в парке, как ты появлялся по вечерам на «Бродвее», когда учился на четвертом курсе. Весь наутюженный, надраенный, с набриолиненной прической, четким высоким пробором... Начиная от сорок пятой школы, где часто бывал, и до самого парка, где гремел джаз, не уставал раскланиваться направо и налево — был своим человеком на «Бродвее». «А мы, — рассказывала Белозериха, — стоя где-нибудь в укромном уголке на улице Карла Либкнехта, с гордостью говорили своим подружкам: «Этот парень — наш земляк, из Мартука». Но нам мало кто верил...»

— Да, мне показалось, что ты решила сблефовать, это так типично для женщин. Красота соседствует с коварством, как говорят у нас на Востоке, — ответил Рушан шутя, вовсе не желая ее обидеть: знал, как она порою бывает неуравновешенна, а вечер портить ему не хотелось.

— Вот тут твоя мужская пронизательность тебя подвела. Так и быть, расскажу, как я попала в дом твоей Томочки, иначе ты будешь мучиться этой тайной всю жизнь, по глазам вижу...

— Пожалуйста, если тебе не трудно...



Валя вдруг встала, достала из-за вазы для цветов пачку сигарет и, молча разведя руками, мол, не обессудь, закурила.

— Помнишь, первые два курса ты почти каждую субботу приезжал домой, приходил в школу на вечера или на танцы в клуб, и мы постоянно виделись с тобой. Я думаю, что тогда еще нравилась тебе, и стоило мне ответить взаимностью, наверное, ты забыл бы про девочку из железнодорожного поселка. Но я кокетничала со всеми подряд напрапалую и сама не знала, чего хочу. А точнее, я ждала. Самого-самого, прекрасного принца, от которого все будут без ума, а он — только от меня.

На третьем курсе тебя уже мало соблазнял даже бесплатный билет на поезд, и ты все реже и реже бывал дома. Друзья твои говорили, что у тебя то соревнования, то сборы, то какие-то проекты с массой чертежей, но я-то чувствовала: что-то иное держит тебя в городе. И вскоре совершенно случайно — чего только в жизни не бывает! — узнала, почему ты перестал приезжать.

У нас, как у многих мартучан, в Актюбинске есть родня, правда, очень дальняя. Так вот, на день рождения отца, а также по случаю окончания строительства нового дома на месте старого, который ты хорошо помнишь, созвали гостей. И, представь себе, из города приезжает с родителями моя троюродная сестра Светка Костылева. Ну, конечно, мы, ровесницы, разговорились о том о сем, и о мальчиках тоже. Вот она и говорит: «Знаешь, к нам в школу на вечера приходит один парень — он уже студент, говорят, из вашего Мартука. Такой симпатичный, черноглазый, Рушаном зовут. Он уже знаменитость — чемпион по боксу, ездил на соревнования даже в Москву... Ты не знаешь его?»

У меня сердце замерло, но я схитрила, недоуменно пожала плечами и сказала, что в Мартуке татарчат полпоселка, и все как один задиристые — готовые кандидаты в чемпионы... Ну, если уж очень надо, могу, мол, узнать... А она рассказывает дальше, что этот Рушан по уши влюбился в ее одноклассницу Томку Давыдычеву и из-за нее не пропускает ни одного вечера у них школе. Да и так, мол, он ее видит каждый день, потому что школа и техникум — через забор, и на физкультуру они ходят к ним в спортивный зал. Вот тогда я поняла, какие у тебя соревнования, какие проекты...



Но эта любовь, может быть, тогда спасла тебя от одной крупной беды, о которой ты, вероятно, и не подозревал. Весной, когда я оканчивала девятый класс, приехал в Мартук на побывку офицер, моряк, и заявился на танцы, под градусом, со своей многочисленной родней. Так случилось, что они не поладили с кем-то из ребят с Татарки, кажется, с Шуриком Сайфуллиным. Кстати, он после тюрьмы умер в армии при загадочных обстоятельствах.

— Шурик Сайфуллин умер? — вырвалось у Рушана. Он об этом не знал.

— Да, его больше нет, я сама была у него на поминках. Отчаянный был парень... Так вот, драка вышла с поножовщиной, офицер пустил в ход свой щегольской кортик, за что и поплатился. Случай получил огласку, и твои друзья заработали по первому сроку. Дали им, правда, немного — кому год, кому два. Но уже через полгода все вернулись домой по какой-то амнистии — и Толик Чипигин, и Юра Курдулян... Если бы ты в тот вечер был дома, то наверняка загремел бы со своими друзьями. Я отвлеклась, но тебе не мешает об этом знать...

Рушан машинально крутил в руках пустой бокал, и от него узкими лучиками отражалось пламя свечи.

— Через месяц после того дня рождения отец собрался на машине в город за мебелью, ну, я, конечно, напросилась с ним. Мне уже давно хотелось увидеть эту незнакомую девчонку, в которую ты был влюблен. Весь месяц после встречи со Светкой Костылевой я не находила себе места, однажды от злости даже расплакалась: как она посмела завладеть твоим сердцем? Я тогда самонадеянно считала, что ты принадлежишь только мне и я могу делать с тобой что хочу, была уверена, что ты готов пойти за мной в огонь и воду, только помани я пальчиком... Не удивляйся, это самая типичная и самая распространенная ошибка в жизни каждой женщины, так было не со мной одной. Наверное, и с твоей Тамарой тоже...

Неожиданно зачала средняя свеча в медном подсвечнике, и Валентина вынуждена была ее загасить. Теперь он не видел ее лица, разгоряченного вином и воспоминаниями.

— ... Ну, я пустила в ход всю свою изобретательность и вынудила Светку сходить вместе со мной к этой девочке — одноклассницы все же. Но сама, конечно, не призналась, что



проявляю интерес к тебе, хотя пришлось сказать, что знаю тебя, иначе бы она не поверила.

Помню, мы пошли на «Москву» через старинный вокзал, одолели гремевший под ногами шаткий висячий мост над путями, а внизу как раз стоял алма-атинский скорый, и так дивно пахло яблоками, апортом. В городе я оказалась впервые и очень удивилась, что он в ту пору мало чем отличался от Мартука, и даже дом Давыдычевой чем-то походил на наш: с палисадником, сиренью, огородом, с высоким, в четыре ступеньки, скрипучим крыльцом, стеклянной верандой... Тома оказалась дома, но встретила нас без особого восторга, тем более когда узнала, что я из Мартука, но ничего не сказала по этому поводу, не вспомнила тебя, хотя, я думаю, чисто интуитивно, по-женски, почувствовала во мне соперницу.

Она мне понравилась сразу: большие карие глаза, длинные ресницы, она их так медленно опускала и поднимала — наверное, уже чувствовала властную силу своего взгляда, обращенного на мужской пол. Я поняла и другое — что она нравится и парням гораздо старше тебя. В ней не было подростковой угловатости, прыщавости и связанной с этим неуверенности, через которые проходит большинство девочек. Наоборот, гладкое нежное лицо, красивый разлет бровей, небольшая родинка чуть выше верхней губы... Это придавало ей особую прелесть, и я тут же со злостью пожелала этой родинке вырасти в бородавку. Красивые, четко очерченные губы и зубы ровненькие, как у Мэрилин Монро... Правда, на переднем зубе я заметила щербинку, потому что старательно искала в ней изъяны, но, увы, их, даже на мой придирчивый взгляд, оказалось мало, и я поняла, что ты, видно, влюбился в нее не на шутку, по-татарски горячо и страстно, и наверняка с первого взгляда пошел за ней следом...

Она была словно из другого мира и уже чувствовала свою красоту, обаяние, у нее и голос был волнующим. В ней, школьнице, уже в ту пору проглядывала женщина со своими взглядами на жизнь. Она, наша со Светланой ровесница, была намного старше нас, опережала, кажется, не только одноклассников, но и время...

Перекинувшись с нами несколькими фразами, она села за пианино и через минуту, совершенно забыв о нас, играла только для себя.



Увидев ее порхавшие над клавишами руки, я бы расстроилась окончательно, если бы неожиданная мысль не принесла мне утешения. Я поняла вдруг, что тебе никогда не покорить сердце этой надменной девчонки по той простой причине, что она по крови, по природе своей одной со мной породы и тоже ждет принца, от которого все будут без ума, а он — только от нее.

Мы расстались почти подружками... Мир тесен, иногда, возвращаясь из Куйбышева, я встречала ее в поезде — она училась в Оренбурге, — и мы подолгу болтали, как старые знакомые.

И, что странно, ни она, ни я ни разу не упомянули о тебе, хотя, думаю, она догадывалась, что нас троих что-то связывает. Пару раз, на первых курсах, ее сопровождал удивительно красивый парень — высокий, стройный блондин с волосами редкого соломенно-золотистого отлива, голубоглазый, с длинными густыми ресницами, — даже в тесных проходах вагонов на него невольно оглядывались девушки. Наверное, о таком принце мечтают многие... Я поняла, что у них роман, но интуитивно почувствовала, что даже такому красавцу, безоглядно в нее влюбленному, не удалось покорить ее сердце. Потом я потеряла ее года на два и однажды опять встретила в поезде. На вопрос, где тот красавчик блондин с печальными глазами, обычно сопровождавший ее, она небрежно ответила, что его забрали в армию, и он служит под Черновцами. По тому, как это было сказано, — вскользь, мимоходом, без сожаления — я поняла, что она сломала жизнь еще одному молодому человеку...

— Его звали Ленечка, он был мой приятель. Действительно красивый парень... Ты права, она испортила ему жизнь, — глухо произнес Рушан и вдруг предложил: — Давай выпьем за всех неудачников в любви.

Валя согласно кивнула и добавила:

— Значит, и за нас с тобой, — и они молча, не чокаясь, выпили.

Вечер становился похожим на панихиду, потому что они следом помянули уже умерших и погибших друзей — Шурика Сайфуллина, Володю Колосова, Толика Чипигина, Юру Урясова, Рашата Гайфулина. Видимо, Валентина почувствовала это. Взяв в руки гитару, она сказала:



— А теперь я спою и сыграю для тебя. Наверное, Тамара иногда баловала тебя этюдами на пианино...

С места в карьер, словно включила фонограмму, она запела что-то лихое, кабацкое. Бант на деке, словно пламя в ветреной ночи, мотался вверх-вниз. То ли настроение у Рушана было такое, то ли Валентина играла и пела хорошо, но ему нравилось ее исполнение, и она, словно почувствовав это, расходилась все больше и больше.

Неожиданно она перешла на романсы, предваряя их большим гитарным вступлением. Чувствовалось, что инструментом она владела. Потом, прервав романс на полуслове, предложила:

— Давай спустимся в сад, песне простор нужен.

Они прошли к оврагу выложенной из обожженного красного кирпича узкой дорожкой, петлявшей среди огородов, и спустились в сад. Ночной сад, встретивший их ощутимой прохладой, оказался внушительных размеров и даже при лунном свете предстал хорошо спланированным и ухоженным. Валя взяла Рушана за руку, повела темной аллеей к беседке, где вновь попыталась спеть романс, но что-то беспричинно разладилось в голосе, и она без сожаления отставила гитару в сторону. Пересела к нему поближе и, как обычно, без всякого перехода сказала с волнением в голосе:

— Весь вечер не пойму, что в тебе изменилось, и это не дает мне покоя...

Рушан попытался отшутиться — мол, поумнел, повзрослел и что-то еще в подобном роде, но она не унималась и настойчиво пыталась понять и объяснить что-то очень важное для себя. И вдруг, взяв его за руку, приблизила к нему свое лицо и с дрожью в голосе сказала:

— Вспомнила, нашла... Раньше ты так чудесно смеялся. От души... Я любила твой смех, я слышала его даже с Татарки, со станции, со двора Вуккертов, ты так заразительно хохотал... Я узнавала тебя по смеху везде, ты не мог скрыться от меня никуда... Не мог, потому что ты любил смеяться... А теперь... теперь ты потерял свой смех, и я не могу отыскать тебя. Как это ужасно... — и громко, навзрыд заплакала, припав к его груди.

Сквозь рыдания, сотрясавшие ее тело, слышалось: «Ты потерял свой смех. Как ты будешь жить дальше?.. Это ужасно... ужасно...» Он долго ее успокаивал, но она не переставала



всхлипывать, время от времени поворачивая к нему свое заплаканное, по-детски трогательно-беззащитное лицо, и он с какой-то особой нежностью целовал ее глаза, шею, волосы, но она не успокаивалась. Неожиданно ее начала бить дрожь, а может быть, просто замерзла — в овраге было свежо, сыро, — и он, недолго думая, подхватил ее на руки и понес наверх, в летний дом, где на темной веранде догорали последние огарки оплывших свечей.

Когда Валя накрывала стол на веранде, он видел приоткрытую дверь, откуда она вынесла бумажные салфетки, мельком упомянув, что на лето перебирается сюда. В эту комнату он и внес ее. У входа он хотел включить свет, но она капризно сказала:

— Не хочу, чтобы ты видел меня опухшей от слез.

Глаза быстро свыклись с темнотой, и он заметил белеющую у стены разобранную постель — на нее и опустил Валю. Сняв туфли, он накрыл ее теплым одеялом в прохладном, свеженакрахмаленном пододеяльнике и, присев рядом, гладил волосы, все время натываясь на муаровый бант, похожий на тропическую бабочку.

Вдруг она потянула его к себе, обвила руками шею и жарко зашептала:

— Рушан, милый, я тебя сегодня никуда не отпущу! Ты будешь моим... — и, привстав, жадно припала к его губам.

Он подумал, что у нее вновь какая-то непонятная ему истерика, потому что она отдавалась ему с такой неожиданной страстью, нежностью, неистовостью, как будто хотела наверстать упущенное за все годы неудач и разочарований и словно пыталась запастись ласками впрок, на будущие черные дни...

Ничто до сих пор изведенное Рушаном не могло и близко сравниться с тем, что дарила ему в ту ночь Валя. Словно в бреду, она беспрестанно шептала: «Милый мой Рушан, я так счастлива, что нашла тебя, что ты, наконец, мой, что мы вместе... вместе...» Потом большая часть слов незаметно пропала, и она, целуя его, произносила только одно: «Мой... мой... мой...» И он отвечал на ее ласки, обнимал ее, боясь спугнуть ее страсть, но вдруг неожиданно ощутил, что она словно пребывает в транс, опять занята только собой и не замечает ни его, ни его желаний...



Боже, как жестока жизнь! Если бы раньше, в молодости, Валентина уделила ему хоть толику этих нежных слов, жарких объятий, влюбленных взглядов — как бы он был счастлив, как бы боготворил ее, носил на руках! И от этой обиды, от ощущения прошедшего стороной счастья, невозможности ничего вернуть он заплакал, не скрывая слез, но Валя, увлеченная своей страстью, не замечала и этого...

Когда он уходил, произошло еще одно небольшое событие, оставшееся вне поля зрения Валентины, но надолго запавшее в память Рушана.

Между летней кухней и домом, на пути к калитке, натекла мелкая прозрачная лужа, которую они обошли при входе, и сейчас, прощаясь, невольно остановились возле нее. Валя никак не хотела его отпускать и, обнимая через шаг, говорила какие-то волнующие слова. Светила высокая полная луна, и они, трогательные в своей нежности, отражались в луже, как в зеркале. Рушан хотел обратить на это ее внимание, как вдруг Валя ступила в воду ногой — и картина мгновенно распалась на глазах, как изображение на вдребезги разбитом зеркале. Он посчитал это дурным знаком...

Целуя его в последний раз у калитки, она как-то по-сиротски жалостливо спросила, словно вымаливала еще одно свидание, как он прежде:

— Придешь сегодня вечером?

Он поправил сбившийся от сумбурных объятий муаровый бант и ответил с нежностью и радостью:

— Обязательно. Я очень счастлив, что мы встретились с тобой.

В эту минуту он не лукавил, не хитрил, — что-то доброе, искреннее, как в школьные годы, ощутил к этой знакомой и незнакомой женщине в белом элегантном платье...

XV

С утра и до вечера у Рушана не выходили из головы прошедшее и предстоящее свидания с Валею. О чем он только не передумал в тот долгий летний день, перевероротив основательно всю свою жизнь! В какие-то минуты он торопил время и хотел,



чтобы скорее наступил вечер, он жаждал вновь услышать ее жаркие слова, почти физически ощущал прикосновение ее нежных рук, страстный шепот: «Мой... мой... мой...»

Может, это судьба вновь соединила их, когда-то, еще детьми, потянувшихся друг к другу, чтобы теперь оба, испив из чаши разочарований и потерь, обрели наконец счастье и покой?

Он так растрогался, что решил сделать ей что-нибудь приятное, пошел в поселковый универмаг и купил флакон французских духов. Он долго выбирал между «Клима», «Фиджи» и «Черной магией», пока продавщица не посоветовала ему «Шанель № 5».

Фантастика! В большом городе эти духи днем с огнем не найдешь, а здесь — кому они нужны? Скромная белая коробочка «Шанель № 5», которую он держал в руках первый и последний раз в жизни, до сих пор стоит перед глазами, когда он начинает думать о подарках.

Зашел он и в гастроном, попросил бутылку армянского коньяка «Ахтамар». Молоденькая продавщица, вряд ли знавшая его, улыбнулась и сказала, что в Мартуке редко кто берет такой дорогой коньяк, а вот сегодня, незадолго до него, учительница английского языка купила такую же бутылку. Это сообщение Рушан посчитал добрым знаком и забыл о вчерашнем разбитом изображении на зеркальной поверхности дождевой лужи.

Вечером в назначенный час он поспешил с подарками на Советскую. И снова Валя ждала его в палисаднике с гитарой, но сегодня она была в огненно-красном платье, и того же цвета бант сменил черный муаровый в блестках.

Когда он вручил подарок, Валя обрадовалась и сразу бросилась к нему на шею, осыпая поцелуями. Она была как-то странно возбуждена, Рушан даже подумал, что успела выпить, волнуясь в ожидании встречи, которая, возможно, что-то изменит в их отношениях. Если ему, мужчине, пришла в голову такая мысль, то женщине, наверное, и подавно, тем более что она видела, каким счастливым он уходил от нее.

Желая пошутить насчет преждевременной выпивки, он сам склонился к ней и еще раз поцеловал, но запаха спиртного, к своему удивлению, не ощутил, и эту странную возбужденность, лихорадочный блеск глаз отнес на счет волнения. Так, обнявшись, они прошли мимо высохшей лужи в летний домик,



где опять их ожидал накрытый столик, и три новые свечи загорелись сразу, как только они уселись друг напротив друга.

После случившегося вчера они чувствовали себя поначалу скованно, от Вали исходила какая-то нервозность, — он это ощущал, хотя объяснить не мог. Вроде она была по-прежнему мила с ним, говорила, как и прошлой ночью, приятные и волнующие слова, но Рушана не покидало ощущение, что она все время куда-то проваливается, ускользает от него, и он попросил ее спеть, чтобы увести женщину от тягостных мыслей.

Она охотно взяла гитару, будто согласилась, что песня успокоит ее, но нервное напряжение сказалось и на репертуаре — почему-то завела блатную песню.

Рушану сразу вспомнился дом дяди Рашида в Актюбинске, куда он иногда приходил по случаю праздников или на дни рождения Исмаил-бека или Шамиля. Эти дни отмечались свято, при любых обстоятельствах, даже если виновник торжества в это время сидел в тюрьме, — Минсулу-апа свято берегла традиции дома...

На веранде тянуло откуда-то сквозняком, и все три бледных язычка пламени заплывшего воском шандала сдувало в сторону Вали, поэтому он хорошо видел склонившееся над гитарой лицо.

В иные мгновения оно напоминало ему Кармен, но не ту обворожительную огненную испанку Мериме, а жену дяди Рашида, которой дружки братьев дали такую громкую кличку. У нее тоже было красное платье, и такой же пошлый бант украшал деку ее любимой гитары, и такая же примерно манера играть на гитаре. Вот только бабочку в волосах блатная Кармен не носила, это он помнил хорошо, а репертуар — один к одному, словно Валя проходила стажировку в доме Гумеровых.

Рушан никогда не любил блатных песен — ни тогда, в юности, ни тем более теперь, — и потому при первой же паузе, когда Валя стала подтягивать струны, взял у нее из рук гитару и предложил:

— Давай лучше выпьем, поговорим, как вчера...

Но она угадала его настроение и не без сарказма ответила:

— Ты, Дасаев, оказывается, сноб. Такая вот я — люблю блатные песни, к тому же они сегодня очень популярны.



А уж в Мартуке все в восторге от моего репертуара... — И вдруг добавила ехидно: — Ах, я забыла, ты же не сидел и вряд ли знаешь жизнь...

Он не обратил внимания на Валины слова, зная ее характер, подумал: «Хочет, чтобы последнее слово осталось за нею».

Повесив гитару на гвоздь у двери, Валя вернулась к столу и, сделав перед ним неожиданно изящный пируэт, игриво взъерошила ему волосы.

— Гуляй, милый мой Рушан. Люби, наслаждайся, пока я твоя...

Рушан решил, что у нее начинается непонятный для него кураж, и налил ей чуть меньше обычного. Но он ошибся на счет куража: куда-то вдруг подевалась исходившая от нее нервозность, она стала, как вчера, мила, ласкова с ним, и он успокоился.

Вновь они сидели друг напротив друга, и пламя от чадающих свечей словно подогревало их влюбленные взгляды, летавшие через стол, — они вспоминали что-то давно забытое, но крепко связывающее их. Сегодня она тоже курила — зеленая пачка сигарет «Салем» и зажигалка лежали рядом с ее прибором, — но реже.

В тот вечер Валя удивила его еще раз. Успокоившись, попросила принести холодной воды, а когда Рушан вернулся от колонки во дворе с полным кувшином, увидел, что она курит не ментоловые «Салем», к специфическому дыму которых он уже привык, а что-то другое, — как некурящий человек, он остро реагировал на запахи. К своему удивлению, Рушан увидел в ее руках папиросу, ныне так редко встречающуюся, и хотел спросить, с чего она перешла на грубый «Беломор», но в последний момент сдержался: зная ее причуды, побоялся вновь испортить ей настроение.

Курила она как-то необычно, откинув красивую голову на высокую спинку кресла и прикрыв от какого-то внутреннего удовольствия глаза, и он снова, как и вчера, любовался ее изящной шеей с тремя тяжелыми нитками искусственного жемчуга, открытыми плечами, уже по-женски округлыми, нежными. Высокая грудь, стиснутая в корсете платья, при каждой затяжке волнующе вздымалась, и ему даже доставляло наслаждение любоваться ею, когда она курила. Делала она это красиво,



небрежно, не глядя сбрасывала пепел в пепельницу длинными ухоженными пальцами...

Докурив беломорину, Валентина, как обычно, лениво распахнула свои глаза, словно чувствовала, что он любит ее, и спросила волновавшим его низким грудным шепотом:

— Рушан, милый, ты так трогательно носил меня вчера на руках, может, и сегодня доставишь мне такое удовольствие?

Она словно читала его мысли — Рушан как раз дожидался, когда Валя выбросит папиросу. Он подхватил ее на руки и направился к двери в конце веранды, но она, крепко обнимая его за шею, зашептала на ухо:

— Ну, пожалуйста, хоть один круг по двору, мне так хорошо с тобой, надежно...

Во дворе, когда он нес ее на руках, в какие-то особенно счастливые мгновения, раз или два Рушан чуть не признался ей в любви и вечной верности, но все время ее милая шалость или поцелуй отвлекали его. Он не расстраивался — впереди ждала его сладкая ночь.

Потом они вернулись в ее комнату в летнем домике. Сегодня в углу горел слабыми огнями торшер, и Рушан успел рассмотреть ее жилье, по-женски уютное, особую прелесть комнате придавали розовые обои. Заметив его удивленный взгляд, устремленный на торшер в углу, Валя сказала, ласково глядя ему в лицо:

— Мне очень хочется не только наслаждаться, но и видеть тебя. — И капризно добавила: — Надеюсь, ты не возражаешь?

Он, конечно, ничего не имел против, ему тоже хотелось видеть ее прекрасное лицо.

Но сегодня что-то было и так, и не так, хотя Валентина тянулась к нему так же страстно, как и вчера. Поначалу он думал, что всему помехой свет, но вскоре Валя сама выключила его, ничего не объясняя. При всей ее форсированной страсти, возбужденности он ощущал в ней одновременно быстро нараставшие вялость, апатию, безразличие, — от влюбленного человека невозможно скрыть свое состояние, а на это свидание он пришел влюбленным. Когда комната была освещена, он несколько раз видел близко над собой ее глаза — вот они сегодня точно были другими, они смотрели как бы мимо него, и в них виделась пугающая пустота. Уже знакомая, близкая, родная, милая, она вдруг открывалась ему какой-то непонятной стороной. И снова,



теперь уже в постели, он стал ощущать нервозность, исходившую от нее, как и в начале вечера за столом.

Вдруг, обмякнув и оттолкнув его от себя, она капризно приказала:

— Рушан, принеси сюда столик и открой вторую бутылку «Ахтамара», я хочу видеть тебя веселым, твое серьезное лицо смущает меня...

Он хотел возразить, но, встретившись с ее взглядом, по-восточному приложил правую руку ладонью к сердцу и, склонив в покорности голову, шутливо ответил:

— Как прикажете, сегодня я ваш раб...

Рушан ощущал, что все катится к какой-то развязке, и он никак не может повлиять на события: хотя это касалось его, но он вновь не был властен над своей судьбой.

Валя вдруг надумала выпить с ним на брудершафт и налила коньяк в бокалы для воды — не до краев, но полбутылки опорожнила в них точно. Он думал, что выпитое приблизит события к какому-то скандальному финалу, но опять произошло невероятное — отставив пустые бокалы в сторону, она жадно впиалась в него поцелуем, и он вновь услышал ее вчерашнее страстное: «Мой... мой... мой...»

Задыхаясь в ее жарких объятиях, он с улыбкой думал, что ему никогда, наверное, не понять женщин. Целуя и лаская ее прекрасное тело, он вновь был на седьмом небе.

Когда он, переполненный счастьем и восторгом, успокоился и собрался уже признаться ей в любви, что вспыхнула так неожиданно снова, Валя, вдруг наклонившись над ним, спросила то ли в шутку, то ли всерьез:

— Дасаев, а ты купал когда-нибудь женщин в шампанском, дарил им миллионы алых роз или настоящий жемчуг и бриллианты?

Он попытался отшутиться, но она настойчиво, с обидой повторила:

— Я же спрашиваю тебя всерьез.

Тогда он, трезвея от неожиданного поворота событий, устало ответил:

— Это же из блатного фольклора... Да и зачем женщине купаться в шампанском? Я думаю, это даже вредно, лучше уж с мылом...



И тут она взорвалась, словно пороховая бочка:

— Эх ты, с мылом!.. А вот и не вредно! Я купалась, и не раз...

Рушан, не до конца осмыслив ее выкрик и, конечно, не принимая его всерьез, ляпнул:

— А что потом с шампанским делают, после купания?

Последовавшая реплика наконец заставила его поверить в серьезность полусумасшедшего разговора:

— Да, я купалась в шампанском, а мои друзья и тот, кто устраивал для меня это развлечение, черпали вино бокалами из ванны и пили за мое здоровье — таковы традиции, так восхищаются красотой и прекрасным телом. Это так здорово, но, я вижу, тебе никогда этого не понять, не дано! Жил всю жизнь от полочки до полочки...

— Ты это всерьез? И кто же он, столь тонкий ценитель женской красоты и шампанского из ванны? — спросил Рушан, не надеясь на ответ, все еще думая, что это очередной Валин розыгрыш, — он слышал от ребят о ее экстравагантных выходках в последние годы.

Но она, гордясь, с вызовом ответила:

— Дато Гвасалия. Тот, кто по-настоящему меня любил и баловал. Не зря он имел кличку Лорд: цветы дарил корзинами, духи — дюжинами, и это жемчужное кольцо — тоже его подарок...

А он-то принимал жемчуг на ее шее за искусственный или даже за чешскую бижутерию... Но это теперь ничего не меняло: Рушан протрезвел окончательно. Легонько отодвинув Валю в сторону, вмиг потеряв интерес к ней, к ее гибкому телу, он потянулся за рубашкой на спинке стула.

— Ты куда? — спросила она удивленно.

Рушан не ответил. Одеваясь, он думал: сказать, не сказать, но в последний момент все же решился:

— Знаешь, Валя, а я сегодня собирался сделать тебе предложение...

Ночная свежесть несколько остудила его. Домой он не пошел, чувствовал, что все равно не уснуть, решил погулять по сонному Мартуку — через день он должен был уезжать. Дойдя до парка, где он видел Валю восемь лет назад крашеной блондинкой, Рушан вдруг рассмеялся, и этот неожиданный смех снял



тяжесть с души. Он вдруг представил тесную ванную комнату, нашу унылую сантехнику и тусклый кафель, вечно щербатую, уже с завода, эмаль, блатных и воров с бокалами в руках, толпящихся у заполненной до краев шампанским ванны, и плещущуюся в ней Валентину... Зрелище, действительно, получалось смешным, если не сказать убогим, особенно в том случае, когда ванная комната могла быть еще и совмещенной с санузлом.

И вдруг все встало на место: и грубая папироса в ее холеных пальцах, и стеклянные глаза, глядящие мимо, и страсть, мгновенно переходящая в апатию, и странный блатной репертуар, и жемчужное кольцо, и даже ванна с шампанским...

Восемь лет назад, увлеченный девушкой с улицы 1905 года, он пропустил мимо ушей слова кого-то из ребят, учившихся там же, в Куйбышеве, в летном училище, сказавшего мимоходом, что Валя потихоньку покуривает и покальвается, путается в городе с самыми крутыми парнями, и вроде даже по какому-то уголовному делу проходила свидетельницей. Тогда он, озабоченный своими проблемами, не придавал этим слухам значения, а теперь все выстроилось в логическую цепь...

И вот сегодня, спустя почти двадцать лет, вспоминая тот дивный вечер в Мартуке, когда он чуть не сделал Вале Домаровой предложение, Рушан понимает: в ту пору о наркомании говорить было не принято, как и о многом другом, словно это нас не касалось. Но поразило его — и тогда, и сейчас, — другое, не наркомания — он встречал сколько угодно парней, увлекавшихся блатной романтикой, — а то, что женщину, клюнувшую на эту приманку, он видел только однажды, и ею оказалась его возлюбленная, девочка, когда-то написавшая в школьном сочинении, что мечтает стать балериной...

Сегодня он знает, что Валя через два года после той летней ночи вернулась в Мартук. Вернулась с мужем-наркоманом, работавшим механиком в каких-то мастерских, но больше известным скандалами в больнице и аптеках из-за наркотиков, однако в ту пору уже многие знали, что колется и она. С такими наклонностями, да еще с завышенными притязаниями на свое положение в обществе, в маленьком местечке прожить трудно, и они скоро покинули дом на Советской, где одну летнюю ночь Рушан был по-настоящему счастлив. И он больше никогда о ней не слышал.



Хотя однажды, через несколько лет, за тысячи километров от Мартука, ему пришлось вспомнить и про жемчужное кольцо, и про ванну с шампанским.

XVI

Встреча с Валею помогла сделать и еще одно открытие, пусть связанное не лично с ним, а с его дядей, но все равно ведь это и его жизнь. Он узнал от Эммы Бобликовой, весившей все-таки не сто сорок два килограмма, а всего сто двадцать шесть, что свой знаменательный день рождения, двадцатипятилетие, его дядя Рашид отмечал некогда в доме ее мамы, — так открылась ему еще одна детская тайна.

А в тот вечер Валя еще сказала беззлобно, что Славик Афанасьев никогда не станет горожанином, и она как в воду глядела. Года через два Славик вернулся из Алма-Аты домой, зарабатывал шальные деньги, ставя золотые коронки разбогатевшим землякам. Пить продолжал по-черному, поскольку наш народ иначе, чем бутылкой, отблагодарить не умеет, и вскоре после одной из пьянок, так и не протрезвев, умер. И ныне перечень тех, о ком они скорбят при встрече, заметно удлинился, и поминают они теперь всех общим списком, как на выборах.

Сегодня он знает о многих своих потерях, но никогда раньше не замечал, не задумывался о том, что лишился своего искреннего смеха к двадцати восьми годам, а может быть, даже раньше. Теперь-то он понимает, почему так горько рыдала Валя в тот вечер: она оплакивала его и свою жизнь, словно наперед знала, что ничего путного из этой жизни не выйдет, не говоря уже о счастье...

Совсем недавно из газет он узнал ошеломляющие цифры. А ведь никто из его знакомых — ни на работе, ни дома — не обратил на них внимания, он даже дня два прислушивался в общественном транспорте, вдруг кто скажет: «Какой ужас!» Никто не говорил, не возмущался, не комментировал — видимо, свыклись. А вычитал он, что каждое шестое преступление в стране совершают женщины, за год две с половиной тысячи женщин привлекались за убийство своих новорожденных детей. Эту цифру наверняка надо умножить еще на десять, чтобы



получить реальную картину, с учетом тех, кто не попал в поле зрения милиции. Выходит, ему повезло, что он повстречал в жизни только одну женщину из многомиллионного криминального слоя в нашем обществе.

Нет, Валю Домарову Рушан никак не мог назвать своей первой любовью, хотя и чуть не сделал ей предложение, но не мог он и беспристрастно зачеркнуть их отношения: что было, то было. Видимо, точнее было бы назвать давнюю симпатию прелюдией к любви...

Перебирая вехи прошлого, он обнаружил не только утрату собственного смеха, смерть родных и друзей, гибель волшебного вокзала в Актюбинске и исчезающие чайханы Ташкента. Там осталось много тайн и невещественного характера. Сквозь годы он силится понять, что означал жест Светланки Резниковой, когда однажды поздней весенней ночью он шел по улице Орджоникидзе, а из машины, на мгновение ослепившей его фарами на пустынной улице, вдруг высунулась девичья рука и помахала ему. Пока «Волга» Резниковых не скрылась в переулке напротив Дворца железнодорожников, он видел адресованный только ему жест. Что он означал? Ведь «роман», так бурно начавшийся на новогоднем балу, оборвался у них еще в марте...

Или почему Ниночка Новова так настойчиво советовала ему посмотреть американский фильм «Рапсодия», и почему она уехала в Ленинград сразу после выпускного бала, не предупредив его, хотя накануне отъезда они гуляли до утра и встречали рассвет у них в яблоневом саду, на улице Красной? Странно, отчего память хранит такие мелочи?

Но в памяти застряли и мучают не только события, конкретные факты и связанные с ними вопросы, на которые в свое время не нашел ответа, — загадкой проходят через всю жизнь вещи и вовсе необъяснимые...

Однажды на «Бродвее» он увидел рядом с Жориком Стаиным — парнем на год старше него — удивительной красоты девушку, но в память врезалась не изящная Сашенька Садчикова, а платье на ней — необычное и по покрою, и по цвету. Цвет платья очаровательной Садчиковой почему-то преследовал его всю жизнь, он хотел найти ему четкое определение. И вдруг сейчас, спустя почти тридцать лет, увидел по телевизору тибетского далай-ламу, находящегося в изгнании,



которого принимал другой диссидент — Вацлав Гавел, ставший президентом страны, где еще недавно был вне закона. Увидел — и все сразу стало на свои места, он понял: платье белокурой Сашеньки напоминало желто-оранжевый хитон буддийского далай-ламы, и это вовсе не цвет апельсина, как тогда многим казалось. Так с помощью далай-ламы разрешилась еще одна загадка.

Или, казалось бы, что может связывать его со знаменитой Ниццей? Да, именно Ниццей, фешенебельным городком на Лазурном берегу. Впрочем, не с самим морским курортом, а всего лишь с ласкающим слух названием.

Ницца... Она тоже долго преследовала его воображение, часто навевая беспричинную грусть. Наверное, Ницца засела в его памяти в тот не по-весеннему мрачный день в конце мая, когда они с Ниночкой Нововой случайно попали на какой-то концерт в «Железке»: не бог весть какая программа, концертная труппа была явно наспех сколочена для гастролей по провинциальным городам из музыкантов, некогда подававших надежды, но по большому счету так и не состоявшихся, спившихся, разочаровавшихся во всем, — тех, для кого единственным источником жизни служат ненавистные подмости захолустных сел.

В том далеком мае Ниночка оканчивала школу, а он техникум, и от предчувствия скорой разлуки они встречались ежедневно, как-то жадно, неистово, словно чувствовали, что разойдутся их пути-дороги навсегда, хотя, конечно, вслух строили грандиозные планы, мечты захлестывали их воображение...

На концерт они опоздали и вошли в полупустой гулкой зал старинного дворца, когда вяло катившаяся программа набрала темп и какой-то певец даже сорвал жидкие аплодисменты. Едва они заняли свои места, как на эстраде появилась женщина, чья песня запала ему в душу надолго, на десятилетия, и потом долго навевала несбыточные мечты о далекой Ницце. Это была уже чуть грузная высокая певица в вечернем бархатном платье до пят вишневого цвета, с чересчур смелым для провинции декольте, выгодно оттенявшим стройную шею, по-женски мраморно-холеные плечи и грудь, затянутую в жесткий корсет. Держа в руках трогательную ветку отцветающей персидской сирени, прижившейся в их степных краях, она объявила: «Цветок из Ниццы».



Солистка показалась Рушану пожилой, усталой, хотя вряд ли она преодолела сорокалетний рубеж, но из-за юношеского максимализма тогда виделось так, и он невольно почувствовал ее тоску, понял, почему сейчас она оказалась в полупустом зале заштатного городка. Песня, наверное, была чем-то близка ей, она, видимо, тоже давно поняла, что далекая сказочная Ницца несбыточна, недостижима для нее. Эта вселенская грусть, пронизывавшая и саму песню, и исполнительницу, и, возможно, давно витавшая в высоких стенах бывшего дворянского собрания, где располагалась «Железка», пленила и Рушана. Наверное, для всех она была просто лирической песней, немного грустной, но для него звучала иначе. Словно забегаая далеко вперед, в свою еще не прожитую жизнь, он как бы заранее ощущал тоску, скорбь о несбывшихся надеждах и несостоявшейся любви. Странное ощущение для юноши, стоящего на пороге самостоятельной жизни, тем более рядом с хорошенькой кокетливо-изящной Ниночкой Нововой.

Видимо, песня вызвала у обоих сходные переживания, поскольку Ниночка как-то грустно взглянула на Рушана, придвинулась ближе и, найдя в темноте его руку, сжала ее, словно почувствовала внезапную тревогу.

Нечто подобное — преждевременную скорбь по непрожитой жизни — он испытает лет через десять, когда Валентина, мечтавшая стать балериной, будет бессознательно оплакивать их не состоявшуюся, по большому счету, судьбу...

После концерта, когда они шли по улице, у Рушана невольно вырвалось: «Цветы из Ниццы...» Нина, видимо, готовая к разговору о грустной любви на Лазурном берегу, тихо ответила: «Оставь, цветы из Ниццы не про нас...»

Тогда он не придавал ее словам никакого значения, не пытался спорить. Но сегодня с болью приходится признать, что даже в молодые бесшабашные годы, у порога взрослой жизни, они и мечтать не могли ни о Ницце, ни о Венеции, ни о Монте-Карло, ни об островах Фиджи или Мальорка, — изначально были запрограммированы на иную жизнь, на преодоление вечных преград в походе к сияющим вершинам коммунизма. Сегодня Рушан с запоздалой горечью понимает, что народ его родной страны оказался не только за порогом цивилизации XX века, но и вовсе отрезанным от нормальной человеческой жизни, где уж тут Ницца...



Но Ницца, запавшая ему в душу в полупустом зале Дворца железнодорожников, долго будоражила воображение. Однажды, годы спустя, в Ялте среди бурной субтропической зелени он увидел броскую рекламу на огненно-красном щите: «Посетите Ниццу!» Троллейбус несся стремительно, и он не успел разглядеть чуть ниже еще одно слово — «ресторан», и три дня подряд, пока вновь не наткнулся на рекламное объявление, Ницца не шла у него из головы.

«Ницца» оказалась обыкновенной «стекляшкой» с бетонными полами и отличалась от подобных ей заведений тем, что числилась вечерним рестораном с программой варьете. Чтобы скрыть бедность и убожество зала, стекло изнутри задрапировали занавесями вишневого цвета, — наверное, чтобы проходящим мимо «Ниццы» казалось, что там протекает невероятно шикарная жизнь.

От впечатления неприкрытой бедности зал с обшарпанными пластиковыми столами и колченогими железными стульями спасали лишь полумрак и умелое, с долей фантазии продуманное освещение эстрады, где выступало наспех сколоченное варьете и восседал небольшой оркестрик — музыканты в соломенных шляпах-канотье. Тут шли в ход и елочная мишура, и часто менявшиеся рисованные задники сцены, и светившиеся, кружившиеся зеркальные шары, висевшие и над залом, и над сценой — они, видимо, должны были означать причастность к какой-то веселой роскошной жизни, бурлящей в сезон на известных морских курортах.

Рушан видел и скудность убранства зала, и убожество доморощенного варьете. Конечно, «стекляшка» с претенциозным названием «Ницца» не могла иметь ничего общего с той прекрасной Ниццей, которой он грезил долгие годы, и возвращался он оттуда в полночь по слабо освещенным улицам Ялты разстроенный: ему казалось, что его в очередной раз обманули.

«Почему у нас кругом пошлость, безвкусица, бедность, которую не в силах скрасить ни темнота, ни умелое освещение?» — с тоской думал он, шагая по ночным улицам города, и световая реклама «Ялта — жемчужина курортов мира» — воспринималась как насмешка, издевательство...

Листая, как страницы книги, отшумевшие годы, вспоминая друзей, Рушан не решался приблизиться к себе, хотя понимал,



что все его воспоминания мало чего стоят без откровений о себе, без собственной фотографии на фоне времени. Наверное, его жизнь по-иному осветит события, о которых он хотел бы рассказать. Хотя, рассказать — кому? Но это билось в нем и не давало покоя... И он вновь и вновь возвращался назад, во вторую половину пятидесятых, в заносимый песками из великих казахских степей провинциальный Актюбинск, чтобы еще не раз мысленно пройтись или же постоять под окнами дома на улице 1905 года, где жила девочка с голубыми бантами, которую он однажды встретил у «Железки» с нотной папкой в руке и, как зачарованный, пошел вслед за ней. Порою ему кажется, что он до сих пор шагает за нею...

Вспоминать о той девочке легко, она часто приходит к нему в снах. Ему снятся шум, запахи давно ушедших лет, их окружают музыка и быт того времени, в снах он вновь приходит в парки и кинотеатры своей молодости. «Бродвей» в час пик, школьные балы и танцы в «Железке»... И повсюду их сопровождают давно забытые ритмы и мелодии.

Его сны — своеобразные ретро-фильмы с собственным участием, где сам он — в главной роли. Когда ему тяжело, тоска одолевает беспричинно, он закликает кого-то свыше, властвующего над нашими судьбами: «Пусть приснится моя молодость!» А молодость — это любовь.

Прекрасные сны-фильмы, где через тридцать лет можно разглядеть то, что не удалось увидеть в свое время. Правда, ни один из них не получается досмотреть до конца, они, как в детективном сериале, обрываются на самом интересном месте, и продолжения, как ни заклинай, не бывает. Эти сны-фильмы — одноразовые и для единственного зрителя, и после них очень трудно вписаться в повседневную жизнь. Но ни за что на свете Рушан не отказался бы от своих сновидений.

Когда-то друзья, беззлобно посмеиваясь над его безответной любовью к девочке из соседней железнодорожной школы, говорили: «Не грусти, первая любовь — как корь, переболеешь, встретишь другую и забудешь свою гордую пианистку». Сегодня, считай, жизнь прожита, а он ее не забыл, впрочем, он и тогда чувствовал, что это всерьез и надолго.

Когда коллеги заводят в прорабской разговоры о первых увлечениях своих детей, не воспринимаемых родителями всерьез,



по лицу Рушана пробегает грустная улыбка. Он не вмешивается в такие диспуты — кому нужен его душевный опыт? Да и можно ли предположить, глядя на него, заезженного жизнью одинокого прораба, что и его когда-то одолевали страсти, что и он когда-то чувствовал в себе волшебный огонь обжигающей любви, и что воспоминания о ней — самое дорогое, что осталось ему, ими он и жив.

«Воспоминания — единственный рай, откуда нас невозможно изгнать», — вычитал он где-то и запомнил на всю жизнь.

Возвращаясь памятью к девочке с нотной папкой в руках, он мучился сознанием того, что заглянувший ненароком в эту его ненаписанную «книгу» мог бы резонно спросить: «Разве ты не любил Глорию? А как же Светлана Резникова? Или Ниночка Новова? Наконец, Валя Домарова?..» Рушан, привыкший отвечать за свою поступки и никогда не прятывшийся за словеса и чужие спины, сникал от этого незаданного вопроса. Может, потому он и не спешил откровенничать о себе?

Наверное, человек более тонкий, чем прораб, — художник, например, писатель или артист, — легко разобрался бы в своих симпатиях, тем более давних, ныне ни к чему не обязывающих. Но для Рушана это стало непреодолимой преградой: он не хотел унижать в воспоминаниях ни себя, ни своих любимых, ни те привязанности, которыми дорожил. Поэтому он и затруднялся заполнять страницы своей «книги» событиями личной жизни, где каждой из его подруг нашлось достойное место.

И вдруг он нашел ход к познанию себя, того давнего, и всех своих привязанностей.

В одной мемуарной книге ему совершенно случайно попались на глаза страницы о Жане Кокто. Они-то и дали ключ к пониманию давнишних событий. Оказывается, после смерти писателя биографы обнаружили четыре письма, полных любви, нежности, написанных перед отправкой на фронт, — послания эти сравнивают с образцами любовной лирики. Но... все письма были написаны словно под копирку, хоть и адресованы четверем разным женщинам. И что еще более странно, ни одна из этих прекрасных дам, проживших долгую и счастливую жизнь, позже, узнав истину, не только не отказалась от «своего» письма, но и настаивала, что содержание адресованного ей признания отражает суть ее истинных отношений с Кокто...



Дасаев, конечно, не француз Кокто, и прямой аналогии здесь не проводил, но, пытаясь понять известного драматурга и его поклонниц, столь рьяно отстаивавших свой приоритет на его любовное послание, он пришел к разгадке некоторых давних событий.

Два коротких, но бурных «романа» — со Светланкой Резниковой и Ниночкой Нововой, — кстати, одноклассницами, входившими в одну недоступную компанию, хорошо известную в их городе, — случились в последние полгода, когда Рушан учился на четвертом курсе техникума и уже корпел над дипломным проектом. Сегодня он понимает, что дважды «пришелся ко двору» или оказался «кстати» в каких-то их девичьих интригах, до конца не ясных и поныне. Знает лишь одно: они не расставляли ему специально ловушек, просто он подвернулся случайно и как нельзя лучше подошел для задуманной ими роли. Но в том-то и суть: обе они не ожидали, что задуманная легкомысленная затея заденет и струны их сердец и, как выяснится позже, тоже обожжет надолго, — теперь-то Рушан знал это.

Конечно, он мог бы и не вспоминать об этих «романах», отнести их к разряду легкомысленных юношеских увлечений. Тем более влюбиться за полгода дважды — все это выглядело несерьезным, недостойным даже упоминания в разговоре о любви. Однако сроки тут не при чем, в серьезной классической литературе он встречал примеры, когда дни и даже часы многое значили для людей, определяли судьбу или на всю жизнь становились духовной опорой. Был и более веский аргумент — на всем стоит тавро: «Проверено временем».

XVII

Ко времени того новогоднего бала в сорок пятой железнодорожной школе, где у Рушана неожиданно начался «роман» со Светланкой Резниковой, он уже три с половиной года был безответно влюблен в Томочку Давыдычеву, и, конечно, в их провинциальном городке многие об этом знали. Там все на виду, невозможно уберечься от любопытных взглядов, а Рушан и не таился, да и любовь к такой заметной девочке бросалась в глаза.



В ту пору школьники жили куда более насыщенной жизнью, чем нынешние: каждую субботу в той или иной школе проводились вечера, организовывавшиеся с большой фантазией, куда приглашались старшеклассники из других районов. На такие встречи оказывались зваными почти одни и те же лица, среди них и Тамара, а уж где она — там и Рушан. Среди гостей хозяева сразу выделяли Тамару и наперебой приглашали на танец, но как-то само собой быстро возникал барьер между ней и новыми поклонниками — по залу неслышной волной прокатывалось: «девушка Рушана». Так бывало и в «Железке», и на летней танцплощадке, и в ОДК. Тамара знала об этом, иногда ей даже нравилось такое опекуновство.

В семнадцать мы все бывали кем-то очарованы, часто безответно, и в молодом эгоизме вряд ли замечали, кто в кого влюблен, а уж чтобы помнить об этом через годы... Но их отношения запали кому-то в память, и лет десять спустя, в один из своих наездов в Актюбинск, он получил тому подтверждение.

Остановился он в тот раз в гостинице «Казахстан» и часто прогуливался по улице Карла Либкнехта, давно утратившей претенциозное название «Бродвей». По несколько раз в день поднимался вверх от парка Пушкина к сорок пятой школе, стоящей на горе, напротив пожарки, и словно воочию видел себя юным, азартным, раскланивающимся с улыбкой направо и налево — на «Бродвее» он был своим парнем. И однажды во время прогулки к нему подошла молодая женщина с двумя авоськами и, смущаясь, спросила:

— Извините, скажите, пожалуйста, как у вас сложились отношения с Тамарой? — Видя его удивление, она, растерявшись вконец, добавила: — Не знаю почему, но я часто вспоминаю вас. Я никогда не забуду, как вы выискивали ее глазами на вечерах в нашей школе, мне казалось, ваш взгляд испепелял все на пути к ней. Поверьте, это не только моя фантазия, то же самое мне говорили подружки, многие тогда переживали за вас, Рушан.

— Спасибо, — ответил растроганный Дасаев. — Увы, она вышла замуж за другого и живет в Черновцах.

Пока женщина не скрылась за углом, Рушан смотрел ей вслед, пытаясь определить, кто же это, какой она была на тех вечерах, которые он отчетливо помнил до сих пор, но увы...



Он заметил смущение незнакомки и от невзрачного мятого платья, и от стоптанных туфель, и от тяжелых авосек с картошкой, и понял, как нелегко дался ей вопрос, — у нее своих забот хватало, это бросалось в глаза сразу, и вот надо же...

Вообще в тех местах, где он появлялся, знали, в кого он был в свое время влюблен, и эта верность у многих вызывала симпатию. Впрочем, по тем временам это был не подвиг, а нечто само собой разумеющееся — верность окружающими ценилась. Но каково было тогда самому Рушану? Через полгода он оканчивал техникум, а что ожидает путейца? Разъезд или полустанок. Грезить, что Тамара приедет туда, было абсолютно бесполезно, тут даже надежды на переписку были шатки. Она знала, что есть такой парень, что он влюблен в нее, и, кажется, воспринимала это как должное: иногда позволяла проводить после школьного вечера, танцевала с ним, порою даже кокетничала, изредка вдруг объявлялась на его соревнованиях по боксу и очень темпераментно болела. Но все это было не то, не то, Рушан же видел, как «встречались» с девушками его друзья — Валька Бучкин, Ленечка Спесивцев, да тот же Роберт. Девушкам, которые обращали на него внимание, друзья сразу говорили: оставьте, его никто, кроме Давыдычевой, не интересуется, безнадежный однолюб. Вот такая у него была репутация в те годы.

Тот новогодний вечер был последним в Актюбинске. Летом он отбывал по направлению и понимал, что навсегда расстанется с беспечной студенческой жизнью, а впереди — нелегкие взрослые будни. Он уже знал, что дорожный мастер, например, не имеет права отбыть с участка ни ночью, ни в праздник, не уведомив о том, где его можно найти — такова специфика профессии. Возможно, поэтому его в тот праздничный вечер одолевали грустные мысли, хотя после новогоднего бала в школе он был приглашен Жоркой Стаиным в одну интересную компанию.

Жорик метался по залу, пытаясь выяснить, кто скрывается под номером «14», завалившим его любовными посланиями, а Рушан, задумавшись, стоял у колонны, не решаясь пригласить на танец Тамару, почему-то державшуюся сегодня особенно надменно. Объявили «белый танец», и Рушана пригласила Светлана Резникова, которую между собой ребята звали



«Леди». Светланка — острая на язык очаровательная девушка из известной в городе семьи — нравилась многим и знала об этом.

Рушан, давно не видевший девушку, поздравил ее с наступающим Новым годом и мимоходом поинтересовался:

— А где же Славик?

Он знал, что у нее был давний и прочный «роман» с парнем, учившимся в мединституте. Светланка, положив ему обе руки на плечи — прежние танцы позволяли это — сказала весело и без всякого сожаления:

— А он бросил меня...

— Тебя, прекрасная Леди? В это трудно поверить, — подлаживаясь под ее озорной тон, сказал Рушан.

— Да, такой вот он ветреник, — шутливо вздохнула Светлана. — Но, как мне кажется, сегодня мы — прекрасная пара. Ты не нужен Давыдычевой, я — Мещерякову, двое отверженных. Ну как, гроза чемпионов бокса, закрутим любовь? — Она глядела на него, улыбаясь, и теснее сжимала пальцы рук у шеи.

Близость девушки, жар ее рук, аромат духов кружили Рушану голову. Видя, что Дасаев не понимает, в шутку или всерьез она говорит, Светланка глазами показала на вальсирующую у елки пару: Славик увлеченно танцевал с ее давней соперницей — Верочкой Осадчей. Как только кончился танец, Света взяла Рушана под руку и, отойдя к колонне, осталась рядом с ним. Глядя нежно, как не смотрела до сих пор на него ни одна девушка, она поправила Рушану галстук-бабочку и с обворожительной улыбкой, от которой он терялся, решительно заявила:

— Хочешь не хочешь, Дасаев, я беру тебя сегодня в плен. Уходя на вечер, я слышала по радио призыв: обиженные в любви — объединяйтесь!

Дасаев, не понимая, разыгрывают его или это всерьез, смущенно улыбался. Выручил объявившийся рядом Жорик — Светлана, оказывается, откуда-то узнала об их дальнейших планах на вечер, и вдруг объявила оторопевшему Стаину:

— Жорик, на Рушана не рассчитывай, он сегодня мой. Я решила его украсть. Могу я позволить себе в качестве новогоднего подарка обаятельного чемпиона по боксу?



И тут Рушан почувствовал, что Светланка не шутит. Стаин с удивлением глядел на нее, хотя знал, что своенравная Резникова под настроение могла учудить и не такое, и ей все прощалось. «Она знает свое место в обществе», — не однажды высокопарно говорил Жорик, и не зря: когда-то он безуспешно пытался за ней ухаживать.

— А не боишься? Славик в гневе бывает крут, — видимо, дразня Резникову, обронил Жорик.

— Не боюсь. Рушан Давыдычеву оберегал и не от таких, как Мещеряков, — ответила Светланка и демонстративно прижалась к Дасаеву.

— Ну, тогда я пошел, у меня тоже сердечные проблемы. Желаю приятной встречи Нового года. — Стаин, слегка приобняв Рушана, добавил: — Помни, Татарка своих в обиду не дает, — видимо, он имел в виду, что Славик жил на Курмыше, где обитала такая же оторва, как и на Татарке.

Новогодний бал набирал силу, становился все шумнее, ребята — раскованнее, сбивались последние компании, чтобы встретить полуночный бой курантов у кого-нибудь дома. Конечно, неожиданно образовавшаяся пара Резникова — Дасаев не осталась без внимания, но в тот вечер вряд ли кто всерьез воспринял их отношения, всем казалось, что Резникова просто дразнит Славика, а Рушан с удовольствием ей подыгрывает.

За окнами падал снег, медленно вращалась наряженная елка, в зале заметно поредело. Время неумолимо двигалось к полуночи, и властная Светланка, весь вечер не отпускавшая Рушана ни на шаг, скомандовала:

— Идем, пора и нам отметить Новый год и начало нашего романа, — и потянула его к лестнице, ведущей в раздевалку.

Рушан предполагал, что Светланка пригласит его в какую-то компанию — ей, как и Стаину, везде были бы рады, — но она, как давно решенное, вдруг объявила:

— Ну, теперь идем к нам, нас ждет накрытый стол... — Видя удивление на лице Рушана, с улыбкой пояснила: — Да-да, накрытый стол. Я была уверена, что буду отмечать Новый год с тобой, ты моя сознательная и давно избранная жертва. Не жалеешь? — И, наслаждаясь его смущением, добавила: — А чтобы тебя не мучили угрызения совести или сожаление, скажу — я точно знаю: в новогодних планах Давыдычевой тебе места



нет. Она на днях мне звонила, и мы с ней целый час болтали. Правда, я ей не сказала о ссоре со Славиком, но что мне надо — выведала. Представляю, как она сейчас бесится, — тебя ведь еще никто не уводил. Но жизнь — борьба, как нас учат в школе. Ты не осуждаешь меня, Рушан? — и, обхватив его голову ладонями прохладных рук, одарила его жарким поцелуем, от которого у него перехватило дыхание...

Резниковы жили в десяти минутах ходьбы от школы, и они, свернув с Карла Либкнехта на Орджоникидзе, поспешили вниз к вокзалу, где напротив «Железки» высился приметный особняк за высоким глухим забором. Стояла поистине новогодняя ночь — с легким морозцем, мягко падавшим снегом, и Светланка всю дорогу озоровала: сталкивала его в сугробы, бросалась снежками, пыталась слепить снежную бабу. Целовались почти у каждого дерева, и Рушану всякий раз приходилось опускаться в снег ее завернутые в газетку лаковые «шпильки». На катке во дворе «Железки» горела огнями наряженная елка, а стайки подростков в ярких спортивных костюмах мирно катались возле нее на коньках; для этой картины явно не хватало музыки, но их радостный смех, визг, ошалелые от предчувствия близящегося праздника возгласы слышались издалека...

Эту давнюю прогулку в новогоднюю ночь Рушан прокручивал в памяти потом сотни раз, припоминая все новые и новые детали. Говорят, что иногда прожитые годы проносятся перед человеком в считанные минуты, — может, и так, но Рушану со временем та пятнадцатиминутная дорога представляется прогулкой длиною в жизнь.

Он шел как в бреду, иногда невпопад отвечал Светланке, не до конца осознавая, что все эти ласковые слова, жаркие поцелуи адресованы ему. Он никогда не думал, что от этого может так кружиться голова, биться сердце, порою ему казалось: не сон ли это? Надменная Светланка, недоступная Леди, о которой грезили многие — рядом с ним...

Она своим ключом открыла дверь и пригласила в дом. В прихожей, заметив его растерянность и то, как он замешкался у порога, ободряюще сказала:

— Мы одни. Родители в гостях, вернутся утром, семейная традиция — встречать Новый год у деда. Проходи, — и распахнула застекленную дверь в зал. За спиной щелкнул



выключатель, и перед ним вспыхнула тяжелая люстра под высоким потолком, прямо над наряженной елкой. Казалось, тысячи хрустальных солнц струили на нее с потолка осколки своих лучей — волшебное ощущение, которое он испытал в первый миг, надолго врезалось ему в память.

Удивительно, как в считанные минуты Рушан разглядел весь зал с тяжелыми, на восточный манер, коврами на стенах, громоздкими напольными часами в корпусе из потемневшего красного дерева, чей неслышный ход, наверное, долгие годы определял ритм этого дома, книжными шкафами, блестящими золотыми корешками незнакомых ему редких книг, сервантом между окон, где в хрустальных бокалах, фужерах отражались огни люстры, легкие елочные игрушки и матово поблескивало тусклое серебро чайного сервиза.

Чуть поодаль, за елкой, на белой крахмальной скатерти — сервированный стол, заставленный салатами, закусками, но Рушану прежде всего бросились в глаза две высокие вазы: одна с крупными золотистыми мандаринами, другая с красным алма-атинским апортом, — с тех пор Новый год ассоциируется у него с запахом яблок.

Рушан уже четыре года обитал в комнате на восемь человек общежития на Деповской и бывал в городе только в доме на Почтовой, 72, где жил его друг Роберт. В те минуты он ощутил уют, тепло и надежность дома Светланки и был рад, что не ошибся, представляя ее жизнь именно такой, что она, как редкий и нежный цветок, росла в любви и заботе. В ту пору считалось хорошим тоном бывать в доме у девушки, с которой встречался, — старые милые традиции их провинциального городка, и Рушан понимал, что настал его час. В особняк на улице 1905 года его никогда не приглашали, и в ту ночь все навалилось на него неожиданно, стремительно, поистине — новогодний сюрприз.

Не успел он осмотреться, обвыкнуться, как Светлана вдруг сказала:

— Простор зала и этот огромный стол просто гнетут меня. Ты не возражаешь, если мы переберемся в мою комнату?..

Рушан, до сих пор ничего не понимая, словно в прострации, лишь кивнул головой и привстал с кресла.

Ее комната, довольно-таки большая, с окном во двор, оказалась смежной с залом, и в приоткрытую дверь хорошо виделась



в темноте светившаяся мерцавшими гирляндами наряженная елка. Между книжными шкапами, занимавшими стену напротив окна, располагался уютный уголок с двумя глубокими кожаными креслами и низким столиком, обтянутым зеленым сукном. У изголовья одного из старинных кресел склонился стеклянный абажур диковинного бронзового торшера. Рушан вмиг представил Светланку забравшейся с ногами в просторное кресло, с книжкой в руках, и даже укутанной тяжелым шотландским пледом, которым была покрыта ее низкая деревянная кровать.

Но что-то инстинктивно насторожило Рушана. Подняв тревожный взгляд от ее ложа с двумя туго взбитыми подушками, он сразу увидел на стене приколотую кнопками большую фотографию улыбающегося Мещерякова. Он так растерялся, что не мог отвести от фотографии взгляда, и Светланка, вошедшая в эту минуту в комнату со скатертью в руках, застала его в замешательстве.

— Это маман, ее происки. Где-то откопала любимого Славика. Видимо, решила новогодний сюрприз мне устроить, — прокомментировала она и, тут же сорвав фотографию, разорвала ее на клочки. — Потом, взяв Рушана за плечи, в своей лукавой манере сказала: — Жаль, у тебя нет подходящего фотопортрета, а то я бы организовала ответный сюрприз.

Она умела разрядить любую грозовую атмосферу, и Рушан ни на минуту не усомнился, что все так и есть на самом деле — Леди отличалась искренней прямоотой, и в этом было ее очарование. Они часто общались, хорошо знали друг друга, возможно, и сегодняшний выбор Светланки скорее всего не был минутным капризом.

Высокие напольные часы известили глухим боем, что до Нового года осталось лишь четверть часа, и Светланка попросила его помочь. Вдвоем они быстро перенесли закуски и фрукты с праздничного стола в зале в ее комнату, без пяти двенадцать она зажгла на столе свечи в тяжелом, под стать торшеру, бронзовом подсвечнике и, показав глазами на шампанское, волнуясь, сказала:

— Вот так я задумала неделю назад, и рада, что моя мечта сбылась. С Новым годом, Рушан!

Они соединили бокалы, и звон хрусталя слился с боем часов в темном зале...



XVIII

Та новогодняя ночь и дорога к дому Резниковой воспринимается через годы как огромная и важная часть его жизни. Но в воспоминаниях Рушану ни разу не удалось пробыть с ней весь этот вечер от порога до порога, хотя он помнит, что находился там шесть часов. И все равно, чтобы описать эту встречу, понадобится целый роман, и ни в какой телесериал она не уложится, ибо через годы всплывают вдруг в памяти забытые слова, оттенки и краски, жесты и взгляды, шумы и шорохи, запахи и мелодии той ночи. Однако заставь его кто-нибудь однажды записать хронологию новогодней ночи в доме Резниковой, он бы не смог. Но почему? Если помнил все до мельчайших подробностей, если пронес это волшебное свидание через всю жизнь? Это и есть та тайна, магия любви, которая не всякому открывается, не открылась и Рушану, хотя ему дано было почувствовать волшебное дыхание любви. Кто-нибудь черствый, наверное, сказал бы: вкусил — и отравился. Пусть так. Или не так. Или совсем не так...

Как-то давно в одной компании зашел разговор о любви, в котором он не принимал участия. Но когда возвращались домой, товарищ, видимо, не остывший от горячего спора, полюбопытствовал:

— А как выглядела твоя первая любовь?

Рушан, миг вспомнив девушку с улицы 1905 года, ответил без раздумий:

— Красивая. Очень красивая.

— Это не ответ, слишком обще, — рассмеялся приятель. — Какие у нее были ноги, грудь, талия?

Видя, что Рушан надолго замолк, товарищ решил, что Дасаев обиделся, но он не отвечал по другой причине.

Рушан просто не мог сказать, какие у нее ноги или грудь, он никогда не думал об этом. Правда, он помнил ее глаза — большие, карие, с влажной поволокой; мог еще сказать о трогательной родинке на правой щеке чуть выше уголка хорошо очерченного рта; мог долго рассказывать, как она смеялась, каким задумчивым бывал ее взгляд, как хмурила брови, как загадочно улыбалась. Но ноги, грудь...



Нет, этого он не мог вспомнить, как не мог воспроизвести в памяти целиком и тот вечер в особняке напротив «Железки» — это тоже было из области таинств любви.

Каждый ждет от Нового года удач, радости, исполнения давних желаний, тем более на пороге взрослой жизни — Рушан получал в тот год диплом, Светлана — аттестат. И так случилось, что в преддверии этого единственного праздника, в котором есть привкус волшебства и с которым люди связывают надежды, они оба оказались, по выражению самой Светланки, «отверженными». Да, так случилось, как это ни странно, хотя знакомства, дружбы и с Рушаном, и со Светланкой искали многие. Нет, не был случаен в тот день выбор Резниковой, и не нашлось бы парня, отказавшегося провести новогодний вечер с Леди, попасть в ее очаровательный плен.

Возможно, одного не учла Резникова — Дасаев, безнадежно влюбленный в недоступную Давыдычеву, никогда не слышал таких волнующих слов, не ощущал на себе нежные взгляды, никогда еще не смущался по-девичьи от ласковых и горячих рук, не задыхался от сладких губ.

А уж самому Дасаеву и на миг не могло прийти в голову, что эти слова, поцелуи, объятия, долго вызревавшие в душе девушки, предназначались совсем не ему, а иному, да хранить их было трудно. Разрывалось от тоски и одиночества девичье сердце в праздник, суливший другим счастье и любовь, а тут подвернулся Рушан — знакомый, печальный, одинокий. Наверняка «роман» с ним сразу вызовет разговоры, и ее перестанут жалеть... Может, было и не совсем так, но теперь Рушан думал, что именно это толкнуло Резникову к нему.

Скорее всего, слова, жесты и поцелуи Светланки можно было сравнить с криком в горах после долгого и обильного снегопада, или ударом кочерги о летку кипящего мартена — в обоих случаях рождалась лавина — снега или брызжущего огнем горячего металла, удержать которую никому не удавалось. Подобное произошло и с Рушаном: копившиеся в его душе годами страсть, нежность, любовь, не имевшие выхода, тоже прорвало в ту ночь, и Светлана, сама раненная в сердце, услышала то, что жаждала услышать ее изболевшая душа. Проще — встретились два сердца, открытых для любви.



Они были пьяны не от бутылки шампанского, которую, кажется, и не опорожнили до конца, их пьянила нежность слов, искренность взглядов, жестов, чистота помыслов, неожиданно открывшееся родство душ. Наверное, способствовала этому и музыка. В ту новогоднюю ночь в комнате, освещенной лишь жарко оплывавшими свечами, звучала разная музыка, но чаще минорная, она больше соответствовала настроению — их любимый Элвис Пресли в тот вечер не понадобился.

Запомнилась и главная мелодия ночи: как и вся та зима, она прошла под знаком рано ушедшего из жизни легендарного Батыра Закирова с его знаменитым «Арабским танго». Под щемящую грусть танго они танцевали в зале у светящейся елки, и казалось, сама богиня любви Афродита одарила их улыбкой, и не было, наверное, в ту ночь более счастливых влюбленных, чем они...

Все способствовало тому, чтобы их отношения развивались стремительно, по нарастающей, и обстановка праздника окружала их долго, как по специальному сценарию. Начинались школьные каникулы, а это значит — две недели подряд новогодние балы в «Железке», ОДК, «Большевике» под джаз-оркестр братьев Лариных, в каждой школе. Они жили в атмосфере праздника, музыки, веселья почти весь январь, потому что выпали еще и три-четыре дня рождения, на которые их пригласили, дважды они были званы и на вечеринки к Стаину.

Они виделись каждый день и проводили по многу часов вместе. Иногда в общежитии раздавался звонок, и Светлана говорила с волнением в голосе: «Приходи, я соскучилась». Отодвинув дипломную работу в сторону, Рушан спешил в особняк за зеленым дощатым забором. Кстати, первый в жизни номер телефона, который он выучил наизусть — именно Резниковой, он помнит его до сих пор: 3—32.

В ту пору многое для него открывалось впервые. В начале февраля в их город впервые приехал на гастроли Государственный эстрадный оркестр Азербайджана под управлением Рауфа Гаджиева. Красочные яркие афиши, фотографии оркестра, певцов, танцовщиков, известного в ту пору конферансье Льва Шимелова, самого композитора Гаджиева украшали людные места города, не избалованного вниманием артистов. Казалось, на концерт не попасть, но выручил Роберт — достал для него



билеты, да еще на первый ряд, а уж сам он ходил туда каждый день, перезнакомился со всеми музыкантами.

Сегодня, хочет он того или нет, «роман» с Резниковой предстает в воспоминаниях как сплошной праздник — так вышло, так случилось. Разве не праздник, что они сидят в первом ряду концертного зала ОДК, а перед ними на эстраде в четыре яруса, полукругом, восседает чуть не до самого потолка огромный оркестр? Продуманное освещение, мерцающие в темноте люстры, серебро труб, черные фраки и ослепительные парчовые жилеты оркестрантов, золотые зевы саксофонов, а на самой верхотуре — блеск меди и перламутровых огненных боков барабанов ударника. Тяжелый занавес, меняющийся в каждом отделении, хорошо подобранные задники, появляющиеся с каждым новым исполнителем, настоящие театральные декорации в концертной программе — то, к чему пришли звезды мировой эстрады сегодня, начиналось именно тогда.

Фантастика? При нынешнем упрощении всего и вся, пожалуй, да. Оркестр Рауфа Гаджиева и еще несколько коллективов, о которых Рушан узнал позже — например, оркестр Орбеляна из Армении, Гобискери из Тбилиси, Лундстрема из Москвы, Вайнштейна из Ленинграда, любой из джазов Кролла вряд ли уступали в мастерстве столь обласканным артистам Поля Мориа.

Это было так давно, что еще не существовало знаменитого вокального квартета «Гайя», распавшегося уже много лет назад, а Теймур Мирзоев, Рауф Бабаев, Левка Елисаветский, Ариф Гаджиев просто пели вместе, и в ту пору Лева, наверное, не помышлял, что когда-то покинет воспеваемый им в песнях любимый Баку. А кто теперь помнит лирический тенор Октягаева, ведущего певца и любимца оркестра?

Но Рушану не забыть, как тогда Михаил Винницкий, подойдя к краю рампы и чуть склонившись в зал, глядя прямо на Светланку, повторил рефрен грустной песни: «Придешь ли ты?», а она инстинктивно прижалась к Рушану, наверное, девушку волновало, что именно ее, единственную в партере, выделил певец...

Так катилась последняя студенческая зима Дасаева, и он наконец-то был счастлив. В марте начиналась двухнедельная преддипломная практика, и он еще с лета знал, что проведет



ее дома, в Мартуке. Впрочем, в город он должен был вернуться через неделю — в составе сборной Казахской железной дороги по боксу отправлялся в Москву на первенство «Локомотива».

Уезжая, он договорился, что Светланка каждый день будет выносить к вечернему поезду письмо — тогда в каждом пассажирском составе имелся почтовый вагон, и самые нетерпеливые пользовались им.

Помнится ему влажный март, капель, оседающие на глазах сугробы, и он, стерегущий на улице почтальоншу. Еще издали завидев ее, он бежал навстречу, чтобы хоть на минуту раньше получить долгожданное письмо. Но, увы...

*Как рассказать минувшую весну,
Забывшую, далекую, иную,
Твое лицо, прильнувшее к окну,
И жизнь свою, и молодость былую?*

*Как та весна, которой не вернуть...
Коричневые, голые деревья,
И полых вод особенная муть,
И радость птиц, меняющих кочевья.*

*Весенний холод. Сырость. Облака.
И ком земли, из-под копыт летящий.
И этот темный глаз коренника,
Испуганный, и влажный, и косящий.*

*О, помню, помню!.. Рывкнул паровоз,
Запахло мятой, копотью и дымом.
Тем запахом, волнующим до слез,
Единственным, родным, неповторимым.*

А он, как условились, исправно бежал к ночному поезду. Бросив письмо в щель сонного почтового вагона, смотрел, как паровоз сыпал искры в морозную ночь, в темноту стылого неба.

Ночь, пустынный перрон, безлюдные улицы, светящиеся окна медленно отходящего скорого... О чем он только не думал в эти поздние часы!



Накануне возвращения в город на сборы он уже по привычке дожидался почтальоншу, и она, увидев его издали, махнула белым конвертиком. Как он помчался навстречу! Долгожданный конверт вблизи оказался бланком телеграммы — «Локомотив» срочно требовал его под свои знамена, отъезд намечался на три дня раньше.

Наверное, хорошо, что до отбытия в Москву в городе у него оказалось несколько часов — из разговора со Светланкой по телефону он узнал, что она все-таки собралась замуж за Мещерякова. Внезапно начавшийся «роман» так же неожиданно оборвался...

Сегодня Дасаеву хотелось бы запоздало принести многим людям извинения за нечаянно нанесенные обиды, попросить прощения и у тех ребят, с которыми встречался на ринге на том первенстве «Локомотива», где стал чемпионом. За две недели во Дворце спорта железнодорожников он заработал злую кличку Лютый, к счастью, тихо умершую в Москве. Не мог же он тогда объяснить каждому, что у него душа болит... Жаль, если у кого-то осталось впечатление, что он был патологически жесток.

Вернулись домой они уже в апреле, когда в их краях царила весна и ожил «Бродвей», на котором Жорик Стаин ежедневно прогуливался с отцом Никанором.

В городе были наслышаны об успехе земляков на первенстве «Локомотива», и то, как оборвался «роман» Рушана с Резниковой, осталось незамеченным, отодвинулось на второй план. Никто не выражал ему сочувствия, скорее всего, его знакомые воспринимали этот «роман», как каприз Резниковой или женскую уловку, чтобы вернуть ветреного Мещерякова. А может, потому, что отношения Светланки с будущим врачом давно воспринимались всерьез, равно как и дружба Рушана с Давыдычевой. В общем, всем казалось, что ничего не произошло, хотя его сердце, почувствовавшее дыхание любви, щемило от боли; с юношеским максимализмом он ощущал себя еще и предателем по отношению к Тамаре. В общем, Рушан запутался вконец, и однажды по пути в общежитие, задумавшись, вновь оказался у окон дома на улице 1905 года...

Нигде в мире, наверное, не было такого отсчета времени: «пятилетку — за три года», «год — за два». Хотя в первом



случае термин из идеологического ряда, во втором — из уголовного, для советского человека суть ясна. Нечто подобное происходило в ту весну с Рушаном и его друзьями: они жили такой насыщенной жизнью с ежедневными открытиями, что можно было иной день зачесть за месяц, а то и за год. Они открывали мир, себя, и все в ту пору случалось впервые.

Тамару, учившуюся классом младше, чем Светланка, неожиданно стали видеть в компании с одноклассником Резниковой Наилем Сафиним. Наиль — тихий, болезненный домашний мальчик, вдруг стал провожать Тамару из школы, о чем тут же доложили Рушану. Но теперь, после «романа» с Резниковой, он считал себя не вправе вмешиваться, как делал это до сих пор, да и Наиля всерьез принимать было смешно, тут, наверное, как и в его случае с Резниковой, была какая-то уловка.

События разворачивались с калейдоскопической быстротой, одно Рушан успел заметить — Светланка очень умело избегала компаний, где он мог появиться, да и Дасаев почему-то боялся встречи. Настроение было паршивое, не до гулянок, и он усиленно занимался дипломом и готовился к первенству города по боксу, финал которого, по традиции, много лет подряд приурочивался ко дню открытия парка.

Не было соревнования, которое так жаждали выиграть местные боксеры, как это. Можно было стать чемпионом любого знаменитого спортивного общества, будь то «Спартак» или «Динамо», призером республики или даже страны, но город признавал только своих чемпионов. Победители становились кумирами на все долгое лето, а администрация парка вручала каждому выигравшему жетон, дававший право бесплатного входа на танцы на весь сезон. Для них оркестр мог повторить полюбившуюся мелодию, а строгие вахтеры дружелюбно улыбались, когда обладатель жетона, пропуская подружку вперед, смущаясь, говорил: «Эта девушка — со мной» ...

XIX

В ту весну случилось много всяких событий — радостных и грустных, нужных и ненужных. Однажды среди бела дня Рушану пришлось ввязаться в драку, и произошло это в центре



города, в тот момент, когда прямо на них вышли Тамара с Наилем. Говорят, оцепенев от страха, она вымолвила Сафину: «И этот бандит еще пытался за мной ухаживать...»

Рушан потом долго старался не попадаться ей на глаза, хотя не чувствовал своей вины — он не мог поступить иначе. И все же...

В ту весну Пасха выпала на конец апреля. А за год до этого в приход назначили нового батюшку, оказавшегося, не в пример своему предшественнику, не только молодым и красивым, но и деятельным — приход в городе ожил, и впервые религиозный праздник отмечался столь широко. В праздничное воскресенье Рушан зашел в библиотеку в «Железке», а потом собирался подняться вверх по Орджоникидзе на «Бродвей». Тут-то и подвернулись ему на улице братья Дроголовы, или, как их называли, «дроголята» — отчаянная шпана с «Москвы», где он жил в общежитии. Разумеется, они друг друга хорошо знали.

«Дроголята» уже с утра «христосовались» с друзьями и знакомыми и пребывали в добром настроении. Узнав, куда направляется Рушан, они тоже решили прошвырнуться по «Бродвею» — праздник все-таки!

Двое старших «дроголят», не раз сидевшие, их Рушан встречал в доме Гумеровых и часто видел в летнем ресторане за одним столом с Шамилом и Исмаилом, были широко известны в городе. И младшие «дроголята», выросшие под ореолом «знаменитых» братьев, знали свое положение и пуще всего берегли «репутацию», говоря на жаргоне — не бакланили по пустякам.

Обсуждая вчерашний футбольный матч, где Стаин забил «Локомотиву» три безответных мяча, отчего Татарку лихорадило всю ночь, они поднимались вверх по Орджоникидзе, мимо тех деревьев, у которых в новогоднюю ночь Рушан целовался со Светланкой. Дасаев издали заметил, что навстречу им спускаются вниз к вокзалу четверо рослых парней постарше их. По шумному разговору, жестикуляции, громкому смеху было ясно, что они уже «разговелись», отметили Пасху.

Узкий тротуар не позволял разминуться, если не уступить друг другу дорогу, но, кроме Рушана, ни с той, ни с другой стороны никто и не подумал сделать такую попытку, больше того, кто-то случайно или намеренно зацепил плечом одного



из Дроговых. Увидев сверкнувшие злым блеском глаза «дро-голенка», толкнувший презрительно процедил сквозь зубы:

— Что, козел, устался? Не можешь старшему дорогу уступить?

Скажи он что угодно, но не это обидное в блатном мире слово «козел», возможно, обошлось бы без стычки. Но подобное никто не мог оставить безнаказанно. Видимо, пыта-ясь замять назревавший скандал, Дроголов на всякий случай попросил:

— Повтори, я не расслышал...

Толкнувший, чувствуя явную поддержку подвыпивших дружков, повторил, нажимая на слово «козел», и не толь-ко второму брату Дроголову, но и Рушану стало ясно, что оскорбительный ответ был как сигнал боевой трубы: такого унижения, да еще прилюдного, «дроголята» снести не могли.

И вот в ту минуту, когда они, не сговариваясь, кинулись на обидчиков, появилась на углу Тамара с Наилем...

Драка с тротуара переместилась на дорогу, и здоровенные парни, имевшие численный перевес, уверенные, что вмиг про-учат зарвавшихся мальчишек, были позорно и жестоко биты. Все произошло стремительно, в несколько минут. У одного из «дроголят» оказался неприметный легкий плексигласовый кастет, после удара которым, никто не мог устоять на ногах.

Собравшиеся на тротуаре и перекрестке зеваки вряд ли за-метили тонкую полоску кастета, но Рушан сразу понял, откуда такой страшной силы удар.

Кто-то, явно им симпатизировавший, вовремя крикнул: «Ата! Милиция!» — и они исчезли в соседнем дворе.

Во время драки Рушан видел испуганное лицо Тамары, а на него наседали парень крепкого сложения, и ему никак не уда-валось отправить его в нокаун, хотя он раз за разом сбивал его с ног. Дасаев избегал ближнего боя, где был силен, — не хотел накануне праздника заработать синяк.

В тот день он высоко поднялся в глазах шпаны с «Москвы», настороженно относившейся к Рушану, ведь он всегда дер-жался ближе к ребятам с Татарки, и не только из-за род-ства с Исмаил-беком и дружбы со Стаиным. Романтика блат-ной жизни его не привлекала, а расположение Исмаила или дружба с Дроговыми для него не стоили и одной улыбки



Давыдычевой. Он понимал, что окончательно упал в ее глазах: о том, что она говорила о нем как о «бандите», доложили ему в тот же вечер...

Иногда приходила в голову шальная мысль, которой он, к счастью, ни с кем не поделился: пойти «разобраться» с Мещеряковым, который «увел» Светланку, пригрозить Сафину, чтобы навек забыл дорогу на улицу 1905 года... Но душа, открытая любви, выросла, умнела, прозревала и не хотела ни с кем конфликтов.

Вот и с Мещеряковым... Рушан понимал, что посягнул на чужое. «Дети сталинской поры» еще помнили библейские заветы: не убий, не укради, вложенные в душу бабушками и дедушками, — не включенный еще в Программу КПСС моральный кодекс жил в крови...

То же самое и с Наилем. Не будь «романа» с Резниковой, он, возможно, и мог его поколотить и пригрозить, хотя молодым умом уже начинал понимать, что насильно мил не будешь.

Вообще, Рушан чувствовал какой-то внутренний надлом, весеннюю опустошенность и даже иногда радовался, что через два с небольшим месяца покинет город, где не сбылись его сердечные мечты, надеялся на новом месте начать все сначала. «С глаз долой — из сердца вон», — приказал он себе и с головой окунулся в проекты, хотя учился он легко и сроки дипломной работы, на его взгляд, были непомерно растянуты.

Та весна вообще изобиловала странностями. Если ему решительно не везло в любви, и он никак не мог разобраться в делах сердечных, то неожиданно многое открылось в боксе, где он и без того был без пяти минут мастером спорта.

Отправной точкой послужила драка на улице в Пасху. Отвлекая на себя одного из противников, он успевал помогать младшему «дрогоценку» — тому приходилось туго. Сбивая с ног своего соперника, Рушан умудрялся наносить и чужому короткий и резкий удар, отчего тот тоже валился на колени, однако упрямо поднимался и снова лез вперед. Ребята попались крепкие, но в состоянии опьянения они не были страшны. Хотя все происходило молниеносно, Рушан с холодной расчетливостью сдерживал свой удар — боялся выбить костяшки пальцев. Раньше такое опасение ему бы и в голову не пришло, азарт подавлял разум. Но и это не все: он легко держал



в поле зрения обоих противников, и уж совсем невыносимое — почти все время видел испуганное лицо Тамары, стоявшей на перекрестке. Обладая и силой, и техникой, и характером, он вдруг почувствовал, что ему открылось главное в боксе: пришли уверенность, хладнокровие и расчет, а зрение сделалось объемным, как в голографии, — он видел все как бы насквозь и упреждал хитроумно задуманную атаку. Это он понял на первых же тренировках по первенству города..

Неожиданная уверенность, пришедшая к нему в квадрате ринга, дала душе необходимое равновесие, он обрел так необходимое перед боями спокойствие. А ведь еще в то пасхальное утро во дворе «Железки» напротив дома Резниковых он боялся повернуть голову в сторону глухого зеленого забора в переулке — так ныло от тоски сердце.

Его перевоплощение на ринге, новая раскованная манера боя, в которой сквозил не бесшабашный азарт, а расчет, были замечены сразу, но связали это с пришедшим на первенстве «Локомотива» опытом: в столице, мол, пообщался с мастерами, пришла пора зрелости. Рушан в объяснения не пускался, хотя только ему было ведомо, с чем это связано на самом деле. Правда, в те дни с досадой признался себе: жаль, что за четыре года я преуспел только на ринге.

Да, только на ринге он чувствовал себя хозяином судьбы, мог диктовать волю, навязывать свою манеру. Это не слишком радовало Рушана — он не хотел связывать жизнь со спортом, хотя уже появились заманчивые предложения..

А в те дни весь город с нетерпением ждал соревнований на призы парка, особенно в легком весе: там собралось наибольшее число претендентов — лихих парней в ту пору хватало, а сборная страны тогда на четверть состояла из жителей Казахстана, где бокс на долгие годы оказался спортом номер один.

Самому Рушану казалось, что он исчерпал себя в этом городе, и жизнь в нем уже шла мимо него. Он не спеша снялся с военного учета, сдал книги и числившийся за ним спортивный инвентарь. Оставалось лишь два дела, которые не могли пройти без его участия: защита диплома и первенство города по боксу, о котором только и говорили на «Бродвее».

Но судьбе было угодно, чтобы в оставшиеся два месяца произошли события, наполнившие жизнь Рушана новым светом,



и все дни с новогоднего бала с годами сольются в один и станут для него духовной опорой на всем жизненном пути. Теперь, через десятки лет, когда на всем стоит несмываемое тавро «проверено временем», он понимает: то забытое, представлявшееся случайным, временным, преходящим, оказывается, было дарованным свыше озарением любви, тем, ради чего рождаются на свет — любить и быть любимым.

Благословенное время, жаль, не понял тогда, что волшебная жар-птица была рядом, только поверни голову, протяни руку... А может, в недоступности жар-птицы и есть счастье любви?

Бои на призы парка, начавшиеся за неделю до его открытия, дались Рушану нелегко. Особенно первый, из-за которого собралось невероятное количество зрителей, потому что волею слепого жребия в нем сошлись главные претенденты на чемпионский титул в легком весе, Дасаев и Кружилин. В судейских протоколах тех лет эта пара часто значилась как финальная.

В конце первого раунда, когда до гонга оставалось несколько секунд, Рушан увидел, как среди болельщиков, занимавших ближайšie к рингу места, появились Тамара с Наилем. Он даже как бы мысленно раскланялся с ней, и в этот момент сильнейший боковой удар справа чуть не отправил его в нокаут, но спас гонг. Рушан мог бы поклясться, что видел в ту секунду, как его верные поклонники разом обернулись в сторону Тамары: они поняли, что произошло. Но в оставшихся двух раундах он таких оплошностей больше себе не позволял.

Болельщикам понравилась его новая манера ведения боя, оказавшаяся неожиданной для Кружилина. Куда подевался постоянно и нерасчетливо рвущийся в атаку, напористый, жесткий Дасаев? Вместо него по рингу легко, по-кошачьи вкрадчиво, передвигался боксер, скорее напоминавший фехтовальщика. Его удары оказывались молниеносными и точными и возникали из ничего, уследить за ними казалось невозможно, а каждая атака противника словно читалась, разгадывалась, упреждалась нырками, уклонами и мощными встречными. «Словно кошка с мышкой играла», — так прокомментировал Стаин первую победу Рушана.

Дасаев стал в ту весну не только чемпионом, обладателем заветного жетона, но и получил приз самого техничного боксера турнира. Говорят, что с него начался у них в городе



«красивый» бокс. Но то было его последнее выступление в Актюбинске.

После торжественной части с вручением грамот, жетонов и призов произошла незаметная сцена, вряд ли кому бросившаяся в глаза, но от нее, наверное, и следует вести отсчет еще одной влюбленности Дасаева.

Когда он спустился с высокой летней эстрады, где были натянуты канаты ринга, его обступили болельщики, знакомые и незнакомые, но ближе всех к нему оказались ребята и девушки из железнодорожной школы, для которых он был своим вдвойне, потому что представлял родной для них «Локомотив».

Да, местный патриотизм не был тогда пустым звуком. Нечто подобное в последние десятилетия наблюдается в Америке, но там патриотизм проявляется прежде всего по отношению к стране — нет дома, где в праздники не вывешивали бы государственный флаг США. Однако чувство патриотизма, наверное, начинается с такой вот любви к своим парням, выигравшим обыкновенное первенство города...

Когда Рушана обступили плотным кольцом, стоявшая ближе всех к нему Ниночка Новова, проведя вдруг нежными пальцами по кровоподтеку под глазом, который он заработал в финале, с трогательным участием спросила:

— Не больно?

Рушан улыбнулся в ответ и вдруг, не раздумывая, протянул ей свой приз — большую хрустальную вазу. В ту пору — видимо, по причине изобилия — победителей щедро одаривали изделиями из хрусталя, и только из знаменитого Гусь—Хрустального.

— А это мой личный приз самой очаровательной болельщице...

Кто-то предложил сфотографироваться вместе на память, и Ниночка, передав вазу Стаину, достала изящную пудреницу и припудрила налившийся синяк. Что скрывать, Рушану было очень приятно ее внимание... Сфотографироваться рядом с чемпионом пожелало так много друзей и знакомых, что фотограф стал рассаживать и расставлять их, а в центре оказались Рушан с Ниной. Пока шла суета — кого куда посадить или поставить, — Светлана, находившаяся рядом с Мещеряковым, улучив



момент, бросила ему веточку сирени, — опять же, кроме них, вряд ли кто увидел этот жест.

В парке уже вовсю гремел джаз-оркестр. Первый танцевальный вечер сезона начался, и большинство болельщиков перешли из летнего театра эстрады на танцевальную площадку. Ниночка, обнимая огромную вазу, сказала вдруг Рушану:

— Твой подарок напоминает мне троянского коня. Надеюсь, он сделан без умысла? Я ведь пробилась к тебе — жаль, ты не видел, как я толкалась, — чтобы хоть раз в жизни попасть на танцы по жетону для чемпионов, тем более в день открытия парка. Сегодня или никогда, — такая я, Дасаев, тщеславная..

В ту пору они изощрялись в какой-то иносказательно-шутливой манере, изъяснялись с заметным налетом высокопарности, в которой всегда присутствовал подтекст. Особый стиль разговора, — позже он никогда и нигде не встречал подобного..

— Почему ты решила, что ваза — помеха твоему желанию? Мы ее пристроим музыкантам, на всеобщее обозрение. А на танцы, моя неожиданная болельщица, я приглашаю тебя с удовольствием..

Нина улыбнулась и, опять же шутливо, добавила:

— Только при входе на танцы — а там сегодня такая огромная очередь, которая наверняка расступится перед тобой — скажи, пожалуйста, контролеру погромче: «Эта девушка — со мной».

Все вокруг понимающе засмеялись. Неделю назад в городе прошел фильм Феллини «Ночи Кабирии», ставший навсегда знаменитым. Там есть сцена, когда Джульетту Мазини у ресторана подбирает в свою роскошную машину с откинутым верхом некий известный актер, и она, захлебываясь от восторга, кричит товаркам: «Смотрите, смотрите, с кем я еду!» Запоминающийся момент, и Ниночка, переиначив удачную мизансцену, еще чуть-чуть приподняла успех всеобщего любимца.

После танцев, продолжая обсуждать финальные бои, они возвращались большой компанией в поселок железнодорожников, где на улице Красной жила и Ниночка Новова.

Круг знакомых Ниночки и Рушана составляли в общем-то одни и те же люди, «выдающиеся», по высокопарному определению Стаина, — кстати, это выражение имело широкое хождение в быту их провинциального города, — и они, конечно,



знали друг о друге все. Да и открытость была едва ли не самой характерной чертой того давнего времени.

Конечно, Ниночка знала, что Рушан безнадежно влюблен в Давыдычеву, слышала и о «романе» с Резниковой, с которой дружила с первого класса и состояла в давно сложившейся девичьей компании. И Рушану было известно о Ниночке немало: она, как и Стаин, грезилась Ленинградом, хотела непременно стать врачом. Слышал, что она безответно влюблена в Рената Кутуева, высокомерного мальчика из второй школы, признававшего только одну страсть — джаз, а точнее — саксофон. Поговаривали, что его даже приглашали играть в какой-то знаменитый оркестр.

Кокетливо-изящная насмешливая Новова, на которой задерживалось немало влюбленных юношеских взглядов, ни с кем до сих пор не встречалась, а на дворе меж тем стояла последняя школьная весна. Через месяц с небольшим Ниночка намеревалась отбыть на берега Невы, и, как ей казалось, навсегда.

Наверное, тот вечер в день открытия парка так и остался бы эпизодом, связанным с хрустальной вазой и трогательным вниманием Нововой, если бы на следующий день в общежитии не раздался телефонный звонок Стаина. Жорик передал приглашение Галочки Старченко из тринадцатой школы на день рождения и очень уговаривал не отказываться, уверял, что там соберется интересная компания.

Никаких планов на вечер, хотя и праздничный, первомайский, у Рушана не было, и он согласился. Он знал, что у Стаина был отменный нюх на подобные мероприятия. Что и говорить, Жорик умел развлекаться: вокруг него и крутилась молодежная «светская» жизнь их городка.

XX

Милые, трогательные дни рождения, сколько радости они доставляли и именинникам, и гостям! Сегодня, когда Рушан невольно сравнивает прошлое и настоящее, он понимает, как много в ту пору было счастливых семей, ведь туда, где нелады и раздоры, гостей не приглашают. Не составляла исключения и семья Старченко, где, окруженная любовью и вниманием,



росла еще одна прелестная девушка, — конечно же, из той самой категории «выдающихся».

Это понятие включало широчайший спектр качеств: от хорошей учебы, высоких спортивных результатов до неординарной манеры одеваться, острить, танцевать, — короче, иметь свое лицо. «Выдающиеся» были словно катализатор своего поколения, благодаря им сближалась молодежь, наводились мосты между школами. Не зря ведь во второй школе учился высокомерный, но одаренный Ренат Кутуев, в сорок четвертой — красавица и умница Давыдычева и самый известный поэт их города Валька Бучкин, а в сорок пятой — законодательнице юношеской моды и всех благих начинаний — лидировал Жорик Стаин, ее оканчивали Светланка Резникова и Ниночка Новова, а благодаря Старченко в ту весну прославилась и тринадцатая. Самому Рушану сейчас кажется, что он одновременно окончил обе железнодорожные школы — и сорок четвертую, и сорок пятую, — его симпатии, интересы тесно переплелись между ними.

Актюбинск той поры на три четверти состоял из собственных разностильных домов. Как шутил Стаин: «У нас город на английский манер, весь — из частных владений». В собственном доме за хлебозаводом жили и Старченко.

На удивление, встречал их сам отец Галочки, оказавшийся рьяным болельщиком, — он не пропускал ни одного матча «Спартака», за который играл Стаин, переживал вчера в парке за Дасаева, и очень обрадовался, когда узнал, что ребята сегодня будут у дочери на дне рождения.

Когда Рушан с Жориком появились в просторной комнате, уставленной столами в форме буквы «П», гости уже рассказывались. Хотя их отовсюду зазывали, обращались по имени, многие ребята не были знакомы ни Стаину, ни Дасаеву, — видимо, Галочка, пользуясь случаем, решила широко представить своих друзей и подруг из тринадцатой. И вдруг откуда-то сбоку раздался знакомый голос, и Рушан услышал свое имя. Оглянувшись, он увидел Ниночку Новову, показывавшую ему на пустующее место рядом с ней.

— Я этот стул приберегаю для тебя с той минуты, когда узнала, что ты зван к Галочке, — сказала, улыбаясь, Ниночка. — Ты вчера об этом и словом не обмолвился, считай, сюрприз не только для Старченко...



Говоря шутливо, она так нежно оглядывала Рушана, что ему невольно вспомнился новогодний бал, когда Резникова сказала у колонны: «Ты мой пленник, мы сегодня двое отверженных...»

Много позже в Москве, в Театре эстрады, он был на премьере программы Аркадия Райкина «Светофор-2», и там его поразила одна мизансцена, нетипичная для великого актера. На сцене в полумраке стоят, чередуясь, мужчина — женщина, мужчина — женщина, десять человек, но назвать их парами нельзя: хотя все они влюблены друг в друга, но влюблены невпопад — об этом говорят их письма, телефонные звонки, полные любви, нежности, страсти, мольбы, жертвенности. Казалось бы, переставь их местами, поменяй им телефоны, и все они будут счастливы, каждый из них открыт для любви, достоин ее, страдает, но в том-то и трагедия, что нет возможности изменить ситуацию, обстоятельства — и несчастливы все десять.

Тогда, в полутемном зале театра на Берсеневской набережной, ему припомнился давний день рождения Галочки Старченко, и тут же выстроился знакомый ряд: Наиль Сафин, влюбленный в Ниночку Новову, встречается с Тамарой Давыдычевой, а на Рушана, не добившегося благосклонности девочки с улицы 1905 года, затаенно глядит Ниночка. Казалось бы, поменяй их судьба местами — и все будет прекрасно, ведь Наиль не нужен Тамаре, как и он Нововой. Но в том-то и беда, что ничего и никого нельзя поменять местами — и в этом еще одна тайна любви или жизни, не поддающаяся разгадке...

Это теперь ему как будто все ясно, когда прошли годы и прожита жизнь, а тогда...

Какие замечательные тосты произносил вдохновенный Стаин! Казалось, никого не обошел вниманием: ни именинницу, ни прекрасную половину человечества, ни вчерашнюю победу Дасаева, ни Ниночку, проявившую «неподдельный» интерес к боксу, а особенно к чемпиону, — все тепло и мило, иронично и... высокопарно. Возможно, со стороны это выглядело манерно, но таков был стиль — им тогда хотелось какой-то иной жизни, подсмотренной в зарубежных кинофильмах, вычитанной в книгах.

Был теплый майский вечер, и проникавший через распахнутые настежь окна запах персидской сирени, цветущих яблонь,



казалось, пьянил и без вина. Но и вино, шампанское они пили, что скрывать. Наверное, в тот день за столом собрались только влюбленные, и аромат любви, ее жар, витали над столом, в зале, в спальне Галочки, куда уже украдкой кто-то скрывался на минутку-другую — сорвать давно обещанный поцелуй. Как горели глаза у юношей, как пылали щеки у девушек!

Наука доказала, что есть состояния, которые передаются всем. Тем состоянием в тот давний майский вечер могла быть только любовь, она околдовывала, обнадеживала даже тех, кого еще не коснулась своим крылом. Звучала разная музыка, от рок-н-ролла Элвиса Пресли до буги-вуги Джонни Холлидея, которая почему-то незаметно сменилась лирической мелодией, а после зазвучало танго. И вновь, как на Новый год, чаще других слышался грустный голос Батыра Закирова, его знаменитое «Арабское танго».

Как хорошо, что в зале давно выключили свет и Ниночка в эти минуты не видела глаз Рушана, хотя ощущала его волнение, ведь все было так недавно, а Батыр Закиров раз за разом напоминал ему об этом...

У Рушана так испортилось настроение, что в перерыве между танцами он предложил Стаину исчезнуть «по-английски». Но Жорик не отходил от некоей Зиночки, ставшей очередным его открытием того вечера. Для нее, как для Наташи Ростовской, это был первый выход в «свет», и вдруг такой успех — многие ребята с интересом посматривали на нее...

Однако, все же уловив подавленное настроение друга, Стаин сказал: «Уйдем, но через час, когда кончится поэтическая часть», — он слышал, что Бучкин собирается потрясти слушателей новыми стихами. Уже давно сложилась традиция, что на вечеринках читали стихи, и в компании были свои признанные поэты, а среди них блистал Валентин. Не возбранялось читать и чужое, но предпочтение отдавалось авторской лирике, и этого момента всегда с нетерпением ждали девушки, ведь порой в стихах звучали такие пылкие скрытые объяснения...

Удивительно благодатное было время для поэзии. Даже Стаин вряд ли мог тягаться по популярности с Бучкиным — слово, рифма имели волшебную силу. Валентин пришел в тот вечер к Старченко с Верочкой Фроловой, с которой дружил как-то шумно и нервно, хотя вряд ли кто пытался вклиниться



между ними. Бучкин называл Верочку своей Беатриче и не замечал восторженных девичьих взглядов, обращенных на него повсюду, где бывал, — ведь он писал такие стихи о любви...

В тот вечер Валентин выглядел грустным, но порадовать «новеньким» не отказался, когда хозяйка дома, вдруг выключив радиолу, объявила: «Час поэзии настал!» По традиции он начал читать стихи первым, и сквозь полумрак зала его задумчивый взгляд все время тянулся к Верочке, притулившейся у голландской печи и почему-то зябко кутавшейся в яркий цыганский платок.

Удивительные стихи лились как музыка, но на лице Верочки, освещенном заглядывавшей в распахнутое окошко луной, не читалось ни любви, ни радости, ни восхищения. Странной, нереальной казалась эта картина Дасаеву, ему хотелось крикнуть: вы же рядом, отчего печаль, почему такие грустные, до слез, строки?! Это для Рушана навсегда осталось тайной — с Валентином они никогда больше не виделись, не попадались ему в печати и стихи Бучкина, хотя он долгие годы по привычке искал в периодике его имя. В тот вечер Валентин был ему близок, как брат по несчастью — может, за стихи, может, за грустный взгляд, тянувшийся к девушке у остывшей печи.

«Мы все в эти годы любили, но мало любили нас...»

Ниночка, занявшая единственное в зале кресло, сидела в проеме входной двери, и свет из коридора хорошо высвечивал ее лицо. Время от времени она нервным движением поправляла волосы, словно отбрасывала их тяжесть от высокой шеи с тонкой ниткой жемчуга на ней. Как только Валентин начал читать, она вся подалась вперед, и, казалось, ничто не могло отвлечь ее внимания, — вся ее фигура, осанка излучали нежность, изящество, незащищенность. «Лебедь, — невольно пришло на ум сравнение. — Царевна Лебедь...»

Рушану доставляло удовольствие наблюдать за ней, но с каждым стихотворением все ниже и ниже опускались ее плечи, восторженный взгляд гас на глазах. В эти минуты Рушан почти физически, кожей, ощущал магическую силу слова, искусства. Ведь все, чем делился печальный поэт, было и ей знакомо, понятно, и называлось это — безответная любовь.



Когда Валентин заканчивал, она сидела, вжавшись в кресло, и Рушан видел ее побелевшие от напряжения пальцы рук, впившиеся в узкие подлокотники кресла. Хотелось подойти, прошептать ей что-нибудь ласковое, обнадежить, поцеловать в нежную шею. Если бы он мог сказать что-нибудь волнующее, как это умел Стаин, например: «Какая вы сегодня очаровательная, мадемуазель Новова», или: «Поделитесь секретами красоты и обаяния, восхитительная Нина, вы всегда несравненны» ... Но Рушан сказать так не мог, да и не умел, у него самого от печали увлажнились глаза, где уж тут приободрить другого, хотя в эти минуты он ощущал к Нововой невероятный прилив нежности, готов был на все, лишь бы с ее прекрасного лица исчезла пелена грусти.

Жорик, пристроившийся у стены за спиной Зиночки, время от времени наклоняясь к ней, что-то говорил ей на ушко, но она, сидевшая от Нины на расстоянии протянутой руки, вряд ли слышала жаркий шепот Стаина. Во все глаза смотрела она на самого известного во всех школах поэта, и, судя по всему, он ей нравился. Сердцеед Стаин пытался разрушить эти чары, но вряд ли даже Жорка мог тягаться здесь с поэтом.

Как только Валентин закончил и в зале возникло некоторое замешательство, раздались хлопки, возгласы одобрения, Стаин выскользнул в коридор и стал подавать Рушану знаки — не забыл, дескать, что они собирались потихоньку покинуть дом Старченко. Но тут произошло нечто такое, что Рушан не может осмыслить всю жизнь, даже сегодня, когда «отцвели его хризантемы», — это, наверное, тоже одно из таинств любви.

Когда совсем недавно, в марте, он ежедневно поджидал почтальоншу и бегал к ночному поезду отправить письмо Светланке, ему случайно попал в руки томик Лермонтова. Он, как и многие его сверстники в те годы, полюбил поэзию, полюбил на всю жизнь, и сегодня может сказать с уверенностью: «Любите поэзию, поистине, в ней убежище от многих невзгод. В поэзии, как в Коране, есть ответы на все вопросы жизни, только ищите своего поэта, свои стихи, они есть...» И не было случайным или удивительным, что, узнав о решении Светланки выйти замуж за Мещерякова, он невольно извлек из глубин памяти стихи:



*Такая долгая зима,
Такая долгая разлука.
До крыши занесены дома,
Пойди найди в снегах друг друга.*

*Но легче зиму повернуть
Назад по временному кругу,
Чем нам друг другу протянуть
Просящую прощенья руку.
Нарушь обычай, прибеги квартиру
И даже память вымети в сугроб...*

В конце томика на первой же наугад открытой странице оказался известный монолог Арбенина из «Маскарада»:

*Послушай, Нина, я смешон, конечно,
Тем, что люблю тебя безмерно, бесконечно,
Как только может человек любить...*

Эти строки как нельзя лучше отражали тогдашнее настроение Рушана, вот только имя «Светлана» не укладывалось в рифму, а так — словно по душевному заказу, точнее, будто его собственные строки. И эти стихи сами, без труда, отпечатались в памяти, он собирался прочитать их как-нибудь при встрече Резниковой, но все так неожиданно оборвалось, что, казалось, сердечные строки никогда больше не пригодятся. И вот...

Когда девушки, препираясь, начали выталкивать друг дружку читать стихи вслед за Валентином, Рушан подал знак Стаину и двинулся к двери, и вдруг у самого порога обернулся. Нина словно почувствовала, что он уходит, и подняла на него свои затуманенные глаза, которые словно вопрошали: «И ты меня оставляешь одну?» Рушану даже показалось, что она невольно протянула руку, словно хотела его удержать. И вдруг он театрально отступил назад и, обращаясь только к Нине, хорошо видной всем в освещенном проеме двери, стал читать знаменитые лермонтовские строки: «Послушай, Нина...»

Он был в странном состоянии — словно после тяжелого удара на ринге, когда автоматизм защитных движений спасает



от нокаута, но строка за строкой придавали ему уверенности, возвращали в реальность.

И снова, как на ринге, он видел неожиданно открывшимся объемным зрением все вокруг. Прежде всего Стаина, оцепеневшего, со смешно отвисшей челюстью, не понимающего, что происходит, — уж такого от молчальника Дасаева он никак не ожидал (потом Жорик часто будет воспроизводить эту сцену в лицах и интонациях).

Но мелькнувший на секунду Стаин не волновал Рушана, он видел чудо преобразования Нововой. Завороженная Ниночка оторвалась от спинки кресла и, словно лебедь, готовая взлететь, взмахнув прекрасными крылами, потянулась к нему взглядом, теплеющим лицом. В эти минуты для нее не существовало никого в целом мире, только они двое, хотя Ниночка наверняка чувствовала, что на них, затаив дыхание, смотрят все гости, понимая, что это кульминация, тот сюрприз, которого так ждут на любом поэтическом часе. Снова, как в начале вечера, она легким изящным жестом отбросила тяжелые темные волосы от матовой шеи, — и этот свободный, полный достоинства жест говорил: «Вот я какая! Мне читают такие стихи!»

Сегодня, спустя годы, Рушан не стал бы возражать, что это прозвучало как объяснение в любви к прекрасной Нововой, но тогда...

В лермонтовский монолог он вложил всю боль исстрадавшегося сердца, не познавшего ответной любви. Это было как бы его последнее «прощай» компании, с которой вот-вот предстояло расстаться навсегда. Возможно, он всего лишь хотел подчеркнуть, что они с Ниночкой одинаково несчастны, одиноки в этот чудный майский праздник в гостеприимном доме Старченко.

Но чувства сложно подвергать анализу, тем более такие спонтанные поступки. Он и сейчас не может толком объяснить, что с ним было, да и надо ли...

Слова, возникшие внезапно, так же неожиданно иссякли, и Рушан стоял, не смея сделать шаг ни к двери, где дожидался Стаин, ни назад, ни протянуть руку к Нине. Выручили ярко вспыхнувшая люстра под высоким потолком и неожиданные аплодисменты поднявшихся с мест гостей.



Больше читать стихи никто уже не решился. И вдруг, когда Ниночка, по-прежнему не замечая никого вокруг, поднялась ему навстречу, свет в зале снова погас, и снова зазвучало «Арабское танго». Ниночка положила обе руки на плечи Рушана и, приблизив к нему взволнованное лицо, тихо прошептала:

— Я так счастлива, спасибо тебе...

Со дня рождения Галочки Старченко и можно вести отсчет его новой влюбленности.

XXI

Май в их краях, без сомнения, самый дивный месяц. Весна в степные просторы приходит с запозданием, и только в мае природа набирает силу, во всей красе распускаются деревья, в каждом палисаднике цветут сирень, акация. А небольшой сад на Красной, словно окутанный дымом, белел шатрами цветущих яблонь. Позже, когда появится известная песня «Яблони в цвету» рано ушедшего певца и композитора Евгения Мартынова, Рушан часто будет вспоминать тот давний май.

Это в конце мая Нина однажды сказала: «Мы с тобой — как осужденные». И он понял, что она имела в виду. Да, как заключенные, зная приговор, невольно считают дни, они тоже делали свои зарубки, ибо тоже знали даты своего отъезда. К тому времени Рушан получил назначение в забытую богом провинциальную Кзыл-Орду, а Нину ждала Северная Пальмира, как витиевато выражался Стаин.

Оттого, словно наверстывая упущенное, они старались видеться каждый день. Встречались с какой-то взрослой страстью, упоением, не отказываясь ни от каких компаний. Они чувствовали себя по-свойски и среди «дроколят», и рядом с дружками Исмаил-бека на веранде летнего ресторана в парке, и в эстетской компании Стаина. В ту весну они были словно наэлектризованы, возле них всегда сбивались друзья, приятели, поклонники, болельщики, их захлестывало бесшабашное веселье, слышались шутки, смех. Наверное, большинство ребят понимали, что навсегда прощаются и друг с другом, и с Актюбинском — городом их детства и юности.



Ниночка в веселье оказалась неудержимой, все, кроме Стаина, уступали ей в фантазии, энергии. Какие импровизированные вечеринки возникали спонтанно после танцев где-нибудь в глухом скверике или у кого-нибудь в палисаднике, какие песни звучали под гитару! Никто не мог узнать тихую, задумчивую прежде Новову. Однажды она с вызовом сказала контролеру танцплощадки:

— Этот молодой человек — со мной, — и сделала движение корпусом в стиле Дасаева, в точности повторив его коронный нырок, чему весело зааплодировали все стоявшие у входа.

В общем, они развлекались, пытаясь растянуть сутки, боясь расстаться до утра, а время убегало, сжималось, как шагреновая кожа. И вот осталось три дня до отъезда Ниночки в Ленинград.

Рушан валялся на койке в общежитии в полном бездействии. Защита диплома позади, через неделю у него выпускной вечер, и он тоже покинет город, где сбылись и не сбылись его мечты.

Ему припомнился точно такой же жаркий июньский полдень ровно четыре года назад, когда он на крыше ташкентского скорого добирался в Актюбинск, чтобы сдать документы в техникум. Каким огромным, таинственным, полным соблазнов виделся ему, по сути, деревенскому мальчику, этот город, какой невероятно долгой казалась предстоявшая учеба — и вот все промелькнуло, как один день, и снова очередной виток жизни, и опять все надо начинать с нуля.

Что ждет его в заносимой песками Кзыл-Орде? Какая дружба, какие развлечения?

Такие невеселые мысли занимали его в тот час, но на лицо набегала улыбка, когда он время от времени невольно вспоминал о предстоящей встрече с Ниной.

Последние летние ночи вдвоем казались им такими короткими! Невероятно быстро начинало светать, и гудок Алма-тинского экспресса долгим сигналом на входных стрелках обрывал свидание. Ниночка, тяжело вздыхая, говорила:

— Пора прощаться, милый. Как жалко, что в июне так поздно темнеет и так рано светает, но мы с тобой не властны над природой..

Вдруг его мысли о предстоящем свидании прервал случайно заглянувший в дверь парень из соседней комнаты. Увидев Рушана, он удивленно спросил:



— Ты что тут прохлаждаешься, не провожаешь свою Ниночку? Я сейчас с вокзала, видел ее на перроне с родителями, уезжает...

Одним рывком Рушан вскочил с кровати.

— Как уезжает? — недоуменно переспросил он, не до конца вникнув в суть неожиданного известия.

— Обыкновенно, — усмехнулся сосед. — В восьмом купейном вагоне. Поспеси, еще минут десять до отхода московского, я на велосипеде с вокзала...

Рушан, не дослушав последних слов, кинулся к распахнутому окну и в мгновение ока оказался на улице. Он бежал, распугивая по дороге одиноких прохожих, не замечая зноя, не пытаясь скрыться в тени придорожных карагачей, по его обезумевшему лицу кто-нибудь наверняка решил, что случилась беда.

Добежав до путей, он увидел нечетный состав, катящийся к вокзалу. Рискуя расшибиться, он сумел на бегу запрыгнуть на подножку нефтеналивной цистерны. Как он торопил товарняк! Сигнальные огни хвостового вагона пассажирского поезда он видел хорошо — экспресс еще стоял.

Нечетный, сбавив ход, стал разворачиваться на боковые пути для грузовых составов, и Рушан, спрыгнув на междупутье, побежал снова, до перрона оставалось несколько десятков метров. Как хотелось ему успеть! Увидеть ее лицо, глаза и, если удастся, спросить: «Почему тайком? Почему так жестоко, не по-человечески?!» Словно чувствовал тогда, что будет мучиться потом этими вопросами всю жизнь...

Рушан уже вбежал на перрон, когда хвостовой вагон качнулся, слегка подался вперед. Но он сделал усилие, оставляя за спиной вагоны под номером двенадцать, одиннадцать, десять. Вокзал в этот час был запружен провожающими, и, лавируя между ними, Рушан терял скорость. Задыхаясь, он бежал рядом с катившимся девятым вагоном и уже видел, как Ниночка, высунувшись из приспущенного окна, махала рукой. Кому? Он рванулся из последних сил, пытаясь попасться хотя бы на глаза ей, но девятый вагон уже обгонял его, затем десятый, одиннадцатый... И он устало остановился, не в силах оторвать взгляд от тоненькой девичьей руки, еще махавшей кому-то.



Родители Нины увидели его сразу и, наверное, обрадовались, что поезд стремительно набирал скорость. Возможно, они боялись, что отчаянный парень вскочит в отходящий состав. Но тогда такая мысль не пришла ему в голову.

Когда последний вагон скрылся за выходными стрелками, Рушан обернулся и увидел, что стоит рядом с родителями Нины. Стыдясь поднять заплаканное лицо, он медленно, по-стариковски сутулясь, поплелся прочь. Что он мог сказать им? Они и так все видели.

В тот вечер Рушан впервые крепко напился со Стаиным и ребятами с Татарки. Возвращаясь домой, в общежитие, он повстречал Бучкина с Фроловой. Валентин уже знал о том, что случилось днем на вокзале, — Верочка, жившая рядом со станцией, ходила на перрон за свежим хлебом, что подвозят к московскому скорому, и все видела. Валентин увел Рушана к себе, и они проговорили до глубокой ночи. Утром, когда они завтракали на кухне, Валентин вдруг сказал:

— Твоя история просится в стихи, послушай-ка...

*Я познал поцелуев сласть,
Мое счастье было в зените...*

Но Рушан протестующе замахал руками:

— Перестань, без тебя тошно...

Сегодня, спустя много лет, Дасаев жалеет, что остановил поэта. Какие строки шли дальше? Тайна, разгадки которой нет. А эти две строчки запомнились на всю жизнь: я познал поцелуев сласть...

В оставшиеся до выпускного вечера дни, когда вручали дипломы, он почти не выходил в город — слонялся по пустевшим с каждым часом комнатам общежития. Словно вагоны в день отъезда Ниночки, мелькали, стремительно убывая, дни: пять, четыре, три... Как он торопил их — жизнь здесь казалась теперь невыносимой.

Если разрыв с Резниковой он еще пытался как-то объяснить себе, то бегство Нововой принял как рок, как наказание свыше за... предательство. Ведь иногда поздно ночью, зная, что все равно не уснуть, он потихоньку пробирался на безрадостную для него улицу 1905 года и подолгу стоял у темных окон сонного



дома Тамары... Как он выпрашивал у нее мысленно прощение, как жалел, что она не догадывается, что творится у него в душе!.. Он ведь не знал, что в те дни в какой-то компании, где, пытаясь задеть, уколоть ее, упомянули о влюбчивости ее некогда верного Дасаева, Тамара, вскинув голову, гордо сказала:

— Если в этом городе он кого и любил, то только меня, и не заблуждайтесь на этот счет...

Попасться Тамаре на глаза Рушан не решался, хотя и наблюдал иногда за нею издали, и в одно из ночных бдений у ее темных окон пришла мысль — попрощаться с ней хотя бы письмом. Даже если и не вышло у них ни любви, ни дружбы, ведь не шутка — четыре года в этом городе их имена упоминали рядом.

Неожиданное решение на время наполнило жизнь смыслом. Целыми днями он не вставал из-за стола, но три школьные тетрадки, исписанные его четким почерком, трудно было назвать письмом, скорее это была исповедь исстрадавшейся, запутавшейся души, он пытался сказать, что она значила и значит для него. Выходит, сегодняшняя попытка исповедаться на склоне жизни — далеко не первая...

Отрывался он от послания к Давыдычевой, только когда уходил в деповскую столовую, где в ту пору обедали с пивом на пятерку старыми, да еще и сдача причиталась серебряными монетками.

Однажды, вернувшись с обеда, он застал соседа по комнате, Юрия Калашникова по кличке Моряк, с подозрительно набухшими глазами.

— Кто обидел? — спросил Рушан у своего верного болельщика, которого в общежитии называли его адъютантом.

Моряк зашмыгал носом и, отвернувшись, показал на тетрадку:

— Ты, оказывается, так любишь Томку... У меня от твоего письма просто мороз по коже, так тебя жалко. Никогда не думал, что так можно терзаться... Ты извини, что я прочитал, тут все на столе валялось, — обнял он обескураженного Дасаева.

Такого участия от далеко не сентиментального Моряка Рушан не ожидал.

— Давай выпьем за любовь, за Тамару? Я уже сбегал за бутылкой, — предложил вдруг Калашников.



За бутылкой вина Моряк и убедил Рушана, что нужно пойти попрощаться самому, ну, и «письмо», конечно, отдать лично. У Дасаева оставался последний вечер в Актюбинске, отступать было некуда, — завтра вечером он навсегда покидал город. После обеда, захватив тетради, он пошел на улицу 1905 года.

На звонок вышла сама Тамара и, что странно, не очень удивилась его приходу. Улыбнулась, словно ждала, пригласила в дом, но он не решался войти. Сказал, что вчера получил диплом и сегодня у него последний вечер, завтра он уезжает навсегда, и просил ее сходить с ним хотя бы в кино. Протягивая тетради, добавил: «А это то, что мне всегда хотелось сказать тебе». Тамара благосклонно взяла тетради и спросила, во сколько он зайдет за нею.

Не веря в реальность происходящего, Рушан назвал время, мысленно благодаря Моряка за совет. Ведь не прочитай тот письма, вряд ли он решился бы показаться Тамаре на глаза.

Возвращаясь в общежитие, Рушан встретил Наиля Сафина, направлявшегося туда же, откуда он только что ушел. Поздоровался с ним кивком головы, но радости выказывать не стал. Бедный Наиль, наверняка он был для Тома тем же, чем сам Рушан для Резниковой или Нововой, — оба они оказались ненужными этим девушкам, выполнили свои роли в какой-то их девичьей игре и были свергнуты со сцены, — Рушан понял это еще тогда.

Задолго до назначенного времени Дасаев стоял в тени отцветших акаций напротив дома Тамары, до конца не веря, что сейчас откроется калитка и выйдет она. И вдруг ему вспомнилась та далекая осень, когда волею судьбы он впервые встретил ее у «Железки» с нотной папкой в руках и, как зачарованный, пошел за ней следом, а потом долго стоял на этом же самом месте в надежде увидеть ее силуэт за легкими тюлевыми занавесками в распахнутом окне. И вот сегодня — первое настоящее свидание; каким долгим, в четыре года, оказался путь к нему!..

Она появилась минута в минуту, издали обворожительно улыбнулась и спросила так, словно они встречаются давным-давно:

— Ну, куда мы идем сегодня, Рушан?

У него были билеты в кинотеатр «Культфронт» рядом с парком, и он предложил пойти на английский фильм «Адские



водители», а потом, если будет настроение, заглянуть на танцы. Все последующие годы с того летнего вечера Рушан мечтал когда-нибудь встретить на экране этот острозюжетный фильм, чтобы заново пережить ощущение того единственного свидания, когда он сидел рядом с Тamarой, держал в горячих ладонях ее руки, и она не пыталась убирать их, — пальцы вели какой-то нежный разговор, сплетаясь, узнавая, лаская друг друга. Он хорошо помнит и фильм, и то, как почти не отрывал взгляда от прекрасного лица, еще не веря до конца, что эта недоступная, гордая красавица сидит рядом с ним.

Весь вечер, и до кино, и после, когда они прогуливались по «Бродвею», ему тоже хотелось кричать, подобно Кабирии в фильме Феллини: «Смотрите, с кем я иду! Я иду с Давыдычевой! Тамара рядом со мной!»

Конечно, в тот июньский вечер появление их вместе не осталось незамеченным. Только закончились выпускные вечера в школах, прошли экзамены у студентов, молодежь бурлила в предвкушении долгих летних каникул, и они повстречали на улице многих своих друзей и знакомых. И опять Рушана поразило: никто, казалось, не удивился, что он появился на «Бродвее» с Давыдычевой.

После кино, гуляя по парку, Рушан спросил, не хочет ли она пойти на танцы. Но Тамара вдруг неожиданно сказала:

— И на танцы, конечно, хорошо, но еще больше хочется побыть с тобой, ведь ты завтра уезжаешь. Нам не удастся и двумя словами перемолвиться, ребята будут подходить, прощаться с тобой. Нельзя, чтобы наш единственный вечер прошел на грустной ноте, не хочу, чтобы постоянно напоминали о твоём отъезде. Давай уйдем из парка, погуляем по тихим улочкам, нам ведь есть о чем поговорить...

Этот вечер, проведенный с Тamarой, Дасаев, как ни пытался, не мог воспроизвести досконально, он тоже дробился на десятки эпизодов, каждый из которых в воспоминаниях выстраивался в нечто трогательное и грустное, и вряд ли все это можно было вместить в одну ночь.

Прогуляли они с Тamarой до рассвета, до гудка Алмаатинского экспресса. Запоздалое свидание было очень похоже на новогоднюю ночь с Резниковой: та же неожиданность,



то же волнение, те же признания, озноб и трепет неожиданных поцелуев и даже слезы.

Прощаясь, они верили в свое счастье, надеялись, что вся недосказанность, размолвки, — позади.

Много позже, когда увлечение поэзией приведет Рушана к живописи и он откроет для себя мир импрессионистов, его поразят работы Клода Моне. Например, Нотр-Дам в разное время суток, при меняющемся свете дня, причем взгляд всегда из одной точки. Вот тогда он и найдет точное определение своим отношениям с тремя очаровательными девушками: Резниковой, Нововой, Давыдычевой, ибо исходная точка здесь, как и у Клода Моне, одна — любовь. Как прекрасен Нотр-Дам утром, в полдень, на закате солнца, при абсолютной свежести композиции, ракурса, и каждая работа является неповторимым творением, так и его увлечения освещены одним светом — любовью. И он никогда не поминал лихом ни одну из своих привязанностей, и даже короткая ночь вместе с девушкой с улицы 1905 года, заронившей когда-то в его сердце любовь, осталась в памяти счастливейшим даром судьбы. И это вовсе не было преувеличением...

В молодые годы, когда Рушан работал в Экибастузе, в минуты отчаяния, считая, что любовь покинула его навсегда, он однажды решил уйти из жизни. Но он не мог уйти, не попрощавшись с ними, и каждой написал письмо, где благодарил их за те давние минуты радости, счастья, что они успели дать ему, и объяснял, что жизнь для него без них потеряла смысл. Заканчивались послания одинаково, словно писались под копирку: «Прощай, я любил тебя...» У него не оказалось под рукой только одного адреса — учившейся в Оренбурге Давыдычевой, и пока он наводил справки, мысль о самоубийстве ушла сама собой. Выходит, он и жизнью обязан своей любви к той девочке с улицы 1905 года. Это тем более удивительно, что тогда он еще не был знаком с любовными посланиями знаменитого Жана Кокто...

*А ты сегодня ходишь, каясь,
И письма мужу отдаешь.
В чем каясь? Есть ли в чем? Едва ли!
Одни прогулки и мечты...*



Ну, это для тех, кто любит заглядывать в замочную скважину, и как лишнее подтверждение, что в поэзии есть ответы на все случаи жизни. Поэтому Рушану всегда хочется сказать всем и каждому: «Любите поэзию!»

Так случилось, что никого из тех, кто в конце пятидесятых годов посещал знаменитые вечера в двух железнодорожных школах, не осталось в Актюбинске — жизнь всех разбросала по стране, у многих и родственников здесь уже нет. Наверное, чаще других бывал в родных краях Рушан. Не забывал заглянуть на кладбище к прокурору, любившему джаз, пройтись по обветшавшему «Бродвею», заглянуть на печальную улицу 1905 года и на улицу Красную, где давно жили чужие люди, которые охотно впускали его в дом. Но там уже, конечно, ничего не напоминало о далеких счастливых днях, разве что необхватные седые тополя за окном и давно одичавшие кусты персидской сирени.

Иногда он говорит себе: «Все, в последний раз», но любая прогулка в очередной приезд заканчивается у дома на улице 1905 года. Что это — память сердца?

Однажды Валя Домарова рассказывала ему, что в студенческие годы, иногда приезжая домой на праздники, встречала в ночных поездах Тамару в сопровождении грустного блондина. Рушан знал, что Тамара училась в Оренбурге, в пединституте, знал даже, где она снимала комнату — на Советской, 100. И однажды он побывал в этом доме, хозяйка которой сразу припомнила очаровательную девушку, некогда квартировавшую у нее.

— А вас я не помню, — сказала она огорченно. И когда он признался, что прежде никогда не бывал здесь, грустно промолвила: — И вы, значит, любили ее, Тамару...

Из-за одиночества или по другой причине она усадила его пить чай и за столом стала рассказывать:

— Знаете, она всегда переживала, сомневалась — любят ее или нет. Поклонники у нее были, и все ребята видные, но она хотела какой-то непонятной, возвышенной любви: чтобы любили только ее, и до гроба... Вы один пришли сюда через столько времени, а ведь она квартировала у меня пять лет, и никто не искал ее следов, значит, вы любили ее сильнее всех...



— Да, я любил ее, — признался Дасаев, оглядывая комнату, где много лет назад жила Тамара.

Много лет спустя, на закате жизни, Рушану попадутся на глаза новые стихи горячо любимого им с юности ташкентского поэта Александра Файнберга. Они словно персонально адресованы ему и героиням его юношеских романов, даже имена девушек не пришлось ни менять, ни добавлять. Но к этому времени Дасаев знал, что хорошая поэзия всегда адресована миллионам, тем более стихи о любви. И лучше всех об этом сказал Сергей Есенин в поэме «Анна Снегина»:

*Мы все в эти годы любили,
Но мало любили нас...*

А Файнберг сумел поэтической строкой обобщить все душевные радости и муки, пережитые Рушаном:

*Благословенна первая любовь.
Благословенны первые печали.
Ровесницы,
вы нас не замечали.
Страдали мы,
какая это боль!*

*Теперь уж мы не плачем понапрасну.
Иная широта и высота.
Мы любим женщин,
в осени прекрасных.
Страдаем? Да.
Но эта боль — не та.*

*Другие кроны
плещутся над нами.
Кто дышит Крымом,
кто долбит Ямал.
Мы по годам уже не вспоминаем
ни Свет, ни Нин, ни Валь и ни Тамар.*



*Но все ж,
когда я думаю о чуде,
я вижу город,
серые дома.
Я вижу, как на белом парашюте
на переулочек падает зима.*

*И во дворе,
где с горок мчатся санки,
я жду ее.
Не чью-нибудь.
Мою.
И с неба снег слетает на ушанку.
Она не любит.
Я ее люблю.*

*Далеких лет далекие обиды.
Навек прощайте,
детства облака.
Ровесницы,
мы вас вблизи любили.
Любите нас теперь издалека.*

XXII

Жизнь непредсказуема, и одни тайны уходят с их владельцами навсегда, другие запоздало, как, например, день рождения дяди Рашида, внезапно открываются во всей своей сути.

Однажды он был командирован на Кавказ, сначала в Баку, а затем в Тбилиси. Там, в поезде Баку — Тбилиси, с ним произошла любопытная история.

Командировка эта тоже походила на приятное путешествие, в Баку он попал на концерт оркестра Рауфа Гаджиева, где в те годы работал знаменитый джазовый аранжировщик Кальварский, а в Тбилиси надеялся послушать джаз-оркестр Гобискери. К поезду он пришел заблаговременно — не любил предотъездной суеты. Неторопливо нашел свое место в пустом купе мягкого вагона и вышел к окну в коридоре.



Вагон заполнялся потихоньку, и Рушан стоял у окна, никому не мешая. К поезду он явился прямо с концерта и мало походил на инженера, едущего по командировочному делу.

Состав тронулся, оставляя позади перрон, город...

Начали сгущаться сумерки, в коридоре зажгли свет. Пассажиры потянулись в ресторан или стали накрывать столики в купе, а Рушан все стоял у окна, внимательно вглядываясь в селения, где люди жили какой-то неповторимой и, вместе с тем, одинаковой со всеми жизнью, замечал одинокую машину с зажженными фарами, торопившуюся к селению, где, наверное, шофера ждала семья, дети, а может, свидание с девушкой, чей неведомый дом мелькнет мимо него через минуту-другую яркими огнями окон и растворится в ночи.

Его попутчики сразу же принялись за ужин. По вагону пополз запах кофе, жареных кур, свежего хачапури и лаваша; откуда-то уже доносилась песня.

Два соседних с ним купе занимала разношерстная компания: юнец и убеленный сединами моложавый старик, молодые мужчины и даже одна девица. Она, как и Рушан, все время стояла у окна, но, в отличие от него, как показалось Дасаеву, делала это не по собственному желанию. Старик, по всей вероятности, русский, юнец с девушкой — армяне, остальные — грузины или осетины. Разнились они и одеждой: двое, да и старик, пожалуй, не уступали тбилисским пижонам, что фланируют по проспекту Руставели, а остальных вряд ли можно было принять за пассажиров мягкого вагона.

Компания, которая садилась в поезд, не обремененная багажом, даже без сумок и портфелей, тоже начала суетиться насчет ужина. Юноша с девушкой высказали желание посидеть в ресторане и получили чье-то одобрение из глубины купе. Проходя мимо Дасаева, они окинули Рушана восторженным взглядом, а девица даже попыталась изобразить что-то наподобие улыбки.

За окнами совсем стемнело, и стоять у окна стало неинтересно. Его попутчики давно поужинали, а Рушан раздумывал: то ли вернуться к себе, то ли последовать в ресторан, как вдруг один из компании, тот, кого он принял за осетина, вежливо, можно сказать — галантно, как это могут только на Кавказе, пригласил разделить с ними скромное угощение. Рушан так же



вежливо поблагодарил, но, сославшись на отсутствие аппетита, головную боль и желание побыть одному, отказался.

Не прошло и минуты, как появился другой попутчик и пригласил не менее вежливо, но более настойчиво. Навязчивость, с которой его зазывали, начала раздражать Рушана, и он поспешил ретироваться в купе. Едва он расположился у себя на полке, как распахнулась дверь и показалась седовласая голова моложавого старика, который попросил Дасаева выйти на минутку в коридор.

Старик оказался краснобаем, и мог бы дать фору любому грузинскому тамаде. Он говорил о законах гостеприимства и вине, которые приятно разделить в пути с новым человеком. В общем, Рушан понял, что из немощных, но цепких рук старика ему не вырваться — а тот и впрямь то крутил пуговицы на его пиджаке, то хватал за рукав, — и он сдался. Когда Дасаев в сопровождении Георгия Павловича — так старик отрекомендовался — появился перед компанией, раздался такой вопль искреннего восторга, что, наверное, было слышно в соседнем вагоне.

Рушана усадили поближе к окну, напротив Георгия Павловича. На столике высилась ловко разделанная крупная индейка, а рядом — зелень, острый перец, помидоры, армянский сыр, грузинская брынза и свежий бакинский чурек.

— Что будем пить? — спросил старик, и Рушан показал на белое абхазское вино «Бахтриони».

Кто-то предложил тост за удачную дорогу, и трапеза началась. Стаканам не давали пустовать, а со стола так ловко и незаметно убиралось ненужное и добавлялись то ветчина, то жареное мясо, то быстро убывающая зелень, что Дасаеву, заметившему корзину на откинутой полке второго яруса, откуда все это доставали, казалось, что она волшебная.

Разговор поначалу никак не завязывался. Следовали сплошные тосты и сопутствующие фразы насчет «налить», «подать», «закусить», «что-то передать», а затем слова благодарности на русском и грузинском языках. Но даже в этой немногословной беседе участвовали из хозяев только трое: те, что приглашали Дасаева, и Георгий Павлович, имевший над компанией очевидную патриаршую власть. Остальные двое, немо выказывая восторг на плохо выбритых лицах, следили за столом, за тем,



чтобы не пустовали стаканы, и ловко распоряжались содержимым волшебной корзины.

— Куда едете, чем занимаетесь, молодой человек? — спросил вдруг старик среди неожиданно возникшей или ловко созданной паузы.

— Инженер, еду в Тбилиси в командировку, — вяло ответил Дасаев, предчувствуя, что интерес к нему тотчас иссякнет, потому как был убежден, что такая ординарность вряд ли у кого вызовет любопытство.

— Инженер?.. В командировку?.. Я же говорил вам, — обратился Георгий Павлович к своим спутникам. — Учитесь: школа, высший пилотаж, я в его годы не знал такой славы. А как он держался в коридоре! Любо посмотреть: турист, артист, да и только... Пейзаж, закат, пленэр... А как разговаривал с Дато и Казбеком, словно никогда их в глаза не видел! Это же блеск! Станиславский! А если хотите — Мейерхольд!..

— Я действительно никогда не видел ни вас, ни ваших спутников, — перебил старика удивленный Рушан.

— В глаза не видел! — воскликнул с улыбкой Георгий Павлович, и купе минут пять сотрясало от смеха.

Дасаев, ничего не понимая, смотрел на своих собутыльников и видел, с каким восторгом, боясь упустить хоть один его жест, глядят на него странные попутчики. Такого внимания к собственной персоне он никогда не испытывал.

— Да, Марсель есть Марсель, не зря о нем и на зоне, и на свободе легенды ходят, — откликнулся тот, кого старик назвал Дато.

— Вы что-то путаете, я — Дасаев, инженер из Ташкента, — не понимая, разыгрывают его или же в самом деле принимают за какого-то Марселя, ответил, трезвея, Рушан.

Купе снова зашлось смехом. Георгий Павлович, вытирая тонким батистовым платочком слезящиеся глаза, спросил:

— Может, и ксиву покажешь? Дасаев...

По Мартуку Рушан хорошо знал жаргон блатных. Достав из внутреннего кармана пиджака паспорт, он протянул его через стол.

В купе притихли и внимательно смотрели, как ловко пальцы старика вертели паспорт так, и эдак. Георгий Павлович даже поднял его к носу и тщательно принюхался, казалось —



попробуй он даже на зуб, никто бы не улыбнулся. Но Рушану было не до смеха.

— Хорошая ксива, и пахнет по-настоящему, — сказал, наконец, Георгий Павлович, возвращая паспорт. — Значит, с бумагами все в порядке, быстро обзавелся... Дато считал, что ты без ксивы. Он ведь с тобой в одной зоне мантулил в последний раз. Вспомни, Лорд у него кликуха, а фамилия — Гвасалия. Правда, он сейчас таким франтом выглядит, как раз тебе в помощники, «интеллигент». Не хочешь помощника, Марсель?

— Извините, я устал, у меня завтра важные дела, и я не понимаю ваших шуток, — сказал Дасаев, поднимаясь.

Старик мягко, но настойчиво потянул его обратно.

— Сиди, Марсель. Дело твое, знатья тебе с нами или нет. Да, пожалуй, ты и прав, слишком много незнакомых лиц для такой важной птицы, как ты. Ты уж извини меня, старика, это я на радостях — много слышал о тебе, да и Дато рассказывал, как ты исчез. Значит, едешь по большому делу, удачи тебе. Но если нужна будет подмога — деньги там, кров... Вот адреса и телефоны в Тбилиси и Орджоникидзе, — и он ловко, одним движением, сунул в верхний кармашек пиджака Рушана заранее заготовленный листок. На том они и расстались, одни довольные встречей, а другой — удивленный донельзя: за кого же его приняли?

Утром, когда поезд прибыл в Тбилиси, странных попутчиков уже не было — то ли разошлись по разным вагонам, то ли сошли в предместьях столицы. Но они еще раз напомнили ему о себе...

Гостям Тбилиси советуют побывать на горе Мтацминде, откуда открывается живописная панорама раскинувшегося внизу города; там же — прекрасный парк, летние кинозалы, ресторан. Устав от прогулки и продрогнув на ветру, гулявшем на горе, Рушан решил заодно и поужинать на Мтацминде.

В зале и на открытой веранде веселье плескалось через край. Играл оркестр, вдвое больший по составу, чем некогда в его любимой «Регине», и два солиста, сменяя друг друга, не успевали выполнять заказы, сыпавшиеся со всех сторон. Витал аромат дорогих духов, сигарет и вин, щедро украшавших многолюдные столы, пахло азартом и праздником. Рушан с трудом



отыскал свободное местечко за столиком, где коротала вечер такая же командировочная братия, как и он сам.

Официант всячески выказывал свое недовольство одиноким, без дамы, клиентом: будь его воля, Дасаева и подобных ему он и на порог не пустил бы. Лениво подергивая сытыми щеками, он вполуха слушал заказ, почему-то тяжело вздыхая, и сквозь зубы ронял:

— Нет... нет... кончилось... не бывает... никогда не будет...

Рушан понимал: любое его возражение еще более усугубит незавидное положение незваного гостя, и потому милостиво сдался, и сказал обреченно:

— Ну что ж, принесите что осталось и бутылку белого вина.

Вернулся официант не скоро. С увядшей зеленью, подветренным сыром, холодным хачапури и бутылкой вина. Буркнув, что шашлык подаст позже, заторопился к другому столу, где кутили лихо.

Едва Рушан пригубил вино, оказавшееся без меры кислым, откуда-то, словно ветром, принесло метрдотеля и того же официанта — с таким сладким выражением лица, что в первый момент Дасаев даже и не признал его, хотя между ними только что состоялся долгий и «содержательный» разговор.

— Извините, вышла промашка, — частил метрдотель и зло косился на официанта, а тот, сама невинность, втянув живот, изображал такое раскаяние, что впору было расплакаться.

Он чуть ли не силой вырвал из рук Рушана фужер и брезгливо выплеснул содержимое в вазу из-под цветов, словно это было не вино, а отравы.

— Может, отдельный столик накрыть? — зашептал Рушану на ухо завзлом, поглядывая на его соседей, но Дасаев отказался.

В мгновение ока подкатили тележку с фруктами, сочной зеленью, лобio с орехами, сыром сулугуни и другими грузинскими закусками, незнакомыми Рушану, а метрдотель собственноручно налил в невесть откуда взявшийся тяжелый хрустальный бокал золотистое «Твиши». Видя это волшебное превращение, достойное цирка, соседи на другом конце стола с любопытством поглядывали на Рушана.

Дасаев прикинул, что ужин обойдется ему раз в пять дороже, чем предполагал, но вино оказалось дивное, закуски



великолепные, оркестр на высоте, и настроение у него поднялось. То ли от выпитого вина, то ли от нахлынувшего озорства, то ли оттого, что увидел в зале за дальним столиком Казбека и Дато, он, пригласив какую-то девушку на танец, назвался... Марселем.

Может, он сам приглянулся девушке, а может, понравилось его имя, весь вечер она щебетала: «Марсель... Марсель...» Чужое имя не раздражало его, а порою даже ласкало слух, и этот вечер, в общем-то закончившийся без особых приключений, он прожил не только под чужим именем, но и ощущая себя тем таинственным Марселем, перед которым так щедро расстилаются столы и вмиг принимают любезное выражение лица официантов...

Спускаясь на фуникулере на проспект Руставели, где жизнь, казалось, не замирала до утра, он вдруг, вроде некстати, вспомнил давнее свидание с Валею в Мартуке.

Вокруг кипела ночная жизнь Тбилиси, по ярко освещенному проспекту навстречу Рушану шли прекрасно одетые люди, которые то и дело раскланивались со своими знакомыми, казалось, весь город состоял только из друзей и приятелей, и думать ни о чем грустном не хотелось. Но Валя, держащая в руках гитару с ярко-красным шелковым бантом на деке, не шла у Рушана из головы. Он настойчиво гнал от себя навязчивое видение, но оно не уходило, мешало, назойливо напоминало о чем-то...

И вдруг все встало на свои места. Дато Гвасалия... Дато Гвасалия! Да это же тот, кто купал Валею в шампанском, подарил ей жемчужное кольцо!

«Не может быть! — возразил он себе. — Где та Валя, а где — этот Дато... Нет, это невозможно...»

Но память услужливо вернула голос Георгия Павловича: «Лорд у него кликуха, а фамилия — Гвасалия...» Нет, ошибки быть не могло, совпадало все. Рушан поспешил назад к канатной дороге, чтобы вернуться на Мтацминду, — знал, что в грузинском ресторане гости рано не расходятся.

Когда он вернулся в зал, веселье еще продолжалось, но столик, за которым Лорд гулял с друзьями, оказался пуст. Уже знакомый метрдотель, вновь увидев взволнованного гостя, подошел тут же и учтиво обратился:

— Чем могу помочь?



— Лорд давно ушел? — спросил небрежно Рушан.

— Нет, недавно, вы наверняка разминулись на фуникулере. Если возникли проблемы — тут есть люди, хорошо знающие Дато, они и Марселю ни в чем не откажут. Да и мне Дато велел принимать вас всегда по-королевски...

— Спасибо, мне нужен только Лорд, — поблагодарил метрдотеля Дасаев и хотел распрощаться, но тот предложил распить с ним бутылку вина, если гость простил его за недоразумение в начале вечера. Пришлось уважить.

Возвращаясь в полупустом вагоне канатки, Рушан думал: «А если бы я застал на месте Дато Гвасалия по кличке Лорд, что сказал бы, о чем спросил? О том, купал ли он в шампанском мою отроческую любовь Валю Домарову и дарил ли ей жемчужное кольцо?» От нелепости этой картины он вдруг от души рассмеялся, как некогда на тихой улице в Мартуке, когда представил тесный совмещенный санузел и грязную ванну с плескавшейся в шампанском Валентиной...

Теперь он редко вспоминал Валентину, и уж тем более не презирал и не осуждал ее. С высоты жизненного опыта понимаешь, что каждый выбирает свой путь сам. Но он никак не мог понять, почему судьбе было угодно, чтобы среди сотен миллионов людей он встретился с неким воров по кличке Лорд, сумевшим увлечь романтикой блатной жизни девушку, некогда мечтавшую стать балериной. Возможно, этим «почему» он будет маяться до последних дней своих...

XXIII

Вспоминая свое окружение в детстве и юности, да и во взрослую пору, Рушан часто мысленно возвращался к родному дому, а значит, к матери и отчиму. И часто всплывали в памяти две картины — подробные, в деталях. С матерью — когда не было в их семье еще Исмагиля-абы, и с отчимом — на закате его жизни.

В ту зиму он учился не то в первом, не то во втором классе...

«Наверное, поезд опоздал», — Рушан то и дело дышал на оконное стекло, но, сколько его ни отогревай, не отогреть. Мороз постарался: даже между рамами тянулся ледяной



хребет, и от окна несло холодом, как от двери, как плотно он ни подтыкал куски старого одеяла в щелях и щербатом пороге.

«Успело намести», — подумал он и смел снег с земляного пола, а то заругает мать, что не следил за дверью, выстудил землянку. Печь едва теплилась, но Рушан боялся подложить кизяку: с топливом было совсем худо. Задуло и задождило с сентября, и теперь в полуразвалившемся сарае кизяк занимал крохотный уголок.

Забравшись на нары, поближе к печи, Рушан придвинул к себе узелок с нечесанным пухом и принялся выбирать волос, как ему наказала мать. «Скорее бы пришла Саня-апа из школы», — тоскливо думал он, хотя знал, что вторая смена у восьмого класса кончается уже затемно.

Горка выбранного пуха росла медленно, и он опытным глазом прикинул, что с этим узелком возиться ему еще с неделю.

«У тебя, сынок, глаза молодые, острые, — говорила мать. — Никто в Мартуке лучше тебя пух не вычистит».

Долгие зимние ночи сидели они на топчане вокруг большой керосиновой лампы, каждый за своим делом. Саня пряла, — мать говорила, что пальчики у нее чувствуют пух и быть ей хорошей шальчи — вязальщицей платков: пряжа у нее получалась ровной, тонкой. Мать пропускала выбранный сыном пух через страшную ческу — двухрядный частокол высоких иголок, их почему-то называли цыганскими. Руки матери взлетали высоко над ческой, и Рушан всегда боялся: а вдруг она поранится о блестящий частокол.

Как бы мать ни хвалила своих ловких и быстрых помощников, истинной сноровкой шальчи владела только она сама. В Мартуке, где треть жителей кормилась вязанием, Гульсум-апа считалась искусной мастерицей, ее платки быстро и легко пушились, носились долго, а кайма у них была на загляденье — широкая, зубчики ровные, один к одному, и узор у каждого платка свой, неповторимый.

Толстой краснолицей хозяйке узелка с пухом, завмагу сельпо Кожемякиной, в Мартуке никто бы не отказал связать платок — характер у Нюрки крутой, и на паевую книжку она дает продуктов сколько бог на душу положит. Но и она, первая поселковая модница, пришла к Гульсум с поклоном.

Рушан слышал, как мать устало говорила:



— Нюра, пух по цвету богатый, у меня к нему и нитки подходящие есть, но волоса слишком много, и за две недели не выбрать. И в работе у меня еще три платка, люди добрые за них давно уж расплатились.

— Меня, тетя Галя, сроки не волнуют — слава богу, есть что носить. Ваш прошлогодний платок не у одной бабы в поселке зависть вызывает, а мне вот теперь темненькую шаль захотелось...

Насчет добрых людей не зря было сказано, но ведь и Кожемякина — не последний человек в Мартуке.

— ... Пуд муки вам авансом приготовила. — Нюра оглядела сырую, по углам в наледях, землянку и добавила: — Нехай Рушанка к вечеру в сельмаг забежит. Будут ящики из-под мыла — не пожалею.

Зная далеко не щедрый характер Кожемякиной, мать попросила:

— Чаю плиточного с полкило да сахару, Нюра, добавь к авансу, пух-то...

— Ладно, ладно, по рукам. За мукой счас, что ли, пойдешь?

— Счас, счас, — заторопилась мать, и, уходя, счастливо улыбнулась сыну.

Едва дверь захлопнулась, Рушан заплясал: ему уже чудился запах горячих лепешек.

Ошиблась мать на радостях, увидев Кожемякину с заказом: третью неделю одолевал Рушан узелок.

— Нюрка, да чтоб прогадала?! Она и пух-то выменяла у наших казахов из аула за чай да за кило халвы, — горячилась соседка Науша-апа, забежавшая на огонек.

Мать, тяжело вздыхая, молчала. Непоседливая Науша-апа скоро распрощалась, и мать, поплотнее прикрыв за ней дверь, вернулась к печи. Саня заворуженно смотрела, как спицы, словно шпаги, мелькали у нее в руках, и думала: «Неужели и я когда-нибудь смогу вязать так быстро и красиво, как мама?»

— Опять ссутулился, как старичок. Смотри, девочки любить не будут, — добродушно ворчала мать на сына.

Рушан густо краснел, на какое-то время распрямляя плечи и спину, но частый и мелкий волос снова гнул к лампе.

Вот и сейчас он приподнял плечи и оглянулся: в низкой и плохо протопленной землянке сгущались сумерки, а матери все не было.



«И уроки еще не сделаны», — мелькнула и тут же пропала мысль. В тревоге за мать он то и дело выскакивал на улицу и окончательно выстудил землянку. В голову лезли разные страхи. «А вдруг поезд из-за опоздания сократил стоянку, и мама проехала до следующей станции, чтобы пройти с платком по вагонам... А вдруг у нее его вырвали?» Рушан знал, что, хотя война давно кончилась, в теплые края, к Ташкенту, охотно тянулась всякая шпана. «А может, конфисковали?» Он знал и это недетское слово. «Только бы дядя Великданов сегодня на станции дежурил», — молился он, как бабушка Рабига, сложив ладошки, повторяя короткую суру, что обычно произносил перед сном.

Недавно прошел слух, что увольняют Великданова, говорят — развел на станции спекуляцию. Кто теперь предупредит его мать, да и других, что будет облава и лучше перетерпеть несколько дней, чем остаться без шали, без пуховых перчаток или дюжины шерстяных носков?

«А может, маму задержали? Ведь ее уже предупреждали, чтобы не ходила к поездам с шалями...» Рушану вдруг стало так страшно, что он заплакал.

— Сынок, что случилось? — уронив у двери какие-то свертки, кинулась к нему Гульсум-апа.

Рушан прижался к ее промерзшей куцей телогрейке и, не чувствуя холода, плакал навзрыд.

— Ну, хватит, ты уже большой, единственный мужчина в доме. Лучше спроси, как у меня дела... — мать погладила его по давно не стриженной головке. — Сейчас зажжем лампу, протопим печь, поставим чай. Ну, смотри, что я принесла, — и стала собирать с пола свертки.

Кипел, похлопывая крышкой, на плите чайник, мать жарила в казанке, на чистом бараньем сале, баурсаки. Заправленная под горлышко керосином лампа с новым фитилем освещала дальние углы землянки. От печи, щедро заваленной кизяками, струилось тепло.

— Продала? — прямо с порога спросила вернувшаяся из школы озябшая Саня.

— Продала, доченька, продала. Раздевайся, у меня все уже готово.

Саня быстро скинула валенки и, притулив их к печи, уселась на топчане рядом с Рушаном.



— Ты сегодня долго не шла, я уже соскучился, — тихонько сказал Рушан и прижался к сестре.

Мать расстелила скатерть.

— Ну, рассказывай, мама, — торопила Сания.

Подкладывая в деревянную чашу обжигающие баурсаки, мать принялась рассказывать:

— Стоим, значит, на перроне час, другой, а московского все нет. Я так намерзлась, что решила было уйти, как вдруг далеко, у семафора, паровоз прогудел. Ну, слух у нас точный. «Пассажирский», — решила, а тут и он. Никто из вагонов и носа не высунул. Нагима с соседней улицы и говорит: «Давай, Гульсум, до следующей станции проедем, успеем половину вагонов обежать».

Вдруг распахивается напротив нас дверь, и молодой военный с подножки спрашивает: «Мамаша, сколько за платок просите?» А из-за плеча у него барышня выглядывает, — наверное, она из окошка платок заметила. Я уж самую малость и назвала, ведь неделю с ним к поездам хожу.

«А вы не могли бы подняться к нам?» — спрашивает барышня, а военный, такой вежливый, даже руку подал, помог в вагон подняться. Накинула она платок на плечи — и к зеркалу, а оно у них во всю дверь. «Какая прелесть! Какая прелесть! — щебечет барышня, а шаль ей, и правда, к лицу. Потом спохватилась она, что поезд может тронуться, и так удивленно переспрашивает: — Семьсот?»

Тут я и обмерла. Неужто торговаться станет? А уступать мне и копейки нельзя. «Семьсот», — говорю, и шаль стала сворачивать. «Вадим, заплати, пожалуйста, восемьсот, уж больно шаль хороша, да и апа нас пусть помнит», — и так хорошо засмеялась барышня и обняла меня. «Рахмат, — говорю, — доченька, рахмат», — а у самой слезы на глазах, денег, что он отсчитывает, не вижу. Так и сунула, не глядя, в карман. Я уже к выходу пошла, как догоняет меня Вадим этот и протягивает коробку. «Возьмите, мамаша, — говорит, — это мой сухой паек. Здесь галеты, тушенка... У вас, наверное, дети дома... Порадуйте...»

Галеты эти, сухари такие, Рушану сразу понравились.

— ... А из тушенки я вам завтра суп сварю. Какие красивые, счастливые люди, храни их Аллах!



Рушан с сестрой согласно закивали головами...

Мать достала из потайного кармана стеганой душегрейки узелок и, развязав его, положила у края скатерти пачку денег.

— Только я соскочила с подножки, тут же набежали товарки. Особенно торопились те, кому я задолжала. Десятку-другую пришлось займы дать. Одной только мне сегодня и подфартило. В воскресенье пораньше пойдем с Рушаном на базар, купим возок кизяка у аульных казахов, — она отложила половину оставшихся денег в сторону. — А это вам на кино, — мать протянула сыну трешку: не отделишь тут же, не выкроить потом и рубля.

Рушан на радостях чуть не опрокинул пиалу.

— Это — керосинщику, это — за радио, это деду Матвею за валенки — три раза без денег подшивал, а это — Нюрке, старый долг, уж больно косо смотрит, прямо в магазин не ходи...

Стопки денег как не бывало: перед матерью лежало несколько измятых рублевки и горстка мелочи.

— А это нам на расходы, — вздохнула Гульсум-апа.

Видя, как торопливо Рушан припрятал трешку, мать улыбнулась.

— Не унывайте, дети. Руки целы, ноги целы, проживем. С такими помощниками не пропаду...

Потрепав сына по голове, она стала убирать со стола.

Поздно вечером, снова усевшись в кружок возле лампы, все согнулись над Нюркиным узелком. Мать потихоньку напевала о Кара-урмане, о привольных берегах далекой Ак-Идели. Иногда она замолкала: каждый зубец требовал точного счета петлям.

— Мама, уже вторая четверть, а у меня за учение не уплачено, не отчислят меня из школы? — спросила вдруг Саня.

— Глупенькая, не беспокойся. Пока Кузнецов директор, такому не бывать. Летом встретился мне на улице и говорит: «Гульсум-апа, ваша Саня — способная девочка. Вот кончит десятилетку, вам помощь и опора будет, грамотный человек нигде не пропадет. А с одеждой мы вам поможем, выкроим что-нибудь из школьного фонда. Война позади, теперь легче будет». А ведь как в воду глядел. Думала я, хватит тебе и семилетки — платки вязать ума большого не надо, а терпением и сноровкой Аллах не обидел. Да и в чем тебе на занятия ходить, ломала голову.



Форму и платье шерстяное, пальто и валенки — все в школе мне выдали. Вызвал Кузнецов к себе в кабинет и говорит: «Вот, Гульсум-апа, для дочки вашей». А на стульях и для других учеников одежда лежит, пальтишки разных цветов и фасонов... Тонкий человек ваш учитель, все учел, меня одну вызвал, от любопытных глаз и глупых языков оберегал. Аккуратно подарок завернул, перевязал и наказал, чтобы вам не говорила, что одежда казенная, мол, учтите, детская душа — штука сложная... Так что учись, дочка, не одна я о вас пекусь. А за учебу мы заплатим как-нибудь.

Мать поднялась, прикрыла задвижку у печи и, снова сев за вязанье, продолжила неторопливо:

— И пенсию вам, хоть и малую, тоже Кузнецов выхлопотал. Пришла к нему в слезах: «Помогите, — говорю, — Юрий Александрович, в собесе крутят: мол, похоронка у меня не та. Как не та, когда почти все мужики из Мартука в один день полегли под Москвой. И в один день нам казенные письма почта принесла. В тот вечер плач из поселка, наверное, в самом Оренбурге был слышен». А директору ли не знать об этом: митинг-то на другой день в школе прошел.

В похоронке нашей, одной-единственной, написано: «Пропал без вести». А куда ему, отцу нашему, там пропасть, когда мужики из Мартука вокруг него и держались. Весельчак и верховода отец наш был, да и партийный к тому же. И в эшелоне, который целый час простоял в поселке, отец старшим по вагону ехал.

Пошли мы тут же с вашим директором школы в собес. Правда, я во дворе осталась: сил моих больше не было, боялась — кинусь драться. Час жду, другой, — вылетает вдруг Юрий Александрович, на ходу оборачивается, совсем не по-учительски ругается: «Сволочи! Бюрократы!» Потом немножко поостыл и говорит: «Ты уж, Гульсум-апа, наберись терпения и жди, я в Москву напишу». Полгода ждала, а Кузнецов все это время в разные учреждения писал, но пенсию все-таки выхлопотал. Добрыми делами и на добрых людях мир держится, никогда не забывайте об этом, дети.

Так под тихое журчание материнских рассказов коротали они долгие зимние вечера...



XXIV

Декабрь пришел в занесенный снегами Мартук студеными ветрами, на дню несколько раз менявшими направление, сбивал с ног прохожих. Закрутило, завихрило, заметелило, — и в школе отменили занятия.

Ветер, завывая в трубе, рвался в землянку, словно собирался ее разворотить. День и ночь, не умолкая, гудели за окном натянутые, как тетива, заиндевелые провода. Мать, подкладывая кизяк в ненасытную утробу печи, с тревогой говорила: «И в это воскресенье, видно, не бывать базару, кто рискнет приехать из аулов в такой буран?»

Купленный ею с Рушаном кизяк убывал, казалось, не по дням, а по часам. Гульсум, накинув фуфайку, кидалась к соседям, дальним и близким: купить, взять займы, выменять десяток кизяков — иногда удавалось.

«Только бы пурга унялась к воскресенью», — молила мать и, хотя денег у нее на такую большую покупку, как воз кизяка, не было, верила, что казахи, не раз выручавшие ее, дадут в долг и в этот раз.

В такие вечера, когда на улицу и выглянуть-то было страшно, приходил гость. Появлялся он всегда неожиданно, и скрипучая дверь отворялась бесшумно. Сначала дверной проем заполнял большой грязный канар — мешок с заплатами, который гость ставил тут же, у двери, а сам возвращался в сенцы и долго отряхивал там полушубок и казахский малахай-тумук. Входил в землянку уже в гимнастерке, вешал на гвоздик, вбитый в стену, свой полушубок.

— Гимай-абы, вам идти с другого края села, из-за станции, не боитесь сбиться с пути в пурге? И как это у вас ловко с нашей старой дверью получается? — спрашивала дотошная Саня, заканчивавшая делать уроки.

— Я, дочка, с первого дня начинал в дивизионной разведке, а кончил в зафронтной.

— А почему вы папу с собой не взяли? — Рушан перебирался поближе к гостю.

— На войне, Рушан-батыр, не спрашивают, кто с кем хочет воевать. Меня в эшелоне приметил какой-то майор, — не доезжая до Москвы, я и распрощался с Мирсаидом.



Мать молча возилась у плиты, готовя нехитрое угощение.

— Наживешь ты, Гимай, с этим канаром беды, — говорила она гостю за чаем.

Гимай, поглаживая чапаевские усы, смеялся:

— Сколько раз объяснял тебе, что за мной числятся только штуки кож, а посылают нам в вагонах нестриженные шкуры. Кожзавод наш — одно название, а на деле — артель кустарная. Дубить не успеваем, не то что стричь шкуры. Так и кидаем в чаны, а после каустика шерсть никуда не годится. Из чанов вилами ее приходится выбрасывать, животы надрываем... По совести говоря, за это тебе еще платить бы надо: остриженных шкур в чан вдвое больше лезет, на чистке чанов день экономим, раствор сохраняем. Кругом, считай, выгода.

— Так-то оно так, — соглашалась мать, но упорно гнула свое: — А шерсть все-таки государственная.

— Оттого в бураны и хожу, чтобы людей не дразнить. А бояться мне некого — я не вор и не мошенник, я и на фронте с поднятой головой ходил...

Одним неуловимым движением Гимай оказывается у канара, и сильные руки его выбрасывают на середину землянки шкуру за шкурой.

— Разве можно такое добро губить? Смотри, вот несколько козых, с пухом. На шаль не пойдет, а на перчатки — заглядень!

— Мериносковая... — слышится с пола тихий голос матери. Она ползает по шкурам, вырывая, где можно, клочья шерсти. — Какие паутинки связать можно...

— И я о чем! — Гимай выбрасывает последние шкуры, и пустой канар, как у фокусника, исчезает в недрах полушубка. — Я вот наточил, как обещал...

Из кармана полушубка он вынимает завернутые в тряпицу тяжелые острые ножницы. Из другого кармана достает ком вязкого мыла, которое варят на том же кожзаводе, и идет к рукомойнику.

— Только мыла не надо жалеть, а то в этих шкурах любую заразу можно подцепить.

Прямо по шкурам довольный Гимай возвращается к самовару...

Как ни ярилась зима, неожиданно она сдалась, словно поняв, что не сломить ей занесенный по трубы снегом маленький



Мартук. Как бы винясь за разметанные по ветру обледенелые стога, за стужу в сырых землянках, за пучки соломы, развеянной по безлюдным улицам, за ягнят, не выживших и дня в продуваемых насквозь кошарах, за поезда, застрявшие на голодных полустанках, природа вдруг расщедрилась, и установились в поселке такие дни, какие помнились старожилам только в давнем довоенном времени.

Что-то произошло не только с погодой, но повеяло и от жизни теплом близких перемен, все чаще слышалось полузабытое слово «надежда». И правда, словно расчищая дорогу новому наступающему году, у Нюркиного магазина появилось объявление, что с первого января будет снижение цен на промышленные товары, и следовал длинный перечень нужных и ненужных для жителей села вещей.

Но еще более радостная весть прокатилась солнечным днем по Мартуку: обещали открыть надомную артель вязальщиц. Настоящее предприятие — с авансом и зарплатой. «С авансом и зарплатой! С авансом и зарплатой!» — катилось от двора ко двору, как звонкое морозное эхо.

Уже не отменялись из-за стужи и пурги занятия, и мальчишки с окраины села катили в школу на прикрученных к валенкам коньках. Ожил школьный двор на переменах. Оттаяли и умолкли провода, появились наголодавшиеся за зиму воробьи. В такие радостные дни сбылась давняя мечта Рушана: мать разрешила ему ходить на станцию и к поездам за шлаком.

Гульсум-апа, изучившая кормилицу-станцию как собственный пустой двор, долго противилась этому, потому что знала: шлак и та малость, какую можно добыть у паровозов, — монополия дружных, не по годам дерзких детишек железнодорожников, живущих тут же, в домах при станции, за огромными огнедышащими горами шлака.

Но Рушан так страстно и долго уговаривал ее, уверял, что самый отчаянный из мальчишек, по кличке Кожедуб, учится с ним в одном классе, да и не каждого задирают станционные, а только тех, кто из жадности пытается урвать больше всех. А он не буржуй, ему больше всех не надо. Последним доводом он развеселил мать так, что рассмеялась она от души, легко и весело.

— Не буржуи, значит, мы?



— Не буржуи...

После школы Рушан установил на санки крепкую корзинку, бросил в нее помятое и залатанное цыганами ведро и поспешил на вокзал.

Дух станции, особенный, неповторимый, ощущался за квартал, а отвалы на фоне вросших в землю саманных построек Мартука казались горами и были видны с каждого двора. Запахи глевшего в недрах отвалов шлака, подпаленных креозотовых шпал на местах чистки топок, машинный запах больших сдвоенных паровозов и пар, клубившийся вокруг них, всегда волновали и влекли мальчика. Он знал: отсюда по двум тонким нитям путей ведет дорога в какую-то иную жизнь. Оттуда, из этой жизни, приходят поезда, пахнущие теплом и летом, красным апортом и желтыми мандаринами, поезда, в которых, рассказывала мама, зеркала во всю дверь и настоящие ковровые дорожки, и где едут щедрые военные и красивые барышни, и еще много всяких других людей.

Как и подобает человеку, занятому делом, проходя мимо прибывшего состава, он не стал глазеть на торги у вагонов, хотя слышал восторг толстых пассажирок в тяжелых шубах, накинутых на яркие китайские халаты:

— Какой узор! Какая изящная кайма!

— А пушится, а пушится-то как!

Как мудрец среди шаловливых детей, Рушан улыбался и беззлобно думал: «Пушится? Да как же ей не пушиться?» Он-то знал, как немисливо долог путь до того момента, когда шаль окажется на чьих-то зябнущих плечах. Он видел своих сверстников в казахских аулах, выхаживающих маленьких шаловливых козлят, видел чабанов, изо дня в день, из года в год, в стужу и зной кочующих со стадами в скудных степях, продаваемых летом и зимой злыми ветрами. Знал не понаслышке, сколько тепла человеческих рук — детских, женских и суровых мужских — вложено в красавицу шаль, знал, сколько слез пролито над ней в холодных кошарах и в тени керосиновых ламп, и не удивлялся восторженным восклицаниям покупательниц...

Пережидая, пока женщины перетащат на носилках шлак после ташкентского скорого, Рушан с высоты отвала впервые оглядел лежавший внизу Мартук. Вдали виднелась крытая шифером школа, а рядом, под ярко-зеленым железом, — сельсовет



с обвисшим флагом. Остальные дома можно было различить лишь по тонким струйкам дыма, тянувшимся, казалось, прямо из-под снега. Далеко вдоль путей высился похожий на одногорбого верблюда элеватор. На потемневшем цинке обшивки, прямо на горбу, криво и некрасиво написано: «1927 год».

Заслонив элеватор облаками пара, пронесся скорый на Москву. Когда облако рассеялось, Рушан увидел, как путейцы поставили на рельсы мадерон и стали грузить свой тяжелый инструмент: ломы, кирки, молотки, кувалды. Рушан всегда отличал путейцев от других людей потому, что пока знал одну-единственную профессию, которая не зависела ни от времени года, ни от погоды, ни от сельсовета, да и ни от кого-либо еще.

Сколько он себя помнил, столько и знал каждого путейца села в лицо, и всегда у них была работа, а значит — аванс и получка. А еще он знал, что им положен настоящий уголь и они могут выписывать старые шпалы, а из них ставить добротные теплые сараи. А главное — и это казалось уже совсем волшебством, — каждому ежегодно полагался бесплатный билет в любой конец Советского Союза. В любой конец! Перед ним при этом всегда оживал старенький школьный глобус.

«Вырасту и стану путейцем», — глядя вслед удалявшемуся на перегон мадерону, думал мальчик и улыбался.

Не случилось. Все повернулось иначе в жизни, но стоит ли теперь об этом жалеть...

XXV

Вторая история связана с отчимом, а точнее, это была их последняя встреча.

Письмо пришло перед самым отпуском, когда путевка у Рушана была на руках и билет уже заказан. Писем от матери он не получал с тех пор, как однажды, возвращаясь с моря, поставил старикам телефон. Установить телефон на селе еще сложнее, чем в городе, но ему повезло: начальником телефонного узла оказался давний школьный приятель.

До ужина Рушан письма не распечатал. Ему пришла в голову даже нелепая мысль заказать срочный разговор и спросить у матери, что это за письмо она прислала...



Писала мать, что отчим собрался уходить на пенсию, а в трудовой книжке записей каких-то недостает, с отчеством что-то напутали. С татарскими именами напутать немудрено, такие встречаются заковыристые — язык сломаешь, не то что буквы перепутаешь. Вот он ходил-ходил, — из одной двери в другую гонят, из одной конторы в другую шлют, — да и обиделся. Говорит: «Не надо мне вашей пенсии, пока руки-ноги целы, не пропаду, а что записи не сделаны, так мое дело было работать, а бумажки составляли другие». Писала мать, что уже который месяц бумаги лежат без толку, а ей строжайше наказано не вмешиваться в его дела, и вообще о пенсии отчим запретил всякие разговоры. «А жалко ведь старика, сколько на своем веку потрудился, да и обидно ему, я же вижу...» — заканчивала она свое торопливо написанное письмо.

Просила Гульсум-апа сына приехать в отпуск домой, отдохнуть и подтолкнуть пенсионное дело — все-таки человек образованный, законы знает, да и дружки школьные теперь многие в начальниках, глядишь, помогут старику, ведь, считай, на людских глазах век прожил, не таился, и работал-то всю жизнь в Мартуке.

О том, чтобы отложить поездку в отчий дом, и речи быть не могло. Казалось, что за неделю, ну, максимум дней за десять, он уладит дела и еще успеет к морю. С тем он и поехал в родные края...

Стоя у окна, вглядываясь в выжженную жарким солнцем бескрайнюю казахскую степь, он то и дело возвращался мыслями к отчиму. И не о предстоящих пенсионных хлопотах думал. Только сейчас, под мерный стук колес, он неожиданно ощутил, как коротка человеческая жизнь. О том, что она коротка, он, разумеется, знал, но так остро, до волнения, почувствовал это только теперь.

Как же так? Этот как будто совсем недавно по-юношески стройный мужчина, мастерски игравший за станцию, за «Железку» в волейбол и приезжавший к ним на сиявшем хромом и никелем голубом трофейном велосипеде «Диамант» — неслыханная роскошь на селе в те послевоенные годы, — уже уходит на пенсию? И еще более непонятно, что он, ловкий и смелый, имевший в селе больше всех орденов, нуждался сейчас в его, Рушана, помощи.



А ведь когда-то, мальчишкой, он с отчаянием думал, что пропащая у него жизнь, что стать таким человеком, как отчим, — неунывающим, веселым, справедливым, чтоб уважали друзья и враги, — он никогда не сможет, это казалось недостижимым. Да и мог ли Рушан тогда предположить, что Исмагилю-абы когда-нибудь понадобится его помощь и он чем-то сможет быть полезен ему? Конечно, нет! Даже сейчас, через столько лет, Дасаев словно услышал в пустом коридоре радостный смех сильного, уверенного человека, — так смеялся отчим, еще ездивший в ту пору на голубом «Диаманте» ...

На станции его встречала мать. Не видел ее Рушан лет пять, а Гульсум-апа в последние годы сильно сдала.

Мать у него долго была красивой и статной, не зря, наверное, завидный жених Исмагиль ее с двумя детьми взял, хотя в каждом доме невеста любого возраста нашлась бы. Трое, всего трое мужчин вернулось в Мартук с войны, а ушло... Лучше и не вспоминать.

Вросший окнами в землю дом, где родился Рушан, и во двор которого когда-то лихо вкатывал на «Диаманте» Исмагиль-абы, стоял раньше у дороги. Теперь на этом месте был запущенный розарий. Его разбили давно, во времена всеобщего увлечения мартучан розами, а теперь здесь росли густые одичавшие кусты, как ни странно, ярко и щедро зацветавшие с тех пор, как оставили их без внимания. Вплотную к колючим кустам жался веселый штакетник, красно-бело-синий, так его всегда красил отчим, так же чередуются цвета и теперь. С обеих сторон невысокого заборчика в землю были врыты лавки. Толстые плахи, на которых нацарапаны дорогие для кого-то девичьи имена, потемнели, а одна чуть треснула. Дасаев хорошо помнил эти лавочки. Они — как и розы, а позже — персидская сирень, — были в свое время модным, но быстро прошедшим увлечением Мартука. У каждого дома, у каждого палисадника имелась лавочка, скамейка на свой лад, и в поселке считалось хорошей приметой, если по весне в скворечнике поселялись птицы, а молодые облюбовывали скамеечку у дома.

Дом строили, нанимая людей. Саман купили у цыган, промышлявших летом этим трудным ремеслом. Хотя отчим тогда и выглядел еще молодцом, но для тяжелой работы уже не годился. Зато архитектором, прорабом, бригадиром, снабженцем



оказался отменным и, нанимая людей, знал, кто на что способен. Плотничал одноногий Гани-абы Кадыров. Какие песни пел за работой неунывающий, громогласный, единственный на все село башкир! Мать иногда, бывало, заслушается и обед то пересолит, то переварит.

Отстроились вовремя, потому что, как шутят нынче сатирики, прославленный скульптор Бенвенуто Челлини меньше брал в свое время за статую, чем сейчас плотник за обыкновенный дверной косяк. И такие резные наличники, такого веселого петушка на коньке крыши оставил на память о своей работе Гани-абы, что люди по сей день останавливаются полюбоваться, проходя мимо их дома, а ведь об «излишествах архитектуры» они с отчимом не договаривались...

По дороге с вокзала Гульсум-апа, обрадовавшаяся сыну несказанно, но как будто уже жалевшая о своей затее, строго-настрого предупредила его, чтобы дома — ни слова о пенсии, а уж если и пойдет по делам, то осторожно, чтобы не дошло до отчима.

Мягкий, спокойный закат, обещавший на завтра ясный день, розово окрасил полнеба за огородами, когда они с матерью добрались до двора. Отчим, видно, только что закончил поливать из шланга зелень, цветники, запущенный розарий. Асфальтовая дорожка, нагретая за долгий день жарким солнцем, чуть дымилась. В воздухе стоял запах земли, сада, пахло так, как может пахнуть только в деревне после дождя. Исмагиль-абы стоял у самовара, подбрасывая из совка истлевающие рубиновые куски угля, чтобы медный красавец запел, — видимо, это было главным заданием матери, потому что тут же, в затишке летней веранды, гостя уже ждал стол, прикрытый от мух марлей в два слоя.

Отчим, на первый взгляд, изменился мало, только заметно поредел его седой ежик, которому Исмагиль-абы не изменял всю жизнь. Но лишь сейчас Рушан заметил, как мал и худ стал отчим, словно подросток. И что-то неуловимо изменилось в лице и речи, но он понял сразу, в чем тут дело: наконец-то отчим поставил зубные протезы.

Они как-то неловко, словно смущаясь, обнялись, и Дасаев ощутил острые лопатки отчима под теплой фланелевой рубашкой. Мать, наскоро что-то убрав, что-то добавив, пригласила



мужчин к столу. Исмагиль-абы достал из ведра у колонки чекушку заолодевшей водки. Выпили за приезд и закусили малосольными огурцами, первыми своими. Слово за слово, отчим спросил — надолго ли, или опять на один-два дня?

— Наверное, надолго, — ответил Рушан и неожиданно добавил: — Соскучился я по дому... — и тут же понял, что не слукавил, сказал правду.

Ему было радостно ощущать на себе теплый, ласковый взгляд матери, чувствовать ненавязчивое внимание отчима. Приятно было вдыхать порядком подзабытые запахи тлеющего самоварного угля, свежей кошенины, уложенной на просушку на крыше низкого сарая, удивляться по-деревенски пахучему аромату масла, молока. Ему хотелось пожить дома, куда он когда-то собирался вернуться навсегда и где бывал теперь только наездами.

Таких домов в Мартуке раньше не было, можно сказать, с немцев началось их строительство — больших, просторных, со стеклянными верандами. Теперь, правда, пошли еще дальше: и веранды сделали теплыми, и воду в дома провели, и отопление паровое не редкость.

Старики определили сына на «его» половине дома — большой зал с роскошным фикусом и темноватая спальня, так они были задуманы в проекте, ведь родители ожидали Рушана после учебы, надеялись и невестку увидеть в новом доме. Каждый раз, возвращаясь из отпуска или из командировки и заезжая на день-другой в родной дом, он размышлял, как бы сложилась его жизнь, вернись он в Мартук навсегда, и иной раз такой спокойной, безмятежной рисовалась она, что казалась похожей на сказку. Но Дасаев быстро отрезвлял себя и успокаивался, ибо в этой удобной жизни, рядом с отчимом и матерью, да и при крепком хозяйстве, не было места главному — его работе.

Конечно, вернись Рушан в Мартук, нашлось бы дело и для него. Но был бы он тогда, как капитан без моря или летчик без неба, а работа для мужика — главное, это Дасаев усвоил в безработном поселке с детства.

Но дома, в Ташкенте, сверх меры наводненным дипломированными специалистами, три четверти которых составляли такие же выходцы из маленьких местечек, как и он сам, Дасаев иногда с некоторой жалостью думал о своих коллегах,



не состоявшихся, по большому счету, инженерах, напрасно отирающихся в раздутых штатах многочисленных отделов и бюро. Как бы, наверное, пригодились их знания и умение у них дома. Этим людям, которые, по сути своей, не способны на масштабные дела, в малом, наверное, удалось бы показать себя, ведь строилась-то страна из края в край, — сейчас в любом самом затерянном уголке высится башенный кран. Но нет, привыкли, притерлись, так и живут по многим городам, иногда заходясь тоскующими воспоминаниями о родных хуторах, аулах, кишлаках, селах, несостоявшиеся горожане и не очень грамотные инженеры.

Утром, когда Рушан проснулся, отчима уже не было — промкомбинат, которому Исмагиль-абы отдал тридцать с лишним лет, начинал работать с половины восьмого.

Чай пили на веранде с распахнутыми в огород окнами. Дасаев пребывал в добром расположении духа, хорошо выпался и даже сны видел приятные, о давней, отроческой жизни. Мать, заметившая это, приободрилась, — вчера на вокзале ей показалось, что сын приехал скорее по долгу, чем по велению сердца. Но сейчас она видела, как радуется сына солнышко, гуляющее в огороде, пыхтящий самовар, заметила, какими соскучившимися глазами оглядывает он соседние дворы за плетнями, как тянется то и дело взглядом к жеребенку в казахском дворе, у Мустафы-ага.

Сидели они долго, Гульсум-апа дважды подкладывала из совка жаркие угли, чтобы не кончалась песня надраенного до золотого блеска восьмилитрового самовара.

Казалось, не иссякнут вопросы сына и не будет конца ее ответам, — за каждым ответом чья-то жизнь, так или иначе соприкасавшаяся с его давними днями. Но разговор их прервали — пришли две казашки, которых мать тут же усадила за стол. И, обращаясь к той, что старше, своей ровеснице, сказала, гордясь: «Вот, сын приехал в отпуск из Ташкента, большим инженером там работает». А та ответила, что помнит Рушана, как малым с другими ребятами он приходил к ним во двор поздравлять с гаитом да жаль, не щедро одаривала, уж такое трудное время было, а сейчас, мол, милости просим, барана зарежем, гостем будете, хвала Аллаху, жизнь и к нам повернулась лицом.



Дасаев, выпив с гостями пиалу чая, откланялся. Весь день не шло у него из головы, кто же эта аккуратная старушка в розовом бархатном жилетике и где, в какой стороне, ее усадьба, но так и не вспомнил, а ведь Мартук его детства был не так уж велик.

За последние пять лет многое изменилось: Украинская улица покрылась асфальтом, почти исчезли на ней старые дома, отстроились заново, считай, все. Да и старые саманные дома, что еще сохранились, обложены снаружи светлым кирпичом-сырцом — веселее, наряднее стала улица. Узнавая и не узнавая дворы соседей, на чьи огороды в детстве делал дерзкие налеты, а позже тайком рвал цветы для девчат, он незаметно прошел собес, здание под ржавой крышей. На его памяти там всегда ютилось районо в двух крошечных комнатках. «Ладно, успеется», — подумал он и не стал возвращаться.

Проходя мимо промкомбината, Дасаев замедлил шаг, а потом и вовсе остановился, захваченный воспоминаниями. Перейдя через дорогу, присел в тени акаций у веселого, желтой окраски дома, обшитого деревом.

Промкомбинат, главный кормилец Мартука, долго, до тех пор, пока не набрала силу целина, оставался в поселке единственным предприятием, где можно было получить работу. Рушан знал все ходы и выходы на его казавшейся тогда огромной территории, ведь не раз приходилось носить в сумерках отчиму скудный ужин, когда Исмагиль-абы задерживался в цеху до глубокой ночи. А в праздники, умытый и по возможности принаряженный, бегал сюда на утренники. Какие елки, с какой выдумкой, устраивала для поселковой ребятни артель (так в просторечии называли в селе промкомбинат)! А подарки, вручавшиеся «настоящим» Дедом Морозом, даже по нынешним меркам были истинно новогодними, ибо уже за два-три месяца начинали думать, чем порадовать детей, и людей равнодушных, способных хоть что-то урвать на этом или подсунуть залежалые печенья и конфеты, и на дух не подпускали к веселому празднику.

Дасаев поглядывал на вытянувшиеся вверх на три-четыре этажа новые цеха комбината. Он знал, что вон в том дальнем угловом здании, на втором этаже, отчим стегает ватные одеяла, а какие они получаются мягкие, из ярких атласов и цветной



хлопчатки, с красивым узором-строчкой, он вчера видел сам. Одежда хорошо раскупалась в районе, а теперь и из других областей присылают заявки, успевай только стегать. Хотелось подняться к отчиму в цех и, никуда не спеша, посидеть рядом, не мешая, а потом вместе вернуться домой, — до обеда-то уже недолго. Но он решил, что успеется, нечего торопиться.

Вдруг подумалось, что стоило бы рассказать о волоките с пенсией парторгу комбината — отчим хоть и не партийный, зато ветеран, а не перекасти-поле, кому в трудовой книжке и штамп ставить некуда, к тому же фронтовик, орденосец.

Дасаев встал и решительно направился в одноэтажный флигель под цинковой крышей, единственное здание, оставшееся неизменным с прежних времен. Здесь, он помнил, издавна располагалась администрация. Но партком оказался на замке, а спрашивать кого-либо, по какому случаю закрыто, не хотелось, тут же до Исмагиля-абы дойдет: сын, мол, парторга разыскивал.

Он уже выходил из узкого темного коридора на улицу, как вдруг его окликнули. Обернувшись, Дасаев увидел тетю Катю, жившую раньше напротив, через дорогу. Сколько себя помнил, она всегда работала в бухгалтерии комбината.

Тетя Катя обняла Рушана, по-восточному похлопывая его по плечу, и они вместе вышли во двор.

— Сколько ж лет я тебя не видела?.. Помню, с Севера в отпуск на новоселье приезжал, тогда я еще плясуньей и певуньей была. Да, хороший дом отгрохал Алексей (она называла отчима на русский лад), хвалился тогда, что женить тебя будет и внуки, мол, скоро по дому просторному побегут... Как, дети-то есть?

— Нет, холост до сих пор... — отчего-то виновато потупился Дасаев, но женщина продолжала делиться своим:

— Мы ведь получили казенную хату за железной дорогой, строиться нам, старикам, не по силам, да и не по деньгам. А дети, как и ты, разлетелись, не чаще, чем тебя, вижу. Как матушка? Я ее тоже давно не видела, вот, господи, в одном селе, называется, живем... Раньше-то я частенько у вас бывала, попила уж чаю из вашего самовара, бывало — с сахаром, бывало — вприглядку, всяко довелось. Иное время и вспомнить страшно. Слава богу, что на старость и к нам жизнь людская пришла. А ты чего к нам в артель пожаловал?



— Да вот, с парторгом хотел увидаться. Только вы уж, тетя Катя, отцу об этом не говорите, — попросил Рушан.

— А-а, понимаю. Характер у Алексея что кремь: дважды не просит. Слышала, в обиде он на собес. Это хорошо, что ты вызвался помочь старику, такое уж время бумажное: к каждой справке справка требуется, а иную бумажку добыть — просить надо, в пояс кланяться. А твой отчим смолоду такой: с голоду помирать будет, не унижится. Настрадалась, поди, твоя мать от характера его? Живет-то он правильно и от других того же требует, да люди-то все разные. Ты уж помоги старику. А у меня все давно готово, подсчитано, не больно, правда, много получается, но все проскребла, трижды просчитала, ничего не упустила. Не было ведь раньше денежной работенки в наших краях, хоть и надрывались порой до седьмого пота, да ты и сам, чай, помнишь...

Дасаев покивал головой, соглашаясь.

— Я отдам тебе, Рушан, папочку на время, посмотри сам, просчитай еще разок, дело нехитрое. Дам, хоть и не положено. С Алексеем-то нас ниточка связывает, с ним ведь уходил на службу, на его глазах погиб и им похоронен жених мой, Дмитрий. Дружки неразлучные, волейболисты первые на район они были с Алексеем в парнях... — она привычно вздохнула. — Так ты уж посмотри сам...

XXVI

Тоненькая папка на тесемочках хранила не только выписки из приказов, ведомости заработной платы за многие годы, расчеты и прочие финансовые документы, необходимые, чтобы установить размер пенсии отчиму, — она хранила историю их семьи. По ней можно было проследить более чем тридцатилетнюю жизнь Исмагиля-абы, пожелтевшие листы бумаги возвращали Рушана к детству, отрочеству. Иногда в комнату, где он сидел за письменным столом, незаметно входила мать, она бережно, как обращаются с документами малограмотные люди, брала какую-нибудь бумажку, исписанную не потерявшими цвет фиолетовыми чернилами, и сразу узнавала в строчках, выведенных тонким ученическим пером, руку Кати Панченко, их бывшей соседки.



Поначалу Рушана удивляло, что мать, только глянув в ведомость, в строку, где были указаны жалкие гроши, что зарабатывал ее муж более чем двадцать лет назад, помнила, не вчитываясь в документ, чем занимался отчим именно тогда. И тут же, если была в настроении и не ждали дела, начинала рассказывать о чем-нибудь примечательном, памятном из того давнего года. Рассказывая, она тайком утирала слезы краешком накинутаго на голову платка, а перед ним из полузабытых, смутных или вдруг озаренных яркой вспышкой памяти картин складывалась не только судьба их семьи, но и история артели, всего Мартука.

Память матери удивила сына еще и потому, что, проработав на одном предприятии много лет, отчим сменил десятки профессий, поди упомни. Нет, Исмагиль-абы не был летуном или неумехой. «Золотые руки, золотая голова», — так все говорили про него, это Рушан и сам слышал не раз. Дело в ином: артель долгие годы была хозяйством маломощным, да и бестолковым, по правде говоря: чуть ли не каждый год открывались одни цеха и закрывались другие. Едва артель успевала набрать работников, обучить их и начать с трудом выполнять план, — люди уже радовались забрезжившей надежде на хорошие заработки, — как бессменный председатель артели Иляхин приносил нерадостную весть: закрывали один цех, как велела область, открывали другой. А через год, растеряв оборудование и людей, артель вновь спешно организовывала закрытое год назад дело. Каких только цехов не было за эти годы: и шорный, и швейный, и кондитерский... Даже сани — кошевые, легкие, быстрые, в которых разъезжали председатели колхозов всей области, — делали в Мартукской артели. Богата наша земля умельцами и толковыми мужиками, если даже в их небольшом селе за любую работу брались: хоть чесанки валять, хоть тулуп, полушубок справить, хоть шаль-паутинку связать, и все получалось — одно загляденье, до сих пор вспоминают люди...

А все закрытия начинались с увольнения. Но чаша сия миновала Исмагиля-абы: работник он бы умелый и безотказный, по праздникам, при всех орденах, которым было тесно на его неширокой груди, сидел всегда в президиуме. Неудобно было бы с фронтовиком так поступать. Пряча глаза в пол



или отводя в сторону, говорил обычно Иляхин: «Ты уж, Алексей, не обессудь, опять в новый цех учеником пойдешь, ты одолеешь...» Потому-то и встречались ведомости с графой, где отчиму причиталось по тем старым деньгам всего 280-320 рублей, а работали тогда не только по субботам, но и воскресенья частенько прихватывали.

Но мать помнила не только грустное; вдруг, казалось бы, не к слову вовсе, глядя в те же графы, она вспомнила, что это был месяц выборов. Тепло, с посветлевшим вмиг лицом, упоминала она по имени-отчеству забытых и полузабытых вождей, которые дать ей ничего хорошего в жизни не успели, кроме твердой веры в светлый завтрашний день. А Рашид, уже вполуха слушая мать, снова будто воочию видел радостные праздничные дни выборов в Мартуке.

Главный агитпункт, где проводились сами выборы, располагался тогда в школе, и по вечерам там уже за месяц до праздничного дня играла радиоло, ярко горели огни. А в день выборов родители уходили голосовать затемно, когда он еще спал. Возвращались веселые, успев пропустить рюмочку-другую с друзьями, сослуживцами, родственниками, — дело не зазорное в такой всенародный праздник, — а мать еще и наплясавшись и под русскую гармонь, и под татарскую тальянку с колокольчиками. Приходили они всегда с чем-нибудь вкусным: апельсинами, халвой, ржаными пряниками или копчеными лещами — едой столь редкой и потому особенно памятной по праздничным дням...

Захваченные воспоминаниями, засиживались они с матерью иногда часами, а однажды проговорили до самого обеда, опомнились, только увидев у калитки отчима. Рушан от растерянности не все бумажки успел припрятать, но Исмагиль-абы, к радости матери, не обратил на них внимания...

За столом и позже, поливая с отчимом по вечерам огород или мастера что-нибудь по хозяйству — дел в любой усадьбе всегда с избытком, — Рушан лишь изредка перекидывался с ним малозначащими фразами, а если и говорили, то только по делу.

Дасаев уже успел заметить, что мужчинам говорить с отцами своими с течением лет все труднее. И, наоборот, дочери с годами теснее сближаются со своими матерями, потому что сами обзаводятся детьми и постигают материнские заботы.



Детство Рушана и его сверстников прошло без особых ласк, без умильных вздохов над проказами мальчишек-сорванцов. У родителей были заботы важнее — накормить да хоть как-то обуть-одеть малых, тогда это было главным. Уходили на рассвете, приходили с закатом, хотя заработанного едва хватало, чтобы свести концы с концами. До ласк, до нежностей ли было? Вот и он, хоть всего шесть лет ему исполнилось, ни разу не назвал отчима отцом, знал — его отец, танкист, погиб под Москвой. Да и позже никогда не называл его «ати», а всегда «абы», хотя, помнится, поначалу Исмагиля-абы, чтобы привык к нему парнишка, много времени на это потратил. Рискаю расшибить, ободрать сияющий хромом «Диамант», научил его раньше других мальчиков кататься на велосипеде. И санки, и коньки самодельные, и лыжи-самоструги были у Рушана самые лучшие, но так ни разу и не услышал отчим долгожданного «ати».

Вспоминая это, Рушан даже сейчас не мог понять причину своего детского упрямства. Ведь у многих не было отцов, а у него был, такой замечательный, веселый, да еще с орденами, — ему завидовали все мальчишки, считая, что дядя Алексей самый сильный в Мартуке, хотя и намного меньше ростом, чем отец Петьки Васютюка. А вот он так никогда и не назвал его отцом...

В отсутствие матери Рушан открывал окованный медью старый китайский сундук, где некогда хранилось девичье приданое бабушки. В узком боковом отделении лежали ордена и медали Исмагиля-абы. Даже по нынешним скептическим меркам людей, не нюхавших войны, награды отчим заслужил высокие, и было их действительно много — девять. А первый орден отчим получил в тридцать девятом, на озере Хасан. Рассматривая вновь эти ордена, к которым в детстве его тянуло как магнитом, Рушан вспоминал, что раньше, хоть и трудно было, голодно, но часто приглашали гостей, и в праздник отчим не забывал надеть награды.

Водкой баловались только по большим праздникам, ставили бутылку-другую в красном углу стола для дорогих и редких гостей: не по карману мартучанам была она. А готовили хозяйева, ждавшие гостей, за неделю-две до праздников «бал» — разновидность русской бражки-медовухи. Напиток не крепкий,



но хмельной, и делали его в каждом доме по-своему. Людей, гнавших подобное зелье на продажу, тогда не было, и власти смотрели на производство бала «для себя» сквозь пальцы.

Рушан, перебирая ордена и медали, вспоминал, что обычно в такие дни отчим прилаживал на свой военный китель только два ордена, — теперь-то он знал им цену, этим орденам Славы. Но это было давно-давно, когда отчим со своей матерью, бабушкой Зейнаб-аби, только переехал к ним насовсем, тогда Исмагиль-абы еще разъезжал на «Диаманте» и не пропускал ни одной игры в волейбол за «Локомотив» — станционную команду, честь которой защищал еще до войны.

Раньше — Рушан помнил хорошо, поскольку об этом говорили и сопливые мальчишки, и соседки всегда судачили, — за ордена и медали выплачивали деньги, не ахти какие, правда. Но поскольку у отчима наград таких было немало, и если учесть, что в Мартуке каждая копейка ценилась, ибо заработать ее было особенно негде, и эти деньги были подспорьем. С наградных-то денег и баловал иногда Исмагиль-абы семью. Но выплаты очень скоро почему-то отменили. В Мартуке, правда, событие это почти никого, кроме отчима, не задело, но как огорчился Исмагиль-абы, Рушан помнил. Ведь выплаты были не только подспорьем семье, а поднимали его в глазах сельчан: не просто фронтовик, а воевал как надо, потому и почет, награды, — и вдруг разом лишили всего.

Маялся отчим еще и потому, что находились люди, которые намеренно подначивали его, называли ордена «железками». Помнит Рушан, как у них дома на октябрьские праздники отчим подрался из-за этого с каким-то мужиком, приехавшим из Оренбурга с мелочной торговлей.

— Провокатор, сволочь! — кричал по-русски разъяренный Исмагиль-абы, и рыжие веснушки, словно кровь, горели на его мертвенно-бледном лице. — Я бы таких, как ты, расстреливал на месте, гнида, спекулянт... — ярился он, удерживаемый могучим дружкой Васятюком...

А мужик, ретируясь, показывал кукиш и зло огрызался:

— Вояки... обвешались, как казашки, побрякушками и хотите тут порядки фронтовые завести... Поплачете, хлебнете еще горюшка на гражданке со своей совестью и правдой, генералы бесштаные...



С тех пор, Рушан помнит, отчим реже стал доставать из сундука ордена. Но гулянок с дракой, руганью он больше не припомнил.

Чаще всего бывали у них дома одни и те же люди: Васютюк, соседи Панченко, несколько оренбургских татар — отчим был родом оттуда, — одна-две вдовы, подружки матери, и всегда Гани-абы, плотник с деревяшкой вместо левой ноги, первый песенник и гармонист. А какие песни — татарские, башкирские, русские, украинские — певали на этих вечеринках! За песни больше всего и любил гостей Рушан. А иногда вдруг — тогда еще много говорили о прошедшей войне — заводили разговор о своих солдатских путях те, кто собирался за столом. Обычно начиналось со слов: «а вот в Германии...» или «а в Польше...» И разговор чаще всего шел о мирном: об укладе, привычках, нравах, хозяйствовании, о скоте... Но иногда вспоминали и о боях — жестоких, кровавых... Да разве можно было избежать этой темы? — «а в Германии», «а в Польше» остались навечно друзья, товарищи, земляки...

Отчим, как ни странно, уклонялся от таких разговоров, но всегда находился в компании новый человек, не знавший о его наградах, и, естественно, спрашивал: а этот орден за что, а тот? Исмагиль-абы отвечал односложно: за выполнение особо важного задания. Но изредка, то ли под настроение, то ли подогретый воспоминаниями своего друга Васютюка, рассказывал и он.

Из этих рассказов у Рушана постепенно сложился образ отчима того, военного времени. Ныне в этом не по возрасту сильно сдавшем старичке, немногословном, тихом, очень трудно было признать солдата, и не робкого десятка. И Дасаев, перебирая ордена, возвращался в мыслях к давнему образу, нарисованному детским воображением.

Воевал Исмагиль-абы в разведке, а точнее — обеспечивал разведке связь. Забираясь в тыл, подсоединялся к вражеской сети, а офицер, знавший немецкий, прослушивал разговоры. Разумеется, в таких ситуациях не раз и не два приходилось сталкиваться с немцами нос к носу, ведь всю войну он воевал на территории противника, оставляя за спиной многие километры ничейной, нейтральной территории, даже просто пройти по которой было делом нелегким. Отчим был огненно-рыжим



и, наверное, действительно смахивал чем-то на немца. Почти всю войну он прошел в форме солдата вермахта, тщательно подогнанной полковыми портными. Форма эта была у него на все сезоны, и даже автомат, с которым он не расставался ни днем, ни ночью, был немецким «шмайссером».

Из рассказов, услышанных в детстве, Рушану больше всего запала в память одна сцена. Отчим под носом у немцев подсоединяет к сети на столбе провод для подслушивания. Экипировка, наушники, инструмент — все чин чинном, немецкий связист, да и только. А рядом, в густом кустарнике, товарищи, — ждут, когда сержант, спустив незаметно по столбу провод, дотянет его до офицера, знающего язык. И вдруг, совершенно неожиданно, появляются немецкие солдаты, человек пятнадцать. Завидев связиста, они что-то весело кричат и смеются. Сержант, опережая их, делает единственно возможное — торопливо берет в зубы концы проводов и, так же весело улыбаясь, машет в ответ рукой. Рукава закатаны по локоть, руки и лицо густо усыпаны яркими веснушками — весна. Веселый храбрый Ганс, на тонкой шее болтается «шмайссер», а у столба лежит ранец телячьей кожи, загляни ненароком — все немецкое, до губной гармошки. Все продумано в разведке, но главная надежда — на выдержку, хладнокровие, на характер...

Даже через годы Рушан словно чувствует, как предательски подрагивают ноги отчима, того и гляди «когти» сорвутся, как руки невольно тянутся к вмиг потяжелевшему «шмайссеру», но нельзя, и он долго-долго, сквозь холодный пот, улыбается и машет немцам, признавшим в нем своего...

XXVII

Недели, даже десяти дней, как рассчитывал Дасаев, оказалось недостаточно, чтобы уладить дела, но, откровенно говоря, все это время он почти не вспоминал о путевке в Алушту. На послезавтра он наметил поездку в Оренбург, и не потому, что хотел встретиться с городом юности, хотя поездка и этим была приятна, главное, нужно было внести в метрику отчима поправку в отчестве и уточнить для собеса дату рождения.



Юные девицы из собеса и довольно молодая дама, их начальница, ни заглядывать в справочники, ни выслушать аргументы самого Дасаева не пожелали — как понял он, здесь вообще мало кого выслушивали, и любимой пословицей, повторяемой много раз на дню, была: «Москва слезам не верит», хотя Дасаев и возразил, не сдержавшись, что Мартук далеко не Москва. Быстро оценив ситуацию, а главное, почувствовав непробиваемую стену равнодушия, он понял, что в любом случае они останутся правы, а пожалуешься — так отделаются выговором, который, по их же словам, им «до лампочки». Рушан смирился и решил все же представить документ, где в отчестве вместо «в» будет «ф», а в метрике вместо пятого марта указано девятое. А то, что этот человек тридцать с лишним лет ходил по соседней улице на одно предприятие, никого совершенно не волновало.

Выехал он ранним утренним поездом. Дорога была близкой, но стала она как бы длиннее, потому что поезд до Оренбурга шел теперь не пять, а шесть часов, явление при нынешних скоростях совсем уж необъяснимое. Проходить в вагон Рушан не стал, хотя места имелись и была возможность подремать еще часок-другой, да и молодая проводница настойчиво приглашала, но он так и остался в громыхавшем безлюдном тамбуре.

Протерев носовым платком давно не мытое окно, Рушан вглядывался в набежавшие станции, разъезды. Путь этот он одолевал многократно, когда-то, как считалочку, мог быстро назвать разъезд за разъездом, станцию за станцией от Мартука до Оренбурга и в обратном порядке. А вот теперь узнавал только некоторые: Яйсан, Акбулак, Сагарчин... Выпали, выветрились из памяти названия знакомых местечек, да и изменились те очень, разрослись, одни названия и остались.

В тамбуре ему припомнилось и долго не шло из головы вчерашнее, казалось бы, незначительное происшествие.

Утром мать, достав из все того же сундука, где хранились ордена, с десятков облигаций сорок седьмого года, попросила его проверить в сберкассе: может, и попали они под погашение, многие сейчас, мол, выигрывают.

Часа два он провел в книжном магазине, где, на удивление, оказались нужные для него технические книги и справочники. Отобрав по несколько экземпляров и для библиотеки треста,



он вспомнил наказ матери и заглянул в сберкассу, где, к своей радости, выиграл тридцать рублей. Родители, потеряв надежду, что сын вернется к обеду, уже сидели за самоваром, когда он, улыбающийся, торжественно передал матери три новенькие хрустящие десятирублевки. Странно, неожиданно свалившиеся деньги не вызвали радости ни у матери, ни у отчима. Дасаева это настолько удивило, что он шутливо спросил:

— Так разбогатели, что и тридцать рублей вам уже не деньги?

Но шутка, как он понял, оказалась неуместной.

— Ах, сынок, — ответила мать, тяжело вздохнув, — в сорок седьмом каждая эта бумажка была четвертой частью зарплаты отца, а сейчас это всего лишь бутылка водки, а как нужна была нам каждая десятка, даже не сотня, ты должен бы помнить...

Рушану кусок в горло не лез за обедом, и даже теперь, в безлюдном тамбуре, он чувствовал, как краска стыда заливает лицо. И под грохот колес, поживаясь от утренней прохлады, Рушан вспомнил сорок седьмой год. В конце той зимы умерла бабушка Зейнаб-аби, мать отчима. Умерла неожиданно — тихо, незаметно, как и жила. По мусульманскому обычаю покойника хоронят в тот же день, завернув в белую ткань. Дома, да и у знакомых не нашлось не только метра новой ткани, но даже подходящей простыни — по бедности можно было и этим обойтись. Материю в магазинах продавали редко, да и то на паевые книжки, которых у них не было, а главное, денег в доме — ни копейки. Зима выдалась лютой, на один кизяк уходило почти ползарплаты Исмагиля-абы, а тут еще ежемесячно удерживали на заем. Мать уже и не знала, к кому идти занимать, а отчим... Разве мог он у кого-то что-нибудь попросить? Ну, только у соседа Васютюка, но тот жил еще беднее...

Рушан помнил, как Исмагиль-абы сначала сидел, нахмурившись, потом вдруг встал, торопливо оделся и, сняв с крюка висевший тут же в комнате бережно смазанный на зиму «Диамант», главное украшение и гордость дома, единственный трофей с войны, исчез с ним в разгулявшемся буране. Через час он вернулся, нагруженный свертками (в доме как раз ни щепотки чая, ни кусочка сахара не было). Прихватил отчим и две бутылки водки, а оставшиеся деньги передал матери. Помнит Рушан, как бежал по бурану из дома в дом, извещая,



что бабушка умерла. И потянулись в метель к заовражному кладбищу старики и молодежь, в основном безработные. И, что странно, — несмотря на лютый холод, выкопали могилу быстро и легко. А мать только к обеду смогла найти двадцать метров марли, в которой и схоронили Зейнаб-аби.

Много лет спустя услышал Дасаев, как на каких-то пышных похоронах кто-то ехидно заметил, что Исмагиль, герой-орденоносец, родную мать в марле схоронил, на десять метров бязи не раскошелился. Но драться на этот раз отчим уже не стал — укатали сивку крутые горки, да и перегорела, улеглась боль. А «Диамант», который Рушан с завистью и стыдом ожидал увидеть весной у кого-нибудь из ребят, так никто больше и не видел в Мартуке, словно в воду кануло это трофейное чудо...

Вышагивая из края в край тесного и узкого тамбура, Дасаев припомнил еще один случай, связанный с той дорогой и отчимом. Тогда уже не было ни бабушки Зейнаб, ни голубого «Диаманта», и учился он не то во втором, не то в третьем классе.

В начале весны закрыли валяльный цех, или, как его еще называли, — пимокатный. Отчим валял плотные войлочные кошмы. В ветреном степном краю они незаменимы и пользовались большим спросом у казахов, заменяя ковры. Там же он делал и валенки, и легкие, изящные белоснежные чесанки из мериносовой шерсти, в основном женские. Ремеслу этому он учился дольше всего. Непростое и нелегкое дело — валенки валять. Целый день находится пимокатчик в мельчайшей едкой пыли низкосортной шерсти, в шуме, грохоте, а главная трудность в том, что все — руками, на ощупь делается, никаких тебе приборов, когда надо толщину или плотность измерить. Не чувствуют руки материала, значит — брак, а ОТК, глуховатый Шайхи, лютовал, ибо работы никакой не знал и не любил, на лютости лишь и держался. Но постиг Исмагиль-абы и это ремесло, и появились в ту зиму у матери чесанки — одно загляденье, а у Рушана черные валенки — мягкие, теплые. Вот этот цех по какой-то причине и закрыли. Многих тут же сократили, отчима, правда, оставили, но работы никакой не предложили, не прозвучало на этот раз спасительное «пойдешь учеником» ...

На работу Исмагиль-абы выходил, что-то там делал, короче, был на глазах у начальства. В те дни и предложил отчиму



Гимай-абы, мездровщик с кожзавода (заводом назывался маленький цех артели), варить мыло. Мездры, мол, и поганого жира с плохо снятых кож предостаточно, а достать каустическую соду и химикаты артели под силу.

Быть золотарем или мыловаром считалось в поселке делом последним даже среди не имевших работы, но отчим, мужик молодой, едва за тридцать перевалило, раздумывать не стал, согласился, хоть и знал, наверное, что ни на волейбольную площадку, ни в кино ему теперь не ходить, ведь от мыловара разит за квартал.

Запах мыла, которым пропитался в тот год их дом, Рушан помнил много лет, и от одного вида вязкого хозяйственного мыла ему до сих пор делается не по себе.

С идеей производства мыла и зашел отчим к Иляхину. Ответ был короток: сделай ящик мыла, которое в области можно показать, а остальное, мол, за ним. Разрешил директор, на свой страх и риск, занять две комнаты на кожзаводе, котлы дал, угля выделил, бочку соды не пожалел, все, что на складе нужным для работы оказалось, выписал, хотя и не положено было.

Мыло в Мартуке и до войны не варили, и подсказать-показать было некому. Гимай-абы, подавший идею, тонкостей дела не знал, посоветовал съездить в Оренбург, объяснил, что мыло там татары варят, небось не откажут в совете, на всякий случай адрес одного кожевенника дал.

В тот же день повеселевший Исмагиль-абы распрощался с домашними и отправился на вокзал. На дворе уже стоял май, теплынь и благодать, и Исмагиль-абы, греясь на солнышке на крыше мягкого вагона, быстро добрался до Оренбурга. Только пришлось прыгать на ходу на Меновом дворе — на вокзале милиция вылавливала безбилетников.

В городе отчим дела уладил быстро. «Видать, здорово приперла жизнь, если такой молодой и удалой мыло варить решился», — сказал рябой и лысый старшина мыловаров. А узнав, что Исмагиль-абы фронтовик и земляк, секретов не утаил, все рассказал. И полмешка всяких химикатов дал на первое время, поверил на слово, что рассчитается в лучшие времена рыжий сержант в отставке.

Возвращался Исмагиль-абы тем же путем, что и приехал, только садиться на скорый поезд с пудовым мешком было



не просто. Но не зря он воевал в разведке, к тому же мягкие вагоны тогда имели лестницы с глубокими подножками. На ходу закинул отчим мешок на подножку одного вагона, а на подножку другого, спального, успел прыгнуть сам, потом по крышам добрался до заветного мешка и, подняв его наверх, ехал, насвистывая и радуясь удаче.

В то время в Среднюю Азию, к теплу, тянулось немало уркаганов. Ехали они, как и отчим, на крыше, по пути задерживаясь в городах и селениях, но конечной целью их был далекий хлебный Ташкент.

И вот компания таких удальцов поднялась на крышу на какой-то станции. Отчим заметил их не сразу — только оглянувшись случайно, увидел, что меньше стало народу на крышах: компания сгоняла, отбирая пожитки, тех, кто не сумел постоять за себя. Когда до него осталось вагона четыре, Исмагиль-абы решил пройти к голове поезда, к самому паровозу, где было совсем уже грязно от дыма и копоти трубы, — таких мест обычно избегали все. В худшем случае он решил спуститься и пройти в вагон, хотя был велик риск нарваться на ревизора.

Беспокоился отчим за мешок — новый, крепкий, джутовый, одолженный у Гимая-абы на поездку в город. Урки, скорее всего, вытряхнули бы все, а мешок оставили как подстилку на жесткой и грязной крыше — очень удобная штука. Когда Исмагиль-абы поднялся и торопливо направился к голове поезда, то, оглянувшись, увидел: его с мешком заметили и быстро побежали за ним. Не желая потерять добро — до Мартука уже рукой подать, — побежал и отчим. И вдруг с ужасом вспомнил, что сейчас, через сотню метров, после крутого поворота — длинный Каратугайский мост через реку Илек. Он бросил мешок и, обернувшись к преследователям, замахал руками и истошно закричал: «Мост! Мост! Мост!» Едва он повалился на крышу, как состав, громыхая, застучал по мосту.

Когда, миновав оба пролета, состав выскочил из кружевных арок, Исмагиль-абы повернул голову и увидел, как поднимались парни в клешах. Слегка побледневшие, они подошли к лежавшему Исмагилю-абы и предложили закурить.

— Что везешь, мужик? — спросил тот, что угостил «Казбеком».

— Золото, — ответил равнодушно Исмагиль-абы.



В ответ парни дружно рассмеялись, разгоня последнюю бледность с молодых лиц, и все тот же, видимо, главарь, спросил:

— А на крыше, миллионщик, ради экзотики катишь?

— Душно в спальном, — ответил отчим в тон.

— А в мешок заглянем: любопытно все-таки, за что чуть жизни молодой не лишились. А, в общем, ты, мужик, не слабак, страх не затуманил мозги, вспомнил про мост. Спасибо, век помнить будем, — и он протянул ему крепкую руку в саדיнах и порезах.

— Ну и вонища! — брезгливо сморщился тот, что сунулся в мешок.

И пришлось Исмагилю-абы рассказать, зачем он ездил в Оренбург, да и про свою жизнь в пристанционном поселке тоже.

— Да брось ты все, провоняешь этим мылом насквозь, да и денег не загребешь, поедем лучше с нами. Мужик ты ловкий, в Ташкенте как-нибудь определимся, — предложил главарь, но отчим, поблагодарив, отказался.

Прямо на ходу один из компании спустился в ресторан и вернулся на крышу с водкой, вином и закусками, каких Исмагиль-абы давно уже не видел. Так, пируя на крыше ресторана, доехал он до дома. На прощание новоявленные «друзья» дали ему буханку белого хлеба и красную тридцатку...

XXVIII

В Оренбурге Рушан пробыл четыре дня. Архивы махалли Захид-хазрат, где родился Исмагиль-абы, частью пропали в гражданскую, когда на постое в квартале стояли дутовцы, а потом перевозились не раз из помещения в помещение, а немецкая пословица не зря гласит: «Два переезда равны одному пожару». Да что там давнее! Он с трудом отыскал два письма матери, которые она отправила в архив три месяца назад, и на которые не было ни ответа, ни привета. Но здесь уж Дасаев стучался не только в разные двери, но и стучал по столу во многих кабинетах.

Оренбург изменился здорово, с тех пор как открыли здесь газ, население удвоилось. В какой конец города ни заедешь,



езде жилые массивы — одноликие, без фантазии: что в Ташкенте, что в Туле. Считай, не стало еще одного старинного русского города с неповторимым ликом, зато появился новый индустриальный гигант. И любимый Дасаевым Урал там обмелел дальше некуда, а берега, окаймленные некогда буйной зеленью лесов, вызывали жалость. В общем, поездка огорчила, единственным утешением служили две добытые с большим трудом маленькие справки.

Отпускные дни таяли один за другим. Дасаев, не столько от сознания исполненного долга, а скорее от приобщения вновь к своему корню, роду, какого-то неясного ощущения близкого родства с краем, людьми, домом, рекой, всем окружавшим его в эти три недели, находился в таком душевном равновесии, душевном покое, какого давно уже не знал.

Сдав документы в собес, он часто ездил на велосипеде или ходил пешком на Илек: загорал, купался, пытался рыбачить. Но даже на самых жирных червей и щедрую, обильную приманку ловилась мелочь — рыбу извели подчистую. Вечером он старался поспеть к приходу отчима, ибо привык к неторопливому ужину, беседе после трудового дня. Потом они вместе поливали огород, делали что-нибудь по хозяйству, а позже, помогая друг другу, ставили самовар.

Из бумаг, отданных тетей Катей, Дасаев узнал, что отчим в разные годы шил кепки и шапки-ушанки, тачал сапоги и работал шорником, варил не только мыло, но и конфеты, одно лето был механиком на поливных огородах артели, а еще мельником, даже полгода в начальниках ходил — подменял заболевшего кладовщика. Не работал только на пилораме и в столярке, да кольца бетонные для колодцев не лил. И Дасаев думал: «Если бы в Мартуке была шахта — отчим вкалывал бы шахтером, были бы заводы — стал бы рабочим. Он и сам не раз жалел, что в их краях нет ни завода, ни большой фабрики — его сметке и умелым рукам нашлось бы дело...»

На реке Дасаев часто и подолгу размышлял о жизни отчима. Не была она устлана розами, скорее, шипами из металла крепкого сплава, но никогда, даже в дни отчаяния, Исмагиль-абы никого не ругал, а уж имел право, наверное, сказать: «За что воевали?» Но не говорил он таких слов ни трезвым, ни во хмелю.



Раньше, возвращаясь то из Ялты, то из Сочи, Рушан заезжал на денек-другой к старикам. Те, конечно, интересовались, как там в Сочи или Ялте. Города эти они видели на открытках, да еще в кино. Но никогда ни мать, ни отчим не сказали, что они всю жизнь проработали, а так ничего и не повидали. Вспомнилось ему это потому, что в расчетах на пенсию двадцать один раз встречалась графа «компенсация за неиспользованный отпуск». Поначалу смысл этих строк до него не доходил, пока вдруг его не озарило — двадцать один год без отпуска! Он хотел кинуться к матери и спросить: как же так? Но сам же остановил себя — зачем возвращать мать к грустным дням...

Взволнованный открытием, он несколько раз пересмотрел бумаги, но они бесстрастно подтверждали — двадцать один год. Рушан вспомнил, как часто здесь, у родителей, за самоваром жаловался, мол, устал, заработался, второй год без отпуска. А они, добрые милые старики, ни разу не сказали ему ничего обидного, не укорили своей жизнью, а лишь сочувствовали.

«Какое пижонство! Какое глупое пижонство! И перед кем? Перед собственными родителями!» — со стыдом думал сейчас Дасаев.

По вечерам иногда приезжал он на речку еще раз — верхом на лошади. Сын соседа Мустафы-ага, Мукаш, работал в колхозе бригадиром и, как истый казах, любил лошадей, даже собственного скакуна для байги имел. На областной байге чабаны предлагали за вороного Каракоза на выбор «жигули», что стояли у ворот ипподрома, но Мукаш даже не глянул с высоты скакуна на лаково-цветной ряд. Каракоза и давал Рушану выезжать Мустафа-ага по вечерам, потому что началась уборка и Мукаш дневал и ночевал в поле — не до коня было.

Перед самым отъездом пришел Мукаш с печальной вестью о Мустафе-ага. Мать доила корову, а Рушан, рано проснувшийся, вызвался выгнать ее в стадо — хотел в последние дни хоть чем-то помочь матери.

— Умер отец, умер Мустафа-агай, — сказал появившийся во дворе Мукаш.

Осунулся, почернел, неся из двора во двор печальную весть, красавец Мукаш, весельчак и первый джигит.

Мать пошла будить отчима, а когда Рушан вернулся, проводив Зорьку на выгон, Исмагиль-абы правил во дворе лопаты —



штыковую и грабарку. Тут же рядом, на земле, лежал лом. Пойти копать могилу Мустафе-ага вызвался и Рушан.

— Иди, иди, сынок, — сказала Гульсум-апа и вынесла из дома деньги — рублей двадцать, трешками и рублевками. — Иди, посмотришь последних наших стариков, ты должен их помнить. Они отца твоего ровесники, когда ты еще приедешь сюда... Попрощайся с аксакалами... А деньги раздай, когда они молиться будут, обычай такой. Пусть помолятся за Мустафу-ага, мир праху его, добрый человек, хороший сосед был... — напутствовала она сына до самой калитки.

Из переулков, улиц тянулись люди с лопатами к заовражному кладбищу. Кто-то из седобородых уже определил последнее место Мустафы-ага на земле, и теперь, прежде чем начать рыть могилу, поджидали стариков, совершавших утренний намаз. Да ждали еще муллу, бывшего бухгалтера, пенсионера Миннигали-бабая. Как бы ни жил, кем бы ни был человек, хоронить его надо тихо, покойно, без суеты, а медь, оркестры, речи менее всего подходят такому случаю, единодушно считали аксакалы Мартука.

Вряд ли истово верили в Бога собравшиеся здесь старики, вчерашние поденщики, разнорабочие, гуртоправы, месяцами перегонявшие стада на далекие мясокомбинаты Семипалатинска. Да и «мулла» Миннигали едва ли знал больше двух молитв, которые, наверное, вы зубрил, когда общество возложило на него, мало-мальски грамотного старика, столь важную миссию.

Могилу копали молодые парни и мужчины. Работали быстро, людей-то собралось много. Только в самом начале, когда не ушла могила выше колен, старики символически, самой легкой лопатой, выкинули по одной грабарке. Даже Рушану, хоть и он не отходил от ямы, не много досталось покопать.

Исмагиль-абы не стал дожидаться молитвы у свежeverытой могилы, а, наказав сыну прихватить домой инструмент, направился домой, — на работу было пора. Рушан оставался до конца, а когда опускали Мустафу-ага, принял его с Мукашем внизу и уложил на специальной доске в боковую нишу.

Когда все разошлись, Рушан еще задержался на мазаре. Кладбища мусульман особой ухоженностью не отличаются, нет у них и особого культа умерших, столь обременительного для оставшихся родственников, — в основном крашенные



железные оградки, а то и просто «таш» — бетонная глыба, что безвозмездно ставил каждому мудрый и справедливый мясник Барый-абы Шакиров, пока был жив.

Кладбище без цветов, без привычной яркой зелени, поросло серой полынью и колючим татарником. Дасаев осматривал надгробные камни, припоминал знакомые фамилии, а иногда и самих людей. Когда уже шел к выходу, взгляд упал на покосившийся камень, и он решил поправить его: может, и некому в целом свете навестить могилу.

Установив тяжелый камень как полагается и подровняв холмик, он с трудом прочитал на выкрошившемся бетоне: «Кашаф Валиев. 1923—1949», а чуть ниже с трудом разобрал надпись: «Онйтмагыз безне» ... Из тридцатилетней давности обращался к нему двадцатишестилетний парень: «Не забывайте нас...»

Кашаф Валиев.. Кашаф.. Рушан без труда вспомнил одного из трех парней, вернувшихся с войны. Не дожил, много не дожил до светлых дней Кашаф, а значит, из тех парней, ушедших на войну, остались двое: отчим и Васютюк. «Не забывайте нас... не забывайте нас...» — словно сквозь время кричал печальноглазый Кашаф.

По вечерам Дасаев с отчимом сидели во дворе на айване, который на узбекский манер сколотил Рушан, чем удивил Исмагиля-абы и обрадовал мать. Отчим, хотя и крепился, очень уставал на работе: шутка ли — целый день на ногах. Айван оказался кстати — подложив под локоть подушку, отчим полужелал, покуривая неизменные дешевые сигареты «Прима». Курил он по-старомодному, пользуясь мундштуком, да и сигареты держал в портсигаре. В такие минуты Рушан иногда ощущал, как наплывает какое-то новое чувство к этому человеку, хотелось подойти и сказать или сделать что-нибудь приятное.

Никогда раньше он не понимал, не задумывался, как гордо, по-мужски, не унижаясь, не расплескав на долгой и трудной жизненной дороге достоинства, прожил Исмагиль-абы. Не унижал и не позволял, насколько мог, унижать достоинство других.

В этот приезд мать рассказала ему о случае, который произошел лет десять назад. В тот далекий год совсем худо было с сеном — не то чтобы засуха, а просто колхоз не заготовил: некому было работать, а желающим накопить под пай не



разрешили, и сено в цене подскочило невероятно. Кто помоложе да с транспортом, из других районов и областей привезли. Тогда кто-то и надоумил мать написать в военкомат: в те годы как раз и начали вроде о льготах фронтовикам поговаривать. Написала мать, так, мол, и так, помогите фронтовику, орденосцу, человеку преклонных лет и слабого здоровья. Конечно, ни слова об этом Исмагилю-абы не сказала. Его ответ мать знала заранее: «Я воевал не за то, чтобы по льготам сено получать».

Прошло несколько дней, и как-то под вечер к ним зашел капитан, новый работник военкомата. Конечно, не обошлось без самовара на столе. Капитан расспрашивал отчима обо всем: о жизни, работе, о сыне, и о наградах тоже. Исмагиль-абы воспрянул духом, повеселел, орлом глянул на Гульсум-апа: вот, мол, через сколько лет вспомнили, интересуются... Спросил гость ненароком и о корове, и о сене. Хозяева, ободренные вниманием, вдвоем выложили свои тревоги и насчет коровенки — где ж им триста пятьдесят рублей на машину сена добыть. Тут капитан и предложил: а хотите, мы, мол, пристыдим через военкомат вашего сына в Ташкенте, пошлем письмо на работу, пусть поможет родителям деньгами. Секунды хватило, чтобы отчим понял, чем был вызван визит «любезного» капитана. Хоть с почтением он относился к властям и умел держать себя в руках, а тут не стерпел и показал оторопевшему капитану на дверь. Даже допить чаю не дал, отобрал пиалу из рук. А уж матери досталось — до сих пор помнит, потому и с пенсией такую конспирацию затеяла...

Уезжать, не узнав окончательного результата, Рушану не хотелось, и он уже собирался дать телеграмму на работу, что задерживается дня на два-три, как к обеду Исмагиль-абы вернулся радостный и возбужденный. За столом спросил у матери, показывая взглядом на холодильник, есть, мол, что-нибудь? Она поначалу и не поняла: муж никогда не пил в рабочее время. И потому, достав бутылку «Пшеничной», оставшуюся с банного дня, не преминула напомнить ему об этом.

— Все, отработался, шабаш! — озорно улыбнулся Исмагиль-абы, разливая остатки по рюмкам.

И стал рассказывать, как перед самым обедом вызвали его в отдел кадров и объявили, что пенсия ему определена и будет



получать он ее второго числа каждого месяца, значит, уже через неделю.

— Семьдесят два рубля, мать, семьдесят два рубля! — радовался отчим. — Переплюнул я все-таки Шайхи, у него только шестьдесят восемь... А семьдесят два, мать, нам хватит, нам немного нужно, верно я говорю? — вновь и вновь обращался к матери ошалевший от неожиданной радости Исмагиль-абы.

После обеда все в том же приподнятом настроении Исмагиль-абы отправился на работу, чтобы закончить последнее одеяло и сдать числящийся за ним инвентарь и инструмент. Признался все-таки отчим, что чертовски устал и очень рад пенсии. Рушан, подмигнув матери, пошел укладывать чемодан и упаковывать книги — решил ехать в Ташкент утренним почтовым поездом. А мать поспешила к соседке звать на помощь, — договорились на вечер гостей пригласить: и пенсию долгожданную отметить, и, заодно, проводы сына.

Тщательно укладывая книги в коробку из-под болгарского вина, выпрошенную накануне в сельмаге, Рушан вдруг задумался, почему отчим в такой важный для себя день вспомнил Шайхи и его пенсию. Он, конечно, знал, что у Исмагиля-абы с Шайхи было давнее скрытое соперничество. Борьба, правда, была неравная, на разных ступенях общественного положения стояли они: Шайхи, с таким же начальным образованием, как и отчим, благодаря партбилету умудрился всю жизнь проходить в начальниках, всегда «оценивал», «инспектировал», «курировал», «принимал» работу отчима.

Шайхи, человек недалекий, ничего в жизни толком не умевший, люто завидовал золотым рукам и светлой голове рыжего Исмагиля. Он всегда ждал, что вот-вот сломается Исмагиль, устанет ходить в учениках с седой головой и запьет, а тут ему и под зад коленкой как прогульщику и пьянице можно будет дать, — и такую комиссию возглавлял глуховатый малограмотный Шайхи. Но нет, держался солдат, не жаловался, по инстанциям не бежал, ничего для себя не выпрашивал.

А сколько сотен кепок, сколько десятков пар валенок отметил Шайхи Исмагилю-абы третьим сортом, а то и браком! — думал, что придет Исмагиль и попросит: не лютуй, мол, Шайхи, пожалей. А сколько пар валенок, тапочек, сколько кепок и шапок, будто бы взятых на экспертную комиссию, недосчитался



отчим, хотя, как истинный мастер, узнавал свою «бракованную» продукцию на домочадцах, родне и дружках Шайхи! Никогда отчим не кинул ему в лицо «вор» или «жулик». Но Шайхи всегда читал в усталых глазах Исмагиля, покрасневших от пыли и всегда грязной долгой работы, оценку своей персоны: мерзавец, неуч, вор, — потому и лютовал пуще.

Только однажды Исмагиль-абы праздновал победу, хоть и досталась она ему, что называется, себе дороже. Работал отчим тогда на мельнице, или, точнее сказать, на просорушке, — малосильная установка стояла рядом с кожзаводом. Мололи и для колхоза, и «давальческое», то есть частникам. А частник того времени приходил на мельницу с пудом-другим зерна, а уж с целым мешком не часто. За помол брали определенный процент мукой.

Пришел как-то на мельницу и Шайхи со своими старшими сыновьями. Разумеется, ни «здравствуйте», ни «салам-алейкум», как порядочные люди говорят, никому не сказал, а на длинную очередь — дело перед Новым годом было — даже не взглянул.

Каждый ссыпал свою пшеницу в бункер сам, и сам выбирал из ларя деревянным совком теплую муку в мешок. А отчим следил за тонкостью помола, сбавляя или, наоборот, прибавляя ход жерновам, квитанции выписывал и долю за помол в государственный ларь ссыпал.

Шайхи, едва кончился чей-то скудный помол, отпихнул казаха-очередника, и сыновья ссыпали в бункер тяжеленный мешок. Отчим, выписывавший очередную квитанцию, конечно, все это видел. Ни взвешивать мешок, ни оформлять квитанцию Шайхи не стал, и платить за помол, как все, конечно, не собирался.

Мука сразу пошла хорошо, и помол был что надо. Шайхи довольно шурился. Сыновья держали наготове мешок, а их продолжавший улыбаться отец торопливо кидал муку совком.

Исмагиль-абы сидел, закипая от бессилия и стыдясь за себя и за людей, испытывавших унижение, и только маска из мучной пыли скрывала горевшее огнем лицо. Он отошел от стола, взвесил чей-то мешок и потихоньку поднялся наверх. Что-то там посмотрел, поправил и вернулся за стол, продолжая писанину. Мука шла ровно, густо. Вдруг раздался треск, шум, из бункера вмиг ссыпались на жернова остатки пшеницы,



и вместо муки повалила ведрами какая-то мешанина, годная разве что на корм скоту.

Что тут началось! Шайхи, до того не сказавший ни слова, орал на Исмагиля, грозился всеми небесными карами и требовал возместить ущерб. Отчим сказал, что согласен отвечать, только пусть Шайхи покажет квитанцию, сколько и чего нужно возместить. Впервые ушел Шайхи не солоно хлебавши и долго припоминал отчиму тот мешок пшеницы. А отчиму пришлось весь новогодний праздник самому чинить мельницу...

Рушан подумал, что все это было давно и за давностью лет быльем поросло, а оказывается, нет, борьба Исмагиля-абы не прекращалась, и, кто знает, может быть, отчим и ему передал эстафету. Ведь недавно за столом рассказывали друзья, что Ибрай, сын Шайхи, в бытность свою здесь секретарем райкома комсомола обобрал сельские библиотеки района, и в целинных совхозах и колхозах побывал, и даже до дальних казахских аулов добрался, «просветитель» ...

Утром, по холодку, все втроем отправились на вокзал. Едва вышли из калитки, как по Украинской пронеслась яркая цепочка велосипедистов, на миг ослепив никелем и разноцветным лаком гоночных машин, еще раз напоследок напомнив Рушану о сгнувшем навсегда голубом «Диаманте».

Вскоре подошел поезд, и поскольку стоянка была трехминутной, Рушан, не мешкая, закинул свои вещи в вагон. Он стоял один в тамбуре перед распахнутой дверью и смотрел на своих стариков: мать рядом с отчимом казалась высокой, крепкой и еще молодой, а он — в подаренном Рушаном ярком свитере, с седым бобриком волос — выглядел подростком, таким беззащитным, что у Рушана перехватило горло.

Уже по старинке отбил отправление станционный колокол, а состав почему-то не трогался. И вдруг из глухого, заброшенного станционного сада за спиной Исмагиля-абы словно ветер донес голос печальноглазого Кашафа: «Не забывают нас... не забывают нас...»

Тепловоз неожиданно мощно рванул, лязгнули буфера, и состав тут же набрал ход. Рушан, ухватившись за поручни, высунулся в дверь и сквозь нарастающий грохот колес вдруг отчаянно, словно видел его в последний раз, закричал:

— Отец!.. Отец!..



XXIX

Вороша прожитую жизнь, Рушан порой поражался неожиданным параллелям, зигзагам и тупикам, что щедро расставляет она каждому.

Расхожее понятие «человек не на своем месте» имеет тысячу граней, и это теперь очень занимает Рушана. Самое очевидное — на поверхности: на этом месте должен быть другой человек, или — человек на чужом месте живет не своей жизнью. Или, например: кто-то вхож в специфическую среду (теперь обязательно не преминут добавить — элитную), но вполне мог бы, безболезненно для себя, и не входить в нее, а для другого эта среда необходима как воздух, он задыхается, не имея возможности попасть в желанную атмосферу.

Ташкент середины шестидесятых был тих, зелен, одноэтажен, славился баснословной дешевизной базаров и исключительной доброжелательностью жителей, до города-миллионника ему еще предстояло дорасти. Молодежь знала друг друга: отдыхали в одних и тех же местах, ходили в одни и те же парки, концертные залы. Они были молоды, холосты, объединяла их и совместная страсть — футбол, и виделись они часто, почти каждый день.

Как в любом порядочном городе, был и в Ташкенте свой «Бродвей», привлекавший шумной, яркой жизнью. Начинался он от сквера Революции, где некогда высился самый внушительный в Азии памятник Сталину, затем — огромная, словно отрезанная и поданная на блюде, косматая голова Карла Маркса, а ныне на этом месте гордо восседает на скакуне великий Тамерлан, которого прежде иначе, как «завоеватель», и не называли. Пролегала улица мимо старого четырехэтажного универмага, ломившегося от товаров, мимо известных со времен нэпа кинотеатров «Солей» и «Арс», переименованных стандартно, как и везде, в «Искру» и «Молодую гвардию», мимо кафе «Москва» и «Фергана», где в ту пору одиноко стояли не прижившиеся в Ташкенте автоматы для вина, а с противоположной стороны улицы по вечерам сияла огнем громада гастронома. Коренные ташкентцы вспоминают его, как москвичи — старый Елисеевский, где в рыбном отделе бочками стояла икра — и красная, и черная, и балыки не переводились.



«Бродвей» заканчивался у гостиницы «Ташкент», или у аптеки № 1, где работал еще один приятель Рушана — Нариман. Ну, а фасад оперного театра выходил на площадь с фонтаном. У гостиницы «Ташкент», построенной по проекту известного архитектора Булатова, в дни футбола собирались болельщики, ожидая, когда соперники «Пахтакора» выйдут к автобусу, что повезет их на стадион. Теперь это мало кого волнует, и не услышишь возгласов: «Смотри, Воронин!.. Месхи! Метревели! Стрельцов!.. Хусаинов!..»

Нет теперь уже ни универмага, ни гастронома с его шоколадно-кофейным запахом за квартал, нет ни «Москвы», ни «Ферганы» с винными автоматами, ни кинотеатров «Арс» и «Солей», нет ни первой аптеки, где работал Нариман и где начинался и заканчивался «Бродвей», как нет и самого «Бродвея» и двух замечательных комиссионных магазинов на углу, между кинотеатром «Искра» и кафе «Фергана». Все они исчезли после сильного землетрясения 26 апреля 1966 года.

С землетрясением в Ташкенте изменилось многое. Прежде всего, пропал его дух, своеобразие, свойственное восточным городам, где органично прижилась европейская культура.

Навсегда, безвозвратно сгинул «Бродвей», бывший чем-то вроде престижного клуба, доступного для всех, и где всегда можно было отыскать исчезнувшую из поля зрения девушку. Девушки того времени на вопрос о том, где можно их увидеть, так и говорили шутливо: «Ищите на «Бродвее».

Вместе с кинотеатрами «Искра» и «Молодая гвардия» безвозвратно исчезли и оркестры, игравшие в них перед началом сеансов, в одном из них пела Седа Бабаева, мать известной ныне певицы Роксаны Бабаян. Новому поколению зрителей трудно представить себе подобное действо в заплыванных фойе нынешних кинотеатров. Но молодежь того времени была самоуверенна и не сомневались, что построит город краше и лучше, чем был. Так оно и случилось, но это уже был другой город для других людей.

А тогда они встречались почти каждый день на «Бродвее», ужинали на открытых верандах бесчисленных кафе и столовых, пили прекрасное невероятно дешевое белое вино «Ок мусалас», «Баян Ширей», «Хосилот», спорили о новой программе Государственного эстрадного оркестра Узбекистана,



где в те годы пел популярный Батыр Закиров, прославившийся неповторимым исполнением «Арабского танго», и работал знаменитый джазовый аранжировщик, композитор и дирижер Анатолий Кролл, разъезжавший по Ташкенту на «Волге» странной черно-белой окраски.

А еще тогдашняя молодежь предвкушала предстоящую игру «Пахтакора» с грозным тандемом Красницкий — Стадник, блистательным Колей Любарцевым в воротах и цепким правым защитником Ревалем Закировым, вспоминала, какой шумный поэтический вечер устроил на днях в парке Горького тогда еще молодой поэт Александр Файнберг.

Как-то в компании Рушан познакомился с балетмейстером Ибрагимом Юсуповым, который оканчивал ГИТИС и в местном оперном театре готовил дипломную работу — балет на музыку Кара-Караева «Тропюю грома». Дружба с Ибрагимом, сразу ставшим ведущим танцовщиком балетной труппы и одновременно постановщиком, позволила Рушану ходить в театр через служебный вход, такое в то старое строгое время мало кому удавалось. Он видел многие репетиции, прогоны, сдачи спектаклей, не говоря уже о премьерах. Нельзя сказать, чтобы он ходил на репетиции специально, но иногда забегал за Ибрагимом и дожидался, когда тот освободится. Конечно, через год он знал всю балетную труппу, особенно девушек из кордебалета. Часто они с Нариманом, за спиной Ибрагима, договаривались с ними отправиться на кофе к Нариману, который снимал комнату рядом, на Узбекистанской, в старом еврейском дворе с колонкой и вечной лужей, — ныне там высится бесформенная мраморная громада Госбанка, похожая на саркофаг.

Иногда Рушан заходил за Ибрагимом на Педагогическую, где тот преподавал в балетном училище, ныне одном из старейших в стране. Однажды он пришел туда рано и просидел в балетном классе целый урок — ему очень понравилась одна юная ученица. Он подарил ей цветы, предназначавшиеся совсем для другого случая, и сказал, смущая девочку, что она станет большой балериной. Этой девочкой оказалась будущая звезда Кировского балета Валя Ганибалова. Много лет спустя, приехав в родной город на гастроли, она сказала, что помнит и пророчество Рушана, и свои первые цветы от благодарного зрителя.



Не исключено, что возможность видеть балет изнутри, из-за кулис, наблюдать за репетициями танцовщиц станет причиной его влюбленности в работы Дега. Нет, он не стал балетоманом, хотя с удовольствием ходил в прекрасное здание театра работы известного архитектора Щусева, построенного пленными японцами после войны. Ему нравились репетиционные залы, напоминавшие спортивные, запах декораций, нравились работы театральных художников, оформителей, костюмеров, — людям со стороны, наверное, казалось, что Дасаев — завянутый театрал.

В те годы Арам Ильич Хачатурян написал музыку к балету «Спартак», и Григорович, у которого Ибрагим некогда проходил стажировку, успел даже поставить его в Большом театре. Загорелся этой идеей и Ибрагим. Он несколько раз ездил в Москву и все-таки получил благословение композитора поставить балет на его музыку.

Можно сказать, что все встречи в ту пору на «Бродвее» начинались с разговора о том, как продвигаются дела со «Спартакoм». Оформлял спектакль известный художник из Еревана Мирзоян. Рушан к тому времени уже посмотрел в Москве балет Григоровича и восхищался работой Сулико Вирсаладзе, создавшего прекрасные декорации и костюмы. Ибрагим сокрушался, что у него мал кордебалет, мол, нет той оформительской мощи, фона для главных сцен, как у Григоровича. Рушан понимающе переглядывался с Нариманом: они тоже считали, что кордебалет стоит увеличить вдвое, втрое — там танцевали такие славные девочки!

Казалось, весь город жил предстоящей премьерой, тем более что на нее обещал прибыть сам маэстро Хачатурян, и Рушану, как своему близкому другу, Ибрагим поручил сопровождать композитора повсюду. Так и получилось, что на банкете по случаю премьеры они с ним сидели почти рядом. Такие вот парадоксы и зигзаги судьбы: прораб и балетмейстер, кордебалет и аптекарь, маэстро Хачатурян и работы Сулико Вирсаладзе...

Эти неожиданные повороты судьбы — бесконечная тема для размышлений, она может увести в какую хочешь сторону. Недавно, узнав из газет, что сгорел Дом актера в Москве, или, как его еще называют, ВТО, Рушан отправил на восстановление крупный перевод, рядом с фамилией обозначив свою профессию — прораб.



Получив внушительную сумму, распорядители наверняка удивлялись: прораб и Дом актера, что может связывать их? А все те же зигзаги судьбы — переступал и он некогда порог этого гостеприимного дома, был встречен радушно и даже любезно, провел там памятный вечер... Вот почему такой ответный жест. Как говорится, за добро платят добром.

Это сейчас как-то привыкли, что «все флаги в гости к нам»: и итальянская «Ла Скала», и штутгартский балет, и театр «Кабуки», и Лондонский симфонический оркестр, и Королевский Шекспировский театр, а ведь все начиналось тогда, в середине шестидесятых годов. Вот тогда многое действительно было впервые: и «Ла Скала» в Москве, и Герберт фон Караян, и знаменитый мим Марсель Марсо, и еще многое-многое другое...

Однажды поздним вечером они сидели в теплом баре гостиницы «Ташкент», дожидаясь Наримана, и вдруг Ибрагим, как всегда с жаром, выпалил:

— Забыл сообщить тебе главную новость — в Москву приезжает французский балет. Везут два одноактных спектакля: «Сюиту в белом» и «Коппелию». Вместе с театром пожелает моя однокурсница Вера Бокадоро, я получил от нее телеграмму.

— Ты поедешь? — спросил Рушан заинтересованно, уже по-хорошему завидуя другу.

— А как же! Предоставляется шанс впервые в жизни увидеть французский балет, — оживился Ибрагим и без умолку стал говорить о Петипа, Фокине и Дягилеве, упомянул и Рудольфа Нуриева, к тому времени уже оказавшегося на Западе. Потом безо всякого перехода спросил:

— А ты не можешь сделать себе командировку в Москву?

Рушану повезло: необходимость в поездке в Москву была, он без особого труда получил командировку в «Минмонтажспецстрой» и уже в Ташкенте знал, что место ему забронировано в гостинице «Пекин». Через день они прилетели в морозную Москву и на одну бронь устроились в гостинице вдвоем, — профессия Ибрагима и цель его визита были приняты во внимание администрацией «Пекина».

После спектакля Ибрагим, прорвавшийся за кулисы, вернулся со своей однокурсницей-француженкой и какой-то балериной из кордебалета, и они почти бегом помчались от Большого театра Столешниковым переулком на площадь Пушкина, в ВТО. Дело



было не только в морозе: Ибрагим, хорошо ориентировавшийся в Москве, знал, что начинается театральный разезд, и через полчаса в Дом актера будет не попасть. Они успели и провели там дивный вечер, оставшийся в памяти Рушана на всю жизнь. Кроме всего прочего, именно там он впервые, и единственный раз в жизни, пил французское шампанское «Кордон Вер».

В тот вечер Рушан видел вблизи многих звезд: актеров, режиссеров, эстрадных певцов, дирижеров, киношников, прямо к их столу подходило немало знаменитостей — Ибрагима хорошо знали в этом доме. Уходили они из гостеприимного ВТО далеко за полночь. Отправились еще куда-то продолжать веселье, и, помнится, Рушан захватил из Дома актера бутылку шампанского. И сколько тогда стоила бутылка «Кордон Вер» — «Зеленой Ленты»? Семь рублей! Невероятно! Но время и впрямь было удивительное...

Ибрагим сокрушался, что ташкентцы не увидят французский балет, и сумел все-таки уговорить ведущую танцевальную пару — Клер Мотт и Пьера Бонфу — приехать в Ташкент и станцевать главные партии в его «Жизели». В следующем сезоне они прилетели и порадовали любителей балета. Так частная поездка двух молодых людей обернулась праздником для многих почитателей Терпсихоры..

Вспоминая ушедшее время, Рушан как бы слышит неясный гул давних событий, невнятный шорох забытых голосов, и сегодня для него все они дороги и важны. Поэтому, может быть, приходят ему на память события неравнозначные, на чей-то взгляд не заслуживающие внимания, но он и не собирался, да и не в состоянии, охватить в воспоминаниях все неоднозначное время, которое осталось у него за спиной. Дай бог не забыть, успеть «предать бумаге» хотя бы то, что касалось его, безвестного строителя, коих тьма, или его знакомых, друзей, родных — людей, тоже не избалованных судьбой...

XXX

Возвращаясь мысленно к своей студенческой поре и первым годам, прожитым в Актюбинске, Рушан не может обойти вниманием еще один адрес: Почтовая, 72. Здесь жил тот самый



Роберт, что заблудился в новогоднюю ночь, провожая зеленоглазую девушку в яркой цыганской шали, гадавшую при свечах.

Припоминая тот Новый год с красным шампанским, Рушан восстановил еще одну существенную деталь, оказавшуюся пророческой. Когда Тамара раз за разом предсказывала всем одно и то же, язвительный и острый на язык Вуккерт не преминул заметить: «Ты, наверное, не умеешь гадать, мадам». Тамара аж вспыхнула от обиды, и глаза ее подозрительно заблестели. Отложив в сторону карты и задув свечи, она сказала, чуть не плача: «Я же не виновата, что всем вам выпадает дальняя дорога и ранняя печаль».

Время подтверждает, что гадать она все-таки умела...

В этом гостеприимном доме Дасаев бывал частенько, начиная со второго курса и до самого окончания техникума. У Роберта была труднопроизносимая для европейского слуха фамилия — Тлеумухамедов. Его отец, прокурор — крупный седой мужчина в годах, казах, был женат на его матери, татарке, вторым браком, и эта разница в возрасте чувствовалась, как и удивительно внимательное отношение к жене. В любви рождаются красивые дети, гласит старая истина, вот и сын у четы вырос видный, не только внешностью взял, но и характером.

Роберт, спортсмен по природе, прекрасно играл в баскетбол — увлечение по тем временам новое, и он же втянул Рушана в бокс. Но главное в другом — Роберт, кажется, был первым и долгое время единственным стилигой в их провинциальном городе, при нынешней раскрепощенной моде и нравах осознать сей факт довольно сложно.

Семья Тлеумухамедовых появилась в Актюбинске не так давно, — переехала с Урала, — и в рассказах Роберта Магнитогорск, где они жили прежде, долгие годы представлялся Рушану чуть ли не Чикаго, поскольку все их разговоры были связаны с джазом. Тогда, в середине пятидесятых, в первое пришествие рок-н-ролла в нашу страну, ребята влюбились в него сразу и навсегда. Как замороженные, они произносили имена Армстронга, Эллингтона, Диззи Гиллеспи, Гленна Миллера. Тогда никто бы не убедил их в том, что рок-н-ролл рано или поздно умрет, и сегодня, во второе его пришествие, когда первые поклонники уже собираются на пенсию, а его танцуют и слушают их дети и внуки, они запоздало гордятся



своими юношескими пристрастиями. И когда какой-нибудь юнец, которому кажется, что мир был сотворен лишь вчера, спрашивает, слышал ли батя Элвиса Пресли, тот не без внутренней гордости спокойно отвечает: «Да, сынок, тридцать лет назад». Все в мире повторяется...

Осмысливая то, что хотелось бы запечатлеть в «книге» о своем времени, Рушан вдруг обнаружил, что действительно все в мире повторяется и ничего нового он сказать, пожалуй, не может. Все банально до невероятности, все было до него десятки, сотни раз, будет и после него, сюжет любой книги укладывается в несколько слов: в некую девочку с голубыми бантами, или без них, влюбляется некий мальчик. И, как обычно, такая любовь безответна. И лишь когда время у обоих утечет, как песок из старинных часов, оно подтвердит запоздало усталой женщине, что это и была единственная любовь, дарованная ей свыше, а все поиски принца и неземной страсти — бессмысленны и тщетны. Не зря ведь сказал известный американский писатель Курт Воннегут: «Все книги пишутся ради одной женщины». Все так, или приблизительно так, хотя возможны варианты. А между всем этим — только дальние дороги, как всегда в России — без тепла и уюта, и печаль, разлитая по всей жизни, — и ранняя, и поздняя...

Это открытие сначала повергло Дасаева в уныние, и на какое-то время он оставил свои экскурсии в прошлое. Но от него не так-то просто было отвязаться, отойти, забыть. Прошлое настойчиво пробивалось сквозь сегодняшний день, словно опасаясь, что Рушан забудет все, перестанет вспоминать, и тогда уж оно, его прошлое, умрет безвозвратно. Умрет, истает, как каждый уходящий день его жизни. И он вновь вернулся к своим ежедневным воспоминаниям, вороша и тревожа прошлое...

Рушан уже давно смирился с тем, что уйдет из жизни, не оставив заметного следа, — труд его всегда был коллективным и отнюдь не выдающимся. Ведь не мог же он сказать, что построил, например, Заркентский свинцово-цинковый комбинат, поскольку его возводили тысячи людей, сотни прорабов.

Но ведь была у него, Дасаева, своя жизнь, и он любил, мечтал, ждал, — вот об этих сбывшихся и не сбывшихся надеждах ему и хотелось оставить память, чтобы не ушло все это вместе с ним в никуда. И после некоторого перерыва он вновь



стал подолгу простаивать по вечерам у окна, читал и писал одновременно книгу без начала и без конца, где все старо, как мир, где в девочку с голубыми бантами и нотной папкой в руке с первого взгляда влюбился провинциальный мальчик...

На Почтовой, 72 Рушан бывал часто, особенно последние два года учебы, когда очень сблизился с Робертом. Наверное, в его воспитании, мировоззрении и взглядах этот дом сыграл немалую роль. А любовью к спорту, джазу, своими вкусами и манерами он, конечно, во многом обязан Роберту.

Мать Роберта вела домашнее хозяйство, хотя до замужества преподавала литературу. Дом сиял чистотой, поражал гостей диковинными цветами на подоконниках, но Рушану больше всего запомнился запах пирогов. Там всегда что-нибудь пекли! Какой бы компанией ни вваливались к ним в дом — перво-наперво усаживали всех за стол: возможно, родители помнили свою голодную студенческую молодость. Там часто отмечали праздники, дни рождения, собирались по поводу и без повода. В доме не смолкали споры, смех и, конечно, едва ли не с утра до вечера гремела музыка. «Кажется, Армстронг поселился у нас навсегда», — шутил Бертай-ага, отец Роберта. Он часто присоединялся к их спорам, но никогда не подавлял своим авторитетом, не ссыался ни на возраст, ни на свое образование, хотя до войны успел закончить Ленинградский университет и защитить кандидатскую.

Бертай-ага не разделял фанатичного увлечения сына джазом, но и не подавлял его интересов. А они-то знали, что в горькоме ему уже не раз пеняли на пристрастие сына к буржуазной культуре.

Как мечтали тогда отцы города подстричь всех стилиг под нулевку! Возможно, будь в Актюбинске другой прокурор, и подстригли бы...

Рушан порою оставался у Тлеумухамедовых на ночь, особенно когда сдавали курсовые работы и приходилось чертить до утра. Однажды он услышал, как Бертай-ага кричал среди ночи: «Шашки наголо!», «Эскадрон, в атаку!» Видя удивленный взгляд Рушана, Роберт пояснил, что отец в гражданскую командовал эскадронам кавалерии, и те страшные бои ему снятся до сих пор. Вот так от ночного крика пожилого человека дохнуло вдруг на ребят историей.



Позже, когда друзья сына расспрашивали о гражданской войне, Бертай-ага рассказывал, что в сабельном бою не только всадники сражаются, но и кони грызут друг друга.

Спустя много лет, отдыхая в каком-то местном профсоюзном санатории, Рушан проснулся однажды от неожиданного крика и грохота отброшенной табуретки. Когда он вскочил и включил свет, сосед, пожилой мужчина, сидел на железной кровати и, потирая ушибленную ногу, виновато оправдывался:

— Извини, браток. Опять война приснилась. Кончились патроны, и я сапогами отбивался...

Вот так, запоздало, две войны эхом отозвались, отразились в его жизни. Тогда Рушан впервые задумался, что же ему, не воевавшему, будет сниться в страшных снах? Очереди за хлебом, которые он познал сполна с детства? Или куча михайловского угля, из-за которого они, дети, стояли насмерть? Или ладони матери с горсточкой зерна, из-за которого их сосед Грабовский отсидел от звонка до звонка пятнадцать лет? А может быть, очереди людей с затравленными глазами у западных посольств, вынужденных от беспросветности покинуть страну?

Бертай-ага возвращался с работы поздно, часто уставший, раздраженный, но, увидев ребят в доме, моментально преобразился. Обращаясь к жене, он нередко шутя говорил:

— Ну, дорогая, заживем же мы с тобой спокойно, когда закроется в этом доме джаз-клуб и орлы разлетятся по направлениям!

Тема эта муссировалась в десятках вариантов и стала расхожей в домашних разговорах и застольях, поднимали даже тосты за грядущую тишину в доме.

Быстро пролетели студенческие годы, отшумел выпускной бал, на который пришли и родители Роберта, знавшие почти всех ребят из его группы. Роберт, все годы скучавший по Уралу, через три дня после получения диплома уехал в Магнитогорск, и странная тишина наконец-то поселилась на Почтовой, 72.

Однажды Рушан получил весточку от матери Роберта, где рефреном через все письмо звучало: как мы скучаем без вас, а ведь прошло всего лишь несколько месяцев, как вы разлетелись по разным городам...

После окончания техникума Рушан работал на железной дороге на станции Кара-Узяк вблизи Кзыл-Орды. К Новому



году у него набралась неделя отгулов, и на праздники он поехал в Актюбинск, прихватив тот самый смокинг, что сшил ему бывший костюмер ленинградского театра. Конечно, первым делом он заявился на Почтовую, 72, но праздничного настроения в доме не было — Бертай-ага лежал в больнице с сердечным приступом.

Дом поразительно изменился, хотя по-прежнему сиял чистотой и поражал порядком, — но из него ушла жизнь, как сказала мать Роберта. Оказывается, запоздало выяснилось, что отец Роберта не выносил тишины, она ему была противопоказана. После работы Бертай-ага бесцельно ходил из комнаты в комнату, потом отправлялся на кухню к жене и мучил всегда одним и тем же вопросом — что сейчас делают наши дети? Имелся в виду не только Роберт, но и Юра Лаптев, и Петя Мандрица, и Ефим Ульман, и чеченец Лом—Али, и, конечно, он, Рушан.

«Однажды, — рассказывала мать Роберта, — я проснулась среди ночи, мне показалось, что в доме на всю мощь, как прежде, играет труба Армстронга. Оказалось, так и есть... Я на радостях подумала: Роберт вернулся и так решил оповестить нас. Но ошиблась... Это Бертай от бессонницы, с тоски поставил пластинку, чтобы хоть на время создать иллюзию прежней жизни. Когда пластинка кончилась, я встала, выключила проигрыватель, а когда шла назад, присела в темноте на кровать мужа. Бертай плакал, не скрывая слез...»

Потом она привыкла, что Бертай-ага по ночам уходил в комнату сына и, включив Эллингтона или рок-н-роллы Элвиса Пресли и Джонни Холлидея, с бутылкой коньяка просиживал до утра. В одно из таких ночных бдений его и хватил сердечный приступ.

Еще через полгода, летом, он умер. «Его сердце не выдержало тоски по вам, по вашим сумасшедшим разговорам и спорам, по вашей музыке, которую он, оказывается, очень любил», — сказала Рушану мать Роберта на похоронах.

На этой скорбной тризне они виделись с другом в последний раз. Позже Роберт женился на девушке Кларе из Мартука, из хорошей татарской семьи, но они не встречались больше ни в Актюбинске, ни в Мартуке. Потом Рушан слышал, что он с Кларой разошелся. Мать вскоре, продав дом, уехала к нему



в Магнитогорск, и последние нити, связывавшие их, оборвались навсегда.

Иногда, возвращаясь домой, Дасаев заходил на мусульманское кладбище в Актюбинске, находил могилу прокурора, любившего джаз, и возле нее вспоминал счастливые дни на Почтовой, 72.

В последнее свое посещение он сделал неожиданное открытие. Взгляд его упал на роскошный соседний памятник — рядом с прокурором покоился Шамиль Гумеров, картежный шулер, вор в законе. Поистине, пути господни неисповедимы!

Хотя Рушану нет и пятидесяти, он стал, к сожалению, свидетелем крушений многих надежд и судеб, причем не только людских. На его памяти исчезали города, кварталы, любимые здания и вокзалы, казахские аулы и русские поселения вокруг Мартука с ласкающими слух названиями: Белая Хатка, Красное Озеро, Покровка. Погибла река его детства — Илек, с многочисленными прекрасными пляжами, пропали тюльпанные поля за высокими его кручами, на лугах извелись начисто стрекозы, бабочки, кузнечики, высохли и превратились в болота озера с карасями и лилиями, с утиной охотой по осени. Потери видны повсюду — куда ни кинь взгляд, во что только ни вникни.

Сегодня, с высоты прожитых лет, иначе, чем в молодые годы, воспринимается еще один распад — церковного прихода, случившийся у него на глазах, и к нему оказались причастными люди, которых Рушан хорошо знал и даже был с ними накоротке. Сегодня, когда вроде бы наметилось возрождение церкви и у людей проявилась тяга к вере, эта история могла бы послужить кому-нибудь назиданием, ибо нельзя тянуться к святому из-за моды или перемены курса в идеологии, с корыстью в душе в божий храм лучше не заглядывать...

XXXI

В школе, где училась Тамара Давыдычева и где Рушан по этой причине часто бывал на вечерах, выделялся Жорик Стаин. Когда Дасаев появился там впервые, ребята отрекомендовали его Стаину как родственника Исмаил-бека. Жорик жил на Татарке, и имя Исмаил-бека, к которому он и сам нередко



обращался, было для него не пустым звуком, поэтому, наверное, у них сразу же наладились приятельские отношения, хотя закадычными друзьями они не стали. Но в провинциальном городке их пути пересекались довольно часто...

О, в далеком заштатном городишке, где прошли их молодые годы, Жорик слыл личностью известной. О его приключениях ходили прямо-таки легенды, а закадычные дружки, коих имелось немало, постоянно цитировали своего кумира, создавая ему славу провинциального философа. И, как ни смешно сейчас вспоминать об этом, среди молодежи даже бытовала манера поведения «а ля Стаин». Да что там молодая поросль провинциального городка, которой за каждым нашумевшим поступком Стаина виделся ее собственный протест против скуки, застойной жизни захолустья, если Жорик однажды заставил говорить о себе весь город.

К удивлению многих, и прежде всего самого Жорика, он не поступил в институт с первого захода — возможно, помешала излишняя самоуверенность или какая-нибудь сумасбродная выходка на экзаменах, но это навсегда и для всех осталось тайной, он и родителям не захотел объяснять, почему провалился. А учился Стаин в школе прекрасно, памятью обладал феноменальной.

Жорик мечтал стать законодателем мод, проще говоря — модельером, обязательно известным, и, наверное, преуспел бы в этом, — вкусом природа его не обделила, да и на машинке он шил на зависть многим девчатам, хотя распространяться об этом не любил: одно дело — модно одетый Стаин, и совсем другое — Стаин-портной. Тогда, по крайней мере, он не хотел, чтобы эти два понятия совмещались, а первым он очень дорожил и ревностно поддерживал репутацию модника. Однажды на школьном вечере он избил одноклассника, имевшего неосторожность язвительно сказать школьной красавице, слишком уж восторженно высказавшейся по поводу элегантности Жорика, что, мол, кому же и быть таким расфуфыренным, как не портняжке.

Задолго до окончания школы, еще с девятого класса, многие ребята знали о жизненной программе Стаина: Ленинград, где он собирался учиться, а позже завоевать его как модельер мужской одежды, не сходил у него с языка. Он и летние



каникулы дважды провел в Питере — знакомился с городом, который намеревался покорить... И вдруг — крушение всех надежд, планов, и это при его известности и безграничной самоуверенности. Возможностей остаться в любимом Ленинграде было хоть отбавляй — большие заводы наперебой зазывали на работу. Но трудовой путь был не для Стаина, он и помыслить об этом не мог и вернулся в свой город, из которого еще месяц назад не чаял как вырваться.

Дасаев помнит, как моментально разнеслось повсюду: «Стаин вернулся! Жорик приехал!» Особый восторг сообщение вызвало среди девушек — не одна из них тайно вздыхала по общему любимцу.

В тот же вечер Рушан увидел Стаина на центральной улице, с легкой руки того же Жорика прозванной «Бродвеем» и иначе среди молодежи с той поры не именовавшейся. Жорик, и прежде выделявшийся среди молодежи, выглядел в тот день, на взгляд местных стилиг, просто умопомрачительно: узкие кремовые брюки, коричнево-желтый твидовый пиджак в мелкую клеточку, однобортный и широкоплечий, с узкими лацканами и застежкой на одну пуговицу, туфли на толстой белой каучуковой подошве с блестящей пряжкой на боку. Довершали наряд темно-бордовая рубашка и золотистый галстук с рисунком, изображавшим яркую блондинку на фоне пальмы с обезьяной.

Надо сказать, что на Стаине, высоком и ладном, к тому же предельно аккуратном, умевшем носить вещи с завидной небрежностью, одежда не выглядела так уродливо, как на картинках карикатуристов всех мастей, пытавшихся изображать стилиг. А ведь Жорик был излюбленной мишенью всевозможных листков сатиры, стендов позора и прочих столь популярных в те далекие годы средств воспитания нравственности. Можно сказать, благодаря Стаину и держалась на высоте вся идеологическая работа горкома комсомола против чуждых веяний моды. Рушан даже сейчас, через столько лет, помнит яркие стенды «Окна сатиры» на центральной аллее парка, где местный художник изобразил Жорку с какой-то жутко размазанной девицей, танцующих рок-н-ролл на гигантском диске, естественно, не фирмы «Мелодия», а внизу еще и клеймящие позором стихи:



*Жора с Фифой на досуге
Лихо пляшут буги-вуги,
Этой пляской безобразной
Служат моде буржуазной.*

Жорик жил неподалеку от парка в районе, именуемом Татаркой, где с незапамятных времен обитала отчаянная городская шпана, словно по наследству передававшая дурную репутацию из поколения в поколение; жили там и братья Гумеровы, Шамиль и Исмаил-бек, приходившиеся теперь Рушану родней. К тому же взрослая часть Татарки: мясники, мездровщики, мыловары, колбасники, кожевенники — работала на мясокомбинате, самом крупном в те времена предприятии города, где директорствовал Маркел Осипович Стаин. Работа на комбинате ценилась высоко, и Стаина-старшего почитали. А потому на гордой Татарке с Жоркой первыми здоровались мужики, одним ударом кулака убивавшие быка, и не одному сыну-сорванцу драли с малолетства уши, чтоб он не обижал Стаина-младшего, а был ему другом и защитником. Да и Жорка, если не по природе, то по беспечности своей щедрый, пользовался любовью Татарки, не жалел ни карманных денег, которые у него всегда водились в избытке, ни знаний своих: и списывать давал, и подсказывал в школе. А уж когда он начал играть в футбол за местный «Спартак», за который оголтело болели и стар, и млад на Татарке, и быстро стал самым удачливым его бомбардиром, популярность его круто пошла в гору и от поклонников, а тем более поклонниц не стало отбоя.

Одного косого взгляда Стаина оказалось бы достаточно, чтобы в тот же вечер бесследно исчезла из парка карикатура с дурацкими стишками. Но Жорку словно забавляла его скандальная известность в городе, и он удерживал шпану, предлагавшую подпалить очередной шедевр парковой администрации:

— Зачем же? — говорил он небрежно, с ленцой. — Пусть висит. Жаль, девочка не в моем вкусе, а так нормально. Всем надо жить: мне — танцевать рок-н-ролл, комсомолу — чуждое и тлетворное влияние Запада осмеивать. Се ля ви, как говорят французы, или еще проще: каждому свое. Это диалектика жизни... — и вальяжно шагал к танцплощадке под растерянные и восторженные взгляды своих почитателей и болельщиков...



В начале сентября, вернувшись из Ленинграда, Стаин пригласил друзей и одноклассников в летний ресторан все в том же парке. Официантки с ног сбились, стараясь угодить Стаину-младшему, тем более что Стаин-старший как раз гулял здесь же, в противоположном конце зала.

Застолье запомнилось Дасаеву, да, наверное, и не ему одному. Стаин не производил впечатления человека огорченного или растерянного, а тем более поверженного таким фиаско с институтом. Но собравшиеся за столом понимали, что случилось непредвиденное, полетела в тартарары придуманная Жоркой красивая и заманчивая жизнь в городе на Неве — второй столице страны, а в том, что касается моды, может, и первой.

Первый тост Жорик поднял за сидящих вокруг друзей, поздравил кое-кого с поступлением в местный мединститут и, не скрывая иронии, выразил надежду, что будущие врачи, уж конечно, позаботятся о его здоровье, не дадут пропасть, если что, — в общем, все по-дружески мило, шутя. Потом тостам не было числа — за что только не пили... В конце вечера, когда никому не хотелось уходить, — большинство впервые вот так, по-взрослому, гуляли в лучшем городском ресторане, и обслуживали их по высшему разряду, упреждая каждое желание, — Стаин, который много пил, но не пьянел, вдруг объявил:

— Знаете, у меня есть еще один тост. Я твердо решил покончить с мирской суетой и намерен поступить в духовную семинарию, но в оставшийся мне год я хотел бы взять от жизни все... Так выпьем за веселье и девичьи улыбки!

Какой поднялся за столом переполох! Все стали наперебой давать Жорику шуточные советы, как вести себя с будущей паствой, и прочее, и прочее. Неизвестно, чем бы закончился неожиданно возникший горячий диспут о религии, если бы кто-то вдруг, рассмеявшись, не воскликнул:

— Да вы можете себе представить Жорика в рясе? Это же абсурд!

Засмеялись и остальные, настолько не вязался со Стаиным привычный всем вид священника. Собравшиеся за столом восприняли сообщение Жорика как очередную блажь щедрого на сумасбродства бывшего одноклассника.

Нет сомнения, что все, кто присутствовал на вечеринке по случаю возвращения Стаина из Ленинграда, тут же забыли



о духовной семинарии, куда он собирался поступать будущей осенью, забыли, еще не выйдя из-за стола, и иначе, чем за веселый и остроумный розыгрыш, не приняли. Но через неделю в городе поползли слухи: осуждающие и восторженные, одобряющие и клеймящие позором. В общем, разные...

Той весной, за полгода до позорного возвращения Стаина из Ленинграда, в их город, или, точнее, в церковный приход, взамен неожиданно умершего батюшки был назначен новый священник. Откровенно говоря, ни церковь, ни мечеть, расположенная на Татарке, никакой роли в жизни города не играли, существовали тихо, незаметно, вспоминали о них лишь в немногие дни религиозных праздников. Да и то в такие дни стекались сюда только богомольные старушки и благообразные старички...

Ни церковь, ни мечеть особым архитектурным изяществом не отличались, исторической ценности не представляли, чтобы хоть этим привлечь чье-то внимание. Выросшие почти одновременно в начале XX века постройки можно было ценить только за крепость и надежность, а главной достопримечательностью церкви являлся парк, когда-то давно разбитый вокруг нее по всем правилам садово-парковой архитектуры и ныне сильно разросшийся.

Прежний батюшка жил затворнически, вряд ли кто его видел и знал в городе, кроме редких прихожан. От суеты городской он отделился добротным каменным забором, тяжелые ажурные ворота гостеприимно распахивались лишь несколько раз в году, а в будни шли в церковь через массивную дубовую дверь в глухой ограде, при которой неизменно находился коренастый горбун мрачного вида. Не радовал прежнего священника и парк, за которым ревностно ухаживали садовник и прихожане, редко он гулял по его тенистым аллеям, посыпанным красноватым песком, даже в необыкновенно красивые долгие летние вечера. Говорят, святой отец тихонько попивал и оттого, осторожничая, избегал лишнего общения. Инертность батюшки не могла не влиять на приход, который, будучи и без того малолюдным, хирел день ото дня, пока его хозяин не приказал долго жить.

И вот появился новый батюшка. Он оказался на удивление молод — наверное, лет тридцати, не более, — и, конечно, мало



походил на служителей культа, которых все привыкли воображать немощными стариками с седой окладистой бородой, в сутане до пят, замызганной, закапанной воском, и непременно с дребезжащим козлиным голоском. Этот же скорее напоминал актера, снимающегося в роли священника: высокий, по-спортивному стройный, с живым блеском молодых глаз. Густая темная борода придавала ему вид интеллигента, черная муаровая сутана с воротничком-стоечкой, из-под которой виднелась всегда безукоризненно белая сорочка, больше напоминала вечерний фрак. Такому впечатлению очень способствовали узкие, по моде, полосатые брюки и довершавшие строгий наряд черные туфли на высокой шнуровке.

В иные дни молодой батюшка ходил с непокрытой головой, и его чуть тронутую сединой густую шевелюру не мог взвихрить даже ветерок, прилетавший в город с востока, из знойных казахских степей. Но чаще он носил мягкую черную широкополую шляпу, и она очень шла к его бледному, несмотря на очевидное здоровье, лицу. Может, бледность бросалась в глаз еще оттого, что огромные глаза, обрамленные по-девичьи длинными ресницами, горели каким-то необыкновенным внутренним огнем, что невольно притягивало внимание каждого. При нем постоянно была тяжелая трость из редкого суковатого дерева с серебряной ручкой в виде прекрасной лошадиной головы на длинной изогнутой шее. И эта изящная вещь тонкой работы, некогда явно принадлежавшая какому-нибудь барину, тоже не вязалась с обликом священнослужителя.

Облик обликом, но и распорядок жизни у нового батюшки оказался совсем иным, чем у его предшественника. По воскресеньям широко распахивались свежевыкрашенные черным сияющим лаком ажурные чугунные ворота, и с утра раздавался бой старинных колоколов. Правда, нестройный медный звон разносился не так далеко, ибо деревья ухоженного парка, разросшиеся за пятьдесят с лишним лет вширь и ввысь, давно переросли самую высокую колокольню храма, и едва родившийся звук угасал тут же, в церковном саду, не долетая к тем, кому предназначался.

В субботу и воскресенье батюшка целый день не покидал своих владений, но вот в будние дни... Ровно в десять утра он



выходил из дубовой калитки, которую услужливо открывал ему горбун, и не спеша направлялся в сторону городского парка, через полчаса появлялся на «Бродвее», обязательно минуя медицинский институт, хотя можно было пройти в центр и другой, менее оживленной и широкой улицей.

Поначалу появление священника на улицах вызывало любопытство. Батюшка своей ровной неторопливой походкой, не сбиваясь с шага, не озираясь по сторонам, как бы сосредоточенный на своих мыслях, шагал мимо заинтересованных горожан. Но так встречали лишь поначалу — вскоре к его утренним прогулкам привыкли и перестали обращать на него внимание.

Может быть, в семинарии или духовной академии, где учился батюшка, преподавали предмет сродни актерскому мастерству, ибо владел батюшка собою куда искуснее, чем актер. Время первого удивления быстро прошло, и прохожие не всегда мирно и учтиво обращались к нему, если случайно задевали на тротуаре, но батюшка никак внешне не реагировал на это. Казалось, ничто не способно было отвлечь его от высоких дум, только внимательный взгляд иной раз мог заметить, как белели пальцы сильной руки, сжимавшей тяжелую трость. Он шел по центральной улице мимо магазинов и лавочек, никогда не заглядывая ни в одну из них, ничего не покупал ни в киосках, ни на лотках и, выходя на улицу Орджоникидзе, всегда сворачивал налево, к рынку.

Поднимаясь вверх по улице, ведущей на Татарку, где в ближних к базару переулках встречались нищие, батюшка молча подавал каждому, будь то православный или мусульманин, серебряную монетку и, не сбиваясь с шага, продолжал свой путь. На базаре он так же молча, ничего не спрашивая, не прицениваясь и не покупая, обходил ряды и даже заглядывал в крытый корпус, где продавали битую птицу и молочные продукты, — словно санитарный врач, только с пустыми руками. Обойдя все закоулки базара, он уходил, едва замедляя шаг у чайной, где собирались городские выпивохи. Завидев батюшку, завсегдатаи мигом скрывались за дверью и даже захлопывали ее, хотя он не проявлял намерения заглянуть туда.

Наверное, новый батюшка, как и все молодые люди, строил грандиозные планы, а может, даже был тщеславен и оттого



считал своим приходом весь провинциальный городок, медленно заносимый песком из великих казахских степей, а не только тех прихожан, которые даже в воскресный молебен терялись в большом ухоженном саду. Он ежедневно обходил уверенным шагом город, как свои церковные владения, и словно вглядывался и изучал свою будущую паству.

Странно, но частенько во время утренней прогулки, и всегда в одном и том же месте, навстречу батюшке попадался главный режиссер местного драматического театра, который по посещаемости мог поспорить с церковью.

Правда, служитель Мельпомены, в стоптанных ботинках и лоснящихся брюках, уже изрядно побитый жизнью и зачастую под хмельком с самого утра, вряд ли мог тягаться по внешнему виду с батюшкой, вся фигура которого излучала силу и уверенность. Но не исключено, что в это время двум столь разным людям приходила в голову одна и та же мысль: «Это мой город, и я завоюю его! Дайте только срок! Вы еще будете плакать благородными слезами духовного очищения!» — и каждый видел свой алтарь, широко распахнутые двери своего заведения, расположенные в разных концах равнодушного и к театру, и к церкви города.

Во время прогулок святой отец ни разу не остановился, не заговорил ни с кем, если не считать тех минут, когда он подавал милостыню и щедрым жестом осенял кого-нибудь крестным знамением, но подобного внимания достаивался не каждый. Дешевой агитацией он не занимался, в церковь не зазывал, но весь его вид как будто говорил: «Я ваш духовный отец, я пришел, я буду смотреть, как вы живете, в чем видите радость, что есть для вас счастье...»

Говорят, и в своих проповедях батюшка не упрекал тех, кто забыл дорогу в церковь, не уговаривал никого вести с собой соседа, но что-то было в его речах, если старики и старухи дружно повалили на молебны, а слух о том, что батюшка молод да пригож собой, разнесся далеко окрест, и верующие из близлежащих деревень стали наезжать по воскресеньям в город..

И можно представить себе удивление горожан, уже привыкших к одиноким прогулкам батюшки, когда однажды он появился на улице не один, а вместе со Стаиным. Да-да, с



Жориком. Они прошли обычным маршрутом батюшки, чуть дольше обычного задержались на базаре и возвратились, как всегда, миновав медицинский институт. Держались они словно давние друзья, о чем-то оживленно разговаривали, не обращая внимания на то, что встречающие провожают их удивленными взглядами. Они шли сквозь любопытствующий, но на этот раз молчаливый строй, никого не замечая. Даже подростки воздерживались кричать издали: «Поп, поп — толоконный лоб» или напевать фривольную песенку о попаде — Жорика Стаина город хорошо знал, и связываться с ним никому не хотелось.

Если главного режиссера местного театра вряд ли кто знал в лицо, кроме его актеров да, пожалуй, отдела культуры горкома, то отца Никанора представлять не требовалось — все были наслышаны, что в городе появился новый священник, весьма оригинальный человек. Появление его теперь каждый день в обществе Стаина-младшего вызвало новую волну интереса к нему. То был конец пятидесятых годов, и в дремотном городишке редко происходили важные события, поэтому даже приезд в город нового батюшки вызвал такой интерес — хоть и праздный, он все же был налицо.

Неторопливые прогулки в одно и то же время и по одному и тому же маршруту так резко выделявшихся из общей массы молодых людей, конечно, не могли не привлечь внимания. Стаин с отцом Никанором представляли любопытную пару, и режиссер, встречая их каждый день утром, невольно церемонно расшаркивался с ними и, с тоской глядя им вслед, наверное, думал: «Мне бы их в театр, валом бы народ валил».

Жорик рядом с отцом Никанором выглядел ничуть не хуже, ему даже не приходилось прилагать усилия, чтобы особо не отличаться от батюшки, только вместо галстука под белую рубашку он надевал темный шейный платок, а единственной пижонской деталью его одежды оставались белые носки к черным мокасинам. Стоило Жорикю пару недель не побывать в парикмахерской, и его густые волнистые волосы упали на плечи, придав ему удивительное сходство с молодыми семинаристами.

Облик Стаина в часы прогулок удивительно преображался: он был само внимание, послушание, кротость. Однако



и с прической, и с внешностью к вечеру происходила странная метаморфоза: стоило Жорику несколько минут поколдовать над собой у зеркала, и являлся совсем иной человек, в котором ничто уже не напоминало кроткого семинариста — то был типичный самодовольный стилиста с неизменной презрительной гримасой, портившей его довольно красивое, привлекательное лицо. Не зря приглядывался к нему режиссер — в Стаине наверняка умер незаурядный актер.

Жорик относился к разряду парней, избежавших подростковой угловатости, худобы и прыщавости. В восемнадцать лет он был ладным, красиво сложенным парнем, мало кто мог угадать его возраст, а в эти годы так хочется выглядеть взрослым, и Жорик старался вовсю.

Он первым в классе побывал на вечернем сеансе в кино, первым побрился, первым стал посещать танцплощадку в парке, и не через дыру в заборе, а официально, с билетом. Впрочем, он во многом был первым, если не во всем, хотя только с возрастом понимаешь, что никакой разницы нет в том, весной ты появился на танцплощадке или позже, осенью, в мае ходил принципиально на последний вечерний сеанс в кино или в июле, но тогда это казалось главным, и ценился каждый первый шаг, чего бы это ни касалось.

Жорику нравилось быть первым, вызывать чью-то жгучую зависть или ревность. Конечно, он раньше сверстников закурил: у Стаина-старшего «Казбека» в доме было не счесть — возьми одну пачку, никто не заметит. Пить тоже, наверное, начал первым, хотя утверждать сложно, но зато по сравнению с другими у него и тут оказалось громадное преимущество.

Раньше каждой области разрешалось иметь свой водочный завод, чтобы совсем не захирела экономика. Производство это было донельзя примитивное, несложное и оттого расплодилось повсюду. Когда Жорик пошел в первый класс, появился такой заводик и у них в городе, а директором стала его мать, руководившая местным пивзаводом. В подвале у Стаиных водки всегда было вдоволь, и не простой, как в магазине, а особо очищенной, как хвалилась мать постоянным и частым гостям.

Водка, которая в доме водилась в неизбыточном количестве, служила рвущемуся во взрослый мир Жорику всеильным пропуском: если подростков, болтающихся в парке, никто



не замечал, никуда не зазывал, не приглашал, то Жорика привечали везде и все.

Особым шиком у парней считалось посидеть до танцев на летней веранде кафе, где подавали пиво, а то и пропустить по стаканчику вина, и взрослые ребята не раз угощали Жорика пивом, зная, что за ним не заржавеет. Потом он и сам стал приходить в парк, завернув в газету пару бутылок водки и прихватив круг копченой колбасы, и смело подсаживался за стол к взрослым ребятам с Татарки. На такую неслыханную дерзость отважился бы не каждый, даже принеси он с собой бутылку, но Жорик Стаин был личностью особой. И как льстило ему, когда самый лихой закоперщик Татарки — Исмаил-бек, на чьей груди цветной тушью был выколот орел, распластавший крылья, просил его иногда после танцев: выручи, мол, Жорик, добудь бутылку. И Жорик, конечно, выручал, ибо гордый Исмаил редко о чем просил, а слово его и авторитет были непререкаемы...

Рушан дивился тому, как весь досуг многих людей тогда был пропитан вином и водкой, и как чудовищно изощрялись при этом, и как почиталось умение выпивать лихо, с шиком. Однажды Жорик принес в парк три бутылки водки и обещал налить каждому, кто сумеет выпить до дна налитый до краев стакан, не расплескав ни капли и не дотрагиваясь до стакана руками. И тут же показал, как следует выполнить задание, не пролив ни капли. Поцеловав дно стакана и достав соленый огурец из пакета, с хрустом закусил, — неторопливо, с улыбочкой. В общем, Стаин показывал класс.

Желающие хоть захлебнуться, но выпить на дармовщину, конечно, нашлись. Но Жорик не был бы Жориком, если бы не постарался хоть в чем-нибудь унижить других. Водки он не налил, а, показывая на кран, советовал потренироваться на водичке. Пацаны расхватили все стаканы в киоске газированной воды и, обливаясь и захлебываясь, демонстрировали перед Стаиным свои возможности, а Жорик сидел на скамье и, похохатывая и издеваясь, подстегивал неудачников.

В тот вечер никому не удалось выпить на халяву — появился Исмаил-бек с компанией и увел Жорика, сказав: «Нечего с водкой цирк устраивать, пойдем, лучше с нами посидишь, если заняться нечем...»



XXXII

Каждый день в одно и то же время Стаин продолжал совершать прогулки с отцом Никанором. Батюшка, человек образованный, эрудированный, рассказывал Стаину о годах учебы в семинарии и в духовной академии, о библиотеках с редкими книгами по философии, делился впечатлениями о жизни в Киеве.

Внимание, с каким относился к его речам юноша, вселяло в отца Никанора веру, что пришла к нему удача в таком захолустном и безбожном приходе. Он уже мысленно видел лица своих бывших духовных наставников в семинарии, читающих его рекомендательное письмо, где он просит принять в лоно церкви пытливого ума юношу. Отец Никанор понимал, что уход в религию заметного в городе молодого человека из благополучной семьи, легко расстающегося с мирскими соблазнами, мог иметь далеко идущие положительные последствия для его прихода, числящегося в Синоде в ряду крайне неблагополучных: в первый же год направив посланника от прихода в семинарию, он напомнил бы своим бывшим наставникам, что оправдывает возлагавшиеся на него надежды.

Внимать-то Жорик внимал речам батюшки, но вечером каждый раз, тем не менее, приходил в парк на танцы, и в его поведении и внешности, казалось, ничего не изменилось, только на груди под распахнутой красной рубашкой появился тяжелый золотой крест редкой работы, отделанный ярко-рубиновой перегородчатой эмалью — щедрый подарок отца Никанора. Когда Жорик, разгорячившись, азартно танцевал рок-н-ролл, крест бросался в глаза каждому, и не увидеть его мог только слепой, но такие на танцы не ходили.

Через неделю в церкви раскупили дешевые медные крестики, пылившиеся десятилетиями, и вскоре уже половина танцплощадки щеголяла в них, выставляя напоказ. Иные спешно выпиливали их из бронзы или латуни, делали массивными, затейливой формы. Рушан и много лет спустя, видя молодых людей с болтающимся на шее крестиком, наивно верил, что это поветрие пошло от Жорика.

В горьком комсомоле, конечно, своевременно и оперативно отреагировали на неожиданно возникшую ситуацию



с религиозным уклоном, и в парке опять появились карикатуры на Стаина: на одной он отплясывал буги-вуги в сутане, на другой — прогуливался с отцом Никанором. Подписи были краткими, но с намеком: «Дорога в мракобесие» и «Не тот путь».

Отец Никанор пожаловался городским властям на оскорбление личности, и его больше не затрагивали. А Жорик и в ус не дул, подходил к щиту с дружками и, посмеиваясь, весело обсуждал работу художников. Правда, возмутился, что на «Дороге в мракобесие» его изобразили слишком коротконогим, и карикатура провисела заметно меньше других.

На «Не том пути» Стаин был изображен импозантно, словно специально позировал карикатуристу, — каждая деталь его одежды была тщательно прописана. Дружки спрашивали Жорика, не поставил ли он художникам пару бутылок водки за старание, но он загадочно улыбался, не подтверждая и не отрицая такой возможности и окружая свою личность еще большим туманом. Кстати, карикатура, провисев положенное время в парке, исчезла и вскоре поселилась в комнате Жорика в дорогой раме, а позже Стаин преподнес ее сокурснице Дасаева на день рождения в качестве оригинального подарка.

Вызывали Стаина и в горком комсомола, куда он явился по первому требованию. Жорик, уже тогда большой демагог по части разговоров о конституционных свободах и гарантиях, к тому же поднатасканный более опытным в идеологии батюшкой и наверняка тщательно подготовившийся к встрече, вконец заболтал смущавшихся девушек из отдела пропаганды. Он даже пригрозил им, что когда окончит семинарию, то непременно вернется в родной город, и уж тогда они повсюду за молодежь. Об этой Жоркиной наглости тоже стало известно в городе.

Скандалная популярность Стаина в ту осень круто поднималась в гору. На полном серьезе рассказывали, что однажды, когда Стаин шел на бал для первокурсников, проводившийся ежегодно в медицинском, какая-то дряхлая бабулька, увидев его, вдруг упала на колени и запричитала: «Благослови, батюшка!» Ничуть не растерявшийся Жорик, как и должно, спокойно осенил умиленную старушку крестным знаменем и неторопливо продолжил свой путь.



Пока не зачастили долгие обложные дожди, неожиданно перешедшие в снегопад, и не наступила зима, Жорик каждый день прогуливался с отцом Никанором, но теперь они уже часто меняли маршрут, неизменным оставалось лишь шествие мимо института.

Рушан знал, что у родителей Стаина были из-за сына неприятности на работе, их куда-то вызывали, требовали, чтобы они приняли меры. Дома с Жориком говорили, и всерьез, и со слезами, но ничего не изменилось, он продолжал встречаться с батюшкой и часто приходил от него с подарками: роскошно изданными книгами о житиях святых. Более всего он дорожил Библией в дорогом кожаном переплете, отделанном серебром, — этот редкий фолиант он иногда держал в руках, когда прогуливался с батюшкой.

Зима приглушала и без того не слишком веселую жизнь города, особенно она сказывалась на досуге молодежи. Снежная, холодная, с метелями и ураганными ветрами, порой валившими с ног прохожих, она разгоняла жителей по домам. Парк с почерневшими верхушками лип и тополей, с погребенными под снегом танцплощадкой и летним кафе, белел огромным снежным комом среди города. Поздно светало, рано темнело, казалось, конца зимней спячке не предвидится.

Но вечерняя жизнь, несмотря на холод и метели, все-таки продолжалась, следовало только хорошо в ней ориентироваться, а это умел далеко не каждый. Рушан, увлеченный в ту пору джазом, был в курсе культурных событий и зимой.

Тогда же стали популярны вечера в институтах, где программы долго и тщательно готовились, — что скрывать, они соперничали между собой, и оттого попасть туда было совсем не просто. И какие проводились концерты, как старались оркестры! Дважды в неделю, в субботу и воскресенье, в городском Доме культуры проходили танцы под джаз, где неистовствовал на саксофоне Эдди Костаки. Небольшой зал не вмещал и половины желающих, но, несмотря на это обстоятельство, собирались там одни и те же молодые люди.

Теперь из-за изобилия кафе, дискотек, Домов молодежи почти забыто, как раньше собирались в складчину по всяким веским и не очень веским поводам у кого-нибудь на квартире или дома. Такие вечеринки, называвшиеся на местном жаргоне «балехами», возникали чаще всего стихийно.



И на труднодоступные вечера в институты, и в Дом культуры, и на самые интересные «балехи» Стаин имел доступ, везде его ждали, у него всегда был билет, пропуск, приглашение.

В перерывах между танцами, когда оркестр отдыхал, Стаин частенько поднимался на эстраду заказать песню или поговорить о новой композиции. Иногда оркестр до глубокой ночи готовил что-то новое на репетиции, где частенько бывал и Рушан, и Жорик приходил не с пустыми руками, а непременно захватив пару бутылок водки и хорошей колбасы — студенты, игравшие в оркестре, не страдали отсутствием аппетита.

Но в ту зиму Стаин иногда объявлял друзьям-музыкантам: мол, скукота у вас невероятная, пойду-ка я к отцу Никанору, покоротаю вечер с пользой для души. Прямо из фойе, позвонив по телефону бабушке, имевшему привычку засиживаться до глубокой ночи, и получив «добро», он, попрощавшись, уходил в церковь.

Так неспешно катилась та последняя беззаботная зима Стаина. Уже никто не отговаривал его от странного решения стать священником, все свыклись и, откровенно говоря, жалели шалопаю Стаина. Были, правда, и восхищавшиеся им, а уж в глазах прекрасной половины их городка, у которой он и без того пользовался успехом, Жорик выглядел чуть ли не великомучеником, принесшим себя на алтарь непопулярной в советские годы религии.

Похоже, успокоились и дома, по крайней мере, родителей перестали теревить в горькое. Прислали официальную бумагу, что рассматривается вопрос о зачислении Георгия Стаина в Киевскую духовную семинарию. Правда, побеспокоили Жорика из милиции: почему здоровый парень не работает? Выручил отец Никанор — дал справку, что Стаин служит при церкви на какой-то хозяйственной должности. Вся «работа» Стаина заключалась в ночных беседах с отцом Никанором, но зарплата шла регулярно, и выдавал ее дьяк раз в месяц. В такие дни Жорик кутил особенно широко и от души посмеивался: на свои трудовые, мол, гуляю.

Частые ночные беседы с отцом Никанором, ежедневные долгие прогулки, чтение религиозной литературы и редких книг по теологии не прошли для Стаина даром. Молодая память, еще не разрушенная алкоголем, быстро впитывала все,



и Жорик, не напрягаясь, цитировал целые страницы Библии, не говоря уже об интересных абзацах. Увлёкся он и философской литературой, тяготевшей к церковным учениям и мистицизму.

Бывая на танцах, вечеринках или на репетициях оркестра, он всегда удачно и к месту вставлял в разговор цитату или приводил высказывание какого-нибудь богослова или святого, читал на память строку из Библии, причем непременно называл стих и главу, из которой она взята. Не исключено, что Жорик иногда извращал смысл стиха, изымая или добавляя какое-то слово, наполнял его новым, необходимым для него самого или ситуации смыслом, — никто ведь ни проверить, ни опровергнуть его не мог.

В любой разговор — даже о девушках, музыке, джазе, моде, — в любой треп Стаин так ловко вплетал цитаты, афоризмы, выдержки, что у неискушенных молодых людей невольно складывалось впечатление о его духовном превосходстве. Даже чтобы заставить кого-нибудь выпить, он всегда находил религиозный аргумент, устоять против которого было невозможно, хотя церковь отнюдь не поощряла пьянство. Даже его лихие остроумные тосты были насквозь пронизаны религиозным мистицизмом.

Щедрое словоблудие при широчайшем общении — от компании Исмаил-бека до джазового аранжировщика Эдди Костаки — не могло не дать результатов, и среди молодежи города даже годы спустя были в ходу церковные словечки, цитаты, что считалось хорошим тоном, свидетельством высокого уровня культуры. Особенно почиталось его словоблудие девушками, на них магически действовал не только тщательно подобранный стаинский текст, но и артистизм, с которым Жорик его излагал, и не исключено, что в девичьих альбомах, модных в те годы, среди прочих дешевых сентенций были записаны перевранные Стаиным библейские заповеди.

XXXIII

Город уставал от долгой и трудной зимы, от необходимости круглые сутки топить печи, — ведь в ту пору он на три четверти состоял из собственных разностильных домов; уставал от короткого дня, который в иные дни уже с обеда начинал



переползать в сумерки, от метелей и ураганов, свирепствовавших обычно весь январь и февраль; страдал от перебоев транспорта — дряхлые, латанные-перелатанные автобусы ходили редко, и горожане не особенно рассчитывали на них, а оттого в дальний путь без особой надобности не пускались.

И, как награда за суровую зиму, весна в их краях была на удивление красивой. Приходила не спеша, с оттепелями, капелями, проталинками, теплыми нежными ветрами. А придя, стояла, по примеру зимы, долго, и только в конце мая, когда отцветали яблони в редких садах и палисадниках и сирень уже не кружила голову молодым, только тогда, да и то не торопясь, передавала она полномочия лету. Оттого весну любили, ждали, скучали по ней. Всем хотелось скорее освободиться от громоздкой и неуклюжей зимней одежды, развязать разномастные шали, снять сыпавшие повсюду кроличий пух шапки, закинуть на печку до следующей зимы валенки, без которых не обходились даже записные модницы.

В конце марта, когда от тягучих влажных ветров из степи начинали оседать сугробы и снежная шапка парка резко спадала, оголяя голые сучья благополучно перезимовавших деревьев, на центральную улицу — Карла Либкнехта выходили дворники и энергично принимались сгребать остатки снега, словно оправдывая свое долгое зимнее безделье. И если не случалось неожиданного снегопада — бывало и такое в марте, — уже через неделю улица, единственная в городе, чернела выщербленным асфальтом дороги и тротуаров.

Уставшие от зимы горожане вряд ли замечали выбоины и колдобины главной улицы — она была для них предвестницей наступающей весны, ее первым приветом.

В апреле, когда в церковном саду еще лежал снег, а аллеи по утрам сверкали тонким ледком, к обеду превращавшимся в лужицы, отец Никанор вместе со Стаиным снова начали выходить в город, хотя прогулки стали короче прежних, осенних, — на соседних с Карла Либкнехта улицах, по которым они гуляли раньше, еще стояла непролазная грязь.

Еще чувствовалась весенняя свежесть, и отец Никанор поверх сутаны надевал черное кастиоровое пальто вполне светского покроя. Стаин щеголял в новом демисезонном, тоже черном, двубортном, с высокими, до плеч, острыми лацканами, с кармашком



на груди, как у пиджака, из которого всегда кокетливо торчал беленький платочек. Появилась у него и черная широкополая велюровая шляпа, которую он надевал каждый раз по-новому, и особенно шикарно она выглядела, когда он гулял без батюшки.

Они так дополняли друг друга, что казались единым целым, и вполне могло показаться, что Стаин тоже состоит на церковной службе, а вовсе не на хозяйственной. Поэтому, когда Жорик появился на улице один, старухи, встречавшиеся на пути, приостанавливались, и не выгляди Стаин столь недоступным, они не дали бы ему и шагу ступить. Но Жорик, когда надо, умел держать дистанцию. Он мог позволить себе лишь погладить по голове ребенка, идущего за руку со старушкой, и жест расценивался как милость, об этом долго судачили потом на завалинках. Конечно, случалось, и не раз, когда какая-нибудь старушка бросалась к нему, прося благословения, или рвалась поцеловать ему руку, но из подобных щекотливых положений он выходил не суетясь, с достоинством, не признаваясь даже экзальтированным старухам, что не имеет никакого церковного сана и не может никого благословлять. Он раскусил толпу, для которой важна была внешняя суть, а не сущность, и потрафлял ее вкусам. Потрафлял щедро, с выдумкой, ибо природа заложила в него многое.

Прогулки вскоре пришлось оставить — центральная улица день ото дня становилась оживленнее, и продираться сквозь толпу, словно на базаре, не доставляло удовольствия, приходилось отвлекаться, здороваться, извиняться. К тому времени подсохла главная аллея в церковном саду, и Стаин с батюшкой иногда прохаживались по ней.

Весной и произошли события, вновь всколыхнувшие городок.

К маю не осталось никаких следов зимы. Разъезженные по ранней весне дороги кое-где подлатали, а лужи высохли сами по себе, и не стало препятствий для прогулок, наоборот, все располагало к ним — запах цветущих лип, тополей, голубой сирени неудержимо вытягивал на улицу. И на Карла Либкнехта, особенно после работы, было так многолюдно, как на Первое мая, когда народ расходится после демонстрации. Уже открылся парк, и вырвавшиеся на простор трубы, тромбоны, саксофоны не знали удержу — город вступал в лучшую пору года, лучился смехом, улыбками, надеждами.



В своем одновременном великом пробуждении актюбинцы как-то не сразу заметили, что Стаин перестал гулять с батюшкой, да и отец Никанор уже давно не появлялся на весенних улицах. Хотя в мае тому легко находилось оправдание: стоял великий пост, а в конце месяца наступала Пасха, главное событие в церковной жизни. Первая Пасха для отца Никанора в новом приходе.

Что-то происходило и со Стаиным, хотя образа жизни он не изменил. Сыграл первый в сезоне футбольный матч, забив три мяча «Локомотиву», и Татарка, до того слыхом не слыхивавшая о бразильской торсиде и итальянских тиффози, спустилась в тот субботний вечер в парк и шумно гуляла до полуночи. За каждым столиком кафе и летнего ресторана, на всех скамейках, где выпивали, захватив из дома закуску, за которой время от времени вновь гоняли пацанов, крутившихся под ногами, только и слышалось: «Стаин... Стаин... Жорик...»

На танцплощадке он по-прежнему находился в центре внимания, всегда окруженный толпой юнцов, ловивших каждое его слово. По-прежнему оставался равнодушным к своему костюму, только внезапно подстригся — не то чтобы очень коротко, но поповская грива, умилявшая старух, исчезла с плеч, отчего лицо стало еще привлекательнее. «Чтобы легче было играть в футбол», — сказал кто-то, и эту версию Стаин опровергать не стал.

Однажды среди недели Жорик неожиданно объявил оркестрантам, что завтра уезжает.

— В Киев? — спросил кто-то из джазменов, свыкшихся с неожиданными поворотами в его судьбе.

— Нет, в Крым, на все лето, — ответил Стаин и нехотя добавил: — Завязал с религией, надоело...

Нужно было играть, и разговор прервался. Но Стаин не подошел попрощаться, как рассчитывали музыканты, и на следующий день действительно исчез и пропал все лето.

А через неделю в местной газете появилась публикация, не оставшаяся незамеченной. Называлась она длинно и претенциозно: «Еще одна молодая судьба, отвоеванная у церкви». Не менее длинной и путаной оказалась и сама статья, включавшая и пространное интервью Стаина, рассуждения о церкви и религии, но теперь уже цитаты и афоризмы он выдерживал



из других источников, налегая в основном на высказывания основоположников марксизма-ленинизма. С какой энергией и жаром еще месяц назад он отстаивал церковные постулаты, с такой же пытался ныне разрушить их. Но людям, близко знавшим Стаина, не все внушало доверие в статье, не все поверили в искренний порыв и мажорный пафос выступления — между строк так и проглядывал ухмыляющийся Жорка. В заключение журналист желал молодому человеку, идущему столь тернистым путем к утверждению личности, успехов и выражал уверенность, что люди и организации отнесутся с пониманием к его необычной судьбе. Так Жорик предстал жертвой коварной церкви и стал героем, нашедшим в себе силы порвать путы и выбраться из религиозной трясины.

Статья, как и всякая другая, забылась бы вскоре, если через месяц после Пасхи отца Никанора не отозвали из прихода. И по городу поползли слухи: то ли отец Никанор промотал с Жориком какие-то деньги и церковные ценности, то ли в карты проиграл их Стаину. Говорили и о том, что не всегда зимними вечерами Жорик приходил к бабушке один, мол, заглядывал туда и глуховатый Шамиль Гумеров, известный на Татарке картежный шулер, бывали там и девочки, готовые идти за Стаиным в огонь и воду. Последняя догадка как будто была небезосновательной: именно однокурсница Дасаева, прелестная, но легкомысленная Ниночка Кабанова вдруг тихо забрала документы и исчезла в неизвестном направлении сразу после отъезда бабушки. Так, вольно или невольно, Стаин развалил поднявшийся из застоя приход, и церковь больше никогда не привлекала особого внимания жителей города.

Спустя несколько лет после окончания техникума, когда пути Рушана со Стаиным окончательно разошлись, он случайно прочитал в «Крокодиле» фельетон о некоем блудном бабушке, ловко пользовавшемся тайной исповеди.

В числе его многочисленных жертв упоминалась и Нина Кабанова, которую он сорвал с учебы и увез из прежнего прихода, сделав своей содержанкой, а позже и подручной в аферах.

Дасаев вспомнил: летом на танцах прошел среди оркестрантов слух, что пьяный Шамиль хвалился им, как крепко они с Жориком «хлопнули» бабушку в карты, и что молодцом был



не он, а Стаин, накануне незаметно унесший запечатанную колоду старинных карт, а уж подточить ее, наколоть и снова запечатать — для Шамиля было делом пустячным. Из-за этой ловко подложенной меченой колоды батюшка и потерял, мол, приход. Но слух дальше оркестрантов не пошел — о делах Шамиля в их городе распространяться было не принято, а попросту — опасно.

Так невольно Рушан оказался свидетелем возрождения и падения церковного прихода в провинциальном городке на западе Казахстана, но тогда ни он, ни люди постарше не придали этому событию большого значения: атеизм, насаждавшийся жесткой рукой государства, приносил свои плоды — плохие или хорошие, это каждый решал сам.

Но наверняка нашлись и люди, признательные Стаину за дискредитацию церкви, и прежде всего в обкоме и горкоме: их действительно беспокоила нарастающая популярность отца Никанора, они чувствовали свою беспомощность в честной и открытой борьбе с религией — и вдруг такая неслыханная, а главное, нежданная удача. И выходило, что Стаин, человек необузданных страстей, вольно или невольно сослужил службу государственному аппарату...

XXXIV

Видимо, Рушан и впрямь имел творческую жилку, иначе его столько лет не мучили бы подобные вопросы.

Перебирая прошлое, он вспомнил, как предсказал судьбу знаменитой балерины Валентины Ганибаловой, но упустил два других случая из того же ряда, которые могли бы несколько иначе осветить его собственную жизнь и поступки.

В середине шестидесятых годов он работал на строительстве крупного химического, а потом и металлургического комплекса в малоизвестном по тем временам городе Заркенте, что в часе езды от Ташкента. Месяцами жил в отстроенной для специалистов гостинице «Весна».

Город возводился с размахом — по замыслу проектировщиков, он должен был стать еще одним маяком социализма, — и потому многое в нем поражало воображение. Например, свой



мототрек с гаревой дорожкой, тогда второй в стране после Уфы. По весне там собирались знаменитые гонщики, асы с мировым именем: Борис Самородов, Игорь Плеханов, Юрий Чекранов, Фарит Шайнуров и легендарный Габдурахман Кадыров, двенадцатикратный чемпион мира по спидвею. Спортсмены тоже подолгу останавливались в той же гостинице.

Рушану тогда казалось, что духовная жизнь Заркента вращалась вокруг престижной гостиницы. В те годы новые города были окутаны флером какой-то романтики, вызывали особый интерес, им посвящались стихи, песни, и гастролеры, обожавшие Ташкент, не упускали возможности побывать в Заркенте, рекламировавшемся как предвестник городов будущего, где создаются все условия для воспитания гармоничной личности, нового советского человека.

Размах поражал: город уже располагал прекрасными спортивными залами и даже имел великолепный Дворец спорта, на зависть иным столичным городам, не уступал ему по архитектуре и роскоши отделки и Дом искусств с двумя концертными залами. Знаменитые артисты тех лет, нередко наезжавшие в Заркент, тоже облюбовали гостиницу «Весна» — прибежище талантливых архитекторов, зодчих, видных специалистов в области химии и металлургии и молодых руководителей строительства, коих обитало здесь больше всего, и они чувствовали себя в юном городе хозяевами.

Такой творческой атмосферы в среде строителей, как в те годы в «Весне», Рушан больше никогда и нигде не встречал, хотя за свою жизнь поездил и построил много. До глубокой ночи сияли огнями окна гостиницы, разговоры, начатые в ресторане или баре, продолжались в номерах, — о чем только тут не спорили, о чем только не мечтали!

В ту пору Рушан, постоянный жилец «Весны», и перезнакомился со многими известными спортсменами и журналистами, актерами и эстрадными звездами, и даже писателями, которых тоже привлекал город будущего.

Рушан помнит повальное увлечение горожан спидвеем. Так же, как и многие, он был влюблен в Габдурахмана Кадырова, чей красный шарф, наверное, не выветрится из памяти никогда. Позже неистово болел за местный футбольный клуб «Металлург», где доигрывал знаменитый пахтакоровец



Станислав Стадник и блистали грузинские варяги: Джумбер Джешкариани, Роберт Гогелия и Тамаз Антидзе.

Несмотря на занятость, он тогда много читал, потому что вокруг постоянно велись разговоры о театре и книгах, кино и музыке, о живописи, музеях и выставках, — такое распаханное, окрыленное и странное, на нынешний взгляд, было время. С этажа на этаж, из номера в номер передавались журналы, книги, рукописные тексты, те самые, что сегодня называют самиздатом. Куда бы ни пришел, непременно можно было услышать: «А ты читал?.. А ты видел?..»

Книжный бум, уже зарождавшийся в стране, до тех краев еще не докатился, и в магазинах, а не на черном рынке, можно было купить любую книгу, и в свободной продаже встречались редкие экземпляры, раритеты по нынешним понятиям.

Если быть до конца объективным, то в том давнем книжном интересе приоритет отдавался зарубежной литературе. Это позже Дасаев поймет красоту и мощь русской литературы, и прежде всего Бунина, который затмит для него на долгое время многих других писателей. На следующем витке своего интереса к литературе он сам найдет дорогу к советским авторам, к которым снобы относятся скептически, и надолго на его столе поселятся книги Катаева, молодого Казакова и Распутина; он откроет для себя Битова и Фазиля Искандера, Тимура Пулатова и Гранта Матевосяна, Белова и Можаяева, Трифонова и Маканина...

Как-то, возвращаясь с работы, он купил на уличной распродаже прекрасно изданную толстую книгу «Условия человеческого существования». Роман оказался переводом с японского не известного ему автора Дзюмпей Гомикавы, хотя он знал о другой книге с таким же названием, принадлежащей перу известного итальянского писателя. Огромную книгу, почти в тысячу страниц, — теперь таких романов уже не пишут, — он одолел за несколько ночей. Книга потрясла его, и он до сих пор помнит имя главного героя — Кадзи.

Много позже, читая в прессе про литературные споры об успехах или неудачах социалистического реализма в нашей литературе, в которые были втянуты даже школьники, не говоря уже о студентах вузов, Рушан невольно вспоминал ту толстую книгу, ее название, которое художник подал серебристыми



буквами наподобие самурайских мечей, и он думал, что отцы новой идеологии, насаждая идею социалистического реализма в советской литературе, мечтали, наверное, именно о таком герое — цельном, нестигаемом, верном принципам и идеалам, достойном подражания. И если бы у него спросили, каким он видит идеального героя, подходящего под клише соцреализма, он без колебания назвал бы Кадзи — героя японской книги. Автор писал роман в начале нашего века, без всяких идеологических шор, без классовой предвзятости, оттого, вероятно, у него и вышел герой на все времена и для всех народов.

Книга ошеломила его, он навязывал ее всем друзьям и знакомым, но, странно, ни у кого она не вызвала восторга. Лет через двадцать, листая в поезде свежий номер журнала «Иностранная литература», он прочитал, что ассоциация писателей Страны восходящего солнца признала роман Дзюмпей Гомикавы «Условия человеческого существования» лучшей японской книгой XX века. Как он порадовался тогда своей молодой прозорливости, — к этому времени он уже знал, что самая читающая страна в мире все-таки Япония, а не СССР.

А лет через пять испытал еще одну радость, связанную с этой книгой, — натолкнулся в газете на сообщение, что японское телевидение сняло двадцатисерийный фильм по роману, и его уже приобрели десятки стран. Но напрасно Рушан искал в длинном списке свое родное государство — СССР не значился среди них.

Возможно, когда-нибудь, запоздало, появится фильм и на экранах наших телевизоров — ведь купили же спустя пятьдесят лет после создания и всемирного восторга «Унесенные ветром». Вот тогда, наверное, кто-то из пенсионеров припомнит, как почти сорок лет назад, в Заркенте, молодой прораб по имени Рушан горячо рекомендовал прочитать этот роман, и как от него отмахивались, а, выходит, зря.

Все может быть, ничто не проходит бесследно, все взаимосвязано, и рано или поздно это обнаруживается, все становится на свои места, подтверждение тому — история нашей страны, вся наша жизнь. Ведь совсем недавно, через четверть века, Рушан опять натолкнулся на новое издание романа, потрясшего его в молодости. Все повторяется...



В то лето, когда Рушан встретил на летней танцплощадке Валу Домарову крашеной блондинкой, он уже работал мастером и прибыл в Мартук в трудовой отпуск. Как-то, гуляя перед обедом по поселку, заглянул в книжный магазин, довольно богатый для райцентра, и купил тоненькую книжку зеленого цвета в мягкой обложке из серии «Зарубежный роман XX века». Книга была издана года три назад, оказалась уцененной и стоила двадцать копеек.

Ни автор, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, ни название «Великий Гэтсби» ничего не говорили Рушану, лишь серия и издательство «Художественная литература» служили гарантией качества книги незнакомого писателя. Он начал читать роман еще по дороге домой и проглотил его уже через два часа. В тот же день он вновь пришел в магазин и на радость продавщицам выкупил все оставшиеся экземпляры — ровно две дюжины.

В Ташкенте Рушан раздарил книги друзьям и знакомым, увлекавшимся литературой. И опять, как в случае с японцем, не последовало никакой реакции. Но с Фицджеральдом не пришлось ждать двадцать лет, как с Гомикавой: года через четыре после публикации его нового романа «Ночь нежна», а может, еще по какой причине, в стране начался прямо-таки фицджеральдовский бум, как до этого — хемингуэевский. Вот тогда многие, кому он дарил «Великого Гэтсби», вспомнили давний восторг Рушана и, запоздало прочитав роман, благодарили за чудную книгу...

Такие вот странные приключались с ним истории. И они помогали в тяжелые минуты, когда думал, что жизнь прожита зря, впустую, без открытий. Сегодня, размышляя о прошлом, Рушан мучается еще одним, навсегда безответным вопросом: почему он оказался провидцем с Гомикавой, Фицджеральдом и даже в прогнозе объединения Германии, а так ошибся, вместе с Лом—Али Хакимовым уверяя Эллочку Измествеву, что юрист — отживающая, умирающая профессия, и в нашем обществе вскоре не будет работы для правовых органов?

Наверное, все оттого, что его поколение, продолжавшее по традиции называться детьми Ленина и Сталина, безоговорочно верило: все мрачное в молодом развивающемся социализме — это наследие темного прошлого, и как только уйдут в небытие



последние носители чужой идеологии, исчезнет все негативное вокруг, в том числе и преступность.

Рушан никогда особенно не интересовался политикой, не был и рабом какой-то идеологии. Конечно, как почти все, был и пионером, и комсомольцем, но политика его не привлекала, и, став взрослым, когда решения принимал уже сам, партийным билетом не обзавелся, хотя зазывали его упорно.

Сегодня многие лукавят, утверждая, что иначе, мол, не пробиться было ни в науку, ни в искусство, ни в иные сферы, потому-де и рвались в КПСС. Но он мог с прорабской прямоотой сказать, по крайней мере, о своем поколении: вступали, чтобы сделать карьеру, занять должность, теплое местечко. Те, от кого зависела его возможность получить партбилет, и говорили открыто: хочешь быть начальником, работать за границей — вступай в партию. Он не вступил, начальником не стал, за границу не поехал, но и не жалеет, что всю жизнь проторчал в прорабах.

Рушан интуитивно чувствовал, что предназначение человека на земле — не примыкать к чему-либо, а быть кем-то, создавать, созидать, и это природное, мужское начало удержало его от «взрослых игр» — в преображение мира, строительство самого справедливого общества на земле, воспитание нового человека, гармоничной личности. А знаменитое ленинское изречение, висевшее на каждом перекрестке, на фронте почти любого официального учреждения, умными людьми воспринималось как пародия сатирика на партию. И в самом деле, разве это не смешно: «Коммунистом можно стать тогда, когда обогатишь свою память знаниями всех тех богатств, которые накопило человечество»?

Что-то ему не приходилось встречать в жизни таких мудрых коммунистов. Хотя статистика свидетельствовала, что их в стране почти двадцать миллионов, ему как на подбор попадались дремучие, невежественные, злобные, жуликоватые. Может, отвращением к политике он обязан именно этому ленинскому изречению, рано попавшему ему на глаза и воспринятому как нечто ложное, фальшивое, выдававшее желаемое за действительное.

Наверное, ни о Ленине, ни о партии Рушан не вспомнил бы, обошелся как-нибудь без них, но сегодня, когда такой раздрай в обществе, в стране, все разговоры вокруг только о партии, о ее вожде или вождях...



В юбилейный год перестройки — ведь и ее уже стали исчислять пятилетками — Рушан отдыхал в профсоюзном санатории. За столом сложилась солидная мужская компания. Самым молодым оказался он, остальным было далеко за пятьдесят, и, конечно, все разговоры велись о партии, перестройке, Горбачеве, Ленине — Сталине, нынешних лидерах, подлинных и ложных. Дасаев быстро уставал от пустых и злобных бесед, пытался приходиться и пораньше, и попозже, но избежать каждодневных дискуссий не удавалось. Все сотрапезники за большим обеденным столом, кроме Рушана, оказались коммунистами, и как они трижды в день крыли свою бедную партию — нужно было видеть и слышать. Рушан однажды не вытерпел и вступил-таки в разговор:

— Я не член партии, не испытываю к ней ни любви, ни симпатии, но и не проклиная ее, хотя, если судить по фактам, есть за что. Но я никогда в жизни не встречал людей, так люто ненавидящих свою организацию, как вы. Так почему же, не любя, насмехаясь над ней, вы продолжаете состоять в КПСС? Наверное, никто из вас не сдал публично свой билет? Мне кажется, партия опасна уже тем, что состоит из людей, ненавидящих ее, не разделяющих ее взглядов. Это больная партия, и надо либо лечить ее, либо дать ей умереть...

После этой тирады ему пришлось пересесть за другой стол.

«Двухподбородковые ленинцы, я к вам и мертвый не примкну...»

Оказывается, и об этом уже писали поэты.

XXXV

В дни, когда в разных концах страны ломали и калечили памятники вождю и основателю советского государства, Рушану не могла не вспомниться история, связанная со 100-летием со дня рождения Ленина. В тот момент по телевизору показывали, как крушили внушительный монумент на Западной Украине. Ужасная картина: каменный Ленин со стальной петлей на шее, а вокруг — восторг, ликование, и ни одного коммуниста, вставшего на защиту своего вождя...



Странное он испытывал тогда состояние: конечно, это был чистой воды фарс, но не покидало ощущение, что на глазах его происходит и самая настоящая трагедия. Трагедия крушения веры в возможность справедливого общества. Неужели и впрямь такое общество невозможно создать? И снова придется крушить пьедесталы и свергать очередных вождей?

Тогда и припомнилась та давняя история.

В юбилейную весну семидесятого года он работал в крупном строительно-монтажном управлении и, видимо по молодости, был избран в профком, но, скорее всего, формально, потому как постоянно пропадал в командировках. Вот тогда, накануне юбилея вождя, он и получил общественное поручение...

Профком возглавлял однокурсник по заочной учебе Фарух Зарипов, ташкентский парень. Дасаев случайно наткнулся на него в коридоре.

— А вот и тот, кто нам нужен! На ловца и зверь бежит! — с радостным возгласом оттащил он Рушана в сторону. — Слушай, тут из треста грозная телефонограмма поступила насчет наглядной агитации в честь дня рождения Ленина...

— Нет, я ни писать, ни рисовать не умею, — ответил Дасаев, пытаюсь вырваться из цепких рук председателя профкома.

Фарух улыбнулся.

— А я от тебя таких жертв и не требую. Партком вот и адрес подсказал, где централизованно, для всей республики, готовят стенды.

— Да, фирма веников не вяжет, — съехидничал Рушан.

— А ты как думал? Партия ничего на самотек не пускает, — серьезно ответил Фарух. — Но я думаю, там очередь, и не малая — не одни мы заримся на готовенькое, — и без блата не обойтись. Правда, меня обрадовала фамилия директора художественных мастерских — Гольданский. Помнишь, он раньше в «Регине» с Халилом в одном оркестре на ударных стучал. Ты же раньше знался со всеми джазменами в городе, и ребят с Кашгарки знал... Они там и заправляют. Марик, кажется, до землетрясения жил на Узбекистанской — в одном дворе с твоим другом Нариманом. Короче, вся надежда на тебя. До юбилея осталась неделя, добудь стенд — ты знаешь, за это строго спросят, — а в качестве стимула — путевка на море в первую очередь, учитывая важность задания...



Как тут было отказаться? Да и Марика захотелось пови-
дать, вспомнить «Регину», Халила, двор на Узбекистанской,
откуда вышел знаменитый футбольный бомбардир Геннадий
Красницкий...

Художественные мастерские находились где-то во дворах
напротив ОДО — Окружного дома офицеров. Некогда внуши-
тельный особняк, с мраморными колоннами на парадном входе,
роскошными залами, салонами, рестораном принадлежал до
революции Дворянскому собранию Туркестана, где часто по ве-
черам играл в бильярд великий князь Николай Константинович,
двоюродный брат царя Николая II, там часто давались балы и
принимали высоких гостей.

ОДО славился знаменитым парком с редкими деревьями,
ухажеными клумбами, огромным розарием, рестораном на
свежем воздухе и танцплощадкой, где собиралась солидная
публика, а по воскресеньям играл духовой оркестр.

Рушан жалел, конечно, что не было теперь в бывшем
Дворянском собрании ни картинной галереи, ни редких
скульптур, ни бюстов, мраморных и бронзовых, в изобилии
расставленных когда-то во всех залах и коридорах, у лест-
ничных пролетов. Жаль было, что из шестнадцати гобеленов,
некогда украшавших залы собрания, сохранился лишь один,
да и то прожженный в двух-трех местах.

Один знающий старик, хаживавший в бильярдную еще до
революции, рассказывал, какая роскошная библиотека была
при доме, какие сервизы из фарфора и серебра на триста
персон украшали столы в дни приемов и в праздники. Но чего
нет, того нет, хорошо, хоть фотографии остались. Однако и
разграбленное, запущенное здание ОДО даже через пятьдесят
лет поражало воображение, и Рушан любил бывать в нем.

По пути в художественные мастерские он прошелся по зна-
комому парку, год от года ужимавшемуся, словно шагреновая
кожа: то одна организация внаглую оттяпает кусок территории,
то другая.

А ведь парк бывшего Дворянского собрания, наверное, был
единственным в Ташкенте, заложенным по проекту известного
русского ландшафтного архитектора, специалиста по садо-
во-парковой культуре, — теперь-то ни слов таких, ни профес-
сии в нашем упрощенном быте нет. Грустно, что ни построить,



ни создать ничего толком не умея, доставшееся в наследство от предыдущих поколений рушим варварски и без оглядки.

После землетрясения 1966 года прямо напротив розария ОДО строители возвели громадную столовую национальных блюд. Место бойкое: и Алайский базар рядом, и сквер Революции в квартале ходьбы. Но Рушан, глядя на стекло и бетон очередной столовки-забегаловки, видел канувший в небытие краснокирпичный особняк в два этажа с каменным львом у высокого мраморного крыльца. Он знал, что в этом доме смотрителя народных училищ, ныне разрушенном, вырос гимназист Александр Керенский, в пору столетия В.И. Ленина доживавший свой век в Париже. Всякий раз, проходя по бывшей улице Сталина, менявшей потом названия так часто, что ташкентцы окончательно запутались, возле особняка со львом, с годами ставшего похожим на большую домашнюю кошку, Дасаев ощущал какое-то волнение, личную связь с историей, да и с тем же Октябрем, к которому был причастен и мальчик из дома напротив бывшего Дворянского собрания...

Направляясь к Марику, Рушан припомнил, что там же, во дворах рядом с художественными мастерскими, останавливался некогда поэт Максимилиан Волошин. Дасаев любил Ташкент, интересовался его историей и поражался, что нет до сих пор книги о том, какие выдающиеся люди жили здесь до революции и позже, в годы войны, и в недалеком прошлом гуляли по его тенистым улицам, сидели в уютных чайханах. В общем, он шел к Марику, проникнутый сознанием исторической важности юбилея вождя, но в душе жалея мальчика из краснокирпичного особняка, вынужденного бежать с родины и доживать глубокую старость на чужбине...

Гольданского на месте не оказалось, хотя кабинет был распахнут настежь и, судя по дымившемуся окурку на обшарпанном и залитом чернилами столе, хозяин недавно вышел. Сами мастерские занимали две просторные комнаты с давно не мытыми высокими окнами. Впрочем, судя по стенам и потолкам, здание лет тридцать не знало и ремонта. На дверях каждой из комнат висела табличка «Студия №1», «Студия №2». Ни в одной из комнат Марика не было.

Студии, ничем не отличавшиеся друг от друга, оказались заставлены холстами — одни уже были загрунтованы, другие



поспешно грунтовались, а высохшие торопливо и ловко расчерчивались на квадратики, и тут же, следом, какие-то мужики, мало похожие на художников, замазывали клетки краской. Причем большинству бегавших по залу разрешалось заполнять незначительные части картины: пиджак, галстук, рубашку, а голову вождя к темным пиджакам, тоже по клеткам, малевали четверо в одинаково замызганных беретах, один из них был даже в галстук-бабочке. Между теми, кто бегал по залу, и между людьми в беретах, видимо, была конфронтация, и они не общались. По обрывкам разговора Рушан понял, что люди, рисовавшие костюм, настаивали на том, что они выполняют большой объем работ, и, видимо, требовали соответствующую оплату.

На Рушана никто не обращал внимания — конвейер работал без остановки, — и он был вынужден подойти к мэтру в бабочке, позволившему себе небольшой перекур, что вызвало неодобрительные взгляды всех студийцев. На вопрос, где Марк Натанович, мэтр ответил, что тот в соседнем переулке, в спортзале «Мехнат», который они арендовали на три месяца.

Спортивный зал общества «Мехнат» Рушан хорошо знал: в Ташкенте он пытался на первых порах возобновить тренировки по боксу, но как-то беспричинно вдруг охладел к рингу и повесил перчатки на гвоздь. Он никак не мог взять в толк, зачем Гольданскому неожиданно понадобился спортивный зал, где свободно разместились бы поперек три волейбольные площадки. Во дворе, заросшем буйно цветущей сиренью, царствовала весна, но аромат сирени перебивал такой едкий запах клея, что у Рушана мелькнула мысль, не цех ли по изготовлению особого клея открыл Гольданский, бывший ударник из знаменитой «Регины», от которой после землетрясения не осталось и следа...

Появление Рушана в спортзале, и для тех, кто в нем находился, да и для него самого можно было сравнить с классической сценой из «Ревизора» в конце спектакля.

Дасаеву, по крайней мере, было от чего растеряться: на всей огромной площади спортзала на наспех сколоченные козлы были набросаны длинные половые доски, образовавшие непрерывный стол-конвейер, вокруг которого сновали знакомые и незнакомые гранд-дамы столицы: с бриллиантовыми серьгами



в ушах, с хорошо уложенными высокими прическами, называвшимися в то время «хала», в экстравагантных сапогах-чулках, только-только входивших в моду и стоивших безумные деньги... Все они, манерно оттопырив тщательно наманикюренные пальчики в кольцах и перстнях, наклеивали фотографии на большие картонные щиты, штабель которых высился у входа.

Рушан мало кого знал лично, хотя и увидел нескольких знакомых, но все эти примелькавшиеся лица он встречал на премьерях в театре, часто — в «Регине», на концертах и шумных свадьбах, столь популярных в те давние годы.

И они, конечно, его признали, — опять же из-за того, что часто встречались в одних и тех же местах, да и балетмейстера Ибрагима знал в городе каждый мало-мальски культурный человек, а Рушан появлялся с ним повсюду. Если кто не знал Ибрагима, то наверняка знал красавчика Наримана, Аптекаря, которому принадлежала знаменитая фраза: «Все проходят через аптеку», — и с ним Дасаев часто бывал на людях.

Гольданский находился в глубине зала, стоял к двери спиной, но сразу почувствовал по лицам тех, кто находился рядом с ним: что-то стряслось, — и резко обернулся. Увидев растерянного Рушана у входа, он понял тревогу дам и, рассмеявшись, разрядил обстановку:

— Работайте, работайте спокойно. Это не ОБХСС и даже не фининспектор. К нам пожаловал мой друг Рушан, товарищ Балеруна и Аптекаря...— Подойдя к Дасаеву, обнял его и быстро вывел во двор.

— Как тебе удалось набрать такой цветник? — шуточно спросил Рушан.

— Временно, временно...— уточнил Марик. — Не мог же я платить сумасшедшие деньги кому попало, меня бы никто в Ташкенте не понял. А тебя как занесло в спортзал? Решил Кассиуса Клея вызвать на ринг, или знал, что я арендовал это помещение?

— Да я к тебе по делу... Выручай. Говорят, ты монополист в республике по наглядной агитации к 100-летию со дня рождения вождя... В нашу контору пришла телеграмма сверху, велели приобрести, развесить, внедрить...

— Молодцы ребята, хорошо работают! — оживленно сказал Марик и рассмеялся. Наверное, он имел в виду кого-то из



горкома или райкома по идеологической части. — Только по большому благу, как старому другу. Да и то, если рассчитаешься по чековой книжке, чтоб нам легче деньги изымать, — заявил он открытым текстом.

— Чек так чек, — согласился Дасаев, — парторга подключу, он заставит бухгалтерию. Но ты хоть покажи, за что мы должны выложить деньги...

Гольданский подозвал парнишку, подававшего на столы картон, и попросил принести готовую продукцию.

Через несколько минут появился стенд. Заголовок «Ленин — наш вождь и учитель» был аккуратно вырезан из десятикопеечного плаката, изданного к юбилею на прекрасной мелованной бумаге. Чуть ниже шел подзаголовок, позаимствованный из другого плаката: «К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина». Свернутые рулоны этих плакатов лежали горкой на столах-конвейерах.

Слева стенд украшал действительно прекрасный портрет вождя кисти знаменитого Андреева в золотисто-бежевых тонах, это тоже была изопродукция, изданная на отличном мелованном картоне миллионными тиражами и приобретенная, конечно, за чисто символические деньги. Стопка таких портретов возвышалась рядом с рулонами плакатов. Остальное пространство стенда в два квадратных метра заполняли многочисленные фотографии. Чтобы разглядеть их, Рушану даже пришлось наклониться.

Ленин в детстве, Ленин на коленях у матери, Ленин с братьями и сестрами, Ленин-гимназист, Ленин с братом-террористом, школьная медаль и похвальные грамоты, Ленин-студент, Ленин в эмиграции, Ленин на велосипеде, Ленин в шалаше, сам шалаш в Разливе, Ленин на броневике, Ленин с какими-то мужиками, Ленин с Луначарским, Ленин с Крупской, Ленин в коляске в Горках, Ленин в гробу...

Фотографии были столь низкого качества, что Ленина трудно было узнать, особенно в зимней одежде, где он смахивал на узкоглазого разбойника, не говоря уже о тех, с кем был снят.

— Плохие фотографии, да и Ленин в гробу в юбилейный день ни к чему, — заметил Рушан, отрываясь от творения Гольданского.

— А я и не говорю, что хорошие, — согласился Марик. — Жаль, государство не догадалось буклеты классных фотографий



отпечатать, мы бы их и наклеили. Но не переживай, Рушан, бьюсь об заклад — никто их так тщательно, как ты, рассматривать не будет, и гроба не заметят. Хотя с гробом ты прав, промашка вышла... — Оторвавшись от разговора, Марик крикнул в провал двери: — Срочно убрать Ленина в гробу и заменить Лениным среди женщин Востока. Это будет гораздо политичнее и к месту. — И, обернувшись, продолжил: — Можем поспорить хоть на ящик коньяка: вставь я собственную фотографию на горшке — вряд ли кто обратит внимание. — И вдруг, опять без перехода, спросил: — Хочешь большой портрет маслом, всего за тысячу рублей?

— Тот, который по клеткам рисуют? — усмехнулся Рушан.

— По клеткам или в полоску — неважно, — парировал хозяин конторы. — Важно, кого нарисовали и кто должен висеть в каждом кабинете. Не портреты же Кипренского, Рокотова или какого-то чуждого нам Гейнсборо, или пейзажи Айвазовского, Куинджи... Ты, дорогой, оказывается, еще политически незрелый, оттого, наверное, в прорабах и застрял.

— Ты сам такую грандиозную халтуру придумал? — спросил напрямик Дасаев — его, надо сказать, поразил размах предприятия, — и тут же растерянно добавил: — Не думал, что идеология может так щедро кормить...

— Только идеология, только партия и кормит по-настоящему, мотай на ус, товарищ прораб... — Гольданский довольно потер руки, и, как несмышленишу, стал объяснять Рушану: — Такие мероприятия действительно бывают раз в столетие, и я его давно ждал: за два года ленинскую символику, плакаты, картинки начал скупать. Идея моя, но без тех, кто заставляет все это «творчество» покупать, и обязательно у Гольданского, она и ломаного гроша не стоит. Теперь понял, почему все эти дамы полусвета у меня на временной работе? Через неделю синекура кончится. И они получают за свой «вдохновенный» труд на благо родной страны такую сумму, которая, наверное, равна твоему полугодовому заработку со всеми премиальными и сверхурочными. Усек теперь, как делают деньги умные люди?..

Тогда Дасаев не понял, но сегодня, хотя и запоздало, дошло: за месяц наклеивания фотографий Ленина в гробу или Ленина с братом-террористом жены и любовницы дельцов и партноменклатуры получили зарплату, которая ему и не снилась. За эти деньги при их связях и возможностях



можно было приобрести и «Волгу» — она стоила всего 5 600 рублей, и трехкомнатную кооперативную квартиру, стоившую почти столько же, да в придачу полный комплект импортной мебели для всех комнат. Сегодня это поражает даже больше, чем тогда, когда он узнал о «вдохновенном» труде.

Сейчас, на пороге старости, не имея ни кола, ни двора, Рушан иногда вспоминает отдельные разговоры, разные тексты из книг, как-то связанные и с давним юбилеем вождя, и с нынешним отрицанием идей коммунизма повсюду в мире, варварским истреблением не только памятников Ильичу, но и всех символов социализма, включая отчеканенный в бронзе, высеченный на граните и мраморе лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» В пору молодости, когда он был занят главным делом своей жизни — строительством, те разрозненные историйки не оставляли следа в душе, а вот поди ж ты, ниточка, оказывается, протянулась еще оттуда.

Где-то он вычитал, что мать Фридриха Энгельса, женщина высокой культуры, прекрасно образованная, из богатой и родовитой семьи, в одном из писем сыну, увлекшемуся марксизмом и снабжавшему деньгами его основоположника, мягко, по-женски тактично написала: «Фрид, милый, мне кажется, что ты занимаешься не тем...»

Карл Маркс, работая над «Капиталом», получил от своего издателя грозное письмо: «Уважаемый господин Марк! Если Вы не представите в оговоренный срок работу «Капитал», мы будем вынуждены заказать ее другому автору...»

А Бисмарк, прочитав многостраничный фундаментальный «Капитал», написал на титульном листе: «Человечество еще намучается с этим бухгалтером...»

Жаль, что эксперимент великих вождей и мыслителей начал осуществляться не там, где он был выношен. Идея зародилась в Европе, в тиши и уюте столичных кафе, гостиниц, библиотек, а расхлебывать кашу до сих пор приходится другому народу, отчаянно берущемуся за всевозможные эксперименты. Видно, уж очень заманчива была идея справедливости, равенства и братства...

В том санатории, где Рушану из-за идеологических споров коммунистов пришлось пересест за другой стол, произошла еще одна история.



Он обратил внимание на надменную старушку, державшуюся вызывающе и яростно вступающую в любые споры. Если соседи по столу открыто не хаяли Горбачева и перестройку, то бабуля во всех бедах обвиняла гласность и демократию, и Рушан спросил у своего лечащего врача, отчего старуха не приемлет никаких перемен.

Все объяснялось донельзя просто: оказалось, что старая дама — скульптор, всю жизнь она лепила Ленина и была непревзойденным мастером создания его бюстов — в кепке или без, работала и в малой форме, и в монументальной. Шутили, что небольшие безрукие статуэтки вождя из бронзы, гипса, чугуна, мрамора, заполонившие все отделы канцтоваров, — ее монополярная продукция. Десятки лет на всевозможных выставках и вернисажах она получала призы и медали, и вдруг, в один день, все оборвалось — кончились заказы, спецзаказы, спецмашины. Была причина так рьяно кидаться на перестройку...

Недавно он проходил мимо Окружного дома офицеров — с облезлым фасадом, могучими резными дверями, давно не знавшими лака, с тяжелыми бронзовыми ручками, помнящими тепло рук великого князя, любившего по вечерам заглядывать в Дворянское собрание. И возникли в памяти давние художественные мастерские, где по клеткам рисовали портреты вождя за тысячу рублей. Вспомнился и старый мехнатовский зал, где гранд-дамы столицы вносили свой «посильный» вклад в грандиозный юбилей основателя государства. Давно все прошло, исчезло, растворилось во времени. «И временем все, как водой, залито...»

На месте, где все это происходило лет двадцать назад, ныне высится монументальное здание Министерства энергетики. Нет в Ташкенте и Марка Гольданского — он уже давно живет в Нью-Йорке и, говорят, играет на Брайтон-Бич в оркестре русского ресторана «Одесса» — вновь, как и в «Регине», вернулся за ударные инструменты.

Давно уже оставили свои кабинеты те, кто давал грозные телеграммы с заданиями обязательной «ленинизации» каждого учреждения, вплоть до детского садика. Давно не встречал он никого из тех гранд-дам, да и редко где теперь бывает, если честно признаться, чаще проводит вечера у окна.



XXXVI

Вспоминая ушедшие годы и судьбы окружавших его людей, Рушан порою натывался на события вроде бы незначительные, но сегодня неожиданно отражавшиеся на жизни его поколения, заставлявшие увидеть все под иным углом зрения.

Совсем недавно, уходя на работу, он увидел у подъезда оброненную кем-то двадцатикопеечную монету. Правда, лежала она в расщелине между бетонными плитами, и чтобы достать ее, нужно было воспользоваться прутиком или обрывком провода, которых всегда в изобилии у захламленных и загаженных подъездов.

Двугривенный у входа в многоквартирный дом напомнил ему о денежной реформе тысяча девятьсот шестьдесят первого года. Экстравагантный генсек, тот самый, что стучал на Генеральной Ассамблее ООН по столу ботинком, объясняя причины реформы, по простоте душевной как очень убедительный аргумент выдал с трибуны: «Ишь, заелись, будет лежать на дороге копеечка — не нагнутся. А теперь, когда мы ее поднимем в цене в десять раз, никто мимо не пройдет...»

Ошибся Никита Сергеевич, как ошибался и во многом другом. Десятикратно выросший в цене двугривенный давно никого не привлекает, — а ведь со времени той девальвации прошло тридцать лет. Уже новая, более жестокая, девальвация властно постучалась в дверь и, распахнув ее, с такой силой навалилась на народ, что идохнуть невмочь.

Девальвация... И если бы только денежная! Сплошь, куда ни глянь, девальвация — чувств, отношений, долга. Ничто не в цене — ни судьба человека, ни сама жизнь.

Вглядываясь в сегодняшний день, Рушан обнаружил, как резко у него сузился круг общения за последние годы. Конечно, неизбежны и возрастные потери, когда, хочешь не хочешь, распадаются компании, куда-то деваются друзья, как в знаменитой строке: «Иных уж нет, а те далече».

Когда председатель профкома направил Рушана к Марику Гольданскому с целью добыть стенд к юбилею вождя мирового пролетариата, он обронил фразу: «Ты хорошо знал ребят с Кашгарки, они там заправляют»...



Кашгарка — знаменитый еврейский район в центре Ташкента, навсегда исчезнувший после землетрясения.

На Кашгарке вырос актер Театра сатиры Роман Ткачук, отсюда и кинорежиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, и ленинградский поэт и актер Владимир Рецептер, и певица Роксана Бабаян. Кашгарка дала стране и много известных спортсменов, почему-то одних боксеров: Иосифа Будмана, теперь живущего в Нью-Йорке, и Володю Огоронова, и блестящего Тимура Гулямова, ныне известного рефери на ринге. Имела Кашгарка и своего Мишку Япончика — Фиму Боднера, и даже Мюллер — Леонид Броневой тоже родом отсюда. Список при желании можно продолжать и продолжать...

Кашгарка для Ташкента была чем-то вроде Молдаванки для Одессы. Надо признать, что города, где есть мощная еврейская прослойка, будь то восточные, европейские или кавказские — например, Баку или Тбилиси, — выиграли от такой диаспоры, от нее всегда исходил мощный импульс духовной и деловой жизни.

Да, Рушан хорошо знал ребят оттуда, а ниточка, наверное, потянулась от того еврейского дворика с вечной лужей у колонки на Узбекистанской, где в соседях с Гольданскими жил его друг Аптекарь, красавец Нариман. Сегодня, когда неожиданно обостренно вспыхнули национальные чувства у всех народов и стали предъявляться друг другу обоснованные и необоснованные претензии, трудно представить, что в пору молодости Рушана пятая графа в паспорте — «национальность» — не играла в жизни ташкентцев никакой роли — люди сближались совсем по иным основаниям.

Взять хотя бы их троицу: Ибрагим — кокандский узбек из детдома, Нариман — азербайджанец из Баку, и он сам — оренбургский татарин, родом из Западного Казахстана.

И окружение, в кого ни ткни, такое же, интернациональное. Известные братья Рожковы, Славик и Гера, — непонятно какой национальности, хотя и с русской фамилией. Юра Толстой — русский бакинец, изумительно танцевавший рок-н-ролл. Ваган Адамян — ташкентский армянин, но корнями из Карабаха, как и большинство армян Средней Азии. Знаменитый саксофонист Халил из «Регины» — узбек, легендарный нападающий «Пахтакора» Берадор Абдураимов — единственный узбек в клубе бомбардиров имени Григория Федотова...



Сегодня вместе с ним обязательно вспоминается очаровательный подросток по прозвищу Тайванец с подвижным лицом и умными глазами. Мальчик так любил футбол и так обожал своего кумира, что, когда Абдураимова пригласили в московский «Спартак», поехал вместе с ним. Вспоминается он неспроста, хотя взрослым Рушан видел его лишь однажды.

Поздней осенью 1971 года два футбольных клуба, «Динамо» и ЦСКА, набрали в чемпионате страны одинаковое количество очков. Между ними должен был состояться дополнительный матч, и местом встречи команды выбрали Ташкент, как раньше это уже делали московское «Торпедо» и тбилисское «Динамо».

Матч вызвал невероятный ажиотаж, стадион «Пахтакор» был в осаде, но Рушан не просто попал на игру, а умудрился проникнуть в ложу прессы, где по традиции размещают дублирующий состав и гостей, сопровождающих команду. К тому времени Абдураимов играл уже за ЦСКА, а повзрослевший Тайванец был определен на какую-то хозяйственную должность в клубе, и так случилось, что Рушан оказался рядом с Аликом, как звали в миру Тайванца.

Игра для армейцев складывалась неудачно: к перерыву они проигрывали 0:2 — результат для матча такого уровня нокаутующий. В ложе для прессы находились и несколько ярких поклонников «Динамо» — не те юные фанаты, что кочуют с командой и бьют в поездах стекла, а люди солидные и состоятельные, меценаты, ныне исчезнувшие совсем. Эти люди, знавшие Тайванца, начали заводить Алика, приглашая его на банкет по случаю победы «Динамо», предусмотрительно заказанный для команды в ресторане «Ташкент», и Алик, не отрывая глаз от поля, предложил пари, по тем годам на сумасшедшую сумму — десять тысяч рублей. Поклонники «Динамо» тут же протянули ему банковскую упаковку сторублевки. Алик, достав из кармана костюма такую же пачку, передал всю сумму Рушану — такова традиция, деньги отдаются нейтральному человеку. Можно представить, с каким волнением следили за ходом матча в ложе прессы.

В основное время армейцы сравнивали счет. В перерыве перед дополнительным таймом Тайванец, утирая со лба пот, сказал уверенно: «Ну, теперь наши дождут...»



Так оно и случилось. И героем финального поединка стал Владимир Федотов, сын легендарного бомбардира, — он сыграл свой лучший в жизни матч, забив два решающих гола, а ведь спортсмен доигрывал, и сезон тот для него оказался последним в футбольной карьере.

Вот таким азартным знатоком футбола остался в памяти Дасаева Тайванец. Но вспомнился он не из-за любви к футболу и даже не из-за пари.

Много позже Рушан слышал, что тот стал в Москве «авторитетным» человеком, вроде знаменитого мафиози дона Корлеоне, держал в руках столицу и никогда не отказывал ташкентцам в помощи. Однажды у «Лотоса» он услышал, что Алик за один вечер выиграл в карты миллион. А в разгар — или в разгул? — перестройки прочитал в «Правде», что наша отечественная мафия широким фронтом вышла на международную арену и уже имеет весьма существенное влияние на Западе. Упоминался там и Тайванец. Алик, оказывается, жил в Германии на роскошной вилле и страстно болел за мюнхенскую «Баварию».

Вот так, неожиданно, открылась Дасаеву еще одна не нужная ему правда — тайна мальчика, страстно любившего футбол.

Да, ребята с Кашгарки были фанатами футбола. Да и кто не был им увлечен в то время, когда свежий ветер дул во все паруса страны? В этом увлечении, в обожании знаменитых спортсменов тоже раскрывается время и познаются люди.

Рушан помнит еще один финал — матч между тбилисским «Динамо» и московским «Торпедо». Такого ажиотажа и наплыва гостей Ташкент не знал ни до, ни после. Наверное, впервые в истории нашей страны десятки чартерных рейсов в день доставляли любителей футбола из Грузии в Узбекистан, не прерывалась правительственная связь между республиками.

«Мы сдали город грузинам на три дня», — шутили ташкентцы. Повсюду слышалась кавказская речь, мелькали модные в ту пору кеппи-аэродромы. Горожанам в те дни было невозможно попасть ни в один ресторан, ни в одно кафе — кругом гуляли гости.

В день матча в аэропорту происходило удивительное. Откуда бы ни прибывал рейс — из Москвы, Киева, Баку,



Еревана, Ростова, Минеральных Вод, Симферополя, Адлера, — пассажирами оказывались одни грузины: они добирались до Ташкента на игру любимой команды окружными путями. Можно представить, сколько стоил билет на такой матч в городе, где около футбола крутилось немало «жучков»...

Уже за час с небольшим до начала игры у гостиницы «Ташкент», откуда со стадиона «Пахтакор» десять минут хода пешком, творилось что-то невообразимое. Собравшиеся со всей страны репортеры, фотокорреспонденты, тележурналисты, болельщики, поклонники грузинского футбола из Узбекистана и близлежащих городов Казахстана и Таджикистана, сами грузины ожидали выхода из гостиницы своих кумиров, своих любимцев.

Большой нарядный «Икарус» с распахнутыми настежь дверями уже стоял на площади. Видимо, чтобы подогреть страсти, с большим отрывом от основной группы появились трое защитников: Гурам Петриашвили, Джемал Зеинклишвили и Гурам Цховребов. Вышли не как повелось ныне — в мятых спортивных костюмах, а при галстуках, тщательно причесанные. Элегантные, уверенные, они быстро исчезли в чреве вишневого автобуса с зашторенными окнами.

В тот момент, когда Рушан с друзьями не отрывал взгляда от живого коридора, оцепленного милицией, где вот-вот должна была появиться вся команда, сквозь строй стражи протиснулся Володя Огоронов и направился в сторону аптеки Наримана, а не к стадиону.

Огоронов с Будманом недавно стали чемпионами Спартакиады народов СССР, вошли в сборную страны и пользовались в Ташкенте огромной популярностью. Оттого, наверное, Володю пропустили через милицейский кордон. Кто-то рядом с Рушаном с неподдельным удивлением в голосе окликнул парня:

— Володя, ты не идешь на футбол?

Огоронов, приостановившись посреди гостиничной площади, обернулся на знакомый голос и беспечно спросил:

— А кто сегодня играет?

Площадь содрогнулась от гомерического хохота, и появившаяся в этот момент команда так и не поняла, что бы это могло означать.



XXXVII

Сейчас в Ташкенте мало осталось знакомых ребят с Кашгарки. Словно ветром разметало их по миру. Иногда в почтовом ящике Дасаева, вызывая зависть соседей, появляются роскошные открытки то из Тель-Авива, то из Хайфы, Лондона и Амстердама, Сан-Франциско и Гамбурга. Не объяснишь же каждому соседу, что уехали друзья совсем не по доброй воле и не только в поисках более сытой жизни. Кашгарские ребята и здесь имели свой кусок хлеба с маслом. У иных давно уже есть и виллы, и «мерседесы», но вспоминается им до сих пор до спазмов в горле квартира без удобств на Кашгарке, сирень под окнами, яркий, шумный Алайский базар и давние дни, когда они, оказывается, были так счастливы, — ничто не заменит улиц детства.

Поколение кашгарских ребят, с которыми он дружил в юности, тоже страдало от безотцовщины, и большинство из них получали высшее образование заочно, как и Рушан. И группа у них на стройфаке собралась интернациональная: треть составляли евреи, еще одну треть — греки и немцы, последним заметно перекрывали путь в очном образовании, и потому им оставался единственный шанс.

Такое примерно соотношение было и на других курсах, и на соседних факультетах. Нельзя не заметить, что, когда он оканчивал институт, резко увеличилось число студентов корейской национальности — людей, в массе своей обладающих четким, аналитическим мышлением, важным в любом инженерном деле. Почему-то в те годы профессия инженера-строителя не привлекала коренное население — стремились в юридический, торговый, нархоз, автодорожный.

У Рушана было немало друзей среди евреев, греков, немцев, тем более что он понимал и мог худо-бедно изъясняться по-немецки — дружба в Мартуке с Вуккертом не прошла бесследно.

В последние годы, когда стало очевидно, что перестройка зашла в тупик и не оправдала надежд, резко обострились национальные отношения, и многие его знакомые начали покидать страну, причем не только те, с кем он знался в институте или на Кашгарке.



В те давние шестидесятые годы Ташкент бурно развивался, расстраивался, и ради объективности надо сказать, что почти все крупные тресты и управления возглавляли инженеры еврейской национальности. Уникальное здание оперного театра по проекту знаменитого архитектора Щусева возводил, еще с пленными японцами, Пикман, он же застраивал площадь перед театром и возводил гостиницу «Ташкент» по проекту татарина Булатова. Перед самой войной начала застраиваться самая красивая улица Ташкента имени Навои, и руководил этим строительством Крайзман. Ташкент отличает рациональное водоснабжение, а ирригационной сетью, современными инженерными коммуникациями он обязан Виксману. Первый в республике трест «Спецмонтажстрой», обслуживавший строительство металлургических и химических предприятий, возглавлял Горенштейн, знаменитый «Ангреншахтстрой» — Терман, «Высотстрой» — Каменецкий. Первое управление, где начал работать Рушан, организовал Гольданский, отец Марика. Список можно продолжать и продолжать, и это только строительство, а были еще здравоохранение, высшее образование, тяжелое машиностроение...

Сегодня из множества людей, с которыми он встречался на строительных площадках и планерках, остались немногие. К нему постоянно доходили грустные вести — тот уехал, те собираются, другие ждут визу... Словно кто-то выкашивал вокруг друзей и знакомых...

Удручающее впечатление производили на него очереди у американского посольства, посольств других стран, где в основном стояли евреи с армянами. Рушан уже даже себе не задает вопрос — почему? Ибо знает: от хорошей жизни или от ее перспектив не бегут, никто не враг себе, своим детям и внукам. И пытается понять великий исход, нащупать главную причину, ведь убивали армян в Сумгаите — уезжали евреи, убивали турок-месхетинцев — уезжали евреи, пошел отток русских из республик — опять та же история. Он прокручивает свою жизнь, как киноленту, все дальше и дальше назад, и снова упирается в детство, послевоенный бедный Мартук...

В поселке хватало людей всех национальностей, но еврейская семья там была одна. Впрочем, в ту пору разговоры о пятой графе не возникали, ибо большинство здешних жителей



подходили под сталинское определение — нацменьшинство. Рушан помнит, как учительница заполняла какие-то документы и для этого поднимала каждого с места и спрашивала, какой он или она национальности. Отвечали по-разному: чеченец, ингуш, татарин, башкир, немец, чуваш, мордвин. Не отрывая взгляда от тетради, учительница кратко резюмировала: «Значит, нацмен». Теперь, через много лет, он понимает это сокращение — от национальных меньшинств. Только русские, украинцы и казахи, которых в классе было всего трое, не попадали под категорию «нацмен». Помнится, ребята в своих бесхитростных отношениях использовали неожиданно возникшее братство и говорили: «Ты ведь тоже нацмен». Единственный в классе еврейский мальчик Фима Беренштейн тоже попал в эту категорию.

Став взрослее, они уже понимали, что такое национальность, но прежде поняли, какой они веры, ибо и церковь, и мечеть имели свое влияние в селе. Он помнит, как и многие в Мартуке, что часто повторяла слепая старуха Мамлеева: «Если бы чеченцы не оказались с нами одной веры, они бы вымерзли зимой сорок пятого года».

Может, та толика веры, что старательно передавали детям бабушки и дедушки, и пустила в них ростки милосердия к ближнему, ко всему живому вокруг? Никто не убедит Рушана, что жестокость, цинизм, безнравственность, обнажившиеся сейчас во всей полноте, были таковыми всегда. Да, это существовало во все времена, но не в таких масштабах, не охватывало все слои населения и почти не касалось женщин. Тогда можно было знать наверняка, что от кого ждать. Народ жил милосердием, оттого и выстоял в войну. И пример Фимы — яркое тому подтверждение.

Фима Беренштейн рос красивым, видным парнем, но был упрямым, вспыльчивым, а если откровенно — то и вздорным. Суровая жизнь вырабатывает суровые нравы общения, всяк умел постоять за себя, и гордец Фима часто, причем по делу, нарывался на кулак, как говорили в Мартуке.

Быть бы ему когда-нибудь крепко битым, особенно если дело касалось девушек, но всякий раз в самый разгар драки кто-то обязательно крикнет: «Хватит, он же у нас единственный еврей!» Как ни странно, это останавливало драчунов, тем



более что ничего оскорбительного в слово «еврей» не вкладывалось, а любвеобильный Фима, кажется, даже пользовался этим — знал, что если будет терпеть поражение, прозвучит спасительное: «он же единственный...»

В техникуме в одной с Рушаном группе учился Ефим Ульман, они даже два года жили вместе в одной комнате. Ефим, детдомовский парень, не знал, откуда он родом, кто его родители. Учился он неважно, ниже среднего, и попал к ним в группу как второгодник — не будь он детдомовцем, его, скорее всего, отчислили бы.

Сегодня Рушану куда понятнее, чем в молодости, поведение Ульмана, его замкнутость, неожиданная агрессивность, высокомерие, гордыня, — парень, видимо, остро переживал, что ему трудно давалась учеба. И этому можно найти объяснение — строительство железных дорог не было его призванием, душа Ефима рвалась к другому. А в детдоме стремились обучить прежде всего специальности, обеспечить парню верный кусок хлеба: в те годы считалось, что железнодорожник — профессия бесприоритетная.

В общезнании во все времена первым инструментом была гитара. Многие ребята прекрасно играли на ней. Потянулся вдруг к гитаре и Ульман. Вскоре в любой компании его просили сыграть, и уж тут он преобразался.

Рушан вспоминает старого петербуржца профессора Глузмана, читавшего у них электротехнику. Так сложилось, что у них, в обыкновенном провинциальном техникуме, костяк преподавателей составляли люди с именами, профессора, посланные в Казахстан. Глузман, предельно корректный со всеми, часто говорил огорченно Ефиму: «Ульман, не ожидал, что вы такой бестолковый». Эту фразу никто из студентов не принимал всерьез, тем более близко к сердцу. И только теперь Рушан понимает, сколько стыда и обиды она доставляла Ефиму. И не один только преподаватель ранил его, они, сокурсники, тоже были хороши. Иногда, когда у Ульмана что-то не получалось по высшей математике или по сопромату, кто-нибудь из ребят в сердцах ронял: «А еще еврей...»

Ефим глубоко переживал и свои бесконечные неудачи с девушками, хотя вряд ли кто из группы в ту пору мог похвастаться особыми успехами на любовном фронте.



На четвертом курсе, весной, накануне преддипломной практики, Ефим пытался броситься под поезд, но машинист оказался начеку, да и нервы у парня в последний момент дрогнули — сам рванулся из колеи.

Жили они в одной комнате, друг от друга особых тайн не имели, да и жизнь каждого в ту пору была как на ладони, даже в баню ходили компанией, — однако никто не мог назвать конкретных причин, подтолкнувших Ефима к самоубийству. Но тут уж оба общежития — женское и мужское — не сговариваясь, взяли над парнем шефство, и редко кто потом подтрунивал над Ульманом даже по мелочам. Сработало знакомое Рушану по Мартуку: «Он же у нас единственный...»

В тот год, когда Рушан, будучи в отпуске, пришел первый раз на могилу прокурора, любившего джаз, он случайно узнал, что Ефим-таки погиб под колесами поезда, и причиной называли безответную любовь к внучке профессора Глузмана.

Сегодня, через три десятка лет, вспоминая своего однокурсника Ефима Ульмана, Рушан, по крайней мере для себя, уяснил, почему евреи покидают страну. Они не могут жить вне свободы. Любой — духовной, религиозной, творческой, деловой. Не могут жить в регламентированном обществе, в рамках, жестко определяющих им место, — тут бессильны власти и партии, их душа жаждет заниматься только тем, для чего она предназначена судьбой и природой.

И судьба Ефима подтверждает это: ненужным оказалось гарантированное парню благополучие железнодорожника, ему, наверное, хотелось играть на гитаре и любить внучку Глузмана... Любить другую, заниматься иным делом, как поступают люди сплошь и рядом, он не желал, такая жизнь была ему ни к чему, и он распрощался с нами.

Пусть будет земля ему пухом! Прости, Ефим, профессора Глузмана и всех, кто обижал тебя за то, что ты не мог осилить сопромат и детали машин. Ты не воспринимал все это потому, что не нужны были твоей душе эти знания, иное влекло тебя...

Так, и только так, Рушан объясняет для себя трагический исход евреев из Страны Советов, в основание которой и они заложили немало сырых кирпичей.

Вся наша жизнь состоит из ложных стереотипов, и это тревожит Рушана, — вот неисчерпаемая тема для будущих



философов, когда они возьмутся исследовать попытку конструирования нового мироустройства и практического создания общества равных возможностей, а также воспитания новой гармонической личности, для которой общественное было бы выше личного, а свое, кровное — ничто по сравнению с идеей.

Среди многих стереотипов один бытует очень широко — евреи, мол, не могут постоять за себя, их легко запугать. Но это рассказы для тех, кто хотел бы выдать желаемое за действительное.

В конце 1987 года, в разгар перестройки, в Ташкенте у ресторана «Ереван» был убит вместе со своим подручным и телохранителем Нарик Каграмян — подлинный хозяин города, обложивший данью не только кооператоров, но и государственных служащих, партийную номенклатуру, получавших крупные взятки почти ежедневно. Все возмущались, проклинали и Нарика, и власти, делавшие вид, будто не знают, что происходит в столице, однако оброк платили исправно. Но чаша терпения переполнилась... И только у евреев хватило смелости на отпор, — это их ребята демонстративно, в упор, расстреляли грозного мафиози, на которого власти и глаза боялись поднять, не то чтобы оружие.

Многие власть имущие присутствовали на грандиозных похоронах мафиози, по масштабам едва уступавших рашидовским. И по сей день в стране вряд ли найдется десяток памятников, к которым, как к могиле Нарика, ежедневно возлагались бы живые цветы. Истинная власть может себе позволить чтить своих героев...

Смерть мафиози Каграмяна еще раз подтверждала догадку Рушана о свободе еврейской души: когда планка беспредела поднялась до отметки, унижающей их достоинство, они не стали терпеть, как другие.

Существует и еще один стойкий лжестереотип, прочно утвердившийся в сознании масс: якобы люди кавказской национальности в силу высокочтимого личного достоинства, эмоциональности, легкой ранимости чрезвычайно ценят свободу и не позволяют унижать человека.

Но в годы командно-административной системы нигде так изощренно не унижалось и не растапывалось человеческое достоинство, как на Кавказе, где чиновничество доходило



до курьезов, до абсурда, нигде партийное самодурство не достигало таких высот — или бездны, — как там, разве что еще в Средней Азии. А ведь жили, терпели, несмотря на свою ранимость и гордость, завязывали шнурки высокопоставленным лицам и не очень-то спешили избавляться от феодально-байских отношений, унижающих человеческое достоинство...

XXXVIII

Перебирая в памяти то, что он хотел бы вспомнить, «вписать» в книгу о времени, друзьях и любимых, о себе и своей родне, о матери и отчине, Дасаев удивлялся, как все-таки надо всем довлеет политика, как идеологизирована чуть ли не с пеленок вся наша жизнь. А ведь ему хотелось, чтобы в этих записях остались воспоминания о запахах и красках времени, о полях и лугах, где еще цвели синеглазые васильки вперемежку с колючим татарником, и разнотравье с земляникой, диким луком, щавелем и чесноком радовало ребятишек, а бабочки, стрекозы, кузнечики, жучки, птицы — от жаворонка до беркута — считали степь своим родным домом.

Но в памяти всплывало не только светлое. И слишком много припоминалось смертей...

Под колесами поезда погибли и Халил, правнук слепой старухи Мамлеевой, и детдомовец Ефим Ульман, и мальчишки, не поделившие самоварный уголь. И, уносясь мыслями в прошлое, пытаюсь отыскать там светлые картины, связанные с рекой, лесом, степью, Рушан вновь и вновь возвращался памятью в Мартук.

Вспомнилось еще одно возвращение домой, уже после смерти отчима, которого он все-таки успел назвать отцом. Как раз тогда сосед-комбайнер за высокие урожаи последних лет получил на ВДНХ персональную «Волгу» и, узнав, что Рушан собирается наведаться в Оренбург, предложил ему обкатать новую машину в дороге. Эта поездка надолго запала в сердце, хотя до Оренбурга он так и не добрался, и этому была своя причина.

Мартук выходил окраинами к лесополосе, вдоль которой тянулась дорога на Оренбург. Эта лесополоса, высаженная на его памяти, когда он пошел в школу, теперь превратилась



в настоящий лес. Конечно, не такой буйный и неоглядный, как в глубине Сибири или Белоруссии, но для степного края — действительно лес. В пору его юности, когда деревья только-только поднялись, никаких там зверушек, птиц, кроме воронья, воробьев и кукушек, не водилось. Помнится, кто-то хвастался в школе, что видел там ежа, но ему тогда никто не поверил.

А сейчас, говорят, и зайцы, лисы, волки, барсуки, бурундуки, и даже кабаны и сохатые появились. А ведь никто специально не заселял ими лес — появились, и все, загадка природы...

Лес, кажется, тоже изнывал от жары в то лето. Сухо шелестела листва деревьев, вставших стеной у дороги, сдерживая знойный суховея из бескрайних казахских степей. Не слышно было даже птичьего гомона — тишина, ожидание вечера, прохлады, жизни. Рушану неожиданно для себя захотелось припарковать машину на опушке и пройти в глубину чащи. Он нашел чистую поляну, приглянувшуюся ему зеленой нетоптаной травкой, и, сбросив спортивную куртку, присел на кочке.

Далеко впереди, разезда за два-три, послышался шум поезда. Это был не грохот приближающегося состава, а удивительно чистый, ритмичный звук, растворенный в необъятной шире и тишине, какой слышат только там, где люди живут на больших просторах, где впереди у летящего состава десятки и десятки километров свободного пространства, не загроможденного строениями вдоль дороги. И этот волнующий звук, от которого щемит сердце у каждого жителя маленьких местечек, ибо с дорогой связаны там все тайные, несбывшиеся мечты и робкие надежды, сеял в душе ожидание смутных, но радостных перемен.

Звонящая тишина чащи, ровный гул приближавшихся и удалявшихся поездов, вибрировавший в огромном многоствольном органе леса, настраивали Рушана на воспоминания, большей частью грустные: о робком отрочестве, неуверенном и бедном студенчестве в городе, где таких, как он, ребят, выходцев из маленьких местечек, подобных Мартуку, долго, почти до выпуска, называли колхозниками. Одни вкладывали в это слово понятное только им пренебрежение, имевшее различные оттенки, вплоть до презрения, другие бросали его просто так, по привычке, следуя плохой традиции, но и в том, и в другом случае было обидно.



Помнится, после первого курса он как-то поделился этим с отчимом, но рассказал очень путано, краснея и сбиваясь. Однако Исмагиль-абы понял. Он внимательно посмотрел на Рушана, и часто поглаживая усы, что делал обычно, когда был сердит и недоволен, спокойно ответил: «Тут уж, сынок, никто вам не поможет. Джигиту, настоящему джигиту, оскорбительного никто и никогда не скажет. Просто вы еще никто. Салаги вы... — И добавил: — Ни место, ни год рождения, ни национальная принадлежность не дают никаких гарантий, особого мандата в жизни. Все в себе человек должен воспитать сам, и только делом утверждается человек на земле, а отсюда и отношение к нему, а значит, и к месту, и году рождения, и даже к его национальности...»

Тогда от растерянности, робости перед силой и убежденностью Исмагиля-абы, который не то переспросил, не то произнес специально для него вслух «колхозник», и прозвучало это почти как его фамилия «Дасаев», — Рушан скорее смутился, чем понял отчима...

Долго посидеть в лесополосе не удалось — дорога звала вперед. Уже за Сагарчином, ближе к Кувандыку, когда до Оренбурга оставалось рукой подать, впереди показался мост, весь в строительных лесах, — видимо, в половодье повредило фермы, — и Дасаев сбавил скорость. В приоткрытое окно ударил близкий запах воды и напомнил Илек — реку его детства. Рушан осторожно переехал мост и невольно притормозил.

Впереди, насколько хватало глаз, змеилась в зеленых берегах тихая утренняя река. Медленно несла она свои воды, журча на перекатах, кружась и темнея в редких затонах, шелестя молодой осокой на заболоченном мелководье. Тонкий, едва заметный пар, словно туман, поднимался кое-где над водой, а с высокого берега тень многолетних вязов темным зонтом перекрывала жемчужную полосу воды. Низкий берег, покрытый густым тальником, переходил в луга, — видимо, широко по весне разливалась река. И пойма эта, повторяя изгибы реки, тоже уходила далеко, но конец ее Рушан все-таки видел.

В лугах недавно прошел первый укос, тут и там стояли небольшие копны сена, а трава уже снова пошла в буйный рост, — чувствовались близость и щедрость реки. Вокруг было тихо, безлюдно, лишь вдали, как и в Мартуке, слышался шум



далеких поездов, и звук этот над просыпавшейся рекой будил в душе чистые отрадные воспоминания.

Глядя на раскинувшиеся внизу луга, Рушан видел, как в детстве, ночное, костры, стреноженных коней, шаловливых жеребят, слышал храп знаменитых скакунов и нетерпеливое ржание кобылиц в ночи. Только не мог ясно представить мальчишек из соседних казачьих станиц и татарских аулов, для которых луга, наверное, были общими, — слишком мала река, чтобы одаривать людей лугами и полями по национальностям.

Нет, не мог он представить мальчишек транзисторно-магнитофонного поколения в тихом ночном. Хотя знал, что не перевелись в станицах и аулах лошади, и каждую весну и осень то в татарском ауле на сабантуе, то в станицах на празднике урожая устраиваются иногда скачки и джигитовки, на которые съезжается народ отовсюду, даже из города. И джигитуют, конечно, парни — ох, какие лихие парни! — и школой для них, конечно, по-прежнему служит ночное. Пока не исчезнут на земле кони, всегда будет ночное — одно из самых удивительных и волнующих воспоминаний отрочества, а значит, не переведутся на земле джигиты. Просто другое время — другое и ночное, наверное ...

Он стоял долго, и перед глазами одна картина сменялась другой, он то заглядывал в прошлое, то видел будущее, и думалось здесь, на просторе, у реки, светло. В поднявшейся траве он разглядел след конной косилки и, проследив его, увидел съезд в луга. Ехать дальше расхотелось.

На высоком берегу за вязами угадывалась большая казачья станица. «Сегодня воскресенье, базарный день, наверное, еще успею», — подумал Рушан, почувствовав, как проголодался. Он развернул машину и проехал по проселочной дороге вдоль высокого берега: где-то дорога должна была свернуть к селу.

В этой казачьей станице Рушан бывал, — отчим несколько раз брал его на базар, а однажды Исмагиль-абы чинил английский двигатель на старой казачьей мельнице, и жили они вдвоем на постоялом дворе станицы целую неделю. Рушан тогда не мог взять в толк, почему местных называют казаками, — ведь говорили они на русском языке, как и их соседи в Мартуке, да и внешне ничем не отличались от соседей, разве только стар и млад носили фуражки с лаковым козырьком



и красным околышком. Еще запомнилась станица сплошь белыми ухоженными хатками — ни одной развалюхи, как у них в поселке, — и вишневыми садочками. И почему-то запала в память фраза, — отчим сказал ее кому-то, когда они вернулись после ремонта мельницы и, наверное, расспрашивали сельчане о казачьем житье-бытье: «У казаков порядок строгий: лес береги, реку береги, луга береги, — потому и живут крепко».

Тогда, мальчонкой, он не понимал, почему нужно беречь реку, лес, луга, пашню. Казалось, они сами по себе: всегда были и будут, — и при чем здесь человек?

Станица, в которую Рушан въехал минут через десять, ничем не напоминала то казачье село, в котором он бывал тридцать лет назад. Ныне оно походило на Мартук — время безжалостно нивелирует быт, стирая самобытное, индивидуальное. По вывескам Рушан определил, что станица ныне стала районным центром.

По пыльной разбитой главной улице райцентра, которую неведомо когда и невесть как заасфальтировали, не расспрашивая никого, выбрался к базару. Лишь базар, уже малопомалу начинавший расходиться, терявший напряжение и азарт, напомнил ему казачью станицу его детства.

У ограды стояли подводы, брички и даже пароконный крытый фургон, на манер ковбойских, с которого продавали визжавших двух-трехмесячных поросят. Рушан поставил машину в лаково-цветной ряд сплошных «жигулей» и поспешил к торговым лавкам. Но, как ни спешил, не смог не сдержаться шаг у изгрызенной степными аргамаками старинной коновязи. Где, в каком месте и когда еще увидишь подобную стоянку? Наверное, нынешние дети и не подозревают, что были раньше специально отведенные места для верховых лошадей, как сейчас для автомобилей и велосипедов. У коновязи беспокойно стояли с десятков лошадей, испуганно кося глазами и нервно перебирая тонкими ногами. На двух были высокие казачьи седла — роскошные, старинной работы, и сбруя вся в черненном серебре, отчего казалась невероятно тяжелой, даже стремяна были серебряные, высоко подтянутые.

«Таких лошадей иметь и так содержать могут лишь люди, безмерно влюбленные в них, истинные казаки, каких уже мало осталось», — подумал Рушан. И, словно подтверждая его



мысль, к серому в яблоках коню подошел сухощавый поджарый старик. Конь, чувствуя хозяина, потянулся к нему губами, затанцевал, словно говорил: я заждался, соскучился.

— Ну, милый, успокойся, — сказал хозяин, теплея глазами, и старческий голос выдал его преклонный возраст.

Старик выглядел лихо в кое-где прожженной, а может, простреленной коротенькой черкеске с пустыми газырями, сохранившейся со времен его молодости и удач, в щегольских хромовых сапогах и новой круто заломленной казачьей фуражке. Вдруг ястребиными глазами он выхватил у коновязи Рушана, и в этом взгляде — инстинктивном, цепком, был извечный страх хозяина за любимого коня. Он словно почуял вблизи цыгана-конокрада, как, наверное, всегда безошибочно чувствовал в молодые и удалые годы. Старик не ошибся, — Рушан любовался именно его рысаком.

— А, пеший татарин, — сказал он как бы разочарованно, сгоняя с лица тревогу. — И, словно дразня и укоряя, продолжил: — Смотри, любуйся, у вас таких красавцев уже нет. Не тот пошел нынче татарин... — А после паузы грустно заключил: — Да и казак тоже...

Конь, почуяв в голосе старика неподдельную печаль и будто желая прервать неожиданный разговор, шагнул к хозяину. Старик нежно обнял его красивую голову и, целуя мягкие ноздри своего любимца, уже не замечал Рушана, приговаривал: «Терек... милый Терек», — а на тонкой старческой руке, поглаживавшей шею коня, болталась казачья нагайка. И единственный раз в жизни Дасаев пожалел, что не имеет фотоаппарата и не умеет фотографировать — какой великолепный получился бы кадр!

На базаре в продовольственной лавке он выпросил пустую коробку из-под кубинского рома. Шум, толчея, смех, шутки, громкий разговор взбудоражили Рушана, заразили азартом базара, и он, весело балагурия, как и все вокруг, быстро купил всякой всячины. В молочном ряду выпил банку домашней простокваши и купил знаменитой казачьей брынзы, тут же рядом взял с десяток яиц. Уже продавались первые помидоры и первые огурцы, но, видимо, цены кусались, так как покупателей в этих рядах не было, и торговки ему обрадовались. На выходе с базара он прихватил и хлеб, целый каравай,



пышный, теплый. В сельские пекарни еще не пришла механизация-автоматизация, и хлеб мало чем отличался от домашнего.

Едва он вспомнил у моста про базар, у него затеплилась тайная надежда купить здесь черной икры и белужий бок. Из той давней поездки, когда отчим ремонтировал двигатель на казачьей мельнице, у него в памяти осталась сцена, про которую он часто рассказывал друзьям, но мало кто ему верил...

Когда Исмагиль-абы починил мельницу и сделал пробный помол, мельник здесь же, на мельнице — не последнее место в селе! — организовал угощение. По такому случаю зарезали барана, чтобы работала мельница долго на радость станичникам.

Резал барана и свеживал тушу сам Исмагиль-абы. На застолье кроме мельника были приглашены какие-то уважаемые старики и староста — неофициальный, но имевший реальную власть над казаками. Здесь, на мельнице, Рушан впервые и попробовал икру — ели ее большими деревянными ложками, и стояла она на столе в нескольких глубоких липовых мисках, и рыбу — розовую, жирную, вкусную, которую он поначалу принял за какое-то диковинное мясо, такими большими и толстыми были куски.

Все хвалили работу отчима, тут же, за столом, и рассчитались с ним. Во дворе мельницы стояла наготове запряженная пароконная подвода, на которой их привезли из Мартука, а теперь собирались отправить домой. Когда Исмагиль-абы вышел к подводе, мельник вынес связанного за ноги барана. «А это тебе, мастер, от меня лично», — сказал он, и уложил барана в телегу, устланную свежескошенным сеном.

Староста что-то шепнул вознице и, усевшись вместе с ними, загадочно улыбаясь, велел трогать. Где-то на краю села телега остановилась, и староста пригласил их в неприметный подвал. Длинный низкий подвал, крытый толстыми, в два наката, бревнами, оказался темен, и возница со старостой зажгли сразу два больших керосиновых фонаря. В подвале стоял ледяной холод, хотя льда не было — видимо, где-то совсем рядом проходили подпочвенные воды.

Лампы медленно разгорались, отгоняя тьму шаг за шагом, и Рушан вдруг увидел десятки огромных рыб с него ростом и поболее, висевших на железных крюках головами вниз. Насколько высвечивал скудный свет — рыбы, рыбы, рыбы...



Белуги. Староста обходил, трогая и как бы обнюхивая каждую. Найдя достойную внимания, остановился, вынул из-за голенища сапога широкий нож, быстрым ловким движением вырезал из спины три длинных толстых куска и молча протянул отчиму. Затем он направился к боковой стене и поставил фонарь на широкую деревянную полку. Полки в два ряда уходили в темноту, на них лежали черные шары величиной с футбольный мяч. Возница подал не то небольшое деревянное ведро, не то бочоночек, и староста все тем же ножом, как масло, разрезал один шар пополам, рукой уложил в ведерко икру, заполнив его до краев, и передал ошеломленному мальчику. «Это от общества, от мира казачьего, мастер», — сказал староста и низко поклонился...

Но как Рушан ни выглядывал сейчас, ни открыто, ни тайком рыбой и икрой на базаре не торговали. А сколько ее было в этих краях когда-то, он видел сам. И теперь, запоздало, понял слова отчима: реку береги...

Зато, выискивая икру, он наткнулся на цыган, — нет, не конокрадов, последние казачьи кони вряд ли интересовали их. Цыгане бойко торговали самодельными свитерами и пуловерами с фальшивой эмблемой далекого американского штата Монтана.

Все продукты аккуратно разместились в коробке, а расторопная хозяйка хлебной лавки быстро и ловко перевязала ее шпагатом из-под бубликов. Не спеша, довольный покупками и живописным казачьим базаром, опять мимо коновязи, у которой теперь одиноко стояла, опустив голову, старая пегая кобылица, направился он к стоянке.

Издали увидел у своей машины плотное кольцо людей и подумал с тревогой: «Наверное, выезжая, кто-то меня крепко зацепил...» С трудом пробился к машине и, поставив коробку на капот, достал ключи.

— Ты хозяин? — спросил какой-то возбужденный казак и, схватив его за руку, затараторил: — Я первый, я первый покупатель, я первый подошел...

Казака не перебивали, но двое здоровых мужиков молча оттирали его от Дасаева, пытаясь обратить внимание на себя. Однако тот, первый, мертвой хваткой вцепился в локоть Рушана.



— Покупатель чего? — спросил растерянно Дасаев, стараясь освободить локоть, в чем ему услужливо пытались помочь все те же двое крепких мужчин — по всей вероятности, нездешних.

— Да ты, брат, шутник! — нервно рассмеялся, не выпуская локтя, взволнованный казак. — «Волги», дорогой, вот этой красавицы белой!

— А кто вам сказал, что она продается? — наконец освободив, не без чужой помощи, локоть, спросил, приходя в себя, Дасаев.

— Ты что, псих? На самом видном месте базара поставил машину, надраил как для парада, а теперь «не продается»! Хитер, брат! Цену хочешь нагнуть? — возмутился казак, и толпа вокруг зашумела.

Рушан понял, что поставил машину на автомобильном базаре, издали очень похожем на аккуратную автостоянку. «Конный базар, сенной базар, птичий базар, — мелькнула некстати мысль, — а теперь вот и автобазар. У каждого времени не только свои песни, но и свои базары».

— Извините, я приезжий, проездом. Не знал. Машина не продается, — ответил уже раздраженно Рушан.

Толпа стала медленно редеть, — иные отходили со смешком, другие — не скрывая своего разочарования и недовольства.

Дасаев открыл багажник, рядом с ним, слева и справа, склонились головы тех крепких мужиков. Они помогли удобнее разместить коробку.

— Молодец, умница, разогнал шушеру и любопытных, берем мы машину, очень понравилась. На экспорт, наверное, сделана.

— Не на экспорт, а персонально, — перебил Рушан, закрывая багажник.

— Тем лучше! За версту видно — особенная! — продолжал обрадованно один из крепышей. — Тридцать тысяч даем, мелочиться не будем, по душе нам машина, да и хозяин тоже. Ну что, по рукам?

— Машина не продается, я же сказал, — ответил Рушан устало и открыл переднюю дверцу.

«Волга» медленно тронулась с места. В приоткрытое окно всунулась голова настырного покупателя.



— Тридцать пять даю, дорогой! Последняя, красная цена! — умолял он, цепляясь за руль.

— Не продается, — ответил Рушан и рванул машину так, что все вокруг шарахнулись в сторону.

Только выехав за околицу станицы, он сбросил скорость и повернул к мосту. Здесь, на лугах, у реки, он и решил провести день. Не шел из головы базар: цыгане, вряд ли знающие, в какой стране находится штат Монтана, и занятые явно не своим привычным ремеслом; старый казак, хозяин красавца Терека, его долгая и, конечно, непростая жизнь; торги на автомобильном базаре...

— Тридцать пять тысяч...

Но сумма, произнесенная вслух, не вызывала никаких ощущений, хотя он и понимал — деньги ого-го какие, иной человек за всю жизнь такие вряд ли заработает.

Он съехал по следу косилки в луга и долго колесил вдоль берега, выбирая удобное место. Мест красивых было много, оттого и выбрать было трудно. Вскоре он нашел поляну, по всей вероятности, служившую местом отдыха косарям в сенокос, и остановился. Привлекла его и копанка — слабый родничок, заботливо обложенный битым кирпичом. Сколько поездил он на своем веку, а копанки встречал только здесь, в родных краях.

Невдалеке Рушан увидел и старое кострище, явно использовавшееся не один раз. Осмотрев окрестные кусты, он без труда нашел треногу, закопченный казанок и даже запас привезенных из станицы дров, но дрова решил не трогать. Времени у него было предостаточно, и он насобирал сушняка на берегу и в тальниках.

С реки в сторону луга тянул едва ощутимый ветерок, влажный, вязкий, с запахом воды, мокрого берега, а над цветущим лугом стоял густой запах трав, запах горячего лета, и казалось, здесь, у копанки, где расположился Рушан, запахи реки и луга соединялись, растворялись один в другом, рождая неповторимый аромат, круживший голову, пьянящий душу, — и никуда уходить отсюда не хотелось. Солнце поднялось уже высоко, время перевалило за полдень, но здесь, на лугу у реки, жара не чувствовалась, — окутывало приятное мягкое, умиротворяющее тепло, располагавшее к созерцанию и покою.



Он разжег небольшой костерок, сварил в казанке яйца и с аппетитом пообедал. Потом долго с удовольствием купался в реке, название которой так и не удосужился узнать, загорал на песчаных дюнах, напоминавших ему Палангу.

Солнце уже склонилось на вторую половину дня, и от стогов потянулись, все более удлиняясь, лохматые причудливые тени. Возвращаться было рано, да и не хотелось покидать райский уголок. И Рушан, чуть разворошив стог, расстелил старое одеяло из машины, служившее вместо чехла, прилег.

Запах стога напомнил ему сеновал в старом доме, куда зимой загоняли ребят стужа или метель. Забившись в тепло сеновала, в кромешной тьме рассказывали они друг другу страшные истории о колдунах и колдуньях, нечистой силе и привидениях. Удивительно, как были долговечны и в ходу тогда подобные истории в маленьких местечках. Незаметно для себя он заснул...

Проснулся уже глубокой ночью. Прямо над ним в бездонном черном небе сияли звезды — такого неба и столько звезд сразу он не видел давно. Он долго лежал, не ощущая прохлады, ночь оказалась на редкость теплой. Ночное небо со вспышками падавших звезд, прочерчивавших мгновенные дорожки, с яркими созвездиями, названий которых он не знал, кроме Большой Медведицы и Млечного Пути, было таким же притягательным, как и река, лес, луга... Он не мог оторвать глаз от мерцавших звезд, казалось, они струили на него покой, нежность и... вечность. Это он ощущал, казалось, не только умом, но каждой клеточкой своего тела.

От удивления, какого-то непонятого восторга он даже вскочил, почувствовав в себе необыкновенную силу и бодрость, вроде и не ночь стояла кругом. Снова разжег костер, поставил казанок и заварил чай с мятой, — так делали они в детстве в ночном или на рыбалке.

Наверное, его яркий костер был виден в ночи с высокого казачьего берега, где еще гуляли влюбленные, а может, даже и в космосе. Ведь говорят, подними голову — и тебя разглядят космонавты. И, как бы посылая привет в космос, он расшевелил угольки костра, и тысячи искр, земных звезд, взметнулись к небу. Если бы его действительно разглядели космонавты, наверное, они бы позавидовали ему: ночь, тишина, даже не



слышно цикад, только изредка в реке плеснет большая сонная рыба, да чуткая лягушка от страха на всякий случай плюхнется с широкого и удобного листа кувшинки в воду, и — костер, от которого глаз не оторвать, и вечная мысль о тайне огня...

Сушняк кончился, костер догорал, но уходить не хотелось, и Рушан прошел к реке. Бесшумно, словно боясь вспугнуть сон всего живого в ней и вокруг нее, несла она свои слабые воды к Уралу. Только озорной бессонный ветерок, неподвластный реке, шуршал береговым камышом, снимал дрему с усталых раkit, склонивших свои ветви к самой воде, словно ища и прося у реки заступничества. Остывший за ночь прибрежный песок ласкал, успокаивал босые ступни и словно приглашал пройтись, наглядеться — когда еще такое увидишь, разве что во сне. И надо было вобрать это все в себя на долгие-долгие годы, чтобы не забыть, чтобы помнить...

Рушан прошелся вдоль берега по мелководью, — вода, вобравшая долгое летнее солнце, была теплее, чем днем. Он быстро разделся и поплыл — осторожно, бесшумно, кощунственно было будить тишину...

Машина, стоявшая под стогом сена, пропахла разнотравьем, лугом. Включив дальние огни фар и осветив чуть поникшие к ночи дремлющие цветы, одинокие и сиротливые стога, он медленно выехал на дорогу. Проехав мост, включил приемник, — разноголосый эфир ворвался в салон машины, но он легко нашел нужную волну: концерт, наверное, передавался для таких полуночников, как он. Быстрой езды, как предполагал, не получилось, хотя дорога была уже знакомой, и ни одного огонька не попадалось навстречу.

Степь, травленная и перетравленная пестицидами-гербицидами, кстати и некстати паханная и перепаханная, перерезанная гулками шоссе, автострадами, железной дорогой, пропахшая бензином и круглосуточным дымом с оренбургских нефтепромыслов, искореженная телегами, трейлерами, изрезанная нитками нефтепроводов и газопроводов, подземными кабелями телеграфных, телефонных и иных коммуникаций, жила активной жизнью.

Иногда дорогу пересекали какие-то змеи, а то и целые полчища лягушек. То вдруг свет фар выхватывал мечущегося на дороге ослепленного тушканчика, не знающего, куда



скакать. Дважды вдалеке перебежали дорогу тощие линялые лисы. Однажды ему пришлось даже остановиться: через дорогу, видимо, на водопой, трусило стадо сайгаков с неокрепшим молодым приплодом. Бедным животным, к сожалению, знаком луч автомобильных фар браконьеров, и Рушан, чтобы не растерялись в ночной степи в опасной близости от дороги напуганные беззащитные сайгачата, долго стоял у обочины, погасив свет.

Особенно много было зайцев — они даже не боялись машины, видимо, придорожная жизнь приучила. Но если луч фар прихватывал их, ослепляя на шоссе, они, как и тушканчики, растерянно металась по дороге. Вдоль железнодорожной лесополосы часто встречались ежи. Увидел он и барсук у своей норы — тот не испугался, не юркнул под землю, а, виляя жирным задом, заковылял к лесу. У пшеничных полей оказалось царство сусликов — вот кого не берет ни пестицид, ни гербицид, жиреет себе на здоровье и плодится несметно. Здесь же, на пшеничном поле, вблизи леса, заметил он сов — больших, ленивых, старых.

Удивительно, еще утром ехал по этой же дороге, ничего не видел, не замечал, и вдруг ночь открыла для него затаившийся от глаз людских неожиданный мир. Поразительная ночь!

Стало светать, одна за другой начали гаснуть звезды, незаметно очищая от ярких созвездий огромные полосы небосвода. Еще минуту назад бархатно-черный подклад неба вмиг посерел, чтобы с первыми лучами зари ярко, по-летнему, заголубеть.

Въезжал Рушан в Мартук со стороны старого мусульманского кладбища, где был похоронен отчим. Мусульманские кладбища просты и неприязнательны, нет там буйства зелени и роскошных памятников, зачастую нет и кладбищенского сторожа. Но даже в транзисторный век мучающихся от безделья акселератов на мусульманских кладбищах не озоруют, ибо давно известно: безнаказанно такое кощунство не проходит, извинения и оправдания не принимаются.

Кладбище было обнесено глиняным дувалом, который от времени сильно осел, частично размылся затяжными осенними ливнями и местами рухнул — где внутрь кладбища, где в ров, вырытый специально, чтобы скот не заходил на мазар. Мать говорила, что какой-то казах, чабан, перед смертью отписал



крупную сумму денег на новый забор для кладбища, но дети второй год опротестовывают в судах завещание, утверждая, что отец был невменяем, да только ни один свидетель, кроме родни, не хочет брать грех на душу и подтвердить это.

Кладбище даже изначально не имело ворот — просто узкие разрывы в дувале с четырех сторон для входа. Покойника у мусульман, как бы далеко не было кладбище, несут на специальных носилках, никаких машин, и доступ на мазар имеют только мужчины.

Рушан оставил «Волгу» у входа и, волнуясь, произнес двести суры, запавшие в память из детства, — наверное, их помнит каждый мусульманин до конца дней своих, как бы ни складывалась у него жизнь и какое бы образование он ни получил.

Уже рассвело, и легкие дымчато-снежные облака, которые исчезнут с первыми жаркими лучами солнца, заполнили, вместо звезд, по-утреннему свежий небосвод. Пала роса, и кусты чахлой серой полыни — основной травы на кладбище — были влажны, выжженная солнцем мелкая трава не хрустела под ногами, и вытоптаные дорожки, разбежавшиеся веером от входа по громадному кладбищу, еще не пылили. В такой час в дни мусульманских праздников собираются старики на мазаре, чтобы совершить утренний намаз и помянуть добрым словом людей, чей путь закончился за осыпающимся дувалом.

Выходило, что пришел он к отчиму в святой час. Могилу его он нашел легко — скромная, как и все рядом, только оградка, выкованная в колхозной кузнице, была шире, выше, затейливее и казалась надежнее, чем все вокруг, да была выкрашена лаком — черным, блестящим. Большой букет роз из домашнего сада, что принес сюда Рушан в день приезда, увял.

Он открыл калитку, убрал высохшие цветы и увидел у изголовья могилы тонкие, неокрепшие, но дружно пошедшие в рост стебли татарника, целый куст. Самый тонкий, слабый стебелек кончался распутившимся недавно, может, даже сегодня, алым цветком. Последний дар земли, нежнейший цветок невзрачного, но большой жизненной силы татарника, покачиваясь, словно шептал: спи спокойно, Исмагиль-абы, мастеровой, воин...

Неподалеку находилась и могила сестры Рушана. Саня умерла рано, двадцати лет от роду. Живи она другой жизнью — болезнь легких оказалась бы лишь эпизодом в ее судьбе...



Отправляясь обратно в большой город, где теперь жил, Рушан прощался с родными, которые так рано оставили его одного...

XXXIX

Ташкент сразу и навсегда полюбился Дасаеву, и теперь он часто вспоминает свои первые дни в столице. И всякий раз перед глазами встает чайхана на Чигатае — она, наверное, дала ему возможность понять душу Востока, определить свое поведение.

В городе сносили и строили, сносили и строили... Особенно интенсивное строительство развернулось после памятного землетрясения. Но и до него город не дремал. Исчезали почти библейской древности кривые улицы, горбатые, пыльные тупики и переулки; исчезали целые кварталы-махалли с высокими глинобитными дувалами скрытых от глаз подворий. Уходило прошлое, навсегда, навечно. Уходило тихо и шумно, с радостью и печалью. И от того, что так стремительно рушилось все вокруг, становилась беспомощной чья-то память, державшая на примете, как маяк, какую-нибудь чинару, которой один Аллах ведает сколько лет.

Бегут годы, вон и тебе уже сколько настучало, а она, могучая мать-чинара, украшение и гордость махалли, какой была на твоей памяти — самой высокой в округе, с дарящей прохладу раскидистой кроной, — такой и осталась. И если огрубела, потрескалась кора неохватного ствола да вокруг дерева вздыбилась выжженная солнцем почва, принявшая в себя громадные корни, — так ведь и ты уже не юноша чернобровый с тополиным станом.

Время, как рачительный хозяин, на всем ставит тавро, никто и ничто не остается без его метки. Но, как ни меняет время облик всего сущего, у памяти ориентиров много.

«Чигатай, тупик 2» ... И перед Дасаевым тут же встал поворот с Сагбана, куда выплескивалась крученая-верченая улица Чигатай.

Если подняться вверх по Чигатаю — узкой, извивающейся, как змея, улице, на которой едва две арбы разминутся, да и то



если ездоки с уважением отнесутся друг к другу, — выйдешь к бывшим складам горторга, которые по привычке называют караван-сараем. Давным-давно отшумел свое караван-сарай, считай, с тех пор, как последних лазутчиков Джунаид-хана выловили в нем, а за пыльными малооконными складами так и осталось это название — караван-сарай.

С этой улицы, с любого ее конца, в глубине запутанных улочек-лабиринтов можно было увидеть два минарета. Один — тот, что повыше, глядел молодцом: высок, прям, строен. Многие, кто помоложе, из атеистического поколения, особенно праздный туристический люд, принимали минарет за трубу какой-нибудь хилой котельной или фабрики, но, когда лет десять назад на самой ее верхотуре свили гнездо аисты, стало ясно, что никакая это не труба и что выстроена башня совсем для других целей. «Чтоб не путалось Богово с мирским», — мудро определил в ту весну кто-то из седобородых, у кого и дел-то осталось на земле — только занимать красный угол в чайхане. Минарет стоял заколоченный, никому не мешал, и о том далеком времени, когда по его крутым ступеням поднимался муэдзин призывать правоверных на утренний намаз, помнили только старая чинара да несколько стариков, коротающих остаток дней в чайхане.

Другой минарет, видимо, и в лучшие свои годы был попроще: и ростом не вышел, да и кладка его из кирпича-сырца была без затей, не радовала глаза. То ли устав от времени, то ли по какой иной причине, наклонился он, и довольно заметно, в сторону овражка, где бежала узкая торопливая речушка — сай. Иные, демонстрируя свою образованность, называли минарет Падающей башней и упоминали при этом какой-то итальянский городок. В махалле же называли его просто: Кривой Мухаммед Ходжа. Поговаривали, что минарет, построенный на деньги кривого ростовщика Мухаммеда, человека скупого и вздорного, хоть и совершившего хадж в Мекку, наклонился сразу же после Курбан-байрама — одного из главных религиозных мусульманских праздников.

Глядящий в сай минарет был словно людским укором ростовщику, обманувшему мастеровых при расчете. Каких только денег ни сулил ходжа, чтобы выправить минарет, но охотников почему-то не нашлось. Молва успела стать легендой, и следов ходжи давно не найти, а минарет все падает и никак не упадет.



А рядом, за щербатым дувалом, обдавая пылью прохожих, неслись по Чигатаю серебристые рефрижераторы с местной минеральной водой, а то, сверкая лаком и вызывая восторг махаллинской ребятни, бесшумно лавировал по петляющей улице вишневым «икарус», возивший футбольную команду, известную своими взлетами и падениями.

Где-нибудь на улице, ежедневно меняя место наблюдения, таился сонный на вид толстый сотрудник ГАИ. Он неожиданно, как из-под земли, появлялся перед лихачами-шоферами, считавшими себя непревзойденными ловкачами, и, лениво поигрывая жезлом, загораживал собою треть дороги, громогласно объявлял: «На улице Чигатай движение одностороннее! Штраф плати!»

Вот так тесно сплеталось на этой улице старое и новое, вчерашнее и сегодняшнее, прошлое и будущее, уже витавшее над махаллей...

Дасаев впервые появился в этой махалле лет тридцать назад. Осенним утром, опаздывая на работу, стремительно неся он вверх по Чигатаю, на ходу впитывая в себя контрасты не по-осеннему жаркой улицы. Его цепкий молодой глаз, привыкший к мягким, теплым российским тонам, примечал в разгоревшемся оранжевом свете близкого солнца и чинару, и минареты, и многое другое...

Первые впечатления, восторг новизны, неизведанное и оттого особенно прекрасное чувство перемен в жизни навсегда запали в сердце молодого инженера. Оттого, наверное, много позже — он тогда уже работал в другом районе огромной столицы, — если случалось оказаться в старом городе, вдруг ощущал душевный подъем, как в те давние молодые годы, и каждый раз его обдавало теплом, словно впереди ждали какие-то неясные, но радостные перемены.

На работе его приняли по-товарищески сердечно. Тогда, впервые поднимаясь вверх по Чигатаю и выискивая нужный тупик, Дасаев удивлялся: да может ли быть среди этих глухих осыпающихся дувалов какая-нибудь служебная контора? И закрадывалось сомнение — уж не напутал ли он с адресом.

Монтажное управление, вернее, здание, в котором оно располагалось, оказалось и впрямь необычным, как необычным было для Рушана все вокруг в этом южном крае.



Уже через час после того, как появился он во дворе, сплошь укрытом от солнца виноградником, отчего на земле лежала пестрая, как маскхалат, тень, Дасаев получил в свое распоряжение отдельный кабинет. Оглядывая высокие расписные потолки с изящной арабской вязью на темных балках, он удивлялся: «Сказки Шахерезады, да и только».

Дом стоял на возвышении, чуть в стороне от шумного Чигатая, в тупичке. На фронтоне здания, на железных жалюзи окон и над дверьми на резном ганче стояла дата: «1911г.». В свое время это был единственный среди глухих дувалов дом окнами на улицу. Ох, как хотелось, наверное, Ахмаджону-байваче, бывшему его владельцу, чей след затерялся в дымных кофейнях Стамбула, казаться среди своих коллег-компаньонов передовым, прогрессивным... Вот и выстроил дом окнами на улицу. Окна на улицу были, но на них висели железные жалюзи. Шторы из гибкой стали, спускавшиеся изнутри, исправно служили до сих пор. На всей металлической фурнитуре дома и литье стоял неожиданный оттиск: «Одесса, г. Лемманнъ». Да, неблизкой была та давнишняя поставка...

И полетели дни, недели... Где-то далеко, там, откуда приехал Дасаев, уже давно убрали огороды, пустые поля с потемневшим жнивьем прихватывали по утрам первые заморозки, и все чаще лили нудные обложные дожди. А во дворе их управления с прогнувшихся лоз свисали тяжелые виноградные гроздья, и солнце сквозь пожухлую листву, словно подустав за бесконечное лето, светило мягко, спокойно, и казалось, конца этому теплу и благодати не будет.

«Надо же... теплынь... Сахара...» — частенько думал Рушан и вспоминал друзей, попавших по распределению в более суровые края. Они уже облачились в плащи и пальто, ходят в шапках и свитерах, а тут все еще разгуливают в пиджаках...

Жил он на Чиланзаре в общежитии. Преимущественно одноэтажный город тех времен раскинулся на огромной территории, словно тогда уже предвидел недалекий бурный рост и заранее застолбил себе место.

Каждодневная утренняя поездка в троллейбусе до Хадры казалась Дасаеву путешествием в неведомые края. Он часто стоял у огромного пыльного окна в конце салона и сквозь неторопливые обрывочные мысли слушал, как музыку, ленивый



голос кондуктора: «Беш-Агач... Караташ... Алмазар...». Каждое название заключало в себе не только музыку, но и тайну: «Самарканд-Дарбаза...», «Домрабад...», «Ахмад-Даниш...».

Он выходил на Хадре и пешком спускался к Чукурсаю, чтобы, минуя знаменитый базар, отмеченный во всех туристических проспектах, выйти к Чигатаю. Шагая по остывшим за ночь тротуарам, ощущал закатанное под тонким слоем асфальта булыжное мощение, еще сохранившееся в прилегающих к дворам проездах.

Арыки поутру казались полноводнее и журчали веселее. Справа, из распахнутых высоких ворот парка Пушкина, который отродясь не бывал в этих местах, но оказался здесь почтительно увековечен, веяло утренней свежестью. За решетчатой оградой, оплетенной цветущей лоницерой, виднелись присыпанные красноватым песком безлюдные аллеи. Рушан знал уже, что в этом зеленом уголке вавилонское многоязычие города чаще всего являло татарскую речь — татары давно облюбовали парк, когда-то пышный, с озером и летним кинотеатром, потом и планетарием, а ныне довольно скромный, в качестве места отдохновения, — и отмечали в нем старые и новые праздники.

На базаре он не задерживался. Покупал две горячие пышные лепешки прямо из тандыра, еще на одну серебряную монету — кисть винограда, иногда пару персиков или истекающих соком груш, но чаще всего — кандиль, яблоки с нежным девичьим румянцем. Тут же, на базаре, в одной из многочисленных чайхан, полупустых поутру, он завтракал, выпивая традиционный на Востоке чайничек зеленого чая. Из интереса и любопытства заходил то в одну, то в другую чайхану и повсюду встречал почти одинаковые, в алых розах, металлические подносы, на которые клали лепешки и вымытые фрукты.

При кажущейся на первый взгляд одинаковости все чайханы были разные. В одних, воровато оглядываясь, понижая голос до шепота, сидели, как на иголках, за нетронутым чайником чая оптовики-перекупщики, рядившиеся с растерявшимися от оглушительной суеты приехавшими в город дехканами.

В других восседали важные, громогласные бритоголовые мясники. День им предстоял нелегкий: и огромными двенадцатикилограммовыми топорами намашутся, и туши многопудовые ворочать придется, успевай только! А днем подростки,



племянники чайханщика, понесут из чайханы в мясные ряды подносы с лучшими чайниками и пиалами без единой щербинки — мясники на базаре испокон веков торговая элита.

Обнаружил Рушан и чайхану, где звучала речь казахов, — казахские земли вплотную подступали к городу с северо-запада.

Однажды в начале зимы в туманное и сырое утро торопился он на работу. За пазухой недавно купленного пальто лежали две горячие лепешки. Чайхана, в которой Рушан, как обычно, хотел позавтракать, оказалась закрытой, и он решил попить чаю с вахтером — у того на плитке зимой всегда кипел чайник.

Рушан шел по мокрому Чигатаю, ощущая тепло и запах свежих лепешек, и так велико было искушение откусить кусочек, что он невольно замедлил шаг, и тут вдруг его окликнули:

— Товарищ инженир, добрый утро! День сырой, заходите моя чайхана, выпейте пиалушка чая.

В проеме распахнутой двери стоял рослый мужчина в меховой безрукавке и широким жестом приглашал войти. За дверь Рушан увидел ярко горевшую лампочку и часть стены, завешенную тяжелым темно-красным ковром. На него дохнуло теплом, древесным углем и типично восточным запахом множества ковров. Эту чайхану на Чигатае, неподалеку от управления, он приметил давно и уже знал, что она махаллинская, а это совсем не то, что базарная, ее обычно посещают лишь завсегдатаи и местные жители.

Дасаев раздумывал, но улыбка не сбегала с лица чайханщика, жест был искренен и щедр, и он вошел.

С тех пор он частенько бывал здесь, но с особым настроением заглядывал именно поутру поздней осенью и зимой. В сумерках слякотного или морозного утра, когда скудно отапливаемый мангалами старый город нехотя просыпался, он, подняв воротник пальто, спешил, как обычно, через базар. Лепешечник, за спиной которого жарко исходил паром тандыр, протягивал ему, уже как старому знакомому, две с пристрастием отобранные лепешки, и он, не сбавляя темпа, обгонял какие-то согнутые, закутанные фигуры, неожиданно возникавшие из светлеющей тьмы, слыша вокруг себя почему-то приглушенный, не свойственный дневному базару говор. Странно, даже арбакеш, чей голос перекрывал в полдень многоязычный гомон, поутру был удивительно тих. Восток... Загадка. Тайна...



Всегда, в любой день, едва свернув с Сагбана, Рушан еще издали видел светящиеся окна махаллинской чайханы. Он вытирал взмокший от быстрой ходьбы лоб, вынимал у порога из-за пазухи лепешки и решительно распахивал дверь. Обычно в это время посетителей не было. На его приветствие Махсум-ака, проводивший последнюю «инвентаризацию» чайников или возившийся с самоваром, отвечал бодро и с какой-то беззаботной веселостью: «Э, салам алейкум, инжинир, пажалиста, заходи скорей». От огромных медных самоваров, потускневших, с зеленоватым отливом, разливалось тепло. В отсутствие посетителей горела одна лампочка напротив двери, и уходившие в темноту стены казались завешенными черными коврами, только иногда проезжавшая мимо машина была в окна ярким лучом фар, и на миг стена окрашивалась в кроваво-красный цвет...

Чуть позже, когда он уже попил чай с наватом и парвардой — дешевыми восточными сладостями и вел оживленный разговор с Махсумом-ака, не прекращавшим своих дел, объявлялся второй посетитель. Обычно это был кто-нибудь из соседнего дома. По-домашнему кутаясь в длинный, до пят, стеганный чапан, он велеречиво и церемонно обменивался любезностями с чайханщиком, а заметив Рушана в глубине зала, так же любезно обращался и к нему: «Добрый утро, товарищ инжинир...»

«Инжинир»... Так и закрепилось за ним в махалле это прозвище, и произносили его уважительно, словно кладовщик Мергияс-ака специально прорепетировал со всеми жителями квартала. Звание «инженер» в те годы еще было весьма почитаемым, и, что говорить, Дасаеву такое обращение нравилось.

Может быть, быстро упрочившееся уважение сослуживцев и доброе расположение махаллинского люда явились причиной того, что однажды, в обеденный перерыв, в этой чайхане он принял неожиданное для себя решение: «Остаюсь... Пущу корни на узбекской земле. Женюсь...»

Мергияс-ака, составлявший ему в тот день компанию, заметил, как изменился в лице «инжинир», и торопливо спросил: — Что случилось, Рушан?

Дасаев, на миг побледневший от охватившего его волнения, с улыбкой обвел глазами зал, словно заново увидев все вокруг, и весело ошаршил кладовщика:



— Жениться решил, вот что, Мергияс-ака...

А ведь до этого момента и мысли подобной в голову не приходило.

«Женюсь» вовсе не означало, что Рушан решил завтра же бежать в загс. Под «остаюсь» он подразумевал: «Всерьез, надолго, с семьей, домом... с детьми...»

Конечно, девушка любимая у него была. Жила она в насквозь продуваемом ветрами и жесткой поземкой степном городе. Туда, в домик на окраине, окруженный чахлыми акациями, на улицу 1905 года, устремлялись все его помыслы, и иногда, мысленно, он называл ее «моя невеста».

Принятое решение внешне никак не отразилось на нем, но повернуло жизнь круто; он вдруг понял, что до сих пор видел все вокруг как бы снаружи, глазами приезжего, а сейчас стал вглядываться изнутри, примеряя все к своей будущей жизни. В свободные дни он часами пропадал в книжных магазинах, часто ходил на концерты, — гастролеры жаловали теплый, уже названием своим навевавший ожидание тайны город.

Жил Дасаев все там же, в общежитии, хотя в махалле предлагали ему за небольшую плату отдельную комнату. Но он отказался — не хотел лишать себя каждодневного путешествия. Иногда он немного изменял маршрут: с Хадры сворачивал влево, спускался к площади Чорсу и, минуя базар, выходил к себе на Чигатай.

Он быстро усвоил, что суета, торопливость на Востоке не в чести, и старался никуда не спешить. С обостренным вниманием вглядывался в окружающее, подмечая то, что раньше ускользало от его взора. С наслаждением впитывал в себя древний город: его краски, шумы, его пыль, зной, многоязычие, завезенную приезжими суету и исконную степенность. И часто, подтверждая однажды принятое под настроение решение, мысленно говорил себе: «Да, мне здесь жить...»

По утрам на пути к управлению он раскланивался с множеством людей. Прижав ладонь к сердцу, осветив лицо улыбкой, ему отвечали тем же. Только бледные немощные старики, бухарские евреи, достаивали его лишь кивком головы. И трудно было ему по молодости понять — от гордыни это или от немощи, когда с трудом дается каждый жест. А может, с высоты библейского возраста считали они, что жест достойнее слова?



Ему нравились эти молчаливые тихие старики. В белых чесучовых костюмах, оставшихся еще с бойких нэпмановских времен, поры их молодости и удач, встречались они ему только по весне и в долгие теплые дни осени. От слякоти, стужи, жары они уберегались за высокими дувалами. Пробегая утром мимо птичьего базара, Дасаев часто встречал их в петушином ряду. Покупали они только живую птицу и обращались с ней, словно маги или гипнотизеры. Еще мину-ту назад хорохорившийся красавец петух горланил на весь базар — и вдруг под слабыми руками старика, ощупывавшего его бока, затихал, смирялся. Странно, но каждый из этих стариков всегда покупал птицу одного оперения: или огненно-рыжих петухов, или белых хохлаток, или рябых, первой осени, цыплят. По этим птицам, которых несли за ноги головами вниз, отчего птицы вели себя удивительно смирно, он и различал старцев-евреев, которые от времени стали почти на одно лицо.

Чем лучше Дасаев узнавал город, тем сильнее привлекала его чайхана в махалле. Ее неписанные законы Мергияс-ака мог объяснить ему за один вечер, но Рушан хотел до всего дойти сам.

Вечерами он частенько засиживался на работе, а, возвращаясь, заходил в чайхану и обычно играл партию-другую в шахматы. Между ходами он внимательно оглядывал многолюдный зал и в распахнутые настезь окна видел, что к вечеру заполняются айваны и на улице. Слышно было, как там гремели ведрами и шумно расплескивали воду — это добровольные помощники Махсума-ака поливали арычной водой двор и обдавали из шлангов деревья, — а потом, как после дождя, пахло землей и садом.

«Клуб, чисто мужское заведение», — часто думал в тишине вечера Дасаев. Более всего ценились здесь остроумие, общительность, доброта, участие в жизни махалли. Он заметил, что директор таксопарка чаще других поливал двор и деревья, потому что делал это ловчее всех: и пыль не поднимал, и грязь не развозил, и после него долго еще лежал на земле влажный узор, нанесенный простым шлангом. Знал Рушан и то, что директор завозил на зиму в чайхану и уголь, и дрова, и на краску для ремонта не скупился, но чтобы к нему от этого было какое-то особое отношение, он не видел.



Позже и он станет немало делать для этой чайханы, но отношение к нему останется по-прежнему ровным и уважительным. И всегда будут называть его здесь «инжинир», вкладывая в это слово раз и навсегда заложенную меру уважения.

В тесных, словно японских, двориках от бывших садов остались лишь орешина или урючина, яблонька или одинокий тутовник, и в центре — непременно крохотные клумбы с цветами. В этих домах окнами во двор, с балханой на втором этаже, текла ровная жизнь, скрытая от глаз и не рассчитанная на то, чтобы произвести впечатление на приезжего.

Отсутствием показного, простотой привлекала его чайхана в махалле. Нравился и неписанный кодекс поведения: например, в чайхану не заходили, выпив, и не распивали там в открытую. Он видел несколько раз, как взрослые солидные люди, можно сказать, хозяева махалли, перед пловом тайком наливали водку в чайник и обносили сидевших за дастарханом пиалой, словно чаем. Казалось бы, чего проще, ставь бутылку в центре, стаканов достаточно, шуми, провозглашай тосты, кто посмеет что-то сказать? Нет, усвоенное сызмала срабатывало четко — нельзя, значит нельзя, ибо, уступив соблазну однажды, начнешь мало-помалу рушить традиции до основания.

И молодежь вела себя здесь сдержанно. Однажды он стал свидетелем, как двое юношей — не городских, видимо, случайно забредших с базара, получили урок, который едва ли когда забудут.

В чистой, опрятной чайхане возле стен на коврах были расстелены еще и курпачи — узкие стеганные одеяла, и один из парней с удовольствием растянулся на мягкой курпаче, другой присел рядом, и они продолжали что-то оживленно обсуждать, оглашая чайхану молодым громким смехом, не обращая внимания на окружающих. Сидели они у стены, никому вроде не мешали, но Махсум-ака, безучастно перебивавший четки, незаметно для окружающих подошел к молодым людям и что-то мягко, вполголоса сказал. Его слов оказалось достаточно, чтобы лица вмиг вскочивших парней залило краской стыда.

«Уважай других — будут уважать тебя» — такой рукописный плакат на узбекском языке висел за спиной Махсума-ака, у самовара.



Заканчивая играть в шахматы, когда на город уже ложились дымные сумерки, Рушан иногда замечал, как в чайхане появлялись дети. Молча отыскивали кого надо и, что-то шепнув, бесшумно исчезали. И Дасаев представлял, как когда-нибудь он будет так же ходить вечерами в свою махаллинскую чайхану, играть в шахматы или просто сидеть на открытой веранде с чайником чая, и за ним, приглашая его на ужин, будет прибегать сын или дочь.

Конечно, он мечтал тогда о детях, о жене. Представлял, какой она будет, как сложится их жизнь. Правда, силуэт девочки с нотной папкой в руках растворялся в дали времен, и казалось, вот-вот совсем истает, но приходили новые увлечения, не перечеркивая той далекой любви, оставшейся в зыбком мареве юности.

Тогда он не сомневался, что все свершится так, как задумал. Это потом жизнь преподнесет ему не один сюрприз, и среди них будет немало горьких, страшных...

XXXX

О чем бы ни размышлял Рушан, перелистывая книгу своей памяти, он не мог обойтись без упоминания о Глории. Судьба Глории, неотделимая от него, несла на себе самый яркий отпечаток жестокого, немилосердного времени...

Однажды в сумерках, традиционно настраиваясь на «вечер воспоминаний у окна», он увидел под грудой старых писем, что перебирал накануне, уголок большой фотографии. Он решил, что это выпуск Актюбинского железнодорожного техникума, в котором учился, и достал снимок. Кого ему хотелось увидеть? Роберта Тлеумухамедова? Лом—Али Хакимова? Ефима Ульмана? Людочку Журавлеву? Он и сам не знал, тем более что и не угадал.

Фотография, сделанная профессионалом и в свое время обошедшая немало газет, запечатлела футбольную команду «Металлург», победителя пятой зоны чемпионата СССР по классу «Б» — была когда-то в стране и такая классификация. В левом нижнем углу по твердому картону фотографии четким, от природы каллиграфическим почерком шла наискосок



надпись красным карандашом: «Рушану Дасаеву — первому болельщику «Металлурга», нашему другу — на память о нашей победе, о нашей молодости», — и размашистая, прямо-таки казначейская подпись капитана команды Джумбера Джешкариани. Рушан перевернул снимок: обратная сторона вся была в разноцветных автографах футболистов.

Фотографировались сразу после игры, сделавшей «Металлург» недостижимым для противника, выведившей его в чемпионы. Джумбер, с аккуратным пробором, в тщательно заправленной футболке, сидел, улыбаясь, в первом ряду на корточках, а вокруг него стояла, не выказывая усталости, счастливая команда.

Как меняются с годами наши пристрастия, привычки! Скажи кто, что Рушан Дасаев когда-нибудь разочаруется в футболе, перестанет ходить на игры любимых команд, — подняли бы на смех. Как детскую считалку, без запинки — разбуди его даже среди ночи — он мог назвать поименно дубль любой команды класса «А», не говоря уже об основном составе. Зимой, когда ни о каком футболе не могло быть и речи, вдруг чудился Рушану среди ночи репортаж Синявского или Озерова, и он, схватив с прикроватной тумбочки транзисторную «Спидолу» — эти приемники тогда только появились и были редкостью, — начинал крутить ручки настройки: ведь явно же слышал шум трибун, тугой звук летящего мяча, трель судейского свистка...

Глория, человек увлекающийся, тоже была заядлой болельщицей. Она многое в жизни любила и делала страстно, и футбол, по сути своей тоже страсть, нашел в ней благодарную почитательницу.

Как любила она их поездки вдвоем или вместе с «Металлургом» на игры «Пахтакора» в Ташкент, где на поле выходили в те годы знаменитые Геннадий Красницкий, Станислав Стадник, Берадор Абдураимов, Искандер Фазылов, Ревал Закиров! Как умела она болеть! Это надо было видеть, слышать. Нет, она не вскакивала, не кричала до хрипоты, не свистела, но минут через десять все вокруг нее наэлектризовывались токами. Она чувствовала нерв игры и редко ошибалась в прогнозе.

Как она радовалась победам или огорчалась поражениям «Металлурга» дома, в Заркенте, где играли их друзья! Джумбер —



мокрый, грязный, — увидев Дасаева в раздевалке, чуть теплея блестящими глазами и говорил: «Рушан, пожалуйста, уведи Глорию, стыдно в глаза ей смотреть за такую игру». А уж как счастливо, гордо шла команда с поля после победы! Каждый игрок, проходя мимо их трибуны, мимо их постоянных мест, словно гладиатор, бросал победу, как драгоценный трофей, к ее ногам, и она одаривала их не менее щедро — улыбкой, искренней радостью.

Когда команда возвращалась с выездных игр с поражением, Джумбер, выслушав упреки Глории, шутя отвечал:

— Глория, ты же наш талисман. Там некому было посвящать победу. А зачем мужчине победа, если ее некому дарить? Вот завтра игра дома, и если ты придешь, мои мальчики постараются...

А как она ликовала, когда у нее выдавались свободные дни и она могла ездить с командой в близлежащие казахские города Чимкент или Джамбул, где «Металлург» «позволял» себе разгромить соперников в пух и прах! Футболисты — народ суеверный, они втайне верили, что Глория приносит команде удачу...

Рушан мог и не смотреть на фотографию, он и так прекрасно помнил тот далекий осенний день, поразительно ясный, светлый, скорее похожий на весенний, хотя с гор уже веяло предзимней свежестью, и еще не дымили трубы могучего комбината, который он строил. Его с Глорией буквально тащили сняться с командой, но она была неумолима.

— Это ваша победа, ребята, — говорила Глория, сдерживая волнение и слезы, целуя их мокрые грязные лица, не замечая, что ее любимое белое платье становится похожим на футболку Джумбера...

Познакомил Рушана с Глорией футбол, а если точнее — Джумбер, но это одно и то же.

Странная и великая вещь человеческая память: иное мы вспоминаем в цвете, в красках, с шумами, звуками, запахами давно ушедшего времени, и, что удивительно, вглядываясь в минувшее через призму времени, иногда замечаем то, чего не было дано увидеть тогда.

Заркент... В названии города Рушану слышна понятная только ему музыка. У каждого есть город, при упоминании о котором вдруг вздрогнешь, и что-то внутри оборвется, и на миг



сладко закружится голова. Он может быть любой — большой и маленький, старый или молодой, известный, знаменитый или тихий, с неброским названием, но не в этом дело — он должен стать твоим, частью твоего сердца. И, наверное, в таком городе должны закончиться последние дни твои, чтобы не разрывалось сердце от горечи и тоски: «А помнишь, в городе нашем?» И это единственное место, где хоть одна живая душа да останется свидетелем твоей молодости и удач, где хоть однажды ты можешь услышать: «О, ты был орел! А какая у тебя была девушка! Таких теперь уже нет...»

Возможно, немало найдется скептиков, которые с усмешкой скажут: «Заркент? Это еще что за столица?» Да, в справочниках по обмену жилплощади он котирировался весьма невысоко. А, впрочем, надо ли что-то объяснять, оправдываться? Жаль человека, у которого нет своего города, — это все равно что быть обреченным на бездомность.

Тогда Заркент, оцетинившийся в жаркое азиатское небо стрелами башенных кранов, — а было их около трехсот, — строился денно и ночью, и то, чего не было здесь еще вчера, могло появиться послезавтра.

К приезду Рушана в городе уже выявились кое-какие контуры нового.

В центре на небольшом естественном возвышении, чуть в отдалении от шума главной улицы, уже высился красавец кинотеатр «Космос» с небольшим уютным сквериком и фонтаном. Это место пользовалось большой популярностью у жителей, и долгие годы, пока город не разросся и не появились другие, не менее примечательные ориентиры, служило местом свидания влюбленных.

Но особой гордостью Заркента являлся стадион. Ему отвели удобное место в огромной парковой зоне недалеко от центра. Хорошо спроектированный и умело построенный, легкий, изящный, с зимними спортивными залами, Дворцом водного спорта, он привлекал горожан, средний возраст которых едва-едва превышал двадцать четыре года. Стадион этот по ранней весне частенько упоминался в центральной прессе, особенно спортивной. Дело в том, что он был второй в стране, имевший гаревые дорожки, и в начале сезона самые именитые гонщики, большей частью из Уфы, съезжались в Заркент на сборы.



А ведь были еще и соревнования! Что ни имя, то многократный чемпион СССР, и перед каждой фамилией три заветные для каждого спортсмена буквы «ЗМС» — заслуженный мастер спорта. Такими афишами не часто балуют болельщиков и столичные города. Красный шарфик Габдурахмана Кадырова, известный на весь мир, не одну весну развевался на заркентском ветру. Что творилось на стадионе, когда в последнем решающем заезде встречались Игорь Плеханов, Борис Самородов, Габдурахман Кадыров и четвертый, ради которого, считай, и проходили соревнования! Асы были тогда в самой силе, более одной дорожки не уступали, иной расклад папахивал сенсацией. Да и четвертым чаще других оказывался не менее именитый Фарид Шайнуров, стареющий, уже не раз уходивший и вновь возвращавшийся на трек, или совсем молодой, невиданной отчаянности, словно коня поднимавший на дыбы мотоцикл Юрий Чекранов — Чика, как ласково называли его в Заркенте.

Побеждал чаще всего неувядаемый Борис Самородов. По-девичьи стеснительный Габдурахман Кадыров, виновато улыбаясь толпе поклонников, разматывая знаменитый шарфик, оправдывался — не вышло. Хотя ниже второго места опускаться себе не позволял, да и судьба золотой медали порой определялась фотофинишем.

«Потерпите, я зимой возьму свое, не подведу вас», — обнадеживал кумир и отвергал платочки девушек: гарь надушенными платочками не снимешь. И пока «гонялся», не было ему равных в спидвее, гонках на льду, так и ушел Кадыров непобежденным, семикратным чемпионом мира и двенадцатикратным чемпионом СССР, и красный шарфик короля спидвея долго вспоминали на ледяных аренах многих европейских столиц.

Недаром Глория как-то сказала Рушану, что ей хотелось бы, чтобы в новом Доме молодежи большую стену фойе украшало мозаичное панно «Мотогонщики», и не абстрактные лица гонщиков, а именно как было в жизни, в неподдельной борьбе: Самородов — Кадыров — Плеханов, летящие к виражу, к первой дорожке, и посередине — Габдурахман с развевающимся легендарным шарфом.

Стоит ли удивляться, что кумирами молодого города были спортсмены... Что гонщики? Они, как мираж, словно из



волшебного цирка шапито: покрасовались в кожаных комбинезонах, кованных железом сапогах и ярких шлемах известных фирм немислимых расцветок, вихрем пронеслись, и лица не разглядеть, и в один день, загрузив бесценные машины, оставив лишь сладкий запах особой заправки и гари на стадионе, исчезали. Истинными кумирами были футболисты, баловни щедрого в молодости и энергии города. Они были и кумирами Глории...

Глория... Рушану захотелось найти ее фотографию, но он тут же передумал: зачем? Стоило ему только захотеть — она всегда вставала перед глазами.

И вдруг ему почудился запах весеннего заркентского ветра, там он особенный — с трех сторон Заркент окружен горами и только к Ахангарану и Ташкенту выходит широкой вольной степью. А в горах по весне розово цвели миндаль и орех, и, словно усыпанные обильным снегопадом, стояли старые яблоневые сады, на много гектаров, и запах цветущего миндаля и яблонь, запах буйно зазеленевших гор заполнял низину, дурманя и без того горячие молодые головы.

Да, познакомились они весной. Он уже работал старшим прорабом. Рушан отчетливо помнит тот субботний рабочий день, — тогда о пятидневке только поговаривали.

Начальник управления, старый строительный зубр, по субботам разносы не устраивал, для этого хватало обязательных каждодневных планерок. В конце совещания, глядя на своих мастеров и прорабов, тянувшихся взглядами в распахнутые настежь окна, сказал, как бы недовольно: «Вижу, вижу, что у вас весна на уме, футбол да этот, как его... спидвей. Весь город с ума посходил, орут на нашем стадионе, а жалуются из Ташкента. Все, бегите и вы, может, до Москвы докричитесь...» — и отпустил минут на сорок раньше обычного. Линейщики, как мальчишки, рванулись к двери, вмиг устроив затор, кто-то из нетерпеливых даже выпрыгнул в окно...

Рушан помнит, как добирался на машине чужого СМУ до гостиницы «Весна», как прыгал почти на ходу из кузова, как летел на свой этаж, одолевая в три прыжка лестничный пролет, словно предчувствуя, что сегодня в его жизни должно произойти что-то важное, особенное, исключительное. Как просто было в молодости: принял душ, надел свежую сорочку



и отутюженный костюм, глянул в зеркало — и куда девалась усталость непростого дня, куда только отодвинулись заботы, немалые по их годам и должностям.

У каждого времени — свой стиль, манеры, своя мода, и если бы кто попросил его назвать самую характерную черту его юности, он, не задумываясь, ответил бы: «Аккуратность и, пожалуй, постоянное стремление стать лучше, чем есть».

Год от года все меньше становилось будок, где сидели чистильщики обуви, а ведь в южных городах на оживленных улицах они были раньше на каждом углу, без них и улицу представить было нельзя. А вычищенная обувь уже никак не вязалась с мятыми брюками, несвежими рубашками...

Законодателями моды в их молодом городе слыли футболисты — ребята из Тбилиси, Москвы, Ташкента. А команда ориентировалась на своего капитана, беззаветно преданного футболу, классного игрока, человека предельно аккуратного, с врожденной грузинской элегантностью и вкусом. Небритый, со спущенными гетрами, в мятой футболке спортсмен — картина, ныне привычная даже для международных матчей, а у Джумбера и на рядовой матч в грязных бутсах никто не выходил...

Включив проигрыватель, Рушан торопливо одевался под музыку, и вдруг припомнил девушек-отделочниц, штукатуривших сегодня потолок главного корпуса. Казалось, после тяжелой работы не должно оставаться никаких желаний, только бы добраться до общежития, ан нет, молодость брала свое, в конце дня они работали, пританцовывая и напевая веселую песенку собственного сочинения, где припев кончался озорным: «О, суббота! О, суббота!».

А за окном уже вступал в свои права субботний вечер: из парка доносилась музыка, зажигались уличные фонари. Поспешил на улицу и Рушан. У него уже были свои любимые места отдыха, к тому же он знал, что приехали мотогонщики — на завтра афиши обещали большие гонки, — и догадывался, где можно увидеть знаменитых гостей.

Приближаясь к «Жемчужине», он услышал звуки настраиваемых инструментов, уже издали гигантская приоткрытая раковина, освещаемая с пола яркими прожекторами и действительно похожая на створку громадной жемчужины, отливала



нежно-коралловым блестящим лаком, суля праздник и веселье.

Краски и свет в «Жемчужине» оказались находкой, удачным архитектурным решением. Кафе задумывалось архитектором как массовое, не для избранных, ведь город — общежитие на общежитии, и летнее заведение — девять месяцев в году в Заркенте прекрасная погода, зачем же загонять людей в железобетонные клетушки и стеклянные аквариумы?

Гигантская раковина «Жемчужины» не покрывала собой и трети посадочных мест в кафе. Огромная площадь пола разделялась на секторы утопленными медными пластинами различной толщины, после шлифовки оставившими на поверхности четкую золотую линию. Каждый сектор заполнялся мраморной крошкой определенного цвета и имел в середине свой экзотический цветок из тех же золотых линий. Если смотреть сверху — словно большой ковер, искусно расшитый золотом, с четырьмя ярко-красными кругами между группой асимметрично расставленных столов разной формы и размеров, местом для танцев, отдельным в каждом секторе. И чтобы в ненастье, редкий дождь или неожиданный весенний ливень не попавшие под козырек жемчужной раковины отдыхающие не считали себя обойденными, в каждом секторе росло по диковинному, из тропических стран, стилизованному дереву, с причудливыми громадными листьями, перекрывавшими и остальные столы.

Рушан остановился в слабом световом пятнышке у входа и оглядывал столы — сегодня здесь собирались многие его знакомые. И вдруг его окликнули:

— Рушан, иди к нам, — от столика под экзотическим деревом ему приветливо махали руками, приглашая, Джумбер, Тамаз Антидзе и Роберт Гогелия, крайние нападающие «Металлурга».

Дасаев улыбнулся, поднял руку, приветствуя и принимая приглашение. Приближаясь, он заметил за столом напротив Роберта девушку, сидевшую к нему спиной. Белая высокая лебединая шея ее казалась хрупкой, незащищенной, тяжелые жгуче-черные волосы были собраны в изящный тугой узел на затылке.

— Вы не знакомы? — спросил удивленно Джумбер, перехватив заинтересованный взгляд Рушана. — Глория, извини, познакомься, пожалуйста, Рушан — наш друг и начальник в одном лице, что бывает крайне редко в жизни, — отрекомендовал он.



— Глория...

Девушка, привстав, не без кокетства протянула ему через узкий стол руку, и Рушан, наклонившись, поцеловал ее у тонкого запястья, не смея оторвать глаз от ее лица, в котором проглядывало что-то неуловимо знакомое. Он сразу понял, что она удивительно походила на Тамару, словно природа решила подшутить над ним, возвращая потерянное, казалось бы, навсегда.

— Так, значит, вы, футбольный тренер, зашли посмотреть, как ваши подопечные проводят досуг? Доложу: у Тамаза уже пятая сигарета, вот они все в пепельнице лежат. Может, ваше присутствие остановит его, иначе он выкурит всю пачку «БТ» ...

— Такая красивая, говорят — умная... А, оказывается, обыкновенная ябеда, — перебил ее, улыбаясь, Тамаз и достал из пачки еще одну сигарету.

— Я не тренер, Глория...

— Джумбер, опять твои штучки? Ты ведь ясно сказал: Рушан — ваш начальник.

— Он и есть, дорогая, наш главный начальник. Кормилец ты наш... — и Джумбер с Тамазом, не сговариваясь, как в игре, разом обняли Рушана.

Видя растерянность девушки, которой показалось, что ее разыгрывают уже втроем, Рушан поспешил объяснить, чтобы не обиделась:

— В каком-то смысле я их начальник. Хоть и вижу их нечасто, обычно здесь, по вечерам, или у «Космоса», и, конечно, на поле в игре. Но наряды на зарплату нападающим ежемесячно закрываю я, эти трое орлов числятся в моем стройучастке. Джумбер — плотник шестого разряда, он капитан, лидер. Тамаз с Робертом проходят по пятому, рангом ниже, забивают маловато... — И, продолжая шутить, подлаживаясь под общее настроение, сказал, обращаясь только к Глории: — Если они сегодня ведут себя недостойно и не оказывают должного внимания единственной девушке за столом, я их непременно понижу в разряде. Удар по карману — самый эффективный удар, так считает мой начальник. А как считаете вы, капитан, мастер коварных штрафных ударов?

— Глория, я вижу, у вас на глазах слезы, остановитесь, не жалейте нас прежде времени. Рушан добрый и слишком любит футбол, чтобы пойти на этот бесчеловечный шаг...



За столом дружно рассмеялись шутке Джумбера.

Неразговорчивый Роберт за спиной Джумбера подавал официантке какие-то знаки, и она явилась к столу, неся бокал для Рушана и большую вазу с влажно блестящей горкой темно-бордовой черешни.

— Так вы строитель? — спросила почему-то обрадованно девушка.

— Да, старший прораб.

— А мы с вами отчасти коллеги, я ведь архитектор. Но я всегда воюю со строителями, мирно не получается. Они говорят, что меня в тридцать лет хватит инфаркт...

Она вдруг попросила Тамаза поменяться местами и, оказавшись рядом с Рушаном, мечтательно продолжала:

— Как было бы здорово, если бы я создала что-то необычное, выдающееся для нашего города, а вы построили. Мне кажется, вы бы не доводили меня до инфаркта, понимали меня, — закончила она вроде бы шутливо, положив руку ему на плечо, но в глазах ее Рушан почему-то уловил печаль.

«Странная девушка, — подумал он. — Странная и... такая родная...»

Недалеко от них, в соседнем секторе, за несколькими столами сидели гонщики и технический персонал, сопровождавший именитых спортсменов.

— Покажите мне Кадырова, — неожиданно попросила Глория.

— Вон, посмотри, «киты» сидят отдельно — за столом рядом с оркестром, — подсказал молчавший до сих пор Роберт.

Большой банкетный стол занимали человек семь. Те, что постарше, — в костюмах, при галстуках, а помоложе — в джинсах и пуловерах с яркими эмблемами известных спортивных фирм, в однотонных рубашках от Кардена, лет на пятнадцать опережая грядущую моду. Чувствовалось, что свет они повидали. Держались не шумно, с достоинством.

Оркестр заиграл что-то лирическое... Тамаз, извинившись, пошел приглашать девушку за соседним столиком, куда его усиленно зазывали весь вечер.

— Я бы хотела потанцевать с Кадыровым. Я суеверная и когда-то слышала: общение со знаменитостями приносит



удачу, — сказала вдруг Глория. Видимо, мыслями она была не за столом и даже не в «Жемчужине».

— Если хочешь потанцевать, пригласи, — спокойно сказал Джумбер, не обратив особого внимания на ее слова.

— А вдруг откажет? — с опаской спросила Глория, и это еще больше удивило Рушана.

— Тебе? — на этот раз с недоверием и удивлением спросил Джумбер и заулыбался. — Хотел бы я увидеть парня, который тебе откажет!

— Ах, была не была! — сказала девушка, встала и направилась к столику, за которым сидел Кадыров, и не верилось, что минуту назад она робела, сомневалась...

Через минуту Джумбер кивнул Дасаеву:

— Посмотри, Рушан, как они танцуют, беседуют, словно старые друзья. Разве скажешь, что Глория ростом выше Габдурахмана? Удивительный такт, женственность, умение не принижать партнера, даже физически. И как ей это удается? А красивая... Смотри, Рушан, не влюбись, такая девушка — и счастье, и погибель для нашего брата. При всем обаянии она и человек необычайно талантливый, но в этом ты еще убедишься, ведь вы коллеги...

Закончили они вечер вместе с гонщиками, и Глория оставалась единственной девушкой за столом. Провожали гостей до гостиницы всей компанией, и гонщики по дороге допытывались у Глории, за кого же она завтра будет болеть. Она, не задумываясь, ответила с улыбкой, что, как и все в Заркенте, — за Габдурахмана, ответом своим смутив и без того стеснительного Кадырова, растерявшегося от обаяния и внимания очаровательной девушки.

У гостиницы нехотя распрощались — гонщиков ждал трудный день. Джумбер, обращаясь к Рушану, попросил:

— Рушан, пожалуйста, проводи Глорию, я сегодня за тренера, негоже самому опаздывать на отбой, да и завтра у нас ранняя тренировка. Если не проспичь — приходи, постучим вместе.

Рушан при случае проводил время на тренировках, принимал участие в двухсторонней игре...

Они шли по обезлюдевшим тихим улицам, и Глория вдруг спросила:



— Тебе нравится «Жемчужина»? Я имею в виду архитектуру, интерьер.

— Слов нет, замечательное кафе, я думаю — молодежи повезло.

— Почему же ты за весь вечер не поздравил меня? — спросила она вдруг с вызовом.

— С чем? — растерялся ничего не понимавший Рушан.

— Разве месяц назад ты не был на открытии «Жемчужины»? — удивилась Глория. — Мне показалось, ты стал завсегдатаем кафе.

— Мне как раз выпала вторая смена, потому и не получилось, хоть я и знал об этом, — признался Дасаев.

— Ах, вот оно что, — сказала Глория неопределенно. — А кто архитектор, слышал?

— Только краем уха, какая-то армянская фамилия.

— Караян? — уточнила девушка.

— Точно! Солидная фамилия, звучная, наверное — известный архитектор.

Девушка остановилась и, шутливо раскланявшись, протянула руку:

— Разрешите представиться: я — Глория Караян.

— Значит, ты дочь архитектора? Пожалуйста, поздравь отца от души — достойная восхищения работа.

— Рушан, еще одно оскорбление — и я уйду навсегда, и тебе никогда не вымолю у меня прощения. — Сказано было шутливо, но в голосе все же слышалась обида.

— Ты — архитектор «Жемчужины»?! Такая... — Рушан даже сбился с шага от неожиданности.

— Продолжай, продолжай... — подбодрила попутчица. — Хотел сказать — несолидная? Ох, уж эти мужчины, вдобавок строители... — продолжила она нарочито капризно, но довольная, что смогла ошеломить Рушана. — Добавлю к сведению: Караян, может, и напоминает армянскую фамилию, но во мне нет армянской крови, хотя и намешано всякой: венгерской, русской, но больше всего немецкой. Мои далекие предки — известные в Европе зодчие, в Россию приехали полтора столетия назад, и вот теперь, через несколько поколений, во мне, наверное, проявились их гены, хотя в этом веке, точно известно, в нашем роду архитекторов не было.



Рушан стоял пораженный, никак не мог прийти в себя и только выдохнул:

— Как это тебе удалось, Глория? Ну, такое дело поднять?.. Это же чертовски сложно, я полагаю...

— Тебе правда интересно? — Глория взяла его под руку. — Тогда слушай... Я была здесь полгода на преддипломной практике. Город мне как архитектору понравился: все начиналось с нуля, и представлялся редкий шанс проявить себя, приложить свои знания и способности к делу. Мне пришлось по душе город, я — приглянулась «Градострою», где проходила практику, и там предложили по окончании института вернуться в Заркент. Мне понравилось, что здесь не надо было ничего ломать, а только строить и строить... И вот выпала такая удача с этим кафе... Наше поколение, наверное, когда-нибудь назовут танцующим, люблю танцевать и я... Надеюсь, тебя сегодня не уморила?

Рушан отрицательно помотал головой. Глория заглянула ему в лицо и продолжила:

— Во времена моих далеких австро-венгерских предков ходили на танцы в танцевальные салоны, где играл оркестр самого Штрауса. Но у меня была другая задача: создать нечто среднее между привычной танцплощадкой, фактически уже выродившейся или деградирующей, и салоном, хотя в салоне меня привлекали только атмосфера праздника и столы, за которыми можно отдыхать и беседовать между танцами. Но главную идею мне подарил сам город: климат, обилие фруктов и даже жажда — постоянная потребность в газированной и минеральной воде, мороженом... Азарт охватил по-настоящему, когда я наткнулась на свободное место, словно приготовленное для меня, это был главный толчок. Каждый вечер я приходила на пустырь и мысленно представляла свое кафе, но все было не то, не то... Если что мне и нравилось — оказывалось громоздким, дорогостоящим. Я знала: конструкция должна иметь минимальную стоимость и все должно быть построено максимум за полгода. Я ходила сюда ежедневно — на заре, на закате, в полдень, в сумерках, но не представляла «Жемчужины» такой, какой ты увидел ее сегодня.

На пустыре пришла другая, не менее важная идея. Если сам город подарил мне функциональное решение, то место вселило



уверенность, что мечта моя реальна. Я подумала — кто я такая? Не улыбайся, Рушан, меня часто одолевают сомнения... Кто будет рассматривать мой проект? Кто его одобрит? Кто включит его в титульный список строительства и на какой год? Однозначно и уверенно я не могла ответить ни на один свой вопрос. Но знала: даже в лучшем случае на решение их ушли бы годы и годы. А мне хотелось проявиться сейчас, немедленно, был у меня такой творческий зуд. И я поняла, что сделаю проект на общественных началах, как личный дар городу. Я решила вынести свою работу на суд горкома комсомола, на суд молодежи, а в том, что сделаю что-то стоящее, уже не сомневалась...

Перед неожиданно возникшим в ночи красным светофором на перекрестке Глория вдруг сказала, сбиваясь на шутку: — Такая вот я, Рушан, тщеславная, с сомнением!

— Ну, это, по-моему, называется как-то иначе... — не согласился Рушан. — Уверенностью в себе, желанием воплотить в жизнь свои замыслы или чем-то в этом роде...

Глория с интересом посмотрела на спутника.

— Ты полагаешь? Наверное, ты прав. Идеей я поделилась с руководителем практики. Разумеется, все держалось в строжайшей тайне. Мне выделили отдельную комнату, где я запиралась с утра и просиживала до глубокой ночи. Никто не мешал, не отвлекал — главный архитектор говорил всем, что у меня специальное задание.

За неделю до отъезда главный архитектор организовал мне встречу с секретарем горкома комсомола. То, что он, как и ты, оказался строителем, облегчило задачу. Я сумела заразить его своей идеей. Секретарь горкома только спросил, смогу ли я так же убедительно, как у него в кабинете, выступить перед городским активом комсомола. Я не без нахальства ответила, что готова отстаивать свою идею на любом уровне. Два дня перед встречей волновалась невероятно. Молодые коллеги из «Градостроя» помогли организовать стенды, у них был опыт по этой части. Но я знала: мало показать, надо убедить. Написала речь — десять страниц машинописного текста, где старалась объяснить, что каждая деталь моего детища не сама по себе, а придумана именно для Заркента, для среднеазиатской зоны.



Взяла я собрание не столько проектом, сколько уверенностью, напором. Спрашивали много, ведь в зале сидели строители, и я на все отвечала, как мне казалось, толково, смелая от вопроса к вопросу. Я даже упомянула, сколько нужно организовать воскресников, чтобы финансировать стройку. Конечно, понравились активу и эскизы, и макет. На встрече я и познакомилась с Джумбером. Кажется, он первый сказал, что «Металлург», проводящий по весне контрольные матчи с командами класса «А», передаст сборы в фонд строительства молодежного кафе.

Я улетела счастливая, окрыленная. Весь год в Ленинград постоянно звонили из штаба стройки: деловые разговоры, консультации. На зимние каникулы горком за свой счет вызвал меня в Заркент, и я визировала чертежи, привязывала план к местности. А по окончании института даже успела провести авторский надзор за отделочными работами. Вот и вся история. Может быть, я когда-нибудь приду к выводу, что создала «Жемчужину», надеясь познакомиться со строителем Рушаном Дасаевым, — дразня его, закончила Глория.

Но Рушан не обратил внимания на шутку. Он был ошеломлен! Какая способность, какая хватка! И он вновь взглянул на Глорию как бы уже другими глазами: красивая, изящная, поразительно женственная, никаких примет деловитости, озабоченности своей исключительностью. И как только ей удается?

Рушану было жаль расставаться с девушкой, хотелось слушать и слушать ее, ведь, рассказывая о делах, она говорила о себе.

— «Жемчужина» и стала твоей дипломной работой?

— Нет, я о ней даже не упоминала в Ленинграде. Вот обещал приехать на днях специалист по цветной фотографии из Ташкента, он сделает снимки «Жемчужины», и я отправлю их в институт. Там есть залы, где демонстрируются работы выпускников. А дипломная работа моя признана неактуальной, ненужной, еле-еле зачли защиту.

— Что же ты такое сотворила? — с интересом спросил Дасаев.

— Ну, эта история покороче. Наверное, тебе нужно знать не только про мои взлеты, но и падения, а то загоржусь. Учти, я никому об этом не рассказывала...



— Я весь внимание, — откликнулся Рушан, ему действительно было интересно.

— В институте я немного играла в волейбол и даже однажды, на третьем курсе, случайно попала в сборную. Мне повезло — команда поехала на студенческие игры в Ташкент. Первое мое большое путешествие, да еще в Среднюю Азию. Конечно, показали нам Бухару и Самарканд. Тогда я и влюбилась в Узбекистан, оттого и попросилась на практику в Заркент. Тебе ли не знать, насколько все здесь поражает... Послушай, обещаю тебе, что не будешь смеяться. Обещаешь?

Он кивнул, что воодушевило девушку.

— Так вот... Что меня больше всего поразило в моем путешествии по Узбекистану как будущего архитектора? Гур-Эмир, Биби-ханум, соборная мечеть в Самарканде, летняя резиденция эмира бухарского, медресе Кукельдаш или базар Эски-джува в Ташкенте? Ни то, ни другое. Более всего я была поражена... узбекской лепешкой. Да-да, не удивляйся, обыкновенной лепешкой. Ничего красивее в жизни не видела, ничего вкуснее не ела. Горячая, слегка подрумяненная, на ней словно веснушки — немного прожарившиеся кунжутные семена, белая, пышная, а пахнет — дух захватывает. Чудо, да и только! Ты думаешь, какой самый стойкий, самый крепкий запах на восточном базаре? Запах специй и приправ, зелени или фруктов? Нет, не угадал, я проверяла — запах лепешечных рядов. На любом базаре я найду лепешки, не спрашивая, где ими торгуют.

Рушан поразился, как она права. Ему ли не знать непередаваемо чудесного аромата свежеиспеченных лепешек. На ум сразу пришел Чигатай с его кривыми улочками... Но Глория, не замечая его состояния, увлеченно продолжала:

— Я была так поражена, что не могла не узнать, как они пекутся. Изумление мое было, видно, таким неподдельным, что меня из лепешечного ряда пригласили в гости. И я впервые увидела тандыр. Его можно сравнить с кувшином из специальной жаропрочной глины. Делают тандыры до сих пор кустари, занимает он максимум квадратный метр площади и есть в каждом узбекском дворе. Но работа лепешечника требует ловкости, сноровки, впрочем, как и всякое дело... Вообще-то хороший труд должен стать нормой, а не вызывать восхищение, иначе далеко не уедешь...



Лепешка, тандыр, Ташкент натолкнули меня на тему дипломной работы: «Пекарни-магазины». В сравнении с «Жемчужиной» я имела бездну времени и продумала не один вариант, но даже лучший, на мой взгляд, забраковали, назвали утопией, фантазией. Особенно обидным было заключение: «Не отвечает растущим жизненным потребностям советского человека». Я что, для французов старалась?..

Видимо, воспоминания о дипломной работе растревожили, взволновали Глорию. Рушан чувствовал, что обида не оставила ее до сих пор, сидит в ней как заноза.

— ... Знаешь, Рушан, какая моя слабая черта как архитектора? Ни за что не догадаешься. Мне, наверное, никогда не создать шедевра, ведь я прежде всего думаю о широкой доступности того, что создаю. Пример тому — «Жемчужина», массовое заведение. Никогда не предполагала, что во мне развито социальное отношение к труду. Я бы не смогла вложить душу, например, в органнй зал, хотя знаю и люблю органную музыку. Когда отдыхала с родителями на Рижском взморье, не пропускала в Домском соборе ни одного концерта... Знаю, и какая это выигрышная тема: публика, посещающая органные концерты, оценила бы по достоинству работу архитектора, и имя мое оказалось бы на слуху. Но камерность атмосферы, избранная, рафинированная публика, вкусам которой я должна потрафить, а не выразить себя, то есть отчасти навязать свои вкусы, как должно быть со всеми художниками, творцами, — претит мне.

Хотя это не противоречит тому, что я стремлюсь стать известной, знаменитой. Знаешь, когда заканчивали отделять «Жемчужину», я вдруг поняла, что никто из посетителей никогда не поинтересуется, чья это работа. Но это открытие не огорчило меня, я была уверена, что удивленный, растерянный, радостный взгляд молодого человека, скорее всего провинциала, будет наградой за мой труд, станет для него первым наглядным уроком эстетики. Это я рассказываю тебе свою жизненную концепцию, из-за которой моя дипломная работа потерпела крах. Однако вернемся к ней...

— Да, да, — поддержал Рушан, — ты отвлеклась...

— Итак, в Ташкенте меня поразила лепешка, ее стоимость — десять копеек. Чайник чая в любой узбекской чайхане — пять копеек. Пятнадцати копеек в Узбекистане достаточно, чтобы



перекусить, если рядом есть чайхана. Из функциональных задач родилась идея маленькой автономной пекарни-магазина, которые я мысленно видела в студенческих общежитиях, на стадионах, при крупных кинотеатрах, на вокзалах, в аэропортах и даже в жилых массивах, где к определенному часу пекли бы свежие лепешки, лаваш, хачапури, чуреки — неважно, как это называется. И непременно чай для тех, кто решит отведать здесь же, прямо из печи, горячий хлеб.

Эти пятнадцать копеек, да еще наша масштабность и сгубили мое детище. Меня обвинили чуть ли не в крохоборстве, в непонимании растущих потребностей нашего человека, наших возможностей. Особенно вывело из себя дипломную комиссию мое дерзкое замечание в конце, что я согласна добавить к чаю вологодского масла и черной икры, хотя это было уже из другой оперы. Я ведь не игнорировала хлебопекарную промышленность, — меня и в этом обвиняли оппоненты, — а хотела для людей каждогодневного маленького праздника, и может, мои не обезличенные маленькие пекарни-магазины с тетей Дашей или дядей Кудратом заставили бы большую хлебопекарную промышленность по-новому взглянуть на себя и понять, что отношение к главному продукту на нашем столе зависит только от ее работы, а пропаганда в защиту хлеба здесь вовсе не при чем, — только деньги на ветер.

Вот такое фиаско я потерпела на защите, Рушан. Но, думаю, мои предки за меня не очень бы краснели, я держалась молодцом и ни минуты не сомневалась и не сомневаюсь в своей правоте, просто, наверное, время еще не пришло. А может, ты построишь такую пекарню-магазин, Рушан?..

Глория остановилась у подъезда обычного блочного дома.

— А вообще-то мы уже шесть раз обошли мой квартал, вот здесь я живу, на втором этаже. Я не приглашаю — поздно уже, не хочу, чтобы ты проспал тренировку. Хорошо, что у нас оказались общие друзья. До свидания, я рада знакомству с тобой.

Она, торопливо попрощавшись, скрылась в темном подъезде, а Рушан стоял у дома, пока не загорелось и не погасло окно на втором этаже.

Он шагал по безлюдным сонным улицам Заркента, припоминая удивительный сегодняшний вечер, неожиданное знакомство,



и в раздумье не заметил, как вновь очутился у «Жемчужины». Горели редкие фонари, освещая тускло блестящие полы, и на миг Рушану почудились музыка, смех, как несколько часов назад. Он прошел за ограду, теперь уже иными глазами рассматривая кафе.

Вдруг он скорее почувствовал, чем заметил, что в красном круге для танцев орнамент из золотых линий хотя и напоминал экзотический цветок, выглядел несколько странно, словно скрывая какую-то тайну. Обнаружил Рушан и то, что при общей схожести в каждом из четырех кругов для танцев цветы разные. Вглядевшись внимательнее, как в криптограмму, он увидел искусно зашифрованные в линиях цветов четыре варианта монограммы из букв «Г» и «К» — «Глория Караян» ...

XXXXI

В ту ночь воспоминаний Дасаев заснул на рассвете, и приснилась ему, впервые за долгие годы, собственная свадьба. Как в цветные слайды, переживая все заново, вглядывался он в свое прошлое...

Глория только вернулась из Дубровника, морского курорта на Адриатике, где проводился международный конкурс молодых архитекторов. Ее проект отеля на морском берегу для молодоженов, совершающих свадебное путешествие, получил в Югославии Гран-при, а организаторы конкурса вместе с Европейской ассоциацией архитекторов вручили ей еще и специальный приз как самой очаровательной участнице конкурса.

Одна итальянская фирма тут же подписала контракт о покупке проекта. Когда бойкие итальянцы спросили, что навело ее на мысль о таком необычном отеле, Глория с улыбкой ответила:

— Мне очень хотелось бы, чтобы мое свадебное путешествие закончилось у моря в таком отеле.

— Как вас зовут? — спросил вдруг представитель одной из строительных фирм.

— Глория, — просто ответила девушка.

— Глория? — переспросил итальянец и вдруг радостно воскликнул: — Глория! Прекрасное название для отеля, лучше



не придумать. Что может быть удачнее? Я смею вас заверить, синьорина, мы построим с десяток таких отелей в Италии и на Лазурном берегу во Франции, и ни одной линии не изменим в проекте, фирма гарантирует...

Щелкали фотоаппараты, и итальянцы тут же протягивали моментальные фотографии, прося автограф.

Когда представитель фирмы протянул ей снимок, Глория вдруг сказала:

— Я буду очень признательна вам, если отель будет носить мое имя, но можно, чтобы хоть где-нибудь значилась моя монограмма? — И тут же на обратной стороне фотографии вывела одну из монограмм, зашифрованных в «Жемчужине».

Деловой итальянец тут же спросил:

— Может быть, синьорина и вывеску предложит?

Кто-то услужливо протянул ей альбом и фломастеры, и Глория, не раздумывая, написала свое имя необычной для латыни вязью, а слева проставила монограмму.

— Цветовое решение? — нетерпеливо уточнил итальянец. Шел профессиональный разговор.

— По темному бордо золотом, монограмма — белое с черным, символы добра и зла, ожидающих молодых, — любая буква на выбор.

Все произошло в считанные минуты — экспансивный итальянец даже присвистнул от удивления и радости...

В ту же ночь Рушану доставили в гостиницу международную телеграмму, наверное, не столь частую в Заркенте, в ней было всего несколько слов: «Рушан, любимый, я победила!» Никогда за три года их знакомства она к нему так не обращалась.

Рушан встречал Глорию в аэропорту в Ташкенте, — такой счастливой он ее больше никогда не видел. Успех шумно отмечали с друзьями, конечно, в «Жемчужине». Провожая ее из кафе по опустевшим улицам, Рушан решился сказать то, на что долго не мог собраться с духом:

— Глория, выходи за меня замуж.

Она осталась, словно это было для нее неожиданно, растерялась, как когда-то давно в «Жемчужине», приглашая на танец Габдурахмана Кадырова. Долго не отвечала, то ли взвешивая предложение, то ли, как обычно, погрузившись внезапно в свои прожекты.



— Рушан, милый, — сказала она наконец грустно, и в глазах ее он увидел слезы. — Я ли нужна тебе? Ну, посмотри на меня хорошенько: какая я хозяйка? Сумасбродная, неуравновешенная особа, помешавшаяся на архитектуре. Ты ведь намучаешься со мной, хотя я всем сердцем желала бы и тебя, и себя сделать счастливыми. Я очень, очень сомневаюсь, будет ли наша семья счастливой. Но, что бы я ни говорила, я счастлива, еще никто не делал мне предложения. Другие умнее тебя...

Шок у нее прошел, она вновь уходила в тень спасительной иронии. Рушан, почувствовав это, все же сказал:

— Ты мне ничего не ответила.

— Ах, была не была! — Она вмиг преобразилась, повеселела. — Раз уж ты сам напрашиваешься на свою погибель, вот мое условие: если через неделю, в субботу, не передумаешь и повторишь свое предложение, я согласна выйти за тебя замуж. Должна же я, Рушан, дать тебе шанс на спасение... — и, неожиданно поцеловав его, убежала в подъезд, благо они были уже у ее дома.

Рушан не стал догонять ее, ему тоже хотелось побыть одному...

Неделя выдалась сложной: сдавали градирию, приходилось работать в три смены. Нелегкой оказалась и суббота, после приезда Глории они не виделись ни разу, занятые до предела.

В субботу, предчувствуя, что планерка может затянуться, Рушан позвонил Джумберу. Ничего о своих намерениях капитану не сказал, только попросил его заказать стол в «Жемчужине» попраздничнее и назвал, кого пригласить, особенно не выделяя Глорию среди гостей. Джумбер не стал любопытствовать, только спросил: «По-грузински?», что на языке их компании означало — роскошный стол с непременно заходом на базар за зеленью, брынзой, фруктами, свежими овощами и прочим...

В «Жемчужину» Рушан немного опоздал, но не из-за планерки, а из-за цветов: белых роз на вечернем базаре не нашлось, пришлось ехать на дом к цветоводам, и розы срезали прямо с кустов — на длинных ножках, с тугими к ночи нежными бутонами, — такие он часто дарил Глории.

Когда он объявился в кафе, вечер уже начался. В их привычном секторе за большим банкетным столом, накрытым



белоснежной скатертью, чего не было обычно в «Жемчужине», уже веселились его друзья. Мельком окинув стол, Рушан благодарно улыбнулся Джумберу. Они часто отмечали компанией свои маленькие радости и удачи, и это застолье никого не удивило, разве что стол сегодня был богаче и праздничнее.

Глория сидела рядом с Джумбером, и только ее необычно белая кожа, трудно поддающаяся загару, и прекрасное белое платье из Белграда скрывали нервную бледность лица, мало кому заметную. Но Рушан увидел это сразу. Он подошел к Глории и вручил ей цветы. Принимая их, она ответила ему незаметным благодарным пожатием руки и шепнула среди шума: «Спасибо, милый».

— Что, Глория, еще один проект? — улыбаясь, прокомментировал церемонию Тамаз.

— Ты бы так часто голы забивал, — ответил ему Джумбер, и за столом дружно засмеялись.

— Хотел бы я знать, по какому поводу так красиво сидим? Рушан, ты стал начальником управления? Или тебе удалось зачислить нас в бригаду Силкина, рекордсмена по зарплате в Заркенте? — спросил Джумбер, желая знать, ради чего он сегодня так старался.

— Старейшь, капитан, не ты ли говорил: «Главное — выдержка, терпение. Просто пробить по воротам и дурак сможет, а пробить, когда надо и куда надо — только мастер»? Не дал ты мне пробить, когда надо, а вообще-то мне самому не терпится сказать... — Рушан встал и, окинув стол взглядом, уже серьезно продолжил: — Друзья мои, я сделал предложение Глории, и мы сегодня хотели решить с вами, на какое число назначить день свадьбы.

Какой гвалт поднялся за столом! Даже оркестр на миг сделал паузу. Роберт молниеносно, как и на поле, метнулся из-за стола, и пока кто-то кричал: «Шампанского!» — уже возвращался к столу с шампанским, а оркестр, которому он успел что-то сказать на ходу, прервав мелодию, заиграл туш. И от стола к столу прокатилось: «Рушан женится... Глория выходит замуж...»

Глория сидела по другую от Рушана сторону стола, рядом с Тамазом, и когда хотели посадить их рядом, Тамаз заартачился:

— Сегодня ни за что не отпущу тебя от себя. Знаем мы хана Рушана, больше никогда не разрешит посидеть рядом



с прекрасной девушкой. А вообще — пусть он нам выкуп или калым платит, это ведь мы с Джумбером познакомили его с таким замечательным архитектором. Глория, скажи!

Глория нашлась тут же:

— Поэтому мы с Рушаном решили, что вы будете свидетелями в загсе и шаферами на свадьбе.

— Ну, если так, сдаюсь, — согласился Тамаз, и друзья поменялись местами.

Стали подходить знакомые и малознакомые люди, поздравлять Рушана с Глорией, интересовались, когда свадьба. Тамаз шутливо отвечал всем:

— Следите за вечерними газетами, возможен экстренный выпуск...

Когда волна поздравлений схлынула и за столом воцарилось относительное спокойствие, Джумбер, обращаясь к Рушану, спросил:

— И все-таки — когда?

Рушан неопределенно пожал плечами, кивком переадресовав вопрос Глории, теперь уже своей невесте, но она не ответила.

И тут молчаливый Роберт попросил слова у Джумбера, бессменного и бессрочного тамады компании.

— Я думаю, что свадьба в следующую субботу — в самый раз. Поясню почему: во-первых, откладывать нет причин, во-вторых, в среду игра, последняя игра первого круга — и у нас двухнедельный перерыв, значит, мы, большинство твоих друзей, можем гулять на свадьбе, не оглядываясь на тренера и общественность. Я предлагаю создать штаб свадьбы, включая всех присутствующих за столом, а себя назначаю начальником — хоть раз в жизни похожу в высокой должности! — осенью я выдавал замуж сестренку, у меня есть опыт. Джумбер, Тамаз, подтвердите!.. Рушан, Глория, вы первые из нашей компании женитесь, и свадьба ваша для каждого из нас должна отчасти стать репетицией собственной. Где проводить, надеюсь, двух мнений нет — в «Жемчужине», детище невесты.. Тьфу ты, ну и каламбур: дитя невесты..

— Злые языки станут утверждать, что Глория специально для себя построила «Жемчужину», — перебил Тамаз.

Но Глория отпарировала в своей обычной манере:

— Нет, Тамаз, «Жемчужину» я придумала только для того, чтобы познакомиться здесь с Рушаном.



— К вам, молодожены, — продолжал Роберт, — просьба такая: ко вторнику передать в штаб список гостей. Заканчивая, объявляю: следующее заседание штаба свадьбы в среду, после игры, здесь же. К тому времени многое прояснится...

— Роберт, дорогой, прошу тебя только об одном: не женись раньше меня. Хочу, чтобы ты и на моей свадьбе был начальником, — Тамаз обнял друга...

Два дня спустя после свадьбы собрались компанией у Глории дома, куда переехал Рушан. Танцевали под музыку, вспоминали веселое шумное застолье. Глория призналась, что не очень ловко чувствует себя на улице, когда знакомые поздравляют или оглядываются вслед, будто она знаменитость какая. И тут Джумбер предложил:

— А не поехать ли вам в свадебное путешествие, а заодно убежать от жары и назойливого внимания?

— Я думаю, — не преминул вмешаться Тамаз, — итальянцы еще не успели построить отель, Глория ведь не предупредила, что по возвращении сюда осчастливит Рушана.

Джумбер улыбнулся.

— Не в пример тебе, Тамаз, я даю только мудрые советы, и поэтому у меня шестой разряд штукатурка-маляра, а у тебя только пятый. Верно, Рушан? Так вот... У нас две недели перерыва между играми, и я собирался слетать на море в Гагры. Там у меня родной дядя живет — в двухэтажном особняке, прямо на берегу моря. Не махнуть ли нам туда вместе? Я отдохну свои дни, а вы останетесь насколько пожелаете или как позволит отпуск...

Компания шумно высказала свое одобрение.

Так молодожены оказались на море, провели там отпуск за два года, и это были самые счастливые дни их совместной жизни.

Джумбер, в студенческие годы проводивший каникулы в Гаграх, прекрасно знал не только город, но и все маленькие городки-курорты в округе, и пока был с ними, успел показать многое и познакомить со всеми гагровскими друзьями.

Пицунду они открыли для себя случайно, уже после отъезда Джумбера. В те годы на мысе Пицунда, что рядом с Гаграми, крупные работы только разворачивались и знаменитый ныне мировой курорт только поднимался из фундаментов. Глория



сразу оценила размах предстоящего строительства. Правда, сами шестнадцатизэтажные корпуса, пока в проекте, ее не очень радовали — слишком обычно и однотипно, на ее взгляд, не на чем глазу задержаться. Зато пространственное решение она находила замечательным.

Вся зона продувалась насквозь морскими ветрами, реликтовый сосновый лес вплотную подступал к корпусам. Прогулочные дорожки, аллеи, скульптурные композиции на развилках дорог, площадях, летние рестораны, кафе очаровали Глорию. Она быстро сошлась с архитекторами из Тбилиси, и те часто проводили с ними вечера в Гаграх. Уже строились необычные автобусные остановки от Гагр до Пицунды работы уже тогда знаменитого Зураба Каргаретели — покрытые яркой глазурью гипсокерамические сказочные драконы, спруты, осьминоги, задиристые петухи, важные павлины, сонные совы, волшебные терема, горницы, сакли.

Иногда они проводили вечер с одним только Зурабом — с Глорией у него с первого дня знакомства сложились дружеские отношения, и говорили они чаще всего на языке архитектуры, не всегда понятном присутствовавшим за столом. И теперь в снах Рушана эти кавказские застолья почему-то плавно перетекали в заркентские, где все вдруг начинали скандировать: «Горько!» — и они с Глорией целовались, как в «Жемчужине» на свадьбе.

В какие-то вечера прямо среди застолья Зураб вдруг загорялся новой идеей, и не было сил удержать его за столом, не говоря уже о том, чтобы он дождался утра. Тут же находилась машина и ночью несла к Пицунде творца, которому необходимо было на месте проверить свои задумки.

«Одержимый», — говорила Глория Рушану о Каргаретели — и, конечно, подразумевала, что только таким и должен быть истинный мастер.

Возвращались они в Заркент через Тбилиси. В Грузии оба оказались впервые и, уезжая, увозили в сердцах своих нежную любовь к этому удивительному краю и его людям. Много позже, когда Глория сталкивалась в жизни с равнодушием, она всегда повторяла, что в Грузии этого не может быть, ибо была абсолютно убеждена: равнодушный грузин — это аномалия природы...



XXXXII

Три года после свадьбы Глория, кроме основной работы в «Градострое», готовила индивидуальный проект Дома молодежи для Заркента.

Задание давалось ей трудно, браковался вариант за вариантом, а каждый из них отбирал уйму сил и бездну времени. Дважды она летала в Тбилиси, показывала работу Каргаретели и его друзьям-архитекторам. Возвращалась окрыленная, с полными блокнотами записей, советов, рекомендаций своих грузинских коллег. Говорила, что, кажется, все — нашла. Но через неделю законченная работа перечеркивалась, советы казались банальными, запоздалыми, блокнот летел в мусорную картину.

Архитектуру сравнивают с поэзией, песней, но это не литература, постоянно подвергающаяся критическому анализу, всегда находящаяся в поле зрения миллионов. Значительные произведения литературы быстро становятся достоянием всех, предметом пристрастного обсуждения. В среде архитекторов ведутся не менее горячие споры о работе, но нельзя не признать — это спор узкой среды, за закрытыми дверями, работа архитекторов, к сожалению, известна лишь небольшому кругу людей.

Глория вдруг почувствовала, что Заркент, предоставляя ей шанс выразить себя, лишал ее среды, необходимой творческому работнику. В признанных центрах архитектурной мысли страны происходили какие-то существенные перемены — это она поняла по проектам, которые неожиданно получали широкую огласку и становились таким образом неким эталоном. И эта новая волна, быстро, как весенний горный ливень, набиравшая силу и мощь, застала Глорию врасплох. Она не находила иных слов, кроме возмущенных: «бездарность... безликость... коробки... стандарт». С работы возвращалась так же поздно, как и Рушан, часто с охрипшим голосом, — без боя архитекторы все же не сдавались, на «ура» навязываемое сверху не принимали.

— Рушан, милый, — говорила она, волнуясь, — ну как я могу утверждать проект нового жилого массива, если потолки требуют занижить до двух с половиной метров?! И это в Заркенте, где и так дышать нечем: жара сорокаградусная все лето! А совмещать санузлы с ванной у нас, в Средней Азии,



где много детей, большие семьи, где ванна служит семье и прачечной — это же полный абсурд! — Глория горячилась, забывая об ужине: — А что скажете вы, строители? Архитекторы с ума посходили? В здравом ли мы уме? В здравом, да что толку, не завизирую проект я — это с удовольствием сделает другой.

Рушан запомнил из той поры термин, многое изменивший в судьбе Глории, — «архитектурные излишества».

Прожив несколько лет в Узбекистане, Глория выработала принципы, обязательные для работ в Средней Азии, и свои открытия не раз обсуждала с Рушаном. Она не представляла ни одно свое сооружение без окружения зелени, ориентировалась не на формальные клумбы и посадки «Зеленстроя», в общем-то присутствовавшие в каждом проекте, а на элементы парковой архитектуры, которая со временем уберезет строение от пыли и зноя, главных разрушителей в Азии, и создаст необходимый микроклимат вокруг здания.

Не мыслила она ни одного своего детища и без воды — фонтанов, арыков, каналов, «лягушатников» и питьевых фонтанчиков. Здесь она опиралась на традиционное восточное зодчество, издавна чтившее воду и как элемент архитектуры. Чтобы раз и навсегда решить для себя этот вопрос — а Глория собиралась работать в Узбекистане всю жизнь, — она копалась в архивах, объездила не только Хиву, Самарканд и Бухару, но и менее известные города — Китаб, Коканд, говорила со старцами и с их слов создавала эскизы оригинальной формы хаузов, похожих на современные бассейны, только имевших другое назначение — украшать внутренние дворы мечетей и дворцов.

Задуманная ею парковая зона с фонтанами и хаузами изобиловала местами отдыха: уставший прохожий, любопытный гуляющий и, конечно, влюбленные — все могли найти свой уголок. Скамейки, лавки, айваны — для одного человека, для двоих, для компании... Глория создавала их с неиссякаемой фантазией, смелостью, они поражали не только формой, материалом, но и тем, как архитектор умудрялась их располагать. Они у нее словно вырастали из земли, как грибы, естественно, словно только тут им и место.

Зная любовь восточных людей к фонтанам, Глория придумала расположить вокруг фонтана, в зоне недосягаемости



брызг, еще одно разрезанное на сегменты каменное кольцо-скамейку, где бы можно было, никому не мешая, отдохнуть у воды. Но больше всего удивляла она своими шатрами-беседками для влюбленных. Легкие, ажурные, по весне оплетенные виноградником, вьющейся зеленью, чайными розами, они словно сошли на землю со страниц восточных сказок. Глория придумала десять вариантов таких беседок, и каждая из них была приподнята над землей — одни чуть выше, другие чуть ниже. В беседку вела ажурная или витая спиральная лестница, оттуда можно было обозревать здание, площадь, фонтан, парк, и никто не мешал влюбленным.

Глория говорила, что у нас, к сожалению, мало специалистов по парковой архитектуре, и, получи она когда-нибудь солидный заказ на создание настоящего сквера, сада, парка вокруг сооружения, не будет знать, к кому обратиться, кого пригласить для совместной работы. Мечтала: вот бы, пока строится город, заложить где-нибудь загородный парк, чтобы он спокойно поднялся, а потом город все равно подступит к нему. И для себя, уверенная, что это пригодится, проникала в секреты парковой архитектуры. Часто ездила в Ташкент, в ботанический сад, в институт Шредера, и узнала о деревьях, кустарниках, цветах Средней Азии многое — по крайней мере, точно знала, сколько нужно лет, чтобы выбранные ею деревья создали вокруг здания достойный ландшафт.

Но и деревья, и вода, которым Глория придавала большое значение, все же служили интерьером для главного — самого здания. В Глории, несмотря на молодость, женский романтизм, кое-где проскальзывавший в работах, чувствовались хватка и мужской расчет, доставшиеся ей, наверное, от далеких предков.

Рушан помнит, как однажды за столом в Гаграх Зураб Каргаретели сказал: «Стоит мне взглянуть на безымянный проект, и я безошибочно скажу — мужская это работа или женская». Друзья Зураба, тоже архитекторы, тогда рассмеялись и сказали, что такое чутье дано не ему одному... Сколько раз Глория, отправляя на архитектурные конкурсы свои работы, получала какую-нибудь бумагу, начинавшуюся словами: «Уважаемый товарищ Караян Г. ...» А ведь в жюри конкурсов наверняка тоже сидели люди, уверенные, что без труда отличат мужскую работу от женской..



Мужские черты в характере Глории Дасаев уловил сразу, в первый же вечер их знакомства, когда она рассказывала ему о «Жемчужине». Позже Рушан не раз убеждался в их наличии. А после женитьбы он уже жил интересами жены и знал об архитектуре гораздо больше, чем иной дипломированный специалист, — Глории был присущ и талант педагога — умного, умеющего раскрывать суть, идею. Тогда он и понял, что в ее проектах обязательно будет присутствовать что-то не дающееся ни одному талантливому мужчине, — должны же были выразиться ее неповторимая женственность, обаяние, вкус. Недаром она работала так неистово, целиком отдавая себя делу, забывая о нем, о семье, о доме. Эта рациональность, чувство ответственности, полнейшее отсутствие конъюнктурных соображений, погони за сиюминутной выгодой и помогли ей выработать главные принципы, которым она старалась не изменять.

Она быстро поняла, что в Средней Азии для зданий, строящихся по индивидуальному проекту, для сооружений, определяющих лицо города, годятся только материалы, менее всего подверженные воздействию солнца и пыли — высококачественный светлый кирпич, камень, желательно полированный, и металл: тонкие листы красной меди, цинка, алюминия и сплавов из этих металлов. Каждый из перечисленных материалов годился в дело самостоятельно, но Глория считала, что лучше все их сочетать. Работая, она не витала в облаках, не закладывала в проект того, чего днем с огнем не сыщешь, — а все материалы имелись в достатке в Средней Азии, кроме хорошего кирпича. Непривычный для нашей архитектуры цветной металл, за которым Глория видела будущее, она придумала использовать только потому, что жила в Заркенте, где он производился, и была уверена, что при любом дефиците город изыскал бы необходимые резервы для своих дворцов.

Иногда Глория с грустью говорила, что опоздала в архитектуре лет на десять. Проектируя Дом молодежи, она, конечно, знала, что сейчас время блочных конструкций, бетона, стекла, новых облицовочных материалов — эпоха серийного строительства, домостроительных комбинатов. Знала и часто с карандашом в руках убеждала, что дешевые, на первый взгляд, материалы дают только сиюминутную выгоду, с годами на



ремонт уйдет во много раз больше средств. «Скупой платит дважды», — это сказано об архитектуре, уверяла Глория.

О стекле в одной из своих статей она высказалась сразу и определенно: для Средней Азии с ее палящим солнцем оно противопоказано. Да и в других климатических зонах скоро пройдут первые восторги, и во весь рост встанет проблема отопления, а обогревать стеклянные здания — все равно что отапливать улицу. Кроме того, человек в аквариуме, по ее мнению, просто подвергается психологическому насилию — он открыт всем глазам...

Со статьей у нее тогда были неприятности: Союз архитекторов обвинил ее в непонимании современных задач градостроительства и недооценке новых материалов, за которыми будущее архитектуры. Он помнит, что Глория написала тогда ответ, состоящий всего из одной фразы: «Во все времена перед архитектором стояла, и завтра будет стоять одна задача: строить красиво, добротнo, навечно». Но Рушан, вызвавшийся отнести письма на почту, ответ не отправил, ибо знал уже: молодым дерзости не прощают.

Сейчас, вспоминая борьбу жены за свой взгляд на архитектуру Средней Азии, Рушан понимал, как она была права, хотя и тогда нисколько не сомневался в верности ее идей.

Ему припомнились многие здания Ташкента, отстроенные после землетрясения, за какой-то десяток лет: бетон и облицовка выгорели, постарели, — и тут ничем уже помочь нельзя. А со стен многих высотных зданий падают плитки облицовки, казавшиеся тогда такими заманчиво дешевыми. Теперь же замена одной плитки на огромной высоте оборачивается сотнями рублей и практически неразрешима: не будешь же все время держать здание в лесах, ожидая, пока упадет следующая плитка.

Рушан хорошо помнил работу Глории над Домом молодежи, ведь она приступила к ней сразу после свадьбы. Все три года, что жена трудилась над этим проектом, ни одна встреча с друзьями у них в доме не заканчивалась без разговоров о нем.

В Дом молодежи Глория заложила рваный и шлифованный камень, высокосортный кирпич и почти все металлы Заркента, но больше всего красной меди — считала, что медь — металл Востока.



К тому времени она объездила Узбекистан и уверяла, что почти не встречала современного здания, где летом люди не обливались бы потом (тогда ведь бытовых кондиционеров и в помине не было). И вопрос, как дать зданию прохладу, волновал ее больше всего. Она шутила, что, например, принимая концертное здание, комиссия сейчас обращает внимание на полы, потолки, лестницы, на что угодно, кроме главного — качества звука в зале. Поэтому «звонкие» залы можно по пальцам пересчитать, достаточно спросить у певцов. Она же обратила внимание Рушана и на то, что в современной архитектуре исчезает целый элемент — крыша. Кажется, уже навечно пропала зеленая окраска железных крыш...

Забывтая крыша и натолкнула Глорию на идею. Поначалу она хотела сделать обыкновенную крышу из хромированного цинкового железа, как зеркало отражающего солнечные лучи. Но Дом молодежи она представляла себе романтическим зданием, которое бы уже внешним видом притягивало юность, и поэтому от традиционной крыши отказалась. А другую идею подал Рушан — почему бы на крыше не сделать кафе?

Кафе, и даже гораздо любопытнее, чем «Жемчужина», Глория набросала быстро, но главное — она придумала крышу-шатер над кафе, а значит, над всем строением. Кафе она спроектировала на восточный манер: крыша-шатер из легкого хромированного цинка опиралась на множество столбов, украшенных затейливой национальной узбекской резьбой — ганчем. Глория честно признавалась, что этот элемент она позаимствовала из полюбившейся ей самаркандской мечети. Крыша в ее задумке решала сразу две проблемы: отражала самые жаркие, прямые лучи солнца, а над зданием появлялся постоянный поток воздуха, охлаждавший его.

Отсюда и родилось название кафе — «Ветерок», а в жарком краю он ох, как важен. На этом Глория не успокоилась и, опять же по предложению Рушана, увеличила толщину стен против современного норматива, а в них проложила трубы, по которым летом циркулировала бы холодная вода, охлаждающая здание. Интерьеры, лестницы, освещение Глории давались легко — фантазии ей было не занимать. Рушан, с которым она делилась неожиданными решениями, втайне от жены все записывал, и записи эти не однажды оказывались кстати. Тогда-то он



и понял, что архитектурная мысль похожа на поэтическую: не запишешь вовремя — не вспомнишь, не вернешь...

Большую стену холла должно было украшать мозаичное панно «Мотогонщики» — Глория не забыла страстей на гаревой дорожке. Панно обещал выполнить сам Зураб Каргаретели, человек, равнодушный к скорости. Рушану нравился проект: и кафе на крыше, и концертный зал, но больше всего холл, где со второго этажа на рваные камни струился водопад, у края бирюзового хауза журчал фонтан, а в прозрачных шахтах бесшумно двигались лифты, поднимающие гостей из холла в «Ветерок».

Некогда, слыша выражение «родиться вовремя», Рушан не придавал ему никакого значения, чаще всего оно использовалось всуе и касалось времен романтических, когда хотелось быть мушкетером или скакать рядом с Чапаевым, девушки же мечтали о балах во дворцах, чтобы из-за них дрались на дуэлях, а поутру многочисленные воздыхатели анонимно присылали корзины роз. А ведь выражение наверняка относилось к чьей-то трагической судьбе. Сейчас Рушан понимал, что людей, отстающих от своего времени, тьма, и они нисколько не страдают от этого, а людей, опережающих время, — единицы, и ждет их либо великая судьба, либо трагическая, если некому их понять, поддержать, и даже время не всегда восстанавливает их забытые имена.

Так было и с проектом Дома молодежи Глории, который наскочил, как корабль на айсберг, на только что вышедшее постановление «Об излишествах в архитектуре», имевшее, как потом оказалось, недолгий век.

Молодой малоизвестный архитектор приняла на себя первые мощные залпы критики. Выбор, как понимала Глория, оказался случаен, козней она тут не усматривала — просто судьба. Конечно же, в ее проекте, созданном с позиций нового течения в архитектуре, излишеств хватало с избытком.

Смело, изящно, красиво? Все это комиссии представлялось только роскошью, даже сами определения эти казались крамольными. А затея с охлаждением здания иначе чем барством и не воспринималась. Лифты, водопады, внутренние хаузы, фонтаны? В Доме молодежи? В Заркенте? Которого еще и на карте-то нет... Все отвергалось с ходу, без обсуждения, без споров...



Как ни странно, дольше всего дебаты шли о панно «Мотогонщики»: при чем, мол, здесь мотоциклы, гонки в городе металлургов?

Глория пыталась объяснить, что скорость, гонки — символы молодости, времени, века. И никто из членов жюри не узнал ни Кадырова, ни Плеханова, ни Самородова, а ведь портреты их в те годы не сходили с газетных полос — как-никак многократные чемпионы мира, гордость советского спорта.

Один из руководителей комиссии великодушно заявил, что панно — не главное, изменить сюжет, мол, нетрудно, и подал бесценную, на его взгляд, идею: изобразить во весь рост улыбающегося здоровяка-металлурга с кочергой (так и сказал!) в руке на фоне огненной реки текущей меди, — и сам аж засветился от восторга и щедрости своей, как заркентская медь. На что Глория, не сдержавшись, резко ответила: это все равно что изобразить вас рядом с ванной и с мухобойкой в руке, потому что медь добывают в Заркенте химическим способом, в гальванических ваннах, очень похожих на домашние, только поболее размером, и выложены они винипластом, против агрессивной среды, так что никакой героики в добыче меди здесь нет, и хоть раствор прекрасного изумрудного цвета, но ядовит...

Пренебрежение бесценным советом председателя комиссии — известного скульптора, автора многих композиций мужчин с кайлом, молотом, женщин с веслом, подойником, дорого обошлось Глории: ее обвинили во всех смертных грехах...

XXXXIII

Год тот для них, четвертый после свадьбы, вообще выдался неудачным. Ранней весной, в самом начале футбольного сезона, получил серьезную травму Тамаз — весельчак и балагур, светлая и щедрая душа их компании. Три месяца пролежал он с переломом в институте травматологии в Ташкенте и выписался инвалидом. Страшно было видеть осунувшегося Тамаза с палочкой в руке, которая, как уверяли врачи, нужна будет ему всю жизнь.

На проводах в «Жемчужине», скорее похожих на поминки, хотя каждый пытался казаться веселее, чем есть, неодолимая, как плотный смог, грусть зависла над столом.



Провожая Тамаза, каждый чувствовал, что распадается их некогда дружная компания, уходит их молодость. Они вступали в новый этап жизни, где меньше ожиданий и еще меньше надежд, где против воли пропадают куда-то лучшие друзья, где не обрадуешься шальному полуночному звонку и уже начинаешь оглядываться назад, чего еще вчера не случалось, а если и случалось, то не вызывало грусти и боли.

Тамаз, охваченный таким же настроением, понимавший, что со многими из них, с кем прошла его молодость в этом городе, он видится в последний раз, все же пытался шутить:

— Нет худа без добра, ребята. Вот обрадуются дома, что я наконец-то оставил футбол и отдам свои силы Фемиде, я ведь юрист... Для начала собственную пенсию отсудить у бюрократов придется, я же не по пьянке, а на глазах десятков тысяч людей покалечился. Считай, практикой на годы обеспечен. И прошу вас, друзья, согнать печаль с ваших лиц! Хоть со мной и случилась беда, я ни минуты не жалел, что отдал футболу лучшие годы. О, футбол — большая страсть! Глория, милая, надеюсь, ты-то понимаешь, что футбол для меня — все равно что для тебя архитектура...

На следующий день рано утром Тамаз улетел, и больше уже никогда в полном прежнем составе их компания не собиралась: медленно, по одному, выбывали они из-за стола встреч и странно исчезали, словно проваливались в пространство.

В том же году сдавали последнюю, третью очередь гигантского комбината, и, как всегда перед пуском, работали денно и нощно. Сдача комбината в эксплуатацию — событие государственной важности, и к этой дате готовились не только строители, но и весь город.

Еще до замужества Глория знала, что Рушан мечтает о сыне — не хочет, чтобы род Дасаевых на нем прервался. Но, как бы она ни разделяла желание мужа иметь ребенка, работа заслоняла мечту. Она говорила: «Подожди, милый, закончу Дом молодежи — и буду тебе примерной женой, хозяйкой, стану матерью, сделаю перерыв в работе...» Уезжая защищать проект, она призналась, что беременна.

Из Ташкента Глория вернулась ни с чем, «на щите», как она грустно шутила. Казалось, с поражением она смирилась, хотя это и было весьма подозрительно. Рушан успокаивал ее,



говорил: «Вот недели через две, как только пройдет пуск, уедем надолго в Гагры, отдохнем, а там видно будет».

Но через два дня после возвращения Глория неожиданно оформила отпуск и объявила, что едет в Москву, пообещав непременно вернуться к празднику пуска. Как ни уговаривал Рушан, удержать ее от поездки не удалось, — сказала, что хочет использовать свой шанс до конца.

Пуск, ожидая каких-то высоких гостей, откладывали дважды. Глория не возвращалась, звонила редко, вести были неутешительны. Рушан сдавал объект государственной комиссии, и вырваться к жене, как ни хотел, не мог.

В Заркент Глория вернулась через полтора месяца. Худая, изможденная, нервная, прилетела без телеграммы. Весь ее вид свидетельствовал о том, что дела неважные. С порога она бросилась мужу на шею и горько, навзрыд, расплакалась. Плакала долго — гордая Глория, не позволившая себе расслабиться в Москве, здесь дала волю чувствам. Чувствуя, что у жены поднимается температура, Рушан отнес ее на диван, и там, на его руках, обессиленная, она задремала. Среди ночи вдруг очнулась, словно и не спала, и сказала тревожно:

— Рушан, я убила в Москве твоего сына... — и вновь безутешно заплакала.

Рушан, уже чувствовавший, что случилось что-то непоправимое, сдерживал в себе какой-то невообразимо дикий крик, который поднял бы среди ночи на ноги весь дом, и, задыхаясь от горечи, успокаивал вновь забившуюся в истерике больную жену. И всю жизнь потом он благодарил судьбу, что в тот час не сказал усталой отчаявшейся женщине ни слова упрека. Три дня она не поднималась с постели, не выходила из дому, — Рушан был постоянно рядом. Как только Глория немного пришла в себя, решили уехать к морю, у них обоих силы были на пределе.

В Гаграх они сняли квартиру подальше от гостеприимного дома Дато Джешкариани, дяди Джумбера, решив, что в таком настроении лучше не показываться на глаза людям, хорошо относившимся к ним. Модных и людных мест избегали. Днями пропадали на пляже, никогда не вспоминая, как некогда были веселы и счастливы в этих краях, никуда не выезжали, хотя знали окрестности не хуже местных, даже о Пицунде не заговаривали. По вечерам ходили в один и тот же ресторан,



где хозяйка их квартиры работала официанткой, — у них на террасе в углу был столик, на который вечерняя смена всегда ставила табличку «Заказано».

Странно, раньше казалось, что только веселье убивает время, а теперь вечера убывали незаметно, хотя за столом и не плескался смех, и музыка, звучащая на другой террасе, не срывала их с места. В обоих словно что-то надорвалось, и они, как немощные старики, старались поддержать друг друга. Удивительно, что и темы для разговоров они выбирали нейтральные, плавно обходя свою жизнь.

В то лето, любуясь каждый вечер с террасы морским закатом, они много говорили о литературе. Вернее, рассказывала Глория, а Рушан слушал, не смея, как тогда, в первый раз, в «Жемчужине», оторвать глаз от ее начинавшего возвращаться к жизни прекрасного лица.

Вернулись они домой в сентябре, когда в Заркенте спала изнуряющая жара и установилась долгая теплая осень, удивительно красивое время года в Узбекистане. Вернулись тихо, никого не предупредив, и гостей по случаю возвращения, как прежде, собирать дома или в «Жемчужине» не стали.

Как-то ночью раздался телефонный звонок. Звонил из Павлодара Джумбер. Они обрадовались полуночному звонку, и проговорили, наверное, целый час, хотя звонок ничего радостного не принес, скорее наоборот. Джумбер сообщил, что Роберта срочно забирают в «Пахтакор» — у них получил травму правый крайний, и тренерский совет остановил выбор на нападающем «Металлурга». Команда прилетала из Павлодара после обеда, и у Роберта был единственный вечер в Заркенте — на другой день он с «Пахтакором» улетал на игру с тбилисским «Динамо».

Компания теряла еще одного лидера, и Джумбер просил организовать прощальное застолье.

Хотя Роберт, выражаясь чиновничьим языком, шел на повышение, застолье получилось далеко не веселым, — все, как и сам Роберт, понимали, что приглашение сильно запоздало. Единственной отрадой служило то, что через три дня он выйдет на поле в родном Тбилиси, а это — исполнение самой высокой мечты любого грузина, играющего в футбол. Но, что скрывать, он был бы гораздо счастливее, если б играл за родной клуб.



Поэтому, наверное, эта игра Роберта и стала его лебединой песней. Джумбер, смотревший матч по телевизору у Дасаевых дома, не скрывал слез.

Впервые играя за «Пахтакор», Роберт творил в незнакомой команде невозможное, невероятное, ему удавалось все. И опытные партнеры, почувствовав, что у новичка пошла игра, все пасы адресовали ему. Два гола, что забил Роберт в той игре, взбудоражили грузинских болельщиков: откуда такой парень взялся? И, наверное, не было в те дни в Тбилиси более счастливого человека, чем Тамаз, рассказывавший о грузинских футбольных варягах, сражающихся на чужбине.

Игру друга Джумбер прокомментировал коротко:

— Каждый из нас, грузин, кому не посчастливилось играть дома, в Грузии, должен был сыграть только так, на пределе своих сил. Или умереть на поле. — Прощаясь с ними в тот вечер, рано начавший сесть капитан с горечью сказал: — Вокруг столько людей, а мне кажется, что нас в городе осталось трое...

Нерадостные события еще больше сплотили Глорию и Рушана, их совместная жизнь стала обретать семейные черты, — странно, наверное, звучат эти слова на пятом году брака, но что было, то было. Те пролетевшие одним днем годы у каждого из них оказались до предела заполнены лишь работой. Глория и по ночам иногда вдруг оказывалась у кульмана, если приходила в голову какая-то идея, а у Рушана на объекте стояла заправленная раскладушка. Только поменял их несколько раз, слишком уж хрупкими они выпускались, видно, не были рассчитаны на издерганных прорабов, которые и спать-то спокойно не могут. А когда выпадало свободное время, старались общаться с друзьями, принимать гостей и не упускали любого случая съездить в Ташкент.

Рушан оставался по-студенчески неприхотливым, на домашних обедах и уюте не настаивал, он понимал Глорию, гордился ею, работа ее вызывала у него огромное уважение, и он тайком думал, что его сын непременно станет, как мать, архитектором.

Нельзя сказать, что Глория охладела к архитектуре, нет, просто стала вовремя, как все, возвращаться с работы. Из квартиры исчезли кульман и десятки листов ватмана со схемами, планами, видами, и комната стала похожа на комнату,



а не на мастерскую проектного института. В доме появились диковинные цветы в горшках — сингапурские чайные розы. Возвращаясь с работы, она заходила на базар, и к приходу мужа из кухни доносились аппетитные запахи. Рушан был приятно удивлен тем, что жена его замечательно готовит. На дом, как прежде, работу она теперь не брала.

Изменилось кое-что и в распорядке Рушана. Он тоже стал вовремя возвращаться с работы, наконец-то поставил рамы на балконе, настелил там деревянные полы. Работа, откладывавшаяся годами, была сделана за неделю, и они оба были поражены этим. Тогда-то и решили своими силами сделать в квартире ремонт, и у Глории вновь засветились сумасшедшие огоньки в глазах.

Рушан чувствовал: работать на износ, как работал на строительстве комбината, у него уже нет сил, и подумывал взять объект поспокойнее, как поступали многие его коллеги, но ничего об этом Глории пока не говорил. Чаще стали бывать в Ташкенте. В ту весну они приохотились ездить в новый организованный зал, и, конечно, не пропускали ни одной игры «Пахтакора», болели за Роберта.

— Зная, что вы на трибуне, я увереннее чувствую себя на поле, — говорил им после игры Гогелия.

В то лето их компания распалась окончательно.

«Металлург» сильно обновился: шла смена поколений, из прежнего чемпионского состава доигрывали двое — бессменный капитан и вратарь. Сменился и тренер, и с ним пришло полкоманды. У Джумбера сразу не сложились отношения ни с тренером, ни с новобранцами — у них оказалось разное отношение к футболу. Вот тогда-то в Заркенте впервые появились на поле патлатые, нечесанные футболисты, игравшие со спущенными гетрами, в футболках навывпуск, а на шее у каждого болталась какая-нибудь висюлька, называвшаяся талисманом.

Джумберу трудно было предъявить претензии в игре, хотя он уже потерял скорость, — зато пришла футбольная мудрость, обострилось тактическое чутье, а главное — он по-прежнему много забивал, хотя и потерял свои крылья, Тамаза и Роберта, а новые нападающие не очень-то баловали его пасом, — за этим он чувствовал козни не только молодых, но и тренера. Видимо, так оно и было, Рушан с Глорией в футболе разбирались.



На очередной игре дома в разгар второго тайма, когда команда вела в счете и Джумбер забил гол, тренер подошел к полю и знаками показал, что собирается поменять Джешкариани. Джумбер поначалу не понял — менять его? Глория с Рушаном увидели, как смертельно побледнел капитан, — это было рядом с их сектором. В ту же секунду он подбежал к кромке поля и, схватив тренера за грудки, прохрипел:

— Только попробуй, только попробуй! — и, не оборачиваясь, побежал к центру.

Пожалуй, кроме Рушана и запасных, никто и не понял, что произошло...

— Все, друзья, настал и мой черед проститься с футболом, — сказал капитан после игры и решения своего не изменил, даже когда стали уговаривать остаться.

Джумбер, устраивавший другим пышные проводы и встречи, от прощального вечера в «Жемчужине» отказался. Его отъезд они отмечали дома, втроем, в только что отремонтированной квартире, и просидели до утра. После отъезда Джумбера им долго казалось, что Заркент несколько померк.

Джумбер словно предчувствовал кончину футбола в Заркенте. Осенью класс «Б» упразднили, и уже больше никогда настоящий футбол в этот город не заглядывал. Перестали по весне приезжать и гонщики, но здесь все объяснялось проще: гаревых дорожек понастроили повсюду и не было резона тащиться через всю страну в заштатный городок.

Пролетали месяц за месяцем, в их упорядоченной семейной жизни время катилось стремительно. Рушан, радуясь за свою семью, за то, что Глория как будто обрела покой, постоянно думал: «Вот еще бы сына для полного счастья». Но Глории никогда об этом не говорил, хотя догадывался, что и она думает о том же. Знал, что супруга зачастила к врачам. Шло время, но радостного стыдливого признания, что у них будет малыш, он от жены так и не услышал.

Однажды среди ночи Рушан проснулся, почувствовав, как Глория, прижавшаяся к его плечу, беззвучно плачет. Он не подал вида, что проснулся, подумал: «Может, приснилось что». Но когда это случилось и второй, и третий раз, и он попытался ее успокоить, с ней случилась истерика. Не владея собой, обезумевшая от точившего ее горя, она кричала:



— Я убила твоего сына, почему же ты не выгонишь меня? Почему не прогонишь прочь? Я ведь сломала тебе жизнь, у тебя никогда не будет сына, Рушан! Я знаю, ты мечтаешь о нем день и ночь. Прогони меня! Прогони!!! — плакала она, упав к его ногам.

Рушан, целуя ее безумные глаза, успокаивал как мог, и в эти минуты искренне сожалел, что когда-то так настойчиво внушал ей мысли о сыне, о роде Дасаевых, перед которым он якобы в долгу. Сейчас он отказался бы от десяти своих будущих сыновей, чтобы только в душе жены вновь поселился покой, — он чувствовал, как она погибает.

После этого случая Рушан стал еще внимательнее к жене, не работал в ночные смены, — он боялся оставлять ее дома наедине с угнетавшими ее мыслями.

Как он хотел тогда, чтобы Глория поняла, что на свете дороже нее для него никого нет! Иногда это, кажется, ему удавалось, жена на месяц-другой преображалась, ходила веселая, покупала наряды, и они чуть ли не каждую субботу выезжали в Ташкент.

В отпуск туристами съездили в Болгарию, отдыхали на новом курорте «Албена», где Глорию восхищали отели на берегу моря. Здесь она опять стала много рисовать, подружилась с болгарскими архитекторами.

Рушан радовался вновь проснувшемуся в Глории интересу к архитектуре. Он готов был пожертвовать сложившимся семейным уютом, вновь превратить квартиру в проектную мастерскую, лишь бы жена по ночам не плакала, не мучилась своей виной.

Тогда в Болгарии было немало дискотек, а в ресторанах играли первоклассные оркестры, и Глория, как когда-то в «Жемчужине», каждый вечер с упоением танцевала. А когда они возвращались обратно из Варны в Одессу пароходом, в танцевальном зале на верхней палубе кто-то из отдыхающих позавидовал Рушану: какая, мол, у вас веселая, беззаботная жена. Рушан, не став разуверять, про себя обрадовался: «Хвала Аллаху, кажется, она пришла в себя».

Через неделю после приезда из Болгарии Рушан вернулся с работы домой с цветами и нашел на столе записку.

«Рушан, милый, не ищи меня. Из нашей жизни ничего хорошего не выйдет, постарайся начать все сначала. Вины твоей



ни в чем нет, и я благодарна тебе за все. Если можешь, прости и прощай. Целую, Глория».

Рушан несколько раз прочитал записку, не в состоянии вникнуть в страшный смысл слов, — если бы не знакомый дорогой почерк, решил бы, что это чья-то злая шутка. В доме ничего не изменилось: чисто, прибрано, цветы в горшках свежeweмыты, из кухни доносился запах готового ужина...

Он распахнул гардероб — вперемежку с его вещами висели два ее стареньких платья и плащ. Не было чемодана и любимой дорожной сумки жены. Он кинулся к шкатулке, где у них хранились деньги и документы — паспорта Глории не было.

«Хоть бы деньги взяла», — подумал он мельком и, рухнув на тахту, еще хранившую ее запах, заплакал. Заплакал громко, как не плакал уже много лет, с детства.

XXXXIV

Прошел месяц, другой... Рушан никому не говорил, что Глория ушла от него, впрочем, и говорить-то было некому — в последнее время они мало с кем общались.

Он еще и сам до конца не верил случившемуся, ему казалось, что у жены вновь какой-то срыв и скоро все образуется, она вернется домой. Почерневший от дум и бессонных ночей, он летел после работы домой, каждый раз надеясь, что Глория вернулась. Если он знал, что задержится на работе, оставлял в двери записку: «Глория, я буду во столько-то...» Однажды, поднимаясь по лестнице, он не увидел своей записки на месте и от радости чуть не задохнулся. Но радость оказалась ложной — записку, наверное, забрали озоровавшие мальчишки. По ночам ему иногда чудилась трель звонка, и он, обнадеженный, вскакивал и бежал к двери, а потом, огорченный, никак не мог уснуть до утра.

Первые месяцы Рушан не пытался разыскивать Глорию — боялся скомпрометировать ее, что ли. А может, потому, что был уверен — она непременно вернется. На третьем месяце уверенность пропала, и он лихорадочно начал искать жену по известным адресам, но утешительных вестей не было. По вечерам Рушан перестал выходить из дома — опасался: а вдруг



она позвонит или позвонят люди, которых он просил сообщить о Глории. Только поздней осенью, почти через год, пришла вдруг телеграмма из Норильска, состоявшая из нескольких слов: «Не мучай себя, не ищи меня. Глория».

Уже через неделю Рушан был в Норильске, прочесал весь город, поднял на ноги милицию, но следов жены не обнаружил. Может, она попросила кого-то телеграфировать с края света? Скорее всего, так оно и было, не иголка же в стоге сена, а человек, да и Норильск в те годы был невелик...

Прошло два года... Увяли цветы в горшках — запоздалое увлечение Глории, и некогда счастливый дом, свидетель радостного смеха и веселых застолий, словно онемел, тягостная тишина затаилась за закрытыми дверями.

Изредка, раз в полгода, но всю ночь, в квартире Рушана негромко звучала музыка: Гайдн, Вивальди, Стравинский, Барток — любимые композиторы Глории. И только работа, нуждавшаяся в нем, да проникшее в кровь чувство ответственности за нее поддерживали в Рушане интерес к жизни и связь с внешним миром.

Разговоров о повышении Дасаева уже никто не вел, говорили — сломался мужик. Да и новый объект — завод бытовой химии — не требовал такого напряжения, как строительство самого комбината, к тому же Рушан был теперь уже третьим строителем, как любил говорить их начальник.

Но однажды он почувствовал, как тяжело, душно ему в этом городе, где все напоминало о жене, а жить в ее квартире становилось с каждым днем мучительнее. По-прежнему он вздрагивал от каждого случайного звонка, редко выходил из дома по вечерам, боясь упустить какую-нибудь радостную весть. Но вестей от Глории не было. Он понимал, нужно что-то делать, однако с ее уходом у него словно отняли силы и парализовали волю.

Как-то вечером Рушан, как в старые времена, задержался на работе и, возвращаясь домой, сошел на остановке возле «Жемчужины» — холодильник дома был пуст, и он решил зайти куда-нибудь поужинать.

В кафе он не был, наверное, года четыре, хотя постоянно слышал, как молодые строители упоминали «Жемчужину» в своих разговорах. Прежние официанты сменились, с улыбкой,



как раньше, его не встречали, да и в нем, начавшем сесть мужчине, нелегко было признать Рушана Дасаева, завсегда «Жемчужины», некогда появлявшегося здесь почти каждый вечер с красавицей женой в шумной грузинской компании.

С первых же минут Рушан понял, что время не пощадило и кафе. Раньше «Жемчужина», как и задумала ее Глория, была вечерним кафе, местом праздничным. Официанты приходили на работу к шести, отдохнувшие, энергичные, приводили зал в порядок, освежали шлангом полы, наводили кругом блеск, ставили на столики цветы, и в семь кафе гостеприимно принимало первых посетителей. Теперь кафе открывалось с утра, официантки день работали, два отдыхали, как на заводе, так что к вечеру — при заркентской жаре — выглядели как выжатый лимон. Зачастую дневной план к этому времени был уже выполнен, и клиент вечерний оказывался как бы ни к чему и мало интересовал их.

«Жемчужина» перенесла и стихию ремонта: нежно-коралловая раковина теперь тускло темнела непонятной коричневой краской, освещение, задуманное как интересное архитектурное решение, исчезло — наверное, во время кампании по экономии энергии. Исчезли мороженое и вода, вместо них бойко торговали дорогими коктейлями и коньяком на разлив.

Стол, за которым обычно собиралась их компания, оказался свободен, и Рушан, заняв свое привычное место, огляделся. Посетителей по-прежнему было много — кафе, при всех издержках, пользовалось большой популярностью.

И вдруг Рушан увидел то, что наверняка порадовало бы Глорию, а может, она так все и представляла через время. Медь — красная и желтая, ее любимый архитектурный материал, — радовала глаз, жила какой-то новой жизнью. Высокая литая ограда из тяжелой красной меди, выполненная с традиционными элементами восточного орнамента, от времени покрылась кое-где зеленоватым налетом и от этого здорово выиграла, словно успела побывать в далеком прошлом и запылиться там, и теперь ненавязчиво, но настойчиво бросалась в глаза. А раньше Рушан не замечал это прекрасное литье, узоры, навевавшие мысль о Востоке, времени, старине... Преобразилась и медь, которой каждодневно касались сотни рук: стойки у баров, окантовка мраморных столов, тяжелые



замысловатые ручки дверей теперь сияли отполированным золотом.

Оркестр наигрывал бодрые, жизнерадостные ритмы; музыка, пропущенная через мощные усилители, оглушала даже в таком огромном и свободном пространстве, как «Жемчужина». Глория словно предвидела и этот электронный взлет музыки.

Заказы оркестру сыпались со всех сторон, что не было принято в их время. Купюры немалого достоинства, не таясь и даже с вызывающим шиком, передавались в оркестр, и на весь зал разносилось: «Для нашего дорогого друга Ахмета исполняется...» — какой-то Ахмет в этот вечер гулял широко.

Оркестр, щедро финансируемый неизвестным Ахметом, не умолкал ни на минуту, и во всех четырех секторах азартно отплясывала молодежь. Когда толпа танцующих на время редела и яркий свет уцелевших мощных юпитеров попадал на цветы в танцевальном круге, словно золотое сияние возникало вокруг, — так они отшлифовались сотнями танцующих ног, цветы Глории.

Вскоре к нему за стол посадили компанию молодых людей, отмечавших экспромтом день рождения девушки. Рушану показалось, что он даже видел ее где-то на стройке. Гостеприимство, общительность — те прекрасные черты характера, которые если и не имел, то непременно приобретешь на Востоке, и через пять минут Рушан уже поднимал бокал за здоровье именинницы.

Прозвучал очередной, какой-то особенно изысканный музыкальный заказ Ахмета, и молодые люди сорвались из-за стола. Напротив него осталась сидеть невзрачная девушка, всем видом выказывавшая желание потанцевать, и Рушану ничего не оставалось, как пригласить ее.

Танцуя, Рушан невольно смотрел себе под ноги, и девушка спросила, не потерял ли он чего.

— Не кажется ли вам странным этот цветок? — спросил он.

— Да, пожалуй, в нем есть какая-то тайна, — ответила партнерша, взглядевшись.

— А вы внимательнее посмотрите...

— Кажется, вот эти линии цветка напоминают сплетенные буквы — «Г» и «К». Да, я отчетливо вижу эти буквы. Вам они что-нибудь напоминают, или эти буквы о чем-то говорят? — спросила она тревожно. — Вы так взволнованны...



— Нет, просто я тоже разглядел монограмму. Наверное, мастер о себе память оставил, долго не вытоптать, — ответил Рушан, и ему захотелось домой.

Возвращаясь давним маршрутом от «Жемчужины» к дому, Рушан мысленно прощался с Заркентом — он твердо решил вернуться в Ташкент, город своей молодости, где начал постигать строительное мастерство, где у него было тогда немало друзей — от балетмейстера до аптекаря...

XXXXV

Шло время, а от Глории не было никаких вестей. Порою Рушана охватывала страшная тоска по ней, и он вновь лихорадочно пускался на ее поиски: писал письма, слал телеграммы, обзванивал знакомых. Он выписал журнал «Архитектура» и внимательно одолевал статью за статьей, надеясь: вдруг где-нибудь всплывет ее имя. Но все труды оказывались напрасными.

А однажды, когда близился его первый отпуск после переезда в Ташкент, ему приснилось море, Гагры и прежние счастливые дни с Глорией. Весь день он вспоминал прекрасный сон, где Зураб Каргаретели настойчиво приглашал его приехать в Пицунду, посмотреть воплощенные в жизнь проекты и, загадочно улыбаясь, обещал к тому же приятный сюрприз.

Как утопающий хватается за соломинку, Рушан уцепился за идею, становившуюся навязчивой: а что, если это вещий сон, судьба? Хоть к гадалке беги...

Промаявшись неделю, он решил ехать к морю: и отдохнуть не мешало, главное же, в нем поселилась надежда — а вдруг...

Прилетел он в Адлер утром. Несмотря на ранний час, здесь царило оживление. Загорелые отдохнувшие курортники не без грусти покидали Черноморское побережье, а вновь прибывшие выделялись не только отсутствием морского загара, но, прежде всего, азартом, нетерпением — скорее бы добраться до места отдыха, к морю.

Толпа таких нетерпеливых и внесла Дасаева в первый же автобус, следующий в Гагры.

Города в наши дни стремительно меняют облик, преображаясь до неузнаваемости, и только маленькие курортные городки,



определившие свой стиль, свое лицо в давние-давние времена, не поддаются напору лет, разве что каждый новый жизненный период оставляет на них свои косметические следы: духаны начинают называть чайханами, чайханы — закусочными, закусочные — кафе, кафе — барами, бары — дискотеками, и так до бесконечности, а суть остается той же...

И, может быть, прелесть этих городков именно в том, что, меняя косметику от сезона к сезону, они всегда остаются самими собой, храня старые тайны в тени кипарисов, тишине гротов, на узких горных тропинках, шумных галечных пляжах. Не стоит верить, если кто-то скажет, что море давно слизало ваши следы, а эхо разнесло по горам ваш счастливый смех, — вернитесь, и вы поймете: все осталось точно таким, каким вы покинули его вчера, позавчера, много лет назад... Надо только вернуться!

Рушану тоже все показалось прежним, хотя он не мог не заметить: появилось немало новых торговых точек — лавок, лавочек, множество иных заведений, — но они могли и исчезнуть так же незаметно, как возникли. Хотя забегаловки эти и выглядели привлекательно, подобающе известному курортному городу, но опытный глаз строителя без труда подмечал временный характер всех сооружений — стоит подуть иному ветру, и от них не останется следа...

Город, еще с той первой совместной поездки с Джумбером, Рушан знал хорошо, безошибочно ориентировался в его крутых улицах, потому и квартиру нашел быстро и такую, какую хотел, недалеко от центрального парка, чтобы можно было отовсюду возвращаться домой пешком.

Вечером, отдохнувший, успевший поплавать в море, он собрался пройтись по тем местам, где в первый приезд любил бывать с Глорией. Окидывая взглядом себя в зеркале, заметил, что в последний год седины заметно прибавилось, но эта мысль не огорчила его, он знал, что в этих краях ранняя седина не редкость. Седина рано и нещадно метит грузин, это словно дань за щедрость и открытость их души, за веселый нрав, жизнелюбие.

Проходя мимо телеграфа, Рушан невольно остановился. Стоило отбить телеграмму в Тбилиси, и вскоре кто-нибудь из его друзей — Джумбер, Тамаз или Роберт — будет здесь,



рядом с ним. Ему так хотелось увидеть их, посидеть, как некогда, за столом по-грузински и вспомнить молодость, Заркент, «Металлург». Но... словно неодолимая пропасть пролегла перед ним: что бы он сказал им о Глории? Увы, не удержал, не уберег, не отыскал, не защитил... Не было слов, и нет этому оправданий — потерять такого человека! Рушан знал, что и для них Глория была больше чем другом, — она была частью их жизни, молодости, их талисманом. И какой бы сильной ни оказалась радость встречи с друзьями, не меньшей была бы и печаль, узнай они о судьбе его жены... Так и не войдя в здание телеграфа, он прошагал дальше.

Некоторые летние кафе на воздухе, где они с Глорией проводили вечера в компании грузинских архитекторов, исчезли, а другие успели потускнеть, словно и не были прежде популярны, и Дасаев еще раз отметил, что у каждого времени — свои места развлечений. В этот же вечер он понял, что и искать жену следует, если вдруг она вздумала бы отдохнуть на море, в новых местах.

И побежали чередой быстро таявшие отпускные дни... Несколько раз он проходил мимо дома, где они с Глорией останавливались в первый раз. У калитки видел повзрослевших племянников Джумбера. Он помнил каждого из них по имени, но окликнуть не решался. Видел однажды и самого дядю Дато, по-прежнему стройного, с неизменной сигаретой в зубах. Дато Вахтангович, прежде чем сесть в машину, даже задержал на секунду взгляд на нем, но в Рушане теперь трудно было признать прежнего Дасаева, проводившего в этом доме медовый месяц с любимой молодой женой. Так и разошлись, не окликнув друг друга.

В другой раз, вечером, возвращаясь поздно, Рушан вновь завернул к этому дому. Во дворе, ярко освещенном, как в памятные ему дни, шумело застолье, и ему даже почудился голос Джумбера. Не таясь, он близко подошел к воротам и хотел уже войти, если еще раз услышит его голос. В приоткрытую дверь хорошо просматривался двор, и он на всякий случай заглянул — Джумбера за столом не было.

Погода стояла на зависть, море не штормило, квартира попалась удобная, хозяева были гостеприимными, только дни таяли чересчур быстро, лишая его последних надежд. В какой-то



вечер, ужиная в ресторане у моря, он обратил внимание, что в зале много свободных мест — непривычно для разгара сезона, на что официант заметил: «Большинство отдыхающих по вечерам уезжают развлекаться в Пицунду».

«В Пицунду! Ну, конечно, она в Пицунде!» — подумал взволнованно Рушан, и угасающая надежда вспыхнула вновь.

На другой день пораньше он отправился в Пицунду. Поехал автобусом, чтобы спокойно разглядеть сказочные автобусные остановки Зураба Каргаретели, часть которых когда-то видел в работе, часть — в проектах и рисунках. Двадцать четыре остановки насчитал Рушан, и ни одна не повторилась, радуя глаз и сердце фантазией. Среди буйной субтропической зелени у дороги яркие волшебные персонажи сказок, уберегавшие пассажиров от зноя и ненастья, поражали воображение даже тех, кто видел их уже не однажды. Работ было много, и вряд ли кому приходило в голову, что это труд одного творца, но Рушан знал и в душе гордился, что был знаком с человеком, который оставил такой яркий след на земле.

К встрече с Пицундой Дасаев был готов. Для него, строителя, однажды уже увиденное в чертежах, проектах обретало живые черты, это все равно, что показать композитору новую партитуру — он услышит музыку и без оркестра. Гуляя по широкой набережной, он вспомнил, что именно здешнее пространственное решение поразило тогда Глорию: строители уберегли реликтовый лес, и он вплотную подступал к набережной и высоким корпусам.

«Если она на море, то встречу я ее только здесь, в Пицунде», — решил Рушан, оглядывая бронзовую скульптурную композицию на развилке набережной.

Вечер вступал в свои права. Веселые нарядные люди заполняли набережную, прогулочные дорожки в лесу, отовсюду слышалась музыка. Летних ресторанов, кафе, баров, дискотек, варьете в Пицунде оказалось так много, что Дасаев растерялся: куда пойти, где он может встретить Глорию? В иные заведения непросто и попасть — нужно было выстоять очередь.

Рушан вспомнил, что в проекте каждого из высотных корпусов на крыше, на самой верхотуре, планировалось открытое, на воздухе, кафе, откуда хорошо обозревался морской простор и весь мыс Пицунды, и он, не раздумывая, завернул в подъезд



ближайшей многоэтажки. Скоростной лифт быстро поднял его на шестнадцатый этаж, но и здесь ему пришлось стоять в очереди — желающих попасть сюда было с избытком.

Кафе оказалось огромным и без «архитектурных излишеств», проще уже некуда, как сказала бы Глория, но отдыхающих привлекала панорама, свежий морской воздух, да и места для танцев было в достатке, чем не могли похвалиться другие заведения. Отыскивая свободное место, Рушан понял, почувствовал, что Глории здесь нет, и не могло быть, — он знал ее вкусы. Эта мысль огорчила и обрадовала одновременно — по крайней мере, из поля поиска выпадали крыши всех высотных зданий.

Место отыскивалось у самого парапета. Рушан сел лицом к морю; происходящее в зале теперь его не волновало, даже мелькнула мысль встать и уйти, но, представив, что вновь придется выстаивать где-нибудь очередь, чтобы поужинать, решил остаться, к тому же сразу подошел официант и предложил свежую форель.

Солнце медленно опускалось в море, по всем признакам суля на завтра погожий день. Прогулочные катера, маленькие теплоходы уходили и возвращались с моря на причал Пицунды, как некогда приставали к этому же берегу и, может, даже в этой бухте корабли аргонавтов, прибывших за золотым руном Колхиды.

Неожиданно все обволокла ночь — вязкая, звездная, ночь Колхиды. Вдали, за нейтральными водами, словно огромные новогодние ели, выстроившиеся в ряд, вдруг зажглись яркие светильники: то шли, сияя праздничными огнями в ночи, чужие огромные, трехпалубные, теплоходы. Шли в Ялту «турки», «греки», «шведы», как называют моряки и жители морских городов заходящие в наши порты иноземные корабли.

Лето, море, круиз, праздник... Рушану даже почудилось, что он слышит музыку с далеких чужих кораблей, но это только казалось, его оглушала музыка, гремевшая за спиной.

Посвежело, с моря заметно потянуло ветерком, и Дасаев почувствовал себя зябко, неудобно, хотя веселье в зале только разгоралось. Рассчитавшись, он спустился вниз.

По ярко освещенным аллеям гуляли отдыхающие — по всей вероятности, жившие в этих высотных корпусах и гостиницах, — спешить им было некуда. Отовсюду зазывно гремела музыка,



сквозь стеклянные стены ресторанов пастельно просвечивали танцующие в ярких летних одеждах, куда ни глянь — везде праздник. Не было праздника только в душе Рушана, хотя внешне он вполне походил на довольного курортника. Не спеша покидал он курортную зону, когда на самом выходе — у шлагбаума, где у водителей требовали предъявить специальный пропуск для въезда на территорию отдыха — вдруг грянула музыка. Казалось, что все увеселительные заведения уже остались позади, но Рушан ошибся — это был главный ресторан Пицунды «Золотое руно», и оркестр после антракта начал второе отделение.

Ресторан был вечерний, и когда Рушан проходил тут часа три назад, его еще не открыли для посетителей. Легкое, изящное сооружение, часть столиков располагалась прямо под деревьями, словно на пикнике, и сам ресторан хорошо вписывался в густую субтропическую зелень, которой были увиты все веранды. В саду на столиках стояли стилизованные «керосиновые фонари», на веранде кое-где висели тщательно выделанные белые овечьи шкуры, наверное, символизировавшие «золотое руно». Возможно, они вызывали зависть у любой модницы и наводили на мысль, что на дубленку как раз хватило бы. Но за шкурами был особый досмотр, их берегли пуще легендарного руна, хотя об этом знали только завсегдатаи. Ресторан имел свое лицо, чувствовалось, что постарались и те, кто задумал, и те, кто построил его, поэтому Рушан, не раздумывая, шагнул к «Золотому руно».

На слабо освещенной эстраде неистовствовал оркестр, взвинчивая и без того наэлектризованный зал, на тесной площадке танцевали те, кто сидел за ближайшими столиками, остальным оставалось только завидовать и ждать своего часа, который мог и не наступить. Дасаев прошел вдоль столиков, выискивая свободное место, как вдруг его окликнули:

— Рушан, иди к нам!

Дасаев подумал, не ослышался ли он, но из-за столика, на котором слабо горела свеча, опять раздались возбужденные весельем приветливые голоса:

— Рушан, дорогой, иди к нам!

Ноги вмиг стали ватными, и тысяча догадок промелькнула в одну секунду: кто это мог быть? Джумбер, Тамаз, Роберт, старые друзья архитекторы?



Окликнули его, конечно, грузины, акцент чувствовался. Он пробирался медленно, обходя шумные столы, но душой уже летел туда, откуда раздалось неожиданное приглашение... а вдруг?

— Рушан, у нас мало света, или ты успел уже хорошо гульнуть, что не признал нас? — спросил, улыбаясь, Тенгиз, сын хозяйки дома, где он остановился.

За столом с Тенгизом сидели три девушки, снимавшие большую комнату на первом этаже, и приятель Тенгиза сосед Заури. Иногда, возвращаясь вечером, Рушан заставал эту компанию в саду, однажды даже засиделся в ней за полночь.

— Пожалуй, света действительно маловато, — ответил устало Рушан. — А насчет гульнуть... Я как раз не догулял сегодня, это хорошо, что я встретил вас. Хорошо бы бокал вина...

Официант уже стоял наготове за спиной Тенгиза.

— Слышал, что сказал наш друг Рушан? Огня и вина...

То, с чем долгие годы не хотел смириться, Рушан понял, осознал только сейчас. В какие-то мгновения здесь, в шумном «Золотом руне», в голове возникла вдруг такая пронзительная ясность, как будто освободился от наркоза, и в эти минуты пульсировала только одна мысль: «Глория потеряна навсегда», а перед глазами встала единственная ее телеграмма: «Не ищи меня...»

Оставшиеся дни, которых было не так уж много, Рушан провел в компании со своими соседями, и все эти дни он прощался с Гаграми, ибо знал, что больше сюда не вернется — никогда не надо возвращаться туда, где был по-настоящему счастлив... Но счастлив все же был, был...

Три года назад он получил от Глории письмо из Гамбурга. Оказывается, уже лет десять как она перебралась в Германию.

Глория писала, что вовремя поняла: профессионально ей никогда не удастся реализовать себя в Стране Советов, да и сама жизнь там стала ей невмоготу, — она словно предчувствовала, что ждет ее Родину впереди.

Прислала Глория и свои фотографии — на отдыхе на Лазурном берегу, в далекой Ницце. Снялась она у парадного удивительно знакомого отеля, хотя в тех краях Рушан никогда



не бывал. В письме нашлось объяснение — Глория фотографировалась на фоне своего детища, удачно спроектированного в молодости.

Она писала, что владельцы отеля «Глория», узнав, что она архитектор, автор проекта популярных в Европе гостиниц для молодоженов, целый месяц принимали ее, как высокую гостью, за свой счет. Еще она писала, что труд, в который вложила всю душу, проектируя Дом молодежи в Заркенте, не пропал даром: на базе тех решений она построила дворец для шейха из Кувейта.

На чужбине Глория преуспела, создала собственную архитектурную мастерскую, которая не знала отбоя от заказов. Но, несмотря на роскошное окружение Глории на фотографиях из Гамбурга, в письме чувствовалась неистребимая тоска: что-то, чего не могли заменить никакой успех и благополучие, осталось на Родине навсегда, — Рушан это чувствовал. Нагадай ему кто-нибудь в юности, в забытом богом Мартуке, что его друзей и любимых разметет по свету, по Парижам и Лондонам, он бы улыбнулся и, как некогда Саня Вуккерт — зеленоглазой Томочке Солохо, сказал бы: «Ты не умеешь гадать, мадам...»

... Проходят дни — тоскливые, тяжелые, нудные, и трудно поверить, что впереди ждет радостное время. Порою кажется, что жизнь прожита зря, напрасно, но когда через запыленное, давно не мытое окно Рушан видит выходящую из дома напротив девочку с голубыми бантами и нотной папкой в руке, на лицо его набегают улыбка: жизнь продолжается, несмотря ни на что, потому что еще жива любовь и память не потускнела.

А пока любовь и память — эти два волшебных крыла, поднимающих человека ввысь — еще не сломаны, жизнь не иссякнет, не истает, как дым, как туман на заре...

*Переделкино,
май 1991*







Маржанбулак – жемчужный родник

Повесть

Фалин любил поезда. Даже однообразный пейзаж за окном — выжженная жарким солнцем степь и редкие, на одно лицо, полустанки — не раздражали его. Он немало поездил по этой дороге, знал, что и завтра, почти до самого Ташкента, мало что изменится в пути: будет та же одуряющая жара, белые солончаки и редкие кусты саксаула. И все же, даже такая дорога приносила ему радость: мерный перестук колес располагал к размышлениям, воспоминаниям, в пути он не раз встречал удивительных попутчиков и в неторопливых беседах с соседями по купе обретал столь редкое в последнее время душевное равновесие. Однако все чаще Фалин замечал, как люди отвыкают ездить поездами, а если все же едут, то, скорее всего, не по желанию, а вынужденно: или не смогли достать билет на самолет, или погода нелетная. Людей, которые мечтают сесть в поезд, разложить скорее вещи по местам и, переодевшись в спортивный костюм, начинают знакомиться с соседями по купе, предвкушая долгие два-три дня пути и приятного общения, да и просто возможность выспаться за длинный путь, словом, настоящих пассажиров, становится все меньше и меньше... Все спешат, торопятся, и каждый свой шаг примеряют к самолетным скоростям.



Вот и нынешние попутчики Александра Михайловича только сели, как начали на чем свет стоит клясть железную дорогу, несмотря на то, что поезд шел по расписанию, проводник был трезв, дважды в день жужжал пылесосом в коридоре и чай подавал по просьбе в любое время, хотя и не обязан был это делать. Да что там соседи по купе! Казалось, весь вагон заполнил какой-то нервный народ: то и дело хлопали двери, сновали взад-вперед по коридору недовольные люди, и Фалина, стоявшего у окна, так и подмывало сказать: «Да угомнитесь вы! Перестаньте суетиться. Посмотрите, какой яркий закат в степи. Посмотрите, как возвращается в серых сумерках стадо в аул, и пастуха на верблюде ведь нечасто увидишь, разве что в кино...»

Он пригласил своих соседей, семейную пару средних лет, поужинать с ним за компанию в купе, но те как-то суетливо отказались и на весь вечер пропали в ресторане, хотя приглашал он их радушно, искренне, да и столик купейный был заставлен всякой всячиной, одолеть которую одному было трудно.

За ужином он с грустью думал, что замкнутость, уход в себя, некоммуникабельность все чаще определяют наши взаимоотношения.

Откуда эта отчужденность, стремление обособиться? Где теряются связи, бывшие когда-то настолько тесными, что без них не мыслили своего существования? Может быть, бешеный ритм жизни, ставший нормой в последние десятилетия, не оставляет времени на чувство общности, родства с ближними? Думал он и о том, что в его любви к железной дороге, ночным полустанкам, мелькающим за окном огням, есть что-то старомодное, наверное, даже трогательно-смешное, если глядеть с высот нашего стремительного времени.

Но именно с железной дорогой были связаны самые дорогие детские и юношеские воспоминания, да и позже дорога доставляла немало радостей в жизни, и перечеркнуть все это разом ему не хотелось. Летал Фалин и самолетами, и частенько, но лишь потому, что в тех местах, где он работал, железных дорог, чаще всего, не было вовсе, а служебные командировки в министерство, проектные институты, к заказчику, как неожиданно обострившийся аппендицит, требовали немедленного, безотлагательного вмешательства, тут уж без авиации



было не обойтись. Предпочитал самолет поезду он и еще в одном случае: когда удавалось вырваться на отдых к морю. Тут уж хотелось сэкономить каждый день, каждый час...

И все же к месту новой работы, как бы далеко это ни было, Фалин всегда ехал поездом. Только так он мог ощутить расстояние, осознать в полной мере за долгий путь важность и необходимость того или иного объекта, который ему придется строить. Иной раз, когда до места оставалось еще несколько часов езды, он, вглядываясь в мелькавшие станции и разъезды, проселочные дороги и мосты, уже прикидывал в уме, с какими проблемами ему придется столкнуться на месте. Опытный инженер, он знал наперечет все цементные заводы страны, помнил, откуда поступают кислотостойкий и огнеупорный кирпич, лес, металл, оборудование. Частенько, подъезжая к месту назначения, он исписывал в своем объемистом блокноте не один десяток страниц. Это умение, знание, хватка пришли к нему не сразу, годами постигалась строительная мудрость, копился опыт, и еще, может быть, самое главное — ему везло в жизни с наставниками.

В Джизак, к месту нынешней работы, он добрался из Ташкента только к вечеру. Назначения, как всегда прежде, у Фалина на этот раз не было. Точнее, предложений-то было много, и стройки были интересные, и должности престижные, но как то раз попалось ему на глаза объявление в «Строительной газете», что недавно организованный трест «Джизакцветметстрой» приглашает на работу специалистов, и он решил поехать. В том, что работа ему найдется, не сомневался. Его не манили высокие, почти двойные коэффициенты к зарплате — опытного строителя они скореестораживают. Интерес у него был совсем к другому. Строил он много, всякие объекты повидал, но фабрик по добыче золота, где с конвейера будут сходить бруски с гербом республики, еще не возводил.

Объявление в газете было коротенькое, без подробностей, хотя Фалин считал, что в таких случаях надо бы называть фамилию управляющего трестом, ведь иные фамилии настоящим строителям так же хорошо известны, как актерам имена знаменитых режиссеров.

Сравнение с театром Фалину пришло в голову не случайно. Одна молодящаяся курортница, с которой он познакомился



на пляже, оказавшаяся к тому же актрисой, обратила внимание на то, как тщательно он вычитывает объявления о трудоустройстве, и однажды спросила: «Разве можно по газетному объявлению выбрать работу по душе?»

Он ответил, что у работы строителей своя специфика, и если ясно представляешь, чего ты хочешь, то, пожалуй, можно и найти что-то по душе. Собеседница не хотела спорить, пожалала плечами и стала рассказывать Фалину об актерской жизни...

Оказывается, ежегодно после окончания театрального сезона в Москве собираются со всех концов страны актеры, режиссеры, другие работники театра, желающие по каким-то причинам сменить коллектив, а также главные режиссеры, которые на этой «ярмарке» могут набрать в свою труппу недостающих артистов, осветителей, костюмеров и даже рабочих сцены. Это показалось Фалину интересным. И он, посмеявшись, сказал, что неплохо бы Министерству строительства в Москве или в республиках, где намечаются крупные стройки, иногда проводить подобные «ярмарки». Конечно, слабаки инженеры и не подумали бы поехать на такой «конкурс», зато отважившиеся смогли бы подробнее ознакомиться с условиями предлагаемой работы, разузнать о климате, зарплате, бытовых условиях, словом, обо всем, чего не узнаешь из скупых строчек газетных объявлений. Сколько молодых, способных инженеров, в которых так нуждается любая стройка, дерзнули бы испытать себя в настоящем, большом деле!

Но смотров таких пока не предвиделось, и потому прибыл Фалин в Джизак, почти ничего не зная о предстоящей работе. По дороге из Ташкента в междугородном автобусе узнал он от словоохотливого соседа, что Джизак стал областным центром недавно, два года назад, и не из-за открывшейся вдруг промышленной перспективы, а благодаря решению освоить гигантскую джизакскую целину, построить здесь совхозы, которые будут выращивать тонковолокнистый хлопок.

Раньше Джизак, дремотный провинциальный городишко на полпути между Ташкентом и Самаркандом, был знаменит только тем, что являлся родиной двух известных узбекских советских писателей. Узнал он также за трехчасовую дорогу, что теперь Джизак превратился в огромную стройплощадку, и чего в нем только не строится: областной театр, центральный



телеграф, телефонная станция, гостиница, кинотеатр, поликлиника, и даже заложены два больших жилых массива. Узнал он и то, что за год, в рекордно короткий срок, был пущен домостроительный комбинат, уже выпускающий типовые дома новой серии с повышенными удобствами, рассчитанные на жаркий климат, а самое главное — сейсмостойкие.

Утром в отделе кадров треста он подал женщине за некрашенной конторкой трудовую книжку и сказал:

— Кто как, а я к вам по объявлению... в «Строительной газете»...

Внимательно изучив все записи, кадровичка вопросительно взглянула на Фалина, спросила, какие еще есть документы. Прочитав все бумаги, вдруг улыбнулась и сказала:

— В моей долгой практике не было случая, чтобы вот так, сам по себе, приходил устраиваться на работу главный инженер, их обычно снимают или назначают.

— Меня до сих пор не снимали, — коротко ответил Фалин.

— Верю вам, Александр Михайлович, все увольнения у вас по собственному желанию... Но не слишком ли много для ваших тридцати трех лет? И странно, что вы уже почти семь лет ходите в главных инженерах. У нас в двадцать шесть разве что до начальника хозрасчетного участка можно дорасти. Может, это по той причине, что вы обычно работали «на краю географии», как у нас здесь выражаются?

— Начальником участка, правда, не хозрасчетного, я был в двадцать лет, это отмечено в трудовой. А что касается «переднего края», как обычно выражаются у нас, «на краю географии», то строится ли комбинат в Подмосковье, Сибири или на Дальнем Востоке — плановые сроки строительства везде одинаково жесткие. Далеко или близко мы строим, главное — сдать объект в срок, ну и, конечно, не в ущерб качеству... И потом, там, «на краю географии», постоянно приходится помнить, что Север есть Север, просчетов не прощает ни в каком деле. Поэтому главному инженеру там скидок никаких не делают — ни на молодость, ни даже на неопытность.

— Да я, собственно, ничего против не имею, — согласилась начальница отдела кадров. — Согласна с тем, что молодежь в строительстве должна быстрее расти, чем в других отраслях. Легкое ли это дело — на пустом месте за два года выстроить



комбинат, пустить его на полную мощность, да и город преобразовать: одного жилья сколько придется строить. Такое по плечу лишь молодым, крепким. Разве я спорю? И какое же управление вы хотели бы взять?

— Любое, — не задумываясь, ответил Филин. — Можно и общестроительное, и монтажное, могу и сантехническое, кроме разве что управления механизации. Но лучше, конечно, строительно-монтажное. Это мне ближе. Разумеется, если есть такая возможность.

— Есть, Александр Михайлович. У нас все есть, — вздохнула начальница. — В двух управлениях вакантны должности исполняющего обязанности главного инженера, в трех не сегодня-завтра главных снимать будут: завалили полугодовой план. Да и в других пока не лучше, все идут с громадным перерасходом фонда заработной платы. Стройка разрастается, кадров не хватает, рады любому специалисту. Вы пока единственный, кто прибыл по объявлению в центральной газете... Мы и объявление-то дали, скорее, для очистки совести, чем в надежде, что валом повалит к нам народ. Ну, а с вами... — Она улыбнулась. — Что скрывать, впервые оформляю главного инженера не по назначению. Такие вопросы сама решать я не вправе. Идемте к главному инженеру треста, он и примет решение, а с моей стороны возражений не будет.

Главный инженер, сощурился глаза, внимательно читал листок по учету кадров, что заполнил Фалин в приемной.

— Фалин... Фалин... Александр Фалин... Не ваша ли фамилия мне встречалась в журнале «Рационализатор-изобретатель»?

— Моя, — просто ответил Александр Михайлович.

— Лет пять назад вы, кажется, работали на севере Узбекистана, на строительстве Хивинского коврового комбината, и предложили оголовки-«тюбетейки» для забивки свай? Я верно говорю?

Фалин утвердительно кивнул головой.

— Слышал, слышал от очевидцев, что производительность подскочила ошеломляюще, да и треть свай сберегли от разрушения. Да, до ваших оголовков сваебойка ломала сваи, как спички. Нам сейчас как раз пришлось столкнуться с подобного рода работой на многих объектах Джизака. Конечно, хотим выиграть время. Но ведь зона у нас, сами знаете, сейсмическая,



поэтому основание в данном случае — главное. Поможете с внедрением давнего изобретения, Александр Михайлович?

Фалин неопределенно пожал плечами. Да и что говорить, если он еще ничего не видел, не знает, что здесь и как...

— Вознаграждение за внедрение при наших-то объемах, пожалуй, выйдет даже побольше, чем вы получили в свое время за изобретение. Советую вам подумать, Александр Михайлович. А мы поможем со своей стороны...

Начальница отдела кадров, видя, что они забыли о ней и завели малопонятный неспециалисту разговор, встала и незаметно вышла из кабинета.

Через час, в разгар обсуждения проблем свайных оснований, главный инженер, спохватившись, вдруг предложил:

— А может, Александр Михайлович, пойдете к нам в трест начальником технического или производственного отдела? Я вам гарантирую максимальную зарплату, ну, и все прочее... Жилье, конечно...

— Спасибо, Олег Николаевич. — Фалин поднялся. — За доверие спасибо, но в трест — только ближе к пенсии. Я привык строить сам и, смею думать, умею это делать...

— Значит, управление в Джизаке... Что ж, уже готова документация на строительство завода пластмассовых изделий, завода по ремонту сельхозмашин. Да и с квартирой здесь полегче будет, через два месяца сдаем собственный дом, так что будем соседями. Пишите заявление.

— Извините, Олег Николаевич. Но я приехал на строительство золотодобывающего комбината. Меня, пусть вас это не смущает, интересует золото. И только золото...

— Ах, вон оно что! — рассмеялся главный. — Интересный вы человек, Фалин. На комбинат, значит, хочется? Грешным делом, побоялся предложить вам Маржанбулак... Ведь это в голой степи, в восьмидесяти километрах от Джизака, ни жилья, ни коммуникаций. Ветер с песком пополам, летом жара ниже сорока не спадает, трудности с водой... Правда, скважины бьем днем и ночью, вот-вот должна ударить большая вода, геологи гарантировали, иначе бы никакого смысла не было возводить комбинат и строить поселок для золотодобытчиков. Если все это вас не пугает... Могу только приветствовать... Да туда, Александр Михайлович, начальником любого управления, пожалуйста.



— Нет, — решительно возразил Фалин. — Я не администратор, я инженер. Меня устраивает моя должность. Конечно, хотелось бы, чтобы и начальником был знающий, толковый инженер, а не просто руководящий работник... Я привык иметь дело с деловыми людьми...

— Стройка важная, Александр Михайлович, и не стоит объяснять вам, что и мы в первую очередь учитываем деловые качества людей. А начальник управления у нас есть на примете, опытный строитель. В Маржанбулаке нам нужны надежные кадры...

К обеду пришла вызванная по рации из диспетчерской машина из Маржанбулака, и Фалин, бросив на заднее сиденье свои нехитрые пожитки, тронулся в путь. Молоденький шофер, назвавшийся Азизом, и новенький юркий вездеход Фалину понравились. Азиз дело свое, видимо, знал, из запруженного машинами города они вырвались, к удивлению Фалина, быстро.

— Давно за баранкой? — спросил Александр Михайлович.

— Еще до армии гонял, — с гордостью ответил Азиз.

— Где служил, в каких войсках? — продолжал расспрашивать шофера Фалин.

— В Москве. Два года возил генерала авиации, хороший человек, жалко было расставаться. — Азиз стал рассказывать о службе, о Москве, потом вдруг спохватился: — Вот ведь болтун, заговорился, а спросить, обедали вы или нет, не догадался, извините.

— Я думал, на месте и пообедаем, — ответил Фалин.

— Не спешите. От столовской еды вам, к сожалению, никуда не деться. А сейчас через три километра будет неплохая чайхана. Это прямо у дороги, сворачивать не надо. Если повезет, отведаем и плова, и шурпы. На худой конец, чаю с горячими лепешками поьем. Народу на этой трассе — тьма, и все норовят пообедать у Махмуда-ака.

Еще издали по скоплению машин Фалин определил, что это и есть придорожная чайхана.

— Наверное, и из нашего управления здесь шоферов немало? — поинтересовался он.

— А что делать, в наших столовых и вам аппетит скоро отобьют. Здесь уж так принято: кто на колесах, так на обед разъезжаются кто куда, и приятелей, конечно, прихватывают.



Пока они обедали, машины разъехались от чайханы. Азиз предложил перейти на освободившийся айван под деревьями, чтобы спокойно, не торопясь выпить пиалу-другую зеленого чая. Невдалеке, сияя начищенными боками, пыхтел трехведерный самовар. Фалин не возражал. И пока Азиз разыскивал пустые чайники и пиалы без щербинок, он забрался на айван, встряхнул курпачу и уселся поудобнее.

В Узбекистане Фалин уже бывал. Пять лет назад знакомый управляющий трестом, в котором они когда то работали на реконструкции Балхашского комбината, вызвал его в Кашкадарьинскую область, предложив возглавить монтажные работы. Строили там ковровый комбинат, полностью оснащенный импортным оборудованием. Станки поступили к сроку, по контракту должны были вскоре подъехать и наладчики, а монтажных работ оставалось еще невпроворот. В общем, нужно было выручать коллегу. Фалин уговорил тогда поехать и бригаду монтажников. Края были новые, южные, ребятам интересно, поехали с ним охотно.

Встретил их сам управляющий и прямо из аэропорта повез в чайхану, где специально для них приготовили плов и шашлык. Чайхана сразу пришлась по душе монтажникам Фалина. Тогда они тоже разъезжались на обед кто куда; бывало, километров за двадцать-тридцать гоняли машины и знали наперечет в округе всех чайханщиков. В общем-то, в чайхане специально обед не готовят, но при любой есть своеобразная кухня, и если находятся желающие, за чисто символическую плату всегда можно получить котел и дрова.

В Средней Азии каждый мужчина — кулинар, и те, у кого есть время, готовят на свою компанию плов или жаркое из привезенных с собой продуктов.

Но в некоторых случаях чайханщики, не особо обремененные работой, готовят к обеду казан плова или казан шурпы. Вот в такие чайханы в округе и ездили ребята Фалина. И хотя еда в чайхане была отменная, плата умеренная — не намного дороже, чем в столовой, местная власть периодически пресекала такое частное предпринимательство. Не раз, проехав километров двадцать до чайханы, где они только вчера обедали и договаривались на завтра, уезжали, что называется, не солоно хлебавши. Огорченный чайханщик с сожалением разводил



руками, мол, участковый пригрозил крупным штрафом. Вот тогда, прикинув, сколько времени теряют строители на обед и как неразумно используется транспорт, решил Фалин на собственный страх и риск открыть чайхану для своих рабочих рядом с объектом.

И чайханщика подыскал подходящего — фронтовика Махсума-ака, пенсионера. Должности в штате такой, конечно же, не было, пришлось оформить старика монтажником. Нарушение, разумеется, а что делать?

Соорудили печь, сколотили айваны, навесы, посуду за счет профсоюза приобрели. Идея пришлась всем по душе, так что за несколько дней все было готово. Даже добровольные помощники у Махсума-ака объявились. Только дрова да уголь для самовара и мангала доставали чайханщику, а остальное Махсум-ака, человек в округе уважаемый, добывал сам, разве что иногда машину просил — за барашком в горы к чабанам съездить. И повелось с тех пор: день шурпа, день плов, иногда жаркое или шашлык, а по весне — домлама, и весь обед с лепешкой, чаем — рубль.

Повеселели монтажники, да и старик помолодел, чувствовал себя при нужном деле. Семь месяцев работала чайхана, шутливо прозванная высотниками на парижский манер «У Максима». Но нашелся кто-то, настроил бумагу в народный контроль, что, мол, Фалин отбивает клиентов у общепита и держит мертвые души в бригаде монтажников. На один такой сигнал реагируют куда быстрее и эффективнее, чем на тысячу в адрес общепита... И Фалину, и монтажникам досталось тогда... И, хотя ребята уверяли, что с их ведома и согласия числится в бригаде повар и норму его они выполняют с гаком, ничто не помогло. Им сказали, что если бы они Гагарина в бригаду зачислили или работали, предположим, по почину «За того парня» (конечно, предварительно согласовав кандидатуру с райкомом), тогда — совсем другое дело, а повара ни в коем разе нельзя. В общем, даже собирались передавать дело в суд... Во всей этой истории Фалину было больше всего жалко старика — ведь это он втянул Махсума-ака в авантюру. И когда вместо суда вдруг предложили возместить «ущерб, нанесенный государству», — а исчислялся он почти в тысячу рублей, — Фалин вздохнул облегченно и, не задумываясь, внес деньги



в кассу. Но еще долго, пока не уехал, чувствовал себя виноватым перед стариком и старался реже попадаться ему на глаза. Так что прелесть чайханы Александр Михайлович знал хорошо.

Разъезженная, с разбитыми обочинами дорога убежала назад, селения встречались не часто, вокруг лежала выжженная степь: пейзаж напоминал скорее Казахстан, чем Узбекистан, сказывалось безводье. Азиз рассказывал о кишлаках, лежащих на пути, показал Богарное, ближайшую от Маржанбулака станцию, куда поступали грузы и оборудование для комбината. «Далековато... Из-за тридцати километров дважды перегружать каждую тонну стройматериалов», — мелькнула у Фалина мысль. Но тут же решил, что проектировщики правы: тянуть новую ветку железной дороги не имело смысла. Готовую продукцию будут увозить раз в неделю или даже в месяц в бронированном автомобиле или на вертолете.

Но все же с обидой, годами копившейся на проектировщиков, подумал: «Конечно, так уж они и расстараятся для нашего брата строителя. «Как-нибудь доставят» — вот и все их решение». Да, строим одно, а у каждого свои интересы: кому — подешевле спроектировать, а кому — понадежнее построить. И, как бы проверяя себя, спросил у Азиза:

— Кирпич поступает на поддонах?

— Я поддоны видел только в Москве, удобная штука, — уклончиво ответил Азиз.

— А цемент, надеюсь, в мешках?

— В прошлый выходной наши комсомольцы работали на воскреснике: пять вагонов цемента неожиданно пришло. Я разгружал вместе с ребятами. Валом, конечно. Пока перевозили, наверное, полвагона по дороге выдуло, зона-то у нас ветровая.

— Я так и думал, — подытожил Фалин, а Азиз так и не понял, о чем это он.

— Вот здесь вы пока будете жить, — Азиз лихо тормознул возле вагончика под номером «66».

Фалин выпрыгнул из машины, огляделся. Они находились почти в центре хорошо спланированного, с улицами и переулками, городка, состоявшего из типовых бытовых вагончиков. Такого множества новых бытовок Фалину до сих пор видеть не приходилось. Хотя все вагончики были пронумерованы, на бытовках красовались яркие надписи, свидетельствовавшие о ведомственной



принадлежности — «Минстрой», «Стальконструкция», «Тепломонтаж», «Энергострой», «Узбекзолото» ... И еще, и еще. Приезжий человек легко мог отыскать кого надо. Судя по количеству вывесок, снабжение золоторудного комбината было на высоте, наверное, ни в чем отказа не знали. Эта мысль на миг порадовала Фалина.

Азиз уже внес вещи и ждал у входа.

— В другой половине вагончика, — шофер показал рукой, — живут трое наших бетонщиков. Они из кишлака Яван. Домой ездят только на воскресенье, очень далеко добираться. Народ семейный, солидный, спать ложатся рано, и вам мешать не будут. К слову, готовят они себе сами... Так что, если столкнетесь, вам будет удобнее — не придется думать об ужине или обеде. О вашем прибытии они знают. Ну, как будто все. Утром, в девять, начальник проводит планерку, где и представит вам всех инженерно-технических работников. До свидания, Александр Михайлович. — С тем словоохотливый Азиз и отбыл.

В бытовках Фалин жила не раз, но эта была новой, улучшенной конструкции и планировки: окна, на манер поездных, хорошо открывались и были из небьющегося стекла, отопление спрятано под обшивку стен и настил пола, что и говорить — полный комфорт!

— Жить можно и нужно! — сказал себе Фалин. Распахнув чемодан, достал фотографию и прикрепил кнопками над кроватью, аккуратно заправленной неизвестной пока комендантшей.

С фотографии глядела юная девушка, снятая в строгой школьной форме, при фартучке, которые носили даже выпускницы в уже далекие шестидесятые годы. Эта фотография темноглазой девочки в белом передничке над изголовьем взрослого мужчины порою казалась нелепой, но другой карточки у него не было.

Фалина не однажды спрашивали: сестренка? И он коротко кивал в ответ: да, мол. Но девушка с грустными глазами, едва заметной родинкой на щеке не была его сестренкой. Не была она и женой...

Женился он поздно, в двадцать восемь, когда работал уже главным инженером, а развелся через год с небольшим. Оказалось, что Фалин по натуре — однолюб. Та первая, безответная любовь к милой девочке из соседней школы



в провинциальном городке на западе Казахстана осталась в нем на всю жизнь. «Пьянея звуком голоса, похожего на твой» — ничего подобного Фалину так и не пришлось испытать, хотя, как хотелось ему встретить девушку, чем-то похожую на Тамару. Только однажды он позволил себе заслушаться голосом девушки, в котором уловил волновавшие его некогда нотки, и она тут же почувствовала, что имеет какие-то ключи к недоступному Фалину.

Вика Кораблева, инженер планового отдела, как и многие на тракторном заводе, который они строили, была влюблена в главного инженера. Еще там ему предсказывали головокружительную карьеру, и, будь он чуть тщеславнее и практичнее, что ли, уже в Павлодаре мог бы стать главным инженером крупного объединения «Тракторстрой». Да и как было не влюбиться в Фалина: молод, порядочен, талантлив. А перспективен — аж дух захватывает. Такому и в Москву перебраться — стоит только захотеть. Хотя поклонников у Вики было немало, настойчиво замуж никто не звал. Она не любила Павлодар, на ее взгляд, он сплошь был населен незамужними женщинами, а мужчины были заняты лишь одним — работой.

Энергии инженеру Кораблевой было не занимать, а уж если женщина что-то замыслит, остановить ее невозможно. Она как движущийся под уклон локомотив — несется, пока есть путь. И вот тактика наступления разработана, кони руют копытами землю, шашки наголо. Вперед! Для начала Вика обменяла свою двухкомнатную квартиру на однокомнатную, зато на одной лестничной площадке с Фалиным. В любом случае она не особенно проигрывала: долго оставаться в холодном, ветреном Павлодаре не собиралась.

Потом она познакомилась с бабушкой из соседнего подъезда, которая убирала квартиру и вела несложное хозяйство Фалина. Так Вика впервые вошла в квартиру Александра Михайловича и увидела на стене фотографию.

Кораблева, конечно, девушку за сестренку не приняла, однако ничего выдающегося в ней не нашла, только подумала: «Господи, до чего же он наивный! Школьная фотография... А я-то думала, у него что-то серьезней в жизни произошло, если он до сих пор не женат».



В общем, она начала осаду, тщательно планируя каждый свой шаг, анализируя каждый прошедший день. Два месяца кряду рассчитывала время по минутам, чтобы случайно не столкнуться с Фалиным в подъезде, этого требовал скрупулезно выверенный план, и, по расчетам Вики, ошибка была исключена. Наконец, долгожданный момент настал. Когда Александр Михайлович однажды утром увидел на своей лестничной площадке Кораблеву, он удивился, что так давно живет с ней рядом и не встречался раньше.

Слишком высока была ставка, потому Вика не торопила события. Но осенью ей повезло: Фалин, сутками пропадавший на объектах, сильно простудился и неожиданно слег с высокой температурой. И когда приехавший врач «скорой» сказал, что возле больного постоянно должен кто-нибудь находиться, местком упросил Кораблеву, как соседку, подежурить у главного инженера. Ее даже от работы освободили на это время. Фалин метался в жару, подолгу бывал в забытьи, и Вика, как и всякая женщина, прониклась к больному и слабому искренней жалостью. В эти дни вдвоем с бабушкой они привели в порядок очень запущенную холостяцкую квартиру, так что коллеги Фалина, навещавшие главного инженера, говорили шутя: давно, мол, пора Александру Михайловичу завести хозяйку в доме. И, заговорщицки посматривая друг на друга, добавляли: тем более, если такая милая и умелая под боком. Вика, прежде не жаловавшая кухни, поутру бежала на рынок, покупала свежую сметану, молоко, тщательно выбирала курицу. Она готовила наваристый бульон и сама с ложки кормила обессиленного и исхудавшего Фалина. Две недели она неотлучно находилась рядом с ним, была хозяйкой в его доме. Выздоровевший Фалин смущенно благодарил ее горячо, сказал, что он теперь — в неоплатном долгу перед ней. Ушла она скромно, тихо, как и должно по ее сценарию. Месяц-другой после выздоровления соседа старалась меньше попадаться ему на глаза и на работе, и дома.

Впрочем, это было не так уж сложно: Фалин уходил рано, приходил поздно, постоянно пропадал на объектах. Однажды поздним вечером он вернулся домой прямо с объекта с друзьями. Выпить у него нашлось кое-что, а закусить оказалось нечем, тогда кто-то и вспомнил о соседке Кораблевой. Вика



приготовила быстренько салат, нажарила отбивных, умело, со вкусом накрыла стол, и приятели волей-неволей вновь заговорили про женитьбу Фалина. Пора, мол, кончать с холостой жизнью, видишь, как нужна хозяйка в доме, тогда, мол, и проблем не будет с закуской. Шутили, конечно, но Вика, слышавшая на кухне эти разговоры, и вида не подавала, как ей это на руку.

У Фалина был телевизор — премия, как лучшему рационализатору-изобретателю. Включал он его, правда, редко, не до концертов и фильмов ему было. Однажды, когда его на неделю вызвали в Москву, Кораблева попросила, если можно, оставить ключи: должны показывать многосерийную постановку «Сага о Форсайтах», и ей хотелось бы посмотреть. Фалин не только отдал ключи, но сказал, что она в любой день может приходить смотреть телевизор. Но Вика не особенно надоедала Фалину, появлялась лишь, когда он отсутствовал, к счастью, это случилось часто. После ее визитов Фалин замечал, что на кухне все сияло, ванна блестела, а полы были вымыты. Как бы тщательно ни убирала бабуля, но разве ей было сравниться с Викой? После ее посещений оставалась какая-то особая, стерильная чистота. Как-то, отлучившись на день, — а ездил он в дальние карьеры, откуда поступал щебень на бетонный узел, — Александр Михайлович, вернувшись, не узнал своей квартиры: вся мебель была расставлена по-иному, оттого и столовая, и спальня преобразились, стали просторнее, светлее. Просто неузнаваемой стала квартира. «Ну и рационализатор, не додумался мебель расставить как следует», — с улыбкой подумал Фалин. Он, конечно, догадался, что это затея Кораблевой, бабуле одной передвинуть все это не под силу, да и ни к чему.

Однажды он прилетел из командировки ночью. Веселый от того, что поездка оказалась удачной, насвистывая какую-то мелодию, он поднялся к себе. Открыл дверь, включил свет в прихожей и услышал шум работавшего вхолостую телевизора. Он тихонько вошел в комнату. Было уже далеко за полночь, передачи все закончились, а Вика, в роскошном голубом пеньюаре, с распущенными волосами, заснула на диване. Фалин присел на краешек дивана, сначала хотел разбудить ее, а потом передумал: зачем — смутится, сконфузится девушка. Поправил сползший с коленей пеньюар, принес ей подушку, накрыл пледом и выключил телевизор.



«Красивая девушка, добрая..» — подумал, засыпая, Фалин.

На Новый год Фалина пригласили в компанию сослуживцы, люди в основном семейные. Оказалась там и Вика Кораблева. Вечер был славный, шумный. За полночь, весело отметив встречу Нового года по местному и по московскому времени, стали расходиться. Погода стояла для Павлодара редкостная: ни ветерка, по-киношному медленно падал мягкий снег. Всю дорогу до дома они дурачились, как школьники, а у подъезда Вика, задохнувшись от бега, спросила:

— Фалин, хотите еще шампанского?

И Александр Михайлович ответил:

— Хочу!

На площадке, пока Фалин рылся по карманам, отыскивая ключ, Вика распахнула свою дверь и сказала:

— Сегодня шампанским угощаю я, потому что очень хочу, чтобы этот год принес мне много радости.

У нее был накрыт стол, в углу стояла наряженная елка, Вика, как сказочная фея, повела рукой, и елка вспыхнула разноцветными огнями.

— Какая ты молодец, Вика! — вырвалось у Фалина. Он даже в ладоши похлопал.

Когда разлили пенящееся шампанское, Вика, подняв бокал, попросила его достать из-под елки пакет.

— Александр Михайлович, дорогой сосед, это мой новогодний подарок — теплый пуловер из исландской шерсти. Надеюсь, вам в нем будет тепло и никогда больше не придется болеть. Вам болеть, а мне ухаживать за вами, хотя это было совсем не трудно.

Фалин смутился, не зная, что и сказать, но Кораблева не растерялась, засмеявшись, проронила:

— Да не смущайтесь вы так. Восьмое марта не за горами, у вас будет возможность ответить...

Она включила радиолу и в танго, обняв его за плечи, сказала:

— Фалин, милый мой сосед, неужели, кроме бетона, железобетона и стальных конструкций, вы ни в чем не разбираетесь? Я ведь люблю вас, Сашенька, и уже давно...

Фалин молчал, смотрел куда-то поверх плеча, и Вика на миг растерялась. Чтобы избежать тягостной паузы, она уже хотела поцеловать его, как Фалин вдруг спросил:



— И давно это случилось?

— Давно, Сашенька, — вздохнула Вика. — Давно, уже восемь месяцев.

Фалин улыбнулся:

— А я, Вика, влюблен уже одиннадцать лет, понимаешь, одиннадцать. Когда мы познакомились, она оканчивала восьмой класс, а я учился на втором курсе техникума.

— Это в ту девочку, чья фотография у тебя на столе?

— У меня в жизни не было другой, Вика. Когда-нибудь, в другой раз, я расскажу тебе о ней, о Тамаре. А теперь я, пожалуй, пойду. Светлеет уже...

Вика протестующе подняла руку.

— Да нет, еще совсем рано... Разве можно спать в новогоднюю ночь?!

Фалин усмехнулся:

— Спать, может, и не придется... — Он помолчал. — Вика... Вика... да ты лучше взглядишь в меня. Такой ли человек тебе нужен? Ты права, лучше всего я разбираюсь в бетоне, железобетоне, стальных конструкциях, и это меня очень интересует. И сегодня, и завтра, и через десять лет я буду уходить рано, приходиться поздно и прихватывать на ночь домой чертежи и сметы. А если сегодня мы живем и работаем в городе, то завтра это может быть палатка или барак, где угодно — в степи, пустыне, тайге, даже в зоне вечной мерзлоты — там, где будет стройка мне по душе. А зачем все это тебе? Я ведь вижу, тебе в тягость даже Павлодар, а ведь это — город. Я мало читаю, не смотрю телевизор, совсем не хожу в театр, и тебе, наверное, меня жаль, думаешь: вот, заела работа человека. Но если бы у меня в сутках было еще двадцать четыре часа, я бы и их отдал делу. Потому что для меня строить — все равно что другому писать музыку, сочинять стихи. Я занят своим делом, а дело, которое ты знаешь и любишь, никогда не в тягость.

Сейчас много развелось знающих дилетантов — просто не перечесать! Все-то они знают, обо всем наслышаны, а коснись конкретного дела — пшик один. А я строю, понимая, что делаю жизненно необходимое дело. И эта уверенность будет гнать меня с одной важной стройки на другую. Но зачем тебе-то цыганская жизнь, ведь ты мечтаешь совсем о другом. Так что, не печалься, Вика. Ты красивая, добрая и, как говорят мои



коллеги, хозяйственная. У тебя все еще будет прекрасно. А мы останемся с тобой добрыми друзьями, хорошими соседями. — И, поцеловав ее в щеку, он ушел...

Через полгода Фалина неожиданно перевели на реконструкцию одного из уральских заводов. Уезжая, он подарил Кораблевой телевизор. Как и обещал, рассказал ей грустную историю любви к девушке, чья фотография стояла у него на столе. Казалось, их пути разошлись навсегда. Однако это он так считал. Уязвленное самолюбие Кораблевой не давало ей покоя, и она не оставила своих планов. Для начала стала писать такие трогательные письма, что порой ей самой казалось: она безумно влюблена в Фалина, которого теперь иначе как Сашенькой и не называла. Она не забывала поздравлять его с праздниками, прислала на его день рождения только входившие в моду плоские часы «Полет» с перламутровым циферблатом.

Фалин, никогда не знавший такого внимания к собственной персоне, даже растерялся. Но самый большой сюрприз Вика преподнесла Фалину на Новый год — приехала к нему на праздники. Новый год встретили они вместе. И снова Вика объяснялась ему в любви. Говорила, что нет ей без него жизни. Твердила, что они коллеги, и лучше, чем она, никто не поймет его, уверяла, что согласна ехать с ним хоть на край света, жить в любых условиях. А самое главное, она понимает, как свята, как глубока бывает первая любовь, и обещала никогда не корить его за это и всегда считаться с ней.

Два дня Фалин отговаривал ее, уверял, что это пройдет. Сказал даже, что у Тамары, хоть сын учится уже во втором классе, неладно с мужем, и, может быть, скоро она решится оставить его. Но он плохо знал Вику. Оказывается, Кораблева была готова и к этому. Как последний аргумент она протянула ему конверт.

Увидев в руках Вики письмо Тамары, Фалин был сражен.

«Сашенька, дорогой, — писала Тамара, — я очень рада, что в тебя влюбилась такая милая, славная и очень красивая девушка. Мы с ней вместе провели два приятных дня, приятных тем, что они были заполнены разговорами — воспоминаниями о тебе. Вика рассказала мне о тебе нынешнем, известном инженере, а я вспоминала нашу юность, молодость, сорок четвертую школу и наш далекий, засыпаемый по весне тополиным пухом



город. Я так была тронута тем, что ты верен той первой нашей школьной любви! Это ведь редкость теперь. Признаюсь еще, все эти трудные годы сознание того, что ты меня любишь, помнишь, несмотря ни на что, давало мне силы жить. Спасибо тебе за это, спасибо за все. Мне грустно, что мы расстались. Но кто знает, были бы мы счастливы вместе? О жизни моей ты знаешь, перемен особых, тем более к лучшему, нет. Наверное, мне давно следовало бы решиться на развод, но ведь у нас сын, и пусть он хоть немного подрастет, чтобы понять все и не обвинять меня, что я лишила его отца. Я думаю, эта девушка, чей визит ко мне — уже благородство, будет тебе хорошей женой. Прости, Саша. И желаю вам счастья.

Тамара»

— За этим ты ездила во Львов? — спросил Фалин.

— Нет, не за этим. Сначала мне просто хотелось увидеть женщину, которую так любят. А когда увидела, не смогла удержаться, рассказала обо всем. Письмо она написала сама. Я об этом ее не просила. Если ты не веришь мне, то ей-то поверь...

Восьмого марта они сыграли свадьбу. Это был тот подарок, которым Вика предлагала ответить ему в ночь под Новый год. Он вспоминал потом об этом часто и усмехался в душе.

Весь тот год они жили в чистом, опрятном уральском городке в хорошей двухкомнатной квартире. Объем выпускаемой продукции заводу не снижали, несмотря на реконструкцию, и потому Фалин разве что не ночевал на работе. Привыкший к холостяцкой жизни, он был благодарен Вике за уют, тепло, которые всегда ждали его дома. Фалину казалось, что семейная жизнь его течет нормально. Реконструкция подходила к концу, и хотя Фалину предлагали немало мест, он искал стройку поинтереснее. Иногда за ужином они говорили с Викой, куда можно было бы поехать на работу. Но если он называл место где-нибудь вдали от больших городов, жена только подергивала плечами и фыркала. Она все чаще заводила разговор, что пора бы Фалину добиться должности главного инженера треста. А там, смотришь, года через три-четыре перебраться в министерство, в Москву. Александр Михайлович такие разговоры не принимал всерьез, отделялся шуточками, да и Вика, что называется, не перегибала палки. Она считала, со временем все равно будет так, как она решила однажды в Павлодаре,



ведь сумела же она выйти за него замуж, а всего остального добиться гораздо проще.

Решение Фалина поехать в Таджикистан, на Вахшскую ГЭС, стройку уникальную по своим масштабам и чрезвычайно смелую по инженерному замыслу, Вика встретила в штыки, не обошлось и без слез, но поехать она все-таки поехала. Стоял конец июня, время саратана, самого жаркого периода в Средней Азии. Нурек, тогда еще маленький, пыльный поселок, после зеленого, прохладного уральского городка расстроил Вику донельзя. Выделили им для начала комнатку в вагончике, железная крыша которого за день так накалялась, что дышать в комнате было нечем, даже долгожданная ночь не приносила ощутимой прохлады.

Фалин, уже увлекшийся новой работой, не замечал ни жары, ни мелких неудобств, но Вику раздражало все: и пыль, и жара, и примус, на котором она никак не могла приноровиться готовить, а особенно — жилье без элементарных удобств. Однажды с ней случился солнечный удар, а может, просто перегрелась на солнце, но с этого дня она заладила: мне здесь не подходит климат, нам нужно уезжать. Фалин понимал, что Вика мается от непривычной жары, неудобств, без квартиры, где она могла бы создавать уют, а управление уже заканчивало монтаж пятиэтажного дома, где ему обещали к осени жилье, и потому он решил: пусть отдохнет месяц-другой у моря, а к осени и жара спадет, и дом сдадут к ее приезду, и все решится само собой. Эта перспектива большой радости у Вики не вызвала, но уехать подальше от жары она согласилась. На работе Фалину пошли навстречу: достали горящую путевку в Ялту, и Вика отбыла к морю.

Дней через двадцать Фалину выпала срочная командировка в Москву, в проектный институт: обнаружилась неувязка в чертежах, и следовало согласовать вопросы на месте. В проектном институте претензии строителей приняли безоговорочно, и вопрос был решён на три дня раньше, чем предполагало руководство стройки, да и сам Фалин. И тут, в Москве, как только он получил необходимые чертежи и сметы, ему пришла в голову мысль хоть на денек слетать в Ялту, проведать жену. Разлучились они со дня свадьбы впервые, и, по правде говоря, он очень скучал. Даже сам удивлялся, никогда не предполагал



в себе такого. В тот же день, поздно вечером, он вылетел в Симферополь.

Далеко за полночь добрался на такси до Ялты и разыскал санаторий, где отдыхала жена. Справившись внизу у дежурной, где живет Фалина, предъявил паспорт со штампом регистрации и поднялся на второй этаж. Телеграммы он нарочно не дал: хотел сделать сюрприз молодой жене. Постучал раз, другой — дверь не открывали. Фалин, решив, что жена крепко заснула, постучал сильнее, настойчивее.

Раздался совсем не сонный, звонкий голос жены:

— Сейчас открою, Мария Михайловна.

Щелкнул замок, но дверь открыть Фалину пришлось самому. У распахнутого окна застыл сконфуженный мужчина, а Вика, в знакомом ему голубом пеньюаре, стоя спиной к двери, с насмешкой выговаривала ему:

— Трус вы, оказывается, Зурабчик. Побоялись прыгнуть со второго этажа ради покоя дамы, а теперь у меня будут неприятности с дежурной...

Мужчина вдруг улыбнулся и радостно поднял руки в знак примирения.

— Вика, прелесть моя, это вовсе не дежурная, а такой же мужчина, как и я, только он номером ошибся. Верно я говорю?..

Вика резко обернулась. Фалин швырнул на мятую постель цветы и подарки и, не сказав ни слова, вышел. Семейная эпопея его на этом закончилась...

За свою жизнь Фалину пришлось работать в разных краях, и у него выработалось одно бесценное качество: ему не нужно было времени, чтобы приспособиться к северному или южному климату, а тем более к новым обстоятельствам.

Когда начиналась настоящая работа, для него переставали существовать бытовые неурядицы, а на особенности климата, будь-то проливные дожди Кондопоги, жара Таджикистана, пыльные смерчи Хорезма или холод Заполярья, он просто не обращал внимания, если, конечно, это не мешало производству. То же было и с работой: трех дней ему вполне хватало, чтобы познакомиться с проектами и финансовой документацией, а объехав раз объекты и ремонтные мастерские, он почти наверняка уже знал, кто из коллег на что способен. И в дальнейшем, как правило, всегда подтверждалось первоначальное



впечатление. Воспитательной работой, увещеваниями и разносами в коллективе он никогда не занимался, но умел организовывать работу так, что нерадивым людям — тем, про которых обычно говорят: человек не на своем месте, — работать с Фалиным становилось невозможно. Таких он не уговаривал остаться, хотя на любой стройке всегда не хватало людей.

Когда Фалин учился в техникуме и позже, когда заочно одолел политехнический институт, встречал он много толковых ребят, и не раз они мечтали: вот бы поработать вместе, потому что были единомышленниками и, казалось тогда, могли горы своротить. И всякий раз, когда Фалин писал статью в технический журнал или описывал рационализаторское предложение в информационном бюллетене, он ждал: а ну, да откликнется кто-нибудь из сокурсников и приедет работать к нему или пригласит к себе. Это ожидание письма-восточки после каждой публикации долго жило в нем, пока однажды, переезжая на новое место службы, он не попал в купе с одним пожилым человеком, оказавшимся писателем. Как водится, разговорились, и когда Фалин посетовал на то, что не откликаются вот друзья-коллеги, писатель с улыбкой сказал: «Голубчик, да я написал десятки книг, по моим произведениям поставлены радиоспектакли, сняты фильмы, пьесы идут, но за всю свою долгую жизнь я не получал писем ни от однокашников, ни от товарищей, которых растерял в молодые годы. Конечно, как и всякий писатель, я получаю письма от читателей, но совсем не так много, как рассказывают мои коллеги, и если быть откровенным, это не те письма, которых я ждал, не о том и не от тех. В каждом письме я надеялся, как и вы, услышать голос из детства, юности, молодости, наконец, но вот проходит жизнь, а такого письма я еще не получил. Не получил восточки и от той, на воспоминаниях о которой держится каждая лирическая строка моих книг, а вы хотите найти друзей по публикациям в специальных журналах. Это же чистейший абсурд».

Не тратил времени на раскачку Фалин и в новом управлении... Хотя золотодобывающих фабрик он не строил, а маржанбулакская принципиально отличалась от тех, что он видел на Колыме и в Якутии, но, ознакомившись с чертежами, Фалин



нашел сходство с обогащительными фабриками цветных металлов, а такие строить ему уже довелось. Каждый день приходилось наезжать в Джизак: совещания в тресте, заседания, согласования с заказчиками — все это отнимало драгоценное время. Конечно, без всего этого, пока стройка не наберет темпы, никак не обойтись, но даже с таким лихим шофером, как Азиз, много времени уходило на дорогу: путь неблизкий, да и дорога разбита и запружена машинами, особенно не разгонишься. Через неделю на разборе дел в обкоме партии Фалин попросил слова и произнес неожиданную речь:

— Проблем — тьма-тьмущая, но сроки пуска фабрики обсуждению не подлежат, по-моему, с этим согласны все. Я, как и мои коллеги, считаю сроки вполне реальными и думаю: если стройка наберет заданный темп, мы дадим стране маржанбулакское золото даже раньше. Прекрасно, что нам ни в чем не отказывают, мы можем рассчитывать на любую помощь и содействие. Но время отсрочить никто не вправе, поэтому время надо беречь. Нас в Маржанбулаке — двадцать строительных организаций, а трест наш — в Джизаке, и нам почти каждый день приходится бывать здесь. Посчитайте: два часа сюда, два обратно — и половины рабочего дня как не бывало, а если два совещания, то и день как корова языком слизала. Вот я и прошу четко определить: если совещание действительно важное, пусть оно проходит на месте, в Маржанбулаке. Это поможет нам сэкономить драгоценное время, которое мы урываем у стройки. Есть и другая проблема: заказчик «Узбекзолото» находится в Ташкенте, там же проектные институты и «Стройбанк», поэтому руководителям часто придется наведываться и в столицу, тут уж куда не денешься. Поэтому от имени моих коллег, хоть они меня и не уполномочивали, прошу обком выделить для строителей золоторудного комбината два вертолета. Имея вертолет, я и мои коллеги выиграли бы самое ценное в данной ситуации — время. Двадцать минут до Джизака, час-полтора — до Ташкента.

Не успел он закончить, как в зале зашумели, заговорили все разом, раздались смешки, а кто-то громко подал реплику:

— Вот молодежь! Скоро они самолет потребуют.

Фалин, не успевший сесть, не удержался от ответа:

— Самолет у меня на прежней работе уже был...



Это вновь вызвало оживление в зале.

Все ждали, что секретарь обкома осадит делового «мечтателя», но тот вдруг, улыбнувшись, сказал:

— А что, дело говорит молодой инженер. Неделю как пришел в управление, а вот по-своему уже решает проблему. От заседаний и совещаний, к сожалению, никуда не денешься, но как сберечь время, он продумал верно. Может быть, и мне придется воспользоваться вертолетом, ведь с меня не только за комбинат спрашивают, а и за скот, и за хлопок, и за новый Джизак не меньше. Так хоть почаще смогу бывать у вас... Выездные совещания тоже неплохая идея. Спасибо, Александр Михайлович. А вертолет у вас будет...

Соседи Фалина, как и предсказывал Азиз, оказались людьми степенными. По-русски говорили не так бойко, как его шофер, но для беседы за пиалой зеленого чая словарного запаса вполне хватало. А ужины, которые для Фалина чаще всего оказывались и обедами, затягивались до полуночи, к этому времени жара спадала и ветерок до рассвета нес живительную прохладу. Чаевничая, они обсуждали многое, но чаще всего говорили о комбинате. Фалин, отправляясь на стройку в джизакской степи, знал, что больших проблем с кадрами у него не будет, разве что высококвалифицированных монтажников, высотников и наладчиков найти непросто, но таких специалистов и в столицах пойдти поищи. А кадры в Узбекистане есть свои, коренные, потому что нет там покинутых деревень, не стоят немым укором дома с заколоченными окнами. Молодежь охотно остается в селе, не рвется неведомо куда из родных краев. И лишние рабочие руки в окрестных кишлаках найдутся, ведь пришла на узбекские поля мощная техника, и три четверти хлопка уже сейчас убирают комбайнами. Знал он и то, что люди охотно пойдут на стройку в глубинке, потому что работающие здесь будут иметь доступ к стройматериалам. А в Узбекистане любят строиться. Сын только в школу пошел, а ему уже потихоньку начинают возводить дом — хорошая, привязывающая к земле, к отчему краю, традиция.

Дней через десять после того, как Фалин принял дела, участковый милиционер из соседнего кишлака доложил ему, что про- раб Файзиев продал машину цемента своему односельчанину, рабочему со стройки. Фалин пообещал разобраться, и вечером,



на планерке, закончив обсуждение вопросов, он попросил всех задержаться еще минут на десять.

— У меня есть данные, что один наш прораб продал нашему же рабочему машину цемента, — сказал Фалин в напряженной тишине. — Известна и сумма, полученная за это. В таком маленьком местечке трудно что-либо утаить. Дело по составу — уголовное, а по сути своей — мерзкое. Какие же вы руководители, если своим же рабочим сбываете краденое? Я знаю, многие пришли на комбинат в надежде, что появится возможность доставать стройматериалы для собственного дома... Думаю, что такую возможность мы изыщем, но только для тех, кто пришел по-настоящему работать, а не воровать дефицитные материалы. Да, у прорабов всегда есть возможность придержать излишки материалов, и некоторые этим пользуются. Но у нас будет иная форма списания и иная форма поощрения за экономию материалов... Мы с начальником производственного отдела уже готовим положение на этот счет.

Хотите хорошо зарабатывать — зарабатывайте, я только поддержу вас. Не дело, когда подсобный рабочий получает больше инженера, авторитета у такого руководителя не прибавится. Вы спросите, как? Отвечу. На каждой своей работе я, например, кроме должностного оклада и премиальных, получал почти столько же, а иногда и больше, за рацпредложения, изобретения, за внедрение чужих предложений, наконец. Рационализаторские предложения не влияют на фонд заработной платы и оплачиваются по определенной статье, так что — творите, дерзайте, зарабатывайте. От этого наше общее дело только выиграет. Есть еще способ, от которого выиграете и вы, и дело: я имею в виду обучение. Хотя обучение и оплачивается дополнительно, оно входит в ваши должностные обязанности, и я за это буду спрашивать строго. С кадрами, я знаю, особых проблем нет, но беда в том, что пока это мало-квалифицированные люди, и средний разряд по управлению просто называть стыдно. К тому же, появившись в такой бригаде один-два человека с высшим разрядом, будут они получать почти вдвое больше, чем другие, или, как выражаются рабочие, будут снимать сливки, а это, естественно, вызовет в коллективе протесты. Поскольку рабочие приходят к нам из деревни, вернее, из кишлака и они больше знакомы с сельским хозяйством,



чем со строительством, прямая обязанность каждого мастера, прораба, инженера — вести с ними постоянные теоретические и практические занятия.

Академических знаний от рабочих никто не требует, но знать свойства основных материалов, порядок хранения и складирования, погрузки и разгрузки, уметь пользоваться электрическим инструментом и малой механизацией они должны, а научить их этому — ваша обязанность. Бригады у нас в основном комплексные, мы постоянно будем иметь дело с башенными и автомобильными кранами, поэтому необходимо во избежание простоев и несчастных случаев, чтобы все, без исключения, рабочие прошли еще и обучение по строповке и перемещению грузов кранами...

Такие вот задачи стоят перед нами, товарищи инженеры. И они же — варианты вашего дополнительного заработка. А за сбытые на сторону стройматериалы буду спрашивать строго — вплоть до суда...

У меня на сегодня все, и я надеюсь, что визит участкового в наше управление больше не повторится...

На следующий день на всех участках стройки рабочие оживленно обсуждали необычное выступление главного на планерке. Мнения на этот счет были разные, и потому все с нетерпением ждали, что скажет главный на профсоюзном собрании, которое должно было состояться сегодня.

Когда закончилась официальная часть, и был назван состав местного комитета, приступили к прениям. Фалин, выслушав несколько выступлений, попросил слова.

— Товарищи, — начал он, — я внимательно прочитал заявления, написанные в адрес администрации за последние полгода, слушал острые выступления рабочих, беседовал уже со многими из вас, особенно с бригадирами, на чью помощь очень рассчитываю в работе. Все ваши заявления, выступления, разговоры об одном — как будем работать дальше? Не скрою, мне нравится, что наше профсоюзное собрание ведет разговор по большому счету: о главном, о работе. О том, что у нас еще множество неполадок и в работе, и в быту, мы знаем и, по возможности, будем улучшать быт и налаживать ритмичную работу. Какой комбинат строим, вы знаете не хуже меня, и об этом говорить не стоит. Металл, который мы с вами дадим



стране, называют благородным, он не ржавеет, не подвластен времени. Хотелось, чтоб и мы с вами на стройке стали чище, благороднее, не ржавели на глазах...

Несколько лет назад я работал в Казахстане, строил там тракторный завод. А еще раньше, в конце пятидесятых годов, там построили металлургический комбинат, и неподалеку от него вырос красивый поселок частных домов с очень некрасивым названием — Вор-город. К чему я это говорю? Да к тому, что вы все ждете от меня, когда я скажу о строительных материалах. Я знаю, и это секрет только для человека равнодушного, что большинство из вас пришло на стройку, чтобы получить строительную профессию и иметь возможность доставать любым способом материалы для личного строительства. — Он сделал паузу, оглядел притихших людей, увидел заинтересованные глаза... — Я не вижу в этом ничего плохого, даже приветствую людей, отважившихся на такое трудное дело. Дом построить — не у каждого духу хватит, сейчас больше предпочитают у телевизоров время проводить. Но... стройка только начинается, а некоторые уже спешат обзавестись материалом, и обзавестись путем нечестным — либо воруют сами, либо покупают краденое. Этому надо положить конец...

Помогать частным застройщикам мы будем, и в первую очередь тем, кто хорошо трудится. Это и будет одна из главных форм поощрения. Вы спросите у меня, откуда же я возьму материалы, чтобы дать их вам? Отвечу. Вот, например... Всем вам нужен цемент, без него дома не построишь. Вы знаете, что грузы прибывают на станцию Богарное, знаете, что разгрузка цемента — дело трудоемкое, вагоны часто простаивают, из за этого управление выплачивает огромные штрафы. Цемент к нам поступает свой, узбекский, из Ахангарана, и у нас есть возможность договориться, чтобы подавали его с субботы на воскресенье. Так вот, кто будет принимать участие по воскресеньям в разгрузке и не забудет, что цемент следует беречь, получит его в первую очередь — причем по государственной, а не по коммерческой цене. Наверное, особо отличившимся даже будем доставлять и по кишлакам нашим транспортом. Оплата за разгрузку любых грузов на станции будет аккордно-премиальной, по отдельным нарядам, так что, у кого есть возможность, приглашайте трудоспособных родственников.



То же самое с кирпичом: чем меньше он будет биться, тем больше будет попадать его в ваш фонд...

Далее... Много пиломатериалов будет уходить на опалубку. Чем бережнее, аккуратнее вы будете обращаться с ней, тем больше после списания получите леса; в частном строительстве любая доска согодится, а на опалубку пойдет отборная пятидесятка... Вот такой у нас резерв, товарищи... Тогда, я думаю, к прекрасным кишлакам вокруг Маржанбулака не прилипнет оскорбительное название, которое я и повторять не хочу, — закончил Фалин под аплодисменты свое выступление.

Собрание всколыхнулось. Один за другим поднимались рабочие, инженеры... В некоторых выступлениях высказывались такие интересные, дельные предложения, что многоопытный Фалин не успевал записывать себе в блокнот. Закончили к ночи, и даже разойдясь по баракам и вагончикам, люди продолжали обсуждать неожиданное предложение нового инженера.

Стройка с каждым днем ширилась, двух вертолетов комбинату стало не хватать — дали третий, более вместительный и комфортабельный. Он каждый день с утра вылетал в Ташкент и к вечеру возвращался, а два других сновали между Джизаком и Маржанбулаком.

Фалина, хотя и был он самым молодым главным инженером на комбинате, признали сразу: в каждом вертолете у него было персональное место, его так и называли — «фалинское». Частые совместные полеты в Джизак и Ташкент по-своему определили отношения руководителей между собой, они, в разной степени, но сдружились, понимали один другого, и на планерках редко когда спорили, да и то только по принципиальным вопросам, а мелкие утрясали меж собой. Да и сами планерки проходили вдвое быстрее, чем обычно: в дороге они успевали обсудить часть проблем, согласовать мнения.

К концу года Фалин первым в тресте ликвидировал огромный перерасход фонда заработной платы — тяжелое наследство, доставшееся ему от прежнего коллеги, — и даже получил некоторую экономию. Фалин считал, что по-настоящему стройка начнется только тогда, когда объем и ритм позволят работать в две-три смены, а это время было уже не за горами. К такому «часу пик» следовало подойти без задолженностей, отладив весь производственный процесс.



На планерках в своем управлении он видел, как горячатся его молодые прорабы: «Чего вы хотите от нас, Александр Михайлович? Ежемесячные и квартальные знамена присуждаются нашему управлению, и не похоже, чтобы кто-нибудь мог реально конкурировать с нами. И выработка у нас выше всех, а по новой технике и рационализации мы одни освоили трестовский план. Да что там план! Ведь попасть к нам в управление даже рабочим непросто, хоть конкурс объявляй. Берем только тех, за кого ручаются наши рабочие, да и то им ждать иногда приходится, текучки практически нет». Все это было верно и полностью соответствовало истине, но Фалин умел находить слабые места в делах каждого, указывал на резервы. А самое главное — нацеливал каждого на долгую работу, до самого завершения комбината. «Начинать легко, — говорил он, — все едут с надеждами, принимаются за дело горячо, но не все, бывает, выдерживают до конца. А важно удержать темп, не сбиться, сберечь в коллективе каждого».

На одну из планерок Фалин пригласил табельщицу. Тоненькая, хрупкая девушка Мавлюда, как и большинство рабочих, родом из кишлака Яван, пришла в отдел кадров, когда там был главный. Просилась она в арматурщицы, а инспектор советовала пойти в отделочницы, говорила — там будет легче. Но девушка твердо стояла на своем — только к арматурщикам, она видела в кино, как интересно там работать. Фалину понравилось упорство девушки, он пригласил ее к себе в кабинет. Усадив на диван, стал расспрашивать, чем привлекла ее стройка, почему хочется именно к металлу. Оказалось, что мечтает Мавлюда поступить в политехнический институт, и для этого хотелось бы иметь с места работы справку повесомее, а труд ее, мол, не страшит. Фалин, почувствовав в девушке твердый характер, неожиданно предложил ей... пойти в табельщицы. Он долго объяснял, почему на данный момент считает эту работу особенно важной, и девушка согласилась.

Фалин часто брал Мавлюду с собой на объекты или давал ей машину, но девочку с толстой тетрадкой в руке, вчерашнюю школьницу, никто на стройке не принимал всерьез. Вообще-то, мало где смотрят на табельщиц всерьез, какая там у них работа: поставил крестик — и все дела. Когда же Фалин предоставил Мавлюде слово на планерке, по кабинету пробежал удивленный



шепоток. Но она сделала такое сообщение, что сотрудники были просто ошарашены. Подробный анализ за три месяца по каждому участку и управлению в целом показал, что потери рабочего времени составили около двух тысяч человеко-часов. Да еще Мавлюда, хорошо знавшая почти всех рабочих — кто приходился ей родственником, кто соседом, кто знакомым, — прокомментировала:

— Садыков не вышел в пятницу, потому что водил корову к ветеринару; прораб Файзиев отсутствовал в понедельник — отвозил тещу в Ташкент. А Джураева не было на работе целых два дня: ездил, видите ли, сватать невесту для сына...

Все сорок минут кабинет главного инженера содрогался от смеха. Когда Мавлюда закончила, Фалин поблагодарил ее и продолжил планерку.

— Мавлюда провела тщательный анализ, и сделала это очень своеобразно, но смех смехом, а потеря тысяч часов рабочего времени всего за три месяца должна нас насторожить. Я понимаю: Файзиеву не отвезти тещу в Ташкент никак нельзя, тут свои обычаи, молодого зятя могут упрекнуть в неуважении к родне. Садыкову отвести корову к ветеринару тоже нужно, за него никто этого сделать не может... Всем надо, у всех объективные причины, и я по-человечески всех понимаю, но...

Расскажу вам случай из моей практики... Начинать я мастером на строительстве Чимкентского завода фосфорных солей, мне тогда только восемнадцать после техникума стукнуло. Вот однажды каменщица, труженица, каких мало, говорит: «Сашенька, я завтра и послезавтра на работу не выйду». Я ей отвечаю: «Хорошо, тетя Даша, только, если что, скажите на всякий случай, вам, мол, в ЖЭК или к врачу надо было...» — «Да нет, — отвечает тетя Даша, — никуда мне не надо, с утра посплю подольше, потом стирку затею, а послезавтра уж по магазинам да по базарам схожу». Я удивился: «Как же я вас с работы, мол, отпущу, это ведь явный прогул». А она отвечает: «Поставишь, милок, никуда не денешься», — и достает из кармана тетрадку: завела, говорит, с тех пор как я мастером у них стал.

«Вот, смотри, отпрашивались все, кому не лень: кто на день, кто на полдня, а ты, добрая душа, всех отпускал. Федорова, скажем, которая у тебя чуть ли не целую неделю после обеда



отпрашивалась, живет со мною в одном доме, и я знаю: ни в какой ЖЭК ей не надо — по базарам да по магазинам мотается, а то к моему возвращению стирку развешивает во дворе. Так и большинство других. И, выходит, что теперь — мой черед гулять, чтобы не думали остальные, какая я дура.

Сунула мне тетрадку в руки и ушла. Просмотрел я ее записки — все точно, так оно и было, и если по-честному, пришла пора и ей пару деньков отдохнуть, оплата-то из общего котла.

После такого случая и я завел тетрадку. Отпрашивается кто, говорю: хорошо, я вас отпущу, а эти четыре часа вы отработаете, ведь сколько раз бывает нужно остаться после работы на час-другой, а то и в воскресенье выйти, чтобы к понедельнику другой бригаде фронт работ обеспечить. И как рукой сняло: через месяц у меня уже никто не отпрашивался, да и в бригаде лад появился.

Надеюсь, все уразумели, что Мавлюда сегодня не случайно выступила и историю из личной практики я не просто так рассказал.

Со следующего месяца приступаем к двухсменной работе, и каждый трудовой час должен быть на учете...

Осень в Узбекистане богата свадьбами. Как только отвезут последнюю машину хлопка на хирман, считай, каждую субботу трубят в ночи карнаи. Двух свадеб в одном кишлаке, как бы он велик ни был, одновременно никогда не бывает, потому что на торжество приглашают все село. Люди на стройке работали из всех окрестных кишлаков, и почти не было субботы, когда бы Фалина не пригласили на свадьбу. За всю свою жизнь он не побывал на стольких свадьбах, сколько за одну осень в Маржанбулаке.

Его соседи по вагончику, с кем он и ужинал, и коротал за разговором не часто выпадавшие свободные вечера, люди тактичные, никогда не спрашивали Фалина о семье, хотя он и чувствовал, что им непонятно, как это тридцатилетний человек живет без семьи, без детей...

А ведь сын Тамары, школьник, мог быть его сыном...

На маржанбулакских свадьбах ближе к полуночи, когда ждали прибытия машины с невестой, Фалин вдруг уносился памятью далеко-далеко, в город, запорошенный по весне тополиным пухом, когда приятели называли его Санек, а она,



единственная, — Сашенькой. И прошедшее казалось Фалину таким нереальным, что он вдруг начинал сомневаться: да было ли оно, это удивительное время, да еще с ним, которого теперь за глаза часто называли просто «главный».

И рисовалось Фалину в мареве знойной среднеазиатской ночи заиндевшее узорчатое окошко, и в середине, как в рамке морозных узоров, неправдоподобно красивое оттого девичье смеющееся лицо в мужской заячьей шапке-ушанке, с выбившейся из под нее непокорной прядкой смоляных волос.

Тамара...

Именно такой она всегда вспоминалась ему — той, которая стучалась к нему в окошко пятнадцать лет назад.

Их познакомил бокс.

Стоя в коридоре перед зеркалом, Санек корчил себе рожи, разглядывая безобразный синяк, нагло расцветший чуть не на половине фалинской физиономии и уже наливающийся спелым фиолетовым цветом, как вдруг в зеркале всплыло незнакомое девчоночье лицо в обрамлении тугих завитков темных волос.

— Больно? — неожиданно участливо осведомилось видение, и теплые пальцы чуть коснулись фалинского украшения.

Сашка сперва опешил, но услужливая память тут же поднесла ему чью-то напыщенную фразу:

— А, ерунда. Бокс — спорт мужественных.

Гордо выпяченная грудь послужила иллюстрацией к великому изречению. Видение, прыснув, растаяло, но зато накрепко засело в памяти прикосновение теплых пальчиков и низковатый, чуть с хрипотцой, голосок.

Сколько помнил себя Саша, так ласково и участливо его никто ни о чем не спрашивал, разве что с издевкой. Дело в том, что отца Фалина в родной деревне не любили, даже и по имени, не то что по отчеству редко кто называл. «Куркуль» — это прозвище крепко пристало к Фалину-старшему. Отец был мастером на все руки: и плотничал, и столярничал, и часы, и швейную машинку мог починить, и валенки свалять, и сапоги стачать... А дом у них в Аксае был на загляденье: весь в резных наличниках, крытых по верху краски еще и специальным лаком, чтобы служил дольше и краше было. Свиной они меньше четырех не держали, корова была особой голландской породы, за телочкой от нее весь район охотился, и давала она молока



вдвое больше, чем соседские. Короче, не дом — полная чаша, живи да радуйся. Но не слышно было в нем ни смеха, ни веселья, разговаривали только о деньгах. Работящ, головаст был Михаил Прокофьевич, золотые руки имел, да жадность его все переборола, и застила она глаза на все лучшее, что было в нем, оттого и пристало это ненавистное — Куркуль.

Так получилось, что за отцовские грехи чаще всего приходилось страдать сыну. Хотя и добрый был малый Саша Фалин, всегда делился и пирогом, и дефицитной жилкой для рыбалки, а все равно — Куркуленыш. Пока был мал — терпел, сносил, а класса с пятого дрался чуть ли не каждый день, не разбирал — старше ли, сильнее ли обидчик. Тогда и пристала к нему еще одна кличка — Лютый, потому как дрался зло, люто, умело.

Фалин не любил Аксай так же, как не любили жители его отца, и мечтал как можно скорее вырваться из дома. После семилетки, не спрашивая разрешения родителей, он забрал документы из школы, сел на крышу почтового поезда и поехал поступать в строительный техникум в соседнем городке. Фалину-младшему казалось: уйдет он в город, получит место в общежитии — и забудется унизительная жизнь в Аксае, отомрут ненавистные клички. Но не тут-то было, учился-то в техникуме из поселка не он один. Через полгода в общежитии все знали, какой богатый и жадный у Фалина отец. Все, что он привозил из дома, куда наведывался по воскресеньям (а мать тайком от отца не жалела для единственного сына домашних припасов), съедалось старшими ребятами в первый же день, и вместо благодарности выговаривали еще: чего, мол, мало привез. Не жаль было Фалину съеденного, хотя сам потом перебивался целую неделю с хлеба на воду, обидно было, когда среди недели кто-нибудь, распахивая пустую тумбочку, язвил: «У Куркуленьша не разживешься». Были в общежитии ребята, у которых на дверцах тумбочек висели замки и которые ни с кем посылками не делились, а вот донимали его одного. Снова, как в Аксае, Фалин начал драться, и снова всплыла кличка — Лютый. Он и в секцию бокса записался, чтобы ловчей было расправляться с обидчиками.

Бокс в провинциальном городке, где он учился, был спортом номер один. Чуть ли не в каждом жэковском подвале работали секции бокса, не говоря уже о спортивных залах училищ,



техникумов, заводов. Удивительно, сколько соревнований проводилось тогда за год, и все они собирали множество зрителей. Особенно популярными были соревнования на приз парка культуры. Устраивались они в день открытия парка — были некогда такие долгожданные, после долгой зимы, весенние праздники. Приз был весьма экстравагантный. Победители получали специальный жетон, дающий право ходить бесплатно весь сезон на танцы. А тогда на танцплощадках играли настоящие авангардистские джазовые оркестры, и попасть туда, если заранее не позаботился о билетах, было делом куда как не простым. И, конечно же, жетон, дававший право беспрепятственного входа на манящую танцплощадку, был ценим, как ничто другое. Впрочем, владельцам жетонов редко приходилось предъявлять их при входе: город знал своих кумиров в лицо. И джазисты, лишь слегка уступавшие в популярности боксерам, не отказывали какому-нибудь чемпиону в просьбе повторить взвинтивший зал фокстрот или томное танго, а это уже считалось высшим шиком.

Весной, оканчивая третий курс, Фалин выиграл турнир на открытии парка и в один вечер стал знаменит. Он, мало кому известный спортсмен, выиграл у самого Карима Халиулина, мастера спорта, призера многих соревнований, и вместе с жетоном получил приз самого техничного боксера. Выиграл в трудном бою, уверенно, не оставив боковым судьям никаких сомнений в своей победе.

После соревнований, слегка припудрив ссадины и кровоподтеки на лице, он, впервые пользуясь жетоном, в разгар вечера пришел на танцплощадку. Разговоры на танцах были только о трех раундах, которые безнадежно проиграл непобедимый, казалось, Халиулин. На первый же «белый танец» Фалина пригласила Тамара. Она вновь, как когда-то, коснулась горячей ладошкой ссадины на щеке и спросила: «Больно?»

С этого вечера они стали встречаться каждый день. Жили рядом: пять минут хода от общежития до ее дома с высоким, в четыре ступени, крыльцом. В дни тренировок она часто приходила к окончанию и дожидалась его в маленьком скверике во дворе техникума.

К весне, оканчивая техникум, Фалин уже знал, что получит направление в Чимкент. С Тамарой они, казалось, обговорили



все: за год, пока она окончит школу, Фалин должен постараться получить квартиру или снять комнату. В Чимкенте решили сыграть маленькую свадьбу, там же она собиралась поступать в педагогический институт. Все было решено, предстоял лишь год разлуки.

Провожали Фалина в Чимкент шумно, пришли товарищи по команде, сокурсники, Тамара с подружкой, верные болельщики. Проводами заправлял Халиулин, с которым Саша в последние месяцы как-то сблизился, может, оттого, что Карим стал ухаживать за Эллочкой Богдановой, подружкой Тамары, и они повсюду бывали вместе. Когда объявили, что до отхода поезда осталось пять минут, у Тамары повлажнели глаза, она сказала:

— Сашенька, милый, целый год — это так долго...

В Чимкенте он попал на строительство завода фосфорных солей, стройку важную, и ему сразу выделили отдельную комнату, а будь он женат, наверное, предоставили бы и квартиру, организация оказалась солидной. Работа отнимала у него много времени, о боксе и думать не приходилось, хотя, чтобы получить желанный значок «Мастер спорта», столь популярный в те годы, нужно было выиграть лишь еще одно крупное соревнование.

По вечерам он усиленно готовился в институт, хотел сделать сюрприз Тамаре — уже в этом году поступить на заочное или вечернее отделение местного политехнического.

Она писала ему часто, расспрашивала о городе, где им предстояло жить, радовалась, что с квартирой проблем не будет, радовалась его премиальным, советовала ему без нее для квартиры ничего не покупать, в общем, дело шло к свадьбе, и оставалось подготовить к этому факту родителей.

Незадолго до октябрьских праздников Тамара прислала восторженное письмо. Сообщала, что у них уже зима, залили каток, а в этом году очень модно парное катание, и у нее с Каримом, на зависть всем, получается лучше всех — они такое выделывают на катке, что посмотреть на них по вечерам собирается публика, и городская газета рядом с этюдом о зиме даже поместила их снимок. Писала о том, что сшила красивый костюм для спортивных танцев. Фалина не настораживало, что Тамара часто бывает с Каримом, и что в письмах совсем не упоминалась Эллочка. Но перед самым Новым годом, когда



целую неделю не было долгожданного письма, он получил растерянное послание от Богдановой. Эллочка сообщала, что Карим проводит время с Тамарой не только на катке, а появляется с ней повсюду: в кино, на танцах, на вечеринках, и, похоже, отношения их больше чем приятельские. Она предупреждала — если он не хочет потерять Тамару, пусть бросит все и срочно приезжает.

Новый год был на носу, с начальством о недельном отпуске он договорился давно, и Фалин, не мешкая, выехал. Заснеженный город встретил его предновогодней суетой. Без труда ему удалось устроиться в гостинице, номер оказался просторным, с телефоном, и Фалин подумал, что завтра пригласит в гости Тамару, друзей. Обзвонив старых знакомых, он узнал, что новогодний вечер сегодня встречают у Халиулина.

При появлении Фалина шумное новогоднее веселье моментально стихло, как это бывает почти всегда, если появляется нежданный и нежеланный гость. Приятели Карима уже начали нехорошо переглядываться, когда Халиулин, чтобы разрядить обстановку, объявил, что приглашает всех на улицу — салютовать Новому году ракетами.

— Цветными? — спросили девушки.

Карим кивнул головой и, показывая на полную коробку гильз, сказал, что стрелять может каждый, кто пожелает. Забава всех взбудоражила, тут же бросились одеваться, а самые нетерпеливые вместе с Каримом поспешили на улицу даже без пальто. На какое-то время Фалин с Тамарой остались в комнате одни.

— Тома, милая, уйдем отсюда, прошу тебя, — Фалин держал в своих ладонях ее руки.

Она помолчала, затем высвободила руки и положила ему на плечи.

— Саша, ну зачем ты уехал, у нас все было так здорово.

— Уйдем, Тома, и все будет по-прежнему. Через несколько месяцев мы не расстанемся ни на день. Только наберись чуть чуть терпения. Хочешь, я приеду на Первое мая?

Он обнял ее за плечи и поцеловал. Фалин почувствовал, что сейчас самое время увести Тамару. Торопливо отыскал ее пальто, сапожки. Когда он, как маленькую, одевал ее, вошел Карим.



— Тома, ты уходишь?.. — спросил удивленно.

Она растерянно выронила варежку и, не пытаясь поднять ее, молчала.

Карим поднял варежку и переспросил, уже волнуясь:

— Ты уходишь?..

— Не знаю, — ответила Тамара, и глаза ее повлажнели.

— Успокойся...

Карим хотел усадить девушку в кресло, но Фалин потянул ее к двери.

Уходя, она как-то виновато глянула на хозяина дома.

Карим неожиданно преградил им путь.

— Саня, я не люблю, когда уводят моих гостей, тем более без их согласия.

Фалин попытался оттолкнуть Карима, но тот уже не шутил, и тогда Фалин ударил его, вложив в удар всю свою злость, обиду, отчаяние.

Карим, не ожидавший этого, рухнул на зеркальный паркет. И вдруг Тамара, еще минуту назад ко всему равнодушная, кинулась на Фалина и стала хлестать его по щекам, повторяя в истерике:

— У-у, Лютый, ненавижу тебя, ненавижу...

Карим тяжело поднялся и, глянув на своих мальчиков, ожидавших знака, сказал:

— В своем доме с гостями счеты не свожу. Уходи, Саня...

Окончив школу, Тамара уехала учиться в Оренбург и через полгода неожиданно для всех, а больше всего для Карима, вышла замуж за своего преподавателя.

Преподаватель, красивый, импозантный мужчина, на пятнадцать лет старше Тамары, скрыл, что ранее был дважды женат и что у первой жены растет сын. Бывшие жены донимали молодую семью, и она бы, наверное, распалась, как вдруг муж Тамары по конкурсу получил вакантное место в одном из институтов Львова, и Тамара укатила далеко от отчего дома.

Лет через десять после этого злополучного Нового года у входа в бар гостиницы в Алма—Ате, где он остановился, Фалин столкнулся лицом к лицу со своим бывшим соперником. Карим несколько погрузнел, поседел, но по-прежнему выглядел привлекательным мужчиной. Вечер, начатый в баре, они закончили утром на холостяцкой квартире Карима, теперь



известного алма-атинского архитектора. Всю ночь проговорили о Тамаре, о давних днях в далеком провинциальном городке.

Подвыпивший Карим признавался, что не раз мысленно просил прощения у Фалина, особенно когда у него самого не сложилась семейная жизнь и пришлось расстаться с любимым человеком. За вечер Карим несколько раз повторял заповедь, которую некогда внушала ему бабушка: «Не зарься на чужое. Чужое не принесет счастья...».

Однажды проездом Фалин заехал на денек к своим старикам и по дороге в город встретился с Эллочкой Богдановой, единственной школьной подружкой Тамары. По правде говоря, в располневшей солидной даме Фалин никогда бы не узнал тоненькую девочку, за которой давней весной ухаживал Карим Халиулин. Но та узнала его сразу, окликнула издали. Она искренне обрадовалась встрече, и когда он обронил, что сегодня вечером уезжает, сумела отговорить его и пригласила в гости. Эллочка вышла замуж за одноклассника, в свое время парня не столь заметного, как Карим, но человека надежного, любившего ее, оказывается, чуть ли не с первого класса.

В доме этой удивительно дружной счастливой семьи Фалин провел незабываемый вечер, в чем-то предопределивший его дальнейшую жизнь. Весь вечер они рассматривали школьные фотографии, вспоминали давние проказы, балы, танцы, друзей... Оказалось, что Эллочка все эти годы переписывалась с Тамарой, и та не раз интересовалась у Элочки, как сложилась жизнь Фалина, где он? В письмах она признавалась подруге, что не задалась у нее семейная жизнь, говорила, что виновата перед Фалиным, которого, как подтвердило время, любила. С мужем Тамара жила плохо. Сказывалась разница в возрасте, да и попивал бывший учитель крепко, а выпив, становился брюзгливым и ревнивым до тошноты. Только общая радость — сын — еще связывала двух, по существу, уже чужих друг другу людей.

Благодаря стараниям Элочки они стали переписываться с Тамарой. Фалин даже летал во Львов, просил ее бросить все и уехать к нему вместе с сыном. Тамара тогда сказала: если любишь — жди. Мальчик был очень привязан к отцу, и только



сын удерживал отца от той грани, за которой человек падает в пропасть алкоголизма. Переписка оборвалась, когда Фалин женился на Вике Кораблевой, но и тогда она часто присылала поздравительные открытки.

О разрыве его с Викой Тамара узнала не от Фалина. Вика написала злое, оскорбительное письмо во Львов, и Фалин неожиданно получил большое трогательное послание от Тамары, которое еще больше сблизило их.

Теперь у них с Тamarой, кажется, все было ясно. Сын ее, рослый и не по годам крепкий мальчик, бредил морем и после восьмилетки решил пойти в одесскую мореходку.

Только спустя пятнадцать лет, проведя через столько испытаний, судьба решила свести их вместе.

Зиму Фалин ждал с нетерпением. Именно зимой должны были воплотиться в жизнь замыслы молодого главного инженера.

Комбинату, который будет перерабатывать сотни тонн руды в день для извлечения граммов золота, нужны гигантские хранилища переработанных отходов. И построить такие хранилища, в десятки квадратных километров, дело непростое: нужно перерыть горы земли, опоясать хранилища прочной дамбой, подготовить надежное основание, чтобы не загубить вокруг хлопковые поля, поскольку отходы комбината смертоносны для плодородной земли.

Земляные работы обычно стараются провести летом, но работать в голой степи под открытым небом, когда жара под пятьдесят, а то и больше — сложно. Машины раскаляются — страшно притронуться, пыль стоит сплошной стеной, и через каждые полчаса работы необходим часовой перерыв. А главное, как задует ветер — отсыпаемую землю уносит, словно ее и не было. Почему-то все эти сложности не были учтены ни проектировщиками, ни специалистами.

Фалин, которому уже приходилось работать в суровых условиях, предложил перенести земляные работы на зимний период. Ведь зима в Узбекистане мягкая, недолгая. Он представил техсовету расчеты, схемы рыхления грунта взрывами на тот случай, если зима вдруг окажется суровой. По предположениям Фалина выходило, что за три зимних месяца они могли выполнить объем работ вдвое больше, чем в обычных условиях, весной



и летом. Зимой проще было и отсыпать, и трамбовать дамбу — не уносило ветром сотни кубометров разрыхленной земли.

В управлении приняли его предложение о новой технологии, но в штабе строительства при обкоме партии это вызвало реакцию, похожую на ту, когда он запросил вертолеты. «Земляные работы зимой? Когда есть долгое лето? Не абсурд ли?» — возражали коллеги.

Кроме всего прочего, и заказчики оказались сверхосторожными и наложили запрет на предложение главного. Но Фалин и не думал сдаваться. Нашлись у него единомышленники в Ташкенте, в проектно-институте, дали заключение, что вполне возможно и даже экономически выгодно отсыпать дамбу в зимних условиях. С этим заключением Фалин поехал к секретарю обкома, некогда поддерживавшему его идею с вертолетами.

Специально для секретаря обкома Фалин организовал техсовет, куда пригласил представителей проектного института из Ташкента, а также лучших своих механизаторов, имевших опыт работы с мерзлым грунтом. Фалин утверждал, что риск невелик: если даже они не уложатся в срок, то отстанут от графика строительства не более чем на два-три месяца. Но строительство хранилища идет отдельно и не влияет на возведение комбината, поэтому сроки эти большой роли не играют. Идея увлекла секретаря обкома: что ни говори, а предполагалась двойная производительность на земляных работах, а это сулило миллион рублей экономии и высвобождало так необходимую рабочую силу.

В конце концов, Фалин получил «добро» на эксперимент.

Прежде Александр Михайлович в основном строил промышленные объекты, каждый из которых был по своему уникален. Возводить дома ему не приходилось, да и не было особой тяги: отпугивали однотипность, стандарт и косность в организации столь простого, на его взгляд, строительства. Когда строится промышленный комплекс стоимостью в сотни миллионов рублей, работают до пятнадцати специализированных организаций. Это понятно. Ведь здесь и масштаб, и объемы... Но когда элементарный панельный дом возводит почти столько же организаций, а вырастает он по пословице «у семи няnek дитя без глазу», — этого Фалин понять не мог. И тем приятнее было удивление главного, когда впервые за долгую свою



практику он увидел, что город для золотодобытчиков строится совсем по-иному.

На огромной площади нового города были сначала выполнены все земляные работы: построены дороги, введены на поверхность коммуникации — газ, вода, канализация, телефон, вырыты котлованы всех будущих зданий.

Короче говоря, строители получили идеальную площадку — все под рукой, даже башенные краны не нужно каждый раз демонтировать, проще перегнать по временным путям к новому готовому фундаменту. Такого Фалин прежде не встречал. И на митинг по случаю закладки первого дома на этой удивительной площадке он шел с волнением.

Выступали многие, но больше всего Александра Михайловича поразила речь одного молодого рабочего. В руках он держал какую-то бумажку, наверное, как бывает, заранее подготовленное и согласованное выступление, решил Фалин. Однако, выйдя на трибуну, рабочий сунул шпаргалку в карман, поправил выгоревшие волосы и, волнуясь, сказал:

— Товарищи! Здесь до меня многие говорили о том, каким красивым будет молодой Маржанбулак. Некоторые говорили, что он не уступит тем «голубым городам», о которых слагаются песни. Скажу вам честно: я объездил много этих «голубых городов», именно песни и позвали меня когда-то в дорогу. И скажу прямо: не очень-то удобны и красивы эти города. В одном из них, например, через центр города проходит железная дорога, и как это «удобно» — можете себе представить. Другой, не менее знаменитый город, пересекает наискось мощный сибирский тракт. Ошибки эти исправить уже нельзя. Да и дома там понастроили типовые, и зимой зачастую в квартирах топят «буржуйки». Но главное даже не в этом. Наш город, наверное, будет красивым, начали-то строить по хозяйски. Хочу сказать о другом... Если о нашем городе сложат когда-нибудь песню — а я в это верю, — то главными в ней должны стать слова, что живут здесь золотые люди, люди доброй души, а не просто золотодобытчики. В тридцатые годы мой отец строил новые города, которые назывались соцгородами, потому что предполагали новый быт, новые социальные отношения между людьми. Я хочу, чтобы наш Маржанбулак стал городом коммунистических отношений между людьми. Хочу, чтобы



он был на радость трудящемуся человеку, чтобы не было в нем места блату, бюрократизму, карьеризму. Чтобы не было в нем пьяниц, тунеядцев, людей равнодушных.

Молодой рабочий сошел с трибуны под бурные аплодисменты. Фалин, аплодируя вместе со всеми, подумал: «Вот таких бы побольше в горсовет нового Маржанбулака...»

Так сложилось, что в управлении Фалина работали в основном выходцы из двух кишлаков. С рабочими из поселка Яван он даже занимал вагончик и, что называется, делил кров и пищу.

У мощной строительной организации большие возможности, это поняли прежде всего председатели колхозов, откуда к Фалину шло пополнение. Поначалу председатели заезжали к соседям Фалина по вечерам и за ужином или за пиалой кок-чая заводили при Фалине разговор издали. Есть, мол, под носом бросовая земля, да нет сил самим привести ее в порядок, вот если бы парочку бульдозеров да парочку скреперов пустить туда на недельку... Хорошо бы поставить в мастерские на ремонт несколько машин... Отгонять в город на завод — далеко, долго, да и ремонт нынче делают никудышный, жаловались председатели. Фалин никогда не отказывал в таких просьбах... Зато, если случались перебои с продуктами, снабженцы, зная, кто лучше всех ладит с окрестными колхозами, бежали к Александру Михайловичу. И Фалин звонил председателям, договаривался, вырывая общепит, который клял почти каждый день.

Главный знал, что все его рабочие, кто при машине, в перерыв разъезжаются в разные концы, туда, где можно прилично поесть. Да и сам он с Азизом старался при случае пообедать у Махмуда-ака. Каждый месяц, визируя бумаги на списание горючего, Фалин испытывал мучительные угрызения совести, но вновь, как в Кашкадарье, открыть чайхану на собственный страх и риск не решался.

И все-таки чайхана у него появилась.

Как-то приехал к нему по неотложному делу председатель колхоза из Явана, и Фалин пригласил его пообедать.

Когда они вышли из столовой, председатель шутя покачал головой:

— Бедный Александр Михайлович, с таким питанием, да без хозяйки — пропадешь. Все, с завтрашнего дня беру над тобой шефство, будешь обедать у меня дома.



— Одному-то скучно есть, вот если бы с друзьями, а у меня их вон сколько, — обвел Фалин рукой толпившихся у столовой рабочих, — тогда другое дело, — сощурился лукаво.

— У тебя что, какой-то план имеется? — спросил председатель, за год общения научившийся понимать Александра Михайловича с полуслова.

— Конечно. Не мог бы ты, Кудрат-ака, открыть у нас что-то вроде чайханы? Чтобы обед был как обед: шурпа, плов, шашлык, чай, лепешки. Помещение, котлы, навесы, все, что требуется, я организую за два дня и транспортом обеспечу... Только корми моих людей, как меня собирался, да и колхозу, думаю, лишняя копейка не помешает. Ребята зарабатывают — грех жаловаться.

— Договорились, — коротко заключил Кудрат-ака, а что слово узбекских председателей надежное, Фалин знал.

Зима неожиданно выдалась необычайно суровой. Фалину не раз пришлось прибегать к помощи взрывников с рудника. Часто ломалась техника, он день и ночь пропадал в ремонтных мастерских. На первых порах упал заработок механизаторов, замаячила угроза сорвать план, а это значит — потеря квартальной премии, к которой уже все привыкли.

Но чем труднее приходилось, тем лучше работали люди, потому что доверяли своему главному инженеру, верили в его идею. Фалину не нужно было упрашивать ремонтников остаться во вторую смену, чтобы экскаватор или скрепер, вышедший из строя, утром опять ушел на полигон. Хотя идея отсыпать дамбу зимой принадлежала главному инженеру, в управлении его поддержали, значит, взяли на себя ответственность. На партийном собрании секретаря обкома заверили, что зимой отсыпят дамбу с наименьшими затратами и высвободят на лето технику, так необходимую стройке. Сооружение дамбы обещано было закончить к марту, так и записали в социалистическое обязательство.

По ночам, возвращаясь в вагончик, Фалин видел яркие сполохи электросварки: домостроительный комбинат монтировал дома круглосуточно. Каждые пять дней бригада монтажников сдавала отделочникам четырехэтажный дом, а бригад таких работало двадцать.



Вглядываясь в яркие огоньки, Александр Михайлович с улыбкой думал: может быть, вот сейчас собирают мою квартиру, мой дом, куда приедет Тамара.

Маржанбулак — «жемчужный родник». Ей очень понравилось название города, где они будут жить. Фалин не раз спрашивал старожилов о происхождении поэтического названия местечка. Каждый рассказывал свою историю. Кудрат-ака предполагал, что в горных саях — речушках, где били ледяные родники, сверкала на солнце жемчугом чистая вода. А крупницы золота, попадавшие здесь, добавляли сияния. Рассказывают, что название и навело геологов на мысль внимательно изучить горы вокруг Маржанбулака, и результаты превзошли самые смелые прогнозы.

Весной, когда они отсыпали дамбу в обещанный срок, Фалина приняли в партию. Вручая ему билет, секретарь обкома, давший Александру Михайловичу рекомендацию, сказал:

— Знаю вашу любовь к масштабам, новым проектам и не хотел бы с вами расставаться. Да и вам, наверное, не захочется покидать наши места. Могу предложить по окончании возведения золоторудного комбината любое строительство на выбор. Подумайте... Работы у нас — непочатый край, сами видите...

Вагонный городок, словно цыганский табор, медленно, но шумно снимался с места... Рабочие перебирались на новый строящийся горнорудный комбинат. Рядом с вагончиком Фалина в плотном ряду бытовок появилась брешь — трест монтажников снялся с места первым.

По плану на месте временного городка должна была раскинуться заводская площадь. И отъезжающие старались поскорее освободить место для строителей. Почтальоны безуспешно разыскивали адресатов в таявшем с каждым днем городке.

Однажды, случайно проходя мимо почты, Фалин услышал, как сокрушалась письмоносица...

— Пять телеграмм поступило сегодня, с ног сбилась, разыскивая людей, куда ни пойду, говорят: те вчера выехали, те с утра...

— Может, и для меня у вас что-нибудь есть? — спросил он на всякий случай. — Фалин моя фамилия...



— Знаю, знаю, что вы Фалин, — махнула рукой почтальонша. — А как же, конечно, есть и для вас... Не телеграмма, правда, а письмо...

Он едва не выхватил из ее рук конверт, узнав Тамарин почерк.

Присев от волнения на крылечке, подумал: «Успеет к празднику пуска», — и разорвал конверт.

Письмо было коротким, давно Тамара не писала так лаконично.

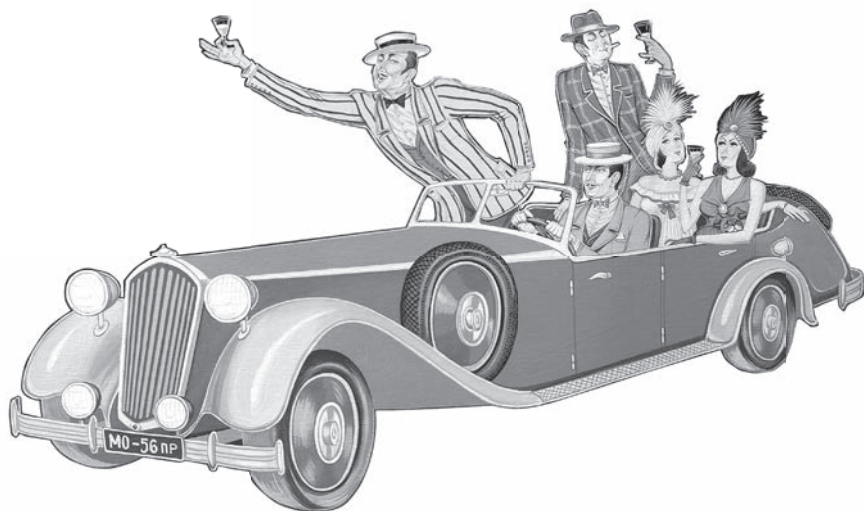
«Саша, дорогой мой!

Я знаю, ты ждешь меня. Наверное, мне суждено приносить тебе горе... Я не приеду...

Рассказала все сыну, иначе не могла... Ведь взрослый, должен понять... Он понял, но ты бы видел его глаза... Просил не оставлять отца, иначе тот пропадет совсем... Он прав... Свой крест мне нести самой. Пойми и прости...

Тамара».

*Коктебель,
1980*







Пьянея звуком голоса, похожего на твой...

Повесть

В Ташкенте июль-август — месяцы особенные, ниже тридцати пяти столбик термометра не опускается, скорее, норовит перепрыгнуть за красную отметку «40», и город изнывает от зноя. Даже ночь не приносит отдохновения. И все же усталому, измотанному жарой человеку в Ташкенте есть где перевести дух — в любой части города найдется спасительная тень в прохладе скверов, парков, сада, фонтана или хауза.

Но Карлен не выискивал тень и сторонился высотных зданий, потому что стены их и алюминиевые солнцезащитные сооружения на окнах с утра так нагревались, что вблизи воздух был накален вдвойне. Эта призрачная тень могла обмануть разве что приезжего, туриста, а Карлен Муртазин жил в этих краях, считай, лет пятнадцать.

На какие-то минуты он вдруг забывал о жаре, потому что мыслями овладевала дамба... дамба, не дававшая покоя ни днем, ни ночью; но стоило отвлечься на секунду, хотя бы на перекрестке, как жара наваливалась всей испепеляющей силой. «Пиалушку бы чая...» — подумал Муртазин, но, оглядевшись вокруг, отбросил эту мысль, в центре города чайханы повывелись.



«К фонтану», — пришла вдруг спасительная идея; он прибавил шагу и уже минут через пять выходил из подземного перехода к каскаду фонтанов на площади Ленина. Живая стена воды высотой метров пятнадцать тянулась из края в край площади. От серебристой пенящейся стены исходила желанная в жару благодатная прохлада, а шум воды перекрывал многоголосье вокруг. Мельчайшая водяная пыль не успевала осесть на водную гладь — солнечные лучи испаряли ее в воздухе. Вокруг хауза, выложенного бирюзовым кафелем, на влажных, розового мрамора плитах сидели люди. Среди них сразу бросались в глаза приезжие и иностранцы. Они весело разглядывали барахтающуюся в воде детвору. Такое, пожалуй, можно увидеть только в Ташкенте.

Карлен бросил на мраморный край хауза потрепанную кожаную папку и, склонившись над водой, с наслаждением окунул голову. Хауз походил скорее на плавательный бассейн, и ближе к фонтанам и уступам, с которых водопадом низвергалась вода, было глубоко, метра три-четыре, и велико было желание сорвать одежду и нырнуть в манящую прохладу.

Позавидовав мальчишкам, ловко и бесстрашно прыгающим с выступов каскада в самую глубину, Карлен уселся на край водоема и закурил. Рядом оживленно разговаривали две женщины, и Муртазин слышал, как они несколько раз восторженно повторяли: «Сорок два!» По их покрасневшимся лицам и прихваченным жгучим солнцем плечам он понял, что они приезжие и, конечно, не из солнечных краев. Потому так радовались они солнцу и воде. Но их высокие и удивительно бодрые голоса, мешавшие Муртазину сосредоточиться, вдруг пропали, едва Карлен вспомнил, как сегодня среди ночи он проснулся в пустой квартире и не мог уже заснуть до утра. Едва он забывался в зыбкой дреме, как снился один и тот же сон. Огромная, четырнадцатикилометровая дамба, словно бесконечный груженный состав, набравший страшную скорость, несется обратно в карьер, а он стоит глубоко внизу на дне котлована, и убежать, скрыться от этой надвигающейся громады невозможно. И каждый раз, когда край дамбы зависал над выработкой и он уже слышал шум ссыпавшегося обратно гравия и галечника, он в страхе вскрикивал и просыпался.



Неожиданно Карлен встрепенулся и торопливо схватил лежавшую рядом папку, словно кто-то собирался ее похитить. Кожаная поверхность раскалилась как жечь, но Муртазин этого не почувствовал.

Даврон Кабулович Кабулов, управляющий трестом «Строймеханизация», только закончил селекторное совещание и смог наконец-то откинуться в кресле. В два больших окна кабинета, выходящих на одну из самых красивых улиц Ташкента, были вмонтированы кондиционеры, и в комнате стояла приятная прохлада. Кабулов, высокий, несколько грузный для своих тридцати пяти лет мужчина, уже заметно поседел, но седина эта и большие, внимательные глаза придавали лицу мягкость, а это, в свою очередь, предполагало спокойный, уравновешенный характер. На столе перед ним лежал информационный журнал шведской фирмы, производящей строительную технику, и он раскрыл его на странице, рассказывающей о машинах для уплотнения грунтов. Рядом со статьей помещалась цветная вкладка. На вкладке, среди ярко раскрашенных машин, в окружении технических экспертов фирмы был заснят и сам Кабулов. Подпись гласила: «Два месяца назад фирма «Дюпанак» продемонстрировала технику в Узбекистане, где ей любезно были предоставлены полигоны треста «Строймеханизация». Сегодня господин Даврон Кабулов, управляющий трестом — гость фирмы «Дюпанак» и ведет переговоры от имени Минстроя СССР о закупке вибрационных катков. Производительность и эффективность таких машин в десять раз выше обычных».

Далее в статье говорилось об огромных строительных работах в Узбекистане. Большие объемы позволяли разработать технологические процессы с редким сочетанием землеройной техники. И приводилась в пример технология разработки и перемещения грунта скреперами средней мощности, названная «кабуловской» — по имени автора. Экономический эффект и сроки разработки в сравнении с обычными методами были поразительными. Фирма сообщала, что в своей практике недооценивала работу скреперов и в данное время ведет переговоры о приобретении лицензии на выпуск машин русского образца. «Хорошие, нужные катки, ох, какие нужные машины», —



подумал Кабулов и убрал журнал со стола подальше от чужих глаз. Сейчас ему не хотелось возвращаться к разговорам о недавней поездке в Швецию. Иные заботы, одна за другой, навалились на него в последние три месяца.

Даврон Кабулович встал из-за стола и прошелся по кабинету. Справа от стола, за которым проводились совещания и планерки, висела подробная карта республики. Практически не было уголка в крае, где бы не стоял башенный кран или не работала землеройная техника его треста. По автострадам, пересекающим республику из края в край, день и ночь всегда находились в пути его восемь мощных «Ураганов», перевозивших крупногабаритную технику, с которыми поддерживалась из диспетчерской постоянная связь. А по ночам по этим же дорогам перегонялись на огромных трейлерах целые поезда негабаритных грузов: башенные и тяжелые краны, экскаваторы, бульдозеры, тракторы. Каждый день пять тысяч механизаторов садились в кабины машин и механизмов, на которых стояла эмблема «Строймеханизации».

Он вернулся к столу и склонился над аппаратурой, вызывающей зависть у многих коллег. Тут же раздался голос диспетчера:

— Слушаю вас, Даврон Кабулович.

— Антонина Михайловна, будьте добры, передайте: в девять провожу планерку в Джизаке. В двенадцать — в Самарканде, пусть главный инженер организует мне встречу с управляющим «Жилстроя», только не позже часа. Надеюсь, вы помните, Антонина Михайловна, по какому вопросу.

— Да, да, я помню и сама на всякий случай свяжусь с «Жилстроем», — ответила диспетчер.

Управляющий ценил эту женщину. Она все помнила и никогда не ошибалась. Он работал с нею уже пятый год, и уже пятый год у них шло невидимое для посторонних азартное соревнование, запомнят ли кто из них о каком-нибудь кране или экскаваторе, застрявшем, скажем, где-то на берегу Каспия, в Муйнаке. Иногда Кабулов думал: если придется уходить на другую работу, возьму с собой прежде всего ее. А пойдет ли, спросить ее об этом пока не представлялось случая.

— Пожалуйста, дальше, Антонина Михайловна. В семнадцать часов — планерка в Карши. Явка обязательна, я хочу



увидеть всех инженерно-технических работников. Передайте Муратову, пусть возьмет в обкоме две брони на последний рейс самолета и найдет шофера, который пригонит машину обратно. Ренат до Карши уже будет выжат окончательно, все-таки шестьсот километров, а машина послезавтра в Ташкенте мне нужна.

— Горячий у вас предстоит денек, на всякий случай общаю метеосводку: в Джизаке сорок, а в Самарканде и Карши — сорок два, так что счастливой дороги, — пожелала напоследок диспетчер. Она-то знала, что в дороге Кабулов будет подменять Рената, а на то, как ездит управляющий «Строймеханизации», махнула рукой вся республиканская автоинспекция. Переговорив с диспетчером, он нажал другую кнопку, и тотчас ответил его шофер:

— Слушаю, шеф.

— Ренат, я изменил планы на завтра. Предупреди дома, что вернешься поздно, да захвати паспорт, возвратимся обратно самолетом. А машину за ночь перегонят в Ташкент. Выезжаем в шесть тридцать, не читай до полуночи.

— Яхши, шеф.

Кабулов часто принимал неожиданные решения, к этому привыкли. Впрочем, кто глубоко вникал в суть строительных работ, знает, что там возможны любые неожиданности, начиная от плана и кончая снабжением. Такие дальние визиты, когда он за день пересекал республику из конца в конец, он любил. Ведь, сидя в кабинете, даже имея селекторную связь со всеми областями, принять единственно верное решение не всегда возможно.

Иногда он проводил утром планерку в тресте и вылетал в Нукус, оттуда, прихватив любую машину из управления, заезжал в Ургенч, Бухару, Коканд. Этот маршрут занимал у него два дня. Всего таких маршрутов, выверенных по часам, привязанных по расписанию к самолетам, поездам, у него было четыре. Он любил дорогу, быструю езду, стремительная скорость словно придавала ускорение мыслям. В машине он зачастую принимал наиболее важные решения. Вот и сейчас, надумав объехать три управления, где накопились дела, требовавшие его вмешательства, он прежде всего рассчитывал, что дорога, возможно, подскажет какое-то решение о дамбе.



К тому же, он хотел таким образом избавиться от неприятного осадка после вчерашнего разговора в горкоме партии. После горкома в трест возвращаться было поздно, и он пошел пешком, через центр. Пять лет он жил в Ташкенте, но знал его плохо, из окна машины, а память его о давнем Ташкенте, городе его студенческих времен, теперь годилась мало. Это был совершенно иной город. И, как сказал однажды союзный министр, — роскошный. Да, здания впечатляли не только архитектурой, они поражали отделкой. Все построено с размахом, со вкусом, щедро, обилие зелени, парков, скверов и воды. Возле двадцатипятиэтажной, розового мрамора гостиницы «Узбекистан», у фонтана, в хаузе еще купались дети, во внутреннем дворе гостиницы, похожем на патио, было людно, там работали на воздухе чайханы и шашлычные, а у внутреннего фонтана (о, восточная страсть к фонтанам!) стояли разноцветные столики. Издали мерцали огни многочисленных жаровен, и вокруг стлался запах жареного мяса, специй. Запах раскаленного угля на миг напомнил Кабулову запах паровозов его детства, и он свернул к разноцветным столикам. У бара никого не было. Наблюдая, как ловко бармен сбивает ему коктейль, Кабулов отметил, что никогда бы не подумал, что в Ташкенте есть бары, ничуть не уступающие тем, что он видел в Италии или Швейцарии. Тот же стереомагнитофон, красное дерево стойки, сияющая хромом и никелем кофеварка «Эспрессо», искрящийся парад разнокалиберных хрустальных бокалов, рюмок, креманок и ряды, ряды напитков в ярких и красочных бутылках. И Кабулов, к которому вдруг начало возвращаться хорошее настроение, с улыбкой подумал: каждому свое — кто-то знает о каждом новом баре в Ташкенте, а кто-то — о каждом заводе, каждом жилом массиве в Узбекистане. Заняв ярко-красный пластиковый столик, до которого долетала мелкая водяная пыль фонтана, он огляделся. В баре народу пока было маловато, зато у шашлычных мангалов стояла очередь. Люди, постепенно занимавшие столики вокруг фонтана, были нарядно одеты, не суетились, возможно, это было их любимым местом времяпрепровождения, а может, они были отпускники и жили в этой уходящей в вечернее небо гостинице?

«Может быть, взять отпуск в августе?» — подумал вдруг Кабулов. Институтские заботы после разговора в горкоме



с него снимались. Можно было завтра же переговорить с министром и «дикарем» укатить на море, грузинские коллеги как-нибудь организовали бы гостиницу в Гаграх или Пицунде. Наверное, не отказал бы министр Кабулову, тем более что в конце года предстояло сдать немало пусковых объектов. Но держала дамба. Дела по ней он не мог, да и не хотел перепоручать никому другому.

Сразу же, как только он стал управляющим, его родной институт обратился в трест за помощью. Кабулов, конечно, помог.

Оснащением кабинетов контакты с институтом не ограничились: зная, что трест располагает мощной технической базой и огромными материальными возможностями, а, главное, интересными кадрами, институт часто обращался к Кабулову.

Со временем студенты получили доступ на полигоны треста, а специалисты треста стали консультантами многих дипломных работ. Главный механик по гидравлике даже был приглашен читать курс на вечернем отделении. Да и сам Кабулов два-три раза в год по просьбе студентов читал лекции по земляным работам. Выгода здесь была обоюдной: группа АСУ треста пользовалась вычислительной техникой института, куда более мощной, чем трестовская, или даже могла попросить кафедру обсчитать какие-то экстренные материалы. Можно было, сэкономив время, отдать на сравнительный анализ несколько вариантов одного проекта. А главное, сам Кабулов и специалисты, соприкасавшиеся с институтом, примечали толковых студентов, особенно приехавших из областей, чтобы заполучить их в свои управления. Охотно брали способных ребят на летнюю и преддипломную практику. Это был инженерный резерв треста, выручавший в напряженные летние месяцы, и к практикантам относились серьезно. Поэтому ни для кого не оказалось неожиданным, что Даврон Кабулов стал председателем мандатной комиссии на приемных экзаменах.

Нынешний год, уже в третий раз, Кабулов готовился к приемным экзаменам, столь важным не только в жизни абитуриентов, но важным и для него самого, ведь он отбирал тех, с кем ему еще работать и работать.

На коллегии Минстроя, приветствуя его назначение председателем мандатной комиссии института, министр выразил надежду, что Кабулов будет достойно представлять интересы



всех присутствующих на коллегии, а интерес у управляющих один: получить знающего, толкового инженера, готового работать и в Каршинской, и в Джизакской степи, инженера, на которого можно положиться, который не сбежит, не подведет, сплотит вокруг себя людей.

Даврон Кабулович видел, насколько всерьез, заинтересованно относятся коллеги к его общественной работе. Кабулов уже привык, что стоило ему появиться в компании, и даже самый интересный разговор о футбольных проблемах «Пахтакора» уступал место проблемам высшей школы. А в областях иной управляющий говорил Кабулову укоризненно: «Кого вы готовите!» — словно Даврон Кабулович был ректором политехнического. И тут же перечислялось, сколько выпускников, не отработав и года, попросту сбежали, оставив трудовые книжки, бросив на произвол судьбы объект, материальные ценности. Да и многие выпускники, прибывающие по направлению, начинают с первого дня требовать: дай ему квартиру, дай ему ясли, одно только дай, дай... А сам в командировку не может, во вторую смену не хочет, на планерке после шести глаз от двери не оторвет, на общественные дела времени, разумеется, у него нет, в воскресенье поработать жена не пускает. Одна морока. Еще большая проблема с девушками. Когда-то Даврон Кабулович читал в газете про социологический расчет, проведенный в Ленинграде. Оказалось, что Ленинград обеспечен кадрами журналистов до 2015 года, а искусствоведов — до 2035 года. В газете приводился перечень профессий, которыми Ленинград обеспечен надолго, но Кабулов запомнил только эти две. Если можно было бы провести такое исследование в строительстве, то наверняка бы выяснилось, что в министерства, ведомства, тресты, управления, лаборатории, конструкторские бюро и на все прочие непыльные места женщины-инженеры не нужны по всей стране вплоть до 2005 года, потому что средний возраст их в строительстве едва за тридцать. А на сегодняшний день инженерные службы в строительстве укомплектованы женщинами на девяносто процентов, и в каждом новом выпуске ежегодно половина девушек, а куда их девать? Все занято на два десятка лет вперед. Ни для кого не секрет — не задерживаются женщины на стройке, как ни крути, прораб — мужская, тяжелая работа, в пятьдесят пять



на пенсию уходят. Казалось бы, институты выпускают инженеров больше, чем надо, а как не хватало прорабов, мастеров, механиков, энергетиков, так и не хватает при нынешних условиях приема в технические вузы. И просили коллеги Кабулова давать все-таки в политехническом больше ходу парням, хоть они, может, и уступают девушкам в трактовке образа Анны Карениной. При этом ссылались часто на то, что в стране не хватает рук и в чисто женских профессиях: медсестер, ткачих, машинисток, секретарш, продавщиц, не хватает их в легкой промышленности, газовой, электронной, пищевой. А уж о том, что при равной затрате на обучение женщина не дорабатывает целых пять лет в сравнении с мужчиной, говорил ему каждый. А при современной нехватке трудовых ресурсов пять лет — это ох как много!

Да и сам Кабулов понимал, что стройка нуждается в притоке энергичных молодых парней. К тому же, видел и на трестовском полигоне, и на дамбе, во время отсыпки которой трижды организовывал в Заркент экскурсии студентов, считая, что лучше раз увидеть, чем трижды услышать, как безразличны девушки к тому, что происходило вокруг. Они торопливо искали тень, пытались спрятаться от заркентского ветра и вечной пыли, сопровождающей земляные работы. А ведь это была истинная рабочая обстановка профессии, к которой их готовили. Любому неравнодушному человеку было ясно, что незачем их учить тому, что чуждо их природе.

В этом году задолго до экзаменационной сессии Кабулов попросил собраться членов мандатной комиссии и высказал свое мнение о приеме абитуриентов на некоторые, сугубо мужские, на его взгляд, отделения института. Нашлись, конечно, у него сторонники, но и противников хватало, особенно ополчились женщины. Последствием этого кабуловского предложения явилась анонимка в горком партии, где его обвинили в феодально-байском отношении к женщине. Там же говорилось, что люди, подобные Кабулову, закрывают дорогу к знаниям и свету прекрасным женщинам Востока. Намекалось, что наверняка по той же причине его оставила жена, известная всем танцовщица Муновар Мавлянова... Заканчивалась анонимка страстной просьбой во имя прогресса и процветания немедленно избавить приемную комиссию от Кабулова.



Экзаменационная сессия была на носу, и анонимка получила ход, потому и оказался Кабулов у секретаря горкома партии по идеологии, женщины крутой, властной. Она, словно не зная, что Кабулов томился в приемной минут сорок, приняла его поначалу любезно. Видимо, не располагая временем, она без особого вступления спросила, правда ли, что Кабулов сторонник приема на отдельные факультеты в основном юношей, и правда ли, что он выступил чуть ли не с программным заявлением по этому поводу перед членами комиссии.

Получив утвердительный ответ, она поначалу растерялась, но тут же взяла себя в руки и выстрелила:

— А как же, дорогой, женский вопрос?

— Какой? — переспросил Кабулов.

— Такой. Что женщина должна пользоваться равными правами и все шире обязана вторгаться во все области, которые прежде считались мужскими. Не забывайте, какое у нас государство.

— Спасибо, помню, — ответил Кабулов неожиданно резко, потому что подобного тона он не выносил. — Позвольте возразить, что такого вопроса у нас не существует уже лет тридцать, а уж коли так подходить, скорее, нужно говорить о мужском вопросе. Не вы ли в этом году на торжественном собрании городского актива в честь Восьмого марта упомянули с гордостью, что пятьдесят девять процентов дипломов в стране — у женщин. Так что с женским вопросом все ясно. Но вот технический прогресс, от которого все многого ждут, не может сегодня рассчитывать на женский уровень работы в отдельных отраслях производства. Я сужу по строительству, где в моей компетентности, надеюсь, вы не сомневаетесь. И если прекрасные абитуриентки в детстве играли в песочек и строили дома, это еще не повод для поступления в политехнический...

В общем, поговорили. На шум даже вбежала секретарша.

И теперь Кабулов знал, что если на дамбе будут претензии к «Строймеханизации», то равнодушно к этому в горкоме не отнесутся.

«Смотри ты, сколько лет прошло, а вспомнили про Муновар», — подумал он чуть ли не вслух. Машина стремительно неслась по шоссе, стрелка металась далеко за цифрой



«120», в приспущенные стекла со свистом врывается ветер. Да и Ренату, тихонько насвистывающему какую-то мелодию, было не до размышлений Кабулова. Отчего же не вспомнить. Последние годы ее фамилия не сходит с афиш, хоть в столице, хоть в областях. Он и сам не раз видел из машины густо обклеенные ее портретами заборы. А как была хищницей, так и осталась, разве что выбилась в первые. Он не следил за ее жизнью, но знал, что Муновар — самая высокооплачиваемая танцовщица на свадьбах. В свадебный сезон (а в Узбекистане он начинается после хлопковой страды) она не меньше Кабулова разъезжала по республике, и не раз пересекались их пути в разных городах. Благо, для этих поездок у нее есть машина и муж — шофер и антрепренер одновременно.

Однажды в Карши (куда добралась!) Кабулов столкнулся с ним лицом к лицу на заправочной станции. Молодой, с заплывшими, жирными глазками, в дорогом мятом костюме, мужчина, служивший при собственной жене, не вызвал у Кабулова и капли ревности, хотя у «Волги» редкой перламутровой раскраски крутилась красивая, богато одетая женщина, уже приметившая его и желавшая погостить у него на глаза. Но Кабулов, даже если бы и глядел в упор, все равно видел бы страстно извивающуюся в танце женщину с холодными, расчетливыми глазами, цепко выхватывающими из одноликой, потной толпы на свадьбе толстосума, чтобы задержаться около него, заставив его раскошелиться на крупную купюру. Или же он видел ее в комнате, сидящей рядом с туго набитой наволочкой, куда муж торопливо накидал за ширмой деньги, что совали ей под тюбетейку; она раскладывала по стопкам замусоленные рубли, тут же прикидывая, не прогадала ли с этой свадьбой?

Но она прогадывала редко, разве что с первым замужеством, когда какой-то заштатный механик Кабулов отказался от такой жизни: крути баранку да считай денежки.

Странно, дорога, всегда дававшая ответ на все мучившие вопросы, на этот раз не помогала. Все пятьсот километров от Ташкента до Карши мысли управляющего не могли сосредоточиться на дамбе, ради которой и была затеяна поездка; хотелось, не отвлекаясь на звонки и на посетителей, выработать четкую позицию, потому что заказчик — крупнейший в республике Заркентский медно-обогатительный комбинат —



подал в Госарбитраж жалобу на строителей и на проектировщиков. Из Ленинграда уже прибыла комиссия института, проектировавшего дамбу.

Дамба вставала в памяти утренней прохладой предгорий и полуденным зноем, вереницей тяжелых КамАЗов и рядами мощных скреперов. Или виделась она ему с вертолета, когда он показывал журналистам из Ташкента, какие гигантские хранилища отходов будут у медно-обогачительного комбината. С земли трудно было представить весь размах работ, потому и прибег он к помощи вертолета. Масштабы! Масштабы! У него в кабинете висела двухметровая фотография, подаренная фотокорреспондентами, где мощные машины, словно мураши, копошились на огромной строительной площадке.

Каждый стоящий инженер мечтает об объекте, где он мог бы реализовать себя, свои знания, мечты. Таким объектом для Кабулова стала дамба. В нее вложил он страсть, энергию, опыт, дамба дала ему друзей, единомышленников и... врагов. Невиданной до сих пор школой мастерства, лабораторией смелых исканий стала дамба для треста. Сегодняшнему положению, уверенности в своих инженерных силах и знаниях обязан Кабулов своему детищу.

В тот день в Заркенте, куда Кабулов был приглашен на первое совещание по строительству дамбы, он вновь столкнулся с женщиной, которую уже не рассчитывал в своей жизни встретить...

В самолете, вылетевшем последним рейсом из Карши, Ренат, вымотавшийся за долгий и жаркий день, склонил голову на плечо Кабулова и тут же заснул. А Даврон Кабулович, словно и не было за спиной напряженного дня, держался бодро, потому что воспоминания о ней пробуждали в нем какие-то подспудные силы, возвращали памятью в юность, когда ничто не могло омрачить их отношений со Светой... Светланой... Под мерный шум винтов ему припомнился далекий августовский день, когда он, Даврон Кабулов, студент уже четвертого курса, вернулся в институт с каникул. Приехал он пораньше, чтобы успеть занять комнату посветлее и поближе к кухне, получить заранее книги в библиотеке; к четвертому курсу студент становится бывалым, как солдат.

Вечерело. Он стоял во внутреннем дворике общежития, раздумывая, куда бы пойти, когда у калитки сада увидел девушку



с тяжелым чемоданом и дорожной сумкой в руках. Он, не раздумывая, как старый знакомый, подал знак, чтобы поставила вещи, и подбежал к ней. Тоненькая хрупкая сероглазая девушка с улыбкой поджидала его, чувствовалось, что ноша ей не по силам.

И вдруг Даврон, никогда особенно не отличавшийся разговорчивостью, преобразился и заговорил, как первый институтский сердцеед, красавец Карлен Муртазин.

— В святую обитель, где вам придется прожить целых пять лет, нужно входить, не отягощая себя заботами. Позвольте...

— Так уж в святую...

Она одарила Даврона такой милой улыбкой, что много лет спустя Кабулов чаще всего вспоминал не жест, не слово, а эту ясную улыбку еще вчерашней школьницы. Воспоминания... Их было много. Ну, хотя бы тот удивительный вечер их знакомства. Светлана, приехавшая поездом из далекого Актюбинска, весь день толком не ела и огорчилась, что поблизости закрылись все столовые. Зато Даврона этот факт обрадовал, и он вызвался тут же организовать ужин. В полупустом общежитии, в комнате с тремя голыми с панцирной сеткой кроватями, где лишь в углу, у окна, белела тщательно заправленная кровать Даврона, они проговорили как старые и добрые знакомые до полуночи.

Пока он рядом, на кухне, готовил омлет с сыром и помидорами и острейший салат ачик-чучук, Светлана рассматривала дружеские шаржи, висевшие над пустыми кроватями, и оглядывала стены, сплошь увешанные шутивными надписями, плакатами, изречениями. Еще при входе в комнату ее удивило броское обращение, приколотое к двери:

«К Прекрасному полу!!!»

С величайшим сожалением извещаю, что Карлен Муртазин задерживается. Слез не лить, волос не рвать, сигаретным пеплом голову не посыпать, слухи о том, что он на ком-то не женился, верные».

Поначалу она не поняла, а оглянувшись, улыбнулась, забыв о долгой дороге и о своих опасениях насчет будущей жизни в общежитии.

— Ты все это сам? — спросила она весело, когда он вернулся из кухни.



— Да. С утра какое-то настроение... Решил к приезду ребят оживить голые стены, чтобы легче было привыкать...

— А здорово у тебя получается, ты хорошо рисуешь.

— Рисовать я люблю и, если бы не любил технику сильнее, пошел бы в художественное.

— Ты добрый... и веселый, — вдруг сказала Светлана, помогая ему накрывать на стол.

— С чего ты взяла?

— Уж больно симпатичны твои шаржи. Вот этот юноша с тщательным пробором и при бабочке, посылающий девушке воздушный поцелуй, такой красавец!

— Да это же Карлен! — рассмеялся Даврон. — Ты, наверное, таких симпатичных и не видела. Ему девушки прохода не дают. Я вот и объявление вывесил, надоело отвечать: женился — не женился, а ведь еще не все красавицы вернулись, увидишь, какое паломничество к нему начнется, когда приедет. Ты думаешь, почему его кровать у двери? Чтобы не громыхал стульями, когда поздно возвращается. — Даврон изобразил, как, крадучись, стараясь не разбудить товарищей, входит в полночь Карлен.

Тут уж Светлана не выдержала, расхохоталась.

— Только ты смотри не влюбись в него, — вдруг попросил Даврон. Но она и это приняла за шутку.

Еще долго он рассказывал о двух других своих товарищах — Джемале Амурвелашвили и Саше Ботвенко. Обрадованный искренним вниманием, Даврон изображал друзей в лицах, шутливо отмечая их слабости и недостатки, и звонкий девичий смех катился по темным пустым коридорам общежития.

Уходя, она протянула ему узкую теплую ладошку и сказала:

— Я очень, очень рада, что познакомилась с тобой... Надеюсь, мы будем друзьями.

В эту ночь он впервые не уснул до рассвета.

Кабулов мог вспомнить почти каждый день из тех двух давно прошедших лет, потому что все они были связаны с ней, со Светланой.

Сейчас, в самолете, где вокруг него дремали утомленные жарким днем люди, память Даврона Кабуловича, словно в фильме, прокручивала день за днем. И все вставало перед глазами так ясно и четко, что порою тот счастливый юноша Даврон



казался Кабулову нереальным, вымышленным персонажем и не имел к нему, нынешнему, никакого отношения.

Она понравилась его друзьям. Понравилась и отцу Даврона. Кабул-ака работал шофером в наманганской «Сельхозтехнике» и раз в месяц-полтора приезжал в Ташкент на базу за запчастями. Приезд Кабулова-старшего был праздником не только для Даврона. Человек хлебосольный, щедрый, он всегда привозил корзины фруктов, вяленой дыни, овощей и непременно готовил то огромный казан плова, то затевал во дворе шашлык. За столом его присутствие не сковывало друзей Даврона, наоборот, будущие механики обо всем расспрашивали Кабула-ака, дошедшего на полutorке до самого Берлина. В первый же раз, когда он подвел Светлану к отцу, подыскивая слова, как бы точнее ее представить, она сама вдруг выпалила:

— Светлана, а с Давроном мы дружим, — и так посмотрела на Кабулова-младшего, что отец понимающе улыбнулся, привлек ее к себе и сказал шутливо:

— Яхши, я-то уж боялся, что из-за соседства с Карленом моего сына не замечает ни одна девушка.

И каждый раз, приезжая, он сажал ее за столом рядом с собой, и самое румяное яблоко, самая сочная груша, самая аппетитная косточка из плова, первая палочка шашлыка доставались ей. И, уезжая, он строго наказывал Даврону: «Береги ее, сынок, славная у тебя девушка...»

Они почти не разлучались эти два года, летом вместе работали в стройотряде, а оставшийся месяц отдыхали всей компанией у Джемала дома, в Гаграх. Удивительное лето, с утра до вечера рядом! Море, пальмы, темные звездные ночи, любимая девушка, и все — впервые в жизни.

Вспомнился Кабулову и холодный метельный Актюбинск. На последнем курсе на зимних каникулах он не поехал домой в Наманган, а остался в Ташкенте; задание на дипломный проект требовало работы в республиканской библиотеке, а Светлана обещала писать каждый день, говорила, что живет рядом с вокзалом и будет каждый вечер, как на свидание, ходить к ташкентскому скорому и опускать письма в почтовый вагон. Каждый день... Но писем не было. Извелся Даврон, ежедневно карауля почтальона, и хотя до конца каникул осталось дня четыре, махнул в Актюбинск. На звонок выскочила Светлана



и, увидев Даврона, бледного, замерзшего в тоненьком, не по сезону пальто, бросилась ему на шею и всхлипнула. На его вопрос о письмах она, улыбаясь, показала толстый забинтованный палец — порезала. Как просто тогда все было!

За долгий, казавшийся нескончаемым перелет он словно вновь побывал в той своей жизни, в которую никогда никого не посвящал, да и сам старался вспоминать об этом пореже. Это была счастливая, безоблачная пора, настолько счастливая, что ему не верилось теперь, что все это было.

Конечно, Кабулов не мог не припомнить их последнюю встречу. Он с Сашей Ботвенко уезжал по направлению поездом в Восточный Казахстан на строительство канала Иртыш — Караганда. Проводить их, кроме Карлена с Джемалом, которым осталось учиться еще год, пришло много друзей, и вся эта шумная, с неизменной гитарой компания как-то бережно выделяла Светлану, хотя здесь, на перроне, должна была остаться и Сашина девушка. В шуме, гаме, толчее они находили друг друга глазами, умудряясь, как казалось им, незаметно для окружающих целоваться, и спешили сказать какие-то последние, важные слова. Хотя все было обговорено и решено: на следующий год, в отпуск, отгуляют свадьбу, а свадебным путешествием будет поездка к морю, в Гагры, к Джемалу, «добро» которого было получено.

Когда почтовый, набитый до отказа, тронулся, она вдруг неожиданно громко крикнула вслед набиравшему ход поезду:
— Даврон, я люблю тебя!

На Первое мая, незадолго до отпуска, он получил телеграмму от Джемала, извещавшую, что Светлана вышла замуж за Карлена.

Много лет спустя ему рассказывали, что Джемал пришел на свадьбу пьяный, разбил окно в столовой и кричал на весь зал Карлену: «Подлец! Подлый вор, негодяй! Я проклинаю тебя!»

В Казахстане Даврон проработал три года без отпуска, в двадцать пять стал начальником управления и тогда же попал на глаза союзному министру. Он, наверное, остался бы в Казахстане до конца строительства или возглавил бы создававшийся трест далеко на Севере, об этом уже шли разговоры, когда вдруг нагрянули к нему отец с матерью. Настроены они были решительно, особенно мать, Зульфия-ханум.



Она говорила, что никогда не вмешивалась в его дела, согласна была на невестку, которую особенно расхваливал отец (тут она иронически посмотрела на Кабула-ака), а теперь, мол, ее терпению пришел конец. От людских расспросов покою нет, куда да куда запропастился ваш сынок Даврон, в двадцать шесть лет ни кола, ни двора, ни семьи. Говорила, что стары и слабы они стали с отцом, в доме одни девочки, а хозяйство, дом мужской руки требуют. Сказала, что и девушку ему приглядела, красавицу и умницу, первую на сегодня в Намангане невесту. Так через два месяца он и женился на недавней выпускнице Ташкентского университета Муновар Мавляновой.

Когда решение о строительстве Заркентской дамбы было одобрено в Москве, по ходатайству союзного министра никому не известный начальник передвижной механизированной колонны из Намангана возглавил крупнейший в республике трест «Строймеханизация». Тогда ему не было еще и тридцати лет.

Решение о строительстве новой дамбы для Заркентского медно-обогачительного комбината было неожиданным. Пленум ЦК КПСС постановил резко увеличить выпуск медного литья, промышленность остро нуждалась в цветном металле. Новые комбинаты строить долго, только подготовка экономических обоснований займет года три — не меньше; решено было расширять имеющиеся, наиболее перспективные. Так выбор пал на Заркентский. Расположенный в предгорьях Чаткальского хребта крупный комбинат, по выкладкам специалистов, мог после возведения второй очереди увеличить выплавку высококачественной красной меди вдвое. Для этого были все условия: и возможность без ущерба для сложившегося города возвести, по сути, еще один комбинат, и наличие руды, и мощная строительная база республики, и погодные условия, позволявшие вести круглогодичное строительство.

Кабулова вместе с другими специалистами пригласили в Заркентский горком партии и объявили, что решение о строительстве второй очереди комбината одобрено, утверждено. Строителям, монтажникам, наладчикам, механизаторам, представлявшим не только разные тресты, но и министерства



и ведомства, предстояло увязать свои сроки с генеральными, предстояло составить совмещенный график работ, исключая простой по вине друг друга. Строительство комбината само по себе дело сложное, но наиболее трудоемкие работы предстояли по отсыпке четырнадцатикилометровой дамбы для шламонакопителя, а попросту «хвостов» комбината.

Комбинат в сутки перерабатывает сотни тонн руды, только часть из нее становится медью, а остатки, так называемый шлам, после флотации по пульпопроводу отводятся в особые хранилища, шламонакопители. Даже при небольшой фантазии можно представить, какими гигантскими должны быть накопители, если комбинат рассчитан на долгие годы работы. У накопителей есть и другая, не менее важная функция — они служат отстойником для той воды, что по пульпопроводу выносит шлам.

Под накопители отвели площадь далеко в предгорьях, и четырнадцатикилометровая дамба высотой двенадцать метров полукругом должна была опоясать горы. У треста «Строймеханизация» по сравнению с другими коллегами-строителями было преимущество. К пуску второй очереди комбината не требовалось возвести дамбу целиком, проект предусматривал строительство ее отсеками. К тому же, действующая очередь имела старые «хвосты», которые в случае надобности некоторое время могли принимать отходы и с нового комплекса. До открытия совещания в горкоме вереница машин, прибывших в Заркент, объехала и саму строительную площадку второй очереди, и посетила предгорье, где намечалось возвести дамбу шламонакопителя. Даврон Кабулович, предусмотрительно усевший в свою машину проектировщиков, уже в дороге узнал многое о дамбе, например, что еще не определены карьеры, откуда будет поступать материал для дамбы, что длина пульпопровода восемь километров, а ориентировочная стоимость работ шестнадцать миллионов рублей.

Кабулов сразу же понял, что таких долгосрочных и больших объектов, где можно размахнуться, у треста еще не было. После совещания в горкоме, когда машины дружно рванули в Ташкент, он решил заехать в управление капитального строительства комбината, получить, если возможно, хоть какую-то проектную документацию по дамбе. Он любил в шутку повторять: «Чем раньше начнешь, тем больше шансов избежать



мудрых советов». В общем-то, это был его принцип — никогда ничего не откладывать на потом.

Начальника управления капитального строительства, знавшего его в лицо, не было, а в отделе в нем, молодом человеке, управляющего не признали и, вместо того, чтобы принести стройгенплан и пояснительную к нему, — то есть все, что у них имелось на сегодняшний день для «Строймеханизации», черкнули записку в техническую библиотеку комбината, что находилась в подвальной части здания, и указали, как туда пройти. Пройдя сырыми, мрачными коридорами подвала, тускло освещенными пыльными лампами дневного света, он отыскал дверь с надписью: «Библиотека».

Небольшая, без окон комната, заставленная стеллажами с книгами и папками с чертежами, была ярко освещена, за столом с картотекой никого не было, а чуть справа за чертежным кульманом стояла женщина.

Она подняла от кульмана глаза и сразу узнала Кабулова.

— Даврон?

На секунду возникла пауза, показавшаяся обоим вечностью. Первой пришла в себя Светлана.

— Как ты меня отыскал?

Настолько неожиданной, невероятной была эта встреча в сыром подвале, что Кабулов не нашел ничего лучшего, чем сказать:

— Я вот... — и протянул ей записку на получение документации по дамбе.

— Я что-то впервые вижу у себя в подzemелье управляющего, да еще из Ташкента. Может, то, что я слышала краем уха, оказалось неверным и Кабулов просто твой однофамилец?

— Нет, ты не ошиблась, только ваши из УКСа не признали во мне управляющего, впрочем, я не в претензии, скорее наоборот, — ответил гость, обретая свою обычную уверенность.

Так они и продолжали стоять посреди ярко освещенной комнаты, пока Светлана неожиданно не сказала:

— Если не спешишь, посиди немного со мной, я тебя чаем угощу, хочешь?

— Спасибо, с удовольствием. — Он поймал себя на мысли, что вновь, как и прежде, очаровывается ее голосом, и на память пришла строка из давней студенческой жизни:



Пьянея звуком голоса, похожего на твой.

Она торопливо схватила электрический чайник и выскочила в коридор за водой. Кабулов ослабил узел галстука и, оглядев содержащуюся в чистоте и аккуратности библиотеку, грустно улыбнулся.

— Сколько же лет мы не виделись... Кабулов, все так неожиданно, даже не знаю, как теперь тебя называть... — говорила Светлана, возвратившись.

— Семь, ровно семь, как раз в июле я уезжал в Павлодар, Светлана Архиповна.

— Ты помнишь, как меня зовут по отчеству?

— Я все помню, Светлана Архиповна.

— Как Кабул-ака поживает, надеюсь, здоров? Я почему-то его часто вспоминаю.

— На пенсии старик, на пенсии, внуками и внучками занят.

— У тебя так много детей?

— Нет, это дети моих сестер, если ты не забыла, у меня ведь их четверо, младшая сейчас живет у меня в Ташкенте, заканчивает медицинский институт.

Светлана густо покраснела, и снова бы могла нависнуть тягостная пауза, но закипел чайник.

— А почему ты здесь, в библиотеке?

— Долгая и грустная история, Кабулов, лучше уж не спрашивай. Не всем дано — по восходящей, пей чай и расскажи о себе. Это будет гораздо интереснее и веселее.

Но Кабулов, в поведении которого за эти годы появилась властность, без особых усилий уговорил ее рассказать о себе.

Институт она не закончила, уехала с Карленом по направлению в Заркент. Поначалу, казалось бы, временно, устроилась сюда, в библиотеку. Работа несложная, да и времени достаточно, институт решила одолеть заочно. Получили отдельную комнату в общежитии для молодоженов. Карлен работал механиком в строительном-монтажном управлении «Высотстрой». В общем, грех жаловаться, все так начинают. Даже съездила в Ташкент, сдала за четвертый курс все экзамены и курсовые работы. А когда вернулась... и началось. Узнала, что Карлен погуливает, да он и не скрывал этого. За время ее отсутствия были скандалы, драки с обманутыми



мужьями, те даже дверь вышибли. Пришлось уходить из общежития.

Хотела бросить все, уехать домой, к маме, но было стыдно... Через полгода муж закрутил на работе роман с женой своего начальника. Скандал на весь Заркент, пришлось уйти из управления. Жили на частной квартире, пятьдесят рублей в месяц, а тут он без работы несколько месяцев ходил, вот и стала выполнять еще работу чертежницы. Думала, временно, а у кульмана застряла на годы. Впрочем, чертить она любила. Потом сменили одну частную комнату, другую, а он менял одну работу за другой, трудно уживался с людьми. Репутация у него была — не позавидуешь, иной начальник хоть и нуждался в кадрах и знал, что Муртазин толковый инженер, а отказывал, лишь бы от греха подальше. Сейчас вот в ЖЭКе, инженером, больше некуда было деваться, да и квартиру там сразу дали. А она вот так шестой год — в подвале, теперь уже не выбраться, наверное, никогда.

Слушая ее грустную историю, Даврон ловил себя на том, что наслаждается ее голосом. И думал, как прекрасно, что время щадит в человеке глаза и голос, они долго остаются молодыми. Но вот она замолчала, и он сразу увидел усталую женщину в не знающем износа кримпленовом платье, хотя стояла на дворе сорокаградусная жара, в туфлях со скошенными каблуками, с воспаленными от яркого света и чертежей глазами. Когда он работал начальником управления, да и теперь управляющим, на приемах по личным вопросам видел немало таких женщин со следами непосильных забот на лице, слышал немало похожих исповедей. Но это был особый случай, и все происшедшее и происходящее касалось ее, остававшейся для него навсегда Светой, Светланой..

Несколько раз он порывался прервать эту жалкую исповедь, но, видимо, ей нужно было выговориться, и Кабулов выслушал ее до конца. Она еще говорила, а Кабулов уже знал, что следует предпринять.

— Вот что, Светлана, — сухо сказал он, — не знаю, как назвать: приятным стечением обстоятельств или удачей, но сегодня решено в Заркенте возвести новый шламонакопитель для вашего комбината. Работы — на годы. Получаем две квартиры в Ташкенте и восемь в Заркенте. В связи со строительством



дамбы тресту придется открыть лабораторию по грунтам. Туда нужен толковый, знающий человек, который мог бы взвалить на себя организацию этого очень тонкого инженерного дела. Разумеется, у него будет штат, пять-шесть человек, но их он должен подобрать сам. И знаешь, я подумал, лучше Карлена мне человека не найти, к тому же, помнится, в институте это как раз его интересовало. А что он блажит... пройдет, если у него появится интересная, нужная работа. Мужчина создан для работы, и если она захватит его... он остепенится... С работы начинается счастье мужчины, тут уж я по себе сужу. А с тобой проще. С институтом, думаю, особых сложностей не будет, хотя и порядочно времени прошло. Работать пойдешь тоже к нам в трест, поначалу чертежницей, а там приглядишь место сама, отделов много, но для начала я попрошу привести в порядок нашу трестовскую библиотеку и архив, судя по всему, опыт у тебя в этом деле немалый. Вот вроде все.

— Кабулов, зачем это тебе, у тебя и без нас хлопот, забот, успевай только. Да и Карлен — не знаю, согласится ли...

— В любом деле есть элемент риска, Светлана Архиповна. К тому же, что ты мне предлагаешь, оставить все как есть? Велика бы мне была цена как человеку, я уж не говорю — товарищу... Ты уж извини, что я за вас все решил, но иного выхода нет. Вы должны начать новую жизнь, на новом месте, по крайней мере, попытаться. А сейчас, если ты не возражаешь, я подброшу тебя домой, время рабочее, кажется, истекло.

Кабулов не ошибся... Смирив гордыню, да иного выхода из тупика и не было, Карлен согласился пойти работать к Кабулову.

Карлен, действительно, оказался тем человеком, который нужен был тресту. За два месяца, не обременяя управляющего просьбами, он решил хозяйственные и административные проблемы лаборатории. А через полгода было трудно представить, как прежде трест обходился без такой лаборатории: ни один объект в самом дальнем уголке республики не остался без внимания Карлена. Муртазин же настоял на техсовете треста, чтобы поступающая проектная документация проходила не только производственные отделы, но также и лабораторию. И когда начала поступать документация по дамбе в Заркенте, Карлен вдруг объявил, что проект несостоятелен. Сообщение,



сделанное им на планерке, поначалу вызвало иронические улыбки, умник, мол, нашелся, с проектным институтом тягаться решил, где одних докторов наук десятки, а такие проекты, как накопитель, они словно блины пекут. Дело дошло до техсовета с участием представителей от заказчика, где Карлен без труда убедил всех в ненадежности гигантского накопителя. Выходило, что проектный институт, найдя удачное месторасположение «хвостов», сэкономил на этом около восьми миллионов рублей, потому что не нужно было строить целиком отсыпанную замкнутую дамбу. Второй половиной для нее служила сама цепь гор. Но не было учтено одно немаловажное обстоятельство: что паводковая вода с гор осенью или по весне из-за ливневых дождей или снежных зим однажды могла переполнить чашу и, хлынув через край дамбы, затопить и загубить хлопковые поля на многие сотни гектаров вокруг.

В подтверждение Муртазин привел данные, специально собранные гидрологами и гляциологами по этому району за последние пять лет. Ничего не меняя в проекте в принципе, Карлен предлагал со стороны гор создать широко разветвленную сеть водоотводных рукавов, собирающих паводковую воду и направляющих ее в заложенные в проекте каналы, откуда вода после отстоя шлама возвращается на комбинат. По выкладкам Карлена, стоимость дополнительно получаемой воды окупала затраты на строительство водоотводных каналов. Идея о дополнительном притоке на комбинат воды, жизненно важной для предприятия, была оформлена как рацпредложение, и Карлен получил солидную сумму вознаграждения, так как экономический эффект от внедрения составил миллионы рублей.

Заказчик долго не мог предоставить тресту широкого фронта работ: не хватало чертежей, шла тяжба с колхозами об отчуждении территории под накопитель, и карьеры вблизи, как хотелось бы, не находились. Но Кабулов знал, что партийные и государственные органы усиленно занимаются строительством второй очереди, и чувствовал, что день, когда он будет приглашен на еженедельное министерское совещание по медно-обогатительному комбинату, не за горами.



И нужно было подгадать так, чтобы огромная армада техники сконцентрировалась в Заркенте не раньше и не позже того дня, когда с ходу, без раскочки и простоев можно будет начать работу на всей территории трехкилометрового отрезка дамбы, составляющего по проекту первый отсек. Готовясь к этому дню, Кабулов провел тщательную проверку имевшейся у него в наличии землеройной техники, особо выделив наиболее мощные экскаваторы, бульдозеры, скреперы, грейдеры, катки. В тех случаях, когда данные Антонины Михайловны из диспетчерской не подтверждали, что техника на местах работает с полной отдачей, она заносилась в список подлежащей передаче в Заркентское управление механизации.

И хоть Даврон Кабулович к этому времени уже второй год находился в должности управляющего, начальники управлений на местах яростно противились, чтобы у них забирали технику, хотя бы временно; они призывали на помощь даже областные партийные организации, пытаясь сыграть на местных интересах. Но Кабулов с честью вышел из этого «поединка»: обстоятельная докладная в Отдел строительства ЦК КП Узбекистана быстро поставила все на свои места. И тогда даже самые строптивные начальники поверили, что Кабулов пришел не на один день, и поняли, что, несмотря на молодость, хватка у него железная. Только не верили все же, что техника, откомандированная в Заркент, будет за квартал давать годовую выработку, а тот, кто отрядил десяток механизмов, выполнит за счет Заркентской дамбы треть годовой программы, как обещал управляющий.

В бесконечной круговерти дел Кабулов не забыл данное Светлане Архиповне слово о восстановлении ее в институте. Пришлось несколько раз самому и с ней вместе обходить какие-то кабинеты, объяснять, просить, но, в конце концов, все уладилось. Видел ее управляющий совсем редко, хотя она работала в тресте с полгода, опять же в подвале — приводила в порядок архив и техническую библиотеку треста. Прodelала эту работу Светлана так быстро и умело, что в коллективе ее сразу оценили. Потом она поднялась на четвертый этаж и работала чертежницей в производственном отделе. Иногда, торопливо сбегая со своего второго этажа к машине, Кабулов думал о том, что хорошо бы встретить ее в вестибюле или хотя



бы увидеть издалека, но ему ни разу не повезло. Да и в тресте он бывал нечасто, считай, все время в дороге.

Только однажды, когда он подошел к распахнутому поутру окну своего кабинета, чтобы окликнуть стоявшего внизу у машины шофера, увидел, как она спешит на работу. От той женщины, что он встретил два года назад в сыром заркентском подвале, не осталось и следа. Загорелая, с аккуратной стрижкой, в элегантном белом платье-сафари, в туфлях на высоких шпильках, улыбаясь, она шла вместе с его секретаршей. Только вчера вернулась она с Карленом из Болгарии, куда они поехали сразу, как только Муртазин получил гонорар за свое рацпредложение.

Кабулову захотелось, чтобы она подняла свой взгляд, увидела его, но она, веселая и нарядная, ничего не подозревая, с улыбкой скрылась в парадном.

На дамбе в ходе работ возникало немало проблем. Когда бульдозеры, грейдеры, скреперы на всей огромной площади накопителя и под дамбой начали срезать растительный слой, Кабулов, десятки раз изучивший проект, только на месте понял, что пустить эту землю в тело дамбы, как предлагалось проектом, было бы преступлением, хотя выгода от такого метода была налицо. Но это была односторонняя выгода: тресту, проектному институту, комбинату. Однако существовала в данном случае и другая, беззащитная сторона — природа. И сохранить тысячи кубометров плодоносной, живой земли было более выгодно, но учитывалось это уже по другой бухгалтерии, общечеловеческой, что ли, в первую очередь.

Кабулов объехал близлежащие колхозы, где его встретили настороженно; соседство будущего ядовитого озера не радовало колхозников. Когда он разъяснил, что хочет вернуть колхозам верхний растительный слой, что срезают сейчас на дамбе, председатели поначалу просто не поверили ему. Но оказалось, что перебросить землю на поля самим колхозам не под силу, имевшегося в хозяйствах транспорта не хватало, да и нужен он был им каждый день. Тогда на собственный страх и риск Кабулов своей техникой три недели завозил в колхозы срезанную почву. Конечно, о таком самоуправстве и нарушении



проекта стало сразу известно заказчику, и произошла первая крупная ссора Кабулова с комбинатом.

В то время, когда у Даврона Кабуловича возникли неприятности с комбинатом из-за земли, вывезенной на колхозные поля, Карлен нашел в проектах еще одну, на его взгляд, неточность. Карлен считал, что категория грунтов под дамбой и ее просадочность неверно определены институтом и что предлагаемая проектом укатка основания не дает гарантии от просадки дамбы. Карлен предлагал неоднократный полив, замачивание основания дамбы с последующей каждый раз укаткой. Он пришел с этим предложением к Кабулову. Тот посоветовал связаться с управлением капитального строительства комбината, вызвать нейтральную лабораторию по основаниям, за счет заказчика, и, если предположения Муртазина подтвердятся, вновь предъявить рекламации по проекту. Но тогда же и предупредил Карлена, что на удорожание утвержденного проекта вряд ли пойдут и заказчик, и институт.

Новое предложение Карлена в УКСе было встречено враждебно. Дело в том, что, когда Муртазин оформлял свое первое рацпредложение, ему четко дали понять, что не мешало бы кого-нибудь из руководства УКСа взять в соавторы: деньги-то были немалые.

В соавторы набивались и товарищи из проектного института, для окончательного оформления предложения нужно было согласие института на замену и дополнение в утвержденном проекте. Но Карлен в инженерном деле на компромиссы не шел.

Закреть дорогу его идее не смогли, слишком уж большой резонанс получило его предложение о водоснабжении комбината, об этом даже появились статьи в газетах и технических журналах. Да и молва, что начальник лаборатории «Строймеханизации» доказал несостоятельность проекта крупного института, еще долго не стихала в строительных кругах. Потому-то и встретили в штыки новое предложение Муртазина. Дело шло и о чести мундира УКСа комбината, ведь именно его инженеры должны были обнаружить в заказанных проектах ошибки. Руководство комбината на партийном собрании как раз указало им на это. А теперь еще одно изменение, тем более удорожающее строительство и исходящее вновь от подрядчика, подрывало веру в их авторитет, инженерную состоятельность.



Карлен, не подозревая, что зашло так далеко, пытался подступиться к УКСу комбината с разных сторон, но наткнулся на стену сопротивления. Тогда он предупредил, что выйдет с докладной к директору комбината.

За неделю обстоятельно подготовившись, перепроверив свои расчеты и данные, Карлен явился на прием к директору. Секретаршей директора оказалась давняя знакомая Карлена по общежитию для молодоженов, из-за которой ему и вышибли в свое время дверь. Узнав о цели его визита, она рассказала ему любопытную историю. На днях, соединяя директора с начальником УКСа, она услышала его фамилию и, заинтересовавшись, прослушала весь разговор. Хотя разговором назвать это было нельзя. Начальник УКСа обливал Карлена грязью... Говорил, что Кабулов подобрал в заркентском ЖЭКе пьяницу и развратника, которого ни одна организация у себя больше трех месяцев не держала, и сделал у себя в Ташкенте начальником лаборатории по основаниям. Правда, признал, что Муртазину пришла идея снабжения комбината паводковой водой, но теперь он, мол, вообразил себя Наполеоном и подвергает сомнению каждую часть проекта известного института. Замучил своими советами, предложениями, работать не дает, заявил, что Муртазин сводит с УКСом личные счета, потому что в свое время его не взяли туда на работу, советовал директору гнать Муртазина в три шеи, если тот появится. Но самое главное — он попросил разрешения от имени комбината написать письмо в партком треста «Строймеханизация», раскрыть, так сказать, моральный облик начальника лаборатории и потребовать, чтобы он прекратил под видом рацпредложений вымогать деньги у государства.

Карлен при всей своей очевидной талантливости и инженерной проницательности не был борцом. Не стоило ему отказываться от визита к директору, хотя и знал, что его облили грязью. В конце концов, при всей занятости и Кабулов помог бы ему в возникшей ситуации. Но Карлен не сделал ни того, ни другого. В этот день он остался в Заркенте, основательно выпил и ночь провел у секретарши директора комбината. Через неделю он пришел в себя и отправил в институт в Ленинград на имя главного инженера проекта докладную. В докладной он приводил доводы, расчеты и анализы своей лаборатории и утверждал, что, если отсыпать такое, как в проекте, основание,



дамба при определенных обстоятельствах просядет. Он понимал, что это письмо будет холостым выстрелом, потому что для института указчик один — заказчик, тот, кто денежки за проект платит. Но докладную все же он отправил заказным письмом, с уведомлением о вручении.

Письмо в партком треста с комбината все-таки пришло. В нем говорилось, что доверие, оказанное трестом «Строймеханизация» заурядному инженеру, скомпрометировавшему себя в Заркенте пьянками, приводами в милицию и аморальным поведением, конечно, дело благородное. Далее, на всякий случай, перечислялись службы, где не пришлось ко двору Муртазин, и особенно подробно описывались скандальные истории, действительно имевшие место. Поводом для письма, мол, послужила теперь иная, ранее не известная сторона «деятельности» Муртазина — рвачество. Говорилось, что удачная идея, случайно пришедшая в голову, позволила сорвать солидный куш, который и вскружил ему голову. После чего Муртазин вообразил себя гением и теперь в корыстных целях предлагает изменение за изменением в проекте, разработанном известным институтом, что вносит нездоровую атмосферу в работу коллектива. Заканчивалось письмо тем, что Муртазин, — в общем-то, молодой и не без способностей инженер, и партийная организация треста должна поставить ему на вид, осудив рваческие настроения.

Секретарем партийной организации треста была женщина, и хотя она решила без согласования с Кабуловым, находившимся в командировке в Каракалпакии, не давать письму хода, содержание его стало известно ее лучшей подруге, а дня через три оно стало достоянием всего треста.

Дошли слухи и до Муртазиных. Тяжелее всего в эти дни пришлось Светлане Архиповне. Карлен сразу почувствовал на себе любопытные взгляды и усмешки, снова сорвался и запил.

Когда Даврон Кабулович вернулся из командировки, его ознакомили с письмом в парткоме. Кабулов тут же вызвал Карлена к себе и дал ему прочесть письмо. Муртазин, еле сдерживаясь, чтобы не наругать, спросил с вызовом:

— Ну и что дальше?

— Да ничего, продолжай работать, — и на глазах парторга и изумленного Карлена Кабулов разорвал письмо.



Но в Карлене уже что-то надломилось.

Да еще в эти дни получил он из института объемистый пакет на свое имя. В официальном ответе, подписанном двумя докторами наук и главным инженером проекта, говорилось, что предложения Муртазина внимательно изучены; несмотря на их дельность, вносить изменения в проект институт не намерен. Тем более что мнения проектной организации и заказчика в этом случае совпадают. Но ответ института к тому времени Карлена волновал мало. Как и заключение нейтральной лаборатории по земле Министерства энергетики, возводящей в Заркенте мощную подстанцию. А данные были любопытные, они абсолютно повторяли выводы трестовской лаборатории. Однако Муртазину было уже на все наплевать.

Поведение Карлена, которого словно подменили, не могло не броситься в глаза, и Кабулов снова вызвал его к себе.

— Карлен, может, тебе нужно отдохнуть, развеяться? Если хочешь, я позвоню сейчас же в обком профсоюзов, найдем подходящую путевку. Вернешься, я думаю, все утрясется, уладится; боюсь, как бы в таком настроении ты дров не наломал.

Муртазин вдруг вскочил с места и закричал:

— Знаю, знаю твой долгосрочный план! Терпением, измором хочешь взять! Сначала перевел нас, бедненьких, сюда, облагодетельствовал, а теперь избавиться от меня решил, а там, гляди, и станет она твоей любовницей! Ты ведь ей и должность уже предложил в сметно-договорном отделе, а она, дура, и рада до беспамятства...

Кабулов вдруг побледнел, схватился за сердце... с усилием приподнявшись с места, хрипло выдавил:

— Вон отсюда... вон!

Услышав его, в кабинет заглянула секретарша, и на ее крик сбежались сотрудники, вызвали «скорую помощь». С инфарктом Кабулов пролежал в больнице почти два месяца.

Когда он вернулся на службу, в первый же день, как только поутру на какую-то минуту остался один, торопливо набрал городской номер сметно-договорного отдела. «Слушаю вас», — раздался голос Светланы Архиповны, но Кабулов молча держал трубку, и рука его мелко-мелко дрожала. О том, что Карлен уволился, он узнал еще в больнице.



После больницы врачи настоятельно рекомендовали Кабулову взять отпуск и провести его в спокойной обстановке в лесу или у моря.

Он не отдыхал уже два года, да и третий отпуск был не за горами, но дамба, строительство которой было в самом разгаре, не отпускала Кабулова. И в больнице ни на один день он не забывал о ней. В больничном саду ему и пришла идея на некоторых карьерах применять только скреперы. Случайно он узнал, что у комбината на рудниках есть много скреперов, работающих не в полную мощность, получить их в аренду не составляло труда. Скреперы заработали у него бесперебойно в две смены. Тогда в ходе работ и определился знаменитый кабуловский метод перемещения грунта скреперами.

То, что дамба строилась с опережением сроков почти на год, вдруг оказалось весьма кстати. Комбинат сумел на старых мощностях увеличить выход так необходимого стране металла, и старый шламонакопитель стал заполняться непредвиденно быстро; были уже опасения, что задолго до пуска второй очереди комбинату понадобится новый накопитель, иначе придется останавливать завод. Поэтому стройка, поначалу находившаяся в тени, стала первоочередной, и на всех планерках, совещаниях, коллегиях говорили в основном о ней. На дамбу зачастили корреспонденты радио, телевидения и газет.

Трехкилометровую дамбу, или первый отсек шламонакопителя, закончили, намного опередив и новые сроки, поставленные Совмином перед трестом. Сдача была торжественной — митинг, духовой оркестр, цветы передовикам; да и колхоз расстарался — фруктовый и овощной базар организовал. Решено было подключить новый пульпопровод месяцев через восемь-девять, в общем, в конце лета: старые «хвосты» нужно было заполнить до предела. Но Кабулов неожиданно попросил руководство комбината сделать пробный залив, так, на всякий случай, раз время позволяло еще по весне проверить качество дамбы; ведь предстояло отсыпать еще три отсека. Предложение было резонным, и «хвосты» поздней осенью залили. Перезимовала дамба прекрасно, ни единой трещины, а поверху хоть в футбол гоняй, никаких намеков на просадку.

Весна выдалась в предгорьях гнилая, в апреле зарядили ливни. В середине мая, в один какой-то день, дамбу покорежило,



на трехкилометровой насыпи появились бугры да ямы, пострадала нитка пульпопровода.

Претензии комбинат, конечно, в первую очередь предъявил «Строймеханизации». Мол, плохо отсыпали, восстановите за свой счет. И хотя для треста при полученных сверхприбылях эти двести тысяч, что требовались для восстановления пульпопровода, не были особенно обременительны, Кабулов восстанавливать за счет своего бюджета отказался наотрез, сказав, что дамба сдавалась поэтапно, слой за слоем, как предусмотрено нормами и проектом, и акты на скрытые работы все имеются, и за качество земляных работ он отвечает головой.

Отказался наотрез — случай, скажем прямо, редчайший в строительстве. На комбинате выжидали неделю, две, три, считали, одумается — не одумался; нашли посредников в столь щекотливом деле — не помогло; через министерство попробовали — бесполезно. Кабулов ответил комбинату официальным письмом, суть которого сводилась к тому, чтобы не теряли времени и передавали дело в Госарбитраж. И тут, конечно, дело получило шумную, если не сказать скандальную, огласку. Комбинат, чувствуя, что по-мирному дело не кончится, предъявил обвинение в ненадежности проекта институту, и оттуда сразу же прибыла комиссия. И вот теперь третью неделю подряд разговоры велись только о просевшей кабуловской дамбе.

Одни говорили, что она и должна была просесть, ведь отсыпали ее чуть ли не на полтора года раньше срока; другие вспоминали, что землю-то Кабулов колхозам отдал, недосыпал дамбу, вот она и просела.

Наконец-то стала известна дата приезда комиссии Госарбитража. Кабулов, который на работе так и не мог выкроить свободного времени, чтобы спокойно поразмыслить и подготовить аргументы и документы для арбитража — строительное лето было в самом разгаре, — забрал все бумаги по дамбе домой. По вечерам и поздней ночью просматривал он чертежи, схемы, анализы грунтов, тщательно перебирал акты на скрытые работы, внимательно изучал сделанный специально для него план просевшей дамбы. Конечно, поправить дамбу не представляло большой сложности. На подходе были мощные вибрационные катки фирмы «Дюпанак», а для двух таких машин, если пустить их навстречу друг другу, это неделя



работы. А тридцать самосвалов за два дня досыпали бы землю до необходимой проектной отметки.

Однако понимал Кабулов: проигрывать дело в арбитраже никак нельзя, и не потому, что пострадает его имя: если бы этим кончилось, он, может, и смирился бы. Пострадает прежде всего дело, что с таким трудом внедрялось и дало результаты. Он не мог поставить под удар рабочих, поверивших и пошедших вслед за ним, не мог подвести и людей, поверивших в него самого и давших его начинаниям зеленую улицу, хотя это было не просто.

В один из таких вечеров раздался у двери неожиданный звонок. Кабулов нехотя отворил. На пороге с чемоданом в руках стояла Светлана.

— Добрый вечер... я ненадолго... можно?

— Да, да, пожалуйста, — и торопливо подхватил у нее чемодан. — У тебя неприятности? — спросил Кабулов, как только включил свет в прихожей и увидел заплаканное лицо Светланы.

Она вдруг шагнула к нему, уткнулась ему в грудь лицом и заплакала. Кабулов обнял ее подрагивающие плечи и пытался говорить какие-то слова, но вдруг замолчал, словно понял, что ей нужно непременно выплакаться. Он молча гладил ее волосы, их запах напоминал ему давние времена, когда стояли они вот так же рядом почти каждый день, только тогда о слезах и не думалось. Плакала она долго, и он, посадив ее на диван, укрыл теплым пледом, отыскал какие-то таблетки от головной боли, и она вдруг затихла. Он выключил свет, прикрыл дверь и вышел в кухню.

На кухне он то садился, то вскакивал. «Светлана... у меня дома Светлана... Что же делать?» — пытался он собраться с мыслями. Наверное, нужно прежде всего организовать ужин, пришла вдруг спасительная идея. Он уже включил газ, открыл холодильник. Пока жарилось мясо с овощами, он успел выстудить бутылку белого вина «Баян-Ширей». Накрывая на стол здесь же, на кухне, которую очень любил, Кабулов вдруг почувствовал на себе взгляд. Опершись о дверной косяк, на него грустно смотрела Светлана.

— Даврон, а ты помнишь — в день нашей встречи было это вино... и теперь на прощание тоже «Баян-Ширей», — сказала она тихо. — Я ведь попрощаться зашла. Ты уж извини за слезы. Это, наверное, нервный приступ.



— Садись, Светлана. — Кабулов взял ее за руку, провел в кухню и усадил за стол.

Ему показалось, что ее знобит, и он принес свой шерстяной джемпер и накинул ей на плечи; она печальной улыбкой поблагодарила его.

Когда Даврон Кабулович разлил вино, она, бодрясь, сказала:

— Значит, за расставание, Кабулов. Ты не дал мне договорить, я зашла попрощаться. Уже неделю я в отпуске и решила не возвращаться, заявление об увольнении я пришлю в трест по почте.

— Почему?

— Наверное, мне следовало это сделать давно и не тянуть столько лет. Я ушла от Карлена. Спасибо тебе за все. Я хочу попросить прощения, вольно или невольно мы причинили тебе много обид, а иным поступкам — предательству, неверности, жестокости — наверное, нет прощения. Но ты все же прости, ты ведь, Кабулов, сильный... Да и за свои ошибки я поплатилась... сполна. Будь великодушным, Даврон, и прости.

— Успокойся, пожалуйста, я не держу ни на тебя, ни на Карлена обиды, поверь... Судьба, наверное, такая, Светлана...

Первое заседание комиссии Госарбитража было назначено на вечер, когда в Заркенте спадала изнуряющая жара. Кабулов после обеда пригласил к себе сотрудников лаборатории по основаниям, в последний раз собираясь выслушать доводы своих инженеров, чтобы избрать окончательную тактику, как вдруг распахнулась дверь и в кабинет вошел Муртазин. Взволнованный вид Карлена заставил Кабулова подумать, что разговор пойдет неприятный, о Светлане, и он тут же принял решение захватить несколько специалистов из лаборатории с собой в Заркент, чтобы обговорить все в дороге. Попросив их подождать внизу, в машине, он предложил Карлену сесть. Извинившись, Кабулов предупредил: через два часа в Заркенте начинает работу комиссия Госарбитража.

— Я не займу у тебя много времени. Вот, возьми, — Карлен протянул Кабулову разогретую на солнце кожаную папку.

— Что это? — Кабулов с удивлением взял потрепанную папку в руки.



— У тебя есть что-нибудь выпить? Налей-ка, не так просто мне говорить с тобой. Знаю, ты вправе сказать, что я мерзавец, держал эти документы до последнего часа.

Даврон Кабулович открыл неприметный для постороннего глаза вмонтированный в стену бар, достал непечатую бутылку коньяка, бокал, поставил все перед Карленом и вынул из папки бумаги. Одного взгляда на докладную Карлена, имевшую входящий гриф института, и на ответ за подписью докторов наук и главного инженера проекта было достаточно Кабулову, чтобы понять цену этим документам. Он помнил, что когда-то Муртазин заходил к нему и говорил, что дамба при определенных обстоятельствах может просесть. Но тогда он и представить не мог, что Карлен, несмотря на возражения УКСа, выполняя свой инженерный долг, все-таки официально поставит институт в известность.

— Сюрприз, большой сюрприз. И, как я понимаю, не для меня одного, — улыбнулся Кабулов.

— А ты не спеши, посмотри дальше. Там еще лежит заключение независимой лаборатории по грунтам, она полностью подтверждает мои выкладки. А лаборатория энергетиков известна в Узбекистане, и специалисты там прежние: начальник, чья подпись стоит на документе, недавно докторскую защитил.

— Ты что-нибудь за это хочешь? — спросил вдруг Даврон Кабулович.

Карлен потянулся к бутылке и зло рассмеялся.

— Ни вымогательство, ни рвачество, как утверждали некогда, не моя стихия, Даврон. Я, может, и дрянь, но не до такой степени.

— Извини. Тогда какого же черта держал до последней минуты? Не мог же ты не знать, что творится вокруг дамбы второй месяц?

— Знал. Поначалу не мог сказать, потому что так сложились обстоятельства: твой инфаркт, мое увольнение, а потом уже моя позиция, хотел увидеть и тебя в шкуре гонимого.

— Ну и как, доволен?

Карлен вдруг встал и пересел поближе к Кабулову.

— Даврон, прошу тебя, не мелочись. Сегодня разговор не обо мне и даже не о тебе. Ты должен понять, раз я пришел, значит, что-то изменилось в моей позиции. Да, я не хочу, чтобы пострадало дело. А дело и для меня не последняя штука,



управляющий... Вот и все, Кабулов, поезжай, удачи тебе. А мы, наверное, больше не увидимся. Я решил уехать, изгадил я здесь все вокруг себя, да и ничто меня больше не держит. Светлана меня оставила, уехала к родителям... по правде говоря, ей давно следовало это сделать, но она почему-то ждала, верила в меня. Прощай, Кабулов, и не поминай лихом.

Он поднялся и, слегка пошатываясь, не подав руки, пошел к выходу. Почти у самой двери его остановил голос Кабулова:

— Карлен, может, тебе помочь чем-нибудь нужно? Хочешь, я позвоню, куда ты надумал ехать, ведь у меня много друзей.

— Спасибо, Даврон. Не нужно. Твой звонок гарантирует мне доверие, которого я не заслуживаю пока. Я должен сам, понимаешь, сам разобраться в своей жизни. Прощай.

Радары, державшие под наблюдением скоростную трассу Ташкент — Заркент, засекали молочно-белую «Волгу», несущуюся с предельно возможной скоростью, и молоденький лейтенант сразу же предупредил об этом начальника дорожного пункта ГАИ. Когда машина едва замаячила на горизонте, лейтенант торопливо поднял тяжелый бинокль и сообщил старшему номер машины. Изнуренный жарким днем и долгим дежурством, капитан ленивым движением руки остановил коллегу:

— Не надо, это Кабулов. Шофер у него ас, каких искать. Что-то много сегодня министерских машин потянулось в Заркент, совещание, наверное, а Кабулов запаздывает.

Даврон Кабулович действительно торопился в Заркент на совещание. Рядом на сиденье лежала кожаная папка Карлена.

Но другие мысли волновали сейчас Кабулова. Он думал о том, что Светлана, самый близкий и дорогой для него человек, ушла от мужа. Ушла навсегда. Но он найдет ее и привезет обратно. Ведь жизнь не кончилась... А пока пусть успокоится, проживет у родителей, слишком много пережила она за эти годы. В последние дни, возвращаясь поздно, он ловил себя на том, что невольно ищет глазами свое окно на пятом этаже — и представляет, как оно будет светиться ему навстречу, может быть, через год, может, через два, неважно. Но ему хотелось, чтобы оно светилось.

*Малеевка,
январь 1982*







Сезонные работы

Повесть

Над свежей пробоиной в стене, выходившей в пристанционный палисадник, висела наспех написанная вывеска: «Касса».

«Что-то затянулся ремонт», — подумал Самвел и постучал в окошко.

— Билетов нет! — донеслось из-за фанерной заслонки.

— Почему?! — рассердился Самвел. — Всем есть, а нам нет...

Неожиданно окошко распахнулось, и сухонький старичок, заражаясь раздражением Самвела, ответил:

— Не всем, молодой человек, а студентам из стройотряда, москвичам. Билеты им заказаны еще две недели назад. С честью поработали, с честью и проводы! — и хлопнул заслонкой.

— Они строили, а мы, значит, баклуши били?! — продолжал горячиться Самвел.

— Пойдем, поезд уже на подходе, — тянул его от кассы молчавший до сих пор Карэн.

Самвел еще раз ткнулся было в закрытую кассу, обругал старика по-армянски и, оглядываясь, — а вдруг распахнется окошко, — поплелся за товарищем.

Перрон маленькой степной станции знал такие людские нашествия обычно не более двух раз в году, когда из района



в область провожали призывников. И сегодня, в этот августовский полдень, все напоминало проводы на службу в армию.

У здания станции столпились машины из колхозов, играла гармонь, у багажного пакгауза слышались переборы гитары. Поодаль от шумных компаний стояли грустные парочки.

Самвел торопливо прошелся вдоль перрона. Вернувшись к Карэну, с тоской поглядывавшему в сторону поезда, сказал:

— Каро, я думаю, ничем мы не отличаемся от студентов. У меня вот даже сумка, как у того очкарика. Да и ты, особенно в профиль, — вылитый студент...

— Слушай, Самвел, с меня хватит. Давай хоть уедем без приключений...

— Ну, ладно, дорогой, успокойся и вспомни, что твоя мама, тетя Шушаник, велела тебе во всем полагаться на меня.

Послышался долгий гудок тепловоза, и на перроне все пришло в движение, рассыпались парочки, умолкла гитара.

Карэн видел, как Самвел с завистью смотрел на ребят в зеленых куртках, выцветших от жары и вылинявших от частых и неумелых стирок, на которых еще можно было прочесть: «МВТУ».

— Бауманцы, — с восхищением сказал Карэн.

— Что-что? — переспросил Самвел и, спохватившись, добавил: — Сам знаю, не глупее тебя... Бери-ка вещички, студент, а я помогу вот этой сероглазой, — и подхватил чемодан у проходившей рядом девушки.

— С какого вы курса? — спросила она. Самвел остановился на миг.

— К глубочайшему сожалению, не с вашего... Приближаясь к концу состава, Самвел обрадовался: — Хорошо живем, специальный вагон...

— Это наши ребята из областного штаба постарались, — разъяснил шагавший рядом крепыш в матросской тельняшке.

У вагона поджидал парнишка в мешковатой, не по росту, форме железнодорожника.

— Какой молодой проводник, — удивился кто-то из девушек.

Паренек услышал, заулыбался.

— Да я тоже студент, практика у нас такая...

Началась посадка.



— Студентам-железнодорожникам наше почтение, — по-приветствовал проводника Самвел, оказавшись лицом к лицу с практикантом, и жал ему руку до тех пор, пока Карэн не внес вещи сероглазой незнакомки в вагон.

Едва состав тронулся, все прильнули к окнам, а друзья поспешили занять местечко подальше, в предпоследнем пустом купе.

Прошло не более получаса, а приятели, с глубокомысленным видом склонившись над шахматами, с которыми Карэн не расставался ни при каких обстоятельствах, вполголоса обсуждали свое положение.

— Вот где они спрятались!.. Шахматисты? А я-то думала, какие веселые ребята... Да, внешность обманчива!

Перед ними стояла хозяйка желтого чемодана, и не одна, а с подружкой.

Самвел вскочил, опрокинув крохотные фигурки.

— Вы не ошиблись, прекрасная! Это от большой грусти, что целое лето я работал не рядом с вами, решил разогнать тоску за шахматами... Знакомьтесь, Каро.

Вытащив из-под столика собиравшего шахматы товарища, Самвел подтолкнул его к девушкам...

— Светлана... Ирина...

— Ну, а я — Самвел. Садитесь, ясноглазые, сейчас что-нибудь организуем.

— Нет-нет, — запротестовали подружки, — мы за вами, там у нас компания, идемте...

— Спасибо, нам нужно еще кое-что решить, — стал отказываться Карэн.

— Он шутит, девочки. Идем, Каро, — ласково пригласил Самвел, но на всякий случай крепко взял друга за локоть.

В купе рядом с проводником набилось полно ребят, даже на вторых полках расположились по двое.

Знакомый парень в тельняшке потихоньку перебирал струны гитары. Маленький купейный столик был заставлен высокими бутылками болгарского сухого вина, из промасленного и порванного пакета, дразня аппетит, выглядывала куриная ножка. На пакете с курицей лежали малосольные огурцы в целлофановом кульке...

— Отыскала... знакомьтесь... — Светлана представила ребят. Несмотря на тесноту, нашлось и для них место.



— Ну, за дело, давайте чемоданы, — сказал, передавая гитару наверх, студент в тельняшке.

Три чемодана образовали столик. Кто-то попросил Карэна передать вино.

— По какому случаю нарушаете принятый в стройотрядах сухой закон? — так строго спросил Самвел, что Карэн от удивления едва не выронил бутылку.

Все на мгновение растерялись. Раньше других нашелся парень в накрахмаленной белой рубашке, сидевший напротив Самвела.

— Это я виноват, — кивнув в сторону бутылок, объяснил он. — Вот только вчера вечером с Танюшей уговорились насчет свадьбы. Дали мне ровно неделю: и на свадьбу, и на дорогу в оба конца. Комбайнер я. И, выходит, мы с друзьями, — парень показал на чернявых близнецов, — до невесты едем. А по русскому обычаю — какой же сговор без песен и вина? В Москву приедем в четверг, в субботу свадьбу и сыграем, милости просим к нам.

— Поздравляю, поздравляю! Что ж, причина уважительная... Тогда разрешаю... — поднял руки Самвел.

— Ура! — раздалось в купе, словно им так недоставало чьего-то разрешения.

Поздравлял Татьяну и Сергея чуть ли не весь вагон, и хотя бутылки скоро опустели, шумное застолье продолжалось.

Короткий августовский день быстро угасал, потянуло вечерней прохладой, девушки попросили прикрыть окна. В вагоне зажгли свет.

— Можно, дорогой, я сыграю? — Самвел потянулся к гитаре.

— Что же ты молчал, а то я мучаю ее, а не играю.

Самвел взял два замысловатых аккорда и неожиданно запел:

*... Яблони в цвету —
Весны круженье.
Яблони в цвету —
Любви смятенье...*

Голое у него был сильный, чистый, и видно было, что с гитарой он был в ладах. Едва он закончил, как посыпались заказы.



— Начинаю концерт по заявкам ударниц, но прежде — для жениха и невесты:

Ах, эта свадьба, свадьба...

Песню дружно подхватили все.

Пока Самвел пел, Карэн несколько раз порывался уйти, но его не отпускали. Вытирая взмокший лоб, Самвел отложил гитару, чтобы перевести дух и выпить стакан чаю, предложенный Светланой.

— Жаль, Самвел, что ты не попал в наш стройотряд. С тобой не заскучаешь, — сказал хозяин гитары.

— Да теперь я и сам жалею, — Самвел выразительно посмотрел на сероглазую Светлану.

— Что же вы строили? — спросил очкарик, оказавшийся комиссаром стройотряда.

— Крытые тока. Ставили щитовые домики и успели заложить фундаменты кормоцеха.

— Молодцы, а у нас объекты были попроще, — он похлопал по плечу сидевшего рядом Карэна.

Неожиданно Карэн встал.

— Мы... мы строили, — от волнения он растерял и без того небогатый запас русских слов, — хорошо построили, но мы не уважаемый строитель... — забыв какое-то слово, покраснел и что-то сказал Самвелу по-армянски.

— Шабашники мы, — перевел Самвел.

Взволнованное лицо Карэна, спокойная и неожиданная фраза Самвела вызвали смех в купе.

— Ну и шутники! Вы непременно приходите к нам на свадьбу, — сказала Татьяна.

— Карэн правду говорит, мы действительно шабашники, — Самвел, успокаивая, обнял друга за плечи.

— Какие же вы шабашники? Они всегда до поздней осени работают и расчет по окончании сезона. У них закон суровый — ушел раньше уговора, значит, за харчи работал.

— Шабашить — это не на гитаре играть, наверное, как слабаков отчислили? — вмешался комиссар отряда, невольно отодвинувшись от Карэна.



— Нет, нет, мы хорошо трудились. Работать умеем, Самвел в армии строил, я сам каменный дом в деревне сложил, — и как бы в подтверждение своих слов Карэн протянул крепкие, в ссадинах и порезах руки.

— Любопытно, и давно вы шабашите? — спросили с верхней полки.

— Пропади оно пропадом, первый раз...

— На чем же вы не сошлись с коллегами? — не унимался комиссар.

Карэн что-то сказал другу по-армянски, Самвел задержался с ответом.

— Не сошлись характерами...

— На идейной основе, значит? — подсказала Светлана.

— Можно и так сказать, — Самвел улыбкой поблагодарил девушку.

На какое-то время в купе установилась тишина.

— Что же все-таки у вас произошло? — спросил молчавший до сих пор Сергей, комбайнер.

— Подлеца разоблачили, но это — долгая история, не стоит рассказывать, поверьте, а за авантюру с вагоном простите, ребята, билетов не было. Поезд на этой станции останавливается только почтовый, раз в день. Ждать мы не могли, денег в обрез, как раз на билеты. Мы под утро сойдем в Куйбышеве, там прямой рейс на Кировакан, а оттуда домой — рукой подать.

— Ну что ты, Самвел, не горячись. Поезжайте с нами до Москвы, на свадьбе погуляете, а там мы вас отправим, — комиссар оглядел свой отряд, — верно я говорю, ребята?..

— Ну, конечно, поехали с нами...

— А что, если пригласить Карэна с Самвелом в следующем году в наш стройотряд? — обратились с верхней полки к комиссару.

— Хорошая идея. И, думаю, если они захотят работать с нами, организовать это будет несложно.

— Спасибо, ребята, за доверие. Мы с Карэном и так обязательно вернемся по весне. Возьмем в «Межколхозстрое» бригадный подряд на строительство кормоцеха... Так или иначе, мы непременно встретимся в следующем году. — Самвел пристально посмотрел на Светлану и, обратившись к комиссару, добавил:



— Может, еще посоревнуемся: и за количество, и за качество!

Потом пили чай, обменивались адресами. Вернулись в свое купе друзья поздно. Не включая света, молча сидели у окна.

— Каро, я вижу, ты мучаешься — поймут ли нас дома? Почему не поймут?! Поняли же ребята! Разве дома нас не знают, не поверят?..

— Село не стройотряд, Самвел. И Аршавэл не так прост, чтобы последнее слово осталось за нами.

— Ложись, Каро, утро вечера мудренее.

Ночью почтовый останавливался реже. Из леса, вплотную подступавшего к путям, тянуло влагой и сыростью: пахло дождем, грибами, скошенным сеном. Давно, по-детски разметав руки, спал Карэн, а к Самвелу сон не шел. В пустом коридоре гулял ветер, тревожно шуршали занавески на плохо прикрытых окнах, из соседнего купе доносился богатырский храп...

* * *

Аршавэл... Аршавэл...

Вернулся домой Самвел со службы к майским праздникам, когда запоздалая весна еще гуляла в горах. Приехал без телеграммы, но дома его ждали.

— Раз был приказ о демобилизации, то явится Самвел к Первомаю, — говорили домочадцы.

— В праздники на самолеты и поезда с билетами сложно, — сомневались соседи.

Но дед Самвела хитро улыбался, поглаживая по-крестьянски приспущенные прокуренные усы, и отвечал:

— Плохо вы моего внука знаете, хоть на хвосте самолета, но к праздникам прибудет!

Так оно и вышло. Из пяти ожидавшихся в селе парней к праздникам успел только Самвел. А в первый будний день мая, рано утром, явились и остальные: два стройных морячка и два рослых, широченных в плечах, десантника.

Односельчане, поздравляя ребят с возвращением, непременно добродушно добавляли: «Ну что, обставила вас пехота? Самвел уже на двух свадьбах успел отгулять...»

На свадьбе Самвел впервые и услышал это имя — Аршавэл.



— Жаль, что не приехал Аршавэл, — сокрушался отец невесты, — ведь обещал: будешь отдавать Искуи, непременно приеду на свадьбу.

— Только и дел у него, Гурген, что на свадьбах гулять. Да и на дворе уже май. Сезонные работы не терпят промедления. Сейчас наш дорогой Аршавэл, наверное, не знает минуты покоя. Думаешь, легко найти хороший подряд? Давайте лучше выпьем за его здоровье, ведь о нашем благополучии печется... — успокоил соседа самый уважаемый в селе человек — каменотес, хромой Погос Меликян.

За столом дружно подняли стаканы, поддержал тост и Самвел.

Утром, когда дед возвращал к жизни любимого внука собственноручно приготовленным хашем, обильно сдобренным чесноком, Самвел спросил:

— Скажи, дед, кто такой Аршавэл, за здоровье которого сам Погос-каменотес предложил тост?

— Ты ешь, ешь, Самвел, — говорил дед, наливая внуку стаканчик домашней сливовой водки, — что же про хорошего человека не рассказать? Живи он в нашем селе, большим бы почетом и уважением пользовался. — Дед Мушег налил и себе стаканчик и торопливо закусил ломтиком брынзы. — Сыновей моего друга Назара, что живут на другом краю села, у родника, помнишь?

— Месропа и Вартана? Конечно, не забыл, хотя они и вдвое старше меня.

— Да-да, я о них, — продолжил дед. — Дружно живут сыновья старого Назара, и цель у них одна — купить машину. Сам знаешь, будь у них машина, они могли бы работать в райцентре, там дел всем хватит. В ту весну, когда тебя проводили на службу, уехали они на заработки в Казахстан. Где-то услышали, что там нужны строители. Что же, молодцы они крепкие, а уменья строить нашим мужикам не занимать. И в старое время из нашего села подряжались на стройку. Работы в степях казахстанских оказалось много. Колхозы богатые там.

За лето поставили Месроп с Вартаном три двухквартирных дома. Строили как для себя. По душе пришлась их работа председателю, и за деньги, что они заработали, отдал сыновьям Назара предназначенную для колхоза машину.



Так на правлении колхоза народ решил. — Дед неторопливо набил самодельную кизилковую трубку. — В тех краях и познакомились они с Аршавэлом. Аршавэл там большую бригаду имел, строил коровник и школу.

Обрадовался Аршавэл землякам, Месропу и Вартану, и сразу оценил работу братьев. Пригласил к себе в бригаду, но они отказались. Дома уже под крышу подводили, и была уверенность, что сами управятся до осени. Аршавэл им помогал: сидели они как-то без гвоздей — два ящика привез. Другой раз автокран подогнал, перекрытия уложить. Неделю мужикам сэкономил. Вот они и подружились, а то как же — свои люди, земляки!

Аршавэл давно живет в тех краях. Крепко живет, дом правильный имеет, «Волгу», скот держит. Даже машину помог он нашим отправить по железной дороге, а то пришлось бы гнать своим ходом через всю страну, а на дворе уже осень стояла. Погостили они тогда у Аршавэла в райцентре.

Как-то за столом Аршавэл и спросил: «Много у вас в селе мужиков, что строить не хуже вас умеют?» — «Да какие из нас мастера?» — отвечал Вартан.

«И то правда, есть у нас мастера и получше, чем сыновья Назара», — не преминул вставить дед Мушег. И начали братья перечислять достойных мужиков, а как дошли до Погоса Меликяна, на нем и остановились.

Аршавэл тут же и предложил: «Если есть у мужиков желание заработать, то я по весне всегда найду работу и в деньгах не обижу, коль работают не хуже вас». Да и мне, говорит, легче с земляками работать. И прибавил: «Народ, похоже, в вашем селе серьезный и умелый...» Теперь выходит, что Аршавэл там вроде как представитель от нашего села. Душевный человек.

За зиму работу подыщет, договор заключит и вызывает через Погоса людей. Два сезона работали наши селяне с Аршавэлом, очень довольные остались. Вот и нынче со дня на день ждут телеграмму, волнуются, сколько затребует людей. Желающих поехать на заработки хоть отбавляй, да не всякого возьмет хромой Меликян.

— Ну, если так, и я бы не прочь поработать с Аршавэлом.

— Выбрось из головы, Самвел, холостяков в бригаду не берут, говорят, одна морока с вами.



— Несправедливое, дед, ограничение, — буркнул Самвел, выходя из-за стола.

А к вечеру в тот же день у ворот Петросовых остановился мотоцикл Меликяна. Дед Мушег суетливо вскочил со скамеечки и, опираясь на палку, поспешил к неожиданному гостю.

— Самвел дома?

— Да, Погос, ты проходи во двор.

— Некогда, Мушег, — перебил каменотес старика, — телеграмма пришла.

— А... — понимающе сказал дед и засеменял во двор, срывающимся от волнения голосом выкрикивая: — Самвел! Самвел!

— Что, Самвел, не забыл в армии дедова ремесла? — встретил парня Погос.

— Он и в армии строил, — вмешался Мушег.

— Я в инженерных войсках служил, бригадиром был, — подтвердил Самвел.

— Добро, добро. Решил тебя в артель взять, уж больно мужики тебя хвалят; ловкий парень, говорят. Согласен?

— А кто поедет с вами?

— Тебе не все равно с кем... — зашипел сзади дед.

Погос, словно не слышал Мушега, начал перечислять отъезжающих.

— Нет, с ними я не поеду...

— Почему?! — Погос даже привстал с седла.

— Эти мужики за день больше десяти слов не скажут, умру я со скуки там.

— А ты, шельмец, что — лясы точить едешь? — усмехаясь, спросил Меликян.

— Нет, но я люблю весело работать, с шуткой.. Вот если вы моего дружка Карэна возьмете, с большой охотой поеду.

Бригадир секунду раздумывал, поглядывая на Мушега.

— Ну ладно, по рукам. Пусть будет по-твоему. Только уговор, беру под твою ответственность, чтобы без фокусов. Не любит Аршавэл молодых.

* * *

Прибыли на место поездом. Маленькая станция с ярко-зеленой крышей и небольшим палисадником, освещенная заходящим солнцем, выглядела нарядно. Воздух был напоен



запахом цветущих акаций, легкий ветерок доносил из степи едва уловимый запах близкой пашни. Самвел, сошедший вслед за Погосом, заметил:

— Поздненько в эти края приходит весна.

Из трех последних вагонов выгружались строители.

Погос с тревогой поглядывал в сторону станции; вдруг, бросив ящик с инструментом, закричал:

— Аршавэл! Аршавэл! — и, прихрамывая, побежал навстречу высокому ладному мужчине.

Поезд, отстояв положенные минуты, тронулся, и Самвел на прощание помахал рукой проводнице.

Радостный и возбужденный Аршавэл обнимался и целовался с земляками, поздравлял с благополучным прибытием, тут же извинился перед Гургеном, что не смог прибыть на свадьбу дочери, — по всему чувствовалось — свой человек!

Чуть в стороне, потихоньку переговариваясь, стояли те, кто прибыл на работу впервые.

Наконец Аршавэл освободился от объятий и, обращаясь к Меликяну, сказал:

— Ну, давай, бригадир, знакомь с новенькими.

Погос неторопливо, не забыв о достоинстве каждого, представил остальных. «Много, видно, ему потребовалось людей, иначе не попасть бы мне в бригаду», — подумал Самвел, пожимая влажную ладонь Аршавэла.

Меликян, знавший характер Аршавэла, ожидал, что он тут же проявит недовольство его самоуправством.

Но Аршавэл только и сказал:

— Молодежь?.. Добро пожаловать! — и из всех новеньких обнял одного Карэна.

Обнесенная высоким, почти двухметровым, глухим забором усадьба Аршавэла находилась в десяти минутах ходьбы от станции. Широоченные ворота, обитые кованым железом, были распахнуты настежь, и встречать гостей вышла вся его семья: мать, жена, две дочери и высокий, похожий на отца, сын.

Все во дворе свидетельствовало о том, что гостей ждали. В огромном казане на открытом огне готовили полюбившийся землякам казахский бешбармак. Белели сколоченные в два ряда столы из чистых строганых досок, высокий штабель которых высился у стен сарая.



Пока гости умывались с дороги, осматривали хозяйство, дочери торопливо накрывали на стол. Погос тем временем вручал Аршавэлу подарки из села.

Шумное застолье затянулось допоздна. Аршавэл много пил, с аппетитом уплетая жирную баранину. Алкоголь, казалось, был бессилен против его могучего организма. Когда он заговорил, захмелевший Самвел подумал: «Крепок Аршавэл, ведром водки не свалить!»

— Друзья мои, земляки, позвольте сказать немного о деле... — Разом утихли разговоры за столом. — Начинаем мы в этом году неделей позже, но это не беда, наверстаем. Работаем, как и в прежние годы, световой день, в воскресенье — до обеда. Подряды нынче, похвалюсь, неплохие. При хорошей работе ставка каждого из вас — пятьсот, и молодым тоже. — Аршавэл взглянул в сторону ребят. — Работать будем тремя бригадами в разных колхозах. Сегодня мы с Погосом решим, кому куда ехать. На местах все готово. Завтра и начнем.

* * *

Шортанды по-казахски означает — Щучье. Лет десять-пятнадцать назад река Илек была полноводной, рыбной. Берега ее, поросшие густым тальником, прятали ежевичные и земляничные поляны. Широко разливалась река в половодье, заливала луга и низины, до середины лета шумела сочная трава в зарослях, скрывая тихие озера с лиями и карасями и необычно прожорливой щукой, попадавшей в озера в весенний разлив.

Давно высохли Щучьи озера вдоль Илека, а за поселком, в котором разместилась центральная усадьба колхоза «Светлый путь», название так и осталось — Шортанды. Да и как не высохнуть озерам, пьют из них без удержу и сбрасывают отходы в узенький Илек металлургические и химические заводы Актюбинска и Алги.

Нешадно вырубается тальник на берегах, и уже по весне не спешит детвора за Илек — нет там тюльпанов, не полыхают маками облысевшие от степных ветров холмы. Жалко речку, пропадет, наверное ...

Рано утром после пышной встречи, когда все уже рассаживались по машинам, Аршавэл, исправляя составленные ночью списки, сказал Погосу:



— Комсомольцев возьмешь к себе, — и пересадил Самвела и Карэна в крытую техничку. Гурген неохотно пропустил их в угол.

Так друзья оказались в Шортанды, и в первый же день узнали грустную историю названия поселка.

Аршавэл слов на ветер не бросал. В Шортанды строителей ждали. Еще недавно на краю села стояли три заколоченных дома — к сожалению, уходят люди в город и здесь. В заросших лебедой и чертополохом огородах пасся чужой скот, а во дворах, густо поросших сочным шпарыжом, гуляли гуси. К приезду бригады распахнули заколоченные окна, проветрили свежевыбеленные комнаты, восстановили освещение и радио. Из районной «Сельхозтехники» привезли железные кровати и свежие комплекты белья. Почистили колодец, обновили сруб, прицепили новое ведро, рядом с вмурованными котлами сложили печь-временку, определили в кухарки тетю Нюру, в общем, обо всем позаботились — работой только!

Самвел отличился в первый же день. Бригада, разделившись на группы, начала разбивку дороги и двух токов. Самвел, ходивший следом за Погосом с большой бобиной шпагата, огорчился, что с такой разбивкой и за два дня не управиться. Улучив минуту, он исчез с тока.

В правлении колхоза пожилой казах в вельветовом пиджаке и каракулевой шапке заполнял какие-то бланки.

— Скажите, а есть у вас нивелир или теодолит? — спросил Самвел с порога.

— Ну, прежде всего, здравствуйте, молодой человек, с приездом. Мы ждали вас. — Человек вышел из-за стола. — Я — агроном, Нуржан-ага, чем могу быть полезен?

— Мне нужен нивелир или теодолит.

— Есть эти штуки у нас, только пользоваться ими не умею, практик я.

— Я сам сделаю отметки, я умею...— обрадовался Самвел.

— Дорогой инструмент, я его дома храню.

А к обеду они с Карэном кончили разбивку и токов, и дорожки меж ними, даже места опор разметили. Месроп с Вартаном только и успевали колышки забивать и натягивать шпагат.

— Где ж ты этому выучился? — спрашивали за обедом.

— В армии, — отвечал повеселевший Самвел.



— Умная штука, когда дома начнем ставить, она нам здорово пригодится, — одобрил Погос.

— Я и логарифмическую линейку прихватил, любой объем вмиг могу подсчитать.

— Линейка хорошо, а я вот тебе лопату побольше отложил, — недобро пошутил Гурген.

После обеда началась настоящая работа. На всей размеченной площади предстояло на глубину лопаты снять слой дерна.

Самвел сбросил гимнастерку, осмотрел лопату и огляделся вокруг. Перед ним лежало огромное никогда не паханное поле, выбитое колхозным стадом. Через дорогу в дальнем углу своей делянки Погос в нижней рубахе, подняв голову, шевелил губами и крестился. Наверное, он желал, чтобы ток не знал неурожайных годин и лихолетья...

— За казахстанский миллиард! — вспомнив название какой-то статьи, воскликнул Самвел, ощущая, как и старый Погос, потребность сказать что-то в этот важный момент, и глубоко вонзил лопату в весеннюю землю...

— Коротковат еще майский денек, — сокрушался Погос, когда в сумерках усталая бригада возвращалась домой.

Карэн сразу, не раздеваясь, валился на кровать.

— Вставай, вставай, — тормозил друга уже успевший умыться и переодетый Самвел, — идем ужинать, на такой работе без хорошей заправки быстро ноги протянешь. Да и мужики скажут: слабаки...

Утром, едва полоска зари загоралась за Илеком, сбивая росу пыльными сапогами, шли на объект. Пока повариха Нюра приносила на ток завтрак, обычно гречневую кашу с тушенкой и кофе, успевали сделать немало.

С утра солнце припекало по-летнему, и от влажной земли парило, хотелось пить, и взгляд все чаще задерживался на деревянной бадье, но подходить первым, выказывая слабость, Самвел не хотел, терпел. Первым всегда направлялся к бадье Гурген — пил он долго, смакуя каждый глоток. Возвращаясь на свою делянку, поравнявшись с Самвелом, однажды сказал:

— Ты поменьше о бульдозере думай, оно быстрее и легче пойдет, — и, ехидно улыбаясь, уверенный и сильный, зашагал дальше.

Самвел ничего не ответил, потому что как раз думал о бульдозере.



Основание под дорогу и площадки для токов расчистили к исходу недели и, уходя на ночь, полили. Трамбовать землю тяжелыми метровыми чурбаками из лиственницы Самвелу понравилось. Занятые работой, они и не заметили, как подъехал Аршавэл. Машина свернула с бетонки и въехала прямо на расчищенную площадку. За рулем «Волги» сидел Сурен, сын Аршавэла.

Гурген, находившийся ближе других, бросил трамбовку и услужливо открыл заднюю дверцу, помогая Аршавэлу выйти. На ходу натягивая рубаху на мокрое тело, спешил к машине Погос. С Погосом Аршавэл обнялся и, не снимая руки с плеча бригадира, увел его в сторону.

— Ну, рассказывай, как дела?

Погос неопределенно пожал плечами:

— Работаем...

— Вижу. Ты мне скажи, когда кончишь трамбовать? Я машины с гравием и щебнем хочу заказать, первый слой прямо на площадке самосвалами и отсыплем, носилками еще натащкуются.

— Думаю, что завтра...

— «Думаю» меня не устраивает. Пройдем, я сам посмотрю, — и они начали осмотр с дороги.

— Ну, молодцы! — просиял довольный Аршавэл, проверив работу. — Послезавтра ждите гравий. — И, зорко оглядев работающих — а в Шортанды работало большинство новичков, — нарочито громко крикнул: — Сурен, остаемся обедать, съезди в магазин, попроси из председательского фонда «Столичной».

Сурен, лениво поигрывая ключами, нехотя завел машину.

— Пойдем, бригадир, поторопим Ньюру с обедом, по дороге и поговорим о делах. — Аршавэл взял Погоса под руку. — После обеда я заберу твоих комсомольцев с собой. Три вагона битума в брикетах достал, пока не расплавился на таком пекле и не разнюхали другие, нужно срочно вывезти. Не то будем куковать без асфальта, а так — мы тока за шесть недель и сдадим. Досрочно, как любит выражаться районное начальство.

— Возьми, Аршавэл, других, — попросил Меликян.

— Что, лентяи?

— Напротив. Самвел умеет обращаться с нивелиром и теодолитом, и я завтра собирался их отправить на разбивку



фундаментов под те сборные дома, что будем ставить рядом с правлением колхоза.

— Надеюсь, ты не шутишь? — Аршавэл остановился.

— Ты думаешь, как мы день сэкономили? Идеально расположили тока и дорогу к бетонке привязали — все сделано по нивелиру!

— Прекрасно, уговорил. Только не завтра, а сегодня же. Не только разбивку, но и опалубку пусть выставят и выверят по инструменту. Сразу на все шесть домов, досок не жалеть. Потом навалитесь и все фундаменты забетонируете. Место видное, и шесть готовых фундаментов — хороший аргумент для аванса, — Аршавэл, довольный неожиданным решением, рассмеялся.

Во дворе пахло свежесвепеченным хлебом. Восемь больших караваев, прикрытых махровым полотенцем, двухдневная норма бригады, уже лежали на хозяйственном ларе.

— Давно я не ел хлеба домашней выпечки, — сказал Аршавэл. Увидев выходящую из хаты повариху, весело спросил: — Как с обедом, хозяйка?

— У нас насчёт режиму строго, полчаса еще до обеда, — и показала на ходики, висевшие на дереве.

Погос нашел в доме забытые или брошенные за ненадобностью хозяевами часы и пристроил их на карагаче специально для Нюры. Перед сном Погос подтягивал гирьки, строго запрещаая другим прикасаться к ходикам.

За обедом, проходившим весело, с шутками, Аршавэл, подзадоривая земляков, пообещал:

— Будет ток в шесть недель — в подарок получите полный выходной и живого барашка, сам шашлыки готовить приеду.

— Аршавэл, оставь Сурена у нас. С моими комсомольцами не заскучает, да и делу научится, за лето денег немало заработает.

— Нет, Погос, молод он еще, да и мне нужен..

— И то верно, успеет еще на работе наломаться, пусть погуляет, — поддержал Аршавэла Гурген.

— Работа, она не ломает, работа выправляет человека, — жестко ответил Погос и, глядя на ходики, добавил: — Обед кончился. На работу пора.

— Сурен, ты выполнил мое поручение? — спросил Аршавэл, видя, что бригада собирается расходиться.



Сурен поспешил к машине, достал бумажную папку и попросил, чтобы все подошли к нему. Небрежно бросив па капот «Волги» сколотую скрепкой стопку бумаг, попросил каждого расписаться напротив своей фамилии на всех листках.

— Что это за бумаги? — поинтересовался Самвел, подписывая не то девятый, не то десятый бланк.

— Кровать брал? Простыню брал? Лопату брал?.. — затораторил Сурен. — Давай расписывайся скорее, отцу некогда...

— Он у нас очень грамотный, не обижайся на него, Сурен, — вмешался нетерпеливо дожидавшийся своей очереди Гурген.

Самвел все-таки перевернул один из бланков.

— «Ведомость на выдачу заработной платы», — прочел он вслух.

— Аванс собираюсь при случае вырвать, не бегать же мне за твоей подписью, — перебил Самвела неожиданно оказавшийся рядом с сыном Аршавэл.

* * *

В воскресенье «на домах» побывали многие колхозники. Одни молча пробовали крепость опалубки, другие на глазок выверяли, ровно ли выставлена. Давали советы, спрашивали, ругали, хвалили. После обеда, в перекур, к ребятам, сидевшим в окружении мальчишек, подошла молодая пара, и парень, волнуясь, спросил:

— Неужели все шесть домов поставите в этом году?

— Обязательно, — ответил Самвел.

— Поймите, для нас это очень важно. Мы — молодые специалисты, и нам обещали здесь квартиру, — робко вмешалась женщина.

— Поздравляем, вот, выбирайте любую. Фундаменты уже есть, и вообще, квартиры будут удобные, просторные.

— А вы не бросите работу, не докончив?.. — парень замялся. — Шабашники, говорят, народ ненадежный...

— Мы не шабашники, — ответил, распаляясь, Самвел, — вы посмотрите, как мы работаем...

— Да, работаете вы здорово, я за вами уже несколько дней наблюдаю... Вы не возражаете, если я вам немного подсоблю, вложу свой камень в фундамент нашего будущего дома? — неожиданно предложил повеселевший парень и, не дожидаясь ответа, снял пиджак.



В сумерках, когда друзья собирались домой, у стройки остановились две девушки и, о чем-то пошептавшись, спросили:

— А почему вы в клуб не приходите?

— За день так натанцуемся, особенно в такие дни, как сегодня, что к вечеру об одном мечтаем — дойти бы скорее до кровати, — объяснил Самвел, но вдруг весело добавил: — Мы еще придем, девочки...

В Шортанды на токах Аршавэл бывал часто, но, радуясь размаху работ, уезжал с нараставшим в душе беспокойством. Колхоз никак не мог достать опоры и перекрытия — стройка была внеплановая. Бежевая «Волга» Аршавэла рыскала по области в поисках железобетона, но старые связи не помогали. У Аршавэла, правда, был резервный план, потому он и торопил Меликяна.

В конце июня Аршавэл выдал каждому крупный аванс. Друзья купили сапоги и рабочую одежду, а оставшиеся деньги, как и все земляки, отправили домой. Таких денег им до сих пор держать в руках не приходилось. Вечером в тот же день решили сходить в клуб.

За ужином Гурген насмешливо посмотрел на выутюженные брюки Карэна и спросил:

— Куда это вы вырядились?

— Хотим в кино сходить, — ответил Карэн.

— Денежки завелись, повеселиться захотелось?

— Гурген, не приставай к ребятам, — вмешался Вартан.

— Что же, мне и слова им сказать нельзя?! — вспыхнул Гурген. — Вы не первый год приезжаете и знаете — Аршавэл не любит, когда с местными общаются. Они и так, слава Богу, десять дней на домах трепались с каждым прохожим.

— Пусть идут. Самвел только из армии вернулся, считай, и недели не отгулял, — перебил Меликян.

— Ну и зануда этот Гурген, что он к нам пристаёт? — удивился Самвел.

— Говорят, он метит выдать Седу, младшую дочь, за Сурена. Вот и пытается угодить Аршавэлу. Да и Погоса лишить бригадирства он бы не прочь...

— Этого ему не видать, до Меликяна ему далеко...

В тесном и душном, несмотря на настезь распахнутые окна, зале клуба посмотрели фильм. После сеанса молодежь



не расходилась. Киномеханик вынес из клуба проигрыватель, во дворе начались танцы. Обычно в воскресенье на центральной усадьбе собиралась молодежь и из других отделений колхоза, были и студенты, приехавшие на каникулы. Самвел приметил и тех девушек, что когда-то приглашали их в клуб.

Поздно вечером, когда уже собрались уходить, к ребятам подошел высокий светловолосый парень.

— Мне сказали, что вы строители, — начал он. — Нельзя ли мне на месяц к вам устроиться? Каникулы у меня, да и заработать студенту не помешает.

— Работы у нас много, но этот вопрос не мы решаем. Вот придет Аршавэл, я узнаю насчет вас, — пообещал Самвел.

Когда они возвращались домой, неожиданно загремело, загрохотало, заблестали молнии, и впервые за лето хлынул дождь. Пока добежали до двора, промокли насквозь.

Во дворе, босой, в нижней рубаше, стоял под дождем Погос и улыбался.

— Дождь... дождь... как по заказу...

Видя недоумение на лицах парней, объяснил:

— Эх вы, строители! Завтра начинаем крыть тока асфальтом, а я ломал голову, как полить, очистить от пыли готовое основание. Лучше такого проливного дождя ни одна поливомойка не сработает.

— Наверное, еще придется трамбовать? — спросил Карэн.

— Обязательно. Но теперь я буду спокоен за работу. И через десять лет краснеть не придется.

* * *

Работы с покрытием двигались медленно, хотя Гурген, главный в бригаде специалист по асфальту, разве что не ночевал у котлов. Прокоптился, осунулся, зарос щетиной, но никого не подпускал к двум дымящимся котлам.

«Шеф-повар» — прозвал Гургена агроном Нуржан-ага, увидев, как тот колдует над котлами.

Аршавэл, впервые имевший дело с асфальтированием, приезжал каждый день и сразу же спешил к котлам. Он упрекал Гургена, что тот слишком медленно готовит массу. Гурген вежливо, но с достоинством возражал.



— Аршавэл, дорогой, я на асфальте зубы съел, половину бакинских улиц покрыл, когда вы еще за девочками бегали. И не бульвар, дорогой, мостим — хлеб место готовим..

— Что вы, помешались на своем мастерстве? — шутил со строителями Аршавэл, но бригадиру раздраженно и зло говорил: — Погос, до срока осталось восемь дней..

Аршавэл в сердцах хлопал дверцей машины, а Сурен рвал ее с укатанного щебня — визжали шины. И так каждый день.

Исчезал он так же неожиданно, как и появлялся, и Самвел никак не мог выбрать момент обратиться к нему с просьбой студента.

Погос понимал нетерпение и обеспокоенность Аршавэла: ждали областную комиссию по проверке готовности к хлебоуборке, и представлялся случай выпросить у высокого начальства перекрытия для почти готовых токов.

Накануне приезда комиссии Аршавэл появился на объекте с председателем колхоза и бухгалтером и долго водил их по току, что-то объясняя.

За обедом он обрадовал земляков:

— Хотя с токами затянули на неделю, обещанный барашек будет к вечеру. Молодцы! По-русски говорят: «Дорога ложка к обеду» — вашими стараниями она у нас в руках ко времени. К концу дня объект закончить подчистую, чтобы комиссия смогла достойно оценить работу. Завтра с утра, как всегда, всем выйти на дома. Самвелу с Карэном на разбивку кормоцеха, только сейчас с начальством об этом решили. На кормоцехе работы и на следующий год хватит — махина! — За столом пронесся одобрительный гул. — Шашлыки, как обещал, готовить буду сам и потому остаюсь с ночевкой у вас, не возражаете?

С обеда бригада ушла в приподнятом настроении, с шутками. Даже Гурген одобрительно похлопал Самвела по спине и сказал:

— Смотри, сгодился малец, я-то думал, по танцам избегаешься..

На шашлыки пришли и бухгалтер с председателем, до глубокой ночи засиделись они с Аршавэлом за отдельным столом.

Комиссия приехала на центральную усадьбу колхоза «Светлый путь» к обеду, когда Аршавэл уже отчаялся



дождаться. Он покинул бы Шортанды, но где-то задерживался Сурен с машиной. Первым почетных гостей заметил Погос, на всякий случай Аршавэл держал бригадира при себе. Машины свернули с бетонки и поехали по свежему асфальту. Но, въезжая на ток, развернувшись на новой дороге, встали.

Аршавэл поправил маловатую по его мощной фигуре и непривычную курточку спецодежды и поспешил к зеленому вездеходу. Из него торопливо выбрался председатель и, озираясь по сторонам, поискал глазами Аршавэла.

Вышли и остальные, оставляя тут же у машин на свежем черном асфальте пыльные следы, — видно, немало походили с утра по степи. Погос, в обгоревшей при укладке асфальта спецовке, растерялся от многолюдья и мгновенно возникшей суеты, волнуясь, первым делом смахнул с головы широкую мятую шляпу, спасавшую от палящего солнца, и, не зная, куда девать ее, захромал к знакомому колхозному газику. Невысокая полная женщина, единственная среди приехавших, первой сделала шаг, образовавший едва уловимую дистанцию, и комиссия двинулась на ток.

Два огромных черных, как сажа, поля и широкая двухрядная дорога меж ними, умело обложенная по краям бордюром из светлого камня, среди ровной и выжженной степи казались декоративным панно. Женщина, шагавшая впереди, не могла остановиться, пока не дошла до края тока и не потрогала руками работу сыновей старого Назара. Видимо, она понимала толк в строительных делах и, повернувшись к членам комиссии, не обращаясь ни к кому конкретно, спросила:

— Кто строил?

Шепот, словно шелест в саду, пронесся в рядах, но тут председатель вытолкнул вперед Аршавэла. Женщина мельком взглянула на него, и с лица ее исчезла набежавшая улыбка. Пройдя мимо Аршавэла и не удостоив его словом, переспросила:

— Я спрашиваю, кто строил?

— Вот он строил, Айсулу Ахметовна, — колхозный агроном Нуржан-ага показывал на стоявшего в задних рядах Погоса, и все дружно обернулись к нему.

Секретарь обкома сделала несколько быстрых шагов.

— Спасибо, отец. С душой сделано, — и она пожала Меликяну руку.



Бригадир засмутился от неожиданного внимания и, показывая на Аршавэла, путая русские и армянские слова, заговорил: — Вот он начальник, Аршавэл главный... Мы, что же, мы просто строим...

— Знаем мы твоего главного, известная в области птица... — перебила его женщина и, взяв Погоса под руку, пошла с ним по току.

Увидев в асфальте глубокие бетонные стаканы под опоры, по краям выложенные таким же камнем, что и бордюры, секретарь обкома спросила:

— Товарищ Меликян, а сколько нужно времени, чтобы тока перекрыть?

Погос оглянулся вокруг, взглядом призывая Аршавэла на помощь, и, не найдя его, ответил:

— Мне, уважаемая, десяти дней достаточно, да вот беда, опор-то и перекрытий нет...

— Как так — нет? — спросила она у председателя колхоза.

— Все пороги обили, говорят — неплановая стройка, и в обкоме у вас были, — председатель показал на одного из членов комиссии, — обещали при случае выделить...

— Приезжайте завтра, найдем вам железобетон — пообещала Айсулу Ахметовна и, взглянув на часы, спросила: — Успеем, товарищи, еще в «Победу» заскочить?

Члены комиссии потянулись к машинам.

— Спасибо вам, добрый след вы оставили на казахской земле, — сказала секретарь обкома, дружески прощаясь с Погосом.

Машины, выбравшись на бетонку, сразу прибавили скорость, и, пока они не исчезли за холмом, Меликян так и стоял, держа шляпу в руке.

* * *

Через несколько дней Аршавэл получил наряды на железобетон. На домостроительном комбинате опоры и перекрытия дать-то дали, но с условием — вывезти должны были сами. Трейлеры-панелевозы Аршавэл нашел быстро: в автохозяйствах он был своим человеком. Задерживал самый что ни на есть пустык. Комбинат требовал, чтобы при самовывозе изделий стропальщики получателя прошли техминимум и сдали экзамен на строповку грузов в домостроительном комбинате.



Как ни пытался Аршавэл заполучить комбинатовских таке-лажников, ответ был один: «Время отпускное, и на плановую работу людей не хватает, извините...»

Возмущаясь новыми порядками — Аршавэл знал и другие, фартовые, времена на комбинате, когда он эти несчастные опоры вывозил в один заход, — он вернулся в Шортанды.

Как ни хотелось ему снимать ребят с кормоцеха, но иного выхода не было. Остальные и по-русски говорили плохо, и техминимум могли не сдать, и жить три дня в незнакомом городе наотрез отказались.

Аршавэл отвез ребят в город на своей машине. По дороге, пользуясь хорошим настроением Аршавэла, Самвел решил попросить:

— Аршавэл Арташесович, парень один к нам на работу хочет. Студент, каникулы у него, решил немного заработать...

Аршавэл, сидевший впереди, рядом с Сурепом, словно и не слышал.

— Я спрашивал дядю Погоса, он не возражает, говорит, работы остается много, а лето кончается... — продолжал Самвел.

Аршавэл резко обернулся:

— Самвел, ты работаешь — и работай, остальное, запомни, не твоего ума дело... Работы остается... лето кончается... — все решаю я! Такой уговор давно существует между мной и твоими земляками, и я не люблю, когда суются в мои дела. Заруби на носу, если хочешь здесь работать.

Каждый раз, когда панелевоз возвращался из Шортанды, Самвел первым делом интересовался у шофера, появился ли автокран на току.

— Нет, сгружают эти махины вагами и канатами, да так ловко, что иной и с краном быстрее не управится. А главное, бережно, и крошки бетона не вывалится.

Самвел знал, как давалась землякам эта внешняя легкость, потому и спрашивал постоянно о кране. Пока поджидали трейлеры, друзья осматривали каждую опору, каждое перекрытие, не хотелось из-за чужого брака портить свою работу. С последними опорами и вернулись на панелевозе, успели поработать вагой и пожечь руки джутовыми канатами.

Опоры и перекрытия, разложенные по всему току на деревянных прокладках, лежали уже три дня, а Меликян



оглядывался на каждый звук машины, с волнением ожидая Аршавэла. Тот запретил монтировать вручную, обещал прислать мощный автокран.

Дни шли: ни крана, ни Аршавэла.

Для Меликяна это были непростые дни: в десять дней обещано секретарю обкома перекрыть тока, отсчет дням он начал, как только Самвел с Карэном доставили последние опоры.

Понимал старый Погос тревогу Айсулу Ахметовны — уборка на носу. Хлеб уродился на славу, осталось собрать и сберечь. Сложное дело хлебоуборка — капризна осень в казахских степях: заждит, засвищут ветры, гоняя низкие тучи из края в край, и сгорит мокрый хлеб на токах... Крытые-то в области по пальцам пересчитать можно, а вывозить зерно на элеваторы прямо от комбайнов машины не успевают, урожайная, щедрая земля... А новые тока Шортанды смогут упрятать от ненастья хлеб не одного колхоза.

Погос не стал дожидаться крана и самовольно вывел людей ставить опоры. Первые монтировались долго и тяжело. К обеду забетонировали и закрепили распорками только четыре, но Погос повеселел, дальше должно пойти быстрее, приновились. Пока выставят опоры, надеялся Меликян, Аршавэл пришлет автокран, а без него не обойтись, слишком большой пролет между опорами, не одолеть вручную.

На следующий день после обеда приехал Аршавэл.

— Что надрыгаетесь, кран идет следом, — едва открыв дверцу машины, закричал он. Но увидев, как много сделано, повеселел: — А перекрытия вам без этого богатыря не одолеть, — показал он на съезжавший с бетонки автокран.

Отведя в сторону Погоса, Аршавэл похвалил бригадира:

— Ты как чувствовал, что с краном у меня неувязка, молодец, что догадался. С утра ставьте опоры вручную, кран сможет приезжать только после обеда, на несколько часов, тогда и перекрывайте. Сварочный аппарат я привез, скажи Самвелу, пусть посмотрит. Вот ведь — молодой парень, а уже пятый разряд имеет, дипломированный сварщик, а мой Сурен от стройки нос воротит... — неожиданно вырвалось у Аршавэла.

— Я же тебе говорил, отдай его к нам в бригаду, — перебил Меликян.



— А... — Аршавэл махнул рукой и, увидев Самвела, повел его к сварочному аппарату. Знал Аршавэл, как важно тщательно приварить мощные перекрытия, всякое бывало в его бурной жизненной практике.

С краном дело пошло на лад, и Погос повеселел, крыша, словно послеобеденная тень, росла по часам; но случилось непредвиденное. К вечеру, когда заканчивали перекрывать левый ток, на объект ворвались два запыленных самосвала.

— Так вот где ты, оказывается, ремонтируешься, Лагунов! — обратился к крановщику прораб. — А ну, разворачивайся, и чтоб духу твоего здесь больше не было! Отработаешь свои послеобеденные ремонты, а там посмотрим! — И, обратившись к Погосу, сказал: — Передай, отец, Аршавэлу, в другой раз — морду ему набью за такие дела...

Машины развернулись вслед за краном.

«Что-то не клеится дело у Аршавэла», — подумал Меликян и позвал Самвела:

— Самвел, дело есть. Вот что, дорогой, иди переоденься — и на бетонку, поедешь домой к Аршавэлу. Расскажешь, что видел... Пусть с утра пойдет в райком, там помогут. Кран нужен только на два дня...

Аршавэл, услышав, что произошло, хотел тут же отправить Самвела назад, в Шортанды, даже послал Сурена в гараж выводить машину, но в последний момент передумал. «А вдруг и в «Межколхозстрое» заартачатся, без инструктажа стропальщику не дадут кран?» — мелькнула у него мысль.

Сельские райкомы начинают работу рано, а в жатву тем более. Не успел Самвел прочитать во дворе обязательства хлеборобов, как появился, складывая на ходу какую-то бумажку, сияющий Аршавэл.

— Дуй, Сурен, в «Межколхозстрой», пока начальник по объектам не уехал, потом и не поймает его, неугомонный человек...

Несмотря на ранний час, во дворе управления стоял знакомый вездеход начальника, и Аршавэл облегченно вздохнул. Двери пустых кабинетов были открыты настежь, к приходу сотрудников уборщица протирала полы, проветривала комнаты. Дверь в приемную тоже была распахнута, и вымытые полы еще хранили утреннюю прохладу.



— Здравствуй, хозяин, — громко приветствовал Аршавэл молодого, начинающего полнеть мужчину.

Самвел задержался в приемной.

— С утра к тебе по делу, — разворачивая бумажку, подошел к столу Аршавэл.

— Знаю, знаю твое дело. Уже звонили...

— Хорошо, что позвонили, знают — упрямый ты человек, — Аршавэл сел в предложенное кресло.

— Вот если бы ты вчера попался на глаза моему старшему прорабу, наверное, сегодня не пришел бы за краном. Ох, и зол он на тебя! Откровенно говоря, давно плачет по тебе тюрьма, Аршавэл: весной чужой битум переадресовал, краны с чужих объектов уводишь, железобетон, предназначенный другим, получил, сегодня кран тебе отдай, а мне он разве не нужен? Я же тебе не раз говорил, приходи со своими людьми, возьми любой подряд, объект — на выбор, тогда и требуй: и материалы, и механизмы, никто на тебя не обидится, а уважать будут. Не знаю, сколько ты платишь своим, но думаю, в «Межколхозстрое» при такой выработке они получили бы не меньше и по закону. А так, договора ты на себя заключаешь, случись что-нибудь, прав-то у них никаких... С огнем играешь, Аршавэл...

— Завидует начальник, что у меня на объектах дела лучше идут, не нравится ему, — словно оправдываясь перед Самвелом, говорил Аршавэл, когда они вышли из управления.

Самвел ничего не сказал в ответ.

* * *

По утрам заметно похолодало, но днем пекло по-прежнему. Опустели пляжи вдоль Илека, не успевала прогреться за день река, лето клонилось к закату.

Погос был доволен сезоном. Тока сдали, в срок уложились. Не зря волновался Меликян, не забыла Айсулу Ахметовна его обещание. На следующий день после сдачи объекта госкомиссии получили телеграмму: секретарь обкома поздравила строителей, а Погоса отметила лично. Сейчас бригада работает на домах, материалов хватает, вот только стекла нет, но Аршавэл и здесь нашел выход: выменяет на известь, что гасится в старых силосных ямах у кормоцефа. Как быть недовольным? Жилье



нормальное, кухарка попалась умелая и совестливая. И на следующий год работу предложили на обжитом и привычном месте. Обиделся весной Погос на Аршавэла, что всех новеньких ему в Шортанды определил. Но не зря говорят: не знаешь — где найдешь, где потеряешь. Хорошие ребята оказались, а Самвелу так и вовсе цены нет, за что ни возьмется — любое дело горит в руках. Вчера закончили они разбивку на кормоцехе — без теодолита еще неделю пришлось бы сгонять углы, а там их не счесть, большой и сложный объект. Теперь только выставить опалубку по инструменту, а там навалится бригада и забетонирует фундаменты, будет председателю основание включить кормоцех в план строительства следующего года. С такими приятными мыслями строгал Меликян доски для новых колхозных домов.

— Привет строителям! — У опалубки, поддерживая велосипед, стоял знакомый студент. — Хочу попрощаться, завтра уезжаю.

Самвел отложил в сторону топор и протянул парню руку.

— Карэн, идем, перекурим, — пригласил Самвел товарища.

Студент предложил ребятам сигареты.

— Ты уж извини, ничего не вышло с твоей просьбой...

— Да что уж там! За меня и мать хлопотала. Отказал Аршавэл, сказал, бригада против.

— Странно... Как раз Погос не возражал, да и нам разве жалко, видишь, сколько дел, с нами бы и работал...

— Аршавэл говорит, что армяне никогда чужих не берут...

— При чем здесь армяне, он же все сам решает, — вмешался в разговор Карэн.

— А может, и прав Аршавэл, что не взял меня, заботится, чтобы вы заработали как следует, лето ведь не резиновое...

— За пятнадцатичасовой рабочий день, да без выходных, деньги, что нам платят, не ахти какие, так что не завидуй, студент, — Самвел весело хлопнул парня по плечу.

— Ну и аппетит у тебя, Самвел, и тысяча для тебя не ахти какие деньги.

Самвел с Карэном переглянулись и рассмеялись.

— Это завистники тебе нашептали, пятьсот наша ставка, студент...

Парень на секунду растерялся.



— Не нашептали. У меня мать в бухгалтерии работает. Она говорила: наверное, обманывает Аршавэл земляков в зарплате, потому и не берет тебя в бригаду, выплывет все сразу. А меньше тысячи вам и не начисляли, спросите у нее. И Сурен, между прочим, числится в вашей бригаде.

— Ах, подлец! — Самвел вскочил на ноги.

— Года четыре назад, когда Аршавэл еще с молдаванами работал, случилась у него похожая история. Говорят, с месяц провалялся тогда Аршавэл в больнице. Да, видно, урок впрок не пошел... — продолжал студент, но, видя, что ребятам уже не до него, стал прощаться. — Ну и задал я вам задачу, сам не рад...

— Ах, подлец, ну и подлец! — Самвел не находил себе места. Не будь кормоцех в стороне от поселка, он уже побежал бы в бригаду.

— Да не вертись, как будто тебя змея ужалила, сядь. — Карэн силой усадил товарища. — Что ты собираешься делать?

— Надо поехать в район, к прокурору, так, мол, и так, разберитесь.

Карэн долго молчал, обдумывая сказанное.

— Конечно, разберутся, не откажут. Только когда начнут выяснять, работать нам некогда будет, затаскают по судам. А нас бригада просила об этом? Мужики почти все на пятый да на шестой десяток шагнули, и придется им на старости лет по судам бегать: доказывать, что честен, доверял земляку, подписывал, не глядя, что давали. Для суда, дорогой, это не аргумент... К тому же, по-разному к нам здесь относятся, вот обрадуются наши недруги: скажут, шабашники деньги не поделили, пересудились.

— Да меня меньше всего деньги волнуют! — возмутился Самвел.

— Пойди докажи это некоторым, они считают, что мы, шабашники, за деньги готовы друг другу горло перервать... А дома, в селе, что скажут? Неприятная история. Нет, Самвел, тут нужно крепко подумать, прежде чем шум поднимать...

Друзья принялись за опалубку, но работа не клеилась. Припрятав инструмент, потихоньку, через лесополосу, направились к поселку. Шли молча, обдумывая положение.



— Выход один, Самвел, нам нужно сначала переговорить с Аршавэлом, вдруг все это вранье?

— Пожалуй, ты прав, Каро, подождем нашего благодетеля.

* * *

Прошла неделя, а Аршавэл, как назло, в Шортанды не приезжал. Самвел похудел, осунулся. Даже Погос за обедом как-то сказал:

— Самвел, что с тобой, таешь прямо на глазах, по дому соскучился?

— Нет, влюбился, наверное, — вмешался Гурген, — я видел, как он одной черноглазой казашке нашу известь ведрами дарил.

За столом оживились.

— Дядя Погос, а когда приедет Аршавэл? — спросил Самвел.

— Если ты насчет аванса, не горюй: я тебе ее без калыма засватаю, — продолжал шутить Гурген.

— Что здесь делать Аршавэлу, слава Богу, у нас все идет хорошо. Говорят, у Вазгена, в соседнем колхозе, дела неважные, там Аршавэл.

Самвел порывался съездить к Аршавэлу домой, но Карэн удерживал, говорил, зачем спешить, сам приедет, никуда не денется наш начальник.

Аршавэл появился в Шортанды среди недели, прямо с бетонки и завернул на кормоцех. Самвел распиливал тонкие жерди на распорки и не слышал, как подъехала машина.

— Привет, Самвел. Ты что, один сегодня на объекте? — окликнул его издали Аршавэл.

— Один. Карэна до обеда попросили пойти на дома. Он у нас специалист по жести, водосточные желоба устанавливает.

— У тебя, я вижу, все в порядке, поеду к ним. Ну, бывай, за обедом встретимся, — и Аршавэл направился к машине.

— Аршавэл Арташесович, у меня к вам серьезный разговор, — окликнул его Самвел, почувствовав, как от волнения вмиг вспотели ладони.

Начальник остановился.

— Только выкладывай поскорее, трепаться мне некогда. Заинтересовавшись, подошел ближе и Сурен.

— Вы почему отказали студенту от имени бригады?



— Ах, вон ты о чем. Опять за старое? Но я сегодня добрый. — Аршавэл уселся на шаткий верстак.

— У вас фальшивая доброта.

— Может, объяснишь, какая муха тебя укусила? — продолжал отшучиваться Аршавэл.

— Объясню. То, что вы нас обсчитываете, понятно: обман, жадность — ваша сущность. Подлость в том, что вы выставлете нас, своих земляков, в таком же свете. От нашего имени вы требуете за работу непомерную оплату, о которой мы и не предполагаем даже, нашим именем вы шантажируете заказчика, наш труд, старание объясняете одним — погоней за длинным рублем. Вы воспользовались трудолюбием, мастерством земляков, их доверием и преступно злоупотребили этим...

— Ну, продолжай, продолжай, — побледневший Аршавэл соскочил с верстака.

— Я сказал, что вы поступаете преступно и подло. И ваш двухметровый сын, который, по вашим словам, еще молод работать, хапает деньги из колхозной кассы, да еще за чужой счет, не стесняется. Уверен, что он получает и у Вазгена в бригаде, и у Ашота тоже...

Сурен, до этого безучастно слушавший, побледнел, отступил на несколько шагов, словно собрался бежать, но вдруг схватил с верстака нераспиленную жердину.

— Ты, босяк, деревня неблагоприятная! Угрожать?! Денег из нашего дела захотел?.. Не боишься, вдруг несчастный случай произойдет?! — и Сурен ткнул жердью прямо в грудь Самвелу.

Тот едва успел отскочить.

Аршавэл на секунду оцепенел, затем торопливо схватил распорку подлиннее, и они вдвоем стали теснить парня к залитой до краев силосной яме, где пузырилась, шипела гасившаяся известь. Самвел, отступая, пытался перехватить жердь Сурена, который наступал стремительнее Аршавэла.

«Утопят, сволочи», — подумал Самвел, но страха не ощутил — ничего, кроме злости, не чувствовал он сейчас.

Вдруг за спиной наседавших раздался треск и звон стекла, а вслед за тем властный окрик:

— Сурен!!

У машины возле разбитого лобового стекла с топором в руках стоял бледный Карэн.



Аршавэл грязно выругался и отбросил жердину в сторону. Сурен последовал его примеру. Карэн приближался, не выпуская из рук топора.

— Ну, вот, Каро, мы и поговорили, — тяжело дыша, улыбнулся Самвел.

Карэн одним ударом глубоко всадил топор в столб у ямы и подошел к другу.

— Пошли, Самвел, нам здесь больше делать нечего, — и, обняв еще подрагивавшего от волнения товарища, он повел его от кормоцега.

Когда ребята отошли на изрядное расстояние, Аршавэл сорвался с места и побежал вслед.

— Стойте! Стойте!

Друзья остановились.

— Вот что, ребята... У меня предложение: вас я рассчитаю, как следует, но при условии: придумайте повод для срочного отъезда, получите по пять тысяч рублей и убирайтесь завтра же. Не мутите мне артель и больше никогда сюда не приезжайте. Думаю, молчание стоит таких денег...

Самвел взглянул на Карэна.

— Каро, он так ничего и не понял. Аршавэл, не все продается за деньги... Мы уедем сегодня, пользуйтесь великодушием тех, кого ваш сын называет «неблагодарной деревней». А что касается оплаты, рассчитаетесь «как следует» со всеми: с бригадой Вазгена и с бригадой Ашота. На будущее — оставьте наше село в покое, не марайте доброе имя людей. Об этом как раз говорил вам начальник «Межколхозстроя». Это наши условия, и не выполнять их не советуем. Пошли, Карэн.

«Волга» Аршавэла уже стояла у колодца. Погос с Нюрой помогли Сурену выбирать остатки лобового стекла.

Друзья подошли к бригадиру.

— Мы уезжаем, дядя Погос...

Погос, занятый машиной, не обратил внимания на сумки в руках товарищей, и Самвел настойчиво повторил:

— Мы уезжаем, дядя Погос...

Погос от неожиданного сообщения уронил стекло обратно в машину.

— Что случилось, Самвел, не дури, — он растерянно переводил взгляд с молчавшего Аршавэла на Самвела и обратно. —



Какой-то сумасшедший день сегодня, Аршавэл стекло разбил, вы надумали уезжать... Что случилось, Карэн?

— Дядя Погос, пусть Аршавэл сам расскажет для своего же блага, что произошло и почему машина без стекла...

Друзья направились к бетонке. Погос кинулся им вслед.

— Самвел, Карэн, вы же знаете, что у Аршавэла закон — кто уехал раньше срока, ничего не получит...

— Не беспокойтесь, дядя Погос, на этот раз у него особый случай — всех рассчитает, как следует.

* * *

Почтовый, прорезая зыбкую летнюю ночь мощными прожекторами тепловоза, рвался вперед. На пути стали чаще встречаться речушки, на мостах стыки грохотали сильнее, распугивая сонную рыбу.

Из соседнего купе по-прежнему раздавался чей-то богатырский храп...

Хотя позади был трудный день, и бессонная ночь подходила к концу, Самвел не чувствовал усталости...

Возвращая в памяти дни в Шортанды, он все чаще вспоминал разговор, услышанный в «Межколхозстрое». «Вот куда нужно было пойти перед отъездом», — подумал Самвел.

В коридоре, продуваемом утренним ветерком, глядя на бледную полоску зари нарождающегося дня, Самвел неожиданно ощутил в себе молодые силы, способность принять на плечи заботы и тревоги земляков. От ощущения этой силы, уверенности он едва не задохнулся: «Знаю! Знаю!»

Он знал, что следующей весной сам привезет бригады Погоса, Вазгена, Ашота и всех тех, кто захочет строить в казахских степях. Знал, как обрадуется этим бригадам неугомонный начальник «Межколхозстроя», чью фамилию «А. Ф. Пайзюк» он успел прочитать на распахнутой настежь двери кабинета.

— Пора! — вслух сказал Самвел и пошел будить товарища.

Малеевка, 1976







Горный король и другие

Рассказ

Вторая очередь медно-обогатительного комбината с просторным электролитным залом площадью в целый гектар и комплексом сернокислотных цехов строилась рядом с действующими корпусами, а очистные сооружения, на которые его направили, находились далеко в степи. «Ну и машина!» — думал он, шагая по выжженной земле к месту работы.

В дальнем углу огромного котлована запыленные ЗИЛы поочередно опрокидывали в широкий лоток бетон. На дне котлована, где шум глубинных вибраторов перекрывал любые другие звуки, работали бетонщики.

Кутуев прошел в сторону работающих, не решаясь спуститься вниз, насчитал семь широкополых самодельных сомбреро из камыша и пять пропитанных потом и прибитых пылью живописных тюбанов. «Буду тринадцатым», — подумал он, пытаясь угадать бригадира. «Наверное, тот — коренастый, в сапогах», — решил он и спустился по шаткой стремянке в котлован.

Мужчина в кирзовых сапогах выключил вибратор, вытер лицо и руки поясным платком, протянул руку:

— Мусаев.

Кутуев подал руку и почувствовал, как обожгла ее жесткая, пылающая ладонь.

— Работал глубинным вибратором? — спросил бригадир, прочитав его направление.



— Приходилось.

— Тем лучше, вот возьми мой — хороший, отлаженный, — он протянул отполированную до блеска рукоять. — Я следующей машиной поеду на бетонный завод. Заодно получу новый. Ну, в добрый час! — И, хлопнув новичка по плечу, Мусаев тяжело зашагал к стремянке.

Кутуев включил вибратор, опустив его в тяжелый вязкий бетон. Рубашка вскоре промокла насквозь. Он остановил вибратор, стянул ее и обвязал вокруг пояса. Его незагорелое тело привлекло внимание остальных. Оторвавшись от работы, они глазели на новичка. Словно не замечая любопытных взглядов, он продолжал водить уплотнитель вверх — вниз, вверх — вниз...

Вскоре заныли плечи, поясница, занемели кисти, но когда он оглядывался по сторонам и видел, как сильные загорелые руки, словно играючи, легко поднимали и опускали тяжелый инструмент, снова принимался за работу. Соленый пот застилал глаза, непокрытую голову нещадно палило солнце, но он терпел, дожидаясь, когда же, наконец, объявят перекур.

— Выключай! — крикнул кто-то ему прямо в ухо.

Вытирая тщательно выбритую голову, на опалубке стоял невысокий пожилой узбек.

— Не горячись, сынок, оставь. Пойдем в холодок — перекур. Рубашку надень — сторишь. Солнце наше жаркое.

В тени высокой опалубки, кто на чем, расположилась бригада. Вскоре зашумел большой прокопченный чайник, и пиалы с кок-чаем пошли по рукам. Вглядываясь в усталые загорелые лица, вслушиваясь в житейский разговор о видах на хлопок, о сроках сдачи объекта, о красной меди, что даст электролитный цех, Кутуев решил: с такой бригадой он сработается.

В этот утопающий в зелени узбекский город, раскинувшийся у отрогов рудоносных гор, на Всесоюзную ударную стройку Шариф Кутуев прибыл из Татарии по путевке комсомола.

В штабе стройки тоненькая девушка с необыкновенно серьезным лицом спросила:

— Какую профессию хотели бы получить?

Кутуев, не поняв и не решаясь переспросить, молчал.

Девушка, принимая затянувшееся молчание за раздумье, начала перечислять профессии:



— Каменщика, штукатура... маляра, моториста...

— Ах, вот вы о чем, — сказал он, доставая целлофановый пакет, и на стол посыпались разноцветные книжечки — удостоверения шофера, тракториста, комбайнера...

— Вообще-то, каменные и бетонные работы мне тоже знакомы, на стройке все приходилось делать: строить дома и коровники, тянуть водопровод и освещение...

— Здорово! — сказала серьезная девушка. — Работу можем предложить по каждой вашей специальности, кроме комбайнера. Но у нас не хватает бетонщиков. Работа тяжелая, бетонирование минусовых отметок под палящим солнцем. Особенно не хватает людей на очистных сооружениях. Может, пойдете?

Ему почему-то вдруг стало жаль ее, такую строгую, серьезную, на чьи хрупкие плечи легли далеко не девичьи заботы.

— Почему не пойти, если надо. Да и посылал комсомол на стройку, а не на прогулку.

Так Шариф Кутуев оказался в бригаде Мусаева.

Каждое утро, шагая в людском потоке, вливающимся в проходную, Шариф поглядывал в сторону рудоприемника. Там к началу смены в широкие ворота обогатительной фабрики, тяжело урча, въезжали двадцатипятитонные и сорокатонные БелАЗы, КраЗы, чешские «татры», груженные медной рудой.

Вырос Шариф в большой трудовой семье и к любой профессии относился с уважением. Но парни в высоких кабинах могучих машин казались ему штурманами необыкновенных кораблей, водителями могучих танков, и когда они небрежно сходили с высот на землю, ему чудилось, что не тяжелая дверь хлопнула, а громынула крышка бронированного люка.

В перерыв, если удавалось быстро пообедать в чайхане, он не задерживался у теннисных столов, а спешил на приемный пункт обогатительной фабрики.

Громадные самосвалы, доверху груженные рудой, загонялись на автоматический опрокидыватель, и два стержня домкрата, словно две богатырские руки, легко поднимали закрепленную машину, ставили ее почти вертикально.

Все оставшееся время перерыва Кутуев, тяжело вздыхая, завороченно смотрел, как точно развернув неуклюжие машины, въезжали ребята на узкие полосы опрокидывателя или, мягко съехав, прежде чем исчезнуть за высокой оградой, на полном



ходу вдруг лихо тормозили, пропуская идущую навстречу машину с грузом, а через секунды моторы уже ревели на шоссе к рудникам.

Многих шоферов он знал по именам, особенно нравились ему два демобилизованных солдата, еще носившие ладную армейскую форму. Они работали в колонне недавно, но уже задавали там тон. Они и заметили Шарифа, часто появлявшегося в обеденный перерыв на разгрузке.

— Что, парень, нравится машина? — спросил чернявый Калхаз, любовно поглаживая никелированного медведя на радиаторе.

Шариф спросил что-то про мотор.

— Да ты, оказывается, свой брат — шофер! — воскликнул Сергей, старший в компании. — Второй класс, говоришь? Приходи в колонну, составим протекцию.

— Не могу. Сейчас не могу, вот сдадим компрессорную, тогда, наверное, — говорил Кутуев, и перед его глазами вставало озабоченное лицо девушки из штаба. Ему казалось, что она тотчас же узнает, что он ушел из бригады, узнает и огорчится.

Ранней весной сдали, наконец, компрессорную и перешли на градирию электролитного цеха. Однажды к перерыву у них кончился бетон. Шариф не спеша пообедал в чайхане, выстоял в очереди на теннис. Проиграв первую же партию — играли на вылет, побрел на обогатительную фабрику.

Сергей, разгрузившись, отвел в сторону серебристую «татру» и щедро поливал ее мощной струей воды.

— Чего это ты среди бела дня форс наводишь? — спросил Кутуев, протягивая Сергею руку.

— А ты что в рабочее время разгуливаешь? — ответил вопросом Сергей, с улыбкой поглядывая на часы.

— Шабаш. Бетон вышел.

— Тогда влезай в машину, узнаешь почему, — сказал Сергей, выключая воду.

Кутуев забрался на высокое сиденье; поролоновые подушки слегка пружинили под ним.

— Ну что, трогаем? — спросил Сергей, захлопывая дверцу кабины, и машина легко взяла с места.

«Татра» выскочила на бетонку и, рассекая накаленный воздух, понеслась в горы. Водители приветствовали друг друга



взмахом руки из кабины, а чаще — гудком сирены. Шарифу нравилось, когда Сергей, нажимая на сигнал, делал это одновременно с несущейся навстречу машиной — два звука сливались в один, высокий и резкий.

Для Кутуева нынешняя весна была первой на узбекской земле. Со дня его приезда миновали лето, осень, зима, — честно говоря, он и не заметил, как они пролетели. Бригаду переводили с одного пускового объекта на другой, и в сутолоке рабочих дел и житейских забот смешались все времена года.

Сергей вдруг сбавил скорость, и машина медленно пошла на затяжной подъем. И тут выросший в селе Кутуев почувствовал знакомый теплый запах разогретой земли. Машина неожиданно съехала в поле и остановилась. Сергей спрыгнул первым.

— Смотри, Шариф, какая красотища! — сказал он, оглядываясь вокруг.

Высокие холмы и ложбинки меж ними зеленели нежной травкой, а среди них, как рассыпанные горячие угли, пламенели тонкошие маки. Огромное степное пространство, пронизанное солнцем, пряный воздух вольной земли дурманили голову. Высоко в небе заливался невидимый жаворонок, приветствуя солнечный день. Лилась, лилась над миром величальная, ликующая песня маленькой птахи, и сердце Кутуева защемило — вспомнил весну в своем селе... Не такую, может быть, пышную и раздольную, но такую же светлую и пряную.

— Смотри и запоминай, через две недели все выгорит, и никто тебе не поверит, что такая краса была кругом, скажут, мираж привиделся. Скоротечна весна в этих краях...

Кутуев наклонился сорвать цветок, но Сергей его остановил:

— Не нужно. Маки хороши только живые. Может, потому они красивы, что жизнь их так коротка?.. Видишь, как природа степь убрала? Недолг ее праздник, но щедр на краски...

Крутая дорога в горы запала в сердце Кутуева. Он затосковал. Кудрат-ака, с которым Шариф работал в паре, заметил это и спросил, что с ним. Не таясь, Шариф рассказал ему о дороге, о машинах, к которым тянулся с детства.

После обеда, в перекур, к ним подсел бригадир.

— Знаю давно, что самосвалы не дают тебе покоя. Да и твои приятели как-то заезжали к нам на объект посмотреть, что же тебя держит. Так и не поняли. Я все ждал, когда сам



заговоришь. Если душой тянешься к машинам — иди. Верю, не от тяжелой работы бежишь, крутить баранку такой махины — те же мозоли набивать, что и от вибратора. Если не пойдут дела, место в бригаде для тебя всегда найдется. Ну, а на прощанье — плов в чайхане с тебя, сам Кудрат-ака поможет готовить, — засмеялся Мусаев, тормоша Кутуева.

В колонне как раз получили несколько новых машин, и, не без помощи друзей, Шарифу дали такую же серебристую «татру», на какой он ездил в горы с Сергеем. Пока оформлял документы, обкатывал машину — степь выгорела. В первый же выезд он притормозил у места, где они тогда останавливались. Словно неприятель огнем и мечом прошел по степи, сорвал с земли ее наряд, опалил жаром. Высокие холмы пылили от ветра, а ложбинки меж ними занесло песком. «Да, прав был Сергей, кто поверит тому, что здесь зеленели травы и качались цветы две недели назад?» — подумал Шариф, включая мотор.

По календарю еще долго значилась весна, но солнце палило уже нещадно, а с первых дней июня ртутный столбик термометра подскакивал за сорок. В раскаленной машине, несмотря на выставленные боковые стекла, стояла нестерпимая духота, да и сама «татра» с покоробившейся от жары покраской грозила ожогом. И Кутуев стал часто останавливаться в низине, ближе к кишлакам, у сая-речушки, по-горному торопливой и обжигающе ледяной. Выбрав безопасный спуск, Шариф загонял свою серебристую красавицу, как ласково называл он «татру», в речку, по-азиатски неглубокую, и поливал ее из ведра. Если рядом работали люди из кишлака, они непременно угощали его пиалой кок-чая и говорили: «Новенький? Привыкаешь. Только меньше пей, а то нечем будет остудить машину», — и при этом заразительно смеялись, смеялся вместе с ними и Шариф.

А мимо сая торопливо проносились машины одна за другой, и Кутуев иногда со страхом думал: «А как же с дневным заданием? Не справлюсь — придется с позором расстаться с машиной?!»

После обеда, когда шоферы толпились у будки с газированной водой, Шариф украдкой поглядывал на доску, где отмечались ходки водителей, и каждый раз замечал, что ему приписаны один-два рейса, значит больше, чем сделал. Шариф торопливо отыскивал своих друзей, но они и слушать его не



хотели, говорили: «Ничего, ничего, мы тоже так начинали, научишься, привыкнешь, еще и перевыполнять план будешь, а то и Пашку Колесова догонишь, хотя на Пашку ориентироваться не советуем».

Как новенького, Шарифа не ставили в ночные рейсы, давали возможность освоиться с трассой. Но как-то к нему подошел Колесов и попросил обменяться сменами. Хотя портрет Колесова и красовался на Доске почета автоколонны, Шариф уже знал, что Пашку в автобазе не любили.

Человеком и шофером он слыл бывалым: и на Чуйских трактах помотался, и «дальнобойщиком» ходил, доставляя грузы в отдаленные аймаки Монголии, и на горном Памире класс выдержал, даже в курортном Крыму, в таксопарке, новую «Волгу» до капремонта успел загнать. И эта довольно-таки сложная трасса для Пашки, по его словам, была баловством.

Но баловство его стоило другим немалых нервов: никогда ни при каких обстоятельствах Пашка никому не уступал дорогу — ни порожний, ни с грузом; ни на развилке дорог, ни на маленьких мостах многочисленных речушек; ни днем, ни ночью. На разгрузке, обойдя кого-нибудь даже на территории комбината, он нагло отшучивался от наседавших шоферов: «В нашем деле нервы — первое дело, а у меня они как тросы у лифта, с двенадцатикратным запасом».

Шоферы в колонне оказались в основном семейные, степенные, сплотиться не сумели и отступились.

Но начальство Пашку любило. А как же! Передовик из передовиков! В отпускной период и в дни авралов Колесову цены не было: два плана — его норма!

До срока заездив машину, Пашка всегда умудрялся получить новую. Эту операцию он проделывал мастерски: в ход непременно шли Доска почета, грамоты и участие во всяких починах, которые Пашка, по большому своему опыту, поддерживал первым. Система была проверена давно: и на Колыме, и на Памире, и даже в благодатном Крыму — безотказно действовала и здесь, на рудниках. Пожалуй, за это Пашку не любили более всего.

Не будь Сергея с Калхазом, ездить бы Шарифу не на новенькой «татре», а на разбитом колесовском КраЗе. О чем они толковали наедине с Колесовым, Кутуеву никогда не узнать,



но Пашка отступился от «татры», на которую уже намертво нацелился.

Вот и сейчас, упрасивая Шарифа поменяться сменами, Пашка не преминул намекнуть: уступил, мол, ему, новичку-желторотику, потом и кровью заслуженную машину. Мысль о том, что Пашка вдруг подумает, будто он испугался ночной смены, заставила Кутуева согласиться. И удивительно, ночная дорога не только пришлась по душе Шарифу, но впервые он перекрыл задание. Теперь при случае Кутуев старался попасть именно в ночную и обменивался сменами со всеми желающими.

— Ты как сова, днем спишь, ночью работаешь, — шутил Калхаз.

Так к нему и пристало — Сова.

Пришла уверенность, и Шариф днем стал делать не меньше ходок, чем бывалые водители, хотя до Пашкиных результатов пока было далеко.

Теперь уже Сергей с Калхазом иногда вдруг обнаруживали приписки в своих рейсах, особенно ночных.

— Ночью со мной может тягаться только Сова, — говорил в курилке Пашка.

Дома, в Татарии, Шариф видел, как исконно сельские районы быстро превращались в промышленные зоны. Хлеборобы становились нефтяниками, газовиками, химиками. Шарифу было жаль, когда в нефтяные владения попадали заливные луга, ухоженные пашни с подступающим вплотную лесом. Меняла тогда земля свой зеленый шелестящий наряд на кружево и вязь стальных линий электропередачи, на точеные молнии нефтяных вышек, на строчки-стежки газопроводов...

Исчезла с земли, до бревнышка разобрана и его родная деревня. Умом понимая, что так нужно, сердцем Шариф грустил по родным местам, так изменившимся, ставшим незнакомыми, чужими.

Здесь, в Узбекистане, огромные металлургические и химические комбинаты тоже поглощали у колхозов сотни гектаров земли. И поэтому однажды утром, увидев невдалеке от тех мест, где он любовался цветущими маками, колонну скреперов, бульдозеров, грейдеров, мощных тракторов «Кировец», Шариф обрадовался. Он знал, что на спланированных холмах, опаленных жарким солнцем, разобьют ровные хлопковые карты,



поднимут плотинами воду из саев, построят насосные станции и направят поистине живительную влагу на поля. Хлопковые карты год от года будут расти, и рано или поздно вблизи построят кишлак.

Понимая, что сейчас у него на глазах происходит не менее важное событие, чем закладка завода или фабрики, когда гремят оркестры, трепещут флаги и шумит многоядный митинг, Шариф свернул в степь. Негоже было проехать мимо, не пожелав успеха долгому и трудному делу. За год работы в бригаде Мусаева Шариф усвоил местные обычаи и довольно бойко говорил на узбекском, хотя никто этому не удивлялся — работа сближает и не такие родственные наречия.

— Хорманг! Не уставать вам! — приветствовал Шариф собравшихся у передвижного вагончика механизаторов.

— А, водохлеб, салам! — отозвались ребята, не раз угощавшие его чаем.

— С водными процедурами придется, видно, кончать, хлопку вода теперь нужнее, — вместе со всеми посмеялся Шариф.

«Ну и дела! Сорок гектаров хлопкового поля на целине! Это ведь не под картошку или ячмень вспахать, и к тому же — непременно к весне... — Мысли Кутуева постоянно возвращались к полю. — Да, заводы и стройки наступают на поля, но они же дают этим полям технику и возрождают к жизни столько земли, заброшенной, забытой. Сколько богатства на этих громадных пространствах — хватит на сотни поколений, только руки приложи, — думал Шариф в рейсах.

О том, что начали осваивать залежи под хлопок, в колонне узнали и почувствовали скоро. На трассе заметно прибавилось техники, непривычно тихоходной. Люди, работавшие в степи, добираясь в кишлак или на работу, «голосовали» у обочины. Кто подбирал, а кто пронесился со свистом. Но скоро поднимавшие руки безошибочно научились определять нужные им машины. Однажды Кутуева остановил водитель запыленного «газика»; Шариф узнал машину Усмана-ака, председателя колхоза, поднимавшего целину — человека уважаемого в здешних краях.

— Здравствуй, Шариф, целый час ожидаю на шоссе, очень нужен ты мне... — Усман-ака был чем-то расстроен.

— Буду рад, ака, если могу помочь, — искренне ответил Шариф.



— С утра ваша машина, — председатель назвал номер, — чуть не сбросила с моста в речку нашу водовозку. И шофер со страху туда все-таки свалился. Слава Аллаху, машина цела, а шофер отделался испугом. Но на этого лихача жаловались и другие. Согласен, ребята мои правила дорожные знают плохо, да и техника у нас не такая быстроходная, но ездят осторожно, за это ручаюсь. Ты уж поговори с ним. Нельзя, мол, так... Одно общее дело делаем... Да и на знамени у нас серп и молот, — улыбнулся Усман-ака.

«Так уж Пашка и поймет... про общее дело, с ним особый, колесовский, разговор нужен», — Шариф гнал машину, чтобы застать Пашку в перерыв.

Разгрузившись, Кутуев направился к доске показателей, где Пашка мелом выводил свой месячный итог.

Отказавшись от протянутого Сергеем стакана газировки, Кутуев окликнул Пашку.

— А, Сова, чем обязан младому племени? — поправляя пряжку-подкову на ремне затертых джинсов — память о курортном Крыме, Колесов равнодушно обернулся.

— Послушай, супермен, ты зачем сегодня водовозку в сай загнал? — громко спросил Шариф.

В их сторону заинтересованно обернулись шоферы.

— По-моему, он сам туда свернул, — не моргнув глазом, нахально улыбнулся Пашка.

Шариф схватил его за грудки, и рубашка с треском лопнула на спине.

— Подлец, паясничаешь, а у него пятеро детей...

— А ну, пусти! — рванулся Пашка. — Молокосос! Я с тобой еще поговорю... — угрожающе процедил он.

— Поговорим, поговорим, — растащил их Сергей. — Только запомни, Колесо, мы приехали сюда надолго...

Пашка оглядел ребят, в бессильной злобе выругался и кинулся к своей машине, всегда стоявшей первой у выезда.

Осень пришла неожиданно рано, внезапно спала жара, дождь дважды омыл, казалось, насквозь прокалившуюся степь, смахнул с придорожных чинар въевшуюся за долгое лето пыль, прибавил саям воды. Заблестела, жирно отражаясь в лучах фар,



широкая спина автострады. По-весеннему молодо запахла земля, даже на два коротких дождя откликнулась она зазеленевшими лужайками. Установились долгие теплые, безветренные дни. Вблизи рудников и карьеров, изо дня в день прибавляя в цвете, запыхал лес, вновь, как и по весне, слетались в предгорья птицы.

На полевом стане, поближе к насосной станции, у речки, колхоз открыл чайхану. Усман-ака разрешил обедать в ней и водителям. И теперь многие заезжали на жирную шурпу, дымящийся шашлык, обжигающую самсу. Привлекал и самовар с горной водой на тлеющем ангренском угле, кипевший с самого утра.

Шариф в последнее время замечал, что Усман-ака чем-то озабочен. Часто по утрам встречал его с колхозным агрономом у шоссе. Как-то Шариф притормозил рядом с колхозным вездеходом.

— Усман-ака, может, помочь вам чем-то нужно? — поприветствовав, спросил Кутуев.

— Спасибо, сынок, — поблагодарил председатель. — Забота у нас такая — подвело ПМК: рассчитывали мы на них, что помогут пересечь дорогу и проложить большие трубы для воды, а потом трассу снова привести в порядок. Хилая оказалась организация. Считаю, насосную станцию мы своими силами и построили. А теперь экскаватор у них в ремонте, труб нужных диаметров нет, трубоукладчика нет, асфальтировщиков нет. А ждать нам больше нельзя. — Усман-ака посмотрел на агронома. — В этом году мы должны сделать пробный полив... — И, словно убеждая себя, Усман-ака не по возрасту решительно, словно саблей, взмахнул рукой: — Сами будем класть трубы!

А в перерыв в чайхане витийствовал Колесов:

— Все, кончилась наша малина! Дорога теперь никуда не годится, вот скоро ее копать да латать начнут, видели, набросали вдоль трассы труб? Но это еще не все, хлопок начнется — жизни совсем не будет: голубые корабли пойдут величаво! По ночам тракторные прицепы на хирман потянут. Веселая жизнь: постоянно держи ногу на тормозе. Не по мне все это. А в солнечные дни совсем лафа: прямо на шоссе расстилают «белое золото» на просушку — любуйся, не дай Бог зацепишь



колесом, здесь на этот счет строго! А я б рванул, как обычно, чтоб белый снег за кузовом...

— Слушай, Колесо, за что ты так хлопок невзлюбил? — спросил Сергей.

— Не люблю — и точка, я нейлон предпочитаю...

— Эх ты, Нейлон, поди, у тебя и душа нейлоновая, — вмешалась в разговор учетчица Мукаррам-апа.

Зима явилась ночью. Мокрым снегом замело едва опавший лес на склонах, в белых берегах, казалось, еще торопливее побежали речки. По утрам машины заносило на обледенелом шоссе, но теперь на большой трассе было не страшно, рядом всегда находилась техника: тракторы, бульдозеры — вытянут!

Январь оказался не по-азиатски снежным и холодным.

Шариф из окна кабины часто видел в степи Усмана-ака и агронома, они проверяли снегозадержание. Ох, как пригодится весной эта влага на новых землях!

Дважды за зиму колхозный трактор приводил на прицепе с трассы к чайхане машину Нейлона. В сердцах брошенное Мукаррам-апой прозвище так и осталось за Колесовым. Помогая Пашке с мотором, трактористы укоризненно качали головами:

— Такой лихой, говорят — первый шофер, а за машиной не следишь...

В зимней курилке Нейлон, задрав ноги на батареи отопления, клял бездорожье и соседний колхоз, и хлопок, и свой КраЗ.

— Что же не уедешь? — спрашивал Калхаз, не терпевший нытья и самого Колесова.

— Нашел дурака, у меня третья очередь на личный транспорт, авось «волжанку» и выжму у руководства, как передовик. Как ни крути, а впереди меня человека нет. А там — Пашку вы только и видели... С этим хлопком вы все в «колхарей» превратились. Понимать надо: у них свой план, у нас свой. Дружба вместе, а табачок врозь.

— Ты, Пашка, за всех не выступай, — вмешалась в разговор учетчица, недолюбливавшая Колесова.

По весне, пока хлопок не взошел, комбинатовские шоферы переживали, пожалуй, не меньше, чем Усман-ака. Зато, когда



дружно пошли всходы, осунувшегося за зиму председателя было не узнать, Усман-ака молодец на глазах.

Кутуев полюбил ранние, рассветные часы и дни полива. По полю, не суетясь, понимая ответственность дела, с тяжелыми отполированными в долгих трудах кетменями двигались бо-соногие мирабы — поливальщики. Шариф присаживался на корточки у кромки поля и слушал, как в каждом междурядье собственным голосом журчал маленький ручеек.

— Ну как, Нейлон, здорово на трассе? Хлопок по пояс, жара куда и девалась... Вот и пчелки на днях налетели... благодать... — поддразнивал он Колесова в недолгие перекуры.

— Я не слабак и на жару не жалуясь, но отношения к нейлону не изменил. Да и очередь моя уже вторая... — огрызался тот. — Ох, и закачу я вам, колхари, пловешник и тандыр-кебаб в вашей любимой чайхане на прощанье!

— В таких случаях плов всегда подгорает, — как обычно, встревала Мукаррам-апа.

В сентябре Шариф впервые увидел, как раскрывались коробочки хлопка. Белый, поутру влажный комочек, как цыпленок из скорлупы, тянулся к свету. Забелела одна грядка, затем другая. В середине поля, словно заснеженный, появился остров, а через неделю будто летнее облако опустилось вдоль дороги.

— Когда же начнете убирать? — спрашивали водители агронома в чайхане.

Довольный агроном, приосанившийся, в новой праздничной тубетейке, терпеливо разъяснял каждому:

— Если бы как раньше — вручную, уже бы начали, но эти поля разбиты под хлопкоуборочные комбайны. Вот сделаем вертолетами дефолиацию, осушим и собьем листья, а там уж и начнем...

Когда готовые поля со дня на день ждали начала уборки, Шариф работал в ночной смене и, проезжая мимо полей, белеющих в лунном свете, жалел, что не увидит, как двадцать колхозных комбайнов поутру одновременно выйдут на карты и — начнется...

В ночной смене Шариф уже обставил самого Колесова и потому иногда позволял себе остановиться у арыка, сполоснуть лицо прохладной ночной водой и, присев на бампер машины, не спеша выкурить сигарету. Сегодня, закуривая уже вторую



за ночь и размышляя о предстоящем отпуске, Шариф вдруг увидел далеко впереди, в поле, все разрастающийся огонек.

«Ведь там — хлопок!..» — подумал Шариф и рванулся к машине.

Мощные фары «татры» выхватили из темноты съехавшую с шоссе и уткнувшуюся в край поля машину. Горел возвращающийся на рудник порожняк. Шофер метался вокруг открытого капота, сбивая курткой пламя. На ходу стаскивая с себя пиджак, Шариф подбежал к грузовику.

— А, Сова, — только и сказал, тяжело дыша, Пашка и кинулся сбивать пламя с другой стороны.

— За машиной смотреть надо! — кричал Шариф, задыхаясь в дыму.

Задымился промасленный пиджак Кутуева.

— Пашка, мигом в машину, без воды уже не потушить...

— Ты что, Сова, спятил, из-за такой рухляди рисковать? — отступил Пашка. — Ты же знаешь, у меня баки всегда под завязку, да я еще дополнительный бак примастерил. Пусть горит, не нарочно же я... — Пашка отбросил далеко в сторону полыхающую куртку.

— Дурак, ты ж в поле заехал, рванет КрАЗ, и твоего запаса горючего хватит, чтоб хлопок за секунду на целом гектаре загорелся... — метался Шариф. — Я видел, как хлеб горел. Ты что, с ума сошел?! Ну, в машину!

— Нет, Сова, нет... — Пашка попятился от машины.

— Эх ты, супермен, король горных дорог... — Шариф оттолкнул Пашку и рванул раскаленную дверцу.

*Дом творчества Дурмень,
Ташкент, 1975*







ДЖИНСОВЫЙ КОСТЮМ

Рассказ

Портрет Сафонова на Доске почета строительного управления красовался четвертый год подряд. Фотографии рядом менялись каждую весну, лучшие люди уходили искать чего получше, потому что управление из года в год лихорадило: то с планом неувязка, то со снабжением, и текучка была невероятная — за год двести рабочих принимали, двести увольнялись.

На той пожелтевшей от времени, с водяными потеками в левом нижнем углу фотографии был он молод, двадцати трех лет от роду, два года как из армии вернулся. Ему вообще-то иногда хотелось, чтобы фотографию, наконец, сменили. Особенно раздражал засаленный пошлый галстук, который нацепил ему в ателье прохиндей-фотограф, да и прическа у него теперь была другая, и пиджак имелся поприличнее. Сам он как-то не решался сказать об этом в профкоме, а там, наверное, считали, что и такой портрет сойдет.

В эту южную столицу Федор попал прямо из армии, по оргнабору. Приехал на строительство метро и два года, честь по чести, как и было записано в договоре, отработал под землей проходчиком. Рекордов не ставил, потому что каждая работа опыта и сноровки требует, а на это годы и годы нужны, но с планом всегда справлялся и в бригаде деньги зазря не получал. Зарплата шла из общего котла: сколько наработали — столько и получи, понятно, что лодырей в такой бригаде держать



не станут. Может, и стал бы со временем Сафонов знаменитым проходчиком, выбился бы в бригадиры, при его упорстве и сноровке это вполне было возможно, но не лежала у него душа к работе под землей. Не удерживали ни высокие заработки, ни возможность раньше, чем где-либо, решить вопрос с квартирой — уволился, как только срок соглашения вышел. Уж очень хотелось ему на солнышке да на ветерке поработать. Так он и очутился в управлении. Плотничать и столярничать Федор умел с детства — и дед, и отец, пока живы были, на весь Акбулакский район, что в Оренбуржье, слыли известными мастерами. Не было, наверное, в районе села, где бы Сафоновы не оставили о себе память добротными поставленными домами с высокой черепичной крышей, на коньке которой красовался лихой петух. «Сафоновский», — говорили люди, и спутать его с другими было невозможно, он был неповторим, как родовое тавро, как личное клеймо.

И в армии пригодилось ему дедово ремесло: два года тихо и мирно отслужил в хозвзводе, хотя там, на Севере, на сорокаградусном морозе служба ох, как непроста. Но не нашлось среди сверстников никого, кто бы лучше него владел топором и рубанком. Он да литовец Петерс стали хозяевами пахнувшей смолой просторной столярки. А у Петерса, потомственно-го краснодеревщика, Сафонову было чему поучиться. Какие чертежи, эскизы, зарисовки мебели подарил ему на прощанье щедрый Раймонд!

В управлении, где всегда не хватало кадров, молодой рабочий пришелся ко двору. Сильный, ловкий, соскучившийся по любимому делу, а больше всего — по простору, свету и солнцу, Федор едва ли не плясал на работе: все делал с огоньком, азартом, любил пошутить и хорошую песню поддержать. Поначалу кое-кто, вероятно, решил, что еще один болтун в строители затесался. Таких мастеров по части трепачества и наигранного веселья развелось теперь немало. Но у парня и руки оказались золотыми, и голова светлая, да и плечо свое от лишней тяжести, как некоторые, не уберегал. И те, для кого работа — не просто день, отмеченный в табеле, незаметно сплотились вокруг энергичного новичка. Так образовалась бригада. И уже через полгода, как раз ко Дню строителя, его портрет появился на Доске почета.



В том году к концу лета затеяли ремонт в управлении, ну и, конечно, не обошлось без плотничных и столярных работ.

Так получилось, что на работу в контору прораб направил Сафонова и дал ему в помощники практиканта-пэтэушника. В кабинетах главного инженера и начальника управления надо было сделать из полированных плит что-то наподобие современной стенки, — там предполагалось хранить документацию, книги, чертежи. Кроме того, нужно было поставить новые двери, установить дубовые плинтуса на вновь отлакированных паркетных полах, да мало ли работы найдется, когда начинается ремонт. Сафонов отличался от других тем, что не бросался сломя голову выполнять работу, а долго взвешивал, обдумывал задание, так и эдак примерялся к предстоящей работе. И день, и другой ходил он по просторным кабинетам начальства, вымерял, высчитывал плиты, дубовые плинтуса и обналичку, в который раз перемеривал комнаты вдоль и поперек. Через два дня он явился к начальству с неожиданным предложением: просил отдать ему стоящие почти в каждом кабинете шкафы. Старые шкафы эти некогда достались управлению от расформированной гостиницы. Высокие с резными дверцами буковые шкафы, изготовленные еще до войны, привлекли Сафонова добротностью материала, особенно же нравились ему резные створки дверец. Он объяснял, что полированные плиты тяжелы, трудно надежно укрепить ручки, шарниры, замки, а главное — недолговечны, проще говоря — это не самый лучший материал для облицовки. Вот потому он предлагал обшить мебельной доской часть стен в кабинетах, а из шкафов, которые сам разберет, отполирует и отлакирует, сделать стенки. От шкафов этих уже давно не чаяли избавиться и потому списали их без разговоров и отдали в дело.

Когда к Октябрьским праздникам был закончен ремонт, охам и ахам сотрудников управления не было конца.

И вправду, Федор постарался на славу: наверное, впервые по-настоящему показал, на что способен мастеровой. Единодушно было признано, что работа Сафонова не уступает модным югославским стенкам, сделанным под русскую старину. Куда там! И резьба на сафоновской работе была побогаче, и медные ручки, кольца, облагороженные временем, выглядели интереснее. Каждая дверца, панель — на магнитной защелке,



на изящных рояльных завесах, а иные внутренние стенки стеллажей были отделаны наборными зеркалами — все из тех же шкафов, не пропадать же добру. Стеллажи стеллажами, но и стены кабинетов были отделаны не хуже! Каждая полированная панель была взята в дубовую раму из обналички. Расположенные в шахматном порядке, они делали комнаты выше, просторнее. Для сейфа, холодильника, гардероба в стенах имелись ниши, и Федор, скрыв их за деревянной обшивкой, приспособил под дверцы оставшиеся резные створки шкафов. Сафонов и батареи отопления спрятал под решетки из дубовой обналички, ими же аккуратно обшил уже успевшие облупиться крашенные подоконники. Кабинеты получились — картинка, да и только.

С этого времени, несмотря на молодость, стали его величать Федором Николаевичем. И с этого же дня, считай, круто повернулась жизнь Федора Николаевича. Вскоре дошли слухи до треста, что в четвертом управлении, самом прежде заурядном, начальство себе такие кабинеты отгрохало — иной министр позавидует. Управляющий трестом, не откладывая дела в долгий ящик, нанес визит в управление, куда обычно заезжал не чаще раза в год. Осмотрел все молча, от минеральной воды из холодильника, любезно предложенной хозяином кабинета, отказался, а под конец гневно сказал:

— Что же ты, сукин сын, с планом едва справляешься, фонд заработной платы у тебя постоянно с перебором, а шиковать надумал?! А ну-ка, покажи смету на ремонт.

Начальник управления, молодой хитроватый мужичок, уже и сам не рад был великолепному кабинету. Он покопался в письменном столе и достал бумагу. Смета как смета, без особых затрат, да и на какие шиши шиковать, когда концы с концами еле сводили, почти каждый месяц приходилось в банке зарплату рабочим чуть ли не на коленях выпрашивать.

— А как же ты умудрился такое наворочать? — управляющий недоверчиво обвел глазами кабинет.

— Да это Федор Николаевич, будь он неладен, расстарался, а я за него теперь отдувайся, от желающих поглядеть на ремонт отбоя нет, — огорченно признался начальник управления.

Так Сафонов был представлен высокому начальству.

Месяца через два принялся он за ремонт в тресте. Там, конечно, с материалами было попроще — что попросил, то



и добыли к началу работ. Работать самостоятельно, когда никто тебе не указчик, к тому же с хорошим материалом, — одно удовольствие. Да и сроки его не поджимали. Хорошая работа времени требует, начальство это понимало. После двух лет, проведенных под землей, где темно, тесно, сыро и дело непривычное, любимая с детства работа была особенно приятна, руки сами тянулись к знакомому инструменту. Придавал не известный доселе азарт в работе и материал. Раньше ему с такими породами дерева, как бук, орех, граб, светлая вишня, кизил, работать не приходилось, хотя и слышал, какой это благородный материал, какая богатая у него текстура, не налюбуйешься. Вот когда пригодились советы однополчанина краснодеревщика Петерса, и чертежи его в дело пошли.

Когда он работал проходчиком, начальство их особенно вниманием не баловало, там, под землей, начальник один — бригадир, такой же работяга, как и ты. А тут к нему то сам управляющий, то главный инженер заглядывали, и все уважительно Федором Николаевичем величали, за руку здоровались, про житье-бытье его молодое расспрашивали, не перебивая слушали, и это очень нравилось Сафонову — рабочий человек уважение, внимание к себе выше всего ценит. Непосредственных своих начальников видел теперь Федор Николаевич редко. В те дни, когда их вызывали в трест на совещание или другое какое мероприятие, навещали они Сафонова непременно и, зная, что он с самим управляющим чаи гоняет (был однажды такой случай), держались с ним подчеркнуто вежливо. Уважение уважением, но и денежная премия по праздникам, хоть и невеликая, была ему гарантирована. Откровенно говоря, начальник управления и не рад был, что работает у них такой умелец, вроде числится человек, а будто и нет его. Да и зарплату ему требовалось обеспечить на уровне, попробуй ее выкрой, когда план едва выполняли. Но о том, чтобы сорвать ремонт в тресте, не могло быть и речи. Однако нет худа без добра, по окончании ремонта хитроватый начальник управления почувствовал, что трестовское руководство как-то подобрело к нему, а ведь шли уже слухи, что придется оставить кресло в роскошном кабинете.

— Ай да Федя, Федор Николаевич — угодил управляющему, да и мне тоже, — обрадовано сказал начальник, когда Сафонов закончил работу в тресте.



Сафонов вернулся к товарищам, в свою бригаду, но долго работать ему там не пришлось. В ту весну мода на кондиционеры, словно эпидемия, охватила город. Мощные бакинские кондиционеры, не один год загромождавшие магазины, вдруг разрешили продавать по безналичному расчету. И в какой-то месяц словно корова языком слизала с магазинных прилавков эти кондиционеры — ни за какие наличные деньги не отыщешь. Смотришь, стоит едва ли не избушка на курьих ножках — и та на улицу двумя-тремя кондиционерами смотрит: мол, вот какая избушка — почти из сказки, но только за государственный счет. Установить кондиционер — дело не очень-то простое, все-таки оконную раму переделывать приходится, и не в каждой организации плотник или столяр числится. А дорогую вещь установить, чтобы и работала хорошо, и от солнца и ветра укрыта была, и на зиму убиралась махина, на это и вовсе хороший мастер требовался. Первые кондиционеры Федор Николаевич устанавливал не в управлении, не в тресте, а в «Стройбанке», том самом, где его начальник в вечных должниках ходил. Много он там поработал, почти в каждом отделе монтировал кондиционеры, а осенью сам же и снимал их на консервацию, и стеклил на зиму проемы. Вот тут-то и смекнул начальник — какой нужный для него человек Федор Николаевич. Где только не ставил кондиционеры Сафонов по его поручению! Он даже специальную технологию разработал, как быстрее и надежнее монтировать, а из обрезков дубовых и буковых досок заранее наготовил нужные планки, пластины, и в обрамлении из ценных пород дерева кондиционеры смотрелись еще красивее. Казалось бы, чем тут можно было отличиться от других, но работа Сафонова была видна, что называется, за версту.

Когда поутихла эта страсть и Сафонов снова вернулся на объект, бригада его обновилась полностью. Молодые рабочие о нем и слухом не слыхивали. Но начальство к нему относилось уважительно, зарплата была что надо, в общем, горевать не приходилось. За эти полтора года в новой роли мастера на выезде он отвык от грубой работы на объекте, где тяжеленную опалубку из мокрой древесины все время приходилось ставить, переставлять и старые чердачные перекрытия в пыли и грязи перебирать, — короче, так намаешься за день, домой едва ноги



донесешь. И он уже не мог дожидаться, когда его вызовут из конторы на новую работу. Хотя приглашений ждать приходилось недолго. Вскоре начальник управления затеял ремонт у себя дома, и Федор Николаевич надолго перебрался к нему со своим инструментом. Холодную лоджию с линолеумными полами превратил в прекрасную комнату. Поставил двойные рамы из некрашеной розовой сосны, утеплил стены древесно-стружечными плитами, а сверху вместо покраски финской пленкой под дуб обтянул, для хозяйки в торцах шкафы смастерил — загляденье. Пол паркетный на стружечные плиты набил — тепло. Батареи отопления под дубовой решеткой таким образом спрятал, что они в лоджии столиками служить стали. Жена начальника оказалась женщиной на редкость хлебосольной, такими обедами его каждый день кормила, что Федор Николаевич жалел: работа эта когда-то ведь закончится. К тому же, сберегая его время, начальник каждое утро за ним в общежитие свою машину посылал. Совсем заважничал Сафонов.

Еще через два года Федора Николаевича уже трудно было узнать, ездил он на собственных «жигулях»-люкс, оснащенных японским кассетным стереомагнитофоном, при белых, под овчину, мохнатых чехлах, с музыкальным итальянским сигналом и прочими, по мелочи, автомобильными аксессуарами, что только могли быть в природе. В свои двадцать семь он выглядел гораздо старше. Нет, не потому, что постарел или работа согнула, — просто теперь держался важно, солидно и ходил-то не торопясь, степенно, как один его знакомый завмаг. Одевался тоже, как знакомые из торговли или автосервиса, — короче, не хуже, чем законодатели мод в этом городе.

С каких, спрашивается, достатков, к тому же вещи-то — дефицит из дефицита? Да все за счет моды, за счет эпидемии. Нежданно-негаданно мода на антикварную, «бабушкину» мебель докатилась и в эти края. Годами пылившаяся в комиссионных магазинах, она была разобрана вмиг. Ее рьяно разыскивали по уцелевшим от сноса старым домам, через знакомых, друзей, соседей, сослуживцев. За полный комплект антикварной мебели доставали новейший мебельный гарнитур, плюс брали на себя



все расходы по его перевозке. Старинную мебель найти оказалось не так уж сложно, а кто ее отреставрирует, приведет в порядок, чтобы заиграла она старым, потускневшим красным деревом? Это оказалось посложнее. На весь город отыскались два человека, способных на такое тонкое дело, кто мог вернуть к жизни старые буфеты, горки, шкафы, перетянуть кожей или китайским шелком овальные диваны, пуфики, стулья и глубокие уютные кресла. Были то Федор Николаевич да еще один старичок-краснодеревщик, имевший здоровье неважное, да и клиенты, сидящие на дефиците, его не интересовали, мастер был бессребреник, и если брался за работу, то только для души, — в общем, Сафонову не конкурент.

Конечно, ни о каких шараханьях моды Федор Николаевич никогда бы не узнал, проживи еще хоть десять лет в этом городе. Да и заказчики такие не стоят на каждом углу и объявления в газеты не дают. Такие дела тихо-мирно в своем кругу делаются, и нужных людей друг другу по цепочке передают, по рекомендации, и тут рекомендация большую силу имеет. Начальник Сафонова, хоть не намного был старше Федора Николаевича, а мужик тертый, он и про мебельный бум знал, и с людьми нужными общался, он и все дело организовывал. Федору Николаевичу только работать оставалось. А обеспечить его нужными материалами было непросто. Медную фурнитуру, не отличающуюся от старинной, приходилось заказывать на заводах, доставать мягкую кожу на обивку, казалось, совсем невозможно, но она всегда была, и даже нужных расцветок: зеленую — так зеленую, цвета спелого апельсина — пожалуйста. Яркие китайские шелка — каких хочешь тонов и расцветок — всегда под рукой рулоны. В общем, солидно было поставлено дело. Федор научился различать своих клиентов: одним его начальник заказывал работу бесплатно, это были нужные товарищи, а другие, как понимал Сафонов, просто люди при деньгах, которые с лихвой возмещали потери на нужных людях. Но Сафонов и у тех, и у других вел себя одинаково, не интриговал, не интересовался, сколько заплатили, он работал. Конечно, от подарков, предлагаемых услуг или угощения за столом не отказывался, но ничего сам не просил, не вымогал. За это его и ценил начальник и кроме зарплаты еще столько, а иногда и больше подкидывал в конверте по окончании очередной работы.



Заказчики понимали, что вся работа — и ее качество, и сроки исполнения — зависели от Федора Николаевича, и зачастую просили его поработать и в воскресенье, и допоздна, и он редко отказывался, да и нечего ему было делать в общежитии: книг он не читал, на концерты не ходил. А с тех пор, как один клиент пообещал ему «сделать» машину, считай, работал он день и ночь, уж очень хотелось иметь автомобиль. Хозяева шикарных квартир рассчитывались за добавочные услуги щедро, чаще модными вещами, потому что брать деньги он остерегался, боялся разгневать начальника. Через полгода, после того, как заимел собственные «жигули», у него и невеста объявилась. Работал он тогда в торговой организации: редкий старинный австрийский столовый гарнитур восстанавливал. Торопил его хозяин чрезвычайно, хотел к серебряной своей свадьбе гостей удивить. Он и так к Федору Николаевичу подъезжал, и этак, а тот — ни в какую: «жигулям» своим еще не нарадовался, в воскресенье то в горы, то на озеро купаться выезжал, и по вечерам при фонарях по городу нравилось круг-другой сделать. Но заказчик оказался мужик с хитринкой, на слабости к «жигулям» и поймал. Обещал: сделаешь работу к сроку — чехлы, колпаки, сигнал и прочую импортную дефицитную дребедень в тот же день получишь в подарок, а для затравки свою машину показал. И Сафонов сдался, не только в субботу — в воскресенье работал, даже ночевать оставался у них.

За столом и познакомился с единственной дочкой хозяев, она оканчивала торговый техникум. Разводить с ней шуры-муры он не собирался, да и в голове в то время были только колпаки от «мерседеса», и в ушах звучала единственная мелодия — развеселый «дили-дан» звукового сигнала. Но даже сквозь эту однообразную мелодию он расслышал, как настойчиво родители увязывают его имя с именем дочери, и все шуточки за столом двойным смыслом полнятся, и даже сквозь ослепивший не только глаза, но и мысли хромированный блеск заграничных колпаков он увидел-таки, как Анжелика трижды в день меняет наряды, то чашечку кофе во время работы поднесет, то подойдет поддержать или подать что-нибудь, то сядет рядышком, готовая сорваться по первой его просьбе.

Особого интереса к собственной персоне со стороны девушек Федор Николаевич до сих пор не замечал, хотя и ростом



вышел, и внешностью природа одарила род Сафоновых не скупясь, и потому внимание Анжелики, девушки стройной, пышущей здоровьем, богато и со вкусом одетой, не оставляло его равнодушным. На серебряной свадьбе родителей Анжелики, куда Федор был приглашен со своим начальником, его уже представляли гостям как дочкиного жениха.

Свадьба молодых откладывалась до осени: Федор Николаевич должен был получить квартиру в доме, который сдавался к Октябрьским праздникам. В управлении он уже числился ветераном (что немудрено было при такой текучести), пятый год работал и четвертый — в передовиках ходил, фотографию не снимали с Доски почета, ну, как такому квартиры не дать, да и начальник в свое время надоумил его заранее подать заявление.

Невесте надо было уделять время, и работы в последнее время прибавилось: теперь дачный ажиотаж сменил мебельный бум, все дельцы города стремились поскорее построиться в предгорьях, вдали от нескромных глаз, капитально, с размахом, со вкусом, с персональным архитектором. И Федор Николаевич закрутился, с ног валился, как в те дни, когда ставил тяжеленную опалубку из мокрой листвянки.

Срочно нужен был напарник, помощник. И начальник, да и сам Федор Николаевич об этом думали не раз, иногда на казенную работу он брал в компанию какого-нибудь шустрого паренька, но никто из них так и не дотянул до нужного уровня, а частники платили за качество. К тому же ребята любили выпить, а кто пьет, у того язык что помело, а это уже всему делу конец.

И как был обрадован Федор Николаевич, когда в день зарплаты у окошечка кассы его окликнул крепыш в солдатской гимнастерке. Сафонов долго вглядывался в него, но все-таки не признал, а парень оказался бывшим практикантом из ПТУ, с которым четыре года назад он делал тот нашумевший ремонт в конторе.

Радости Сафонова не было конца, он частенько вспоминал этого толкового паренька, и вот тебе удача — на ловца и зверь бежит. Федор Николаевич его даже на своей машине домой подбросил и так уговаривал работать вместе, что Сережа, не раздумывая, согласился, хотя и собирался уволняться из управления — новое место себе уже приглядел.



Оглядывая роскошное убранство машины, Сергей не выдержал и спросил:

— В лотерею, Федор Николаевич?

— В лотерею, Сережа, в лотерею, — ответил развеселившийся от удачи Сафонов и добавил: — Будешь умником, в «фирме» на работу ходить станешь, а года через два, глядишь, и у тебя машина появится, да получше этой — новой модели.

В тот же вечер Федор Николаевич доложил своему начальнику о новом напарнике. Выбор был одобрен — человек знакомый, старательный, к тому же только из армии, холостяк, в деньгах, разумеется, нуждается.

По утрам, сберегая время и желая показать свое доброе отношение, Сафонов заезжал за Сережей на машине. Работали они сразу в трех местах, ремонтировали две квартиры в городе и обшивали дубовой паркетной доской финскую баню на одной даче в предгорьях. Работы было невпроворот, много не поговоришь, но за обедом за столом, который щедро накрывали специально для них, Сергей как-то сказал:

— Что-то эта работенка халтурой пахнет. Не нравится мне все это.

Федор Николаевич, опорожня пенящийся холодным пивом бокал, в ответ благодушно рассмеялся и менторски заявил:

— Если пахнет, пивка выпей, а то можешь и рюмочку водки пропустить с горбушей малосольной, вот запашок и отобьет.

Так шуточками и отделался. Но когда выпадала свободная минута на работе или вечером, по дороге домой, в машине — Сергей за свое.

— Ну, учи меня жить, учи, — добродушно посмеивался Сафонов, ловко обгоняя одну машину за другой. И, высаживая напарника у дома, говорил: — Ты, Сережа, как сосуд под давлением, никак пары не выпустишь, но я терпеливый, я подожду, уж больно ты парень свой, нужный. Нам с тобой еще долго работать.

Однако Сергей долго работать не собирался, говорил, что закончит ремонт до конца месяца и вернется в бригаду. Сафонов слова напарника всерьез не принимал, считал, что все образуется, как только тот получит первую зарплату и первый конверт с деньгами. Он даже попросил начальника



повышенный аванс выписать, и когда хозяин дачи, донельзя довольный банькой, намекнул Федору Николаевичу, что набавит ему за отличную работу, Сафонов сказал, что ему ничего не нужно, а вот Серегу требуется экипировать как следует, парень только из армии вернулся. За прощальным обедом после парилки в новой сауне довольный хозяин и вручил Сереге джинсовый костюм, красную рубашку и остроносые туфли на высоких каблуках. Сергей вроде обрадовался, но когда возвращался домой, все-таки сказал зло в машине:

— Вот из-за таких гадов, как этот толстомордый, ничего и не купишь в магазине, все из-под полы. Я такие туфли уже целый месяц ищу.

Авансу он тоже не очень обрадовался, долго мял в руках деньги, недовольно качал головой и сказал:

— Это какая же зарплата выйдет, если аванс такой? А из управления люди бегут из-за малых заработков, не хотят за мизер на объекте пахать. Я ведь тоже из-за этого увольняться собирался тогда.

— Ну, теперь-то, Серега, грех на зарплату будет жаловаться, со мной не пропадешь, — перебил Федор Николаевич, торопливо усаживая его в машину, чтобы не услышали их другие рабочие.

В городе с ремонтом тоже поторапливали, и они на время разделились: работу попроще Сафонов доверил Сергею, пусть поработает самостоятельно, может, настроение переменится, да и мастерство скорее приобретет. По утрам он по-прежнему подвозил его на работу, а вечером забирал домой.

Сергей за эти дни осунулся, похудел.

— Что, неважный харч у хозяев? — спросил однажды Федор Николаевич.

— Не идет мне в горло чужой, а проще сказать — ворованный, кусок. И о тебе, Федя, думаю. Пропадешь ты с этим жуликом, на кого ты свое мастерство тратишь? Твое бы умение к дворцам приложить, к настоящему делу, а ты в сауны да спальни душу вкладываешь. Хочешь, уволимся вместе и найдем такую организацию, где твоему мастерству рады будут?

В тот вечер они крепко поругались, а наутро Сергей, не дожидаясь Сафонова, трамваем поехал в контору. Был день получки, и в ведомости напротив своей фамилии и солидной



суммы он размашисто, но четко написал, что дармовых денег получать не желает. А когда кассирша начала ругать за испорченную ведомость, Сергей отвечать не стал, а отправился к начальству. Заявление у него было заготовлено еще дома. Сергей писал, что отказывается от заработной платы, потому что и дня не проработал на объекте, и аванс в сумме ста двадцати рублей, полученный заранее, обещает вернуть управлению, как только прокуратура удовлетворит его иск к хозяевам, у которых он проработал месяц. Копию иска он тоже выложил на стол. Когда начальник, красный от гнева, увидел в правом углу листка размашистую подпись, то невольно побледнел.

Подпись городского прокурора была ему знакома и ничего хорошего не сулила.

*Малеевка,
1982*





Македонский

Рассказ

Коротенькая телеграмма извещала о том, что главный специалист по антикоррозийным работам Искандер Амирович Акчурин срочно вызывается на консультацию к генеральному подрядчику. Такие неожиданные сообщения после сдачи проекта заказчику восторга в институте не вызывали, особенно у бухгалтерии, но в телеграмме оговаривалось, что все расходы, связанные с поездкой, берет на себя химкомбинат.

Телеграмма не встревожила главного специалиста, хотя проект реконструкции химкомбината был, пожалуй, самым крупным заказом института за последние годы.

За двадцать лет своего существования институт снискал себе добрую славу, потому что как-то сразу, без раскочки, сложился коллектив, и в творческой атмосфере, утвердившейся в лабораториях и мастерских, быстро выросла плеяда не только кандидатов, но и докторов наук. Главные специалисты знали свое дело, и уровень проектных и изыскательских работ был высок. Поэтому и старались разместить у них заказы даже дальние подрядчики. Но Акчурин не волновался не только потому, что верил: в десятках папок пояснительных записок, технологических карт, сотнях чертежей не может быть серьезных ошибок, но и оттого, что знал — такой вызов последует.



В мае прошлого года в конце рабочего дня неожиданно широко распахнулась дверь его кабинета и на пороге появился улыбающийся незнакомец. Был он высок, элегантен, тонкий кожаный пиджак облегал спортивную фигуру.

Если бы не улыбка на лице, Акчурин принял бы его за архитектора. Но архитекторы с выправкой теннисистов к Акчурину с улыбкой не приходили, они воевали с ним за каждый метр городской земли.

— Что, зазнался, однокурсников не узнаешь?

И, только услышав бодрый, энергичный голос, Акчурин признал Алика Пруха, легендарного капитана институтской команды баскетболистов, соседа по комнате в общежитии.

В те давние студенческие годы Акчурин не был с Аликом на коротке. Прух был знаменитостью, гордостью института, первым денди в их небольшом областном городке, но кто же не обрадуется товарищу студенческих лет, тем более такому знаменитому?

Уже через полчаса Искандер Амирович настойчиво приглашал гостя домой, на что Прух резонно возражал, что жены не любят неожиданных визитов даже родных братьев, не то, что старых приятелей, и, в свою очередь, настаивал на ресторане при гостинице, где он снял номер.

В ресторане, несмотря на многолюдье, для них быстро нашелся столик у окна. «Прух есть Прух», — отметил Акчурин, обаяние бывшего однокурсника срабатывало безотказно.

Прух остановился в двухэтажной каменной гостинице, оставшейся от прежних времен. На высоких лепных потолках ресторанный зал летали обшарпанные, с истершейся позолотой крыльев амуров, а в распахнутые окна прямо к столу свисала сирень.

Там, в далеком провинциальном городке, где они когда-то учились, царицей цветов тоже была сирень, и каждый взгляд в окно вызывал восторженное: «А помнишь?»

Оказалось, что Олег Маркович работает начальником отдела капитального строительства крупного химкомбината, в этих краях оказался по делам.

Между воспоминаниями и частыми «а помнишь?» Прух выложил и дело.

Приехал он в проектный институт разместить заказ на реконструкцию комбината. О том, что главным специалистом по



антикоррозийной защите в институте работает однокурсник — знал, не раз встречал утвержденные им проекты. Более того, рассчитывал на помощь Акчурина.

Две недели каждый день встречались они и дома, и на работе, и Искандер Амирович все больше и больше поддавался под обаяние Олега Марковича.

В студенческие годы Прух учился неважно, и Акчурин, вызвавшись помочь товарищу, где-то втайне сомневался, сможет ли тот достойно вести переговоры с руководством института. Волнения оказались напрасными. Олег Маркович был вполне компетентен и даже слегка бравировал своим знанием производства, к тому же был вооружен экономическими показателями комбината, цифровыми выкладками, сулящими выгоду от реконструкции.

Редкий заказчик приезжал с такой четкой программой.

Даже о том, что они сокурсники, Прух просил до поры до времени никому не говорить. Впрочем, приводить этот аргумент в поддержку заказчика Акчурина не пришлось. Очаровал Алик и семью Искандера Амировича: сыновья-подростки тут же записались в баскетбольную секцию и по утрам гремели на веранде гантелями, а жена не раз удивленно говорила, что не ожидала встретить среди строителей такого элегантного, обаятельного, милейшего человека, и восхищенно прибавляла: «Артист, настоящий артист!»

Дела Пруха были улажены в самый кратчайший срок, к удовлетворению обеих сторон.

Заказчик не мелочился, не оговаривал каждый пункт договора с институтом, даже особые условия, прилагаемые к типовому соглашению, пробежал мельком и подмахнул своей щедрой, в пол-листа, подписью.

К моменту подписания столь крупного заказа и выяснилось, что щедрый и великодушный подрядчик — сокурсник Искандера Амировича, и проводы, как ни настаивал Прух на ресторане, были организованы у Акчурина дома. Акчурины, муж и жена, оба работали в институте, круг их знакомых ограничивался коллегами по службе, и Олег Маркович был приятно удивлен, застав вечером за праздничным столом главного инженера института и нескольких главных специалистов с женами. Вечер прошел славно, Прух был в ударе, играл



в четыре руки с хозяйкой дома на пианино, танцевал со всеми дамами, рассказывал истории из студенческой жизни, из которых явствовало, какими неразлучными друзьями и лихими парнями были они с Акчуриным.

Самое удивительное было в том, что Искандер Амирович действительно припоминал рассказываемое Прухом; ну, может, его личное участие в событиях несколько преувеличивалось и приукрашивалось, но доля правды была.

Прух заметил, как это преобразило самого Акчурина, он вроде помолодел, построил на глазах, и это не осталось незамеченным гостями, они увидели хозяина совсем иным: молодым и озорным. И без того уважаемый в коллективе и среди друзей, Искандер Амирович теперь еще вырос в глазах сослуживцев: это чувствовалось в тостах, провозглашаемых в честь хозяина дома; это же было заметно в теплых взглядах жены.

Расходились далеко за полночь. Искандер Амирович провожал товарища по сонному, притихшему городу пешком. Настроение было прекрасное, уговаривались почаще звонить, даже замахнулись следующим летом с семьями отдохнуть в Паланге, Прух обещал снять роскошную дачу в сосновом лесу...

Уже у гостиницы, прощаясь, Олег Маркович вдруг сказал:

— Искандер, дружище, у меня к тебе личная просьба, от которой у меня в жизни многое зависит, и мне бы не хотелось, чтобы ты мне отказал.

Изложено это было таким неожиданным для Пруха просительным тоном, что Акчурин рассмеялся, считая это очередным розыгрышем веселого приятеля.

— Да полно, Алик, может ли какой-то заштатный проектировщик сделать что-нибудь для всеильного Пруха! — в тон, сквозь смех, ответил Искандер Амирович.

— Может, может, — нетерпеливо перебил Прух и продолжал: — В той части проекта, что коснется тебя лично, я имею в виду очистные сооружения, прошу, заложи старую технологию: кислотоупорный кирпич в два-три слоя, чем больше, тем лучше, на кислотостойком цементе с окисловкой швов.

— Зачем это тебе? Такие очистные сооружения станут в копеечку!

— Знаю, дорогой, знаю. Не спеши, объясню. Во-первых, строить таким образом очистные сооружения площадью три



гектара я не намерен. Не хуже твоего знаю новейшие эпоксидные смолы, химически стойкие пластикаты, пленки, эмали, а чего не знаю, надеюсь, ты не утаишь от меня. Почему я намеренно хочу удорожить строительство? Под проект реконструкции комбината смогу выбить сотни тысяч штук дефицитного кислотоупорного кирпича. На комбинате только и успеваем латать дыры, летит футеровка не по дням, а по часам, ни в какие нормативы по кирпичу не укладываемся, как строили — бог знает. Так что не волнуйся, кирпич пойдет на доброе дело. Дальше: разве ты знаешь хоть одну стройку, уложившуюся в первоначальную сметную стоимость? Даже получив колоссальный экономический эффект от замены технологии строительства очистных сооружений, едва ли мы уложимся в те миллионы, что определит ваш институт, а если уложимся, ходить руководству, да и мне, в героях.

Пойдем дальше. В наших краях с трудовыми ресурсами не густо, только за красную зарплату и можно привлечь людей. Реконструкция, брат: газ, пыль, теснота, вредные условия. А фонд заработной платы от общей стоимости работ определяется. Как ни крути, дорогой, ты должен мне помочь.

— Положим, Алик, что так... — Акчурин медленно трезвел. — Как же ты собираешься сменить проект?

— Ах, святая душа, провинция. — Прух бережно обнял Искандера Амировича. — Я подам рацпредложение на замену способа защиты от агрессивной среды на очистных сооружениях. Приложу обстоятельный, наивернейший, наиталантливейший проект... который ты мне подготовишь... Чтобы это крупное предложение прошло в местном Стройбанке и не шокировало обывателей суммой вознаграждения, нужно письменное согласие института на замену, в данном случае — твое согласие, мой друг.

Акчурин долго и молча раздумывал, и Прух нетерпеливо заговорил вновь:

— Наверное, я должен был начать с этого, но тогда бы ты совсем не понял меня. Для меня это редкий и крупный шанс отличиться, не век же мне отделом заведовать, Искандер. — Прух продолжал обнимать Акчурина. — Я знаю, очистные сооружения — дело твоего престижа, ты в них большой дока. Мы построим самые лучшие очистные, какие только



ты спроектируешь, я клянусь тебе в этом. Хочешь, возьми авторский надзор, а я под твой проект добуду любые материалы, дефицит из дефицита, хоть из космического центра, ну как?

Незаметно они повернули от гостиницы, и уже Прух провожал Акчурина.

— Ну, что тебе не помочь старому товарищу, — продолжал наседать Олег Маркович, — десятки институтов и без моей просьбы накидали бы мне три слоя кирпичей на три гектара, вот и все очистные... Послушай, а может, тебе помочь нужно, соответствующие анализы грунтов подготовить, чтобы на кирпич упор делать?

— Да нет, это не проблема, — откликнулся наконец Акчурин.

— Я тоже думаю, не проблема. При твоём авторитете в этом вопросе и знаниях любую теоретическую базу можно подвести, даже под обыкновенный кирпич, — обрадованно рассмеялся Прух, но Искандер Амирович разговора не поддержал.

Молча они пересекали квартал за кварталом, и Олег Маркович чувствовал, как он упускает, казалось бы, решенное дело.

У дома Акчуриных Прух вдруг предложил:

— Может, еще по одной на посошок?

В окнах еще ярко горели огни, и Искандер Амирович пригласил его снова в дом.

— Что, никак не можете распрощаться, молодость вспомнили? — радостно встретила их хозяйка дома.

Оставив друзей в кабинете, она продолжала начатую уборку.

Дома, в собственных стенах, а может, считая, что разговор исчерпан, Искандер Амирович повеселел.

Но Олег Маркович так не считал и после кофе, любезно предложенного расторопной хозяйкой, вдруг продолжил:

— Искандер, надеюсь, ты понял, что не из приятельских отношений я прошу тебя оказать мне услугу. Сумма вознаграждения такова... Короче, многим хватит, а твоя доля будет... — Прух лениво поднял глаза к потолку и, немного подумав, сказал: — Ну, положим, стоимость «жигулей-люкс», колес-то у тебя нет... — Но, глядя на бесстрастное лицо Акчурина, торопливо добавил: — Конечно, ты можешь настаивать на большем — дело есть дело...



Искандер Амирович встал и молча прошелся по кабинету.

— Ну, вот что, Акчурин, надоело на твою постную физиономию смотреть. Сейчас пойду к твоей жене и скажу, от какого ты предложения отказываешься. Она инженер и поймет меня, такой шанс не каждый день представляется...

Это уже был просто треп, холостой выстрел, на который Прух особенно не рассчитывал. Но вдруг Акчурин устало опустился в кресло и сказал:

— Алик, ради бога, не впутывай жену в темные дела. Так и быть, сделаю я тебе очистные. Только сейчас — до свидания, пакостно что-то на душе.

— Пройдет, дорогой, пройдет, по себе знаю, — перебил заулыбавшийся Прух и, налив бокал до краев, выпил одним махом.

В зале, на ходу чмокнув в щеку улыбающуюся жену Акчурина и напевая опереточный мотив, Прух быстро распрощался, в два прыжка одолел лестничную клетку и исчез в темноте улицы.

Прух уехал, и размеренная жизнь Искандера Амировича вошла в прежнее русло. Правда, и дома, и на работе еще долго вспоминали Олега Марковича, но Акчурин такие разговоры не поддерживал, впрочем, это было в его характере, да и временем на праздные разговоры он никогда не располагал.

Разговоры о Прухе разгорались с новой силой, когда собирались компанией на праздники или семейные торжества, ставшие столь частыми в последние годы.

В такие дни женщины, разгоряченные вином и воспоминаниями, вдруг требовали, чтобы главный инженер вызвал Олега Марковича в институт немедленно. Энергичнее других настаивали на этом женщины, не попавшие на ту знаменитую вечеринку с Прухом, они считали себя несправедливо обойденными. Прух становился легендой. И легенда постоянно обрастала новыми деталями. Инженеры-проектировщики, командированные на комбинат, попадали под опеку Олега Марковича, они-то и подбрасывали дрова в незатухающий костер разговоров о Прухе. Олег Маркович, как и обещал при подписании договора, создал проектировщикам идеальные условия для работы. Поселил в лучших номерах заводской гостиницы, разумеется, бесплатно, даже на усиленное спецпитание за счет комбината в столовой для вредных цехов определил, работой только!



От желающих поехать на химкомбинат отбою не стало. «Чудеса да и только, вот если бы все заказчики так», — удивлялась заведующая кадрами, оформляя поток командировочных удостоверений.

По праздникам Акчуриным приходили поздравительные телеграммы, нарядные, на лаковых художественных бланках. Длиннющий текст телеграмм вызывал восторг дома, столько в нем было блеска, остроумия, юмора. Сколько деталей из уклада семьи Акчуриных было схвачено зорким глазом Пруха и мило обыграно в этих телеграммах! Искандер Амирович даже подозревал, что жена телеграммы эти тайком носила на работу, и там ее коллеги, высокообразованные женщины, не таясь, дружно тщательно выписывали в свои записные книжки щедрое словоблудие Олега Марковича.

Изредка Прух звонил Искандеру Амировичу на службу, но звонки эти были деловыми, Олег Маркович уверенно готовил комбинат к реконструкции. Разговора об очистных сооружениях Прух не заводил.

Выжидать Олег Маркович умел, да и заложенная в проекты мощная трехслойная кладка из кислотоупорного кирпича его вполне устраивала.

Но перед самым Новым годом — то ли нервы подвели Олега Марковича, то ли время подпирало его, — поздравляя Искандера Амировича с наступающим праздником, Прух в своей обычной шуточной манере все же спросил: мол, не осчастливит ли его сокурсник долгожданным подарком?

Искандер Амирович пребывал в добром расположении духа, вокруг него, да и во всем институте уже царил предпраздничная суета, и, подстраиваясь под манеру Пруха, он ответил, что некоторые товарищи вообще не заслуживают подарков, не то что новогодних...

На другом конце провода возникло минутное замешательство, чего Акчурин не ожидал. Получив мелочное удовлетворение от ничтожного укола, он все же сказал, что отошлет обещанное к февралю.

На вызов комбината Акчурин отправился поездом. По натуре он был домосед и в командировки выезжал только в случае крайней необходимости, даже в отпуск старался попасть куда-нибудь поближе, в местный дом отдыха или санаторий.



Самолет по состоянию здоровья ему был противопоказан. И эта, по нынешним меркам, близкая, в двое суток, дорога показалась Искандеру Амировичу путешествием в дальние-дальние края. И дома готовили и провожали его в дорогу, словно в космический полет. На дворе стоял май, отпускные страсти еще не начались, и Акчурин ехал в совершенно пустом купе мягкого вагона, главным специалистам бухгалтерия такую роскошь позволяла.

В залитом ярким электрическим светом купе Искандер Амирович перелистал журнал, сунутый в чемодан предусмотрительной женой, и лениво подумал, что ехать поездом не так уж и нудно, как расписывали молодые инженеры из его отдела. Неторопливый ужин с традиционной дорожной курицей, обжигающий чай в подстаканниках, пожалуй, сохранившихся лишь на железных дорогах, а затем долгое и бесцельное глядение в законную тьму привели Искандера Амировича в доброе расположение духа. Он даже и не вспомнил о цели своего визита на далекий химкомбинат, хотя после телеграммы три дня, до самого отъезда, ходил скованным, в каком-то нервном напряжении. Проснулся он бодрым и энергичным и с самого утра мерил шагами пустой коридор малолюдного вагона.

Узкий коридор был устлан новой синтетической дорожкой, и оттого в вагоне стоял знакомый Акчурину сладковатый запах химволокна. Искандер Амирович слегка приоткрыл окна, и ветер заиграл занавесками.

Закононый ветер и напомнил Акчурину, что на дворе весна, и он стал жадно вглядываться в степь, в мелькающие полустанки, разъезды. И удивительно, запоздалая и уже отцветающая весна степного края что-то напоминала, была чем-то близка Акчурину... Овраги, на дне которых поблескивала талая весенняя вода, а на северных склонах, среди кустов еще серел последний снег... Склоны небольших холмов, вдруг полыхнувшие тонкошеими маками... Скот, ошалевший от простора и света после тесных и слепых сараев... Босоногая ребятня, высыпавшая за околицу и от переполнявшей радости весны махавшая кепчонками всем проходящим поездкам...

Где, когда это было с ним, да было ли? И вдруг его обожгло. Та тоненькая речка, что утром в мгновение ока сверкнула под колесами его поезда, и есть речка его детства. Пропетляя



какую-нибудь сотню верст, зелеными своими берегами свернет она к его отчему дому. И от этой неожиданной догадки закружились мысли Акчурина. Припомнилось, что, когда Прух назвал комбинат, который представляет, мелькнула тогда и тут же пропала мысль, что это где-то в знакомых краях. Оказывается, комбинат хотя и в соседней области, а всего-то ничего от тех мест, где родился и вырос Акчурин. А значит, оттесняя воспоминания, пронеслась новая стремительная мысль, эти очистные сооружения — для его реки-кормилицы. Да, да, кормилицы, ведь на речке, от ее щедрот и выжили они, босоногие мальчишки голодных военных, да и первых послевоенных лет.

Неожиданное открытие то радовало, то печалило Акчурина. Радовало тем, что появилась возможность посетить родные места, Олег Маркович на своей машине доставил бы его туда враз. Печалило его то, что он понимал — душой не готов к такой встрече.

Помнил ли он, тосковал ли по дорогам своего детства? Никогда. Нет, Искандер Амирович не считал себя черствым человеком, не считали его таковым и друзья, и сослуживцы, не считали черствым и домочадцы. Но вот сейчас, под стук колес, наедине с собой, называть себя душевным человеком Акчурин бы не стал.

Двадцать пять лет назад, после семилетки, с котомкой на плече, на крыше ташкентского почтового поезда подался он в близлежащий город. Уехал не по чьей-либо подсказке, не надеясь на чью-либо помощь, уехал с твердой программой: учеба — работа. Конечная цель — институт. Уехал и как отрезал, поначалу не возвращался, а позже уже не к кому стало. А там, на заовражном мазаре, покоится немало близких ему людей. Сможет ли он среди этих бедных, неухоженных могил найти дорогие его памяти? Конечно, нет. А просить кого-нибудь, чтоб отыскиали, подвели тебя к самым запущенным, осыпавшимся, сровнявшимся с землей и заросшим бурьяном и чертополохом могилам, — что может быть мучительнее для человека, который считал, что жил и живет достойно?

И уже, может быть, не к месту Акчурин вспомнил своих сыновей, которых очень любил и занимался их воспитанием, как он считал, тщательно и всерьез. Рассказывал ли он им



о своей родине, об их корнях? Нет, потому что считал: неинтересными, темными людьми были его родичи, кроме труда и забот, в жизни ничего не видели. Да и они, дети, не интересовались, иные проблемы наваливались на них день ото дня. А по-человечески это — не знать, как по отчеству звали бабушку или бабушку, не знать свой род, пусть даже неграмотными, дикими были они, давшие тебе фамилию и жизнь? Что посеешь, то и пожнешь. И Акчурин почему-то подумал: а вдруг его сыновья, ради которых он жил, так же десятилетиями не придут на его могилу. Вконец расстроенный, Искандер Амирович начал собирать вещи и складывать белье.

Встречать сокурсника Олег Маркович пришел с женой. Одного взгляда, даже через оконное стекло, было достаточно Пруху, чтобы понять, что гость чем-то расстроен. Но Прух, зная характер Искандера Амировича, отнес это за счет издержек дорожного сервиса, который у нас, увы, еще далек от совершенства. В машине, когда жена расспрашивала о семье, о детях, Искандер Амирович несколько оживился, повеселел. Но, несмотря на это, Олег Маркович все же решил круто изменить намеченную на сегодня программу. Первоначально он предполагал, что посидят вечером тихо — мирно, в семейном кругу, а позже, по дороге в гостиницу, возможно, и дела обговорят.

«Нет, никаких дел сегодня. Веселья, огня на всю катушку, вот что нужно», — думал Олег Маркович, обгоняя машину за машиной по пути в лучшую городскую гостиницу.

В гостинице они поднялись прямо на второй этаж, ключ от номера был в кармане Олега Марковича. Двухкомнатный «люкс» приятно удивил Акчурина, в таких апартаментах он еще не живал.

Друзья-приятели Пруха знали о том, что Олег Маркович со дня на день ожидает товарища, однокурсника, крупного специалиста по антикоррозийным работам, и на приглашение явиться откликнулись дружно. Круг знакомых Пруха в основном тоже составляли сослуживцы, люди, связанные с комбинатом. И пока женщины в зале первого этажа коттеджа Пруха накрывали на стол, в просторном кабинете Олега Марковича на втором этаже у Искандера Амировича завязался профессиональный разговор с коллегами, стихия, в которой Акчурин чувствовал себя всегда уверенно, на высоте. Когда жена Олега Марковича



поднялась пригласить мужчин к столу, то едва разглядела гостя сквозь табачный дым. Акчурин, уже без пиджака, окруженный друзьями мужа, с карандашом в руке за письменным столом Олега Марковича что-то оживленно доказывал остальным.

Погуляли на славу, от мрачных мыслей, возникших в дороге, не осталось и следа.

Утром Акчурин проснулся рано, то ли вчерашняя вечеринка сказала, то ли смена обстановки повлияла. Голова побаливала, но настроение было нормальное. По дороге в ванную он машинально дернул ручку холодильника и от удивления остановился. Чуть в глубине, рядом, аккуратно стояло бутылок пять темного чешского пива «Дипломат», несколько бутылок минеральной воды «Нарзан» и две бутылки кефира.

«Ну и Прух!» — вырвалось у Акчурина, и его охватило какое-то радостное предчувствие удачи. Напевая и насвистывая мелодию, услышанную вчера, он принял ванну. Затем по рецепту, услышанному от Пруха, смешал пополам кефир с минеральной водой и с удовольствием выпил стакан, другой, сразу почувствовав, как исчезло неприятное ощущение во рту. Времени до условленного часа встречи с Олегом Марковичем было еще много, и Искандер Амирович решил отправиться на комбинат пешком.

Ему вдруг захотелось увидеть комбинат самому, без сопровождающих, захотелось пройти по безлюдным цехам, мастерским, хранилищам.

На территории даже неопытному человеку бросилось бы в глаза, что комбинат готовится к реконструкции. Почти вдвое предполагалось удлинить главный корпус, и Искандер Амирович увидел готовые подкрановые пути, вплотную примыкающие к старому зданию. Рядом на земле лежал готовый к монтажу башенный кран.

У стен, не загромождая проходов и проездов, были сложены десятки тысяч штук кирпича, предназначенного для очистных сооружений. Дальше, под навесом, стояли изящные и мощные японские автокраны «Като». Двадцативосьмиметровый вылет их стрел позволял выполнять наиболее сложные работы на высоте, а таких работ предстояло немало. Чем дальше шел Акчурин по территории, тем больше дивился он энергии, хватке Пруха.



Во всем чувствовались его крепкая рука и хозяйский глаз. Постепенно в цехах, мастерских, гаражах, у аппаратов начали появляться люди, из распахнутой настежь двери бесплатной спецстоловой дохнуло запахом крепкого кофе, на комбинате заканчивался завтрак.

Неожиданно от группы рабочих, стоявших у столовой, отделился невысокий плотный мужчина в противокислотном костюме и направился к Искандеру Амировичу, разглядывавшему необычную градирию сернокислотного цеха.

Не доходя нескольких шагов, остановился и, обернувшись к остальным, заорал:

— Я же говорил — это Македонский! — Быстро приблизился и своими короткими сильными руками крепко обнял растерявшегося Акчурина.

Македонский... Искандер Амирович вспомнил свое школьное прозвище. Как давно это было, он даже сам позабыл... Македонский... а ведь иначе его в школе и не называли, даже классный руководитель, учитель немецкого языка Давид Генрихович, иногда, особенно в гневе, называл его Македонским.

И тут же, еще в объятиях своего земляка, а, может быть, даже одноклассника, которого Искандер Амирович не признал, отчетливо припомнил он, что их маленький, бедный степной поселок в первые послевоенные годы поставлял юношей только в гурьевскую мореходку и в ремесленное училище, готовившее химиков-аппаратчиков и слесарей по ремонту химического оборудования.

Ведь там кормили, пусть не всегда досыта, да и привлекала парней красивая по тем временам форма.

Так вот, оказывается, какому комбинату принадлежало училище, откуда приезжали на праздник в щегольской парадной форме кумиры их мальчишеских лет!

— Что, не признал? — И улыбка на миг сбежала с крупного обветренного лица. — А впрочем, что тут удивительного, — продолжал земляк, улыбаясь, — укатали сивку крутые горки. Двадцать пять лет нынче, как на комбинате. Прямо из училища в семнадцать лет — и во вредный цех, скоро уж на пенсию. Цеха здесь не кондитерские, как у нас шутят. А ты молодцом выглядишь, орел! Так и не узнал? — Он отступил



на шаг и засмеялся: — Фаттах я, сосед твой, земляк; через плетень жили. Вспомнил?

И только теперь Акчурина узнал соседа, заступника и покровителя детских лет.

А тут подоспели и остальные. Среди них Искандер Амирович признал своих односельчан: Вовку Урясова, Юрку Курдуляна, Рашата Гайфуллина, Мелиса Валиева, Богдана Гибадулина, Андрея Эппа, Сансызбая Бектемирова, Лермонта Берденова... Глядя на этих рано состарившихся мужчин, Искандер Амирович вдруг припомнил их в светлый весенний день. «Ремесло» прибыли домой на майские праздники. Они стояли компанией у райсада в тщательно выутюженных «клевшатах», в лихо надвинутых фуражках. Из-под урезанных до предела козырьков на юные лбы свисали аккуратные челки — мода тех далеких лет. Он помнил молодыми их всех, помнил даже горевшую золотым блеском медную фикса на переднем резце Курдуляна и не забыл, что у Богдана на мощных бицепсах имелась наколка: «Аллах, спаси от друзей, от врагов я сам оборонюсь». Тогда эта наколка, казалось, имела глубокий философский смысл, и не на одну руку переключивало «мудрое» изречение. Запомнил он их потому, что они были свои парни. И в целом свете конкуренцию им могли составить только земляки — ребята из мореходки; что ни говори, а морскую форму девушки уважали больше... Рано понявшие, что такое кусок хлеба и справная пара обуви, эти юноши знали, что всю жизнь им придется пахать во вредных цехах на «химии», знали, что не за здорово живешь в пятьдесят лет пойдут на пенсию, а слышал ли кто-нибудь от них нытье? Никогда. Считали, работа как работа, мужская, а еще знали — надо. Потому эти неунывающие, веселые парни и были кумирами мальчишек рабочих пригородов и маленьких сел.

— Ребята... — только и сказал Искандер Амирович, и от волнения у него перехватило в горле.

Наступило время начала смены, и они направились к цеху флотации, где работало большинство его земляков. По дороге Акчурина то и дело напоминали фамилии его одноклассников, друзей, соседей, даже родственников, работавших на комбинате. Искандер Амирович на многочисленные «а помнишь?» отвечал вежливым «да» или «а как же!», хотя многие фамилии,



даже родственников, были для него сейчас пустым звуком. И он на секунду ужаснулся глубокому провалу памяти, ведь с этими людьми, как напоминали идущие рядом, он ездил на сенокос, ходил с ночевкой на озера, собирал со сжатых полей колоски, страшась лютого конного объездчика Кенесары-чулака.

В цехе Искандер Амирович выдержал минут двадцать, хотя по дороге храбрился и обещал пробыть с ними час-другой, желая увидеть каждого за работой. Фаттах, провозжая земляка до дверей, шутливо успокаивал:

— Даже Македонскому, Великому Искандеру Двурогому, не выдержать без респиратора во флотации и получаса, для этого пять лет нужно пообвыкнуть в цехе. — Глядя на расстроенное лицо земляка, Фаттах на этот раз бережно обнял Акчурина. — Встретимся в перерыв в нашей столовой, поделимся по-братски трудовым обедом, теперь-то ты понял, почему нас бесплатно кормят, а то есть среди вашего брата, начальства, горячие головы, которые не прочь бы отменить или урезать питание, говорят, накладно, мол, государству.

Олега Марковича Акчурина нашел в кабинете.

— Донесли уже, что по цехам разгуливаешь, с народом общаешься, — встретил Искандера Амировича улыбающийся Прух.

Акчурин, оглядывая светлый и просторный кабинет Олега Марковича, увидел, что стены завешаны схемами, планами, рисунками из проекта реконструкции, а в углу на низкой подставке высился макет будущего комбината. Макет впечатлял.

— Ты чего это такой зеленый, нездоровится? — спросил участливо Прух, придвигая товарищу кресло.

— Да нет, в цехе флотации побыл, земляки там у меня работают... Знаешь, Алик, — оживился вдруг Акчурин, — пожалуй, половина кадровых рабочих комбината — мои земляки, да что там земляки, одноклассники, родственники, друзья, соседи, а теперь, наверное, и дети их уже работают... А ведь и я мог...

Вдруг раздался звонок внутреннего телефона, перебивший Акчурина. Олега Марковича срочно требовали к директору.

Прух отсутствовал долго, и Искандер Амирович успел осмотреть макет, схемы на стенах, затем, приметив на столе Пруха папку с пояснительной запиской и альбом с чертежами, на которых значилось «Очистные сооружения», отошел с ними к окну.



Отсылая зимой свой вариант проекта, Искандер Амирович сделал его вчерне, многого нарочно не рассчитал, хотя указал, как это сделать. Не делал он и чертежей, просто наброски. А теперь он держал в руках солидную работу, на уровне хорошего проектного института.

От окна Акчурин вернулся к столу, и рука его машинально потянулась за записной книжкой. В проекте он нашел кое-что для себя новое, интересное.

«Откуда он это взял?» — думал Акчурин, торопливо листая пояснительную записку и сверяясь с чертежами. За этим занятием его и застал Прух.

— Послушай, Алик, ты уже знал такую технологию, когда говорил со мной в прошлом году?

— А ты думал, ты один мозгой ворочаешь, а другие только и ждут твоих рекомендаций?

— Ты видел в деле такие очистные?

— Да, видел. В позапрошлом году были у наших коллег, химиков ГДР, в городе Галле. Оттуда кое-что и прихватил. Видел, наверное, какая градирня у сернокислотного цеха?

— Видел. Но почему ты скрыл от меня эти новинки? Ведь мы бы все это взяли на вооружение в институте. Все, что ты добавил, очень просто, надежно и эффективно.

— Значит, даешь «добро» на замену, главспец? — заулыбался довольный Прух.

— Дать-то даю, но разве дело в этом? Давай лучше поговорим, что ты еще увидел там, у немецких друзей?

— Искандер, обещаю: вечером в номере у тебя на столе будут две толстые амбарные книги. Дарю и ничего больше не утаиваю.

Акчурин набросал на четвертушке бумаги текст и подал Пруху фирменный бланк института. Олег Маркович через несколько минут вернулся в кабинет с отпечатанным письмом. Искандер Амирович, не вычитывая, тут же подписал.

— Ну, вот и гора с плеч. Ты уж извини, Искандер, характер у тебя девичий, не знаешь, что в следующий момент выкинешь. Где будем обедать?

— Я уже обещал, что буду обедать с земляками. Наверное, и вечер проведу с ними... Уж извини, как-то неловко получится, если откажусь, да и мне самому что-то вдруг захотелось побыть с ними.



Все три дня пребывания на комбинате Искандер Амирович проводил с земляками. В свой роскошный номер он приходил поздно ночью, да и то дважды они с Фаттахом проговорили до утра.

Земляки, особенно старшего поколения, жили в добротных домах, выстроенных собственными руками. Каждый вечер шумной компанией в сопровождении лихой тальянки Богдана переходили они из дома в дом; везде Акчурина ожидали друзья, родственники, одноклассники.

Узнав о том, что Акчурин — один из авторов проекта строительства, застольные разговоры они, в конце концов, заканчивали проблемами реконструкции. И Акчурин, многоопытный проектировщик, не раз брался за карандаш, хотя знал, что вряд ли уже можно что-либо изменить в проекте этого комбината. Искандера Амировича обрадовало известие, что именно его земляки внесли в партком предложение о своем добровольном участии в реконструкции комбината. «Свои цеха — своими руками», — как выразился Курдулян.

Но гораздо больше удивлял и радовал Акчурина все тот же неунывающий Фаттах. Он раскритиковал проект очистных сооружений в пух и прах и даже посоветовал Искандеру Амировичу съездить в Самарканд на родственное химическое предприятие. Фаттах, оказывается, в прошлом году ездил с семьей в далекую Среднюю Азию, старину вековую смотреть, но, прослышав, что там есть химкомбинат, не удержался, считай, треть отпуска провел с коллегами. Там он и очистные сооружения осмотрел... И когда через день, собравшись с духом, Искандер Амирович объявил за столом, что в проект очистных сооружений будут внесены крупные изменения, сообщение его было воспринято бурно. И Акчурин, как-то враз ощутив искреннюю заинтересованность в делах завода сидящих рядом простых людей, почувствовал жгучий, неотступный приступ стыда.

Эти приступы охватывали его и потом, особенно когда он оставался один. Нет, он не жалел о поездке, нарушившей его покой, она открыла ему глаза на многое, о чем он ранее и не задумывался.

Всю жизнь он проектировал и считался хорошим специалистом. Да, Искандер Амирович был принципиальным инженером



и в технических вопросах не шел против своих убеждений. Он никогда бы не дал «добро» на такие общеизвестные проекты, как, например, потолки высотой два с половиной метра, или совмещенные санузлы, или линолеумные полы на бетоне в жилых квартирах, или картон на входных дверях, и примеров, только более специфических, известных не столь широкому кругу людей, он мог бы привести множество. А ведь те, давшие «добро», его коллеги ходили в героях. И получили немалое вознаграждение за свои «изобретения», «рационализаторские предложения».

А как же! Ведь столько сэкономлено перегородок за счет санузлов, столько пиломатериалов сэкономлено за счет дешевого линолеума, а уж сколько бетона и кирпича сэкономлено за счет высоты квартир — не счесть! Жаль, что занизить потолки еще сантиметров на двадцать-тридцать не позволили, остановили. Вот бы экономии в такой большой и строящейся стране было! А люди? О людях в таких случаях «изобретатели» особенно не думали.

Акчурин не принадлежал и к тем расплывшимся в последнее время «деятелям», которые прикрывались звонкими лозунгами и призывами к «экономичности», «эффективности», а на самом деле жили по принципу: «После меня хоть потоп».

Не один проект «зарезал» Акчурин, не одну эффектную идею, за которой на самом деле стояла халтура, развенчал он потому, что знал: даже через десятки лет большой бедой, трагедией для человека или природы могли стать скоропалительные и необоснованные решения. Химия есть химия. За эрудицию и огромный опыт, инженерную принципиальность ценили его в проектно-изыскательских кругах страны.

А как же насчет людей? Видел ли он их за своими проектами? До сих пор считал, даже был убежден, что видел. Но теперь, обойдя комбинат вдоль и поперек, побывав не только в цехах, но и в закутках, приспособленных под душевые, комнаты отдыха или раздевалки, проведя долгие часы на работе и на отдыхе с теми, кто стоял у аппаратов и газгольдеров, он понял, что видел абстрактную массу, а не живых людей. И понимал, что уже давно мог сделать для химиков, таких же, как и его земляки, гораздо больше. И мысль эта была горше всего. Всю жизнь проектируя, он ни разу не подумал, что сам



мог стать химиком-аппаратчиком или слесарем по ремонту химического оборудования, как призывали рекламные объявления, вывешиваемые каждую весну в их школе. Ну ладно, о себе не вспомнил, но как мог забыть, вычеркнуть из памяти людей, знавших, помнивших, даже любивших его. Фаттах, ежегодно наведывавшийся в родные края, присматривал за могилой его матери, оказавшейся соседкой его родителей и на этом последнем пристанище человека на земле. И, как говорил Фаттах в ту бессонную ночь, никогда он не думал плохо об Искандере, а жалел, что пропал, мол, человек, затерялся след соседа. Сказано было искренне, великодушно. А вот он никогда не вспоминал Фаттаха, покровителя юных лет. А ведь никто его, даже в хмельной компании, ни разу не упрекнул, что позабыл край родной, двадцать пять лет не заявлялся. Наоборот, Акчурун чувствовал: они рады ему, рады его успехам, гордились, что земляк выполняет для комбината такое важное задание.

В эти дни он почти не виделся с Олегом Марковичем. Не потому, что избегал его, а просто так складывалось, да и Прух был человек очень занятой. К тому же земляки Акчурина не оставляли гостя одного ни на минуту. Иногда они переговаривались по телефону, а пару раз по вечерам Олег Маркович отыскивал Искандера Амировича в поселке химиков, но увести его оттуда ему не удавалось. Посидев с полчаса за столом, Прух, чувствуя себя здесь лишним, уезжал.

В день отъезда у Искандера Амировича было единственное желание: как-нибудь разминуться с Олегом Марковичем. Накануне Прух настаивал по телефону на прощальном ужине у него дома, но Искандер Амирович отказался, сказал, что уже решено отметить отъезд у Фаттаха.

Весь вечер у Фаттаха Акчурун ловил себя на мысли, что постоянно смотрит на калитку, не появится ли вдруг Прух, но Олег Маркович так и не пришел. В конце застолья Акчурун повеселел, он радовался, что избежал разговора и расчета с Прухом. Все случившееся он воспринимал как дурной сон. В машине, которую на вокзал вел сын Фаттаха, он даже от души безголосо подпевал Богдану. Заскочили на минуту в гостиницу за чемоданом. Искандер Амирович в последний раз получил у портье ключ от своего шикарного номера и на всякий случай спросил, нет ли ему письма или записки, но ничего не было.



Довольный, мурлыкая под нос веселый мотивчик, Акчурин с Фаттахом поднялись в номер. На полу стоял заранее уложенный чемодан, а на кровати, на кипенно-белом покрывале лежал, сверкая лаком и никелем, хищно-изящный «атташе-кейс», дипломат, давняя мечта Акчурина.

На вишневой, под «крокодила», кожаной крышке чемоданчика белела записка: «Искандер! Спасибо за все. Кейс — подарок, несолидно главспецу ходить с бухгалтерской папкой».

Искандер Амирович рассеянно щелкнул замками и на миг в чуть приоткрытую щель увидел флаконы, флакончики, тюбики, брикеты, баночки, подумал: наверное, французская парфюмерия для жены, и между ними — пачки денег в нетронутой банковской упаковке. Закрыв кейс и от растерянности даже опустился в кресло. Внизу уже сигналила машина, и Фаттах, прихватив чемодан и дипломат, поспешил вниз.

На вокзал следом подъехали и остальные земляки Акчурина. На перроне до прихода поезда шумно откупорили несколько бутылок шампанского. Земляки то и дело объясняли каким-то своим знакомым на вокзале, кого они провожают, и на все лады хвалили Акчурина, и про очистные сооружения упоминали с гордостью.

Запоздавший состав продержали на станции долго. Чемодан и кейс занесли в пустое купе и кинули на вторую полку, а Акчурина все не отпускали в вагон. Богдан продолжал наигрывать на тальянке озорную мелодию «Апипа», и Фаттах пустился в пляс, стараясь затянуть в круг Акчурина, но Искандер Амирович, вяло перебирая ногами, смотрел в вагонное окно и видел в раскрытую дверь купе дипломат, и тоскливо думал: «Хоть бы кто утащил его, Господи...»

Словно нехотя поезд тронулся и медленно-медленно стал набирать скорость. Искандер Амирович, стоя у опущенного коридорного окна, машинально улыбался землякам, поспевавшим за медленно катившимся вагоном. Никогда в жизни его так торжественно не провожали.

В какой-то миг ему хотелось закричать: «Не тот я добрый и порядочный человек, за которого вы меня принимаете, — мерзавец и взяточник я», — но на это у него не хватило духу.

Потихоньку вагон оживал: собирали билеты, раздавали белье, уже заварили чай, а Искандер Амирович все стоял



у открытого окна, вглядываясь в ночную темень. Но он не замечал ни машин на переездах, слепивших вагоны мощными фарами, ни полустанков, мелькавших огнями каждые шесть километров, он думал о себе, о своей жизни.

Он думал, что, какие бы ни создавались законы, инструкции, правила, все равно, если не работают в душе человека очистные сооружения, толку от назиданий и мудрых инструкций мало. Не приставишь же к каждому человеку милиционера. А к нечестному милиционеру кого приставить? И Акчурин мучительно искал для себя какое-то особенно уничижительное слово, но все слова, что он знал, не подходили. И Искандер Амирович вдруг вспомнил, как однажды за столом Курдулян сказал после ухода Пруха: «Умный мужик, но не наш...» Вот, верно! И он, как бы обрадовавшись, повторял: «Не наш... не наш...».

Ташкент, 1977








Отец

Рассказ

бычно Ариф-абы вставал рано. Лязгала металлическая задвижка тяжелой двери, и только он появлялся на пороге, его уже встречал мохнатый неведомых степных кровей пес Суан. Хозяин ласково трепал его промеж ушей, иногда мягко приговаривал что-нибудь, а чаще поглаживал машинально, дневные заботы обступали Арифа-абы с первого шага по двору.

Суан знал, что праздных минут, тем более поутру, у хозяина не бывает, и не особенно огорчался, если и не слышал что-нибудь ласковое в свой адрес. Вильнув хвостом, как бы показывая, что и у него дел невпроворот, Суан убегал исполнять свои собачьи обязанности.

Летом Ариф-абы любил застать те утренние часы перед рассветом, когда облака, еще темные от редеющей ночной мглы, вдруг начинали дружно розоветь, и малиновая заря стремительно окрашивала тучки по всему небосводу. Как и всякое чудо, это длилось всегда такой краткий миг, что порой лишь опусти голову, а первые утренние лучи уже полились на землю, и поплыли над тобой ватной белизны легкие, перистые облака. Словно и не было никакого малинового сияния. Эти розовые рассветные мгновенья больше всего любил Ариф-абы и всякий раз старался не пропустить этих минут, а если уж случилось такое из-за ненастья, непогоды или еще каких напастей,



то огорчился не меньше, чем какой-нибудь пустынный бедуин, пропустивший утренний намаз.

Вот и сегодня, не проспав рассвета, он ощущал в себе какой-то нарастающий душевный подъем и легкость.

Со смутным ожиданием предстоящих важных дел, которые, судя по утреннему настроению, будут легко выполнены, он прошел бетонной дорожкой на зады, к огородам. По пути в который раз удовлетворенно подумал: дорожка получилась что надо! Два года, считай, прошло, а и куска бетона не выкрошилось. Добрый цемент завезли в тот год в потребсоюз, да и работать с бетоном опыта ему было не занимать. Возле грядки помидоров на бетонных тумбах, отлитых тогда же, вместе с дорожкой, стояли рядом три кадки, залитые до краев водой. Колодец у Камалова почти двадцатиметровый, и глубиной водой аж зубы сводит, такая она холодная, но приятная на вкус. Поливать сразу такой водой огород нельзя, застудишь зелень. Этому Арифа Камалова еще лет десять назад научил сосед, Кирюша Павленко, первый в селе огородник. Считай, с его семян, благодаря его советам появились в Хлебодаровке огороды.

Ариф-абы заглянул в залитые с вечера кадки, улыбнулся собственному отражению и, щедро черпая пригоршнями потеплевшую за ночь воду, умылся. Через дорожку, напротив кадушек, росли огурцы. Помидоры только-только покраснели, а огурцы собирали уже третью неделю. В эту весну Камалов по совету соседа высадил новый сорт, «ташкентский», огурцы удались на славу — гладкие, длиненькие, темно-зеленые. Во всем поселке выращивали огурцы только пузатенькие, с пупырышками и желтенькой полоской на боку. «Ташкентские», как и предсказал Павленко, оказались скороспелыми и урожайными.

Сходив в сарай и прихватив высохшие до скрипа плетенные из тальника кошелку и корзину, Ариф-абы быстро собрал созревшие за ночь огурцы. Пересыпая урожай из кошелки в большую корзину, все удивлялся непроходящей приподнятости своего настроения. Ведь радовался он не оттого, что у него раньше, чем у других, пошли огурцы, и каждое утро из кооперации приезжал к нему на мотороллере с фургончиком хромой Ильяс-закупщик и всякий раз говорил: «Ариф-абы, в этом году вы самого Кирюшу обставили. Покупатели в ларьке постоянно



спрашивают: «Камаловские есть?» Конечно, приятно слышать такое, но не из-за огурцов же в самом деле... Тогда что же?

Перетащив тяжелую корзину к калитке и полив огород, Камалов оглядел окруженный высокими тополями двор. Хозяйством своим он гордился, все здесь было построено собственными руками, возвращено долгим и кропотливым трудом. Взгляд его задержался в дальнем углу двора. Поблескивая двумя маленькими окошечками и двускатной цинковой крышей, голубела свежевыкрашенная мунча — настоящая русская банька. Много всяких бань пересмотрел Ариф-абы, даже с финской с сухим паром ознакомился, прежде чем выстроил свою. Даже березовые веники у него не переводились, хотя и не росла красавица в этих краях. Раз в два года приезжал к Камаловым в гости из-под Казани свояк, брат жены, когда с семьей, когда один. Никаких подарков и гостинцев, принятых по татарскому обычаю, Ариф-абы не признавал, кроме березовых веников. И приходилось свояку, человеку веселого нрава, ублажая шутками проводников и одаривая их теми же банными вениками, везти в далекую Хлебодаровку два полных шелестящих канара. И когда по прибытии на место он снимал их с багажной полки, в вагоне долго еще стоял лесной запах, и проводница, еще вчера не впуская свояка с таким грузом и грозившая штрафом и всеми карами, с грустью замечала, как улетучивается аромат березы в ее доме на колесах.

Может, баня — причина столь необычного радостного возбуждения, но сегодня ведь только пятница...

С тех пор, как Камалов выстроил собственную мунчу, он все чаще ощущал, как не хватает ему сына, мальчика...

Когда у них еще не было детей и позже, пока подрастали девочки-близнецы, ходили они вдвоем с женой Гульнафис в баню к соседям, к Кирюше Павленко. Потом девочки подросли, и мать стала брать с собой их. Дожидаясь своей очереди на крылечке Кирюшиной хаты, покуривая дешевую сигаретку, Ариф часто думал: «Вот если бы у меня был сын...» Видел он этого мальчика сначала малышом, потом подростком... Видел его и взрослым мужчиной, пришедшим усталым с работы, — хотелось, чтобы сын перенял и отцовскую профессию.

Видел, как они вместе таскали воду, кололи дрова, перетирали речным илекским песком кадки, бадейки, ковшики,



корыта, доставали с чердака березовые веники, доступ к которм Ариф-абы запретил даже жене...

Но не было у него сына, не дал Аллах... Думал о сыне Камалов часто, но никогда ни словом не обмолвился об этом ни с кем. Гюльнафис свою он любил и знал, как бы она огорчилась, узнай про эти его думки.

За завтраком он управился с целой сковородкой таба — татарской яичницы, сбиваемой на свежем молоке, выпил несколько пиалушек крепкого чаю со сливками. Все в том же добром расположении духа пошутил с женой: жаль, мол, нельзя прихватить в поле кипящий самовар, там уж он бы с ним расправился сполна.

Работать предстояло на восемнадцатом километре дороги на Оренбург, и он попросил жену принести ему сумку, с которой девочки когда-то ходили в школу, а теперь он, работая далеко от села, приспособился носить в ней обед. Когда укладывал в портфель огурцы, пучок перьев молодого лука, крутые яйца и молоко в роскошной бутылке из-под кубинского рома, Гюльнафис-апа спросила:

— Отец, ты не передумал?.. Я о нашем подарке молодым...

Так вот она, причина утреннего волнения... Ариф-абы улыбнулся, оторвавшись от сумки, пригладил темные приспущенные усы, вызывавшие искреннюю зависть безусого механика Темиркана, и, подбоченясь, шутливо ответил:

— За двадцать пять лет нашей жизни разве Камалов отступал от своих слов?

Гюльнафис-апа, еще спозаранку заметившая особенное настроение мужа, так же лукаво возразила ему:

— Так уж и не отступал?..

Переставив поудобнее в сумке бутылку с молоком и угорив мужа выпить еще пиалу чая, она прошла в соседнюю комнату и вернулась, держа в руках беленький узелочек.

— Вот, отец, пятьсот сорок три рубля, возьми. Да не потеряй, не отступающий от своих слов человек!

— Деньги потеряю — не беда, но если слову моему цены не будет...

— Ладно, ладно, ты сегодня с утра разговорчив, как мулла, — добродушно перебила мужа Гюльнафис-апа. — А ну, нагнись-ка, пожалуйста... — Положив ему в карман завязанный узелок, она еще пришила карман сверху булавкой.



Провожать хозяина до калитки и встречать с работы, как бы поздно он ни возвращался, Суан считал своей обязанностью. Вот и сейчас, добежав до ограды, пес еще долго глядел ему вслед, пока Ариф-абы не завернул за почту.

Дорожно-эксплуатационное управление, или ДЭУ, где работал Камалов, находилось почти на краю села, у самой железной дороги. Потому выходил он на работу загодя и любил не спеша пройтись к своему «производству». Сегодня, сворачивая с улицы на улицу, порадовался, что «грейдерные» дороги поселка, которые поправлял прошлой весной, были еще в хорошем состоянии.

Давно, когда он был еще молодым и эти улицы только начинали приводить в порядок, обиделся однажды на безусого Темиркана:

— Друг, а полгода с поселковых улиц не выпускаешь. Другие тянут дороги к колхозам и совхозам, у них там и кубометры, и километры, а тут все крутись вдоль палисадников...

Темиркан в ответ как-то странно глянул на приятеля и сказал:

— Не ожидал, Ариф, от тебя — кубометры... километры. Ты что ж, хочешь, чтоб улицы Хлебодаровки после первого дождя по кюветам расползлись?

Правильный мужик Темиркан, не зря его то партторгом избирают, то в постройком. Сказал, как отрезал, и не возразишь. С неделю Камалов не показывался на глаза механику. Стыдно было. А теперь, уже много лет, все грейдерные работы внутри поселка за Арифом-абы.

Мысли от той давней размолвки с Темирканом вновь перекинулись к субботе, к баньке.

Да, всю жизнь мечтал о сыне, а теперь вот он, есть. Да какой парень! Ну, сказать сын не совсем точно, зять останется зятем. Но разве, когда молодожены приходят к ним в гости, не говорит он: «Садись, сынок...», приглашая на самое почетное место за столом.

Да ведь и не скажешь по-другому, когда зять все время твердит: отец да отец.

Честно говоря, беспокоился Ариф-абы за дочерей, Нафису и Анису, с учебой у них не особенно ладилось, но десятилетку все же одолели. Пока девочки учились в школе, много дел



там переделал Ариф-абы: чинил и красил кровельную крышу, несколько раз перекладывал печи, стеклил оранжерею, причем делал все это с большим желанием, охотой. В два этажа, кирпичная, с высокими потолками школа нравилась Камалову, и он часто вспоминал свою — покосившийся домик в татарском ауле, где даже вывески «Школа» не было. Часто бывая в школе, он видел, что оканчивают ее и более безнадежные ученики, чем его дочери, а уж как свои учились, он-то знал. Иногда Ариф-абы жалел, что не устроил девочек сразу после восьмого класса ученицами в трикотажное ателье, может, быстрее бы повзрослели?

После школы с таким аттестатом о поступлении даже в самый захудалый техникум не могло быть и речи. А как начали искать работу, пошли слезы. «Туда не пойдём, сюда не пойдём, там пыльно, там грязно, там тяжело, там далеко». И словно щитом прикрывались: «Зря, что ли, мы среднее образование получали!»

Однажды Ариф-абы не выдержал и резко сказал: «По такой учебе, по совести говоря, вас из класса седьмого следовало бы выгнать».

Вот слез-то было. И жена в голос: «На своих детей так говоришь, а уж что чужие... неужто наши хуже других?»

Неделю не разговаривала, и спал Ариф-абы один на сеновале.

Мать, как клушка, хлопотала, бегала, видимо, пошло в ход и доброе имя Арифа-абы, ведь уже который год на районной Доске почета висит его портрет (правда, без усов), и правительственные награды он за труд имеет. Устроила Гюльнафис-апа Анису и Нафису в статуправление. Место, правда, не денежное, но зато не пыльное. Года два Ариф-абы все допытывался у дочерей, какой же они там статистикой занимаются и в чем заключается их работа, но, так и не добившись вразумительного ответа, отступился и больше о работе не расспрашивал.

Счет деньгам в доме вела Гюльнафис-апа, хозяйкой она была толковой, и Ариф-абы не имел привычки спрашивать, как иные мужья, куда, зачем и сколько истрачено. Получку он приносил полностью, в заглашник десятку или пятерку не прятал, если нужно было ему, Гюльнафис-апа, особенно не



расспрашивая, давала эти суммы. Поэтому-то он и не знал, сколько там получают дочери. Спрашивать у собственных дочерей о зароботке было как-то неловко — они ведь теперь такие легкоранимые (это слово он вынес с родительского собрания).

Однажды они с женой пили чай, и вдруг впорхнули в комнату припозднившиеся дочери и радостно, возбужденно защебетали: «Мама, папа, мы сегодня получили зарплату и уже всю до копейки истратили... Такие шикарные итальянские «платформы» в раймаг завезли и пудру компактную, французскую, которую вы нам прошлый год и в Казани достать не смогли». И стали разворачивать коробки и свертки, а шикарные «платформы» оказались просто туфлями.

«А вот и вам подарок», — дочери протянули матери блестящую глянецом красивую коробку конфет.

Ариф-абы если не тревожила, то озадачивала инфантильность взрослых дочерей. Это мудреное слово он тоже почерпнул на одном из школьных собраний. Нравилось оно ему емкостью значения, классная руководительница как можно подробнее объяснила неожиданно вырвавшееся у нее ученое словечко. И не только объяснила, а и привела массу примеров, благо их долго искать не пришлось...

Говоря откровенно, девки были на выданье, а никакого у них интереса ни к работе, ни к завтрашнему дню. Не век же жить под боком у отца-матери, будет и своя семья, дети пойдут.

Конечно, пока жив-здоров отец... А случись что-нибудь вдруг? Вот прошлую зиму, расчищая дорогу для районных автобусов, только чудом и вернулся с тридцатого километра, такая пурга завелась...

И внешностью природа девушек не обделила, как на аптекарских весах точно отмерила лучшее от родителей: от отца — стать, легкость нрава, от матери — мягкость, изящество. И думал Ариф-абы, если не было у них тяги к учебе и работе, может, появится интерес к семье, ведь заглядывались на них многие парни в поселке. Вот, к примеру, сосед Вальтер Герц, парень что надо, механизатор. Семья их в Хлебодаровке уважаемая: как начинается уборочная, портреты сына и отца не сходят с газетных страниц. Глаз не сводит Вальтер с Анисы, а та хоть бы улыбнулась. И парней им каких-то особенных



подавай, тоже, наверное, «не пыльных». Это более всего обижало Ариф-абы, и та обида была всего больше — ведь сам всю жизнь на работе ох какой пыльной!

Дом у Камаловых большой, просторный, и во всем Гюльнафис-апа поддерживает порядок... В зале стоит цветной телевизор, и приемник не просто приемник, а стерео, и магнитофон у девушек с восьмого класса, нынче уже второй, тоже стерео.

Молодежь по праздникам любила собраться в их доме. Девочки для порядка спрашивали разрешения у отца (по совету матери, как думал Ариф-абы), и он никогда не отказывал, а часто даже помогал в хлопотах...

Многих парней Камалов повидал на этих вечеринках, и мало кто пришелся ему по душе, разве что один врач-ординатор, да и тот больше в доме не появлялся, хотя видел его Ариф-абы в поселке еще долго.

Странно, что своих, поселковых, всегда двое-трое, а все больше залетные: практиканты, студенты, ребята городские, — два больших города и слева и справа от Хлебодаровки, при нынешнем транспорте рукой подать.

На эти вечеринки Гюльнафис-апа до блеска убирала дом, выставляла лучшую посуду, а уж какой каурдак жарила, какие балиш и парамаш пекла, иной раз даже чак-чак к чаю не ленилась приготовить. А стряпуха она была известная, ни одна татарская свадьба без нее не обходилась.

Ариф-абы поначалу шутил, спрашивая, нет ли среди этих длинногривых его будущего зятя, не зря ли стараешься. Но Гюльнафис-апа придавала таким вечеринкам большое значение, всерьез надеялась разглядеть будущих спутников для своих дочерей, и Ариф-абы постепенно перестал шутить на эту тему.

Как-то вечером, когда они ужинали всей семьей, по соседски заглянул Кирюша Павленко. Между прочим, сын его, Володька, осенью следующего года должен был из армии вернуться, а парень он неплохой и работающий, да и сосед — на глазах вырос.

Гюльнафис-апа тут же подала на стол бутылочку красненького, налили и дочерям. Слово за слово, разговор переключился на свадьбы, столь частые этой весной в Хлебодаровке. Хоть



поселок и большой, районный центр, Гюльнафис-апа и девушки были в курсе всех свадеб.

Павленко знал, что его друг Ариф не одобряет стремления жены выдать дочерей непременно за парней городских, лучше всего, конечно, за интеллигентов — и чего только не знают соседи! А может, и тайную корысть какую имел: сын-то, сам говорил, частенько дипломатично спрашивал, как, мол, там дочки дяди Арифа поживают, — так что вступил и Кирюша в разговор о свадьбах.

— Да, соседка, свадеб много — это хорошо. Свадьба — это семья, дети. Больше семей, крепче государство. Но глянь с другого бока, а разводов сколько? Чуть более года назад ты свадьбу Смоловым помогала готовить, да какая свадьба была, полгода помнили. А Надька теперь ведь у отца живет. И парень хоть куда, орел был, вы, бабы, наахаться не могли: какие кудри, чисто цыганские. Он ведь здесь на уборке с частью был, отслужил оставшийся месячишко, заехал и увез молодую жену домой, в Абхазию, все честь честью, все добром было, да климат, видишь, Надьке не подошел: сыро там, влажно. Чихать стала и кашлять, с лица сошла, сохла, в общем, девка, вяла. Пошла к врачу — говорят, тебе, мол, Надюша, сухой климат, степной нужен, то есть наш. Надька в слезы, поедем, мол, Арсен дорогой, к нам, у батьки жить будем. А его родители на дыбы, сын у них один, да и Арсен ни в какую. Так и вернулась Надежда одна, сходила, что называется, замуж.

Вот и получается, как лебедь, рак да щука, каждый в свою сторону тянет... Нет, соседка, правы были в старину, когда говорили: «Хоть за курицу, да на соседнюю улицу».

Да и посуди сама, ты тукмаш¹ любишь, а он борщ, он пьет кофе, а ты без чая пропадешь. Или еще вот на пришлых да городских женихов мода пошла: девки наших парней и замечать перестали, думают, если уж парик на голову натянули да туфли на толстой подошве нацепили, так сразу городскому и пара. Город, он тоже не из одних пряников, прижиться, привыкнуть нелегко. Ну, выйдет, положим, какая за городского, уедет из поселка. На работу час, обратно час, да пуговицами на пальто поди запасись. Там очередь, тут очередь — на «платформах» не набегаешься. И молоко не то, и яйца не те, а масло и не пахнет, о сливках и парном молоке забудь. Тут не так сказала,



там не так кашлянула, и белой вороной недолго оказаться, у городских язык тоже острый. Замотаешься так, что того и гляди парик задом наперед наденешь. Да тишины вдруг захочется, намаявшись по квартирам, жилплощадь ведь тоже скоро и за так не дают — вспомнит Хлебодаровку. И будет умолять мужа, устала, мол, я, уедем к нам, а ему, городскому, не понять, за каприз сочтет, пойдут недовольство да ругань, тут-то и конец может быть семье. Конечно, всяко бывает, бывает и иначе, а только мне кажется, что своего берега держаться нужно, по себе дерево рубить...

Павленко Камаловы уважали, и, видимо, Кирюшины слова что-то изменили в брачной политике Гюльнафис-апа. Да и девушки как будто кое-что уразумели.

Осенью почти каждый день в вечерней тени высоких топей Ариф-абы видел поджидающего Нафису парня. Его Ариф-абы знал: прошлой зимой он тащил этого молоденького шофера с трассы и клял начальника автобазы, что подсунул развалюху вчерашнему курсанту. Тогда и познакомились — Гарифом его звали.

Гюльнафис-апа до самого Нового года ни слова не сказала мужу, а дочь уже почти полгода с парнем встречалась, и дело, похоже, шло к свадьбе. Только за праздничным столом у Павленко она потихоньку спросила:

— А этот жених как тебе?

— А раньше разве женихи были? Да и Гариф вроде еще не сватался?..

— Тебе только шутки шутковать, вроде и не невесты дочери твои, а все школярки...

— Парень как парень.

Весной свадьбу и сыграли. Жить молодые у Камаловых не стали, Гариф был единственным сыном, и его родители у себя в казенном коттедже отвели им второй этаж. Однако бывали они у Арифа-абы почти каждый день — ходить-то недалеко, с соседней улицы. Вечером, приходя с работы и стягивая мокрые сапоги в прихожей, Ариф-абы слышал за дверью голос зятя и радовался веселому шуму в доме.

Радовался, что они сейчас сядут за стол и поведут с этим щуплым пареньком степенный мужской разговор, и Гюльнафис-апа, довольная и счастливая, будет суетиться между плитой



и столом. И потом, в какую бы комнату он ни ушел, всюду он будет слышать голос зятя, сына...

А субботы теперь выходили такими, о каких он когда-то мечтал. Гариф служил на Севере и толк в банях знал, мунчу тестя сразу оценил.

Ариф-абы по субботам часто работал, и в такие дни ставил грейдер у себя во дворе. Еще издалека, с высоты оранжевой кабины, он видел, подъезжая, вьющийся дымок...

Волнением и радостью обдавало сердце, что теперь их в семье двое мужчин, что к его приходу сын топил баньку...

Не заходя в дом, заглушив машину, спешил Ариф-абы к зятю. Вдвоем они носили воду, мыли бадейки, а потом, пропустив первыми женщин, долго мылись и неистово, по-мужски, парились.

Дома на столе их уже поджидал пыхтевший самовар и горячий, только из духовки, балиш. А Гариф, несмотря на протесты жены и тещи, каждый раз доставал чекушку беленькой.

Допоздна сидели они после баньки за самоваром и говорили о делах, знакомых и ясных для всех, и Ариф-абы иногда со страхом думал: «А о чем бы я говорил с городским зятем? Разве интересны были бы ему мой грейдер и сельские дороги? Пришлась бы ему по душе наша простая жизнь, принял бы сердцем наши тревоги и заботы?» — и еще большей симпатией проникался к тоненькому большеглазому парню, казавшемуся моложе рядом с дочерью, неожиданно вспыхнувшей яркой женской красотой.

С думами о завтрашней баньке и вошел Камалов на территорию ДЭУ. Грейдер стоял на смотровой яме, и два слесаря-ремонтника с механиком осматривали машину.

— Все в порядке, Ариф, можешь выезжать, — Темиркан, черкнув закорючку в путевом листе, протянул его Камалову. — Да, чуть не забыл, — спохватился механик, — заедешь на полчаса в комхоз, площадку какую-то им спланировать срочно понадобилось.

Ариф-абы хотел поговорить с другом Темирканом о своих планах на завтра и о подарке молодым хотел сказать, думал даже пригласить попариться, а того, гляди, уж и след простыл.

Еще не отгрохотал за оградой московский скорый, а проходил он точно без четверти восемь, как Ариф-абы уже выехал



со двора. В кабине он еще раз потрогал, на месте ли булавка, пришпиленная женой, и зарулил в комхоз.

Пятьсот сорок три рубля, что вручила утром Гюльнафисапа, он должен был уплатить в кассу комхоза за обкладку кирпичом нового дома молодых.

В субботу, после баньки, хотели родители квитанцию и вручить. Сюрприз, так сказать, готовили молодоженам. И то, что с утра пришлось отправляться в комхоз, Ариф-абы счел за доброе предзнаменование. Хорошее настроение, возникшее на рассвете, похоже, не собиралось покидать его весь день, он даже песню какую-то стал напевать.

В комхозе, управившись за полчаса, Ариф-абы заглушил машину. Глянув в боковое зеркальце, поправил усы, снял запыхлившуюся кепку, отряхнул рабочую одежду и пошел в бухгалтерию.

В плохо освещенном коридоре комхоза торопливо отстегнул булавку: попади она бабам на глаза — засмеют ведь. Бухгалтер, лысый казах Сапаргали, не стал, как обычно, придираться, а принял деньги сразу и, выдавая квитанцию, похвалил зятя Камалова, какой хозяйственный парень — вот и дом уже построил себе.

Когда Ариф-абы выехал за Хлебодаровку, шел уже десятый час.

Сразу за Хлебодаровкой вдоль дороги протянулись километра на три огороды. Дружно цвела картошка, и над полем вились пчелы. С краю, прямо у дороги, кое-где ладили арык, пришло время второго полива и окучивания. Давненько Ариф-абы не работал на дороге в сторону Оренбурга и не видел свою картошку, но сегодня, проезжая мимо, не остановился: и так запозднил, там, на восемнадцатом километре, ждали его дорожники.

На скорости почти в сорок километров Ариф-абы быстро добрался на участок. Еще издали увидел, что не опоздал: ни машин с асфальтом, ни черных высыпанных куч не было видно. Два катка заканчивали укатку основания, а асфальтировщики отдыхали у обочины. Дорожники, приветствуя, замахали руками, знали — с Камаловым работать можно, асфальт так разложит, что следом сразу и каток пускай. С другим грейдеристом лопатой до седьмого пота накидаешься — дорога все



равно одни бугры да шишки, а платить теперь в ДЭУ стали за качество.

Ариф-абы, сославшись на то, что ему нужно подтянуть ножи, отказался от приглашения посидеть в компании и, чуть отъехав, стал на обочине.

Подтягивать ножи было ни к чему, за так свою закорючку в путевом листе Темиркан не ставил. Просто хотелось ему побыть одному, да и песню, что напевал с утра, прерывать было жалко.

Взяв пару ключей и ветошь, продолжая то насвистывать, то напевать, он стал осматривать машину. Работал он на грейдерах всех марок, начиная с прицепных, а о таком красавце — мощном, скоростном, маневренном, комфортабельном (кабина отапливалась) — даже не мечтал. Есть же мужики головастые, часто тепло думал Ариф-абы о создателях машины. Но сейчас свою работу он выполнял механически, мысли его были о новом доме для Гарифа и дочери.

Строить свой дом предложила молодым Гюльнафис-апа. Посидели, подумали родители, взвесили все «за» и «против» и решили — дело хорошее. Надо молодым на собственные ноги становиться. Строить рассчитывали года два-три. В этом году собирались лишь получить место у сельсовета и залить фундамент.

Место сельсовет выделил без проволочек, а фундамент залили за две недели, работали вечерами и в выходные дни. Тут такой строительный азарт охватил Арифа-абы, только держись, да и зять загорелся, почти не уступал в работе. Не зря говорят, добрые дела легче делаются, подвернулась стройке удача. Дорожники не успевали выводить сорную траву вдоль путей, и попросили путейцы Арифа-абы пройтись грейдером километров двадцать, чтобы под корень уничтожить бурьян.

Очищал железнодорожную полосу Камалов с разрешения ДЭУ: в выходные дни и по вечерам. Принимая работу, дорожный мастер на радостях сказал: проси, мол, за работу чего хочешь.

Не было у Арифа-абы до этой минуты никаких просьб к дороге, а тут вдруг он увидел рядом у путей аккуратно сложенный штабель старых шпал. Поскольку стройка зятя не выходила у него из головы, он вмиг представил, какой дом можно поставить из шпал, отслуживших свой век, и каким он



будет сухим и теплым. Шпалы ему, правда, сразу не выдали, но разрешение на продажу мастер все-таки выхлопотал в отделеении дороги.

Последние лет десять-пятнадцать дома в Хлебодаровке строили сообща, гуртом. Приглашал хозяин на выходные дни друзей, знакомых, родных, хозяйка затевала вкусный обед, а по окончании работы и вино выставляли. Работа у таких стихийных бригад спорилась, и делалось за день столько, сколько сами бы и за месяц не одолели. Камалов от таких приглашений никогда не отказывался и в чужой работе себя не жалел, поэтому, когда он созывал на воскресник людей, приходили охотно, да и хлебосольство Гюльнафис-апа в поселке было известно.

За четыре воскресника подняли стены, перегородки и накатали балки перекрытия, а в пятое воскресенье сделали самое трудное, покрыли крышу. Три замеса глины с половой готовили, и все ушло на нее. Дел предстояло еще немало, но главное и самое трудоемкое было позади.

Неожиданно быстро продвинувшееся строительство раззадорило молодых, все свободное время копошились они теперь у дома. Видя такое стремление молодых скорее свить свое гнездо, и решили они с женой сделать подарок, обложить дом снаружи кирпичом. Красивее так, добротнее, да и куда теплее будет. Белый кирпич-сырец завозили из города только комхозу, он и обкладывал дома кому надо. Такая форма обслуживания населения пришлось по душе хлебодаровцам, брали за работу недорого, кирпич по казенной цене, а делали в четверть кирпича под расшивочку, залюбуешься.

Вскоре потянулись одна за другой машины с асфальтом, и Ариф-абы принялся за дело, улетели думки о новом доме, о квитанции, что лежала в нагрудном кармане. Только песня об Ак-Идели, приставшая с утра, не слетала с обветренных губ.

Закончили уже в сумерках. Оглядываясь на сделанное, никто не роптал, что запозднились, не каждый день столько наворочаешь, считай, две-три нормы с лихвой. Артель у асфальтировщиков старая, давно сложилась, когда еще ручными катками укатывали и в котлах асфальт варили. Не всякий задерживался: плюс сто семьдесят температура массы, да и в степи летом все тридцать пять; в иной день пудовой лопатой машин по восемь на брата приходилось раскидать.



Ариф-абы от артели не откальвался, и потому, когда, пошабашив, расстелили на травке чью-то чистую рубаху и разложили хлеб, чеснок, зимнее, чуть пожелтевшее сало и огурцы, отказываться не стал, выпил со всеми по маленькой винца за удачный день.

В субботу Камалову пришлось работать до обеда. Вернувшись в полдень, поставил во дворе грейдер и пообедал вдвоем с женой. За столом они еще раз перечитали квитанцию, в ней были указаны фамилия бригадира и сроки начала и окончания кладки. Бригаду эту и бригадира Камаловы знали, они сейчас работали на соседней улице, обкладывали после ремонта старый саманный дом.

Гарифа все не было, и Ариф-абы начал готовить баню сам.

«Наверное, в дальний рейс занарядили, поэтому и вчера не приходил», — думал он, таская из поленницы дрова.

Подошло время купаться, а молодых все не было. Уже помылись Гюльнафис-апа и Аниса, а Ариф-абы не шел один, досадливо говорил: «Какая банька без Гарифа, мы там друг друга без слов понимаем, то ли пару поддать, то ли жару, а уж веничком на лавочке...»

Начало смеркаться, и Гюльнафис-апа стала уговаривать его:

— Шел бы ты, отец, один, сам знаешь, шоферская жизнь какая. Попарься, а я тем временем не спеша на стол накрою, тесто как раз подошло. Управлюсь с пирогами, забегу к ним. А то и сами вот-вот пожалуют.

— И то верно, если скоро придут, застанет меня Гариф в баньке, а если уж запоздают, после ужина вдвоем с Нафисой сходят, мунча наша долго тепло держит, — согласился Ариф-абы.

Купался он не спеша, основательно, все надеясь, что вот-вот распахнется размокшая, набухшая дверь, в густом пару возникнет Гариф и с порога весело крикнет:

— С легким паром, отец!

Но зятя не было. Попарившись всласть, Ариф-абы надел чистое белье и рубаху и, накинув на плечи пиджак, медленно двинулся к дому. В доме ярко горел свет, из раскрытого окна слышалась музыка, и он подумал, что его уже ожидают за столом, прибавил шагу.

В чисто прибранной комнате работал на всю мощь телевизор, транслировался какой-то концерт. За столом,



установленным закусками и пирогами, сидели молодые и заплаканная Гюльнафис-апа.

При виде Ариф-абы она снова уткнулась в передник.

— Что случилось, мать? — Камалов недоумевающе смотрел на жену.

— Уезжают наши детки, — всхлинула Гюльнафис-апа.

— Куда это вы на ночь глядя ехать собрались? — обратился Ариф-абы к насупившемуся зятю.

— Не на ночь глядя, а вот решили с Нафисой махнуть на Дальний Восток.

— Вот-вот, на Дальний Восток собрались... — вмешалась в разговор Гюльнафис-апа.

— Да объясните вы толком, что случилось, почему вдруг уезжаете? И почему на Дальний Восток? — Ариф-абы растерянно присел рядом с женой.

— Матери вот целый час объясняли наши планы, а она в слезы, — ответила Нафиса.

— Может, вы нас поймете, отец, — перебил Гариф жену. — Хотим на год-два заехать подальше и подзаработать как следует, чтоб на все сразу хватило: и на машину, и на гараж, и на мебель... Дом ведь у меня почти готов... А там зарплата что надо, да и надбавки всякие, коэффициенты. В общем, надо нам на ноги встать, да не хочется, чтоб это десятки лет тянулось. Пока-то всем обзаведешься, и жизнь пройдет, — заметно раздражаясь, объяснял зять, как казалось ему, прописные истины.

— А как же автобаза? — спросил Ариф-абы после долгого затянувшегося раздумья. — У вас же людей не хватает...

— При чем здесь автобаза?! — Гариф зло махнул рукой. — Сдал машину, и все дела. А что трудовую книжку не дают, так я плевать на нее хотел, до пенсии далеко... Заработаю еще стаж... Меня и без трудняка возьмут... Рабочих рук-то там еще больше не хватает, а шоферы тем более нарасхват.

Ариф-абы встал и нервно прошелся по комнате.

— Да, не думал я, сынок, что ты из тех, кто за длинным рублем тянется. А тебя-то, Нафиса, что манит в дальних краях? — Ариф-абы остановил взгляд на дочери.

— Меня? — Нафиса по привычке повернулась к матери, надеясь, как всегда, встретить ее одобряющий взгляд, но тут



же отвела глаза. — Хочу посмотреть, как живут люди, отец. Я ведь, кроме Хлебодаровки да Оренбурга, больше нигде и не была, — пробормотала она, глядя себе под ноги.

— Чтоб посмотреть, доченька, туристами едут, да и то все больше в обратную сторону...

Ариф-абы вернулся за стол, глядя на остывающий самовар и стынущие пироги, растерянно подумал, что вот сидят рядом, протяни руку, родные дети, а такое сейчас между ними непонимание, словно чужие они ему.

— Что, мать, может, чаю на дорожку? — Ариф-абы повернулся к жене, и горькая усмешка на миг мелькнула на его губах.

— Какой уж там чай... — Гюльнафис-апа, комкая мокрый передник, выбежала из комнаты.

— Да и нам уже пора. — Нафиса взглядом заставила мужа встать.

В ту ночь сон к Камаловым не шел. Лишь под утро, выплакавшись и выговорившись, задремала Гюльнафис-апа, а Ариф-абы так и не сомкнул глаз. Задолго до рассвета, до своего любимого часа, он осторожно поднялся с постели и, прикрыв жену легким, верблюжьей шерсти одеялом, вышел во двор.

Высокие летние звезды, усыпавшие весь небосвод, сияли еще ярко и, казалось, струили на землю покой и тишину. Но не было покоя в душе Арифа-абы.

При свете звезд он бесцельно ходил и ходил по двору, потом, вдруг спохватившись, прошел к баньке и распахнул настежь двери; подумал: «Хороша мунча, до самого утра тепло сохранила, хоть снова купайся...»

«Все, значит, подсчитал зятек, — шептал Ариф-абы, припоминая, что ночью рассказывала жена, — во сколько крыша дома ему обойдется, во сколько обкладка стен, во сколько веранда и полы. Даже на теплый подвал замахнулся — строить так строить. И югославский гарнитур к новоселью не забыл, и телевизор, и приемник как у тестя... Ушлый оказался зятек, а я его мальчишкой считал», — подытожил Ариф-абы. И от такой расчетливости того, кого он считал сыном, с души воротило Камалова.

Не выспавшийся, злой, раньше обычного ушел он на работу. Шел торопливо, обходя знакомые и привычные улицы; ему казалось, что вся Хлебодаровка уже знает, что его дочь



с мужем, любимым и обласканным зятем, собрались за длинным рублем на Дальний Восток.

Молодые уехали. Все последующие дни и недели Ариф-абы никак не мог избавиться от мысли о своих детях, которые вдруг оказались так далеко от него...

Дом... Если по совести говорить, весь он до крыши Арифом-абы и возведен, разве что гравий на фундамент Гариф на своей машине с карьера завез.

Попробуй-ка старые шпалы на разъездах у путейцев купить, до самого Актюбинска и проедешь, пока триста штук нужных соберешь, да и по пятерке каждая. А Ариф-абы их разом свез, сам, на собственном прицепе, Гариф даже не спросил, сколько уплачено. А ставил дом кто? Друзья Арифа-абы. Деревянный дом возвести дело не простое, здесь нужны мужики с пилой да топором, дружные и в столярке понятие имеющие, стамеску и рубанок в руках державшие, а такие люди теперь и в селе наперечет. Такие мужики теперь нарасхват, ни один из них не отказал Ариф-абы, поскольку званы были им самим. А два приятеля Гарифа, что пришли, на «подай» да «принеси» только и сгодились. Да что там говорить, и лошадей, и половину из колхоза Ариф-абы выпросил, и глину сам привез. И на каждый воскресник сам покупал по барашку на базаре, а Гюльнафис-апа ящиками вино и водку брала.

Никогда Ариф-абы до этой горькой минуты не задумывался о своем вкладе в строительство дома, ему даже нравилось, когда Гариф за чаем, особенно в последнее время, часто говорил: «Мой дом, в моем доме будет...»

А как обернулось! Подняла собственность что-то темное с самого дна души, замутила сердце и разум парню. А дочь почему же не повлияла? И где же сила родительского примера, на которую все время указывали на школьных собраниях?

Ведь жили с матерью на глазах дочерей, не таили ничего, не хитрили, не ловчили... Наверное, помнила, как свой дом ставили, считай, целых десять лет, то пристраивали, то доделывали.

А обстановка, она тоже за один день, к новоселью, не появилась. Откуда сейчас у них, молодых, это стремление — все вынь да положи, ничего ждать не хотят?

А с работой? В автобазе Гариф на хорошем счету был. Обзавелся семьей, начал строиться, дали новую машину,



большой и сильный самосвал ЗИЛ-555, пошли навстречу, зарабатывай. А он, выходит, с легким сердцем может бросить все: друзей, коллектив. А с какими глазами возвращаться потом будет? Явился, мол, не запылится, примите снова в свои ряды, я свои дела уладил, теперь могу и за ваши взяться.

Ариф-абы вспомнил, как в самое трудное время, когда он строиться начал и дочки уже родились, позарез нужен был ему колодец. Стройка без воды — и ни туды и ни сюды. Нанять деда Шарова с подручными, известного в районе колодцекопателя, он не мог, не по карману было. Да и где по тем временам было столько тесу и свай добыть в степном краю? И надумал Ариф-абы кольца лить из бетона. На почте разрешили ему бесплатно старые провода на арматуру забрать, прямо в степи и собирал их Ариф-абы после замены на новые.

Разжился цементом. Опалубка сначала была деревянная, долго ее приходилось сколачивать, и всего на один раз, и дефицитный фанерный лист по кругу шел. Позже, намучившись, он из листового железа две опалубки придумал — на зажимах да на болтах, считай, полуавтомат да и только. И кольца стали получаться ровненькие, гладкие, одинаковой толщины.

Как с Кирюши начались огороды в Хлебодаровке, так кольца для колодцев пошли с Камалова. В местном промкомбинате быстро оценили смекалку грейдериста и организовали цех по изготовлению колодезных колец, цемент тогда частникам редко продавали.

Пришли из комбината уговаривать Арифа-абы взять себе пару помощников и начать кольца лить. Дело, мол, прибыльное, в обиде не будешь. Как ни было заманчиво легкую деньгу заработать, а не пошел Ариф-абы.

— Шабашка, она и есть шабашка, а я на производстве работаю, — сказал он тогда огорченной Гюльнафис-апа.

Лет пять выпускала артель кольца, шли они нарасхват по всему району, а позже, когда цемент в продаже появился, заглохло это дело, люди сами лить приспособились. Хотя мужики, работавшие «на колодцах», поставили добротные дома и приобрели тяжелые мотоциклы «Урал», никогда Ариф-абы к ним зависти не испытывал и никогда не сожалел, что не согласился сменить работу. В нем всегда сильна была та струна, что называют рабочей гордостью.



А Гариф вот взял и бросил все, думает, что молочные реки и кисельные берега ожидают его. Работать и там нужно, и еще как работать, а сейчас за хороший труд везде хорошо платят.

Знал Ариф-абы не хуже Гарифа, что на Востоке большие стройки и государство на них денег не жалеет, но всегда думал, что едут туда прежде всего по зову души, попробовать себя и свои возможности, а не так откровенно за деньгами. В такое важное дело, как всенародная стройка, с мелкими расчетами идти нельзя, это Ариф-абы знал точно.

Такие мысли терзали Ариф-абы день ото дня, и утешение он находил лишь в работе. Никто над ним не подтрунивал, даже особенно не расспрашивали, а знали, наверное, многие, ведь может ли какое событие в Хлебодаровке остаться незамеченным? Правда, иногда он думал, вдруг в дальних краях обретет себя Нафиса, сколько туда боевых девчат наехало, по телевизору, считай, каждый день их показывают. Станет штукатуром или маляром, или на крановщицу обучится, было б желанье, дело нехитрое. А то ведь ни профессии, ни призвания. Кто его знает, может, большое дело затронет какие-то струны и в их душах.

По субботам, после баньки, подолгу сидел он с Кирюшей на веранде за самоваром и каждый раз настойчиво спрашивал:

— Нет, ты объясни, сосед, откуда у них эти куркульские замашки?

Но все знающий Павленко в ответ только тяжело вздыхал.

Обложили кирпичом дом, и стоял он теперь беленький и чистый, веселя глаз прохожих, только не радовался Ариф-абы.

Даже за угощением, принятым по такому случаю, за жирным казахским бешбармаком, веселился Ариф-абы, знающий цену отличной работе, не от всей души, а как хозяин, чтобы не обидеть мастеровых.

Дни тянулись в ожидании письма, и Гюльнафис-апа извелась прямо: как они там, как устроились...

Наконец дождались. Как-то в воскресенье возвращавшаяся с речки Аниса принесла почту: газеты, журналы, а за спиной письмо припрятала, хотела с матери суюнчи получить. Гюльнафис-апа на радостях чуть самовар не опрокинула, тут же вслух и начала читать.



Писала поначалу дочь больше о том, что ей следует выслать из одежды, мол, похолодало уже там, а Ариф-абы нетерпеливо ждал, когда же она дойдет до главного, до работы.

Про работу было сказано в самом конце, да и то скороговоркой. Получают, мол, много те, у кого стаж хотя бы года два-три. «А как ты хотела?» — подумал Ариф-абы. Стройки все в лесу, в тайге, а гнуса и комарья там тучи, и потому устроилась она в поселке, в столовой посудомойщицей, тут хоть кормятся они с Гарифом бесплатно и на питание не надо тратить.

Не дожидаясь конца письма, Ариф-абы неожиданно встал и медленно вышел из кухни. Долго стоял на крыльце, казалось, любуясь, как ловко сосед скирдует привезенное ночью сено, но он ничего этого не видел. В бессильной злобе Ариф-абы вдруг сделал несколько быстрых шагов, сорвал висевший на калитке почтовый ящик и, размахнувшись, закинул его далеко, почти до самой бани.

Суан, притихнув, наблюдал за действиями хозяина и понимал, что ластиться к нему сейчас не время. Когда Ариф-абы, хлопнув калиткой, ушел к своему другу Павленко, умный пес побежал на огород и, энергично помахивая хвостом, долго рассматривал и обнюхивал предмет, вызвавший гнев хозяина.

*Паланга, 15 июля
1979*







Марсель

Рассказ

И снов моих ты больше не хозяйка...

*И слаще явного знакомства
Мне были вымыслы о них...*

Когда года твои на закате, и ты говоришь иногда: «В жизни складываются самые невероятные ситуации» — наверное, опираешься, прежде всего, на свой опыт, на то, что произошло именно с тобой. Мой невероятный случай интересен тем, что в него, через много лет, вплелась и моя отроческая любовь. Мы встретились с Валею Домаровой взрослыми, уже с некоторым накопленным печальным опытом в личной жизни, у себя на родине, в Мартуке. Я возвращался из Болгарии, где отдыхал на «Золотых песках», а она, после каких-то неудач в жизни, вернулась домой, чтобы перевести дух и определиться, как жить дальше.

Начну подробнее со второй встречи, первая, думаю, вскружила голову нам обоим.

Весь день у меня не выходило из головы прошедшее и предстоящее свидания с Валею. О чем я только не передумал в тот долгий летний день, переворотив основательно всю свою жизнь. Я торопил время и хотел, чтобы скорее наступил вечер.



Я так растрогался, что решил сделать ей что-нибудь приятное, пошел в поселковый универмаг и купил флакон французских духов.

Зашел я и в гастроном и попросил бутылку армянского коньяка «Ахтамар».

Вечером в назначенный час я поспешил с подарками на Советскую. Валя ждала меня в палисаднике с гитарой, но сегодня она была в огненно-красном платье, и такого же цвета бант на голове сменил черный муаровый в блестках.

Когда я вручил подарок, она обрадовалась и сразу кинулась мне на шею, осыпая поцелуями. Она была как-то странно возбуждена, и я подумал, что Валя успела выпить, видимо, волнуясь перед предстоящей встречей.

Желая пошутить насчет выпивки, я склонился к ней и еще раз поцеловал, но запаха спиртного, к удивлению, не ощутил, и эту странную возбужденность, лихорадочный блеск в глазах отнес на счет волнения. Мы прошли мимо высохшей лужи на веранду летнего домика, где опять нас ожидал накрытый столик, и три новые свечи загорелись сразу, как только мы уселись друг против друга.

После случившегося вчера мы оба чувствовали себя скованно, от Вали исходила какая-то нервозность. Вроде она была по-прежнему мила со мной, говорила приятные и волнующие слова, но меня не покидало ощущение, что она все время куда-то проваливается, ускользает от меня, и я попросил ее спеть.

Она охотно взяла гитару, будто чувствовала, что песня успокоит ее, но нервное напряжение сказалось и на репертуаре — почему-то завела блатную песню.

На веранде откуда-то тянуло сквозняком, и все три бледных язычка пламени заплывшего воском шандала сдувало в сторону, поэтому я хорошо видел склонившееся над гитарой лицо Вали.

Я никогда не любил блатных песен — ни тогда, в юности, ни, тем более, теперь, — и потому при первой же паузе, когда она стала подтягивать струны, взял у нее из рук гитару и предложил:

— Давай лучше выпьем, поговорим, как вчера...

Но она угадала мое настроение и не без сарказма ответила:

— А ты, Рауль, оказывается, сноб. А я вот такая — люблю блатные песни, к тому же, они сегодня очень популярны, —



и вдруг добавила ехидно: — Ах, я забыла, ты же не тянул срок и вряд ли знаешь жизнь...

Я не обратил внимания на ее слова, зная ее характер, подумал: «Хочет, чтобы последнее слово осталось за нею».

Повесив гитару на гвоздь у двери, Валя вернулась к столу и, сделав передо мной неожиданно изящный пируэт, игриво взъерошила мне волосы.

— Гуляй, милый мой Рауль. Люби, наслаждайся, пока я твоя...

Я решил, что у нее начинается непонятный для меня кураж, и налил ей чуть меньше обычного. Но я ошибся насчет куража: куда-то вдруг подевалась исходившая от нее нервозность, она стала, как вчера, мила, ласкова, и я успокоился.

Вновь мы сидели друг против друга, и пламя от чадающих свечей словно подогревало наши взгляды, летавшие через стол, — мы вспоминали что-то давно забытое, детское, школьное, но крепко связывающее нас. Сегодня она тоже курила — зеленая пачка сигарет «Салем» и зажигалка лежали рядом с ее прибором, — но реже.

В этот вечер Валя удивила меня еще раз. Успокоившись, она попросила принести холодной воды, а когда я вернулся от колонки во дворе с полным кувшином, то увидел, что курит она не ментоловые «Салем», к специфическому дыму которых я уже привык, а что-то другое, — как некурящий человек, я остро реагировал на запахи. К своему удивлению, я увидел в ее руках папиросу, ныне так редко встречающуюся, и хотел спросить, с чего она перешла на грубую беломорину, но в последний момент сдержался: зная ее причуды, побоялся вновь испортить ей настроение.

Курила она как-то необычно, откинув красивую голову на высокую спинку кресла и прикрыв от какого-то внутреннего удовольствия глаза, и я снова, как и вчера, любовался ее изящной шеей с тремя тяжелыми нитками искусственного жемчуга, открытыми плечами, уже по-женски округлыми, нежными. Высокая грудь, стиснутая в корсете платья, при каждой затяжке волнующе вздымалась, и мне даже доставляло наслаждение любоваться ею, когда она курила. Делала она это красиво, небрежно, не глядя сбрасывала пепел в пепельницу длинными ухоженными пальцами...



Потом мы вернулись в ее комнату в летнем домике. Сегодня в углу горел слабыми огнями торшер, и я успел рассмотреть ее жилье, по-женски уютное, особую прелесть комнате придавали розовые обои. Заметив мой удивленный взгляд, устремленный на торшер, Валя сказала, ласково глядя мне в лицо:

— Надеюсь, ты не возражаешь?

Но сегодня что-то было и так, и не так. Поначалу я думал, что всему помехой свет, но вскоре Валя сама выключила его, ничего не объясняя. При всей ее форсированной страсти, возбужденности я ощущал в ней быстро нараставшие вялость, апатию, безразличие. Когда комната была освещена, я несколько раз видел близко ее глаза — вот они сегодня точно были другими, они смотрели как бы мимо меня, и в них виделась пугающая пустота.

Вдруг, оттолкнув меня, она капризно приказала:

— Рауль, принеси, пожалуйста, сюда столик и открой вторую бутылку «Ахтамара», я хочу видеть тебя веселым, твое серьезное лицо смущает меня...

Я хотел возразить, но, встретившись с ее взглядом, по-восточному приложил правую руку ладонью к сердцу и, склонив в покорности голову, шутливо ответил:

— Как прикажете, сегодня я ваш раб...

Я ощущал, что все катится к какой-то развязке и я никак не могу повлиять на события.

Валя вдруг надумала выпить на брудершафт и налила коньяк в бокалы для воды — не до краев, но полбутылки опорожнила в них точно. Я думал, что выпитое приблизит события к какому-то скандальному финалу, но опять произошло невероятное — отставив пустой бокал в сторону, она жадно впилась в меня поцелуем.

Задыхаясь в ее объятиях, я с улыбкой думал, что мне никогда, наверное, не понять женщин.

Когда я успокоился наконец, Валя, вдруг наклонившись в мою сторону, спросила то ли в шутку, то ли всерьез:

— Мир-Хайдаров, а ты купал когда-нибудь женщин в шампанском, дарил им миллионы алых роз или настоящий жемчуг и бриллианты?

Я попытался отшутиться, но она настойчиво, с обидой повторила:



— Я же спрашиваю тебя всерьез.

Тогда я, трезвее от неожиданного поворота событий, устало ответил:

— Это же из блатного фольклора... Да и зачем женщине купаться в шампанском? Я думаю, это даже вредно, лучше уж с мылом...

И тут она взорвалась, словно пороховая бочка:

— Эх ты, с мылом!.. А вот и не вредно! Я купалась, и не раз...

Я, не до конца осмыслив ее выкрик и, конечно, не принимая его всерьез, ляпнул:

— А что потом с шампанским делают, после купания?

Последовавшая реплика наконец заставила меня поверить в серьезность полусумасшедшего разговора:

— Да, я купалась в шампанском, а мои друзья, и тот, кто устраивал для меня этот праздник, черпали вино бокалами из ванны и пили за мое здоровье — таковы традиции, так восхищаются красотой и прекрасным телом. Это так здорово, но, я вижу, тебе никогда этого не понять, не дано! Жил всю жизнь от получки до получки...

— Ты это всерьез? И кто же он, столь тонкий ценитель женской красоты и шампанского из ванны? — спросил я, не надеясь на ответ, все еще думая, что это ее очередной розыгрыш, — я слышал от ребят о ее экстравагантных выходах в последние годы.

Но она, гордо, с вызовом ответила:

— Дато Гвасалия. Тот, кто по-настоящему меня любил и баловал. Не зря он имел кличку Лорд: цветы дарил корзинами, духи — дюжинами, и это жемчужное кольцо — тоже его подарок...

А я-то принимал жемчуг на ее шее за искусственный или даже за чешскую бижутерию... Но это теперь ничего не меняло: я протрезвел окончательно. Легонько отодвинув ее в сторону, вмиг потеряв интерес к ней, я потянулся к выходу.

— Ты куда? — спросила она удивленно.

Я не ответил.

Ночная свежесть несколько остудила меня. Домой я не пошел, чувствовал, что все равно не уснуть, решил погулять по сонному Мартуку — через день я должен был уезжать. Дойдя



до парка, где я видел студентку Валю восемь лет назад крашеной блондинкой, я вдруг рассмеялся, и этот неожиданный смех снял тяжесть с души. Я представил тесную ванную комнату, унылую советскую сантехнику и тусклый кафель, вечно щербатую, уже с завода, эмаль, блатных и воров с бокалами и стаканами в руках, толпящихся у заполненной до краев шампанским ванны, и плескающуюся в ней Валентину... Зрелище, действительно, получалось смешным, если не сказать убогим, особенно в том случае, когда ванная комната могла быть еще и совмещенной с туалетом.

И вдруг все четко и ясно встало на место: и грубая папироса в ее холеных пальцах, и стеклянные глаза, глядящие мимо, и страсть, мгновенно переходящая в апатию, и странный блатной репертуар, и жемчужное кольцо, и даже ванна с шампанским...

Сегодня я знаю, что Валя через два года после той летней ночи вновь вернулась домой. Вернулась с мужем-наркоманом, работавшим механиком в каких-то мастерских, но больше известным скандалами в больнице и аптеках из-за наркотиков, однако в ту пору уже многие знали, что колется и она. С такими наклонностями, да еще с завышенными притязаниями на свое положение в обществе, в маленьком местечке прожить трудно, и они скоро покинули дом на Советской, а я больше о ней никогда не слышал.

Но однажды, через несколько лет, за тысячи километров от Мартука мне пришлось вспомнить и про жемчужное кольцо, и про ванную с шампанским.

Жизнь непредсказуема, одни тайны уходят с их владельцами навсегда, другие запоздало внезапно открываются во всей своей сути.

Однажды я был командирован на Кавказ — в Баку и Тбилиси. Там, в поезде Баку — Тбилиси, со мной произошла любопытная история.

Командировка эта походила на приятное путешествие, в Баку я попал на концерт оркестра Рауфа Гаджиева, где в те годы работал знаменитый джазовый аранжировщик Кальварский, а в Тбилиси надеялся послушать джаз-оркестр Гобискери. К поезду я пришел заблаговременно — не любил предотъездной суеты. Неторопливо нашел свое место в пустом купе мягкого вагона и вышел к окну в коридоре.



Вагон заполнялся потихоньку, и я стоял у окна, никому не мешая. К поезду я явился прямо с концерта и мало походил на командировочного.

Состав тронулся, оставляя позади перрон, город..

Начали сгущаться сумерки, в коридоре зажгли свет. Пассажиры потянулись в ресторан или стали накрывать столики в купе, а я все стоял у окна, внимательно вглядываясь в селения, где люди жили какой-то неповторимой и, вместе с тем, одинаковой со всеми жизнью. Замечал одинокую машину с зажженными фарами, торопящуюся к селению, где, наверное, шофера ждала семья, дети, а может, свидание с девушкой, чей неведомый дом мелькнет мимо меня через минуту-другую яркими огнями окон и растворится в ночи. Мои попутчики сразу же принялись за ужин. По вагону пополз запах кофе, жареных кур, свежего хачапури и лаваша; откуда-то уже доносилась песня.

Два соседних купе занимала разношерстная компания: юнец и убеленный сединами моложавый старик, молодые мужчины и даже одна девица. Она, как и я, все время стояла у окна, но, в отличие от меня, как показалось, делала это не по собственному желанию. Старик, по всей вероятности, русский, юнец с девушкой — армяне, остальные — грузины или осетины. Разнились они и одеждой: двое, да и старик, пожалуй, не уступали тбилисским пижонам, что фланируют по проспекту Руставели, а остальных вряд ли можно было принять за пассажиров мягкого вагона.

Компания, которая садилась в поезд, не обремененная багажом, даже без сумок и портфелей, тоже начала суетиться насчет ужина. Юноша с девушкой высказали желание посидеть в ресторане и получили чье-то одобрение из глубины купе. Проходя мимо, они окинули меня восторженным взглядом, а девица даже попыталась изобразить что-то наподобие улыбки.

За окнами совсем стемнело, и стоять у окна стало неинтересно. Мои попутчики давно поужинали, а я раздумывал: то ли вернуться к себе, то ли последовать в ресторан, как вдруг один из компании, тот, кого я принял за осетина, вежливо, можно сказать — галантно, как это могут только на Кавказе, пригласил разделить с ними скромное угощение. Я так же вежливо поблагодарил, но, сославшись на отсутствие аппетита, головную боль и желание побыть одному, отказался.



Не прошло и минуты, как появился другой и пригласил не менее вежливо, но более настойчиво. Навязчивость, с которой меня зазывали, начала раздражать, и я поспешил ретироваться в купе. Едва я расположился у себя, распахнулась дверь и показалась седовласая голова моложавого старика, который попросил меня в коридор на минутку.

Старик оказался краснобаем и мог бы дать фору любому грузинскому тамаде. Он говорил о законах гостеприимства и вине, которое приятно разделить в пути с новым человеком. В общем, я понял, что из немощных, но цепких рук старика мне не вырваться — а тот и впрямь то крутил пуговицы на моем пиджаке, то хватал за рукав, — и я сдался. Когда в сопровождении Георгия Павловича — так старик отрекомендовался — я появился перед компанией, раздался такой вопль искреннего восторга, что, наверное, было слышно в соседнем вагоне.

Меня усадили поближе к окну, напротив Георгия Павловича. На столике высилась ловко разделанная крупная индейка, а рядом — зелень, острый перец, помидоры, армянский сыр, грузинская брынза и свежий бакинский чурек.

— Что будем пить? — спросил старик, и я показал на белое абхазское вино «Бахтриони».

Кто-то предложил тост за удачную дорогу, и трапеза началась. Стаканам не давали пустовать, а со стола так ловко и незаметно убиралось ненужное и добавлялись то ветчина, то жареное мясо, то быстро убывающая зелень, что мне, заметившему корзину на откинутой полке второго яруса, откуда все это доставали, казалось, что она волшебная.

Разговор поначалу никак не завязывался. Следовали сплошные тосты и сопутствующие фразы насчет «налить», «подать», «закусить», «что-то передать», а затем слова благодарности на русском и грузинском языках. Но даже в этой немногословной беседе участвовали из хозяев только трое: те, что приглашали меня, и Георгий Павлович, имевший над компанией очевидную патриаршую власть. Остальные двое, немо выказывая восторг на плохо выбритых лицах, следили за столом, за тем, чтобы не пустовали стаканы, и ловко распорядились содержимым волшебной корзины.

— Куда едете, чем занимаетесь, молодой человек? — спросил вдруг старик среди неожиданно возникшей или ловко организованной паузы.



— Инженер, еду в Тбилиси в командировку, — вяло ответил я, предчувствуя, что интерес ко мне тотчас иссякнет, потому как был убежден, что такая ординарность вряд ли у кого вызовет любопытство.

— Инженер?.. В командировку?.. Я же говорил вам, — обратился Георгий Павлович к своим спутникам. — Учитесь: школа, высший пилотаж, я в его годы не знал такой славы. А как он держался в коридоре! Любо посмотреть: турист, артист, да и только... Пейзаж, закат, пленэр... А как разговаривал с Дато и Казбеком, словно никогда их в глаза не видел! Это же блеск! Станиславский! А если хотите — Мейерхольд!..

— Я действительно никогда не видел ни вас, ни ваших спутников, — перебил я старика.

— В глаза не видел! — воскликнул с улыбкой Георгий Павлович, и купе минут пять сотрясалось от смеха.

Я, ничего не понимая, смотрел на своих собутыльников и видел, с каким восторгом, боясь упустить хоть один мой жест, глядят на меня странные попутчики. Такого внимания к собственной персоне я никогда не испытывал.

— Да, Марсель есть Марсель, не зря о нем и на зоне, и на свободе легенды ходят, — откликнулся тот, кого старик назвал Дато.

— Вы что-то путаете, я — Мир-Хайдаров, инженер из Ташкента, — не понимая, разыгрывают меня или же в самом деле принимают за какого-то Марсея, ответил я, трезвея.

Купе снова зашлось смехом. Георгий Павлович, вытирая тонким батистовым платочком слезящиеся глаза, спросил:

— Может, и ксиву покажешь? Мир-Хайдаров..

По Мартуку, Актюбинску я хорошо знал жаргон блатных. Достав из внутреннего кармана пиджака паспорт, я протянул его через стол.

В купе притихли и внимательно смотрели, как ловкие пальцы старика вертели паспорт, так и эдак. Георгий Павлович даже поднял его к носу и тщательно принюхался, казалось — попробуй он даже на зуб, никто бы не улыбнулся. Но мне было не до смеха.

— Хорошая ксива, и пахнет по-настоящему, — сказал, наконец, Георгий Павлович, возвращая паспорт. — Значит, с бумагами все в порядке, быстро обзавелся... Дато считал, что ты



без ксивы. Он ведь с тобой в одной зоне мантулил в последний раз. Вспомни, Лорд у него кликуха, а фамилия — Гвасалия. Правда, он сейчас таким франтом выглядит, как раз тебе в помощники, «интеллигент». Не хочешь помощника, Марсель?

— Извините, я устал, у меня завтра важные дела, и я не понимаю ваших шуток, — сказал я, поднимаясь.

Старик мягко, но настойчиво усадил меня обратно.

— Сиди, Марсель. Дело твое — знать тебе с нами или нет. Да, пожалуй, ты и прав, слишком много незнакомых лиц для такой важной птицы, как ты. Ты уж извини меня, старика, это я на радостях — много слышал о тебе, да и Дато рассказывал, как ты исчез. Значит, едешь по большому делу, удачи тебе. Но если нужна будет подмога — деньги там, кров... Вот адреса и телефоны в Тбилиси и Орджоникидзе, — и он ловко, одним движением, сунул в верхний кармашек моего пиджака заранее заготовленный листок. На том мы и расстались, они — довольные встречей, а я — удивленный донельзя: за кого же меня приняли?

Утром, когда поезд прибыл в Тбилиси, странных попутчиков уже не было — то ли они разошлись по разным вагонам, то ли сошли в предместьях столицы. Но они еще раз напомнили о себе...

Гостям Тбилиси советуют побывать на горе Мтацминде, откуда открывается живописная панорама раскинувшегося внизу города; там же — прекрасный парк, летние кинозалы, ресторан. Устав от прогулки и продрогнув на ветру, гулявшем на горе, я решил заодно и поужинать на Мтацминде.

В зале и на открытой веранде ресторана веселье плескалось через край. Играл оркестр, вдвое больший по составу, чем некогда в моей любимой «Регине», и два солиста, сменяя друг друга, не успевали выполнять заказы, сыпавшиеся со всех сторон. Витал аромат дорогих духов, сигарет и вин, щедро украшавших многолюдные столы, пахло азартом и праздником. Я с трудом отыскал свободное местечко за столиком, где коротала вечер такая же командировочная братия, как и я сам.

Официант всеми доступными способами выказал свое недовольство одиноким, без дамы, клиентом: будь его воля, подобных мне он и на порог не пустил бы. Лениво подергивая



сытыми щеками, он вполуха слушал заказ, почему-то тяжело вздыхая, и сквозь зубы ронял:

— Нет... нет... кончилось... не бывает... никогда не будет...

Я понимал: любое мое возражение еще более усугубит незavidное положение незваного гостя, и потому милостиво сдался, и сказал обреченно:

— Ну что ж, принесите что осталось и бутылку белого вина.

Вернулся официант не скоро. С увядшей зеленью, подветренным сыром, холодным хачапури и бутылкой вина. Буркнув, что шашлык подаст позже, заторопился к другому столу, где кутили лихо.

Едва я пригубил вино, оказавшееся без меры кислым, откуда-то, словно ветром, принесло метрдотеля и того же официанта — с таким сладким выражением лица, что в первый момент я даже и не признал его, хотя между нами только что состоялся долгий и «содержательный» разговор.

— Извините, вышла промашка, — частил метрдотель и зло косился на официанта, а тот, сама невинность, втянув живот, изображал такое раскаяние, что впору было расплакаться.

Он чуть ли не силой вырвал из моих рук фужер и брезгливо выплеснул содержимое в вазу из-под цветов, словно это было не вино, а отрав.

— Может, отдельный столик накрыть? — зашептал мне на ухо завзалом, поглядывая на соседей, но я отказался.

В мгновение ока подкатили тележку с фруктами, сочной зеленью, лобио с орехами, сыром сулугуни и другими грузинскими закусками, не знакомыми мне, а метрдотель собственноручно налил в невесть откуда взявшийся тяжелый хрустальный бокал золотистое «Твиши». Видя это волшебное превращение, достойное цирка, соседи на другом конце стола с любопытством поглядывали на меня.

Я прикинул, что ужин обойдется раз в пять дороже, чем предполагал, но вино оказалось дивное, закуски великолепные, оркестр на высоте, и настроение у меня поднялось. То ли от выпитого вина, то ли от нахлынувшего озорства, то ли оттого, что увидел в зале за дальним столиком Казбека и Дато, я, пригласив какую-то девушку на танец, назвался... Марселем.

Может, я сам приглянулся девушке, а может, понравилось мое имя, весь вечер она щебетала: «Марсель... Марсель...»



Чужое имя не раздражало меня, а порою даже ласкало слух, и этот вечер, в общем-то закончившийся без особых приключений, я прожил не только под чужим именем, но и ощущая себя тем таинственным Марселем, перед которым так щедро расстилаются столы и вмиг принимают любезное выражение лица официантов...

Спускаясь на фуникулере на проспект Руставели, где жизнь, казалось, не замирала до утра, я вдруг, вроде некстати, вспомнил давнее свидание с Валею в Мартуке.

Вокруг кипела ночная жизнь Тбилиси, по ярко освещенному проспекту навстречу шли прекрасно одетые люди, которые то и дело раскланивались со своими знакомыми, казалось, весь город состоял только из друзей и приятелей, и думать ни о чем грустном не хотелось. Но Валя, державшая в руках гитару с ярко-красным шелковым бантом на деке, не шла из головы. Я настойчиво гнал от себя навязчивое видение, но оно не уходило, мешало, назойливо напоминало о чем-то...

И вдруг все стало на свои места. Дато Гвасалия... Дато Гвасалия! Да это же тот, кто купал Валею в шампанском, подарил ей жемчужное кольцо!

«Не может быть! — возразил я себе. — Где та Валя, а где — этот Дато... Нет, это невозможно...»

Но память услужливо вернула голос Георгия Павловича: «Лорд у него кликуха, а фамилия — Гвасалия...» Нет, ошибки быть не могло, совпадало все. Я поспешил назад к канатной дороге, чтобы вернуться на Мтацминду, — знал, что в грузинском ресторане гости рано не расходятся.

Когда я вернулся в зал, веселье еще продолжалось, но столик, за которым Лорд гулял с друзьями, оказался пуст. Уже знакомый метрдотель, вновь увидев взволнованного гостя, подошел тут же и учтиво обратился:

— Чем могу помочь?

— Лорд давно ушел? — спросил я небрежно.

— Нет, недавно, вы наверняка разминулись на фуникулере. Если возникли проблемы — тут есть люди, хорошо знающие Дато, они и Марселя ни в чем не откажут. Да и мне Дато велел принимать вас всегда по-королевски...

— Спасибо, мне нужен только Лорд, — поблагодарил я метрдотеля и хотел распрощаться, но тот предложил распить



с ним бутылку вина, если гость простил его за недоразумение в начале вечера. Пришлось уважить.

Возвращаясь в полупустом вагоне канатки, я думал: «А если бы я застал на месте Дато Гвасалия по кличке Лорд, что сказал бы, о чем спросил? О том, купал ли он в шампанском мою отроческую любовь Валю Домарову и дарил ли ей жемчужное кольцо?» От нелепости этой картины я вдруг от души рассмеялся, как некогда на тихой улице в Мартуке, когда представил тесный совмещенный санузел и грязную ванну с плескавшейся в шампанском Валентиной...

Я редко вспоминаю Валентину, и уж тем более не презираю и не осуждаю ее. С высоты жизненного опыта понимаешь, что каждый выбирает свой путь сам. Но я никак не мог понять, почему судьбе было угодно, чтобы среди сотен миллионов людей я встретился с неким воров по кличке Лорд, сумевшим увлечь романтикой блатной жизни девушку, некогда мечтавшую стать балериной. Возможно, этим «почему» я буду маяться до последних дней своих...

*Москва,
2011*







Оренбургский платок

Рассказ

Памяти Сании, сестры моей

«**Н**аверное, поезд опоздал», — Фарид то и дело дышал на оконное стекло, но, сколько его ни отогревай, не отогреть.

Мороз в этом году постарался: даже между рамами тянулся целый ледяной хребет, и от окна несло холодом, как от двери. Фарид плотнее подоткнул куски старого одеяла в щелях и щербатом пороге.

«Успело намести», — подумал он и смел снег с земляного пола, а то заругает мать, что не следил за дверью, выстудил землянку.

Печка едва теплилась, но Фарид боялся подложить кизяку: с топливом в этом году было худо. Задуло и задождило с сентября, и теперь в полуразвалившемся сарае кизяк занимал крохотный уголок, а зима по календарю еще не наступила.

Забравшись на нары, поближе к печи, Фарид придвинул к себе узелок с нечесаным пухом и принялся выбирать волос, как ему наказала мать.

«Скорее бы пришла Фания-апай из школы», — думал Фарид, хотя знал, что вторая смена у восьмого класса кончается затемно.

Горка выбранного пуха росла медленно, и Фарид опытным глазом прикинул, что с этим узелком возиться ему еще с неделю.

— У тебя, сынок, глаза молодые, острые, — говорила мать. — Никто в Мартуке лучше тебя пух не вычистит.



Долгие зимние ночи сидели они на топчане вокруг большой керосиновой лампы, каждый за своим делом. Фания пряла. Мать говорила, что пальчики у нее чувствуют пух и быть ей хорошей шальчи — вязальщицей платков: пряжа у нее получалась ровной, тонкой. Мать пропускала выбранный Фаридом пух через страшную ческу — двухрядный частокол высоких иголок, их почему-то называли цыганскими. Руки матери взлетали высоко над ческой, и Фарид всегда боялся: а вдруг она поранится о блестящий частокол. Как бы мать ни хвалила их, своих помощников, за ловкость и быстроту, истинной сноровкой шальчи владела только она сама. В Мартуке, где треть жителей кормилась вязанием, Гульсум-апай считалась искусной мастерицей, ее платки быстро и легко пушились, носились долго, а кайма у них была на загляденье — широкая, зубчики ровные, один к одному, и узор у каждого платка свой, неповторимый.

Завмагу сельпо Кожевякиной, толстой краснолицей хозяйке узелка с пухом, в Мартуке никто бы не отказался связать платок. Характер у Нюрки был крутой, и на паевую книжку она давала продуктов сколько бог на душу положит, но и она, первая поселковая модница, пришла к Гульсум.

Фарид слышал, как мать говорила:

— Нюра, пух по цвету богатый, у меня и нитки подходящие есть, но волоса слишком много, и за две недели не выбрать. И в работе у меня еще три платка, люди добрые за них давно уж расплатились.

— Меня, тетя Галя, сроки не волнуют, слава богу, есть что носить. Ваш прошлогодний платок у многих баб в Мартуке зависть вызывает, а мне вот теперь темненькую шаль захотелось. Насчет добрых людей... Ведь и Кожевякина — не последний человек в Мартуке! Пуд муки вам авансом приготовила, — Нюра оглядела сырую, по углам в наледях землянку и добавила: — Нехай Фаридка к вечеру в сельмаг забежит. Будут ящики из-под мыла, не пожалею.

Зная далеко не щедрый характер Кожевякиной, мать попросила:

— Чаю плиточного с полкило да сахару, Нюра, добавь к авансу, пух-то...

— Ладно-ладно, по рукам. За мукой счас, что ли, пойдешь?

— Счас, счас, — заторопилась мать и, уходя, улыбнулась сыну.



Едва дверь захлопнулась, Фарид заплясал: ему уже чудился запах горячих лепешек.

... Ошиблась мать на радостях, увидев Кожевякину с заказом: третью неделю одолевал Фарид узелок.

— Нюрка, да чтоб прогадала?! Она и пух-то выменяла у наших казахов из аула за чай да за кило халвы, — горячилась соседка Науша-апай, забежавшая на огонек.

Мать, тяжело вздыхая, молчала. Непоседливая Науша скоро распрощалась, и мать, поплотнее прикрыв за ней дверь, вернулась к печи. Фания замороженно смотрела, как спицы, словно шпаги, мелькали у нее в руках, и думала: «Неужели и я когда-нибудь смогу вязать так быстро и красиво, как мама?»

— Опять ссутулился, как старичок. Смотри, девочки любить не будут, — добродушно ворчала мать.

Фарид густо краснел, на какое-то время выпрямляя плечи, но частый и мелкий волос снова гнул к лампе. Вот и сейчас Фарид приподнял плечи и оглянулся: в низкой и плохо протопленной землянке сгущались сумерки, а матери все не было.

«И уроки еще не сделаны», — мелькнула и тут же пропала мысль. В тревоге за мать Фарид то и дело выскакивал на улицу и окончательно выстудил землянку. В голову лезли разные страхи.

«А вдруг поезд из-за опоздания сократил стоянку, и мама проехала до следующей станции, чтобы пройти с платком по вагонам... А вдруг его вырвали у нее?» Фарид знал, что, хотя война давно кончилась, в теплые края, к Ташкенту, еще охотнее потянулась разная шпана. «А может, конфисковали? — Фарид знал и это недетское слово. — Только бы дядя Великданов сегодня на станции дежурил», — молился он, как бабушка Рабига, сложив ладошки и повторяя короткую суру, которую обычно произносил перед сном.

Недавно прошел слух, что увольняют Великданова. Говорили, развел на станции спекуляцию.

«Кто теперь предупредит маму, да и других, что будет облава и что лучше перетерпеть несколько дней, чем остаться без шали, без пуховых перчаток или дюжины шерстяных носков?»

А может, маму задержали, ведь ее уже предупреждали, чтобы не ходила к поездкам с шалими?»

Фариду вдруг стало так страшно, что он заплакал.



— Сынок, что случилось? — уронив у двери какие-то свертки, кинулась к сыну Гульсум.

Фарид прижался к ее промерзшей куцей телогрейке и, не чувствуя холода, плакал навзрыд.

— Ну, хватит, ты уже большой, единственный мужчина в доме. Лучше спроси, как у меня дела. — Гульсум гладила сына по давно не стриженной головке. — Сейчас зажжем лампу, протопим печь, поставим чай. Ну, смотри, что я принесла, — и она стала собирать с полу свертки.

Кипел, похлопывая крышкой, на плите чайник, мать на чистом бараньем сале жарила в казане баурсаки.

Заправленная под горлышко, с новым фитилем, лампа освещала дальние углы землянки. От печи, щедро заваленной киззяками, струилось тепло.

— Продала? — прямо с порога спросила вернувшаяся из школы Фания.

— Продала, доченька, продала, раздевайся, у меня все уже готово.

Фания быстро скинула валенки и, притулив их к печи, уселась на топчане рядом с Фаридом.

— Ты сегодня долго не шла, я уже соскучился, — тихонько сказал мальчик и прижался к сестре.

Гульсум расстелила скатерть.

— Ну, рассказывай, мама, — торопила Фания. Подкладывая в деревянную чашу обжигающие баурсаки, Гульсум начала:

— Стоим, значит, на перроне час, другой, а московского все нет. Я так замерзла, что решила было уйти, как вдруг далеко у семафора паровоз прогудел. Ну, слух у нас тонкий. Пассажирский, решила, а тут и он. Мороз. Никто из вагонов и носа не высунул. Нагима с соседней улицы и говорит: «Давай, Гульсум, до следующей станции проедем, успеем половину вагонов обежать». Вдруг распахивается напротив нас дверь, и молодой военный с подножки спрашивает: «Мамаша, сколько за платок просите?» А из-за плеча у него барышня выглядывает — наверное, она из окошка платок заметила.

Я уж самую малость и назвала, ведь неделю с ним к поездкам хожу. «А вы не могли бы подняться к нам?» — спрашивает барышня, а военный, такой вежливый, даже руку подал. Накинула она платок на плечи — и к зеркалу, а оно у них во всю дверь.



«Какая прелесть! Какая прелесть! — щебечет барышня, а шаль ей и правда к лицу. Потом спохватилась она, что поезд может тронуться, и так удивленно переспрашивает: — Семьсот?»

Тут я и обмерла. Неужто торговаться станет? А уступать мне и копейки нельзя.

«Семьсот», — говорю, и шаль стала сворачивать. «Вадим, заплати, пожалуйста, восемьсот, уж больно шаль хороша, да и апа нас пусть помнит», — и так хорошо засмеялась барышня и обняла меня. «Рахмат, — говорю, — доченька, рахмат», — а у самой слезы на глазах, денег, что он отсчитывает, не вижу. Так и сунула, не глядя, в карман.

Я уже к выходу пошла, как догоняет меня Вадим этот и протягивает коробку. «Возьмите, мамаша, говорит, — это мой сухой паек. Здесь галеты, тушенка...»

Галеты эти, сухари такие, Фариду сразу понравились.

— А из тушенки я вам завтра суп сварю. Какие красивые, счастливые люди, храни их Аллах!

Гульсум достала из потайного кармана стеганой душегрейки узелок и, развязав его, положила у края скатерти пачку денег.

— Только я соскочила с подножки, тут же набежали товарки. Особенно спешили те, кому я задолжала. Десятку-другую пришлось займы дать. Одной только мне сегодня и подфартило. В воскресенье пораньше пойдем с Фаридом на базар, купим возок кизяка у казахов. — И Гульсум отложила половину оставшихся денег в сторону.

— А это вам на кино, — Гульсум протянула сыну трешку: не дашь тут же, не выкроить потом и рубля.

Фарид на радостях чуть не опрокинул пиалу.

— Это — керосинщику, это — за радио, это деду Матвею за валенки, три раза без денег подшивал, а это — Нюрке старый долг, уж больно косо смотрит, прямо в магазин не ходи. — И стопки денег как не бывало: перед Гульсум лежало несколько измятых рублевки и горстка мелочи. — А это нам на расходы...

Видя, как торопливо Фарид припрятал трешку, Гульсум улыбнулась.

— Не унывайте, дети. Руки целы, ноги целы — проживем. С такими помощниками не пропаду, — потрепав Фариду по голове, Гульсум стала убирать со стола.



Поздно вечером, снова усевшись в кружок возле лампы, согнулись все над Нюркиным узелком. Гульсум потихоньку напевала «Кара урман», лилась песня о привольных берегах далекой Ак-Идели. Иногда вдруг замолкала: каждый зубец требовал точного счета петель.

— Мама, уже вторая четверть, а у меня за учение не уплачено, не отчислят меня из школы?

— Глупенькая, не беспокойся. Пока Кузнецов — директор, такому не бывать. Летом встречает меня на улице и говорит: «Гульсум-апай, ваша Фания — способная девочка, вот кончит десятилетку, вам помощь и опора будет, грамотный человек нигде не пропадет. А с одежкой мы вам поможем, выкроим что-нибудь из школьного фонда. Война позади, теперь легче пойдет».

А ведь как в воду глядел. Думала я, хватит тебе и семилетки, платки вязать ума большого не надо. А терпением и сноровкой Аллах тебя не обидел. Да и в чем тебе на занятия ходить, ломала голову, ты уже девушка. Не хотела говорить тебе, да к слову пришлось. Форму, и платье шерстяное, и пальто, и валенки — все в школе мне выдали. Вызвал Кузнецов к себе в кабинет и говорит: «Вот, Гульсум-апай, для дочки вашей». А на стульях и для других учеников одежда лежит, а пальтишки разных цветов и фасонов... Тонкий человек ваш учитель, все учел, меня одну вызвал, от любопытных глаз и глупых языков оберегал. Аккуратно подарок завернул, перевязал и наказал, чтобы вам не говорила, что одежда казенная: мол, учтите, детская душа — штука сложная. Так что учись, дочка, не одна я о вас пекусь. А за ученье мы заплатим как-нибудь.

Гульсум прикрыла задвижку у печи и продолжила неторопливо:

— И пенсию нам, хоть и малую, тоже Кузнецов выхлопал. Пришла к нему в слезах: «Помогите, — говорю, — Юрий Александрович, в собесе крутят: мол, похоронка у меня не та. Как не та, когда почти все мужики из Мартука в один день полегли под Москвой. И в один день нам казенные письма почта принесла. В тот вечер плач из Мартука, наверное, в самом Оренбурге был слышен».

А директору ли не знать об этом: митинг-то на другой день в школе прошел. В похоронке нашей, одной-единственной, написано было: «Пропал без вести». А куда ему, отцу вашему, там



пропасть, когда мужики из Мартука вокруг него и держались. Весельчак и верховода отец ваш был, да и партийный к тому же. И в эшелоне, который целый час простоял в Мартуке, он старшим по вагону ехал.

Пошли мы тут же с директором вашим в собес, правда, я во дворе осталась. Сил моих больше не было, боялась — драться кинусь. Час жду, другой — вылетает вдруг Юрий Александрович и, на ходу оборачиваясь, совсем не по-учительски ругается: «Сволочи! Бюрократы!» Потом немножко поостыл и говорит: «Ты уж, Гульсум-апай, наберись терпения и жди, а я в Москву напишу». Полгода ждала, а Кузнецов все это время в разные учреждения писал, но пенсию все-таки выправил. Добрыми делами и на добрых людях земля держится, никогда не забываете об этом, дети...

Декабрь пришел в занесенный снегами Мартук студеными ветрами. На дню несколько раз меня направление, ветер сбивал с ног прохожих. Закрутило, заметило. В школе отменили занятия.

Ветер, завывая в трубе, рвался в землянку, словно собирался ее разворотить. День и ночь, не умолкая, гудели за окном натянутые, как тетива, заиндевелые провода. Гульсум, подкладывая кизяк в ненасытную утробу печи, с тревогой думала: «И в это воскресенье, видно, не бывать базару, кто рискнет приехать из аулов в такой буран?»

Купленный ею с Фаридом кизяк убывал, казалось, не по дням, а по часам. Гульсум, накинув фуфайку, кидалась к соседям, дальним и близким: купить, взять взаймы, выменять десяток кизяков. Иногда удавалось.

«Только бы пурга унялась к воскресенью», — молила Гульсум и, хотя денег у нее на такую большую покупку, как воз кизяка, не было, верила, что казахи, не раз выручавшие ее, поверят в долг и в этот раз.

В такие вечера, когда на улицу и выглянуть-то было страшно, приходил гость. Появлялся он всегда неожиданно, и скрипучая дверь отворялась бесшумно. Сначала дверной проем заполнял большой грязный канар с заплатами, который гость ставил тут же, у двери, а сам возвращался в сенцы и долго отряхивал там полушубок и казахский малахай — тумук. Входил в землянку уже в гимнастерке.



— Гимай-абы, вам идти с другого края села, из-за станции, не боитесь сбиться с пути в пурге? И как это у вас ловко с нашей старой дверью получается? — спрашивала Фания.

— Я, дочка, с первого дня начинал в дивизионной разведке, а кончил во фронтовой.

— А почему вы папу с собой не взяли? — Фарид перебирался поближе к гостю.

— На войне, Фарид-батыр, не спрашивают, кто с кем рядом хочет воевать. Меня в эшелоне приметил какой-то майор; не доезжая до Москвы, я и распрощался с Мирсаидом.

Гульсум молча возилась у плиты.

— Наживешь ты, Гимай, с этим канаром беды, — говорила она гостю за чаем.

Гимай, поглаживая чапаевские усы, смеялся.

— Сколько раз объяснял тебе, что за мной числятся только штуки кож, а посылают нам в вагонах нестриженные шкуры. Кожзавод наш — одно название, а на деле — артель кустарная. Дубить не успеваем, не то, что стричь шкуры. Так и кидаем в чаны, а после каустика шерсть никуда не годится. Из чанов вилами ее приходится выбрасывать, животы надрываем... По совести говоря, за это тебе еще платить бы надо. Остриженных шкур в чан вдвое больше влезет, на чистке чанов день экономим, раствор сохраняем. Кругом, считай, выгода.

— Так-то оно так, — соглашалась мать, но упорно гнула свое: — А шерсть все-таки государственная.

— Оттого в бураны и хожу, что людей дразнить не хочу, а бояться мне некого. Я не вор и не мошенник, я и на фронте с поднятой головой ходил.

Одним неуловимым движением Гимай оказывается у канара, и сильные руки его выбрасывают на середину землянки шкуру за шкурой.

— Разве можно такое добро губить? Смотри, вот несколько козых, с пухом. На шаль пойдет, а на перчатки — загляденье!

— Мериносовая... — слышится с полу тихий голос Гульсум. Она ползает по шкурам, вырывая, где можно, клочья шерсти. — Какие паутинки связать можно...

— А я о чем! — Гимай выбрасывает последние шкуры, и пустой канар, как у фокусника, исчезает в полушубке. — Я вот наточил, как обещал. — Из кармана полушубка он



вынимает завернутые в тряпицу острые тяжелые ножницы. Из другого кармана достает ком вязкого мыла, которое варят на том же кожзаводе, и идет к рукомойнику. — Только мыла не надо жалеть, а то в этих шкурах любую заразу можно подцепить.

Прямо по шкурам довольный Гимай возвращается к самовару.

Как ни ярилась зима, неожиданно она сдалась, словно поняв, что не сломить ей маленький, по трубы занесенный поселок. И, как бы винясь за разметанные по ветру обледенелые стога, за стужу в сырых землянках, за пучки соломы, развеянной по безлюдным улицам, за ягнят, не выживших и дня в продуваемых насквозь кошарах, за поезда, застрявшие на голодных полустанках, вдруг установились в Мартуке такие дни, какие помнили старожилы только в добром давнем, довоенном времени.

Что-то произошло не только с погодой, повеяло и от жизни теплом близких перемен. Все чаще слышалось полузабытое слово «надежда».

И правда, словно расчищая дорогу наступающему новому году, у Нюркиного магазина появилось объявление о том, что с первого января будут снижены цены на промышленные товары, и следовал длинный перечень нужных и не нужных жителям Мартука вещей.

Но еще более радостная весть прокатилась как-то солнечным днем по поселку: обещали открыть надомную артель вязальщиц — настоящее предприятие с авансом и зарплатой. «С авансом и зарплатой! С авансом и зарплатой!» — катилось от одного заснеженного двора к другому.

Уже не отменялись занятия, и мальчишки с окраин Мартука катили в школу на прикрученных к валенкам коньках. Ожил школьный двор на переменах. Оттаяли и умолкли провода, появились наголодавшиеся за зиму воробьи. В эти радостные дни сбылась давняя мечта Фариды: мать разрешила ему ходить на станцию к поездам за шлаком.

Гульсум, изучившая кормилицу-станцию как собственный пустой двор, долго противилась этому, потому что знала: шлак и та малость, которую можно было добыть у паровозов, — монополия дружных, не по годам дерзких ребятишек железнодорожников, живших тут же, в кирпичных домах при станции, за огромными огнедышащими горами шлака.



Но Фарид страстно уговаривал ее, что самый отчаянный из мальчишек, по кличке Кожедуб, учится с ним в одном классе, да и не каждого, мол, задирают станционные, а только тех, кто из жадности пытается урвать больше всех. А он не буржуй, ему больше всех не надо.

Последним доводом он развеселил мать так, что Гульсум рассмеелась от души, легко и весело, как много-много лет назад.

— Не буржуи, значит, мы?

— Не буржуи...

После школы Фарид установил на санки крепкую корзину, кинул в нее помятое и залатанное цыганами ведро и поспешил на вокзал.

Дух станции, особенный, неповторимый, ощущался за квартал, а отвалы на фоне вросших в землю саманных построек Мартука казались горами и были видны с каждого двора. Запахи тлевшего в недрах отвалов шлака, подпаленных креозотовых шпал в местах чистки топок, машинный дух больших сдвоенных паровозов и пар, клубившийся вокруг них, всегда волновали и влекли мальчика.

Он знал: отсюда по двум тонким нитям путей уходит дорога в какую-то иную жизнь. Оттуда, из этой жизни, приходят поезда, пахнущие теплом и летом, красным апортом и желтыми мандаринами, поезда, в которых, как рассказывала мама, зеркала во всю дверь и настоящие ковровые дорожки, и в которых едут вежливые военные и красивые барышни, и еще много всяких других людей, кому Фарид отказал бы в таком праве. Как и подобает человеку, занятому делом, проходя мимо прибывшего состава, он не стал глазеть на торги у вагонов, хотя слышал воркотню толстых пассажиров в тяжелых шубах, накинутых на яркие китайские халаты:

— Какой узор! Какая изящная кайма!

— А пушится, а пушится-то как!

Как мудрец среди шаловливых детей, Фарид улыбался и беззлобно думал: «Пушится? Да как же ей не пушиться?»

Он-то знал, как невысказанно долог путь до того момента, когда шаль могла оказаться на чьих-то зябнущих плечах.

Он словно воочию видел своих сверстников в казахских аулах, выхаживающих маленьких шаловливых козлят, видел чабанов, изо дня в день, из года в год, в стужу и в зной кочующих со стадами в скудных степях, продуваемых летом и зимой злыми ветрами. Видел он быстрых и умелых, как мама, женщин, счесывающих



по осени пух. Знал не понаслышке, сколько тепла человеческих рук — детских, женских и суровых мужских — вложено в кра-савицу-шаль, знал, сколько слез пролито над ней в холодных ко-шарах и в тени керосиновых ламп, и не удивлялся восторженным восклицаниям покупательниц...

Переживая, пока женщины перетасят на носилках шлак после ташкентского скорого, Фарид с высоты отвала впервые оглядывал лежавший внизу Мартук. Вдали виднелась крытая шифером шко-ла, а рядом под ярко-зеленым железом — сельсовет с обвисшим флагом, остальные дома можно было различить лишь по тонким струйкам дыма, тянувшимся, казалось, прямо из-под снега. Далеко вдоль путей высился похожий на одногорбого верблюда элеватор. На потемневшем цинке обшивки прямо на горбу криво и некрасиво было написано: «1927 год». Заслонив элеватор облаками пара, пронесся скорый на Москву. Когда облако рассеялось, Фарид увидел, как путейцы поставили на рельсы мадерон и стали гру-зить свой тяжелый инструмент: ломы, кирки, молотки, кувалды.

Фарид всегда невольно отличал путейцев от всех других людей. Может, оттого, что пока он знал одну-единственную профессию, которая не зависела ни от времени года, ни от погоды, ни от сельсовета, да и ни от кого-либо еще.

Сколько Фарид себя помнил, столько и знал он каждого пу-тейца Мартука в лицо, и всегда у них была работа, а значит — аванс и получка. А еще он знал, что им положен настоящий уголь и они могут выписывать старые шпалы, а из них ставить добротные теплые сараи. А главное — и это казалось уж совсем волшебством, — каждому ежегодно полагался бесплатный билет в любой конец Советского Союза — и обратно, конечно. В любую окраину! Перед Фаридом при этом всегда оживал старенький школьный глобус.

«Вырасту и стану путейцем», — глядя вслед удалявшемуся на перегон мадерону, подумал мальчик и улыбнулся.

*Ташкент,
декабрь 1971*







Голубые самосвалы

Рассказ

Проезжая станцию с весенним названием Март, проводники непременно покажут промелькнувший у окна указатель — длинную обоюдоострую стрелу, сообщающую: «Азия — Европа». Указатель находится на перегоне, и поезда проходят мимо на высокой скорости, создавая ощущение, что стрела летит навстречу.

Не каждому селению дано стоять на стыке двух континентов, а Март возник давно, даже не подозревая, какую честь оказала ему география. Ничем другим районный центр Март от соседних не отличался. У широких прямых улиц, недавно покрытых асфальтом, стояли аккуратно выбеленные, ухоженные дома под шифером. Хотя почти все дома заново отстроены в последнее десятилетие и строительство продолжалось, разнообразием архитектуры поселок не отличался. Дома как дома: добротные, не лучше и не хуже, чем у соседа. У каждого дома палисадник.

Весна в этих краях неторопливая, степенная: напоит запахом талого снега и тонкого ледка весенних луж, наполнит воздух сладким дурманом набухших почек кленов и тополей, дружно пустит в цвет сирень-черемуху, белым снегом в одно утро окутает яблони, усыплет поля тюльпанами, даже крыши сараев окропит багряными маками. До первых знойных ветров, гонцов сухого лета, стоит весна-краса в Марте.



Хоть внешне Март и не отличался от соседних селений, что вправо, что влево от знаменитой стрелы, разница меж ними все же была. Почти все мужское население поселка работало на автобазе. Казалось бы, что здесь удивительного, мало ли селений, где мужчины — рыбаки, охотники, лесорубы, каменотесы, шахтеры... Но эти профессии складывались, так сказать, географически, по традиции, десятилетиями, а то и веками. А в Марте еще в сорок девятом пылила лишь одна машина, трофейная полуторка, принадлежавшая колхозу «III Интернационал».

Профессия, характеризующая время? Наверное. Но не только... Точнее сказать: это сделали время и Родион Ильич Карташ.

Весной 1954 года вместе с первым отрядом добровольцев Родька Карташ, механик Горьковского автомобильного завода, прибыл на казахстанскую целину. То, что Март стоял на железной дороге, определило его судьбу как перевалочной базы для прибывавших людей, грузов, машин. Ежедневно приходили составы со сборными финскими домами, новенькими, еще пахнущими краской газиками, серыми, под цвет брони, тяжелыми тракторами ДТ-54.

На первые машины нашлись шоферы, и своим ходом они ушли разбитыми весенними дорогами в дальний путь, к целинным совхозам. Но бесконечный поток прибывавших машин требовал все новых и новых водителей. Тогда-то и были организованы первые шоферские курсы. В две смены, с раннего утра дотемна, Родька Карташ — директор, преподаватель и механик в одном лице — готовил кадры.

Здесь же, в зале для занятий, в углу, стояла его раскладушка.

Повезло молодому механику с курсантами: Март не баловал своих мужчин работой. Да откуда же ее взять: станция, баня да маломощная артель — вот и все предприятия. А тут вдруг курсы со стипендией, и немалой для здешних мест. Отбою от желающих стать водителями не было. Пожилые отцы семейств, молодежь, даже девушки Марта потянулись к новой профессии.

Поначалу Карташа настораживала атмосфера на занятиях: ни шутки, ни смеха, даже в перерывы. Но чем дальше уходили по программе, тем большей симпатией проникался Родион к своим курсантам. Теперь он понимал: для них эти курсы



в нетопленной, наспех переоборудованной конюшне колхоза открывали надежды на лучшую, сытую жизнь. Порою в глазах слушателей, вдвое старших его, Родион читал сомнение: «Неужели так и будет — сдашь экзамен, получишь машину и работай?» Им, знавшим цену постоянной работы в Марте, слышавшим за долгую жизнь немало обещаний, казалось, что здесь что-то не так.

Гараж, где шли практические занятия, не пустовал даже по воскресеньям. Затемно в дверях появлялся моторист. Вытирая ветошью обожженные на фронте руки, виновато говорил: «Все. Выключаю движок». Медленно гасло тусклое освещение, и только тогда курсанты нехотя расходились весенними улицами Марта по домам.

За первым выпуском последовал второй, третий... А через два года Родион праздновал новоселье. Силами курсантов отстроилась новая добротная школа с учебными классами, механическими мастерскими, просторными гаражами, общежитием. Потянулись к шоферскому делу из колхозов и соседних районов.

Хотя и появились у Карташа помощники, дело держал он в своих руках. Родион был из тех, кого судьба метит яркой метой — одаряя слухом или голосом, умелыми руками или необыкновенным видением мира. Машины были его единственной страстью, и знал он о машинах все, что только можно было знать. По одному ему ведомому признаку мог Родион определить неисправность машины, для этого ему достаточно было услышать ее. В Марте у Родиона обнаружились новые способности — организатора и педагога. В первую целинную весну в райкоме партии усталый секретарь, в промокшем насквозь брезентовом плаще, только вернувшийся из дальних колхозов, не дослушав его до конца, сказал:

— Родион, мысли у тебя дельные. Но из всего, что ты принес, я возьму лишь графики выпусков. Шофера нужны позарез. Действуй, как считаешь нужным.

Организаторские способности Карташа не остались незамеченными в районе и даже в области.

Удивительная вещь природа: горный аул, похожий на десятки других, но этот ни с чем не сравним — Кубачи. Неприметные с виду селения, каких на Руси тысячи, но они ее гордость —



Палех и Мстера. Чем объяснить, что их жителям из поколения в поколение даются секреты подлинного мастерства? Задумывался об этом и Родион в Марте. Занимаясь со своими первыми курсантами, Родион не раз ловил себя на тщеславной мысли: «Я сделаю их шоферами высшего класса, сотворю их по своему образу и подобию. Я создам свою школу, слава о выпускниках которой будет бежать впереди их дальних дорог».

И чтобы сбылись эти честолюбивые замыслы, Родион вкладывал в каждого курсанта все свои знания и любовь к машинам. Надежды Родиона Карташа сбылись даже раньше, чем он предполагал, слава мартовской школы перешагнула границы Казахстана.

Мартовским шоферам передалась страстная любовь учителя к машинам, его поразительное чутье на малейшую неисправность. На Кавказе говорят: «Джигит прежде заботится о коне, затем уже о себе». Сказанное можно было с полным основанием отнести к мартовским водителям. Машины их, всегда свежевыкрашенные, с аккуратно выписанными номерами, начищенными зеркалами, дополнительными подфарниками, выглядели, словно на смотре.

Часто застрявший в ночи на обочине шофер молил судьбу, чтобы мелькнули фары машин именно мартовских шоферов. Эти не проедут мимо, и всегда у них найдется и трос, и запасное колесо, и другие запчасти. А если надо, дотянут до первого села или переберут все нутро машины, чтобы двинулась собственным ходом. Шоферский закон: «Не бросай в беде товарища» — карташевцы соблюдали строго.

В первые же годы богатых целинных урожаев мартовские шоферы побили все рекорды республики по вывозу зерна. Первые автопоезда из прицепов пришли по душе в Марте, и в центральной печати замелькали портреты мартовских капитанов хлебных караванов. А в тенистых аллеях школы, в скверике и розарии, разбитом первыми выпускниками, готовилась к экзаменам очередная группа юношей.

В красном уголке школы, где проводились торжественные собрания и вручались дипломы, висели портреты знаменитых выпускников. Были среди них два Героя Социалистического Труда, а в центре в траурной кайме висела фотография улыбающегося юноши в солдатской форме. Это он ненастной осенью



ночью вывел с переполненного аэродрома загоревшийся бензозаправщик.

Возвращаясь с молодой женой из гостей, пересекая центральную площадь райцентра, Родион шутя, но не без гордости иногда говорил: «Вот здесь Март поставит мне памятник». И Март не забывал заслуг Карташа — избрали его в поселковый Совет, был он и членом райкома партии.

Щедра оказалась целинная земля, и осенью шестидесятого разродилась таким урожаем, что справиться ни мартовским шоферам, ни шоферам всей области было не под силу. Вновь потянулись в Март на уборку со всех концов страны составы с машинами и водителями.

До поздней осени круглосуточно вывозили зерно на элеваторы близлежащих городов и селений, грузили прямо в составы на железнодорожных путях, так много уродилось хлеба! А с первым снегом за станцией Март на пустоши в целый гектар выстроились тысячи разных машин.

Шоферов задерживать не стали, свое они отработали с честью — с честью и проводили.

Райком снова обратился за помощью к Родиону Карташу. Как привести в порядок сотни машин, как перегнать эту армаду на станции близлежащих городов, как организовать их быстрейшую отpravку? И тут Родион обнаружил прямо-таки государственный ум. Он убедил районное и областное начальство, что нет смысла возвращать машины владельцам. Гораздо выгоднее иметь в Марте, на стыке двух республик, мощную автобазу, благо, кадры найдутся на месте. Вскоре в степи за станцией выросла невиданная в здешних, да и не только в здешних, местах мощная автобаза, директором которой стал Родион Карташ.

Автошкола обрела нового директора, но по-прежнему называли ее карташевской. Родион ревниво следил за своим детищем, заботясь о ее нуждах, направляя развитие школы по лично разработанному плану.

Создание огромной автобазы, оснащенной современным оборудованием, с многоярусными подземными гаражами, полуавтоматическими линиями сборки, просторными механическими и кузнечными цехами, охваченными диспетчерской радиосвязью, далось Карташу нелегко. И как-то незаметно



для окружающих он вдруг погрузнел. Некогда буйная, растрепанная шевелюра изрядно поредела, а виски густо покрыла седина. Его вездесущая серая, неприглядная снаружи «Волга» с бесшумными дверцами, мощным мотором, оснащенная радиосвязью, была знакома каждому жителю Марта. Родион Ильич никогда не пользовался положенным по штату личным шофером, разве что за его машиной постоянно следил дед Бахмут, из первого, памятного для Родиона выпуска.

Из тех, кто окончили курсы в конюшне колхоза «III Интернационал», на автобазе работало человек сто. В большинстве своем они стали теперь начальниками колонн, механиками, завгарами, но были среди них и шоферы. Родион никогда не скрывал своей симпатии к ним и говорил: «Моя старая гвардия!» Они были опорой Родиона в полуторатысячном коллективе. С ними Родион часто держал совет, и во всех начинаниях впереди шла старая гвардия.

Когда в стране было решено ввести профориентацию в школах, в Марте сразу и единодушно постановили готовить водителей. Родион Ильич, заранее предвидя выгоду, с присущей ему энергией и знанием помог поставить дело в школах. Практику ребята проходили на автобазе, а председателем экзаменационной комиссии был сам Родион Ильич. Карташ смотрел далеко. Сколько бы ни выпускала шоферов его школа, могучая автобаза требовала их все больше. Уж слишком далеко ушли дороги его машин: пятьсот мартовских самосвалов работали в Средней Азии, отсыпали автодорогу Ташкент — Алмалык, две колонны возили крепежный лес из Башкирии на шахты Караганды; другие перевозили алтайский хлеб и руду Темиртау, гурьевскую соль и даже скот доставляли на мясокомбинаты Семипалатинска. И когда колонна возвращалась в Март, своим ходом или по железной дороге, приходили зачастую по одному к Карташу неловко переминавшиеся с ноги на ногу не больно разговорчивые мартовские шоферы: «Отпусти, Ильич, по душе жизнь в Башкирии: лес, река...» А то говорили: «Жениться хочу, Родион Ильич, отпустите...»

— Такова жизнь: спасибо и на том, что самовольно машин не оставляют в далеких краях, — говорил Родион Ильич и продолжал готовить шоферов не только для своей автобазы.

С годами Март разросся, стали поговаривать, что будет он называться поселком городского типа. Появилось много новых



предприятий. Рядом с автобазой выросли три параллельные улицы с двухэтажными коттеджами. Автобаза утонула в зелени: весной душно цвела сирень, летом сладко благоухали чайные розы.

— Зачем такую красоту развел, ведь не парк культуры? — спрашивали заезжавшие коллеги-директора.

— Специфику работы понимать надо. Хлопцы за тысячи верст от базы работают, а дом вспоминают. Так пусть помнится красота. Немало автобаз повидают в дальних краях, больше гордости будет за свою, — отвечал Родион Ильич. И два штатных садовника исправно несли службу.

Особых развлечений жители Марта не имели: три кино-театра, где изредка выступали заезжие гастролеры, вот, пожалуй, и все.

Но если не упомянуть о стадионе — значит, исказить истину. Дело в том, что в Марте было еще одно поприще, где можно было завоевать любовь и признательность односельчан, даже не выигрывая авторалли по Скандинавии.

Футбольные матчи и лыжные гонки собирали не только мужскую половину Марта. Почему футбол и лыжи? Право, объяснить это трудно. Хотя в Марте были неплохие легкоатлеты, велогонщики, борцы, но сердца мартовцев по-настоящему занимали лишь футбол и лыжи. Любое, самое маленькое предприятие Марта имело футбольную команду, окрестные колхозы и совхозы тоже выставляли команды на осенний и весенний розыгрыши кубков. Успехи футбольных коллективов поднимали престиж предприятий, и потому матчи отличались особым накалом.

Родион Ильич долго не разделял страстей своих земляков. Уже будучи директором громадной автобазы, без особой гордости принимал он поздравления, когда команда «Водитель» выигрывала первенство района или кубок. Не вызывали у него огорчения и проигрыши команды, и потому особенно не любил Родион Ильич, когда просили освободить шоферов для очередных игр.

Но однажды Родион Ильич по ранней весне отдыхал в Лазаревском, что под Сочи. Ранняя весна и поздняя осень — единственное время отдыха для крупных администраторов, хозяйственников. В санатории Родион Ильич был окружен



директорами заводов, управляющими строек, начальниками всевозможных управлений. С утра, приняв процедуры, они спешили на стадион. Дело в том, что весной в Лазаревском тренируются многие футбольные клубы страны. Поначалу Родион Ильич ходил с отдыхающими на стадион просто так, за компанию.

Когда сосед по палате, директор одного из украинских заводов, пригласил Родиона Ильича к своим знакомым, киевским динамовцам, и Карташ стал ездить на предсезонные игры в соседние приморские городки в автобусе с футболистами, директор мартовской автобазы был уже в плену этой захватывающей игры. Как и всякая поздняя любовь, любовь к футболу оказалась страстной и всепоглощающей. Теперь Родион Ильич внимательнее прислушивался к разговорам коллег, и день ото дня крепла уверенность: будет и у него команда не хуже, чем, положим, у директора консервного завода или у директора мясокомбината...

Вернувшись в Март, Карташ с присущими ему энергией, энтузиазмом, а теперь любовью и знанием футбола (а кто не считает себя знатоком футбола!) взялся за свою команду «Водитель».

Первое же появление Родиона Ильича на мартовском стадионе не осталось незамеченным. Но и Карташ опытным взглядом хозяйственника увидел недостатки стадиона. Нестандартное, без травяного покрова поле, отсутствие раздевалок и душевой для команд. Всего три ряда скамеек вокруг поля. Голый, без зелени стадион разочаровал директора автобазы. И тут Родион Ильич вспомнил архитектора из области, который уже второй год просил «устроить» мотор для личной «Волги» и не прочь был сменить кузов.

Архитектор обрадовался неожиданному звонку. Разговор Карташ завел издали: трудно, мол, нынче архитекторам, почти невозможно выразить себя — проектные институты, творческие группы, а сидит в каждом мечта создать что-то свое. Архитектор, задетый за живое, соглашался.

И Родион Ильич, как и всякий деловой человек, решил не затягивать разговор и объяснил, что поможет осуществить голубую мечту и к тому же намерен исполнить давнюю просьбу архитектора. Для этого от архитектора требовалось одно — сделать проект небольшого стадиона.



То ли повезло Марту, то ли Карташ действительно безошибочно определял людей способных, архитектор оказался человеком небесталанным. Вместе с Карташем они выбрали место для стадиона, и к осени проект был готов.

За автобазой, в большом молодом парке, бережно пересадили часть деревьев, и внутри парка началось строительство футбольного стадиона. Не одно взыскание получил Родион Ильич, пока велось строительство, но стадион вышел на славу!

С годами подросли деревья в парке, и стадион стал излюбленным местом отдыха. Был теперь у команды автобазы свой стадион и условия для тренировок получше, чем у многих других, а вот особенными победами «Водитель» похвалиться не мог — в футбол мартовцы играть не умели.

Чернее тучи ходил Родион Ильич, когда в финале первенства или розыгрыша кубка местного значения футболисты какого-нибудь элеватора или лесхоза, штатом-то всего в триста человек, побеждали команду его автобазы. Зачастую «Водитель» проигрывал оттого, что лучшие игроки находились в дальних рейсах, а достойной замены не было. Постепенно у «Водителя» сформировались первая и вторая сборные, несколько юношеских. Теперь при случае можно было выставить равный во всех линиях состав. Все реже Карташ стал отправлять в дальние рейсы тех, кто мог на поле повлиять на судьбу футбольного матча. Нередко оказывалось, что лучший игрок другой команды вдруг переходил на работу в автобазу.

В финале осеннего кубка района «Водитель», с трудом отбивавшийся весь матч, в единственной контратаке второго тайма забил гол «Кооператору». Вратарь Николай Цихмистро по кличке Сова пропустил безобидный мяч. А через два месяца он перешел на работу в автобазу и сразу получил новую машину. И хотя на улицах уже лежал снег, события финального матча ожили у мартовцев перед глазами, словно это было вчера. По Марту пошли пересуды.

В приемной и в просторном кабинете директора автобазы вдоль стен стояли аккуратные стеллажи, сделанные местным столяром-краснодеревщиком по эскизам Родиона Ильича. В стеллажах выстроились всевозможные кубки: хрустальные, бронзовые, потемневшего серебра, крытые никелем. Висели вымпелы: нарядные, шитые золотом и попроще, грамоты



и фотографии в рамках из светлой вишни. Гости автобазы, прикомандированные инженеры, члены всяких комиссий, бывая у директора, непременно говорили:

— Родион Ильич, да у вас все кубки, вам и завоевывать-то больше нечего!

Карташ любезно соглашался, но лишь только за посетителями закрывалась дверь, на лицо его набегала тень. Иногда ему казалось, что они сознательно бьют его в больное место. Откуда им было знать, что у директора автобазы была заветная мечта — добыть еще один кубок. Этот более чем полуметровый хрустальный кубок не выходил у него из головы с той самой минуты, когда он, раскрыв газету, увидел снимок: счастливые обнявшиеся футболисты, растерянное лицо тренера, еще не осознавшего, что все позади, и гордая улыбка директора завода, того самого, консервного, вскинувшего над головой тяжелый хрустальный приз. Под снимком несколько слов о заводе, директоре, чьи футболисты прошли столь тернистый путь до победы. Шутка ли, в борьбе за почетный приз участвовало двенадцать тысяч команд! Да, Родион Ильич надеялся, что когда-нибудь его «Водитель» выигрывает кубок СССР для коллективов физической культуры. Мечтой своей Карташ ни с кем не делился, даже с футболистами. Путь долгий и трудный, на годы. Кубок СССР в Марте? На такое мог замахнуться лишь Родион Карташ.

В зоне отдыха рабочих автобазы у Чудных озер вырос еще один двухэтажный коттедж. Над входом висела искусно вырезанная фигурка футболиста, а зимой — лыжника, изогнувшегося в вираже. Рядом построили футбольное поле, теннисный корт. Что-то наподобие спортивной базы возникло в зоне отдыха. Родион Ильич знал лично всех футболистов, игравших и в юношеских командах «Водителя», и во взрослых, не говоря уже о тех, кто играл за сборную автобазы. О том, чтобы посылать их в дальние рейсы, теперь не могло быть и речи.

«Новая гвардия», — называли с иронией футболистов на автобазе. Старые друзья часто говорили Карташу, что футболисты злоупотребляют его любовью. Но поздняя любовь слепа, и Родиону Ильичу не нравились жалобы на игроков.

Когда «Водитель» попал на финальный турнир розыгрыша кубка СССР в своей зоне, Родион Ильич сопровождал команду



сам. В турнире «Водитель» занял последнее место, а ведь это был лишь финал одной из двадцати зон. Видел Родион Ильич: в составах большинства команд на ключевых позициях играют бывшие игроки класса «Б», а то и высшей лиги. У команд квалифицированные тренеры.

Но неудача не остудила пыл Родиона Ильича.

В первое же воскресенье после возвращения «Водителя» из бесславного турне в Марте прошли две полуфинальные игры осеннего кубка. В первом матче игроки «Водителя» забили в ворота противника пять безответных мячей. В другом матче случилось непредвиденное — «Локомотив», беспорный фаворит, проиграл, и проиграл по всем статьям, команде местной средней школы номер три.

Финальный матч, назначенный на следующее воскресенье, ждали с большим интересом, только о нем и шли разговоры.

Проигрыш «Водителя» в кубке СССР для коллективов физической культуры был забыт. Смогут ли юные, быстрые, играющие с задором школьники выиграть у опытной команды района? Мнения разделились.

В воскресенье на переполненном стадионе автобазы кипели страсти. Юность, дерзания всегда вызывают симпатии болельщиков, и у школьников их оказалось, пожалуй, больше, чем у «Водителя», что случалось в Марте крайне редко.

«Вот она, моя будущая команда!» — присматриваясь к школьникам, думал Родион Ильич, хотя уже к концу первого тайма со счетом 2:0 вели футболисты его автобазы.

Наблюдая за игрой, Родион Ильич впервые не волновался ни за своих любимцев, ни за кубок, который они могли и не выиграть. Глядя на разворачивающиеся события, Карташ чувствовал, что школьники, несобранно начавшие матч и моментально наказанные опытными игроками, вот-вот «поймают» свою игру, и защита его «Водителя» не справится с маневренной и изобретательной игрой нападения.

Наблюдавший немало матчей и уже не дилетант в футболе, Родион Ильич впервые видел столь неожиданные и, казалось бы, нелогичные решения в атаке.

От этой-то нелогичности стала в тупик защита «Водителя». Порою школьники закручивали такую карусель в штрафной площадке противника, что Родион Ильич невольно сравнивал



нападение команды мартовской средней школы с хорошим джаз-оркестром, где импровизация любого инструмента стройно вплеталась в общую мелодию, где каждому предоставлялась возможность солировать, развивая и углубляя тему.

Не по годам рослые, выносливые ребята приняли навязанный «Водителем» высокий темп, и когда при счете 2:2 водители пытались сбить атаки жесткой игрой, школьники не дрогнули.

Предчувствие Карташа не обмануло, его команда была бессильна противостоять шквалу атак школьников. На последних минутах игры их капитан Хамза Кадыров, совершив сольный проход, прошел всю защиту «Водителя», выманил из ворот Сову и легонько вкатил мяч в пустые ворота. 3:2!!! Три гола центрального нападающего школьных футболистов впервые за последние годы лишили автобазу осеннего кубка.

В раздевалке водителей стояла гнетущая тишина, футболисты, отдавшие все борьбе, не находя сил стянуть мокрые и грязные футболки, исподлобья поглядывали на дверь. Иным уже виделись суровые зимние дороги на Семипалатинск. Вдруг скрипучая дверь распахнулась, и вошел улыбающийся Родион Ильич.

— Что за похоронное настроение? Вот не думал, что вы такие жадные. Пусть молодежь сегодня порадует, а то играть вам скоро не с кем будет. Банкет, который я самоуверенно заказал на Чудных озерах, не отменяется. Гости при параде, правда, немного сконфуженные, но не расходятся. Так что живо собирайтесь, жду вас в автобусе.

Футболисты, знавшие крутой нрав Родиона Ильича, недоумевая, заспешили в душевую.

Наутро Карташ, едва закончив планерку, придвинул к себе микрофон:

— Наталья Павловна, разыщите мне Кравцова.

Механик Кравцов из года в год ведал в профсоюзе спортивно-массовой работой, за «Водитель» радел не меньше, чем Родион Ильич. Сергей Никифорович, услышав по радио, что его вызывают к директору, скинул халат, протер ветошью руки и, переглянувшись с находившимися рядом шоферами, нехотя двинулся к конторе.

В кабинете директора находился бухгалтер, принесший бумаги на подпись, и Кравцов потихоньку уселся в глубокое кресло в углу у кондиционера.



— Как вчерашняя игра, понравилась? — спросил Родион Ильич, лишь только бухгалтер прикрыл дверь.

«Так и знал», — подумал Сергей Никифорович и ответил:

— Не узнал школьников, и в прошлом году они играли в этом составе, а нынче — прямо московский «Спартак», ничем не остановишь. А капитан у них, ну, прямо бери и — в класс «А». Высший пилотаж, как говорят у меня в колонне.

— Что ж, я очень рад, что мнения наши совпали. У меня к вам просьба. Кажется, в третьей школе автодело ведете вы?

— Да, они учатся у меня, — сказал Сергей Никифорович.

— Пожалуйста, постарайтесь собрать сведения о команде: что за ребята, их увлечения, чем собираются заняться, все-таки выпускники. Недели хватит? — спросил Родион Ильич, вставая из-за стола.

Ровно через неделю после обеда Карташ долго беседовал с Сергеем Никифоровичем. Оказалось, что ребята из двух параллельных десятых классов играют третий сезон. Особые увлечения? Конечно, автомобили! Мечтают после школы попасть на автобазу, поначалу хотя бы в слесари, но до армии хотели бы сесть за руль. Только один в команде, вратарь Коля Дмитриенко, давно увлекся юриспруденцией и собирается поступить в университет, за что в школе прозван Прокурором. У семерых родители с автобазы. Отец капитана команды работает на мойке, а остальные — на машинах.

«Вот она, команда, которая добудет мне кубок!» Директор мысленно уже видел этих ребят тренирующимися на базе в Чудных озерах под руководством опытного специалиста. Он знал, что создаст им самые благоприятные условия для работы и игры.

Увлечение Родиона Ильича, однако, нисколько не отразилось на работе. Автобаза считалась в области одной из передовых, колонны, работавшие в дальних краях, перевыполняли планы перевозок, и в Март, в адрес руководства, шли благодарности. На текущий счет автобазы набегали немалые премии за досрочно пущенные объекты, за своевременно доставленные сотни тысяч тонн грузов, за победы в социалистическом соревновании.

О новых планах директора едва ли кто, кроме Кравцова, догадывался. Переговорить с юношами Карташ не доверял даже



Кравцову, ждал весны. Родион Ильич надеялся, что весной, когда выпускники придут на практику на автобазу и будут сдавать вождение, представится удобный момент для разговора. Но случай представился неожиданно и даже раньше, чем он предполагал.

В апреле, накануне майских праздников, он вернулся из области. В приемной Кравцов, раздвинув стекла стеллажей, что делалось крайне редко, показывал ребятам спортивные трофеи автобазы. Родион Ильич искренне обрадовался мальчишкам и, широко распахнув двери кабинета, пригласил их к себе.

Просторный уютный кабинет, сверкающие призами стеллажи словно заворожили ребят. Но радушие хозяина кабинета, поданный секретаршей чай в ажурных подстаканниках быстро растопили атмосферу неловкости, возникшую поначалу при появлении директора. Вскоре Кравцов ушел, а Родион Ильич все беседовал с ребятами: о машинах, об автобазе, о футболе. Оказалось, что и они болеют за московский «Спартак». Неожиданно Родион Ильич спросил:

— А тайны вы хранить умеете?

— Умеем, — нестройно ответило несколько голосов.

— Не все, значит... — улыбаясь, сказал Карташ.

— Умеем! — твердо, в один голос ответила команда.

— Вот так мне нравится больше, — сказал директор и склонился над микрофоном: — Наталья Павловна, попросите, пожалуйста, чтобы подали автобус к конторе, водитель не понадобится.

Вскоре подали автобус, и Родион Ильич пригласил всех в машину. Ребята, предчувствуя что-то занятное, весело заняли места. Директор сел за руль, улыбнувшись, обвел взглядом салон и сказал:

— Поехали!

Автобус долго петлял между корпусами автобазы, миновал зеленую зону и остановился у боксов, прижатых к глухому забору. Когда ребята сошли, Родион Ильич нетерпеливым жестом пригласил их с собой, и они зашагали к самому крайнему строению. Директор осмотрел пломбу на двери, аккуратно сняв ее, открыл замок.

В боксе пахло пылью и сыростью. Подслеповатое оконце, затянутое паутиной, не пропускало свет, и Родион Ильич,



включив освещение, пригласил застывших на пороге ребят пройти внутрь.

Перед ними в ряд, словно на линейке, стояли пятнадцать новеньких голубых самосвалов.

— ЗИЛы — пятьсот пятьдесят пятые, — сказал кто-то шепотом.

Словно и не было запаха пыли и плесени, мальчики вдруг ощутили, как пахнет свежая краска, слышали запах шин, новенькой кожи сидений. Крытые никелем фары машин, поблескивая тонким слоем смазки от коррозии, глядели в упор на зачарованных ребят.

Родион Ильич, отойдя в глубину бокса, наблюдал за ними. Вдруг он сказал:

— Вот это и есть моя тайна. На следующий же день после выпускного бала можете приходить на базу — они ждут вас! — и Карташ, выйдя из тени, открыл дверцу ближайшего самосвала.

— Это наши машины? — чуть ли не в один голос воскликнули ребята и бросились к директору.

Кто-то первый сел в кабину и крикнул:

— Машина с краю — моя!

Вмиг были разобраны и остальные.

Родион Ильич незаметно покинул бокс и, вернувшись в автобус, стал дожидаться ребят. Ждать пришлось долго, и он нажал на сигнал.

Когда счастливые школьники шумно заполнили салон автобуса, Родион Ильич сказал:

— До самого последнего школьного дня это тайна, договорились?

Радуясь и считая, что вопрос с командой улажен, Карташ целыми днями не покидал свою серую служебную «Волгу». Автобаза готовилась к весеннему техосмотру. Почти каждый день директор ездил в областное управление ГАИ. Две большие автоколонны должны были как можно раньше отбыть на Мангышлак. Звонки с полуострова не давали покоя Карташу ни днем, ни ночью. Прошлым летом там работала мартовская комсомольско-молодежная колонна: отсыпали новые дороги, доставляли нефтяникам оборудование, возили песок и гравий на домостроительные комбинаты. В безводных и бездорожных



степях Мангышлака самыми безотказными оказались мартовские машины и их водители, потому ждали их там с нетерпением. Родион Ильич вновь отправил комсомольско-молодежную колонну. А второй — ту, в которой работала его «старая гвардия», вопрос о соревновании между ними был решен в Марте. К удовольствию обеих колонн, директор решил трянуть стариной и на десятитонном МАЗе повел колонны сам.

Когда отцвела сирень-черемуха, а в степи начали выгнать травы, с первыми знойными ветрами, гонцами сухого лета, вернулся Родион Ильич в Март. А тут и радость подоспела. По итогам Всесоюзного социалистического соревнования первого квартала одно из переходящих Красных знамен ВЦСПС и крупная денежная премия были присуждены коллективу мартовской автобазы.

В зоне отдыха на Чудных озерах готовили комнаты для гостей. На территории наводили лоск, на митинг, посвященный торжественному событию, пригласили семьи рабочих.

Рыбалка, купание на озерах, гуляние в парке — все было предусмотрено директором, однако ему казалось, что для такого торжественного случая чего-то не хватает. И вдруг в канун праздника Карташа осенила идея: нужно организовать футбольный матч. Рабочий день клонился к концу, и пригласить какую-либо команду на игру уже было невозможно. И Родион Ильич вспомнил о ребятах из МСШ-3. Вот кто ему нужен! Он попросил диспетчера вызвать слесаря Звонарева, сын которого Геннадий играл в команде центральным защитником.

Звонарев за долгие годы работы на автобазе был в кабинете директора впервые. Смущаясь своего промасленного комбинезона, задержался на пороге.

— Да вы проходите, Савелий Степанович, садитесь, — пригласил Карташ.

Когда Звонарев неловко уселся на краешке кожаного кресла, Родион Ильич спросил:

— Гена ваш сейчас дома?

— Да где ж ему быть, дома, конечно. Завтра в школе у них выпускной вечер, готовится.

— У меня к нему срочное дело, а я не знаю, где вы живете, может, вы со мной в машине проедете?

— Отчего же не поехать, Родион Ильич, коль надо.



Карташ договорился с Геннадием, что назавтра тот соберет команду, и в последний раз в форме МСШ-3 они выйдут на поле против «Водителя».

На другой день в Марте только и было разговоров об утреннем митинге на автобазе, где почетный гость из Москвы вручил Карташу шитое золотом знамя. И футбольный матч явился как бы продолжением праздника. На стадионе работали буфеты, продавали пиво, у входа выстроились в ряд несколько автолавок.

Футболисты из МСШ-3 собрались на стадионе, как и договорились, за час до матча. «Водитель» еще не подъехал, и раздевалки были закрыты, поэтому ребята стояли в тени и оживленно говорили о сегодняшнем выпускном вечере. Форма и бутсы, завернутые просто в газетку или в хозяйственной сумке, лежали рядом на поломанной скамье. Со стороны они едва ли напоминали футбольную команду. Неожиданно ребята почувствовали оживление на стадионе и повернулись на шум. На стадион медленно въезжали три львовских автобуса, в первом они без труда узнали машину, на которой постоянно разъезжала команда «Водителя».

— Они вчера поздно вечером уезжали на свою спортивную базу и сейчас прямо с озер, — сказал кто-то из ребят.

Автобус остановился недалеко, и из салона начали выходить футболисты в синих спортивных костюмах из эластика, у каждого в руках яркая вместительная дорожная сумка. Сразу у автобуса собралась оживленная толпа, слышались шум, смех. Последним сошел вратарь Сова. Он, улыбаясь, догнал мальчишек, вынесших из этого же автобуса ящик с запотевшими, видно, только из холодильника, бутылками минеральной воды, и, взяв одну, ловко перекинул своему приятелю Пантелею Палому, которого в Марте называли Пэпэ. В руках у Пэпэ был флажок бокового судьи. Во внешности вратаря «Водителя» не было ничего совиного. Высокий, стройный, с крупным и открытым лицом, по-девичьи большими, чуть навывкате карими глазами, с крутыми смоляными, сошедшимися на переносице бровями, он получил свое прозвище еще в детстве. За что, никто теперь уж не помнил.

Равного ему вратаря в Марте не было и не предвиделось. Во время того злополучного зонального турнира на кубок



СССР Родион Ильич, который сам сопровождал тогда команду, видел, что и там Сова был надежнее и увереннее всех вратарей. И его откровенно переманивали в другие команды, суля всяческие блага, но Николай без колебания отверг все предложения. Вне Марта он жизни себе не представлял.

Футболисты автобазы, сопровождаемые поклонниками, прошли в раздевалку, теперь из раскрытых настежь дверей лилась мелодия. Это включили магнитофон, подарок Карташа команде. Кто-то вывел посторонних из раздевалки и коридоров, и только тогда школьники прошли к себе.

Родион Ильич, приехавший в одном из двух автобусов с гостями и администрацией автобазы прямо с озер, был весел и выглядел нарядно. «Все идет прекрасно», — думал он, оглядывая переполненный стадион. То и дело к нему подходили знакомые, друзья и поздравляли с заслуженной наградой. Неожиданно у него мелькнула тревожная мысль, и, извинившись, он отошел от собравшейся вокруг него группы.

Приближаясь к служебному корпусу, Родион Ильич услышал голос Совы, то и дело перебиваемый дружным смехом. В раскрытых дверях раздевалки «Водителя» стоял Кравцов и что-то объяснял центральным защитникам.

Коридор, судейская — все потонуло в запахах камфарного масла и растираний. Стучали мячи... Кто-то, высоко выпрыгивая, тяжело опускаясь на деревянный пол...

Родион Ильич решительно распахнул дверь раздевалки с надписью «Гости», и тут же ему пришлось сыграть головой — прямо в него летел мяч.

Разминавшиеся футболисты дружно повернулись к неожиданному гостю. Карташ как-то рассеянно поздоровался с ними и, обращаясь к сидевшему напротив Звонареву, торопливо сказал:

— Гена, надеюсь, вы понимаете, что школа — пройденный этап, завтра вы получите обещанный сюрприз, и престиж автобазы должен быть для вас главным. Сегодня, так уж получилось, в игре равных победа должна быть за «Водителем», у нас большие гости, праздник...

— Ясно, Родион Ильич, не беспокойтесь, все будет, как по нотам, — ответил Звонарев.

— Ну, вот и хорошо, — как-то устало выдавил из себя Карташ и поспешил из раздевалки.



Секунду в комнате стояла гнетущая тишина.

— Звонарь, что означает обещанный сюрприз? — спросил Прокурор.

— Тебя это не касается.

— В таком случае ты, может, объяснишь, что означает «все будет, как по нотам»?

Защитник поднялся во весь свой каланчовый рост и, обращаясь к вратарю, ответил:

— Ясно как день, играть нужно почти по бразильской системе, забивать на гол меньше, чем противник.

— На меня можете не рассчитывать, я в поддавки играть не умею, — сказал Прокурор, забирая из-под чьих-то ног мяч, и двинулся к двери.

Выходя в коридор, он успел переглянуться с Булатом Исановым, с которым дружил с детства. Прокурор был уверен, что даже если вся команда решит отдать игру, центральный защитник приложит все силы, чтобы прикрыть ворота.

— Ветер жизни бьет в лицо с разбегу, — хихикнул огненно-рыжий Яшка Мартенс, весельчак и балагур в команде.

Но никто даже не улыбнулся. Молчание прервал Звонарь.

— А самосвалы, на которые мы завтра сядем, думаете, за красивые глаза он нам дает или за твои рыжие кудри, Яшка? Что, желающих сесть на них не найдется? Да в эту осень до самых снегов вывозили хлеб из Домбаровки, сколько машин побилось. Парторг хлопотал о самосвалах для передовиков, но хозяин сказал: «Забудьте про машины, их не существует, это мой личный резерв». А знаете, чего он хочет? Выиграть новое хрустальное ведро, помните, уже замахнулись на него прошлой осенью, да руки оказались коротки. Какое нам дело до его тщеславия, машины он нам дает, а уж если выиграем эту роскошную плевательницу, наверняка получим, когда надо будет, квартиры в коттеджах. — Игорь вытер вспотевшую от волнения шею.

— Противная у тебя философия, — сказал Булат и тоже потянулся к выходу.

Еще не успела закрыться за ним дверь, как все повернулись к капитану. Хамза от неожиданного внимания встал.

— Чего вы ждете от меня? Это не школьное собрание, где нам подавали готовое решение и оставалось скопом



проголосовать. Это уже жизнь, и решение должен принять каждый сам. Что касается меня, Звонарь, можешь не рассчитывать. А как остальные, не знаю... Игра покажет, кто какое принял решение.

В коридоре раздался свисток судьи. Пора! В раздевалке еще с минуту стояло тягостное замешательство.

— Вы не слышали свистка? — спросил возникший на пороге судья.

— Привет, Лимонадный Джо, — сказал судье Геннадий и, проходя, фамильярно обнял его за плечи.

Судья Джемал Читаури заведовал в местном промкомбинате лимонадным цехом и не обижался на прочно приставшее к нему прозвище.

Команда молча построилась за воротами и по сигналу судьи без обычных шуток побежала к центральному кругу для приветствия.

Хамза бежал впереди команды, и путь, который он проделывал, не замечая, десятки раз, сегодня показался ему бесконечно долгим. Он успел разглядеть переполненный стадион, увидел, как много на трибунах девушек в белых платьях — во всех трех школах сегодня выпускные вечера. Успел заметить даже отца с соседом, невдалеке от углового флага.

Свисток. Хамза откатил мяч назад, вправо Звонарю, получил обратный пас и рванулся вперед... Матч начался...

Прошло больше половины первого тайма, пока Хамза понял, что их пятеро. Странная сложилась игра. В футболе не возбраняется переговариваться между собой по ходу матча, подсказывать, но футболисты МСШ играли молча. Какая-то нервная обстановка царил на поле.

Водители понимали, что школьники непременно хотят выиграть матч, ведь у них тоже праздник — выпускной вечер, и потому прибавили скорости, стали играть плотнее в штрафной площадке. Молчание, царившее в стане противника, раздражало водителей, постепенно и они перестали переговариваться. Лишь изредка над штрафной взлетал истеричный голос Совы:

— Взять Хамзу!

Гнетущая тишина, перебиваемая тяжелым прерывистым дыханием, жесткими ударами по мячу и гортанными вскриками выпрыгивающих в борьбу за высокие мячи, стояла над полем.



Шло время, а на табло значились нули. «Водитель» организовывал атаку за атакой, сегодняшний матч нужно было выиграть непременно.

Оттягиваясь назад, Хамза видел, как потемнели фиолетовые футболки двух центральных защитников — Булата и Володи Колосова. Лишь только мяч попадал к ним, они мгновенно отыскивали на поле Яшу Мартенса и его. В глазах молчаливых защитников Кадыров словно читал: «Все в порядке, капитан, мы выстоим — дело за тобой...»

В конце тайма «Водитель» подавал угловой.

На прострел выпрыгнули несколько игроков, а выскочивший из ворот Дмитриенко, пытаясь кулаком отбить мяч, промахнулся. Булат, выигравший воздушную дуэль, неожиданно «срезал» мяч в свои пустые ворота.

Начали с центра. Хамза откинул мяч чуть назад, влево Мартенсу, и рванулся вперед. Темная от пота, его футболка мелькнула среди белой формы водителей и уже оказалась в штрафной площадке. В последнюю секунду, сделав ложное движение для Совы, капитан собирался пробить в противоположный угол ворот, и тут защитник, от которого он только ушел, откровенно снес его. К штрафной бежал Лимонадный Джо, а глаза школьного капитана кричали: «Пенальти!»

Судья помог встать Кадырову и показал — удар от ворот. Весь вид судьи говорил: знаем мы, как назначать пенальти в ворота «Водителя». Он еще не забыл, как прошлым летом после пенальти, назначенного в ворота футболистов автобазы, не пришли заказанные на понедельник машины. И пропало сто двадцать ящиков. Лимонад — продукт скоропортящийся.

Раздался свисток на перерыв, и футболисты молча разошлись по раздевалкам. Хамза снял футболку и выжал ее, пройдя в душевую, подставил голову под освежающую струю воды. В раздевалке никто не разговаривал. Он молча откинулся на спинку кресла и, закрыв глаза, дожидался свистка на игру. Запекшиеся губы шептали: «Родион Ильич, зачем вы пришли к нам в раздевалку, ведь мы вам так верили?! А теперь мы не имеем права проигрывать... Понимаете, не можем проиграть!»

Вдруг кто-то тронул его за плечо. Перед ним стоял Прокурор и протягивал стаканчик с чаем.

— Попей, капитан, и пошли — пора!



Едва начался тайм, длинным диагональным пасом Хамза вывел Мартенса в прорыв. В тот же момент, когда он, опередив защитников, вышел на ударную позицию, боковой судья Пэпэ, размахивая флагом, вбежал на поле — он усмотрел положение вне игры.

Гол, забитый школьниками в свои ворота, явно не устраивал «Водителя», игроки команды автобазы жаждали убедительной победы и шли вперед. Чувствуя свою вину за опрометчиво покинутые ворота, Прокурор сегодня был неузнаваем. Все его выходы на верховые мячи, прострелы были своевременны и безошибочны. Не раз стрелой вылетал он из ворот и отчаянным броском в ноги спасал почти безвыходное положение.

Форварды «Водителя» удивленно разводили руками: заколдованные ворота.

Едва лишь мяч попадал к Хамзе, как он пытался подержать его подольше с тем, чтобы дать перевести дух вратарю и защитникам. Нелегко приходилось и ему самому. Только он переходил на чужую половину поля, его встречали уже трое: один атаковал, двое подстраховывали.

Отходя назад, капитан видел, как мечется в штрафной обессиленный Булат, как, прихрамывая, отбивается Володя Колосов.

«Я должен забить, должен забить!» — упрямо шептал Хамза, то и дело врываясь в штрафную площадку «Водителя», но и Сова играл безупречно.

Вновь водители прижали МСШ к воротам, и угловые следовали один за другим. Мартенс, прикрывая ближнюю штангу, придерживаясь рукой за стойку ворот, шепнул капитану:

— Хамза, не могу больше, я сейчас упаду...

— Держись, Яша! Ни падать, ни проигрывать нельзя!

Последовал мощный прострел вдоль вратарской площадки, и Прокурор стремительно вылетел из ворот, но стоявший за штрафной Хамза успел заметить: засиделся Коля.

Да, чуть промедливший с выходом из ворот вратарь не успел на перехват, рослый центрфорвард «Водителя» в толчее все-таки успел протолкнуть мяч, и он медленно катился в пустые ворота...

Справа, в углу штрафной площадки, лежал сбитый своим вратарем Булат, прихрамывающий Колосов отчаянно рванулся



к воротам. Инстинктивно кинулся и Хамза, но Звонарь опередил всех, достал мяч у самой лицевой линии и спокойно откатил его вскочившему Прокурору.

— Вышли все из зоны — дальше, дальше! — раздался властный голос Звонаря. — Пошли вперед, вперед, а ты, Коля, выбей подальше, — и он побежал к центральному кругу, увлекая за собой товарищей.

Напрасно Пэпэ размахивал флагом. Умудренный жизненным опытом, Лимонадный Джо понимал: школьников теперь не остановишь. С первой же атаки на табло появилось 1:1. Рядом с Прокурором, придерживаясь за штангу, стоял обессиленный Мартенс, у другой штанги находился прихрамывавший Колосов. Чуть впереди, за штрафной — Хамза с Булатом, а дальше, словно прикрывая их грудью, но не давая игре пересечь центральную линию, боролись за каждый мяч их товарищи.

Поблудневший Родион Ильич почувствовал, что произошло у школьников, и знал — ни отчаянно отбивающийся «Водитель», ни безупречно играющий Сова игры теперь не спасут. Табло бесстрастно меняло счет: 2:1, 3:1...

Карташ незаметно встал, пригнувшись, прошел между рядами и покинул стадион.

*Ташкент,
1974*







Ночь на постоялом дворе

Рассказ

Едва показались сигнальные огни входных стрелок, Каримов распахнул дверь вагона настежь и откинул площадку лестницы. Спустившись на последнюю, третью ступеньку, высунулся из тамбура, но не по-летнему холодный встречный ветер заставил его отпрянуть внутрь вагона.

Огни приближались, и по ним Каримов определил, что поезд принимается на главный путь. Слабая надежда на случайную остановку скорого пропала, но Каримов не огорчился. «Прыгать так прыгать», — подумал он без всякого страха и подтянул ближе дорожную сумку. Прыгать ему было не впервой. Как только отстучали колеса на стрелках, он слегка завис на одной руке, почти касаясь земли, бросил сумку и сразу же спрыгнул сам. Падая, он вдруг испугался, как бы не расшибиться, не разбить в кровь лицо. Такой испуг был для него внове.

Уже где-то на выходе со станции мелькали красные огни последнего вагона, когда он поднялся и, растирая ушибленную ногу, неожиданно сказал вслух:

— Пожалуй, ты свое отпрыгал, Арслан...

Глядя вслед исчезающему в ночи составу, он подумал: «То ли поезда скорости прибавили, то ли годы мои уже не для таких проказ». А ведь когда-то это была любимая забава: мальчишками ездили купаться на соседние разъезды,



на ходу вскакивали на проходящие поезда, на ходу прыгали, хотя у самих, в Мартуке, речка под боком была. А когда собирались в город компанией, на футбол или в кино, бегали по крышам из конца в конец состава на полном ходу, словно это была площадка для игр. Да и в армии, в десантных войсках, где он еще по старому сроку три года отслужил, прыгать ему по-всякому приходилось. А теперь вот чуть шею не свернул.

Отыскав неподалеку сумку, Арслан, слегка прихрамывая, двинулся к неярким огням сонной и безлюдной станции.

Днем он прилетел в Актюбинск из Ташкента и, не теряя времени, отправился на железнодорожный вокзал, ехать до родного Мартука нужно было еще два часа поездом. Но здесь ему не повезло: почтовые поезда, делающие остановку на его станции, уходили в первой половине дня, а время давно переваляло за полдень. До вечера он слонялся по некогда знакомому городу, все больше убеждаясь, что ничего не помнит, разве что названия каких-то улиц смутно выплывали в памяти, да какое-то краснокирпичное здание вдруг напомнило о давних, отроческих днях. Сюда они наезжали в одно давнее лето из Мартука в кино, когда в их поселке неожиданно сгорел сарай, где по выходным дням крутили фильмы. Делать было решительно нечего. Он пообедал в душном, просматриваемом насквозь, как аквариум, ресторане. И, осмелев после выпитого за обедом стаканчика вина, ткнулся со своим мятым, много выдавшим паспорт в окошко администратора невзрачной, обшарпанной гостиницы, где, разумеется, мест не было.

На закате дня, в сумерках, он снова оказался на вокзале. Чего в жизни Каримов повидал вдоволь, так это вокзалов. Исходил он не один десяток километров вокзальных платформ, много неожиданных решений в жизни принимал вот так, в ожидании поездов. Меряя неторопливыми шагами просторный перрон, он высматривал укромную скамейку, где бы, не рискуя быть поднятым милиционером, можно подремать короткую летнюю ночь.

Пока он ходил, выискивая угол потемнее, объявили о прибытии скорого на Москву, и Арслан, зная, что скорые не останавливаются в Мартуке уже лет двадцать, все же побежал в кассу за билетом до первой остановки экспресса.

На слабо освещенном перроне Мартука не было ни души, и стояла такая тишина, что шаги его, казалось, слышны были



за квартал; Арслан уже в который раз прошелся в адрес знакомого ташкентского завмага, всучившего ему «самый модный товар». Остроносые, на крепкой кожаной подошве, новые туфли жали, были непривычны, а главное, скрипели. Каримов усмехнулся: неудивительно, если на его цокот и скрип выбежит на перрон дежурный, но тот лишь проводил его долгим взглядом из приоткрытого окна...

Подходя к вокзалу Мартука все еще прихрамывающим шагом, он машинально отметил, что станция совершенно не изменилась, разве что с годами вроде ужалась, поуменьшилась, что ли. Все здания, казавшиеся когда-то если не огромными, то большими, сейчас виделись совсем по-иному. Сворачивая с перрона в пристанционный сквер, Каримов вдруг осознал, что станция ныне потеряла для Мартука то значение, которое имела во времена его отрочества и юности. Мелькнула и другая неожиданная мысль: что, как и повсюду, Мартук, наверное, связан с областным центром регулярным автобусным движением. Но Арслан ни на миг не пожалел о потерянном дне, не пожалел даже о том, что пришлось прыгать на ходу с экспресса. Иным, без освещенного вокзала, без ночного перрона, своего возвращения он не представлял.

Он не был в Мартуке давно, почти двадцать лет. Уехал молодым, крепким парнем, а возвращался зрелым, немало повидавшим мужчиной — весной ему исполнилось тридцать семь. Еще подъезжая к станции, Каримов обратил внимание на поздние огоньки Мартука, щедро рассыпанные по обеим сторонам железной дороги, а ведь раньше по левую сторону, кроме огородов, ничего не было. А на правой стороне огоньки светились так далеко за элеватором, что казалось, Мартук уже поглотил соседний разъезд. Но как бы ни выросло село, какие бы в нем ни произошли изменения, Каримов нашел бы свою улицу, свой дом даже с завязанными глазами.

Сразу у вокзала, где раньше был пустырь, отделявший станцию от села, выросла новая улица, застроенная двухэтажными коттеджами. Возвели их примерно лет десять назад, как прикинул Арслан, потому что тополя уже дотянулись до телевизионных антенн.

Нога побаливала, туфли жали, и потому он шел не спеша, часто останавливаясь, оглядываясь вокруг. Его родная улица



Базарная была неподалеку от вокзала. Каримовы жили здесь давно, с незапамятных времен. Ночь не казалась темной, улицы были щедро, почти по-городскому, освещены. Некогда пыльные, разъезженные в непогоду, теперь в свете фонарей они представляли чистыми и даже заасфальтированными. Чем ближе он подходил к дому, тем тяжелее становился шаг. Он припомнил, что уезжал в такую же летнюю пору, тоже ночью. И тогда никто его не провожал, и теперь никто не встречает.

«Словно вор», — поехал Арслан, сворачивая на свою улицу. Дом Каримовых был третьим от угла, как раз напротив горел уличный фонарь. Как в хорошо продуманной театральной декорации, будто специально к его приезду, дом был прекрасно освещен, а двор заливал яркий лунный свет. Арслан бросил сумку в густую траву у полусгнившего, развалившегося плетня и, не в силах войти во двор, пошел вокруг.

Дом сильно осел, но был еще крепок. Три окна, выходящие на улицу, и два во двор были, словно глаза слепого, наспех, неаккуратно забраны листьями покоробившегося рубероида, а по наличникам перехвачены крест-накрест тонким горбылем.

Дверь с огромным ржавым замком, который Арслан узнал сразу, тоже была наглухо заколочена. Высокая печная труба наполовину развалилась, наверное, завалив весь дымоход. Давняя известковая побелка, выбитая дождями, снегами и долгими осенними ветрами, сохранилась лишь оспинками на старческом лице дома. Крыльцо развалилось, а двор по пояс зарос чертополохом, крапивой, лебедой, куриной слепотой, словом, всякой дрянью, от которой даже скот оберегать следует. Сорная трава уже перекинулась на жильё, заполняя крыши сараев и летней веранды. В ночной прохладе, среди свежего ночного аромата Арслан уловил запах тлена, исходивший от его родного гнезда.

Арслан, много поездивший на своему веку, видел немало заброшенных человеческих мест. Вид любого нежилья, где некогда звучал детский смех, где прошли или окончились чьи-то дни, всегда вызывал у него печаль. Но вид угасшего родного гнезда... От бессилия сказать что-то в оправдание или в укор кому-то Арслан сжимал чудом сохранившуюся, висевшую на одной петле дверцу калитки, и старое дерево в его сильных руках превращалось в труху.



Стоял он так долго и как наяву видел счастливые картины из той давней, прошедшей жизни, когда по воскресеньям, в базарный день, у них во дворе громоздились брички, арбы, тарантасы приехавших из аула на базар знакомых казахов. У коновязи, грызя удила, перебирали тонкими ногами огненноглазые аргмаки, которых казахи держали только для байги — скачек. Отец Арслана, хоть и пил крепко, был первый коновал в этих краях.

Какие-то длинноносые казашки в ярких бархатных жилетиках, помогая матери, жарили на открытом огне в казанах румяные баурсаки. А рядом он видел и себя, босоногого, чумазого, у огромного самовара, который в такие дни должен был кипеть весь день, до самого отъезда шумных, громкоголосых гостей.

Он даже ощутил особенный запах тех дней — запах молодых и сильных лошадей, свежего сена, дегтя и аромата степи, — прилетевший из аулов вместе с этими повозками и этими людьми.

Видения его прервал ярко вспыхнувший свет в соседнем дворе и разом загремевшее ведро в колодце. Через ограду, увитую вьюном, он увидел пожилую русскую женщину. А раньше в соседях у них жили одни казахи.

— Не скажете, как пройти к гостинице? — громко спросил Каримов.

— Гостиницу? — переспросила женщина и поправилась: — Постоялый двор, наверное, вы спрашиваете, гражданин. Так это у мельницы, — и она объяснила, как ближе пройти.

Постоялый двор с вывеской «Дом колхозника» Каримов нашел быстро. Одноэтажное здание, окруженное отцветшими акациями, еще светило огнями. Во дворе по-домашнему — в просторном халате и тапочках на босу ногу, сидела дородная женщина и грызла семечки. Судя по рассыпанной вокруг шелухе, сидела она тут долго. Хозяйка постоялого двора, а именно ею оказалась любительница семечек, встретила его на удивление доброжелательно. Прежде чем оформить, даже показала несколько пустующих комнат, и Каримов выбрал крайнюю, с окном во двор. Записывая его паспортные данные в потрепанную конторскую книгу и дойдя до графы, где значилось место рождения — Мартук, она ни о чем не спросила, только украдкой глянула вновь на Арслана, изучавшего от нечего делать план поселка, висевший на стене.



В комнате он сразу распахнул окно во двор, потому что даже на Севере спал с открытой форточкой. Несмотря на довольно позднее время, со стороны парка еще слышалась музыка, оркестр играл ту же модную ныне мелодию, что вчера он слышал в Ташкенте, в ресторане при гостинице. «Что-то везет мне последнее время на гостиницы», — подумал Арслан, оглядывая свое новое жилье.

В Ташкенте (спасибо, свои друзья-скульпторы расстарались) Арслан целую неделю до отъезда прожил в роскошном номере лучшей гостиницы «Узбекистан». Друзья же и помогли Арслану с контейнером. Такой груз без помощи скульпторов ему никогда не удалось бы отправить в Мартук.

Каримов раскладывал нехитрые пожитки из дорожной сумки, когда раздался стук и в дверь заглянула хозяйка.

— Решила чайку попить, да в одиночку скучно, не дело одной-то чаи гонять. Дай, думаю, человека приглашу, с дороги все-таки, проголодался, наверно. Чайная у нас, правда, рядом, да она только утром откроется...

Приглашение было от души, и Каримов не смог отказаться, да и чаю, откровенно говоря, ему хотелось.

Небольшой столик из служебки был вынесен во двор. На местной районной газетке, заменявшей скатерть, лежали три крупных огурца и несколько тугих бордовых помидоров, каких Каримов давно уже не встречал в дальних своих странствиях. Хозяйка положила на стол буханку магазинного хлеба и большой кусок хорошо сохранившегося розового сала. Вынесла Арслану нож и, наказав хозяйничать, пошла заваривать чай — титан уже шумел всюду.

За столом на его замечание, что зелень как будто только с грядки, хозяйка, улынувшись в сторону темневшего за забором огорода, сказала:

— Да я туточки, за оградой живу. Коли молочка захотите или зелени, кликните через ограду бабу Груню, я завсегда дома.

Запах огурцов, вкус сала, хлеба, аромат чая вызвали у Арслана какие-то неясные, смутные воспоминания о прошлом, давнем, мысли его перескакивали с одного на другое, и он плохо слушал, как видно, любившую поговорить бабу Груню.

— Надолго ли к нам, сынок? — поинтересовалась хозяйка постоялого двора.



Каримов, с трудом уловив адресовавшийся ему вопрос, рассеянно ответил:

— Не знаю, баба Груня, пока не знаю...

— А ты побудь, побудь, чай не чужие тебе края, корни-то твои тут, в Мартуке. Сама в паспорте видела, тут рожден. Али душа изболелась, коли потянуло на поклон землице родной...

Видя, что Арслан стал слушать ее внимательнее, она неторопливо рассказывала:

— Я тут уж двенадцатый годок на должности, всяких людей повидала, наших-то мало приезжало. А в последние годы что-то зачастили. Да-а, все ко мне идут, в гостиницу. А как же... Ну, иные, конечно, и по родственникам, а больше сюда. И откуда они только не являлись, батюшки, даже с тех краев, где полгода день, а полгода ночь — с Норильска самого. И все до одного мужики, ни одной бабы. Баба что ж, перекаати-поле, за кого замуж пошла, за тем следом и катится. А мужик, конечно, он корень, опора, как ни крути, ни верти, как ни подымай бабу, а на мужике держится дело. Я-то помню хорошо и бескормицу, и безработицу в Мартуке, оттого ведь и уходила молодежь в чужие края. Не от скуки, как теперь по телевизору объясняют, из наших краев молодежь бежала. Я хоть неученая баба, всего три зимы в школу бегала, а скажу тебе, сынок: вот сердцем чую, повалит скоро деревенский народ обратно в село, уж больно велики эти ваши города. Да и душевности в них мало, ой, мало...

— Да-а, серьезные-то парни в город в свое время не за весельем подались, не за городским пряником, а чтобы рукам своим умелым да голове трезвой дело найти. Не хватало на беду людям в наших краях работы для всех. А теперь и у нас, как в городе, — на каждом заборе объявления висят: «требуется» да «требуется»...» Даже ко мне один умный начальник со стройки приезжал, просил: «Коли зайвится, — говорит, — на постой самостоятельный мужик, ты уж его ко мне наладь, или дай знать, коли слишком гордый». Такая цена теперь хорошему работнику пошла, не грех и в пояс поклониться.

Тянет людей в родные края. Что ты, еще как тянет. В прошлом годе прожил здесь две недели один военный. Чина, правда, невысокого, но мужик с достоинством, без хитринки. Как я думаю, сообразуясь с душой и совестью живет. Лет тридцать назад ушел в армию, так и не вернулся. Да и куда вертаться?



В те годы работы у нас не только для молодых, для фронтовиков негусто было. Так и остался в армии, чинов особых не добился, с грамотенкой у него не шибко было, но служил честно, дело свое, видимо, знал, коли десять лет даже за границей отбыл. А как пришло время в отставку, не подался в теплые да благодатные края, куда ему, военному, по праву и можно было, а сюда вот приехал, хоть корень его весь вывелся в Мартуке. Как же он радовался, что народ на ноги стал, садам и огородам удивлялся. А что дивиться, теперь, считай, в каждом дворе своя колонка на электричестве. Приглядел он себе, значит, хату возле парка и семью привез, сейчас в школе военное дело преподает. Сгодился, выходит, краю родному. А другой вон из Ленинграда два года подряд приезжал, даже детей привозил. Хорошее дело, думаю, показать детям, откуда, из каких мест отец, на какой реке вырос, какой землей вскормлен-вспоен. Ну, этот мужик слишком грамотный, профессор, в институте работает. Говорит мне, махнул бы я, Груня, рукой на все да вернулся в Мартук, только кому я здесь буду латынь мою читать, а другой работы, мол, не знаю, и поздно уже перучиваться. А душа его здесь осталась, здесь, это я заметила. Да, вот дела-то у нас какие... Все течет, все меняется...

Помню, лет двадцать назад народ все за химию агитировали: она, мол, такая, растаякая, лучше ее и не видать, и не сыскать, а дешевое все из нее будет — на рупь воз. А что вышло? Повывели всю шерсть, а нейлоны-капроны эти нынче дороже габардина. Уж лучше бы деньги на овцу истратили, вот и не знали бы бед еще сто лет. Слава богу, образумился народ, понял, кажется, что лучше землей-то данных материй нет и не будет: ситца там аль шерсти, да и льна того же самого. Докумекали, что от добра добра не ищут. Я к чему говорю? Вот и в город таким же макаром все заманивали: отработал, слышь, там свои часы, заглянул в столовую или в кафу эту и пошел ума набираться — в театр там или музей. А оказалось-то, что в театре лет по десять одни и те же пьески идут, в музей-то и вовсе раз сходить — более не надо, а про столовые вовсе говорить не хочу, боюсь, заматюкаюсь. А ведь было расхорорились: мол, лет через пять никто дома готовить не станет, всей семьей есть в столовые да рестораны станут ходить. Ну, и походили! То-то же, лучше самой-то никто не сварит.



Может, неумехам да лентяям в городе жить и вправду сподручнее: и баня на дому, и до ветру бегать не надо, все под боком. Да и хате развалиться не дадут — казенная. А если человек трудолюбивый, с головой, и руки как руки, так любой же дом можно содержать, какие дела делать! Вот такой мужик, я думаю, и потянется скоро обратно в село.

Баба Груня говорила еще долго, но мысли Арслана вновь перенеслись к тем давним дням, которые так хорошо помнила хозяйка постоялого двора. Заметив, что постоялец мыслями далеко от нее, баба Груня, спохватившись, оборвала себя на полуслове и, извинившись, что заговорила гостя с дороги, стала убирать со стола.

Вернувшись к себе, не включая света, он расстелил постель. Яркий лунный свет высвечивал высокую комнату, а ему снова виделся родной двор. От лунного света, освещавшего даже самые дальние углы комнаты, никак нельзя было избавиться; окно оказалось не по-сельски большим, а накрахмаленные белые шторы не перекрывали по высоте и трети его.

Этот свет мешал Арслану, прогонял сон напрочь. Вспоминая о тех, про кого рассказывала баба Груня, он понимал, что добрая и словоохотливая хозяйка хотела чем-то помочь ему или как-то успокоить его. Ведь и впрямь, не столь уж часто случается такое — возвращаешься в родной дом, а оказываешься на постоялом дворе.

Но Арслан же знал, что с пирогами его ждать не будут, знал, что встречать его некому. С потерями своими, казалось, он уже свикся, пережил их. Но вид запустелого родного гнезда заставил увидеть эти потери по-иному. Вдалеке от дома он, кажется, давно обо всем уже передумал, все решил, по-своему покаялся, и казалось, если он и вернется сюда, то не испытает никаких потрясений. Вернется исполнить свой запоздалый долг и уедет обратно в добром расположении духа от сознания сделанного. Конечно, он допускал, что погрустит и опечалится, как всегда бывает, когда возвращаешься после долгой разлуки в опустевший дом, в родные края...

И вот все не так, не то... Что-то сместилось, рухнуло в задуманном с самого начала, и прежние переживания сейчас казались такими мелкими, никчемными, даже подлыми, хотя он знал, что и тогда это была искренняя боль. Арслан, имя



которого по-татарски означало Лев, похожий сейчас и впрямь на крупного и сильного зверя в клетке, заметался по огромной, рассчитанной на четверых комнате. И еще этот лунный свет... Он находил, высвечивал его в каждом углу и словно выставлял его напоказ перед самим собой: посмотри, мол, полюбуйся, на себя, явился оплакивать родной порог, запоздалый долг, видишь ли, решил исполнить, ты, тридцатисемилетний Никто, видимо, по недоразумению прозванный Львом.

А ведь Львом, настоящим вожаком, он был только здесь, да и то давным-давно, когда в одно лето из дерзкого, угловатого подростка вдруг неожиданно для окружающих превратился в отчаянного, крепкого, сильного парня. С густой, иссиня-черной нестриженной шевелюрой слегка вьющихся волос и приспущенными по-восточному, мягкими усами, с легкой пружинистой походкой, он и впрямь походил на крупного, ловкого и хищного зверя, имя которого носил.

В те времена, особенно в маленьких местечках, утверждение личности было делом непростым и даже крайне жестоким. Например, для начала следовало утвердиться на своем «краю»: Оторвановке, Станции, Татарке или еще где, затем, положим, следовало стать «хозяином» танцплощадки, а потом уж «держатъ верх» повсюду. В Мартуке, краю суровом и, прямо сказать, диком, народ отличался характером вспыльчивым и вздорным: драки вспыхивали часто и по таким невероятным поводам, что иногда наутро толком не могли припомнить, из-за чего разгорелась потасовка. Ни одна свадьба, ни одна гулянка праздничная в Мартуке не кончалась без драки. А дрались зло, жестоко, умело.

Ребят с характером в Мартуке было хоть отбавляй. Поэтому вражда между ватагами из разных районов и даже улиц никогда не прекращалась. Случалось, что властвовали двое, или на короткое время никому не удавалось одержать верх, но вскоре, обычно, объявлялся новый лидер, отчаянный сорвиголова — и все вставало на свои места. А власть давала немало: вожак и его приближенные верховодили на танцплощадке, занимали в летнем кинотеатре лучшие места, купались на реке под самой кручей, могли заказывать музыку на свой вкус на танцах. Взрослых в Мартуке никогда не задирали, даже в тех случаях, когда те были не правы. Однако традиция эта считалась всегда.



В этом отчаянном мире самоутверждения ребята Мартука строго соблюдали определенный кодекс чести: никогда не били лежачего, не били попросившего пощады, в самых страшных драках, где не обходилось иногда без кольев, не пускали в ход ножи. Но самым любопытным было то, что буйствовали ребята только до призыва в армию, и, может быть, поэтому взрослые в Мартуке смотрели сквозь пальцы на столь суровое и жесткое возмужание своих детей.

Несмотря на множество достойных соперников, Арслан три года подряд «держал верх» в Мартуке. История поселка, а она по-своему чтит удачу, сохранила всего несколько имен, кому так долго удавалось быть лидером этой неуправляемой молодой поросли бедного села. Взрослые, не признававшие всерьез парней, еще не отслуживших в армии (а служба ценилась в Мартуке высоко, потому что, как считали, там «вправляли мозги» и давали профессию), с Арсланом, тем не менее, считались. Он всегда мог рассчитывать, что на грузовом дворе не откажут принять его в компанию разгружать лес, уголь, цемент, шифер, дадут подзаработать. Отличительной чертой кумиров тех трудных послевоенных лет, при всех их очевидных недостатках, малой образованности и низкой культуре, было их умение работать, желание и в работе «держать верх». Многие не красило их, но они были честны, искренни, справедливы. Арслану не исполнилось еще и восемнадцати, когда взрослые мужики, казахи и чеченцы, взяли его на равных паях в артель, перегонявшую скот на далекие мясокомбинаты Семипалатинска. Даже просто одолеть верхом по осени около тысячи верст, когда уже дождило и ветер в степи валил с ног, было делом нелегким. А ведь нужно было не просто добраться и довести скот, главное было — сохранить его, голову к голове, всю ту огромную красную цифру, значившуюся в накладной, да еще и привес обеспечить, от этого зависел заработок. Иные артели гуртоправов при расчете после изнурительного двухмесячного перехода, который знаменитым ковбоям и не снился, бывало, оставались еще и в должниках: то скота не досчитаются, то с привесом не все в порядке, то лихие заготовители, степные богатеи, ловко надуют при приеме. И возвращались иногда домой бедолаги к себе на запад, через весь Казахстан, не имея за душой ни гроша, на товарняках.



В многодневном пути, по чужим дорогам были опасны и холода, и осенние дожди, превращавшие каждую балку в речку. И такой парень, как Арслан, не ведающий страха, ловкий и сильный, на которого можно было положиться в любой переделке, зная, что не дрогнет, не бросит в беде, пришелся гуртовщикам по душе.

Это был, пожалуй, единственный, короткий как миг, как сама юность, период, когда Арслан был действительно Арсланом. Позже даже в шутку его не называли Львом, а ведь на всех мусульманских языках Льва называют одинаково, а почти за двадцать лет он объездил всю Среднюю Азию и Казахстан, даже в Азербайджане, в Сумгаите, на монтаже год работал. Только однажды, два года назад, когда он приехал в Газган добывать мрамор для ташкентского метро, старый каменотес Юлдаш-ака, с которым Арслан работал в паре полгода, сказал как-то неодобрительно: «Молодой, сильный, настоящий Арслан, а живешь как кукушка — ни семьи, ни дома, ни детей».

Обходя скрипучие половицы, он вышагивал из угла в угол и пытался понять, что увело его тогда от отчего порога, что дали его сердцу тысячи дорог, которыми он прошагал и проехал.

Много раз в последние годы, да и раньше, он задавал себе этот вопрос и каждый раз отвечал на него, то ли сообразуясь с настроением, то ли выискивал смягчающие обстоятельства. А ведь, наверное, нужно было ответить по-мужски, без ссылок на молодость, обстоятельства, на судьбу. В той среде, где он вращался последние двадцать лет, и где оказывались разные люди, были в ходу всякие романтические байки о своей роковой судьбе, невероятных жизненных перипетиях. Чем дальше уводили Арслана дороги, тем яснее понимал он, что эти судьбы-легенды — плод творческой фантазии наиболее романтических, что ли, неудачников, а у остальных не хватало даже воображения придумать версию жизни, которую хотелось бы иметь за спиной. Сейчас Арслан не хотел скидок и оправданий. Пришло время отчитываться перед самим собой за прожитую жизнь, и случайно ли, что местом этим оказался постоялый двор родного поселка?

Арслану вдруг припомнился другой постоялый двор, когда не было еще этого уютного Дома колхозников. Тогда в Мартуке таких дворов было два. В одном, у деревянной



неказистой церквушки, останавливались, в основном, мужики из Красного озера или Белой хатки — дальних и давних русских сел. А у почты, недалеко от Каримовых, у хромого Махсума-абы, частенько стояли на постое казахи, татары, чеченцы, заезжали, хоть и редко, и русские мужики. Большое подворье Махсума-абы Арслан помнил хорошо, не одну десятку он заработал мальчишкой с друзьями у щедрого и веселого хозяина постоянного двора. По весне, бывало, неделю лепили кизяки, да еще неделю их переворачивали, сушили, складывали на зиму в высоких сараях из грубого горбыля, а то кололи огромные горы самоварной щепы, которая убывала дня за три, а еще убирали сараи, проветривали сеновал, да мало ли работы найдется на подворье?

Здесь же, во дворе Махсума-абы, погожим мартовским утром Арслан впервые увидел целинников. Они стояли толпой, щурясь от яркого весеннего солнца. Оглядывая оседающие сугробы вдоль плетней и по обочинам уже мокрой, разъезженной дороги, смотрели на низкие, вросшие в землю бедные хатки и, наверное, удивлялись, как далеко их занесло. Они уже разглядели, что в краю этом не было особых примет, ни гор, возвышающихся рядом или вдали, ни садов, ни даже каменной церкви, что, радуя глаз красками и формами, была непрменной в каждом русском селе. Вокруг, насколько хватало глаз, кривились улицы, тупики, переулки, засыпанные золой, и бедные подворья за ветхими плетнями с остатками стогов и развалившимися кучами скопившегося за зиму навоза. Может быть, первое впечатление было настолько тягостным, что у многих, наверное, упало настроение, и вечером целинники пришли в клуб, изрядно напившись. Добирались эти парни из Осетии и Ставропольского края в Мартук поездом дней десять. В дороге успели сдружиться, сплотиться, даже уговорились в новых краях держаться друг друга и местным спуску не давать.

Узнав, что понаехало сразу столько парней, да еще таких усатых, с орлиными глазами, на танцы дружно явилась вся прекрасная половина Мартука, даже девушки-перестарки, которые уже года два не ходили на вечера, и те не удержались.

То ли от выпитого, то ли от внимания стольких прекрасных глаз (они-то сразу уразумели, что весь этот девичий парад в их честь), гости повели себя высокомерно. Они забыли,



а может, и не знали, эти, в общем-то, славные ребята с рабочих окраин, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. К тому же, вероятно, они и подумать не могли, что в этом бедном, затерянном в степи поселке парни чтят достоинство не меньше, чем в горах Кавказа, а удалью и ловкостью могут потягаться с парнями из любых краев. Надо сказать, что два милиционера Мартука, зная нрав своих ребят и уважая законы гостеприимства, уже провели профилактическую работу, попросив не задирать приезжих.

Опьяненные неожиданным успехом, гости бесцеремонно оглядывали девушек, громко смеялись, в общем, вели себя нескромно. Толкнув кого-то в танце, они и не думали извиняться, а в Мартуке танцплощадка была, пожалуй, единственным местом, где даже самые отъявленные сквернословы и задиры говорили «извините» и «пожалуйста». Короче, на глазах происходило попрание незыблемых традиций, сложившихся еще с довоенных лет. Старожилы, сцепив зубы, терпели, уважая законы гостеприимства, только все чаще лихие закоперщики с Татарки или Станции обменивались многозначительными взглядами, но вовремя откуда-нибудь из-за плеча чей-то тяжелый взгляд, имевший власть, пресекал вольность.

А гости становились все бесцеремоннее. Только выпитое вино и успех у девушек, круживший голову, не позволяли им заметить, как накаляется атмосфера в зале.

Все вспыхнуло в какое-то мгновение. Один щеголеватый парень в хромовых сапогах, получив отказ от Галочки Пономаренко, первой красавицы Мартука, попросил ее немедленно оставить зал. Это был особый стиль разговора, изящная блатная словесность, где за каждой вежливой фразой таились угроза, оскорбление, — жаргон этот был хорошо известен и в Мартуке. Когда кавказец галантно протянул Галочке руку, чтобы отвести ее к раздевалке, стоявший рядом неприметный парнишка резко оттолкнулся от стенки, которую безучастно подпирал весь вечер, и нанес гостю короткий резкий удар. Хромовые сапоги во всем великолепии прочертили воздух и глухо ударились об пол. И тут же мгновенно сцепились во всех концах танцплощадки.

В зале кое-где раздался девичий визг, но особой паники среди прекрасного пола не было; к таким баталиям в Мартуке



привыкли, даже завклубом, равнодушно выглянувший на шум из своего закутка, единственно, что предпринял, прибавил громкости в динамиках. Было бы грехом утверждать, что все потасовки в поселке случались из-за девушек, и, конечно, уж совсем несправедливо было бы обвинять их в том, что они подстрекали к этому парней. И такое, разумеется, в истории Мартука случалось, но то было, скорее, исключение, чем правило. И все же, доля девичьей вины в том, что здесь царили столь суровые нравы, была, и немалая. Они, конечно, не аплодировали героям кулачных боев, не забрасывали их цветами, но никогда и не осуждали забияк, не пытались удержать своих ухажеров, если те, бросив их посреди танца, одним махом одолевали ограду танцплощадки и исчезали в темных аллеях парка, откуда раздавался известный только им призывный свист.

Никогда, ни в зимнем клубе, ни на летней танцплощадке в парке, когда начиналась потасовка, девушки не разбежались в испуге. Не менее возбужденные, чем парни, без тени страха, они с нарочитым визгом откатывались в край зала, освобождая плацдарм для баталий. И если кто-нибудь из парней в какой-то миг перехватывал взгляд любимой девушки, увы, в нем не было осуждения, а лишь любопытство, азарт и чаще всего — одобрение его лихости и ловкости. Откуда в эти далекие степные края пришла жестокая русская традиция кулачных боев, стенка на стенку, улица на улицу с почитанием удали и силы, оставалось для разумных людей Мартука загадкой.

Вот и сейчас, едва началась драка, в глазах многих девушек можно было прочесть жгучее любопытство: «Ну, на что же вы способны, парни с орлиными глазами, надолго ли вас хватит?» Своих-то они знали. Это, конечно, не укрылось от заезжих парней. К этому моменту некоторые из них уже высмотрели себе девушек, и в их глазах читалось огорчение, что все так обернулось, хотя они подозревали, что только так и закончится сегодняшний вечер.

Целинники, парни, в основном, отслужившие армию, снисходительно помахали ручкой: сейчас, мол, поставим на место расшалившихся юнцов. Если бы они знали, как умеют драться в Мартуке! Существовала даже своя разработанная программа драк в летних и зимних условиях. Вот и сейчас, как только возникла заваруха, тут же закрыли на засов входную дверь,



и вышедшие на улицу перекурить целинники, а их там было немало, оказались отрезанными от своих. И, не давая опомниться, дружно навалились на приезжих взвинченные долгим ожиданием боевого клича местные парни.

Если для гостей эта потасовка была проверкой их дружбы, скрепленной в долгой дороге, и давала шанс сразу же вырасти в глазах прекрасной половины Мартука, то для местных она означала куда больше. Никогда еще приезжие не брали верх в поселке, никогда пришлые не диктовали своих законов на танцах. К тому же, сейчас они все вместе выступали против «чужих», позабыв на время свои старые счеты. Да и кто их осудит за негостеприимство, если у них был аргумент, казавшийся убедительным даже для суда: «Толкаются и не извиняются. И где? На танцах!»

В эти минуты они считали себя защитниками каких-то жизненных устоев, чего-то святого, доставшегося им в наследство от многих поколений села.

Если на улице все решилось скоро, то в зале ситуация менялась с каждой минутой. Гости, несколько растерявшиеся вначале от стремительного и яростного нападения, быстро пришли в себя. К тому же, у них нашелся главарь, невысокий крепыш в вельветовой курточке на молниях, который кричал что-то на непонятном языке. Он же, мгновенно оценив обстановку, выделил наметанным глазом среди местных самых отчаянных драчунов и кинул против них лучшие силы. А сам с приятелями ринулся на штурм двери, потому что чувствовал, что там, на улице, его друзьям приходится туго. Он смекнул, что стоит кому-нибудь добежать до постоялого двора и поднять оставшихся там целинников, то с этими, навалившимися, словно саранча, парнями, можно было разделаться за пять минут.

Но об этом догадались и местные, и дверь прикрывала Татарка — на сегодняшний день гвардия Мартука. Хотя гости видели единую стену против себя, на самом деле все обстояло далеко не так. Местные держались своими компаниями, и слабеющая у двери Татарка считала ниже своего достоинства кликнуть на помощь Станцию.

И вдруг на весь зал, перекрыв музыку, раздался голос Алика Штайгера, закадычного дружка Каримова:

— Да кликните вы Арслана из кино!



— Я здесь! — отозвался неожиданно в другом конце зала Арслан. — Держись!

Он сумел пробиться в зал через комнату киномеханика. На ходу швырнув девчатам пиджак, он взглядом выхватил из толпы соседа, еще донашивавшего матросскую форму, и крикнул ему:

— Жоламан, прикрой меня сзади!

Жоламан, со скучающим видом наблюдавший за залом, — отслужившие парни редко вязывались в потасовку, — словно только и ждал сигнала, кинулся за Арсланом в самую гущу. Вмиг ситуация в зале изменилась: круша налево и направо, Арслан рвался на помощь своей гвардии.

Крепыш в вельветовой куртке, заметив, что этот рослый парень в красной рубашке внес перелом в драку, кликнув подмогу, бросился навстречу Арслану. Оттеснив Жоламана, они взяли Арслана в кольцо, но он в мгновение раскидал окруживших. И когда мощным ударом он сбил с ног и крепыша, раздался испуганный девичий крик:

— Лев, нож!

Арслан резко обернулся. Щеголь, из-за которого началась заваруха, и которого он только что дважды сбивал к ногам визжавших девушек, поднимался с пола, выхватив из-за голенища нож. С налитыми кровью глазами в неожиданно возникшей тишине он двинулся на Арслана. Кто-то из целинников с криком: «Казбек, не надо!» — кинулся к нему, но тот остановил его резким взмахом ножа. Этого мгновения для Арслана было достаточно: никто и разглядеть не успел, как огнем мелькнула красная рубашка, и Арслан своей крепкой пятерней уже ломал запястье хрипевшему от злобы Казбеку.

Нож в честной драке! Это было пределом терпения для степенных, уже отслуживших парней Мартука, и они, как по команде, оставив своих невест и молодых жен, ввязались в ослабевшую на миг потасовку. Теперь Арслан сам распахнул дверь, и драка выплеснулась на простор. Но это уже была не драка. То было позорное изгнание гостей. Под свист, улюлюканье, возбужденные крики приезжих гнали по улицам поселка.

На сонном постоялом дворе как по тревоге зажглись огни, распахнулись многочисленные двери, где-то в глубине двора затрещала внутренняя ограда, как вдруг на порог, в нижней



рубаше, с тяжелым винчестером в руках, выскочил хромым Махсум.

Он щелкнул затвором и, обращаясь в темноту, за ограду, крикнул:

— Это мои гости, и я пристрелю любого, кто сделает хоть шаг во двор. Ты слышишь меня, Арслан?

— Я здесь, Махсум-абы, — и Арслан направился к калитке.

Несколько сильных электрических фонариков со двора тут же скрестили на нем свои лучи. Он стоял на тонком ледке мартовской лужи, высокий и стройный, в распахнутой на груди, без единой пуговицы, красной рубаше, и в руке у него поблескивал нож.

— Возьми! — Нож, просвистев в воздухе, упал у ног хозяина постоялого двора. — Махсум-абы, ты знаешь: поднявшему нож в драке жизни у нас не будет, этот закон придумал не я. Такого гостя не уберечь даже тебе с твоим винчестером. Мы готовы забыть случившееся и жить с твоими гостями в дружбе, знаем, зачем они приехали. Наше условие: завтра Казбека не должно быть здесь, мы отпускаем его с миром. — Арслан повернулся к своим: — Верните им вещи.

И за ограду полетели пальто, полушубки, бушлаты, шапки, папахи, «забытые» приезжими в гардеробе.

Хромым Махсум опустил винчестер и поднял нож.

— Арслан, слово мое ты знаешь. Казбека завтра здесь не будет, а сейчас быстро расходитесь, ни вам, ни мне, ни, тем более, Казбеку милиция не нужна.

Минут через пять постоялый двор снова погрузился во мрак...

... Конечно, возвратившись теперь в Мартук, Арслан не мог не припомнить эту драку, и постоялый двор Махсума, и целинников, потому что с целиной были связаны его первые взрослые радости и его позор, который все эти годы гнал его все дальше и дальше от отчего порога...

... С целинниками они помирились на другой же день и пили мировую — щедро поставленный хозяином самогон: хромым Махсум был большой дипломат в подобных делах.

Мартук, не изобилующий работой, не избалованный заработками, с первых дней понял, что целина принесла в бедные степные края надежду на лучшую, сытую жизнь. Даже то,



что поселок стал перевалочной базой для новых совхозов, сразу дало работу сотням мужчин на грузовом дворе станции. В самом Мартуке спешно ставили сборные финские дома: от зари до зари строили учебный комбинат для механизаторов. В еще не достроенном здании открыли годовичные курсы для шоферов.

В первую группу отбирали почти как сейчас в отряд космонавтов, желающих было хоть отбавляй. За учебу еще и стипендию платили, — событие невиданное в здешних местах, а новенькие машины прибывали чуть ли не каждую неделю. Водители нужны были позарез, дела только разворачивались. Арслану повезло: он был единственным из местных, кто попал в первую группу. Тогда не было ни ускоренных курсов, ни укороченных программ, знали, что целина — это основательно и надолго, поэтому и будущих шоферов готовили соответственно. С утра до вечера то теория, то практика, а потом до поздней ночи они спорили, проверяли свои знания, заглядывая в нутро каждой машины, прибывающей на постой.

Весной, ближе к окончанию курсов, Арслан сдружился с первым учеником группы Семеном Шульгой. Шульга был старше Арслана, уже два года как отслужил армию. Дружба сложилась как-то незаметно. Семен, человек скрытный, нелюдимый, Арслана почему-то привечал, никогда не отказывал ни в советах, ни в помощи, а к концу учебы их только вдвоем и видели.

— Водить машину и дурак сумеет, а знать ее не каждому дано, — часто говорил Семен Каримову и заставлял его десятки раз разбирать и собирать двигатель, насосы, учил делать многое в темноте на ощупь и при этом часто заговорщически приговаривал: — У нас будет дальняя дорога и ночь хоть глаз выколи.

Когда до выпуска осталось два дня и заветные водительские права заполнялись в районном ГАИ, Шульга пришел к Арслану домой с увесистым свертком. В свертке оказалась водка и богатая по тем голодным временам закуска. До самого вечера они просидели с Арсланом вдвоем во дворе, за столом, который сколотил летом отец.

После первого же стакана Семен выложил, что и дня не собирается работать на целине шофером, сказал: пусть грязь



в степи месят за гроши другие. С такой выучкой и с правами в кармане и черт, мол, не страшен, и что в стране так много дорог, где хорошему шоферу заработать большие деньги — раз плюнуть.

Говорил, что давно приглядывал себе напарника, и с таким орлом, как Арслан, они нигде не пропадут. Семен расписывал захмелевшему парню про дальние и интересные дороги, тысячекилометровые тракты, мощные машины, веселую жизнь и большие города. Говорил, что в Мартуке Арслан ничего в жизни не видел, и, если останется, так ничего и не увидит. Клялся, что на Севере уже к весне они заработают уйму денег, оденутся и с шиком покатают в мягком вагоне в Сочи, к морю, гульнуть пару месяцев, а там, осенью, Арслану и в армию срок подойдет.

В день выпуска, поздно ночью, с одним чемоданчиком на двоих, крадучись, словно воры, тайком покидали они двор хромого Махсума, где целый год стоял на постое Шульга.

Конечно, Арслан был уже не мальчишка, чтобы не понимать, что поступает подло и предает большое дело. А он-то знал: трусости и предательству в Мартуке нет прощения. Тем более, прощения не могло быть ему, любимцу и вожаку села.

Спеша на вокзал, они то и дело затаивались в тени сараев, боясь нарваться на друзей или знакомых. Дрожа от волнения и стыда, Арслан уже тогда сознавал, как ославит Татарку, каким позором покроет свое имя, свой дом, как много лет нужно будет, чтобы забылась эта гнусная история.

«Подлец.. мерзавец.. сволочь.. трус... негодяй!..» — в ночной тиши он слышал, как бросают эти гневные слова, словно тяжелые камни, в его удаляющуюся спину друга. А то вдруг поток брани прерывался сердечным девичьим криком: «Что ты делаешь?.. Арслан, милый, Лев мой бесстрашный, остановись!..»

Но не хватило тогда у Арслана сил ни отвергнуть брань, ни откликнуться на сердечный призыв — лживые посулы Шульги оказались притягательнее; ему тогда и впрямь казалось, что он достоин более яркой, веселой жизни, чем прозябание в Мартуке, небогатом, затерянном в степи селе...

... Неожиданно наплывшие ночные тучи скрыли луну, и в комнате стало темно, словно погасили свет. Но долгожданная темнота не принесла покоя, Арслан по-прежнему продолжал вышагивать из угла в угол. Потом, не раздеваясь, прилег на



разобранную кровать, и мысли снова улетели к тем давним дням, и все припомнилось до мелочей, как будто это было вчера.

Арслан вспомнил и первую машину на Севере, и первые свои рейсы. Шоферская жизнь тяжела повсюду, а на Севере вдвойне, но выучка у них была отменная, их и готовили к особым условиям — бездорожью, ненастью, учили надеяться на себя, это и выручало. Да и себя они в обиду не давали — ни начальству, ни своему брату-шоферу. Чуть что не так — сразу заявление в отдел кадров, не желаем, мол, и все. А кто же отпустит сразу двух классных водителей, непьющих, холостых, к тому же в работе толк знающих, поэтому и любые машины им были — на выбор, и рейсы — самые выгодные. В общем, все катилось, как Шульга и предсказывал: и дальние дороги были, и большие города встречались, и деньги шли. Об одном сокрушался Шульга, что придется на три года расстаться, служба есть служба, от нее никуда не деться — мужская доля, судьба. И все разговоры в долгом и трудном пути у них были о Сочи, где они гульнут на прощание всласть, забудут холод и ветер колымских трасс и тесноту ее тесных гостиниц. Они уже и светлыми костюмами из тонкого габардина обзавелись, и по дюжине шелковых сорочек прикупили к ним, и решили, что там, прямо в Сочи, Арслан и заявится в военкомат.

Но вышло все иначе... За месяц до намеченного отъезда к морю Шульга сбежал, прихватив совместные сбережения и габардиновые костюмы с шелковыми сорочками вместе.

Даже сейчас Арслан ощутил, как лютовал тогда в общежитии, словно раненый лев, и, конечно, не о потерянных деньгах и габардиновом костюме жалел. Предал Семен! Предал его, Арслана, того, кто пошел за ним на край света. Даже собирался уволиться утром и укатить от позора куда-нибудь подальше. Хотя и не знал, куда еще дальше, но удержали, не отпустили; отсюда с двумя парнями с автобазы и в армию пошел, и проводили его не менее торжественно и шумно, чем сулил его бывший дружок, а отныне заклятый враг Семка Шульга.

От службы в армии на всю жизнь осталось ощущение постоянного ожидания: письма, весточки. Получали все, кроме него. Да и от кого ему было их получать, от Шульги?

Мать он никогда не помнил ни с карандашом, ни с газетой или книжкой в руках, она была неграмотная. К тому же



и говорить по-русски не умела, не то что писать. Отец, он, конечно, был грамотный, даже в сельскохозяйственной академии смолоду учился, да война прервала учебу. А после войны у отца все наперекосяк пошло: коновалил так, без диплома. На единственное письмо Арслана отец ответил короткой и злой запиской, то ли не в духе был, то ли сильно пьян, то ли обида его действительно глубока была. Отец писал, что всегда мучился, зная, что Арслан, его единственный сын, не любит его, считает неудачником, пьяницей, стыдится и сторонится его. А каково же ему теперь, когда каждый сопляк в Мартуке показывает на него пальцем и говорит — это вот, мол, отец того Льва, что сбежал, не отработав долги. Заканчивалась записка запомнившейся на всю жизнь фразой: «Уж лучше бы ты пил, как я, чем предал дело и опозорил дом».

Позже он еще два получал от отца письма, но уже никогда больше домой не писал. Наверное, нашлась в Мартуке не одна девушка, которая бы откликнулась на его солдатское послание, но ведь не минешь, не обойдешь не в первом, так во втором письме ту летнюю ночь, когда, таясь за сараями, драпал он с Шульгой. Он не ждал писем — он служил... В десантные войска слабых и малодушных не берут, но даже среди лихих сверстников Арслан выделялся: и прыгал первым, и из огня последним выходил, командиры его всегда в пример ставили. Хотел забыться, честной службой искупить вину свою хоть бы перед самим собой, но нет, не выходило, так с болью и прошли три года. Перед самой демобилизацией и пришла на ум отчаянная мысль найти, отыскать Шульгу, свести с ним счеты.

Почти четыре года колесил Арслан по стране, надеясь наткнуться на Семена, но тот словно в воду канул, а, кажется, ведь верно шел: на самых денежных трассах перебивал, даже Мангышлак вдоль и поперек изъездил. И однажды в дальнем рейсе он вдруг осознал, что дело-то не в Шульге вовсе, а в нем самом. Шульга, тот ведь не поймёт его мести, не оценит даже четырехлетних упорных поисков, решит, что за деньги, за габардиновый костюм...

Эта мысль принесла облегчение, сняла с души многолетнюю тяжесть: ведь повстречайся Шульга, нетрудно представить, чем могло это все кончиться. И он, словно дохлую кошку за забор, выкинул Шульгу из памяти напрочь.



Арслан подался на Дальний Восток, потому что в разъездах полюбил просторы, размах, дальние дороги, когда в один конец — месяц пути. Даже в Монголию, в самые глухие аймаки с дальнобойщиками ходил. Казалось, все утряслось, улеглось и наладилась новая жизнь, даже влюбился, и дело к свадьбе шло. Нареченная, бойкая красивая буфетчица из чайной при таежной трассе, считай, сама выглядела Арслана. Сама справлялась на автобазе, когда из рейса прибудет, сколько дней ему отдыхать положено. И зря времени в эти дни не таяла. Обедать придет — за самый чистый стол усадит и самое вкусное подаст, и бутылочным пивом, завозимым раз в месяц, непременно угостит. А уж потом попросит помочь переставить ящики в кладовке и ненароком то плечом, то бедром заденет, то невзначай прижмется к неразговорчивому Арслану. А уж если на танцы или в кино придет, платье на ней самое модное, сидит как влитое, парни глаз отвести не могут. Не устоял и Арслан, влюбился, да и хороша она была, и относилась к нему как никто другой в его суровой жизни.

На день рождения подарила она ему меховую душегрейку и сказала, чтобы держал себя в тепле, потому что всегда хочет видеть его крепким и здоровым. Это очень тронуло тогда очерстневшего сердцем Арслана.

Правда, в поселке да и на трассе всякое о ней болтали, гулена, мол, вертихвостка, но он не придавал этому значения: шоферы — народ не особенно щедрый на доброе слово.

Когда наметили они срок свадьбы и жили уже как муж и жена (Арслан в общепитии только для порядка числился), дошло до него, что к Дуняшке его еще один чернявый, похожий на него, парень похаживает. Не поверил, ни слова ей не сказал.

Однажды до срока вернулся с трассы и сразу к ней, соскучился. Чайная была закрыта на перерыв, и он, как всегда, постучался с черного хода раз, другой... Тогда, недолго раздумывая, с разбегу вышиб дверь и влетел прямо к ногам милующихся. Не успел он вскочить, как тот хахаль поддал его сапогом в бок, а когда поднимался, еще и кулаком в лицо двинул, но Арслан устоял на ногах.

И такая злоба взяла Каримова — не высказать, да еще Дуняшка тут визжала что-то о казенном имуществе, наверное,



дверь имела в виду. А потом, забыв про казенное, орала уже на всю улицу:

— Не имеешь права! Не имеешь права на женщину трудящуюся руку поднимать! Свободная я! Равноправная! Где штамп? Где регистрация? Покажи! Молчишь? Значит, нет правов!

Имел он право или не имел, времени раздумывать не было. И когда Дуняшка, помогая своему хахалю, вцепилась ему в волосы, Арслан так отшвырнул ее, что она, вылетев на улицу с задраным подолом, попала прямо в мартовскую раскисшую лужу. За чайной в тени кедровника стояла колонна из пяти машин, шоферы, видно, поджидали миловавшегося бригадира. Услышав шум, они поспешили на помощь товарищу. Арслан не дрался по-настоящему, пожалуй, лет десять, но зато за эти годы окреп, возмужал.

С обидчиком своим он справился быстро, тот уже лежал в соленой луже среди сельдей из опрокинутой в толчее бочке. Драка всерьез началась, как только ввязались дружки бригадира. Разом навалиться на Арслана они не могли, слишком уж тесна была подсобка, а двое или даже трое для Арслана с его прошлым опытом ничего не значили. На беду один из шоферов кинулся на Арслана с железной монтировкой, но ударить не сумел, и Арслан тут же перехватил ее, уж погуляла монтировка по спинам нападавших. В тот день только двое из колонны уехали своим ходом, а остальные попали в больницу. Две недели машины с грузом стояли в больничном дворе. А Арслан, уплатив за разгром в чайной (Дуняшка постаралась составить актик подлиннее), вместо бракосочетания и намеченного свадебного путешествия (опять же, по иронии судьбы, в Сочи — дались же они ему!) попал на два года в тюрьму за злостное хулиганство.

Припомнилась ему и тюрьма. Это там через три месяца по всесоюзному розыску отыскало его извещение сельсовета Мартука, где сообщалось, что его родители Фаузия Салахиевна и Мубарак Ахметович Каримовы умерли почти одновременно в январе месяце, и что теперь он, единственный сын и наследник, является домовладельцем по адресу Базарная, 16.

Только из этой официальной бумаги он узнал, как величали по отчеству отца и мать. Лишь там, в неволе, держа в руках эту официальную справку, он понял, что наделал, что потерял



в жизни, и ему до озноба захотелось домой, в Мартук, хоть на час. Будь он на свободе, тут и наступил бы конец его скитаниям, да, видно, не судьба. С месяц он не находил себе места, даже побег замыслил, но удержали его, не дали совершить еще одну, очередную, глупость.

Прошло время, улеглась и эта боль. В тюрьме произошло с ним странное — он охладел к машинам. Нет, он не связывал это с тем, что машины и дороги не принесли ему в жизни счастья и покоя, просто остыл, не лежала больше душа — и все. Работая на стройке, он вдруг обнаружил, что и мастеров каменщика, и кельма штукатура ему по руке, а топор и рубанок, если еще и хороший материал попадетсЯ, заставляли его забывать обо всех горестях жизни.

Они работали вместе с гражданскими, и прорабы, узнав, что у Каримова заканчивается срок, приглашали его в бригады и квартиру в течение года обещали, но Арслану не хотелось начинать новую жизнь в том городе, где был в заключении, хотя и знал, что вряд ли где еще предложат такие условия.

Потом он работал на стройках, опять на Севере — ему нравились большие стройки: здесь он встречал в великом множестве людей, подобных себе, с не очень складной биографией, и поэтому не нужно было объяснять, почему без семьи, почему в общежитии, без бесконечных «почему?», возникших бы в любом другом месте, но не на громадной стройке.

Но однажды он увидел по телевизору передачу о Средней Азии, об Узбекистане. Показывали удивительные города, где текла тихая размеренная жизнь; где глубокая старина мирно соседствовала с современностью; неправдоподобно уютные, в тени чинар, чайханы, где старики вели неторопливые беседы или играли в шахматы. Каримову показалось, что он слышит шум арыков, ощущает запах тлеющего самоварного угля, улавливает далекие призывные звуки карнаев...

Недолго думая, он засобирался в дорогу — в той передаче рассказывали и о новостройках Узбекистана. В первый раз с грустной улыбкой он отметил, что в его положении перекапти-поля есть и свои преимущества, чемодан в руки — и все дела.

В Средней Азии он часто менял место жительства, кочуя из республики в республику. Стройки здесь, конечно, не имели



сибирского размаха, к тому же, он искал город, где намеревался осесть окончательно.

Так он очутился в Газгане, небольшом городке, где был мраморный карьер. Как раз перед его приездом здесь получили крупный заказ на поставку плит для облицовки ташкентского метро. И городок, и работа Каримову сразу пришлись по душе.

Первый учитель Арслана, старый каменотес Юлдаш-ака, сказал уже через месяц: «Будешь каменотесом», — и объяснил, что в их деле сразу видно, выйдет из человека толк или нет, а у него, мол, и рука твердая, и глаз верный.

В Газгане часто и подолгу жили скульпторы, одни месяцами искали нужный материал для работы, другие работали прямо здесь. Арслан быстро сошелся с ними и долгие вечера коротал у кого-нибудь в мастерской или в чайхане. Скульпторы оценили умение Арслана работать с камнем и часто просили выделить им в помощь Каримова. По натуре малоразговорчивый, Арслан в этой компании образованных, знающих свое дело людей и вовсе молчал, но ему доставляло огромное удовольствие просто слушать их, сидя где-нибудь в уголке. Намаявшись за день, как и Арслан, они отдыхали по вечерам тихо и несуетливо: говорили о своих делах, о камне, о каких-то школах, течениях, выставках, упоминали фамилии, множество имен. Арслана притягивал этот иной, далекий от всей его прошедшей жизни мир, где ему никто не говорил «ты», где к нему были внимательны и, даже уехав, часто передавали ему приветы, а иногда и подарки — книги, альбомы, каталоги персональных выставок.

Юлдаш-ака не ошибся: Арслан научился обращаться с мрамором, как с живым человеком, так его учил старый мастер. Потому его не раз просили подобрать камень для надгробных плит. Обычно в таких случаях родственники приезжали прямо на карьер, и Арслан вместе с ними иногда несколько дней выбирал нужный материал. Он был терпелив, не навязывал своего мнения, умел слушать печальные истории, приведшие людей к могильному камню, наверное, поэтому еще ему поручали столь деликатное дело. Слушая о чужом горе, он удивлялся, как много и нелепо умирают, в общем-то, молодые еще люди, потому что часто заказывали памятники своим детям отцы или матери. Детям, наверное, все недосуг заняться



столь хлопотливым делом — увековечить память о родителях. Конечно, наслушавшись грустных, полных скорби историй, высекая тяжелые надгробия, он не мог не вспомнить и о далеких могилах своих стариков. И мысль все чаще и чаще стала возвращать его в Мартук.

Как-то он поделился со своими новыми друзьями желанием сделать памятник и для своих родителей. Товарищи не просто одобрили его замысел: кто-то тут же принялся рассказывать о мусульманских надгробных камнях, потому что они объездили полмира, и это было частью их профессии. Через неделю ему привезли из Ташкента альбом, изданный в Стамбуле, с различными мусульманскими надгробиями. Помогли ему не только советами: одни подобрали текст, другие соответствующую возрасту стариков строку из Корана. Самые большие споры шли как раз насчет этой строки, она должна быть ясной, рифмованной и, к тому же, переведенной на русский язык. Другие определили оптимальные размеры камня и его формы. Кто-то даже предложил сделать работу сообща, но Арслан, поблагодарив, отказался. Сказал, что попробует сам.

Месяца четыре он подбирал камень, но каждый раз друзья браковали его выбор, пока однажды, перед самым Новым годом, он не нашел две больших глыбы цвета червонного золота с редкими красными прожилками.

Работал он почти целый год. Конечно, ему помогали, советовали, но основную работу он все же сделал сам.

И теперь эти запоздалые проявления его любви и уважения к родителям, воплощенные в камне, шли контейнером и были уже где-то на подходе к родному селу. Вчера на вокзале областного центра у него вновь явился страх перед Мартуком, и мелькнула мысль: не повернуть ли обратно? За контейнер он не беспокоился, потому что знал: мир не без добрых людей, вскрыет невостребованный контейнер комиссия, созданная по такому случаю, и, увидев могильные камни, конечно же, установит их на место. На худой конец, можно было бы отправить письмо в сельсовет и деньги перечислить за хлопоты...

Но сейчас, в ночной тиши постоялого двора, Каримов был рад, что не повернул от родного порога, хотя и понимал теперь, что радости от запоздало выполненного долга, как мечтал там, в Газгане, у него не будет. Не будет никогда...



Если до возвращения, до этой бессонной ночи он считал, что ценой давнего предательства стала только его поломанная жизнь, то вид запустевшего родного дома, заросшей и одичавшей вокруг дома земли привел его к мысли, что потери тут куда больше и страшнее...

Потихоньку подкрался рассвет, и Арслан представил, как уныла и печальна, наверное, его усадьба днем. Подумал и о том, что сегодня, вероятно, натолкнется на улице на старых знакомых, друзей, увидит женщин, одна из которых когда-то могла бы стать его женой, увидит детей их, и они вновь напомнят ему, как долго он скитался по свету.

Неожиданно всплыли в памяти слова Юлдаша-ака: «Молодой, сильный, настоящий Арслан, а живешь как кукушка — ни дома, ни семьи...»

Ни дома, ни семьи... Арслан резко поднялся и прошелся по комнате. В углу, у зеркала, он задержался. Из пыльного трюмо на него смотрел еще молодой, сильный на вид мужчина, только усталые, грустные глаза и седые виски выдавали в нем много повидавшего человека.

— Ну что, начнем сначала? — спросил он у своего изображения и, не дожидаясь ответа, резко отвернулся и пошел к двери, на улицу.

Секунду он помедлил на безлюдном дворе и вдруг, торопясь, словно опаздывая, зашпешил переулками к своему дому.

Выгонявшие коров в стадо хозяйки видели, как у заброшенного дома на Базарной какой-то человек спозаранку срывал с окон заколоченные крест-накрест горбыли, да так, что треск слышен был за квартал.

Собравшись на перекрестке, забыв про своих коров, они шушукались, кто бы это мог быть.

Только одна молодая женщина, взглядевшись повнимательнее, удивленно вскрикнула:

— Арслан! Арслан... Лев вернулся.

Май
1979







Звездное небо детства

Автобиографический рассказ

В начале 1980-х годов, когда у меня уже выходили книги в Москве, одна из них попала на рецензию к писателю Штильмарку, человеку трагической судьбы. Он отсидел в сталинских лагерях двадцать пять лет от звонка до звонка и позже был сослан на поселение в Казахстан. В одном из моих рассказов этой книги упоминался Мартук и соседний Ак-Булак. В Ак-Булаке, как оказалось, мой рецензент отбывал ссылку. Он был рад, что место его ссылки для меня стало предметом литературы. В 1999 году в журнале «Огни Казани» на татарском языке вышел мой ретро-роман «Ранняя печаль», и я вдруг получил полное благодарности письмо от одной очень старой читательницы. Оказывается, ее отец, духовное лицо, в тридцатые годы был сослан... в Мартук. Они писали отцу в Мартук годами, раз в год снаряжали туда посылку, а раз в два года, по специальному разрешению, навещали его. По ее словам, Мартук был для них святым местом, как Мекка, не меньше, и они всегда молились за благополучие его жителей.

Я далек от мысли, что Мартук — святое место, хочу, пользуясь примерами, обратить ваше внимание на то, что я, частное лицо, уже дважды лично столкнулся с людьми, чьи судьбы связаны с Мартуком из-за того, что он в чьих-то тайных реестрах



был определен местом ссылки. Сегодня я понимаю, отчего у нас в захолустье кроме милиции находилось и отделение НКВД, прародителя КГБ, причем в заметно расширенном составе. Кстати, его сотрудники вместе с милицией тоже жестоко разгоняли базар на станции.

Я упомянул о ссыльных в Мартуке, о которых ни тогда, ни теперь, запоздало, не говорили и не говорят, видимо, не такие уж сверхважные персоны высылались к нам. Разумеется, и они, ссыльные, о себе не распространялись, чтобы не осложнять и без того тягостную жизнь. Но даже тогда, в детстве, я понимал, а точнее, чувствовал, что люди сильно отличаются друг от друга. Теперь-то я знаю, что причин для этого много: происхождение, образование, культура, интеллект, в ту пору я и слов таких не только не понимал, но и не слышал. Но то, что такие люди есть, хорошо усвоил, потому и помню до сих пор, и высоко оцениваю их значение для Мартука задним числом, через столько лет.

В шесть лет я случайно выпил яд — каустическую соду, ее отчим использовал для выделки шкур. Но на мое счастье, в другой комнате нашей землянки находился киевский врач Драпей, сосланный за что-то в нашу тмутаракань. Он любил заходить к нам на чай, и мама всегда держала специально для него небольшую заначку заварки. С чаем и сахаром в доме бывали частые перебои. На мой крик врач выскочил раньше матери и, мгновенно оценив ситуацию, заставил меня выпить молоко, стоявшее рядом на столе. Опоздай он на минуту-две, и я не писал бы воспоминания о нем. Сейчас, видя на экране человека в пенсне, с кожаным чемоданчиком в руках и стетоскопом на груди, я сразу вспоминаю врача Драпей, он спас в Мартуке не одного меня. Об этом человеке долгие годы ходили в Мартуке легенды, но новое поколение узнает о нем только из этих скупых строк. Да будет земля вам пухом, дорогой доктор Драпей!

В школе у нас преподавал математику учитель Николай Иванович Мишин, седой, полноватый, с пышными усами и бакенбардами мужчина. Он, как и доктор Драпей, сразу выделялся из общей массы жителей Мартука. Всегда аккуратно одетый, учтивый, он и к нам, детям-озорникам, относился тепло и обращался: «Любезный, подойдите ко мне, пожалуйста». Жена



его тоже была учительницей, а сестра, Екатерина Ивановна, заведовала детской библиотекой. Одна только эта семья сделала бесконечно много для Мартука. В школе устраивались неслыханные нигде вокруг, кроме Мартука, олимпиады, а на дополнительные занятия по математике приходили по сорок учеников, и отнюдь не отстающие, наоборот, те, кого влекли точные науки. Наверное, с тех послевоенных лет до горбачевских реформ мартукская школа считалась одной из лучших в области, и в вузы поступали до девяноста процентов ее выпускников, решивших продолжить образование. Я не увлекался математикой, да и школу оставил после семилетки. Но хорошо помню перемены в библиотеке, то, как нас встречала сестра Мишина Екатерина Ивановна, как долго любезно беседовала она с каждым заморышем, обогрела словом, вниманием, вселяла надежду, отыскивая в нас хоть какие-то крупинцы таланта.

Для многих из нас Мишины стали лоцманами в жизни, а от Драпея потянулась дорога в актюбинский мединститут. Екатерина Ивановна сама прекрасно рисовала и создала в библиотеке, в двух тесных комнатках, изокружок. Скоро рисунками учеников были увешаны все стены и коридоры библиотеки, позже им нашлось место и на стенах школы. Рисовали акварелью, цветными карандашами, углем, но мне запомнились тончайшие, ювелирные рисунки птиц и животных, сделанные пером и цветной тушью на ватмане мальчиком с соседней улицы Вальтером Диком. Много позже он сумел через Прибалтику эмигрировать в Германию и там стал известным художником-анималистом. Об этом я узнал от своего закадычного друга детства Сигизмунда Вуккерта, чья семья тоже уехала на Запад.

В январе 2007 года я приехал из Парижа в Мюнхен с супругой Ириной посмотреть известнейший в Европе музей современного искусства, а еще больше для того, чтобы побродить по улицам моего горячо любимого поэта Федора Ивановича Тютчева, которого самозабвенно обожал, боготворил в юности. В Мюнхене Тютчев прожил больше двадцати лет, там у него были две яркие, глубокие любовные истории, которые подарили нам восхитительную тончайшую лирику. Немцы поставили Тютчеву прекрасный памятник. В день отъезда из Мюнхена я увидел афишу выставки художника Дика с портретом вальяжного господина, в котором без труда узнал босоногого



Вальтера. Конечно, вспомнил нашу библиотеку, Екатерину Ивановну, без которой, наверное, не было бы художника Вальтера Дика. Очень жаль, что не встретились с ним, было бы, о чем поговорить. Тешу себя надеждой, что еще загляну в Мюнхен к земляку и подарю ему каталог собственной коллекции живописи, в которой, к сожалению, нет картин Вальтера Дика. И еще подарил бы ему свой роман «Ранняя печаль», где есть большая глава, посвященная мартукским немцам.

Что касается Мишиных, я не раз слышал о них — «политические». Что это могло означать, я не могу представить даже сейчас, даже с высоты своего возраста и опыта, житейского и писательского. С этой семьей нельзя было отождествить никакую крамольную мысль — ни политическую, ни связанную с моралью, не говоря уж об уголовных преступлениях. Вся жизнь Мишиных, протекавшая под надзором НКВД, прошла перед глазами всего Мартука — и людей более праведных, добрых, отзывчивых, бесребреников, живших только заботами юных граждан нищего поселка, я больше никогда не встречал. Долго, до самой смерти Мишиных в Мартуке, я интересовался их судьбой, знаю, где их могилы на огромном русском кладбище, мне не надо долго искать. Там покоится много моих друзей. Первым ушел почти пятьдесят лет назад юный Толя Чипигин, за ним Володя Колосов, Юра Урясов, Славик Афанасьев, Леня Грицай, Боря Палий, Саша Варюта — я называю только очень близких мне людей, а сколько там соседей, знакомых... Путь всем вам мартукская земля будет пухом, я часто вспоминаю вас.

Мне везло на учителей, и я еще раз встретил таких же, как в школе, доброжелательных людей. Теперь это были мои преподаватели в железнодорожном техникуме в Актюбинске. Почти весь его преподавательский состав того времени состоял из профессоров, доцентов, кандидатов наук, ученых из Ленинграда. Конечно, они были сосланными и не делали из этого тайны, к тому же уже прошел XX съезд партии. Они дали нам не только знания, но и привили культуру. Низкий поклон вам, учителя мои: Фома Иванович Грачев, профессор Семен Абрамович Глузман, профессор Волков, профессор Башкирцев, Михаил Матвеевич Панов, Борис Николаевич Гуцин — я никогда вас не забывал.



На учителей везло не только мне, но и всему Мартуку. Учительница немецкого языка Алиса Арнольдовна, одна воспитывавшая сына Марка, создала в школе театр кукол. Я не оговорился, не кружок, а настоящий театр, с полноценными спектаклями по известным сказкам, чаще всего немецким. Наверное, этот навык был у нее в прошлой жизни, столь отточенны, выверены были сцены, реплики, так тщательно продуманы декорации, выставлено освещение, изготовлены сами куклы. Такое с налету, от одного только желания что-то создать, не получается, сужу об этом теперь как театрал со стажем.

В студию Алиса Арнольдовна набирала только тех, кто хорошо учился. Как резко подскочила успеваемость в школе! Кукольное дело требовало внимания, аккуратности, терпения, сноровки, ловкости и, конечно, артистизма — оказывается, рядом с нами в каждом классе, с первого по десятый, учились такие талантливые мальчики и девочки! Театр давал спектакли не только в школе, но и в кинозале Дома культуры, кукольников привлекали с постановками даже в дни выборов — а к этому тогда относились серьезно, иначе вмиг можно было лишиться работы и партбилета. Народ валом валил на спектакли, а родители гордились своими детьми-артистами. Когда рассказываю об этом сегодняшним мартукским школьникам — не верят, что подобное могло быть у них в поселке пятьдесят лет назад. Было, было, только и люди, и дети были другими.

Я рассказал лишь о нескольких ссыльных, занесенных жестоким временем в наш Мартук, да и то мимолетными штрихами. Подробнее не смог — мал тогда был, а услышать о них от взрослых не довелось. И опасно было, и своих забот хватало, ведь всегда, сколько себя помню, жизнь в наших краях определялась по гамбургскому счету — выжить! Да и сейчас так.

Но это не вся правда. Сегодня, с высоты житейского опыта, возраста, понимаешь, что, может быть, главная беда — потеря памяти о достойных людях, которые вместо тебя, за тебя пытались изменить мир вокруг, судьбу твоих детей — объясняется просто равнодушием, душевной эрозией, переходящей в откровенный цинизм. Мишины? А что они сделали? Работали в школе? Выдавали книги в библиотеке, кружки организовывали для детей, кукольные представления давали — так они за это



деньги получали. Доктор Драпей? А этот, говорят, полторы ставки получал, большие, я вам скажу, деньжищи. Щедрой души человек? Безотказный? Ночь не ночь, пурга, дождь — мог в аул поехать? Так это врачу по клятве какой-то римской положено, работа такая, сам выбирал.

Много ссыльных было в нашем Мартуке, я встречал их на базаре, миновать который нельзя было никому — без базара не выжить. Встречал их на станции, в очередях за хлебом, в которых стояли с вечера с переключками до самого утра, когда подвозили на подводах хлеб с пекарни. Встречал их у реки, когда собирал на зиму сушняк. Конечно, все они чем-то занимались, добывали свой хлеб насущный, как, например, гончар-виртуоз Трушкин. Именно тогда у нас появились районная газета и типография, организовал их тоже ссыльный — Кисловский, его сын Эдик учился классом старше меня.

Безусловно, каждый из них, кто меньше, кто больше, повлиял на жизнь и культуру нашего села. Вот сегодня, в XXI веке, заплати миллион долларов, чтобы в Мартуке через час собрался духовой оркестр, проводить в последний путь достойного человека — не получится. Тогда же, после войны, без оркестра вообще не хоронили. А на парадах по случаю 1 Мая, 7 Ноября — снимки сохранились — идет такой внушительный оркестр, какой нынче вряд ли и в городе соберешь. А летом в парке по воскресеньям, часов с пяти до самых танцев, тоже играл духовой оркестр. И его репертуару, как я сегодня понимаю, позавидовал бы профессиональный коллектив. И ведь кто-то дирижировал этим оркестром, писал ноты, репетировал, были владельцы дорогих инструментов!

Смешно даже предположить, что музыкальные инструменты являлись собственностью нашего бедного районного Дома культуры. В подтверждение скажу, что с тринадцати лет, когда я начал околачиваться возле нашей танцплощадки в парке, половина пластинок, под которые танцевала молодежь, была из нашего дома. Конечно, оркестрантами были ссыльные, с которыми, в силу возраста, я не мог тогда общаться.

Оттого, наверное, что были такие музыканты и инструменты, уже в пятидесятые в Мартуке откроется музыкальная школа. Как говорила моя мама — на пустом месте вырастает только чертополох.



Ссылные были разными людьми. О судьбе еще одного из них лет десять назад мне рассказал одноклассник Рахим Халиков, ныне директор одной из двух больших русских школ в Мартуке. Отец Халикова — участник войны, инвалид, еще совсем недавно тогда вернулся из Берлина и работал экспедитором на почте, рядом со своей хибаркой. Возил на станцию и доставлял с поездов корреспонденцию. На задворках большого почтового двора (тогда пользовались только гужевым транспортом, в том числе верблюдом) располагались сеновалы, конюшни, сарай, всякие склады.

В один прекрасный день Рахим обнаружил там свежевырытую землянку, точнее, просторную яму, куда вели аккуратно вырезанные в земле ступени. Стояло лето, и крыша отсутствовала: либо жилец знал, что здесь долго не задержится, либо не успел устроить. Мужчина, увидев Рахима, ловко поднялся и, улыбаясь, спросил с заметным немецким акцентом: «Мальчик, у тебя есть друзья?» Рахим, поняв, что предстоит какая-то работа, ответил: «Я могу вмиг собрать трех-четырёх ребят». Немец сказал с неизменной, как потом оказалось, улыбкой: «Предлагаю вам выгодное сотрудничество. Вы наловите десятка два сусликов, а я вам приготовлю из них прекрасный обед, вы даже не представляете, как они вкусны и полезны».

Почувствовав, что Рахим не совсем понял суть предлагаемой затеи, хозяин ямы спросил: разве вы не ловили суслов? Получив отрицательный ответ, немец немного расстроился, но тут же весело предложил: «Я научу вас, это проще простого. Вы наливаете в норку воды из ведра, и через полминуты он, испуганный, выползает наружу, даже не сопротивляется. Вы его в мешок — и ко мне. Через час после охоты гарантирую вам роскошный обед», — и он показал рукой на стоявший внизу примус и большую кастрюлю.

Голодному мальчишке из многодетной семьи предложение показалось столь привлекательным, что он тут же побежал скликать свою дружину. Через дорогу от почты располагалась метеостанция, обнесенная обвисшим забором из колючей проволоки, а вокруг нее резвились суслики. На заповедную территорию никто не покушался, о чем гласило строгое предупреждение: особо охраняемая зона. Сусликов тут хватало не на один обед, если быть удачливыми.



Все получилось действительно просто и быстро. Через час они заявили с добычей на званый обед. Немец, не сомневавшийся в удаче ребят, уже распалил примус, на котором закипала большая кастрюля, а сам вырезал непонятные палочки из лозы, припасенной в углу землянки. Получив сумку с добычей, он достал из своего головного убора узкую металлическую пластинку, остро заточенную с одной стороны, и стал на глазах у ребят ловко свежевать тушки. Делал только один длинный быстрый разрез по брюшку и выворачивал шкурку, словно снимал шубу. Фантастическое зрелище, рассказывал мне Рахим. Освободив тушку от внутренностей, обитатель землянки обмывал ее в ведре и тут же опускал в кипящую кастрюлю. Когда немец минут за десять справился с добычей, он научил ребят правильно растягивать шкурки для просушки. Вот для чего он заготовил палочки разной длины!

Рахим знал, что «Живсырье» принимало шкурки и тут же рассчитывалось деньгами, но среди мальчишек из семей мусульманских не было принято заниматься этим промыслом. В Мартуке только две молдавские семьи из самых бедных охотились на суслов. Но голод заставил ребят переступить запрет.

Рахим с друзьями барствовал ровно две недели. Каждый день сдавали шкурки, у них завелись деньги на кино, а главное, тайный от родителей сытнейший обед от немца, с которым они сдружились. Правда, рассказывал мне Рахим, когда он впервые увидел спецнож, подумал, что немец — шпион, и сильно испугался, но голод поборол страх. Только через много лет Рахим узнал, что это был хирургический скальпель, в другой жизни их благодетель, наверное, был врачом. В один прекрасный день, когда они вновь заявили с богатым уловом в землянку, там уже никого не было, не осталось ни примуса, ни волшебной кастрюли. Через неделю один мальчик, которому они рассказали о своей тайне, признался, что видел, как двое в штатском заводили этого немца в здание НКВД именно в тот день, когда они потеряли и обед, и заработки.

При встрече со мною в последний раз Рахим вдруг ни с того ни с сего спросил меня с грустью: «Ты помнишь моего немца? Что-то он часто стал мне сниться последнее время. Жаль, человек не должен пропадать бесследно, не должен». Он думал о чем-то своем, наткнувшись на прошлое...



Пожалуй, тут уместна будет еще одна история, о ссыльных народах и мальчишке Рубине.

В одном классе со мною учился Коля Грабовский. Были у него брат Юрген, позже при странных обстоятельствах утонувший в Чудном озере, и младшая сестренка Ольга, которая, повзрослев, вышла замуж за Сашку Гельвиха, часовых дел мастера. Рос Коля без отца, как и многие в ту пору, безотцовщина стала как бы нормой. Но в 1959 году отец Коли Грабовского неожиданно объявился, и тогда я от матери узнал историю соседа Гюнтера Грабовского.

В войну, когда немцев поголовно выселили из Поволжья и Краснодарского края к нам в Казахстан и в Западную Сибирь, они объявились в Мартуке. Грабовский-старший работал грузчиком на элеваторе. Годы холодные, голодные, трое детей, такую ораву и в мирное время прокормить непросто. И вот однажды вечером зимой 1943 года мою мать и соседку Наушупа Бектемирову вызывают в землянку к Грабовским понятими. Сосед только вернулся с работы, а за ним вошли двое из НКВД с понятими и заставили хозяина дома вывернуть содержимое карманов в ладони моей матери.

Мать со слезами на глазах рассказывала, что в обоих карманах ватника не набралось даже двух полных ладошек пшеницы. За эту горсть сорной пшеницы соседу-немцу дали пятнадцать лет, и отбыл он их в Сибири на лесоповале день в день. Эта история много лет не шла у меня из головы. Ну, ладно, война, думаю я, стгоряча дали на всю катушку, но почему же после войны не пересмотрели столь суровый приговор? Ведь у него дома осталось трое детей! Поистине, низвели жизнь человека до жизни раба, от которого требовалось одно — дармовая работа.

Грабовского, наверное, и после пятнадцати лет не хотели выпускать из тюрьмы, уж очень честны, безотказны немцы в работе. Много позже во время одного из визитов в Мартук я узнал, что большое семейство Грабовских уехало в Германию. Тогда я сделал в дневнике такую запись: «Пусть Родина, которую они так трудно и запоздало приобрели, будет к ним добра и милостива, не в пример нашей — слишком мало хорошего они видели в СССР. Пусть никто, нигде и никогда не заплатит за горсть сорной пшеницы такую цену, какую заплатил отец моего одноклассника Гюнтер Грабовский».



Шумные и скандальные истории часто случались с чеченцами — этих не могли запугать ни работники спецкомендатуры, ни люди из НКВД. Они не позволяли унижать собственное достоинство, и ни один чин при нагоне не рисковал принимать чеченца в кабинете один на один, хотя тех на входе обыскивали самым тщательным образом. Говорят, в ту пору со стола начальства исчезли все тяжелые предметы: бюсты генералиссимуса из бронзы или мрамора, а также и бюсты железного Феликса, тяжелые письменные приборы каслинского литья из чугуна, особо модные в те годы, и даже графины с водой. Другое дело немцы — тихий, законопослушный народ, они не доставляли особых хлопот спецкомендатуре.

Но однажды произошло ЧП, перед которым померкли все лихие выходки горцев. Говорят, историей немецкого парня по имени Рубин занимались в Москве высшие чины НКВД и военной разведки. Рубин в ту пору учился не то в восьмом, не то в девятом классе и жил на другом краю села, поэтому мне не приходилось сталкиваться с ним, знал только, что он жил с матерью, и мать его работала в школе истопницей и уборщицей...

Немцы в те годы не имели права без разрешения комендатуры покидать место жительства, не имели и документов, что также лишало их возможности передвижения. Тем удивительнее был слух, что пропавший два месяца назад немецкий мальчик — школьник по имени Рубин, задержан на западной границе при попытке ее перейти. Его вернули домой, к матери, что с него взять — несовершеннолетний.

На педсовете Рубин упрямо твердил учителям, что хотел вернуться на свою Родину, хотя те дружно уверяли, что его Родина — СССР: здесь он родился, здесь появились на свет его родители и даже прадеды, только здесь ему гарантированы великой сталинской Конституцией права на труд, свободу, бесплатное образование, здравоохранение, жилье и прочие блага. Но, видимо, Рубин уже тогда понимал, какие свободы ждут его в родном Отечестве.

Окончив школу, Рубин снова бежал, но на этот раз его застрелили при переходе границы, и мать ездила на похороны, а чуть позже и вовсе переехала в те края присматривать за могилой единственного сына, больше у нее никого не было — муж погиб в Челябинске в трудовых лагерях.



В школе провели собрание, гневно осудили поступок бывшего ученика — видимо, откуда-то поступило указание. Но между собой ребята говорили другое: жаль Рубина, он же школьник, а не шпион, какие тайны мог вывезти из Мартука — о нищем колхозе «Третий Интернационал», что ли? И пусть бы он жил там, где хотел, мы ведь граждане самой свободной страны...

Так просто и ясно — задолго до Хельсинкских соглашений и принятия Декларации прав человека, еще пятьдесят пять лет назад мыслили мартукские мальчишки.

Сегодня, на закате жизни, нет дня, чтобы не припомнилось мне что-то из детства, юности. Большой грузинский поэт Карло Каладзе в одном стихотворении сказал: «Помню только детство, остальное не мое». Чтобы понять, оценить эту строку, как минимум надо прожить жизнь. Вспоминаются друзья, родители, соседи, учителя, Илек, станция, озера, школьные походы, тюльпанные поля по весне, парк, мартукские девушки, школа. Вспоминаются вьюги, метели, снегопад, убранные огороды, бахчи — это понятно и дорого каждому.

Но есть одно природное явление, которое я стал вспоминать все чаще и чаще, особенно путешествуя вдали от Мартука. Оказывается, Всевышний одарил Мартук еще одной удивительной красотой, которой лишены многие страны и даже те места, которые принято считать жемчужинами природы. Летом, в июле — начале августа, у нас в Мартуке такое высокое звездное небо, такие бархатные сажево-черные ночи, что протяни руку — не увидишь. А небо усыпано миллионами, мириадами ярчайших звезд! Какой в Мартуке звездопад! Не пересказать! Словно золотые яблоки, звезды не спеша сыплются и сыплются с небес, радуя глаз и душу — можно успеть десять раз загадать желание. Возвращаясь с танцев, мы не могли оторвать глаз от неба, то и дело то там, то здесь слышался радостный девичий вскрик — смотри, смотри, еще одна звезда полетела, загадай желание, загадай желание!

Я тоже был в восторге от летнего звездопада, бархатных ночей, но не думал, что такая красота предназначена только нам, мартучанам. Поверьте, проверьте — в чужих краях нет бархатных ночей, такого густо усыпанного звездами неба, о звездопаде и говорить не приходится. Во многих странах нет даже любезных нашей душе долгих сумерек, день кончается



мгновенно, словно лампочку выключили. Я был в Израиле и сразу понял, почему наши оттуда уезжают. Там нет сумерек, нет времен года — можно умереть с тоски. Там, на чужбине, в красивых странах, мне всегда снится мартукский звездопад, но желаний я уже не загадываю.

Не могу в этом повествовании не сказать хотя бы несколько слов о любимом Илеке. Многие годы, приезжая в Мартук, даже зимой после кладбища мы едем с братьями поклониться Илеку. И я, уже в который раз охваченный волнением, говорю им: убежден, что тысячи и тысячи мартучан, по разным причинам оказавшихся вдали от малой родины, для которых Илек — река детства, вспоминают его со слезами на глазах. Оказывается, так оно и есть.

Несколько лет назад я встретился в Мартуке с приехавшими из Германии земляками. Поспешил к ним узнать о своих друзьях, соседях, одноклассниках. И один из них дрогнувшим голосом сказал: «Соскучился по Илеку, слов нет, чтобы высказать, замучили сны о реке. Наши все вспоминают Илек». И я тут же вспомнил мальчика с рыбьей фамилией — Генку Фиша, самого заядлого рыбака в нашем детстве, и попросил передать ему привет.

То, что я хочу рассказать о реке, сегодня может показаться фантастикой, как и многое в моих воспоминаниях, но поверьте, Илек был таким...

В 1952 году я учился в четвертом классе и летом оказался в пионерлагере, как всегда, у поселка Жанатан на берегу Илека (там с 1956 года ежегодно стали проводить День песен). Однажды в воскресенье к физруку Михаилу Кирилловичу Тимошенко приехал на полutorке его друг Петривний с двумя мужиками. У них был бредень. Михаил Кириллович попросил меня и Людвиг Саломатина собрать еще десяток мальчишек и поучаствовать в рыбалке с бреднем. Мы, разумеется, с радостью согласились.

Пока я с Людвигом собирал команду, мужики растянули бредень и определили место, откуда начнут тянуть. Бредень по краям, как знамя, укрепили на крепком длинном древке, его и тянули по двое мужиков с каждого берега, находясь в воде. А мы, ребята, с шумом, криками, хлопаньем палками по воде гнали впереди рыбу по обоим берегам, барахтаясь в реке.



Нехитрое, в общем, занятие. По тому времени, оказывается, незаконное, браконьерское.

В первый раз тянули не более пятидесяти — шестидесяти метров, мужикам показалось, что в мотню бредня попали тяжелые коряги, и они вытянули его на первой же отмели. Как только появились из воды края бредня, усыпанные запутавшейся рыбой, раздался восторженный крик мальчишек — появившаяся мотня была полностью забита шевелящейся рыбой. За первый заход выловили более сорока щук, да каких! Такие отродясь не попадали на наши удочки, по три-четыре килограмма каждая, а некоторые, как хищные торпеды, тянули и на семь, и на восемь килограммов.

Рыбы оказалось так много, что после щук ее перестали считать и сортировать. Попались невиданные голавли, с огромную чугунную сковороду, толстенные лещи, о существовании их в Илеке мы и не предполагали. Много оказалось черных, как коряга, ленивых сомов, они не дергались, как остальные рыбы, а только шевелили длинными усами. Один сом, сказал Михаил Кириллович, тянул на целый пуд. Выделялись красавцы сазаны с отливавшей золотом чешуей и ярко-красными плавниками, заканчивавшимися настоящей острой пилочкой. Теперь нам стало понятно, почему сазаны всегда обрывали наши лески, они ее отрезали одним движением. Больше всего вытянули крупных жирных подустов и плотвы. Немало затянуло в бредень красноперок, красноглазок, даже острожные налимы и раки оказались в ловушке.

Всех налимов, крупных сомов и половину красивых сазанов Михаил Кириллович тут же отделил на песке — это детишкам, побалуем их свежей рыбой впервые за лето. Рыбу размером с ладошку тут же возвратили в реку. У меня до сих пор стоит перед глазами щедрый улов, разбросанный на золотом берегу Илека, невозполнимое теперь уже богатство реки нашего детства.

*о. Корфу, Греция,
2007*





Воспоминания о поэте, любившем Малеевку

Эссе

Муса Гали... Муса-ага... Как близко мне это имя, как ласкает оно мне слух, сердце, душу, воображение, вызывает в мыслях теплый и высокий отклик.

Я познакомился с ним зимой 1976 года в Малеевке. Туда я приехал впервые и мало кого знал, и даже не предполагал, что Малеевка тоже станет моим любимым местом и когда-то и меня будут называть старым малеевцем. Есть еще такое быстро убывающее, к сожалению, братство. Когда я впервые появился в роскошной столовой Малеевки, где в ту пору справа на входе еще высился громоздкий дубовый буфет с богатейшим ассортиментом, она уже наполнялась писателями, и мне нужно было выбрать себе место. Почти за каждым столом обедали люди, чьи имена, книги, портреты мне были знакомы. Напротив буфета располагался стол №1, который десятки лет подряд занимал поэт Сергей Островой, а рядом с ним сидели Мустай Карим с товарищем и супруга Сергея Острового — известная виолончелистка. Конечно, я узнал Мустая-ага сразу, в ту пору вступающие в литературу хорошо знали своих предшественников, их творчество. Человек рядом с Мустаем Каримом и Сергеем Островым сразу бросался в глаза своей импозантностью, благородством. Высокий, прямой, совершенно седой, густой ёжик седых волос укладывался сам по себе



в оригинальную прическу, которая была ему удивительно к лицу. Бледное, аристократическое лицо с крупными выразительными глазами четко выдавало в нем — поэта. Внешность обманчива и не может давать никаких гарантий, но я не ошибся, Муса Гали оказался замечательным поэтом. Наши взгляды на какую-то секунду пересеклись, и я уважительно поздоровался.

Свой первый стол в Малеевке я запомнил на всю жизнь. За ним сидели тоже одни поэты: Сергей Поликарпов, Лариса Васильева и Павло Мовчан из Киева, подающий большие надежды поэт, но уже тогда, в 1976 году, сильно озабоченный политикой и независимостью Украины. Уже двадцать лет он — депутат Верховной Рады, один из видных деятелей новой Украины. Тогда мы не предполагали, что политика так отдалит наши страны. Но хорошо помню, какие яростные, опасные политические споры возникали между Сергеем Поликарповым и Павло Мовчаном, я о них вспоминаю даже сегодня, через тридцать лет, когда вижу передачу В. Соловьева «К барьеру». Как, оказывается, давно тлеет националистический уголек на Украине! Но оставим наш стол и вернемся к дорожному Мусе Гали.

Дома творчества — уникальное место, где встречались, отдыхали, работали, знакомились писатели огромной страны. Сегодня мы знаем — нигде в мире подобных заведений не было и вряд ли теперь когда-нибудь будут. Есть даже статистика: каждая вторая или третья советская книга, а выходили тогда миллионы книг, написана в Малеевке, Переделкино, Комарове, Ялте, Пицунде, Коктебеле, Дуболтах, Гаграх, Дурмене-Ташкент.

Обычно с утра большинство писателей работали, часов с двенадцати катались на лыжах, потом обед, обязательные послеобеденные и после ужина прогулки вокруг дома или до деревни Глухово. У каждого был свой маршрут. У Мустая Карима и Мусы Гали маршрут долгие годы был особенный, ударный, он составлял почти десять километров и занимал два-три часа. Не помню, чтобы кто-то пытался повторить этот путь. Они выходили сразу после обеда, в любую погоду, делали большой круг. Вначале вдоль реки, потом через Дом кино в Рузе, где в баре иногда выпивали по чашке кофе, и возвращались через густой лес у дальних коттеджей. В первый раз я жил в самом дальнем коттедже №10 и часов в пять вечера видел в окно, как они, словно былинные богатыри, выходили из леса. Если был мороз,



а тогда он был всегда, — покрытые инеем, с подвязанными на подбородке шапками. Так продолжалось много лет, они никогда не изменяли своей привычке. Однажды я напросился с ними в компанию, прогулка далась мне с трудом, только отдых в баре киношников мне понравился. Главное, я не мог тратить три послеобеденных часа, мне нужно было работать, писать. Иногда они вдвоем до обеда выходили на лыжах, и я встречал их очень далеко в лесу, на лыжах они катались почти до семидесяти лет.

Через две недели меня перевели в главный корпус, и я уже трижды на дню встречался с ними в коридоре, у газетного киоска и, конечно, в столовой. Надо особо отметить, что перед ужином или перед кино в просторном холле с бюстом Серафимовича или в прекрасном зимнем саду-галерее, связывавшем два корпуса, собирались писатели. Собирались кучками, группами, все писатели из восточных республик и Кавказа всегда окружали Мустаю Карима, к ним присоединялся и я.

Однажды, незадолго до ужина, у меня раздался стук в дверь, на пороге стоял улыбающийся Муса Гали. В руках у него была моя первая тощая книжка «Полустанок Самсона», которую я подарил библиотеке, существовала традиция дарить Малеевке свои книги.

— Решил с тобой ближе познакомиться, рад, что тебя волнует татарская тема, — сказал он, улыбаясь.

В этот вечер мы прервались только на ужин. С той зимней беседы в Малеевке можно вести отсчет нашей дружбы до самой его смерти. Я бывал у него дома в Уфе, встречались мы и летом в Пицунде и Ялте. Муса Гали, несмотря на болезни, был активнейший человек. Он даже совершил на теплоходе почти кругосветное путешествие, побывал во всех европейских портах и столицах. Из путешествия он привез не только впечатления, а огромный цикл стихотворений, сложившийся в отдельную книгу. У него были зоркий глаз, незамутненная душа, он остро чувствовал прекрасное, имел тонкий вкус. После того вечера он представил меня Мустаю Кариму. И с зимы 1976 года по 1991-й только в Малеевке, а с 1991 года по 1998-й в Переделкино я был с ними каждый год рядом — двадцать пять лет близкого общения с этими прекрасными людьми. С 1980 года я оставил работу в строительстве и ушел на «вольные хлеба», и в Домах творчества бывал уже по два срока, как и они. Мы сидели за общим столом



три раза в день, а вечером, чаще всего, собирались у меня. Мне нравилось ухаживать за ними, принимать их. Конечно, в наш круг часто попадали и другие писатели, особенно друзья Мустая Карима. Какие интересные разговоры были на этих посиделках, какие забытые в литературе имена воскрешались, какие стихи читались, какие истории рассказывались! Разумеется, мы частенько выпивали, а тут и песня могла зазвучать. Мустай Карим вдруг говорил: «Муса, дорогой, спой что-нибудь» — и Муса никогда не отказывался. Пел он задушевно, имел голос, знал множество татарских, башкирских, украинских песен. Мустай Карим и Муса Гали — оба фронтовики, и многие вечера неожиданно оказывались воспоминанием о войне.

Муса-ага в неполных восемнадцать лет был призван в армию, на фронт, с первых дней на передовой. Необученному худенькому деревенскому мальчику вручили тяжелое противотанковое ружье, с которым он прошел всю войну от начала до Победы. Он говорил: «Я знаю, у меня левое плечо от тяжести оружия деформировалось, оно заметно ниже правого, и время от времени ноет ночи напролет».

В той уже почти забытой войне были пять-семь грандиозных сражений, они все у нас на слуху. В их число входит и форсирование Днепра, обязательно надо добавить — его высокого берега. Немцы в 1943 году так его укрепили, что были уверены — Днепр форсировать невозможно, вся река, противоположный берег лежали внизу у них перед глазами, пристрелян был каждый квадрат, весь высокий берег — в бетоне, одни дзоты. Муса-абы форсировал Днепр на каком-то углу плотике все с тем же противотанковым ружьем, потеря которого неумолимо грозила расстрелом. Сколько полегло там его однополчан — не сосчитать, сотни, тысячи потонули, других разнесло в клочья от прямого попадания, вся река была красная от крови. Осталось от его огромной бригады несколько человек. Раненый, контуженный Муса Гали, не выпустивший из рук свое противотанковое ружье, с которым он сросся и спал в обнимку, одолел-таки неприступный берег. Наверное, с тех пор он полюбил Украину, Днепр. Как хорошо, что он не знает про нынешние отношения с Украиной!

Мусу Гали нельзя представить без Мустая Карима рядом или, наоборот, кому как удобнее, они были неразлучны как



братья. Они очень дополняли друг друга, понимали без слов, по взгляду, по жесту.

В начале рассказа я попытался дать портрет Мусы Гали — как выглядел он внешне, для подтверждения моих слов о неординарности его облика приведу пример из 1977 года. Однажды мы втроем возвращались с обеда через летний сад к себе в комнаты, нас догоняет известный детский писатель и не менее известный художник Юрий Коваль, он обращается к Мустаю-ага:

— Дорогой, пожалуйста, познакомь со своим другом, хочу написать его портрет, очень благородная, высокой духовности у него внешность, давно искал такую натуру.

Мустай-ага ответил что-то шутя, а настойчивый Коваль увел Мусу тут же к себе. Портрет получился, Коваль был человек известный, думаю, что этот портрет нашего друга Мусы Гали находится где-то в музее.

Хочется вспомнить какие-то детали из его жизни — Муса-агай имел прекрасный почерк, что редко бывает у пишущих людей. Он каллиграфически переписывал свои стихи. Жаль, в наше время не было таких роскошных книг для записи, в коже, с мелованной бумагой, какой красивый архив сложился бы! Раз или два мне удалось подарить ему красивые записные книги для стихов, одну из них с его записями я видел. Сегодня я рад, что сделал такой скромный подарок, ради красоты он специально переписал туда старые стихи.

Я состоял в долгой переписке с Мустаем Каримом и Мусой Гали, сейчас эти письма хранятся в моем Государственном музее у меня на родине в Мартуке, в Казахстане. Мы согласовывали в письмах наши встречи в Домах творчества, в Москве, в Уфе, у меня в Ташкенте, в Казани. К великой радости, сохранилось много совместных фотографий. Моя часть фотографий, оформленная в альбомах, представлена в моем музее — пришла и моя пора подводить итоги. На всякий случай, пусть знают потомки, что даже в Казахстане, в далеком Мартуке, есть материалы о двух выдающихся башкирских поэтах-фронтовиках.

В 1990-м году, после покушения в Ташкенте, я был вынужден эмигрировать в Россию. С 1990 по 1998 год я прожил с семьей в Доме творчества в Переделкино в комнате № 106. Все эти восемь лет мы встречались уже в Переделкино, потому что Малеевку быстро продали, и ее уже больше нет. В Переделкино



мы с женой Ириной всегда принимали Мустая Карима вместе с Мусой, они приезжали туда до последнего — пока могли, пока эти Дома еще сохраняли свое лицо. В эти годы к ним в компанию я приглашал Амирхана Еники, и наши разговоры наполнялись новыми событиями, фактами, судьбами, новыми красками. Мои знания о татарской и башкирской литературе, полученные из этих разговоров-бесед, равны институтскому курсу месте с аспирантурой.

В 1998 году мы купили в Москве квартиру, но, к сожалению, ни Мустай-ага, ни Муса-ага так ее и не увидели, хотя они очень за нас переживали, когда мы были «бездомными». Радовало их одно: что я стал чаще печататься в Казани, что у меня вышло несколько книг на татарском языке. Радовал их мой пятимиллионный тираж книг на русском языке, пять изданий собраний сочинений. Они верили в меня с первых шагов, и я счастлив, что оправдал надежды таких дорогих моему сердцу людей. В Казани есть немало моих недоброжелателей среди писателей, они злословят про меня — да он двадцать пять лет таскал чемоданы Мустаю Кариму и Мусе Гали. Неверно говорят. Мустая Карима и старая советская власть, и новая власть Башкортостана уважала, ценила всегда — его встречала машина у трапа самолета и отвозила куда надо. А Муса Гали всегда был рядом. Я горд дружбой и вниманием таких людей и, как мог, старался помочь им, хотел быть чем-то полезным. Общение с ними было для меня праздником души. Сегодня мне самому шестьдесят восемь, если бы они были живы, я бы снова с большим уважением и радостью ухаживал бы за ними, заваривал бы чай, выстуживал бы водку, накрывал столы. Мало кому выпало счастье быть с ними рядом на протяжении четверти века.

Я всегда вел дневники и когда-нибудь издам свои воспоминания, там будет многое о Мустае Кариме и его брате Мусе Гали.

И последнее, у кого есть случайные фотографии, интересные эпизоды о жизни этих людей, о Малеевке и Переделкино, пришлите мне по адресу: 107207, Москва, ул. Алтайская, 4-423 или по e-mail: mraul61@hotmail.com

*Москва,
2008*







Чингиз Ахмаров

Эссе

В конце двадцатого века с появлением больших надежд на суверенитет Татарстана резко обострился интерес татар к своей истории и культуре. Надо отдать должное журналистам и писателям, открывшим не только для татар, но и для всего мира, много неизвестных, а порою и незаслуженно забытых имен — ярких представителей нашего народа в бурное время прошедшего столетия. Сегодня благодаря роману Рината Мухамадиева «Мост над адом» мы знаем трагическую судьбу Мирсаида Султан-Галиева, знаем, что Александр Матросов — это Шакирджан Мухамеджанов, а легендарный генерал Карбышев — тоже сын татарского народа. Таких открытий много, но, уверен, мы еще не возвеличили имена всех достойных.

Хочется и мне внести свою лепту, рассказать широкому кругу читателей еще об одном замечательном сыне нашего народа, чей образ ассоциируется у меня с именами Рудольфа Нуриева, Чингиза Айтматова, Софии Губайдулиной, Ирека Мухамедова — именами, известными в мире. Мой герой также оставил заметный след в мировом искусстве и своим талантом внес огромный вклад в культуру братского нам мусульманского народа.



Размышляя об этом человеке, я вспомнил давний разговор с известным писателем фронтовиком Наби Даули, с которым познакомился и подружился в Ялте и до конца его жизни поддерживал с ним связь. Как-то, рассказывая мне о писателях, он с грустью произнёс запавшие в мою душу слова: «Кого из татарских писателей ни возьми, начиная с Габдуллы Тукая, почти у всех тяжелое детство, сиротство, безотцовщина. Нищая юность, ранний труд, ФЗУ, ПТУ, семилетки, техникумы, заочный институт в зрелом возрасте. А между этим — революции, раскулачивание, голод, чужбины, война, перестройки, перегибы — оттого восемьдесят процентов нашего народа рассеяно по свету. У меня у самого такая судьба», — закончил он тогда горестно.

Возразить нечего, могу лишь добавить, что у меня — такой же путь. Но я благодарен Наби Даули, он заставил меня иначе взглянуть на татарскую литературу и ее писателей. Теперь мне понятно, почему у нас жесткая, без сантиментов, без особых изысков романистика и вся проза.

К чему я это? Только к тому, что хочу оттенить жизнь своего героя, которому выпало счастливое детство, хотя в их семье было одиннадцать детей. Жизнь подарила ему удивительно светлое отрочество, юность среди образованнейших людей — людей, живших культурой, создававших культуру. Он получил прекрасное, многоступенчатое образование в крупных городах: Перми, Москве, Самарканде. С пятидесятих годов объездил весь мир. И вся его жизнь, проведенная в трудах, достойна восхищения и восторга.

Речь идет о крупнейшем художнике-монументалисте, художнике-портретисте, художнике-миниатюристе, профессоре, педагоге, воспитавшем сотни учеников, мастере, чьи фрески при жизни сравнивали с фресками Феофана Грека, Давида Сикейроса, Диего Ривьеры, Ороско, народном художнике Узбекистана и Татарстана, лауреате Сталинской премии первой степени 1948 года за оформление интерьеров Узбекского академического театра оперы и балета имени Навои, построенного по проекту академика Алексея Щусева. О человеке, оставившем в искусствоведении понятие «школа Ахмарова», что редко удавалось даже очень большим художникам.

Да, я хочу рассказать вам о Чингизе Габдурахмановиче Ахмарове, которого, конечно, знал лично.



Родился Чингиз Ахмаров 18 августа 1912 года в городе Троицке, это неподалеку от моих родных мест: Оренбурга, Актюбинска, на южном Урале. Город в ту пору больше чем наполовину состоял из мусульман: казахов, татар, башкир, узбеков. Мусульманская часть города имела восемь махаллей, в каждой из которой была своя мечеть, и каждая махалля называлась по имени имама. Та, в которой родился Чингиз-абы, носила имя муллы Абдурахмана Рахманкулова.

В семье Ахмаровых было одиннадцать детей, жили с ними и бабушки, и дедушки со стороны отца и матери. В архиве семьи сохранилось много прекрасных фотографий — несколько альбомов. Семья Ахмаровых, даже если бы в ней не появился такой знаменитый человек, как Чингиз-абы, все равно представляла бы огромный интерес для потомков, для нас с вами, историков, ученых, писателей. Потому что это была ярчайшая семья первой дореволюционной татарской интеллигенции, это были те, кто открывали школы, медресе, строили мечети, создавали библиотеки, типографии, издавали газеты — несли свет, просвещение в народ. Это не пустые слова, сказанному есть много письменных подтверждений, документов, фотографий, мемуаров членов этой славной семьи. В семье Ахмаровых высокая культура существовала уже в девятнадцатом веке, от деда Мифтахитдина потомкам досталась огромная библиотека, где было много рукописных и литографических книг, изданий на турецком и татарском языках, книг на азербайджанском и множество журналов. Чингиз с детства помнит журнал «Мулла Насреддин», он копировал оттуда рисунки, его сестры увлекались стихами, играли на пианино, ставили домашние спектакли, на которые приглашали гостей, организовывали в доме литературные вечера. Это было в традициях образованных татарских семей Троицка, как утверждает Чингиз-абы.

Отец его, Габдурахман-ходжи, служил поверенным в делах у богатого купца Гали Уразаева. По долгу службы он постоянно посещал Москву, Петербург, Казань, Оренбург, Нижний Новгород, страны Ближнего Востока и Саудовскую Аравию, Прибалтику, страны Восточной Европы. Во время своих поездок-путешествий он не только представлял интересы торгового дома Гали Уразаева, но и завязывал контакты с местной интеллигенцией, с деятелями культуры, интересовался



прогрессивными идеями, событиями в этих странах. Свои впечатления, взгляды того времени Габдурахман-ходжи изложил в рукописной книге «История семьи», которая, к счастью, сохранилась. Мать Чингиза Сохиба-апай ведет свое происхождение от знатного рода царедворцев, служивших золотоордынским ханам.

Семья Ахмаровых жила в большом собственном двухэтажном доме с садом, огородом, баней, сеновалом. Держали лошадей, коров, баранов. Был у них и фаэтон, летом на нем выезжали в загородный дом, находившийся в девяти километрах от города. А кругом — нетронутая природа, река, озера, пруды, лес, огромные непаханные поля. Позже, в шестидесятые годы, когда Чингиз станет известным художником и впервые увидит в Лувре картины Матисса, он полюбит их на всю жизнь. О Матиссе, его картинах Ахмаров говорил: это мое детство, моя природа, среди которой я вырос.

С четырех лет Чингиз начнет ходить в детский сад, что было крайне редко в ту пору, а с семи — пойдет в школу, где учились его старшие братья. Габдурахман-абы, хотя и был ходжи (человеком, совершившим паломничество в Мекку, и не однажды), стремился дать образование и своим дочерям — они учились в единственной школе в ауле Учбиби, а затем — в гимназии в Троицке, брали уроки музыки у одной знатной русской дамы на дому.

В рукописной книге отца Чингиза есть очень важные, на мой взгляд, строки о формировании его мировоззрения в молодые годы. Когда Габдурахман-абы служил в царской армии в Казанской школе фельдшером, он познакомился с еврейским юношей Меиром Швейером. По совету Швейера Ахмаров-старший стал читать книги и журналы: «Вестник Европы», «Русская мысль», «Русское богатство», романы Льва Толстого «Война и мир» и «Анна Каренина». В те годы в Казань впервые попадает и газета «Каспий», издававшаяся в Баку. В 1902 году Габдурахман-абы с единомышленниками организовал в Троицке общество для издания книг «Хызмат», а в 1909 году они же откроют первую школу для девочек из мусульманских семей.

Конечно, такой отец не пускал жизнь и образование своих детей на самотек. В домашней библиотеке кроме книг,



собранных дедом Мифтахитдином, имелось многотомное роскошное издание «Земля и люди» Элизе Реклю. Могу подтвердить — удивительное издание, я видел его в Ташкенте в 1968 году в доме одного страстного библиофила. Книгу «Земля и люди» прекрасно проиллюстрировали известные художники своего времени, что оказалось чрезвычайно важным для рано проявившегося у Чингиза таланта рисовальщика. Отдельный запиравшийся шкаф красного дерева целиком был заставлен энциклопедией Брокгауза-Ефрона, Габдурахман-абы привез ее из Петербурга. Вот к энциклопедии имелся доступ только по разрешению отца.

В шесть лет Чингизу подарили книгу Гауфа «Маленький Мук» с иллюстрациями Дмитрия Митрохина. Рисунки Митрохина определили жизненный выбор мальчика — обязательно стать художником. Ровно через шестьдесят лет в Москве на собрании художников Чингиз-абы оказался рядом с этим замечательным иллюстратором. Во время всего собрания Чингиз-абы порывался обратиться к своему кумиру детских лет, но так и не решился, о чем жалел всю жизнь. Мне эта ситуация очень понятна, Чингиз-абы был необыкновенно мягкий, скромный, тактичный человек.

Интересны записи отца Чингиза Габдурахмана-ходжи об общественной жизни Троицка в начале прошлого века. Габдурахман-абы утверждает, что мусульманская общественность города резко делилась на две группы: «старометодных» и «джадидов». Джадиды группировались вокруг библиотек «Джамиати хайри» — «Общество благотворительности» и «Нажот» — «Помощь». Габдурахман-ходжи отмечает, что крупные землевладельцы, богатые купцы, в основном были на стороне джадидов. Большинство троицких джадидов были сторонниками изучения культуры народов Европы, по современным понятиям — были западниками.

В 1925 году, когда Чингиз учился в пятом классе, в Троицк с инспекцией приезжает из Москвы заведующий отделом школ восточных народов Комиссариата просвещения Хабиб Зайниага Халилов, до революции окончивший Стамбульский университет. Чингиз, к тому времени не выпускавший из рук карандаш, нарисует портрет инспектора. Рисунок настолько понравится гостю, что он захочет немедленно забрать мальчика с собой



в Москву. В столице в ту пору открылись десятки художественных школ, вспомните знаменитый ВХУТЕМАС. Но родители не решились отпустить сына одного в далекую Москву.

В 1927 году после окончания Чингизом начальной школы его приглашают в Пермское художественное училище — оказывается, инспекторы народных школ давно обратили внимание на талантливого мальчика из Троицка. Молодая советская страна, в которой только закончилась гражданская война, понимала необходимость образования для народа. На экзамене в училище в Перми Чингиз сделает рисунки к басне И. А. Крылова «Ворона и Лисица» и станет студентом.

В том же году врачи рекомендуют отцу Чингиза из-за состояния здоровья сменить климат, и семья переезжает в Узбекистан — сначала в Карши, а затем в Самарканд, куда Габдурахман-ходжи приезжал и раньше, и где у него было много знакомых среди татар — торговцев, бывших джаидов.

Во время учебы в Перми молодой художник часто посещал Театр оперы и балета, который считался одним из крупнейших в России. Помните, в 70-е годы там блистала несравненная Надежда Павлова и сложилась выдающаяся балетная труппа, которая с триумфом объездила весь мир. Вот тебе и Пермь! Из опер, которые Чингиз прослушал, самое большое впечатление на него окажет «Дубровский» композитора Направника. И понятно, в юности героические образы, такие как Дубровский, люди, отстаивавшие честь, правду, производят сильное впечатление. Однажды в Пермь приехал на свой литературный вечер Владимир Маяковский. Можете представить, что творилось в городе! Но наш герой попал на эту незабываемую встречу и помнит ее в мельчайших деталях.

Во время учебы, на каникулах, Чингиз всегда возвращался к родителям в Узбекистан. Впервые он приехал в Карши, когда там еще продолжалась борьба с басмачами. В Узбекистане ему сразу понравился журнал «Янги юль» — «Новый путь», где печатали много рисунков современных художников. Новый край, выбранный отцом для жизни семьи, открыл юному художнику иные краски, иные горизонты, и он, как всегда, много рисовал. Однажды, отобрав три лучшие работы, отправил их в любимый журнал. Ответ очень огорчил юного художника — ему сообщили, что журнал печатает только оригинальные



авторские рисунки, а копиям у них нет места. Письмо подписал известный художник Усто Мумин (Александр Николаев).

Павел Беньков, Усто Мумин, Александр Волков оставили ярчайший след в узбекской живописи. Сегодня их произведения можно встретить в крупнейших музеях мира, известных коллекциях и на престижных аукционах. Много лет спустя, когда Усто Мумин и Чингиз Ахмаров вместе будут работать в газете «Кызыл Узбекистон», он сразу спросит у старшего коллеги — почему тот принял его рисунки за копии? Усто Мумин, помнивший тот давний случай, ответил: мы не поверили, что в такой далекой провинции, как Кашкадарья, может найтись художник, способный сделать такие прекрасные оригинальные работы. Чингизу в ту пору, когда он нарисовал эти картины, было всего шестнадцать лет.

В 1931 году Чингиз Ахмаров оканчивает Пермское художественное училище, его дипломной работой были декорации к трагедии Ф. Шиллера «Коварство и любовь» в городском Театре драмы. Это произведение стало заметным событием в художественной жизни театра, и молодого художника начали приглашать на работу в разные заманчивые места. Но он, девятнадцатилетний домашний юноша, еще крепко привязанный к своей большой и дружной семье, рвется домой. Семья к тому времени жила в Самарканде, и Чингиз уже дважды успел побывать там на каникулах. Сказать, что он с первого взгляда влюбился в Самарканд, значит — ничего не сказать. Самарканд вошел в его душу, в его сердце, словно Чингиз там родился, он стал его родным городом. Самарканд даже снился ему в холодной Перми. И летом 1931 года, получив диплом, он возвращается в семью, в любимый Самарканд, к мавзолею Тимура, к Гур - Эмиру.

В 30-е годы прошлого столетия появился нашумевший роман Александра Неверова «Ташкент — город хлебный». Книга выдержала больше пятидесяти изданий и долгие годы была настоящим бестселлером. Из этого романа миллионы людей узнали о благодатном Узбекистане, его прекрасных городах — Бухаре, Самарканде, Хиве, Коканде, о щедрости и толерантности узбеков. Русских художников со времен генерала Скобелева привлекал Восток, Средняя Азия. Большую лепту в популяризацию края внес и великий русский художник В. Верещагин, чьи



картины не найдешь даже на «Сотби» или «Кристи», они — достояние России. Живописцы — народ, легкий на подъем, и в Самарканде тех лет проживала большая колония художников со всей России. Разные это были люди, и по-разному они оказались в этих краях, их привлекали возможность круглый год писать на природе и, конечно, баснословная дешевизна жизни. Жили они, а точнее, ютились где попало, большинство из них занимали крошечные кельи послушников в закрытых медресе, коих в Самарканде имелось множество, город до революции был одним из духовных центров мусульманского мира. Удивительное время, романтическое и жестокое одновременно, но странно — власть с пиететом относилась к людям искусства: поэтам, артистам, музыкантам, художникам. Оборванные, полуголодные, почти нищие люди ни перед кем не заискивали, они знали свое место в жизни, а иные, большинство, замахивались и на место в истории. В Самарканде с древних времен проживало много армян, были среди них и художники: Варшан Еремян, Оганес Татевосян, Рубен Акбольян, Микаэл Калантаров, все они прекрасно говорили и на фарси, и на узбекском, кстати, Чингиз быстро одолел эти языки.

Накануне возвращения Ахмарова в Самарканд там открылся художественный техникум, который возглавили Павел Беньков и Зинаида Ковалевская, а преподавали в нем художники, имевшие академическое образование, в основном петербуржцы и москвичи. Быстро найдет работу и молодой Чингиз, он станет вести в школе черчение и рисование. Но скоро художники Самарканда объединятся в большую артель «Изофабрика», возглавит ее Оганес Татевосян. Советская власть придавала исключительное значение наглядной агитации и пропаганде, и художникам работы хватало. Чингиза тянуло в «Изофабрику», и, собрав свои работы, он идет к Оганесу Татевосяну и в тот же день получает заказ. Забегая вперед, скажем, что у него с Татевосяном завяжется дружба на всю жизнь.

Ахмаров быстро вписался в мир самаркандских художников и оказался самым молодым из них. Чингиз тянулся и к коллегам по «Изофабрике», и к вольным художникам, особенно тем, кто преподавал в художественном техникуме. Он любил посещать там лекции по истории искусства. Видя, как стремится к знаниям молодой человек, бывалые коллеги открывали перед



Чингизом таинственный мир больших художников. Жили в Самарканде и художники, раньше бывавшие в Париже, путешествовавшие по Италии, видевшие знаменитые музеи мира: Лувр, Прадо, Уффици. Чем больше Чингиз узнавал, тем больше чувствовал недостаток своего образования, знаний, воздуха культуры, больших музеев. Ему становится тесно в Самарканде, он рвется в большой мир, в большое искусство.

В мае 1934 года, после окончания занятий в школе, Ахмаров отправляется в Ташкент познакомиться со столичными коллегами и показать им свои работы. К его удивлению, приняли его радушно, Усто Мумин и Алексей Глоссер рекомендовали Чингиза на работу штатным художником сразу в две газеты: «Колхозный путь» и «Юный ленинец», что позволило ему поселиться в общежитии для творческих работников. Уезжая в Ташкент, он получил от самаркандской художницы Елены Коравай рекомендательное письмо директору «Узгосиздата» известному книжному графику Искандеру Икрамову. Показав свои работы Искандеру-ака, Чингиз неожиданно для себя получил заказ на оформление книг писателей Гайрати, Шакира Сулеймана и двух книг для детей с народными сказками.

В ту пору книги без иллюстраций не выходили, и я застал это время, мои первые книги все иллюстрированы.

Работа в издательстве сблизила Ахмарова с писателями: Абдуллою Каххаром, Зульфией, Парда Турсуном, Гафуром Гулямом, драматургом Умаром Исмаиловым, с поэтом Максудом Шейхзаде. Шейхзаде прибыл в Ташкент из Баку недавно, и у него еще чувствовался азербайджанский акцент. Максуд Шейхзаде быстро станет одним из ярчайших поэтов Узбекистана, классиком узбекской литературы.

Работа в газетах и журналах сблизит Ахмарова и с художниками: Усто Мумином, Борисом Жуковым, Уралом Тансыкбаевым, Александром Волковым. Чингизу в ту пору всего двадцать два года, общение с такими образованными, интересными людьми формирует его вкусы, привязанности, культуру, мировоззрение. Чем больше он общается с писателями, художниками, театральными деятелями, артистами, кинорежиссерами, тем острее чувствует недостаток своего образования, уость своей культуры. Чувствует гораздо острее, чем в Самарканде, когда покидал его по той же причине. В нем



опять срывает присущий ему максимализм — быть на равных с людьми, с которыми выпала судьба быть рядом. Девять из десяти молодых художников, попав в желанную среду, общаясь с культурной элитой столицы, имея работу, заказы, став завсегдатаем кулис почти всех театров столицы, никогда бы и не подумали стремиться еще куда-то, снова учиться и снова начинать все с начала. Но молодой Ахмаров хотел найти свое истинное место в искусстве.

Он уже общался с Халимой Насыровой, актрисой и певицей, народной артисткой СССР, с Каримом Закировым, своим ровесником Шукуром Бурхановым — несравненным Отелло на советской сцене, с Абдулхаком Абдуллаевым. Знал Манона Уйгура, Камиля Яшена и Сару Ишантураеву, бывал у них дома. В эти годы у него завяжется дружба на долгие годы с Максудом Шейхзаде.

В 1935 году Чингиз твердо решает поступить в Художественный институт в Ленинграде и посылает туда документы и конкурсные работы. Но ответ задерживается, и он сам отправляется на берега Невы. Однако в Ленинграде Ахмарова ждало разочарование: его не приняли — слишком велик был конкурс, и за каждым из абитуриентов стояли известные художники и их ходатайства. Удар оказался жестоким, но Чингиз не сдался. Он поехал в Москву со своими отвергнутыми работами и направился к художникам Льву Бруни и Владимиру Фаворскому, о которых был много наслышан в Самарканде и Ташкенте. Приняли любезно, посмотрели работы и посоветовали сдать документы в Изоинститут, где в то время был только один факультет графики, который сам В. Фаворский, основоположник оформления советской книги, и возглавлял. Так, в одночасье, решилась мечта молодого художника об образовании в столице. В двадцать три года на целых семь лет — институт, аспирантура — он станет москвичом.

В Москве Чингиз с радостью окунулся в культурную жизнь столицы — он посещает музеи, выставки, театры и столь популярные в те годы литературные и поэтические вечера. В театре Мейерхольда ему понравится спектакль «Дама с камелиями», где играла Зинаида Райх, первая жена Сергея Есенина. Ахмаров очень радовался, что попал на этот спектакль, потому что буквально на другой день Мейерхольда арестовали,



а театр закрыли. В Театре Революции (теперь Театр имени В. Маяковского) он попал на вечер, в котором принимал участие Борис Пастернак, читавший свои стихи нараспев. Запомнилась ему и Вера Инбер, очень популярная в те годы, она в первый раз читала юмористическую поэму «У сороконожки народились крошки».

В ИЗОинституте, через три года переименованном в институт имени Сурикова, как мы уже упоминали, был только один факультет графики, на который поступил наш герой. Но в 1938 году, когда Чингиз учился уже на третьем курсе, институт возглавил академик Игорь Грабарь, большой художник, ученый, обладавший организаторскими способностями и деловой хваткой.

С приходом И. Грабаря в Суриковском институте начнутся радикальные перемены, откроется ликвидированный ранее факультет живописи и культуры. Ахмаров, которого привлекали живопись и монументальное искусство, переводится на факультет живописи, в мастерскую Петра Покаржевского. Переход с курса на курс ему не разрешили, пришлось возвращаться на второй, но он об этом никогда не жалел. На пятом курсе Ахмаров переходит в мастерскую монументального искусства, которой руководят сам академик Игорь Грабарь и профессор Николай Чернышов. Приоткроем тайну — Чингиз станет любимым учеником Игоря Грабаря.

Летом 1941 года институт организовал поездку студентов в Новгород, чтобы они смогли увидеть шедевры русского монументального искусства, посмотрели на удивительные фрески Софийского собора и Ферапонтова монастыря. Когда они возвращались в Москву, в поезде объявили, что началась война. Уже в июле студентов отправят в город Вязьму, под Смоленск, строить оборонительные сооружения и копать противотанковые рвы. Почти все студенты, включая Чингиза, рвались на фронт. Но неожиданно институт в сентябре срочно эвакуируют в... Самарканд. Судьба возвращает Чингиза на круги своя.

Сегодня, в XXI веке, меня, прожившего долгую жизнь, удивляет мощь советского государства даже в войну. Только в Самарканд эвакуировали тысячи студентов, сотни профессоров, десятки институтов из Москвы, Ленинграда, Харькова, Киева. Перевезли десятки заводов и фабрик вместе с нужными



рабочими, и все это заработало в полную мощь через несколько месяцев. Катастрофически не хватало помещений, аудитории располагались даже в чайханах.

Здесь, в Самарканде, в 1942 году Ахмаров делает свою дипломную работу — триптих «Меч Узбекистана», сложное многофигурное монументальное полотно. Из шестидесяти дипломников десять суриковцев защитятся на «отлично», среди них будет и наш герой, все будут зачислены в аспирантуру института и продолжат учебу. К тому времени немцев отогнали от Москвы, и институт уже в 1943 году первым среди вузов вернулся в столицу. В этом возвращении ярко проявится организаторский талант академика И. Грабаря. В те годы студенты, аспиранты делали дипломные работы не на склад, не формально, а для оформления конкретных зданий, театральных спектаклей. Вспомните дипломную работу девятнадцатилетнего Ахмарова в Перми, она предназначалась для премьерного спектакля по Ф. Шиллеру «Коварство и любовь» в городском театре. И в аспирантуре работа Ахмарова предназначалась для музея Алишера Навои, который еще только предполагалось построить в Ташкенте.

Неожиданно И. Грабаря и Н. Чернышова отстраняют от руководства институтом имени Сурикова, увольняют и нескольких видных профессоров, сторонников опального ректора. Но академик Грабарь, даже отстраненный от института, продолжает руководить дипломной работой своего талантливого аспиранта. Грабарь в те годы тесно общался с талантливейшим архитектором Алексеем Щусевым, которому было поручено спроектировать Театр оперы и балета имени Алишера Навои для столицы Узбекистана. Зная в деталях, как будут расписаны интерьеры фойе театра, Грабарь предложит Щусеву посмотреть работы своего аспиранта. Ахмаров, влюбленный в поэзию Алишера Навои, обрадовался шансу получить работу на таком престижном объекте и поспешил к архитектору со своими работами. Щусев сразу поймет, что ему необходим именно этот художник, и после согласования с правительством Узбекистана Ахмаров получит заказ на композиции по произведениям Алишера Навои для фойе первого и второго этажей театра.

Огромные площади — огромная работа. Ахмаров прерывает аспирантуру в Москве и в 1944 году возвращается в Ташкент.



Еще шла война, а в столице Узбекистана полным ходом продвигалось строительство невиданного в этих краях по масштабу и красоте театра. Забегая вперед, скажем, что театр, построенный академиком А. Щусевым, стал заметным явлением и в мировой архитектуре, он по праву считается одним из шедевров оперных сцен. Работали круглые сутки: строители, мастера декора, резчики по дереву, по мрамору, художники. В строительстве участвовало много пленных японцев. Работа была выполнена за три года, с августа 1944-го по ноябрь 1947-го. За грандиозную выдающуюся работу Чингихз Ахмаров в 1948 году был удостоен Сталинской премии 1-й степени, лауреату исполнилось в ту пору только тридцать пять лет. Жизнь складывалась удачно.

Итак, 1949 год, молодой сталинский лауреат берет академический отпуск в аспирантуре и остается в Ташкенте. Планов, проектов, замыслов, предложений — множество. Казалось, перед ним открыты все двери, сталинских лауреатов в Ташкенте в ту пору было мало. Припоминаю только легендарного Сергея Бородина, в 1942 году он выпустил культовую для русского духа книгу «Дмитрий Донской» и был тоже награжден Сталинской премией. К сожалению, до сих пор мало кто знает, что Сергей Бородин — нижегородский татарин. В Ташкенте умеют ценить таланты, лет тридцать назад открыли прекрасный музей Сергея Бородина, которым до сих пор заведует вдова писателя Рауза-апай. Но высокая премия только осложнила жизнь Ахмарова в Ташкенте. Среди коллег-художников, особенно старшего поколения, оказалось много завистников, имевших кое-какие заслуги, но далеких от вождя Сталинской премии. Счеты сводили на идеологической почве — вариант беспроигрышный. Ахмаров никогда не скрывал, что ему дороги эстетические принципы восточной художественной культуры, литературы, поэзии, живописи. Он знал наизусть восточные легенды, поэмы Хайяма, Амира Хосрова Дехлеви, Рудаки, Хафиза. Знал десятки сказок, дастанов, любил поэтические образы влюбленных, музицирующих и танцующих стройных красавиц, образы поэтов, мудрецов, кравчих, да и самих великих ханов. Эти образы обогащались художником духовной красотой и выразительностью. Некоторым коллегам такая тяга к прошлому, к истории Востока, поэтизации придворных поэтов, красавиц, мудрецов казалась антипартийной, буржуазной. Некоторые



пошли дальше, назвали творчество Ахмарова пропагандой чуждой, враждебной эстетики, прославлением феодально-байских пережитков. Такие обвинения, в традициях 1937 года, в ту пору сломали не одну судьбу. Особенно усердствовали старшие коллеги В. Кайдалов и И. Уфимцев. Они неоднократно говорили на собраниях и писали в прессе об ошибочном пути, избранном молодым художником Ахмаровым. Писали жалобы и в Москву. В то время Союз художников Узбекистана имел в своих рядах мало местных художников, в основном работали выходцы из России и те, кто остался после эвакуации, уж очень им понравился Ташкент. Понимания и поддержки в Союзе художников Ахмаров, конечно, не нашел. Не заладились и отношения в семье, он был женат на художнице Шамси Хасановой.

Нужно отметить, что в эти трудные годы он плодотворно поработает для кино, создаст более пятидесяти эскизов костюмов для фильма «Поэма двух сердец» Камиля Ярматова. Эта работа станет образцом для молодой киностудии.

Чтобы не обострять отношений с Союзом художников, Ахмаров решает вернуться в Москву. Появился и весомый повод, он получил персональное приглашение из Союза художников СССР на оформление станций московского метро. Он был уже хорошо известен в Москве. В 1953 году Ахмаров возвращается в столицу и на этот раз живет в Белокаменной восемь лет.

В Москве Ахмаров неистово отдается работе. Его приглашают преподавать в нескольких вузах, и он с удовольствием передает свои опыт и знания молодым. Здесь вокруг Ахмарова сложится творческий коллектив: И. Вайман, В. Гаврилов, В. Иорданский, В. Коновалов, А. Мизин, И. Шилова. Они создают мозаичные панно и фрески для интерьеров московского метро, известных гостиниц, санаториев, курортов, Домов культуры, театров.

В 1955 году Ахмаров неожиданно получает важный для него заказ на авторскую работу — единолично оформить интерьеры здания Театра оперы и балета в Казани. Эта огромная и по объему, и по творческим замыслам работа займет у Ахмарова более двух лет.

Тут я должен сделать небольшое отступление. Ахмаров, выросший в образцовой татарской семье, где был культ татарской



литературы, где читали, думали, говорили на татарском, не мог не думать о своем творческом пути в Казани. Наверняка и в семье его ориентировали на Казань. Отец его, Габдурахман-ходжи, служил там в армии, и позже, работая у Гали Уразаева, часто бывал по делам в Казани. Тогда, в начале двадцатого века, да и сейчас в сердце каждого татарина жила и живет надежда послужить Казани, своему народу. Бытовала и семейная легенда, что родители Чингиза в молодости встречались с юным Тукаем.

К чему я это? В ранних дневниках и письмах Чингиза Ахмарова несколько раз встречается фраза, кричащая о боли: «Казань чужих не любит». Эта фраза обожгла меня как кипятком — через пятьдесят лет я сам скажу от отчаяния те же слова. И добавлю еще от себя, что поговорка «Иван, не помнящий родства» — не русская, а глубоко татарская. Наверняка молодой Ахмаров делал и раньше неудачные попытки закрепиться в Казани. От неудач, равнодушия Казани, думаю, и родилась эта выстраданная строка об отношении к чужим.

Но вернемся в 1955 год к нашему герою, восстановим события. Жаль, нет возможности узнать ответ напрямую от самого Чингиза-абы. Заказ очень обрадовал художника — почему? Ведь без работы он никогда не был, его талант всюду был востребован. Из Ташкента он уехал по серьезным причинам, идеологические разногласия в искусстве трудно сгладить, у руля Союза художников в Ташкенте оставались те же люди, его оппоненты. Ахмаров мог считать, что дорога туда закрыта навсегда. Семья распалась, он был холост. В Москве, несмотря на заслуги, он не имел жилья, в Масловке занимал очень маленькую узкую комнату с одним окном в общежитии. Жил по-спартански: казенная железная кровать, самодельная тумбочка и две табуретки. Даже эскизы держал на первом этаже в чужом чулане. Было ему в ту пору сорок три года, немало. А тут заказ на годы, и не где-нибудь, а в Казани. Разве у него, бездомного, одинокого, не могли возникнуть мысли, что этот заказ ему послал Аллах и в Казани он найдет жизненное прибежище? Оттого в оформлении казанского театра он вложит всю свою душу, весь талант, надеясь, на то, что его заметят, оценят, что-нибудь предложат. Не оценили, ничего не предложили, вот и вторая версия горького вывода о Казани.



Тут уместны две параллели. Я как-то написал о равнодушии чиновников от культуры М. Ш. Шаймиеву: «Если бы сегодня был жив Нуриев, и он попытался бы устроиться в театр, тот самый, оформленный Чингизом Ахмаровым, его бы и в кордебалет не взяли. Сказали бы — у нас своих, казанских, хватает».

Очень важная и болезненная тема, приведу еще одну параллель. Я очень часто радуюсь, что мать Чингиза Айтматова в 1938 году, после расстрела мужа, не вернулась с детьми в Татарстан. А ведь могла, у нее оставалась там родня. Какое счастье, что она не вернулась! Вернись — не было бы никакого всемирно известного писателя, прославившего страну, народ. Почему? Потому что Айтматов писал на русском языке. А в Татарстане писатель, даже татарин, пишущий о татарах по-русски — второсортный человек. Мучился бы Айтматов, как Диас Валиев, Рустем Кутуй, ждал бы, как и я, двадцать шесть лет книгу, вышедшую на татарском языке, хотя мои книги о татарах изданы миллионными тиражами. Не выпала судьба Чингизу Ахмарову жить в Казани, наверное, в этом и его счастье, он реализуется в другом народе, в другой столице.

В 1961 году судьба Ахмарова резко меняется. За те семь лет, что он не был в Ташкенте, там происходят грандиозные перемены и в культурной жизни тоже. Возрастает роль Министерства культуры, Союза писателей, складывается мощная национальная культурная среда. В Союзе художников появляются люди, влюбленные в искусство своего народа и понимающие в этом деле толк. Одним из таких людей был Искандер Икрамов, председатель Союза художников, он хорошо понимал значение творчества Ахмарова для республики. Икрамов лично едет в Москву и возвращается в Ташкент поездом вместе с Ахмаровым. В долгой трехдневной дороге в вагоне «СВ» они будут говорить только об искусстве и читать друг другу строки Алишера Навои.

Ахмарову уже почти пятьдесят. В Ташкенте сразу решаются все бытовые проблемы, получает он и мастерскую. Происходит новый, невиданный взлет творчества Ахмарова, окрыленного вниманием, заботой, возвращением в родные края. Ренессанс, да и только, откуда фантазия и силы взялись!

Он делает серию монументально-декоративных работ для музея Улугбека, росписи в вестибюле Института востоковедения имени Бируни. Отделяет здание музея Навои в Ташкенте,



банкетный зал ресторана «Юлдуз» в Самарканде. Оформляет санаторий «Узбекистан» в Сочи, интерьеры станции «Алишера Навои» для ташкентского метро. Даже успевает сделать росписи в кафе в Красноярске — дар Узбекистана сибирякам. В эти годы он еще и преподает в ташкентских художественных институтах, а в 1964 году вернется к книжной графике и оформит «Кашмирскую легенду» Шарафа Рашидова.

К Ахмарову приходят слава, почет, уважение. В 1964 году он становится народным художником Узбекистана, а в 1967 году получает Государственную премию имени Хамзы. Новая власть Узбекистана наградит его высшим орденом страны «За заслуги перед Отечеством».

После возвращения в Ташкент Ахмаров много путешествует по миру, объездит почти всю Европу, Египет, Турцию, Индонезию, Цейлон. Наконец-то он познакомится в музеях Парижа с картинами своего любимого художника Вермеера. В 70-е годы у него будут персональные выставки за рубежом, наладятся личные отношения с некоторыми крупными художниками мира, со многими из них он будет состоять в личной переписке, сможет принимать их в родном Ташкенте.

Познакомился я с Чингизом Ахмаровым в конце 70-х годов прошлого века в издательстве имени Гафура Гуляма. У меня выходила там очередная книга, а у него — новый роскошный художественный альбом, он курировал также выпуск знаменитой восточной серии поэзии, которую иллюстрировал вместе со своими учениками. Когда он появлялся в издательстве, его вмиг окружала молодежь, а девушки просто льнули к нему. Ахмарову было далеко за шестьдесят, одет он был во все белое, и сам — совершенно седой, стройный, элегантный, улыбчивый. Ему нравились внимание, восторг молодежи, видимо, именно такой он видел свою старость в юности. Однажды мой товарищ, молодой писатель Хайретдин Султанов, представил меня мэтру — знакомьтесь, очень талантливый юноша, тоже татарин, родом из ваших мест. Чингиз-абы улыбнулся, пожал мне руку и сказал: «Я уже знаю о вас».

Мне было известно, что он поддерживал связь с Аскадом Мухтаром и Зиннатом Фатхуллиным, классиками узбекской литературы, они тоже были татарами. Наверное, они рассказывали ему обо мне.



Заканчивая рассказ о Чингизе Ахмарове, никак нельзя обойти вниманием его близкого друга и коллегу Рафаэля Такташа. Да-да, сына нашего классика Хади Такташа. Почему? Рафаэль Такташ, на мой взгляд, дважды значительно повлиял на непростую судьбу Ахмарова. Я уверен, что к возвращению Ахмарова в 1961 году в Ташкент он, любивший и хорошо знавший творчество художника, имеет непосредственное отношение. Познакомились они в 1949 году в Москве, когда Такташ учился на первом курсе Суриковского института, который окончил и наш герой. Такташ окончил, как и Ахмаров, там же аспирантуру. И в Ташкенте, и в Москве их пути часто пересекались, Такташ сам был художником и показывал свои работы мэтру. Ахмаров ценил поэзию отца Рафаэля Такташа и часто цитировал его стихи. Такташ быстро стал заметным искусствоведам, специалистом по узбекской живописи. В Ташкенте он станет доктором наук, известным педагогом в творческих вузах. А главное для подтверждения нашего предположения то, что он был в дружеских отношениях с Шарафом Рашидовым, о чем мало кто знал. Рашидов высоко ценил Такташа и всячески его поддерживал. В опальные годы Ахмарова, когда тот жил в Москве, Такташ не однажды встречался с художником, бывал у него в общежитии в Масловке и искренне горевал по поводу неустроенного быта крупного мастера. Убежден, что он не раз и не два говорил Рашидову о своем друге, и триумфальное возвращение Ахмарова в Ташкент — результат ходатайствований Такташа перед Рашидовым. Рафаэль-абы, как и его друг, был человек скромный и прямо об этом не говорил, но я читаю об этой поддержке между строк его воспоминаний об Ахмарове. У меня нет сомнений, что именно Такташ, с его уверенностью в огромном таланте друга, помог Ахмарову вернуться в Ташкент и занять достойное место в культуре узбекского народа. Еще одна не менее важная заслуга Такташа в том, что он, хоть и запоздало, перед самой смертью Ахмарова сумел соединить художника с его исторической родиной — Татарстаном.

Я не открою секрета, Такташ тоже не был доволен отношением к нему Казани. На каком-то этапе жизни он мог бы и сам переехать в Казань. Искусствоведом и педагогом он был замечательным, но его никто в столицу Татарстана не звал. Хотя десятки татарских писателей, деятелей культуры, бывая



в Ташкенте, всегда встречались с ним, и он любезно всех при-вечал, показывал Ташкент, помогал в делах, щедро принимал, но никто за него в Казани не хлопотал.

Мягкий по натуре, но твердый по своим убеждениям, Рафаэль-абы дошел до М.Ш. Шаймиева, сумел убедить его в значении Ахмарова в мировом искусстве. Благодаря прозорливости М.Ш. Шаймиева за год до смерти Ахмаров все-таки был признан татарским художником, получил звание народного художника Татарстана. Восьмидесятилетний Ахмаров, плохо видевший и уже почти не слышавший, будет приглашен на первый Всемирный конгресс татар. В эти же дни состоится первая в его долгой жизни выставка в Татарстане, правда, она будет только для гостей конгресса. Чингиз Ахмаров щедро отблагодарит Казань, передаст в дар музеям города много своих работ.

Удивительная, прямо-таки мистическая вещь, не единожды в судьбу художника счастливо вмешается высшая власть, в первом случае — Шараф Рашидов, во втором — Минтимер Шаймиев, и оба раза с подачи незабвенного Рафаэля-абы Такташа.

Третий случай связан с президентом Узбекистана Исламом Абдуганиевичем Каримовым. Государственные похороны на закрытом еще в 60-е годы мемориальном кладбище «Чиготай», да еще рядом с женой Шамси Хасановой, без ведома и одобрения первых лиц не делаются. Отмеченный на правительственном уровне в 2007 году 95-летний юбилей со дня рождения Чингиза Ахмарова и выпуск Гульнарой Каримовой к этой дате роскошной книги воспоминаний художника — все говорит о любви и уважении президента к самому художнику и его творчеству. В этой статье я упомянул, что Ахмаров считал Самарканд родным городом и много сделал для него на века. Ислам Абдуганиевич — сам самаркандец, конечно, прекрасно знал об этом с детства, а, может, их судьбы или судьбы их родителей пересекались когда-то по-доброму. Деяния Всевышнего неисповедимы, не будем гадать. В последний путь Чингиза Ахмарова отправили с большими почестями, как великого сына узбекского народа. И дар Чингиза Ахмарова Татарстану — это не только личный дар художника, это щедрый дар узбекского народа и его властей. Ни одна страна не выпустит из рук наследие художника, почитаемое как национальное достояние, а картины Ахмарова



такowymi и являются. Его творчество неразрывно связано с этой землей, именно с узбекским искусством и никаким другим. Поделиться таким заметным наследием, уважить просьбу престарелого художника — тоже может только глава государства. В этом широком жесте ярко проявились щедрость народа и его Президента. Спасибо Вам, Ислам Абдуганиевич!

Такташ так и умер в Ташкенте, не востребованный Казанью, как и его друг Ахмаров.

Умер Чингиз Ахмаров 13 марта 1995 года на 83-м году жизни. На могиле поставили прекрасный памятник работы скульптора Таджиходжаева, похороны были многолюдны. Хочется привести несколько слов, сказанных Гульнаррой Каримовой, выпустившей книгу воспоминаний художника: «Обаяние искусства Чингиза Ахмарова не объяснить только поэтическими образами, он создал свой художественный мир красоты и поэзии. Изданием этой книги воспоминаний художника хотим показать, что по-настоящему талантливые люди, которые с полной самоотдачей и любовью обогащают национальную культуру своими произведениями, своими творческими откровениями и мыслями, не будут оставаться в неизвестности. Мы помним их, и мы благодарны им за их мастерство».

Узбекистан оценил великого мастера Чингиза Ахмарова и отдал ему должное.

Уже совсем скоро — столетие со дня рождения великого художника, хочется, чтобы вспомнили его и в Татарстане. Он всегда хотел служить своему народу, но — не вышло, не позвали.

*Москва,
2009*







Неувядаемые «Белые цветы» (памяти А.С. Абсалямова)

К концу 20 века татарская литература обрела определенную значимость и вес в нашей стране, и, если бы не развал СССР, то сегодня, вероятно, она оказалась бы одной из интереснейших литератур среди народов, живущих на постсоветском пространстве. Развал СССР, с одной стороны, лишил ее огромной аудитории, где выписывали татарские журналы, читали татарские книги — ведь и миллионы татар живут вне Татарстана.

Раньше журналы «Казан Утлары», «АзатХатын», «Чаян» выписывали в Прибалтике и на Кавказе, Средней Азии и в Казахстане, на Украине и в Белоруссии, и в самой России — от Калининграда до Владивостока. Рухнула повсюду единая книготорговая сеть, и все татарские журналы и книги оказались адресованными только жителям Татарстана. Оттого, моментально упали тиражи газет, журналов, книг. Как ни странно, больше всех пострадала литература на русском языке. На нет сошли абсолютно все ведущие «толстые» журналы не только в Москве, но и по всей России, даже нет нужды их перечислять. Но в Татарстане, в то же время, сложилась парадоксальная ситуация: потеряв тиражи, журналы не исчезли как в Москве, а зажили новой жизнью, резко улучшив полиграфию. Сегодня любой татарский журнал или книга в полиграфическом исполнении вызывает восхищение.

Появился полиграфический центр «Идель-Пресс», оснащенный новейшим оборудованием и передовыми технологиями, и он один обслуживает все потребности Татарстана. Журналы



и книги издаются на первосортной бумаге, об этом в советское время даже мечтать не могли. На фоне закрытия повсюду в России печатных изданий в Татарстане произошел всплеск выхода новых газет и журналов: «Мирас», «Идель» на русском и татарском языках, «Майдан», «Татарстан», «Казанский альманах», «Казань», несколько детских и женских журналов, издания, посвященные исламу. На зависть российским писателям, татарские газеты и журналы выплачивают гонорары. Появилась новая, замечательная мода в поэзии — издавать татарские стихи сразу в переводе на русский язык. Есть еще более изощренные издания — прекрасный поэт, классик татарской литературы Радиф Гаташ издал свои книги под одной обложкой сразу на трех языках, добавив английский.

Жаль, не дожили до этих светлых дней татарского книгоиздания выдающиеся поэты — Хасан Туфан, Сибгат Хаким, Зульфат, Мударрис Аглямев, Марс Шабаев. Но я хотел бы поговорить о другом. Уверен — пройдет тяжелая полоса с распространением книг в России, наладятся прежние связи литератур народов страны, и новое поколение читателей, открывая для себя советскотворческое наследие — поэзии и прозы, найдет великое множество достойнейших имен и интересных книг. Удивятся тому, как много внимания в СССР уделялось литературам абсолютно всех народов, больших и малых, и все они имели возможность выдвинуть на Всесоюзную арену литературы хотя бы по одному из самых достойных из своей нации — Москва не вмешивалась в этот выбор. Имена писателей, которые представляли республики, автономии, национальные округа, вошли в золотой фонд культуры СССР, их знала вся страна. Начнем с самых малых народов — чукчей представлял Юрий Рытхэу; нивхов — Владимир Санги; кабардино-балкарцев — Кайсын Кулиев; дагестанцев — Расул Гамзатов; башкир — Мустай Карим; каракалпаков — Ибрагим Юсупов; киргизов — Чингиз Айтматов; казахов — Мухтар Ауэзов и Олжас Сулейменов; таджиков — Садретдин Айни и МирзоТурсунзаде; туркменов — Берды Кербабаяев; азербайджанцев — Самед Вургун; узбеков — Ойбек и Гафур Гулям. Список можно продолжать долго, всем нашлось место, все народы выдвинули самого достойного поэта или романиста.



Дотошный читатель, особенно тот, кому по душе татарская литература, попытается выяснить — кто же представлял татарский народ на Всесоюзной арене. Не ищите, не тратьте попусту время. В то золотое для искусства время, когда искусствово было еще в чести у государства, когда всем народам страны позволили делегировать на Олимп советской литературы по одному представителю от каждой нации, татары не смогли сами выдвинуть из своей среды ни поэта, ни романиста. Этот парадокс будет еще долго волновать не одно поколение, по крайней мере, это будет интересовать интеллектуалов. Волнует этот вопрос и самих татар, особенно живущих за пределами Татарстана, волновал он и меня.

Кто-то из татар, привыкший во всем винить центр, Кремль, обязательно скажет — рука Москвы, татар обошли, русские не дали. Такие предположения я слышу от своих соплеменников уже лет сорок. Только, чтобы развеять эти беспочвенные слухи, для истории и для будущих поколений, я расскажу — почему татар нет в этом высоком списке, и кто бы мог достойно представлять нас в советской литературе в ту пору.

В те далекие 60-е годы в татарской литературе работало много значительных писателей, и не менее десяти из них, как говорили мне Мустай Карим и Амирхан Еники, могли претендовать на место, о котором мы ведем речь. Татарское писательское сообщество, как и любое другое, состояло из группировок. Иные кланы имели не только колоссальное влияние на Союз писателей Татарстана, но даже нередко подменяли его. И каждая группа хотела бы выдвинуть на это место своего представителя. Больше того, в самих крупных кланах и в руководстве СП имелись люди, видевшие в этой роли только самих себя. Привычная крыловская картина — лебедь, рак, да щука. Разумеется, столько тщеславных людей, даже ради престижа татарской литературы, к консенсусу прийти не смогли.

Тогда мы упустили исторический шанс. Хотя на тот момент, даже средилучших были две ярчайшие, бесспорные фигуры: поэт Хасан Туфан и романист Абдурахман Абсалямов. Хасан Туфан, даже сегодня — и через сто лет, останется ярчайшей звездой в татарской литературе, хотя, после него в 70-80-е годы в поэзии появились и новые мега-звезды: Равиль Файзулин, Зульфат, Мударрис Агьямов, Ринат Харис, Радиф Гаташ. В ту



пору по силе таланта, популярности, народной любви, трагичности судьбы вряд ли кто из поэтов мог сравняться с Хасаном Туфаном. Но у каждого из претендентов на звание первого татарского поэта против Хасана Туфана имелся за пазухой тяжелый камень-аргумент. Хасан Туфан только вернулся из сталинских лагерей, где отбыл пятнадцать лет за свое творчество, казавшееся властям слишком уж националистическим. Я, в силу своей дотошности, в течение 25 лет задавал один и тот же вопрос почти всем крупным литераторам Татарстана — почему не выдвинули Хасана Туфана? И всегда у всех ответ был один, без тени сомнений и колебаний они говорили: «Он же в тюрьме, как враг народа, 15 лет отсидел». И все 25 лет к такому единодушному ответу у меня был один комментарий: «Ну и что? Давид Никитович Кугультинов был осужден на 25 лет по той же статье, но это не помешало ему быть депутатом Верховного совета СССР, известным в стране поэтом и представлять калмыков в советской литературе до конца дней своих». К сожалению, с отношением коллег к Хасану Туфану все ясно. На мой комментарий, связанный с Д.Н. Кугультиновым, один большой татарский писатель сказал мне с гордостью и апломбом: «Ну, мы ведь не калмыки, мы — татары, на такие вещи смотрим строго». Уж лучше бы он промолчал.

О втором, безусловном лидере татарской литературы в то время и речи особо не возникало, он не примыкал ни к одной литературной группировке. Он обосновался в Казани в 1946 году, в возрасте 35 лет, по местным понятиям — чужак. Но я, хотя и запоздало, отдам ему дань уважения — представлю читателям, особенно тем 75-80 процентам (а это пять миллионов татар!), которые, к сожалению, живут вне пределов Татарстана, но душою, как и я, тянутся к Казани. Татары, разбросанные по России и миру, заслуживают право знать больше о своей культуре, о своих крупных писателях. Будь моя воля, я бы давно перевел для этих татар, живущих на чужбине, всех классиков татарской литературы, а заодно о них узнал бы и русский читатель. Татарскому народу есть, что предьявить миру и в литературе, особенно в поэзии.

Я хочу рассказать вам об Абдурахмане Абсалямове, и вы, читатель, поймете — какой титан работал в ту пору, когда определяли на Олимп литературы по одному представителю



от каждой нации. Мало у какого народа был столь яркий писатель, гражданин.

Родился он в Мордовии в 1911 году в многодетной семье, три его брата погибли на войне, две сестры после войны жили в Москве. Их род до сих пор широко представлен в столице. В голодные 20-е годы его отец перебирается в Москву, на заработки. В двенадцать лет, в 1923 году, мальчик Абдурахман переезжает в Москву к отцу и в 1930 году заканчивает там школу. Сразу после школы, целых семь лет он работает слесарем, токарем на разных заводах столицы. В ту пору в Москве выходили татарские газеты, журналы. И редактор одной из газет — незабвенный Муса Джалиль, рекомендует юноше, уже активно печатавшемуся, поступить в Литературный институт. В 1936 году, работая токарем на заводе, он поступает на вечернее отделение этого института, в 1937 году переходит на дневное отделение и уже в студенческие годы войдет в круг московских писателей. В 1940 году он заканчивает Литинститут, в истории этого учебного заведения он окажется первым татарин, окончившим альма-матер многих известных советских писателей.

На его жизнь придется две войны, и их он пройдет достойно, на передовой. В Отечественной войне ему выпадет поначалу Карельский фронт, потом по Европе он дойдет до Берлина, закончит А. Абсалямов свою войну в Манчжурии, против японцев в 1946 году. Можно сказать — он дважды фронтовик. Об этих войнах, включая и финскую, я много слышал — их прошел мой отчим Исмагиль Зарифович Мифтахутдинов, призванный на срочную службу в 1939 г. и вернувшийся с войны только в 1946-ом, как и Абдурахман Сафиевич. Во время войны Абсалямов — офицер и орденосец, командовал минометным расчетом морской бригады, воевал в разведке, был редактором нескольких военных газет и в ту пору сблизился с легендарным Ильей Эренбургом, которого знал еще по Литинституту. Во время войны он состоял в переписке с Хасаном Туфаном, чья судьба по трагичности обстоятельств уступает только судьбе двух великих татарских писателей — Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля.

Во время учебы в Литинституте А. Абсалямова в 1939 году командируют в Узбекистан на строительство большого



Ферганского канала, грандиозной стройки своего времени. Там, в Фергане, он познакомился со своей будущей женой Магиной, преподавателем русского языка и литературы в узбекской школе.

В 1951 году, я, десятилетний мальчик, прочитал книгу «Газинур» и очень гордился, что ее герой — татарин ГазинурГафиятуллин повторил подвиг Александра Матросова, закрывшего грудью амбразуру дзота. Конечно, в третьем классе не обращаешь внимания на фамилию автора, только спустя много лет я узнал, что «Газинур» написал АбдурахманСафиевичАбсалямов. И еще один маленький, но важный для меня переклест моей судьбы с Абсалямовыми. Дочь А. Абсалямова, Лиля, преподаватель английского языка, с 60-х годов живущая в Москве, замужем...за легендарным джазовым саксофонистом, руководителем оркестра «Арсенал», народным артистом России Алексеем Козловым. Мы с А.Козловым широко представлены в книге «Стиляги», вышедшей сразу после одноименного фильма В.Тодоровского.

В Москве больше полувека существовал институт, изучавший творчество М.Горького. Но и творчество АбдурахманаСафиевичаАбсалямова столь же многогранно и объемно, что хоть институт создавай. От его работоспособности дух захватывает. Я хочу перечислить — чем он, кроме своих книг, обогатил татарского читателя и свой народ, Он перевел на татарский язык: Джека Лондона, Ги де Мопассана, Алексея Толстого, всю публицистику Белинского, своего друга И.Эренбурга, «Молодую гвардию» Фадеева, «Весну на Одере» Казакевича, Гайдара, Лескова, Чехова, Новикова-Прибоя и многих других.

Сразу после войны он написал две крупные повести «Белые ночи» и «Вечный человек». Его роман «Орлята» увидел свет в 1949 году в журнале «Совет эдебияты», а чуть позже вышел отдельным изданием пробным тиражом пять тысяч экземпляров. Но интерес к роману оказался столь велик, что он выдержал шесть изданий на русском и татарском языках. Роман был переведен на польский, украинский, узбекский, уйгурский языки.

После выхода в 1950 году романа «Газинур», который я прочитал в детстве, именем ГазинураГафиятуллина были названы школы, колхозы, совхозы, пионерские дружины. Уверен,



что сегодня как раз время переиздать роман «Газинур». В 1959 году выходит роман «Огонь неугасимый», тут пригодился семилетний опыт работы Абсалямова на московских заводах. Этот роман тоже издавался одиннадцать раз, и общий тираж составил более миллиона экземпляров. Ни один писатель из Казани до сих пор даже не приблизился к его многочисленным переизданиям и миллионным тиражам. Командир минометного расчета морской бригады каждым романом попадал прямо в сердце читателя. При таком громадном таланте писателя для советского человека неважно было то, что он — татарин и на каком языке пишет — Абсалямов писал о достойных сыновьях и дочерях своего народа, оттого и был любим всесоюзным читателем. Вот какую интересную мысль высказал всемирно известный грузинский композитор ГияКанчели, много лет живущий в Европе: «Если индивидуальный талант силен, очевиден, он, в конечном счете, обязательно станет национальным». Эти слова гениального композитора прямо относятся к Абдурахману Абсалямову. За роман «Огонь неугасимый» Абдурахман Абсалямов в 1959 году получил Государственную премию Татарстана имени Г. Тукая.

После сорока лет, в середине 50-х, А. Абсалямов перенес несколько тяжелых заболеваний. Инсульт надолго приковал его к больничной койке, парализовало правую сторону. Пришлось учиться писать левой рукой. Эта ситуация, когда Абдурахман Сафиевич Абсалямов писал в больнице одной рукой, роднит меня, она мне близка и понятна. Ведь после покушения на меня, я со сломанным позвоночником тоже лежал долгие месяцы в больнице на растяжке доской на груди и дописывал роман «Двойник китайского императора» карандашом, потому что ни одна ручка в таком положении не пишет.

Писателя к жизни вернула его любимая жена Магина Измайловна, она перевернула горы медицинской литературы, объездила лучшие клиники и больницы, познакомилась с врачами и знахарями и все-таки поставила мужа на ноги. Вот что делает большая любовь! Ведь Магина-ханум ждала своего возлюбленного с войны целых семь лет. Молодые, обратите внимание — какими искренними, верными были ваши бабушки и дедушки в любви и жизни. Магина-ханум срочно закончила курсы машинисток и все вышеназванные романы



были ей надиктованы мужем. МагинаИзмайловна оказалась и первым редактором его татарских и русских изданий, если помните, она преподавала русский язык и литературу в школе. Говорят, все ее замечания и правки оказывались столь толковыми, уместными, что писатель часто говорил и в шутку, и в серьез — тебе бы самой писать. Мне об этом рассказывал Аскад Мухтар, женатый на родной сестре Магины-ханум, Раузе Измайловне, которая тоже внесла заметную лепту в творчество АскадаМухтара. Он говорил мне: «Я не знаю более строгого и толкового критика, чем моя ненаглядная Рауза». Обе сестры были красавицами, Рауза-ханум и в 65 была большой модницей, завсегдааем ташкентской валютной «Березки» — Аскад Мухтар много издавался на Западе.

В 1965 году выходит в свет самый популярный роман АбдурахманаАбсалямова «Белые цветы», выражаясь по-современному — единственный бестселлер, написанный на татарском языке за последние сто лет. Роман девять раз печатался на русском и шесть — на татарском языках тиражом более пяти миллионов экземпляров. Я сам, имеющий миллионные тиражи своих книг, утверждаю, что рекорд АбдурахманаАбсалямова никогда не будет побит ни одним писателем, пишущим на татарском языке. В 1967 году, в разгар популярности «Белых цветов», его наградили орденом Ленина, орден Трудового Красного знамени он получил еще в 1957 году после романов «Газинур» и «Огонь неугасимый». «Белые цветы» (роман о врачах) в татарской жизни имели колоссальный успех, ни до Абсалямова, ни после, таких прецедентов не было, и вряд ли когда предвидятся, к сожалению. Кондитерская фабрика Казани выпустила торт «Белые цветы», Министерство здравоохранения утвердило премию «Врач года — Белые цветы». Поставили многосерийный телеспектакль, где играли лучшие артисты Камаловского театра, который десятки лет не сходил с экрана.

Абдурахмана Абсалямова особенно любили на Украине. В 1967 году украинская «Рабочая газета» провела на Украине опрос — кого из переводных писателей чаще всего читают в республике и включила в этот список 117 советских писателей, было там много известнейших авторов, не буду их перечислять. Самым читаемым украинцами писателем оказался А. Абсалямов и его роман «Белые цветы». Вот тут вновь возникает серьезная



параллель с творчеством Абдурахмана Абсалямова я словно подхватил его эстафету. С советских времен я получал много писем с Украины, больше их было только с Дальнего Востока, хотя я только однажды напечатал в журнале «Дальний Восток» повесть «Знакомство по брачному объявлению». После развала СССР меня очень активно, большими тиражами печатали украинские издательства — «БАО» г. Донецк, а «Грампус Эйт» г. Харьков и «Северная пальмира» г. Днепропетровск издали, кроме отдельных книг, по четырехтомнику моих собраний сочинений. За год до развала СССР издательство «Днепро» перевело на украинский язык два моих романа «Пешие прогулки» и «Двойник китайского императора», переводчики брата Хвылевые — известная на Украине писательская фамилия. Но с развалом СССР рухнуло издательство «Днепро», и я не знаю, вышли эти книги или нет. И сейчас по Интернету мне часто пишут с Украины. Наверное, Абдурахман Абсалямов порадовался бы моим успехам на любимой им Украине, где он, кстати, воевал и получил ранение.

Хочется хотя бы коротко рассказать о его общественной деятельности. Коммунистом он стал на фронте, в перерыве между боями. Был депутатом Верховного совета СССР, делегатом XXI съезда КПСС, работал в Комитете защиты мира, был членом Горкома партии. Как депутат, член горкома партии он тесно общался с гражданами Казани. Сохранился его «Дневник депутатской работы». Хочется отметить невероятную скромность Абдурахмана Абсалямова. Почти все известные романы, кроме «Белых цветов», написаны в коммунальных квартирах. За десять послевоенных лет он сменил шесть коммуналок и только в конце 50-х, после инсультов и инвалидности получил отдельную квартиру. Зато, когда Абдурахман Абсалямов стал депутатом Верховного совета, многие молодые татарские писатели, благодаря его помощи, улучшили свои жилищные условия.

Всесоюзная слава Абсалямова, его популярность, постоянные переиздания, миллионные тиражи радовали не всех татарских писателей. У него было много завистников, недоброжелателей. Зависть татарских писателей — это отдельная тема, сгубившая не один писательский талант.

В конце 60-х, после оглушительного успеха в стране и республике «Белых цветов», после вручения Абсалямову ордена



Ленина, роман выдвинули на соискание Государственной премии СССР. После прочтения этого сообщения, наверное, многие читатели, узнавшие Абдурахмана Сафиевича как человека и писателя, радостно вздохнули — наконец-то! Кому же давать Государственные премии, если не таким людям — фронтовику, прекрасному писателю, которого знала вся огромная страна, общественному деятелю, гражданину с большой буквы, орденноносцу войны и мирного труда, человеку, которого любили миллионы читателей. Но, увы, должен вас огорчить — писатель не удостоился подобной чести, хотя, без сомнения, он ее заслужил. Нетерпеливые татары, всегда бегущие впереди паровоза, наверное, уже тут же нашли причину — опять Москва замешана, снова русские татарам хода не дают! Не спешите. Роман, полюбившийся татарскому народу, да и самого автора «забраковали» исключительно татарские писатели — обвинив роман в «русскости» и отсутствии национальной идеи. Документы даже до Москвы не дошли. И такая голословная демагогия закрыла Абдурахману Абсалямому путь к всесоюзному признанию его незаурядного таланта. Я, хотя и запоздало, отвечаю на решение завистливых коллег писателя репликой — татарской пословицей, мало знакомой русскому читателю: «Собачьему животу сливочное масло не подходит». Это любимая и часто повторяемая поговорка моей матери. Всем татарам роман понравился, оценили его и читатели многонациональной страны, верховная власть отметила роман орденом Ленина, а казанским писателям — завистникам роман не понравился.

Казанская местечковость не оценила талант даже такого титана как Абдурахман Абсалямов. Он для них всегда был чужаком, пришлым, потому что его книгам был открыт путь в мир большой литературы, и татарских коллег раздражали его тиражи, переиздания, популярность Абдурахмана Сафиевича за пределами Казани. История с Государственной премией СССР — лучшее тому подтверждение, историю не переписать. Но, о ком же можно говорить высокими словами, если не о Абдурахмане Сафиевиче? Ведь ни у кого из казанских писателей и близко не было, нет, и вряд ли когда-нибудь появятся такие успехи в прозе. А лестные слова на похоронах, в воспоминаниях вслед, словами и остаются — эти же люди и закрыли ему путь к Госпремии СССР. Если бы не было лютой



зависти, даже посмертной, где же музей, посвященный великому татарскому писателю? Только через 23 года после смерти Абдурахмана Сафиевича, стараниями «железной» Магиныханум, в Казани появилась улица Абдурахмана Абсалямова. А вот у татарина Аскада Мухтара не на родине, а в Фергане и Ташкенте давно есть и улицы его имени, есть и музей. Уже почти двадцать лет есть улица и моего имени в Казахстане, есть у меня и Государственный музей, надо особо отметить — при жизни.

Когда-то выдающийся художник-монументалист, всемирно известный оформитель исторических зданий, в том числе и Казанского оперного театра, Чингиз Ахмаров, в тридцать четыре года в 1946 г. ставший лауреатом Сталинской премии первой степени, с горечью записал в дневнике: «Казань — чужих не любит». Не зная этой горькой фразы, я повторил ее устно и печатно в свой черед в новом веке. Чего же хотел великий художник Чингиз Ахмаров, у которого в 83 года, уже слепого и глухого, Казань выцыганила коллекцию его живописи, а через несколько лет, в 2012 году, даже вечер памяти в честь его столетия не организовала? Некрасиво. В 1958 году бездомный Чингиз Ахмаров хотел получить в Казани постоянную работу и жилье. Даже не предложили. Но великие не пропадают. Все возможные высокие почести Чингизу Ахмарову оказал Узбекистан. Есть там и улица имени Чингиза Ахмарова, и памятники. Кто хочет прочитать о нем, может найти статью на моем сайте www.mraul.ru

Но вернемся к дорогому Абдурахману Сафиевичу, и судьба Чингиза Ахмарова, оказалась к месту, легла в строку.

Мамину любимую пословицу о сливочном масле и собачьем животе я уже высказывал однажды директору «Таткнигоиздата» Г.Шарафутдинову, и вот по какому поводу.

В 1990 г., в самом престижном издательстве СССР «Художественная литература», в котором не печатался ни один татарский прозаик, кроме меня, а в поэзии издался только Равиль Файзулин, шестым изданием вышел мой роман «Пешие прогулки», и я случайно в Доме творчества Переделкино встретился с господином Г.Шарафутдиновым. Подарил ему свое «Худлитовское» издание, вышедшее тиражом 250 тысяч и показал анонс «Роман-газеты» на 1991 год, где семимиллионным



тиражом собирались издать тот же роман «Пешие прогулки». Я был уверен, что после такого всесоюзного успеха, меня, наконец-то, издадут мои соплеменники — татары. Через два месяца я позвонил господину Г. Шарафутдинову и на вопрос, будут ли печатать меня в Казани, получил ответ — нет, роман нам, татарам, не подходит. Зеркальное отражение ситуации с Госпремией СССР Абдурахмана Сафиевича и его романом «Белые цветы». Вот тогда-то у меня, спонтанно вырвалась на чистейшем татарском языке мамина поговорка. Чтобы не очень обвиняли меня в гордыни за свой роман, скажу, что на сегодня «Пешие прогулки» вышли 24 раза, тиражом более трех миллионов экземпляров. В Казани же «Пешие прогулки» опубликовали на татарском языке в журнале «Казан Утлары» только через 23 года после выхода его в свет. Всю свою многотомную прозу я перевел за свои деньги на родной язык, чтобы и 25 процентов татар, владеющих языком, узнали мое творчество.

Живы и писатели, продолжатели традиций Абдурахмана Абсалямова, живы и могильщики известных романов. Ничего не меняется в Казани, чужих по-прежнему не любят, особенно талантливых, известных далеко за пределами Казани.

Тут без старого анекдота в тему не обойтись. В ад приходит комиссия со Всевышним. Возле каждого котла, где в кипятке выдерживают грешников, стоит серьезная охрана и только возле одного огромного чана — ни души. Всевышний спрашивает надсмотрщиков: «Почему у того котла нет охраны, ведь сбежать могут в рай?» На что стража радостно отвечает: «Пожалуйста, не переживайте, там — татары, если кто и решится на побег, свои обязательно его сдернут обратно, такое у них веками на дню трижды случается».

Вот почему в том списке, где каждый народ выдвинул на Олимп литературы своего писателя — нет татар. Если не смогли сойтись на фигуре таких титанов, как Хасан Туфан и Абдурахман Абсалямов, то о других в ту пору и разговора быть не может, мало кто из претендовавших имел союзный масштаб и книги, изданные в Москве. Так что, надо признать, что рука Москвы и русские здесь не при чем. «Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая» — но это уже русская пословица, ее часто повторял МустайКарим.



В который раз в своей жизни мне приходится осознавать — пути Всевышнего неисповедимы. Оказалось, что уже давно каким-то краешком своей судьбы я соприкоснулся с жизнью легендарного Абдурахмана Абсалямова. Я уже упоминал в мемуарах, что тридцать лет счастливо прожил в Ташкенте и с первых своих шагов в литературе общался с классиком узбекской литературы Аскадом Мухтаром, татарин по происхождению, и часто бывал у них дома. Знал его сыновей, невесток и, конечно, супругу Раузу Измайловну, ослепительную красавицу. Конечно, знал, что ее сестра, Магина-ханум, тоже замужем за писателем, классиком татарской литературы А.С. Абсалямовым. И Аскад Мухтар с женой, часто бывая в Казани в гостях у своих родственников Абсалямовых, не раз говорили обо мне. Я знаю точно, что Аскад Мухтар писал обо мне двум председателям СП Татарстана — Заки Нури и Гарифу Ахуну, чтобы они взяли меня на заметку, по одной причине — темы, с которыми я входил в литературу, были татарские. Наверное, только из-за писем в Татарстан Аскада Мухтара, Зинната Фатхуллина и Сергея Бородина, лауреата Сталинской премии первой степени за культовый роман «Дмитрий Донской», татарина по происхождению, Заки Нури пригласил меня в 1979 году на съезд писателей. К сожалению, встреча с Абдурахманом Абсалямовым, на которую я рассчитывал и о которой ходатайствовал Аскад Мухтар, не состоялась. Абдурахман Сафиевич умер седьмого февраля 1979 года, а съезд писателей прошел в мае. Не судьба.

Позже, знакомясь детально с биографией Абдурахмана Абсалямова, я узнал, что Магину Измайловну называли «железной леди» задолго до Маргарет Тэтчер. Могу сказать, что абсолютно такой же по характеру была и ее сестра Рауза-ханум, у которой Аскад Мухтар был как за пазухой у Всевышнего.

Помню, однажды Мустай Карим, друживший с Аскадом Мухтаром, пошутил: мол, трудно Раузе-ханум с тремя детьми. Я попытался поправить его, сказав, что у нее только двое сыновей, на что Мустай Карим лукаво ответил — а Аскад разве не ребенок?! Ради справедливости надо сказать, что в Узбекистане у Аскада Мухтара проблем не возникало: он возглавлял Союз писателей Узбекистана, до конца жизни был секретарем правления Союза писателей. Был главным редактором журнала «Шарк Юлдузы» («Звезда Востока»), главным



редактором «Литературной газеты» и молодежного журнала «Гулистон». Кстати, и журналы, и газеты Аскада Мухтар создал с нуля, до него их просто не было. Для татарского читателя надо сказать, что Аскад Мухтар — сирота, детдомовец, родился в Фергане в 1920 году. Он прожил интересную и достойную жизнь, его любил и знал народ, любила власть, его привечал Шараф Рашидов, он — народный писатель и народный поэт Узбекистана, лауреат Государственной премии СССР, тут он обошел свояка Абдурахмана Абсалямова, узбеки препятствий ему не чинили.

Не могу не сказать хотя бы несколько слов о шестидесятилетнем юбилее Аскада Мухтара осенью 1980 года. Отмечали его с таким размахом, что даже вообразить трудно. Г. Марков, много лет руководивший СП СССР, после вступительного слова Шарафа Рашидова, открывая юбилей, вынужден был сказать: «Я бывал на десятках юбилеев крупнейших писателей страны, видел и казахский, и кавказский, и московский размах, но то, как организовали юбилей Аскада Мухтара в Ташкенте, поражает воображение фантазией, великолепием, масштабом. Узбекская власть в лице Шарафа Рашидовича так ценит литературу, что к юбилею Аскада Мухтара специально построили два великолепных дворца. Утром торжественная часть прошла в новом Дворце дружбы народов. Горожане еще до открытия назвали его «Хрустальный». Банкет проводится в ресторанном комплексе «Зеравшан», где два зала могут вместить около тысячи гостей, и первыми в этом изысканном зале оказались лучшие писатели всей страны, чтобы отметить юбилей нашего дорогого коллеги Аскада Мухтара. Это высокоорганизованное мероприятие лучше любых слов говорит об отношении узбекской власти к нашим писателям и литературе».

На юбилей Аскада Мухтара были приглашены делегации из всех республик, Москвы и Ленинграда, все ведущие писатели автономных республик, а из Татарстана прилетела расширенная делегация. Были гости и из тех зарубежных стран, где издавался юбиляр. Аскада Мухтара называют учителем нескольких поколений узбекских литераторов, для них он создал журнал «Гулистон», и на юбилей пригласили абсолютно всех молодых писателей и даже начинающих. Я тоже принимал самое активное участие в проведении юбилея: встречал



и провожал приглашенных, за мной была закреплена делегация московских писателей. Через два дня, перед отъездом, когда гости юбилея вернулись из поездки по Самарканду, Бухаре и Хиве, их ждал еще и грандиозный прием в загородной резиденции «Дурмень» Шарафа Рашидова. Вы, наверное, думаете: разорился и умаялся Аскад Мухтар, готовясь к своему юбилею, шутка ли — принять сотни гостей! Не переживайте! Весь прием, вплоть до индивидуальных корзин с подарками для отъезжающих гостей, был организован хозяйственным отделом ЦК компартии Узбекистана и Совета министров республики. Юбилей большого писателя — это государственная забота, так сказал Шараф Рашидов в одном из своих выступлений. Вот такие времена были у узбекских и советских писателей — как такое забудешь.

Чем дальше вхожу в материал об Абдурахмане Сафиевиче Абсалямове, тем больше нахожу параллелей, переклестов и в творчестве, и в наших писательских судьбах. Абдурахман Абсалямов был в дружеских отношениях с известным критиком, литературоведом, писателем Рафаэлем Мустафиным. Тот в свое время возглавлял журнал «Казан Утлары» и напечатал несколько произведений Абдурахмана Сафиевича. Рафаэль Мустафин — человек дальновидный, в свое время выпустил сборник «Литературные портреты», и для нас — потомков, там есть биографии всех значимых татарских поэтов и прозаиков, активно работавших в 60-70-80-х годах. Там есть и портрет Абдурахмана Абсалямова. На мой взгляд — это лучшая работа о нем, как о писателе, гражданине, общественном деятеле.

Я хорошо знал Рафаэля Мустафина с зимы 1975 года. Он, как и я, любил Малеевку, бывал там каждую зиму вместе со своей супругой. Встречались мы с ним часто и в редакции журнала «Дружба народов». В те годы журнал возглавлял легендарный Сергей Баруздин, а Рафаэль Ахметович был членом редколлегии и активным автором в отделе критики. Рафаэль Мустафин получил прекрасное образование в Москве, многие его друзья-сокурсники стали заметными людьми в советской литературе. Благодаря своей эрудиции, широте взглядов, начитанности и принципиальности, он был принят в самых высоких интеллектуальных кругах столицы. Я гордился, что он,



татарин, знается с такими людьми, что его имя и слово высоко ценилось в литературной Москве. Меня представил Рафаэлю Мустафину Мустай Карим. Я дарил Рафаэлю Ахметовичу почти все свои книги и очень часто получал от него дельные советы и длинные устные рецензии. По просьбе известных издательств он написал несколько закрытых рецензий на мои книги. И в «Советском писателе», в «Молодой гвардии» и в «Художественной литературе» его авторитет был высок. Поддержал меня Рафаэль Ахметович и в Татарстане, когда в 90-х я стал активно печататься в Казани. Это он подал мне идею выдвигаться на Тукаевскую премию по литературе, сказав: «Твое время пришло», и напечатал обо мне большую статью в республиканской газете, написал и предисловие к книге «Культуру восстановить труднее, чем экономику». Это сборник интервью и бесед Шагинура Мустафина со мною на протяжении пяти лет. Кстати, редкостная по тематике для Татарстана книга, мы с Шагинуром издали ее на свои средства. В ней много нежеванных фактов, историй, фамилий.

Рафаэль Мустафин прекрасно знал творчество Абдурахмана Абсалямова и мое, мог сравнивать, анализировать, делать выводы. Рафаэль Ахметович — истинный пропагандист татарской литературы, часто встречался с трудовыми коллективами, особенно со студенчеством, ему было что рассказать и о себе, и о писателях, творчество которых он знал и оценивал по-гамбургскому счету. Шутка ли сказать, он был в эпицентре татарской литературы целых пятьдесят лет! Общался с Заки Нури, Гарифом Ахуновым, Нури Арсланом, Шайхи Маннуром, Сибгатом Хакимом, Амирханом Еники, Гази Кашшафом, Аттилой Расихом, Мустаем Каримом, Абдурахманом Абсалямовым, Ахсаном Баяном, Рустемом Кутуем, Диасом Валиевым и многими другими, а тех, кто был моложе него, я уже и не упоминаю. Кстати, рассказчик он был удивительный, умел мгновенно располагать к себе зал, аудиторию, Рафаэль Ахметович — человек рафинированной культуры, жизнь в Ленинграде и Москве наложила на него столичный отпечаток. Как сказал о нем Шагинур Мустафин: «Ушел последний эстет, аристократ нашей литературы». Ушел, оставив о себе яркую память и творческое наследие, которое глубоко освещает последние пятьдесят лет татарской литературы.



Однажды в Казанском университете, уже в новом веке, кто-то, хорошо знавший татарскую прозу, задал ему вопрос с подковыркой: «Вот раньше, у нас был Абдурахман Абсалямов, каждый роман которого становился событием, переиздавался, переводился на русский язык. Книги Абсалямова издавались миллионными тиражами. Есть ли сегодня в нашей литературе татарский писатель, чьи книги издаются миллионными тиражами, печатаются в Москве?» Вопрос мог поставить любого другого в тупик, но только не Рафаэля Мустафина, он ответил: «Есть такой татарский писатель, член Союза писателей Татарстана, только он пишет на русском языке, но абсолютно каждый его роман переводится на татарский язык, печатается в главном национальном журнале «Казан Утлары» и вызывает широчайший резонанс. Точно так выходили в Москве все романы Чингиза Айтматова, писавшего на киргизском языке. Это — Рауль Мир-Хайдаров, заслуженный деятель искусств Татарстана, лауреат премии МВД, живет в Москве. На русском языке его книги выходят в Москве, на Украине, в Ташкенте, Алма-Ате миллионными тиражами, переиздаются десятки раз, переводятся, а роман «Пешие прогулки» вышел 24 раза! Это рекорд среди писателей — татар, который вряд ли когда-нибудь будет преодолен. Только его тетралогия «Черная знать» вышла тиражом более пяти миллионов. Наверное, столько же экземпляров составляют и его тридцать книг, вышедших до тетралогии. Два других романа Рауля Мирсаидовича: «За все — наличными» и «Ранняя печаль», не вошедшие в тетралогия «Черная знать», тоже вышли восемнадцать раз тиражом около двух миллионов. Общий тираж его книг превышает более десяти миллионов. В советское время, подпольно, без разрешения автора, книги не издавались. Романы Рауля Мир-Хайдарова, пришедшиеся по времени на развал страны и буйство кооперативов, книжные пираты издавали много раз. У него есть целая полка его нелегально изданных романов-бестселлеров: «Пешие прогулки», «Двойник китайского императора», «Масль пиковая», «Судить буду я», «За все — наличными», все они вышли без указания тиража. Так что, эстафету легендарного Абдурахмана Абсалямова подхватил такой же интересный и плодовитый писатель».



Вот так, при жизни, Рафаэль Ахметович сумел соединить наши с Абдурахманом Абсалямовым имена и наши книги перед читателями. И я премного ему благодарен, за то, что он поставил меня в один ряд с выдающимся Абдурахманом Сафиевичем Абсалямовым.

Без постскриптума не обойтись. Для Рафаэля Мустафина сравнение моего творчества с Чингизом Айтматовым не прошло даром: ему писали, звонили, говорили в лицо возмущенно: «Нашел, кого сравнивать с Чингизом Айтматовым, не знаем такого писателя». На что всегда спокойный и уравновешенный Рафаэль Ахметович отвечал: «Не знаете? Очень жаль. Если бы мы, татары, пропагандировали Рауля Мир-Хайдарова, как киргизы и казахи — Чингиза Айтматова, то, наверное, его знали бы не меньше, чем Айтматова». И добавлял уже известную тогда фразу Рафаэля Сибата: «Рауль Мир-Хайдаров для нас, татар — неоткрытая Америка. Колумбы нужны, Колумбы...» Рафаэль Ахметович, хотя и выглядел мягким, но свои убеждения отстаивал твердо.

Наверное, наши переклесты судеб с Абдурахманом Абсалямовым и параллели в творчестве очевидны читателям — даже ситуация с моим выдвижением на Государственную премию РТ имени Г. Тукая. Если помните, Рафаэль Мустафин советовал мне обязательно выдвинуть свою кандидатуру на эту премию, чтобы открыть дорогу моим татарским книгам в республике. За два года до своей смерти советовал мне поторопиться с Тукаевской премией и незабвенный Зульфат. Я не хотел об этом писать, но вдруг понял, что любое слово этого большого поэта должно быть сохранено для потомков, время, к сожалению, стирает память даже о таких, как он. Зульфат оказался членом редколлегии нескольких журналов, где я печатался на русском и татарском языках, и хорошо знал мое творчество. Его не только удивило, но и потрясло то, что я на свои средства перевел всю свою прозу на татарский язык. «Значит, искренне уважаешь татар, любишь свой народ, если хочешь, чтобы они тебя читали на родном языке, — говорил он. — А вот наши писатели, пишущие на татарском языке, наверное, совсем не думают о миллионах татар, живущих вне исторической родины и не знающих, к стыду и сожалению, своего языка. Иначе, хотя бы один из них занялся, как и ты,



переводом на русский язык для своих соплеменников, а заодно татарскую литературу узнала бы и вся страна. Не догадались об этом даже наши классики, они оказались классиками только одной четвертой части татар — а жаль, их обязательно должны знать все татары. Обидно, что они сами об этом, как ты, не догадались, да и критики, литературоведы не увидели и до сих пор не видят эту беду. Не подумали об этом даже Народные писатели — они тоже известны только малой части татар, а остальным миллионам, рассыпанным по миру, даже невдомек, что те вообще существуют на свете. Если бы не ты, и я, наверное, не обратил бы внимания на эту серьезную для нашей литературы, для нашего народа проблему. Вот ты, вместе с Абдурахманом Абсалямовым, думаю, и есть настоящие Народные писатели у нас. Ваши книги адресованы всему татарскому народу, разделенному по языковому принципу, вас знают и в Татарстане, и в стране». Вот такой у нас состоялся серьезный разговор, и я надеюсь, что донес до вас последние тревоги Зульфата.

Москву можно назвать второй столицей татар, их здесь проживает больше, чем в Казани, да, пожалуй, и больше, чем во всем Татарстане. И живет здесь наиболее просвещенная, образованная часть татар. В Москве самая большая татарская община в России, да и в мире, и эта община живет одной духовной и культурной жизнью со всеми татарами. Строит мечети, соблюдает традиции и отмечает религиозные праздники, издает газеты, журналы и книги, ставит достойные памятники своим выдающимся соплеменникам. Только за последние три года появились в Москве прекрасные и величественные памятники Габдулле Тукаю и Мусе Джалилю, следующий памятник, в планах, — Рудольфу Нуриеву. Возглавляют татарскую общину Москвы достойные сыны нашего народа: генерал-полковник Р.С. Акчурин и его брат, всемирно известный хирург Р.С. Акчурин, генерал армии М.А. Гареев, академик Р.И. Нигматуллин.

Следуя советам Рафаэля Мустафина, Зульфата и многочисленных своих читателей из Татарстана, я обратился к руководству общины татар Москвы с заявлением о выдвижении моей кандидатуры на Тукаевскую премию, и на общем собрании актива меня единодушно рекомендовали на соискание главной



литературной премии Татарстана. Ждете результата? Ничем ни себя, ни вас, своих читателей, порадовать не могу — меня даже к участию в конкурсе не допустили, отсеяли при отборе кандидатов. И так случилось дважды. И никто, кроме меня и давших рекомендацию, не знает, что меня все-таки выдвигали на эту премию. Я переживаю не за то, что мне не дали эту премию, а переживаю за то, что даже не указали мое имя среди кандидатов, не отметили, что меня выдвинули московские татары. Думаю, решение комитета по Тукаевской премии, сплошь состоящего из казанских татар, не справедливо. Нельзя тридцать лет подряд отдавать предпочтение одной четверти татар, представляющих только Казань, игнорируя представителей основного большинства татар. Получается, что Татарстан создан только для казанской элиты. Игнорировать волю татар Москвы так безапелляционно, не включать их представителей даже в список претендентов — не мудрое решение. Народ должен знать всех достойных татарских писателей: и казанских, и московских, и оренбургских, и нижегородских, и крымских, и даже австралийских, если те озабочены судьбой своего народа.

История моего выдвижения тоже похожа на ситуацию с Абдурахманом Абсалямовым при выдвижении его 50 лет назад на Государственную премию СССР. Вот на этой схожести наших судеб и наших книг, изданных миллионными тиражами, закончу рассказ о выдающемся татарском писателе Абдурахмане Абсалямове. Пусть «Белые цветы», так полюбившиеся вашим читателям, дорогой Абдурахман Сафиевич, всегда усыпают вашу могилу. Вы эту любовь заслужили.

14 августа 2013 г. Москва





Культуру восстановить труднее, чем экономику

Интервью с Раулем Мир-Хайдаровым

Рауль Мирсаидович, ваше имя все больше и больше на слуху в Татарстане. Тому есть веские причины — и книги ваши стали издаваться у нас, и в журнале «Казан утлары» вы желанный автор, и газеты дают о вас какие-то, хотя бы отрывочные, сведения. Но, на мой взгляд, интерес к вам обусловлен иным: впервые в нашу литературу пришел писатель с устоявшимся именем, с огромным багажом, и, как волшебник, без паузы, вынимает из сказочного сундука роман за романом, повесть за повестью, рассказ за рассказом, и сундук этот кажется нам бездонным — вы написали много.

Лучшие наши литераторы: Айдар Халим, Факиль Сафин, Марс Шабает, Флюс Латифи, Марат Закиров, Рашид Башар переводят вас. Конечно, жаль, что вы только к шестидесяти стали печататься на родине, и в шестьдесят два у вас вышла первая и пока единственная книга на татарском, хотя уже переведены на татарский язык все ваши романы. Но зато у вас есть преимущество, татарский читатель имеет возможность читать ретроспективу всех ваших произведений без перерыва. Переведенные одно за другим, почти одновременно, они — открытие для поклонников литературы, такое в татарской прозе случилось впервые.



Оттого вопросы, задаваемые мне после моих публикаций и выступлений о вас: на встречах, по телефону, в поездках по республике и как одному из руководителей писательской организации — теперь носят конкретный, а точнее, личностный характер. Читатели хотят знать о вас подробнее, знать вашу жизнь в деталях.

Как выразился о вас незабвенный Рафаэль Сибат: «Рауль Мир-Хайдаров — это для нас, татар, неоткрытая Америка. Колумбы нужны, Колумбы...».

А я добавлю опять же слова Рафаэля Сибата о вас, о вашей непростой судьбе: «пора нам своих возвращать к себе, в свою культуру, к своему народу...».

Поэтому нашу сегодняшнюю встречу я предлагаю обозначить беседой, а не интервью. Пусть вопросов будет меньше, а ответы прозвучат основательнее — такое пожелание высказал нам один из ваших ярых поклонников из Набережных Челнов.

В связи с этим вопрос: как, когда и где пересекались ваши пути в литературе с татарскими писателями?

— Впервые я опубликовался в московском альманахе «Родники» в 1971 году, там вышел рассказ «Полустанок Самсона». Альманах попался на глаза Тауфику Айди, и он прислал мне теплое письмо и подробную анкету, которую следовало заполнить. Письмо Тауфика Айди я много лет принимал за официальное, думал, что я попал в орбиту внимания Казани, гордился, что меня взяли на учет в Татарстане, поражался чуткости, душевности, оперативности татарских чиновников. В общем, это письмо сильно окрылило меня. Как наивен я был! В 1979 году, когда Заки Нури пригласил меня на съезд писателей, я познакомился с Тауфиком Айди, и только тогда узнал, что письмо его — частная инициатива. Тауфик Айди, оказывается, всю жизнь собирал материалы об известных татарах в мире. У него остался огромный архив, он проделал титаническую работу, которую, к сожалению, до сих пор не опубликовали. Честь и хвала ему! Можно сказать, что Тауфик Айди первый увидел во мне татарского писателя.

В 1976 году я стал участником VI съезда молодых писателей СССР и был в одном семинаре с Марселем Галиевым. В дни съезда в «Литературной России» опубликовали мой рассказ «Такая долгая зима», а по итогам совещания мой рассказ



«Голубые самосвалы» попал в альманах «Мы — молодые». Из четырехсот участников съезда туда вошли тридцать шесть авторов. Руководство семинара рекомендовало издательству «Молодая гвардия» выпустить мою книгу «Оренбургский платок», это и была моя первая книга в Москве. Марсель писал об этом в свое время в Казани.

Когда я впервые приехал в Казань, он познакомил меня со многими молодыми писателями, сегодня некоторые из них — наши живые классики. Впрочем, и до поездки я уже начал активно знакомиться с татарскими писателями. С зимы 1975 года я регулярно бывал в Малеевке, а летом в Ялте, Коктебеле. Пицунде. Татарские и башкирские писатели любили Дома творчества, особенно зимнюю Малеевку. В Малеевке я не пропустил ни одну зиму с 1975 по 1991 год включительно, а с 1980 года, когда ушел на «вольные хлеба», я бывал там, да и на море, всегда по два срока.

В 1976 году в Малеевке я познакомился с Мусой Гали и Мустаем Каримом, и все последующие годы был с ними рядом. Они во многом сформировали меня как литератора, привили любовь к татарской литературе. Благодаря им в 1977 году меня в Уфе впервые перевели на татарский, сделал это Айдар Халим. Позже в Уфе, в журнале «Агидель», напечатали повесть «Не забывают нас».

Мои недоброжелатели в Казани по незнанию упрекают меня, что я не знаю татарской литературы, ее истории, наверное, оттого, что я не закончил факультет татарской филологии Казанского университета. Но если подходить с такой меркой, то я одолел не только этот факультет, но и его аспирантуру. Почему? Объясню. Моим татарским университетом и моими профессорами на долгие годы оказались лучшие татарские писатели, только мой университет был выездным — в Домах творчества и для одного благодарного студента. Могу утверждать, что долгие зимние вечера в Малеевке почти каждый день проходили в совместных чаепитиях, застольях, частных беседах, и разговоры там шли только о литературе. На таких посиделках я впервые услышал о Заки Валиди, Маджите Гафури, Гаязе Исхаки, Шаехзаде Бабице, Чонакае, Марджани, Ризе Фахретдинове, Юсуфе Акчуре. С тем, что я услышал о татарской литературе от Мустая Карима, Мусы



Гали, Ибрагима Нуруллина, Амирхана Еники, Атиллы Расиха, Мухаммеда Магдеева, Заки Нури, Рината Мухамадиева, Виля Ганиева, Наби Даули, Айдара Халима, ни одна университетская программа сравниться не может. Я ведь получал знания без идеологической подкладки, без оглядки на цензуру, от людей, создававших литературу.

Одно общение с Амирханом Еники чего стоит! В Малеевке я трижды был у него на праздновании дня рождения — это пир для души, для слуха, для сердца! Разве постные университетские лекции могут сравниться с воспоминаниями его гостей на этих скромных торжествах?! Какие забытые страницы татарской литературы, какие канувшие в Лету фамилии всплывали вдруг за столом! Кроме дней рождения Амирхана Еники, я сидел с ним за одним столом в Переделкино, Ялте, Пицунде. Семьдесят два дня по три раза в день рядом с Еники! Такое выпало не каждому. Он, как в прозе, дозировал и свое устное слово, но иногда его прорывало, страсти сидели в нем глубоко, жизнь научила его смолоду сдерживать себя. Многие из тех давних разговоров я понял позже, когда прочитал его воспоминания «Страницы прошлого». В последние годы жизни он приезжал в Переделкино, где я прожил в Доме творчества в комнате № 106 безвыездно восемь лет, и я всегда приглашал его в гости, иногда одного, иногда с другими писателями, но чаще с Мустаем Каримом и Мусой Гали. На память о таких встречах, к счастью, остались фотографии. К концу жизни чуть ослабли тугие струны внутри, и он был гораздо добрее, мягче. Я называл его Патриархом. Он поистине и был Патриархом татарской литературы.

В 1980 году в Ялте я тесно общался с Рашатом Низамиевым, с ним же встретился зимой 1985 года в Голицине, он тоже вразумлял меня по части татарской литературы, особенно ориентировал по современной, больше рассказывал о поэзии. У него педагогический талант, он готовый университетский профессор, и я благодарен ему за профессиональные лекции.

Существенно повлиял на меня и Мухаммат Магдеев, мы с ним познакомились в Пицунде в 1988 году, он отдыхал вместе с сыном, вернувшимся из армии. По моей просьбе он прочитал роман «Пешие прогулки», только вышедший в журнале, и рукопись романа «Двойник китайского императора».



На сегодня эти романы выдержали уже по двадцать изданий и переведены на татарский язык Маратом Закировым. Он дал много ценных советов, замечаний. Меня окрылила его похвала, он сказал: «Как это тебе удастся сразу взять быка за рога, быстро переходить к теме, проблеме?» Он тоже рассказывал о духовной жизни Казани, о писателях, чьи книги я должен читать, на кого следует ориентироваться. Светлый, чистый был человек Мухаммет-абы, пусть земля ему будет пухом! Я не забуду его наставлений.

Были в моем татарском образовании и приватные лекции. Когда я впервые приехал в Казань, Заки Нури три дня подряд показывал мне столицу, точнее, литературную Казань, связанную с выдающимися именами просветителей, деятелей культуры и духовенства. Я уже тогда понимал, что прохожу редкий университетский курс для избранных.

Сегодня, когда я вынимаю из почтового ящика роскошно изданные журналы «Идель» и «Майдан», мне на память приходит холодная зима 1978 года в Малеевке и совсем молодой Мансур Валеев. Через день, несмотря на сорокаградусные морозы, он ездил в Москву, в ЦК ВЛКСМ, в ЦК КПСС, в тот самый печально известный суловский отдел, в Госкомпечать и еще в десятки организаций, добиваясь издания в Казани молодежного журнала. Возвращался всегда затемно, путь не близкий, почти три часа в один конец, замерзший, голодный, всегда опаздывая на ужин, но мы ждали его, ждали вестей, как с передовой. Тогда, при Брежневле, решить вопрос с журналом не удалось. И позже ездили ходоки в Москву не один раз. Сегодняшним молодым и представить трудно, что надо было брать у кого-то разрешение! И это хорошо — так думают свободные люди.

Долгая, до самой его смерти, была у меня переписка с Рафаэлем Сибатом, мы говорили с ним по телефону часами. Он один из тех, кто знал все мое творчество.

Раз уж зашла речь о переписке, я должен упомянуть и Газиза Кашапова, с которым познакомился в Малеевке, и позже встречался в Ялте и Пицунде.

Частые искренние встречи в домах Домах творчества были у меня с Нурисламом Хасановым, он первый написал обо мне большую статью, считая меня татарским писателем.



Полный курс университетского образования я прошел с Адхатом Синегулом, который в конце 70-х годов женился на дочери ташкентского писателя Шамиля Алядина и переехал в Узбекистан. Кто знал Синегула, может подтвердить, что он очень любил поговорить и обладал педагогическим талантом, как и Рашат Низамиев.

Обязательно следует упомянуть и Лирона Хамидуллина, и его жену Данию-апа, с которыми я долгие годы состоял в переписке. Вот кто поистине радуется тому, что я наконец-то, на склоне лет, появился в татарской литературе. К моему пятидесятилетию в 1990 году в Таткнигоиздате подготовили к изданию книгу моих повестей и рассказов под его редакцией и с его предисловием. Но в очередной раз сорвалось. Мы с ним часто общались в Ташкенте, Казани и в Домах творчества. Он учил меня терпению, любви к Казани, к своим национальным корням — видимо, прочувствовал мой долгий и тернистый путь в татарскую литературу.

Лекции о татарской культуре я слышал не только от писателей. В 1978 году в Ялте я сблизился с Ильгамом Шакировым, он тогда и познакомил меня с Амирханом Еники, и при первой же встрече я получил от него в дар книгу «Гуляндам» о Салихе Сайдашеве в переводе Рустема Кутуя. Ильгам Шакиров отдыхал в Крыму один, и мы часто проводили время вместе. От него я узнал редкие факты из жизни С. Сайдашева, Ф. Яруллина, Н. Жиганова, А. Ключарева, Ф. Мансурова и других корифеев музыкальной культуры. Эти имена я, конечно, знал, но по-настоящему они были открыты для меня персонально великим Ильгамом Шакировым.

В Ташкенте, где я прожил тридцать лет, работали Аскад Мухтар и Зиннат Фатхуллин, классики узбекской литературы. Аскад-абы и Зиннат-абы, заметившие татарскую направленность в первых же моих публикациях, всячески поощряли мой ориентир на Казань. Когда к ним приезжали гости из Татарстана, они часто приглашали и меня. Конечно, все разговоры за столом были только о литературе, о писателях. Оба они имели крепкие связи с Татарстаном. Аскад Мухтар познакомил меня с Гарифом Ахуновым, а Зиннат Фатхуллин — с Заки Нури. Я знаю, оба они писали, говорили обо мне в Казани. Наверное, поэтому в 1979 году меня пригласили



на съезд, и Заки Нури очень настойчиво пытался ввести меня в круг татарских писателей, но наткнулся на стену равнодушия и очень огорчился этому. Мне кажется, он не ожидал от коллег такого отношения ко мне, молодому человеку, с восторгом и надеждой приехавшему на родину отцов. Вот тогда я стал утверждать, что фраза: «Иван, не помнящий родства» — татарская. Чем больше живу, тем больше в этом убеждаюсь. До последних дней своей жизни Заки Нури следил за моими успехами в русской литературе и искренне радовался им. Светлая память о вас, Заки-абы, легендарном человеке, всегда будет в сердцах людей, близко знавших вас.

Не только мои пути, мои планы пересекались с татарскими писателями, даже конкретные произведения связаны с общением с ними. Не могу не сказать несколько слов о создании повести «Знакомство по брачному объявлению». В 1982 году в Ялте отдыхало много писателей из Казани и Уфы: Заки Нури, Наби Даули, Рахмай Хисматуллин, Рафаэль Сафин, человек десять, не меньше. Однажды после ужина, когда писатели собрались вокруг Заки Нури, я обратился к обществу, мол, хочу завтра всех вас пригласить к себе в гости и заодно почитать новую повесть. В Домах творчества существовала традиция — читать друг другу новые тексты. Заки-абы, как всегда, отвечает с юмором: если выпивки и угощения будет достаточно, готовы послушать. Моя комната на третьем этаже располагала просторной верандой с видом на море, там я и накрыл столы. Пришли все, началась читка, время от времени перебиваемая гомерическим хохотом. В общем, застолье удалось, слушали внимательно, с любопытством, повесть имела почти детективную интригу. Бутылки не успели ополовинить, как я закончил читать написанное. Сразу дружно стали спрашивать, чем же закончится история и на ком женится Акрам-абзы? Вдруг Заки-абы встал и сказал грозно: «Что ж ты втянул уважаемое общество в историю с недописанной повестью? Нехорошо. Чтобы вернуть наше расположение к себе, ты обязан дописать повесть до нашего отъезда и тем искупить свою вину». Раздались аплодисменты всеобщего одобрения, не возражал и я. Кто мало-мальски знает меня, тот всегда отмечает мою обязательность. Я забыл про море, пляж, соблазнительные компании, вечеринки



и дописал повесть. За день до отъезда я снова собрал гостей у себя на веранде. Среди гостей из Уфы был поэт Рафаэль Сафин, холостяк, и во время читки все невольно поглядывали на него — мол, смотри, как геройски действует Акрам-абзы. Повесть имела счастливую судьбу. Впервые я напечатал ее той же осенью в журнале «Дальний Восток», в Хабаровске, там служил мой сын. Она много переводилась, но особенно я рад публикации в журнале «Казан утлары». Строки из повести часто цитируются: «Акрам Галиевич не знал, что такое аэробика, но понял, что с кухней это никак не связано». В том же 1982 году я отправил повесть в Казань, в театр Марселю Салимжанову, которого знал лично, принимал его с коллегами дома в Ташкенте. Я всегда был уверен, что повесть — готовая пьеса. Но, как обычно поступают в Казани, мне не ответили. Жаль, тридцать лет назад это была бы первая в СССР пьеса о знакомстве по брачному объявлению на татарской основе. В 2008 году поэт Ркаиль Зайдулла написал пьесу по этой повести, и ее поставил Оренбургский театр, идет она и в Мензелинском театре с успехом. Упущено три десятилетия! А в искусстве ценятся новизна, первое слово.

В Домах творчества я познакомился и с русскоязычными писателями-татарами: Рустамом Валиевым, Ильгизом Кашафутдиновым, Романом Солнцевым, Рустемом Кутуем, Альбертом Мифтахутдиновым, Явдатом Ильясовым. С Альбертом, жившим в Магадане, я долгое время состоял в переписке, где мы постоянно затрагивали болезненную для нас проблему — отношения к нам Казани. Возможно, это огромная страстная переписка когда-нибудь всплывет, все-таки он был известным писателем. Из названных мною литераторов только я и Рустам Валиев крепко держались в творчестве татарской линии и все время стремились в Казань. Но даже те, кто чурался татарских тем, даже они были в обиде на Казань, говорили, что нас там не вспоминают, не приглашают, не издают. А ведь нас, татар, пишущих прозу, состоявшихся в русской литературе, и десятка не наберется, говорю вам ответственно, в эту десятку входят и казанские писатели Рустем Кутуй, Диас Валиев. Отчего к нам, единоверцам, такое равнодушие? Мы дети одного народа, и на нас, наверное, распространяется татарская государственность?



Возвращаясь к моим татарским университетам, хочу отметить отрадную деталь. Всякий новый писатель, с кем я знакомился, считая своим долгом просветить меня, говорил: это тебе обязательно надо знать! Это могли быть беседы о Дэрдменде или моем земляке Мирхайдаре Файзи, или о Наки Исанбете и Нури Арслане, Гумере Баширове и Абдрахмане Абсалямове, Аделе Кутуе и Кави Наджми. Я все впитывал как губка и никогда не путал Назара Наджми с Кави Наджми. Особенно любезны были со мной писатели, не обласканные славой и вниманием, они уделяли мне много времени, дарили книги, татарские словари. Уроки-лекции, данные ими от души, не забываются. Я всегда помню о них с благодарностью и могу заверить, что был благодарным студентом.

Мустай Карим уже лет двадцать пишет мемуары, они охватывают целую эпоху, надеюсь, мы увидим их в ближайшее время. Я знаю, в них много места занимает Малеевка, туда он ездил больше тридцати лет. Он любил Малеевку. В его воспоминаниях найдется место и многим татарским писателям, тоже любившим лунные дорожки Малеевки. По совету Мустая-абы я тоже вел записи в Домах творчества. Правда, большинство страниц посвящено Мустаю Кариму, я понимал, с каким человеком-титаном мне выпала честь общаться. В моих записях упомянуты все татарские писатели, с которыми мне довелось встречаться. Когда-нибудь я обязательно засяду за мемуары, и тогда более широко отвечу на ваш вопрос: где, как и с кем пересеклись мои литературные пути.

Когда-то в Ялте я подписал книгу Ильгаму Шакирову так: «Человеку, видевшему весь свой народ в лицо, глаза в глаза».

Это поистине так, не было в СССР поселения, где живут татары и где бы не побывал Ильгам Шакиров. Увидеть весь свой народ в лицо не удавалось даже императорам, посчастливилось только великому певцу.

Перефразируя сказанное в адрес Ильгама Шакирова, могу утверждать, что я — один из немногих, кто общался почти со всеми известными татарскими писателями за последние тридцать лет, и о каждом из них оставил страницы в дневнике.

— Скажите, пожалуйста, что, на ваш взгляд, сильнее в татарской литературе: проза, поэзия, драматургия?



— Безусловно, поэзия!

— Почему?

— Татарская поэзия выросла из тысячелетней традиции, она всегда питалась из вечного родника устного народного творчества. А проза от Галимджана Ибрагимова до Факиля Сафина имеет за плечами только век. Татарская романистика еще не сказала своего слова, в сравнении с поэзией.

— *Какой жанр, на ваш взгляд, будет востребован в XXI веке?*

— Исторический роман. Несмотря на глобализацию, XXI век пройдет под знаком национальной самоидентификации народов. В силу известных исторических причин на татарскую историю был наложен жирный крест, табу. История народа познается не только по учебникам и научным трактатам, а прежде всего по выдающимся романам, тому примеров много. История казачества — это «Тихий Дон» М. Шолохова, история казахов — роман-эпопея Мухтара Ауэзова «Путь Абая».

Даже первые исторические романы Флюса Латифи и Вахита Имамова вызвали огромный интерес, они уже переиздаются, переводятся. Я отвез эти романы в татарские общины Актюбинска, Мартука, передал родственникам в Ташкенте, Оренбурге, Алма-Ате, и там их уже зачитали до дыр, передавая из дома в дом, из рук в руки. В тех краях они сегодня самые известные писатели. Народ хочет знать свою историю в художественных образах, мелодиях, играх и даже в национальных костюмах. Такой интерес проявился у всех тюркских народов. У казахов, например, один за другим переиздаются романы Ильяса Есенберлина, в Ташкенте — романы о Тимуре Великом.

Я думаю, уже в ближайшие годы мы увидим новые романы, освещающие татарскую историю, они обязательно поднимут тонус народа. Уверен, найдется и библиотека татарских рукописей, исторических документов, пропавшая при взятии Казани, и писатели смогут работать с первоисточниками.

— *Оптимист вы, однако!*

— Почему же нет, если бы какой-нибудь татарский меценат объявил, что даст миллион долларов тому, кто укажет, где спрятана библиотека царицы Сююмбике, я думаю, долго ждать не пришлось бы, может, даже очередь образовалась.



— Рауль Мирсаидович, мне не дает покоя ваша похвала поэзии. Не пытаетесь ли вы льстить поэтам? Поэтому задам каверзный вопрос: отчего, в таком случае, поэзия не прозвучала во всю мощь в советское время, когда к литературе относились всерьез?

— Татарская поэзия обойдется без моей лести и без моих похвал. А не прозвучала она только по одной причине — отсутствия государственной поддержки, понимания властями важности литературы не только для своего народа, но и для утверждения его места в семье народов страны, мира.

— Можно понятнее, подробнее?

— Вы думаете, грузинская или какая-либо другая поэзия интереснее, глубже, тоньше татарской? Я отвечу — нет, и меня поддержат татарские поэты. Они ведь чувствуют емкость, образность, философию любой поэзии. Нужны только умные, талантливые, тонкие переводчики. Вернемся к грузинам, которых я очень хорошо знаю и люблю, они еще лет двадцать пять назад перевели на грузинский язык мою книгу «Чти отца своего». Я дружил со многими деятелями культуры Грузии, с ее футболистами: Месхи, Метревели, Цховребовым. Кто переводил грузин: Пастернак, Тарковский, Заболоцкий, Антокольский, Тихонов, Ахмадулина, Евтушенко, Луконин, Межиров, Леонович, Корнилов. Если буду продолжать, могу назвать еще два десятка достойнейших имен. Даже в годы войны Пастернак мало бедствовал, потому что переводил Тициана Табидзе, Реваза Маргиани, Карло Каладзе, Ираклия и Григола Абашидзе, Георгия Леонидзе, Паола Яшвили. Евтушенко даже построили дачу на море в Гульрипшах. Это в то время, когда под Казанью шесть соток невозможно было получить. А мы даже переводчика нашего великого дастана «Идегей» Семена Израилевича Липкина, переведившего, кстати, и Мусу Джалиля, не обласкали как следует. Я ведь последние годы жил в Переделкино с ним по соседству. Что ему запоздалая Государственная премия Татарстана в девяносто лет, он нуждался в тепле, заботе, ремонте своей разваливающейся дачи. В начале 1980-х он вышел из Союза писателей из-за запрещенного журнала «Метрополь» и вовсе бедствовал. Жаль, Липкину не довелось грузин переводить. Хороший переводчик внимания, любви, заботы требует, повышенные гонорары — само собой.



Переводчиков, а точнее, пропагандистов грузинской литературы принимали, как оперных примадонн или великих теноров, сам не раз видел это в Тбилиси, гулял с ними на закрытых госдачах. У нас в Казани самих-то поэтов вряд ли часто приветчают на госдачах и госприемах, какой уж тут разговор об их переводчиках.

К сожалению, не выпало татарской поэзии иметь своего Наума Гребнева и Якова Козловского, хотя свои Гамзатовы у нас были и есть. Не буду называть фамилии, сыпать соль на раны, имена наших корифеев у всех у нас на устах. Искать переводчиков, ублажать их должны не сами поэты, это дело литературных чиновников, власти. Государство должно заботиться о своих творцах.

Пишу эти строки, а перед глазами стоит недавно ушедший от нас растерянный от дикого российского капитализма прекрасный поэт, если не сказать больше, Мударрис Аглямов. Когда ему было думать о переводчиках, чтобы про его талант узнали в Европе, в мире? У него проблема была важнее — как выжить сегодня, и что будет завтра, если искусство, литературу переведут на коммерческие рельсы?

Даже в Узбекистане, на грандиозном юбилее Аскада Мухтара в 1980 году, году его 60-летия, я видел, сам устраивал в гостиницах и на госдачах переводчиков прозы и поэзии Аскада-абы, провожал их в аэропорт тяжело груженными. Думаете, это были заботы Аскада Мухтара? Нет, это ему и в голову не приходило, он встречался с гостями только за богато накрытыми столами, все остальное делали те, кому поручили курировать узбекскую литературу, и, конечно, высшая власть. Да и сам юбилей, отмечавшийся в лучших залах Ташкента и только что отстроенном роскошном ресторане «Зеравшан», вряд ли отнял у Аскада-абы много времени и сил, от него требовалось одно — дать подробный список высоких гостей, которых он хотел бы видеть на своем торжестве. День рождения крупного поэта — это государственная забота.

Запомнилось, как Аскад Мухтар говорил мне в дни юбилея: «Единственное место в стране, где еще почитается писатель, это Кавказ и Восток. Я даже в Москве никогда не признаюсь, что я писатель, ибо это вызовет только негативную реакцию». Он знал, что говорил. В конце 1970-х всем наиболее известным



писателям в Ташкенте построили в черте города в лучших районах двухэтажные особняки с хорошими участками. Хотя они имели в Дурмене (это как Переделкино или Рублевка в Москве) двухэтажные каменные госдачи с огромной территорией и персональными садовниками. Даже я, только вступив в Союз писателей, имея квартиру, тут же получил новую четырехкомнатную в элитном доме на Гоголя, где сосед справа был прокурор республики, слева — министр строительства. А после романа «Пешие прогулки» сразу получил участок под строительство загородного дома там же, в Дурмене, где через забор моим соседом был президент Усманходжаев. Только теперь, пытаясь издать свои книги в Казани и устроить там творческий вечер, я понимаю, как мудр был Асхад-абы, когда говорил: «только Восток ценит своих писателей».

Вот какую господдержку поэзии я имел в виду. Повторю очевидную истину: искусство, литература без любви, внимания, заботы, без меценатов, без финансирования — вообще умирает.

— *Может вы и правы, наших поэтов государство так не баловало. Но это было давно, а теперь повсюду намекают на самокупаемость, самофинансирование.*

— Приносить прибыль, быть рентабельными могут только бордели и шоу-бизнес. А мы с вами говорим о национальном искусстве. Для нашего большого и разбросанного по всему свету народа культура куда важнее экономики, только она еще объединяет татар и ничего больше. Даже такая еще вчера цементирующая сила, как религия, вдруг потеряла свою значимость. Любой татарин в европейской, арабской, азиатской стране может легко удовлетворить религиозную потребность без Казани. Какие мечети в Лондоне, Париже, Амстердаме, Варшаве, Мадриде, Хельсинки! Чтобы расцвела культура, нужна, как модно сейчас выражаться, только политическая воля. Хотите пример? Пожелали в Казани иметь конный спорт, автоспорт, футбол, хоккей, баскетбол европейского уровня — они мгновенно и появились. Чему я, большой болельщик, безусловно, рад. Радуюсь взлету профессионального спорта в Казани, как человек, знающий, что почем в спорте, сколько стоят приглашенные со стороны игроки, тренеры, содержание команд, спортивных баз, стадионов, медицинского обслуживания, миллионное страхование звезд, их быт, их передвижения,



зарплата чиновничьего аппарата и еще многое другое, хотел бы обратить внимание на эти астрономические суммы. Могу с погрешностью в пять-семь процентов даже назвать суммы этих затрат, но не хочется сыпать соль на раны коллегам, людям чутким и эмоциональным. Однако сравнить попытаюсь, уверен — надо. Как вы помните, в советское время деньги на культуру выделялись по остаточному принципу, главными статьями расходов были: армия, космос и содержание левацких режимов во всем мире. Но даже тот период в Казани вспоминают как лучшее время для искусства. На мой взгляд, все яркие достижения литературы и искусства связаны с советским периодом, имена, известные миру: Рудольф Нуриев, София Губайдулина, Ирек Мухамедов — из того времени. Если бы культура получала хотя бы двадцатую часть того, что имеет сегодня спорт, у нее настал бы золотой век! Я не ставлю задачу противопоставлять культуру спорту, слава Аллаху, хоть спорт у власти в почете. Но в условиях российской действительности, где вся жизнь пронизана коррупцией, взяточничеством, и спорт весь продажный: от судей до самих игроков. Оттого любая победа, успех — сомнительны, не греют душу, не радуют. Если бы спорт в России был чистым, честным, то победы как-то оправдывали бы столь высокие расходы, а так — деньги на ветер.

Я вырос вдали от Татарстана, но кто знает меня, может подтвердить, во мне татарского гораздо больше, чем у многих живущих там. И эти качества сложились благодаря силе искусства, благодаря тем песням и мелодиям, что я слышал в детстве, тем рассказам, которым я внимал в застольях родителей. Для меня, повторюсь, человека не чуждого спорту, творчество одного Ильгама Шакирова гораздо выше любых побед «Рубина» и «Ак Барса» или кубка в ралли Париж — Дакар, или награды за победу любимого жеребца президента на ипподроме.

Уже почти век живет на сцене пьеса «Зангар шаль», уверен, что и последующие сто лет она будет греть сердца людей. Искусство, литература, как правило — труд одиночек. И их, творцов, казалось бы, поддержать легче, чем спортивные команды, но не получается, к сожалению.

Балетные спектакли готовят годами, но идут они десятилетиями, балетам Дягилева, Фокина уже почти сто лет, и они не сходят со сцены. Музыка Фариды Яруллина к балету «Шурале»,



его оркестровые пьесы уже полвека пробуждают в татарах гордость за свою культуру, задевают в душе национальные струны. Я уверен, что победы слетевшихся со всего света за огромные деньги в не очень богатую республику варягов-легионеров, бьющихся за казанский футбол, хоккей, баскетбол, не могут вызывать подобные глубокие чувства. Уверен, гораздо больший эмоциональный подъем чувствуют зрители, когда чествуют на сабантуях истинных богатырей земли татарской.

Профессиональный спорт — часть масс-культуры, и я думаю, он не должен иметь преимуществ в финансировании перед национальной культурой. Это несравнимые величины, ни по каким параметрам, ни в краткосрочной перспективе, ни с оглядкой на будущее нашего народа. А спорт, прежде всего массовый, конечно, надо развивать, татары — спортивная нация, это общеизвестный факт.

Позволить себе рассчитывать на окупаемость культуры может только очень большой народ, например, русский, где читателей, слушателей десятки миллионов. В России одних писателей, даже сегодня, под сто тысяч. Они могут рискнуть пойти рыночным путем, хватит и тех, кто выживет, не умрет. Коммерциализация русской культуры уже дает себя знать, результат известен каждому, и нет нужды обсуждать ее плоды. Татарская культура может выжить только с помощью государства — это аксиома. Она не выдержит даже кратковременного эксперимента.

Убежден, культуру восстановить гораздо труднее, чем экономику. Примеров тому немало: возьмите процветающую Турцию, там нет профессионального театра, книгоиздания, в нашем понимании, да и литература не развита. То же самое и в Греции, где бываю часто, там только восемь лет назад появился оперный театр европейского уровня. А казанскому оперному театру уже более полувека. Отстав однажды в культуре, останешься навсегда на задворках истории, это не спорт — сегодня проиграл, завтра выиграл.

Есть решение этой проблемы и в условиях рынка, пример совсем недалеко, в братском Казахстане.

Недавно Нурсултан Назарбаев дал обширное интервью «Литературной газете». Касался он там и проблем культуры, наравне с другими проблемами, и не по остаточному принципу —



останется время, скажу пару слов и о культуре. В Казахстане принята и уже реализуется государственная программа развития культуры. Давно определен перечень книг, которые в обязательном порядке переведут и издадут на русском и английском языках. Другого пути заявить о себе в мире — нет. Вот праздник-то у казахских писателей, не грех и выпить за здоровье власти! А я изданные миллионными тиражами на русском языке книги не могу выпустить на татарском. Книги, кстати, уже переведенные по моей инициативе. Чувствуете разницу в государственном подходе?

— *И все-таки я хочу вернуть вас к поэзии, которую вы так высоко оценили. Какой период поэзии, какие поэты вам близки по духу?*

— К поэзии я приобщился в возрасте, когда формируются вкусы, взгляды на жизнь, на искусство — в пятнадцать лет. В Актюбинске мне дали на ночь аккуратно переписанную от руки толстую в коленкоре тетрадь запрещенного в ту пору Сергея Есенина, с тех пор я и дружу с Поэзией. В ней, как я уже не раз говорил, есть ответы на все вопросы бытия. Поэзия мне нужна и в радости, и в дни печали, в нее я убегаю от невзгод, неудач, плохого настроения. Не побоюсь сказать крамольную, на взгляд литературоведов и национал-патриотов, мысль, что большая поэзия вненациональна, она не имеет границ. Хотя я прекрасно понимаю, что любая поэзия сильна национальными корнями. Но лучшие ее образцы становятся достоянием всего человечества и воспринимаются вне национального контекста. В этом сила больших литератур, больших поэтов, питаюсь национальными корнями, им удается воспарить над местечковостью и подняться не только над своим аулом, но и над всем миром. В последние десятилетия, когда открылся мир, я часто бываю за границей, всегда захожу в Европе в книжные магазины и везде встречаю прекрасно изданные книги Омара Хайяма, Рудаки, Хафиза. Впервые этих поэтов перевели англичане еще полтора века назад, а от них, да и от русских переводов А. Тхоржевского, отпочковались немецкие, французские, испанские, итальянские переводы. Но это сути не меняет, важна данность, поэзия Востока востребована как никогда.

Мое увлечение поэзией пришлось на время, когда она оказалась на пике своего расцвета, популярности, могла



соперничать с эстрадой, собирала полные залы Дворцов и переполненные трибуны стадионов. Тиражи поэзии равнялись тиражам прозы. Шестидесятые-семидесятые годы стали временем поэтов, ежегодно издавался альманах «День поэзии», страна знала, любила своих поэтов. Увлечшись поэзией, я, конечно, не пропускал и татарскую, прежде всего Мусу Джалиля и Габдуллу Тукая. В начале 1970-х я приобрел книгу стихов Равиля Файзуллина «Саз», изданную в «Молодой гвардии», до этого я часто встречал его стихи в периодике, его имя уже гремело в литературе. По-настоящему я полюбил татарскую поэзию, когда начались мои татарские университеты в Домах творчества. Стихи Туфана, Сибгата Хакима, Зульфата я впервые услышал из уст Мустая Карима и Мусы Гали. Очень красиво читал стихи Рафаэль Сафин. На всех вечеринках в Домах творчества читали стихи. В Домах творчества сложилась традиция устраивать творческие вечера с участием приехавших на отдых поэтов. Однажды в 1978 году в Коктебеле я слушал на таком поэтическом вечере Рената Хариса. Помню, на русском он читал стихотворение «Русские ворота» и еще четыре стихотворения по-татарски. Читал великолепно, зал аплодировал ему долго, хорошая поэзия чувствуется по ритму, размеру, звуковому ряду. К этому вечеру в Крыму я уже ориентировался в татарской поэзии.

К восьмидесятым годам, хотя и работала еще старая гвардия больших поэтов: Туфан, Сибгат Хаким, уже сформировалась группа литераторов, которая на долгие годы станет определять лицо нашей поэзии. Уже четверть века я внимательно слежу за их творчеством, редко в какой поэзии выпадает на один временной отрезок такой щедрый звездопад талантов. На всякий случай зарезервирую для себя в литературоведении определение этой группы как Великое поколение. Большинству из них сегодня за шестьдесят, кому чуть больше, кому чуть меньше. Это, на мой взгляд, Равиль Файзуллин, Зульфат, Радиф Гаташ, Мударрис Аглямков, Ренат Харис, Гарай Рахим, Рустем Мингалимов, Зиннур Мансуров, Роберт Ахметзянов, некоторых из упомянутых, к сожалению, уже нет с нами. Выскажу и такую парадоксальную мысль: родись они в разные периоды истории, каждый из них, индивидуально, стоял бы на золотом пьедестале поэзии. Нам выпало счастье знать, видеть, читать их в одно



время, но по-настоящему разглядят их только наши потомки. Бывает так, что среди многих бриллиантов трудно разглядеть единственный, самый-самый. О них написано столько статей, исследований, монографий, что моя хвалебная оценка их творчества — излишняя. Любопытна она одним — это взгляд человека любящего, знающего поэзию и наблюдающего, что ни говори, со стороны. В этом мое право на оценку. Обидно, что никому их них, кроме Файзуллина, не удалось вырваться на всесоюзную орбиту, но это не их вина и не слабость их поэзии. Повторюсь, поэзия нуждается в покровительстве.

— *Я согласен с оценкой названных вами поэтов, но вы сами говорите, средний возраст у них за шестьдесят, а поэзия — дело молодое. Отчего ярко не заявляют о себе, как ваши кумиры, молодые?*

— Поколение поэтов, которых я назвал, подняло планку поэзии столь высоко, что еще десятилетиями мы будем замечать этот провал, немощь идущих вслед поэтов. Тут причин много — и слабость образования в последние двадцать пять лет, и резкое падение уровня культуры, и потеря интереса к самой литературе, признаем это. Каждый из названных мною поэтов и все они вместе сделали революцию в татарской поэзии. Они раздвинули ее границы, обогатили рифмой, формой и, прежде всего, философичностью, интеллектом, кругозором, образностью. Это поколение имеет прекрасное образование, за плечами некоторых и очная аспирантура, оно впитало не только родную культуру, историю, но и мировую. Идущий впереди них по возрасту Марс Шабаев, чувствуя потребность в развитии границ поэзии, перевел даже Уитмена. Сегодня я думаю, что его перевод в первую очередь был адресован этому поколению. К сожалению (может, я ошибаюсь в своём личном мнении), это первое такое мощное интеллектуальное поколение и, скорее всего, последнее. Этому поколению, к которому принадлежу и я, повезло, нас воспитало время, расцвет национальных культур, благополучие и мощь страны и высокое место писателя в культурной жизни общества.

Конечно, поэзия никогда не иссякнет, есть и в молодом поколении таланты: Ркаиль Зайдулла, Марат Закиров, но перед ними взяты такие высоты, такие эвересты, что дух захватывает! Это, если сравнить со спортом, всё равно что после Боба



Бимона, двадцать семь лет назад прыгнувшего в длину на восемь метров девяносто сантиметров, — заниматься прыжками. И после Боба Бимона каждый год появляются чемпионы мира, Европы, олимпийские чемпионы, им вручают золотые медали, безумные гонорары, но никто, уверяю вас, не забывает, что были восемь метров девяносто сантиметров! Великое поколение оставит после себя не только большую поэзию, но и высоко поднятую планку ее возможностей. Вот такими ориентирами и сильна мировая поэзии.

— *Сегодня в беседе с вами мы забрели далеко в литературу, и, пользуясь тем, что вы не уходили от вопросов, отвечали искренне и на все имели свой выстраданный взгляд, не шутка — тридцать лет биться за место в татарской литературе, имея за собой реализованный успех в русской словесности, — я задам вам вопрос, очень волнующий меня самого, кстати, он неожиданно возник из нашего разговора. В шестидесятые у идеологов Кремля родилась благая идея — выделить из национальных литератур яркие имена и, всячески поддерживая их, демонстрировать заботу о литературах больших и малых народов. Для примера напомним: Киргизия — Чингиз Айтматов, Казахстан — Мухтар Ауэзов, Туркмения — Берды Кербабиев, Таджикистан — Мирзо Турсунзаде, Узбекистан — Гафур Гулям, Калмыкия — Давид Кугультинов, Башкирия — Мустай Карим, Дагестан — Расул Гамзатов, Чукотка — Юрий Рытхэу. Почему не нашлось такого лидера у нас, и кто, на ваш взгляд, мог претендовать на такую миссию?*

— Этот вопрос беспокоит не вас одного, он беспокоит уже которое поколение татар, волновал он и меня. В опубликованных в «Казан утлары» записных книжках Аяза Гилязова он касался этой темы. Он назвал несколько фамилий, в том числе и Амирхана Еники, на его взгляд, не подходивших на эту роль. Но кого он хотел бы видеть лидером, так и не сказал. Наверное, не хотел никого обидеть и унес тайну с собой навсегда. Но вопрос вы задали настолько больной, острый, что его обязательно надо ставить перед всеми известными писателями, и из их ответов мы получим картину — почему и кто? Конечно, часто обсуждали эту тему и в Домах творчества, потому она для меня не нова. Сегодня мне шестьдесят три года, я вошел в возраст пророка, отдал десятки лет литературе, и я выскажу



свое мнение об этой старой ране, а точнее, об упущенном нашей литературой шансе.

Я вижу кандидатуру только Туфана, он имел для этого все: талант, авторитет, любовь народа.

— *Но вы упустили из виду, что он был репрессирован и долгие годы провел в Сибири.*

— Знаю, хорошо знаю. Много о нем читал, много слышал от людей, близко знавших его. В такой же ситуации и там же, в Сибири, находился и Давид Кугультинов, но это не помешало ему стать одним из самых заметных поэтов страны. Дело не в Туфане, а во власти, если бы в ту пору обком возглавлял человек уровня Минтимера Шаймиева, он, безусловно, сделал бы ставку на Туфана. Но не было в ту пору таких людей, к сожалению. Думаю, и писатели не очень рвались отдать пальму первенства кому-то одному, даже Туфану. Тут я должен оговориться, что эту мысль о писательском «единстве» я не раз слышал от старшего поколения татарских писателей. И Аяз Гилязов в упомянутых записных книжках говорит вскользь о такой ментальности своих собратьев по перу, говорит с сожалением. Если не я, то и никто другой — и сегодня прослеживается в наших рядах. Не судьба, не повезло ни татарской литературе, ни великому Туфану, как не везло ему в жизни с книгами, переводами. Жаль, какое прекрасное сочетание, какая великая преемственность получилась бы: Тукай — Туфан! Но это реально упущенный вариант, а был еще один, теоретический, для многих он может показаться фантастическим. Но я все же пофантазирую на эту тему, ибо так поступили мудрые казахи. Вместе со стареющим Мухтаром Ауэзовым они все время упорно поднимали молодого Олжаса Сулейменова. Когда Мухтар-ага ушел из жизни, Олжас автоматически занял его место. Я хочу сказать, что вместе с Туфаном следовало делать ставку и на Равиля Файзуллина, звезда которого в то время разгорелась даже ярче, чем Олжаса Сулейменова, кстати, ровесника и друга Равиля Файзуллина.

Сегодня, когда прошли десятилетия, Равиль Файзуллин своей жизнью, талантом, многотомным творчеством подтвердил, что вырос в крупнейшего поэта, и ставка на него в свое время оказалась бы только любезностью, авансом. Я думаю, что в те годы он



уже стоял рядом с Евтушенко, Вознесенским, Рождественским, теми же Олжасом Сулейменовым, Мумином Каноатом, который мгновенно сменил умершего Мирзо Турсунзаде. Но в творчестве Рагиля Файзулина случился неожиданный перерыв. Почти пятилетняя командировка в Альметьевск, а перед этим еще два года в армии — и он потерял на время высоко набранный со студенческих лет яркий полет. Зная творчество Файзулина, думаю, что работа в Альметьевске не пошла на пользу его поэзии, он не чиновник по своей сути, душевному складу, он глубоко литературный человек, в его жилах течет поэтическая кровь. Надо отметить, что и власть не очень баловала его, но, слава Аллаху, она и не очень мешала ему работать, жить своей жизнью, своими взглядами. Но поверьте моему литературному чутью, он еще крепко удивит нас неожиданными гранями своего таланта, новыми произведениями.

Вот такой расклад ситуации я даю, думаю, он вызовет новые дискуссии, так бывает, когда перевязывают старые раны.

— *Почему вы выбрали для жизни Ташкент? И что вас натолкнуло на занятие литературой?*

— Я пришел в литературу из строительства. Пришел поздно — первый рассказ написал в 1971 году в тридцать лет. Меня с молодых лет, с юности влекло искусство: музыка, балет, живопись, литература, театр, кино, эстрада. В Ташкент я приехал в 1961 году и поставил себе задачу пересмотреть весь репертуар всех столичных театров. За год я с этой программой справился, включая и узбекский театр Хамзы, где тогда блистали непревзойденные актеры Шукур Бурханов, Аброр Хидоят, Сара Ишантураева. Я даже стал ходить на концерты узбекской музыки, и с тех пор для меня лучшим певцом остается Фахретдин Умаров. Репертуар театров я пересмотрел не один раз. Мое постоянное присутствие в театрах было замечено кругом ташкентских театралов и меломанов. В те годы я подружился с молодым балетмейстером Ибрагимом Юсуповым, учеником Юрия Григоровича. Почти вся вторая половина XX века узбекского балета связана с его именем. В 1964 году Ибрагим Юсупов поставил в Ташкенте балет «Спартак». На премьеру приезжал сам великий композитор Арам Ильич Хачатурян. В ту пору любой творческий коллектив, гастролировавший по стране, непременно посещал Ташкент.



Не могу удержаться от перечисления коллективов, бывавших в Ташкенте, или, точнее, тех, чьи выступления мне удалось увидеть самому: Ленинградский БДТ Георгия Товстоногова, театр Николая Акимова, Кировский балет, где блистала ташкентская балерина Валентина Ганибалова. Знаменитый МХАТ, «Современник», Театр сатиры, Театр Аркадия Райкина. В Ташкенте регулярно с большой помпой проводились Декады национальных искусств всех республик. Столица в ту пору имела пять больших концертных залов: Театр имени Свердлова у сквера, Театр эстрады на Навои, Ледовый дворец, концертный зал с органом «Бахор» и, конечно, великолепный Театр оперы и балета имени Навои, а чуть позже появится и роскошный Дворец дружбы народов. Кто только в них не выступал! Доминико Модунио, Жильбер Беко, Марсель Марсо, Сальваторе Адамо, Том Джонс, Хампердинк, Джорж Марьянович, Радмила Караклаич, Эмил Димитров, Лили Иванова, великий Николай Гяуров, Марыля Родович, Карел Готт, Дан Спатару и т. д.

О советских звездах и именитых коллективах я и не говорю, все достойные побывали в Ташкенте, и не раз. В те годы были модны мюзик-холлы, был и ташкентский мюзик-холл, в котором блистали Юнус Тураев, Науфаль Закиров. Ни один мюзик-холл, а их в стране было четырнадцать, не проехал мимо Ташкента. Гастролировали у нас и мюзик-холлы из-за рубежа. Приезжали в Ледовый дворец Ташкента и мюзик-холлы на льду — незабываемое красочное зрелище!

А какие оркестры, великие биг-бэнды оставили свой след в Ташкенте: оркестр из ГДР «Шварц-вайс», испанский оркестр «Маравелья», оркестры Олега Лундстрема, Эдди Рознера, Юрия Саульского, Александра Цфасмана, Рауфа Гаджиева, Мурада Кажлаева, оркестр Дмитрия Покрасса, Леонида Утесова, оркестр Анатолия Кролла «Современник». В 1960-е годы А. Кролл возглавлял Государственный эстрадный оркестр Узбекистана, в котором пел незабвенный Батыр Закиров!

Знаменитый джаз-оркестр Карела Влаха с его бессмертным «Вишневым садом»! А несравненный саксофонист Папетти с итальянским оркестром «Палермо»! Даже легендарный оркестр Бенни Гудмана (США), давший в СССР всего два концерта, один из них провел в Ташкенте.



Когда в столице появился новый органнй зал «Бахор», по тем временам лучший в СССР, все известные органисты, такие как Гарри Гродберг, бывали у нас по пять-шесть раз в году. Обязательно надо упомянуть и Государственный симфонический оркестр Захида Хакназарова, выступать с его коллективом приезжали выдающиеся музыканты со всего мира.

А какие шумные проводились в столице поэтические вечера, на которых с блеском выступал молодой поэт Александр Файнберг!

Вот такой пространнй ответ на ваш короткй вопрос — почему я выбрал для жизни Ташкент.

Такое высокое искусство формировало зрителя, и я благодарен времени, Ташкенту, своему окружению, что они повлияли на мои вкусы, мировоззрение. Дали мне культурный багаж, с которым можно было вступать в литературу, в жизнь.

Но прежде чем перейти к тому, как я начал писать прозу, мне хотелось сказать несколько важных для меня слов о самом массовом явлении культуры — кино.

Наверное, человек, внимательно читающий этот текст, уже задался вопросом: почему молодой провинциал из казахской глубинки решил одолеть репертуар всех ташкентских театров? Верно. Человек не может вдруг, в одночасье, стать заядлым театралом или меломаном, для этого нужна веская причина или чье-то влияние: семьи, друзей, возлюбленной.

Ташкент прельщал меня как культурный центр, он близок мне по ментальности, а к решению переехать сюда подтолкнул кинематограф, давший мне первые представления о культуре, другой жизни. Я дружу с кино с детства.

Моему поколению повезло с кинематографом: он родился в нашем веке, стал зрелым к нашим юным годам и на наших глазах вместе с нами умирает.

С киношниками Ташкента я познакомился сразу. Я хорошо знал Джамшита Абидова, Мелиса Авзалова, Равиля Батырова, Али Хамраева, Адильшу Агишева. Киношники и указали мне путь в литературу, можно сказать — командировали. Как-то на презентации фильма Али Хамраева я сделал невинное, на мой взгляд, замечание, которое задело мэтра, и он мне ответил с иронией: напиши что-нибудь сам, а я обязательно это экранизирую. Сказано было прилюдно, и меня это очень



затронуло. Я вернулся домой и за три дня написал рассказ «Полустанок Самсона». Он был напечатан в московском альманахе «Родники» и с тех пор издавался раз тридцать, по нему делали радиопостановки. Это случилось осенью 1971 года.

Сегодня я понимаю, что те десять первых лет жизни в Ташкенте, прошедшие в насыщенной высокой культурой среде, и явились причиной того, что я начал писать, а реплика знаменитого режиссера лишь послужила толчком, рано или поздно это все равно бы случилось. В сорок лет я оставил строительство и уже тридцать лет живу жизнью профессионального писателя. Написав с десятков книг повестей и рассказов, я вдруг почувствовал, что мне тесно в рамках малого жанра. Наверное, к роману меня подтолкнуло и время, я видел закат коммунистической эпохи. К тому времени я общался не только с людьми искусства, среди моих друзей уже были представители высшей власти. В начале 1980-х годов меня стала волновать тема «человек во власти», «власть и закон». Я видел заметное раздвоение личности у людей во всех структурах власти, ощущал все нарастающую несправедливость вокруг, как и сегодня. Общество ждало перемен. И я написал роман «Пешие прогулки». Роман почти одновременно вышел в Москве и в Ташкенте, причем местный тираж был 250 000 экземпляров! Беспрецедентный случай! С выходом «Пеших прогулок» я получил широкую известность.

— В тетралогии «Черная знать» сквозной герой — Артур Шубарин по кличке Японец. Фигура, на первый взгляд, отрицательная, но по мере того, как мы его узнаем, невольно происходит метаморфоза восприятия — он вызывает симпатию, уважение. Он — личность. Где вы встречали подобных героев, и есть ли они вообще? Любопытен и герой вашего романа «За всё — наличными» — Тоглар. Вы его не приукрашиваете, начинаете с его уголовного прошлого, с побега из чеченского плена, указываете на криминальный характер его деятельности. Но ваш герой, вопреки вам, опять вызывает если не уважение, то сочувствие точно. А это немало в наше бессердечное время. Во всех романах чувствуется прекрасное знание вами делового мира с его непростыми взаимоотношениями, кодексом поведения — откуда столь специфические сведения?

— Ташкент всегда славился людьми энергичными, хваткими, как их тогда называли — деловыми. Из Ташкента братья



Черные, бывшие алюминиевые магнаты, миллиардеры Алишер Усманов, Искандер Махмудов. О простых миллионерах я не упоминаю, хотя могу назвать навскидку десятки ташкентских миллионеров, живущих сейчас в Москве. Из Ташкента всемирно известный Алимджан Тохтахунов, в прессе его чаще называют Тайванчик, хотя правильно — Тайванец. Он является президентом Ассоциации высокой моды со штаб-квартирой в Париже. Я знаю его с юных лет, с 1964 года, знал и его младшего брата Малика, к сожалению, рано ушедшего из жизни. Могу утверждать, что он человек с очень тонким вкусом, прекрасно разбирается в живописи, антиквариате. Уроки балета его дочери Лоле, танцующей в Большом театре, давала в свое время на дому сама великая Суламифь Мессерер, недавно умершая в Лондоне. О дружбе Тохтахунова со знаменитыми артистами наслышаны все, но имеют в виду только московских, а он прекрасно знал цвет артистической богемы Ташкента, особенно в семидесятые-восемидесятые годы. Мало кто ведает, что в Лондоне, в самых респектабельных районах, есть сеть роскошных магазинов люксовых товаров, которыми руководит наша молодая землячка очаровательная Гуля Талипова. Эти магазины возникли только благодаря знанию мира высокой моды Аликом, как называют его близкие друзья. Наверное, у многих еще в памяти скандал, связанный с олимпийскими медалями в фигурном катании, в который он попал. Тогда выдающиеся деятели культуры встали горой на его защиту. Алик присутствует в двух моих романах — «Ранняя печаль» и «За все — наличными». Уверен, такой яркой личности, как Алик Тохтахунов, будут посвящены десятки книг, о нем снимут фильмы. Судьба его гораздо интереснее самого захватывающего детектива, никакой сериал не сравнится с его жизнью. Алимджан Тохтахунов имеет и высочайшие европейские награды. Об одной из них следует рассказать.

В 1920 году, когда из Крыма уходила армия генерала Врангеля, она воспользовалась остатками российского боевого флота на Черном море. Флот из ста двадцати кораблей возглавлял контр-адмирал Михаил Андреевич Беренс, он вывез в эмиграцию сто пятьдесят тысяч офицеров и солдат. Флот нашел пристанище в порту города Бизерты Туниса, тогдашней колонии Франции. Оттуда русские растеклись по всему



миру, но огромная их часть прижилась в Тунисе. В городе Мегрине есть русское кладбище, где похоронен контр-адмирал М.А. Беренс. Власти Туниса в 2001 году решили снести бесхозное кладбище. Русские эмигранты во всем мире стали собирать пожертвования на перенос в другое место хотя бы части кладбища, где похоронены многие достойные люди России, в том числе адмирал Беренс. Кстати, Беренс — одна из старейших морских фамилий России и ее гордость. Но сбор денег успеха не имел. Тогда русские эмигранты первой волны и их потомки обратились к жившему в ту пору в Париже Тохтахунову, и он дал необходимую сумму. За этот великодушный и щедрый поступок его посвятили в рыцарский сан и наградили орденом святого Константина.

Тохтахунов — известнейший меценат, одно перечисление адресатов его пожертвований может занять сотни страниц.

Конечно, узнав о моем общении в Ташкенте с такими людьми, вы понимаете, что образы Артура Шубарина, Коста, Ашота, Аргентинца в тетралогии «Черная знать» не случайны. Кстати, алюминиевый король Лев Черный и Алик Тохтахунов — одноклассники. Щедря ташкентская земля, если в одном классе вырастила сразу двух ярких людей XX века.

Несколько глубже и трагичнее фигура Тоглара-Фешина из романа «За все — наличными». Фешин по происхождению дворянин, его дед Н.Н. Фешин — реальное лицо. В 1922 году, уже известным художником, академиком живописи, он эмигрирует в Америку. Там его талант развернется во всю мощь, он познает славу, успех, большие деньги. Но даже те картины, которые остались в России и хранятся в Казани в Государственном музее изобразительных искусств Татарстана — бесценное наследие.

Одной из моих тайных задач в работе над романом было привлечь к имени Фешина широкое внимание, и, кажется, мне это удалось. Я сам известный коллекционер, и мне очень нравятся картины Фешина, хотя, к сожалению, в моей коллекции их нет.

Но вернемся к роману. Оставшийся в России внебрачный сын Фешина, в двадцать два года потеряв на войне руку, кормит семью тем, что рисует для базара в нищем послевоенном Мартуке картины. Внук Фешина становится самым известным



«гравером» — так на жаргоне называют фальшивомонетчиков, он создает тот самый супердоллар.

Книга — о падении дворянского рода Фешиных из-за перманентных исторических катаклизмов в России. История о Тогларе-фальшивомонетчике мне понадобилась, чтобы показать, какую экономическую диверсию совершили американцы в России. За бумажки-доллары, которые Америка печатает денно и нощно и отправляет в Москву тоннами, гигантскими транспортными самолетами, каждую неделю уже тринадцать лет подряд, скуплены национальные богатства России: земля, недра, леса, заводы, фабрики, шахты, политики, власть.

— В романе «За все — наличными», он напечатан в «Казан утлары», прекрасно описан Париж, Дом моды Кристиана Лакруа, балетный фестиваль Джона Кранко, вечера в известных парижских ресторанах. Есть запоминающиеся сцены в Лондоне, в отеле «Лейнсборо». Лучше всего, конечно, описан московский ресторан «Пекин». Как вам пришла в голову идея этого романа о роскошной жизни, крупных аферах, о великих «каталах» и больших деньгах, приносящих не только радость, но и гибель? И много ли у вас в запасе таких историй для следующих романов? Упомяните хотя бы одну из них вкратце.

— Идея возникла у меня давно, но не хотелось бы лишний раз искушать людей, подливать масло в огонь, кругом и без того давно кипят страсти. Ведь вдруг, в одночасье, вся мораль рухнула, перевернулась с ног на голову. У людей появился новый бог, новая религия — деньги. Поистине — искушение дьявола. За деньги люди готовы не только душу запродать, но и, не задумываясь, убить, украсть. И в этот момент разгула дикого капитализма в России, когда миллионерами становились по росчерку пера высокого чиновника или в результате откровенного разбоя, я неожиданно получил заказ от одного издательства.

В те годы, в начале девяностых, у меня книги выходили потоком, тетралогия «Черная знать» переиздавалась и переиздавалась, и мое имя было у многих на слуху. Просили написать роман с хорошей интригой, желательно на реальной основе, как и все мои романы, но... главным было условие — показать роскошную жизнь, как я понял — пособие для нуворишей, как красиво тратить большие деньги. Сначала разговор



с издателем я не принял всерьез, но он запал мне в душу, чуть позже я объясню почему. Но второй, третий звонок и личный визит издателя, да и эксклюзивный гонорар убедили меня. Табу, что я поставил себе как писатель — не искушать людей всуе, уже давно было снято вокруг: прессой, телевидением, западным кино, кстати, и высокой модой тоже. И отказываться не имело смысла. Как раз в те годы пошлость заполонила все вокруг, и с тех пор пошлость и маразм с каждым годом все крепчают и крепчают в геометрической прогрессии. Пошлость во всем. Пошлость стала нормой жизни, пошлой стали даже власть, политика.

Начиная роман, я знал одно: не буду потрафлять вкусам толпы — клубнички, вульгарности в романе не будет. Еще до «Пеших прогулок» я поставил перед собой задачу писать так, чтобы мои книги читали и интеллектуальные снобы, и дальнобойщики, и студенты, и рабочая молодежь. И мне это удалось. Я сужу по тем мешкам писем, что получал в свое время после «Пеших прогулок», и продолжаю получать их сейчас по электронной почте.

Но вернемся к вашему вопросу. В Париже я бывал и в советское время. Первый раз в 1979 году, кстати, в одной группе с дочерью Шарафа Рашидова Светланой, очаровательной, культурной, прекрасно воспитанной, знающей иностранные языки молодой женщиной. И ресторан «Пекин» в романе не появился случайно. С 1963 года я часто ездил в Москву в командировки. Сорок лет назад «Пекин» был очень стильным отелем с лучшим в Москве рестораном. Поселившись там однажды случайно, я всеми правдами и неправдами добивался там места. Рядом был «Бродвей», и «Пекин» находился в окружении пяти театров: «Современника», Театра сатиры, театра «Эрмитаж», театра Сергея Образцова и Концертного зала имени Чайковского. Все — в трех минутах ходьбы. Согласитесь, для театрала, меломана — это подарок Всевышнего. В гостинице имелось бюро обслуживания иностранцев, куда я очень быстро нашел ход, и проблема с билетами в театр, любой, была решена навсегда. Но когда в 1975 году я стал писателем, проблемы с гостиницами и билетами снялись сами собой. Лет двадцать пять я регулярно жил в «Пекине», отсюда мое знание Москвы шестидесяти-семидесятих годов. Отсюда ностальгическая любовь к



«Пекину», где прошли мои зрелые годы, поэтому он и появился на страницах романа.

Еще в семидесятые я собирал материал «о другой жизни», в основном из журналов «Америка», «Англия», «Плейбой», из зарубежных газет, тайком приобретающихся опять же в «Пекине». Нынешним молодым кажется, что только с Абрамовичем и с новыми русскими мир увидел роскошные яхты, личные самолеты, часы «Адемар Пиге» и «Патек Филипп», «Юлисс Нардан» с непременно турбийоном, стоимость которых зашкаливает за миллион. Или вечеринки в Куршавеле, где новые русские оставляют за вечер сотни тысяч долларов и которые всегда заканчиваются дракой и битьем посуды. Ведь кроме денег для красивой жизни нужно еще много чего, например — культура для начала.

Получив заказ, я стал в копать в своем архиве и нашел там много заманчивых материалов: о султанине Брунея Балдияхе, короле Марокко Хасане Втором, прекрасно одевавшемся и дружившем со многими кутюрье. Нашел материалы об Агахане, лидере исмаилитов, понимавшем толк в изысканной жизни, он был одним из богатейших людей мира до середины 80-х. Отыскал материалы об арабских шейхах, они удивляли свет в 60-х, 70-х, 80-х, — все лучшее в мире приобреталось ими. Высокая мода, дожившая до наших дней, обязана долголетием прежде всего им, они двинули индустрию роскоши на десятки лет вперед. Но все эти материалы, к сожалению, мне никак не подходили, нужен был русский кутила, герой вроде князя Феликса Юсупова, человека рафинированной культуры. Но, увы, такого персонажа я не нашел и с грустью отказался от архивов, не пригодившихся для романа «За все — наличными».

Но сегодня, готовясь к интервью, я понял, кое-что из моих старых записей вызовет интерес у ваших читателей. Какое-нибудь забытое для знатоков светской жизни имя теперь для многих может прозвучать впервые. Выбирая для журнала персонаж поколоритнее, я обнаружил такую странность, а, точнее, закономерность: великими транжирами были в основном восточные люди, мусульмане. У них тяга к роскоши в крови, хотя я нашел в своих записях и нескольких европейцев с королевскими фамилиями, принцев крови, или фамилии, принадлежащие



к известным банкирским домам. Они тоже внесли свою лепту в безумную гонку роскошной жизни, но все равно, во всех их поступках, даже вызывавших у меня восхищение, я чувствовал европейскую рациональность, видел предел их увлечений, у всех них есть тормоза. А я хочу поведать моим землякам о человеке без тормозов, он умел зарабатывать миллиарды и тратил их без оглядки, без сожаления, со вкусом, широко, с шиком. Я имею в виду легендарного плейбоя 60-х—70-х Аднана Кашоги.

Он сириец по происхождению, из простой семьи, отец его служил врачом у короля Саудовской Аравии — Абдель Азиза. Первые десять тысяч долларов Аднан заработал в США, куда приехал учиться. Восемнадцатилетний первокурсник становится в Сиэтле агентом завода грузовых машин. В 1956 году ему удалось запродать эти грузовики саудовской армии, был ему в ту пору двадцать один год. Одолеl Кашоги только три семестра университета в Чико, хотя начинал в Денвере, мечтал стать нефтяником, далеко смотрел. Не сложилось, но нефть он если и не добывал, то продал ее — океан. Уже с первых своих скромных заработков он начал давать запоминающиеся приемы с изысканно накрытыми столами и непременно с красавицами из своего университета. В двадцать пять лет напористый дилер представляет в Эр-Рияде «Крайслер», «Роллс-Ройс», «Фиат» и две всемирно известные вертолетные компании.

Когда в 1964 году на трон взошел король Фейсал, дела Аднана Кашоги пошли резко в гору. Он стал единственным посредником по продаже американского оружия арабам. К тому времени он только приближался к своему первому миллиарду. Настоящие деньги пошли к нему после арабо-израильской войны 1973 года, когда нефть впервые резко подорожала, а все напуганные арабские страны начали лихорадочно вооружаться. В те годы Кашоги создал свою финансовую империю, оцениваемую в четыре миллиарда долларов.

Его домом поистине был весь мир — он имел дела в тридцати семи странах! Только огромных имений, разбросанных во всех частях света, у него было двенадцать. Знаменитое ранчо площадью 200 000 акров в Кении, куда на охоту на львов, леопардов, слонов приезжали президенты, члены королевских



фамилий и простые миллиардеры. Организация такой охоты стоит миллионы долларов и считается высшим шиком среди избранных.

Он имел дворцы в Марбелье, которые Абрамович и Гусинский только-только обживают, дворцы на Канарских островах, столь модных в 70-е. А ещё невиданной архитектуры апартаменты, обставленные с немислимой роскошью: в Париже, Лондоне, Каннах, Мадриде, Риме, Монте-Карло, в прекрасном Бейруте, еще не разрушенном войной, Эр-Рияде, Джидде.

Владел он и двумя этажами огромного небоскреба на Манхэттене. Его яхта «Набилла» с площадкой для вертолетов была столь роскошна, что затмила яхту английской королевы «Британия», до того считавшуюся эталоном величия и красоты. Да что затмила, ехидные журналисты писали, что в сравнении с «Набиллой» яхта королевы выглядела туристическим паромом для простолюдинов. Его автопарк, состоявший из всех известных в мире супердорогих машин, изготовленных для Кашоги индивидуально, приближался к двум сотням!

Собирал он и живопись, и антиквариат, но это отдельная тема, о его коллекции мы, наверное, узнаем только после его смерти. Об одежде, обуви, драгоценностях Кашоги как-то и упоминать неловко, все делалось в единственном экземпляре, без права повтора.

В начале 80-х он купил за четыре миллиона долларов самолет, надежный «Ди-Си-8», и переоборудовал его по своему вкусу еще за девять миллионов. Газеты того времени взхлеб писали о соболином покрывале в его спальне на борту лайнера размером три с половиной на два с половиной метра, стоимостью 200 000 долларов. Писали и том, что в самолете, имевшем три спальни, гостей годами угощали только французским шампанским «Шато Марго» 1961 года, не забывая упоминать о столовом серебре и хрустале, разумеется, сделанным для Кашоги в единственном экземпляре известными кутюрье, стоимостью в миллион долларов.

Лев по гороскопу, он был тщеславен, самолюбив, щедр до безрассудства. Даже бывшей жене, принцессе Сураи, которой при разводе дал отступного в два с половиной миллиарда, однажды подарил на Новый год рубиновое кольцо стоимостью два миллиона долларов. Тогда же на Рождество он и новой жене



Ламии подарил ожерелье из бриллиантов, изумрудов, рубинов стоимостью почти в три миллиона.

В 1985 году Аднан Кашоги отмечал пятидесятилетие, о котором с восторгом писали все глянцевого журналы мира, все скандальные и светские газеты. Правда, в его жизни были приемы гораздо круче, шумнее, но так он гулял в молодости. Но и это «тихое» празднество в имении «Ля Барака» на Средиземном море принимало пятьсот именитых гостей со всего света, а таких особ сопровождают еще три-четыре десятка слуг. Торжество длилось три дня, были использованы сотни километров киноплёнки, сделаны десятки тысяч фотографий, разошедшихся по всем мировым изданиям. Даже сегодня эти снимки выплывают то тут, то там, поражая наше воображение.

Кульминацией праздника оказалась поздравительная телеграмма от американского президента, она гласила: «Наилучшие вам пожелания, Аднан. Ронни и Нэнси Рейган».

Кашоги вообще был на коротке со всеми американскими президентами, и с европейскими тоже, а в королевских семьях и вовсе свой человек.

Для нынешнего читателя хочу добавить свой комментарий: растраченные с 60-х по 80-е годы нашим героем гигантские суммы сегодня следует умножить на коэффициент — десять. Чтобы почувствовать масштаб в современных цифрах. В ту пору доллар был другим, полновесным, да и цены были другие.

Свой комментарий хочу подтвердить сценой из романа тех лет Ирвина Шоу «Вечер в Византии», где тоже показана роскошная жизнь. В Венеции на веранде дорогого ресторана сидят финансовые магнаты, и чтобы подчеркнуть богатство этих людей, автор пишет: «...в сто долларовых рубашках от Кардена...». Ныне рубашки от Китон, Лилиан Вествуд идут уже и по тысяче долларов, а Карден есть Карден.

Кашоги и сегодня жив, в следующем году он отмечает свое семидесятилетие. Он никогда не был администратором, не имел системного образования, всегда руководствовался только интуицией. В начале 90-х Аднан Кашоги понес огромные потери — время романтических авантюристов закончилось. Денег заметно поубавилось, и он не сорит ими как прежде, да и устал, видимо, возраст сказывается. Но он оставил свой след и в деловом мире, и в светской жизни XX века, и его



запомнят, как человека, растратившего несметные богатства без сожаления. Запомнят, потому что на смену ему пришли другие богатые.

Невольное сравнение. Когда миллиардер Гусинский попал в «Матросскую тишину», он захватил с собой в общую камеру холодильник, а, освобождаясь, забрал его с собой. Почувствуйте разницу, как советует рекламный слоган.

Заканчивая историю феерического пути Аднана Кашоги, с которым я прожил один временной отрезок, отмеренный нам Всевышним, пытаюсь хоть как-то соотнести его жизнь со своей, понимая, что никакой связи, параллелей быть не может, даже теоретически — другие миры, другая жизнь, другая судьба. Но мысль, не дававшая мне покоя несколько дней, заставила вспомнить реальную историю из моей жизни, и я думаю, следует рассказать о ней. История эта может показаться писательским вымыслом, фантазией, чтобы увязать хотя бы тончайшей нитью реальность моего бытия с жизнью легендарного мультимиллиардера Аднана Кашоги. Но что было, то было, и я благодарен памяти, выудившей из своих глубин эту историю, которой уже сорок два года. Слава Аллаху, еще живы люди, о которых пойдет речь, иные из них до сих пор еще обитают в Ташкенте, с другими я по сей день общаюсь в Москве, в Казани.

Осенью 1962 года, когда Аднан Кашоги стал представителем «Роллс-Ройса» и «Крайслера» в Эр-Рияде, я получил место в общежитии для ИТР Авиационного завода на Чиланзаре. Комендантше я чем-то приглянулся, и она говорит: «Поселю-ка я вас к хорошим людям». Хорошие люди оказались дипломниками Казанского авиационного института и приехали на практику. Среди них был и сын тогдашнего директора Ташкентского авиазавода Герман Поспелов.

Общежитие оказалось типовой пятиэтажкой, и студенты жили в квартире из четырех комнат, одна из которых была оборудована под холл с телевизором, диваном, сервантом с посудой, а в остальных жили мы. Было нас человек десять, из местных, кроме Поспелова, еще Геннадий Внучков, позже очень известный в Ташкенте человек. Он стал секретарем парткома завода, секретарем горкома партии. Страхуюсь фамилиями для подтверждения достоверности истории. Герман и Гена жили



дома, на Урде, но имели свои кровати и у нас. Дипломные проекты тех лет отличались серьезностью, и они по ночам часто корпели над чертежами.

Ташкент 60-х — баснословно дешевый город, сухие вина «Хосилот», «Баян-Ширей», «Ак-Мусалас» стоили по шестьдесят семь копеек, а ведро персиков — три рубля. Сходить в хороший ресторан с девушкой можно было за десять рублей. Фантастическое время!

Днем дипломники работали мастерами в цехах и деньги получали приличные. Мы были молоды, азартны, по вечерам дома бывали редко. Но иногда, перед получкой, когда сидели на мели, коротали вечера у себя в холле. Если о походе в ресторан «Шарк», «Зеравшан» или в мою любимую «Регину» не могло быть и речи, то накрыть стол с сухим вином, фруктами проблем не возникало. Заводилой в нашей компании, лидером стал москвич, сын заместителя Генерального прокурора СССР Николая Венедиктовича Жогина — Валентин. Жогин-старший работал вместе с Руденко, возглавлявшим Нюрнбергский процесс, лет тридцать. Вот откуда тянутся корни моего интереса к прокурорским историям.

Однажды глубокой осенью в слякотный вечер мы собрались в холле за скромно накрытым столом. Сегодня, через сорок два года, когда я пишу эти строки о застолье на Чиланзаре, мне кажется, что в тот же ноябрьский вечер Аднан Кашоги тоже давал прием, а вокруг него порхали его подруги из университета, который он оставил без сожаления. Время для Аднана означало — деньги.

Вечер поначалу не складывался, и Валентин, чтобы как-то встряхнуть всех, предложил игру — как истратить миллион, если бы он был у каждого из нас. Идею от скуки приняли «на ура». Быстро накрутили бумажки и начали тянуть жребий — мне выпало выступать четвертым. Все трое выступавших передо мной студентов были из Казани, не из простых семей и старше меня года на три-четыре, а то и пять, в молодости это серьезная разница. Первых «миллионеров» я слушал вполуха, мои фантазии уже вырвали меня из убогой «хрущевки» и понесли в неведомо сказочный мир прожигателей жизни. Голос Жогина вернул меня за наш скромный стол, и я, уже разгоряченный фантазиями, начал...



В Ташкенте шел дождь с мокрым снегом, была пора сырого предзимья, и я сразу из заводской общаги перебрался на острова Фиджи в далеком и теплом океане, там как раз начинался курортный сезон для миллионеров. Тут я должен оговориться, что мои предшественники, «миллионеры» из Казани, не покидали страну, а я подумал: гулять — так гулять. В 1962 году, а это были годы хрущевской оттепели, счастливые сограждане, а, точнее, избранные, уже колесили по миру, мог же я и себе позволить хотя бы... теоретически. В ту пору миллион рублей равнялся почти полутора миллионам долларов, об обмене по курсу я объявил сразу, что было встречено восторженным ревом, в котором я кое у кого все же уловил нотки зависти. На островах среди роскошных пальм, на золотых пляжах я пробыл три недели, одиночество мне скрашивала одна очаровательная француженка русского происхождения, и вместе с ней я переехал в Европу. Прибыли мы в Зальцбург, где давали ежегодные зимние балы, затем перебрались в Вену, я давно грезил венской оперой и венскими кафе, где звучали вальсы Штрауса. Потом на появившейся в ту пору впервые роскошной машине «мазерати», которую мне доставили прямо в Вену, мы с Жаннет перебрались в Париж. Рассказывал я и о шикарных отелях, где мы жили, о ресторанах, в которых я никогда не бывал, но ясно их видел, заказывал такие закуски, вина, диковинные блюда, от которых, наверное, у бедных дипломников текли слюнки. Перечислял, какие драгоценности я дарил своей очаровательной спутнице, каким гардеробом обзавелся, какие шикарные швейцарские часы «Шафхаузен» приобрел, через много лет я узнал, что такие часы носит знаменитый немецкий киноактер Клаус Мария Брандауэр.

Фантазии сорвали меня со стула, я кружил по тесному холлу, изображая, какие томные танго танцевал с Жаннет на приемах или в ресторанах, изображал, какие курил сигары, которые сегодня снова входят в моду, и это вызывало единодушный восторг, сопровождавшийся возгласами: во дает!

Когда меня утомил слякотный Париж и я собрался переехать южнее, в Венецию, где уже зацвели каштаны и знаменитые кафе вынесли столики на улицу — меня вдруг одновременно, словно сговорившись, прервали те, кто должен был выступать позже. И Жогин, перекрывая гвалт, восторженные крики,



сказал: «Рауль, возьми наши миллионы, мы хотим путешествовать с тобой!».

Но тут-то и произошла самая замечательная сцена за весь дивный вечер. Один из казанцев, выступавших передо мною, с нескрываемой обидой, словно их бросили, растерянно пробормотал: а как же мы?

Раздался гомерический хохот, и игра на этом закончилась.

Сегодня, когда бываю на Лазурном берегу или в Венеции, вспоминаю тот осенний вечер в Ташкенте. Добравшись сюда запоздало, через десятилетия, я не испытываю той радости, которую испытал тогда, в те минуты, когда потешал давних друзей фантазиями о роскошной жизни.

И вспоминаю я не Кашоги и других моих современников, красиво прожигавших здесь жизнь, память возвращает меня в начало века, в эпоху героев Фицджеральда. Вот они умели гулять красиво, со вкусом, достойно. В принципе, они были первыми прожигателями жизни на длинной дороге в целый век. Я прекрасно понимаю, что герои Фицджеральда, моего любимого писателя, автора моих любимых романов «Великий Гэтсби» и «Ночь нежна», не могли позволить себе того, что позволял себе Аднан Кашоги.

Нет, я не завидую Аднану Кашоги, своему современнику, я завидую времени, когда он посещал эти благословенные места. Его время, мое время, было другим, оно вписывалось в рамки культуры, приличия. Нынче богатство стало агрессивным, злобным, вульгарным. Выскажу парадоксальную мысль: слишком много стало богатых, имею в виду только миллионеров. На днях объявили, что и у нас, в нищей России, их уже больше сотни тысяч, это выявленных налогоплательщиков, а в реальности опять нужно умножать на десять. А сколько их, богатеев, в зажиревшей Европе, Америке и вообще по миру? И все они спешат в Старый свет, оттого затоптаны самые желанные, романтические места в мире, воспетые поэтами, художниками. Думаю, что нынешнее время даже богатеям не в радость, и мне невольно приходит на память строка Тимура Кибирова: «Грядет чума, готовьте пир». Кстати, это эпиграф к моему бестселлеру — роману «За все — наличными».

И все-таки, пытаюсь рассказать вам об Аднани Кашоги, о давнем воображаемом путешествии по миру с полутора



миллионами в кармане, когда я не слышал еще о великом плейбое ни слова и когда у нас обоих всё было впереди, я вдруг понял, что время сроднило меня с ним. Все в мире упирается в определенные сроки, и я желаю легендарному Кашоги, так красиво поражавшему мир в XX веке, здоровья и успехов в оставшейся жизни.

— *И последний вопрос, Рауль Мирсаидович, что бы вы напечатали в первую очередь, если бы вдруг стали директором Таткнигоиздата?*

— Первое, что бы я сделал, перевел на русский и английский языки всего Хасана Туфана, издал бы о нем книгу в серии «ЖЗЛ», в которую бы вошли книги и об Амирхане Еники, Мухаммете Магдееве, Гарифе Ахунове, Заки Нури, Мирсае Амуре, Гумере Баширове, Нури Арсланове и о ранних деятелях нашей культуры: Гаязе Исхаки, Кави Наджми, Аделе Кутуе, Хади Такташе. Все издал бы на трех языках, как казахи. Надо признать как данность: к сожалению, две трети татар не знают родного языка и вряд ли когда-то будут знать его. Отрезать их от татарской культуры только из-за того, что они не знают языка — значит потерять нацию окончательно. Остается одно, доносить татарское до татар на других языках. В XXI веке одна лишь культура цементирует нашу нацию, а новый век будет ассимилировать татар еще быстрее.

Следующим моим шагом было бы издание избранного всех тех, кого я назвал Великим поколением, конечно, открыв дорогу в этот список еще нескольким достойным поэтам. Из старшего поколения добавил бы Сибгата Хакима, Марса Шабаева, Ильдара Юзеева, оставил бы место и молодым: Ркаилю Зайдулле, Мударису Валиеву, Кадыру Сибгатуллину. Издал бы всех их на двух языках: русском и английском, на родном языке их творчество и так широко известно.

Отдельным томом издал бы рубаи Равиля Файзуллина, это особо мудрая поэзия, форма, дающаяся редко кому. Когда я вижу в западных магазинах книги Омара Хайяма, Хафиза, Амира Хосрова Дехлеви, Рудаки, Саади, я невольно воображаю этот том Равиля Файзулина, уверен, он будет востребован, ибо у Файзуллина нет прописных истин, банальщины, он отразил весь XX век, самый сложный и кровавый в истории человечества.



Перевел бы на татарский романы: Рустама Валеева «Земля городов», Явдата Ильясова «Заклинатель змей» и «Золотой истукан».

Издай бы книгу о парижанине Харуне Тазиеве, его родители ташкентские татары. В шестидесятые-семидесятые годы он был на Западе культовой фигурой. Он самый именитый в мире вулканолог, спускался в кратеры почти всех известных вулканов. Его знают на Западе не меньше, чем океанолога Ива Кусто.

Издай бы книги о выдающихся спортсменах: Гайнана Сайдахужине, Галимзяне Хусаинове, Ринате Дасаеве, Вагизе Хидиятуллине, Зинэтуле Билялетдинове, Габдрахмане Кадырове, Венере Зариповой.

В татарскую серию «ЖЗЛ» включил бы книги об Ильгеме Шакирове, Рашиде Вагапове, Хайдаре Бигичеве, Зифе Басыровой, Алмазе Монасыпове, Назибе Жиганове, Салихе Сайдашеве, Фариде Яруллине и других деятелях культуры — такие книги сегодня нужны как воздух. И многое, многое другое — но об этом в следующей нашей беседе.

*Казань, Переделкино,
2003*







Глухому звука не объяснишь...

Интервью с Раулем Мир-Хайдаровым

— После выхода вашей книги в Казани, творческого вечера в клубе Союза писателей, ваших выступлений по телевидению, кратких интервью в газетах меня, как организатора встречи, одолели звонки. Читатели хотят узнать вас поближе, их вопросы и положим в основу беседы. Блиц-интервью уже не устраивают почитателей вашего таланта, так что, Рауль Мирсаидович, настраивайтесь на обстоятельный разговор. Прежде всего, какие писатели, книги повлияли на становление вашего характера, вкусов, мировоззрения?

— Мой любимый писатель Иван Алексеевич Бунин. Всем, кто хотел бы прочесть о любви, советую его роман «Жизнь Арсеньева». И.А. Бунин долго был под запретом и появился, как и Сергей Есенин, в хрущевскую оттепель. Люблю всего позднего Валентина Катаева. Блистательная проза! «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Прощай, Гульсары» Чингиза Айтматова. Почти всю поэзию Серебряного века и позднюю поэзию О. Мандельштама и А. Ахматовой. Из современных поэтов — Евгений Рейн, Татьяна Глушкова, Сергей Алиханов, Бахыт Кенжеев, живущий в Канаде. И совершенно блистательный, мудрый и ироничный, достойный продолжатель традиций Хайяма, Рудаки, Хафиза — Лоик Ширали. Из татарской поэзии: Туфан, Равиль Файзуллин, Мустай Карим, Муса Гали.

Из западных писателей — Ф.С. Фицджеральд, его я открыл для себя задолго до фицджеральдовского бума и этим горжусь. «Великий Гетсби», «Ночь нежна» перечитывал много раз,



и они влекут меня по-прежнему. Герман Гессе, особенно его «Степной волк». Огромное влияние оказал на меня Дзюмпэй Гомикава романом «Условия человеческого существования». Я прочитал его в 1964 году, а в 1987 году его назвали лучшим японским романом XX века. А Япония, напомним, самая читающая и издающая книги страна мира. По этому роману японцы сняли 20 серийный фильм, возможно, и мы его когда-нибудь увидим. Открытие для себя в юном возрасте Фицджеральда и Гомикавы до сих пор греет мне душу, ведь в ту пору я работал обыкновенным прорабом.

Польский писатель Станислав Дыгат с его романом «Путешествие», Ален Фурнье, написавший всего один роман «Большой Мольн», выдержавший после его гибели в первую мировую войну более 50 изданий, Томас Вулф с его «Взгляни на дом свой, ангел». В юности сильное впечатление произвел Ремарк с его «Три товарища», Хулио Кортасар — «Преследователь», «Южное шоссе».

— *Какое влияние на вас и на ваше поколение оказало кино, киногерои вашего времени?*

— Кино...Пожалуй, кино по массовости своей, доступности сыграло главную роль в воспитании многих поколений, не только моего. Ленин не зря определил: из всех искусств для нас важнейшим является кино. Моему поколению повезло с кинематографом: он родился в нашем веке, стал зрелым к нашим юным годам и на наших глазах вместе с нами умирает. Лет с семи я начал ходить в кино. В Мартуке фильмы менялись через каждые два дня, это было неукоснительно, как приход московских поездов на нашу провинциальную станцию, где паровозы заправлялись водой и где чистили их топки.

Отчим мой, человек городской, из Оренбурга, кино любил страстно. У меня была обязанность бегать к почте, где вывешивали афишу, и сообщать, какое сегодня дают кино. Однажды вышел конфуз. Я сказал родителям без всякого подвоха, что идет фильм «Два яйца». Они и пошли на эти «Два яйца», ибо старались не пропускать новых фильмов. Надеюсь, вы догадались, что это были «Два бойца» с Марком Бернесом, Борисом Андреевым, Петром Алейниковым. В послевоенном Мартуке каждая копейка давалась с трудом, но отчим на кино мне выделял, говорил, что кино открывает глаза на мир,



воспитывает. Помню, как мне завидовали сверстники, считали счастливым, и мне приходилось пересказывать в классе, во дворе содержание фильмов. Так что к устному творчеству я приобщился рано.

Отчим оказался прав: кино во многом сформировало мое мировоззрение, вкусы. Явно оттуда, из детства, тяга к музыке, джазу, интерьерам, живописи. Послевоенное кино сплошь состояло из трофейных фильмов, из фильмов наших союзников по войне. Мы пересмотрели десятки голливудских фильмов, тех самых, что сегодня принято считать шедеврами мирового искусства. Еще до войны немцы экранизировали почти все известные оперетты Штрауса. Оффенбаха, Легара, сняли мюзиклы с участием мировых звезд тех лет, теноров Карузо, Марио Ланца. Экранизировали многие шедевры мировой литературы. Мы видели фильмы с участием Фреда Астора, Рудольфа Валентино, Марики Рёкк, Сони Хенни, Греты Гарбо, Кларка Гейбла, Грегори Пека, Чарли Чаплина, Рода Стайгера, Питера О'Тула. А к шестидесятым, годам нашей юности, подоспел и итальянский неореализм. Какие имена! Федерико Феллини, Витторио Де Сика, Франко Дзеффирелли, Бертолуччи, Домиани, Де Сантис, Этторе Скола...

А фильмы «Рокко и его братья» с молодым Аленом Делоном и Франко Неро, «Ночи Кабирии» с Джульеттой Мазини и Марчелло Мастоияни, «Бум» с Альберто Сорди, «Горький рис» с Витторио Гассманом и Марио Адорфом!

Этот список, звучащий как музыка, я мог бы продолжать и продолжать. А новое немецкое кино с Максимилианом Шеллом, Клаусом Брандауэром! Французское кино — это Жан-Люк Годар, Трюффо, Жерар Филип, Анук Эме, Бурвиль, Жан Габен, Жан Маре, Жан-Луи Трентиньян...

Хотите верьте — хотите нет, существовало целое десятилетие египетского кино, откуда вышел будущий король Голливуда Омар Шериф. А японские фильмы Акира Куросавы, шведское кино Ингмара Бергмана... Испанское кино великого Луиса Бунюэля, польское кино Анджея Вайды и Кшиштофа Занусси. Да и наше кино в ту пору шагало в ногу с мировым. Как же такой могучий заряд мог не формировать наши взгляды, вкусы, мироощущение?

Тем более, все, о чем говорилось — это здоровое, гуманистическое кино, воспитывавшее в человеке только высокое.



Ну, со мной и кино быстро все стало ясно — лет в десять-двенадцать я уже страстно мечтал о другой жизни, стереотипы реальной окружающей меня действительности никак не устраивали, и желание стало программным. Когда жизнь на закате, есть преимущество — ты можешь предъявить доказательства реализации тех или иных планов. На всем стоит тавро: проверено временем. Поэтому под влиянием кино, боясь опоздать в другую жизнь, в четырнадцать лет, после семилетки, я, единственный из трех параллельных классов, сел на крышу мягкого вагона поезда и укатил в город поступать в техникум. Обратите внимание — один из ста двенадцати своих сельских сверстников. Этим самостоятельным поступком я тоже горжусь всю жизнь.

— *Рауль Мирсаидович, что мог предоставить вам, юношам, вступавшим в жизнь, провинциальный Актюбинск в конце 50-х годов в культурном плане?*

— Судя по вашему скепсису в голосе, вы наверняка думаете, что мы росли в культурном вакууме. Тут вы крепко ошибаетесь. С середины 50-х в ДК железнодорожников сложился народный театр. В репертуаре была классика. Три-четыре пьесы с прекрасными декорациями, костюмами, продуманным освещением. В 1957 году, когда я уже учился в Актюбинске, театр привез в Мартук «Бесприданницу» Н. Островского. Одну из ролей исполнял шофер нашей техникумовской полуторки. Как я гордился и театром, и нашим «артистом»! Они дали два спектакля — аншлаг, восторг, овации, успех! Все абсолютно так, как на премьерах в столицах — это я могу подтвердить, как старый театрал. Такое сейчас невозможно и представить, а ведь существовал в Актюбинске и профессиональный театр. Зимой 1959 года на месячные гастроли приезжал Московский Театр оперетты, выступал он на сцене сгоревшего позже ОДК. Что творилось в городе! Билеты — с боем, зал — переполненный, разговоры — только об оперетте. В конце января 1960 года гастролировал знаменитый Государственный эстрадный оркестр Азербайджана под управлением композитора Рауфа Гаджиева.

Оркестр — настоящий биг-бэнд, семьдесят восемь человек — в три яруса, а ударник, с сияющими перламутровыми барабанами, медными тарелками — под самым потолком. Какие костюмы, декорации, световое сопровождение, блеск труб, саксофонов, тромбонов! Живая музыка Гленна Миллера, Дюка Эллингтона!



Неожиданные аранжировки известнейших джазовых мелодий Джорджа Гершвина, Джерома Керна, Коула Портера, короля аргентинского танго Астора Пьяцоллы, сделанные знаменитым Анатолием Кальварским! Восторг публики я просто не в силах описать, триумф — и только! Тогда еще не дробились ни страны, ни оркестры. С коллективом выступал и вокальный квартет, тот самый, что позже назовется «Гайя». Через три года в Ташкенте я вновь встречу с оркестром и напишу восторженную рецензию, упомянув и актюбинский триумф.

Эта театральная рецензия станет моей первой публикацией. Она и позволит мне ближе познакомиться с музыкантами, и на десятилетия меня свяжет дружба с Рауфом Гаджиевым, певцом Октаем Агаевым, трубачом Робертом Андреевым, конференсье Львом Шимеловым, квартетом «Гайя», да и со всеми оркестрантами. Не раз я буду по их приглашению в Баку. А ведь все это началось в Актюбинске...

Весной того же 1960 года, уже во Дворце железнодорожников, выступал оркестр Дмитрия Покрасса. После моего отъезда приезжал оркестр Константина Орбеляна, где начинал в ту пору знаменитый Жан Татлян. Но главное — в другом: существовала своя внутренняя культурная жизнь Актюбинска. Какие вечера бывали в мединституте, культпросветучилище, кооперативном, нашем железнодорожном техникумах! В 44 й, в 45-й железнодорожных школах, во 2-й школе, в 11-й, в каждой из них была своя самодеятельность, свои эстрадные оркестры, солисты. Проезжая мимо полуразвалившегося ныне «Сельмаша», представьте себе, что там в конце 50-х существовал заводской клуб, где зимой бывали танцы под джаз-оркестр. Стекалась молодежь со всего города, попасть туда было ох как непросто. А в субботу-воскресенье — танцы в ОДК и в «Железке», тоже негде было яблоку упасть. А какие новогодние балы давались во дворцах и клубах! Но это уже отдельная тема. Нет, время и Актюбинск дали нам, молодым, возможность приобщиться к культуре.

— *Вы открываете нам новый взгляд на те культурные события, которые уже стали историей. Спасибо. В романе «Ранняя печаль» цитируется много поэтических строк и даже есть утверждение: «любите поэзию, в ней, как в Коране, Библии и Талмуде, есть ответы на все вопросы жизни». Поясните свой текст.*



— Только в точных науках есть единственно правильный ответ. Некоторые люди пытаются выстроить свою жизнь по четким математическим формулам, но даже если ориентироваться на элементы высшей математики, вряд ли они гарантируют счастье. Я воспринимаю жизнь на эмоциональном, чувственном уровне, оттого, наверное, мне ближе ответы на все вопросы бытия, которые я нахожу в поэзии. Поэзия стара как мир. Я сейчас процитирую вам Рудаки:

*Поцелуй любви желанный,
Он с водой соленой схож,
Чем сильнее жаждешь влаги,
Тем неистовее пьешь.
Или:
Не любишь, а любви моей
Ты ждешь.
Ты ищешь правды, сама ты —
Ложь.*

Скажите, после этих строк сильно ли изменились отношения между мужчиной и женщиной, что нового добавили века в эти отношения?

Хотите пример посвежее, поактуальнее:

*Двухподбородковые ленинцы,
Я к вам и мертвый не примкну.*

Или самая печальная строка поэзии, которую я встречал когда-либо. Её написал десять лет назад недавно ушедший из жизни Евгений Блажиевский. В молодые годы он играл в футбол со знаменитыми нападающими Банишевским, Маркаровым в бакинском «Нефтянике».

*И девушки, которых мы любили —
Уже старухи...*

К поэзии всерьез и навсегда я приобщился тоже в Актюбинске. Зимой 56-го года мой однокурсник Валерий Полянский тайком показал мне толстую тетрадь, исписанную



каллиграфическим почерком. Это были стихи запрещенного в ту пору Сергея Есенина.

*Ведь ты такая нежная, а я так груб.
Целую так небрежно я калину губ.*

Там же была и его поэма «Анна Снегина» — вершина лирики.

*Мне было шестнадцать лет,
И девушка в белой накидке
Сказала мне ласково: «Нет!»*

Или вот строка из чукотской поэзии:

*И легче зиму повернуть
Назад по временному кругу,
Чем нам друг другу протянуть
просящую прощенья руку.*

Да, я убежден, в поэзии есть ответы на все случаи жизни, но не всякому дано их услышать. Поистине, глухому звука не объяснишь.

— *Какое, на ваш взгляд, впечатление должны производить ваши книги на читателя, по максимуму?*

— Прежде всего, читатель должен ощущать разницу между своими знаниями и моими, моим знанием жизни или описываемого предмета, ситуации. Если это случится, то книга будет читаться и перечитываться, передаваться из рук в руки. И тогда читатель будет приобретать мои новые произведения, не глядя на аннотацию, рекламу и даже качество полиграфии, ему важно другое — сам автор.

— И часто такое происходит с читателем?

— Уже произошло. Против цифр, против факта не попрешь. Пять миллионов книг, таков на сегодня тираж моих изданий, они ведь у читателя на руках. Мои книги читают и высоколобые интеллектуалы, и водители-дальнобойщики. На встречах с читателями в самых разных аудиториях, академики и шоферы, везде задают один и тот же вопрос:



откуда вы это знаете? Я получал раньше тысячи писем, мешки писем — с этим же вопросом. Видимо, эти знания основательны, профессиональны, если после написания романа «Пешие прогулки» юристы были уверены, что я бывший прокурор высокого ранга. Если после романа «За все — наличными», где я затронул вопросы творчества казанского художника академика живописи Николая Ивановича Фешина, эмигрировавшего в Америку в 1922 году и там занявшего достойное его таланту место в мире, я стал получать предложения от многих журналов по искусству написать статьи о нем, предисловия, аннотации к его буклетам, проспектам.

В молодости, работая в строительстве, из за страсти к футболу я вел колонку футбольного обозревателя в одной из ташкентских газет. Во время матча я занимал место в секторе для прессы и так горячо комментировал вслух, что надо делать тому или другому тренеру, что однажды неожиданно для себя получил предложение стать вторым тренером команды в классе «Б». Впрочем, отгадку на многие вопросы, откуда я это знаю, читатель может найти в «Ранней печали». Признаюсь, этот роман дорог мне.

— Ваш роман «Пешие прогулки» стал настольной книгой многих юристов. Более того, они были убеждены, что роман написан бывшим прокурором, решившим в период перестройки за все унижения от партийной власти громко хлопнуть дверью. Известно, что следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры СССР Б.Е. Свидерский, тот самый, что засадил за решетку Ахматжона Адылова, сказал: «Мне кажется, что это я написал «Пешие прогулки».

Оценка романа профессионалом такого уровня должна быть дорога для автора. В связи с этим вопрос: какие законы вы ввели бы в первую очередь, будь на то ваша воля?

— Начнем с того, что нужно реализовать, прежде всего, принцип неотвратимости наказания, и второе — все законы должны быть в пользу законопослушных граждан.

Презумпция невиновности — это, конечно, хорошо, но в наших условиях она работает эффективно только в пользу богатых и власть имущих.

Первое, что бы я сделал, будь на то моя воля, отменил освобождение под денежный залог. В бедной стране это — дискриминация большинства населения.



Второе. У нас сплошь рецидивная преступность. Есть случаи, когда получают срок и по десять, и по пятнадцать раз. Я считаю, что по особо тяжким преступлениям нужен порог преступности: два-три раза, а дальше — суровый приговор, по-китайски. Иначе волну преступности не сбить. В Америке, кстати, третья судимость по одному и тому же виду преступления карается пожизненным заключением.

Третье. При въезде в страну обязательно декларировать не только наличную валюту, но и судимости, даже погашенные.

Четвертое. Тюремный срок надо определять по совокупности всех преступлений.

Пятое. В стране много немотивированного насилия. Сотни тысяч изуродованных, искалеченных, ставших инвалидами людей. Тут, на мой взгляд, одного тюремного срока мало. Человек, сделавший инвалидом другого, должен до конца жизни выплачивать ему определенную компенсацию. Сейчас оплату вместо преступника производит, в лице государства, законопослушный налогоплательщик.

Шестое. Сегодня в чудовищных масштабах происходит насилие над детьми. Насилуют и десятилетних, и пятилетних, преступления сплошь рецидивные. Растрелители попадают по пять-десять раз.

Ученые давно доказали, что подобная гнусная извращенность не проходит никогда. Нужен радикальный подход — следует кастрировать сразу, плюс тюремный срок. С точки зрения медицины, это простейшая операция. Скажете — сурово, жестоко? Да, согласен. Не хочешь стерилизации — не трогай детей!! А сломанных судеб детей, родителей вам не жаль?

Седьмое. Еще один закон мне кажется важным — о предательстве в рядах милиции. Тут я вижу простейший выход. Предатели из органов, к ним можно добавить и госчиновников, должны отбывать наказание не в специальных тюрьмах, как сейчас, а в общих. Страх неотвратимости возмездия обязательно сыграет свою роль. Еще закон, косвенно связанный с милицией. Почти каждое третье преступление ныне совершается уголовниками в форме милиционера, с поддельными удостоверениями, фальшивыми документами. Только за незаконное использование атрибутов власти нужна дополнительная статья, равная статье за содеянное преступление! А что творится



в судах?! Подсудимые откровенно, перед телекамерами, угрожают судьям, потерпевшим, свидетелям. И закон не позволяет судье тут же добавить год-другой. Даже на футбольном поле законы куда более суровы. Скажи футболист судье что-нибудь оскорбительное, тут же последует наказание — удаление с поля! Кстати, в США действует закон «Об уважении к суду».

Спросив, какие я немедленно ввел бы законы, вы наступили мне на большую мозоль. Их десятки, поэтому надо остановиться и лучше написать для вас специальную статью. Но о законах я хотел бы сказать и еще кое-что. Я твердо убежден, что ясные, жесткие, своевременно принятые законы решают половину любой проблемы. Оттого, что мы никогда не жили по законам, мы еще не поняли, не оценили их силу. В советское время в республиках вину центр во всех грехах и в отсутствии мудрых, своевременных законов тоже. Уже десять лет новым государствам Москва не указ, но законодательство у всех практически идентичное. На всем постсоветском пространстве с завистью говорят лишь об узбекском законе, касающемся угона автомобилей. Там ужесточили меры — машины перестали угонять.

Любое преступление нужно сделать финансово нерентабельным, и оно само сойдет на нет. Свободу ценят все, особенно преступники. Меня постоянно спрашивают: как бороться с квартирными кражами? Тут необязательно увеличивать срок, важен другой показатель — чтобы у потерпевшего не было финансовых претензий. Пока вор не вернет украденное, он должен сидеть в тюрьме. А сейчас он шлет из камеры угрозы тому, кого обворовал, долг не гасится совсем, а срок исправно идет, день свободы близится. Здесь закон явно в пользу преступника.

— *Какие черты характера для вас наиболее нетерпимы в людях?*

— Лень. Безответственность. Лень, на мой взгляд, главная основа всех человеческих пороков. Остерегайтесь ленивых людей.

— *Ваша любимая пословица?*

— «Кто ничего не умеет, тот не должен ничего хотеть», «Когда коровы воду пьют, телята лед лижут», «Кто спит с собакой, тот наберется блох».

— *Вопрос-бумеранг на ваш недавний ответ. Вы сами — не ленивы?*



— Я отработал в строительстве более двадцати лет, одновременно заочно учился, писал книги. На «вольные хлеба», то есть работать на свой страх и риск, без зарплаты, ушел в 1980 году. Кстати, редкие писатели отваживаются на такой шаг. Большинство отираются в штатах газет, радио, журналов, издательств, где есть гарантированная зарплата. Мало написать рассказ, его надо издать — оплата по выходу в свет. А написал я семь романов, десятки повестей и рассказов — все изданное составляет десять-двенадцать томов. Трудно назвать меня ленивым. Возможно, оттого я ленивых вижу насквозь, чую за версту.

— *Еще один вопрос о ваших качествах. Рауль Мирсаидович, вы — жесткий человек?*

— Тут ответ без раздумий — да, конечно. Например, я — за смертную казнь. Новые государства никогда не выйдут из нищеты и не станут самостоятельными, если у них в период становления не будет жестких законов.

Если изменится жизнь, то законы можно поменять быстро, это в руках парламента. Сегодня за жуткие убийства наказывают десятью-пятнадцатью годами тюрьмы, а убийцы — сплошь от пятнадцати до двадцати пяти лет. В тридцать с небольшим лет эти подонки выйдут на волю и будут убивать вновь, тут — сомнений никаких. Для кого такое милосердие? За жизнь нужно расплачиваться только жизнью! И тут не надо оглядываться на законы сытого Запада, убивают ведь у нас и нас.

Аргумент гуманистов против смертной казни таков: мол, жизнь дал Господь Бог и только он может отнять ее, а никак не закон, не государство. Вроде бы резонно. А убийца разве Господь Бог, чтобы отнимать жизнь у другого?

Самое интересное, что народ, в случае референдума, обязательно проголосовал бы за смертную казнь. Такого разгула преступности и беззакония, наступившего с приходом к власти М. Горбачева, история еще не знала. Побиты все криминальные рекорды, и даже фальшивая государственная статистика преступлений, заниженная в десятки раз, пугает людей. Но этого никак не понимают законодатели и чины, призванные бороться с преступностью.

— *Что для вас означает понятие «свобода»? Сегодня вам легче дышать как гражданину, как писателю?*



— Я давно был убежден, что если у человека нет внутренней, личной свободы, то и внешняя, разрешенная, декларированная свобода ему тоже не очень нужна. Время лишь подтвердило мою правоту — большинству граждан нынешняя свобода оказалась в тягость, они бы её с удовольствием променяли на что-нибудь гарантированное, материальное...

Совсем юным пятнадцатилетним мальчишкой я прибил к редкой по тем временам в Актюбинске компании стилига. Небезопасное увлечение — могли отчислить из техникума, лишит общежития, дружинники могли порезать твои единственные узкие брюки. Но на это меня толкала внутренняя свобода. Мой личный вкус, моё понимание моды, эстетики. Позже я и дня не был в КПСС, хотя хорошо знал, что с партийным билетом шагать по жизни легче. Это тоже осознанный выбор, чтобы сохранить внутреннюю свободу. Любое членство, особенно в идеологической организации, очень обязывает. Издав первые книги, я тут же написал роман о мафии, о партийных казнокрадах, о бесправности гражданина, даже если он и прокурор. Наверное, я догадывался, что меня за это по головке не погладят — уж я-то знал хорошо тех, о ком писал.

Результат известен — я стал инвалидом, в пятьдесят лет пришлось оставить в Ташкенте роскошную квартиру, загородный дом, отлаженный быт и начинать жизнь в России с нуля: с прописки, гражданства, жилья. Кстати, сорок лет назад в Ташкенте, чтобы получить прописку, я вынужден был год отработать слесарем на авиазаводе, имея уже диплом и опыт инженерной работы в Экибастузе. Судьбу эмигранта в России я хлебнул сполна. Только спустя восемь лет у меня появилась крыша над головой, которую мне никто не дал. Свобода одним указом «О свободе» не реализуется, равно как и демократия, которую сегодня обыватель ждет не дождется. И не дождется, как вчера не дождался коммунизма.

И еще о свободе, уж очень важная тема. Я убежден, что человек не может получить от общества, государства свободы больше той, которой он обладает в себе. Свобода, на мой взгляд, не может отождествляться с государственным строем, будь то тирания или демократия. Свобода — это, скорее, свойство человека, чем социальная данность.



— *Иногда пресса пишет о бесполезности борьбы с преступностью, о том, что мафия бессмертна. Как вы оцениваете ситуацию? Ждет ли нас свет в конце туннеля?*

— Я не разделяю настойчиво навязываемую массам мысль, что мафия бессмертна. Убежден: с ней всерьез еще не боролись. Давайте беспристрастно заглянем по обе стороны баррикад. Воров в законе на территории бывшего СССР около семисот. Газета «Кто есть кто» в 1996 году напечатала всех их по имени-отчеству, какие кликухи, за что сидели, что контролируют. Следует добавить, что грузинские, армянские, азербайджанские, узбекские мафиози после развала СССР почти поголовно переехали в Россию, а точнее — в Белокаменную. Такая Москва гуманная, заботливая. К слову сказать, девяносто процентов расхитителей народного добра из бывших советских республик, находящихся в розыске, тоже обитают в Москве. Но вернемся на баррикады. Кроме воров в законе, есть еще и уголовные авторитеты — их три-четыре тысячи. Взглянем на нашу сторону баррикад. Одних многозвездных генералов в силовых структурах России более десяти тысяч, по полтора десятка на каждого вора в законе! А офицеров — от полковников до лейтенантов, — этих уже тысячи на каждого преступника. О рядовых, с той и нашей стороны, и речи не идет, за нами десятикратный перевес. Ежегодно Россия присваивает двести пятьдесят - триста генеральских званий, а воров в законе коронуется на всем постсоветском пространстве не больше двадцати, отбор жесточайший — это не паркетных генералов штамповать.

На нашей стороне еще и целая армия прокуроров, судей, следователей, десятки спецслужб — и после этого утверждать, что мафия бессмертна, что с ней бессмысленно бороться?!!

— *Что может вывести новые государства на постсоветском пространстве на новый качественный уровень жизни?*

— Собственность. Культура. Образование. Собственности сегодня народ не имеет нигде, а культура и образование стремительно падают с каждым днем. В России сложилась невероятная ситуация: есть класс буржуазии, есть олигархи, но нет... капитализма. Еще одна российская уникальность — у государства нет собственности, но нет и класса собственников. В Российской армии среди призывников сегодня есть абсолютно



неграмотные люди. Двадцать лет назад такое не могло прийти в голову даже самому оголтелому пасквилянту и антисоветчику.

— *Может, Запад не помогает нам, как Европе, после войны?*

— Вы имеете в виду план Маршалла? Тут я вас огорчу, а кое кого, наверное, даже шокирую. Россия получила денег от Запада гораздо больше, чем по плану Маршалла было вложено в экономику всех пострадавших от войны стран, вместе взятых.

От гигантских финансовых вливаний в Россию итог один, и весьма плачевный — долг более 156 миллиардов долларов. Для примера — иная парадоксальная ситуация: СССР вышел из тяжелейшей войны мощной индустриальной державой. Через пять лет восстановил треть своих территорий, еще через пять стал космической державой. К середине 60-х СССР назывался супердержавой, с лучшим в мире флотом, авиацией, атомной энергетикой и так далее.

Из реформ Горбачева и Ельцина Россия выползает без космоса, флота, авиации, промышленности и так далее. Нам, оказывается, даже деньги во вред. За всю свою историю Россия переживает сейчас самый затяжной кризис, которому не видится конца. На мой взгляд, теперь мы вступаем в новую его фазу — за пятнадцать лет растранижены все ресурсы государства, пришли в негодность заводы и фабрики, электростанции и АЭС, газопроводы и нефтепроводы, растащены торговый и рыболовецкий флот, гражданская авиация, на ладан дышит железная дорога. Мы на пороге перманентных технологических катастроф.

— *Мрачновато получается, Рауль Мирсаидович.*

— Согласен. Но я так вижу, к сожалению. Помните анекдот, появившийся с приходом М. Горбачева? Спрашивают: «А что будет после перестройки?». Отвечают: «Пятилетка восстановления народного хозяйства!». Сбылось копейка в копейку, только о планах восстановления пока не слышно.

— *Что вас больше всего потрясло за последние годы?*

— Наверное, потрясений в собственной судьбе хватает с избытком: после покушения стал инвалидом, оставил дом в Ташкенте. В пятьдесят лет пришлось начинать жизнь в России заново, с нуля. Но так случилось с миллионами моих сограждан, тяжкий крест времени я несу с большинством народа. За эти годы произошло с нами и со страной много нелепого,



страшного, невосполнимого. Но шокировали меня два события. Первое, когда М. Горбачев вдруг стал рекламировать пиццу, а второе — чуть раньше. В эпоху горбачевских же кооперативов один из бывших руководителей Мартукского района вдруг объявился привратником в одном из актюбинских кооперативов. Чего им не хватало, умирали с голоду? Ни чести, ни достоинства, ни мужской гордости. Жалкие заботы о своей шкуре.

— *Вы родились в Казахстане, жили в Узбекистане, работая в строительстве, объездили страну вдоль и поперёк. Вы пишете, что везде, где вы бывали — живут татары. Что, на ваш взгляд, более всего объединяет татар, живущих вне исторической родины: религия, культура, литература, язык, музыка?*

— Конечно, важны все без исключения названные вами факторы, но, отвечая без раздумий на ваш вопрос, скажу — песня! Да, да, татарская песня — и народная, и современная. С первых сознательных шагов я запомнил песню — её пела мать, долгими зимними вечерами вязавшая пуховые платки, пела с подружками сестра Сания, пели в застолье мужчины-фронттовики. В Мартуке на каждой улице жили свои гармонисты. В нашем доме чаще всего бывал с тальянкой Гани-абы Кадыров, потерявший на фронте ногу и с одной ногой плотничавший! Позже его сын Хамза, физик-ядерщик, тоже замечательно играл на свадьбах. Сейчас обоснованно и необоснованно принято ругать коммунистов, но я хорошо помню, что долгие годы по четвергам по радио шел концерт татарской песни, а по праздникам давали концерты по заявкам. Для татар на чужбине это были святые дни — не меньше. Многие из Мартука тянулись в отпуск в Татарстан, и им всегда заказывали пластинки. Пластинка из Казани могла быть и свадебным подарком.

В 1984 году мой сын служил в армии на Дальнем Востоке. Из Хабаровска во Владивосток я добирался экспрессом «Океан», и вдруг по радио начали передавать концерт по заявкам рыбаков. Хотите верьте, хотите нет, девяносто процентов заявок были татарской песней. Для мичмана Валлиулина, для старшего механика Яруллина, для матроса Валиева — гордостью наполнилось моё сердце, что и тут, на краю земли, не унывают мои земляки. Позже писатель Альберт Мифтахутдинов, живший на Чукотке, в Магадане, говорил мне, что и там, на Колыме — много татар.



В 1978 году, уже будучи писателем, я приехал в Ялту и познакомился... с Ильгамом Шакировым. Он отдыхал в другом санатории и пришел провести Амирхана Еники. Амирхана-абы дома не было, и я пригласил Ильгама подождать у меня. Ильгам и представил меня Еники, выходит, в один счастливый день я познакомился с двумя выдающимися корифеями нашей культуры. Узнав, что пришел Ильгам Шакиров, стали подтягиваться и другие писатели, отдохавшие в это время. Быстро организовали на просторной веранде стол и сидели до глубокой ночи. По просьбе Амирхана-абы Ильгам пел в тот вечер много и от души. Этот концерт я запомнил на всю жизнь. Все оставшиеся дни в Ялте я провел с Ильгамом. В романе «Ранняя печаль» есть сцена с рестораном-варьете «Ницца», там мы не раз бывали с Ильгамом. С собой у меня была только одна книга «Полустанок Самсона», и я подарил её с надписью: «Ильхаму Шакирову — удивительному человеку, видевшему в лицо весь свой народ». Почему такой претенциозный, на первый взгляд, текст? Потому что наш великий мастер показал мне карту, где он выступал, и поверьте, не было в СССР поселка, где живут татары и где бы Ильгам не пел!!! Поистине, ни одному владыке, царю не удавалось увидеть глаза в глаза весь свой народ, и только он видел татар от мала до велика. На его концерты ходят всей семьей, с девяностолетними старухами и грудными младенцами на руках.

Я давно ношусь с идеей постройки ему народного памятника при жизни, не только как великому певцу, но и как объединителю, хранителю нации. И на постаменте должны быть выбиты эти слова. А под ними ниже — карта СССР с Казанским кремлем в центре, и от него тысячи и тысячи лучей к местам поселения татар, где он побывал по велению сердца. В русской культуре таких людей называют подвижниками, жаль, не знаю, как одним татарским словом обозначить его роль в судьбе своего народа. Хочу упомянуть и Рашида Вагапова, Альфию Авзалову, Зифу Басырову и многих, многих других певцов, поэтов, композиторов, чьи песни тоже сохранили татар, татарскую культуру на чужбине.

Песней объединены татары, песней спаслись, с песней воевали и побеждали и с песней живут до сих пор.



Та летняя ночь на ялтинской веранде закончилась для меня еще одним сюрпризом — Амирхан Еники подарил мне роман «Гуляндам» о композиторе Салихе Сайдашеве в переводе Рустема Кутуя.

И еще один штрих о татарских песнях и исполнителях. На 75-летие Мустая Карима съехались видные гости отовсюду, и каждого он поблагодарил в заключительном слове, и только про одного сказал так: «... а Хайдара Бигичева мне словно Всевышний послал...». Татарская песня оказалась самым дорогим подарком для сердца великого поэта.

— *Вы прожили в Ташкенте с 1961 по 1990 год, работали в строительстве, потом начали писать книги, после «Пеших прогулок» получили общественное признание. Интерес представляет и ваша личная жизнь — в молодости вы активно занимались боксом, футболом, дружили с народным артистом балетмейстером Ибрагимом Юсуповым, увлекались джазом, собрали значимую коллекцию живописи, давно стали театралом, меломаном — это я к тому, что вы хорошо знали разные слои узбекского общества, отсюда вопрос: какую нишу в общественной, культурной, хозяйственной жизни Ташкента занимали татары? Сегодня, когда у татар обостренный интерес к самим себе, это важно знать.*

— В среде татар в ходу живучая мысль, что якобы им нигде не давали хода. Но это совсем не так, посудите сами на примере Ташкента. Начну со строительства. Я сам работал в строительно-монтажных организациях — министром был Гази Сабиров. Заком министра в Министерстве стройматериалов работал отец известного ныне в Москве и в Казани предпринимателя и мецената Александра Якубова — Рустам-абы Якубов. В Министерстве строительства министром был Сервер Омеров, а министром сельского строительства — Таймазов. Главным архитектором Ташкента и архитектором знаменитой гостиницы «Ташкент» был всемирно известный Мидхат Булатов, автор многих фундаментальных работ по архитектуре. Один из крупнейших строительных трестов Ташкента возглавлял Наиль Клеблеев, республиканский трест механизации — Эрнест Ховаджи. Если названные навскидку первые лица были татарами, надо понимать, сколько при них работало соотечественников. Профсоюзом строителей руководил Исхак



Забиров, доктор наук, издавший несколько книг по жизни и творчеству Мусы Джалиля. Узбекские профсоюзы возглавлял Р. Адаманов, начальником железной дороги был Кадыров, узбекским «Аэрофлотом» руководил Н. Рафиков.

Возьмем партийные органы. В ЦК комсомола, а позже в ЦК партии отдел пропаганды возглавлял Максуд Зарифович Узбеков, доктор наук. Секретарем горкома партии по идеологии, а позже и обкома был Карим Расулов, а его брат Рахим более десяти лет являлся прокурором Джизакской области, родины Шарафа Рашидова. Министром юстиции была Васикова, к сожалению, я многих уже не помню по имени-отчеству. В прокуратуре, в Верховном суде, МВД, КГБ много высочайших постов занимали татары. Министром МВД в конце 80-х был Вячеслав Мухтарович Камалов, чью фамилию я взял для своих книг «Масль пиковая» и «Судить буду я», ранее Камалов был первым замом председателя КГБ республики. Даже в суверенном Узбекистане ключевой пост главы таможенного комитета получил Рим Генниятуллин. Советником по внешней политике сегодня у Ислама Каримова — Рафик Сайфуллин. Большой вклад в создание Конституции современного Узбекистана внес академик Шавкат-абы Уразаев.

Но продолжим экскурс в долгое советское время. Коснемся культуры. Председатель Союза композиторов — Эльмар Салихов. Главный композитор «Узбекфильма» — Румиль Вильданов. Равиль Батыров, Ильёр Ишмухамедов — известные режиссеры, и у знаменитого Али Хамраева тоже татарские корни. Главный киносценарист студии, её идеолог — Одыльша Агишев. Талгат Нигматуллин, актер, тоже прославился там. Возьмем Театр оперы и балета имени Навои. Долгие годы прима-балеринами были там всемирно известные Галия Измайлова и Бернара Каримова, и у главного балетмейстера Ибрагима Юсупова тоже татарские корни.

Заглянем в Союз писателей. До сих пор мало кому известно, что один из любимых писателей Сталина Сергей Бородин — татарин. В 1942 году он издал культовую для русских книгу «Дмитрий Донской». Классиком узбекской литературы слыл Аскад Мухтар. Высоко ценился властью Зиннат Фатхуллин, драматург. У него очень известные сыновья — Дильшат, лауреат Ленинской премии, а младший — один из создателей



легендарного ансамбля «Ялла». Я хорошо помню их дом, сад в Рабочем городке. По-настоящему большим писателем был Явдат Ильясов, писавший по-русски. Хотя он умер больше пятнадцати лет назад, татарскому читателю еще только предстоит ознакомиться с его творчеством. Наверное, его книги очень заметно повлияют на форму и стилистику молодых писателей — это другая кровь, но истоки у нее явно татарские.

Очень известен и любим в Узбекистане доктор наук, искусствовед, сын нашего классика Хади Такташа — Рафаэль Такташ. Из художников, которых там много, надо назвать академика Чингиза Ахмарова, автора изящных восточных миниатюр. Он оформил классические узбекские поэмы-дастаны: «Алпомыш», «Бабур-наме». Он же иллюстрировал большую подарочную серию восточных поэтов: Фирдоуси, Хафиза, Хайяма, Рудаки, Руми, Амира Хосрова Дехлеви, Низами, Бердаха. Чингиз Ахмаров оставил после себя не только учеников, но и новейшую школу забытой восточной миниатюры. В моей коллекции есть работы его талантливых учеников — Сергея Широкова и Азата Юсупова. Из молодых художников, ныне известных на Западе, хочу назвать Айдара Шириязданова.

Хотелось бы упомянуть и спорт. В знаменитые годы «Пахтакора» там играли Ревал Закиров, Виктор Суюнов, Владимир Тазетдинов, Максуд Шарипов, Вилли Каххаров, Вячеслав Бекташев, Гали Имамов. Общество «Пахтакор» представлял чемпион Европы легкоатлет Родион Гатауллин. Единственный чемпион мира по боксу — Руфат Рискиев, и гимнастки, многократные чемпионки мира, Европы, Олимпийских игр — Венера Зарипова и Алина Кабаева.

Даже на ежегодных пушных аукционах в Ленинграде, куда поставлялся лучший в мире бухарский каракуль, узбекскую комиссию возглавлял мой сосед, выпускник Плехановки — Максуд Зиганшин. Назову и выходцев из Ташкента миллионера Аниса Мухаметшина и братьев Расима и Рената Акчуриных.

Сходная ситуация в положении татар, или даже более благоприятная, была в те годы и в соседнем Казахстане. Многие связывают такую благосклонность к ним властей с родословной самого Кунаева и его жены-татарки, действительно, помогавшей талантливым татарам. Но я, живший и в Казахстане, и в Узбекистане, утверждаю, что это больше



связано с ментальностью казахов и узбеков, с их открытостью и широтой их души.

Вспомнил Ташкент и Алма-Ату и неожиданно подумал: а готовы ли сегодня в Татарстане так же щедро предоставить высокие посты, должности тем же узбекам, казахам? Вряд ли. Сужу по своему опыту. Двадцать пять лет с татарским упорством я пытался издать в Казани книгу — и только сегодня, на двадцать шестом году мытарств, она вышла, хвала Аллаху.

Но вернемся ещё раз в Ташкент. Хочу рассказать, а кому-то напомнить, как принимали здесь татарский театр. Отдавали ему самый большой и красивый зал Театра имени Хамзы. С билетами были проблемы, как и на концерты Ильгاما Шакирова, хотя приезжали надолго, на месяц-полтора. В эти дни разговоры в среде ташкентских татар — только о спектаклях, артистах. Актеров постоянно приглашали в гости. Однажды уже упоминавшийся Максуд Узбеков, работавший в ЦК партии, пригласил домой руководство театра и ведущих артистов. Там, в гостях, я познакомился и с Марселем Салимжановым, и с Азгаром Хусаиновым, директором театра. С Азгаром связь поддерживалась долгие годы.

Татарская диаспора Ташкента жила полнокровной национальной жизнью, на Шота Руставели находился большой книжный магазин, где много лет имелся отдел татарской литературы, тут же оформляли подписку на казанские газеты и журналы, назначали встречи. В узбекской столице любили гастролировать казанские театры и эстрадные звезды. Помню, в конце 60-х, встретив у филармонии её директора Ашота Назарянца, спрашиваю: когда придет Доминико Модунио? Гастроли были уже давно объявлены, а знаменитый итальянец не появлялся. Назарянец, человек с хитрецей и юмором, отвечает: «А на что мне Модунио?» Я в ответ: «Будут аншлаги, большие сборы, сразу квартальный план...» А Назарянец с улыбкой: «Ну, эти проблемы гораздо лучше любой капризной звезды мне может закрыть Ильгам Шакиров, стоит мне только дать телеграмму в Казань!»

Я возражать не стал, знал, что творилось на концертах Ильгاما. Пожалуй, он первый в СССР начал давать два концерта в день, для того, чтобы не разнесли вдребезги концертный зал. Ведь приезжали на выступления и из казахских городов: Чимкента, Джамбула, Туркестана, Арыси, из таджикского



Ленинабада, киргизского Оша. Сейчас примерно такое происходит на концертах Алсу и Земфиры.

И еще об Ильгаме и татарской диаспоре, и о любви народа к песне. В середине 60 х я часто и подолгу бывал в Москве по работе. Вечерами заходил в кафе «Синяя птица», где день играл саксофонист Клейбанд, а день — гитарист Громин. Там я познакомился с молодым пианистом Владимиром Ашкенази, тем самым, который уже лет тридцать входит в мировую элиту исполнителей. Через год после нашего знакомства Володя, как и Нуриев, остался после гастролей на Западе. А тогда Ашкенази, узнав, что я татарин, сказал: «У вас есть очень хороший певец — Ильгам Шакиров». Я с удивлением спросил: «А ты-то откуда знаешь? Он исполнитель народных песен, поет исключительно на родном языке». «А мне о нем Ростропович рассказал», — ответил Володя и поведал краткую историю, которую я не забыл и через сорок лет. Оказывается, Ростропович днем репетировал со своим оркестром в каком то Дворце, где вечерами выступал Ильгам Шакиров. Ростропович — человек увлекающийся, поэтому часто не укладывался в свое время и уходил перед самым концертом, когда музыканты уже настраивали инструменты. Каждый раз, когда Ростропович стремительно выходил на площадь перед Дворцом, он встречал огромные толпы людей, не обращавших на него никакого внимания и лихорадочно ищущих лишний билетик. Так произошло раз, два и три, на четвертый раз Ростропович подошел к афише, а на следующий день остался на концерт и все первое отделение простоял за кулисами, наблюдая и за залом, и за сценой, чтобы понять феномен невероятной народной любви к артисту. В перерыве он подошел к Ильгаму Шакирову, поздравил его с успехом и сказал много теплых слов. Через пятнадцать лет, познакомившись с Ильгамом, я получил подтверждение истории, рассказанной мне Владимиром Ашкенази.

Вот так тесно сплелась нить повествования вокруг одних и тех же татарских имен, и казанских, и ташкентских, да и всех остальных, живущих от Калининграда до Владивостока. При всей нашей раздробленности живем мы одними песнями, одними молитвами, преклоняемся перед одними и теми же людьми — цветом нашей нации.

— *О чем, о ком вы не успели написать?*



— Жалею, что не успел создать серьезные книги о Салихе Сайдашеве, Фариде Яруллине, Рудольфе Нуриеве — это моя тема. Я неплохо знаю балет, серьезную музыку. С юных лет я дружил со многими творческими людьми, некоторые из них стали сегодня значительными фигурами в мировом искусстве.

— *Почему бы вам не начать эти книги сейчас?*

— Слишком затоптана тропа к этим дорогим для меня именам, то есть написано много книг, особенно о Р. Нуриеве и С. Сайдашеве.

— *Многие ваши ровесники — уже почти классики татарской литературы, а у вас в шестьдесят два года вышла первая книга в Казани. В чем причина столь позднего старта?*

— Да, вы правы. Мои ровесники: Равиль Файзуллин, Ренат Харис, Гарай Рахим, Айдар Халим, Флюс Латыйфи, Диас Валеев, Рустем Кутуй, Рафаэль Сибат — действительно значительные фигуры, своими произведениями они прочно вошли в золотой фонд литературы.

Что касается меня — я и начал поздно, первый рассказ написал в тридцать лет, и мой путь в татарскую литературу оказался более долгим и тернистым. Для начала мне предстояло состояться в русской литературе. Думаю, что «Избранное» в «Художественной литературе» и еще три собрания сочинений, а также пятимиллионный тираж моих книг подтверждают, что с этой задачей я отчасти справился. Но уже самые мои ранние рассказы были переведены. Первым на татарский язык, по просьбе Мустая Карима, меня перевел в Уфе Айдар Халим. Еще в 1976 году меня заметил в Малеевке Ибрагим Нуруллин, благодаря ему в «Азат Хатын» вышел рассказ «Оренбургский платок». В 1979 году Заки Нури, с которым я познакомился в Ташкенте благодаря Зиннату Фатхуллину, пригласил меня на съезд писателей в Казань. Заки Нури очень активно пытался ввести меня в круг татарских писателей, но, как я понял тогда, чужих в Казани не любят. Хотя и тогда, и сейчас я думаю, более того, уверен, что Татарстан, Казань — колыбель для всех татар, даже живущих на других континентах. В 1977 году я подал заявку на книгу в «Таткнигоиздат», и вот сегодня, спустя двадцать шесть лет, книга вышла, и я счастлив.

Все эти годы я постоянно общался с татарскими писателями в Домах творчества, знаком с большинством из них. Так что



никакой неожиданности в моем появлении в татарской литературе нет, я с луны не свалился, как кому то кажется, просто выпал долгий путь.

Были и есть писатели, которые всегда хотели, чтобы я не отделялся от татарской культуры, Казани. Это прежде всего Мустай Карим, Муса Гали, Ибрагим Нуруллин, Заки Нури, Гариф Ахунов, Ренат Мухаммадиев, Ренат Харис, Флюс Латыйфи, Равиль Файзуллин, Рашат Низамиев, Закир Хуснияр, Лирон Хамидуллин, Нурислам Хасанов, Данил Салихов, Марс Шабаев. И я им благодарен за это — вне родины, вне нации судьба писателя незавидна.

— *Следите ли вы за татарской литературой?*

— Очень внимательно. Я выписываю «Казан Утлары», «Майдан», «Татарстан».

— *В таком случае, какие публикации поразили вас в последнее время?*

— Во-первых, статья Вахита Шарипова «Гамбургский счет» в журнале «Татарстан», №2 за 2003 год, а ранее статья Рафаэля Хакимова «Кто ты, татарин?».

Эту статью я размножил и в русском, и татарском вариантах и отвез в татарские общины Казахстана и Узбекистана. Она вызвала огромный резонанс. Разделяя почти все сказанное Рафаэлем-эфенди, я сомневаюсь только в одном. Вряд ли мы сегодня годимся в учителя, наставники, поводыри в тюркском мире. И казахи, и узбеки сегодня так далеко ушли, что вам из Казани и представить трудно, я ведь там бываю по два-три раза в году. Это наши отцы и деды были молодцы, в тюркском мире имели авторитет, отличались духовностью и образованностью.

Статья Рафаэля Хакимова — большой гражданский и нравственный поступок ученого, уверен, Сибгат-абы гордился бы поступком сына. Такое страстное слово уже с десятков лет витало в воздухе, его ждал народ, но его не сказали ни духовные, ни религиозные, ни политические лидеры, хорошо, что Рафаэль-эфенди обратился к народу, всколыхнул, встряхнул его.

— *На встречах вам задавали десятки вопросов, они касались многих аспектов жизни. А были среди них такие, что вызвали недоумение или поставили вас в тупик?*

— Татары народ жесткий, без восточных церемоний. Но за годы борьбы за право быть татарским писателем и издавать свои



книги я привык держать удар. Однако ваше чутье не обмануло вас, такие вопросы были. Звучали они в разных редакциях, но по сути их было всего два, и я готов вернуться к ним.

— *Пожалуйста, читатели просили не обходить острые углы, особенно ваши поклонники из числа казахских и узбекских татар.*

— Первый вопрос задавали серьезные люди, занимающие официальные должности, звучит он примерно так: почему казахи отмечают ваши юбилеи, назвали вашим именем улицы, создали ваш литературный музей, включили ваше имя в свои энциклопедии, дают вам лучшее эфирное время на телевидении, не жалеют газетных полос для интервью, и т.д., и т.п.

Отвечаю — только потому, что я там родился, провел в Казахстане юношеские годы, я их земляк! Этого вполне достаточно. Я никогда не написал о казахах ни строки, кстати, сожалею об этом. Я прославил актюбинские края тем, что стал известным писателем. Иных причин нет. Такая у них ментальность, такая щедрая и широкая душа у казахского народа. Оттого они в годину невзгод пригрели на своей груди и чеченцев, и немцев, и поляков, и татар, и калмыков, и многих других.

Второй вопрос тоже звучал по-разному, но смысл примерно таков: родился в Казахстане, живешь в Москве, пишешь по-русски — что тебе нужно в Казани? У нас своих писателей хватает...

Отвечаю: Казань и все ее духовные и интеллектуальные институты принадлежат всем татарам. А главное, я считаю себя татариним и татарским писателем и не слишком озабочен тем, что кому то это не нравится. Наверное, казахам такая постановка вопроса и в голову не могла прийти. Представляете такой вопрос Олжасу Сулейменову в Алма-Ате, или в Бишкеке — Чингизу Айтматову? Нелепость? Согласен.

— *Вы связываете свое будущее с Казанью, с татарской литературой?*

— Наиболее важные дела, цели действительно связаны с Татарстаном. С советских времен по моим произведениям писались кандидатские и докторские диссертации, есть серьезные монографии. Академик Сергей Алиханов, кстати, он мой биограф, всерьез занимается моим творчеством, он читал



в американских университетах курс лекций по моей прозе. После встречи в Казанском университете, я уверен, что мое творчество не останется без внимания и в Татарстане, появятся и биографы, и серьезные исследования.

У меня не переведены еще пять романов, проверенных временем, выдержавших смену режимов и идеологий. Они изданы миллионными тиражами, и я стараюсь, чтобы они дошли до татарского читателя. Возможно, найдутся спонсоры, меценаты, может быть, обратят внимание власти Татарстана, и мои книги, наконец, дойдут до татарского читателя. Я говорю, прежде всего, о романном творчестве, романистов в любой литературе немного, нет их перебора и в татарской.

Мне шестьдесят два года, все предыдущие юбилеи отмечены на чужбине, мечтаю отметить 65-летие в Казани.

— *Что бы вы хотели пожелать своим читателям?*

— Прежде всего, не падать духом. Все равно другого времени взамен трудного не предложат. Какие ни есть годы, они — наши: для юных — годы молодости, для меня и моих ровесников — старости. Нельзя жить только ожиданием новых светлых времен или другой власти. Желая жить прямо сейчас и сегодня, при любой власти. Не увлекаться чрезмерно политикой. Только горстка людей нуждается в крутых переменах, чтобы сменить тех, кто у власти.

Большинству же людей, при любом режиме, нужно отрабатывать свой восьмичасовой день: и рабочему, и технической интеллигенции, и учителям и врачам — всем. И требования к ним год от года будут жестче и жестче. Это не каприз работодателя, будь он частник или государство — это требование времени. И отрабатывать день нужно будет уже по-другому — качественно и количественно, иная работа не нужна. За воротами фирмы, завода, стройки десять человек готовы всегда занять ваше место. Работать над собой, своей квалификацией — вот единственный шанс для всех нас, включая и меня. Вот в этом я и желаю успеха своим читателям.

Москва, Актюбинск,
2001







Казань в моей жизни Беседы о культуре

Интервью с Раулем Мир-Хайдаровым

Что значит в вашей жизни Казань?
— Казань... У редкого татарина, живущего вне родины, не дрогнет сердце при упоминании имени древней столицы Татарстана. Для татар, живущих на чужбине, а нас, к сожалению, семьдесят пять — восемьдесят процентов от всех татар, Казань — как Мекка. А Мекка в комментариях не нуждается. С Казанью связан каждый татарин: кто духовно, кто родством, кто происхождением предков, кто делами, кто учебой, а большинство мечтами — хотя бы раз увидеть светозарную столицу, которую так с любовью называл Тукай. Живущим в Татарстане, в Казани даже в голову не приходит, что миллионы живших и живущих ныне татар никогда не видели Казани и вряд ли ее когда-нибудь увидят. Особенно при нынешних ценах на билеты, гостиницы, не говоря уже о таможах и визах.

Впервые я увидел Казань в 1979 году. Легендарный Заки Нури пригласил меня на съезд писателей. Я приехал раньше, и Заки-абы сам три дня подряд открывал для меня город. Показывал не только исторические места и достопримечательности, а, прежде всего, увязывал тысячелетнюю Казань с жизнью выдающихся татарских деятелей культуры, религии, меценатов. С людьми, определившими весь исторический



и духовный путь татар. Эти трехдневные лекции для меня равны университетской программе. С тех пор я и полюбил Казань.

Чем интересна для меня Казань? Тем, что в Казани была заложена наша государственность, сформировались татарская культура, религия. Здесь сложился наш язык, зародилась письменность. Здесь жили выдающиеся богословы, Казань дала мусульманскому миру великих теологов и мыслителей. В Казани жили все крупные поэты, Казань — колыбель татарского театра, культуры, здесь издавались книги для всего мусульманского мира. Если в России духовных центров всегда было несколько — Петербург, Москва, Новгород, Киев, то Казань была и остается единственным духовным, культурным, политическим центром для всех татар на планете. У Казани нет конкурентов, что и хорошо, и плохо. И вчера, и сегодня нельзя представить жизнь татар без казанских театров, библиотек, музеев, мечетей, медресе, издательств, университета. В Казани живет цвет нашей нации: поэты, прозаики, художники, ученые, артисты, политики, крупные бизнесмены, философы.

Для двадцати-двадцати пяти процентов татар, живущих в Татарстане, это высочайшая концентрация всех духовных и интеллектуальных сил нации, думаю, такого нет ни в одном народе, ни в одной столице. Казань словно магнитом притягивает лучшие татарские умы.

Я двадцать лет — член Союза писателей Республики Татарстан и регулярно бываю в Казани, участвовал в нескольких Всемирных конгрессах татар. Что-то меня радует в Казани, что-то огорчает. Я горд, что в Казани есть достойные литературные журналы: «Казан Утлары», «Сююмбике», «Идель». Восхищает меня и новый «Казанский альманах» Ахата Мушинского. Серьезное место в татарской литературе занял журнал «Майдан». Особенно я горжусь журналом «Казань», убежден, это визитная карточка не только Казани, но и Татарстана. Изящно, со вкусом изданный, интеллектуальный, глубоко философский журнал — он достойно представляет татар в мире! Мэрия Казани создала прекрасный журнал!

Какая Казань мне больше нравится, старая или новая? Тут я приведу финальную строку из моей давней повести: «Новое нужно строить так, чтобы оно не вызывало грусти и сожаления о прошлом».



Я счастлив, что успел застать старую Казань, она осталась в моем сердце. Слишком поспешно и безжалостно сносили старый город. А тайная ликвидация прекрасного здания, где последние годы жил Тукай, первое, что показал мне в 1979 году Заки Нури — это варварство, невежество, вызов обществу, плевок в свою историю. Хотел бы узнать, подал ли в отставку после бури возмущения казанцев главный архитектор города? Где были рьяные национал-патриоты, считающие себя единственными и непререкаемыми авторитетами в любом вопросе, касающемся жизни татар?

Каждый раз, когда приезжаю в Казань, мои друзья с радостью показывают новостройки: ипподром, стадион, рестораны, супермаркеты, Пирамиду — и ждут моих восторгов. А чем восторгаться? Да, что-то строится, но строят сегодня везде. И я цитирую им выдержку из своего давнего интервью, касающегося Москвы: «Если вы хотите увидеть настоящее строительство, большие перемены, поезжайте в Эмираты с интервалом в пять-шесть месяцев. И тогда вы увидите, с какой скоростью, размахом, качеством, фантазией, архитектурной смелостью меняется страна, город. Уникальные здания строятся тысячами. И вы поймете, то, что еще вчера вам казалось «успехом», на самом деле — топтание на месте».

Конечно, я рад прорыву, сделанному городом к тысячелетию Казани. Я рад, что воссоздали мечеть Кул Шариф, рядом с возвращённым к жизни православным храмом, реставрировали Казанский Кремль. Кажется, на это ушло десять лет. Но все в мире познается в сравнении — в моем родном Актюбинске, областном центре Казахстана, построили копию мечети Кул Шариф, такую же роскошную и богатую, а рядом возвели, как и в Казани, величественную православную церковь, обустроили набережную реки Сазда, построили все это за два с половиной года. В сентябре 2008 года в Актюбинске побывал президент России Д.А. Медведев, он посетил оба культовых сооружения и отдал должное их красоте и величию.

При всей любви к Актюбинску я, конечно, равнять его с Казанью не стану, Казань есть Казань, столица древнего государства. Я говорю это к тому, что строят везде, кругом большие перемены. Искренний восторг, большую радость, гордость могут вызывать грандиозные перемены не только в облике



столицы, но и в жизни людей. Хочу сказать, что к 1000-летию Казани я написал песню «Казань, моя Казань», которую впервые в дни праздника исполнил Ренат Ибрагимов. Песня стала лауреатом конкурса.

— *Есть ли у вас в Казани родня, друзья?*

Мои родители родом из Оренбурга, поэтому в Казани близких, к сожалению, нет. Друзья? Я человек контактный, общительный, и друзья-товарищи у меня есть. Я уже тридцать пять лет в литературе и знаю почти всех татарских писателей, кроме молодого поколения. Татарские писатели любили Дома творчества, и я там со многими из них душевно общался: с Амирханом Еники, Рафаэлем Мустафиным, Мухаммедом Магдеевым, Атиллой Расихом, Аязом Гилязовым, Ахатом Гаффаром, Зульфатом и многими другими.

Прекрасные отношения связывали меня с писателем Рафаэлем Сибатом — он знал все мое творчество и в меру своих возможностей пропагандировал меня. Он оставил обо мне несколько серьезных литературоведческих работ. Рафаэль Сибат сказал обо мне крылатую фразу: «Для нас, татар, Рауль Мир-Хайдаров — неоткрытая Америка. Колумбы нужны, Колумбы...». И еще он сказал обо мне: «Пора нам своих возвращать в свою культуру».

Глубокая дружба, личные симпатии связывали меня с Марсом Шабаевым — он перевел три моих романа, несколько повестей, монографию академика Сергея Алиханова обо мне.

Много лет я дружу с Шагинуром Мустафиным, он тоже знаток моего творчества, выпустил книгу бесед со мною «Культуру восстановить труднее, чем экономику». Прекрасные отношения были у меня с Флюсом Латифи, он перевел два моих романа, написал статью обо мне «Он наш, татарин». В добрых, приятельских отношениях я с романистом Факилем Сафиным, благодаря ему и переводам его коллег из журнала «Майдан» в 2004 году вышел целый номер, посвященный моему творчеству.

Постоянно общаюсь и с академиком Юлдуз Галимзяновой Нигматуллиной, ее интересует не только моя проза, но и моя большая коллекция современной живописи.

Крепкие творческие связи у меня с коллективами журналов: «Казан Утлары», «Идель», «Майдан», «Казань».

Своим появлением в татарской литературе я обязан Мустаю Кариму, Мусе Гали, Заки Нури, Ринату Мухамадиеву, Равилю



Файзулину, Гарифу Ахуну, Рафаэлю Мустафину, Лирону Хамидуллину, Нурисламу Хасанову, Ибрагиму Нуруллину, Мухаммеду Магдееву.

Добрые творческие связи наладились у меня с молодежью: Азатом Ахунным, Ркаилом Зайдуллиным. К сожалению, мир литературы жесток, он состоит из группировок, которые порою гораздо сильнее официальной власти. И тут друзей много не бывает, особенно у таких одиночек, как я, но у меня уже появился свой татарский читатель, мне часто пишут, звонят — вот читатели и есть мои главные друзья, моя прочная опора в татарском обществе.

— *Что значит для вас Габдулла Тукай?*

— Наверное, то, что и Казань, ибо для меня эти два имени связаны воедино: Тукай — Казань или Казань — Тукай, как хотите. Г. Тукай своей жизнью захватил почти поровну от двух веков, 19-го и 20-го, по крохотному кусочку, но для меня он ассоциируется не с конкретными датами рождения и смерти. Мне кажется, Тукай жил среди татар всегда, часто ловлю себя на том, что, читая исторические романы Мусажита Хабибуллина, Флюса Латифи, Вахита Имамова, я не раз думал: а что же в это время делал Тукай? Вижу Тукая среди последних защитников Казани. Мистика? Нет — он живет в крови многих татар, оттого и сегодня Тукай остается в нашей духовной жизни, он никогда не расставался с нами. Тукай для татар, все равно что для казахов Абай, для туркмен — Махтумкули, для азербайджанцев — Ниязи, для таджиков — Саади и Хафиз. Тукай имеет глубочайшие корни не только в жизни татар, но и в культурной жизни всех тюркоязычных народов.

Странная, почти мистическая связь у меня сложилась с именем великого поэта. В нашей семье, в революцию после Оренбурга оказавшейся в Казахстане, в тысячах километрах от Казани, бережно хранилась прижизненная фотография Г. Тукая. В 1999 году во время публикации романа «Ранняя печаль» я передал ее в архив журнала «Казан Утлары», где она сейчас и находится.

В Москве, когда отмечали 110 лет со дня рождения Габдуллы Тукая, мне звонит Фарид Мубаракшевич Мухаметшин и говорит: «С ног сбились, не можем в Москве найти портрет Тукая, а завтра вечер памяти состоится, нет ли в твоей коллекции



портрета?». Конечно, портрет великого поэта у меня был, и не один, а целая серия его портретов работы известного художника Шакира Закирова. На другой день портрет поэта в солидной раме украшал сцену Колонного зала Дома союзов. Портрет поэта понравился высоким гостям из Казани, прибывшим на юбилей, и они попросили меня подарить его казанскому музею. Конечно, отказать музею и высокопоставленным людям я не мог, хотя портрет и мне самому очень нравился, он занимал достойное место у меня в коллекции. Этот портрет уже пятнадцать лет выставляется в экспозиции музея Г. Тукая. Несколько других портретов поэта я подарил позже журналу «Казан Утлары» и Союзу писателей Татарстана — они до сих пор украшают стены этих учреждений.

Наверное, узнай Г. Тукай, что меня не допустили до участия в конкурсе на Госпремию его имени, очень обиделся бы.

— *На ваш взгляд, существует ли проблема русскоязычных татар в Казани или это домыслы неудачников?*

— Вопрос настолько глубок и серьезен, что на него в газетной статье не ответить, но я постараюсь. Чтобы не быть субъективным, хочу сослаться на статью главного редактора газеты «Звезда Поволжья» Рашида Ахметова от 28 ноября 2010 года. Цитирую по памяти. Ахметов пишет, что последние двадцать лет, с приобретением суверенитета, из-за явного приоритета татарского языка в Казани во власти, во всех сферах жизнедеятельности, будь то наука, юстиция, силовые структуры, здравоохранение, политика, культура, транспорт, печать и т. д., все руководящие должности заняли дружные люди, выходцы из села, и они вытеснили отовсюду даже самих коренных казанцев-татар, более образованных, культурных, компетентных, интеллектуальных, толерантных к русским и другим нациям. Татары Казани не смогли противостоять нахрапистым татарам из деревни, единственными преимуществами которых являются клановость, круговая порука и знание языка. По выражению писателя Диаса Валиева — деревня затоптала казанскую интеллигенцию, завела там свои порядки.

Сложившаяся ситуация не нова, но о ней стали писать только сейчас, с переменой власти в Казанском Кремле. Конечно, эта проблема касается и меня, наверное, я и есть тот неудачник, о котором вы заявили в своем вопросе. Я двадцать восемь лет



ждал книгу на татарском языке, которую на свои же средства и перевел. Меня, писателя с миллионными тиражами книг, единственного прозаика-татарина, издавшегося в самом престижном издательстве СССР «Художественная литература», имеющего пять раз изданные собрания сочинений в России и на Украине, напечатавшего в «Казан Утлары» шесть романов и три повести, в 2010 году не допустили даже к участию в конкурсе на Госпремию имени Г. Тукая. Сказали примерно так: он пишет на русском, живет в Москве, пусть русские его и награждают.

Я выписываю татарские газеты, журналы, смотрю казанское телевидение, весь 2010 год всем татарам, живущим от Калининграда до Владивостока, высшие татарские чиновники постоянно напоминали, чтобы они при переписи населения записались татарами, даже русскоязычные, мишары, тептяри, кряшены, тобольские, сибирские, крымские, какие только есть, которые в обычной жизни не особенно и нужны казанским властям. Хочется спросить — зачем мы вам? Я понимаю, что ваше обращение относится и ко мне, зачем вам нужно, чтобы я записался татарин? Какой татарин вам нужен, мне уже хорошо объяснили в Министерстве культуры. Грубо, противозаконно, но зато откровенно, от души. Тут мне, несмышленишу, разъяснили, почему нас должно быть много — чтобы чиновники Республики Татарстан получили в масштабах России еще большие штаты и полномочия. Чтобы заботиться о нас, «горемыках», оказавшихся вдали от теплых объятий родных татарских чиновников. Какие великие помыслы, какая трогательная забота, поистине, другим народам остается только позавидовать татарам!

Но я тут же напомнил радетелям за татарских чиновников, что еще несколько лет назад читал в «Независимой газете», издававшейся в ту пору известным политологом В. Третьяковым, огромную статью на целую страницу, посвященную именно чиновникам Татарстана. Скажу только о сути статьи: ни в одном регионе России нет столько чиновников, как в Республике Татарстан. По количеству чиновников татары опережают некоторые схожие по численности и территориям регионы в разы!!! Запомнил термин из той статьи — самая чиновничья республика. Не знаю, радоваться или горевать, все-таки мы —



первые? Любопытна судьба этой статьи, ни один номер о расплодившихся чиновниках в Татарстан не попал. Какая чиновничья мощь, сила! А может быть, я зря, может, татарские чиновники самые лучшие, добрые, отзывчивые? Кривить душой не стану — таковых не встречал. А каковы татарские чиновники сегодня, возвращаю читателя к статье Рашида Ахмедова, кстати, выпускающего очень достойную газету, ее читает вся татарская Москва, волосы встают дыбом, когда читаешь о татарских чиновниках, но я воздержусь от комментариев.

Может быть, чтобы так нагло не нарушались мои права и права других русскоязычных писателей татарского происхождения, мне стоит организовать Общественное движение или политическую партию — «Партию русскоязычных татар»?

Уверяю вас, на первых же выборах в Татарстане ни «Справедливая Россия», ни «Единая Россия», никакая другая партия не сможет выиграть у этой партии. Заверяю вас, такая партия, создай я ее, никогда не будет ущемлять права меньшей части татар, знающих родной язык. У русскоязычной части татар есть понимание целостности нации. Мы не делим татар на мишар, тептяр, кряшен, сибирских, нижегородских, казахских, узбекских, как делают это национал-патриоты в Казани. Моя партия уравнила бы в правах всех татар, знающих язык и не знающих. А литературное поле сделали бы конкурентным, чтобы каждый татарин, даже пишущий о татарах по-английски, а такие уже есть, имел права на признание на исторической родине.

В народе, имеющем катастрофические языковые проблемы, нельзя заигрывать с одной частью в ущерб другой. И тут татарская особенность — игнорируется большая, высокоинтеллектуальная часть татар, которая не знает родного языка и вряд ли когда-нибудь будет знать его, к сожалению.

Только по этой причине последние двадцать лет, которые стали великим переселением народов из-за развала СССР, татары едут мимо исторической родины.

Знаю проблему не понаслышке, общаюсь плотно с татарами Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, и на вопрос — почему они не возвращаются в Татарстан, а едут в Калининград, Подмоскovie, Санкт-Петербург, Австралию? — получаю ответ: «Не хотим из-за незнания языка быть людьми



второго сорта, не хотим калечить судьбы детей. Хотим жить в обществе равных возможностей».

Начали с судьбы одного писателя, а кончили судьбой огромной части татар, которая уже безвозвратно потеряна для Татарстана. Татарское общество давно озабочено несправедливостью по языковому признаку. Не все благополучно в нашем татарском доме.

Я устал стыдиться и краснеть от вопросов русских, украинцев, грузин, узбеков, каракалпаков, издавших около полусотни моих книг пятимиллионным тиражом: когда же вас, наконец-то, издадут свои, татары? Не издали. Потому и вынужден был выпустить к 65-летию за свои деньги собрание сочинений, чтобы только на титульном листе книг появилось название столицы татар — Казань. Горько постоянно слышать от татарских властей, что на издание моих книг у них нет средств. Свои кровные 24 тысячи долларов, что я заплатил за пятитомник, считал и считаю личными инвестициями в «Идел-Пресс» в трудное для него время.

Одни писатели за собрание сочинений получают деньги, а я вынужден платить свои деньги Татарстану только за название столицы на моих книгах. Обидно. Несправедливо.

Однажды узнав, что М. Ш. Шаймиев любит прозу Чингиза Айтматова, я написал ему: «Я очень часто радуюсь, что мать Чингиза Айтматова в 1938 году, после расстрела мужа, не вернулась с детьми в Татарстан. А ведь могла! Какое счастье, что она не вернулась, вернись — не было бы всемирно известного писателя, прославившего страну, народ. Почему? Потому что Айтматов писал на русском языке. А в Татарстане писатель, даже татарин, пишущий о татарах по-русски — второсортный писатель. Мучился бы Айтматов, как Диас Валеев, Рустем Кутуй, Айдар Сахибзадинов, ждал бы, как и я, двадцать восемь лет книгу на родном языке».

В 1987 году на презентации моей книги в Тбилиси директор издательства «Мерани» Гурам Гвердцители сказал: «Впервые в истории грузин мы издаем книгу татарского писателя, о татарской жизни, которую мы мало знаем...».

В 1967 году Ибрагим Нуруллин, доктор наук, впервые опубликовавший меня в Казани, сказал мне прилюдно вещи слова: «Не огорчайся, что пишешь по-русски, главное, пишешь



о татарах. Вот мы — непонятно для кого пишем. У тебя есть адресат, хоть через таких, как ты, мир будет знать о нас, татарах».

Академик Флера Садриевна Сафиуллина в январе 2000 года в своем докладе по итогам литературного года в Союзе писателей дала высокую оценку моему роману «Ранняя печаль», вышедшему в трех номерах журнала «Казань Утлары», она признала мой роман значимым для татарской литературы, самым ярким событием за последние двадцать лет. За моим творчеством она следила, оказывается, с начала 80-х годов и позже, в 2002—2003 годах, написала монографию по моей прозе. Такая оценка моего творчества для меня большая честь — сертификат качества.

За всю историю литературы татарских писателей, пишущих прозу на русском языке, были сотни, но состоявшихся в русской литературе — всего восемь: Явдат Ильясов, Ильгиз Кашафутдинов, Альберт Мифтахутдинов, Роман Солнцев, Рустам Валеев, Рустем Кутуй, Диас Валеев и ваш покорный слуга. Пожалуйста, вдумайтесь — всего восемь писателей! Из них сегодня жив только я! И даже мне одному в новом Татарстане нет места в национальной литературе.

Но писатели, пишущие на русском языке, есть не только в татарской литературе. В Киргизии это — Чингиз Айтматов, у азербайджанцев — Рустам Ибрагимбеков, у грузин — Александр Эбаноидзе, у казахов — Олжас Сулейменов и Роллан Сейсенбаев, у чукчей — Юрий Рытхэу, у нивхов — Владимир Санги, у абхазов — Фазиль Искандер, у узбеков — Тимур Пулатов, у молдаван — Ион Друце, у армян — Гранд Матевосян, у таджиков — Тимур Зульфикаров и так далее. Все они пишут на русском языке, но это не мешает им считаться национальными писателями, и они не ждут издания своих книг на родном языке по тридцать лет. Мне кажется, есть что-то неправильное в политике властей Республики Татарстан к писателям-татарам, пишущим на русском языке, и особенно к тем из них, кто живет вне Татарстана, но рвется душой в Казань. Подобное отношение к «своим» и «чужим» противоречит Конституции России и Конституции Татарстана.

Уверен, будь жив Нуриев, и окажись он сегодня в Казани, вряд ли бы даже в кордебалет попал. Ему сказали бы в лицо:



у нас таких танцоров сотни, станьте в очередь. А сцены Гранд-Опера, Ла Скала, Ковент-Гарден, на которых Нуриев блистал, для чиновников ничего не значат, как не значат для них и мои книги, изданные в лучших издательствах страны, включая «Худлит», миллионными тиражами в разных странах.

Диас Валеев, чьи пьесы шли в пятидесяти театрах СССР, недавно признался печатно: «чувствую себя изгоем на родине». Это как же надо довести человека, философа, чтобы он так сказал о себе.

Недавно умерший Роман Солнцев, известный поэт, драматург, чьи пьесы тоже шли по всей стране, в своем стихотворении «Татарский вальс» написал:

*Возле близких изгоем
Я стою, сжав кулак.
И беру вечно с боем,
что берут за пятак.
Я дружу больше с теми,
кто гоним, как еврей.*

Я подписываюсь под словами моих коллег. Боль, отчаяние, тупик, обида.

Я тоже чувствую себя изгоем у татарской власти. Каждый серьезный писатель знает свое место в национальной и общероссийской литературе. Конечно, и я, имея в багаже пятимиллионный тираж книг, пять раз изданные собрания сочинений, имея публикации и книги на многих языках, присутствуя на сотнях сайтов в Интернете, — тоже знаю свое место в татарской литературе.

Я отметил татар-прозаиков, состоявшихся в русской литературе только за XX век. Вслед за нами подросло уже новое поколение татарских писателей, всерьез заявивших о себе в русской литературе уже в XXI веке, и их гораздо больше нас. С удовольствием перечислю их имена: Айдар Сахибзадинов, Ахат Мушинский, Мансур Гилязов, Салават Юзеев, Нагимов, Лилия Газизова, Алена Каримова, Галина Зайнуллина, Абузяров, Наиль Ишмухаметов, Азат Ахунов и многие, многие другие. Я знаю, их тоже не очень устраивает положение в татарской литературе, если мы чувствовали себя изгоями, они, в лучшем случае, ощущают себя пасынками в родном отечестве.



Нельзя игнорировать творческий потенциал русскоязычных людей татарского происхождения в жизни Татарстана. Нужно пустить их в татарскую жизнь на равных условиях, только в конкурентной борьбе рождаются Нуриевы, Губайдулины, Акчурины, Нигматуллины и другие русскоязычные татары, составляющие мировую славу нашего народа. Ведь в спорте не видать успехов ни «Рубину», ни «Ак Барсу», ни «Униксу» без русскоязычных — тут готовы любого африканца принять под знамена Татарстана и обласкать его, лишь бы был результат. Если быть принципиальным, то надо быть принципиальным во всем, пусть только татароговорящие и добывают спортивную славу для Татарстана.

— *Однажды в Интернете я наткнулся на большую статью известного искусствоведа Ирины Таратуты о вашей коллекции живописи, но поразила меня не сама статья, а справка о владельце коллекции. Прочитав: заслуженный деятель искусств, лауреат премии МВД СССР, пять раз изданные собрания сочинений, почти вся проза, на русском и татарском, имела журнальные публикации. Большинство повестей и рассказов записаны на Всесоюзном радио, Общество слепых Татарстана записало три ваших романа, объемом звучания 87 часов. Все ваши романы стали бестселлерами и изданы по 15—20 раз, тиражом 5 миллионов экземпляров. Вы вошли в энциклопедии нескольких государств, почетный гражданин Казахстана. Переводились на иностранные языки, на языках народов СССР у вас вышло восемь книг, вы попали во фразеологические словари. По вашему творчеству написаны академиками С. Алихановым и Ф. Сафиуллиной серьезные монографии. На родине, в Казахстане, у вас при жизни есть улица вашего имени, в Государственных музеях Актюбинска и Мартука есть залы, посвященные вашему творчеству. В связи с этим вопрос: довольны ли вы своей литературной судьбой, ведь у вас в следующем году юбилей, 70?*

— И да, и нет. Я сполна реализовал себя в русской литературе, издавал книги в лучших издательствах, сполна познал почести и внимание в России. Счастлив оценкой моего творчества у себя на родине в Казахстане, там тоже почестями меня не обошли — дважды на государственном уровне отметили юбилей.



Двадцать лет я член Союза писателей Татарстана, но отношения с властями не складываются, трудно издавать книги, нет творческих вечеров в Казани, все это огорчает, особенно в год юбилея. Обидно, когда тебя не привечают на исторической родине. Поистине — нет пророка в своем Отечестве.

— *Когда и где пересекались ваши пути в литературе с татарскими писателями?*

— В 1971 году я впервые опубликовал в московском альманахе «Родники» рассказ «Полустанок Самсона». Альманах попался на глаза Тауфику Айди, и он прислал мне теплое письмо и подробную анкету, которую мне следовало заполнить. Письмо Тауфика Айди я много лет принимал за официальное, думал, что я попал в орбиту внимания Казани. Письмо сильно окрылило меня. Как наивен я был! В 1979 году, когда Заки Нури пригласил меня на съезд писателей, тогда я и узнал, что письмо Тауфика Айди — частная инициатива. Он всю жизнь собирал материалы об известных татарах в мире, честь и хвала ему! Тауфик Айди первый увидел во мне татарского писателя.

С зимы 1975 года я регулярно бывал в Малеевке, а летом в Ялте, Коктебеле, Пицунде. В Малеевке я не пропустил ни одну зиму с 1975 по 1991 год включительно, а с 1980 года, когда ушел на «вольные хлеба», я бывал там, да и на море, всегда по два срока.

В 1976 году в Малеевке я познакомился с Мусой Гали и Мустаем Каримом, и все последующие годы, до самой их смерти, был с ними рядом. Они во многом сформировали меня как литератора, привили любовь к татарской литературе. Благодаря им в 1977 году у меня впервые в Уфе перевели на татарский рассказ «Оренбургский платок», сделал это Айдар Халим, позже в журнале «Агидель» напечатали повесть «Не забывают нас» на башкирском.

Мои недоброжелатели в Казани по незнанию упрекают меня, что я не знаю татарской литературы, ее истории, наверное, оттого, что я не закончил факультет татарской филологии Казанского университета. Но если подходить с такой меркой, то я одолел не только этот факультет, но и его аспирантуру. Почему? Объясню. Моим татарским университетом и моими профессорами на долгие годы оказались лучшие татарские писатели, только мой университет был выездным



в Домах творчества и для одного благодарного студента. Могу утверждать, что долгие зимние вечера в Малеевке почти каждый день проходили в совместных чаепитиях, застольях, частных беседах, и разговоры там шли только о литературе. На таких посиделках я впервые услышал о Заки Валиди, Маджите Гафури, Гаязе Исхаки, Шаехзаде Бабице, Чонакае, Марджани, Ризе Фахретдинове, Юсуфе Акчуре. С тем, что я услышал о татарской литературе от Мустая Карима, Мусы Гали, Ибрагима Нуруллина, Амирхана Еники, Атилле Расиха, Мухаммета Магдеева, Заки Нури, Рината Мухамадиева, Виля Ганиева, Наби Даули, Айдара Халима, ни одна университетская программа сравниться не может. Я ведь получал знания без идеологической подкладки, без оглядки на цензуру, от людей, создававших литературу.

Одно общение с Амирханом Еники чего стоит! В Малеевке я трижды был у него на праздновании дня рождения — это пир для души, для слуха, для сердца! Разве постные университетские лекции могут сравниться с воспоминаниями его гостей на этих скромных торжествах?! Какие забытые страницы татарской литературы, какие канувшие в Лету фамилии всплывали вдруг за столом! Кроме дней рождения Амирхана Еники, я сидел с ним за одним столом в Переделкино, Ялте, Пицунде. Семьдесят два дня по три раза в день рядом с Еники! Такое выпало не каждому. Он, как в прозе, дозировал и свое устное слово, но иногда его прорывало, страсти сидели в нем глубоко, жизнь научила его смолоду сдерживать себя. Многие из тех давних разговоров я понял позже, когда прочитал его воспоминания «Страницы прошлого». В последние годы жизни он приезжал в Переделкино, где я прожил в Доме творчества в комнате №106 безвыездно восемь лет, и я всегда приглашал его в гости, иногда одного, иногда с другими писателями, но чаще с Мустаем Каримом и Мусой Гали. На память о таких встречах, к счастью, остались фотографии. К концу жизни чуть ослабли тугие струны внутри, и он был гораздо добрее, мягче. Я называл его Патриархом. Он поистине и был Патриархом татарской литературы. Я очень любил его, недаром главного героя в романе «Пешие прогулки» зовут Амирханом.

Существенно повлиял на меня и Мухаммет Магдеев, мы с ним познакомились в Пицунде в 1988 году, он отдыхал вместе



с сыном, вернувшимся из армии. По моей просьбе он прочитал роман «Пешие прогулки» и рукопись романа «Двойник китайского императора». На сегодня эти романы выдержали по двадцать изданий и переведены на татарский язык. Он тоже рассказывал мне о духовной жизни Казани, о писателях, чьи книги я должен читать. Светлый, чистый был человек Мухаммет-абы, пусть земля ему будет пухом! Я не забуду его наставлений.

Частые искренние встречи в Домах творчества были у меня с Нурисламом Хасановым, он первый написал обо мне большую статью, считая меня татарским писателем.

Полный курс университетского образования я прошел с Адхатом Синегулом, который в конце 70-х годов женился на дочери ташкентского писателя Шамиля Алядина и переехал в Узбекистан. Кто знал Синегула, может подтвердить, что он очень любил поговорить.

В Ташкенте, где я прожил тридцать лет, работали Аскад Мухтар и Зиннат Фатхуллин, классики узбекской литературы. Аскад-абы и Зиннат-абы, заметившие татарскую направленность в первых же моих публикациях, всячески поощряли мой ориентир на Казань. Когда к ним приезжали гости из Татарстана, они часто приглашали и меня. Конечно, все разговоры за столом были только о литературе, о писателях. Оба они имели крепкие связи с Татарстаном. Аскад Мухтар познакомил меня с Гарифом Ахуновым, а Зиннат Фатхуллин — с Заки Нури. Я знаю, оба они писали, говорили обо мне в Казани. Наверное, поэтому в 1979 году меня пригласили на съезд, и Заки Нури очень настойчиво пытался ввести меня в круг татарских писателей, но наткнулся на стену равнодушия и очень огорчился. Мне кажется, он не ожидал от коллег такого отношения ко мне, молодому человеку, с восторгом и надеждой приехавшему на родину отцов. Вот тогда я стал утверждать, что фраза: «Иван, не помнящий родства» — татарская. Чем больше живу, тем больше в этом убеждаюсь. До последних дней своей жизни Заки Нури следил за моими успехами в русской литературе и искренне радовался им. Светлая память о вас, Заки-абы, легендарном человеке, всегда будет в сердцах людей, близко знавших вас.

Не могу не сказать несколько слов о создании повести «Знакомство по брачному объявлению». В 1982 году в Ялте



отдыхало много писателей из Казани и Уфы: Заки Нури, Наби Даули, Рахмай Хисматуллин, Рафаэль Сафин, человек десять, не меньше. Однажды после ужина, когда писатели собрались вокруг Заки Нури, я обратился к обществу, мол, хочу завтра всех вас пригласить к себе в гости и заодно почитать новую повесть. В Домах творчества существовала традиция — читать друг другу новые тексты. Заки-абы, как всегда, отвечает с юмором: если выпивки и угощения будет достаточно, готовы слушать. Моя комната на третьем этаже располагала просторной верандой с видом на море, там я и накрыл столы. Пришли все, началась читка, время от времени перебиваемая гомерическим хохотом. В общем, застолье удалось, слушали внимательно, с любопытством, повесть имела почти детективную интригу. Бутылки не успели ополовинить, как я закончил читать написанное. Сразу дружно стали спрашивать, чем же закончится история и на ком женится Акрам-абзы? Вдруг Заки-абы встал и сказал грозно: «Что ж ты втянул уважаемое общество в историю с недописанной повестью? Нехорошо. Чтобы вернуть наше расположение к себе, ты обязан дописать повесть до нашего отъезда и тем искупить свою вину».

Раздались аплодисменты всеобщего одобрения, не возражал и я. Кто мало-мальски знает меня, тот всегда отмечает мою обязательность. Я забыл про море, пляж, соблазнительные компании, вечеринки и дописал повесть. За день до отъезда я снова собрал гостей у себя на веранде. Среди гостей из Уфы был поэт Рафаэль Сафин, холостяк, и во время читки все невольно поглядывали на него — мол, смотри, как геройски действует Акрам-абзы. Повесть имела счастливую судьбу. Впервые я напечатал ее той же осенью в журнале «Дальний Восток», в Хабаровске, там служил мой сын. Она много переводилась, но особенно я рад публикации в журнале «Казан Утлары». Строки из повести часто цитируются: «Акрам Галиевич не знал, что такое аэробика, но понял, что с кухней это никак не связано». В том же 1982 году я отправил повесть в Казань, в театр Марселю Салимжанову, которого знал лично, принимал его с коллегами дома в Ташкенте. Я всегда был уверен, что повесть — готовая пьеса. Но, как обычно поступают в Казани, мне не ответили. Жаль, тридцать лет назад это была бы первая в СССР пьеса о знакомстве по брачному объявлению на



татарской основе. В 2008 году поэт Ркаиль Зайдулла написал пьесу по этой повести, и ее поставил Оренбургский театр, идет она и в Мензелинском театре с успехом. Упущено три десятилетия! А в искусстве ценятся новизна, первое слово.

В Домах творчества я познакомился и с русскоязычными писателями-татарами: Рустамом Валиевым, Ильгизом Кашафутдиновым, Романом Солнцевым, Рустемом Кутуем, Альбертом Мифтахутдиновым, Явдатом Ильясовым. С Альбертом, жившим в Магадане, я долгое время состоял в переписке, где мы постоянно затрагивали болезненную для нас проблему — отношения к нам Казани. Возможно, это огромная страстная переписка когда-нибудь всплывет, все-таки он был известным писателем. Из названных мною писателей только я и Рустам Валиев крепко держались в творчестве татарской линии и все время стремились в Казань. Но даже те, кто чурался татарских тем, даже они были в обиде на Казань, говорили, что нас там не вспоминают, не приглашают, не издают. А ведь нас, татар, пишущих прозу, состоявшихся в русской литературе, и десятка не наберется, говорю вам ответственно, в эту десятку входят и казанские писатели Рустем Кутуй, Диас Валиев. Отчего к нам, единоверцам, такое равнодушие? Мы дети одного народа, и на нас, наверное, распространяется татарская государственность?

Возвращаясь к моим татарским университетам, хочу отметить отрадную деталь. Всякий новый писатель, с кем я знакомился, считая своим долгом просветить меня, говорил: это тебе обязательно надо знать! Это могли быть беседы о Дэрдменде или моем земляке Мирхайдаре Файзи, или о Наки Исанбете и Нури Арслане, Гумере Баширове и Абдрахмане Абсалямове, Аделе Кутуе и Кави Наджми. Я все впитывал как губка и никогда не путал Назара Наджми с Кави Наджми. Особенно любезны были со мной писатели, не обласканные славой и вниманием, они дарили книги, татарские словари. Я всегда помню о них с благодарностью.

Я один из немногих, кто общался почти со всеми известными татарскими писателями за последние тридцать лет, и о каждом из них оставил страницы в дневнике, сейчас работаю над мемуарной книгой «Вот и всё... я пишу вам с вокзала», куда войдут и эти дневники...



— Скажите, пожалуйста, что, на ваш взгляд, сильнее в татарской литературе: проза, поэзия, драматургия?

— Безусловно, поэзия!

— Почему?

— Татарская поэзия выросла из тысячелетней традиции, она всегда питалась из вечного родника устного народного творчества. А проза от Галимджана Ибрагимова до Факиля Сафина имеет за плечами только век. Татарская романистика еще не сказала своего слова, в сравнении с поэзией.

— Какой жанр, на ваш взгляд, будет востребован в XXI веке?

— Исторический роман. Несмотря на глобализацию, XXI век пройдет под знаком национальной самоидентификации народов. В силу известных исторических причин на татарскую историю был наложен жирный крест, табу. История народа познается не только по учебникам и научным трактатам, а прежде всего по выдающимся романам, тому примеров много. История казачества — это «Тихий Дон» М. Шолохова, история казахов — роман-эпопея Мухтара Ауэзова «Путь Абая».

Народ хочет знать свою историю в художественных образах, мелодиях, играх и даже в национальных костюмах. Такой интерес проявился у всех тюркских народов. У казахов, например, один за другим переиздаются романы Ильяса Есенберлина, в Ташкенте — романы о Тимуре Великом.

Я думаю, уже в ближайшие годы мы увидим новые романы, освещающие татарскую историю, они обязательно поднимут тонус народа. Уверен, найдется и библиотека татарских рукописей, исторических документов, пропавшая при взятии Казани, и писатели смогут работать с первоисточниками.

— Оптимист вы, однако!

— Почему же нет, если бы какой-нибудь татарский меценат объявил, что даст миллион долларов тому, кто укажет, где спрятана библиотека царицы Сююмбике, я думаю, долго ждать не пришлось бы, может, даже очередь образовалась.

— Рауль Мирсаидович, мне не дает покоя ваша похвала поэзии. Не пытаетесь ли вы льстить поэтам? Поэтому задам каверзный вопрос: отчего, в таком случае, поэзия не прозвучала во всю мощь в советское время, когда к литературе относились всерьез?



— Татарская поэзия обойдется без моей лести и без моих похвал. А не прозвучала она только по одной причине — отсутствия государственной поддержки, понимания властями важности литературы не только для своего народа, но и для утверждения ее места в семье народов страны, мира.

— *Можно понятнее, подробнее?*

— Вы думаете, грузинская или какая-либо другая поэзия интереснее, глубже, тоньше татарской? Я отвечу — нет, и меня поддержат татарские поэты. Они ведь чувствуют емкость, образность, философию любой поэзии. Нужны только умные, талантливые, тонкие переводчики. Вернемся к грузинам, которых я очень хорошо знаю и люблю, они еще лет двадцать пять назад перевели на грузинский язык мою книгу «Чти отца своего». Я дружил со многими деятелями культуры Грузии, с ее футболистами: Месхи, Метревели, Цховребовым. Кто переводил грузин: Пастернак, Тарковский, Заболоцкий, Антокольский, Тихонов, Ахмадулина, Евтушенко, Луконин, Межиров, Леонович, Корнилов. Если буду продолжать, могу назвать еще два десятка достойнейших имен. Даже в годы войны Пастернак мало бедствовал, потому что переводил Тициана Табидзе, Реваза Маргиани, Карло Каладзе, Ираклия и Григола Абашидзе, Георгия Леонидзе, Паоло Яшвили. Евтушенко даже построили дачу на море в Гульрипшах. Это в то время, когда под Казанью шесть соток невозможно было получить. А мы даже переводчика нашего великого дастана «Идегей» Семена Израилевича Липкина, переведившего, кстати, и Мусу Джалиля, не обласкали, как следует. Я ведь последние годы жил в Переделкино с ним по соседству. Что ему запоздалая Государственная премия Татарстана в девяносто лет, он нуждался в тепле, заботе, ремонте своей разваливающейся дачи. В начале 1980-х он вышел из Союза писателей из-за «Метрополя» и вовсе бедствовал, больше, чем Пастернак во время войны. Жаль, Липкину не довелось грузин переводить. Хороший переводчик внимания, любви, заботы требует, повышенные гонорары — само собой. Переводчиков, а точнее, пропагандистов грузинской литературы принимали, как оперных примадонн или великих теноров, сам не раз видел это в Тбилиси, гулял с ними на закрытых госдачах. У нас



в Казани самих-то поэтов вряд ли часто привечают на госда-чах и госприемах, какой уж тут разговор об их переводчиках.

К сожалению, не выпало татарской поэзии иметь своего Наума Гребнева и Якова Козловского, хотя свои Гамзатовы у нас были и есть. Не буду называть фамилии, сыпать соль на раны, имена наших корифеев у всех нас на устах. Искать переводчиков, ублажать их должны не сами поэты, это дело литературных чиновников, власти. Государство должно заботиться о своих творцах.

Пишу эти строки, а перед глазами стоит недавно ушедший от нас растерянный от дикого российского капитализма прекрасный поэт, если не сказать больше, Мударрис Аглямов. Когда ему было думать о переводчиках, чтобы про его талант узнали в Европе, в мире? У него проблема была важнее — как выжить сегодня, и что будет завтра, если искусство, литературу переведут на коммерческие рельсы?

Даже в Узбекистане, на грандиозном юбилее Аскада Мухтара в 1980 году, году его 60-летия, я видел, сам устраивал в гостиницах и на госдачах переводчиков прозы и поэзии Аскада-абы, провожал их в аэропорт тяжело груженными. Думаете, это были заботы Аскада Мухтара? Нет, это ему и в голову не приходило, он встречался с гостями только за богато накрытыми столами, все остальное делали те, кому поручили курировать узбекскую литературу, и, конечно, высшая власть. Да и сам юбилей, отмечавшийся в лучших залах Ташкента и только что отстроенном роскошном ресторане «Зеравшан», вряд ли отнял у Аскада-абы много времени и сил, от него требовалось одно — дать подробный список высоких гостей, которых он хотел бы видеть на своем торжестве. День рождения крупного поэта — это государственная забота.

Запомнилось, как Аскад Мухтар говорил мне в дни юбилея: «Единственное место в стране, где еще почитается писатель, это Кавказ и Восток. Я даже в Москве никогда не признаюсь, что я писатель, ибо это вызовет только негативную реакцию». Он знал, что говорил. В конце 1970-х всем наиболее известным писателям в Ташкенте построили в черте города в лучших районах двухэтажные особняки с хорошими участками. Хотя они имели в Дурмене (это как Переделкино или Рублевка в Москве) двухэтажные каменные госдачи с огромной территорией и персональными садовниками. Даже я, только вступив



в Союз писателей, имея квартиру, тут же получил новую четырехкомнатную в элитном доме на Гоголя, где сосед справа был прокурор республики, слева — министр строительства. А после романа «Пешие прогулки» сразу получил участок под строительство загородного дома там же, в Дурмене, где через забор моим соседом был президент Усманходжаев. Только теперь, пытаясь издать свои книги в Казани и устроить там творческий вечер, я понимаю, как мудр был Аскад-абы, когда говорил: «только Восток ценит своих писателей».

Вот какую господдержку поэзии я имел в виду. Повторю очевидную истину: искусство, литература без любви, внимания, заботы, без меценатов, без финансирования — вообще умирает.

— *Может, вы и правы, наших поэтов государство так не баловало. Но это было давно, а теперь повсюду намекают на самоокупаемость, самофинансирование.*

— Приносить прибыль, быть рентабельными могут только бордели и шоу-бизнес. А мы с вами говорим о национальном искусстве. Для нашего большого и разбросанного по всему свету народа культура куда важнее экономики, только она еще объединяет татар и ничего больше. Даже такая еще вчера цементирующая сила, как религия, вдруг потеряла свою значимость. Любой татарин в европейской, арабской, азиатской стране может легко удовлетворить религиозную потребность без Казани.

Какие мечети в Лондоне, Париже, Амстердаме, Варшаве, Мадриде, Хельсинки! Чтобы расцвела культура, нужна, как модно сейчас выражаться, только политическая воля. Хотите пример? Пожелали в Казани иметь конный спорт, автоспорт, футбол, хоккей, баскетбол европейского уровня — они мгновенно и появились. Чему я, большой болельщик, безусловно, рад. Радуясь взлету профессионального спорта в Казани, как человек, знающий, что почем в спорте, сколько стоят приглашенные со стороны игроки, тренеры, содержание команд, спортивных баз, стадионов, медицинского обслуживания, миллионное страхование звезд, их быт, их передвижения, зарплата чиновничьего аппарата и еще многое другое, хотел бы обратить внимание на эти астрономические суммы. Могу с погрешностью в пять-семь процентов даже назвать суммы этих затрат, но не хочется сыпать соль на раны коллегам, людям чутким и эмоциональным. Однако сравнить попытаюсь, уверен — надо.



Как вы помните, в советское время деньги на культуру выделялись по остаточному принципу, главными статьями расходов были: армия, космос и содержание левацких режимов во всем мире. Но даже тот период в Казани вспоминают, как лучшее время для искусства. На мой взгляд, все яркие достижения литературы и искусства связаны с советским периодом, имена, известные миру: Рудольф Нуриев, София Губайдулина, Ирек Мухамедов — из того времени. Если бы культура получала хотя бы двадцатую часть того, что имеет сегодня спорт, у нее настал бы золотой век! Я не ставлю задачу противопоставлять культуру спорту, слава Аллаху, хоть спорт у власти в почете. Но в условиях российской действительности, где вся жизнь пронизана коррупцией, взяточничеством, и спорт весь продажный: от судей до самих игроков. Оттого любая победа, успех — сомнительны, не греют душу, не радуют. Если бы спорт в России был чистым, честным, то победы как-то оправдывали бы столь высокие расходы, а так — деньги на ветер.

Я вырос вдали от Татарстана, но кто знает меня, может подтвердить, что во мне татарского гораздо больше, чем у многих живущих там. И эти качества сложились благодаря силе искусства, благодаря тем песням и мелодиям, что я слышал в детстве, тем рассказам, что я внимал в застольях родителей. Для меня, повторюсь, человека, не чуждого спорту, творчество одного Ильгама Шакирова гораздо выше любых побед «Рубина» и «Ак Барса» или кубка в ралли Париж — Дакар, или награды за победу любимого жеребца президента на ипподроме.

Уже почти век живет на сцене «Зангар шаль», уверен, что и последующие сто лет она будет греть сердца людей. Искусство, литература, как правило — труд одиночек. И их, творцов, казалось бы, поддержать легче, чем спортивные команды, но не получается, к сожалению.

Балетные спектакли готовят годами, но идут они десятилетиями, балетам Дягилева, Фокина уже почти сто лет, и они не сходят со сцены. Музыка Фариды Яруллина к балету «Шурале», его оркестровые пьесы уже полвека пробуждают в татарах гордость за свою культуру, задевают в душе национальные струны. Я уверен, что победы слетевшихся со всего света за огромные деньги в не очень богатую республику варягов-легионеров, бьющихся за казанский футбол, хоккей, баскетбол, не могут



вызывать подобные глубокие чувства. Уверен, гораздо больший эмоциональный подъем чувствуют зрители, когда чувствуют на сабантуях истинных богатырей земли татарской.

Профессиональный спорт — часть масс-культуры, и я думаю, он не должен иметь преимуществ в финансировании перед национальной культурой. Это несравнимые величины, ни по каким параметрам, ни в краткосрочной перспективе, ни с оглядкой на будущее нашего народа. А спорт, прежде всего массовый, конечно, надо развивать, татары — спортивная нация, это общеизвестный факт.

Позволить себе рассчитывать на окупаемость культуры может только очень большой народ, например, русский, где читателей, слушателей десятки миллионов. В России одних писателей, даже сегодня, под сто тысяч. Они могут рискнуть пойти рыночным путем, хватит и тех, кто выживет, не умрет. Коммерциализация русской культуры уже дает о себе знать, результат известен каждому, и нет нужды обсуждать ее плоды. Татарская культура может выжить только с помощью государства — это аксиома. Она не выдержит даже кратковременного эксперимента.

Убежден, культуру восстановить гораздо труднее, чем экономику. Примеров тому немало: возьмите процветающую Турцию, там нет профессионального театра, книгоиздания в нашем понимании, да и литература не развита. То же самое и в Греции, где бываю часто, там только восемь лет назад появился оперный театр европейского уровня. А казанскому оперному театру уже более полувека. Отстав однажды в культуре, останешься навсегда на задворках истории, это не спорт — сегодня проиграл, завтра выиграл.

— И все-таки я хочу вернуть вас к поэзии, которую вы так высоко оценили. Какой период поэзии, какие поэты вам близки по духу?

— К поэзии я приобщился в пору, когда формируются вкусы, взгляды на жизнь, на искусство — в пятнадцать лет. В Актюбинске мне дали на ночь аккуратно переписанную от руки толстую в коленкоре тетрадь запрещенного в ту пору Сергея Есенина, с тех пор я и дружу с Поэзией. В ней, как я уже не раз говорил, есть ответы на все вопросы бытия. Поэзия мне нужна и в радости, и в дни печали, в нее я убегаю от



невзгод, неудач, плохого настроения. Не побоюсь высказать крамольную, на взгляд литературоведов и национал-патриотов, мысль, что большая поэзия вненациональна, она не имеет границ. Хотя я прекрасно понимаю, что любая поэзия сильна национальными корнями. Но лучшие ее образцы становятся достоянием всего человечества и воспринимаются вне национального контекста. В этом сила больших литератур, больших поэтов, питаюсь национальными корнями, им удастся воспарить над местечковостью и подняться не только над своим аулом, но и над всем миром. В последние десятилетия, когда открылся мир, я часто бываю за границей, всегда захожу в Европе в книжные магазины и везде встречаю прекрасно изданные книги Омара Хайяма, Рудаки, Хафиза. К переводам этих поэтов хорошо приложили руки англичане еще полтора века назад, а от них, да и от русских переводов А. Тхоржевского тоже, отпочковались немецкие, французские, испанские, итальянские переводы. Но это сути не меняет, важна данность, поэзия Востока востребована как никогда.

Мое увлечение поэзией пришлось на время, когда она оказалась на пике своего расцвета, популярности, она могла соперничать с эстрадой, собирала полные залы Дворцов и переполненные трибуны стадионов. Тиражи поэзии равнялись тиражам прозы. Шестидесятые-семидесятые годы стали временем поэтов, ежегодно издавался альманах «День поэзии», страна знала, любила своих поэтов. Увлечись поэзией, я, конечно, не пропускал и татарскую, прежде всего Мусу Джалиля и Габдуллу Тукая. В начале 1970-х я приобрел книгу стихов Равиля Файзуллина «Саз», изданную в «Молодой гвардии», до этого я часто встречал его стихи в периодике, его имя уже гремело в литературе.

По-настоящему я полюбил татарскую поэзию, когда начались мои татарские университеты в Домах творчества. Стихи Туфана, Сибгата Хакима, Зульфата я впервые услышал из уст Мустая Карима и Мусы Гали. Очень красиво читал стихи Рафаэль Сафин. На всех вечеринках в Домах творчества читали стихи. В Домах творчества сложилась традиция устраивать творческие вечера с участием приехавших на отдых поэтов. Однажды в 1978 году в Коктебеле я слушал на таком поэтическом вечере Рената Хариса. Помню, на русском он читал



стихотворение «Русские ворота» и еще четыре стихотворения по-татарски. Читал великолепно, зал аплодировал ему долго, хорошая поэзия чувствуется по ритму, размеру, звуковому ряду. К этому вечеру в Крыму я уже ориентировался в татарской поэзии. К восьмидесятым годам, хотя и работала еще старая гвардия больших поэтов: Туфан, Сибгат Хаким, уже сформировалась группа литераторов, которая на долгие годы станет определять лицо нашей поэзии. Уже четверть века я внимательно слежу за их творчеством, редко в какой поэзии выпадает на один временной отрезок такой щедрый звездопад талантов. На всякий случай зарезервирую для себя в литературоведении определение этой группы как Великое поколение. Большинству из них сегодня за шестьдесят, кому чуть больше, кому чуть меньше. Это, на мой взгляд, Равиль Файзуллин, Зульфат, Радиф Гаташ, Мударрис Агьямов, Ренат Харис, Гарай Рахим, Рустем Мингалимов, Зиннур Мансуров, Роберт Ахметзянов, некоторых из упомянутых, к сожалению, уже нет с нами. Выскажу и такую парадоксальную мысль: родись они в разные периоды истории, каждый из них, индивидуально, стоял бы на золотом пьедестале поэзии. Нам выпало счастье знать, видеть, читать их в одно время, но по-настоящему разглядят их только наши потомки. Бывает так, что среди многих бриллиантов трудно разглядеть единственный, самый-самый. О них написано столько статей, исследований, монографий, что моя хвалебная оценка их творчества — излишняя. Любопытна она одним — это взгляд человека любящего, знающего поэзию и наблюдающего, что ни говори, со стороны. В этом мое право на оценку. Обидно, что никому их них, кроме Файзуллина, не удалось вырваться на всеобщую орбиту, но это не их вина и не слабость их поэзии. Повторюсь, поэзия нуждается в покровительстве.

— *Я согласен с оценкой названных вами поэтов, но вы сами говорите, средний возраст у них за шестьдесят, а поэзия — дело молодое. Отчего ярко не заявляют о себе, как ваши кумиры, молодые?*

— Поколение поэтов, которых я назвал, подняло планку поэзии столь высоко, что еще десятилетиями мы будем замечать этот провал, немощь идущих вслед поэтов. Тут причин много — и слабость образования в последние двадцать пять лет, и резкое падение уровня культуры, и потеря интереса



к самой литературе, признаем это. Каждый из названных мною поэтов и все они вместе сделали революцию в татарской поэзии. Они раздвинули ее границы, обогатили рифмой, формой и, прежде всего, философичностью, интеллектом, кругозором, образностью. Это поколение имеет прекрасное образование, за плечами некоторых и очная аспирантура, оно впитало не только родную культуру, историю, но и мировую. Идущий впереди них по возрасту Марс Шабаев, чувствуя потребность в развитии границ поэзии, перевел даже Уитмена. Сегодня я думаю, что его перевод в первую очередь был адресован этому поколению. К сожалению (может, я ошибаюсь в своем личном мнении), это первое такое мощное интеллектуальное поколение и, скорее всего, последнее. Этому поколению, к которому принадлежу и я, повезло, нас воспитало время, расцвет национальных культур, благополучие и мощь страны и высокое место писателя в культурной жизни общества.

Конечно, поэзия никогда не иссякнет, есть и в молодом поколении таланты: Ркаиль Зайдулла, Марат Закиров, но перед ними взяты такие высоты, такие эвересты, что дух захватывает! Это, если сравнить со спортом, всё равно, что после Боба Бимона, двадцать семь лет назад прыгнувшего в длину на восемь метров девяносто сантиметров, — заниматься прыжками. И после Боба Бимона каждый год появляются чемпионы мира, Европы, олимпийские чемпионы, им вручают золотые медали, безумные гонорары, но никто, уверяю вас, не забывает, что были восемь метров девяносто сантиметров! Великое поколение оставит после себя не только большую поэзию, но и её высоко поднятую планку возможностей. Вот такими ориентирами и сильна мировая поэзии.

— *Сегодня в беседе с вами мы забрели далеко в литературу, и, пользуясь тем, что вы не уходили от вопросов, отвечали искренне и на все имели свой выстраданный взгляд — не шутка тридцать лет биться за место в татарской литературе, имея за собой реализованный успех в русской словесности, — я задам вам вопрос, очень волнующий меня самого, кстати, он неожиданно возник из нашего разговора. В шестидесятые у идеологов Кремля родилась благая идея — выделить из национальных литератур яркие имена и, всячески поддерживая их, демонстрировать заботу о литературах больших и малых народов. Для примера напомним: Киргизия — Чингиз*



Айтматов, Казахстан — Мухтар Ауэзов, Туркмения — Берды Кербабиев, Таджикистан — Мирзо Турсунзаде, Узбекистан — Гафур Гулям, Калмыкия — Давид Кугультинов, Башкирия — Мустай Карим, Дагестан — Расул Гамзатов, Чукотка — Юрий Рытхэу. Почему не нашлось такого лидера у нас, и кто, на ваш взгляд, мог претендовать на такую миссию?

— Этот вопрос беспокоит уже которое поколение татар, волновал он и меня. Сегодня мне 69, я отдал десятки лет литературе, и я скажу, каков был бы мой выбор.

Я вижу кандидатуру только Хасана Туфана, он имел для этого все: талант, авторитет, любовь народа.

— *Но вы упустили из виду, что он был репрессирован и долгие годы провел в Сибири.*

— Знаю, хорошо знаю. Много о нем читал, много слышал от людей, близко знавших его. В такой же ситуации и там же, в Сибири, находился и Давид Кугультинов, но это не помешало ему стать одним из самых заметных поэтов страны. Дело не в Туфане, а во власти, к сожалению, власти не нужен был вольнодумец Хасан Туфан. И писатели не очень рвались отдать пальму первенства одному, даже Туфану. Если не я, то и никто другой — и сегодня прослеживается в наших рядах. Не судьба, не повезло ни татарской литературе, ни великому Туфану, как не везло ему в жизни с книгами, переводами. Жаль, какое прекрасное сочетание, какая великая преемственность получилась бы: Тукай — Туфан! А был еще один вариант, для многих он может показаться фантастическим. Но я все же пофантазирую на эту тему, ибо так поступили мудрые казахи. Вместе со стареющим Мухтаром Ауэзовым казахи все время упорно поднимали молодого Олжаса Сулейменова. Когда Мухтар-ага ушел из жизни, Олжас автоматически занял его место. Я хочу сказать, что вместе с Туфаном следовало делать ставку и на Равиля Файзуллина, звезда которого в то время разгорелась даже ярче, чем Олжаса Сулейменова.

Сегодня, когда прошли десятилетия, Равиль Файзуллин своей жизнью, талантом, многотомным творчеством подтвердил, что вырос в крупнейшего поэта. Я думаю, что в те годы он уже стоял рядом с Евтушенко, Вознесенским, Рождественским, тем же Олжасом Сулейменовым и Мумином Каноатом, который мгновенно сменил умершего Мирзо Турсунзаде.



— Почему вы выбрали для жизни Ташкент? И что вас натолкнуло на занятие литературой?

— Я пришел в литературу из строительства. Пришел поздно — первый рассказ написал в 1971 году в тридцать лет. Меня с молодых лет, с юности влекло искусство: музыка, балет, живопись, литература, театр, кино, эстрада. В Ташкент я приехал в 1961 году и поставил себе задачу пересмотреть репертуар всех столичных театров. За год я с этой программой справился, включая и узбекский театр Хамзы, где тогда блистали непревзойденные актеры Шукур Бурханов, Аброр Хидоятлов, Сара Ишантураева. Я даже стал ходить на концерты узбекской музыки, и с тех пор для меня лучшим певцом остается Фахретдин Умаров. Репертуар театров я пересмотрел не один раз. Мое постоянное присутствие в театрах было замечено кругом ташкентских театралов и меломанов. В те годы я подружился с молодым балетмейстером Ибрагимом Юсуповым, учеником Юрия Григоровича. Почти вся вторая половина XX века узбекского балета связана с его именем. В 1964 году Ибрагим Юсупов поставил в Ташкенте балет «Спартак». На премьеру приезжал сам великий композитор Арам Ильич Хачатурян. В ту пору любой творческий коллектив, гастролировавший по стране, непременно посещал Ташкент.

Не могу удержаться от перечисления коллективов, бывавших в Ташкенте, или, точнее, тех, чьи выступления мне удалось увидеть самому: Ленинградский БДТ Георгия Товстоногова, театр Николая Акимова, Кировский балет, где блистала ташкентская балерина Валентина Ганибалова. Знаменитый МХАТ, «Современник», Театр сатиры, театр Аркадия Райкина. В Ташкенте регулярно с большой помпой проводились Декады национальных искусств всех республик. Столица в ту пору имела пять больших концертных залов: Театр имени Свердлова у сквера, Театр эстрады на Навои, Ледовый дворец, концертный зал с органом «Бахор» и, конечно, великолепный Театр оперы и балета имени Навои, а чуть позже появится и роскошный Дворец дружбы народов. Кто только в них не выступал! Доминико Модунио, Жильбер Беко, Марсель Марсо, Сальваторе Адамо, Том Джонс, Хампердинк, Джорж Марьянович, Радмила Караклаич, Эмил Димитров, Лили Иванова, великий Николай Гяуров, Марьяля Родович, Карел Готт, Дан Спатару и т.д.



О советских звездах и именитых коллективах я и не говорю, все достойные побывали в Ташкенте, и не раз. В те годы были модны мюзик-холлы, был и ташкентский, в котором блистали Юнус Тураев, Науфаль Закиров. Ни один мюзик-холл, а их в стране было четырнадцать, не проехал мимо Ташкента. Гастролировали у нас и мюзик-холлы из-за рубежа. Приезжали в Ледовый дворец Ташкента и мюзик-холлы на льду — незабываемое красочное зрелище!

А какие оркестры, великие биг-бэнды оставили свой след в Ташкенте: оркестр из ГДР «Шварц-вайс», испанский оркестр «Маравелья», оркестры Олега Лундстрема, Эдди Рознера, Юрия Саульского, Александра Цфасмана, Рауфа Гаджиева, Мурада Кажлаева, оркестр Дмитрия Покрасса, Леонида Утесова, оркестр Анатолия Кролла «Современник». В 1960-е годы А. Кролл возглавлял Государственный эстрадный оркестр Узбекистана, в котором пел незабвенный Батыр Закиров!

Знаменитый джаз-оркестр Карела Влаха с его бессмертным «Вишневым садом»! А несравненный саксофонист Папетти с итальянским оркестром «Палермо»! Даже легендарный оркестр Бенни Гудмана (США), давший в СССР всего два концерта, один из них провел в Ташкенте.

Когда в столице появился новый орган зал «Бахор», по тем временам лучший в СССР, все известные органисты, такие как Гарри Гродберг, бывали у нас по пять-шесть раз в году.

Вот почему я выбрал для жизни Ташкент.

Высокое искусство формировало зрителя, и я благодарен времени, Ташкенту, своему окружению, что они повлияли на мои вкусы, мировоззрение. Дали мне культурный багаж, с которым можно было вступать в литературу, в жизнь.

Но прежде чем перейти к тому, как я начал писать прозу, мне хотелось бы сказать несколько важных слов о кино.

Наверное, человек, внимательно читающий этот текст, уже задался вопросом: почему молодой провинциал из казахской глубинки решил одолеть репертуар всех ташкентских театров? Верно. Человек не может вдруг, в одночасье, стать заядлым театралом или меломаном, для этого нужна веская причина или чье-то влияние: семьи, друзей, возлюбленной.

Ташкент прельщал меня как культурный центр, он близок мне по ментальности, а к решению переехать сюда подтолкнул



кинематограф, давший мне первые представления о культуре, другой жизни. Я дружу с кино с детства.

Моему поколению повезло с кинематографом: он родился в нашем веке, стал зрелым к нашим юным годам и на наших глазах вместе с нами умирает.

С киношниками Ташкента я познакомился сразу. Я хорошо знал Джамшита Абидова, Мелиса Авзалова, Равиля Батырова, Али Хамраева, Адильшу Агишева. Киношники и указали мне путь в литературу, можно сказать — командировали. Как-то на презентации фильма Али Хамраева я сделал невинное, на мой взгляд, замечание, которое задело мэтра, и он мне ответил с иронией: напиши что-нибудь сам, а я обязательно это экранизирую. Сказано было прилюдно, и меня это крепко задело. Я вернулся домой и за три дня написал рассказ «Полустанок Самсона». Он был напечатан в московском альманахе «Родники» и с тех пор издавался раз тридцать, по нему делали радиопостановки. Это случилось осенью 1971 года.

Сегодня я понимаю, что те десять первых лет жизни в Ташкенте, прошедшие в насыщенной высокой культурой среде, и явились причиной того, что я начал писать, а реплика знаменитого режиссера лишь послужила толчком, рано или поздно это все равно бы случилось. В сорок лет я оставил строительство и уже тридцать лет живу жизнью профессионального писателя. Написав с десятков книг повестей и рассказов, я вдруг почувствовал, что мне тесно в рамках малого жанра. Наверное, к роману меня подтолкнуло и время, я видел закат коммунистической эпохи. К тому времени я общался не только с людьми искусства, среди моих друзей уже были представители высшей власти. В начале 1980-х годов меня стала волновать тема «человек во власти», «власть и закон». Я видел заметное раздвоение личности у людей во всех структурах власти, ощущал все нарастающую несправедливость вокруг, как и сегодня. Общество ждало перемен. И я написал роман «Пешие прогулки». Роман почти одновременно вышел в Москве и в Ташкенте, причем местный тираж был 250 000 экземпляров! Беспрецедентный случай! С выходом «Пеших прогулок» я получил широкую известность.

— *Что, на ваш взгляд, более всего объединяет татар, живущих вне исторической родины: религия, культура, литература, язык, музыка?*



— Конечно, важны все, без исключения, названные вами факторы, но, отвечая без раздумий на ваш вопрос, скажу — песня! Да-да, татарская песня — и народная, и современная. С первых сознательных шагов я запомнил песню — её пела мать, долгими зимними вечерами вязавшая пуховые платки, пела с подружками сестра Саня, пели в застолье мужчины-фронтовики. В Мартуке на каждой улице жили свои гармонисты. В нашем доме чаще всего бывал с тальянкой Гани-абы Кадыров, потерявший на фронте ногу и с одной ногой плотничавший! Позже его сын Хамза, физик-ядерщик, тоже замечательно играл на свадьбах. Сейчас обоснованно и необоснованно принято ругать коммунистов, но я хорошо помню, что долгие годы по четвергам по радио шел концерт татарской песни, а по праздникам давали концерты по заявкам. Для татар на чужбине это были святые дни — не меньше. Многие из Мартука тянулись в отпуск в Татарстан, и им всегда заказывали пластинки. Пластинка из Казани могла быть и свадебным подарком.

В 1984 году мой сын служил в армии, на Дальнем Востоке. Из Хабаровска во Владивосток я добирался экспрессом «Океан», и вдруг по радио начали передавать концерт по заявкам рыбаков. Хотите верить, хотите нет, девяносто процентов заявок были татарской песней. Для мичмана Валлиулина, для старшего механика Яруллина, для матроса Валиева — гордостью наполнилось моё сердце, что и тут, на краю земли, не унывают мои земляки. Позже писатель Альберт Мифтахутдинов, живший на Чукотке, в Магадане, говорил мне, что и там, на Колыме — много татар.

В 1978 году я был в Доме творчества в Ялте и познакомился... с Ильгамом Шакировым. Он отдыхал в другом санатории и пришел проведать Амирхана Еники. Амирхана-абы дома не было, и я пригласил Ильгама подождать у меня. Ильгам и представил меня в тот вечер Еники, выходит, в один счастливый день я познакомился с двумя выдающимися корифеями нашей культуры. Узнав, что пришел Ильгам Шакиров, стали подтягиваться и другие писатели, отдыхавшие в это время. Быстро организовали на просторной веранде стол и сидели до глубокой ночи. По просьбе Амирхана-абы Ильгам пел в тот вечер много и от души. Этот концерт я запомнил на всю жизнь. Все оставшиеся дни в Ялте я провел с Ильгамом. В романе «Ранняя печаль» есть сцена с рестораном-варьете «Ницца», там мы не раз бывали



с великим певцом. С собой у меня была только одна книга «Полустанок Самсона», и я подарил её с надписью: «Ильхаму Шакирову — удивительному человеку, видевшему в лицо весь свой народ». Поверьте, не было в СССР поселка, где живут татары и где бы Ильгам не пел!!! Поистине, ни одному владыке, царю не удавалось увидеть глаза в глаза весь свой народ, и только он видел татар от мала до велика. На его концерты ходят всей семьей, с девяностолетними старухами и грудными младенцами на руках, ходят и по пять, и по десять раз.

Я давно ношусь с идеей постройки ему народного памятника при жизни (чтобы он сам выбрал проект, место) не только как великому певцу, но и как объединителю, сохранителю нации. И на постаменте должны быть выбиты эти слова. А под ними — карта СССР с Казанским Кремлём в центре, и от него тысячи и тысячи лучей к местам поселения татар, где он побывал по велению сердца. Хочу упомянуть и Рашида Вагапова, Альфию Авзалову, Зифу Басырову и многих, многих других певцов, поэтов, композиторов, чьи песни тоже сохранили татар, татарскую культуру на чужбине.

Песней объединены татары, песней спаслись, с песней воевали и побеждали и с песней живут до сих пор.

Та летняя ночь на ялтинской веранде закончилась для меня еще одним сюрпризом — Амирхан Еники подарил мне роман «Гуляндам» о композиторе Салихе Сайдашеве в переводе Рустема Кутуя.

И еще один штрих к рассказу о татарских песнях и исполнителях. На 75-летие Мустая Карима съехались видные гости отовсюду, и каждого он поблагодарил в заключительном слове, и только про одного сказал так: «а Хайдара Бигичева мне словно бог послал...». Татарская песня оказалась самым дорогим подарком для сердца великого поэта.

— *Вы прожили в Ташкенте тридцать лет, какую нишу в общественной, культурной, хозяйственной жизни Ташкента занимали татары?*

— В среде татар в ходу живучая мысль, что якобы им нигде не давали хода. Но это совсем не так, посудите сами на примере Ташкента. Начну со строительства. Я сам работал в строительно-монтажных организациях — министром был Гази Сабилов. Заком министра в Министерстве стройматериалов



работал отец известного ныне в Москве и в Казани предпринимателя и мецената Александра Якубова — Рустам-абы Якубов. В Министерстве строительства министром был Сервер Омеров, а министром сельского строительства — Таймазов. Главным архитектором Ташкента и архитектором знаменитой гостиницы «Ташкент» был всемирно известный Мидхат Булатов, автор многих фундаментальных работ по архитектуре. Один из крупнейших строительных трестов Ташкента возглавлял Наиль Клеблеев, республиканский трест механизации — Эрнест Ховаджи. Если названные навскидку первые лица были татарами, надо понимать, сколько при них работало соотечественников. Профсоюзом строителей руководил Исхак Забиров, доктор наук, издавший несколько книг по жизни и творчеству Мусы Джалиля. Узбекские профсоюзы возглавлял Р. Адаманов, начальником железной дороги был Кадыров, узбекским «Аэрофлотом» руководил Н. Рафиков.

Возьмем партийные органы. В ЦК комсомола, а позже в ЦК партии отдел пропаганды возглавлял Максуд Зарифович Узбекиков, доктор наук. Секретарем горкома партии по идеологии, а позже и обкома был Карим Расулов, а его брат Рахим более десяти лет являлся прокурором Джизакской области, родины Шарафа Рашидова. Министром юстиции была Васикова, к сожалению, я многих уже не помню по имени-отчеству. В прокуратуре, в Верховном суде, МВД, КГБ много высочайших постов занимали татары. Министром МВД в конце 80-х был Вячеслав Мухтарович Камалов, чью фамилию я взял для своих книг «Масть пиковая» и «Судить буду я», ранее Камалов был первым замом председателя КГБ республики. Даже в суверенном Узбекистане ключевой пост главы таможенного комитета получил Рим Генниатуллин. Советником по внешней политике сегодня у Ислама Каримова — Рафик Сайфуллин. Большой вклад в создание Конституции современного Узбекистана внес академик Шавкат-абы Уразаев.

Но продолжим экскурс в долгое советское время. Коснемся культуры. Председатель Союза композиторов — Эльмар Салихов. Главный композитор «Узбекфильма» — Румиль Вильданов. Равиль Батыров, Ильёр Ишмухамедов — известные режиссеры, и у знаменитого Али Хамраева тоже татарские корни. Главный киносценарист студии, её идеолог — Одылыша



Агишев. Талгат Нигматуллин, актер, тоже прославился там. Возьмем Театр оперы и балета имени Навои. Долгие годы прима-балеринами были там всемирно известные Галия Измайлова и Бернара Каримова, и у главного балетмейстера Ибрагима Юсупова тоже татарские корни. Заглянем в Союз писателей. До сих пор мало кому известно, что один из любимых писателей Сталина Сергей Бородин — татарин. В 1942 году он издал культовую для русских книгу «Дмитрий Донской». Классиком узбекской литературы слыл Аскад Мухтар. Высоко ценился властью Зиннат Фатхуллин, драматург. У него очень известные сыновья — Дильшат, лауреат Ленинской премии, а младший — один из создателей легендарного ансамбля «Ялла». Я хорошо помню их дом, сад в Рабочем городке. По-настоящему большим писателем был Явдат Ильясов, писавший по-русски. Хотя он умер больше пятнадцати лет назад, татарскому читателю еще только предстоит ознакомиться с его творчеством. Наверное, его книги очень сильно повлияют на форму и стилистику молодых писателей — это другая кровь, но истоки у нее явно татарские. Очень известен и любим в Узбекистане доктор наук, искусствовед, сын нашего классика Хади Такташа — Рафаэль Такташ. Из художников, которых там много, надо назвать академика Чингиза Ахмарова, автора изящных восточных миниатюр. Он оформил классические узбекские поэмы-дастаны: «Алпомыш», «Бабур-наме». Он же иллюстрировал большую подарочную серию восточных поэтов: Фирдоуси, Хафиза, Хайяма, Рудаки, Руми, Амира Хосрова Дехлеви, Низами, Бердаха. Чингиз Ахмаров оставил после себя не только учеников, но и новейшую школу забытой восточной миниатюры. В моей коллекции есть работы его талантливых учеников — Сергея Широкова и Азата Юсупова. Из молодых художников, ныне известных на Западе, хочу назвать Айдара Шириязданова.

Хотелось бы упомянуть и спорт. В знаменитые годы «Пахтакора» там играли Ревал Закиров, Виктор Суюнов, Владимир Тазетдинов, Максуд Шарипов, Вилли Каххаров, Вячеслав Бекташев, Гали Имамов. Общество «Пахтакор» представлял чемпион Европы легкоатлет Родион Гатауллин. Единственный чемпион мира по боксу — Руфат Рискиев, и гимнастки, многократные чемпионки мира, Европы, Олимпийских игр — Венера Зарипова и Алина Кабаева.



Даже на ежегодных пушных аукционах в Ленинграде, куда поставлялся лучший в мире бухарский каракуль, узбекскую комиссию возглавлял мой сосед, выпускник Плехановки — Максуд Зиганшин. Назову и выходца из Ташкента миллионера Аниса Мухаметшина и братьев Расима и Рената Акчуриных.

Сходная ситуация в положении татар, или даже более благоприятная, была в те годы и в соседнем Казахстане. Многие связывают такую благосклонность к ним властей с родословной самого Кунаева и его жены-татарки, действительно, крепко помогавшей талантливым татарам. Но я, живший и в Казахстане, и в Узбекистане, утверждаю, что это больше связано с ментальностью казахов и узбеков, с их открытостью и широтой их души.

Вспомнил Ташкент и Алма-Ату и неожиданно подумал: а готовы ли сегодня в Татарстане так же щедро предоставить высокие посты, должности тем же узбекам, казахам? Вряд ли. Сужу по своему опыту. Двадцать пять лет с татарским упорством я пытался издать в Казани книгу — и только сегодня, на двадцать шестом году мытарств, она вышла, хвала Аллаху.

Но вернемся ещё раз в Ташкент. Хочу рассказать, а кому-то напомнить, как принимали здесь татарский театр. Отдавали ему самый большой и красивый зал, в ту пору театра имени Хамзы. С билетами были проблемы, как и на концерты Ильгама Шакирова, хотя приезжали надолго, на месяц-полтора. В эти дни разговоры в среде ташкентских татар — только о спектаклях, артистах. Актеров постоянно приглашали в гости. Однажды уже упоминавшийся Максуд Узбеков, работавший в ЦК партии, пригласил домой руководство театра и ведущих артистов. Там, в гостях, я познакомился и с Марселем Салимжановым, и с Азгаром Хусаиновым, директором театра. С Азгаром связь поддерживалась долгие годы.

Татарская диаспора Ташкента жила полнокровной национальной жизнью, на Шота Руставели находился большой книжный магазин, где много лет имелся отдел татарской литературы, тут же оформляли подписку на казанские газеты и журналы, назначали встречи. В узбекской столице любили гастролировать казанские театры и эстрадные звезды. Помню, в конце 60-х, встретив у филармонии её директора Ашота Назарянца, спрашиваю: когда приедет Доминико Модунио? Гастроли были уже давно объявлены, а знаменитый итальянец не появлялся.



Назарянц, человек с хитрецей и юмором, отвечает: «А на что мне Модунио?» Я в ответ: «Будут аншлаги, большие сборы, сразу квартальный план...» А Назарянц с улыбкой: «Ну, эти проблемы гораздо лучше любой капризной звезды мне может закрыть Ильгам Шакиров, стоит мне только дать телеграмму в Казань!»

Я возражать не стал, знал, что творилось на концертах Ильгама. Пожалуй, он первый в СССР начал давать два концерта в день, для того, чтобы не разнесли вдребезги концертный зал. Ведь приезжали на выступления и из казахских городов: Чимкента, Джамбула, Туркестана, Арыси, из таджикского Ленинабада, киргизского Оша. Сейчас примерно такое происходит на концертах Алсу и Земфиры. И еще об Ильгаме и татарской диаспоре, и о любви народа к песне. В середине 60-х я часто и подолгу бывал в Москве по работе. Вечерами захаживал в кафе «Синяя птица», где один день играл саксофонист Клейбанд, а следующий день — гитарист Громин. Там я познакомился с молодым пианистом Владимиром Ашкенази, тем самым, который уже лет тридцать входит в мировую элиту исполнителей. Через год после нашего знакомства Володя, как и Нуриев, остался после гастролей на Западе. А тогда Ашкенази, узнав, что я татарин, сказал: «У вас есть очень хороший певец — Ильгам Шакиров». Я с удивлением спросил: «А ты-то откуда знаешь? Он исполнитель народных песен, поет исключительно на родном языке». «А мне о нем Ростропович рассказал», — ответил Володя и поведал краткую историю, которую я не забыл и через сорок лет. Оказывается, Ростропович днем репетировал со своим оркестром в каком-то Дворце, где вечерами выступал Ильгам Шакиров. Ростропович — человек увлекающийся, поэтому часто не укладывался в свое время и уходил перед самым концертом, когда музыканты уже настраивали инструменты. Каждый раз, когда Ростропович стремительно выходил на площадь перед Дворцом, он встречал огромные толпы людей, не обращавших на него никакого внимания и лихорадочно ищущих лишний билетик. Так произошло раз, два и три, на четвертый раз Ростропович подошел к афише, а на следующий день остался на концерт и все первое отделение простоял за кулисами, наблюдая и за залом, и за сценой, чтобы понять феномен невероятной народной любви к артисту. В перерыве он подошел к Ильгаму Шакирову, поздравил его



с успехом и сказал много теплых слов. Через пятнадцать лет, познакомившись с Ильгамом, я получил подтверждение истории, рассказанной мне Владимиром Ашкенази.

Вот так тесно сплелась нить повествования вокруг одних и тех же имен татар, и казанских, и ташкентских, да и всех остальных, живущих от Калининграда до Владивостока. При всей нашей раздробленности живем мы одними песнями, одними молитвами, преклоняемся перед одними и теми же людьми — цветом нашей нации.

— *О чем, о ком вы не успели написать?*

— Жалею, что не успел создать серьезные книги о Салихе Сайдашеве, Фариде Яруллине, Рудольфе Нуриеве — это моя тема. Я неплохо знаю балет, серьезную музыку. С юных лет я дружил со многими творческими людьми, некоторые из них стали сегодня значительными фигурами в мировом искусстве.

— *Почему вам не начать эти книги сейчас?*

— Слишком затоптана тропа к дорогим для меня именам, то есть написано много книг, особенно о Р. Нуриеве и С. Сайдашеве, уже сложился стереотип, который не одолеть.

— *И последний вопрос, Рауль Мирсаидович, что бы вы напечатали в первую очередь, если бы вдруг стали директором Таткнигоиздата?*

— Первое, что бы я сделал, перевел на русский и английский языки всего Хасана Туфана, издал бы о нем книгу в серии «ЖЗЛ», в которую бы вошли книги и об Амирхане Еники, Мухаммете Магдееве, Гарифе Ахунове, Заки Нури, Мирсае Амуре, Гумере Баширове, Нури Арсланове и о ранних деятелях нашей культуры: Гаязе Исхаки, Кави Наджми, Аделе Кутуе, Хади Такташе. Все издал бы на трех языках, как казахи. Надо признать, как данность: к сожалению, две трети татар не знают родного языка и вряд ли когда-либо будут знать его. Отрезать их от татарской культуры только из-за того, что они не знают языка — значит потерять нацию окончательно. Остается одно, доносить татарское до татар на других языках. В XXI веке одна лишь культура цементирует нашу нацию, а новый век будет ассимилировать татар еще быстрее.

Следующим моим шагом было бы издание избранного всех тех, кого я назвал Великим поколением, конечно, открыв дорогу в этот список еще нескольким достойным поэтам.



Из старшего поколения добавил бы Сибгата Хакима, Марса Шабаева, Ильдара Юзеева, оставил бы место и молодым: Ркаилью Зайдулле, Мударрису Валееву, Кадыру Сибгатуллину. Издал бы всех их на двух языках: русском и английском, на родном языке их творчество и так широко известно.

Отдельным томом издал бы рубаи Равиля Файзуллина, это особо мудрая поэзия, форма, дающаяся редко кому. Когда я вижу в западных магазинах книги Омара Хайяма, Хафиза, Амира Хосрова Дехлеви, Рудаки, Саади, я невольно воображаю этот том Равиля Файзулина, уверен, он будет востребован, ибо у Файзуллина нет прописных истин, банальщины, он отразил весь XX век, самый сложный и кровавый в истории человечества.

Перевел бы на татарский язык романы: Рустама Валеева «Земля городов», Явдата Ильясова «Заклинатель змей» и «Золотой истукан».

Издал бы книгу о парижанине Гаруне Тазиёеве, его родители ташкентские татары. В шестидесятые-семидесятые годы он был на Западе культовой фигурой. Он самый известный вулканолог в мире, спускался в кратеры почти всех известных вулканов. Он известен на Западе не меньше, чем океанолог Ив Кусто.

Издал бы книги о выдающихся спортсменах: Гайнана Сайтхужине, Галимзяне Хусаинове, Ренате Дасаеве, Вагизе Хидиятуллине, Зинэтуле Билялетдинове, Габдрахмане Кадырове, Венере Зариповой.

В татарскую серию «ЖЗЛ» включил бы книги об Ильгаме Шакирове, Рашиде Вагапове, Хайдаре Бигичеве, Зифе Басыровой, Алмазе Монасыпове, Назибе Жиганове, Салихе Сайдашеве, Фариде Яруллине и других деятелях культуры — такие книги сегодня нужны как воздух. И многое, многое другое — но об этом в следующей нашей беседе.

*Казань, Москва,
2010—2011*







«Слагать из встречных лиц один портрет...»

Интервью с Раулем Мир-Хайдаровым

К своему 60-летию вы успели многое: заслуженный деятель искусств, ваши избранные собрания сочинений вышли и в России, и на Украине, причем и там, и там дважды, роман «Пешие прогулки» выдержал восемнадцать изданий. В Мартуке есть улица вашего имени и литературный музей, ваше имя вошло в энциклопедии нескольких стран, произведения переводились на другие языки, общий тираж книг достиг пяти миллионов. Вы собрали значительную коллекцию современной живописи, знакомы и дружны со многими сильными и известными людьми мира сего. Вы счастливый человек? Считаете ли вы, что ваша жизнь состоялась?

— При кажущейся прямоте и ясности вопроса он по-восточному полон философии и скрытого смысла. Тут односложным «да» или «нет» не отделаться, ответ в любом случае получится многомерным. Сразу на выручку приходит поэзия, в которой, как я не раз заявлял, есть ответы на все вопросы бытия: «... и все сбылось... и не сбылось». Но если всерьез, ответ и будет колебаться между «сбылось» и «не сбылось». В амплитуде этих жизненных качелей — и вся моя судьба... Успехи,



неудачи, потери, обретения, неожиданные радости, признание земляков и любовь читателей.

Поколение, к которому я принадлежу, называют военным, к нему близки по духу родившиеся лет на пять раньше войны и чуть позже — лет на шесть-семь. На мой взгляд, люди этих поколений невыполнимых задач перед собой не ставили, на несбыточные фантазии не замахивались. Получить высшее образование, достичь успехов в профессии, быть полезным Отечеству, народу — в этом мы видели свою цель. Наверное, я должен уточнить, что, говоря о поколении, я имел в виду ту среду, из которой вышел сам, хотя надо отметить, что общество в пору моего взросления было более однородным, уровень жизни во всех его слоях не так сильно различался, как стало это заметно в 70-х, не говоря уже о сегодняшних днях. Я не слышал, чтобы в моем кругу юноши 50-х годов мечтали стать дипломатами, писателями, послами, кинорежиссерами, банкирами, они не рассчитывали объездить мир, иметь загородные особняки, «мерседесы», отдыхать на Ривьере и в Ницце.

Оттого, наверное, в моем поколении меньше людей, разочаровавшихся в жизни. И если некоторые из нашего поколения достигли обладания очень большими материальными благами, они пришли к ним закономерно, не рвали и не закладывали за них душу, не перешагивали через трупы. Другое дело — поколения, идущие вслед за нами. Они родились в эпоху расцвета и мощи советского государства и изначально рассчитывали на очень высокое качество жизни — тут мечты не знали предела.

Но развал СССР сыграл с ними злую шутку, большинству из них никогда не достичь даже уровня их родителей, ибо те жили в одной из двух сверхдержав мира. Оттого у многих нынешних сорокалетних апатия к жизни, душевная опустошенность. Слишком высокую планку они ставили перед собой, слишком радужной видели свою жизнь в будущем. Отвечаю на ваш вопрос вопросом: «Мог ли мальчик, один из ста двенадцати сверстников, единственный из трех параллельных седьмых классов, решивший поступать в железнодорожный техникум, рассчитывать, что некогда станет известным писателем и сегодня будет давать вам это интервью?» Конечно — нет! Такое не только не снилось, но о таком даже не мечталось. Но в каждом из нас природой, Всевышним заложено многое, и таланты в том



числе. Уже тогда, в юности, уезжая в техникум из Мартука, никак не связывая свое будущее с литературой или искусством, я чувствовал в себе жажду приобщения к культуре. Я знал: чем бы я ни занимался в жизни, у меня в доме непременно будут книги, музыка, картины, я буду ходить по музеям, на концерты, обязательно стану театралом. Я уже говорил в одном из своих интервью, что книги и кино в определенной степени сформировали мое мировоззрение, вкусы, отношение к жизни. Человек начинается с детства. Это не мной сказано, но это так. До перестройки книгами и кино не были обделены даже самые захолустные уголки нашей Родины, важно было душой тянуться к прекрасному, духовному. Даже сейчас от волнения меня бросает в дрожь, когда я слышу фразу: «Театр у микрофона...». Лет с десяти постоянно слышал по радио эти слова, уносившие меня в волшебный мир искусства. Мое первоначальное знание о театре, опере, классической музыке пришло из эфира. Только потом, через годы, я увидел «живьем» знакомые театральные и оперные постановки, слушал знаменитые оркестры и выдающихся исполнителей. Я до сих пор помню голоса театральных корифеев: Качалова, Комиссаржевской, Мордвинова, Степановой, Яншина, Грибова, Яблочкиной, Якута, Пруткина, Кторова, Книппер-Чеховой. Записывая спектакли на радио, они знали, что адресуют свое искусство массам, приобщают нас к прекрасному, вечному. В детстве все западает прямо в сердце и навсегда. Если бы меня спросили в школьные годы, что такое Отечество, государство, власть, я бы, наверное, ответил: это спектакли Театра у микрофона, симфонические концерты Чайковского, Скрябина, Прокофьева, Сайдашева, Жиганова, Яруллина, Монасыпова, Рахманинова — так я ощущал далекий, в рубиновых звёздах, Кремль. То послевоенное государство не могло дать мне многого, но, оказывается, дало главное — открыло дверь в мир искусства, а через культуру пришло ощущение Отечества, своего народа.

Гуляя босоногим мальчишкой по улицам Мартука, носившим имена Ленина, Сталина, Буденного, Ворошилова, я и представить не мог, что улица Красноармейская будет через какое-то время носить мое имя и на ней появится красавица мечеть, первая в столетней истории поселка, в строительство которой и я вложил немало средств. В каждый приезд я навещаю



мечеть и не спеша прохожу по «своей» улице. Признаюсь, задай вы вопросы в эти минуты, я, безусловно, ответил бы, что я человек счастливый и считаю свою жизнь состоявшейся. За всю историю Мартука только четыре Героя Советского Союза и я удостоились чести, чтобы нашими именами назвали улицы нашего детства. Пожалуй, этой наградой общества я горжусь больше всего.

Я был очень счастлив, когда мой первый рассказ «Полустанок Самсона» опубликовали в Москве, когда вышла первая книга, когда стали приходить письма от читателей. Когда я лежал в больнице после покушения и ко мне вдруг потоком пошли люди, прочитавшие «Пешие прогулки», — их любовь, поддержка окрылили меня. И я вновь почувствовал себя счастливым, ибо привела ко мне людей сила искусства, значит, я сумел достучаться до сердец читателей. Наверное, постоянно счастливым человек быть не может, а если такой все-таки найдется, видимо, он будет смахивать на идиота. Разве можно быть покойным душой и счастливым, если оглянуться вокруг? Если улица твоего имени находится в поселке, переживающем жесточайший кризис: безработица, кругом бедность, упадок, люди бросают дома и уезжают в неведомое. А ведь совсем недавно, до горбачевской перестройки, это был цветущий рай-центр, где в каждом дворе стояла машина, а то и две. Работали четыре завода, несколько автобаз, две фабрики, двадцать детских садов, с шести утра до полуночи с интервалом в полчаса ходили в город переполненные «икарусы». В лучшие годы на первенстве Мартука играли до шестнадцати футбольных команд! А районные спартакиады превращались в настоящие праздники. Открою и тайну, которой поделился со мной в конце 70-х управляющий местным сбербанком: у каждого из пятисот вкладчиков Мартука лежало на книжке по сто тысяч рублей! Чтобы было понятно нынешнему поколению, переведу в доллары — это более ста тридцати тысяч! Вот такие горбачевские качели вышли — одним махом из богатства в нищету.

А каково молодежи?! Мы тоже вступали в жизнь не в лучшие для страны годы, но у нас было гарантированное будущее, перспективы. В своем будущем мы нисколько не сомневались, нам поистине были открыты все пути. А каким мы оставляем мир после себя, какую экологию? В годы моего детства Илек



был не только кормильцем и поильцем, но и красою края, десятки поколений выросли на его берегах, тысячам и тысячам он снится. Сейчас эта загаженная заводами река губит все живое на своем пути, в Мартуке уже давно отравлены подпочвенные воды. Подумайте, колодезная вода, воспетая в сказках, легендах и песнях, стала отравой!..

В начале 50-х годов была успешно выполнена одна из самых грандиозных программ по озеленению страны. Леса были необходимы степным краям, и более чем на треть программа реализовалась именно в Казахстане. Высадили сотни тысяч километров лесополос вдоль железнодорожных, автомобильных, проселочных дорог и колхозных полей. За пятьдесят лет у нас зашумели настоящие леса со зверьем, ягодами, грибами, сенокосом. И вот сегодня этот рукотворный лес, высаженный и выросший на моих глазах вокруг Мартука, да и по всему Казахстану, нещадно вырубается. Людям нечем топить, и через два-три года весь лес может быть изведен на корню. А это грозит неминуемой экологической катастрофой. Люди от безысходности лишают себя будущего, а ведь у нас под боком и высыхающий Арал.

Отвечая на ваш вопрос, можно бесконечно говорить о радостях и удачах, их за жизнь выпало немало, и если их перечислять, упоминать, с кем знался, где бывал, что видел, то это может показаться банальным хвастовством. Но причин, поводов, от чего душа болит и на сердце неспокойно, к сожалению, гораздо больше, чем радостей, сколько их ни перечисляй. На фоне невзгод страны, лишений людей, тупика, в который зашло общество, кризиса всего и вся личные успехи кажутся несущественными, мелкими, несвоевременными даже в юбилей. И мне остается лишь вернуться к поэтической формулировке, высказанной в начале, она наиболее адекватна моему настроению и обстоятельствам и лишний раз подтверждает мудрость поэзии: «... и все сбылось и не сбылось...».

— *В перестройку, когда открылись границы, многие писатели, артисты подались на Запад, другие дружно повалили в политику, во власть. Не было ли у вас мысли осесть где-нибудь в Европе или, используя имя, популярность, стать политиком? Ведь ваши романы — об экономике, политике, власти? На иных страницах и сегодня можно прочитывать не принятые*



до сих пор готовые законы или программы для целых партий, а люди из спецслужб считают вас крупнейшим аналитиком, точно прорсчитавшим ситуацию на десятилетия вперед.

— Да, было такое время. Многие в ту пору уезжали в Израиль, Америку, Германию. Выросшие на голосах западных радиостанций, они и впрямь верили, что нужны там, что только за рубежом оценят их талант, особенно материально. К сожалению, интерес к ним подогревался только политикой. Упал железный занавес, кончилась победой Запада война идеологий, интерес пропал не только к ним лично, но и ко всей нашей культуре, и к стране в целом. Вернулись домой без шума, без помпы почти все. Остались из известных только Александр Межиров и Наум Коржавин, люди преклонных лет, получающие, на наш взгляд, огромные пенсии. К сожалению, сейчас у Запада окончательно пропал интерес к России, там ясно видят наш тупик, и не только экономический. Некоторых из выдающихся музыкантов, певцов они уже перетянули к себе: постоянно живут там Хворостовский, Казарновская, Кисин. Осели на Западе известные шахматисты, футболисты, хоккеисты, боксеры, тренеры, а исполнители блатных песен — всякие там Ляли Черные, Саши Рыжие — вернулись, они и правят бал в новой России.

В 1988 году, за три года до развала страны, после выхода романа «Пешие прогулки» на меня было совершено покушение. Вероятно, первое из политических покушений. Уже потом, через два-три года, начнут убивать почти каждый день, и не будет понятно, то ли из-за политики, то ли из-за больших денег, как, например, с В. Листьевым. Но в моем случае деньгами и не пахло. Роман вызвал огромный интерес, сразу появились и второе, и третье издания, вышедшие невероятными тиражами по 250 000! В больницу приехал корреспондент американской газеты «Филадельфия инкуайер» Стивен Голдстайн, который подготовил про меня огромный материал, на целую полосу, под названием «Исследователь мафии». Позднее эта статья привлекла внимание многих крупных европейских газет и телекомпаний, интересующихся русской мафией. Чуть позже появились и другие американцы, они предложили мне грин-карту, о которой мечтают миллионы граждан бывшего СССР. Но я, к их невообразимому удивлению, отказался.



У меня и мысли не было уезжать из страны, хотя в больнице я уже понимал, что покинуть Ташкент придется. Я ни в коем случае не связываю отказ стать американцем с идеологическим патриотизмом, это, прежде всего, связано с моей ментальностью. Я хочу жить на Родине! И останусь при любом режиме. Даже если он мне и очень сильно будет не нравиться. Мечта миллионов — грин-карта — меня несколько не прельстила, не жалею об этом и сейчас, спустя двенадцать лет, хотя жизнь эмигранта в Москве я познал сполна, и будущее России видится мне совсем не радужным.

Теперь о возможности моего вхождения в политику, во власть. Судьба и тут предоставляла мне реальный шанс, билет в сытую жизнь подавался, как говорится, на блюдецке с голубой каемочкой. Придется вернуться опять в 1988 год, в больницу. В ту пору свободно избирался Верховный Совет — первая ласточка долгожданных демократических свобод. Страна бурлила, кипела, ночами просиживала у телевизора, ходила на митинги. Однажды в палату ко мне пришла, почти в полном составе, избирательная комиссия одного из столичных округов, а конкретнее — авиазавода. Ее члены и предложили мне выставить свою кандидатуру.

«Пешие прогулки» в ту пору зачитывались до дыр, передавались из рук в руки, я получал мешки писем. Сам роман служил избирательной программой, а моя судьба на тот момент не нуждалась в рекламе, поистине это был мой звездный час. Я подходил в депутаты по всем параметрам. Конечно, предложение обрадовало меня, подняло дух, но я попросил два дня на размышление. В эти дни я многое передумал и, как мне кажется, принял правильное решение — отказался. В ту пору я не предполагал, что политика — настолько грязное занятие, хотя особых иллюзий на этот счет не питал никогда. Чем я мотивировал отказ, прежде всего для себя? В перестройку литература имела колоссальное влияние на умы людей — «Пешие прогулки» тому подтверждение. Я был убежден, что имею трибуну гораздо более эффективную, чем депутатский мандат. Читатели ждали моих новых книг, где были и рецепты новой, свободной жизни. И я знал, что напишу такие книги. Я крепко огорчил людей, уже видевших меня своим депутатом, но с ними у меня надолго сложились глубокие личные отношения, и я им до сих



пор признателен за то, что они поддержали меня в трудную минуту. Я не обманул ожиданий своих читателей, написал один за другим, в рекордно короткие сроки, еще четыре романа, зафиксировавших хронику смутного времени и предугадавших наш нынешний, увы, не победный путь. Романы и сегодня не потеряли актуальности, читаются с интересом, продолжают переиздаваться, ибо оказались провидческими. Депутатский мандат, который почти был у меня в руках, получил молодой офицер В. Золотухин. Я пытался следить за его судьбой, но след его с развалом государства для меня затерялся.

Жалею ли я о том, что не попал в первый свободно избранный Верховный Совет вместе с Собчаком, Бурбулисом, Ельциным? Нет, тем более что время показало: единомышленников у меня там было бы не много. Говорить о том, что я упустил шанс воспользоваться высокой трибуной — смешно. Даже великому мудрому Сахарову не давали рта раскрыть — об этом и сейчас горько вспоминать. Зато в романе «Масть пиковая», вышедшем в начале 90-го года, когда Михаил Сергеевич как раз затыкал рот Андрею Дмитриевичу, я показал Горбачева Геростратом своего Отечества. Сегодня с моей оценкой согласны многие, большинство.

И напоследок — об аналитике. Я убежден, что литература прозорливей любых аналитиков и политических предсказателей. Хорошо написанные книги становятся самой историей и воспринимаются адекватно реальной жизни, по ним судят о прошлом. Пример тому — великий роман Мухтара Ауэзова «Путь Абая» — там вся история, быт казахов. Ни один научный трактат не дает такого всеобъемлющего знания о казахах, как этот гениальный роман.

— Вы и в советское время издали немало книг, успели выпустить в «Художественной литературе» большой однотомник избранного. «Звезда Востока» и московский журнал «Мы» на своем пике имели полумиллионный тираж — фантастическая цифра! Когда вам печаталось лучше — тогда или сейчас? Не тоскуете ли вы по прежним временам, когда писателю создавались почти идеальные условия для жизни и творчества?

— Коварный вопрос. Не хочется плевать в прошлое, — слышном многие заняты этим теперь, — но и вводить в заблуждение читателя не желаю. Писательская среда слишком специфична,



о ее жизни бытует много мифов, далеких от реальности. Чтобы не оставлять себе пути для отступления, сразу отвечу — нет, не жалею, нисколько. Возможно, о чем-то печалюсь, но это частности, а в главном, повторюсь, не жалею.

Прежде всего, дам свою краткую оценку советскому периоду литературы. Я пришел в этот цех уже сформировавшимся человеком, со своим мироощущением, видением, успел даже состояться — «Избранное» в «Худлите» тому подтверждение.

Редкий советский писатель, тем более с периферии, при жизни или после смерти получил возможность издания своей книги в этом элитном издательстве, наверное, не более двух процентов всего списочного состава Союза писателей за всю историю издательства с 1936 года. А писателей было много, десятки тысяч, кстати, планы «Худлита» составлялись на пять лет вперед и ежегодно с боями пересматривались, причем планы были «прозрачными», их можно было увидеть в любом крупном книжном магазине. «Худлит» печатал только книги, проверенные читателем и временем, в том числе лучшие произведения писателей всего мира. На мой взгляд, советская литература — в большой степени литература должностных лиц, литература высоких кресел. Десятки лет существовал термин «секретарская литература», то есть сочинения литературных чиновников.

Сейчас многие забыли, что Л. Брежнев был лауреатом высшей в государстве литературной премии — Ленинской. В новейшее время литературой баловался и Ельцин, — к премиям он был равнодушен, а гонорары любил, скопил легальное состояние. У всех еще свежо в памяти дело «писателей» Коха, Чубайса, Казакова и других, получивших по сто тысяч долларов за ненаписанную книгу о приватизации. Не может, оказывается, западный читатель жить без книги о нашей приватизации, и все, готов миллионы за это платить. За это ли — вот вопрос... Особенно умилял меня А. Собчак, написавший две или три тоненькие брошюрки, которые, впрочем, никто в глаза и не видел. Свой загородный дом в три этажа необычайной архитектуры, обставленный роскошной мебелью, увешанный картинами (Зайцева нас, телезрителей, по дому долго и восхищенно водила), и городскую квартиру — целый подъезд на Мойке, — как объясняют Собчак и его жена



Л. Нарусова, они приобрели исключительно на писательские гонорары. И всем советовали писать и писать. Как писатель отмечен и Б. Немцов, создавший «Записки провинциала», — назвать их книгой у меня язык не поворачивается — брошюра она и есть брошюра, никакой крупный шрифт не спасает. Пресса многократно объявляла, сколько Немцов заплатил с нее налогов и сколько на руки получил гонорара. Собчак с женой только намекали на прибыльность писательского ремесла, и правильно делали, иначе бы люди стали штурмом брать издательства, все бы кинулись писать брошюры. После обнародованных Немцовым гонораров некоторые мои знакомые, далекие от литературы и больших денег люди, стали очень нехорошо посматривать на меня.

Судя по моим тиражам, толстеным томам, моей завидной производительности, они быстро подсчитали, что я уже если не долларовый миллиардер, то миллионер точно. И когда некоторые, не выдержав, спрашивали открыто о моих гонорарах, то мой ответ, судя по их лицам, не выглядел убедительно. Словно сговорившись, они ссылались на «скромные» гонорары Немцова. Однажды в компании я сказал: конечно, можно получить, как Немцов, восемьдесят пять тысяч долларов за брошюрку объемом со школьную тетрадь, если отнесешь в издательство тысяч двести или окажешь услуги на подобную сумму. Все равно не поверили, хотя сомнения в их души я заронил. Но после дела «писателей» Коха и Чубайса меня больше расспросами про гонорары не донимают. Стали понимать, за что и сколько платят, поняли, что «писатель» писателю рознь. Брежнев, Ельцин, Немцов — одно, а Распутин, Маканин — дальше по своему вкусу — совсем другое.

Но вернемся в советское время... Писательское сообщество даже тогда называли кастовым. Зеленый свет в литературу загорался прежде всего для деток, зятьев, сватьев, невесток, тещ, кумовьев писателей и, конечно, отпрысков крупных чиновников. И если появлялись среди них время от времени Шукшины, Беловы, Астафьевы или Вампиловы, то это скорее исключение, чем правило.

Читатель, возможно, до сих пор не знает, что право на книгу имел не писатель, а издательство, выпустившее ее. Сегодня такое положение кажется абсурдным, но так было до 91-го



года. Если книга выходила за рубежом, то гонорар получал не писатель, а государство, и на презентацию книги ездил, скажем, в Париж, не автор, а чиновник из министерства. Ныне все мы знаем историю голливудского «Оскара» за фильм «Москва слезам не верит» — режиссер Владимир Меньшов сумел взять в руки свой «Оскар» только через десять лет после присуждения, да и то силой, со скандалом.

До выхода книги на нее обязательно писались открытая или закрытая рецензии, а после выхода еще одна — секретная. Рецензии писались случайными, но доверенными людьми, зачастую далекими от литературы. Работа эта хорошо оплачивалась, оттого не всякому она попадала. В одной отрицательной рецензии на мою книгу, вышедшую в «Советском писателе», отмечалось, что у меня плохо прописаны женские образы. Хотя в этом произведении у меня женщин не было вовсе. Человек, уносивший кипы рукописей на рецензию, уже имел установку — кого миловать, а кого похоронить. Рецензии со знаком «плюс» и со знаком «минус» оплачивались по одной ставке, поэтому могли и не такое отписать.

А выпуск многотомных собраний сочинений решался на закрытых правлениях Союза писателей СССР, а то и на уровне Политбюро ЦК КПСС. Из откровений Е. Евтушенко узнаем, что он свои миллионные тиражи поэмы «Мама и нейтронная бомба» решал на высшем государственном уровне. Сейчас все это воспринимается как бред, плохой сон, но так мы жили. Издательства были сконцентрированы в Москве, но и тут их можно было пересчитать по пальцам одной руки, а издательства в столицах республик так и назывались — периферийными. Перечень нелепых негласных установок, правил можно перечислять долго, и все они унижали писателя, заставляли его идти на компромисс, даже в мелочах. Так стоит ли жалеть о том времени, когда писатель всегда оказывался в положении просителя, а главное, приносил в жертву свой труд — тут перепиши, это убери, этого нельзя, это не годится, это не понравится...

Рынок не избавил писателей от проблем, просто теперь они другие. Может, требования стали даже более жесткими, чем в советское время, но они связаны только с творчеством. И отношения писателя с издателями теперь совсем иные, без хамства, без подобострастия, без десятка прожорливых посредников.



О чем же тогда та толика печали, о которой я заявил в начале? Переход писателей из привилегированного класса общества в никакой, падение в пустоту отразились на мироощущении писателя. Сегодня, кажется, это единственная категория граждан, не нашедшая своего места в новой России. Люди, считавшие себя поводырями общества, властителями его дум, оказались самыми неприспособленными к переменам. В пустых склоках и раздорах они в мгновение ока лишились принадлежавшего им имущества, а оно, поверьте, было громадным, не стану перечислять, чтобы не травить душу обывателя уже прошлым непомерным богатством.

Жалею о «Литературной газете», — она отражала культурную жизнь огромной страны, знакомила с новыми талантами и упоминала тех, кто покинул нас. Может, тогда мы этому не придавали значения, а теперь запоздало поняли, что потеряли.

Жаль Домов творчества, где мы вольно или невольно знакомились друг с другом, сживали за одним столом и узнавали творчество собратьев по перу.

Жаль Дней советской литературы, проводившихся регулярно во всех уголках страны, Декад национальных литератур. На таких встречах, форумах народ напрямую встречался со своими писателями.

Вот, пожалуй, и все.

Остальное отмерло сразу, потому что было лживо изначально. Возродить советскую литературу невозможно, да и нужно ли? И кто ее возродит, если бывшие интеллектуалы не могут объединиться даже в профсоюз? Придут другие мастера слова, возможно, им захочется создать новое сообщество. А пока... Пока мы — всяк сам по себе.

*Казань, Москва,
2006*









Дайджест интервью

*Какие тайны прошлое хранит,
какие сны для сердца пропадают*

Фрагменты интервью: «Кто ничего не умеет, тот не должен ничего хотеть», «Глухому звука не объяснишь», «Слагать из встречных лиц один портрет», «Пьянея звуком голоса, похожего на твой», «Культуру восстановить труднее, чем экономику», «Дарованное Всевышним не может принадлежать отдельным лицам», «Актюбинск — гавань моего сердца», — данных Раулем Мир-Хайдаровым газетам, журналам, телевидению.

— *Какие писатели, книги повлияли на становление вашего характера, вкусов, мировоззрения?*

— Мой любимый писатель Иван Алексеевич Бунин. Всем, кто хотел бы прочитать о любви, советую его роман «Жизнь Арсеньева». И.А. Бунин долго был под запретом и появился, как и Сергей Есенин, в хрущевскую оттепель. Люблю всего позднего Валентина Катаева. Блистательная проза! «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Прощай, Гульсары» Чингиза Айтматова. Почти всю поэзию Серебряного века и позднюю поэзию О. Мандельштама и А. Ахматовой. Из современных поэтов — Евгений Рейн, Татьяна Глушкова, Сергей Алиханов, Бахыт Кенжеев, живущий в Канаде. И совершенно



блистательный, мудрый и ироничный, достойный продолжатель традиций Хайяма, Рудаки, Хафиза — Лоик Ширали. Из татарской поэзии: Туфан, Равиль Файзуллин, Мустай Карим, Муса Гали.

Из западных писателей — Ф.С. Фицджеральд, его я открыл для себя задолго до фицджеральдовского бума и этим горжусь. «Великий Гетсби», «Ночь нежна» перечитывал много раз, и они влекут меня по-прежнему. Герман Гессе, особенно его «Степной волк». Огромное влияние оказал на меня Дзюмпэй Гомикава романом «Условия человеческого существования». Я прочитал его в 1964 году, а в 1987 году его назвали лучшим японским романом XX века. А Япония, напомним, самая читающая и издающая книги страна мира. По этому роману японцы сняли 20-серийный фильм, возможно, и мы его когда-нибудь увидим. Открытие для себя в юном возрасте Фицджеральда и Гомикавы до сих пор греет мне душу, ведь в ту пору я работал обыкновенным прорабом.

Польский писатель Станислав Дыгат с его романом «Путешествие», Ален Фурнье, написавший всего один роман «Большой Мольн», выдержавший после его гибели в первую мировую войну более 50 изданий, Томас Вулф и его «Взгляни на дом свой, ангел». В юности сильное впечатление произвел Ремарк с его «Три товарища», Хулио Кортасар — «Преследователь», «Южное шоссе».

— *Какое влияние на вас и на ваше поколение оказало кино, киногерои вашего времени?*

— Кино... Пожалуй, кино по массовости своей, доступности сыграло главную роль в воспитании многих поколений, не только моего. Ленин не зря определил: из всех искусств для нас важнейшим является кино. Моему поколению повезло с кинематографом: он родился в нашем веке, стал зрелым к нашим юным годам и на наших глазах вместе с нами умирает. Лет с семи я начал ходить в кино. В Мартуке фильмы менялись через каждые два дня, это было неукоснительно, как приход московских поездов на нашу провинциальную станцию, где паровозы заправлялись водой и чистили топки.

Отчим мой, человек городской, из Оренбурга, кино любил страстно. У меня была обязанность бегать к почте, где вывешивали афишу, и сообщать, какое сегодня дают кино.



Однажды вышел конфуз. Я сказал родителям без всякого подвоха, что идет фильм «Два яйца». Они и пошли на эти «Два яйца», ибо старались не пропускать новых фильмов. Надеюсь, вы, догадались, что это были «Два бойца» с Марком Бернесом, Борисом Андреевым, Петром Алейниковым. В послевоенном Мартуке каждая копейка давалась с трудом, но отчим на кино мне выделял, говорил, что кино открывает глаза на мир, воспитывает. Помню, как мне завидовали сверстники, считали счастливым, и мне приходилось пересказывать в классе, во дворе содержание фильмов. Так что к устному творчеству я приобщился рано.

Отчим оказался прав: кино во многом сформировало мое мировоззрение, вкус. Явно оттуда, из детства, тяга к музыке, джазу, интерьерам, живописи. Послевоенное кино сплошь состояло из трофейных фильмов, из фильмов наших союзников по войне. Мы пересмотрели десятки голливудских фильмов, тех самых, что сегодня принято считать шедеврами мирового искусства. Еще до войны немцы экранизировали почти все известные оперетты Штрауса. Оффенбаха, Легара, засняли мюзиклы с участием мировых звезд тех лет, теноров Карузо, Марио Ланца. Экранизировали многие шедевры мировой литературы. Мы видели фильмы с участием Фреда Астора, Рудольфа Валентино, Марики Рёкк, Сони Хенни, Греты Гарбо, Кларка Гейбла, Грегори Пека, Чарли Чаплина, Рода Стайгера, Питера О'Тула. А к шестидесятым, годам нашей юности, подоспел и итальянский неореализм. Какие имена! Федерико Феллини, Витторио Де Сика, Франко Дзеффирелли, Бертолуччи, Домиани, Де Сантис, Этторе Скола...

А фильмы «Рокко и его братья» с молодым Аленом Делоном и Франко Неро, «Ночи Кабирии» с Джульеттой Мазини и Марчелло Мاستрояни, «Бум» с Альберто Сорди, «Горький рис» с Витторио Гасманом и Марио Адорфом!

Этот список, звучащий как музыка, я мог бы продолжать и продолжать. А новое немецкое кино с Максимилианом Шеллом, Клаусом Брандауэром! Французское кино — это Жан-Люк Годар, Трюффо, Жерар Филип, Анук Эме, Бурвиль, Жан Габен, Жан Маре, Жан-Луи Трентиньян...

Хотите верьте — хотите нет, существовало целое десятилетие египетского кино, откуда вышел будущий король



Голливуда Омар Шериф. А японские фильмы Акира Куросавы, шведское кино Ингмара Бергмана... Испанское кино великого Луиса Бунюэля, польское кино Анджея Вайды и Кшиштофа Занусси. Да и наше кино в ту пору шагало в ногу с мировым. Как же такой могучий заряд мог не формировать наши взгляды, вкусы, мироощущение?

Тем более, все, о чем говорилось — это здоровое, гуманистическое кино, воспитывавшее в человеке только высокое. Ну, со мной и кино быстро все стало ясно — лет в десять-двенадцать я уже страстно мечтал о другой жизни, стереотипы реальной окружающей меня действительности никак не устраивали, и желание стало программным. Когда жизнь на закате, есть преимущество — ты можешь предъявить доказательства реализации тех или иных планов. На всем стоит тавро: проверено временем. Поэтому под влиянием кино, боясь опоздать в другую жизнь, в четырнадцать лет, после семилетки, я, единственный из трех параллельных классов, сел на крышу мягкого вагона поезда и укатил в город поступать в техникум. Обратите внимание — один из ста двенадцати своих сельских сверстников. Этим самостоятельным поступком я тоже горжусь всю жизнь.

— *Рауль Мирсаидович, что мог предоставить вам, юношам, вступавшим в жизнь, провинциальный Актюбинск в конце 50-х годов в культурном плане?*

— Судя по вашему скепсису в голосе, вы наверняка думаете, что мы росли в культурном вакууме. Тут вы крепко ошибаетесь. С середины 50-х в ДК железнодорожников сложился народный театр. В репертуаре была классика. Три-четыре пьесы с прекрасными декорациями, костюмами, продуманным освещением. В 1957 году, когда я уже учился в Актюбинске, театр привез в Мартук «Бесприданницу» Н. Островского. Одну из ролей исполнял шофер нашей техникумовской полуторки. Как я гордился и театром, и нашим «артистом»! Они дали два спектакля — аншлаг, восторг, овации, успех! Все абсолютно так, как на премьерах в столицах — это я могу подтвердить, как старый театрал. Такое сейчас невозможно и представить, а ведь существовал в Актюбинске и профессиональный театр. Зимой 1959 года на месячные гастроли приезжал Московский Театр оперетты, выступал



он на сцене сгоревшего позже ОДК. Что творилось в городе! Билеты — с боем, зал — переполненный, разговоры — только об оперетте. В конце января 1960 года гастролировал знаменитый Государственный эстрадный оркестр Азербайджана под управлением композитора Рауфа Гаджиева.

Оркестр — настоящий биг-бэнд, семьдесят восемь человек — в три яруса, а ударник, с сияющими перламутровыми барабанами, медными тарелками — под самым потолком. Какие костюмы, декорации, световое сопровождение, блеск труб, саксофонов, тромбонов! Живая музыка Гленна Миллера, Дюка Эллингтона! Неожиданные аранжировки известнейших джазовых мелодий Джорджа Гершвина, Джерома Керна, Коула Портера, короля аргентинского танго Астора Пьяццоллы, сделанные знаменитым Анатолием Кальварским! Восторг публики я просто не в силах описать, триумф — и только! Тогда еще не дробились ни страны, ни оркестры. С коллективом выступал и вокальный квартет, тот самый, что позже назовется «Гайя». Через три года в Ташкенте я вновь встречу с оркестром и напишу восторженную рецензию, упомянув и актюбинский триумф.

Эта театральная рецензия станет моей первой публикацией. Она и позволит мне ближе познакомиться с музыкантами, и на десятилетия меня свяжет дружба с Рауфом Гаджиевым, певцом Октаем Агаевым, трубачом Робертом Андреевым, конферансье Львом Шимеловым, квартетом «Гайя», да и со всеми оркестрантами. Не раз я буду по их приглашению в Баку. А ведь все это началось в Актюбинске...

Весной того же 1960 года, уже во Дворце железнодорожников, выступал оркестр Дмитрия Покрасса. После моего отъезда приезжал оркестр Константина Орбеляна, где начинал в ту пору знаменитый Жан Татлян. Но главное — в другом: существовала своя внутренняя культурная жизнь Актюбинска. Какие вечера бывали в мединституте, культпросветучилище, кооперативном, нашем железнодорожном техникумах! В 44-й, в 45-й железнодорожных школах, во 2-й школе, в 11-й, в каждой из них была своя самодеятельность, свои эстрадные оркестры, солисты. Проезжая мимо полуразвалившегося ныне «Сельмаша», представьте себе, что там в конце 50-х существовал заводской клуб, где зимой бывали танцы под



джаз-оркестр. Стекалась молодежь со всего города, попасть туда было ох как непросто. А в субботу-воскресенье — танцы в ОДК и в «Железке», тоже негде было яблоку упасть. А какие новогодние балы давались во дворцах и клубах! Но это уже отдельная тема. Нет, время и Актюбинск дали нам, молодым, возможность приобщиться к культуре.

— *Вы открываете нам новый взгляд на те культурные события, которые уже стали историей. Спасибо. В романе «Ранняя печаль» цитируется много поэтических строк и даже есть утверждение: «любите поэзию, в ней, как в Коране, Библии и Талмуде, есть ответы на все вопросы жизни». Поясните свой текст.*

— Только в точных науках есть единственно правильный ответ. Некоторые люди пытаются выстроить свою жизнь по четким математическим формулам, но даже если ориентироваться на элементы высшей математики, вряд ли они гарантируют счастье. Я воспринимаю жизнь на эмоциональном, чувственном уровне, оттого, наверное, мне ближе ответы на все вопросы бытия, которые я нахожу в поэзии. Поэзия стара как мир. Я сейчас процитирую вам Рудаки:

*Поцелуй любви желанный,
Он с водой соленой схож,
Чем сильнее жаждешь влаги,
Тем неистовее пьешь.*

Или:

*Не любишь, а любви моей
Ты ждешь.
Ты ищешь правды, сама ты —
Ложь.*

Скажите, после этих строк сильно ли изменились отношения между мужчиной и женщиной, что нового добавили века в эти отношения?

Хотите пример посвежее, поактуальнее:

*Двухподбородковые ленинцы,
Я к вам и мертвый не примкну.*



Или самая печальная строка поэзии, которую я встречал когда-либо. Её написал десять лет назад недавно ушедший из жизни Евгений Блажиевский. В молодые годы он играл в футбол со знаменитыми нападающими Банишевским, Маркаровым в бакинском «Нефтянике».

*И девушки, которых мы любили –
Уже старухи...*

К поэзии всерьез и навсегда я приобщился тоже в Актюбинске. Зимой 56-го года мой однокурсник Валерий Полянский тайком показал мне толстую тетрадь, исписанную каллиграфическим почерком. Это были стихи запрещенного в ту пору Сергея Есенина.

*Она такая нежная, а я так груб.
Целую так небрежно калину губ.*

Там же была и его поэма «Анна Снегина» — вершина лирики.

*Нам было семнадцать лет
И девушка в белой накидке
Сказала мне ласково: «нет» ...*

Или вот строка из чукотской поэзии:

*И легче зиму повернуть
Назад по временному кругу,
Чем нам друг другу протянуть
Просящую прощенья руку.*

Да, я убежден, в поэзии есть ответы на все случаи жизни, но не всякому дано их услышать. Поистине, глухому звука не объяснишь.

— *Какие, на ваш взгляд, впечатления должны производить ваши книги у читателя, по максимуму?*

— Прежде всего, читатель должен ощущать разницу между своими знаниями и моими, моим знанием жизни или описываемого предмета, ситуации. Если это случится, то книга



будет читаться и перечитываться, передаваться из рук в руки. И тогда читатель будет приобретать мои новые произведения, не глядя на аннотацию, рекламу и даже качество полиграфии, ему важно другое — сам автор.

— *И часто такое происходит с читателем?*

— Уже произошло. Против цифр, факта не попрешь. Пять миллионов книг, таков на сегодня тираж моих изданий, они ведь у читателя на руках. Мои книги читают и высоколобые интеллектуалы, и водители-дальнобойщики. На встречах с читателями в таких же полярных коллективах, как академики и шоферы, везде задают один и тот же вопрос: откуда вы это знаете? Я получал раньше тысячи писем, мешки писем — с этим же вопросом. Видимо, эти знания основательны, профессиональны, если после написания романа «Пешие прогулки» юристы были уверены, что я бывший прокурор высокого ранга. Если после романа «За все — наличными», где я затронул вопросы творчества казанского художника академика живописи Николая Ивановича Фешина, эмигрировавшего в Америку в 1922 году и там занявшего достойное его таланту место в мире, я стал получать предложения от многих журналов по искусству написать статьи о нем, предисловия, аннотации к его буклетам, проспектам.

В молодости, работая в строительстве, из-за страсти к футболу я вел колонку футбольного обозревателя в одной из ташкентских газет. Во время матча я занимал место в секторе для прессы и так горячо комментировал вслух, что надо делать тому или другому тренеру, что однажды неожиданно для себя получил предложение стать вторым тренером команды в классе «Б». Впрочем, отгадку на многие вопросы, откуда я это знаю, читатель может найти в «Ранней печали». Признаюсь, этот роман дорог мне.

— *Ваш роман «Пешие прогулки» стал настольной книгой для многих юристов. Более того, они были убеждены, что роман написан бывшим прокурором высокого ранга, решившим в перестройку за все унижения от партийной власти крепко хлопнуть дверью. Известно, что следовательно по особо важным делам Генеральной прокуратуры СССР Б.Е. Свидерский, тот самый, что засадил за решетку Ахматжона Адылова, сказал: «Мне кажется, что это я написал «Пешие прогулки».*



Оценка романа профессионалом такого уровня должна быть дорога для автора. В связи с этим вопрос: какие законы вы ввели бы в первую очередь, будь на то ваша воля?

— Начнем с того, что нужно реализовать, прежде всего, принцип неотвратимости наказания, и второе — все законы должны быть в пользу законопослушных граждан.

Презумпция невиновности — это, конечно, хорошо, но в наших условиях она работает эффективно только в пользу богатых и власть имущих.

Первое, что бы я сделал, будь на то моя воля, отменил освобождение под денежный залог. В бедной стране это — дискриминация большинства населения.

Второе. У нас сплошь рецидивная преступность. Есть случаи, когда получают срок и по десять, и по пятнадцать раз. Я считаю, что по особо тяжким преступлениям нужен порог преступности: два-три раза, а дальше — суровый приговор, по-китайски. Иначе волну преступности не сбить. В Америке, кстати, третья судимость по одному и тому же виду преступления карается пожизненным заключением.

Третье. При въезде в страну обязательно декларировать не только наличную валюту, но и судимости, даже погашенные.

Четвертое. Тюремный срок надо определять по совокупности всех преступлений.

Пятое. В стране много немотивированного насилия. Сотни тысяч изуродованных, искалеченных, ставших инвалидами людей. Тут, на мой взгляд, одного тюремного срока мало. Человек, сделавший инвалидом другого, должен до конца жизни выплачивать ему определенную компенсацию. Сейчас оплату вместо преступника делает, в лице государства, законопослушный налогоплательщик.

Шестое. Сегодня в чудовищных масштабах происходит насилие над детьми. Насилуют и десятилетних, и пятилетних, преступления сплошь рецидивные. Растрелители попадают по пять-десять раз.

Ученые давно доказали, что подобная гнусная извращенность не проходит никогда. Нужен радикальный подход — следует кастрировать сразу, плюс тюремный срок. С точки зрения медицины, это простейшая операция. Скажете — сурово, жестоко? Да, согласен. Не хочешь стерилизации —



не трогай детей!! А сломанных судеб детей, родителей вам не жаль?

Седьмое. Еще один закон мне кажется важным — о предательстве в рядах милиции. Тут я вижу простейший выход. Предатели из органов, к ним можно добавить и госчиновников, должны отбывать наказание не в специальных тюрьмах, как сейчас, а в общих. Страх неотвратимости возмездия обязательно сыграет свою роль. Еще закон, косвенно связанный с милицией. Почти каждое третье преступление ныне совершается уголовниками в форме милиционера, с поддельными удостоверениями, фальшивыми документами. Только за незаконное использование атрибутов власти нужна дополнительная статья, равная статье за содеянное преступление! А что творится в судах?! Подсудимые откровенно, перед телекамерами, угрожают судьям, потерпевшим, свидетелям. И закон не позволяет судье тут же добавить год-другой. Даже на футбольном поле законы куда более суровы. Скажи футболист судье что-нибудь оскорбительное, тут же последует наказание — удаление с поля! Кстати, в США действует закон «Об уважении к суду».

Спросив, какие я немедленно ввел бы законы, вы наступили мне на большую мозоль. Их десятки, поэтому надо остановиться и лучше написать для вас специальную статью. Но о законах я хотел бы сказать и еще кое-что. Я твердо убежден, что ясные, жесткие, своевременно принятые законы решают половину любой проблемы. Оттого, что мы никогда не жили по законам, мы еще не поняли, не оценили их силу. В советское время в республиках вину центр во всех грехах и в отсутствии мудрых, своевременных законов тоже. Уже десять лет новым государствам Москва не указ, но законодательство у всех практически идентичное. На всем постсоветском пространстве с завистью говорят лишь об узбекском законе, касающемся угона автомобилей. Там ужесточили меры — машины перестали угонять.

Любое преступление нужно сделать финансово нерентабельным, и оно само сойдет на нет. Свободу ценят все, особенно преступники. Меня постоянно спрашивают: как бороться с квартирными кражами? Тут необязательно увеличивать срок, важен другой показатель — чтобы у потерпевшего не было



финансовых претензий. Пока вор не вернет украденное, он должен сидеть в тюрьме. А сейчас он шлет из камеры угрозы тому, кого обворовал, долг не гасится совсем, а срок исправно идет, день свободы близится. Здесь закон явно в пользу преступника.

— *Какие черты характера для вас наиболее нетерпимы в людях?*

— Лень. Безответственность. Лень, на мой взгляд, главная основа всех человеческих пороков. Остерегайтесь ленивых людей.

— *Ваша любимая пословица?*

— «Кто ничего не умеет, тот не должен ничего хотеть», «Когда коровы воду пьют, телята лед лижут», «Кто спит с собакой, тот наберется блох».

— *Вопрос-бумеранг на ваш недавний ответ. Вы сами — не ленивы?*

— Я отработал в строительстве более двадцати лет, одновременно заочно учился, писал книги. На «вольные хлеба», то есть работать на свой страх и риск, без зарплаты, ушел в 1980 году. Кстати, редкие писатели отваживаются на такой шаг. Большинство отираются в штатах газет, радио, журналов, издательств, где есть гарантированная зарплата. Мало написать рассказ, его надо издать — оплата по выходу в свет. А написал я семь романов, десятки повестей и рассказов — все изданное составляет десять-двенадцать томов. Трудно назвать меня ленивым. Возможно, оттого я ленивых вижу насквозь, чую за версту.

— *Еще один вопрос о ваших качествах. Рауль Мирсаидович, вы — жесткий человек?*

— Тут ответ без раздумий — да, конечно. Например, я — за смертную казнь. Новые государства никогда не выйдут из нищеты и не станут самостоятельными, если у них в период становления не будет жестких законов.

Если изменится жизнь, то законы можно поменять быстро, это в руках парламента. Сегодня за жуткие убийства наказывают десятью-пятнадцатью годами тюрьмы, а убийцы — сплошь от пятнадцати до двадцати пяти лет. В тридцать с небольшим эти подонки выйдут на волю и будут убивать вновь, тут — сомнений никаких. Для кого такое милосердие?



За жизнь нужно расплачиваться только жизнью! И тут не надо оглядываться на законы сытого Запада, убивают ведь у нас и нас.

Аргумент гуманистов против смертной казни таков: мол, жизнь дал Господь Бог и только он может отнять ее, а никак ни закон, не государство. Вроде бы резонно. А убийца разве Господь Бог, чтобы отнимать жизнь у другого?

Самое интересное, что народ, в случае референдума, обязательно проголосовал бы за смертную казнь. Такого разгула преступности и беззакония, наступившего с приходом к власти М. Горбачева, история еще не знала. Побиты все криминальные рекорды, и даже фальшивая государственная статистика преступлений, заниженная в десятки раз, пугает людей. Но этого никак не понимают законодатели и чины, призванные бороться с преступностью.

— *Что для вас означает понятие — свобода? Сегодня вам легче дышать как гражданину, как писателю?*

— Я давно был убежден, что если у человека нет внутренней, личной свободы, то и внешняя, разрешенная, декларированная свобода ему тоже не очень нужна. Время лишь подтвердило мою правоту — большинству граждан нынешняя свобода оказалась в тягость, они бы её с удовольствием променяли на что-нибудь гарантированное, материальное...

Совсем юным пятнадцатилетним мальчишкой я прибилсь к редкой по тем временам в Актюбинске компании стилияг. Небезопасное увлечение — могли отчислить из техникума, лишить общежития, дружинники могли порезать твои единственные узкие брюки. Но на это меня толкала внутренняя свобода. Мой личный вкус, моё понимание моды, эстетики. Позже я и дня не был в КПСС, хотя хорошо знал, что с партийным билетом шагать по жизни легче. Это тоже осознанный выбор, чтобы сохранить внутреннюю свободу. Любое членство, особенно в идеологической организации, крепко обязывает. Издав первые книги, я тут же написал роман о мафии, о партийных казнокрадах, о бесправности гражданина, даже если он и прокурор. Наверное, я догадывался, что меня за это по головке не погладят — уж я-то знал хорошо тех, о ком писал.

Результат известен — я стал инвалидом, в пятьдесят лет пришлось оставить в Ташкенте роскошную квартиру,



загородный дом, отлаженный быт и начинать жизнь в России с нуля: с прописки, гражданства, жилья. Кстати, сорок лет назад в Ташкенте, чтобы получить прописку, я вынужден был год отработать слесарем на авиазаводе, имея уже диплом и опыт инженерной работы в Экибастузе. Судьбу эмигранта в России я хлебнул сполна. Только спустя восемь лет у меня появилась крыша над головой, которую мне никто не дал. Свобода одним указом «О свободе» не реализуется, равно как и демократия, которую сегодня обыватель ждет не дожидается. И не дожидается, как вчера не дождался коммунизма.

И еще о свободе, уж очень важная тема. Я убежден, что человек не может получить от общества, государства свободы больше той, которой он обладает в себе. Свобода, на мой взгляд, не может отождествляться с государственным строем, будь то тирания или демократия. Свобода — это, скорее, свойство человека, чем социальная данность.

— *Иногда пресса пишет о бесполезности борьбы с преступностью, о том, что мафия бессмертна. Как вы оцениваете ситуацию? Ждет ли нас свет в конце туннеля?*

— Я не разделяю настойчиво навязываемую массам мысль, что мафия бессмертна. Убежден: с ней всерьез еще не боролся. Давайте беспристрастно заглянем по обе стороны баррикад. Воров в законе на территории бывшего СССР около семисот. Газета «Кто есть кто» в 1996 году напечатала всех их по имени-отчеству, какие кликухи, за что сидели, что контролируют. Следует добавить, что грузинские, армянские, азербайджанские, узбекские мафиози после развала СССР почти поголовно переехали в Россию, а точнее — в Белокаменную. Такая Москва гуманная, заботливая. К слову сказать, девяносто процентов расхитителей народного добра из бывших советских республик, находящихся в розыске, тоже обитают в Москве. Но вернемся на баррикады. Кроме воров в законе, есть еще и уголовные авторитеты — их три-четыре тысячи. Взглянем на нашу сторону баррикад. Одних многозвездных генералов в силовых структурах России более десяти тысяч, по полтора десятка на каждого вора в законе! А офицеров — от полковников до лейтенантов, — этих уже тысячи на каждого преступника. О рядовых, с той и нашей стороны, и речи не идет, за нами десятикратный перевес. Ежегодно Россия



присваивает двести пятьдесят-триста генеральских званий, а воров в законе коронуется на всем постсоветском пространстве не больше двадцати, отбор жесточайший — это не паркетных генералов штамповать.

На нашей стороне еще и целая армия прокуроров, судей, следователей, десятки спецслужб — и после этого утверждать, что мафия бессмертна, что с ней бессмысленно бороться?!

— *Что может вывести новые государства на постсоветском пространстве на новый качественный уровень жизни?*

— Собственность. Культура. Образование. Собственности сегодня народ не имеет нигде, а культура и образование стремительно падают с каждым днем. В России сложилась невероятная ситуация: есть класс буржуазии, есть олигархи, но нет... капитализма. Еще одна российская уникальность — у государства нет собственности, но нет и класса собственников. В Российской армии среди призывников сегодня есть абсолютно неграмотные люди. Двадцать лет назад такое не могло прийти в голову даже самому оголтелому пасквильянту и антисоветчику.

— *Может, Запад не помогает нам, как Европе, после войны?*

— Вы имеете в виду план Маршалла? Тут я вас огорчу, а кое-кого, наверное, даже шокирую. Россия получила денег от Запада гораздо больше, чем по плану Маршалла было вложено в экономику всех пострадавших от войны стран, вместе взятых.

От гигантских финансовых вливаний в Россию итог один, и весьма плачевный — долг более 156 миллиардов долларов. Для примера — иная парадоксальная ситуация: СССР вышел из тяжелейшей войны мощной индустриальной державой. Через пять лет восстановил треть своих территорий, еще через пять стал космической державой. К середине 60-х СССР назывался супердержавой, с лучшим в мире флотом, авиацией, атомной энергетикой и так далее.

Из реформ Горбачева и Ельцина Россия выползает без космоса, флота, авиации, промышленности и так далее. Нам, оказывается, даже деньги во вред. За всю свою историю Россия переживает сейчас самый затяжной кризис, которому не видится конца. На мой взгляд, теперь мы вступаем в новую



его фазу — за пятнадцать лет растранижены все ресурсы государства, пришли в негодность заводы и фабрики, электростанции и АЭС, газопроводы и нефтепроводы, растащены торговый и рыболовецкий флот, гражданская авиация, на ладан дышит железная дорога. Мы на пороге перманентных технологических катастроф.

— *Мрачно вато получается, Рауль Мирсаидович.*

— Согласен. Но я так вижу, к сожалению. Помните анекдот, появившийся с приходом М. Горбачева? Спрашивают: «А что будет после перестройки?». Отвечают: «Пятилетка восстановления народного хозяйства!». Сбылось копейка в копейку, только о планах восстановления пока не слышно.

— *Что вас больше всего потрясло за последние годы?*

— Наверное, потрясений в собственной судьбе хватает с избытком: после покушения стал инвалидом, оставил дом в Ташкенте. В пятьдесят лет пришлось начинать жизнь в России заново, с нуля. Но так случилось с миллионами моих сограждан, тяжкий крест времени я несу с большинством народа. За эти годы произошло с нами и со страной много нелепого, страшного, невозможного. Но шокировали меня два события. Первое, когда М. Горбачев вдруг стал рекламировать пиццу, а второе — чуть раньше. В эпоху горбачевских же кооперативов один из бывших руководителей Мартукского района вдруг объявился привратником в одном из актюбинских кооперативов. Что им не хватало, умирали с голоду? Ни чести, ни достоинства, ни мужской гордости. Жалкие заботы о своей шкуре.

— *К своему 60-летию вы успели многое: заслуженный деятель искусств, ваши избранные собрания сочинений вышли и в России, и на Украине, причем и там, и там дважды, роман «Пешие прогулки» выдержал восемнадцать изданий. В Мартуке есть улица вашего имени и литературный музей, ваше имя вошло в энциклопедии нескольких стран, ваши произведения переводились на другие языки, общий тираж книг достиг пяти миллионов. Вы собрали значительную коллекцию современной живописи, знакомы и дружны со многими сильными и известными людьми мира сего. Вы счастливый человек? Считаете ли вы, что ваша жизнь состоялась?*

— При кажущейся прямоте и ясности вопроса он по-восточному полон философии и скрытого смысла.



Тут односложным «да» или «нет» не отделаться, ответ в любом случае получится многомерным. Сразу на выручку приходит поэзия, в которой, как я не раз заявлял, есть ответы на все вопросы бытия: «...и все сбылось... и не сбылось». Но если всерьез, ответ и будет колебаться между «сбылось» и «не сбылось». В амплитуде этих жизненных качелей — и вся моя судьба... Успехи, неудачи, потери, обретения, неожиданные радости, признание земляков и любовь читателей.

Поколение, к которому я принадлежу, называют военным, к нему близки по духу родившиеся лет на пять раньше войны и чуть позже — лет на шесть-семь. На мой взгляд, люди этих поколений невыполнимых задач перед собой не ставили, на несбыточные фантазии не замахивались. Получить высшее образование, достичь успехов в профессии, быть полезным Отечеству, народу — в этом мы видели свою цель. Наверное, я должен уточнить, что, говоря о поколении, я имел в виду ту среду, из которой вышел сам, хотя надо отметить, что общество в пору моего взросления было более однородным, уровень жизни во всех его слоях не сильно различался, как стало это заметным в 70-х, не говоря уже о сегодняшних днях. Я не слышал, чтобы в моем кругу юноши 50-х годов мечтали стать дипломатами, писателями, послами, кинорежиссерами, банкирами, они не рассчитывали объездить мир, иметь загородные особняки, «мерседесы», отдыхать на Ривьере и в Ницце.

Оттого, наверное, в моем поколении меньше людей, разочаровавшихся в жизни. И если некоторые из нашего поколения владеют очень большими материальными благами, они пришли к ним закономерно, не рвали и не закладывали за них душу, не перешагивали через трупы. Другое дело — поколения, идущие вслед за нами. Они родились в эпоху расцвета и мощи советского государства и изначально рассчитывали на очень высокое качество жизни — тут мечты не знали предела.

Но развал СССР сыграл с ними злую шутку, большинству из них никогда не достичь даже уровня жизни их родителей, ибо те жили в одной из двух сверхдержав мира. Оттого у многих нынешних сорокалетних апатия к жизни, душевная опустошенность. Слишком высокую планку они ставили перед собой, слишком радужной видели свою жизнь в будущем. Отвечаю



на ваш вопрос вопросом: «Мог ли мальчик, один из ста двадцати сверстников, единственный из трех параллельных седьмых классов, решивший поступать в железнодорожный техникум, рассчитывать, что некогда станет известным писателем и сегодня будет давать вам это интервью?» Конечно — нет! Такое не только не снилось, но о таком даже не мечталось. Но в каждом из нас природой, Всевышним заложено многое, и таланты в том числе. Уже тогда, в юности, уезжая в техникум из Мартука, никак не связывая свое будущее с литературой или искусством, я чувствовал в себе жажду приобщения к культуре. Я знал: чем бы я ни занимался в жизни, у меня в доме непременно будут книги, музыка, картины, я буду ходить по музеям, на концерты, обязательно стану театралом. Я уже говорил в одном из своих интервью, что книги и кино в определенной степени сформировали мое мировоззрение, вкусы, отношение к жизни. Человек начинается с детства. Это не мной сказано, но это так. До перестройки книгами и кино не были обделены даже самые захолустные уголки нашей Родины, важно было душой тянуться к прекрасному, духовному. Даже сейчас от волнения меня бросает в дрожь, когда я слышу фразу: «Театр у микрофона...». Лет с десяти постоянно слышал эти слова, уносившие меня в волшебный мир искусства. Мое первоначальное знание о театре, опере, классической музыке пришло из эфира. Только потом, через годы, я увидел «живьем» знакомые театральные и оперные постановки, слушал знаменитые оркестры и выдающихся исполнителей. Я до сих пор помню голоса театральных корифеев: Качалова, Комиссаржевской, Мордвинова, Степановой, Яншина, Грибова, Яблочкиной, Якута, Пруткина, Кторова, Книппер-Чеховой. Записывая спектакли на радио, они знали, что адресуют свое искусство массам, приобщают нас к прекрасному, вечному. В детстве все западает прямо в сердце и навсегда. Если бы меня спросили в школьные годы, что такое Отечество, государство, власть, я бы, наверное, ответил: это спектакли Театра у микрофона, симфонические концерты Чайковского, Скрябина, Прокофьева, Сайдашева, Жиганова, Ярулина, Монасыпова, Рахманинова — так я ощущал далекий в рубиновых звездах Кремль. То послевоенное государство не могло дать мне многого, но, оказывается, дало главное —



открыло дверь в мир искусства, а через культуру пришло ощущение Отечества, своего народа.

Гуляя босоногим мальчишкой по улицам Мартука, носившим имена Ленина, Сталина, Буденного, Ворошилова, я и представить не мог, что улица Красноармейская будет через какое-то время носить мое имя и на ней появится красавица мечеть, первая в столетней истории поселка, в строительство которой и я вложил немало средств. В каждый приезд я навещаю мечеть и не спеша прохожу по «своей» улице. Признаюсь, задай вы вопросы в эти минуты, я, безусловно, ответил бы, что я человек счастливый и считаю свою жизнь состоявшейся. За всю историю Мартука только четыре Героя Советского Союза и я удостоились чести, чтобы нашими именами назвали улицы нашего детства. Пожалуй, этой наградой общества я горжусь больше всего.

Я был очень счастлив, когда мой первый рассказ «Полустанок Самсона» опубликовали в Москве, когда вышла первая книга, когда стали приходить письма от читателей. Когда я лежал в больнице после покушения и ко мне вдруг потоком пошли люди, прочитавшие «Пешие прогулки», — их любовь, поддержка окрылили меня. И я вновь почувствовал себя счастливым, ибо привела ко мне людей сила искусства, значит, я сумел достучаться до сердец читателей. Наверное, постоянно счастливым человек быть не может, а если такой все-таки найдется, видимо, он будет смахивать на идиота. Разве можно быть покойным душой и счастливым, если оглянуться вокруг? Если улица твоего имени находится в поселке, переживающем жесточайший кризис: безработица, кругом бедность, упадок, люди бросают дома и уезжают в неведомое. А ведь совсем недавно, до горбачевской перестройки, это был цветущий райцентр, где в каждом дворе стояла машина, а то и две. Работали четыре завода, несколько автобаз, две фабрики, двадцать детских садов, с шести утра до полуночи с интервалом в полчаса ходили в город переполненные «Икарусы». В лучшие годы на первенстве Мартука играли до шестнадцати футбольных команд! А районные спартакиады превращались в настоящие праздники. Открою и тайну, которой поделился со мной в конце 70-х управляющий местным сбербанком: у каждого из пятисот вкладчиков Мартука лежало на книжке



по сто тысяч рублей! Чтобы было понятно нынешнему поколению, переведу в доллары — это более ста тридцати тысяч! Вот такие горбачевские качели вышли — одним махом из богатства в нищету.

А каково молодежи?! Мы тоже вступали в жизнь не в лучшие для страны годы, но у нас было гарантированное будущее, перспективы. В своем будущем мы нисколько не сомневались, нам поистине были открыты все пути. А каким мы оставляем мир после себя, какую экологию? В годы моего детства Илек был не только кормильцем и поильцем, но и красою края, десятки поколений выросли на его берегах, тысячам и тысячам он снится. Сейчас эта загаженная заводами река губит все живое на своем пути, в Мартуке уже давно отравлены подпочвенные воды. Подумайте, колодезная вода, воспетая в сказках, легендах и песнях, стала отравой!..

В начале 50-х годов была успешно выполнена одна из самых грандиозных программ по озеленению страны. Леса были необходимы степным краям, и более чем на треть программа реализовалась именно в Казахстане. Высадили сотни тысяч километров лесополос вдоль железнодорожных, автомобильных, проселочных дорог и колхозных полей. За пятьдесят лет у нас зашумели настоящие леса со зверьем, ягодами, грибами, сенокосом. И вот сегодня этот рукотворный лес, высаженный и выросший на моих глазах вокруг Мартука, да и по всему Казахстану, нещадно вырубается. Людям нечем топить, и через два-три года весь лес может быть изведен на корню. А это грозит неминуемой экологической катастрофой. Люди от безысходности лишают себя будущего, а ведь у нас под боком и высыхающий Арал.

Отвечая на ваш вопрос, можно бесконечно говорить о радостях и удачах, их за жизнь выпало немало, и если их перечислять, упоминать, с кем знался, где бывал, что видел, то это может показаться банальным хвастовством. Но причин, поводов, от чего душа болит и на сердце неспокойно, к сожалению, гораздо больше, чем радостей, сколько их ни перечисляй. На фоне невзгод страны, лишений людей, тупика, в который зашло общество, кризиса всего и вся личные успехи кажутся несущественными, мелкими, несвоевременными даже в юбилей. И мне остается лишь вернуться к поэтической



формулировке, высказанной в начале, она наиболее адекватна моему настроению и обстоятельствам и лишней раз подтверждает мудрость поэзии: «...и все сбылось и не сбылось...».

— *В перестройку, когда открылись границы, многие писатели, артисты подались на Запад, другие дружно повалили в политику, во власть. Не было ли у вас мысли осесть где-нибудь в Европе или, используя имя, популярность, стать политиком? Ведь ваши романы — об экономике, политике, власти? На иных страницах и сегодня можно прочесть не принятые до сих пор готовые законы или программы для целых партий, а люди из спецслужб считают вас крупнейшим аналитиком, точно просчитавшим ситуацию на десятилетия вперед.*

— Да, было такое время. Многие в ту пору уезжали в Израиль, Америку, Германию. Выросшие на голосах западных радиостанций, они и впрямь верили, что нужны там, что только там оценят их талант, особенно материально. К сожалению, интерес к ним подогревался только политикой. Упал железный занавес, кончилась победой Запада война идеологий, интерес пропал не только к ним лично, но и ко всей нашей культуре, и к стране в целом. Вернулись домой без шума, без помпы почти все. Остались из известных только Александр Межиров и Наум Коржавин, люди преклонных лет, получающие, на наш взгляд, огромные пенсии. К сожалению, сейчас у Запада окончательно пропал интерес к России, там ясно видят наш тупик, и не только экономический. Некоторых из выдающихся музыкантов, певцов они уже перетянули к себе: постоянно живут там Хворостовский, Казарновская, Кисин. Осели на Западе известные шахматисты, футболисты, хоккеисты, боксеры, тренеры, а исполнители блатных песен — всякие там Ляли Черные, Саши Рыжие — вернулись, они и правят бал в новой России.

В 1988 году, за три года до развала страны, после выхода романа «Пешие прогулки» на меня было совершено покушение. Вероятно, первое из политических покушений. Уже потом, через два-три года, начнут убивать почти каждый день, и не будет понятно, то ли из-за политики, то ли из-за больших денег, как, например, с В. Листьевым. Но в моем случае деньгами и не пахло. Роман вызвал огромный интерес,



сразу появились и второе, и третье издания, вышедшие невероятными тиражами по 250000! В больнице появился корреспондент американской газеты «Филадельфия Инкуайер» Стивен Годдстейн, который подготовил обо мне огромный материал, на целую полосу, под названием «Исследователь мафии». Позднее эта статья привлекла внимание многих крупных европейских газет и телекомпаний, интересующихся русской мафией. Чуть позже появились и другие американцы, они предложили мне грин-карту, о которой мечтают миллионы граждан бывшего СССР. Но я, к их невообразимому удивлению, отказался. У меня и мысли не было уезжать из страны, хотя в больнице я уже понимал, что покинуть Ташкент придется. Я ни в коем случае не связываю отказ стать американцем с идеологическим патриотизмом, это, прежде всего, связано с моей ментальностью. Я хочу жить на Родине! И останусь при любом режиме. Даже если он мне и очень сильно будет не нравиться. Мечта миллионов — грин-карта — меня несколько не прельстила, не жалею об этом и сейчас, спустя двенадцать лет, хотя жизнь эмигранта в Москве я познал сполна, и будущее России видится мне совсем не радужным.

Теперь о возможности моего вхождения в политику, во власть. Судьба и тут предоставляла мне реальный шанс, билет в сытую жизнь подавался, как говорится, на блюдечке с голубой каемочкой. Придется вернуться опять в 1988 год, в больницу. В ту пору свободно избирался Верховный Совет — первая ласточка долгожданных демократических свобод. Страна бурлила, кипела, ночами просиживала у телевизора, ходила на митинги. Однажды в палату ко мне пришла, почти в полном составе, избирательная комиссия одного из столичных округов, а конкретнее — авиазавода. Ее члены и предложили мне выставить свою кандидатуру.

«Пешие прогулки» в ту пору зачитывались до дыр, передавались из рук в руки, я получал мешки писем. Сам роман служил избирательной программой, а моя судьба на тот момент не нуждалась в рекламе, поистине это был мой звездный час. Я подходил в депутаты по всем параметрам. Конечно, предложение обрадовало меня, подняло дух, но я попросил два дня на размышление. В эти дни я многое передумал



и, как мне кажется, принял правильное решение — отказался. В ту пору я не предполагал, что политика — настолько грязное занятие, хотя особых иллюзий на этот счет не питал никогда. Чем я мотивировал отказ, прежде всего для себя? В перестройку литература имела колоссальное влияние на умы людей — «Пешие прогулки» тому подтверждение. Я был убежден, что имею трибуну гораздо более эффективную, чем депутатский мандат. Читатели ждали моих новых книг, где были и рецепты новой, свободной жизни. И я знал, что напишу такие книги. Я крепко огорчил людей, уже видевших меня своим депутатом, но с ними у меня надолго сложились глубокие личные отношения, и я им до сих пор признателен за то, что они поддержали меня в трудную минуту. Я не обманул ожиданий своих читателей, написал один за другим, в рекордно короткие сроки, еще четыре романа, зафиксировавших хронику смутного времени и предугадавших наш нынешний, увы, не победный путь. Романы и сегодня не потеряли актуальности, читаются с интересом, продолжают переиздаваться, ибо оказались провидческими. Депутатский мандат, который почти был у меня в руках, получил молодой офицер В. Золотухин. Я пытался следить за его судьбой, но след его с развалом государства для меня затерялся.

Жалею ли я о том, что не попал в первый свободно избранный Верховный Совет вместе с Собчаком, Бурбулисом, Ельциным? Нет, тем более что время показало: единомышленников у меня там было бы не много. Говорить о том, что я упустил шанс воспользоваться высокой трибуной — смешно. Даже великому мудрому Сахарову не давали рта раскрыть — об этом и сейчас горько вспоминать. Зато в романе «Масть пиковая», вышедшем в начале 90-го года, когда Михаил Сергеевич как раз затыкал рот Андрею Дмитриевичу, я показал Горбачева Геростратом своего Отечества. Сегодня с моей оценкой согласны многие, большинство.

И напоследок — об аналитике. Я убежден, что литература прозорливей любых аналитиков и политических предсказателей. Хорошо написанные книги становятся самой историей и воспринимаются адекватно реальной жизни, по ним судят о прошлом. Пример тому — великий роман Мухтара Ауэзова «Путь Абая» — там вся история, быт казахов.



Ни один научный трактат не дает такого всеобъемлющего знания о казахах, как этот гениальный роман.

— *Вы и в советское время издали немало книг, успели выпустить в «Художественной литературе» большой однотомник избранного. «Звезда Востока» и московский журнал «Мы» на своем пике имели полумиллионный тираж — фантастическая цифра! Когда вам печаталось лучше — тогда или сейчас? Не тоскуете ли вы по прежним временам, когда писателю создавались почти идеальные условия для жизни и творчества?*

— Коварный вопрос. Не хочется плевать в прошлое, — слишком многие заняты этим теперь, — но и вводить в заблуждение читателя не желаю. Писательская среда слишком специфична, о ее жизни бытует много мифов, далеких от реальности. Чтобы не оставлять себе пути для отступления, сразу отвечу — нет, не жалею, нисколько. Возможно, о чем-то печалюсь, но это частности, а в основном, повторюсь, не жалею.

Прежде всего, дам свою краткую оценку советскому периоду литературы. Я пришел в этот цех уже сформировавшимся человеком, со своим мироощущением, видением, успел даже состояться — «Избранное» в «Худлите» тому подтверждение.

Редкий советский писатель, тем более с периферии, при жизни или после смерти получил возможность выхода своей книги в этом элитном издательстве, наверное, не более двух процентов всего списочного состава Союза писателей за всю историю издательства с 1936 года. А писателей было много, десятки тысяч, кстати, планы «Худлита» составлялись на пять лет вперед и ежегодно с боями пересматривались, причем планы были «прозрачными», их можно было увидеть в любом крупном книжном магазине. «Худлит» печатал только книги, проверенные читателем и временем, в том числе лучшие произведения писателей всего мира. На мой взгляд, советская литература — в большой степени литература должностных лиц, литература высоких кресел. Десятки лет существовал термин «секретарская литература», то есть сочинения литературных чиновников.

Сейчас многие забыли, что А. Брежнев был лауреатом высшей в государстве литературной премии — Ленинской. В новейшее время литературой баловался и Ельцин, — к премиям



он был равнодушен, а гонорары любил, скопил легальное состояние. У всех еще свежо в памяти дело «писателей» Коха, Чубайса, Казакова и других, получивших по сто тысяч долларов за ненаписанную книгу о приватизации. Не может, оказывается, западный читатель жить без книги о нашей приватизации, и все, готов миллионы за это платить. За это ли — вот вопрос... Особенно умилял меня А. Собчак, написавший две или три тоненькие брошюры, которые, впрочем, никто в глаза и не видел. Свой загородный дом в три этажа необычайной архитектуры, обставленный роскошной мебелью, увешанный картинами (Зайцева нас, телезрителей, по дому долго и восхищенно водила), и городскую квартиру — целый подъезд на Мойке, — как объясняют Собчак и его жена Л. Нарусова, они приобрели исключительно на писательские гонорары. И всем советовали писать и писать. Как писатель отмечен и Б. Немцов, создавший «Записки провинциала», — назвать их книгой у меня язык не поворачивается — брошюра она и есть брошюра, никакой крупный шрифт не спасает. Пресса многократно объявляла, сколько Немцов заплатил с нее налогов и сколько на руки получил гонорара. Собчак с женой только намекали на прибыльность писательского ремесла, и правильно делали, иначе бы люди стали штурмом брать издательства, все бы кинулись писать брошюры. После обнародованных Немцовым гонораров некоторые мои знакомые, далекие от литературы и больших денег люди, стали очень нехорошо посматривать на меня.

Судя по моим тиражам, толстеным томам, моей завидной производительности, они быстро подсчитали, что я уже если не долларовый миллиардер, то миллионер точно. И когда некоторые, не выдержав, спрашивали открыто о моих гонорарах, то мой ответ, судя по их лицам, не выглядел убедительно. Словно сговорившись, они ссылались на «скромные» гонорары Немцова. Однажды в компании я сказал: конечно, можно получить, как Немцов, восемьдесят пять тысяч долларов за брошюрку объемом со школьную тетрадь, если отнесешь в издательство тысяч двести или окажешь услуги на подобную сумму. Все равно не поверили, хотя сомнения в их души я заронил. Но после дела «писателей» Коха и Чубайса меня больше расспросами про гонорары не донимают.



Стали понимать, за что и сколько платят, поняли, что «писатель» писателю рознь. Брежнев, Ельцин, Немцов — одно, а Распутин, Маканин — дальше по своему вкусу — совсем другое.

Но вернемся в советское время... Писательское сообщество даже тогда называли кастовым. Зеленый свет в литературу загорался прежде всего для деток, зятьев, сватьев, невесток, тещ, кумовьев писателей и, конечно, отпрысков крупных чиновников. И если появлялись среди них время от времени Шукшины, Беловы, Астафьевы или Вампиловы, то это скорее исключение, чем правило.

Читатель, возможно, до сих пор не знает, что право на книгу имел не писатель, а издательство, выпустившее ее. Сегодня такое положение кажется абсурдным, но так было до 91-го года. Если книга выходила за рубежом, то гонорар получал не писатель, а государство, и на презентацию книги ездил, скажем, в Париж, не автор, а чиновник из министерства. Ныне все мы знаем историю голливудского «Оскара» за фильм «Москва слезам не верит» — режиссер Владимир Меньшов сумел взять в руки свой «Оскар» только через десять лет после присуждения, да и то силой, со скандалом.

До выхода книги на нее обязательно писались открытая или закрытая рецензии, а после выхода еще одна — секретная. Рецензии писались случайными, но доверенными людьми, зачастую далекими от литературы. Работа эта хорошо оплачивалась, оттого не всякому она перепала. В одной отрицательной рецензии на мою книгу, вышедшую в «Советском писателе», отмечалось, что у меня плохо прописаны женские образы. Хотя в этом произведении у меня женщин не было вовсе. Человек, уносивший кипы рукописей на рецензию, уже имел установку — кого миловать, а кого похоронить. Рецензии со знаком «плюс» и со знаком «минус» оплачивались по одной ставке, поэтому могли и не такое отписать.

А выпуск многотомных собраний сочинений решался на закрытых правлениях Союза писателей СССР, а то и на уровне Политбюро ЦК КПСС. Из откровений Е. Евтушенко узнаем, что он свои миллионные тиражи поэмы «Мама и нейтронная бомба» решал на высшем государственном уровне. Сейчас все это воспринимается как бред, плохой сон, но так мы



жили. Издательства были сконцентрированы в Москве, но и тут их можно было пересчитать по пальцам одной руки, а издательства в столицах республик так и назывались — периферийными. Перечень нелепых негласных установок, правил можно перечислять долго, и все они унижали писателя, заставляли его идти на компромисс, даже в мелочах. Так стоит ли жалеть о том времени, когда писатель всегда оказывался в положении просителя, а главное, приносил в жертву свой труд — тут перепиши, это убери, этого нельзя, это не годится, это не понравится...

Рынок не избавил писателей от проблем, просто теперь они другие. Может, требования стали даже более жесткими, чем в советское время, но они связаны только с творчеством. И отношения писателя с издателями теперь совсем иные, без хамства, без подобострастия, без десятка прожорливых посредников.

О чем же тогда та толика печали, о которой я заявил в начале? Переход писателей из привилегированного класса общества в никакой, падение в пустоту отразились на мироощущении писателя. Сегодня, кажется, это единственная категория граждан, не нашедшая своего места в новой России. Люди, считавшие себя поводырями общества, властителями его дум, оказались самыми неприспособленными к переменам. В пустых склоках и раздорах они в мгновение ока лишились принадлежавшего им имущества, а оно, поверьте, было громадным, не стану перечислять, чтобы не травить душу обывателя уже прошлым непомерным богатством.

Жалею о «Литературной газете», — она отражала культурную жизнь огромной страны, знакомила с новыми талантами и упоминала тех, кто покинул нас. Может, тогда мы этому не придавали значения, а теперь запоздало поняли, что потеряли.

Жаль Домов творчества, где мы вольно или невольно знакомились друг с другом, сживали за одним столом и узнавали творчество собратьев по перу.

Жаль Дней советской литературы, проводившихся регулярно во всех уголках страны, Декад национальных литератур. На таких встречах, форумах народ напрямую встречался со своими писателями.



Вот, пожалуй, и все.

Остальное отмерло сразу, потому что было лживо изначально. Возродить советскую литературу невозможно, да и нужно ли? И кто ее возродит, если бывшие интеллектуалы не могут объединиться даже в профсоюз? Придут другие мастера слова, возможно, им захочется создать новое сообщество. А пока... Пока мы — всяк сам по себе.

— *Почему вы выбрали для жизни Ташкент? И что вас натолкнуло на мысль заняться литературой?*

— Да, я пришел в литературу из строительства. Пришел поздно — первый рассказ написал в 1971 году. Меня с молодых лет, с юности влекло искусство: музыка, балет, живопись, литература, театр, кино, эстрада. В Ташкент я приехал в 1961 году и поставил себе задачу пересмотреть весь репертуар всех столичных театров. За год я с этой программой справился, включая и узбекский театр Хамзы, где в те годы блистали непревзойденные актеры Шукур Бурханов, Аброр Хидоятов, Сара Ишантураева. Я даже стал ходить на концерты узбекской музыки, и с тех пор для меня лучшим певцом остается Фахретдин Умаров. Репертуар театров я пересмотрел не один раз. Так что мое постоянное присутствие в театрах было замечено кругом ташкентских театралов и меломанов. В те годы я познакомился и подружился надолго с молодым танцовщиком и балетмейстером Ибрагимом Юсуповым, учеником Юрия Григоровича. Почти вся вторая половина XX века узбекского балета связана с его именем. В 1964 году Ибрагим Юсупов поставил в Ташкенте балет «Спартак». На премьеру приезжал сам великий композитор Арам Ильич Хачатурян. В ту пору любой творческий коллектив, гастролировавший по стране, непременно посещал Ташкент. Артисты любили Ташкент за гостеприимство, за мягкость климата, обилие фруктов, за сценические площадки, достойные самых известных звезд, за верных зрителей, почитавших высокое искусство.

Не могу удержаться, чтобы не перечислить коллективы, бывавшие в Ташкенте, или, точнее, что мне удалось увидеть самому: ленинградский БДТ — Георгия Товстоногова, театр Николая Акимова, Кировский балет, где блистала ташкентская балерина Валентина Ганибалова. Знаменитый МХАТ, «Современник», Театр сатиры, театр Аркадия Райкина.



В Ташкенте регулярно с большой помпой проводились Декады национальных искусств всех республик. Столица в ту пору имела пять больших концертных залов: Театр имени Свердлова у сквера, Театр эстрады на Навои, Ледовый дворец, концертный зал с органом «Бахор» и, конечно, великолепный Театр оперы и балета имени Навои, а чуть позже появится и роскошный дворец «Дружба народов». В них кто только не выступал! Доминико Модунио, Жильбер Беко, Марсель Марсо, Сальваторе Адамо, Том Джонс, Хампердинк, Джорж Марьянович, Радмила Караклаич, Эмил Димитров, Лили Иванова, великий Николай Гяуров, Марыля Родович, Карел Готт, Дан Спатару и т. д.

О советских звездах и именитых коллективах я и не говорю, все достойные побывали в Ташкенте не раз. В те годы были модны мюзик-холлы, был и ташкентский мюзик-холл, в котором блистали Юнус Тураев, Науфаль Закиров. Ни один мюзик-холл, а их в стране было четырнадцать, не проехал мимо Ташкента. Гастролировали у нас мюзик-холлы и из-за рубежа, приезжали в Ледовый дворец и мюзик-холлы на льду — незабываемое красочное зрелище!

А какие оркестры, великие биг-бэнды оставили свой след в нашем городе: оркестр из ГДР «Шварц-вайс», испанский оркестр «Маравелья», оркестры Олега Лундстрема, Эдди Рознера, Юрия Саульского, Александра Цфасмана, Рауфа Гаджиева, Мурада Кажлаева, оркестр Анатолия Кролла «Современник». В 60-е годы А. Кролл возглавлял Государственный эстрадный оркестр Узбекистана, в котором пел незабвенный Батыр Закиров!

Знаменитый джаз-оркестр Карела Влаха с его бессмертным «Вишневым садом»! А несравненный саксофонист Папетти с итальянским оркестром «Палермо»! Даже легендарный оркестр Бенни Гудмана (США) — он дал в СССР всего два концерта, и один из них в Ташкенте.

Когда в столице появился новый органый зал «Бахор», по тем временам лучший в СССР, все известные органисты, такие как Гарри Гродберг, бывали у нас по пять-шесть раз в году. Обязательно надо упомянуть и Государственный симфонический оркестр Захида Хакназарова, выступать с его оркестром приезжали выдающиеся музыканты всего мира.



А какие шумные поэтические вечера проводились в столице, на которых с блеском выступал молодой поэт Александр Файнберг!

Вот такой пространственный ответ на ваш короткий вопрос — почему я выбрал для жизни Ташкент.

Такое высокое искусство формировало зрителя, и я благодарен времени, Ташкенту, своему окружению, что они повлияли на мои вкусы, мировоззрение. Дали мне культурный багаж, с которым можно было вступать в литературу, в жизнь.

Но прежде чем перейти к тому, как я начал писать прозу, мне хотелось бы сказать несколько важных для меня слов о самом массовом явлении культуры — кино.

Наверное, человек, внимательно читающий это интервью, уже задался вопросом: почему молодой провинциал из казахской глубинки решил одолеть репертуар всех ташкентских театров? Верно. Человек не может вдруг, в одночасье, стать заядлым театралом или меломаном, для этого нужны веская причина или чье-то влияние: семьи, друзей, возлюбленной.

Ташкент прельщал меня как культурный центр, он близок мне по ментальности, а к решению переехать сюда подтолкнул кинематограф, давший мне первые представления о культуре, о другой жизни.

С киношниками Ташкента я познакомился сразу. Я хорошо знал Джамшита Абидова, Мелиса Авзалова, Равиля Батырова, Али Хамраева, Адыльшу Агишева. Киношники и указали мне путь в литературу, можно сказать — командировали. Как-то на презентации фильма Али Хамраева я сделал невинное, на мой взгляд, замечание, которое задело мэтра, и он мне ответил с иронией: напиши что-нибудь сам, а я обязательно это экранизирую. Сказано было прилюдно, и меня это крепко задело. Я вернулся домой и за три дня написал рассказ «Полустанок Самсона». Он был напечатан в московском альманахе «Родники» и с тех пор издавался раз тридцать, по нему делали радиопостановки. Это случилось осенью 1971 года. Сегодня я понимаю, что те десять первых лет жизни в Ташкенте, прошедшие в насыщенной высокой культурой среде, и явились главной причиной того, что я начал писать, а реплика знаменитого режиссера лишь послужила толчком, рано или поздно это все равно бы случилось. В сорок лет



я оставил строительство и уже двадцать пять лет живу жизнью профессионального писателя. Написав с десятков книг повестей и рассказов, я вдруг почувствовал, что мне тесно в рамках малого жанра. Наверное, к роману меня подтолкнуло и время, я видел закат коммунистической эпохи. К тому времени я общался не только с людьми искусства, среди моих друзей уже были представители высшей власти. В начале 80-х годов меня стала волновать тема «человек во власти», «власть и закон». Я видел заметное раздвоение личности у людей во всех структурах власти, ощущал все нарастающую несправедливость вокруг. Общество ждало перемен. И я написал роман «Пешие прогулки». Роман почти одновременно вышел в Москве и в Ташкенте, причем местный тираж был 250000! Беспрецедентный случай! С выходом «Пеших прогулок» я получил широкую известность.

— В тетралогии «Черная знать» сквозной герой — Артур Шубарин по кличке Яполец. Фигура, на первый взгляд, отрицательная, но чем больше мы его узнаем, тем явственней невольная метаморфоза восприятия — он вызывает симпатию, уважение. Он — личность. Где вы встречали подобных героев, и есть ли они вообще? Любопытен и другой ваш герой из романа «За всё — наличными» — Тоглар. Вы его не приукрашиваете, начинаете с его уголовного прошлого, с побега из чеченского плена, указываете криминальный род его деятельности. Но ваш герой, вопреки вам, опять вызывает если не уважение, то сочувствие точно. А это немало в наше бессердечное время. Во всех романах чувствуется прекрасное знание вами делового мира с его непростыми взаимоотношениями, кодексом поведения — откуда столь специфические сведения?

— Ташкент всегда славился людьми энергичными, хваткими, их тогда называли — деловыми. Из Ташкента братья Черные, бывшие алюминиевые магнаты, миллиардеры Алишер Усманов, Искандер Махмудов. О простых миллионерах я не упоминаю, хотя могу назвать навскидку десятки ташкентских миллионеров, живущих сейчас в Москве. Из Ташкента всемирно известный Алимджан Тохтахунов, в прессе его чаще называют Тайванчик, хотя правильно — Тайванец. Он является президентом Ассоциации высокой моды со штаб-квартирой



в Париже. Я знаю его с юных лет, с 1964 года, знал и его младшего брата Малика, к сожалению, рано ушедшего из жизни. Могу утверждать, что он человек с очень тонким вкусом, прекрасно разбирается в живописи, антиквариате. Уроки балета его дочери Лоле, танцующей в Большом театре, давала в свое время на дому сама великая Суламифь Мессерер, недавно умершая в Лондоне. О дружбе Тохтахунова со знаменитыми артистами наслышаны все, но имеют в виду только московских, а он прекрасно знал цвет артистической богемы Ташкента, особенно в 70-е — 80-е годы. Мало кто ведает, что в Лондоне, в самых респектабельных районах, есть сеть роскошных магазинов люксовых товаров, которыми руководит наша землячка, очаровательная молодая женщина, Гуля Талипова. Эти магазины возникли только благодаря знанию Аликм мирa высокой моды, как называют его близкие друзья. Наверное, у многих еще в памяти скандал, связанный с олимпийскими медалями в фигурном катании, в который он попал. Тогда выдающиеся деятели культуры встали горой на его защиту. Алик присутствует в двух моих романах — «Ранняя печаль» и «За все — наличными». Уверен, такой яркой личности, как Алик Тохтахунов, будут посвящены десятки книг, о нем снимут фильмы. Судьба его гораздо интереснее самого захватывающего детектива, никакой сериал не сравнится с его жизнью. Алимджан Тохтахунов имеет и высочайшие европейские награды. Об одной из них следует рассказать.

В 1920 году, когда из Крыма уходила армия генерала Врангеля, она воспользовалась остатками российского боевого флота на Черном море. Флот из ста двадцати кораблей возглавлял контр-адмирал Михаил Андреевич Беренс, он вывез в эмиграцию сто пятьдесят тысяч офицеров и солдат. Флот нашел пристанище в порту города Бизерты, в Тунисе, тогдашней колонии Франции. Оттуда русские растеклись по всему миру, но огромная часть прижилась в Тунисе. В городе Мегрине есть русское кладбище, где похоронен контр-адмирал М.А. Беренс. Власти Туниса в 2001 году решили снести бесхозное кладбище. Русские эмигранты во всем мире стали собирать пожертвования на перенос хотя бы части кладбища, где похоронены многие достойные России имена, в том числе адмирал Беренс. Кстати, Беренс — одна из старейших



морских фамилий России и ее гордость. Но сбор денег успеха не имел, тогда русские эмигранты первой волны и их потомки обратились к жившему в ту пору в Париже А. Тохтахунову, и он дал необходимую сумму. За этот великодушный и щедрый поступок его посвятили в рыцарский сан и наградили орденом святого Константина.

А. Тохтахунов — известнейший меценат, одно перечисление адресатов его пожертвований может занять сотни страниц.

Конечно, общение с такими людьми в Ташкенте повлияло на моё творчество, и образы Артура Шубарина, Коста, Ашота, Аргентинца в тетралогии «Черная знать» не случайны. Кстати, алюминиевый король Лев Черный и Алик Тохтахунов — одноклассники. Щедрая ташкентская земля, если в одном классе вырастила сразу двух ярких людей XX века.

Несколько глубже и трагичнее фигура Тоглара-Фешина из романа «За все — наличными». Фешин по происхождению дворянин, его дед Н.Н. Фешин — реальное лицо. В 1922 году, будучи уже известным художником, академиком живописи, он эмигрирует в Америку. Там его талант развернется во всю мощь, он познает славу, успех, большие деньги. Но даже те картины, что он оставил в России, в Казани в Государственном музее изобразительных искусств Татарстана — бесценное наследие.

Одной из моих тайных задач в работе над романом было привлечь к имени Фешина широкое внимание, и, кажется, мне это удалось. Я сам — известный коллекционер, и мне очень нравятся картины Н. Фешина, хотя, к сожалению, в моей коллекции его работ нет.

Но вернемся к роману. Оставшийся в России внебрачный сын Фешина, потеряв на войне руку в двадцать два года, кормит семью тем, что рисует для базара в нищем послевоенном Мартуке картины. Внук Фешина становится самым известным «гравером» — так на жаргоне называют фальшивомонетчиков, он создает тот самый супердоллар.

Книга — о падении дворянского рода Фешиных из-за перманентных исторических катаклизмов в России. История о Тогларе-фальшивомонетчике мне понадобилась, чтобы показать, какую экономическую диверсию совершили американцы в России. За бумажки-доллары, которые Америка печатает



денно и ночью и отправляет их в Москву тоннами гигантскими транспортными самолетами каждую неделю уже тринадцать лет подряд, скуплены национальные богатства России: земля, недра, леса, заводы, фабрики, шахты, политики, власть.

— В романе «За все — наличными» прекрасно описаны Париж, Дом моды Кристиана Лакруа, балетный фестиваль Джона Кранко, вечера в известных парижских ресторанах. Есть запоминающиеся сцены в Лондоне, в отеле «Лейнсборо». Лучшее всего, конечно, описан московский ресторан «Пекин». Как пришла к вам идея этого романа о роскошной жизни, крупных аферах, о великих «каталах» и больших деньгах, приносящих не только радость, но и гибель? И много ли у вас в запасе таких историй для следующих романов? Упомяните хотя бы одну из них вкратце.

— Идея возникла у меня давно, но не хотелось лишний раз искушать людей, подливать масла в огонь, кругом и без того давно кипят страсти. Но вдруг, в одночасье, вся мораль рухнула, перевернулась с ног на голову. У людей появился новый бог, новая религия — деньги. Поистине — искушение дьявола. За деньги люди готовы не только душу заложить, но и, не задумываясь, убить, продать, украсть. И в этот момент разгула дикого капитализма в России, когда миллионерами становились по росчерку пера высокого чиновника или в результате откровенного разбоя, я неожиданно получил заказ от одного издательства. В те годы, в начале 90-х, у меня книги выходили потоком, тетралогия «Черная знать» переиздавалась и переиздавалась, и мое имя было на слуху. Просили написать роман с хорошей интригой, желательное на реальной основе, как и все мои романы, но... главным было условие — показать роскошную жизнь, как я понял — пособие для нуворишей, как красиво тратить большие деньги. Сначала я не принял всерьез разговор с издателем, но он запал мне в душу, чуть позже я объясню почему. Но второй, третий звонок и личный визит издателя, да и эксклюзивный гонорар переубедили меня. Табу, что я поставил себе как писатель — не искушать людей всеу, уже давно было снято вокруг: прессой, телевидением, западным кино, кстати, и высокой модой тоже. И отказываться не имело смысла. В те годы как раз пошлость заполонила все



вокруг, и с тех пор пошлость и маразм с каждым годом все крепчают и крепчают в геометрической прогрессии. Пошлость во всем. Пошлость стала нормой жизни, пошлой стали даже власть, политика. Начиная роман, я знал одно — я не буду потрафлять вкусам толпы — клубнички, вульгарности в романе не будет. Еще до «Пеших прогулок» я поставил перед собой задачу, чтобы мои книги читали и интеллектуальные снобы, и дальнобойщики, студенты и рабочая молодежь. И мне это удалось. Я сужу по тем мешкам писем, что я получал в свое время после «Пеших прогулок», и продолжаю получать их сейчас по электронной почте.

Но вернемся к вашему вопросу. В Париже я бывал и в советское время. Первый раз в 1979 году, кстати, в одной группе с дочерью Шарафа Рашидова Светланой, очаровательной, культурной, прекрасно воспитанной, знающей иностранные языки молодой женщиной. И ресторан «Пекин» в романе не появился случайно. С 1963 года я часто ездил в Москву в командировки. Сорок лет назад «Пекин» был очень стильным отелем с лучшим в Москве рестораном. Поселившись однажды там случайно, я всеми правдами и неправдами добивался там места. Рядом был «Бродвей», и «Пекин» находился в окружении пяти театров: «Современника», Театра сатиры, Сада «Эрмитаж», театра Сергея Образцова и Концертного зала имени Чайковского. Все — в трех минутах ходьбы. Согласитесь, для театрала, меломана — это подарок Всевышнего. В гостинице имелось бюро обслуживания иностранцев, куда я очень быстро нашел ход, и проблема с билетами в любой театр была решена навсегда. Но когда в 1975 году я стал писателем, проблемы с гостиницами и билетами исчезли сами собой. Лет двадцать пять я регулярно жил в «Пекине», оттого мое знание Москвы 60-х, 70-х годов. Оттого ностальгическая любовь к «Пекину», где прошли мои зрелые годы, поэтому он и появился на страницах романа.

Еще в 70-е я собирал материал «о другой жизни», в основном из журналов «Америка», «Англия», «Плейбой», из зарубежных газет, тайком приобретаемых опять же в «Пекине». Нынешним молодым кажется, что только с Абрамовичем и с новыми русскими мир увидел роскошные яхты, личные самолеты, часы «Адемар Пиге» и «Патек Филипп»,



«Юлисс Нардан» с непременным турбийоном, стоимость которых зашкаливает за миллион. Или вечеринки в Куршавеле, где новые русские оставляют за вечер сотни тысяч долларов и которые всегда заканчиваются дракой и битьем посуды. Ведь кроме денег для красивой жизни нужно еще много чего, например — культура для начала.

Получив заказ, я стал копаться в своем архиве и нашел там много заманчивых материалов: о султানে Брунея Балдияхе, короле Марокко Хасане Втором, прекрасно одевавшемся и дружившем со многими кутюрье. Нашел материалы об Агахане, лидере исмаилитов, понимавшем толк в изысканной жизни, он был одним из богатейших людей мира до середины 80-х. Отыскал материалы об арабских шейхах, они удивляли свет в 60-х, 70-х, 80-х, — все лучшее в мире приобреталось ими. Высокая мода, дожившая до наших дней, обязана долголетием прежде всего им, они двинули индустрию роскоши на десятки лет вперед. Но все эти материалы, к сожалению, мне никак не подходили, нужен был русский кутила, герой вроде князя Феликса Юсупова, человека рафинированной культуры. Но, увы, такого персонажа я не нашел и с грустью отказался от архивов, не пригодившихся для романа «За все — наличными».

Но сегодня, готовясь к интервью, я понял, кое-что из моих старых записей вызовет интерес у ваших читателей. Какое-нибудь забытое для знатоков светской жизни имя теперь для многих может прозвучать впервые. Выбирая для журнала персонаж поколоритнее, я обнаружил такую странность, а, точнее, закономерность: великими транжирами были в основном восточные люди, мусульмане. У них тяга к роскоши в крови, хотя я нашел в своих записях и нескольких европейцев с королевскими фамилиями, принцев крови, или фамилии, принадлежащие к известным банкирским домам. Они тоже внесли свою лепту в безумную гонку роскошной жизни, но все равно, во всех их поступках, даже вызывавших у меня восхищение, я чувствовал европейскую рациональность, видел предел их увлечений, у всех них есть тормоза. А я хочу поведать моим землякам о человеке без тормозов, он умел зарабатывать миллиарды и тратил их без оглядки, без сожаления, со вкусом, широко, с шиком. Я имею в виду легендарного плейбоя 60-х — 70-х Аднана Кашоги.



Он сириец по происхождению, из простой семьи, отец его служил врачом у короля Саудовской Аравии — Абдель Азиза. Первые десять тысяч долларов Аднан заработал в США, куда приехал учиться. Восемнадцатилетний первокурсник становится в Сиэтле агентом завода грузовых машин. В 1956 году ему удалось запродать эти грузовики саудовской армии, был ему в ту пору двадцать один год. Одолея Кашоги только три семестра университета в Чикаго, хотя начинал в Денвере, мечтал стать нефтяником, далеко смотрел. Не сложилось, но нефть он если и не добывал, то продал ее — океан! Уже с первых своих скромных заработков он начал давать запоминающиеся приемы с изысканно накрытыми столами и непременно с красавицами из своего университета. В двадцать пять лет напористый дилер представляет в Эр-Рияде «Крайслер», «Роллс-Ройс», «Фиат» и две всемирно известные вертолетные компании.

Когда в 1964 году на трон взошел король Фейсал, дела Аднана Кашоги пошли резко в гору. Он стал единственным посредником по продаже американского оружия арабам. К тому времени он только приближался к своему первому миллиарду. Настоящие деньги пошли к нему после арабо-израильской войны 1973 года, когда нефть впервые резко подорожала, а все напуганные арабские страны начали лихорадочно вооружаться. В те годы Кашоги создал свою финансовую империю, оцениваемую в четыре миллиарда долларов.

Его домом поистине был весь мир — он имел дела в тридцати семи странах! Только огромных имений, разбросанных во всех частях света, у него было двенадцать. Знаменитое ранчо площадью 200000 акров в Кении, куда на охоту на львов, леопардов, слонов приезжали президенты, члены королевских фамилий и простые миллиардеры. Организация такой охоты стоит миллионы долларов и считается высшим шиком среди избранных.

Он имел дворцы в Марбелье, которые Абрамович и Гусинский только-только обживают, дворцы на Канарских островах, столь модных в 70-е. А еще невиданной архитектуры апартаменты, обставленные с немислимой роскошью: в Париже, Лондоне, Каннах, Мадриде, Риме, Монте-Карло, в прекрасном Бейруте, еще не разрушенном войной, Эр-Рияде, Джидде.



Владел он и двумя этажами роскошного небоскреба на Манхэттене. Его яхта «Набилла» с площадкой для вертолетов была столь роскошна, что затмила яхту английской королевы «Британия», до того считавшуюся эталоном величия и красоты. Да что затмила, ехидные журналисты писали, что в сравнении с «Набиллой» яхта королевы выглядела туристическим паромом для простолюдинов. Его автопарк, состоявший из всех известных в мире супердорогих машин, изготовленных для Кашоги индивидуально, приближался к двум сотням!

Собирал он и живопись, и антиквариат, но это отдельная тема, о его коллекции мы, наверное, узнаем только после его смерти. Об одежде, обуви, драгоценностях Кашоги как-то и упоминать неловко, все делалось в единственном экземпляре, без права повтора.

В начале 80-х он купил за четыре миллиона долларов самолет, надежный «Ди-Си-8», и переоборудовал его по своему вкусу еще за девять миллионов. Газеты того времени взалхлеб писали о соболином покрывале в его спальне на борту лайнера размером три с половиной на два с половиной метра, стоимостью 200000 долларов. Писали и том, что в самолете, имевшем три спальни, гостей годами угощали только французским шампанским «Шато Марго» 1961 года, не забывая упоминать о столовом серебре и хрустале, разумеется, сделанным для Кашоги в единственном экземпляре известными кутюрье, стоимостью в миллион долларов.

Лев по гороскопу, он был тщеславен, самолюбив, щедр до безрассудства. Даже бывшей жене, принцессе Сурайи, которой при разводе дал отступного в два с половиной миллиарда, однажды подарил на Новый год рубиновое кольцо стоимостью два миллиона долларов. Тогда же на Рождество он и новой жене Ламии подарил ожерелье из бриллиантов, изумрудов, рубинов стоимостью почти в три миллиона.

В 1985 году Аднан Кашоги отмечал пятидесятилетие, о котором с восторгом писали все гляцевые журналы мира, все скандальные и светские газеты. Правда, в его жизни были приемы гораздо круче, шумнее, но так он гулял в молодости. Но и это «тихое» празднество в имении «Ля Барака» на Средиземном море принимало пятьсот именитых гостей со всего света, а таких особ сопровождают еще три-четыре



десятка слуг. Торжество длилось три дня, были использованы сотни километров киноплёнки, сделаны десятки тысяч фотографий, разошедшихся по всем мировым изданиям. Даже сегодня эти снимки всплывают то тут, то там, поражая наше воображение.

Кульминацией праздника оказалась поздравительная телеграмма от американского президента, она гласила: «Наилучшие вам пожелания, Аднан. Ронни и Нэнси Рейган».

Кашоги вообще был на коротке со всеми американскими президентами, и с европейскими тоже, а в королевских семьях и вовсе свой человек.

Для нынешнего читателя хочу добавить свой комментарий: растраченные с 60-х по 80-е годы нашим героем гигантские суммы сегодня следует умножать на коэффициент — десять. Чтобы почувствовать масштаб в современных цифрах. В ту пору доллар был другим, полновесным, да и цены были другие.

Свой комментарий хочу подтвердить сценой из романа тех лет Ирвина Шоу «Вечер в Византии», где тоже показана роскошная жизнь. В Венеции на веранде дорогого ресторана сидят финансовые магнаты, и чтобы подчеркнуть богатство этих людей, автор пишет: «...в стодолларовых рубашках от Кардена...». Ныне рубашки от Китон, Лилиан Вествуд идут уже и по тысяче долларов, а Карден есть Карден.

Кашоги и сегодня жив, в следующем году он отмечает свое семидесятилетие. Он никогда не был администратором, не имел системного образования, всегда руководствовался только интуицией. В начале 90-х Аднан Кашоги понес огромные потери — время романтических авантюристов закончилось. Денег заметно поубавилось, и он не сорит ими как прежде, да и устал, видимо, возраст сказывается. Но он оставил свой след и в деловом мире, и в светской жизни XX века, и его запомнят, как человека, растратившего несметные богатства без сожаления. Запомнят, потому что на смену ему пришли другие богатые.

Невольное сравнение. Когда миллиардер Гусинский попал в «Матросскую тишину», он захватил с собой в общую камеру холодильник, а, освобождаясь, забрал его с собой. Почувствуйте разницу, как советует рекламный слоган.

Заканчивая историю феерического пути Аднана Кашоги, с которым я прожил один временной отрезок, отмеренный нам



Всевышним, пытаюсь хоть как-то соотнести его жизнь со своей, понимая, что никакой связи, параллелей быть не может, даже теоретически — другие миры, другая жизнь, другая судьба. Но мысль, не дававшая мне покоя несколько дней, заставила вспомнить реальную историю из моей жизни, и я думаю, следует рассказать о ней. История эта может показаться писательским вымыслом, фантазией, чтобы увязать хотя бы тончайшей нитью реальность моего бытия с жизнью легендарного мультимиллиардера Аднана Кашоги. Но что было, то было, и я благодарен памяти, выудившей из своих глубин эту историю, которой уже сорок два года. Слава Аллаху, еще живы люди, о которых пойдет речь, иные из них до сих пор еще обитают в Ташкенте, с другими я по сей день общаюсь в Москве, в Казани.

Осенью 1962 года, когда Аднан Кашоги стал представителем «Роллс-Ройса» и «Крайслера» в Эр-Рияде, я получил место в общежитии для ИТР Авиационного завода на Чиланзаре. Комендантше я чем-то приглянулся, и она говорит: «Поселю-ка я вас к хорошим людям». Хорошие люди оказались дипломниками Казанского авиационного института и приехали на практику. Среди них был и сын тогдашнего директора Ташкентского авиазавода Герман Поспелов.

Общежитие оказалось типовой пятиэтажкой, и студенты жили в квартире из четырех комнат, одна из которых была оборудована под холл с телевизором, диваном, сервантом с посудой, а в остальных жили мы. Было нас человек десять, из местных, кроме Поспелова, еще Геннадий Внучков, позже очень известный в Ташкенте человек. Он стал секретарем парткома завода, секретарем горкома партии. Страхуюсь фамилиями для подтверждения достоверности истории. Герман и Гена жили дома, на Урде, но имели свои кровати и у нас. Дипломные проекты тех лет отличались серьезностью, и они по ночам часто корпели над чертежами.

Ташкент 60-х — баснословно дешевый город, сухие вина «Хосилот», «Баян-Ширей», «Ак-Мусалас» стоили по шестьдесят семь копеек, а ведро персиков — три рубля. Сходить в хороший ресторан с девушкой можно было за десять рублей. Фантастическое время!

Днем дипломники работали мастерами в цехах и деньги получали приличные. Мы были молоды, азартны, по вечерам



дома бывали редко. Но иногда, перед получкой, когда сидели на мели, коротали вечера у себя в холле. Если о походе в ресторан «Шарк», «Зеравшан» или в мою любимую «Регину» не могло быть и речи, то накрыть стол с сухим вином, фруктами проблем не возникало. Заводилой в нашей компании, лидером стал москвич, сын заместителя Генерального прокурора СССР Николая Венедиктовича Жогина — Валентин. Жогин-старший работал вместе с Руденко, возглавлявшим Нюрнбергский процесс, лет тридцать. Вот откуда тянутся корни моего интереса к прокурорским историям.

Однажды глубокой осенью в слякотный вечер мы собрались в холле за скромно накрытым столом. Сегодня, через сорок два года, когда я пишу эти строки о застолье на Чиланзаре, мне кажется, что в тот же ноябрьский вечер Аднан Кашоги тоже давал прием, а вокруг него порхали его подруги из университета, который он оставил без сожаления. Время для Аднана означало — деньги.

Вечер поначалу не складывался, и Валентин, чтобы как-то встряхнуть нас, предложил игру — как истратить миллион, если бы он был у каждого из нас. Идею от скуки приняли «на ура». Быстро накрутили бумажки и начали тянуть жребий — мне выпало выступать четвертым. Все трое выступавших передо мной студентов были из Казани, не из простых семей и старше меня года на три-четыре, а то и пять, в молодости это серьезная разница. Первых «миллионеров» я слушал вполуха, мои фантазии уже вырвали меня из убогой «хрущевки» и понесли в неведомо сказочный мир прожигателей жизни. Голос Жогина вернул меня за наш скромный стол, и я, уже разгоряченный фантазиями, начал...

В Ташкенте шел дождь с мокрым снегом, была пора сырого предзимья, и я сразу из заводской общаги перебрался на острова Фиджи в далеком и теплом океане, там как раз начинался курортный сезон для миллионеров. Тут я должен оговориться, что мои предшественники, «миллионеры» из Казани, не покидали страну, а я подумал — гулять так гулять. В 1962 году, а это были годы хрущевской оттепели, счастливые сограждане, а, точнее, избранные, уже колесили по миру, мог же я и себе позволить хотя бы... теоретически. В ту пору миллион рублей равнялся почти полутора



миллионам долларов, об обмене по курсу я объявил сразу, что было встречено восторженным ревом, в котором я кое у кого все же уловил нотки зависти. На островах среди роскошных пальм, на золотых пляжах я пробыл три недели, одиночество мне скрашивала очаровательная француженка русского происхождения, и вместе с ней я переехал в Европу. Прибыли мы в Зальцбург, где давали ежегодные зимние балы, затем перебрались в Вену, я давно грезил венской оперой и венскими кафе, где звучали вальсы Штрауса. Потом на появившейся в ту пору впервые роскошной машине «мазерати», которую мне доставили прямо в Вену, мы с Жаннет перебрались в Париж. Рассказывал я и о шикарных отелях, где мы жили, о ресторанах, в которых я никогда не бывал, но ясно их видел, заказывал такие закуски, вина, диковинные блюда, от которых, наверное, у бедных дипломников текли слюнки. Перечислял, какие драгоценности я дарил своей очаровательной спутнице, каким гардеробом обзавелся, какие шикарные швейцарские часы «Шафхаузен» приобрел, через много лет я узнал, что такие часы носит знаменитый немецкий киноактер Клаус Мария Брандауэр.

Фантазии сорвали меня со стула, я кружил по тесному холлу, изображая, какие томные танго танцевал с Жаннет на приемах или в ресторанах, изображал, какие курил сигары, которые сегодня снова входят в моду, и это вызывало единодушный восторг, сопровождавшийся возгласами: во дает!

Когда меня утомил слякотный Париж, и я собрался переехать южнее, в Венецию, где уже зацвели каштаны и знаменитые кафе вынесли столики на улицу — меня вдруг одновременно, словно сговорившись, прервали те, кто должен был выступать после. И Жогин, перекрывая гвалт, восторженные крики, сказал: «Рауль, возьми наши миллионы, мы хотим путешествовать с тобой!».

Но тут-то и произошла самая замечательная сцена за весь дивный вечер. Один из казанцев, выступавших передо мною, с нескрываемой обидой, словно их бросили, растерянно пробормотал: а как же мы?

Раздался гомерический хохот, и игра на этом закончилась.

Сегодня, когда бываю на Лазурном берегу или в Венеции, вспоминаю тот осенний вечер в Ташкенте. Добравшись сюда



запоздало, через десятилетия, я не испытываю той радости, которую испытал тогда, в те минуты, когда потешал давних друзей фантазиями о роскошной жизни.

И вспоминаю я не Кашоги и других моих современников, красиво прожигавших здесь жизнь, память возвращает меня в начало века, в эпоху героев Фицджеральда. Вот они умели гулять красиво, со вкусом, достойно. В принципе, они были первыми прожигателями жизни на длинной дороге в целый век. Я прекрасно понимаю, что герои Фицджеральда, моего любимого писателя, автора моих любимых романов «Великий Гэтсби» и «Ночь нежна», не могли позволить себе того, что позволял себе Аднан Кашоги.

Нет, я не завидую Аднану Кашоги, своему современнику, я завидую времени, когда он посещал эти благословенные места. Его время, мое время, было другим, оно вписывалось в рамки культуры, приличия. Нынче богатство стало агрессивным, злобным, вульгарным. Выскажу парадоксальную мысль: слишком много стало богатых, имею в виду только миллионеров. На днях объявили, что и у нас, в нищей России, их уже больше сотни тысяч, это выявленных налогоплательщиков, а в реальности опять нужно умножать на десять. А сколько их, богатеев, в зажиревшей Европе, Америке и вообще по миру? И все они спешат в Старый свет, оттого затоптаны самые желанные, романтические места в мире, воспетые поэтами, художниками. Думаю, что нынешнее время даже богатеям не в радость, и мне невольно приходит на память строка Тимура Кибирова: «Грядет чума, готовьте пир». Кстати, это эпитафия к моему бестселлеру — роману «За все — наличными».

И все-таки, пытаюсь рассказать вам об Аднане Кашоги, о давнем воображаемом путешествии по миру с полутора миллионами в кармане, когда я не слышал еще о великом плеббее ни слова и когда у нас обоих всё было впереди, я вдруг понял, что время сроднило меня с ним. Все в мире упирается в определенные сроки, и я желаю легендарному Кашоги, так красиво поражавшему мир в XX веке, здоровья и успехов в оставшейся жизни.

— Рауль Мирсаидович, я знаю, что вы часто бываете в Арабских Эмиратах. Уверен, что вы как писатель с острым взглядом на социальное устройство мира не могли не



поинтересоваться тамошними порядками, тем более что и Россия живет за счет нефти. Что вас удивило, порадовало в этих странах, что из их опыта следовало бы перенять и нам?

— Впервые я побывал в Эмиратах в 1994 году, десять лет назад. Поражен, восхищен был сразу: архитектурой, бытом, динамичностью развития, сервисом, комфортностью и качеством жизни, развитой инфраструктурой, доброжелательностью и открытостью ее граждан. Хотя Эмираты молодое государство — оно было создано только в 1971 году, а семь королевств, составивших эту страну, еще в 50-х годах владели жалкое существование. Конечно, все процветание от нефти. Но следует учесть, что нефть до октября 1973 года, до второй арабо-израильской войны, стоила менее двух долларов за баррель. С октября 1973 года нефть стоила уже восемь долларов, а с 1974 года — двенадцать долларов. Точкой отсчета капиталов Кувейта, Бахрейна, Саудовской Аравии, Эмиратов, Ирака, Ирана и других стран Персидского залива можно считать 1974 год.

Нужно обязательно пояснить — во всем мире нефть принадлежит государству, то есть является достоянием всех граждан. Как говорят арабы, данное Аллахом должно принадлежать всем, кому посчастливилось родиться на нефтяной земле. Только в трех странах мира нефть принадлежит частным лицам, корпорациям, компаниям, это — Америка, Англия и Россия. С 1974 года в арабских странах стали организовываться специальные фонды, куда строго отчислялись доходы от нефти. В 80-е годы, когда и Норвегия стала нефтяным государством, она тоже сразу открыла специальный фонд, туда стали отчислять сверхдоходы от запланированной на год продажи нефти по запланированной бюджетом цене. Если цены в мире превышали эту сумму, то все сверхдоходы шли только на этот счет. В конце года на личные счета всех граждан Норвегии, от младенца до старика, переводили причитающуюся каждому долю за продажу нефти.

То же самое делается и во всех арабских странах, но львиная доля средств из этого фонда расходуется на социальный пакет для граждан. Заботы нефтяных шейхов о своем народе очень напоминают нам несбывшийся коммунизм. Нашему многократно обманутому народу заботы арабских



государств покажутся сказкой, фантазией, миражом в пустыне. Но именно так живут арабские страны, коим повезло с нефтью. Расскажу лишь о некоторых статьях социального пакета, их там очень много, и список льгот не сужается год от года, как у нас в России, а, наоборот, он все дополняется, усовершенствуется. Главная задача правителей этих стран — чтобы арабы заняли в мире достойное место. Во всех упомянутых странах бесплатное медицинское обслуживание, а больницы, клиники похожи на пятизвездочные отели и оборудованы самым совершенным в мире оборудованием, кормят больных как в хороших ресторанах. У них много своих врачей, но недостающих, особенно высокого класса, принимают на конкурсной основе из-за рубежа, причем оплата такая, что может привлечь и немецкого, и французского специалиста. Если больному не могут сделать сложную операцию дома, то она делается в любой другой стране за счет государства. В этих странах финансируются из нефтяного фонда все ступени образования. В Саудовской Аравии действует правило: если студент решил учиться, положим, в Гарварде, Итоне, Кембридже, Сорбонне, то ему будет выплачиваться стипендия, в три раза превышающая самую высокую стипендию в избранной стране.

В этих странах бесплатные детские сады и другие дошкольные учреждения. В Кувейте есть магазины для бедных, хотя бедный кувейтец — понятие относительное. При вступлении в брак каждому из молодоженов выплачивается от трех до пяти тысяч долларов. Более серьезные пособия выдаются по случаю рождения ребенка, отдельно на свадьбу, на похороны. Есть огромные ежемесячные пособия на ребенка, на случай потери кормильца. В Кувейте, например, детские пособия выдаются не только до совершеннолетия, а до тех пор, пока юноша или девушка не станут работать. Любопытно еще одно пособие: если девушка не вышла замуж до двадцати шести лет, ей выплачивают ежемесячно по 2600 долларов, если у нее нет высшего образования, и 4000 — если у нее высшее образование. Вот какие стимулы для образования! А еще выдаются беспроцентные ссуды на десять лет на открытие своего бизнеса, причем, если затеянное дело получится с размахом, с выходом на зарубежные рынки, миллионные кредиты могут



и списать. О кредитах на жилье, автомобиль, покупки крупной недвижимости и упоминать не хочется, чтобы не травмировать души читателей. Все арабские страны не имеют водных ресурсов в нашем понимании. Они живут на опреснительных установках, которые стоят очень дорого, даже для таких богатых стран. Но жители практически не платят за воду, все расходы оплачивает государство. В 1990-м году Ирак захватил Кувейт, на деньги из фонда освободили страну, но даже в годы восстановления Кувейта социальный пакет, льготы не уменьшались.

— Скажите, пожалуйста, в арабских странах, кроме довоенного Ливана, не было банковской системы, известной в мире, где арабы предпочитают держать свои деньги?

— Да, Бейрут середины 70-х и начала 80-х был частью финансового мира, но война разрушила Ливан до основания, и банки с мировым именем исчезли, как я думаю, навсегда. Теперь, задним числом, я понимаю, что Западу было необходимо, чтобы арабские деньги перекочевали в американские, английские, немецкие, французские банки. Но арабы — люди с коммерческой жилкой, они не просто держат деньги в банках под проценты, а покупают самые доходные отрасли экономики. Двадцать два процента акций «Мерседеса» принадлежат Кувейту, там все такси — «мерседесы». Арабы вкладывают деньги в гостиничный бизнес, тот же Кувейт в 80-х купил у США остров Киава и построил там шикарный гостиничный комплекс. Да и сами арабские страны последние десять-двенадцать лет стали привлекательны для туризма. Самый роскошный в мире отель «Бурж аль-Араб» в форме парусника возведен в Эмиратах, сейчас там на воде намыывают целый остров, где построят город развлечений. К работе привлечены лучшие архитекторы мира. Для тех, кто хочет увидеть, как быстро, на глазах меняется мир, я рекомендую два-три раза, с интервалом в семь-восемь месяцев, съездить в Эмираты, и тогда успехи собственной страны, да и любой другой, покажутся вам топтанием на месте.

— В России тоже есть стабилизационный фонд, где денег тоже немерено, что-то около пятисот миллиардов, почему же остаются нищенские пенсии, жалкие зарплаты? Ваше правительство объясняет нежелание пускать эти деньги



в экономику тем, что якобы они разгонят инфляцию. Какова инфляция в арабских странах, ведь там «золотой краш» для граждан не перекрывался даже в войну, как было в Кувейте?

— Мы, наверное, утомили наших читателей цифрами, поэтому буду краток. В Кувейте в 2004 году инфляция составила 1,5 процента, в Саудовской Аравии — 1,7 процента. В Эмиратах трагедией назвали инфляцию в 3 процента, ее быстро сбили до 1,5 процента. В России на 2004 год планировали инфляцию в 11 процентов, а она уже с лета вышла из-под контроля, и сегодня мы имеем 15-16 процентов, если не больше. И это при сверхдоходах от нефти. Нам, россиянам, и от больших денег, и от щедрого урожая только беда.

Нельзя не отметить, что бензин в этих странах стоит в пять раз дешевле, чем в России. Россия сегодня занимает первое место в мире и по добыче нефти, и по сверхдоходам олигархов тоже. А минимальный размер зарплаты в России в 2004 году равнялся 20 долларам. Напомню: девушки в Эмиратах, не вышедшие замуж, ежемесячно получают по 2600-4000 долларов. Какие тут могут быть комментарии!

— Что нужно сделать, чтобы ликвидировать чудовищные диспропорции в уровнях жизни людей?

— Рецепт один. Надо любить свой народ. Уважать его, думать о его будущем, о его месте в мире. У нас, россиян, кроме нефти есть газ, лес, зерно, вода, вся таблица Менделеева в недрах. Всем арабам, вместе взятым, по потенциальным возможностям далеко до России — но сравнения для нас выходят плачевными.

И последнее: несколько слов об основателе ОАЭ.

Основал Эмираты в 1971 году шейх Зайд ибн Султан Аль Нахайян, он был правителем одного из семи эмиратов — Абу-Даби, самого нефтяного в содружестве. Шейх Зайд правил бессменно с 1971 по 2004 год, он умер недавно, в ноябре, в возрасте восьмидесяти шести лет. Он был очень авторитетным человеком не только в арабских странах, но и во всем мире. Шейх Зайд не имел высокого образования, но его мудрости могли позавидовать целые правительства многих и многих государств. Идея международного аэропорта в Дубае, второго по величине в мире после Франкфурта,



и гигантские перевалочные склады для товаров, идущих по морю из Японии, Китая и всех юго-восточных стран, где производится три четверти всех товаров в мире, а потом по воздуху из Дубая доставляющихся на все континенты, принадлежит шейху Зайду. Шейх Зайд — один из богатейших людей на земле, обладал широтой взглядов, мыслил крупно, видел далеко вперед. Долгое время бюджет страны не был отделен от бюджета королевской семьи, и шейх Зайд мог тратить все деньги по своему усмотрению. Но он настоял на разделении бюджетов семьи и государства. Абсолютный правитель страны шейх Зайд настоял на принятии Конституции, урезавшей его права. Он не хотел Конституцию под себя, как делается, к сожалению, во многих странах. Он вырос в простой бедуинской семье, но миллиарды не отдалили его от народа. Свой дворец он отдал под фонд средневековых рукописей и на свои деньги приглашал ученых со всего света работать в этом редком хранилище. Он хотел, чтобы мир лучше знал арабов. Шейх Зайд патронировал университет Эль-Айн и до самой смерти не пропустил ни один выпускной вечер, где сам лично вручал дипломы. Он хотел видеть, знать тех, кому вверяет будущее страны.

Любовь народа к шейху Зайду была безграничной — все, от мала до велика, называли его Отцом. Народ понимал, кому он обязан процветанием и своим местом в мире.

— *Вы родились в Казахстане, жили в Узбекистане, работая в строительстве, объездили страну вдоль и поперёк. Вы пишете, что везде, где вы бывали — живут татары. Что, на ваш взгляд, более всего объединяет татар, живущих вне исторической родины: религия, культура, литература, язык, музыка?*

— Конечно, важны все без исключения названные вами факторы, но, отвечая без раздумий на ваш вопрос, скажу — песня! Да, да, татарская песня — и народная, и современная. С первых сознательных шагов я запомнил песню — её пела мать, долгими зимними вечерами вязавшая пуховые платки, пела с подружками сестра Саня, пели в застолье мужчины-фронтовики. В Мартуке на каждой улице жили свои гармонисты. В нашем доме чаще всего бывал с тальянкой Гани-абы Кадыров, потерявший на фронте ногу и с одной



ногой плотничавший! Позже его сын Хамза, физик-ядерщик, тоже замечательно играл на свадьбах. Сейчас обоснованно и необоснованно принято ругать коммунистов, но я хорошо помню, что долгие годы по четвергам по радио шел концерт татарской песни, а по праздникам давали концерты по заявкам. Для татар на чужбине это были святые дни — не меньше. Многие из Мартука тянулись в отпуск в Татарстан, и им всегда заказывали пластинки. Пластинка из Казани могла быть и свадебным подарком.

В 1984 году мой сын служил в армии на Дальнем Востоке. Из Хабаровска во Владивосток я добирался экспрессом «Океан», и вдруг по радио начали передавать концерт по заявкам рыбаков. Хотите верьте, хотите нет, девяносто процентов заявок были татарской песней. Для мичмана Валлиулина, для старшего механика Яруллина, для матроса Валиева — гордостью наполнилось мое сердце, что и тут, на краю земли, не унывают мои земляки. Позже писатель Альберт Мифтахутдинов, живший на Чукотке, в Магадане, говорил мне, что и там, на Колыме — много татар.

В 1978 году, уже будучи писателем, я приехал в Ялту и познакомился... с Ильгамом Шакировым. Он отдыхал в другом санатории и пришел проведать Амирхана Еники. Амирхана-абы дома не было, и я пригласил Ильгама подождать у меня. Ильгам и представил меня Еники, выходит, в один счастливый день я познакомился с двумя выдающимися корифеями нашей культуры. Узнав, что пришел Ильгам Шакиров, стали подтягиваться и другие писатели, отдохавшие в это время. Быстро организовали на просторной веранде стол и сидели до глубокой ночи. По просьбе Амирхана-абы Ильгам пел в тот вечер много и от души. Этот концерт я запомнил на всю жизнь. Все оставшиеся дни в Ялте я провел с Ильгамом. В романе «Ранняя печаль» есть сцена с рестораном-варьете «Ницца», там мы не раз бывали с Ильгамом. С собой у меня была только одна книга «Полустанок Самсона», и я подарил её с надписью: «Ильхаму Шакирову — удивительному человеку, видевшему в лицо весь свой народ». Почему такой претенциозный, на первый взгляд, текст? Потому что наш великий мастер показал мне карту, где он выступал, и поверьте, не было в СССР поселка, где живут татары



и где бы Ильгам не пел!!! Поистине, ни одному владыке, царю не удавалось увидеть глаза в глаза весь свой народ, и только он видел татар от мала до велика. На его концерты ходят всей семьей, с девяностолетними старухами и грудными младенцами на руках.

Я давно ношусь с идеей постройки ему народного памятника при жизни, не только как великому певцу, но и как объединителю, хранителю нации. И на постаменте должны быть выбиты эти слова. А под ними ниже — карта СССР с Казанским кремлем в центре, и от него тысячи и тысячи лучей к местам поселения татар, где он побывал по велению сердца. В русской культуре таких людей называют подвижниками, жаль, не знаю, как одним татарским словом обозначить его роль в судьбе своего народа. Хочу упомянуть и Рашида Вагапова, Альфию Авзалову, Зифу Басырову и многих, многих других певцов, поэтов, композиторов, чьи песни тоже сохранили татар, татарскую культуру на чужбине.

Песней объединены татары, песней спаслись, с песней воевали и побеждали и с песней живут до сих пор.

Та летняя ночь на ялтинской веранде закончилась для меня еще одним сюрпризом — Амирхан Еники подарил мне роман «Гуляндам» о композиторе Салихе Сайдашеве в переводе Рустема Кутуя.

И еще один штрих о татарских песнях и исполнителях. На 75-летие Мустая Карима съехались видные гости отовсюду, и каждого он поблагодарил в заключительном слове, и только про одного сказал так: «...а Хайдара Бигичева мне словно Всевышний послал...». Татарская песня оказалась самым дорогим подарком для сердца великого поэта.

— Вы прожили в Ташкенте с 1961 по 1990 год, работали в строительстве, потом начали писать книги, после «Пеших прогулок» получили общественное признание. Интерес представляет и ваша личная жизнь — в молодости вы активно занимались боксом, футболом, дружили с народным артистом балетмейстером Ибрагимом Юсуповым, увлекались джазом, собрали значимую коллекцию живописи, давно стали театралом, меломаном — это я к тому, что вы хорошо знали разные слои узбекского общества, отсюда вопрос: какую нишу в общественной, культурной, хозяйственной жизни



Ташкента занимали татары? Сегодня, когда у татар обостренный интерес к самим себе, это важно знать.

— В среде татар в ходу живучая мысль, что якобы им нигде не давали хода. Но это совсем не так, посудите сами на примере Ташкента. Начну со строительства. Я сам работал в строительно-монтажных организациях — министром был Гази Сабилов. Заком министра в Министерстве стройматериалов работал отец известного ныне в Москве и в Казани предпринимателя и мецената Александра Якубова — Рустам-абы Якубов. В Министерстве строительства министром был Сервер Омеров, а министром сельского строительства — Таймазов. Главным архитектором Ташкента и архитектором знаменитой гостиницы «Ташкент» был всемирно известный Мидхат Булатов, автор многих фундаментальных работ по архитектуре. Один из крупнейших строительных трестов Ташкента возглавлял Наиль Клеблеев, республиканский трест механизации — Эрнест Ховаджи. Если названные навскидку первые лица были татарами, надо понимать, сколько при них работало соотечественников. Профсоюзом строителей руководил Исхак Забилов, доктор наук, издавший несколько книг по жизни и творчеству Мусы Джалиля. Узбекские профсоюзы возглавлял Р. Адаманов, начальником железной дороги был Кадыров, узбекским «Аэрофлотом» руководил Н. Рафиков.

Возьмем партийные органы. В ЦК комсомола, а позже в ЦК партии отдел пропаганды возглавлял Максуд Зарифович Узбеков, доктор наук. Секретарем горкома партии по идеологии, а позже и обкома был Карим Расулов, а его брат Рахим более десяти лет являлся прокурором Джизакской области, родины Шарафа Рашидова. Министром юстиции была Васикова, к сожалению, я многих уже не помню по имени-отчеству. В прокуратуре, в Верховном суде, МВД, КГБ много высочайших постов занимали татары. Министром МВД в конце 80-х был Вячеслав Мухтарович Камалов, чью фамилию я взял для своих книг «Мать пиковая» и «Судить буду я», ранее Камалов был первым замом председателя КГБ республики. Даже в суверенном Узбекистане ключевой пост главы таможенного комитета получил Рим Генниатуллин. Советником по внешней политике сегодня у Ислама Каримова — Рафик



Сайфуллин. Большой вклад в создание Конституции современного Узбекистана внес академик Шавкат-абы Уразаев.

Но продолжим экскурс в долгое советское время. Коснемся культуры. Председатель Союза композиторов — Эльмар Салихов. Главный композитор «Узбекфильма» — Румиль Вильданов. Равиль Батыров, Ильёр Ишмухамедов — известнейшие режиссеры, и у знаменитого Али Хамраева тоже татарские корни. Главный киносценарист студии, её идеолог — Одылыша Агишев. Талгат Нигматуллин, актер, тоже прославился там. Возьмем Театр оперы и балета имени Навои. Долгие годы прима-балеринами были там всемирно известные Галия Измайлова и Бернара Каримова, и у главного балетмейстера Ибрагима Юсупова тоже татарские корни. Заглянем в Союз писателей. До сих пор мало кому известно, что один из любимых писателей Сталина Сергей Бородин — татарин. В 1942 году он издал культовую для русских книгу «Дмитрий Донской». Классиком узбекской литературы слыл Аскад Мухтар. Высоко ценился властью Зиннат Фатхуллин, драматург. У него очень известные сыновья — Дильшат, лауреат Ленинской премии, а младший — один из создателей легендарного ансамбля «Ялла». Я хорошо помню их дом, сад в Рабочем городке. По-настоящему большим писателем был Явдат Ильясов, писавший по-русски. Хотя он умер больше пятнадцати лет назад, татарскому читателю еще только предстоит ознакомиться с его творчеством. Наверное, его книги очень заметно повлияют на форму и стилистику молодых писателей — это другая кровь, но истоки у нее явно татарские. Очень известен и любим в Узбекистане доктор наук, искусствовед, сын нашего классика Хади Такташа — Рафаэль Такташ. Из художников, которых там много, надо назвать академика Чингиза Ахмарова, автора изящных восточных миниатюр. Он оформил классические узбекские поэмы-дастаны: «Алпомыш», «Бабур-наме». Он же иллюстрировал большую подарочную серию восточных поэтов: Фирдоуси, Хафиза, Хайяма, Рудаки, Руми, Амира Хосрова Дехлеви, Низами, Бердаха. Чингиз Ахмаров оставил после себя не только учеников, но и новейшую школу забытой восточной миниатюры. В моей коллекции есть работы его талантливых учеников — Сергея Широкова и Азата Юсупова. Из молодых



художников, ныне известных на Западе, хочу назвать Айдара Шириязданова.

Хотелось бы упомянуть и спорт. В знаменитые годы «Пахтакора» там играли Ревал Закиров, Виктор Суюнов, Владимир Тазетдинов, Максуд Шарипов, Вилли Каххаров, Вячеслав Бекташев, Гали Имамов. Общество «Пахтакор» представлял чемпион Европы легкоатлет Родион Гатауллин. Единственный чемпион мира по боксу — Руфат Рискиев, и гимнастки, многократные чемпионки мира, Европы, Олимпийских игр — Венера Зарипова и Алина Кабаева.

Даже на ежегодных пушных аукционах в Ленинграде, куда поставлялся лучший в мире бухарский каракуль, узбекскую комиссию возглавлял мой сосед, выпускник «пехановки» — Максуд Зиганшин. Назову и выходцев из Ташкента миллионера Аниса Мухаметшина и братьев Расима и Рената Акчуриных.

Сходная ситуация в положении татар, или даже более благоприятная, была в те годы и в соседнем Казахстане. Многие связывают такую благосклонность к ним властей с родословной самого Кунаева и его жены-татарки, действительно, помогавшей талантливым татарам. Но я, живший и в Казахстане, и в Узбекистане, утверждаю, что это больше связано с ментальностью казахов и узбеков, с их открытостью и широтой их души.

Вспомнил Ташкент и Алма-Ату и неожиданно подумал: а готовы ли сегодня в Татарстане так же щедро предоставить высокие посты, должности тем же узбекам, казахам? Вряд ли. Сужу по своему опыту. Двадцать пять лет с татарским упорством я пытался издать в Казани книгу — и только сегодня, на двадцать шестом году мытарств, она вышла, хвала Аллаху.

Но вернемся ещё раз в Ташкент. Хочу рассказать, а кому-то напомнить, как принимали здесь татарский театр. Отдавали ему самый большой и красивый зал Театра имени Хамзы. С билетами были проблемы, как и на концерты Ильгاما Шакирова, хотя приезжали надолго, на месяц-полтора. В эти дни разговоры в среде ташкентских татар — только о спектаклях, артистах. Актеров постоянно приглашали в гости. Однажды уже упоминавшийся Максуд Узбеков, работавший в ЦК партии, пригласил домой руководство театра и ведущих артистов. Там, в гостях, я познакомился и с Марселем



Салимжановым, и с Азгаром Хусаиновым, директором театра. С Азгаром связь поддерживалась долгие годы.

Татарская диаспора Ташкента жила полнокровной национальной жизнью, на Шота Руставели находился большой книжный магазин, где много лет имелся отдел татарской литературы, тут же оформляли подписку на казанские газеты и журналы, назначали встречи. В узбекской столице любили гастролировать казанские театры и эстрадные звезды. Помню, в конце 60-х, встретив у филармонии её директора Ашота Назарянца, спрашиваю: когда придет Доминико Модунио? Гастроли были уже давно объявлены, а знаменитый итальянец не появлялся. Назарянец, человек с хитрецей и юмором, отвечает: «А на что мне Модунио?» Я в ответ: «Будут аншлаги, большие сборы, сразу квартальный план...» А Назарянец с улыбкой: «Ну, эти проблемы гораздо лучше любой капризной звезды мне может закрыть Ильгам Шакиров, стоит мне только дать телеграмму в Казань!»

Я возражать не стал, знал, что творилось на концертах Ильгама. Пожалуй, он первый в СССР начал давать два концерта в день, для того, чтобы не разнесли вдребезги концертный зал. Ведь приезжали на выступления и из казахских городов: Чимкента, Джамбула, Туркестана, Арыси, из таджикского Ленинабада, киргизского Оша. Сейчас примерно такое происходит на концертах Алсу и Земфиры. И еще об Ильгаме и татарской диаспоре, и о любви народа к песне. В середине 60-х я часто и подолгу бывал в Москве по работе. Вечерами заходил в кафе «Синяя птица», где день играл саксофонист Клейбанд, а день — гитарист Громин. Там я познакомился с молодым пианистом Владимиром Ашкенази, тем самым, который уже лет тридцать входит в мировую элиту исполнителей. Через год после нашего знакомства Володя, как и Нуриев, остался после гастролей на Западе. А тогда Ашкенази, узнав, что я татарин, сказал: «У вас есть очень хороший певец — Ильгам Шакиров». Я с удивлением спросил: «А ты-то откуда знаешь? Он исполнитель народных песен, поет исключительно на родном языке». «А мне о нем Ростропович рассказал», — ответил Володя и поведал краткую историю, которую я не забыл и через сорок лет. Оказывается, Ростропович днем репетировал со своим оркестром в каком-то Дворце, где вечерами



выступал Ильгам Шакиров. Ростропович — человек увлекающийся, поэтому часто не укладывался в свое время и уходил перед самым концертом, когда музыканты уже настраивали инструменты. Каждый раз, когда Ростропович стремительно выходил на площадь перед Дворцом, он встречал огромные толпы людей, не обращавших на него никакого внимания и лихорадочно ищущих лишний билетик. Так произошло раз, два и три, на четвертый раз Ростропович подошел к афише, а на следующий день остался на концерт и все первое отделение простоял за кулисами, наблюдая и за залом, и за сценой, чтобы понять феномен невероятной народной любви к артисту. В перерыве он подошел к Ильгаму Шакирову, поздравил его с успехом и сказал много теплых слов. Через пятнадцать лет, познакомившись с Ильгамом, я получил подтверждение истории, рассказанной мне Владимиром Ашкенази.

Вот так тесно сплелась нить повествования вокруг одних и тех же татарских имен, и казанских, и ташкентских, да и всех остальных, живущих от Калининграда до Владивостока. При всей нашей раздробленности живем мы одними песнями, одними молитвами, преклоняемся перед одними и теми же людьми — цветом нашей нации.

1998—2010









Лебедь белая

Рассказ

Впервые Ташкентский аэропорт встретил Фатхуллина ненастьем. На взлетных дорожках застыли громадные лайнеры, припорошенные снегом, они мало напоминали быстрокрылых, стремительных птиц, а скорее походили на замерзших, нахохлившихся ленивых ворон.

Новенький, весь из светло-розового мрамора просторный аэропорт уже к обеду стал казаться тесным, неуютным.

Опыт бывалого пассажира позволил Фаткуллину моментально поставить точный диагноз: «Это надолго». Поэтому он без особого сожаления сдал билет.

На железнодорожном вокзале толкучка была, пожалуй, не меньше, чем в аэропорту. В какую бы кассу он ни ткнулся — билетов на Москву не было. Как и всякий командировочный, он толкнулся не в одну прикрытую дверь, но результат был неутешительным. Пришлось прибегнуть к последнему средству — обратиться в Министерство строительства.

Фатхуллин принадлежал к той категории верхолазов-монтажников, которые со всей страны были собраны в Москве в специальной организации «Союзстальконструкция», занимавшейся только уникальным и сложнейшим монтажом в стране и за рубежом. Сейчас Фатхуллин возвращался из Киргизии, где монтировал в горах двухсотметровую вышку для приема и ретрансляции телепередач в высокогорные кишлаки. Бывал он и в Узбекистане, и со здешним монтажным начальством не раз за руку здоровался.



С трудом, из последней брони, перед самым отходом поезда он все же получил билет.

Двухместное купе мягкого вагона, куда привел его важный, но неожиданно учтивый проводник, оказалось пустым.

«Живут же люди...» — подумал без зависти Нариман, оглядев вагон, весь в коврах и никеле. С тех пор, как он стал своим среди высотников — элиты спецмонтажа, временем его располагали другие. В работе быстро бегут дни и месяцы, и немало утекло годов, которых Фатхуллин, считай, и не заметил. И сейчас он обрадовался: почти три свободных дня! И в таком роскошном купе!

Первый «бугор», Иван Селиверстович Петухов, приметивший его в «Проммонтаже» и, по сути дела, сделавший из него классного высотника, не уставал повторять монтажной братве, что им, как балеринам, надо ценить молодость, каждый день отдавать делу, учиться у танцовщиц трудолюбию, завидовать тому, как много они успевают в жизни.

Да, в высотном деле нужна абсолютная координация движений. И, как абсолютный слух или поразительной красоты голос, она встречается редко.

Нариман пристроил на верхней багажной полке дорожную сумку и снял кожаную, на меху, куртку. По традиции, не им заведенной, существовал среди высотников неписанный закон — уезжая, оставлять лишнее барахло.

Фатхуллин, день пробегавший между аэропортом и вокзалом, толком и не пообедал, перехватил лишь в буфете Министерства обжигающей самсы, и потому, едва поезд тронулся, отправился в вагон-ресторан. Вернулся через полчаса, нагруженный свертками, пакетами, кульками.

Включив свет в купе и расположившись на мягком, цвета сочной зелени, диване, Нариман оглядел свое жильё на колесах, и этот дорожный уют показался ему роскошным. Да и то сказать, вся жизнь у него прошла в дороге да в общежитиях, а какой там уют, всем известно. Правда, лет двадцать пять назад в Болгарии, где он был в командировке, целый год жил на настоящей вилле, которая даже собственное имя имела — «Магура».

... Лучший друг Наримана Тенгиз Кодуа женился на болгарке и остался в Болгарии, а теперь ежегодно присылает ему вызовы, чтобы приехал погостить Нариман к нему в Варну.



Но Фатхуллин мог поехать в Болгарию и без Тенгизова приглашения: был у него такой «фирман» от «Балкантуриста» за добросовестную работу. «Махнуть, что ли, в этом году в Албену?» — подумал Нариман.

Он вышел из купе постоять у открытого окна. Вглядываясь в законную темень, думал о многих своих друзьях, осевших в разных концах страны.

«Семья обрезает орлам крылья», — мрачно шутил старый бригадир Иван Селиверстович, и никто не знал, была ли у него когда-нибудь своя семья, свой домашний угол. И в том, что он больше всего на свете любил высоту и своих ребят, часто навсегда улетающих из-под его крыла, не сомневался никто.

Одних привлекали горы, других море, леса, озера и реки, третьих — большие и шумные города. В этом отношении их работа предоставляла широкий выбор. На любой стройке высотников брали с руками и ногами и квартиру выделяли сразу.

«А я так вот себе уголка и не приглядел. А пора бы, прощание с высотой уже не за горами», — думал Фатхуллин, пытаюсь разглядеть мелькнувший огнями полустанок.

В свои тридцать два года он был еще гибок и строен. Подвижность, легкая, сухощавая фигура, в которой чувствовалась натренированная сила, делали его похожим на профессионального футболиста, задумавшего оставить большой спорт. Только жилистые руки с крепкой кистью и мощной, не по фигуре, пятерней выдавали в нем человека, занятого физическим трудом. Эта обманчивая молодость, густые длинные волосы и усы, спрятавшие две глубокие складки у рта, молодо оттенявшие лицо, а, главное, неунывающий характер, привлекали к нему на каждой стройке внимание девушек. Да и вообще их брат-высотник всегда был в поле зрения женщин, но Нариман, пользуясь вниманием, не особенно злоупотреблял им.

Жило в нем давнее-давнее, непроходящее...

За окном крепчал мороз. Иногда скорый на какие-то минуты останавливался на степных полустанках, поджидая с перегона спешащий навстречу состав.

Нариман торопливо кидался в тамбур и, широко распахнув дверь, вглядывался в сонный, без огней, маленький заваленный снегом поселок. Низкое звездное небо, казалось, давило на



бескрайнюю степь, и оттого яркий промерзший свет близких звезд отдавал острым ледяным холодом.

Пронеслся, мелькая освещенными окнами, встречный состав, неся за собой снежный вихрь, хлопала дверца вагона, и остывшие колеса, скрипнув на стальных рельсах, начинали вновь отсчитывать бесчисленные полосатые километровые знаки. Нариман возвращался в вагон, и проводник, тревожась, что беспокойный пассажир выстудит на ночь все купе, говорил:

— Казахстан... Что тут смотреть, степь одна...

Потом, застав его снова в коридоре, вдруг радостно объявил:

— Завтра Актюбинск, а там уже Россия, пейзажи на все вкусы, там уж насмотритесь...

— Актюбинск?.. — невольно переспросил Нариман и почувствовал, как внутри у него что-то неожиданно оборвалось, как тогда, давно, на самой верхотуре недостроенной останкинской телебашни, где он оступился в первый и пока единственный раз...

Пятнадцать лет назад, семнадцатилетним пареньком со школьным аттестатом в кармане, накинув себе годок, уехал Фатхуллин по оргнабору в теплые края. В общем вагоне, душном и прокуренном, тесно набитом людьми, покинул он город, к которому неумолимо приближался сейчас в морозной ночи состав.

Помнил ли он, носил ли в сердце своем город, из которого сделал взрослый, самостоятельный шаг, удививший многих его одноклассников?

Так уж сложилась судьба, что он рано начал заниматься в жизни серьезным мужским делом, отдаваясь ему целиком, и праздного времени, располагающего к воспоминаниям, оставалось у него не так уж много. К тому же в городе, затерявшемся в снегах безбрежной степи, у него не было ни близких, ни родных. Но этот город, последний на пути через Казахстан, был по-особенному дорог Фатхуллину.

Нариман вставал, садился и вновь вскакивал, вглядываясь в кромешную заоконную тьму. Ему казалось, что, едва он ступит на перрон, кто-нибудь непременно окликнет его: «Привет, Адъютант! Давненько тебя не видно было».

«Надо же, Адъютант... — Нариман улыбнулся своему школьному прозвищу. — Адъютант... А я и забыл».

... До седьмого класса Нариман рос в далекой татарской деревушке под Казанью, у бабушки. Бабушка была древняя,



мудро ждала близкой смерти и тревожилась лишь за судьбу единственного внука.

В Казахстане у Фатхуллиных были родичи, не очень, правда, близкие, но бабушка, за неимением других, старой арабской вязью отписала им на всякий случай: сама, мол, плоха уж, да не о ней речь. За внука душа болит, с кем останется мальчик, если призовет ее Аллах...

Фатима-апай, доводившаяся Нариману двоюродной теткой и жившая одна, — муж ее погиб на войне, — приехала летом.

Работала она посудомойкой в столовой железнодорожного училища, находившегося рядом с ее домом. Она и успокоила бабушку, клятвенно заверила, что непременно устроит Наримана в училище, выучит или на слесаря по ремонту вагонов, или на электромеханика. Пока гостила Фатима-апай, бабушка всерьез занемогла, и, не откладывая до следующего лета, тетка увезла Наримана в Актюбинск.

... За окном гудели от мороза заиндевелые провода, проносились полустанки и разъезды, мелькнул яркими огнями перрон станции Кзыл-Орда, но Фатхуллин уже ничего этого не видел и не слышал, его мысли были там, впереди, в городе, который завтра вынырнет из завьюженной и стылой степи.

«Когда же прозвали меня Адъютантом, в седьмом или в восьмом классе? — пытался он вспомнить. — И за что?»

Может, за то, что ходил в школу почти в полной экипировке курсанта железнодорожного училища, даже пальто у него было перешито из шинели с форменными пуговицами.

Администрация училища, узнав, что тихая Фатима-апай взяла на воспитание сироту из деревни, всячески помогала ей, закрывая глаза на то, что Нариман частенько обедал и ужинал в уголке на кухне. А уж кастелянша Дарья Степановна, она же и портниха при училище, жившая так же одиноко, как и Фатима-апай, души в нем не чаяла, перешивала ремесленную форму на Наримана. А какие вызывающие зависть у всех одноклассников ботинки на коже и микропоре выдали ему в училище! Может, за эту форму, гимнастерку, застегнутую до последней пуговицы и перехваченную широким ремнем с никелированной бляхой «Ж. Д. У», и всегда не по-школьному наглаженные брюки-клевш прозвали его Адъютантом?



Пожалуй, и это сыграло свою роль. Но все-таки прозвище дали ему по другой причине, и связано это с Ленечкой Мурзиным...

Школа, как и училище, была рядом с краснокирпичным домом в три этажа, где в коммунальной квартире с общей кухней занимала комнату Фатима-апай. Позже, когда Нариман обжился, перезнакомился с соседями и стал часто бывать в доме Мурзиных, отец Ленечки, известный в прошлом на всю страну машинист паровоза, водивший рекордные тяжеловесные составы и теперь дорабатывающий до пенсии на какой-то высокой должности в вагонном депо, рассказывал им, что весь станционный комплекс выстроен вместе с дорогой еще при старом режиме. И вокзал в сказочно-восточном стиле, с башнями, похожими на минареты, и клуб, напоминавший средневековую крепость, где раньше коротали вечера в бильярдных и музыкальных салонах чиновники путейского ведомства, ныне переименованный во Дворец культуры, и реальное училище, где теперь располагалась их сорок пятая, эмпээсовская школа... и здание железнодорожного училища, где раньше была гимназия. И дома с коммуналками для рабочих были тогда же выстроены, и каменные, в три крыльца, особняки для инженеров и служащих.

Школа из светлого камня, в два этажа, с высокими стрельчатыми окнами, с просторными дворами, обсаженными густой акацией, с надворными подсобными помещениями и мастерскими, и площадкой для летних спортивных игр, после деревенской саманной хибарки с тремя классными комнатками восхищала мальчика.

И сам он, с новеньким скрипучим портфелем — подарком Фатимы-апай, в выутюженной, подогнанной Дарьей Степановной форме, в начищенных до блеска кожаных ботинках, казался себе тогда самым счастливым человеком на свете.

«Вот если бы в такой форме пройтись сейчас по аулу», — подумал Нариман, пришедший в школьный двор задолго до первого звонка.

Но здесь его форма не вызвала ни у кого ни восторга, ни зависти, скорее наоборот, и Нариман к улыбочкам одноклассников отнесся с мудрой снисходительностью деревенского мальчика. Здесь, в городе, ребята избалованные, где им понимать толк в добротной одежде и крепкой обуви.



В 7«В», где Нариман значился в списке, висевшем на двери классной комнаты, он занял место на предпоследней парте, у окна. Класс шумно заполнялся, там и тут сбивались в кучки друзья-приятели, весело обсуждали что-то, посмеиваясь, поглядывали в его сторону.

А когда в комнату вошел высокий стройный мальчик, все дружно потянулись к нему, обступили, со всех сторон послышалось: «Леня... Ленечка...»

Кто-то указал вошедшему глазами на новичка, мальчик кинул быстрый взгляд в сторону окна, наверное, сразу понял, как ему одиноко и неуютно одному, и, раздвинув сгрудившихся вокруг него ребят, громко сказал:

— Ну что вы, надо же познакомиться с человеком...

Небрежно прошел мимо учительского стола и решительно направился к новенькому.

— Не возражаешь? — бросил мятый портфель рядом на парту и протянул руку: — Мурзин, Леонид Мурзин.

На первой же перемене он сказал Нариману:

— Ты не обижайся на наших, они в общем-то ребята славные, сам увидишь. Да ты не робей, гляди веселее, привыкнешь, подружишься со всеми. А если кто сильно будет донимать, скажи мне, разберемся.

Отдавая Наримана в школу, Фатима-апай рассчитывала, что как только тот окончит семилетку, определит его в училище. И ей легче будет: все-таки на государственном довольствии, и парнишка через два года, глядишь, профессию получит, на кусок хлеба заработает. Да и сам Нариман поначалу так же считал и потому в первые месяцы целыми днями пропадал в училище, сдружился там с ребятами, стал заниматься боксом.

Но весной, когда Нариман успешно сдал экзамены и Фатима-апай решила сходить за документами, как было давно определено, мальчик стал слезно просить оставить его в школе, говорил, что не может бросить свой класс, ребят.

Нариман был мальчик покладистый, и в доме от работы не отлынивал, и по вечерам, после ужина, помогал ей в столовой, а это не шутка — какие горы посуды нужно было перемыть. И Фатима-апай, вздохнув, сказала:

— Ну что ж, учись. Учись, коль нравится, перебежмся как-нибудь...



... В эту зимнюю дорожную ночь ему снились давние метели и осенний листопад, солнечные дни на городском пляже и весна в их любимом железнодорожном парке. И перед ним мелькали лица давно позабытых одноклассников и многих других, чьих имен он припомнить не мог.

Ленечка Мурзин, приветивший его в первый день, был в школе человеком известным, побеждал на городских математических олимпиадах, имел первый разряд по боксу и представлял Оренбургскую железную дорогу на первенстве «Локомотива» в Москве.

Не по годам рослый, стройный, на голову выше Наримана, голубоглазый и светловолосый, он был прирожденным вожаком, душой компании. Немудрено, что с первых же дней Фатхуллин потянулся к этому мальчишке и стал его тенью, тем самым и заслужив у острых на язык одноклассников кличку «Адъютант».

В ту весну, в седьмом классе, когда надвигалось прощание со школой, Нариман вдруг испугался, что безвозвратно пройдет мимо него та школьная жизнь, волнующая и интересная, в которую ему только-только приоткрылась дверь. Почти каждый день бывая в училище, где Нариман считался своим, он видел там иную, тоже притягательную, но уже более взрослую, что ли, обстановку, хотя учились вместе с ним ровесники его одноклассников.

Лишь потом, повзрослев, он понял, почему тогда до боли захотел остаться в школе: так неосознанно продлевалось беззаботное детство, которого он был лишен, живя у бабушки. Ведь в той послевоенной татарской деревеньке, затерянной в лесах, где он, по существу, вырос, работали все, от мала до велика, чтобы прокормиться и выжить, об иной жизни и речи не было.

Теперь был конец пятидесятых, и во многие дома уже пришел первый послевоенный достаток. Нариман с удивлением видел в квартирах товарищей домашние библиотеки, где книг было в десять раз больше, чем во всей его деревне. В книгах ему не отказывали, даже предлагали взять и советовали, что почитать, и читал он тогда взахлеб, все подряд.

В первую же зиму он вместе с Ленечкой был приглашен к однокласснику Славику Урюпину на день рожденья. После праздничного ужина, который, как и все остальное, поразил Наримана, Славик вдруг сказал: «Ну что, потанцуем?» И когда



он, откинув крышку пианино, сыграл модный в ту пору быстрый фокстрот, Нариман долго не мог прийти в себя: «Как маленький хрупкий Урюпин, от горшка два вершка, так лихо управляетсЯ с мудреным инструментом?» И Славка тут же вырос в его глазах, ну, положим, не до уровня Мурзина... но все же...

... В эту ночь снился ему еще один сон... Учился он тогда уже в десятом классе... Они с Ленечкой на вечере в соседней сорок пятой, тоже железнодорожной, школе. Нариман в скроенном и сшитом все той же неугомонной Дарьей Степановной пестром в талию пиджаке с широкими, по плечи, лацканами и, конечно, при галстукЕ, а Мурзин, только что вернувшийся из Москвы с медалью чемпиона «Локомотива», тот и вообще умопомрачителен: вишневого цвета в темную полосу пиджак и галстук-бабочка из темно-бордового бархата делали его похожим на артиста. Эта большая, с широкими крыльями бабочка особенно отчетливо оттеняла непривычную бледность его лица с кое-где припудренными синяками. Еще в раздевалке Нариман понял, как нелегко далась его другу медаль «Локомотива».

Вечер в чужой школе оказался памятным для них обоих. Ленечка в тот день почему-то не танцевал, с непоказным равнодушием принимал поздравления по поводу своей победы, — вырезки из «Советского спорта» висели на видном месте в обеих школах, представлявших одно спортивное общество. В какой-то момент Нариман даже подумал — уж не запижонил ли его друг? А Ленечка, не отрывая взгляда от кружившихся в вальсе пар, неожиданно сказал:

— Такая вот штука вышла, Нариман... Кажется, я влюбился...

Нариман, высматривавший партнершу на очередной танец, удивленно глянул на друга. Вот это новость! В Ленечку поголовно влюблялись девчонки — так это понятно: он гордость школы, красавец, спортсмен... Но чтоб он сам?

— Что же ты, Нарик, не спросишь, в кого?

— В кого? Известно в кого! — как можно веселее ответил Фатхуллин. — В самую красивую и недоступную, в Томочку Давыдычеву, конечно. Разве в нее можно не влюбиться?

— Да перестань ты. Я же серьезно, — сердито ответил Ленечка. Фатхуллин, бросив быстрый взгляд на друга, понял, что не угадал, и пожал плечами.



— Извини, Леня, все просто с ума посходили, повлюбялись в нее, ну, я думал, и ты... Ведь и вправду на принцессу похожа, глянь, она как раз смотрит на тебя...

— Да ну тебя, не то сегодня ты говоришь и не туда смотришь. Вот она... — И Мурзин показал глазами на девочку, стоявшую к ним спиной в окружении подруг.

Нариман, узнавший бы ее и по краешку платья, уже не слышал товарища.

Это была Светлана Резникова из параллельного класса. В прошлом году, весной, она пригласила их на свой день рождения. На открытке, переданной Мурзину, было написано: «Приглашаю Вас и Вашего Адъютанта на день рождения». Да, все знали, что Ленечка никогда, с самого первого дня их знакомства с Нариманом, на торжества без него не ходил.

Беспечно шутивший минуту назад Нариман сник, потерял дар речи, — ведь он сам уже с полгода хотел поделиться с другом секретом и рассказать о ней.

Прервав затянувшееся молчание, Фатхуллин как-то не по-мальчишески трогательно обнял за плечи своего любимого друга и сказал печально:

— Твоя беда — моя беда...

И стояли дружки поникшие, непривычно серьезные, думая каждый о своем, а, вернее, об одном человеке, и девочки даже не решились пригласить их на «белый» танец...

... Этой долгой зимней ночи, казалось, не будет конца. Фатхуллин часто просыпался и, глянув на часы, лежавшие на светлом пятачке у ночника, с удивлением обнаруживал, что прошло-то минут пятнадцать, ну, полчаса. Кинув взгляд в темень за окном и жадно выкурив сигарету, он снова провалился в тревожный сон. И опять, как в калейдоскопе, мелькали сцены, забытые вечера и прогулки, во сне он слышал чей-то смех, а то вдруг наплывали мелодии тех давних лет, и чаще всего почему-то звучала музыка с диска Карела Влаха — «Вишневый сад»: сплошное торжество медный труб. Даже во сне он пытался соединять эти осколки мозаики в нечто целое, и в каких-то промежутках ему это удавалось.

Он видел себя в комнате Ленечки... Перед школьными вечерами Нариман всегда по пути заходил к Мурзину. В тот раз Ленечка сидел за письменным столом и, уставившись в окно, сосредоточенно думал:



— Вот, черт, не дается последняя строчка, — встретил он Фатхуллина и кивнул на лежащий перед ним листок. Но вдруг, озаренный, обрадованно рассмеялся. Быстро переписав все на-бело, протянул листок Нариману: — Читай!

*Я познал поцелуев сласть,
Мое счастье было в зените,
Но... осталось «спасибо» сказать
И добавить: «За все извините».*

Фатхуллин прочитал и вопросительно взглянул на друга.

— Все, никаких девчонок, никаких вздыханий... Только Светлана...

— Не слишком ли ты суров к себе? — улыбаясь, спросил Нариман, зная, что дальше записок с влюбленными в друга девчонками не заходило. Даже не целовался, наверное, ни с одной.

— Нарик, ну, и нудный же ты тип, — что же такого, что ничего не было, не могло быть, — главное, у нас был интенсивный почтовый роман...

... Утром, едва забрезжил рассвет, Нариман уже вышагивал по пустому коридору вагона, и по-прежнему мысли его витали там, в городе юности. Он так хотел восстановить в памяти две последние неповторимые школьные зимы! Лето меж этими годами зияло провалом, потому что Ленечка с родителями надолго уезжал к морю, Светлана гостила у бабушки в Алма-Ате, а Нариман работал подсобником на хлебозаводе, развозил по магазинам горячий хлеб.

После того вечера в соседней школе Ленечка не возвращался к разговору о Светлане. На уроках друзья как прежде не отвлекались, не обменивались длинными записками, словно прилежные ученики, не отрывали глаз от доски или от учителя, но мыслями были вне класса. Однажды в таком забытье Фатхуллин вдруг с ужасом увидел, что исписал карандашом всю промокашку: «... Света... Светланка... Светлана... Солнышко» ...

Он бросил испуганный взгляд на Ленечку, но тот ничего не видел, тоже витал где-то в облаках. Фатхуллин торопливо сунул промокашку в карман и подумал, что отшутиться на этот раз вряд ли бы сумел. На перемене, сославшись на головную



боль, — он и впрямь был бледен, — ушел домой и, промаявшись полдня без дела, дал себе слово быть осторожным, чтобы не выдать Ленечке своей тайны.

Всегда веселый, шумный, Ленечка, влюбившись, стал мало-разговорчив, сдержан, но иногда его словно прорывало: окрыленный какой-нибудь идеей, он что-то организовывал, предпринимал, вдруг соглашался пойти в компанию, куда его раньше и на аркане было не затащить. И за всем этим, конечно, стояла Светлана, все было для нее, ради нее...

На школьных вечерах, проводившихся тогда почти каждую субботу то в одной, то в другой школе, Ленечка иногда вдруг говорил:

— Нарик, потанцевал бы ты с ней, а то этот денди Лайкин из второй школы что-то слишком часто ее приглашает. Мне это не нравится, Лайкина, да и Марата Латыпова, нужно держать на дистанции.

И Нариман, исполняя волю товарища, шел через весь зал приглашать Светлану на очередной танец.

Могла ли влюбленность Ленечки Мурзина остаться незамеченной? Нет, конечно. Уж слишком много восторженных и внимательных девичьих глаз следило за ним, за каждым его взглядом, поворотом головы.

Самое удивительное, что у Наримана со Светланой сразу сложились дружеские отношения. Они интуитивно избрали естественную в таком случае шутливую форму разговора, в котором оба, словно соревнуясь, оттачивали свое остроумие, и это сделало их отношения легкими и простыми, — но какой ценой давалось это Фатхуллину, знал только он один.

— Адъютант приступает к своим обязанностям? — весело спрашивала Светлана, отвечая изящными шутливыми поклонами на его очередное приглашение.

— Такая жизнь, миледи, каждому свое, — отвечал Нариман, кладя ей руку на плечо, и, уже танцуя, продолжал: — Надеюсь, ваша прозорливость сочетается с добродетелью? Ведь, в самом деле, зачем такому обаятельному юноше, как Лайкин, уходить с вечера в глубокой печали и поминать вас недобрым словом? Вы же знаете, повелитель мой в гневе страшен, и, опять же, удар нокаутирующий имеет: центральной прессой сей факт отмечен.

— Тяжела ноша мюрида, Нарик?



— Как сказать, миледи. Ведь выбор имама доброволен и основан исключительно на духовной его притягательности. К тому же у него отличный вкус, вы не находите?

— Не все, дорогой, разделяют ваши вкусы и ваш восторг. Вот, например, те девочки у окна убеждены, что Адъютанту следовало бы опекать, или блокировать, — как вы там выражаетесь? — ну, положим... Томочку Давыдычеву или Галочку Старченко, но ни в коем случае не такую серую уточку, как я...

— Ну, как вам не стыдно, лебедь белая, напрашиваться на комплименты? Да вы, оказывается, кокетка. А мы с повелителем и не подозревали в вас этого порока, в такие-то юные годы. Вам действительно необходимо, чтобы все разделяли наш восторг?

В таком или приблизительно таком тоне разговаривали они, танцуя вдвоем почти на каждом вечере. А после танцев друзья провожали Светлану с подружкой домой. Все они жили на другой стороне дороги, в железнодорожном поселке. Если в обычное время в школу бегали напрямик, через сортировочную станцию, через десяток путей, то с вечеров возвращались через вокзал, переходя длинный скрипевший от старости мост. Обычно в это время проходил на Москву скорый из Алма-Аты, и, если вечер был теплым и дул небольшой ветерок, сюда, на мост, от стоявших внизу вагонов доносился запах яблок апорт. На мосту иногда стояли подолгу, молча, притихшие, вглядываясь в проходящие поезда, замороженно смотрели на разноцветные огни светофоров и указателей путей. Наверное, каждый думал о том, что по этим тонким нитям путей, блестевших внизу, и они разлетятся по жизни совсем скоро, и потому не спешили расставаться. А, может, они думали об ином?

Возвращаясь домой после танцев, Светланка каждый раз ловко пристраивала к Ленечке свою неразлучную подружку Элу Богданенко, а сама, еще в раздевалке передав Нариману завернутые в газетку вечерние туфли на шпильках, опираясь на руку Фатхуллина, пыталась всю дорогу прокатиться на своих скользких ботинках. Иногда, скатившись с какого-нибудь уклона, она падала в сугроб, и верный Нариман оказывался рядом, протягивая руку, а Ленечка, словно заколдованный, не смел сделать к ней и шага.

Проводив Эллочку, у дома Светланки прощались всегда как-то торопливо, враз утратив легкость общения. Хлопала



промерзшая дверь в глухом заборе, стучали каблучки на высоком, в четыре ступени, крыльце дома, а друзья, не сговариваясь, переходили на взгорок через дорогу и ждали, пока вспыхнет свет в крайнем окне. Еще некоторое время молча смотрели они на мелькавший за тюлевыми занавесями девичий силуэт, а когда дом погружался в сон, торопливо расходились по домам, словно боясь расплескать радость свидания.

... Едва за окном мелькнули пригороды Актюбинска и показалось прямо у дороги железнодорожное училище с просторным совершенно не изменившимся двором, Фатхуллин поспешно схватил с полки сумку и кинулся к выходу мимо удивленного проводника.

Мягкий вагон остановился напротив вокзала. Огромное безликое здание из стекла и бетона било с толку Наримана, и он невольно поднял голову, выискивая вывеску. Все было верно, но где же вокзал в сказочно-восточном стиле, с башнями, похожими на минареты? Неужто снесли старое здание? И только тут Нариман осознал, что город для него начинался с вокзала и кончался им. Бессчетное число раз любовался он вместе с друзьями с моста его великолепными строениями, и казалось тогда: это незыблемо, вечно — дороги и их волшебный, со шпильями, вокзал.

В гостинице женщина с замысловатой прической на вопрос Фатхуллина о возможности размещения, не разжимая губ, ткнула пальцем в вывеску «Мест нет».

Нариман опешил, он и представить себе не мог, что в городе его юности ему откажут в ночлеге.

«Это же мой, мой город!» — хотелось ему крикнуть в бесстрастное лицо администратора. Неожиданно его осенило: он достал паспорт, не раздумывая, вложил в него крупную купюру и вновь ткнулся в окошко администратора.

— Я проездом, понимаете, проездом, до следующего московского скорого, — торопливо сказал он.

Купюра сработала безотказно.

В номере, наверное, лучшем в отеле, он быстро побрился в ярко освещенной ванной и поспешил на улицу.

У кинотеатра «Казахстан» толпился народ, но Нариман, даже не глянув на афишу, свернул на Карла Либкнехта, главную улицу его юности. Знакомыми дворами и переулками он



выбрался к школе. Еще издали увидел старый ничуть не изменившийся в три этажа кирпично-красный дом, где когда-то жил с Фатимой-апай в коммуналке, но через дорогу, рядом... школы не было... От неожиданности Фатхуллин даже остановился. На месте сорок четвертой школы громоздился панельный дом в четыре этажа, рахит, из той печально известной низкопотолочной серии с современными сануздами... Подобных уродцев он навидался по всей стране.

Фатхуллин вошел в бывший школьный двор, увидел в глубине пошатнувшуюся скамейку, занесенную снегом, опустился на нее. Ничто, абсолютно ничто не напоминало о прошлом, с корнем вырвали, вытоптали все, даже хилого кустика акации не осталось.

«Молодцы, лихо поработали, наверное, взрывали, уж больно крепкая была школа», — думал Фатхуллин, осознавая, как смешно все это выглядело бы в чьих-то глазах — сорвался с поезда, примчался, словно его тут ждали все эти долгие годы, и никто и ничто не менялось ради его распрекрасных глаз.

Так сидел он долго, не видя перед собой унылого дома и спящих вокруг людей. И вдруг все вокруг, навсегда потерявшее очертания школьного двора, ожило у него перед глазами, наполнилось звуками, шорохами, смехом...

По аллее вдоль акаций прогуливались парами или стайками девочки в белых фартучках, а на крыльце он увидел Ленечку Мурзина. Тот стоял неподвижно, скрестив на груди руки, высокий и сильный, а его задумчивый взгляд выискивал на аллее Резникову.

Одни картины сменялись другими, и Нариман увидел себя на одном из последних вечеров. Светланка, неожиданно повзрослевшая, мало похожая на школьницу, в элегантном сером платье... Учителя уже махнули на них рукой, не обращали внимания ни на маникюр, ни на прически, ни на чересчур высокие шпильки, ни на платья по последней моде... Выпускницы.

Разговор они вели в прежнем дружественно-шутливом духе.

— Ах, милый Нарик, годы идут, молодость проходит, а вы тратите на меня вечера, не замечаете других девушек, а ведь их вон сколько. Чем мне вас отблагодарить за вашу чуткость, предупредительность при исполнении служебных обязанностей? Можно, я вас поцелую?



И она, положив ему руки на плечи, — прежние танцы позволяли это, чмокнула его при всех в щеку. Правда, на это почти никто не обратил внимания.

Нариман, для которого вмиг померкла модная в то время трошинская «Тишина», все-таки, собрав волю, с честью вышел и из этого положения.

— Спасибо за безмерную щедрость, но мне бы хотелось, чтобы толика вашего доброго отношения ко мне и хоть один поцелуй достались моему повелителю, хотя, уверяю вас, он достоин и большего.

— Нарик, дорогой мой Адъютант, будет ли у меня в жизни еще столь преданный, предугадывающий мои желания вассал? Вы молчите? Конечно, не будет, а вас уведет у меня другая девушка, уж так устроен мир. А насчет вашего повелителя я почему-то никак не могу поверить, что именно я его избранница. К тому же, увы, мое убеждение разделяют многие. Наверное, вы оба слепы, я ли лебедь белая?

Она обернулась к стоявшему у стены Ленечке Мурзину, и во взгляде ее Нариман успел уловить больше, чем просто веселую усмешку над робким влюбленным. Этот предназначенный не ему взгляд больно уколол Наримана.

Зимний день короток, — хищная тень безликого дома вскоре дотянулось и до скамейки Фатхуллина, и Нариман обратил внимание, как быстро сгущаются сумерки, норовя спрятать город, который он не успел рассмотреть как следует.

Выбираясь по глубокому снегу и не обращая внимания на жильцов, уже давно приметивших его, Нариман повернул к училищу. Обгоняя его, навстречу спешили подтянутые юноши в форменной одежде, так похожие на ребят, учившихся здесь девятнадцать лет назад. А, может, теперь здесь учились их сыновья?

На минуту он остановился перед распахнутыми настежь воротами училища и, оглядывая оживленный двор, мысленно пробежался его коридорами. Войти или не войти? Потенциальный курсант, так и не ставший им, чужак, лучше многих выпускников знавший традиции этого заведения, чем он похвалится, кого обрадует его появление?

Прежней дорогой, через сортировочную станцию, Фатхуллин пошел к железнодорожному поселку.



Огромный рубленый из старых шпал особняк, обшитый в елочку узкими крашеными деревянными планочками, словно устал от времени и присел на высокий каменный фундамент. От былого величия не осталось и следа. Дом, ежегодно встречавший весну то в голубой, то в зеленой покраске, уже много лет не знал малярной краски, и последняя, красноватый сурик, облезла, оттого дом казался ржавым и напоминал казенное учреждение.

Нариман подошел к забору. Он тоже обветшал, почернел, разохся, толкни посильнее — рухнет во двор. На знакомой двери некогда могучего глухого забора над вырезом почтового ящика не висела медная табличка «Резниковым», то ли свалилась и затерялась, то ли хозяевами дома были уже другие люди.

Нариман по старой привычке перешел через дорогу, но взгорка у соседнего палисадника не было, не приметил он и следов его уничтожения: эту улицу даже асфальтом не покрыли — все та же грунтовая дорога, просто время, время свело взгорок на нет.

«Да, слишком много воды утекло с тех пор», — как будто только теперь Фатхуллин ощутил груз пролетевших почти незаметно девятнадцати лет.

В соседних дворах уже зажглись огни, а дом напротив глядел на него темными глазницами окон, словно вымер...

И вдруг Нариман увидел его другим, праздничным, сияющим огнями, из распахнутых форточек слышалась музыка, за тюлевыми занавесями мелькали силуэты, доносился смех. Увидел он и себя солнечным днем у калитки. На звонок тотчас выбегала Светланка, простоволосая, в накинутой на плечи заячьей шубке.

— Сегодня в кинематографе, — не изменяя своей галантно-шутливой манере, говорил он, — дают представление, достойное вашего внимания, не соизволите ли оказать честь Дворцу железнодорожников и нам, двум вашим верным стражам, в семнадцать или девятнадцать часов, когда вашей светлости будет угодно...

— Ну что же, я полагаюсь на безупречный вкус вашего друга, который разделяете и вы, мой славный Адъютант, и, пожалуй, я нанесу визит в эту крепость, именуемую очагом культуры...

В кино она приходила в сопровождении Элочки, и от Леночки ее постоянно отделяли два кресла. Она снимала мягкую кроличьего меха мужскую шапку, модную по тем временам, клала в



нее варежки и пуховый шарфик и передавала все это Нариману. Иногда, в какие-то драматические моменты фильма, ее рука машинально искала опоры в руке Фатхуллина, и Нариман, не смея вздохнуть в эти минуты, замирал в кресле. Теплая ладошка Светланки покоилась в сильных руках Наримана, но в какие-то минуты он чувствовал, как холодно, сиротливо, беспокойно ей в его жарких ладонях...

... Дом без признаков жизни навевал тоску, росшую с каждым часом, к тому же стемнело, улица опустела, и редкие прохожие бросали на Наримана настороженные взгляды: что нужно этому человеку, не отрывающему глаз от темных окон стоящего напротив мрачного дома?

Возвращался он давним маршрутом через вокзал. На уцелевшем старом мосту ненадолго задержался. По странному стечению обстоятельств внизу стоял алма-атинский скорый, но колкий ветерок теперь не доносил запах апорта.

«Пожалуй, яблочный запах выветрился в самой Алма-Ате», — усмехнулся Нариман, вспомнив последнюю командировку в Медео.

По ярко освещенному мосту, несмотря на поздний час, торопливо пробегали люди, но это не помешало Фатхуллину вспомнить свой последний день в этом городе.

... В день выпускного бала он стоял с фибровым чемоданчиком на перроне и поджидал почтовый на Ташкент. Уже объявили о посадке, а он не спешил к хвосту поезда, где был его вагон, не отрывая глаз, смотрел на мост: вот-вот должна была пройти Светланка на выпускной вечер.

«Неужели пойдет через пути? Нет, не тот день, чтобы бегать между вагонами», — успокаивал он себя.

Когда до отправления поезда остались считанные минуты, Светланка вместе с Эллочкой появилась на мосту, а за ними с огромным букетом сирени спешил Славик Урюпин.

— Прощайте, лебеди белые! — крикнул Нариман и на ходу вскочил в отходящий вагон.

Но они, счастливые, не услышали его. Уже из окна тамбура Фатхуллин увидел, как прямо по путям, обегая маневровые тепловозы, словно сумасшедший, бежал к вокзалу его единственный друг Ленечка Мурзин, узнавший об отъезде Наримана из его записки...



... В тепле гостиничного номера Фатхуллин вдруг вспомнил, как пять лет назад в Болгарии он не давал покоя Тенгизу Кодуа. Вдвоем они объездили все побережье Албены и Солнечного берега, даже на фестиваль «Золотой Орфей» добрались, а это путь немалый.

— Ты что это, в светскую жизнь ударился? — каждый раз спрашивал Тенгиз, усаживаясь за руль машины.

— Я ищу своих друзей, — отвечал Нариман. Ему почему-то казалось, что они непременно поедут отдыхать в Болгарию. Была у него такая наивная вера, что за поворотом, там, за углом, в следующем баре или на веранде другого ресторана, на какой-нибудь дискотеке, он непременно встретит их, красивых и счастливых.

Слышал он что-нибудь о них за эти годы? Нет. Тогда, уезжая, он знал только, что Светлана сразу после выпускного вечера собирается в Оренбург, поступать в педагогический институт. Ленечка, без пяти минут мастер спорта, перед которым открылась бы любая заветная дверь вуза в любом городе, решил ехать следом за ней.

— Нарик, я поеду в Оренбург. Я должен пройти свой путь до конца. Мне нет без нее счастья на земле. Ты понимаешь, нет мне жизни без Светланки.

— Я понимаю, мой повелитель, понимаю...

В ту ночь накануне выпускного, накануне его отъезда, они бродили вокруг ее дома до рассвета...

... За окном, за огромным окном гостиной, шумел изменившийся, помолодевший Актюбинск, и Фатхуллин, глядя на законные огни, неожиданно просветленно подумал: «Ведь это мой город, город моей юности. Еще вчера я говорил себе, что не облюбовал уголка в необъятной стране. Зачем искать? Вон твой город, за окном. И, может быть, когда-нибудь в твой дом придут вместе или порознь твоя любимая и твой любимый друг, и только тогда ты узнаешь счастливый или печальный конец истории этой грустной любви».

*Ташкент,
1972*





Содержание

Творческая биография.....	7
Библиографическая справка.....	10
Ранняя печаль.....	14
Маржанбулак — жемчужный родник.....	357
Пьянея звуком голоса, похожего на твой.....	403
Сезонные работы.....	439
Горный король и другие.....	472
Джинсовый костюм.....	487
Македонский.....	500
Отец.....	522
Марсель.....	544
Оренбургский платок.....	558



Содержание

Голубые самосвалы.....	570
Ночь на постоялом дворе	594
Звездное небо детства.....	623
Воспоминания о поэте, любившем Малеевку	636
Чингиз Ахмаров	643
Неувядаемые «Белые цветы».....	664
Культуру восстановить труднее, чем экономику.....	684
Глухому звука не объяснишь	723
Казань в моей жизни	749
Слагать из встречных лиц один портрет.....	788
Дайджест интервью	802
Лебедь белая	858



Выражаю огромную благодарность и признательность
всем спонсорам и руководству Татарстана за издание
этого собрания сочинений, где подведены итоги моей
пятидесятилетней творческой жизни в литературе

Рауль Мир-Хайдаров

писатель

заслуженный деятель искусств

лауреат многих литературных премий

Почетный гражданин Казахстана

Литературно-художественное издание

Собрание сочинений в десяти томах

Том пятый

«Ранняя печаль»

Ретро-роман

Мир-Хайдаров Рауль Мирсаидович

Редактор

В.В. Молчанова

Художественное оформление

Р.М. Шарафутдинов

Техническое редактирование и компьютерная верстка

Р.М. Шарафутдинов

Корректоры

Р.М. Мир-Хайдаров, И.В. Варламова, В.В. Молчанова

Мемуары оформлены картинками из личной коллекции

Рауля Мир-Хайдарова

В оформлении книги использованы картины

Сергея Широкова, Бабура Мухамедова, Азата, Шерали,

Бахтияра, Бабанияза

Подписано в печать . Формат 70x100^{1/16}.

Бумага офсетная. Гарнитура Мусл. Печать офсетная.

П. л. . Усл. печ. л. . Тираж . экз. Заказ .

Отпечатано в типографии

420066, Казань, ул. Декабристов, 2

Филиал АО «Татмедиа» Полиграфическо-издательский комплекс

«Идел-Пресс»